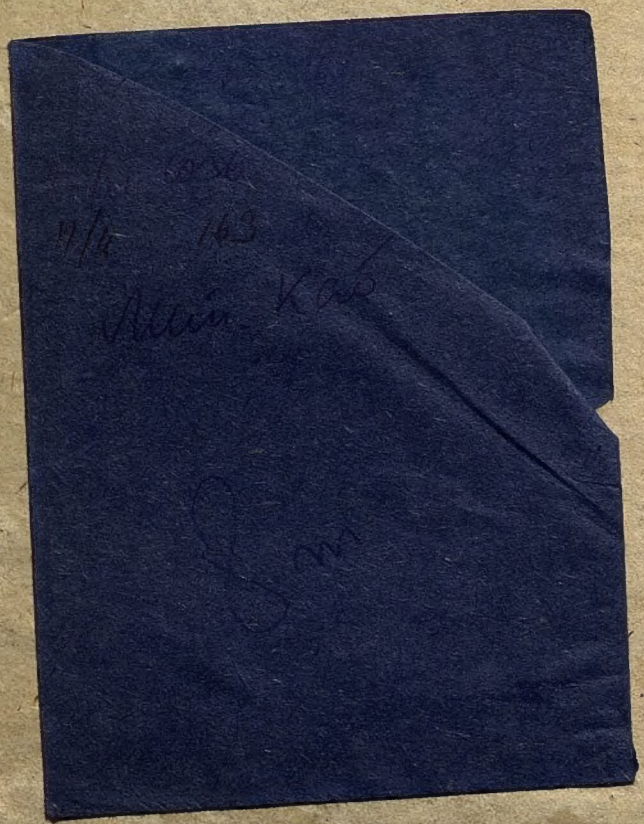
8 (ст)р 60012
Б-43

Белинский В. Г.

Полное собрание сочинений
Т. VIII.

8.



Пр. 1955 г.

Б. Лапин.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

60012

СОЧИНЕНІЙ

В. Г. БѢЛИНСКАГО.

Т 8.

Под редакцію Венгерова

Пр. 1955 г.

стр.

*498. Ханскій Чай. Сельск. водевиль. Соч. *Е. Алипанова*. . . . . —441
499. Русскій театръ въ Петербургѣ. . . . . 442—451
1. Мнимый Больной. Комедія, соч. *Мольера*, перед. съ франц. первое и второе дѣйствіе *Н. А. Полевого*, третье *В. Островскаго* . . . . . 445—446
2. Бриліантъ. Ком., перев. съ фр. . . . . 446—447
3. Друзья Журналисты, или Нельзя безъ Шарлатанства. Ком.-водевиль, перед. изъ *Скрибовой* Le Charlatanisme г-мъ *Л. Л.* 447
4. Дочь Адвоката, или Любовь Отца и Долгъ Гражданина. Драма, перев. съ фр. . . . . 447—448
5. Первая Морщинка. Комедія, перев. съ фр. 448
6. Мельничиха въ Марли, или Племянникъ и Тетушка. Водевиль, перев. съ фр. 449
7. Полковникъ Новыхъ Временъ, или Дѣвица-Кавалеристъ. Ком.-водевиль, нов. перев. съ фр. 449
8. Громкая Слава Женѣ не нужна. Комедія, перев. съ фр. . . 449—450
9. Здравствуйте Братцы, или Прощайте. Ком.-водев. перед. съ франц. . . . . 450—451
10. Сюрпризъ Дочкѣ или у страха глаза Велики. Шутка-водевиль. 451
*500. Сочиненія *Основьяненка*. Панъ Халявскій. . . . . 451—452
*501. Репертуаръ Русскаго Театра, изд. *И. Песоцкимъ*. Десятая и одиннадцатая книжка, за окт. и ноябрь. — Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ. Книжка девятая и десятая, за сент. и октябрь. . . . . 453—459
*502 Отрывки Изъ Прозаическихъ сочиненій Лучшихъ Россійскихъ (русскихъ) Писателей. Сост. учителями франц. яз. *І. Бераромъ* и *И. Журданомъ* 459
*503. Общая Реторика. *Н. Кошанскаго* 460
*504. Русская литература въ 1840 году . . . . . 461—502
*505. Утренняя Заря, альманахъ на 1841 годъ, изд. *В. Владиславлевымъ*. 502—512
506. Путеводитель въ Пустынѣ, или Озеро-Море. Романъ *Джемса Фенимора Купера*. Перев. съ англ. . . . . 512—514
*507. Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ. Часть IV. № IX, 514—518
*508. Цынъ-Кіу-Тонгъ (,) или три Добрыя Дѣла Духа Тьмы. Фант. романъ *Р. Зотова* . . . . . 519—524
*509. Труды Имп. Росс. Академіи . . . . . 524—525
*510. Піитическіе Опыты *Елисаветы Кульманъ* въ трехъ частяхъ . . 525—526
511. Портретная и Біографическая Галлерея Словесности, Художествъ и Искусствъ въ Россіи. 1. Пушкинъ и Брюловъ (Портреты *Соколова*) 527—529
*512. Памятникъ Искусствъ. . . . . 529—531
513. Русскій Театръ въ Петербургѣ
Александръ Македонскій. Историч. представл. соч. *М. М.* . 531—535
*514. Петербургскіе Критики и Русскіе Писатели . . . . . 535—536
*515. Басни *Ивана Хемницера* . . . . . 536—537
*516. Генералъ Каломеросъ. Романъ, соч. *А. Вельтмана*. . . . . 537 - 540
Примѣчанія къ V-му тому . . . . . 541—580

Приложеніе:

Портретъ Бѣлинскаго, изд. въ 1859 г. Мюнстеромъ.

Начало данной статьи находится в 5-м томе наст. изд. между стр. VI и 1.

народа» въ отношеніи къ грамматикѣ и языку, и на каждой страницѣ этого превосходнаго, но, къ сожалѣнію, по-сю-пору неконченнаго творенія, нашелъ по крайней мѣрѣ по десяти грубыхъ ошибокъ противъ грамматики и языка... Господа! не пора ли бросить эту старую замашку?.. У какого писателя нѣтъ ошибокъ противъ грамматики—да только чьей?—вотъ вопросъ! Карамзинъ самъ былъ грамматика, передъ которой всѣ ваши грамматики ничего не значатъ; Пушкинъ тоже стоитъ любой изъ вашихъ грамматикъ.

Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, раздѣлило на категоріи и литераторовъ и публику, пріобрѣло себѣ и жаркихъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ, на долгое время сдѣлалось предметомъ сужденій и споровъ общества; твореніе, которое прочтено и перечтено не только тѣми людьми, которые читаютъ всякую новую книгу или всякое новое произведеніе, сколько нибудь возбудившее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ нѣтъ ни времени, ни охоты читать стишки и сказочки, гдѣ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпѣніи разныхъ бѣдствій, и въ довольствѣ, почетѣ и счастіи проводятъ остальное время жизни; твореніе, которое, въ числѣ почти 3.000 экземпляровъ, все разошлось въ какіе-нибудь полгода,—такое твореніе не можетъ не быть неизмѣримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можетъ не произвести важнаго вліянія на литературу.

Полное собраніе стихотвореній покойнаго Лермонтова вышло въ послѣдней половинѣ декабря прошлаго года и должно быть причислено къ литературнымъ явленіямъ новаго года.

Сборниками стихотвореній прошлый годъ очень небогатъ. Самымъ лучшимъ и пріятнѣйшимъ явленіемъ въ этомъ родѣ, безъ всякаго сомнѣнія, была книжка «Стихотвореній Аполлона Майкова». Этотъ молодой поэтъ одаренъ отъ природы живымъ сочувствіемъ къ эллинской музѣ; онъ овладѣлъ всею полнотою, всею свѣжестію и роскошью антологическаго созерцанія, пластическою художественностью антологическаго стиха,—такъ что антологическія стихотворенія г. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но еще едва ли и не превосходятъ ихъ. Это большое пріобрѣтеніе для русской поэзіи, важный фактъ въ исторіи его развитія. Но жаль было бы, еслибъ только на этомъ остановился г. Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши,—не болѣе, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэтѣ. Ихъ можно сравнить съ ножкою Психеи, рукою Венеры, головою Фавна, превосходно высѣченными изъ мрамора. Конечно, превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь или головка, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необыкновенныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства; но еще не составляетъ скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдѣлать ножку, ручку, грудь или головку далеко не то, что создать цѣлую статую. Сверхъ того исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко невполнѣ понятому), безъ вся-

БИБЛИОТЕКА ... ГОСУДАРСТВЕННОГО ... ИНСТИТУТА им. А. М. ГОРЬКОГО

каго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣл... великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому ... должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, теряет... свою цѣну. Итакъ, мы желали бы, чтобы г. Майковъ или передался осноВательному и обширному изученію древности и передавалъ на русскій языкъ, своимъ дивнымъ стихомъ, вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или пріобрѣлъ въ тайникѣ духа своего тѣ сердечныя, задушевныя вдохновенія, на которыя радостно и привѣтливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторить здѣсь уже сказаннаго нами въ статьѣ о стихотвореніяхъ г. Майкова [17]), что почти всѣ его неантологическія стихотворенія пока еще не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго. Намъ было бы очень пріятно ошибиться въ этомъ приговорѣ, и мы первые вспомнили бы съ радостію о своей ошибкѣ, если бъ г. Майковъ подарилъ русскую публику такими стихотвореніями, которыя обнаружили бы въ немъ столь же примѣчательнаго и столь же много обѣщающаго въ будущемъ *современнаго* поэта, сколько и *антологическаго*. Антологическая муза г. Майкова не ослабѣла ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, и послѣ выхода книжки его стихотвореній публика прочла въ «Отеч. Запискахъ» и «Библіотекѣ для Чтенія» нѣсколько прелестнѣйшихъ его стихотвореній въ любимомъ его антологическомъ родѣ, но они уже не возбудили въ ней прежняго восторга. А между тѣмъ—повторяемъ—они такъ же прекрасны, какъ и прежнія, въ доказательство чего достаточно привести изъ нихъ слѣдующее—«Барельефъ»:

Вотъ безжизненный отрубокъ
Серебра: стопи его
И вмѣстительный мнѣ кубокъ
Слей искусно изъ него.
Ни кипридиныхъ голубокъ,
Ни медвѣдицъ, ни плеядъ,
Не лѣпи по стѣнкамъ длиннымъ:
Нарисуй въ саду пустынномъ,
Между розъ, толпы менадъ,
Выжимающихъ созрѣлый,
Налитой и пожелтѣлый
Съ пышной вѣтви виноградъ:
Вкругъ сидятъ умно и чинно
Дѣти передъ бочкой винной:
Фавны съ хмелемъ на челѣ,
Вакхъ подъ тигровою кожей,
И Силенъ румянорожій
На споткнувшемся ослѣ.

За то, вотъ еще одно изъ послѣднихъ стихотвореній г. Майкова, доказывающихъ, что чуть только выйдетъ онъ изъ сферы антологическаго созерцанія, какъ изъ его стихотворенія тотчасъ же ничего не выйдетъ

Море бурно, небо въ тучахъ.
Онъ примчался на конѣ
Прямо къ брызгамъ водъ кипучихъ,
«Старый! челнъ скорѣе мнѣ!»

И старикъ *затылокъ чешетъ*...
— «Плохо будетъ, господинъ!
Полно *баринъ* (?!) *бъса тъшитъ* (??!!..).
Нашихъ въ моръ не одинъ (?).

«Пусть ихъ гибнутъ! Подъ водою
Рыбѣ рыбьи и гроба!
Знай, я Цезарь: а со мною,
Мнѣ послушна и судьба!»

Странная фантазія — свести Цезаря съ русскимъ мужикомъ и заставить его объясняться до такой степени посредственными стихами...

«Сумерки», маленькая книжка г. Баратынскаго, заключающая въ себѣ едва-ли не послѣднія стихотворенія этого поэта, тоже принадлежитъ къ немногимъ примѣчательнѣйшимъ явленіямъ по части поэзіи въ прошломъ году. По поводу ея мы въ послѣдней книжкѣ «Отеч. Записокъ» обозрѣли всю поэтическую дѣятельность г. Баратынскаго [17-а]). Теперь же прибавимъ только, что едва-ли это и дѣйствительно не послѣднія стихотворенія знаменитаго поэта: вотъ пьеса изъ «Сумерекъ», доказывающая это:

На что вы, дни? юдольный міръ явленья
Свои не измѣнитъ!
Всѣ вѣдомы и только повторенья
Грядущее сулитъ.

Недаромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безсмертная душа!

И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно
Безсмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ
Безъ нужды ночь смѣня;
Какъ въ мракъ холодный вечеръ канетъ,
Вѣнецъ пустаго дня!

Страшно чувство, которымъ внушено это выстраданное стихотвореніе! не обѣщаетъ оно новыхъ и живыхъ вдохновеній; и лучше совсѣмъ не писать поэту, чѣмъ писать такія, напр., стихотворенія:

Сначала мысль воплощена
Въ поэму сжатую поэта,
Какъ дѣва юная *темна*
Для невниматсльнаго свѣта,
Потомъ осмѣлившись, она
Уже увертлива, рѣчиста,
Со всѣхъ сторонъ своихъ видна,
Какъ искушенная жена,
Въ свободной прозѣ романиста;
Болтунья старая, затѣмъ
Она, подъемля крикъ пахальный,
Плодитъ въ полемикѣ журнальной
Давно ужъ вѣдомое всѣмъ.

Что это такое? неужели стихи, поэзія, мысль?..

Вышедшая въ прошломъ же году маленькая книжечка стихотвореній Полежаева, подъ названіемъ: «Часы выздоровленія», подала намъ поводъ, въ отдѣльной критической статьѣ, обозрѣть всю поэтическую дѣятельность этого замѣчательнаго поэта [17-б]).

Первая часть стихотвореній г. Бенедиктова, изданная въ 1835 году, достигла второго изданія въ прошломъ 1842 году. Наше мнѣніе объ этомъ поэтѣ извѣстно публикѣ.

Чтобъ не возвращаться болѣе къ стихамъ, скажемъ теперь же и о тѣхъ, которыми наполнялись журналы наши въ-продолженіе прошлаго года. Въ «Отечеств. Запискахъ» съ начала года и до отпечатанія вышедшаго теперь полнаго собранія стихотвореній Лермонтова, были помѣщены (кромѣ слѣдующихъ пьесъ, не принадлежащихъ къ лучшимъ произведеніямъ Лермонтова: *Сосна*, *Ты помнишь ли*, *Умирающій гладіаторъ*, *Два великана*, *Въ альбомъ автору «Курдюковой»*, *М. П. Соломирской*) драгоцѣннѣйшіе перлы созданій этого поэта: *На свѣтскія цѣпи*, *Сосѣдка*, *Договоръ*, отрывки изъ поэмы *Демонъ*, поэма *Боярин Орша*, и лучшее, самое зрѣлое изъ всѣхъ его произведеній—*Сказка для дѣтей*. Въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отеч. Записокъ» были напечатаны два стихотворенія покойнаго Кольцова: въ этой книжкѣ печатаются нѣкоторыя изъ *послѣднихъ* его стихотвореній... Стихотвореніями г. Огарева постоянно украшались исключительно «Отеч. Записки». Стихотворенія г. Майкова являлись и въ «Отеч. Запискахъ» и въ «Библіотекѣ для Чтенія». Стихотворенія г. Фета печатались и въ «Отеч. Запискахъ» и въ «Москвитянинѣ». Къ замѣчательнѣйшимъ стихотворнымъ пьесамъ прошлаго года принадлежитъ напечатанное въ 7 № «Отеч. Записокъ» стихотвореніе г. Л. П. «Петръ Великій» [18]).

Вообще, прошлый годъ былъ небогатъ стихами, а будущій—это можно сказать смѣло, будетъ еще бѣднѣе... Лермонтова уже нѣтъ, а другого Лермонтова не предвидится... хоть совсѣмъ не пиши стиховъ... И ихъ, въ самомъ дѣлѣ, пишутъ или, по крайней мѣрѣ, печатаютъ теперь меньше. Столичные поэты сдѣлались какъ-то умѣреннѣе—отъ того ли, что одни уже по-

выписались, а другіе догадались, что стихи должны быть слишкомъ и слишкомъ хороши, чтобъ ихъ стали теперь читать, не только хвалить... За то господа провинціальные поэты годъ отъ году становятся неутомимѣе. Публика ничего не знаетъ о ихъ пламенномъ усердіи къ дѣлу истребленія писчей бумаги; но журналисты—увы!—слишкомъ знаютъ это и дорого платятъ за это знаніе—платятъ деньгами за доставленіе къ нимъ на домъ этихъ страшныхъ пакетовъ, платятъ временемъ, скукою и досадою, прочитывая эти груды рифмованнаго вздору...

Теперь обратимся къ прозѣ по части изящной словесности. Г. Загоскинъ каждый годъ даритъ публику новымъ романомъ; не знаемъ, какимъ новымъ романомъ обрадуетъ онъ ее въ 1843 году, а въ 1842 году онъ утѣшилъ ее «Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ». Собственно, это не романъ, а повѣсть, до того мѣстами растянутая, что изъ нея вытянулся романъ въ четырехъ частяхъ, т. е. въ четырехъ маленькихъ книжкахъ, красиво и разгонисто-напечатанныхъ. Въ «Мирошевѣ» тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличались всѣ прежніе романы г. Загоскина: т. е., съ одной стороны, истинно-русское радушіе и хлѣбосольство, съ какимъ почтенный авторъ угощаетъ читателя издѣліями своей фантазіи, доброадушное восхищеніе созданными имъ характерами слугъ, дядекъ и мамокъ, добродушная увѣренность, что добродѣтельные люди въ его романѣ—точно добродѣтельны, а злодѣи—не шутя злодѣи; мѣстами веселенькія сцены въ забавномъ родѣ, вездѣ искреннее увлеченіе въ пользу старины и ея немножкодикихъ для нынѣшняго времени понятій, гладкій, пловучій слогъ; съ другой стороны, бѣдность содержанія, отсутствіе идеи, повтореніе того, что читатель знаетъ уже по прежнимъ романамъ автора.—«Альфъ и Альдона» г. Кукольника обнаружили было большія претензіи на титло исторически-поэтическаго романа; но историческая часть въ этомъ романѣ похожа на сказочную, а поэтическая—на самую скучную и вялую прозу. Одна изъ четырехъ частей «Альфа и Альдоны» больше всѣхъ четырехъ частей «Мирошева»; но «Мирошевъ» былъ прочитанъ до конца всѣми, кто только рѣшался его читать, а «Альфъ и Альдона» испугалъ читателей на половинѣ же первой части, и остался недочитаннымъ [19]). Но неутомимый г. Кукольникъ этимъ не удовольствовался—и тиснулъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» новый романъ свой «Дурочка Луиза». Этотъ романъ—близнецъ съ «Эвелиною де Вальероль»: тамъ пружиною всѣхъ дѣйствій служитъ цыганъ Гойко, здѣсь жидъ Бенке, тамъ множество лицъ, такъ похожихъ одно на другое, что и отличить нельзя—и здѣсь то же; разница въ томъ, что тамъ скучно, а здѣсь скучнѣе, тамъ еще на что нибудь похоже, а здѣсь ни на что не похоже. Героиня романа—дурочка Луиза, еще довольно похожа на дурочку—умною ее дѣйствительно никто не назоветъ; но курфирстъ Фридрихъ-Вильгельмъ изображенъ какимъ-то сантиментальнымъ повѣреннымъ въ любовныхъ тайнахъ своихъ приближенныхъ, всеобщимъ сватомъ и отцомъ-посаженымъ, и только мимоходомъ силится

авторъ выказать его героемъ и великимъ государемъ. Вообще, сантиментальность, приторная, сладенькая, составляетъ главный характеръ этой безсвязной, пустой по содержанію, натянутой въ изображеніи характеровъ сказки. Теперь того только и ждемъ, что «Дурочка Луиза» появится отдѣльною книжкою въ двухъ частяхъ; но мы рады, что заблаговременно отдѣлались отъ нея.— Какими романами еще ознаменовался 1842 годъ?—«Два Призрака», «Сердце Женщины», «Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ», «Любовь Музыканта», вновь изданные романы г. Калашникова: «Дочь Купца Жолобова» и «Камчадалка» «Московская сказка о Чудѣ Поганомъ», «Козелъ-Бунтовщикъ», «Грошевый Мертвецъ», «Гуакъ, рыцарская повѣсть» и пр., и пр. Все это едва ли принадлежитъ къ какой нибудь литературѣ, и еще менѣе къ той, которой характеръ опредѣляли мы въ началѣ статьи... Что дѣлать? У каждаго дома бываетъ два двора, передній и задній; у каждой литературы двѣ стороны— лицевая и изнанка...

На повѣсти 1842 годъ былъ счастливѣе, чѣмъ на романы. Въ «Москвитянинѣ» было напечатано начало новой повѣсти Гоголя «Римъ», равно изумляющее и своими достоинствами, и своими недостатками. Въ «Современникѣ» была помѣщена уже извѣстная, но передѣланная вновь повѣсть Гоголя «Портретъ», отличающаяся нѣкоторыми превосходно-концепированными и отдѣланными подробностями, и неудачная въ цѣломъ. Графъ Соллогубъ напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Медвѣдь», которая заставляетъ искренно сожалѣть, что ея даровитый авторъ такъ мало пишетъ. «Медвѣдь» не есть что нибудь необыкновенное и, можетъ быть, далеко уступитъ въ достоинствѣ «Аптекаршѣ», повѣсти того же автора; но въ «Медвѣдѣ» образованное и умное эстетическое чувство не можетъ не признать тѣхъ характеристическихъ чертъ, которыми мы, въ началѣ этой статьи, опредѣлили послѣдній періодъ русской литературы. Отличительный характеръ повѣстей графа Соллогуба состоитъ въ чувствѣ достовѣрности, которое охватываетъ всего читателя, къ какому бы кругу общества ни принадлежалъ онъ, если только у него есть хоть немного ума и эстетическаго чувства: читая повѣсть графа Соллогуба, каждый глубоко чувствуетъ, что изображаемые въ ней характеры и событія возможны и дѣйствительны, что они—вѣрная картина дѣйствительности, какъ она есть, а не мечты о жизни, какъ она не бываетъ и быть не можетъ. Графъ Соллогубъ часто касается, въ своихъ повѣстяхъ, большого свѣта, но хоть онъ и самъ принадлежитъ къ этому свѣту, однакожь повѣсти его тѣмъ не менѣе—не хвалебные гимны, не апоѳеозы, а безпристрастно вѣрныя изображенія и картины большого свѣта. Здѣсь кстати замѣтить, что страсть къ большому свѣту—что-то въ родѣ болѣзни въ русскомъ обществѣ: всѣ наши сочинители такъ и рвутся изображать въ своихъ романахъ и повѣстяхъ большой свѣтъ. И, надо сказать, ихъ усилія не остаются тщетными: въ повѣстяхъ графа Соллогуба только немногіе узнаютъ большой свѣтъ, а большая часть публики видитъ его въ романахъ и повѣстяхъ именно тѣхъ

сочинителей, для которыхъ большой свѣтъ истинная terra incognita, истинная Атлантида до открытія Америки Колумбомъ, и которые рисуютъ большой свѣтъ по своему идеалу, добродушно вѣруя въ сходство аляповатаго списка съ невиданнымъ оригиналомъ. Такъ, недавно, въ одномъ журналѣ романъ «Два Призрака» торжественно объявленъ произведеніемъ человѣка, принадлежащаго къ большому свѣту и знающаго его. Всѣ толкуютъ о свѣтскости,—и пьеса Гоголя падаетъ на Александринскомъ театрѣ, а «Комедія о войнѣ Ѳедосьи Сидоровны съ Китайцами» и «Русская Боярыня XVII столѣтія» возбуждаютъ фуроръ въ записныхъ посѣтителяхъ того же театра,—и все по причинѣ «свѣтскости»... А между тѣмъ, дѣло кажется такъ очевиднымъ: стоило бы только сравнить, напр., повѣсти графа Соллогуба съ романами и повѣстями нашихъ «свѣтскихъ» сочинителей, чтобъ окончательно рѣшить вопросъ о дѣлѣ, къ которому такъ многіе и такъ напрасно считаютъ себя прикосновенными...

Простота и вѣрное чувство дѣйствительности составляютъ неотъемлемую принадлежность повѣстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношеніи, теперь, послѣ Гоголя, онъ первый писатель въ современной русской литературѣ. Слабая же сторона его произведеній заключается въ отсутствіи личнаго (извините—субъективнаго) элемента, который бы все проникалъ и оттѣнялъ собою, чтобъ вѣрныя изображенія дѣйствительности, кромѣ своей вѣрности, имѣли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одною вѣрностію дѣйствительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредитъ успѣху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задушевности, какъ признаковъ горячихъ убѣжденій, глубокихъ вѣрованій.

Болѣе субъективности, но менѣе такта дѣйствительности, менѣе зрѣлости и крѣпости таланта, чѣмъ въ повѣстяхъ графа Соллогуба, видно въ повѣстяхъ г. Панаева. Вообще, г. Панаевъ гораздо болѣе обѣщаетъ въ будущемъ, нежели сколько исполняетъ въ настоящемъ. Что то нерѣшительное, колеблющееся и неустановившееся замѣтно и въ его созерцаніи, какъ идеальной сторонѣ его повѣстей, и въ ихъ практическомъ выполненіи; каждая новая повѣсть его далеко оставляетъ за собою всѣ прежнія: очевидное доказательство таланта замѣчательнаго, но еще не опредѣлившагося. Въ прошломъ году онъ напечаталъ только одну повѣсть «Актеонъ» въ «Отеч. Запискахъ», которая возбудила живѣйшее вниманіе и интересъ со стороны публики, и далеко оставила за собою всѣ прежнія его повѣсти, также, какъ и «Барыня», написанная имъ незадолго передъ «Актеономъ», далеко оставила за собою всѣ другія, прежде ея написанныя. Вѣроятно, чувство своей неопредѣленности препятствуетъ г. Панаеву писать столько, сколько отъ его таланта вправѣ ожидать публика: въ такомъ случаѣ, самый недостатокъ въ дѣятельности заслуживаетъ уваженія, какъ залогъ будущей многоплодной дѣятельности.

Три новыя повѣсти напечатаны въ прошломъ году даровитою и безвременно угасшею г-жею Ганъ (Зенеидою Р—вою): «Напрасный Даръ» и «Любонька» въ «Отеч. Записках» и «Ложа въ Одесской Оперѣ»—въ «Дагеротипѣ». «Любонька» принята публикою съ восторгомъ, въ которомъ не должно мѣшать ей оставаться; «Напрасный даръ», сверкающій искрами высокаго таланта, хотя и невыдержанный въ цѣломъ, восхитилъ только немногихъ: такова участь всѣхъ произведеній, въ которыхъ, при блескахъ яркаго вдохновенія, есть что-то недоговоренное, какъ бы неравное самому-себѣ. Въ такомъ случаѣ, чѣмъ сильнѣе и выше взмахъ, тѣмъ недоступнѣе для всѣхъ и каждаго внутреннее значеніе произведенія: толпа видитъ одни внѣшніе недостатки... «Ложа въ Одесской Оперѣ» принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ г-жи Ганъ. Впрочемъ, по выходѣ полнаго собранія ея сочиненій мы скоро будемъ имѣть случай подробно изложить наше мнѣніе объ этой необыкновенно-даровитой писательницѣ [20]).

Г. Кукольникъ напечаталъ въ прошломъ году нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ двѣ заслуживаютъ почетнаго упоминовенія: «Благодѣтельный Андроникъ, или романическіе характеры стараго времени» (въ «Библіотекѣ для Чтенія») и «Позументы» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»). Содержаніе обѣихъ этихъ повѣстей взято талантливымъ авторомъ изъ эпохи Петра-Великаго. Мы уже не разъ имѣли случай говорить о неподражаемомъ мастерствѣ, съ какимъ г. Кукольникъ изображаетъ, въ своихъ повѣстяхъ, нравы этого интереснѣйшаго момента русской исторіи, и, вѣрные нашему правилу—sui quique, не разъ отдавали должную справедливость достоинству повѣстей г. Кукольника въ этомъ, посчастливившемся ему, родѣ. Еслибъ г. Кукольникъ издалъ отдѣльно эти повѣсти, разсѣянныя въ журналахъ и альманахахъ,—онѣ имѣли бы большой, и притомъ заслуженный, успѣхъ въ публикѣ. Не понимаемъ, что за охота ему, вмѣсто того, что такъ сродно его таланту, тратить время и бумагу на романы и повѣсти, въ которыхъ онъ изображаетъ страны, имъ невиданныя, и эпохи, знаемыя имъ только по изученію и какому-то отвлеченному представленію?..—Ужъ если писать романъ, не лучше ли писать его изъ временъ столь живо и ясно присутствующихъ въ созерцаніи автора... Г. А. Н. (авторъ «Звѣзды» и «Цвѣтка») напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть—«Живая Картина» (въ «Отеч. Записках»), впрочемъ, уступающую въ достоинствѣ прежнимъ его повѣстямъ. Г. Вельтманъ помѣстилъ въ «Библіотекѣ для Чтенія» весьма занимательный и живо-написанный разсказъ «Карьера», которому, впрочемъ, какъ типическому очерку, приличнѣе было бы явиться въ «Нашихъ». Казакъ Луганскій напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Савелій Грабъ или Двойникъ» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»; въ библіографической хроникѣ этой книжки «Отеч. Записокъ» читатели найдутъ нашъ отзывъ объ этой повѣсти.—Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ повѣсть графа Растопчина «Охъ, Французы!» (въ «Отеч. Записках»). Въ этой повѣсти

совсѣмъ нѣтъ никакихъ Французовъ, но зато она сама есть вѣрное зеркало нравовъ старины и дышетъ умомъ и юморомъ того времени, котораго знаменитый авторъ былъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ представителей.—Юмористическія статьи, печатавшіяся въ «Нашихъ», всѣ болѣе или менѣе замѣчательны по ихъ стремленію—быть выраженіемъ дѣйствительности, а не пустыхъ фантазій.

Вотъ и полный бюджетъ всего, что было самаго замѣчательнаго по части повѣстей въ прошломъ году. Немного, очень немного, но, какъ сказалъ поэтъ:

Быть такъ—спасибо и за то!

Изъ сборниковъ, самымъ примѣчательнѣйшимъ былъ «Утренняя заря», альманахъ г. Владиславлева. «Утренняя Заря» на нынѣшній 1843 годъ, по содержанію, гораздо-выше всѣхъ предшествовавшихъ годовъ. Еслибъ въ этомъ альманахѣ была только одна статья покойнаго генерала М. Ѳ. Орлова «Капитуляція Парижа», а все остальное не превышало посредственности,—и тогда бы онъ былъ замѣчательнымъ явленіемъ, но въ «Утренней зарѣ», кромѣ превосходной во всѣхъ отношеніяхъ статьи М. Ѳ. Орлова, есть еще повѣсть графа Соллогуба, о которой мы говорили выше, большое стихотвореніе Лермонтова и два очень интересные разсказа гг. Кукольника и Гребенки.—Третій томъ «Русской Бесѣды», вышедшій въ прошломъ году, не оправдалъ ожиданій публики: онъ состоялъ изъ разнаго хлама нѣкоторыхъ старыхъ и уже выписавшихся сочинителей, которые были рады куда нибудь сбросить жалкіе плоды своихъ старыхъ досуговъ, и разныхъ новыхъ сочинителей, которые рады были, что наконецъ нашли пріютъ своимъ литературнымъ уродцамъ и недоноскамъ.—«Альманахъ въ память 200-лѣтняго юбилея Александровскаго университета» былъ изданъ по случаю и содержитъ въ себѣ нѣсколько интересныхъ статей, относящихся къ странѣ и событію, которое было причиною его появленія.

Роскошныя изданія болѣе и болѣе входятъ въ обычай въ нашей литературѣ. Успѣхъ «Нашихъ» возбудилъ и въ другихъ охоту издавать нѣчто въ томъ же родѣ, подъ названіемъ «Картинокъ русскихъ нравовъ», которыя, какъ красивенькія игрушки, имѣютъ свое достоинство, но какъ книги—никакого, ибо это сборъ или стараго, давно извѣстнаго, или новые пустяки, на скорую руку намазанные для такого казуса. Успѣхъ изданной г. Семененко-Крамаревскимъ «Исторіи Наполеона», съ политипажами картинъ Ораса Верне, породилъ компиляцію г. Ламбина, съ чудовищными политипажами работы плохихъ рисовальщиковъ, и «Исторію Суворова» г. Полевого — нѣчто въ родѣ обыкновенной компиляціи съ посредственными по изобрѣтенію и довольно недурными по выполненію политипажами; и еще другую исторію Суворова, которая грозитъ скоро появиться... «Театральный Альбомъ» — истинно великолѣпное изданіе, имѣетъ свое значеніе и

идетъ своимъ путемъ. Доселѣ вышло его два выпуска. «Константинополь и Турки» тоже принадлежитъ къ хорошимъ и полезнымъ изданіямъ съ картинками. «Картины Русской Живописи» представляютъ собою изданіе, заслуживающее вниманія и участія публики. Къ такого же рода изданіямъ должно отнести и «Архитектурныя Фантазіи» г. Шрейдера. Великолѣпное изданіе «Робинзона Крузо», Даніеля Дефо, съ рисунками Гранвиля въ переводѣ съ англійскаго г. Корсакова, принадлежитъ къ числу дѣйствительно роскошныхъ и полезныхъ книгъ.

Шумно затѣянный какими-то молодыми людьми переводъ всѣхъ сочиненій Гете остановился на второмъ выпускѣ. Едва ли кто пожалѣетъ о прекращеніи этой дѣтской затѣи. Напротивъ, переводъ «Шекспира», предпринятый г. Кетчеромъ, хотя не быстро, но тѣмъ не менѣе прочно подвигается впередъ. Прошлый годъ оставилъ его на десятомъ выпускѣ: Драматическія хроники Шекспира уже кончены, и скоро появится «Комедія Ошибокъ» и «Макбетъ». Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности почти не о чемъ и упомянуть, кромѣ того, о чемъ мы уже говорили, приступая къ этому обозрѣнію. Можно только вспомнить развѣ о второй части «Парижа въ 1838 и 1839 годахъ» г. В. Строева; впрочемъ, эта вторая часть вышла вмѣстѣ съ первою, напечатанною въ 1841 году... Не-уже-ли говорить о «Комарахъ», «Снопахъ», о «Дагеротипахъ» и тому подобныхъ плевелахъ на полѣ русской литературы? Если еще можно о чемъ упомянуть здѣсь кстати, такъ развѣ о «Драматическихъ Сочиненіяхъ и Переводахъ» г. Полеваго, и то для того только, чтобъ замѣтить, что наша драматическая литература составляетъ какую-то особую сферу внѣ русской литературы. Геній ея — г. Кукольникъ; ея первоклассные таланты — гг. Полевой и Ободовскій; за ними идетъ уже мелочь...

Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ серьезнаго содержанія нельзя не упомянуть о слѣдующихъ: «Кесари» Шампаньи (Неронъ); «Римскіе Папы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII столѣтіяхъ» (послѣдняя изъ этихъ книгъ столь же дурно переведена, сколько первая хорошо); «Политическая и военная Жизнь Наполеона» (часть 6 и послѣдняя); «Юридическія Записки» г. Рѣдкина (томъ II); «Всеобщая Географія Бланка» (томъ I; переводъ небреженъ, изданіе неопрятно); «Сочиненія Платона» (т. II); «Филологическія наблюденія протоіерея Г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка» (три части); «Замѣчанія объ Осадѣ Троицкой Лавры»; «Записки Данилова» (любопытнѣйшая картина нравовъ русскаго общества за сто лѣтъ предъ симъ); «Записки Нащокина», изд. Языковымъ, съ примѣчаніями издателя; «Священная Исторія» (автора «Путешествія по Святымъ Мѣстамъ»); «Историческое Описаніе Одеждъ и Вооруженія Россійскихъ Войскъ» съ превосходно налитографированными рисунками—одно изъ тѣхъ монументальныхъ изданій, какія могутъ предприниматься, особенно у насъ, только развѣ правительствомъ. Текстъ этого превосходнаго творенія—трудъ г. Висковатова.

Вышли вторымъ изданіемъ «Сказанія Князя Курбскаго». Пятое изданіе (компактное, въ 4 томахъ) «Исторіи Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, было бы истиннымъ подвигомъ со стороны издателя, еслибъ дешевизна изданія соотвѣтствовала его красотѣ, изяществу, удобству и полнотѣ.

Теперь слова два о журналахъ. Кромѣ исчисленныхъ выше сочиненій по части изящной словесности, въ «Отеч. Запискахъ» были помѣщены еще слѣдующія: «Бѣснующіеся. Орлахская Крестьянка», князя Одоевскаго, помѣщающаго статьи свои подъ псевдонимомъ *Безгласнаго*; «Сеня», повѣсть г. Гребенки; «Ямщикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера», драматическая картина въ одномъ дѣйствіи, графа Соллогуба. Изъ переводныхъ статей по части изящной словесности — романъ Диккенса «Бэрнеби Роджъ», романъ Жоржа Занда «Орасъ», повѣсть ея же «Мельхіоръ», повѣсти и романы Эли Берте «Соколъ», Фредерика Сульé «Маргарита», Огюста Арну «Колесо Фортуны», Артюра Дюдлэ «Красная Звѣзда», и испанская драма, переведенная съ подлинника: «Никто кромѣ Короля». По части наукъ и искусствъ, публикою, вѣроятно, были замѣчены статьи: «Гёте» г. Липперта, «Коперникъ» Д. М. Перевощикова, «Система Желѣзныхъ Дорогъ въ Германіи» Фридриха Листа, «Изъ Записокъ Оренбургскаго Старожила», разсказъ и повѣствованіе, касающіяся Афганистана, В. И. Даля, «Осада Силистріи въ 1828 году» и «Дунайская Экспедиція 1829 года», П. Н. Глѣбова, «Выставка Санктпетербургской Академіи Художествъ въ 1842 году» В. П. Б—на, «Леченіе Болѣзней Искусствомъ и Натурою» (—п— —о—) и пр. По части домоводства, сельскаго хозяйства и промышленности вообще: статьи Пензенскаго Земледѣльца, статью Русскаго Помѣщика (XI книжка) «Замѣчанія на статью г. Хомякова о Сельскихъ Условіяхъ», «О Пьянствѣ въ Россіи» Н. Б. Герсеванова и пр. Такъ какъ критическія статьи всегда бываютъ выраженіемъ мнѣнія самой редакціи, то мы можемъ назвать, въ отдѣлѣ критики нашего журнала, интересными статьями только статьи гг. Герсеванова и Мордвинова о Сибири и г-на Галахова о грамматикахъ г. Перевлѣскаго, какъ доставленныя въ редакцію отъ посторонніхъ сотрудниковъ; а нѣкоторыя изъ прочихъ почитаемъ себя вправѣ поименовать, предоставляя самой публикѣ судить о ихъ достоинствѣ или недостаткахъ: «Русская литература въ 1841 году», «Стихотворенія Аполлона Майкова», «Руководство къ Всеобщей Исторіи Фридриха Лоренца», «Стихотворенія Полежаева», «Кесари Ф. де Шампаньи», «Рѣчь о Критикѣ, профессора А. В. Никитенко» (три статьи), «Объясненіе на Объясненія по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя души», «Стихотворенія Баратынскаго» и пр. Равнымъ образомъ, мы имѣемъ право, не нарушая скромности, сказать, что библіографическая хроника въ «Отеч. Запискахъ» всегда была живою современною лѣтописью русской литературы; въ ней не пропущено ни одной книги, изданной въ Россіи на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, и потому полнотою она превосходитъ всѣ подобные отдѣлы въ другихъ журналахъ. Въ

отдѣлѣ «Иностранной Литературы» редакція всегда старалась представлять своимъ читателямъ по возможности полную картину современныхъ литературъ Франціи, Англіи и Германіи. Въ Смѣси читатели наши находили подробный отчетъ о русской драматической литературѣ и много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ достаточно указать на рядъ статей подъ рубрикою «Поѣздка въ Китай», которыя будутъ продолжаться и въ нынѣшнемъ году [21])

Судить о духѣ и направленіи «Отеч. Записокъ», характерѣ критики, сравнительно съ критикою другихъ журналовъ,—предоставляемъ публикѣ.

«Библіотека для чтенія» дебютировала, въ своей первой книжкѣ за прошлый годъ, *второю* частію повѣсти барона Брамбеуса «Идеальная Красавица, или Дѣва Чудная», которой первая часть была напечатана въ послѣдней книжкѣ «Б. для Ч.» за 1841 годъ. При первой части было замѣчено, что повѣсть выйдетъ въ 1843 году вполнѣ и отдѣльно. Не знаемъ, съ нетерпѣніемъ ли ждетъ публика выхода окончанія «Дѣвы Чудной», или, подобно намъ, вовсе не ждетъ ея; но знаемъ, что повѣсть скучна и незанимательна, и что въ ней нѣтъ никакой повѣсти, есть только длинныя разглагольствованія о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Кромѣ «Дѣвы Чудной», въ «Б. для Ч.» прошлаго года были напечатаны и еще двѣ повѣсти, тоже, кажется, барона Брамбеуса: «Паденіе Ширванскаго Царства» и «Лукій, или первая повѣсть». Первая очень потѣшна, а вторая — довольно неудачное искаженіе извѣстной сказки Апулея «Золотой Оселъ», переведенной по-русски Ермиломъ Костровымъ, еще въ 1780 году, подъ титуломъ: «Луція Апулея платонической секты Философа превращеніе, или Золотой Оселъ. Перевелъ съ латинскаго Императорскаго Московскаго Университета баккалавръ Ермилъ Костровъ. Въ Москвѣ въ Университетской Типографіи у Н. Новикова, 1780 года». Кромѣ этихъ повѣстей, «Дурочки Луизы», «Благодѣтельнаго Андроника» г. Кукольника и «Карьеры» г. Вельтмана, въ «Б. для Ч.» прошлаго года находятся еще: «Три Жениха», итальянская повѣсть г. Каменскаго, «Закубанскій Харамзадѣ», отрывокъ изъ романа псевдонима Хамаръ-Дабанова, не лишенный нѣкотораго интереса, и «Мамзель Бабетъ и ея Альбомъ» г. С. Побѣдоносцева, тоже отрывокъ изъ большого сочиненія, но представляющій собою нѣчто цѣлое—родъ юмористическаго очерка, игриво написаннаго, которому настоящее мѣсто было бы въ «Нашихъ», ибо это совсѣмъ не повѣсть. Изъ отдѣла «Иностранной Словесности» въ «Б. для Ч.» замѣчательна драма Бернара фон-Бескова «Густавъ-Адольфъ», переведенная съ шведскаго г. В. Дерикеромъ. Это одно изъ прекраснѣйшихъ, возвышеннѣйшихъ и благороднѣйшихъ созданій скандинавской музы, въ которомъ просто, но вѣрно и рельефно воспроизведенъ историческій образъ рыцарственнаго короля Швеціи—утѣшенія и чести человѣчества, славы и гордости XVII вѣка. Жалѣемъ, что время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться объ этомъ произведеніи. Чтобъ познакомить нѣсколько съ его духомъ и пафосомъ, выпишемъ

нѣсколько строкъ. Оксеншіерна отговариваетъ Густава-Адольфа отъ союза съ Франціею и вообще отъ вмѣшательства въ дѣла Германіи. «Теперь (говоритъ Оксеншіерна) вся Германія пылаетъ, какъ Гекла, и выбрасываетъ раскаленные каменья въ сосѣднія страны. Но большая часть этихъ изверженій все-таки падаетъ назадъ въ горящее жерло. Вулкана не погасишь онъ самъ долженъ выгорѣть. Этого требуетъ природа». Густавъ-Адольфъ отвѣчаетъ своему министру и другу: «Но спасти изъ лавы что возможно велитъ человѣколюбіе. Землетрясеніе—біеніе сердца земли. Времена тоже страждутъ этою болѣзнью. Цѣлыя поколѣнія гибнутъ для спасенія другихъ поколѣній. И когда, въ эту бурю, ударитъ священный набатъ, каждый, въ комъ есть благородное мужество, спѣшитъ въ бой за правое дѣло. Мы пойдемъ, будемъ биться, и если падемъ, то новая рать, съ новыми знаменами, пойдетъ по нашимъ трупамъ. Пусть человѣкъ умираетъ, но человѣчеству должно жить! Пусть сердце разрывается, но цѣль должна быть достигнута!» Превосходно изображено въ этой драмѣ мрачное лицо свирѣпаго и невѣжественнаго фанатика и великаго полководца—Тилли. Вообще, публика должна быть вдвойнѣ благодарна г. Деникеру—и за прекрасный переводъ, и за прекрасный выборъ такого освѣжающаго душу произведенія. Изъ статей ученаго отдѣла, въ «Б. для Ч.» нѣ на что указать въ особенности. Статья «Жизнь Шиллера» была бы чрезвычайно интересна, ибо заимствована изъ прекрасно составленной книги Гофмейстера, обнимающей жизнь великаго германскаго поэта до самыхъ мелочныхъ и тѣмъ еще болѣе интересныхъ подробностей: но чего можно ожидать и требовать отъ статьи въ два печатные листа, въ которую скомкано содержаніе огромныхъ четырехъ томовъ? Самое лучшее въ этой статьѣ—ея заглавіе, а сама статья — фальшивая тревога. Въ отдѣлѣ «Наукъ и художествъ» помѣщена также статья г. Сенковскаго «Сокъ достопримѣчательнаго. Записки Ресми-Ахмедъ Эфенія, турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ, о сущности, началѣ и важнѣйшихъ событіяхъ войны, происходившей между Высокою Портою и Россіей отъ 1182 по 1190 годъ гиджры (1768—1776)». Мнѣніе объ этой статьѣ раздѣлено на двѣ крайности: одни думаютъ, что это—повѣсть, и притомъ фантастическая, во вкусѣ повѣстей барона Брамбеуса; другіе убѣждены, что это — переводъ историческаго сочиненія съ турецкаго подлинника. Не зная турецкаго языка, мы не можемъ рѣшить вопроса и держимся середины, т. е. думаемъ, что это дѣйствительно переводъ съ историческаго сочиненія, но украшенный, въ приличныхъ мѣстахъ, брамбеусовскимъ юморомъ, выдумками и шутками, для красоты слогу [21-a]). Статья «Александрійская Школа» интересна фактически, но лишена истиннаго взгляда на этотъ величайшій фактъ въ исторіи древняго міра. Александрійская школа — это послѣдній плодъ философіи древняго міра, и ея исторія—исторія философіи древняго міра; а «Б. для Ч.», какъ извѣстно всѣмъ, не любитъ, не знаетъ и не понимаетъ никакой философіи — ни древней, ни новой.—Прочія ученыя статьи въ «Б. для Ч.», каковы:

«Лаплассъ», «Вольта», «Тихонъ Браге», «Іоаннъ Кеплеръ» и т. п., которыми этотъ журналъ съ особеннымъ усердіемъ угощаетъ своихъ читателей, должны были бы давно уже выйти изъ моды, какъ безполезныя и скучныя. Смѣшно и думать, чтобъ можно было слѣдить по журнальнымъ статьямъ за ходомъ такихъ наукъ, какъ математика, астрономія, физика, химія, физіологія, естествознаніе, особенно разсматриваемыя исключительно съ эмпирической точки зрѣнія. Чтобъ сдѣлать такую статью доступною для публики, читающей исключительно литературные журналы, надо упростить ее до такой степени, что въ ней не останется никакого ученаго содержанія; а изложить ее для ученыхъ—значитъ сдѣлать ее недоступною для публики: въ обоихъ случаяхъ выходитъ много шума изъ пустяковъ. Для всякаго интересна біографія такого человѣка, какъ, напр., Галилей; но въ ней великій ученый преимущественно долженъ быть изображенъ съ его нравственной стороны, какъ человѣкъ, какъ мученикъ знанія, дышавшій религіознымъ благоговѣніемъ къ святости истины, которая составляетъ предметъ науки. Такая біографія будетъ имѣть интересъ общій, будетъ всѣмъ доступна и полезна. Біографія же, имѣющая предметомъ показать и оцѣнить ученыя заслуги великаго человѣка, можетъ имѣть мѣсто только въ спеціально-ученыхъ изданіяхъ, гдѣ нѣтъ нужды разжижать и опошливать имъ строго-ученаго содержанія. А вотъ такія статьи, гдѣ Сократъ представляется надувалою, по-настоящему, не должны бы имѣть мѣста ни въ какомъ журналѣ... О критикѣ «Б. для Ч.» нечего говорить: всѣмъ извѣстно, что это критика сухая, состоящая большею частію изъ выписокъ и притомъ занимающаяся книгами, которыя не могутъ возбуждать общаго интереса. Литературная Лѣтопись въ «Библіотекѣ» совсѣмъ-было заснула, еслибъ ее не разбудили «Мертвыя души»: тогда она проснулась, начала вопить, кричать: но въ «Отеч. Запискахъ» въ отвѣтъ на эти крики была пропѣта такая пѣсенка, отъ которой Лѣтопись, повидимому, снова погрузилась въ летаргическій сонъ [21-б]) «Смѣсь» въ «Библіотекѣ» попрежнему состояла изъ разныхъ переводныхъ статеекъ, большею частію касающихся до разныхъ предметовъ физики, химіи, медицины и естествознанія.

Въ «Современникѣ» попрежнему помѣщались стихотворенія Баратынскаго, Языкова, кн. Вяземскаго, графини Ростопчиной, г. Мятлева, г. Айбулата и проч. и интересные разсказы и повѣсти Основьяненко, барона Корфа и другихъ, ученыя статьи гг. Невѣдомскаго, Петерсона; критика и библіографія отличались попрежнему сжатою краткостью слога. Самыми замѣчательными статьями въ «Современникѣ» прошлаго года были: «Хроника Русскаго въ Парижѣ», «Ипбеллуни», критика: «Мертвыя души» и «Портретъ», повѣсть Гоголя.

Въ «Москвитянинѣ» бездна стиховъ: это отъ-того, что въ Москвѣ вообще много пишется стиховъ; а гдѣ пишутъ много стиховъ, тамъ почти совсѣмъ не пишутъ прозы, или отдаютъ ее въ петербургскіе журналы,—и потому

въ «Москвитянинѣ» почти совсѣмъ нѣтъ прозы. «Римъ» Гоголя попалъ въ этотъ журналъ не изъ Москвы, а изъ Рима. Кромѣ этой повѣсти, въ «Москвитянинѣ» есть еще отрывокъ изъ «Мирошева», прибывшій въ Петербургъ вмѣстѣ съ цѣлымъ и отдѣльно-вышедшимъ «Мирошевымъ»; «Сердечная Оксана», переводъ малороссійской повѣсти г-на Основьяненка; «Мѣсяцъ въ Римѣ», изъ дорожныхъ записокъ г. Погодина, которыя всѣмъ доставили столько разнообразнаго удовольствія красотою слога, энергической краткостью выраженія и небывалой еще въ подлунномъ мірѣ оригинальностью мыслей; «Колпичизна и Степи», разсказъ Эдуарда Тартье, переведенный съ польскаго; «Черная Маска», повѣсть барона Розена; «Неаполь» (еще изъ записокъ г. Погодина); «Вологда» (еще-таки изъ записокъ г. Погодина); «Одна изъ женщинъ XIX вѣка», повѣсть Б.....; «Женщина, Поэтъ и Авторъ» отрывокъ изъ романа г-жи А. Зражевской. Это, должно быть, препитересный романъ, въ немъ изображено высшее общество—дѣйствуютъ все князья и княжны, графы и графини; имена героевъ самыя романическія—Лировы, Альмскіе, Сенирскіе, Мивановы, Днѣстровскіе, Пермскіе и т. п. Тутъ изображена *поэтка*, выражаясь языкомъ сочинительницы, которая пишетъ и читаетъ вслухъ, впрочемъ, довольно плохіе стихи. Жалѣемъ, что по недостатку мѣста, не можемъ сдѣлать выписокъ изъ этого отрывка; за то, когда выйдетъ романъ, мы вдоволь насытимся этимъ удовольствіемъ. По отрывку видно, что такихъ романовъ, послѣ дѣвицы Марьи Извѣковой, на Руси еще не было. Мы сказали, что прозы въ «Москвитянинѣ» мало, а сами выписали столько заглавій статей: это не покажется противорѣчіемъ для тѣхъ, кто читалъ эту коротенькую «прозу». Изъ ученыхъ статей въ «Москвитянинѣ» замѣчательна статья профессора Лунина «Взглядъ на исторіографію древнѣйшихъ народовъ Востока». Критика «Москвитянина» составляетъ душу этого журнала и замѣчательна въ той же мѣрѣ, какъ и онъ самъ. Притомъ только критика да стихи и представляютъ собою литературную сторону „Москвитянина“: все остальное въ немъ какая то пестрая смѣсь неважныхъ историческихъ матеріаловъ съ газетными извѣстіями. Изумительнѣе всѣхъ возможныхъ матеріаловъ—„Письма Пушкина къ Погодину“ (№ 10 „Москвитянина“): мы думаемъ, прахъ Пушкина пошевелился въ могилѣ отъ напечатанія въ журналѣ этихъ писемъ, писанныхъ совсѣмъ не для печати. Въ нихъ Пушкинъ увѣряетъ г. Погодина, что его „Марѳа Посадница“—великое шекспировское произведеніе: это вѣрно, иронія, которая непонята авторскимъ самолюбіемъ... [22]) „Москвитянинъ“ взялъ на себя рѣшеніе важной задачи о самобытности русскаго развитія, мимо Запада, и, вѣроятно, рѣшитъ ее удовлетворительно и положительно въ нынѣшнемъ году, а въ прошломъ замѣтно только отрицательное рѣшеніе. Подождемъ. Богъ не безъ милости, а «Москвитянинъ» не безъ средствъ и не безъ охоты рѣшить всѣ интересные для себя вопросы.

О „Сынѣ Отечества“ и „Русскомъ Вѣстникѣ“ мы можемъ сказать только, что первый изъ этихъ журналовъ запоздалъ въ прошломъ году *четырьмя*

книжками; а „Русскій Вѣстникъ“, запоздавшій въ 1841 году *двумя* книжками, въ прошломъ запоздалъ *шестью*, выдавъ въ одной книжкѣ 5 и 6 нумера и помѣстивъ въ нихъ „Мать-Испанку“, драму г. Полевого.

„Репертуаръ“, по свидѣтельству собственныхъ опекуновъ своихъ, былъ такъ плохъ въ прошломъ году, что совершенно охладилъ къ себѣ публику. См. № 256 „Сѣверной Пчелы“.

Кстати о „Сѣверной Пчелѣ“: она все та же, какою была и всегда, и потому, не желая повторять сказаннаго о ней въ прошлогоднемъ обозрѣніи русской литературы (см. „Отеч. Записки“ 1842 года, № 1, въ отдѣлѣ Критики, стр. 43) [22-а]), мы ни слова о ней не скажемъ. Лучше, вмѣсто того, пожелаемъ, чтобы преобразовываемый съ начала нынѣшняго года „Русскій Инвалидъ“ былъ во всѣхъ отношеніяхъ настоящею оффиціальною, политическою и ученолитературною газетою, чего мы имѣемъ полное право надѣяться.

„Литературная Газета“ была вѣрна своему назначенію. Представляя публикѣ повѣсти и разсказы, она исправно извѣщала ее обо всѣхъ литературныхъ и театральныхъ новостяхъ и разсуждала съ дамами о модахъ.

Новый дѣтскій журналъ „Звѣздочка“, издаваемый г-жею Ишимовою, оправдалъ ожиданія публики и рекомендаціи другихъ журналовъ. Вѣрный своему назначенію, онъ доставлялъ своимъ маленькимъ читателямъ сколько пріятное и разнообразное, столько и полезное чтеніе. Слогъ статей его не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Можетъ быть, многіе увидятъ противорѣчіе въ нашемъ воззрѣніи на русскую литературу въ послѣднее время съ отчетомъ о ея бюджетѣ за прошлый годъ, бѣдности котораго мы сами не скрываемъ. Для такихъ читателей замѣтимъ, что мы въ своемъ воззрѣніи руководствовались не числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литературы выражается не во *всѣхъ* ея произведеніяхъ, а только въ избранныхъ. Пусть число этихъ „избранныхъ“ будетъ невелико, но какъ они лучшіе, то они и представители литературы. Когда литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не можетъ явиться ни одного превосходнаго творенія, а прошлый годъ подарилъ насъ „Мертвыми Душами“... Притомъ же, если теперь и много представляется явленій посредственныхъ и плохихъ, то развѣ нельзя назвать успѣхомъ и литературы, и общественнаго вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же опѣниваются какъ слѣдуетъ и не пользуются никакимъ успѣхомъ?...

* **690. Стихотворенія М. Лермонтова.** *Санктпетербургъ. Въ типографіи И. Глазунова и К°. 1842. Три части. Въ 12-ю д. л. Въ I-й части 209, во II-й—229, въ III-й—188 стр.* [23]).

Это второе и самое полное собраніе стихотвореній Лермонтова; въ немъ напечатаны всѣ доселѣ извѣстныя, въ печати или въ рукописяхъ, произведенія знаменитаго поэта. Поэма Лермонтова „Измаилъ-Бэй“, которая будетъ

напечатана въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ „Отеч. Записокъ“, случайно попалась въ руки редактора этого журнала въ то время уже, когда всѣ три части стихотвореній Лермонтова были отпечатаны. Впрочемъ, издатели обѣщаютъ собрать все, что еще найдется изъ стихотвореній Лермонтова, и напечатать четвертую часть, такъ что почитатели таланта Лермонтова не будутъ имѣть необходимости вновь пріобрѣтать цѣлое изданіе стихотвореній этого поэта. Конечно, на многое нѣчего и надѣяться, на превосходное также, ибо всѣ лучшія пьесы Лермонтова извѣстны и были напечатаны, и теперь всѣ собраны въ трехъ частяхъ этого новаго сборника; можно надѣяться найти, кромѣ „Измаилъ-Бэя“, еще развѣ три или четыре мелкія стихотворенія, давно уже написанныя Лермонтовымъ и давно уже забытыя имъ еще при жизни; но все написанное имъ интересно и должно быть обнародовано, какъ свидѣтельство характера, духа и таланта необыкновеннаго человѣка. Въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, вышедшемъ въ маленькой книжечкѣ, въ 1840 году, были напечатаны самыя избранныя, самыя безукоризненныя его произведенія, ибо изданіе печаталось подъ надзоромъ самого поэта; а такіе поэты, какъ Лермонтовъ, бываютъ строже къ самимъ себѣ, нежели самые строгіе и взыскательные ихъ критики. Къ-тому же, передъ Лермонтовымъ лежалъ длинный и широкій путь будущей славы, и поэтъ гордо чувствовалъ въ себѣ прозябаніе сѣмянъ великихъ будущихъ твореній; отъ этого естественно онъ и не придавалъ слишкомъ большого значенія своимъ первымъ опытамъ. Но неожиданная и преждевременная смерть поэта дала совсѣмъ другой оборотъ дѣлу, и издатели его стихотвореній не должны были, скажемъ болѣе, не имѣли права не собрать и не сдѣлать извѣстнымъ публикѣ всего написаннаго Лермонтовымъ, всего, что только могли они отыскать. Они заслуживаютъ благодарность со стороны публики, что помѣстили въ изданное ими собраніе стихотвореній Лермонтова и такія пьесы, какъ: *Хаджи Абрекъ*, *Казначейша*, *Сосна*, *Парусъ*, *Желаніе*, *Графинѣ Ростопчиной*, *Ангелъ*, *М. П. Соломирской*, *Въ альбомъ автору «Курдюковой»*, *Два Великана*, *Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою*, и драму *Маскарадъ*; самъ поэтъ никогда бы не напечаталъ ихъ, но они, тѣмъ не менѣе, драгоцѣнны для почитателей его таланта, ибо онъ и на нихъ не могъ не наложить печати своего духа, и въ нихъ нельзя не увидѣть его мощнаго, крѣпкаго таланта: такъ вездѣ видны слѣды льва, гдѣ бы ни прошелъ онъ... Лермонтовъ никогда бы не напечаталъ и «Боярина Оршу», и «Демона»—и онъ имѣлъ на то *свои* причины и свои права, но публика многаго, слишкомъ многаго лишилась бы, если бы издатели стихотвореній Лермонтова не сдѣлали извѣстными ей этихъ великихъ начатковъ будущей колоссальной славы будущаго великаго поэта. Несмотря на дѣтскую незрѣлость поэмъ «Боярина Орша» и «Демонъ», онѣ выше, драгоцѣннѣе многихъ зрѣлыхъ и художественно выполненныхъ поэмъ... [24]).

Новое изданіе стихотвореній Лермонтова красиво и даже изящно, что при полнотѣ его составляетъ немалое достоинство. Въ немъ помѣщено, кромѣ

поименованныхъ нами пьесъ, *сорокъ пять* мелкихъ стихотвореній (и въ томъ числѣ напечатанное въ «Утренней Зарѣ» на 1843 годъ стихотвореніе «Валерикъ» и двѣ поэмы: «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова» и «Мцыри».

Мы еще разъ возвратимся къ стихотвореніямъ Лермонтова въ отдѣлѣ «Критики» въ одной изъ первыхъ книжекъ «Отеч. Записокъ» нынѣшняго года [25]).

691. Сочиненія Державина. *Санктпетербургъ. Въ тип. И. Глазунова и К°. 1843. Четыре части. Въ 8-ю д. л. Въ I-й части—288, во II-й—300, въ III-й—175, въ IV-й—325 и XI стр.* [26]).

Это, должно быть, *третье* изданіе полнаго собранія сочиненій Державина. Оно полнѣе всѣхъ—даже *смирдинскаго*; снабжено біографическимъ очеркомъ жизни поэта и «спискомъ сочиненій Державина въ хронологическомъ порядкѣ»; но, несмотря на то, оно все-таки не совсѣмъ полно: не приложено прозы Державина, его писемъ, разсужденія о лирической поэзіи и проч.; портретъ хорошъ, но онъ есть повтореніе портрета, приложеннаго къ «Образцовымъ сочиненіямъ», изданнымъ въ 1811 г. И, однако жъ, это изданіе совсѣмъ не такъ дурно, какъ утверждаютъ нѣкоторые печатно: оно не только опрятно, даже красиво; есть нѣсколько опечатокъ, но онѣ выставлены, хотя, конечно, лучше было бы, если бъ не было ни одной опечатки.

Къ изданію г. Глазунова «Сочиненій Державина» приложена статья «Жизнь Г. Р. Державина», написанная г. Савельевымъ, который смотритъ на Державина не какъ на поэта, а какъ на человѣка, и съ исторической точки зрѣнія. Статья эта написана хорошо и содержитъ въ себѣ много любопытныхъ подробностей, но взглядъ г. Савельева не вездѣ вѣренъ. Г. Савельевъ думаетъ, что писать о Державинѣ и его вѣкѣ значитъ всѣмъ безусловно восторгаться, быть не историкомъ, а панегиристомъ. Это самая ошибочная точка зрѣнія! Она-то заставила сочинителя статьи необдуманно осудить весьма умную и вѣрную характеристику поэзіи Державина, сдѣланную г. Шевыревымъ, въ слѣдующихъ словахъ: «Поэзія Державина—это сама Россія екатерининa вѣка, съ чувствомъ исполинскаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на Востокѣ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повѣрій,—это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная,—такова поэзія Державина во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ». Эти слова приводятъ г. Савельева даже въ суевѣрный ужасъ; онъ говоритъ, что «ни у кого изъ русскихъ поэтовъ чувство *человѣчности* и сознаніе достоинства *человѣка* не преобладаетъ въ такой сильной степени, какъ у Державина»... Ну, это едва ли такъ, потому что въ вѣкъ «милостивцевъ», «отцовъ и благодѣтелей», въ вѣкъ «меценатства» и «патронажества»

могутъ быть только *фразы* о человѣческомъ достоинствѣ, а не *чувство* человѣческаго достоинства...

Кстати о Державинѣ: недавно въ одномъ московскомъ журналѣ были напечатаны стихи—нѣчто въ родѣ рифмованнаго exordium на какого-то «безъименнаго критика», который, въ числѣ разныхъ литературныхъ преступленій, какъ-то: непризнаваніе Ломоносова поэтомъ, ужаленіе Карамзина, обвиняется еще и въ томъ, что «тронулъ Державина дерзкою рукою». Оно смѣшно, конечно, а вѣдь это уже не первая исторія... Сколько разъ нападали, напр., на насъ за наши отзывы о поэзіи Державина, и вотъ теперь наша мысль принята «Сѣверной Пчелою» (зри № 279 прошлаго года) — и никто не поетъ заклинаній ни стихами, ни прозою... Фѣльетонистъ этой газеты говоритъ, что «Державинъ дойдетъ къ потомству съ весьма легкою ношею», т. е. съ малымъ числомъ избранныхъ стихотвореній, а остальное погибнетъ «въ Летѣ», но что «имя Державина навѣки останется незабвеннымъ въ исторіи русской литературы». Здѣсь наша мысль немного искажена: не съ легкою ношею, а весь дойдетъ Державинъ до позднѣйшаго потомства, какъ явленіе великой поэтической силы, которая, по недостатку элементовъ въ обществѣ его времени, ни во что не опредѣлилась,—и потому Державинъ весь будетъ всегда, какъ онъ уже есть и теперь, интереснымъ фактомъ исторіи русской литературы. У Державина нѣтъ избранныхъ стихотвореній, которыя могли бы пережить его неизбранныя стихотворенія, и всегда будутъ помнить, какъ помнятъ и теперь, не избранныя стихотворенія, а поэзію Державина... Далѣе, «Сѣв. Пчела» повторяетъ нашу мысль, уже не искажая ея». Прошло только двадцать-пять-лѣтъ со смерти Державина, а ужъ его стихотворенія, точно какъ дорогіе антики — кабинетная рѣдкость. Исключая отдѣльныхъ фразъ и стиховъ, большую часть стихотвореній Державина теперь уже трудно читать... теперь уже такъ не пишутъ... Это языкъ, чуждый намъ!..» Это истина, и потому скоро всѣ будутъ повторять нашу мысль, даже и тѣ, которые пишутъ стихотворныя «денонціаціи». [27]).

Но между тѣмъ, надо сказать правду: всѣ подобные приговоры хотя и справедливы, однако еще не доказательны; это еще только критическіе афоризмы, а не критика. И «Сѣверная Пчела» беретъ наше мнѣніе еще на вѣру, слѣпо, не дождавшись нашихъ доказательствъ, что съ ея стороны не совсѣмъ благоразумно... Мы начали дѣло — мы должны и кончить его: въ слѣдующей книжкѣ «Отеч. Записокъ» постараемся изложить подробно наше мнѣніе о поэтической дѣятельности Державина и ея историческомъ значеніи. За этою статьею послѣдуетъ рядъ обѣщанныхъ нами статей о Пушкинѣ, Гоголѣ и Лермонтовѣ. Статья о Пушкинѣ начнется у насъ обзоромъ историческаго движенія русской поэзіи въ промежуткѣ времени между Державинымъ и Пушкинымъ, и такимъ образомъ рядъ этихъ статей, начиная со статьи о Державинѣ, составитъ цѣлый историко-эстетико-критическій курсъ русской поэзіи,—разумѣется, съ нашей точки зрѣнія [28]).

***692. Сказка за Сказкой** *Томъ II. Санктпетербургъ. Въ типографіи Штада Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи. 1842. Въ 8-ю д. л. 379 стр.* [20]).

Благодаря прекрасной повѣсти г. Кукольника, «Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или Всѣ за Одно», изданіе «Сказка за Сказкой» обратило на себя общее вниманіе: первый выпускъ, заключавшій въ себѣ повѣсть, о которой мы говоримъ, былъ скоро раскупленъ. Такая же блестящая участь, повидимому, ожидала и слѣдующія повѣсти подъ общею фирмою «Сказки за Сказкой»; но какъ общаго у нихъ съ первою была только одна фирма и какъ каждая слѣдующая повѣсть была все хуже и хуже предшествовавшей, то публика, пріобрѣтши первый выпускъ, не захотѣла имѣть послѣдующіе. Чтобъ помочь горю, всѣ выпуски были переплетены въ одну книгу, на заглавіи которой было выставлено: *Томъ I.* Ради одной первой повѣсти можно купить и весь томъ: такъ сдѣлали, вѣроятно, многіе, которые не успѣли заблаговременно пріобрѣсти «Сержанта Ивана Ивановича Иванова, или Всѣ за Одно». Опытъ — великое дѣло въ искусствѣ выгодно спускать съ рукъ книги!

Второй томъ «Сказки за Сказкой» также не безъ хорошихъ, какъ и не безъ плохихъ вещей. Изъ четырехъ заключающихся въ немъ повѣстей, намъ больше другихъ нравится повѣсть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не разъ имѣли случай замѣчать, что г. Кукольникъ мастеръ писать интересные разсказы изъ временъ Петра-Великаго. Главныя достоинства ихъ — простота, естественность и правдоподобіе. Замѣтно, что онъ изучалъ эту эпоху и вникъ въ духъ ея. Каждое лицо, въ какомъ бы оно ни было положеніи, говоритъ у него *своимъ* и *своего времени* языкомъ. Борьба,—то смѣшная и комическая, то достолюбезная и трогательная,—борьба европеизма и народности, просвѣчиваетъ и въ понятіяхъ и въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ тѣхъ разсказовъ г. Кукольника, которыхъ содержаніе взято изъ эпохи Петра-Великаго. Долго было бы распространяться о томъ, какъ у него это дѣлается, и для удобнѣйшаго доказательства выписываемъ нѣсколько мѣстъ изъ «Позументовъ».

Къ новгородскому почтмейстеру, отставному сержанту, Богдану Кирилловичу Чегликову, зашелъ по своему обыкновенію, пріятель его, новгородскій воевода и отставной капитанъ, Ѳедоръ Ильичъ Шаплыгинъ. Отправивъ почту, хозяинъ замѣтилъ, что гость сбирается уходить.

«Что, ты что ты это? Помилуй, Ѳедоръ Ильичъ, куда ты въ такую стужу?

— Эхъ, Богданъ Кирилычъ, старому солдату морозъ потѣха. У меня, что припадлежитъ до лѣвой руки, такъ не совсѣмъ хорошо. Въ Польшѣ по лѣвое плечо, такъ сказать, оторвало, а ноги... могу похвастать. И теперь безъ привалу на три перехода хоть сейчасъ...

«Что ты это, Ѳедоръ Ильичъ, право не по-сосѣдски. Просидѣлъ со мной за полночь, компанства ради; я зѣвнулъ, а ты и обидѣлся.

— Богъ съ тобой, Богданъ Кирилычъ, зѣвай себѣ сколько хочешь; стану я обижаться! На всякое чиханіе не поздравствуешься.

«Такъ отчего же ты идешь?

— Иду, потому, что пора. Боря у меня одинъ дома съ няней. Вѣдь мы не въ городѣ. Добрая верста до моей усадьбы. Безъ хозяина всякое можетъ приключиться. На людей не надѣйся. Прощай, Богданъ!

«Экой ты право! Когда-то еще пріѣдетъ Автономъ, а я тутъ сиди одинъ. Ну, повремени пока почта. Выпьемъ-себѣ настоечки, а если хочешь, такъ мы съ тобой *московскіе куранты* почитаемъ.

— Посидѣть, изволь, посижу, а ужъ отъ курантовъ уволь. Право, это куранты недоброе; зачѣмъ народу знать, что за моремъ дѣлается? Добро бы еще сенатскіе, али другіе какіе нужные указы друковали а то обо всякихъ нѣмцахъ пишутъ, что который по своимъ городамъ дѣлаетъ.

«Ну, братъ, извини! Тамъ иной разъ такое начитаешь, что во всю жизнь не только не увидишь, да и не услышишь. Ну, знаешь ли, примѣрно, что турскимъ султаномъ перскому шаху штильштандъ аккордованъ?»

— Да это, братъ, каждый солдатъ знаетъ, который былъ подъ Азовомъ.

«Ну, а что?

— Да извѣстно что...

«Не отвиливай, скажи, что?

— Да какъ же я скажу, когда Настасья Ивановна не спитъ...

«Ужь это мой грѣхъ, говори...»

— Ну, изволь, когда привязался; это значитъ: что турскій султанъ приказалъ персидскаго шаха на колъ посадить.

«Какъ на колъ?

— Ну, да на колъ, на шпиль; это ради страшности такой, по-нѣмецки и написано.

«Вотъ что! а я совсѣмъ другой толкъ давалъ...

Поутру, послѣ этого разговора, Богданъ Кириловичъ такъ раздумался самъ съ собой:

«Спасибо государю: правда, поцѣловала меня проклятая картечь въ ногу; орѣхъ кажется, а на всю жизнь околѣчило; умирать приходилось; такъ нѣтъ, на казенный коштъ вылечили... Спасибо свѣтлѣйшему! Слово сказалъ ямской канцеляріи—Богданъ почтмейстеромъ въ Новгородѣ, Богданъ въ почетѣ, Богданъ женатъ, Богданъ семь лѣтъ живетъ припѣваючи; у Богдана Наташа по седьмому году красавица, у Богдана наслѣдникъ есть, пойдетъ въ солдаты; если глупая картечь не задѣнетъ, махнетъ и въ генералы; нынче заслуга—что прежде родъ—сталъ и новый порядокъ; генералъ, почтъ-директоръ по всей дорогѣ почтмейстеровъ чуть не палкой взыскалъ, а Богдану спасибо. Не только мелкіе дворяне Богдану въ дружбу пошли, да и большіе, и чиновники, и богатые... Вотъ Ѳома Ивановичъ Зябликъ—и бригадиръ, кажется, а всякій разъ къ себѣ въ Туровку зазываетъ въ гости, и ужъ не я буду, если не приготовилъ на каждое рыло наше по гостинцу. А что въ самомъ дѣлѣ, Настасья Ивановна, нынче день не почтовый; почитай два дни никакой почты не будетъ; вторничная отошла, пятничная въ субботу придетъ, а вторничная изъ Москвы раньше пятницы не будетъ. А у насъ пріемъ въ середу прошелъ, а до пятницы далеко. Какъ ты думаешь?

— Не мое дѣло объ этомъ думать. У меня своя забота, надо Никитку искупать по вечеру; такъ и благо, что эти почтари холодить избы не будутъ.

«Да не-то, Настинька! Я думалъ бы къ его высокородію, къ Ѳомѣ

Иванычу съѣздить; здѣшній ямъ даромъ меня свозитъ, а вѣдь его высокородіе не безъ причины въ Туровку кличетъ. Видно желаетъ чѣмъ ни есть наше къ нему почитаніе наградить!

— Такъ что же? Вѣдь не я поѣду, не мое и дѣло; поѣзжайте съ Богомъ, расходу меньше.

«И то правда! Такъ я поѣду, Настинька!

— Поѣзжайте!

«Постой же, я Автамону скажу...»

И почтмейстеръ распорядился. Вернулся Богданъ Кириловичъ, одѣлся въ автамоновъ тулупъ и кеньги; шапка зимняя своя была; подпоясался почтальонскимъ патронтажемъ съ пистолетами; Автамонъ про случай зарядилъ ихъ пулями. И сани готовы.

«Ну, прощай, Настинька» сказалъ Богданъ Кирилловичъ и сталъ жену и дѣтей цаловать; отцаловалъ дѣтей, да хотѣлъ на иконы перекреститься, Глядь, сундучокъ стоитъ.

«Послушай, Настинька, ты ларецъ-то приберегн, припрячь: тутъ за тысячу рублей казеннаго сбора.

— Ахъ ты Господи, бѣда какая, я отъ страха умру. Слышалъ ты, что вчера Ефимъ разсказывалъ?

«Вздоръ, Настинька, сущій вздоръ; воры далече, а я про случай Автамону накажу, чтобы не отлучался, а ты знаешь Автамона — не выдастъ. Да и подъ самымъ городомъ; ямщики тутъ же; двѣ пары почтовыхъ лошадей на конюшнѣ. Вздоръ».

— Такъ смотри же, Богданъ Кирилловичъ, не забудь Автамону сказать..

«Да вотъ Автамонъ въ конторѣ стоитъ. Слышишь, Автамонъ, тутъ за тысячу рублей казенныхъ денегъ, такъ не плошай, никуда не отходи, если пріѣзжіе будутъ, сюда никого не пущай; въ пріемныя комнаты пусть идутъ; станція велика! Слышишь?»

— Слушаю-съ, ваше благородіе, не изволь безпокоиться; у меня топорикъ есть, за боевое всякое ружье справится.

«То-то же, гляди!»

Почтмейстеръ уѣхалъ, а Настасья Ивановна, сама не зная зачѣмъ, схватила ларецъ, потрясла—золотомъ и серебромъ отзывается; ей такъ стало страшно, что не приведи Господи; сѣла она на ларецъ да и давай Никиту качать, а Наташа съ куклой по своему лепечетъ... Прошелъ часъ, другой. Настасья Ивановна со страхомъ освоилась, только все ларчика изъ подъ мышки не выпускаетъ; стала она и обѣдъ стряпать, а ларецъ все на глазахъ; то и дѣло Автамона кличетъ: «тутъ ли ты, Автамонъ?»...

— Тутъ, матушка, не бойся, двери на щеколдѣ, топорикъ точу про случай.

И точно Автамонъ отпускалъ старую, ржавую сѣкиру съ особеннымъ усердіемъ. Чѣмъ чище становилось желѣзо, тѣмъ съ большею жадностію засматривались глаза Автамона на тусклое, широкое поле топора, на тонкую линію острія, и старые глаза мутились, и топоръ выпадалъ изъ черствыхъ рукъ его...

«Тьфу ты, нечистая сила!» бормоталъ Автамонъ. «Такого со мной ни подъ Туркомъ, ни подъ Шведомъ не приключалось.

— Съ кѣмъ ты тамъ разговоръ ведешь, Автамонъ?

«Такъ про-себя бормочу...» отвѣчалъ онъ громко, а потомъ сказалъ тихо: «Да про себя! нѣтъ! съ чортомъ! Сгинь, пропади, нечистое навожденіе!»

Автамонъ подошелъ къ дверямъ своимъ, посмотрѣлъ, плотно ли заперты, влѣзъ на полати, да и давай ко сну себя неволить; закрылъ глаза, а въ глазахъ искры — будто изъ кошки ночью огнемъ сыплетъ; тѣ искры часъ отъ часу круглѣе, да и стали добрыми кружками, то серебреникомъ прокатится, то упадетъ златницей. Не спится Автамону; видитъ бѣда, да самъ не знаетъ какая. Затянулъ было пѣсню во всю ивановскую; голосъ его отъ военныхъ невзгодъ былъ такой сиплый, будто вѣтеръ поздней осенью; перепугался Никитка, да и давай кричать. Почтмейстерша вышла въ почтальонскую избу, глянула на топоръ, да чуть не обомлѣла, а съ полатей Автамонъ пуще кричитъ.

«Полно, Автамонушка!» говоритъ почтмейстерша: «не пугай дѣтей!

— «Просимъ прощенья! Виноватъ, что-то за сердце укусило, такъ я хотѣлъ злую муху пѣсней согнать. Ахъ, ты Господи, чудно право... Скоро ли то баринъ воротится?...

«Э, Богданъ Кириловичъ любитъ кутнуть! Я больно боюсь, чтобы ему не запоздать. Того гляди, къ пріему не вернется...»

— «Не изволь безпокоиться! Баринъ службу знаетъ и насъ службѣ училъ...»

Ушла почтмейстерша да и воротилась; вынесла Автамону стаканчикъ настойки, штей миску и добрую окранну хлѣба.

«Кушай на здоровье!» молвила и пошла съ Наташей обѣдать.

Автамонъ молча стоялъ передъ настойкой и думалъ крѣпкую думу: «Пить или не пить! Экая добрая! А отчего добрая? недобраго боится; а въ другой день барина журитъ, зачѣмъ старому Автамону рюмку водки пожаловалъ, а и рюмка-то съ наперстокъ. Право, не знаю, пить или не пить!... Да ужъ куда не шло; отъ стакана не охмѣлѣю».

Проглотилъ Автомонъ стаканчикъ, да и рожу скорчилъ, будто не любо.

«Ухъ, обожгло! А ты чего глядишь! пошелъ прочь!» И съ неистовствомъ бросилъ сѣкиру подъ лавку. «Лежи тамъ, пока спросятъ».

Сталъ Автамонъ шти хлебать, да за каждымъ хлѣбкомъ и вздохнетъ. Не доѣлъ Автамонъ, да и задумался; передъ нимъ рыжій мужикъ стоитъ, да и ухмыляется; не то, чтобы зубы у него изъ-подъ усовъ торчали, а кабаньи клыки, не то, чтобы ногти на рукахъ, а длинныя рукавицы, да изъ-подъ тѣхъ рукавицъ черные когти вылѣзли... а глаза не глаза: уголья; да ихъ будто кто изнутра раздуваетъ: такъ и пышутъ, да и огонь тотъ какой-то заколдованный; не то, чтобы страхъ наводилъ, а будто въ стужу банный духъ—такъ и пѣжитъ, всѣ косточки разбираетъ. Любо смотрѣть на рыжаго, а рыжій собою хуже всякаго пугала; постоялъ рыжій, постоялъ, да и нагнулся, взялъ топорикъ, да и хотѣлъ въ контору.

«Незамай! крикнулъ Автамонъ: «я и самъ справлюсь!»

— «Оно и лучше» сказалъ рыжій. «А деньгу, пожалуй, всю себѣ возьми: у меня и своей довольно!»

«Ой ли?»

— «Да! а на тысячу рублей нашему брату, простому человѣку, и вѣку не хватитъ столько денегъ изжить. Ну, такъ прощай! сегодня встрѣнемся!» И ушелъ рыжій.

Автамона будто что укололо; проснулся; на дворѣ стукъ; возятся ямщики; сани закладываютъ; не успѣлъ онъ и въ окно поглядѣть, проѣзжій сѣлъ, да и уѣхалъ.

«Гм! Да зачѣмъ же топоръ?» сказалъ Автамонъ: «И такъ отдастъ. Только

развѣ для страху ей показать. А ужъ деньги мои... Зажветъ Автамонъ; а закричитъ, проклятый Сергѣй ямщикъ услышитъ; только одинъ и остался...»

Зазвенѣлъ колокольчикъ. Не прошло двухъ-трехъ минутъ, ямщикъ Сергѣй въ избу стучится.

«Возьми, Автамонъ, ключи»... кричитъ ямщикъ: «Господинъ какой-то пріѣхалъ, никого нѣтъ; я барина повезу на моей парѣ, а съ той станціи ямщики ждать не хотятъ, говорятъ, что ужъ дома покормять; такъ возьми ключи»...

— «Пожалуй!»

Отворилъ Автамонъ дверь, взялъ ключи, да за думой своей черной забылъ дверь запереть и сѣлъ въ избѣ на лѣсенкѣ, которая на чердакъ вела. Сидитъ. Смерклось, а сѣкира и въ темнотѣ свѣтится... Сталъ онъ озираться; показалось ли ему, али и заправду изъ-за печки рыжій глядитъ, будто спрашиваетъ: «Что же ты, Автамонъ?»

«А вотъ сейчасъ, была не была!» и пошелъ въ контору.

— «Кто тамъ? спросила Настасья Ивановна дрожащимъ голосомъ.

«Да что, родимая, право, не въ мочь! Крѣпился, крѣпился, не могу, подай деньги!»—Деньги? «Деньги, родимая, видишь—руки дрожатъ, топорикъ подъ лавкой; сердце жметъ; не супротивься; я тебя не трону; давай ларчикъ... Въ лѣсъ... Рыжій проводитъ».

— «Что это съ тобой, Автамонъ! Ты честный служивый; Богданъ Кириловичъ на тебя, что на самого себя надѣялся...

«Да и я надѣялся, да видишь—не устоялъ!»

— «Да вспомни, Автамонъ, Бога! Вѣдь ты будешь хуже всякаго вора вспомни, какой у насъ царь строгій и всезнающій, отъ него не уйдешь; вѣдь ты же и крещеный, не какой нехристь, Автамонушка, ты у насъ что сынъ..

«Быть по твоему!» сказалъ Автомонъ, махнулъ рукой и пошелъ въ избу. Настасья Ивановна спрыгнула съ постельки, ларчикъ подъ мышку, да и бѣжитъ къ дверямъ; приложила ушко, слышитъ—реветъ Автамонъ, видно Богу плачется; не тутъ-то было; опуталъ его нечистый; зло слезы выжимаетъ; схватился онъ съ прилавка, поднялъ сѣкиру, кричитъ: «Не могу, суди меня Богъ и государь, не могу!» и бѣжитъ въ контору.

Обмерла Настасья Ивановна, да за дверьми и притаилась, а онъ словно бѣшеный за перегородку. Кричитъ: «Подай, вѣдьма, деньги, подай!» Тутъ Настасья Ивановна въ избу почтальонскую, да на лѣсенку, да на чердакъ да дубовую дверь и задвинула...

«Стара шутка! кричитъ Автамонъ: «не уйдешь» да Никитку изъ колыбели за ногу схватилъ, свѣчу взялъ, да на лѣсенку и лѣзетъ.

«Подай деньги!» кричитъ: «не то хвачу твоего щенка объ стѣну! Подай деньги!

— «Не могу!»—кричитъ почтмейстерша не своимъ голосомъ: «Не мое царское!»

Тутъ Наташа выбѣжала, видитъ или такъ, не видя, что дверь отперты, выскочила на дворъ, кричитъ во все дѣтское горло... Анъ тутъ у воротъ сани: офицеръ какой-то спрыгнулъ.

«Сюда, сюда!» кричитъ Наташа; офицеръ за нею въ избу; а тамъ уже и ребенокъ и Настасья Ивановна въ крови плаваютъ; офицеръ шагу на голо; Автамонъ не поддается; офицеръ пуще, пуще, да и прокололъ Автомона; вдругъ выстрѣлъ, завизжала пуля, офицеру въ самое сердце впилась, тотъ повалился на мертваго Автамона, да и духъ вонъ...

«Вотъ тебѣ, разбойникъ!» сказалъ почтмейстеръ, держа въ рукахъ пистолетъ. «Бѣдный Автамонъ! дорого ты за усердіе поплатился!»

Поздно узнавъ свою ошибку бѣдный Богданъ Кирилловичъ и скрылся неизвѣстно куда... Дочь его, Наташу, пріютилъ къ себѣ Ѳедоръ Ильичъ. Наташу, какъ родную, полюбили всѣ въ домѣ, и Ѳедоръ Ильичъ, и сынъ его, Борисъ Ѳедоровичъ, мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, который отличался наклонностью къ женскимъ работамъ и славно ткалъ ручники, подъ руководствомъ няни своей, Акулины. Прошло пять лѣтъ. Въ одинъ день капитанъ отправился въ городъ, взявши съ собою Наташу, а воротился одинъ. Грустно ему было и самому, грустно ему было и за сына, и онъ, со слезами на глазахъ, открылъ ему что отдалъ Наташу ея дядѣ, нарочно пріѣхавшему за нею изъ Петербурга. «Да кто же нашъ злодѣй?» спросилъ Боря.

«Говорятъ тебѣ, родной дядя, царскій комиссаръ, на Питербурхѣ казенной фабрикой заправляетъ; тамъ у него всякую парчу и позументы дѣлаютъ изъ царскаго золота и серебра. Видишь, въ какой онъ у царя вѣрѣ»

— Да какъ же онъ про Наташу свѣдалъ?

«Куранты, проклятые куранты, чортова выдумка! Говоритъ: отъ сосѣда взялъ скуки ради, за старые годы, да и начиталъ, чтобъ у него глаза...

— Да развѣ тамъ написано?

«Все написано, чтобы тѣмъ друкарямъ добра не было; у нихъ самъ сатана на послугахъ, все знаютъ и друкуютъ на пагубу честнымъ людямъ.

— «Эхъ, родимой, да вѣдь и эти куранты по царской волѣ.

Это замѣчаніе остановило капитана. Печаль его унялась. Онъ самодовольно посмотрѣлъ на сына, поцѣловалъ его въ лобъ и молвилъ съ гордостію: «Спасибо, Боря, спасибо! глупъ я сталъ. Учи, учи отца тому же, чему я тебя училъ. Нѣтъ въ курантахъ зла, коли на то царская воля. Зла царю не нужно, а тутъ, видно, такъ Господу угодно, а мы передъ нимъ смиримся и помолимся».

Недолго жилъ послѣ того капитанъ: отправившись на поимку разбойниковъ, онъ умеръ смертью солдата. Боря махнулъ въ Питеръ, да и втерся на позументную фабрику къ дядѣ Наташи, скрывъ свое дворянское происхожденіе, а Наташу уговорилъ и виду не показывать, что она знаетъ его.

«Дядя твой не моги знать, что мы вмѣстѣ выросли, кто я; будемъ жить, будто незнакомые, пока не придетъ часъ воли Божіей.

— Какъ! и не разговаривать, и не гулять! Такъ зачѣмъ же ты ко мнѣ пришелъ?

«Гмъ! Погоди годокъ, другой, сама смекнешь. И я думалъ по твоему, да горе на иной ладъ разумъ перевернуло...»

Какъ все это естественно, вѣрно природѣ, живо, рельефно! Мы не будемъ разсказывать дальнѣйшихъ похожденій Бори, чтобъ не лишить читателей удовольствія самимъ узнать ихъ. Скажемъ просто, что повѣсть выдержана вся до конца, и въ цѣломъ, и въ подробностяхъ, исполнена интереса и жизни.

Не такова другая повѣсть г. Кукольника «Жанъ Батистъ Людò»: въ ней все ложно—и событіе, и характеры; первое похоже на сказку въ родѣ «не любо не слушай», а вторые или на каррикатуры, или на образы безъ лицъ. Особенно невыносимы въ ней сцены любви, сантиментальныя до приторности. При всемъ томъ, она не лишена заманчивости разсказа и должна нравиться тѣмъ читателямъ, которые въ повѣсти ищутъ сказки, какъ дѣла отъ бездѣлья.

«Савелій Грабъ или Двойникъ», повѣсть казака Луганскаго, отличается, какъ всѣ повѣсти этого даровитаго писателя, прекрасными подробностями, обличающими въ авторѣ многостороннюю опытность, *бывалость*, если можно такъ выразиться, наблюдательность и наглядность. Очевидно, что богатая сокровищница разнообразныхъ впечатлѣній и безконечныхъ воспоминаній, служитъ казаку Луганскому неисчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Онъ жизнью пріобрѣлъ себѣ талантъ, и талантъ,—кто не согласится въ этомъ—примѣчательный. Сюжетъ «Савелія Граба» нѣсколько сбивается на романическій. Герой романа, *Ивася*, оказывается сыномъ одной польской графини, которая, умирая, отказываетъ ему значительное имѣніе; потомъ оказывается, что сынъ польской графини не *Ивася*, а *Савка*, поваръ, лакей и кучеръ новороссійскаго помѣщика Бабачка; дѣло въ томъ, что при рожденіи шестипалый графчикъ былъ подмѣненъ пятипалымъ крестьянскимъ мальчикомъ, родители котораго воспитали шестипалаго графчика за своего роднаго сына, а пятипалый сынъ ихъ отданъ былъ графинею на воспитаніе тоже одному изъ новороссійскихъ помѣщиковъ, родомъ поляку. Когда вся эта путаница распуталась, великодушный Ивася уступилъ Савкѣ графскій титулъ и отдалъ бы ему все свое имѣніе, если бы, въ свою очередь, великодушный Савка не раздѣлилъ съ нимъ этого имѣнія. Напрасно: къ савкиной рожѣ графство не пристало, ибо графомъ можно родиться, но настоящимъ графомъ можно сдѣлаться только черезъ воспитаніе, черезъ первыя живыя впечатлѣнія дѣтства. Несмотря на все это, повѣсть казака Луганскаго очень интересна: въ разсказѣ много истины и юмора, въ отступленіяхъ и разсужденіяхъ много ума и оригинальности. Даже самыя странности и парадоксы автора носятъ на себѣ отпечатокъ такой достолюбезности, что доставляютъ въ чтеніи и удовольствіе. Надо сказать, что авторъ заставилъ Ивасю хлопотать о преобразованіи русскаго языка, испорченнаго русскими писателями отъ Карамзина до Пушкина включительно (объ остальныхъ уже и говорить нечего); по его мнѣнію, чистый, неискаженный русскій языкъ сохранился только въ простомъ народѣ. Дѣйствительно, для выраженія простонародныхъ идей, немногочисленныхъ предметовъ и потребностей ограниченнаго простонароднаго быта, простонародный языкъ гораздо обильнѣе, гибче, живописнѣе и сильнѣе, чѣмъ языкъ литературный для выраженія всего разнообразія и всѣхъ оттѣнковъ идей образованнаго общества. И это понятно: простонародный русскій языкъ сложился и установился въ-продолженіе многихъ вѣковъ; литературный—въ-

продолженіе одного вѣка; первый, разъ установившись, уже не двигался впередъ, какъ и мысль простого народа; второй—бѣжитъ, не останавливаясь, не переводя духа, въ-слѣдствіе безпрерывнаго вторженія новыхъ понятій и безостановочнаго развитія, а слѣдовательно и движенія старыхъ идей. Казакъ Луганскій утверждаетъ, что не должно говорить такъ: «Казакъ осѣдлалъ лошадь свою какъ можно поспѣшнѣе, посадилъ товарища своего, у котораго не было коня, къ себѣ на крупъ и слѣдовалъ за непріятелемъ, имѣя его постоянно въ виду, чтобъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ на него кинуться»; а должно вмѣсто того говорить: «Казакъ сѣдлалъ *уторопь*, посадилъ безконнаго товарища *на забездры*, слѣдилъ непріятеля *въ назерку*, чтобъ *при спопутности* на него ударить». Воля его казацкой удали, а мы, люди письменные, равно не понимаемъ ни *уторопи*, ни *назерки*, ни *набедръ*, ни *спопутности*. Перемѣнять же намъ Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина на гувернеровъ изъ простонародья въ овчинныхъ тулупахъ и смурыхъ кафтанахъ—ужь поздно.

«Мастерская и Гостиная»—быль г. П. Фурманна, служитъ для 2-го тома «Сказки за Сказкой» балластомъ, безъ котораго не можетъ обойтись никакой сборникъ повѣстей, претендующій на объемистость и разнообразіе содержанія. Это одна изъ тѣхъ «былей», которыхъ нигдѣ не бываетъ, кромѣ плохихъ повѣстей бездарныхъ сочинителей. Какой-то, изволите видѣть, художникъ, Германъ, влюбился, на выставкѣ академіи, въ «барышню», не Марью, а Марію, а оная Марія выходитъ замужъ за богатаго дурака, Чижикова; Германъ прибѣжалъ къ ней, какъ полоумный, и наговорилъ ей съ три короба великолѣпной чепухи, побѣжалъ къ профессору Ботину, да тутъ же, (весьма кстати) узналъ, что мамзель Ботинъ его «обожаетъ», а, узнавъ это, онъ сію же минуту (зачѣмъ откладывать въ долгій ящикъ!) началъ ее «боготворить», предлагая ей руку и сердце. Другъ Германа, Ламовъ, питалъ къ Эмиліи несчастную страсть, и, когда она вышла замужъ за его друга, онъ уѣхалъ съ горя за границу и, гуляя по швейцарскимъ Альпамъ, сперва запѣлъ «Не бѣлы-то снѣги», а потомъ заплакалъ, вспомнивъ о другѣ, отнявшемъ у него все счастье. Повѣсть, какъ по всему видно, самая «идеальная», безъ всякой примѣси «реальности», даже со стороны здраваго смысла. Знаніе «гостинной» (salon) въ этой повѣсти удивительное: «барышни» то и дѣло мѣшаютъ французскія фразы съ русскими à la madame de Kourdukoff, и Марія не иначе называетъ Германа, какъ *мсьё Henri*, а онъ ее не иначе, какъ Марія Петровна...

Въ «Медвѣдѣ», новой повѣсти графа Соллогуба, напечатанной, какъ извѣстно, въ «Утренней Зарѣ» на 1843-й годъ, есть отрывистый и безсвязный разговоръ четы, которая, догадываясь о своемъ взаимномъ чувствѣ, робко порывается къ объясненію. Послѣ этого мастерски-изложеннаго разговора, авторъ замѣчаетъ отъ себя:

«Я всегда удивлялся, какъ гладко и краснорѣчиво объясняются влюбленные въ повѣстяхъ и комедіяхъ. Слова ихъ такъ и сыплются чувствительнымъ градомъ, и самыя страстныя признанія такъ тщательно отдѣланы и округлены, что любо читать. На—дѣлѣ бываетъ иначе. Смятѣніе и неизвѣстность вселяютъ страхъ въ самаго храбраго человѣка. Смертная блѣдность покрываетъ чело; судорожная дрожь объемлетъ всѣ члены; слова прилипаютъ къ устамъ и, какъ бы объятыя пламенемъ, съ трудомъ вылетаютъ одно за другимъ».

Замѣчаніе глубоко справедливое! Но такъ можетъ думать только человѣкъ съ талантомъ, который внутри себя носитъ ясновидѣніе тайнъ чувства, имъ изображаемаго; бездарность же, ничего не находя въ пустой груди своей, сидя съ перомъ въ рукѣ, ловитъ въ памяти своей—словно мухъ въ воздухѣ—читанныя ею тамъ и сямъ выраженія чуждыхъ ея натурѣ страстей и чувствъ... Но мы удалились отъ предмета. Вотъ, между прочимъ, какъ въ повѣсти г. Фурмана говоритъ одно дѣйствующее лицо своей любезной:

«Простите, простите мою дерзость!..» сказалъ онъ наконецъ, оставивъ руку ея: «но я такъ счастливъ! о, да, я счастливъ. Все, что я ощущаю въ эту минуту, такъ много для меня, что мнѣ кажется, будто я просыпаюсь послѣ долгаго тяжкаго сна! Я говорю, что люблю васъ(,) и взоръ вашъ не горитъ негодованіемъ, вы не отгоняете меня... я даже смѣю надѣяться, что и вы нѣкогда, оцѣнивъ любовь мою, полюбите меня! Все, все въ глазахъ моихъ приняло другой видъ! небо сіяетъ необыкновеннымъ свѣтомъ—вѣтерокъ сквозь это растворенное окно навѣваетъ благоуханія, которыя я впервые вдыхаю—я долженъ переучиться жить, дышать, говорить, для другой жизни, другого воздуха, другихъ ощущеній—я люблю васъ! и въ этомъ словѣ вся моя жизнь, она вся въ вашей любви; почести, богатство, слава... пустые звуки, они мнѣ не нужны, я обладаю сокровищемъ, ничѣмъ незамѣнимымъ: небольшое наслѣдіе отца моего, трудъ неутомимый и ваша любовь—чего жъ мнѣ болѣе? Ахъ(,) *Марія*, все, чего ищутъ и чему завидуютъ люди, *золото, этотъ презрѣнный металлъ*, который они обоготворяютъ, различіе почестей и славы, все это ничто передъ любовью, этимъ блаженнымъ чувствомъ, которое я къ вамъ питаю и котораго слѣпцы, ищущіе богатствъ, почестей и славы(,) не могутъ понять! О, теперь я постигаю, почему доселѣ былъ ко всему этому равнодушенъ... Я ожидалъ страсти, единственной, могущей наполнить мое сердце(,) и наполнить его столько, чтобы вытѣснить все остальное!..»

Изданіе «Сказки за Сказкой» ужъ черезчуръ *сѣренько*; не мѣшало бы ему быть и побѣлѣе, и поисправнѣе со стороны знаковъ препинанія.

693. Были и Небылицы. *Статейки, вырванныя изъ большой книги называемой:* **Свѣтъ и Люди.** *Философическо-филантропическо-гумористическо-сатирическо-живописные очерки, составляемые подъ редакціею* **Ивана Балакирева.** *Рисунки* Александра Коцебу, *гравированные* Г. В. Дерикеромъ, барономъ Клотомъ и А. Е. Масловымъ. *Книжка I.* **Деньги.** *Санктпетербургъ. Печатано въ типографіи подъ фирмою imprimerie française. 1843. Въ 12-ю д. л. 116 стр.* [30]).

Въ одномъ изъ объявленій г. Ольхина напечатано такъ:

Были и Небылицы или Свѣтъ и Люди. Текстъ Ивана Балакирева (Полеваго). *Рисунки* Александра Коцебу. *Одинъ томъ въ 113 стр. брюссельскаго формата, на лучшей велен. бумагѣ, украшенный 60 политипажами, гравир.* бар. Клотомъ, Деникеромъ *и* Масленымъ. Ц. 1 р. серебр.

Картинки, дѣйствительно-хороши, и по изобрѣтенію и по исполненію; изданіе чрезвычайно красиво и даже изящно, хотя его и портятъ шесты и колья безъ нужды употребляемыхъ прописныхъ буквъ. Но текстъ—что же такое текстъ, сочиненный г. Балакиревымъ, или г. Полевымъ?

Когда мы начали читать книжку—намъ тотчасъ же показалось, что-то знакомое, какъ-будто повтореніе чего-то давно-читаннаго,—и мы наконецъ вспомнили, хотя и съ большимъ усиліемъ, «Новаго Живописца Общества и Литературы», который нѣкогда издавался г. Полевымъ при «Телеграфѣ», а потомъ, въ 1832 году, былъ изданъ имъ отдѣльною книгою въ шести частяхъ. И, правду сказать, было отъ чего припоминать съ большимъ усиліемъ: сравнивая «Были и Небылицы» съ «Новымъ Живописцемъ», видишь какое-то сходство, и однакожь то же да не то. И это обстоятельство поразило насъ такимъ же грустнымъ чувствомъ, какъ еслибъ мы встрѣтили слабаго, покрытаго морщинами и сѣдинами старца, котораго лѣтъ десять назадъ знали человѣкомъ еще свѣжимъ, крѣпкимъ и исполненнымъ энергіи... Изъ всѣхъ статей, составляющихъ содержаніе «Новаго Живописца», видно, что ихъ источникомъ было что-то похожее на негодованіе на разныя темныя стороны общества и литературы: что же касается до «Былей и Небылицъ», то съ первыхъ же страничекъ замѣтно, что ихъ источникомъ и вдохновеніемъ были тѣ самыя Деньги, которыя на красивой, затѣйливой и со вкусомъ распещреной оберткѣ «Былей и Небылицъ» напечатаны *золотыми* литерами. Отъ-того и въ книжкѣ этой есть,—впрочемъ *неконченная*,—поэма, въ XII пѣсняхъ Деньгоада. Отсюда и разница между содержаніемъ «Новаго Живописца» и текстомъ «Былей и Небылицъ»: что̀ въ первомъ живо, остроумно, цѣпко, занимательно, то въ послѣднихъ вяло, натянуто, беззубо, скучно... Вообще, этотъ текстъ—болтовня безъ всякаго содержанія, наборъ словъ, которыя случайно отвсюду сползлись въ книжку, чтобъ она не состояла изъ однѣхъ, неимѣющихъ смысла, картинокъ. Сначала сочинитель—г. Балакиревъ (т. е. г. Полевой) разсказываетъ, какъ къ нему пришла его кухарка требовать денегъ на приготовленіе «поэтическаго питья, составленнаго изъ цикорія, съ примѣсью кофейныхъ выварокъ, что продаютъ въ мѣлочныхъ лавкахъ П(п)етербургскихъ, подъ именемъ *кофе*», а за кухаркою высунулась глупѣйшая рожа Егорки, требующая денегъ на ваксу; какъ сочинитель—г. Полевой (т. е. г. Балакиревъ) повалился съ треногаго стула, и подъ столомъ нашелъ *полуимперіалъ* и—вдохновеніе... Нашедши вдохновеніе, онъ началъ сочинять поэму «Деньгоада», перепробовалъ всѣ размѣры—

и все безуспѣшно; впрочемъ октавы вышли удачнѣе, почему мы и выписываемъ ихъ:

Италія торкватова земля,
Гдѣ вьется плющъ и виноградъ алѣетъ,
Гдѣ златомъ нивъ подернулись поля,
Гдѣ миртъ и лавръ отрадно зеленѣетъ,
Гдѣ грузъ заботъ отъ сердца удаля,
Все радостью безумною пестрѣетъ,
Гдѣ Л(л)аццаронъ съ гитарою лежитъ
И гдѣ Везувій блещетъ и горитъ!

Твой стихъ живой, веселый и игривый
Давно Москвѣ усвоилъ Пискуновъ,
Давно своей онъ М(м)узѣ говорливой
Октаву сшилъ изъ ломаныхъ стиховъ,
И показалъ Италіи хвастливой
Отвагу Р(р)усскихъ удалыхъ пѣвцовъ,
Хоть правду намъ сказать съ другого слова
Избавь насъ Богъ октавы Пискунова![31])

Остальная часть книжки занята разговоромъ сочинителя съ чортомъ, который явился къ нему изъ трубы. Разговоръ этотъ такъ и дышетъ грошевымъ юморомъ и пряничнымъ сарказмомъ, направленными на книгопечатаніе и деньги,—два, по мнѣнію сочинителя, величайшіе бича человѣчества... По формѣ своей этотъ разговоръ есть явное подражаніе «Большому Выходу Сатаны» барона Брамбеуса; для отличія, фраза барона «ваша мрачность» замѣнена у г. Балакирева фразою «ваша темность»; что же касается до подробностей адскаго быта и вообще тона разсказа,—все это чрезвычайно походитъ на натянутое подражаніе пьесѣ барона Брамбеуса. Хорошъ оригиналъ—но подражаніе еще лучше...

Впрочемъ, о текстѣ никто и не спроситъ: красивыхъ книжекъ такого рода никто не читаетъ, зная заранѣе, что въ нихъ нѣчего читать; ихъ многіе покупаютъ, какъ игрушки, особенно если они не дороги. Вотъ отъ чего сначала, какъ говорятъ книгопродавцы, пошли было шибко «Картинки Русскихъ Нравовъ»: отъ того же пойдутъ хорошо и «Были и Небылицы». И такого рода успѣхи еще не скоро прекратятся:—литературѣ и книжной торговлѣ нашей надо пройти еще черезъ многіе роды ребячества, прежде, нежели онѣ совершенно возмужаютъ [32]).

694. Исторія Суворова. *Текстъ* Николая Полеваго. *130 политипажей гравированныхъ лучшими Р(р)усскими и П(п)арижскими художниками, по рисункамъ* А. П. Брюлова, П. В. Басина, А. А. Коцебу, Т. Г. Шевченко, Р. К. Жуковскаго и М. В. Маслова, *съ приложеніемъ великолѣпнаго фронтисписа, плановъ главнѣйшихъ сраже-*

ній, портрета и fac-simile почерка Суворова. Выпускъ первый. Санктпетербургъ. Въ тип. Journal de Saint-Pétersbourg. 1843. Въ большую 8-ю д. л. 112 стр.[33]).

Пошло̀ на политипажи и тексты! И тѣ самые, которые еще недавно бранили политипажи, какъ униженіе искусства, наконецъ смекнули, что политипажи—дѣло доброе если къ нимъ требуется текстъ... Но, увы! на этотъ разъ политипажи, будучи не дурны по выполненію, плохи, очень плохи по изобрѣтенію... Въ иныхъ рисункахъ не соблюдены правила перспективы—отдаленныя фигуры выше и замѣтнѣе стоящихъ на главномъ планѣ и т. п. Немѣшаетъ также замѣтить, въ предостереженіе публики, что передъ фамиліею «Брюловъ», выставленною на заглавномъ листкѣ въ числѣ сочинителей рисунковъ, стоятъ литеры *А.* П. которыя совсѣмъ не то, что литеры *К.* П. Что̀ касается до текста,—онъ не то, чтобъ хорошъ, и не то, чтобъ плохъ, а такъ—середка на половинѣ, нѣчто въ родѣ наскоро составленной, изъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ всѣмъ источниковъ, компиляціи... Компиляція будетъ состоять изъ *трехъ* выпусковъ, каждый изъ *семи* печатныхъ листовъ, что все составитъ книгу въ *двадцать одинъ* печатный листъ, со 130 политипажами: текстъ не великъ, и книга будетъ тонка непропорціонально формату.

Впрочемъ, гораздо-интереснѣй всей этой политипажной затѣи, сужденіе о ней «Сѣверной Пчелы» (см. № 285). Тамъ, между прочимъ, очень ловко замѣчено, что А. П. Брюловъ—знаменитый *архитекторъ*; что вся книга съ пересылкою, будетъ стоить *двадцать* рублей асс.; что нѣкоторые политипажи въ ней прекрасны, а нѣкоторыми г. Булгаринъ недоволенъ; что г. Булгаринъ издаетъ «Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова», со ста картинками, рисованными г. Тиммомъ и гравированными барономъ Клотомъ, барономъ Неттельгорстомъ въ Петербургѣ и г.г. Порре и Лавіелемъ въ Парижѣ, и что книга г. Булгарина будетъ стоить только *три рубля серебромъ*...

«Мы (говоритъ г. Булгаринъ) поневолѣ стали въ тупикъ. Одинъ изъ издателей Сѣверной Пчелы (Ѳ. Б.), который имѣетъ честь бесѣдовать съ вами въ нынѣшнемъ фельетонѣ, также написалъ не *Исторію Суворова*, а *Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова*, и ждетъ только одной части политипажей изъ Парижа, чтобъ приступить къ печатанію. Что тутъ говорить, встрѣтясь съ талантливымъ писателемъ на узкой стезѣ, лицомъ къ лицу! Все-таки можемъ сказать кое-что, на-примѣръ, на первый случай скажемъ, что сочиненіе Н. А. Полеваго: *Исторія Суворова* и сочиненіе Булгарина: *Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова*—двѣ совершенно различныя вещи, вовсе не похожія одна на другую, едва ли не двѣ противоположности. Ѳ. Булгаринъ убѣжденъ, что онъ не въ состояніи написать *современную исторію*, или *исторію современнаго человѣка*, такъ какъ бы хотѣлъ написать, какъ должно писать исторію, принимая исторію не какъ заглавіе книги, а какъ науку. Ѳ. Булгаринъ думаетъ, что прежде ста лѣтъ по смерти Суворова, нельзя писать его исторіи, по тѣмъ понятіямъ, какія имѣетъ Ѳ. Б. объ исторіи, и что теперь можно писать только *біографіи* и *очерки* или *отрывки изъ*

жизни, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ, а для освѣженія или оживленія біографической сухости, Ѳ. Булгаринъ придумалъ помѣстить, между историческими событіями, *романтическія* или *вымышленныя* сцены, которыхъ интересъ основанъ на *исторіи*. т. е. на истинѣ».

Съ тѣмъ, что исторія Суворова, прежде по крайней мѣрѣ ста лѣтъ отъ смерти его невозможна—мы совершенно согласны, равно какъ и съ тѣмъ, что «Исторія Суворова» г. Полеваго, ужъ по одному этому, есть не исторія, а компиляція; но на счетъ того, что *романтическія* сцены все равно, что *вымышленныя*,—мы не согласны: другое дѣло тождество *романтическихъ и вымышленныхъ* сценъ. Равнымъ образомъ, мы не согласны и съ тѣмъ, чтобъ книга г. Булгарина потому была лучше книги г. Полеваго, что въ ней будетъ «романтизмъ»: положимъ даже, что «романтическій» и «романическій»—одно и тоже,— и тутъ нельзя согласиться, чтобъ книга г. Булгарина была лучше книги г. Полеваго: романическія, или, пожалуй, романтическія сцены тогда только могутъ быть хороши, когда ихъ напишетъ поэтъ, а мы, право, не помнимъ, чтобъ г. Булгаринъ когда-нибудь былъ поэтомъ... Развѣ желаніе оказать г-ну Полевому пріятельскую услугу, т. е. показать ему, какъ должно съ успѣхомъ составлять книги о Суворовѣ, внезапно осѣнило его поэтическимъ вдохновеніемъ?.. Можетъ быть! Но—далѣе:

«Н. А. Полевой, *по своимъ понятіямъ*, увѣренный, что уже можно и должно писать исторію Суворова, написалъ исторію, какъ всѣ вообще наши исторіи, т. е. *панегирикъ* Суворову, съ тою разницею, что Н. А. Полевой, какъ человѣкъ съ талантомъ и притомъ съ умомъ, представилъ дѣло въ пріятныхъ формахъ. Мы полагаемъ, что Н. А. Полевой *не прогнѣвается* на насъ, если мы ему скажемъ, что не видавъ вещи, почти невозможно описать ее вѣрно, изъ однихъ разсказовъ. Н. А. Полевой, хоть храбро сражался и даже одержалъ блистательныя побѣды въ чернильныхъ битвахъ, не бывалъ, однакожь, какъ пишется въ формулярѣ, въ дѣйствительныхъ сраженіяхъ, гдѣ наносятъ удары не перьями, а штыками и саблями, и гдѣ льется кровь, а не чернила, и потому эта часть, т. е. война, никогда не можетъ быть такъ вѣрно изображена мирнымъ литераторомъ, какъ литераторомъ-воинномъ *), который *десять* лѣтъ сряду, такъ сказать, не слѣзалъ съ копя, и жилъ въ виду непріятеля».

Хотя и всѣмъ извѣстно, что г. Булгаринъ долго ходилъ подъ знаменами (для удостовѣренія въ этомъ, достаточно его «Воспоминаній объ Испаніи»),— однако же изъ этого еще не слѣдуетъ большой разницы между г. Булгаринымъ и г. Полевымъ—въ дѣлѣ военной исторіи: строевой офицеръ еще не одно и тоже, что генералъ, тактикъ, стратегикъ. Каждый русскій солдатъ храбро дерется, иной бывалъ двадцать разъ въ дѣлѣ, но о войнѣ разсуждать, или писать солдатъ русскій не можетъ.

Далѣе, г. Булгаринъ увѣряетъ, что военная часть въ «Исторіи Суворова»

*) Т. е., тѣмъ, кто—прибавимъ мы отъ себя—

Уже не воинъ, а писатель...

г. Полеваго слаба, а дипломатическая—хороша, и что вообще «Исторія Суворова», г. Полевымъ написанная, есть «явленіе важное и замѣчательное въ нашей литературѣ»: въ первомъ случаѣ, мы совершенно согласны съ тѣмъ, что говоритъ г. Булгаринъ, а во второмъ и третьемъ—съ тѣмъ, что *хочетъ* сказать г. Булгаринъ. Пришлось же вѣдь наконецъ согласиться!... Въ заключеніе г.Булгаринъ говоритъ, что онъ «*боится* писать стихи (хотя нынѣшніе стихи, т. е. безъ риомъ, право, легче писать, нежели хорошую прозу), *боится драмы*» (вотъ что надѣлала коварная «Шкуна»!), «боится того и другого, и знаетъ, что одно можетъ написать лучше, другое хуже», и предоставляетъ рѣшить—что лучше у г. Полеваго—«Исторія Суворова», или *классическое*, по мнѣнію его, г. Булгарина, сочиненіе—«Очерки Русской Литературы», а самъ боится судить рѣшительно, опасаясь, чтобъ его не оподозрили въ пристрастіи, т. е. въ желаніи дать ходъ своей книгѣ на счетъ книги г. Полеваго...

Помилуйте, какъ это возможно! Ужь изъ сказаннаго видно, что г. Булгаринъ поступилъ совершенно по-рыцарски, какъ великодушный соперникъ...

695. **Супружеская истина**, *въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. Санктпетербургъ. Въ типографіи Карла Крайя. 1842. Въ 12-ю д. л. 92 стр.* [34]).

Хоть эта книжка писана и прозою, тѣмъ не менѣе она составляетъ рѣшительную дружку къ стихотвореніямъ г. Молчанова: подобно имъ—она довольно дикая аномалія въ книжномъ мірѣ. Есть на французскомъ языкѣ книга: «Tableau de l'amour conjugal», въ которой брачное состояніе подробно разсматривается во всѣхъ отношеніяхъ, и преимущественно—медицинскомъ: г. Лебедевъ выписалъ изъ нея кое-что, сдобрилъ это сантиментально-моральными разглагольствованіями собственнаго изобрѣтенія, и у него вышла книжечка, опрятно и красиво напечатанная, хотя и со множествомъ ошибокъ противъ орѳографіи. О предметахъ такого рода, какъ брачное состояніе, разсматриваемое въ физическомъ отношеніи, должно или все говорить, или ничего не говорить: въ первомъ случаѣ книга можетъ быть полезна тѣмъ, для кого она писана, во второмъ случаѣ она будетъ безполезна... Что́ касается до его нравственныхъ разсужденій—ихъ главная идея и цѣль состоитъ въ томъ, что всѣ должны жениться, и что безбрачное состояніе—страшный грѣхъ. Положимъ и такъ; но вотъ бѣда: г. Лебедевъ полагаетъ взаимную любовь необходимымъ условіемъ брака, а вѣдь любовь есть чувство, независящее отъ воли человѣка, и никто не можетъ сказать себѣ: «дай-ка влюблюсь вотъ въ эту, или вонъ въ ту», и потому иному во всю жизнь не придется ни разу влюбиться, тогда какъ другой успѣетъ, въ продолженіе своей жизни, влюбиться нѣсколько разъ: какъ же тутъ быть?—не-уже-ли ли жениться безъ любви?... Этотъ вопросъ г. В. Лебедевъ оставилъ безъ отвѣта, вѣроятно, потому именно, что это одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, на которые отвѣчать трудненько. За то предусмотрительный

г. В. Лебедевъ коснулся другого вопроса, не менѣе важнаго—вопроса о приданомъ. Вотъ это дѣло! но какъ рѣшаетъ онъ этотъ вопросъ?. Онъ говоритъ, что всѣ мужчины ожидаютъ себѣ непремѣнно счастья отъ большого приданаго, и всѣ, по большей части, жестоко обманываются въ этомъ... Важная повость, великое открытіе—нечего сказать! Да кто жъ этого не зналъ и безъ вашей книжки, г. В. Лебедевъ? Право, люди-не такъ глупы, чтобы не знать, что 2×2=4;... Дѣйствительно, въ приданомъ не блаженство, но въ немъ—независимость отъ нуждъ жизни, застрахованіе отъ позора нищеты и голодной смерти. Любовь—дѣло хорошее, но бракъ по любви съ нищетою, вмѣсто приданаго, дѣло глупое и не совсѣмъ нравственное: что хорошаго умножать собою число нищахъ и подвергать любимую женщину всѣмъ униженіямъ и всѣмъ бѣдствіямъ нищеты?.... Вотъ, если бы вы, г. В. Лебедевъ, взяли на себя трудъ разрѣшить великую политико-экономическую задачу современнаго міра: какъ быть сытымъ и одѣтымъ, не лишеннымъ необходимыхъ удобствъ жизни, не получивъ отъ родителей хорошаго наслѣдства и не наворовавъ при «теплеиькомъ мѣстечкѣ»

Индѣекъ малую толику,—

это другое дѣло; можетъ быть, многіе съ вами и не согласились бы, за то все-таки остались бы вамъ благодарны хоть за доброе намѣреніе... А то, право, нѣкоторые сочинители считаютъ себя ужасно-глубокомысленными, если съ важностію скажутъ, что мужъ долженъ любить жену, а жена мужа и т. п. Да кто жъ этого не знаетъ, и кто жъ это исполняетъ?...

На 75 стр. своей книжонки г. В. Лебедевъ говоритъ:

«*Приданое* за женою есть величайшее зло, влекущее за собою развращеніе нравовъ—во-первыхъ, потому: что приданое *есть* (бываетъ?) главною причиною, что множество мужчинъ остается на всю жизнь холостыми, а дѣвицы вѣчными невѣстами; во-вторыхъ, государство отъ безбрачности гражданъ лишается приращенія въ народонаселеніи—и въ-третьихъ, гдѣ болѣе безбрачности, тамъ болѣе разврата и преступленій».

Первое и третіе справедливо; но отъ безбрачности не уменьшается народонаселеніе—развѣ увеличивается число несчастныхъ созданій, отъ рожденія осужденныхъ на горе и презрѣніе. Г В. Лебедевъ очень сожалѣетъ, что не разъ предполагаемое въ Сѣверо-Американскихъ-Штатахъ намѣреніе обложить податью всѣхъ неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ отъ роду, не состоялось: послѣ этого, г. В. Лебедеву остается сожалѣть и о томъ, что неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ не вѣшаютъ... Онъ не понимаетъ того, что внѣшнія побудительныя мѣры, какъ бы онѣ сильны ни были, ни къ чему не ведутъ въ такихъ важныхъ общественныхъ вопросахъ. Русскихъ мужиковъ не приневоливаютъ жениться, а они, между-тѣмъ, преусердно женятся: это отъ-того, что, женясь и пріобрѣтая въ женѣ хозяйку и работницу, мужикъ утверждаетъ свое внѣшнее благосостояніе, а не рискуетъ лишиться его. Когда и въ другихъ со-

словіяхъ (разумѣется, сообразно съ условіями ихъ быта и образованности) жениться будетъ выгоднѣе и удобнѣе, нежели оставаться въ одиночествѣ,—тогда и въ другихъ сословіяхъ будутъ жениться безъ всякихъ денежныхъ пеней и другихъ внѣшнихъ понужденій. А безъ того—всякій скорѣе отдастъ послѣднее для уплаты штрафа, чѣмъ женится: вѣдь лучше дать отрубить себѣ палецъ, чѣмъ голову...

Теперь спѣшимъ выписать единственныя дѣльныя строки во всей книжкѣ г. В. Лебедева:

«Мужчины въ безбрачномъ состояніи живутъ въ обществахъ безъ (*соблюденія*) всякаго цѣломудрія, не считая это за порокъ, но и не ставя ни себѣ, ни другимъ въ осужденіе; женщинамъ же вмѣняютъ въ предосужденіе самое малѣйшее кокетство. Что это несправедливо, въ этомъ согласится каждый благонамѣренный человѣкъ».

Соглашаемся, ибо мы убѣждены, что право грѣха и преступленія или равно не принадлежитъ ни тому, ни другому полу, или равно принадлежитъ и тому и другому. Разумѣется, первое вѣроятнѣе; но право силы и кулака присвоило мужскому полу и права грѣха и преступленія, не въ примѣръ женщинамъ...

«Мы считаемъ себя (продолжаетъ г. В. Лебедевъ) живущими въ самомъ просвѣщенномъ вѣкѣ—правда ли это!? Что-то скажутъ объ насъ наши потомки черезъ нѣсколько столѣтій, а судъ и приговоръ потомства справедливъ».

Правда, тысячу разъ правда!... Мы даже можемъ сказать г. В. Лебедеву, что̀ скажутъ о насъ потомки. Они скажутъ: «XIX вѣкъ, считавшій себя самымъ просвѣщеннымъ вѣкомъ, былъ только переходомъ къ истинно-просвѣщеннымъ временамъ, ибо въ немъ, гордившемся своею разумностію и гуманностію, владычествовало еще варварство феодальныхъ временъ—чему немалымъ доказательствомъ можетъ служить даже изданная въ 1843 году маленькая книжка г. В. Лебедева, подъ названіемъ «Супружеская истина въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ»...

696. Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ [36]).

Еще смерть, еще утрата—еще не стало одного примѣчательнаго человѣка въ русской литературѣ и русскомъ обществѣ, которыя по справедливости могли гордиться имъ: извѣстный поэтъ русскій, Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ скончался въ Воронежѣ, прошлаго года, въ октябрѣ мѣсяцѣ, на *тридцать третьемъ* году отъ роду... Тяжела и горька была жизнь этого человѣка, страшна была смерть его... Въ-продолженіе почти двухъ лѣтъ, онъ медленно хилѣлъ и таялъ, проводя время въ леченіи, то оправляясь, то вновь и еще сильнѣе одолѣваясь тяжкимъ внутреннимъ недугомъ... Крѣпкая и сильная натура его могла бы еще преодолѣть болѣзни тѣла, но семейныя огорченія, совершенное одиночество среди близкихъ ему, но непонимавшихъ его

людей, потерянное время въ прошедшемъ и безнадежность въ будущемъ, горькія разочарованія въ томъ, что̀ любилъ и за любовь къ чему встрѣтилъ вражду и ненависть, потрясли въ основаніи этотъ мощный и благородный духъ... Пожираемый лютою чахоткою, одинокій и отчаянный, лишенный не только участія—даже пособій врачебныхъ (ибо ему не на что было покупать лекарства), Кольцовъ окончилъ страдальческую жизнь свою 19 октября прошлаго года, въ три часа пополудни... Кто зналъ этого человѣка лично и умѣлъ понимать и цѣнить его,—для тѣхъ неожиданное и уже позднее извѣстіе о смерти его было истиннымъ ударомъ...

Кольцовъ родился въ Воронежѣ 1809 года, октября 2-го дня. Его не совсѣмъ основательно называли поэтомъ-самоучкою, смѣшивая съ простолюдинами, которые, въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучившись грамотѣ, сочли это за право кропать стихи. Кольцовъ зналъ грамотѣ съ малолѣтства; по инстинкту, онъ всегда стремился къ сближенію съ людьми, отличенными искрою Божіею—и никогда не обманывался въ своемъ выборѣ. Рано проснулась въ немъ страсть къ чтенію, и жадно читалъ онъ всякую книгу, какая только попадалась ему подъ руку. Дружба съ однимъ молодымъ человѣкомъ, *Серебрянскимъ*, подобнымъ ему горемыкою, котораго также уже нѣтъ на свѣтѣ, имѣла сильное и рѣшительное вліяніе на внутреннюю жизнь Кольцова. Серебрянскій былъ человѣкъ замѣчательный, съ душою, съ умомъ, съ рѣдкими дарованіями,—чему можетъ служить доказательствомъ статья его «Мысли о Музыкѣ» *). Получивъ образованіе схоластическое, Серебрянскій взялъ отъ него только одни, хотя и скудныя, свѣдѣнія, и самъ довершилъ свое воспитаніе чрезъ чтеніе и черезъ суровую школу нужды, бѣдности и тяжелаго опыта, въ борьбѣ съ которыми и палъ, сраженный преждевременною смертію... Потомъ судьба свела Кольцова съ однимъ изъ тѣхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благоговѣйная память и таинственные слухи о которыхъ изъ тѣснаго кружка близкихъ имъ людей переходятъ иногда и въ общество: мы говоримъ о *Станкевичѣ*... Черезъ него Кольцовъ вошелъ именно въ такой кругъ людей, котораго всегда жаждала душа его,—и единственными счастливыми эпохами въ его жизни были встрѣчи его съ этими людьми, во время его поѣздокъ, по торговымъ дѣламъ отца, въ Москву и Петербургъ. Небольшая книжка изданныхъ въ свѣтъ его стихотвореній доставила ему честь личнаго знакомства съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ, княземъ Одоевскимъ и другими извѣстными литераторами,—и онъ былъ всѣми ими радушно принятъ и обласканъ. Нѣкоторые изъявили ему свое участіе даже оказаніемъ помощи въ дѣлахъ его,—и въ этомъ случаѣ, Кольцовъ особенно хранилъ признательную память къ князю Вяземскому. 1836—1840 годы были самые счастливые для его развитія. Кольцовъ тогда былъ необходимъ для дѣлъ отца своего, и потому часто бывалъ и долго жи-

*) „Московскій Наблюдатель“ 1838 года, томъ XVII, стр. 1.

валъ въ Москвѣ и Петербургѣ, пріобрѣтая себѣ книги и на собственныя средства и получая ихъ въ подарокъ отъ всѣхъ знакомыхъ ему литераторовъ. Но, несмотря на то, онъ всегда чувствовалъ, что его воспитаніе невозвратимо заключило его въ ограниченный кругъ нравственнаго существованія,—и его глубокій, смѣлый, ясный умъ, вѣрный тактъ дѣйствительности, служили ему больше къ горестному сознанію этой истины, чѣмъ къ выходу изъ заколдованной черты, обведенной вокругъ него судьбою. И онъ глубоко страдалъ, видя, что многое для него мудрено и непостижимо потому только, что ново и непривычно. Съ раннихъ лѣтъ рвнутый въ жизнь дѣйствительную, онъ коротко зналъ, глубоко понималъ ее,—и, судя по его практическому такту, его иронической улыбкѣ, его осторожному разговору, многіе дивились, какъ онъ въ то же время могъ быть поэтомъ... Есть люди, которые смотрятъ на поэта, какъ на птицу въ клѣткѣ, и заговариваютъ съ нимъ для того только, чтобъ заставить его пѣть: такъ любители соловьевъ трутъ ножикъ о ножикъ, чтобъ звуками этого тренія вызвать птицу на пѣніе... Зная хорошо дѣйствительную жизнь, участвуя, поневолѣ, въ ея дрязгахъ, Кольцовъ не загрязнилъ души своей этими дрязгами: его душа всегда оставалась чиста, возвышенна, благородна, хотя ироническая улыбка никогда не сходила съ устъ его... Противорѣчіе между дѣйствительностію, въ которую бросила его судьба, и между внутренними потребностями души,—вотъ что всегда было причиною его страданій, и вотъ что наконецъ свело его въ раннюю могилу. Одаренный характеромъ сильнымъ, Кольцовъ умѣлъ терпѣть; но всякому терпѣнію бываетъ конецъ: онъ все могъ перенести, только не ядовитую ненависть тѣхъ, кого любилъ и отъ кого оторваться навсегда у него не было внѣшнихъ средствъ...

Какъ поэтъ, Кольцовъ былъ явленіемъ весьма примѣчательнымъ. Онъ обладалъ талантомъ сильнымъ, глубокимъ и энергическимъ, и, несмотря на то, долженъ былъ оставаться въ довольно-ограниченной сферѣ искусства—сферѣ поэзіи народной. Въ своихъ «Думахъ» онъ рвался къ другимъ высшимъ мірамъ жизни и мысли, но выражалъ ихъ всегда въ своей однообразной формѣ. Если же смотрѣть на стихотворенія Кольцова, какъ на произведенія народной поэзіи, которая уже перешла черезъ себя и коснулась высшихъ сферъ жизни и мысли,—то они останутся навсегда однимъ изъ любопытнѣйшихъ явленій русской литературы и поэзіи. О нихъ нельзя судить порознь, но собранныя вмѣстѣ, они представляютъ нѣчто цѣлое—самобытную и интересную въ самой ограниченности своей сферу творчества. Друзья покойнаго поэта, горячо любившіе его и какъ человѣка, желая достойно почтить его память, намѣрены издать въ скоромъ времени *избранныя* его стихотворенія, съ его портретомъ, facsimile и біографіею.

697. Русскій театръ въ Петербургѣ [37]).

Женитьба. *Оригинальная комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, сочиненіе* Н. В. Гоголя (*автора* «Ревизора»).

Въ ожиданіи выхода полнаго собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». *Подколесинъ*—не просто вялый и нерѣшительный человѣкъ съ слабою волею, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшителенъ до геропзма; но чуть коснулось исполненія—онъ струситъ. Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумнѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахалъ, которому не уступить—значитъ рѣшиться на исторію, конечно, не опасную, но зато неприличную, а одно стоитъ другого. *Кочкаревъ*—добрый и пустой малый, нахалъ и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на *ты*. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по своему мѣбель въ комнатѣ, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ помогать ему распоряжаться въ своемъ домѣ. Кочкаревъ навяжетъ другу своего портнаго, своего сапожника не потому, чтобъ убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобъ сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ хочетъ, чтобъ все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобъ всѣ говорили: «этотъ человѣкъ на всѣ руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до поту лица, перенести что угодно. Другъ его сбирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ—отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу; онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждаго стропила. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа разсорится съ другомъ *по-своему:* назоветъ его и «свиньей», и «подлецомъ». Первыя слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ-то было: провѣдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почуявшую зайца; чтобъ похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми обольстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актеръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ чело-

вѣкъ, у котораго есть какая-то цѣль,—то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы Кочкаревъ, взбѣсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я на васъ всѣхъ сошлюсь: ну, не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что онъ мнѣ? родня что ли? И что я ему такое—нянька, тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себѣ покою, нелегкая прибрала бы его совсѣмъ?—А просто чортъ знаетъ изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ—вся тайна характера Кочкарева. *Жевакинъ*—не кривляка, не шутъ: это старый селадонъ, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба—хоть въ Китай, не только въ Сицилію,—онъ вездѣ замѣтитъ одно только: «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ» для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. *Анучкинъ*—человѣкъ, живущій и бредящій однимъ—высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во снѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почитаетъ себя образованнымъ человѣкомъ и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ ли тамъ «барышни» по-французски. *Барышни, французскій языкъ и обхожденіе высшаго общества*—въ этомъ для него и смыслъ жизни, и цѣль жизни, и, кромѣ этого, для него ничто не существуетъ. Много попадается Анучкиныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актёрамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмысліемъ въ водевилѣ, и осуждаютъ пьесы за неприличный тонъ; они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ—въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта.—Пятое дѣйствующее лицо—*Яичница* (экзекуторъ). Это человѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ—стало быть, не похожъ на провинціальнаго медвѣдя. Вообще, для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актёрамъ всего нужнѣе—*наивность*, отсутствіе всякаго желанія и усилія смѣшить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшнаго или страннаго. Въ обществѣ никто не станетъ стараться смѣшить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо *Свахи* въ «Женитьбѣ»—есть одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданій Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ, должны быть прежде всего схвачены актриссою, выполняющею эту роль; малѣйшая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дѣло. Это баба, наметавшаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ.

Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ ли онъ. «А пьетъ, не прекословлю, пьетъ! Что же дѣлать? ужъ онъ титулярный со-

вѣтникъ, зато такой тихій, какъ шолкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ, что̀ жь такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю же недѣлю бываетъ пьянъ—иной день выберется и трезвый». Про другаго она говоритъ: «Немножко заикается, зато ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ зданіемъ, овладѣли нашею сценою пошлыя комедіи съ пряничною любовью и неизбѣжною сватьбою! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотря на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышетъ, что ею! И какою любовью—безкорыстною, безъ всякаго разсчета на приданое, на связи и покровительство!..

Русская боярыня XVII Столѣтія. *Драматическое представленіе въ одномъ дѣйствіи, съ свадебными пѣснями и пляской*, соч. П. Г. Ободовскаго.

Трагедія, водевиль и балетъ, вмѣстѣ взятые, составляютъ «драматическое представленіе», по мнѣнію знаменитыхъ драматурговъ Александринскаго Театра — гг. Полеваго и Ободовскаго. У нихъ, какъ у истинныхъ геніевъ, своя логика и своя эстетика! Собственно «драматизмъ», по этой оригинальной логикѣ и глубокомысленной эстетикѣ, долженъ заключаться въ внезапныхъ встрѣчахъ отцовъ съ дѣтьми, мужей съ женами, любовниковъ съ любовницами. Окончаніе всегда должно быть счастливое—торжество добродѣтели, наказаніе порока: это ужь для нравственности. Сочинивъ такой замысловатый рецептъ изъ такимъ простыхъ и дешевыхъ снадобій, сіи достойные драматурги много уже составили по немъ прекраснѣйшихъ «драматическихъ представленій», которыя достойно удивили и восхитили публику Александринскаго Театра. Не станетъ ничьей памяти сосчитать, въ который уже разъ г. Ободовскій удостоился лавроваго вѣнка Софокла, когда восхищенная и до глубины тронутая публика Александринскаго Театра такъ единодушно хлопала, слушаяв осхитительное пѣніе г-жи Гусевой и смотря на очаровательную пляску г-жи Каратыгиной. Содержаніе «Боярыни XVII столѣтія» состоитъ въ томъ, что въ деревню и домъ жены псковскаго воеводы Морозова пожаловалъ невзначай отрядъ Шведовъ, которые напились пьяны, заставили Морозову (назвавшуюся женою дворецкаго) плясать, и предводитель ихъ клялся, если найдетъ семейство Морозовыхъ, отомстить ему за смерть своего отца; а Морозова призрѣла у себя взятаго вмѣстѣ съ мертвыми съ поля битвы старика-Шведа; и вотъ, какъ предводитель отряда наконецъ узналъ, что онъ въ домѣ у Морозовой и что она его одурачила, то и началъ «клятися и ратитися», махать руками и кричать, да и схватился-было за мечь; тогда Морозова бросается со своимъ малолѣтнимъ сыномъ въ комнату, гдѣ стоялъ бочонокъ съ порохомъ, и, въ великолѣпномъ монологѣ, не жалѣя груди, грозитъ поднести свѣчу къ

бочонку; но какъ въ такомъ случаѣ погибла бы добродѣтель и восторжествовалъ бы порокъ, а сверхъ-того и взрывъ большой избы, набитой народомъ, неудобоисполнителенъ на сценѣ, то по всѣмъ симъ причинамъ вдругъ выздоравливаетъ старикъ-Шведъ и, съ крикомъ: «сынъ!» бросается къ начальнику шведскаго отряда, а тотъ кричитъ: «родитель мой!» и бросается къ старику, а раёкъ хлопаетъ... Очевидно, что содержаніе новаго «драматическаго представленія» г. Ободовскаго есть не что иное, какъ переложеніе русской исторіи на римскіе нравы, по незнанію русскихъ нравовъ... Сочинители извѣстнаго разряда не понимаютъ, что каждый народъ доблестенъ по-своему, въ своихъ формахъ—Русскіе по-русски, Римляне по-римски, что Пожарскій, Мининъ и Сусанинъ совершили свои великія дѣла безъ монологовъ изъ расиповскихъ трагедій, не рисуясь по-театральному. Но угадывать форму идеи есть дѣло таланта: посредственность все представляетъ въ одинаковыхъ реторическихъ формахъ. Впрочемъ, какъ пѣніе г-жи Гусевой и пляска г-жи Каратыгиной, такъ и «драматическое представленіе» г. Ободовскаго совершенно пришлось по вкусу нѣкоторой части публики: авторъ былъ вызванъ, и мы сами слышали, какъ многіе, даже весьма почтенные люди, т. е. люди въ лѣтахъ и съ вѣсомъ, говорили: «Вотъ это—пьеса; это не то, что какая нибудь *Женитьба*!» Именно, совсѣмъ не то, мы согласны съ этимъ...

698. Литературныя и журнальныя замѣтки [38]).

Представленіе «Женитьбы» на сценѣ Александринскаго Театра снова оживило фѣльетонъ «Сѣверной Пчелы». Наконецъ (восклицаетъ эта газета въ № 279 прошлаго года), въ бенефисъ г. Сосницкаго, мы видѣли ту знаменитую *комедію* Гоголя, о которой уже нѣсколько лѣтъ трубятъ *его пріятели!*»— Что за странная манера, въ дѣлѣ чисто-литературномъ, говорить о «пріятеляхъ!» Почему фѣльетонисту знать, кто пріятель Гоголю и кому Гоголь пріятель? Пушкинъ *печатно* называлъ Дельвига и другихъ *) своими друзьями и пріятелями: стало-быть, и другіе могли, не нарушая приличія, говорить, что такой-то и такой-то—друзья Пушкина; но никто не имѣлъ права называть *печатно* друзьями и пріятелями Пушкина тѣхъ, которыхъ онъ самъ не называлъ этимъ именемъ тоже *печатно*. Гоголь ни одною строкою и никого не объявлялъ ни другомъ своимъ, ни пріятелемъ, и, сколько намъ извѣстно, еще никто не называлъ себя печатно ни другомъ, ни пріятелемъ Гоголя. Слѣдовательно, «Сѣверная Пчела» самоуправно присвоила себѣ право навязывать Гоголю пріятелей, изъ которыхъ онъ иныхъ и въ глаза не видывалъ. И послѣ этого фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» еще позволяетъ себѣ пускаться въ разглагольствованія о хорошемъ литературномъ тонѣ, о приличіи, объ образованности!.. У таланта Гоголя дѣйствительно много въ Россіи и друзей и

*) Одессу звучными стихами
Нашъ другъ Тумапскій описалъ.
Евгепій Опѣгинъ.

пріятелей, такъ же, какъ и враговъ и недруговъ: это общая судьба всѣхъ высокихъ талантовъ; и вотъ объ этихъ-то друзьяхъ и пріятеляхъ, врагахъ и недругахъ, позволительно разсуждать въ печати, невыходя изъ предѣловъ литературнаго вопроса. Взгляните на дальнѣйшіе подвиги фельетониста «Сѣверной Пчелы» касательно этого недающаго ей покою, хотя и не знающаго о ея существованіи Гоголя. За выписаннымъ нами восклицаніемъ, слѣдуетъ изложеніе содержанія комедіи, для доказательства, что она никуда не годится, такъ что читатель можетъ подумать, будто «Женитьба» Гоголя хуже даже какой нибудь «Шкуны Нюкарлеби» г. Булгарина. Далѣе слѣдуютъ радостныя, исполненныя торжественности извѣстія о паденіи пьесы, о единодушномъ шиканіи, похвалы тонкому, изящному вкусу и свѣтской разборчивости публики Александринскаго Театра... Старыя шутки, господа! На сценѣ давались и пьесы Пушкина: «Русалка», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», отрывки изъ «Цыганъ»—и все это не имѣло ни малѣйшаго успѣха, слѣдовательно испытали паденіе... Зато, на сценѣ же давались въ старину «Филатка и Мирошка», а теперь дается «Комедія о войнѣ Ѳедосьи Сидоровны съ Китайцами», съ одобреніемъ принятая публикою. Что это значитъ — предоставляемъ рѣшить г. фёльетонисту...

Между прочимъ, фёльетонистъ распространяется о какихъ-то партіяхъ, изъ которыхъ одну называетъ «здѣшнею», а другую «московскою», и послѣднюю заставляетъ прославлять Гоголя, чтобъ черезъ это «заставить публику отвернуться отъ другихъ сатирическихъ и юмористическихъ писателей и романистовъ»... Ну, есть же изъ чего хлопотать! Не зная никакой московской партіи, тѣмъ не менѣе жалѣемъ о ней, что она занимается такими мелочами, хваля и превознося Гоголя не за его прекрасныя созданія, а изъ желанія ронять то, что и само собою давно уже внѣ всякой опасности упасть, по смыслу русской пословицы: «лежачаго не бьютъ»... И что за смѣшная мысль, будто возможно возвысить недостойное, или уронить достойное! Кто наши юмористическіе писатели, кромѣ Гоголя?—Фонвизинъ, Крыловъ (баснописецъ), Нарѣжный (романистъ), Грибоѣдовъ. Кто же не отдавалъ имъ должнаго, кто ронялъ ихъ?... «Пусть же (восклицаетъ фёльетонистъ) г. Гоголь выступилъ на журнальное поприще и сдѣлался критикомъ... тогда бы мы увидѣли, какъ тѣ же самыя лица, которыя созидаютъ ему пьедесталъ, чтобъ поставить его рядомъ съ Гомеромъ, стали бы разбирать изъ всѣхъ силъ этотъ пьедесталъ!...» А! вотъ что! теперь мы понимаемъ, куда клонятся намеки фёльетониста: г. Булгаринъ почитаетъ себя и сатирикомъ, и юмористомъ, и романистомъ, и критикомъ,—и по его мнѣнію, люди безпристрастные потому несоглашаются съ нимъ въ его лестныхъ отзывахъ о самомъ себѣ, что онъ—*критикъ!!*.. Иначе, его признавали бы чѣмъ-то не меньше даже Гоголя!.. Г. Булгаринъ и Гоголь—да это еще оригинальнѣе, чѣмъ Гоголь и—Гомеръ!..

А между тѣмъ Гоголь выступалъ на журнальное поприще и былъ критикомъ: въ «Арабескахъ» напечатаны его превосходныя критическія статьи о

Пушкинѣ, о Брюловѣ, о Шлецерѣ, Миллерѣ и Гердерѣ; а въ 1 нумерѣ «Современника» 1836 года, есть статья его «О движеніи журнальной литературы», въ которой съ неподражаемымъ юморомъ характеризована «Сѣверная Пчела» и разные критики!... Ужь не отъ того ли въ «Сѣверной Пчелѣ» и понынѣ не отдается Гоголю должной справедливости?... По теоріи самой «Сѣверной Пчелы» выходитъ такъ...

Кстати о Гомерѣ и Гоголѣ: та же газета продолжаетъ увѣрять (см. № 285), будто «Отеч. Зап» величаютъ *Гоголя—Гомеромъ*... Просимъ покорнѣйше указать хоть одну страницу въ «Отеч. Запискахъ», гдѣ была бы *хоть одна строка*, доказывающая справедливость такого обвиненія. Въ «Отеч. Запискахъ», напротивъ, нѣсколько разъ было писано *противъ* тѣхъ господъ, которые сочинили *небывалое* сходство Гоголя съ Гомеромъ, и разъ была напечатана большая статья въ опроверженіе этихъ странностей («Отеч. Записки 1842 г., № XI [39]). Какъ же назвать эту неприличную выходку «Сѣверной Пчелы» противъ «Отеч. Записокъ?»

Изъ журнальныхъ новостей самыя свѣжія—слѣдующія: «Сынъ Отечества» за 1842-й не додалъ только *четырехъ* книжекъ; «Русскій Вѣстникъ», опоздавшій въ 1841 году *двумя* книжками, въ нынѣшнемъ опоздалъ всего *шестью* книжками (т. е. цѣлымъ полугодомъ), а «Москвитянинъ»—только *одною* книжкою.

Журнальный мирлифлёръ и Жоржъ Зандъ. Какой-то господинъ (мы забыли его имя) издаетъ въ Парижѣ модный листокъ въ родѣ «*Follet*». Тутъ еще нѣтъ ничего удивительнаго. Но удивительно то, что этотъ господинъ, говорятъ, съ презрѣніемъ смотритъ на всѣхъ своихъ собратьевъ (т. е. издателей модныхъ журналовъ, которыхъ, какъ извѣстно, въ Парижѣ очень много). Ему, во что бы ни стало, хочется прослыть знаменитымъ литераторомъ. Онъ, бѣдный, совершенно помѣшался на литературной славѣ, и статейки свои (которыя почитаетъ, разумѣется, великими произведеніями) еще въ рукописи читаетъ не только своимъ пріятелямъ, но всѣмъ наборщикамъ типографіи, въ которой печатается его листокъ, своему лакею и даже привратнику. Недавно онъ напечаталъ объ одномъ знаменитомъ скрипачѣ, талантъ котораго восхищалъ въ прошлую зиму весь Парижъ,—слѣдующія замѣчательныя строки:

Прелестныя и милыя мои соотечественницы, о вы, богини красоты и моды! вы, восхищавшіяся дивнымъ, упоительнымъ смычкомъ г. NN, истаявшія отъ нѣги и блаженства при роскошныхъ, неземныхъ, чародѣйственныхъ звукахъ этого смычка, вы, вѣрно, изумитесь, если я буду имѣть честь доложить вамъ: что г. NN нисколько не виновенъ въ наслажденіи, которое доставлялъ вамъ, я вамъ объявляю за тайну (будьте только скромны, прелестныя мои читательницы!): въ скрипкѣ г. NN заключена душа одной восхитительной дѣвушки, которая, увы! въ-слѣдствіе безнадежной любви похищена смертію (не дай вамъ

Богъ такой смерти!)... И эти звуки, пополамъ раздиравшіе ваше сердце, сжатое, безъ-сомнѣнія, корсетомъ превосходной работы г. F*** (Rue Richelieu, № 27), эти звуки, извлекавшіе изъ побѣдительныхъ и молніеносныхъ очей вашихъ жемчужины чистѣйшей грусти (жемчугъ снова входитъ въ моду: превосходные жемчужные уборы мы видѣли въ магазинѣ Cazal, rue Montmartre № 21) и эти звуки... повторяю я — о, это стонъ души страдалицы, ея молитвы и жалобы, ея вздохи и рыданія»... и прочее.

Но этотъ удивительный любезникъ, журнальный мирлифлёръ, издатель моднаго листка, такъ *галантерейно* обращающійся съ дамами, которыя представляются ему, кажется, въ видѣ *розанчиковъ*, какъ Жевакину въ комедіи Гоголя «Женитьба»,—питаетъ страшную ненависть только къ одной изъ всего прекраснаго пола, а именно къ баронессѣ Дюдеванъ (Жоржъ Зандъ).

Однажды въ своемъ модномъ и *галантерейномъ* листкѣ, послѣ краснорѣчиваго описанія модныхъ кружевныхъ блондовыхъ чепцовъ и послѣ разныхъ презамысловатыхъ комплиментовъ «очаровательнымъ брюнеткамъ и воздушнымъ блондинкамъ», онъ вдругъ обратился къ нимъ съ слѣдующею рѣчью.

«Я надѣюсь, мои восхитительныя читательницы, что вы не читаете Жоржа Занда? (которую, не понимаемъ, на какомъ основаніи именуютъ въ цѣлой Европѣ геніальною, великою писательницею)... Сохрани васъ Боже отъ этого! Она все кричитъ противъ брака, mesdames! Не слушайте ее... Я увѣренъ, что вы въ приданое мужу своему принесете чистѣйшее, возвышеннѣйшее счастіе, а онъ—вашъ супругъ, колѣнопреклоненный, броситъ къ ногамъ вашимъ свое сердце, которое вы, натурально, поднимете, расцалуете и запрете въ шкатулочку, отличной работы г. Bertran'a jeune, rue des Lombards, 46, au fond de la cour), а ключикъ отъ этой шкатулочки будете носить у своего сердца!.. Повѣрьте мнѣ, эта препрославленная, пресловутая Жоржъ Зандъ сама не понимаетъ, что проповѣдуетъ въ неистовыхъ *Индіанахъ*, *Валентинахъ*, *Леліяхъ*, и еще въ другихъ своихъ нелѣпыхъ романахъ... Бойтесь, какъ чумы, этихъ романовъ, mesdames! Она хочетъ растлить эстетическій дамскій вкусъ... и васъ—воздушныхъ, прозрачныхъ, роскошныхъ, газовыхъ, эфирныхъ, радужныхъ созданій нарядить въ мужскіе реденготы и въ ваши розовыя губки (fi! quelle horreur) вложить сигару... Васъ, мои читательницы, одѣть въ мужскіе реденготы?.. Нелѣпая мысль! да что же тогда останется дѣлать нашимъ несравненнымъ артисткамъ m-me Pollet и m-me Chapron, и прочимъ, которыя съ такимъ неземнымъ совершенствомъ украшаютъ теперь цвѣтами и блондами ваши вдохновенныя головки и такъ ловко стягиваютъ ваши соблазнительныя, ни съ чѣмъ несравнимыя таліи и облекаютъ васъ въ такія роскошныя платья изъ popeline ли gros de Naples?

Говорятъ, парижане очень смѣялись надъ этою выходкою журнальнаго мирлифлёра, издателя моднаго листка, который не шутя вообразилъ, что Жоржъ Зандъ хлопочетъ въ своихъ романахъ о томъ только, чтобъ отбить хлѣбъ у парижскихъ модистокъ!... Вотъ совершенно новый взглядъ на сочиненія Жоржа Занда!... Журнальный мирлифлёръ, глупый любезникъ, выступающій противъ знаменитой писательницы!.. Не правда ли, это очень смѣшно?

Жаль, что у насъ нѣкоторые, по справедливости уважаемые образованною

публикою журналисты почти съ такой же точки смотрятъ на Жоржа Занда, какъ вышеприведенный журнальный мирлифлёръ, издатель моднаго листка. Увѣряютъ также, что у насъ есть такіе писатели, которые нисколько не хуже французскаго журальнаго мирлифлёра изъясняются съ прекраснымъ поломъ... [40]).

*699. Сочиненія Державина. *Четыре части. Санктпетербургъ. 1843* [41]).

Съ іюля 3-го текущаго года начнется *второе столѣтіе* отъ дня рожденія Державина... И такъ, цѣлый вѣкъ раздѣляетъ молодыя поколѣнія нашего времени отъ пѣвца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверь вѣка,—и не смотря на то, кажется, цѣлые вѣка легли между имъ и нами... Читая стихотворенія Державина, теперь уже почти-ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихъ нраво-описательныхъ комментарій на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ... Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы—все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, такъ же, какъ не умеръ вѣкъ, имъ прославленный: вѣкъ Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ вѣкъ,—и между Державинымъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской исторіи...

Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ сферъ сознанія, имѣетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и внѣ себя не признаетъ никакихъ законовъ. Кто, уже по натурѣ своей, или по духовной своей неразвитости, не въ состояніи постигать законовъ искусства въ его *идеѣ*, тотъ не въ состояніи ни цѣнить искусства въ фактѣ, ни наслаждаться имъ. До постиженія идеи мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно, идея сама-по-себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдѣляемая нами отъ живой всецѣлости предмета, для того, чтобъ намъ можно было отрѣшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа понимать этотъ предметъ. И потому нѣтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется какъ фактъ—какъ предметъ, или какъ дѣйствіе. Осуществленіе идеи въ фактѣ имѣетъ свои непреложные законы изъ которыхъ главнѣйшіе—*послѣдовательность* и *постепенность*. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имѣющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человѣчествѣ. Природа явилась не вдругъ, готовая, но имѣла свои дни, или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое—животному. Каж-

дая былинка проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ развитія, — и стебель, листъ, цвѣтъ, зерно, суть не что иное, какъ непреложно-послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходитъ черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвѣтствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемѣ и характерѣ его сознанія. Тотъ же законъ существуетъ и для обществъ, и для человѣчества. Тотъ же законъ существуетъ и для искусства. У искусства есть свой вѣчный, неизмѣнный идеалъ совершенства, составляющій предметъ эстетики, какъ науки изящнаго; но искусство не вдругъ, а постепенно достигаетъ своего идеала,—и исторія искусства есть картина моментовъ его развитія [42]). Такъ, напримѣръ, Индія—страна, гдѣ впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной истины, и въ которой это сознаніе остановилось на своемъ первомъ моментѣ; какъ-бы окаменѣлое, дошло оно до насъ, черезъ рядъ тысячелѣтій, почти въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ первоначально возникло, подобно вершинамъ Гиммалаи, которыя и теперь почти тѣ же, какими узрѣлъ ихъ міръ въ первые дни своего сознанія. Подобно религіи и философіи, искусство въ Индіи представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моментѣ своего существованія: оно носитъ тамъ характеръ чисто-символическій, ибо его образы *условно*, а не непосредственно выражаютъ идею. Таково должно быть, и инымъ не можетъ быть искусство въ своемъ началѣ. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого необходимо идеѣ быть полною и ясною для художника; но какъ идеи первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоятъ изъ темныхъ предощущеній и неопредѣленныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выраженіе идеи у нихъ, естественно, должно состоять изъ однихъ намековъ, иносказаній и затѣйливыхъ символовъ. Въ Египтѣ искусство сдѣлало уже большой шагъ, приблизившись нѣсколько къ простотѣ и природѣ; но крайней мѣрѣ, египетскія изваянія представляютъ уже не однихъ сфинксовъ, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціи, искусство уже отрѣшилось (отъ) символизма, и его образы облеклись въ простоту и истину, которыя составляютъ высочайшій идеалъ красоты.

Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротивъ, его развитіе всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія: въ эпоху младенчества и юношества народовъ, искусство всегда, болѣе или менѣе,—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости—философскихъ понятій. Индійскій пантеизмъ есть обожествленіе природы, и потому въ поэзіи индустанской играютъ такую важную ролю растенія, звѣри, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваянія боговъ представляютъ дикую и уродливую смѣсь членовъ человѣческаго тѣла съ членами звѣриными. Индійское искусство не могло возвыситься до изображенія красоты человѣческой, ибо въ пантеистической религіи Индусовъ Богъ есть природа, а человѣкъ—только ея служитель, жрецъ и жертва. Египетская миѳологія занимаетъ уже середину между

индійскою и греческою: среди животно-чудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замѣтны и человѣческіе лики, послужившіе типомъ для изваяній греческихъ; между Озиридомъ и Аполлономъ есть сродство, и миѳъ Ѳеба, который сражаетъ Пифона, занятъ Греками у Египтянъ. Однакожь, это бореніе между животнымъ и человѣкомъ разрѣшилось только въ сфинкса—чудовище съ женоподобною головою и грудью, съ туловищемъ звѣря. Сфинксъ египетскій мудрѣе человѣка: онъ загадываетъ человѣку хитрыя загадки и пожираетъ его за неумѣніе разгадать ихъ. Но Грекъ Эдипъ разгадалъ мысль и нашелъ слово: звѣрь бросился въ море и утонулъ: человѣкъ вступилъ въ свои права, — и боги Греціи не что иное, какъ образы идеальнаго человѣка, обожествленія человѣка. Звѣри вошли въ искусство какъ выраженіе силъ природы, повинующихся человѣку: кони возятъ колесницу Аполлона, Церберъ стережетъ входъ въ царство Анда, отвратительныя гарпіи служатъ бичомъ злодѣйства; Зевсъ принимаетъ образы вола и лебедя для скрытія отъ Геры такихъ похожденій источникомъ которыхъ были чисто-естественныя поползновенія. Образъ человѣческій просвѣтленъ и возвышенъ: его назначеніе въ греческомъ искусствѣ—выражать высшую идеальную красоту. Въ греческомъ искусствѣ символистика и аллегорія кончились; искусство стало искусствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой религіи и глубокомъ, вполнѣ развившемся и опредѣлившемся смыслѣ ея мірообъемлющихъ миѳовъ.

Кромѣ всего этого, на развитіе и характеръ искусства много имѣютъ вліянія еще и разныя совершенно-случайныя обстоятельства, особенно же природа и мѣстность страны, климатъ и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуй индійскихъ—явно отраженіе гигантской природы страны Гиммалаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваяній находится въ большей или меньшей связи съ благословеннымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищныхъ крайностей, не могла не имѣть вліянія на чувство соразмѣрности и соотвѣтственности, словомъ гармоніи, которое было какъ бы врожденно Грекамъ. Бѣдная и величаво-дикая природа Скандинавіи была для Нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзіи. Политическія обстоятельства также имѣютъ вліяніе на развитіе и характеръ искусства. Римляне заняли у Грековъ классическую гармонію и благородную простоту [illegible]ктуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размѣровъ, которыхъ бы выразившихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическ[illegible]

Изъ этого видно, какъ [illegible]стоко ошибаются тѣ умозрительные судіи изящнаго, которые хотятъ видѣть въ искусствѣ совершенно-отдѣльный міръ, существующій независимо отъ [illegible]чихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметъ искусства не временное и относительное, а вѣчное и безусловное, они думаютъ, что искусство унижаетъ себя, если подчиняется какимъ бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значитъ

смотрѣть на «вѣчное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишенныя всякой жизненности: ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формою проявленія, «безконечное» дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметъ за основаніе однѣ идеи и ихъ діалектическое развитіе, оставивъ въ сторонѣ вѣрованія и исторію,—то по ней выйдетъ, можетъ быть, что произведенія греческаго искусства прекрасны, а индійскаго и египетскаго не имѣютъ ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невѣжества и дикости; готическая архитектура — воплощенное безвкусіе и безобразіе; французская литература хороша, а нѣмецкая—вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоитъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, *чѣмъ должно быть искусство,* а въ томъ, *что такое искусство.* Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствѣ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеалѣ, который можетъ осуществиться только по ея теоріи: нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметъ, который существовалъ давно прежде ея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ [43]).

Другіе знатоки и любители искусства начинаютъ съ противоположной крайности, думая, что изящное не имѣетъ никакихъ непреложныхъ законовъ, и что стоитъ только изучить исторію и нравы какого-угодно народа, чтобъ понять его искусство. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думаютъ что нашли ключъ къ тайнѣ его грустныхъ созданій. «Видите ли,—говорятъ они:—онъ былъ несчастенъ въ жизни, и отъ-того меланхолія составляетъ отличительный характеръ его произведеній». Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзіи Байрона: критика будетъ и не долга и удовлетворительна. Но что Байронъ былъ несчастенъ въ жизни—это уже старая новость: вопросъ въ томъ, отъ-чего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ несчастію? Эмпирическіе критики и тутъ не задумаются: раздражительный характеръ, ипохондрія,—скажутъ одни изъ нихъ,—и разстройство пищеваренія, прибавятъ пожалуй, другіе, добродушно не догадываясь въ низменной простотѣ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что подобныя малыя причины не могутъ имѣть своимъ результатомъ такія великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому извѣстно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ счастливъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, и самый веселый человѣкъ дѣлается ипохондрикомъ отъ несчастія, что раздражительность нервовъ служитъ не только къ живѣйшему ощущенію горестей, но и къ живѣйшему ощущенію радости. Всякому также извѣстно, что великіе комики по-большей-части бываютъ людьми раздражительными и наклонными къ ипохондріи, и что весьма-рѣдко появляется улыбка на устахъ тѣхъ, которые заставляютъ другихъ хохотать до слезъ... Ни одинъ поэтъ не можетъ быть великъ отъ самого-себя и черезъ самого-

себя, ни черезъ свои собственныя страданія, ни черезъ свое собственное блаженство: всякій великій поэтъ потому великъ, что корни его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ, слѣдовательно, есть органъ и представитель общества, времени, человѣчества. Только маленькіе поэты и счастливы и несчастливы отъ себя и черезъ себя: но за то только они сами и слушаютъ свои птичьи пѣсни, которыхъ не хочетъ знать ни общество, ни человѣчество. Чтобъ разгадать загадку мрачной поэзіи такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Байронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно факеломъ философіи освѣтить историческій лабиринтъ событій, по которому шло человѣчество къ своему великому назначенію—быть олицетвореніемъ вѣчнаго разума, и должно опредѣлить философски градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человѣчество, въ его историческомъ движеніи. Безъ того, всѣ ссылки на событія, весь анализъ нравовъ и отношеній къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ ровно ничего не объяснятъ.

Но прежде, чѣмъ опредѣлить историческое значеніе поэта, должно опредѣлить его чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметъ, почему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, а другого нѣтъ, и почему въ одномъ она видитъ великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здѣсь эстетика имѣетъ право основываться на одномъ философскомъ началѣ искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здѣсь получаетъ свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера дѣятельности, которая сама себѣ цѣль и внѣ себя цѣли не имѣетъ. Естественно, прежде чѣмъ опредѣлить, къ зодчеству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежатъ зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полетъ фантазіи, словомъ поэзія, или эти зданія—только груды камней, складенныя по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только на основаніи философіи изящнаго—эстетики. Но здѣсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значитъ, чтобы эстетика, въ какомъ бы то ни было случаѣ, отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дѣлѣ искусства, это значитъ только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонѣ, столько же присущной искусству, какъ и сторона художественная—къ сторонѣ его содержанія, и, нисколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другою родственною ей сферою—сферою исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тѣсно связаны между собою, что только черезъ искусственное дѣйствіе разума можно раздѣлять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдѣ въ человѣкѣ

оканчивается тѣло и начинается душа, гдѣ конецъ чувства и начало ума, и т. д.

А между тѣмъ, какъ въ понятіи о природѣ человѣка существуютъ преданные отвлеченіямъ идеалисты, которые, за душою, не замѣчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массою тѣла не могутъ провидѣть душу, — такъ и въ понятіи объ искусствѣ существуютъ свои идеалисты (умозрители) и свои матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ ученіе тѣхъ и другихъ; прибавимъ къ этому, что эмпирики, непризнающіе эстетики и превращающіе ее въ сухой, неоживленный мыслію каталогъ изящныхъ произведеній, съ практическими и случайными комментаріями,—лишаютъ искусство его высокаго значенія. Не признавая содержаніемъ искусства той же вѣчной, въ свободной необходимости діалектически развивающейся идеи, которая составляетъ содержаніе исторіи и философіи, эмпирики низводятъ творческія произведенія на степень предметовъ, имѣющихъ цѣлію пріятно развлекать скуку и занимать праздное бездѣйствіе,—а это значитъ ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящно сдѣланною мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми мода и прихоть украшаютъ въ комнатахъ камины, столы и этажерки. Идеалисты доходятъ до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна идти своею дорогою, а искусство своею, не соприкасаясь другъ съ другомъ, не завися другъ отъ друга и не имѣя никакого вліянія другъ на друга. Буквально-вѣрные своему основному положенію, что искусство само-себѣ цѣль, они доходятъ наконецъ до того, что лишаютъ искусство не только цѣли, но и всякаго смысла. Сначала они доводятъ искусство до аскетизма, а наконецъ и до индифферентизма,—что весьма естественно: Индія ясно доказываетъ, что отшельничество и равнодушіе гораздо ближе другъ къ другу, нежели какъ кажутся съ перваго взгляда.

Отвлеченный идеализмъ во всемъ ведетъ къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому-что факты отвергаемой имъ дѣйствительности не мѣшаютъ ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе замки. Кто смотритъ на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображеніе ни его исторіи, ни исторіи развитія человѣчества,—тому весьма легко открыть тождество между «Иліадою» Гомера и «Мертвыми Душами» Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Оно можетъ происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметъ. Принявъ за непреложную истину какое-нибудь на досугѣ придуманное положеніе и отвергнувъ историческую сторону предмета, можно надѣлать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ, что законы творчества всегда и вездѣ одинаковы, что они и въ Россіи тѣ же, какіе были въ Греціи,—*ergo* почему жъ и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?.. Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достоинствѣ поэтовъ: какъ легко превознести одного, такъ легко унизить

другаго, и въ обоихъ случаяхъ—замѣтьте—на основаніи мысли и ея строгаго діалектическаго развитія... [44]).

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и идеализмъ (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истины: истина же состоитъ въ свободномъ примиреніи обѣихъ этихъ крайностей. Но кромѣ того, что такое примиреніе не такъ-то легко для всякаго,—и сама истина, если бы кто и нашелъ ее, принимается съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина состоитъ въ единствѣ противоположностей Чѣмъ односторонѣе мнѣніе, тѣмъ доступнѣе оно для большинства, которое любитъ, чтобъ хорошее непремѣнно было хорошимъ, а дурное—дурнымъ, и которое слышать не хочетъ, чтобъ одинъ и тотъ же предметъ вмѣщалъ въ себѣ и хорошее и дурное. Вотъ почему толпа, узнавъ, что за какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негодяемъ и безнравственнымъ человѣкомъ. Толпа не понимаетъ, что все живое тѣмъ и отличается отъ мертваго, что въ самой сущности своей заключаетъ начало противорѣчія. Толпа не понимаетъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ отличаться и великими добродѣтелями и великими пороками, что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышѣ своемъ, что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернѣ, а другое развито; что причины этого должно отыскивать и въ духѣ времени, когда явился великій человѣкъ, и въ общественности, среди которой возросъ и воспитался онъ, и что, на основаніи этихъ причинъ, иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу такъ же точно, какъ иныя добродѣтели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цѣну. Еслибъ въ наше время какой-нибудь воинъ сталъ мстить за падшаго въ честномъ бою друга или брата своего, зарѣзывая на его могилѣ плѣнныхъ враговъ,—это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звѣрствомъ; а въ Ахиллѣ, умиляющемъ тѣнь Патрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это мщеніе—доблесть, ибо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаетъ наукою одну математику, которая дѣйствительно никогда себѣ не противорѣчитъ, а исторію и философію считаетъ вздоромъ, ибо, *по ея мнѣнію*, онѣ на каждомъ шагу противорѣчатъ себѣ... Между-тѣмъ, въ глазахъ той же толпы, мертвецъ, лежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человѣкъ, хотя первый ни въ чемъ не противорѣчитъ самому-себѣ, а другой на каждомъ шагу противорѣчитъ... Такова ужь видно натура толпы!..

У насъ можно смѣло говорить о всякомъ писателѣ, о которомъ мнѣніе еще не успѣло установиться въ толпѣ; но бѣда говорить о писателѣ старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникѣ можно найти однѣ и тѣ же напыщенныя фразы и общія мѣста... Въ такомъ случаѣ, безопаснѣе всего сказать рѣзкую односторонность: если одни осердятся, за то другіе согласятся, и

обѣ стороны по крайней мѣрѣ поймутъ въ чемъ дѣло. Такъ точно, у насъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ повторяются однѣ и тѣ же фразы о Державинѣ, что выше его не было и не будетъ поэта въ подлунномъ мірѣ, что онъ пѣвецъ сѣвера и потомокъ Багрима... Съ этимъ всѣ согласны, тѣмъ болѣе, что до этого никому нѣтъ дѣла, ибо Державина давно уже никто не читаетъ, и всѣ знаютъ его только по журнальнымъ фразамъ, да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они *привыкли* о какомъ нибудь предметѣ думать *такъ*, то хотя бы они уже и совсѣмъ не заботились о немъ, однакожь непремѣнно осердятся на васъ, если вы осмѣлитесь думать объ этомъ предметѣ *иначе*. Когда въ «Отеч. Запискахъ» въ *первый разъ* было сказано, что Державинъ для нашего времени уже не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для своего, и что хотя онъ былъ одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создалъ ничего такого, что прошло бы чрезъ вѣка въ нетлѣнной красотѣ,—тогда на «Отеч. Записки» не шутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха державинскаго, и въ-слѣдъ за другими, съ важностью стали повторять: «Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэтѣ? — вѣдь пѣвецъ сѣвера, потомокъ Багрима...» И причину этого неудовольствія легко понять: еслибъ «Отеч. Записки» совершенно отняли у Державина всякое достоинство, поставили бы этого богатыря поэзіи русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопотъ: потому-что еслибъ одни еще сильнѣе ожесточились бы противъ нихъ, за то нашлись бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ мнѣніе съ радостію лѣнивыхъ и немыслящихъ любителей новыхъ идей. Но въ мнѣніи «Отеч. Записокъ» было противорѣчіе: у Державина не отнималось его величіе, а о поэзіи его говорилось только какъ объ историческомъ фактѣ: не понятно, а *потому* и досадно!.. Правда, потомъ, какъ *привыкли* къ новому мнѣнію, то стали повторять его и печатно, хотя также не поняли...

Дѣйствительно, ни объ одномъ поэтѣ не можетъ существовать столь противоположныхъ мнѣній, какъ о Державинѣ. Если разсматривать его съ эмпирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самъ онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съ чисто-эстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравнѣ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключеніе равно будутъ ложны и пелѣны: для того то мы и почли за нужное предварительно сказать нѣсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченно) идеальной точки зрѣнія на искусство.

Какъ обще-человѣческое искусство, такъ и искусство каждаго народа, отдѣльно-взятаго, имѣетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства отъ его первоначальнаго исходнаго пункта до послѣдняго заключительнаго звѣна. Постепенность и послѣдовательность—законъ всякаго развитія. Если бы кто-нибудь напечаталъ въ газетахъ, что поса-

женное имъ въ землю зерно изъ яблока взошло не стебелькомъ, а прямо яблокомъ, — всѣ стали бы надъ этимъ смѣяться какъ надъ нелѣпостью, хотя бъ это и было напечатано. Но когда писали и печатали, что лѣтъ черезъ тридцать послѣ первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), явился на Руси поэтъ, одинъ совмѣстившій въ себѣ и Пиндара, и Горація, и Анакреона, и превзошедшій всѣхъ ихъ, порознь и вмѣстѣ взятыхъ,—надъ этимъ и теперь еще не смѣются, какъ надъ нелѣпостію...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе Державина не выдержитъ самой снисходительной эстетической критики. Дѣйствительно, ничего не можетъ быть слабѣе художественной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ, по-большей части, составляютъ нравственныя сентенціи, расположенныя реторически, въ формѣ разсужденія, или диссертаціи. Отъ этого, многія оды его непомѣрно-длинны, непомѣрно-прозаичны и .. непомѣрно-скучны. Истина составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи; со стороны содержанія, поэтическое произведеніе—то же самое, что и философскій трактатъ; въ этомъ отношеніи, нѣтъ никакой разницы между поэзіею и мышленіемъ. И, однакоже, поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: онѣ рѣзко отдѣляются другъ отъ друга своею формою, которая и составляетъ существенное свойство каждаго. Философія, или (выразимъ это понятіе болѣе общимъ терминомъ) мышленіе дѣйствуетъ прямо черезъ разумъ и на разумъ, и если мыслитель, или ораторъ, проникаясь эфирнымъ пламенемъ изслѣдуемой имъ истины, иногда возвышается до паѳоса, прибѣгаетъ къ посредству фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными образами фантазіи,—у него, и въ такомъ случаѣ, чувство и фантазія являются второстепенными элементами,—первое, какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а вторая – какъ вспомогательное средство сдѣлать истину ощутительною и видимою. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ-лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредствѣ чувства и фантазіи, но только допуская ихъ по собственной волѣ, какъ слѣдствіе увлеченія мгновенно-охватившаго душу мыслителя,—увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ однакоже царить и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только тѣмъ мыслителямъ, которые окрѣпли и закалились въ гимнастикѣ строгой логической мысли, обнаженной отъ всѣхъ покрововъ непосредственнаго представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ощущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повѣряютъ ихъ діалектикою разума. Въ поэзіи, напротивъ, фантазія является главною дѣйствующею силою, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаетъ и мыслитъ—это правда, ибо ея содержаніе есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія разсуждаетъ и мыслитъ образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобъ

быть поэтическими. Нѣкоторые аристархи, сами писавшіе нѣкогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо *оземляетъ* безплотную чистоту идей: такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ въ этихъ аристархахъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, натуру грубо-прозаическую и чуждую всякаго предощущенія поэзіи [45]). Нападать на поэзію за то, что она *оземляетъ* идеи,—все равно, что нападать на математику за то, что она все исчисляетъ и измѣряетъ. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзіи, что она безплотной идеѣ даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случаѣ, идея есть только морская пѣна, а поэтическій образъ—богиня любви и красоты, родившаяся изъ морской пѣны. Кто не одаренъ творческою фантазіею, способною превращать идеи въ образы, мыслить, разсуждать и чувствовать образами, тому не помогутъ сдѣлаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убѣжденій и вѣрованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И если бы не такъ, то всего легче было бы сдѣлаться поэтомъ: стояло бы только узнать правила версификаціи, да, благословясь, и начать писать диссертаціи размѣренными строчками, завостренными рифмою.

Одно изъ главнѣйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвѣтственность идеи съ формою и формы съ идеею, и органическая цѣлостность его созданія. По этому, всякое художественное произведеніе прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніи чувства, или мысли. Мысль въ пьесѣ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моментѣ, или развита во всѣхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней-самой, какъ относятся въ музыкальномъ произведеніи варьяціи къ мотиву. Если мысль пьесы переходитъ въ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль,—тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно, единство и сила впечатлѣнія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ,—утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себѣ, ясна и опредѣленна для поэта, если произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта,—то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка въ внѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе, въ такомъ случаѣ, органически-цѣлостно: въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ; послѣднее слово замыкаетъ собою все его содержаніе, такъ-что читатель вполнѣ удовлетворенъ и не можетъ спросить: «что же дальше?»

Стихотворенія Державина не выполняютъ ни одного изъ этихъ условій. Во-первыхъ, всѣ они болѣе или менѣе отличаются характеромъ реторическимъ,

и, по крайней-мѣрѣ, большая часть ихъ походитъ на диссертаціи въ стихахъ. Мы не можемъ подкрѣпить выписками этого мнѣнія, ибо, въ такомъ случаѣ, намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всѣхъ передъ глазами, и каждый самъ можетъ повѣрить справедливость нашей мысли. Впрочемъ, при разборѣ нѣкоторыхъ стихотвореній, мы будемъ имѣть случай, мимоходомъ, указывать на эту черту недостатка поэзіи Державина; пока ограничимся только указаніемъ на нѣкоторыя, особенно замѣчательныя въ этомъ отношеніи, пьесы, каковы, на-примѣръ: *Безсмертіе Души* (192 стиха), *Величество Божіе* (132 ст.), *Христосъ* (320 ст.), *Слѣпой Случай* (200 ст.), *Успокоенное Невѣріе* (108 ст.), *Истина* (144 ст.), *Гимнъ Богу* (96 ст.), *Тоска Души* (104 ст.), *Добродѣтель* (120 ст.), *Слава* (112 ст.), *Цѣленіе Саула* (450 ст.), *Гимнъ Солнцу* (100 ст.), *Облако* (80 ст.), *Громъ* (90 ст.), *На Умѣренность* (110 ст.), и пр. Такихъ пьесъ у Державина гораздо-больше можно начесть. Читать ихъ—тяжело. Это все равно, что читать ариѳметику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что $2\times2=4$, но онъ тѣмъ не менѣе въ отчаяніи, что такія простыя, почтенныя и съ малолѣтства всякому извѣстныя истины не изложены обыкновенною прозою, безъ поэтическихъ затѣй. Такъ и въ поименованныхъ нами стихотвореніяхъ Державина всѣ мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: ихъ можно найти у любого плохаго стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствія поэзіи: у истиннаго поэта и старая мысль является новою, ибо истинный поэтъ даетъ чувствовать живую сущность мысли, которую толпа безсмысленно повторяетъ, какъ мертвую букву. По величинѣ своей, поименованныя нами оды Державина рѣшительно не имѣютъ ничего общаго съ лирическою поэзіею. Лирика есть выраженіе преимущественно чувства, и въ этомъ отношеніи, она приближается къ музыкѣ, которая, исключительно изъ всѣхъ искусствъ, дѣйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна пьеса не можетъ быть выраженіемъ двухъ различныхъ чувствъ, а чувство проходитъ по душѣ мгновенно, какъ тотъ трепетъ восторга, отъ котораго священный холодъ пробѣгаетъ по тѣлу и *встревоженною ратью* поднимаетъ волосы на головѣ человѣка... И если *такое* чувство неослабно будетъ владѣть читателемъ во все время, необходимое для прочтенія даже *восьмидесяти*, не только *четырехъ-сотъ-пятидесяти* стиховъ,—человѣческая натура читателя не выдержитъ этого, и результатомъ восторженнаго чтенія должна быть болѣзнь, утомленіе... Поэма, драма, и особенно, романъ—другое дѣло: тамъ умъ часто даетъ отдыхать чувству; тамъ, комическія сцены и, по сущности выражаемыхъ предметовъ, *прозаическія* мѣста возбуждаютъ въ читателѣ разнообразныя ощущенія. Но держаться, впродолженіи добраго получаса, или и болѣе, въ одномъ чувствѣ, въ одинаковой настроенности души,—это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поименованныхъ нами пьесахъ, кажется, всего менѣе разсчитывалъ на чувство: стихотворенія эти холодны и прозаичны,

какъ школьная диссертація, стихи въ нихъ дурны до послѣдней степени, и рѣдко, очень-рѣдко кой-гдѣ проблескиваютъ искорки одушевленія, сейчасъ и погасая въ водѣ реторики. Кажется, главною его заботою было высказать о предметѣ все, что только могъ онъ придумать о немъ. Порядка въ его мысляхъ нѣтъ никакого, и потому его длинныя и *резонёрствующія* оды не имѣютъ достоинства даже хорошо-расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно, не всѣ оды Державина таковы, какъ тѣ, на которыя мы сейчасъ указали; но главный характеръ указанныхъ нами—длинпота, резонёрство, реторика; без-образность—болѣе или менѣе преобладаютъ рѣшительно во всѣхъ одахъ. Гармонической соотвѣтственности идеи съ формою, пластичности образовъ—въ нихъ нечего и искать. Читая иную оду Державина, иногда вы вдругъ увлекаетесь возвышенностію мысли, энергіею чувства, размашистымъ полетомъ фантазіи,—и вдругъ неловкій стихъ, натянутый оборотъ, странное выраженіе, а иногда и реторика охлаждаютъ вашъ восторгъ,—и вы испытываете это нѣсколько разъ, при чтеніи одной и той же оды, и по окончаніи ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услажденнымъ. Такъ, на-примѣръ, «Водопадъ» принадлежитъ къ числу блистательнѣйшихъ созданій Державина,—а между-тѣмъ, въ немъ то и увидите вы полное оправданіе нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его поэзіи. Уже самая огромность этой оды показываетъ, что въ ея концепціи участвовала не одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одѣ была вѣсть о кончинѣ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свѣтѣ колоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніе и должно было бы составлять содержаніе оды. Но поэтъ приплелъ сюда же Румянцева, который, сидя подъ наклоненнымъ кедромъ, мечтаетъ о славѣ и времени, потомъ засыпаетъ и видитъ во снѣ свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома сокрушенной ели и падшаго холма и видитъ передъ собою Россію въ образѣ воинственной жены, которая взываетъ къ нему «проснись!»; при видѣ ея, онъ

Вздохнулъ, *и испустя слезъ дождь,*
Вѣщалъ: «Знать умеръ нѣкій вождь!»

и началъ разсуждать объ обязанностяхъ истиннаго вождя, о томъ, что лучше быть «менѣе извѣстнымъ, но болѣе полезнымъ» и т. п. Весь этотъ эпизодъ занимаетъ *тридцать одну* строфу, т. е. *сто-восемьдесять-шесть* стиховъ!!... Конечно, въ этомъ эпизодѣ, невыдержанномъ въ цѣломъ, есть прекрасныя мѣста; но онъ не идетъ къ дѣлу, безъ нужды плодитъ оду и охлаждаетъ восторгъ читателя,—такъ-что прочесть «Водопадъ» съ одного раза, да еще вслухъ—трудъ изнурительный и для ума и для груди... Всѣ эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода ничего не проиграетъ, напротивъ много выиграетъ: въ ней будетъ меньше реторики и больше поэзіи... Первыя семь

строфъ, заключающія въ себѣ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настраиваютъ душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезапномъ паденіи колосса,—и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь осанку горду
Храня порой къ тебѣ идетъ;
Крутую гриву, жарку морду
Поднявъ храпитъ, ушми прядетъ,
И подстрекаемъ бывъ, бодрится,
Отважно въ хлябь твою стремится

можно прямо перейти къ тридцать девятой:

Но кто идетъ тамъ по холмамъ,
Глядясь, какъ мѣсяцъ, въ воды черны;
Чья тѣнь спѣшитъ по облакамъ
Въ воздушныя жилища горны:
На темномъ взорѣ и челѣ
Сидитъ глубока дума въ мглѣ!

А тридцать одну строфу, между седьмою и тридцать девятою, можно не читать: тогда впечатлѣніе отъ «Водопада» будетъ гораздо сильнѣе: тогда останется, для чтенія, сорокъ-шесть строфъ, или *двѣсти-семьдесятъ-шесть* стиховъ... И тутъ, сколько еще воды реторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслажденія чувство внезапно охладѣваетъ? Но чтобъ мнѣніе наше не показалось произвольнымъ, подкрѣпимъ его выписками.

Какой чудесный духъ крылами
Отъ Сѣвера паритъ на Югъ?
Вѣтръ медленъ течь его стезями:
Обозрѣваетъ царства вдругъ,
Шумитъ, и какъ звѣзда блистаетъ,
И искры въ слѣдъ свой разсыпаетъ.

Этотъ духъ—тѣнь Потемкина; но что же это за прозаическое описаніе, ничего не выражающее! И не-уже-ли духъ Потемкина непремѣнно долженъ обгонять вѣтеръ, обозрѣвать царства *вдругъ*, шумѣть, блистать, подобно звѣздѣ, и сыпать искрами по своему слѣду? Реторика!

Чей трупъ, какъ на распутьи мгла,
Лежитъ на темномъ лонѣ ночи?
Простое рубище чресла,
Двѣ лепты покрываютъ очи,
Прижаты къ хладной груди персты,
Уста безмолвствуютъ отверсты!

Чей одръ—земля; кровь—воздухъ синь;
Чертоги—вкругъ пустынны виды?
Не ты ли, счастья, славы сынъ,
Великолѣпный князь Тавриды?

Не ты ли съ высоты честей
Незапно палъ среди степей?

Не ты ль наперсникомъ близъ трона
У сѣверной Минервы былъ;
Во храмѣ музъ, другъ Аполлона,
На полѣ Марса вождемъ слылъ;
Рѣшитель думъ въ войнѣ и мирѣ,
Могущъ—хотя и не въ порфирѣ?

Не ты ль, который взвѣсить смѣлъ
Мощь Росса, духъ Екатерины,
И, опершись на нихъ, хотѣлъ
Вознесть свой громъ на тѣ стремнины,
На коихъ древній Римъ стоялъ
И всей вселенной колебалъ?

Не ты ль, который орды сильны
Сосѣдей хищныхъ истребилъ,
Пространны области пустынны
Во грады, въ нивы обратилъ,
Покрылъ Понтъ Черный кораблями,
Потрясъ среду земли громами?

Не ты ль, который зналъ избрать
Достойный подвигъ росской силѣ,
Стихіи самыя попрать
Въ Очаковѣ и въ Измаилѣ,
И твердой дерзостью такой
Быть дивомъ храбрости самой?

Се ты, отважнѣйшій изъ смертныхъ,
Парящій замыслами умъ!
Не шелъ ты средь путей извѣстныхъ,
Но проложилъ ихъ самъ,—и шумъ
Оставилъ по себѣ въ потомки;
Се ты, о чудный вождь Потемкинъ!

Се ты, которому врата
Торжественныя созидали;
Искусство, разумъ, красота—
Недавно лавръ и миртъ сплетали;
Забавы, роскошь вкругъ цвѣли
И счастье съ славой слѣдомъ шли!..

Вотъ это поэзія, не реторика! Правда, и въ этихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извиняются духомъ времени. Во время Державина, нельзя было сказать: «достойный подвигъ *русской* силы»: это было бы низко и не согласно съ пареніемъ оды; непремѣнно нужно было сказать: «достойный подвигъ *росской* силы»: слова «росскій», и «Россъ» казались тогда не только необыкновенно звучными, но и отмѣнно умными... Выраженія: *наперсникъ* у сѣверной Минервы, *другъ Аполлона во храмѣ музъ*,

вождь на полѣ Марса, для насъ слишкомъ прозаичны, но, по понятіямъ того времени, въ нихъ-то и заключалась вся сущность поэзіи. За этими прекрасными поэтическими строками, опять слѣдуетъ реторика, и притомъ довольно-нескладная:

Се ты; небеснаго плодъ дара
Кому едва я посвятилъ;
Въ созвучность громкаго Пиндара
Мою настроить лиру мнилъ;
Воспѣлъ побѣду Измаила,
Воспѣлъ... Но смерть тебя скосила!

Увы! и хоровъ сладкихъ звукъ
Монхъ въ стенанье превратился;
Свалилась лира съ слабыхъ рукъ,
И я *тамъ* въ слезы погрузился,
Гдѣ бездна разноцвѣтныхъ звѣздъ
Чертогъ являли райскихъ мѣстъ.

За этою реторикою опять слѣдуетъ поэзія:

Увы! и громы опѣмѣли,
Ревущіе тебя вокругъ;
Полки твои осиротѣли,
Наполнили рыданьемъ слухъ;
И все, что̀ близь тебя блистало,
Уныло и печально стало.

Потухъ лавровый твой вѣнокъ,
Грапена булава упала,
Мечь въ полножны войти чуть могъ,—
Екатерина возрыдала!
Полсвѣта потряслось за ней
Незапной смертію твоей!

Теперь опять голая реторика:

Оливы свѣжи и зелены
Пренесъ и бросилъ Миръ изъ рукъ;
Родства и дружбы вопли, стоны,
И музъ ахейскихъ жалкій звукъ
Вокругъ Перикла раздается:
Маронъ по Меценатѣ рвется.

Который почестей въ лучахъ,
Какъ нѣкій царь, какъ бы на тронѣ,
На сребророзовыхъ коняхъ,
На златозарномъ фаэтонѣ,
Во сонмѣ всадниковъ блисталъ,
И въ смертный, черный одръ упалъ!

За реторикою опять слѣдуютъ проблески поэзіи:

Гдѣ слава? гдѣ великолѣпье?
Гдѣ ты, о сильный человѣкъ?
Мановенья долголѣтье
Лишь было бъ сонъ, лишь тѣнь нашъ вѣкъ
Вся наша жизнь ничто иное,
Какъ лишь мечтаніе пустое.

Иль нѣтъ! тяжелый нѣкій шаръ,
На нѣжномъ волоскѣ висящій,
Въ который бурь, громовъ ударъ
И молніи небесъ ярящи
Отвсюду безпрестанно бьютъ,
И, ахъ! зефиры легки рвутъ.

А вотъ и чистая поэзія:

Единый часъ, одно мгновенье
Удобны царства поразить,
Одно стихіевъ дуновенье
Гигантовъ въ прахъ преобразить;
Ихъ ищутъ мѣста—и не знаютъ:
Въ пыли героевъ попираютъ!

Героевъ? Нѣтъ! но ихъ дѣла
Изъ мрака и вѣковъ блистаютъ;
Нетлѣнна память, похвала
И изъ развалинъ вылетаютъ;
Какъ холмы, гробы ихъ цвѣтутъ:
Напишется Потемкинъ трудъ.

Теперь опять реторика:

Театръ его былъ край Эвксина,
Сердца обязанныя—храмъ;
Рука съ вѣнкомъ—Екатерина;
Гремяща слава—племіамъ;
Жизнь—жертвенникъ торжествъ и крови
Гробница—ужаса, любови.

Слѣдующія за тѣмъ пять строфъ, изображающія страхъ Турковъ при мысли объ Измаилѣ и радость «Россіянъ» при взглядѣ на русскій флотъ въ Черномъ Морѣ,—преисполнены реторики и въ мысли и въ исполненіи. Остальныя девять строфъ исполнены поэзіи, особливо эти двѣ:

По утру солнечнымъ лучамъ
Какъ монументъ златой зажжется,
Лежатъ объяты серны сномъ,
И паръ вокругъ холмовъ вieтся,
Пришедши, старецъ надпись зритъ:
„Здѣсь трупъ Потемкина сокрытъ!“

Алцибіадовъ прахъ! И смѣетъ
Червь ползать вкругъ его главы?
Взять шлемъ ахилловъ не робѣетъ,
Нашедши въ полѣ, Өирсъ? Увы!
И плоть и трудъ коль истлѣваетъ:
Что жъ нашу славу составляетъ?..

Мы разобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина, и это даетъ намъ право не дѣлать дальнѣйшихъ разборовъ такого рода, ибо они загромоздили бы статью выписками. Итакъ, повторяемъ, что невыдержанность въ цѣломъ и частностяхъ, преобладаніе дидактики, сбивающейся на резонёрство, отсутствіе художественности въ отдѣлкѣ, смѣсь реторики съ поэзіею, проблески геніальности съ непостижимыми странностями — вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросятъ насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не поэтъ; та ли, что его талантъ былъ незначителенъ, или, что у него вовсе не было таланта?

Ни то, ни другое, ни третье... Отвѣтъ на этотъ вопросъ уже сдѣланъ нами въ началѣ статьи: что было тамъ высказано нами въ общихъ чертахъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзіи Державина, какъ къ факту.

Державинъ былъ человѣкъ, одаренный великими творческими силами,— и онъ сдѣлалъ все, что можно было ему сдѣлать въ то время. Не его вина, что онъ явился въ то, а не въ наше время; не его вина, что поэзія не падаетъ готовая прямо съ неба, а выростаетъ на землѣ, переходя черезъ всѣ степени развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странѣ имѣетъ свою исторію, и такъ, не удивительно, что и въ Россіи она также имѣла свою исторію. Отецъ русской поэзіи, патріархъ русскихъ поэтовъ, былъ не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовѣ. Поэзія русская не была туземнымъ цвѣтомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа; но, подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвѣщенію, она была прививнымъ, или— еще вѣрнѣе сказать—пересаженнымъ растеніемъ. И вотъ здѣсь-то заключается живая связь Петра-Великаго съ Ломоносовымъ, какъ причины съ слѣдствіемъ; наши критики обыкновенно упускаютъ изъ виду это обстоятельство: они обвиняютъ русскую литературу въ подражательности, въ отсутствіи оригинальности, и въ то же время признаютъ Пушкина, Грибоѣдова и другихъ новѣйшихъ писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что еслибъ наша поэзія до Пушкина не была подражательною, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною... Да, подражательность первыхъ нашихъ поэтовъ искупили собою оригинальность послѣдующихъ. И это обстоятельство даетъ особенный характеръ нашей поэзіи и ея историческому развитію. Исторія нашей поэзіи до Пушкина вся заключается — въ

усиліи изъ реторики сдѣлаться поэзіею, изъ книжной и школьной стать естественною, изъ подражательной—оригинальною. Ломоносовъ сообщилъ русской поэзіи характеръ чисто-реторическій, чисто-школьный и книжный,—и велико дѣло его, святъ его подвигъ! Намъ нужна была поэзія, во что-бы то ни стало, —и Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзію, кромѣ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому генію, дать-было не возможно. О Ломоносовѣ вообще утвердилось мнѣніе, что онъ былъ ученый и нисколько не поэтъ: этого мнѣнія нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но вотъ вопросъ: какъ и въ чемъ бы высказалась его поэтическая натура? Откуда бы почерпнулъ онъ сознательную идею о существованіи поэзіи и о своемъ поэтическомъ призваніи?—Изъ общества? Но тогдашнее общество не имѣло никакого понятія о поэзіи, еще менѣе чувствовало потребность въ ней,—и если оно смотрѣло на стихи Ломоносова не какъ на пустое балагурство, а на него-самого, не какъ на шута, — причиною этому былъ не талантъ Ломоносова, а покровительство Шувалова, вниманіе императрицы... Слѣдовательно, для сознательной идеи поэзіи, Ломоносову былъ одинъ путь— книга, ученіе наука, знакомство съ Европою. Такъ оно и было. Теперь спрашивается: могъ ли Ломоносовъ не подчиниться вліянію своихъ нѣмецкихъ учителей, и образцы тогдашней нѣмецкой поэзіи могли ли дать поэтической дѣятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое дѣйствительно ей дали? Скажутъ: истинный геній не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ духомъ... Да, это правда, не покоряется, — но только тогда, когда уже выработаны и готовы матеріалы, изъ которыхъ геній можетъ творить; иначе въ историческомъ процессѣ не бываетъ. И вотъ почему иногда пришествіе одного генія приготовляется столькими другими, изъ которыхъ иные, можетъ-быть, потому только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на низшія предварительныя работы. Петръ-Великій, въ одно и то же время, работавшій и умомъ и топоромъ, представляетъ собою, въ этомъ отношеніи, дивное исключеніе изъ общаго правила. И такъ, что же оставалось дѣлать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теоріи, тогда-какъ въ поэзіи другихъ народовъ практика родила теорію, фактъ возбудилъ потребность сознанія. И вотъ Ломоносовъ думаетъ о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумѣется, смотритъ на этотъ предметъ, какъ смотрѣли на него Нѣмцы того времени. Потомъ, ему нужно было подумать о языкѣ, о версификаціи, ибо, до него, не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силлабическимъ размѣромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяховскаго тутъ нѣчего брать въ разсчетъ). Что же было ему пѣть? Любовь?—Но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пѣсенъ, а о другой оно и не заботилось. Нѣтъ,

Ломоносовъ пѣлъ то, что было ближе къ дѣлу, что заключалось въ самой дѣйствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертію Петра-Великаго, и освѣтило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины-Великой; послѣ ужасовъ бироновской тиранiи, царствованіе Елизаветы I по-справедливости казалось эпохою столь же счастливою, сколько и славною,—и Ломоносовъ пѣлъ «блаженство дней своихъ», пѣлъ «любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествѣ». Больше нѣчего было бы пѣть въ то время и самому Шекспиру. Говорятъ, стихи его обличаютъ оратора, а не поэта: да иначе и быть не могло, даже и въ такомъ случаѣ, если бы Ломоносовъ былъ столько же поэтическая натура, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно-хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не писалъ такихъ хорошихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, который болѣе Ломоносова былъ преданъ поэзiи и который явился послѣ него, такъ далеко хуже ломоносовскихъ стиховъ? Отъ-чего стихи Державина сдѣлали, послѣ стиховъ Ломоносова, такой малый шагъ впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ стихотвореніяхъ, тогда какъ въ большой части не-лучшихъ, они хуже, чѣмъ стихи Ломоносова въ одѣ «Къ Іову», въ «Утреннемъ» и «Вечернемъ размышленіи о величествѣ Божіемъ», которые отличаются чистотою языка, обличающею въ творцѣ ихъ человѣка ученаго? Конечно, «Мокрый Амуръ» Ломоносова далеко не пойдетъ въ сравненіе съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но, по своему времени, это удивительное стихотвореніе. [48]) Итакъ, вопросъ о поэтическомъ призваніи и талантѣ Ломоносова пока все еще только—вопросъ, и едва-ли есть возможность рѣшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собою ничего не дѣлаетъ ни великаго, ни малаго; но, оглядѣвшись вокругъ себя, всякій начинаетъ или продолжать, или отрицать сдѣланное прежде его: это законъ историческаго развитія. Чувствуя наклонность къ поэзiи, имя которой было ужъ печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругѣ людей общества того времени,—Державинъ, естественно, не могъ не остановить своего вниманія на Ломоносовѣ, и не подчиниться его вліянію. И Державина, за это, такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечетъ языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его слухъ, а не языкомъ, котораго онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся генію Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дѣлаетъ большую честь, что онъ рѣшился подражать только одному Ломоносову. Еще большую честь дѣлаетъ Державину, то, что съ 1779 года, онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте, однакожь, чтобъ онъ на это рѣшился по сознанію недостатковъ поэзiи Ломоносова, или по убѣжденію, что подражаніе ни къ чему не ведетъ, а надо всякому быть самимъ собою: нѣтъ! Для *такого* сознанія и *такого* убѣжденія еще не наставало время, и Державину нѣ откуда было взять ихъ. Вотъ что говоритъ онъ

самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года. «Всѣхъ сихъ произведеній своихъ авторъ самъ не одобрялъ, потому-что хотѣлъ подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ его не былъ внушаемъ *одинаковымъ* геніемъ: онъ хотѣлъ парить, но не могъ постоянно выдерживать, красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно *россійскому Пиндару велелѣпія и пышности;* а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенно особый путь, *будучи предводимымъ наставленіями Баттё* и совѣтами друзей своихъ: Николая Александровича Львова, Василья Васильевича Капниста и Ивана Ивановича Хемницера». Не думайте также, чтобы «совершенно-особый путь» означалъ полную независимость отъ Ломоносова и и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время былъ бы скачкомъ, а въ исторіи нѣтъ скачковъ. Державинъ дѣйствительно пошелъ своимъ особымъ путемъ, но не выходя изъ-подъ вліянія ломоносовской поэзіи: въ поэзіи Державина явились впервые яркія вспышки истинной поэзіи, мѣстами даже проблески художественности, какая-то, ему одному свойственная, оригинальность во взглядѣ на предметы и въ манерѣ выражаться, черты народности, столь неожиданныя и тѣмъ болѣе поразительныя въ то время,—и вмѣстѣ съ тѣмъ, поэзія Державина удержала дидактическій и реторическій характеръ въ своей общности, который былъ сообщенъ ей поэзіею Ломоносова. Въ этомъ видѣнъ естественный историческій ходъ.

Кстати о дидактикѣ. Она была явленіемъ неизбѣжнымъ и необходимымъ. Занятіе поэзіею должно было чѣмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бумагомаратель, назвавшись поэтомъ, найдетъ кружокъ, который будетъ смотрѣть на него съ нѣкоторымъ уваженіемъ за то, что онъ—непростой человѣкъ, а «поэтъ». Но это мистическое уваженіе къ слову «поэтъ» не вдругъ же явилось въ русскомъ обществѣ. оно развилось въ немъ временемъ, и, конечно, составляетъ его прогрессъ, въ сравненіи съ предшествовавшими эпохами. Во время Ломоносова, слова «поэзія» и «поэтъ», или, по-тогдашнему, «піитъ» звучали довольно дико, и были, къ тому же, нѣсколько опошлены характерами двухъ первыхъ русскихъ «піитовъ» —Тредьяковскаго и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило вниманіе, то не иначе, какъ въ-слѣдствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшею властью. «Даютъ чины, подарки за стихи,—стало-быть, стихи что нибудь да значатъ же»: такъ думало само съ собою тогдашнее общество. Не надобно же было ему представить пользу отъ поэзіи, чтобъ оно не считало поэзію за одно съ шутовствомъ. Да что общество! — сами поэты того времени не умѣли объяснить себѣ собственную страсть къ поэзіи иначе, какъ ея высокимъ призваніемъ — быть полезною для нравовъ общества. И если хотите, они были правы: поэзія дѣйствительно есть провозвѣстница великихъ истинъ, въ историческомъ движеніи человѣчества развивающихся; но прежде всего она —поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно смѣшивать съ философіею, хотя у нихъ обѣихъ одно и

то же содержаніе. Наши первые поэты стараго времени поняли поэзію, какъ пріятное нравоученіе,—и Мерзляковъ, теоретикъ *этой* поэзіи, такъ выразилъ ея сущность и цѣль, въ стихахъ, заимствованныхъ имъ у Тасса:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ:
Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье,
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Выражаясь прозою, это значитъ, что поэзія есть позолота на горькой пилюлѣ нравоученія... Мнѣніе ограниченное и жалкое, но подъ его эгидою начинается всякая поэзія, возникшая непосредственно изъ народной жизни, а явившаяся какъ нововведеніе, какъ какое-то общественное учрежденіе... И за то спасибо ему: оно, это мнѣніе, поддержало у насъ и дало укрѣпиться зародышу поэзіи Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дѣйствіяхъ великихъ людей бываетъ два рода недостатковъ и ошибокъ: одни происходятъ отъ ихъ личнаго произвола, или личной ограниченности; другіе — изъ духа и потребностей самого времени. За недостатки и ошибки перваго рода можно и должно обвинять великихъ дѣйствователей; недостатки же и ошибки второго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е. недостатками и ошибками, но ставить ихъ въ вину великимъ дѣйствователямъ не можно и не должно.

Итакъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не былъ *поэтомъ-художникомъ;* его поэзія — лепетъ младенческій, исполненный жизни и прелести, но не рѣчь разумная мужа. И откуда же взялъ бы онъ художественность образовъ, пластическую отдѣлку формы, если въ его время о такихъ питростяхъ не было понятія, слѣдовательно не было въ нихъ и потребности? И потомъ, можно ли винить его за реторику и дидактику, входящія, какъ элементъ, во всѣ даже лучшія его созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющія первую роль? Конечно, за это никто и не обвинитъ его; но, съ другой стороны, есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступленіи, какъ въ дерзкомъ неуваженіи къ священнымъ предметамъ, людей, которые называютъ вещи собственными ихъ именами и не хотятъ видѣть въ нихъ больше того, что̀ есть въ нихъ на-самомъ дѣлѣ? Можно насчитать болѣе полусотни стихотвореній Державина, въ которыхъ нѣтъ ни искры поэзіи, и въ которыхъ злоупотребленіе «піитической вольности» съ языкомъ доведено до крайней степени: не-уже-ли грѣхъ и преступленіе сказать объ этомъ прямо? не-уже-ли критика должна состоять изъ однѣхъ лицемѣрныхъ фразъ и натянутаго восторга, выражаемаго общими мѣстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ,—тѣмъ болѣе нѣтъ, что подобная искренность нисколько не можетъ повредить славѣ Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унизить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могутъ быть у всякаго великаго поэта, и если у Державина ихъ больше, чѣмъ у другихъ, это вина времени (если только время можетъ быть въ чемъ

нибудь виновато), а не поэта. Жуковскій—тоже поэтъ необыкновенный; онъ явился уже послѣ Державина, когда самый языкъ сдѣлалъ большіе успѣхи черезъ Карамзина и Дмитріева; Жуковскій самъ подвинулъ языкъ впередъ и много сдѣлалъ для стиха и для поэзіи; но и у Жуковскаго есть длинныя посланія, которыхъ достоинство заключается совсѣмъ не въ поэзіи, а развѣ въ звучности стиха и краснорѣчіи, и которыя, въ сущности, не многимъ важнѣе реторическихъ и дидактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемыхъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковскаго видѣнъ историческій ходъ развитія нашей поэзіи: у Пушкина уже нѣтъ подобныхъ произведеній, но потому именно и нѣтъ, что они уже были у Жуковскаго и что уже пришло *время* кончиться имъ.

Итакъ, нѣкого обвинять и нѣчего жалѣть, что Державинъ не былъ поэтомъ-художникомъ; лучше подивиться тѣмъ свѣтозарнымъ проблескамъ поэзіи и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ дидактическая, по преобладающему элементу своему, поэзія этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художническая, но время и обстоятельства положили непреодолимыя преграды ея развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нѣтъ поэзіи какъ искусства, есть только элементы и проблески истинной поэзіи. Это уже не чисто-подражательная поэзія, какъ у Ломоносова: въ ней уже слышатся и чуются звуки и картины руской природы, но перемѣшанныя съ какою-то искаженною греческою миѳологіею на французскій манеръ. Возьмемъ для примѣра прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто-русской природы съ Богъвѣдаетъ какой природою,—очаровательной поэзіи съ непонятною реторикою:

Спустилъ сѣдой Эолъ Борея
Съ цѣпей чугунныхъ изъ пещеръ;
Ужасны крылья расширяя,
Махнулъ по свѣту богатырь;
Погналъ стадами воздухъ синій,
Сгустилъ туманы въ облака,
Давнулъ—и облака разсѣлись,
Спустился дождь и восшумѣлъ.

Къ-чему тутъ Эолъ, къ-чему Борей, пещеры и чугунныя цѣпи? Не спрашивайте: къ чему нужны были пудра, мушки и фижмы?—Во время оно, безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ найдетъ русское слово «богатырь» къ этому Нѣмцу «Борею»!.. [47]). Можно ли гонять *стадами* синій воздухъ? И что̀ за картина: Борей, сгустивъ туманы въ облака, давнулъ ихъ; облака разсѣлись, и отъ-того спустился дождь и восшумѣлъ?.. Вѣдь это—*слова, слова, слова!*.. Но далѣе:

Уже румяна осень носитъ
Снопы златые на гумно,

Какіе прекрасные два стиха! По нимъ, вы думаете, что вы въ Россіи...

И роскошь винограду проситъ
Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносятъ васъ—Богъ-вѣсть!

Уже стада толпятся птичьи,
Ковыль сребрится по степямъ;
Шумящи красножелты листья
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ опушкѣ заяцъ быстроногій,
Какъ колникъ посѣдѣвъ, лежитъ;
Ловецки раздаются роги,
И выжлятъ лай и гулъ гремитъ;
Запасшися крестьянинъ хлѣбомъ,
Ѣстъ добры щи и пиво пьетъ;
Обогащенный добрымъ небомъ...

Тутъ вы ожидаете, что онъ благословляетъ, въ простотѣ сердца, имя Божіе за дары его: ничуть не бывало: онъ—

Блаженство дней своихъ поетъ!

Не на лирѣ ли?..

Борей на осень хмуритъ брови,
И Зиму съ Сѣвера зоветъ:
Идетъ сѣдая чародѣйка,
Косматымъ машетъ рукавомъ,
И снѣгъ, и мразъ, и иней сыплетъ,
И воды претворяетъ въ льды;
Отъ хладнаго ея дыханья
Природы взоръ оцѣпенѣлъ.
На мѣсто радугъ испещренныхъ
Вспитъ на небѣ мгла вокругъ,
А на коврахъ полей зеленыхъ
Лежитъ разсыпанъ бѣлый пухъ;
Пустыни сѣтуютъ и долы,
Голодны волки воютъ въ нихъ;
Древа стоятъ и холмы голы,
И не пасется стадъ при нихъ.
Ушелъ олень на тундры мшисты
И въ логовище легъ медвѣдь.

И вслѣдъ за этими чудными стихами—

По селамъ нимфы голосисты
Престали въ хороводахъ пѣть,
Небесный Марсъ оставилъ громы,
И легъ въ туманы отдохнуть...

Какой «небесный Марсъ» и въ какіе «туманы» легъ онъ на отдыхъ? Что за «Нимфы голосисты»—ужь не крестьянки ли?.. Но называть нашихъ крестьянокъ нимфами все равно, что́ назвать Меланіей Маланью...

Что въ Державинѣ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего лучше доказываютъ его такъ-называемыя «анакреонтическія» стихотворенія. И между

ними нѣтъ ни одного, вполнѣ выдержаннаго; но какое созерцаніе, какіе стихи! Вотъ, на-примѣръ, «Побѣда красоты»:

Какъ храмъ Ареопагъ Палладѣ,
Нептуна презря, посвятилъ,
Притекъ къ аѳинской левъ оградѣ,
И ревомъ городу грозилъ.
Она копья непобѣдима
Ко ополченью не взяла,
Противу льва неукротима
Съ Олимпа Гебу призвала.
Пошла,—и подъ оливой стала,
Блистая легкою броней:
Младую нимфу обнимала,
Сидящую въ тѣни вѣтвей.
Левъ шелъ,—и подъ его стопою
Приморскій влажный брегъ дрожалъ,
Но встрѣтясь вдругъ со красотою,
Какъ солнцемъ пораженный, сталъ.
Вздыхалъ и палъ къ ногамъ левъ сильный,
Прелестну руку лобызалъ
И чувства кроткія, умильны,
Въ сверкающихъ очахъ являлъ.
Стыдлива дѣва улыбалась
На молодого льва смотря,
Кудрявой гривой забавлялась
Сего звѣринаго царя.
Минерва мудрая познала
Его родящуюся страсть,
Цвѣточной цѣпью привязала
И отдала любви во власть.
Не разъ потомъ уже случалось,
Что умъ смирялъ и ярость львовъ,
Красою мужество сражалось.
А побѣждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинѣ живое сочувствіе къ древнему міру, какъ свидѣтельство глубокохудожественнаго элемента въ натурѣ поэта. Но пьеса «Рожденіе Красоты» еще болѣе обнаруживаетъ это артистическое сочувствіе поэта къ художественному міру древней Греціи, хотя эта пьеса и еще менѣе выдержана, чѣмъ первая. Мы уже приводили это стихотвореніе въ подкрѣпленіе нашего мнѣнія о невыдержанности пьесъ Державина; но теперь снова приводимъ его, уже для другой цѣли, и потому отмѣчаемъ курсивомъ только хорошіе стихи:

Сотворя Зевесъ вселенну
Звалъ боговъ всѣхъ на обѣдъ,
Вкругъ нектара чашу пѣнну
Разносилъ имъ Ганимедъ.

Медъ, амброзія блистала
Въ ихъ устахъ, по лицамъ огнь,
Благовоній мла летала
И Олимпъ былъ свѣта полнъ.
Раздавались пѣсенъ хоры
И звучалъ веселіемъ пиръ.
Но внезапно какъ-то взоры
Опустилъ Зевесъ на міръ,
И увидя царства, грады,
Что погибли отъ боевъ,
Что богини мещутъ взгляды
На бѣднѣйшихъ пастуховъ;
Распалился столько гнѣвомъ,
Что курчавой головой
Покачавъ, шатнулъ всѣмъ небомъ,
Адомъ, моремъ и землей.
Вмигъ сокрылся блескъ лазуря,
Тьма съ бровей, огонь съ очесъ,
Вихоръ съ ризъ его, и буря,
Восшумѣла отъ небесъ,
Разразились всюду громы,
Мракъ во пламени горѣлъ,
Яры волны, будто холмы,
Понтъ стремился и ревѣлъ;
Въ растворенны безднъ угробы
Тартаръ искры извергалъ:
Въ тучи Фебъ, какъ въ черны гробы,
Погруженный трепеталъ;
И средь страшной сей тревоги,
Коль еще бы грянулъ громъ,
Міръ, Олимпъ, боговъ чертоги
Повернулись бы вверхъ дномъ.
Но Зевесъ вдругъ умилился:
Знать красавицъ стало жаль;
А какъ съ ними не смирился,
Тотчасъ повую создалъ:
Вплелъ въ власы пески златые,
Пламя—въ щеки и въ уста,
Небо—въ очи голубыя,
Пѣну въ грудь—и красота
Вмигъ изъ волнъ морскихъ родилась;
А взглянула лишь она,
Тотчасъ буря укротилась
И настала тишина.
Сизы, юные дельфины,
Обвившія табуномъ,
На свои ее взявъ спины,
Мчали по пучинѣ волнъ.

Бѣлы голуби станицей,
Гдѣ откуда ни взялись,
Подъ жемчужной колесницей
Съ ней на воздухъ поднялись;
И летя подъ облаками,
Вознесли на звѣздный холмъ,
Зевсъ обнялъ ее лучами
Съ улыбнувшимся лицомъ.
Боги молча удивлялись
На красу, разинувъ ротъ,
И согласно въ томъ признались:
Миръ и брани отъ красотъ.

Доказательствомъ того, какими превосходными стихами *могъ* писать Державинъ, служитъ его стихотвореніе «Русскія Дѣвушки»:

Зрѣлъ ли ты, пѣвецъ тінсскій
Какъ въ лугу, весной, бычка
Пляшутъ дѣвушки *россійски*
Подъ свирѣлью пастушка?
Какъ, склонясь *главами*, ходятъ,
Башмачками въ ладъ стучатъ,
Тихо *руки, взоръ поводятъ*,
И плечами говорятъ?
Какъ ихъ лентами златыми
Чела бѣлыя блестятъ,
Подъ жемчугами драгими
Груди нѣжныя дышатъ?
Какъ сквозь жилки голубыя
Льется розовая кровь,
На ланитахъ огневыя
Ямки врѣзала любовь!
Какъ ихъ брови соболины,
Полный искръ соколій взглядъ,
Ихъ усмѣшка—души львины
И сердца орловъ разятъ?
Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,
Ты бъ Гречанокъ позабылъ,
И на крыльяхъ сладострастныхъ
Твой Эротъ прикованъ былъ.

Оставимъ въ-сторонѣ достолюбезную наивность мысли—заставить Анакреона удивляться *россійскимъ дѣвушкамъ*, пляшущимъ весною на лугу «бычкѣ», и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады; оставимъ также въ-сторонѣ книжное и не идущее къ дѣлу слово «главами», ошибку противъ языка, который велитъ *поводить руками и взорами* и не позволяетъ *поводить руки и взоры:* оставимъ все это въ-сторонѣ, какъ погрѣшности, неизбѣжныя по духу времени, и спросимъ: можно ли не согласиться, что стихи этой пьесы, какъ стихи—прекрасны? Стало-быть, Державинъ могъ всегда

писать прекрасными стихами?—Конечно,могъ, ибо онъ по натурѣ своей былъ великій поэтъ.—Отъ-чего же онъ такъ рѣдко писалъ хорошими стихами?—Отъ-того, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни потребности въ нихъ; отъ-того, что въ его время, о поэзіи всего менѣе думали, какъ о красотѣ, не подозрѣвая, что поэзія и красота—одно и то же. По-этому, Державинъ всего менѣе заботился о стихѣ, а такъ-какъ онъ началъ писать очень-поздно, то и не могъ овладѣть ни языкомъ, ни стихомъ, обладаніе которыми и величайшимъ поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Отъ-того же, Державину такъ трудно было поправлять свои пьесы, и всѣ его поправки были большею частью неудачны. Что́ касается до неточности въ выраженіи,—отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насилованіе языку, т. е. произвольныя усѣченія, ударенія, часто искаженіе слова, должно приписать тому, что Державинъ въ молодости не имѣлъ возможности пріобрѣсти, по части языка, ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разобрали мы пьесъ Державина,—все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтомъ-художникомъ онъ все-таки не былъ; и цѣлый кругъ его поэтической дѣятельности представляетъ собою только порываніе къ поэзіи и достиженіе ея лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя поэтическія его произведенія, какъ, напр. «Фелица» могутъ намъ нравиться не иначе, какъ только подъ условіемъ изученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіи. Читая ихъ, мы должны оторваться отъ своего времени и своихъ понятій, и *силою размышленія*, такъ-сказать, заставить себя видѣть поэзію и талантъ въ томъ, что́ въ современномъ намъ писателѣ назвали бы мы прозою и бездарностію. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, разсматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи,—некрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть, на очарованіе глазъ и умиленіе сердца, роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: талантъ Державина великъ; но онъ не могъ сдѣлать больше того, что́ позволили ему его отношенія къ историческому положенію общества въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, что́ онъ сдѣлалъ: зачѣмъ же приписывать ему больше того, что́ могъ онъ сдѣлать? Державинъ великій поэтъ русскій,—и этого довольно, и нѣтъ никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Гораціемъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Горацій дѣйствовали на почвѣ всемірно-исторической жизни, и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ и Анакреонъ — пѣвцы народа эллинскаго, народа-художника...

Во второй статьѣ, мы разсмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэтѣ было бы односторонне и неполно.

*700. **Сочиненія Николая Гоголя.** *Четыре тома. Санктпетербургъ. 1842. Въ типографіи Бородина и К°. Въ 8-ю д. л. Въ I томѣ 186 и 259, во II—490, въ III—465, въ IV—590 стр.* [48]).

Въ литературномъ отношеніи, нельзя было блистательнѣе заключиться старому году и начаться новому, какъ выходомъ сочиненій Гоголя. Дай Богъ, чтобъ это было счастливымъ предзнаменованіемъ для новаго года, чтобъ мы увидѣли, въ-теченіе его, не однѣ тетрадки и выпуски съ картинками, не однѣ сказки, досужею посредственностью изготовляемыя во множествѣ по заказу литературныхъ антрепренёровъ!...

Намъ нѣтъ никакой нужды говорить о томъ, что содержатъ въ себѣ эти четыре тома: публика уже знаетъ это сама—четыре тома уже прочтены ею, по-крайней мѣрѣ, въ обѣихъ нашихъ столицахъ, если еще не успѣли они проникнуть въ глушь провинцій.

И такъ, исторія «Мертвыхъ Душъ» готова повториться: публика читаетъ, журналы въ хлопотахъ, особенно тѣ, которымъ такъ не по-сердцу произведенія Гоголя... ихъ успѣхъ, хотѣли мы сказать. «Сѣверная Пчела» уже подала голосъ, но она *хвалитъ* Гоголя (№ 18): «Мы думаемъ,—говоритъ она,—что для г. Гоголя вовсе не будетъ униженіемъ, когда мы его поставимъ на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Виго-Лебреномъ, писателями талантливыми, но не имѣвшими претензій на поэзію и философію». Увы! мы, съ своей стороны, не можемъ поставить автора этихъ строкъ на одну доску ни съ Поль-де-Кокомъ ни съ Виго-Лебрёномъ,—именно потому, что они писатели талантливые, хотя и не имѣвшіе притязанія на поэзію и философію... А «Сѣверная Пчела»—надо отдать ей въ этомъ честь,—не имѣя притязаній ни на талантъ, ни на поэзію, сильно претендуетъ на философію, особенно когда хлопочетъ объ участи печитаемыхъ ею, по ея словамъ, «Отеч. Записокъ»: вотъ и теперь она трунитъ, сколько хватаетъ ея остроумія, какъ надъ образцомъ нелѣпости и безсмыслія надъ этимъ стихомъ Гёте изъ второй части его «Фауста»:

In deinem Nichts hoff ich All zu finden.

Ну, ужь конечно, если эта газета можетъ въ «Фаустѣ» Гёте находить безсмыслицы и нелѣпицы, то что же для нея произведенія Гоголя, что его поэзія и философія: довольно съ него и того, если эта газета поставитъ его на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Виго-Лабрёномъ... Жаль, что Гоголь никогда не узнаетъ объ этомъ «производствѣ», и потому не будетъ имѣть возможности благодарить «Сѣверную Пчелу» свойственнымъ ему образомъ...

Но пора отвернуться хоть на время отъ шумнаго рынка *этой* литературы: наше вниманіе зоветъ теперь къ себѣ то, что составляетъ въ настоящую минуту гордость и честь русской литературы—четыре тома сочиненій Гоголя...

«Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», которыми началось поэтическое поприще Гоголя, и которые теперь въ *третій* разъ выходятъ въ свѣтъ,

оставлены авторомъ безъ всякихъ измѣненій. Такъ и должно было быть: порожденія легкой, свѣтлой юношеской фантазіи, веселыя пѣсни на пиру еще неизвѣданной жизни, они не могли подвергнуться измѣненіямъ поэта, который уже давно смотритъ на жизнь взоромъ глубокимъ, проницательнымъ и грустноважнымъ. Для самого поэта эти образы, свѣтлые, какъ майская ночь его Малороссіи, радостные, какъ звучный смѣхъ его Оксаны, шаловливые, какъ затѣи неугомонныхъ парубковъ, товарищей удалого Левко, сладостно-задумчивые, какъ свѣтлоокая панночка-утопленница, добродушно-насмѣшливые, какъ вѣчновеселая юность,—всѣ эти образы навсегда остались милы поэту, какъ первый поцѣлуй любви, какъ шипучая пѣна впервые-осушеннаго бокала, какъ память о волшебныхъ дняхъ безпечно-блаженнаго младенчества... Онъ самъ говоритъ въ предисловіи: «Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнѣ стало жалко исключить ихъ, какъ жалко исторгнуть изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со втораго». Такъ говоритъ поэтъ,—и онъ имѣетъ полное право простирать свою строгость къ самому-себѣ за предѣлы умѣренности и справедливости; но публика тоже права, не соглашаясь съ нимъ. Всякій періодъ жизни человѣческой прекрасенъ и долженъ имѣть свои пѣсни и своихъ пѣвцовъ: «Вечера на хуторѣ» есть одна изъ такихъ вѣчно звучныхъ пѣсенъ юности, которыхъ цѣль и назначеніе—вновь возвращать на волшебное мгновеніе самой старости невозвратно-улетѣвшую юность...

Во второй части, заключающей въ себѣ «Миргородъ», подверглись значительнымъ измѣненія мъ повѣсти: «Тарасъ Бульба» и «Вій». Первая, въ-слѣдствіе этихъ измѣненій, сдѣлалась вдвое-обширнѣе и безконечно-прекраснѣе. Поэтъ чувствовалъ, что въ первомъ изданіи «Тараса Бульбы» на многое только намекнуто, и что многія струны исторической жизни Малороссіи остались въ немъ непропутыми. Какъ великій поэтъ и художникъ, вѣрный однажды-избранной идеѣ, пѣвецъ Бульбы не прибавилъ въ своей поэмѣ ничего такого, что было бы чуждо ей, но только развилъ многія уже заключавшіяся въ ея основной идеѣ подробности. Онъ исчерпалъ въ ней всю жизнь исторической Малороссіи, и въ дивномъ, художественномъ созданіи навсегда запечатлѣлъ ея духовный образъ: такъ ваятель уловляетъ въ мраморѣ черты человѣка и даетъ имъ безсмертную жизнь... Особенно замѣчательны подробности битвъ Малороссіянъ съ Поляками подъ городомъ Дубно и эпизодъ любви Андрія къ прекрасной Полькѣ. Вся поэма приняла еще болѣе-возвышенный тонъ, проникнулась лиризмомъ. Впрочемъ, сужденіе объ этомъ—смѣло можемъ сказать—*великомъ* созданіи, завело бы насъ далеко,—чего не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время, и потому пока отлагаемъ его. Повѣсть «Вій» черезъ измѣненія сдѣлалась много лучше противъ прежняго, но и теперь она болѣе блеститъ удивительными подробностями, чѣмъ своею цѣлостію. Недостатки ея

значительно сгладились, но цѣлаго попрежнему нѣтъ. «Старосвѣтскіе помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» осталась совершенно безъ измѣненій: очевидно, эти два превосходныя произведенія такъ хорошо вызрѣли въ душѣ, что могли сразу явиться во всей опредѣленности своей идеи, во всей полнотѣ своей художественной жизни.

Къ такимъ же зрѣло-художественнымъ и отчетливо-концепированнымъ произведеніямъ принадлежитъ и «Невскій проспектъ», которымъ начинается третья часть; только эта повѣсть, по своему содержанію, далеко глубже и выше тѣхъ двухъ. «Носъ»—это арабескъ, небрежно набросанный карандашомъ великаго мастера, значительно и къ лучшему измѣненъ въ своей развязкѣ. О «Портретѣ» и «Римѣ» публикѣ извѣстно наше мнѣніе, за которое одинъ журналъ объявилъ насъ—*ругателями Гоголя!!*... [49]). Такова толпа: ей или хвали до надсады груди, или унижай до послѣдней крайности, но не смѣй хвалить за одно и порицать за другое въ одно и то же время... Мнѣніе наше о «Портретѣ» и «Римѣ» остается то же, не смотря ни на чьи крики и клеветы, и мы подробно разовьемъ это мнѣніе въ обѣщанной нами большой статьѣ о сочиненіяхъ Гоголя. «Коляска»—мастерской юмористическій очеркъ, въ которомъ больше поэтической жизни и истины, чѣмъ во многихъ пудахъ романовъ многихъ нашихъ романистовъ,—и «Записки сумасшедшаго»—одно изъ глубочайшихъ произведеній Гоголя, также остались безъ перемѣны. «Шинель» есть новое произведеніе, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрѣлостію художественнаго рѣзца.

Въ четвертомъ томѣ очень много новаго, и мы особенно рады, что изъ него даже петербургская публика познакомится съ новою комедіею (впрочемъ, еще прежде «Ревизора» написанною) Гоголя «Женитьба», совершенно невѣроятное событіе въ двухъ дѣйствіяхъ». Здѣсь, въ Петербургѣ, она давалась на сценѣ; но тамъ мы не узнали ея, ибо нѣтъ ничего общаго между тѣмъ, что видѣли мы на сценѣ, и что читаемъ теперь въ книгѣ... Никого не обижая, ни на кого не жалуясь, мы кстати замѣтимъ здѣсь, что еще не пришло время у насъ для національнаго театра. Большая часть актёровъ нашихъ смотритъ на сценическое искусство, какъ на обязанность говорить то, чего не чувствуетъ... Это напоминаетъ намъ слова Гоголя, въ его письмѣ о представленіи «Ревизора»: «Вообще у насъ актёры совсѣмъ не умѣютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать значитъ просто нести болтовню. Лгать значитъ говорить ложь тономъ столь близкимъ къ истинѣ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно говорить только одну истину, и здѣсь-то заключается именно все комическое лжи». Точно также, прибавимъ мы отъ себя, большая часть нашихъ актёровъ не хочетъ понять, что искренность и наивность суть первыя условія сценическаго искусства и комизма, и что по этому смѣшить публику должно естественнымъ воспроизведеніемъ характера, созданнаго поэтомъ, а не утрированіемъ характера: ибо, какъ въ самой дѣйстви-

тельности никто не станетъ выставлять на видъ рѣзкія странности своего характера, чтобъ смѣшить ими другихъ, но каждый тѣмъ и смѣшонъ, что и не подозрѣваетъ своей смѣшной стороны, такъ и въ сценическомъ искусствѣ—этомъ зеркалѣ дѣйствительности—актёръ долженъ забыть, что онъ играетъ смѣшную роль и помнить только, что онъ представляетъ характеръ, изъ природы и дѣйствительности взятый. Конечно, смѣхъ публики есть награда комическому актёру, но онъ долженъ возбуждать этотъ смѣхъ естественнымъ выполненіемъ представляемаго имъ характера, а не явнымъ желаніемъ, во что бы то ни стало, возбудить смѣхъ—не рѣзкими движеніями, не уродливымъ костюмомъ... Кстати о костюмахъ: вотъ что говоритъ Гоголь въ своемъ письмѣ о выполненіи роли Бобчинскаго и Добчинскаго: «За то, оба наши пріятеля, Бобчинскій и Добчинскій, вышли, сверхъ ожиданія, дурны. Хоть я и думалъ, что они будутъ дурны, ибо, создавая этихъ двухъ маленькихъ чиновниковъ, я воображалъ въ ихъ кожѣ Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думалъ, что ихъ наружность и положеніе, въ которомъ они находятся, какъ-нибудь вынесутъ ихъ и не такъ обкаррикатурятъ. Сдѣлалось на противъ: вышла именно каррикатура. Уже передъ началомъ представленія, увидѣвши ихъ костюмированными, я ахнулъ. Эти два человѣка, въ существѣ своемъ довольно опрятные, толстенькіе, съ прилично приглаженными волосами, очутились въ какихъ-то нескладныхъ, превысокихъ сѣдыхъ парикахъ, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, съ выдернутыми огромными манишками; а на сценѣ оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо»; (т. IV, стр. 203).

«Игроки»—цѣлая комедія, по концепціи и выполненію вполнѣ достойная имени своего автора. Сцены: *Тяжба*, *Лакейская* и *Отрывокъ*—живыя картины разныхъ слоевъ и сферъ русскаго общества. Но выше ихъ «Театральный разъѣздъ послѣ перваго представленія комедіи»: въ этой пьесѣ, поражающей мастерствомъ изложенія, Гоголь ярляется столько же мыслителемъ-эстетикомъ, глубоко-постигающимъ законы искусства, которому онъ служитъ съ такою же славою, сколько поэтомъ и соціальнымъ писателемъ. Эта пьеса есть какъ бы журнальная статья въ поэтически-драматической формѣ,—дѣло, возможное для одного Гоголя! Въ пьесѣ этой содержится глубоко-сознанная теорія общественной комедіи, и удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы, или, лучше сказать, на всѣ нападки, возбужденные «Ревизоромъ» и другими произведеніями автора. Разобрать это превосходное произведеніе нельзя, не дѣлая изъ него выписокъ, а дѣлать изъ него выписки тоже нельзя, по двумъ причинамъ: по невозможности выбора прекраснаго изъ равно-прекраснаго, и еще потому, что вся пьеса проникнута такимъ единствомъ мысли, развитой и изложенной такъ логически и послѣдовательно (не смотря на поэтически-драматическую форму), что надобно было бы переписать ее всю отъ начала до конца... И такъ какъ мы будемъ еще имѣть множество случаевъ обращаться къ ней, удовольствуемся выпискою ея проникнутаго высокимъ лиризмомъ и

глубокою мыслію окончанія: достойнѣе нельзя заключить рѣчи о Гоголѣ, какъ его же словами...

Авторъ пьесы, въ сѣняхъ театра, выслушавъ толки о ней людей всякихъ сословій, говоритъ, оставшись одинъ:

«Я услышалъ болѣе, чѣмъ предполагалъ. Какая пестрая куча толковъ! Счастье комику, который родился среди націи, гдѣ общество еще не слилось въ одну недвижимую массу, гдѣ оно не облеклось одной корой стараго предразсудка, заключающаго мысли всѣ въ одну и ту же форму и мѣрку, гдѣ что̀ человѣкъ, то и мнѣнье, гдѣ всякій самъ создатель своего характера. Какое разнообразіе въ этихъ мнѣніяхъ, и какъ вездѣ блеснулъ этотъ твердый, ясный русскій умъ! И въ этомъ благородномъ стремленіи государственнаго мужа! и въ этомъ высокомъ самоотверженіи забившагося въ глушь чиновника! и въ нѣжной красотѣ великодушной женской души! и въ эстетическомъ чувствѣ цѣнителей! и въ простомъ вѣрномъ чувствѣ народа! Какъ даже въ этихъ недоброжелательныхъ осужденіяхъ много того, что нужно знать комику. Какой живой урокъ! Да, я удовлетворенъ. Но отъ чего же грустно становится моему сердцу? Странно: мнѣ жаль, что никто не замѣтилъ честнаго лица, бывшаго въ моей піесѣ. Да, было одно честное, благородное лицо, дѣйствовавшее въ ней во все время продолженія ея. Это честное, благородное лицо былъ—смѣхъ. Онъ былъ благороденъ потому, что рѣшился выступить не смотря на низкое значеніе, которое дается ему въ свѣтѣ. Онъ былъ благороденъ потому, что рѣшился выступить, не смотря на то, что доставилъ обидное прозванье комику, прозваніе холоднаго эгоиста, и заставилъ даже усомниться въ присутствіи нѣжныхъ движеній души его. Никто не вступился за этотъ смѣхъ. Я комикъ, я служилъ ему честно и потому долженъ стать его заступникомъ. Нѣтъ, смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ. Не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болѣзненнымъ расположеніемъ характера; не тотъ также легкій смѣхъ, который весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка, излетаетъ изъ нея потому, что на днѣ ея заключенъ вѣчно-бьющійся родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что̀ проскользнуло бы, безъ проницающей силы котораго мелочи и пустота жизни не испугала бы такъ человѣка. Презрѣнное и ничтожное, мимо котораго онъ равнодушно проходитъ всякій день, не возрасло бы передъ нимъ въ такой страшной, почти каррикатурной силѣ, и онъ не вскрикнулъ бы, содрогаясь: неужели есть такіе люди? тогда какъ, по собственному сознанію его, бываютъ хуже люди. Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто смѣхъ возмущаетъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, явъ представлено въ наготѣ своей; но, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. И тотъ, кто понесъ бы мщеніе противу злобнаго человѣка, уже почти мирится съ нимъ, видя осмѣянными низкія движенія души его. Несправедливо говорятъ, что смѣхъ не дѣйствуетъ на тѣхъ, противу которыхъ устремленъ, и что плутъ первый посмѣется надъ плутомъ, выведеннымъ на сценѣ: плутъ-потомокъ посмѣется, но плутъ-современникъ не въ силахъ посмѣяться! Онъ слышитъ, что уже у всѣхъ остался неотразимый образъ, что одного низкаго движенія съ его стороны достаточно, чтобы этотъ образъ пошелъ ему въ вѣчное прозвище; а насмѣшки боится даже тотъ, кто уже ничего не боится на свѣтѣ. Нѣтъ, засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко-добрая душа. Но не

слышать могучей силы такого смѣха: что смѣшно, то низко, говоритъ свѣтъ; только тому, что произносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названіе высокаго. Но, Боже! сколько проходятъ ежедневно людей, для которыхъ нѣтъ вовсе высокаго въ мірѣ! Все, что ни творилось вдохновеніемъ, для нихъ пустяки и побасенки; созданія Шекспира для нихъ побасенки, высокія движенія души—для нихъ побасенки. Нѣтъ, не оскорбленное мелочное самолюбіе писателя заставляетъ меня сказать это, не потому, что мои незрѣлыя, слабыя созданья были сейчасъ названы побасенками. Нѣтъ, я вижу свои недостатки и вижу, что достоинъ упрековъ. Но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннѣйшія творенія честились именами пустяковъ и побасенокъ! Ныла душа моя, когда я видѣлъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни, безотвѣтныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагивалъ даже ни призракъ выраженія отъ того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснѣлъ языкъ ихъ, произнесши свое вѣчное слово: побасенки! Побасенки!... а вонъ протекли вѣки, города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что было,—а побасенки живутъ и повторяются понынѣ, и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полный благороднаго стремленія юноша. Побасенки! А вонъ: стонутъ балконы и перила театровъ, все потряслось съ низу до верху, превратясь въ одно чувство, въ одинъ мигъ, въ одного человѣка, всѣ люди встрѣтились, какъ братья, въ одномъ душевномъ движеніи, и гремитъ дружнымъ рукоплесканьемъ благодарный гимнъ тому, котораго уже пятьсотъ лѣтъ, какъ нѣтъ на свѣтѣ. Слышутъ ли это въ могилѣ истлѣвшія его кости? отзывается ли душа его, терпѣвшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вонъ, среди сихъ же рядовъ погрязшей толпы пришелъ удрученный горемъ и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку, и брызнули вдругъ свѣжительныя слезы изъ его очей, и вышелъ онъ примиренный съ жизнью, и проситъ вновь у неба горя и страданій, чтобы только жить и залиться вновь слезами отъ такихъ побасенокъ. Побасенки! Но міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обомлѣла бы жизнь плѣсенью, и тиной покрылись бы души. Побасенки!... О, да пребудутъ же вѣчно священны въ потомствѣ имена благосклонно внимавшихъ такимъ побасенкамъ: чудный перстъ Провидѣнья былъ неотлучно надъ главами творцовъ ихъ. Въ минуты даже бѣдъ и гоненій, все, что было благороднѣйшаго въ государствахъ, становилось прежде всего ихъ заступникомъ.

«Бодрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій, но приметъ благодарно указанія недостатковъ, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ, какъ водоворотъ: движутся въ немъ вѣчно мнѣнія и толки, но все перемалываетъ время. Какъ шелуха, слетаетъ ложь и, какъ твердыя зерна, остаются недвижныя истины. Что признавалось пустымъ, можетъ явиться потомъ вооруженное строгимъ значеніемъ. Во глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ, въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!..».

*701. Божественная комедія. Данте Алигіери. Адъ. *Съ очерками* Флаксмана *италіянскимъ текстомъ. Переводъ съ итальянскаго* Ѳ. Фанъ-Дима. *Введеніе и біографія Данте* Д. Струкова. *Изданіе* Е. Фишера. *Санктпетербургъ. Въ привиллегированной типографіи Е. Фишера* (года не означено). *Въ 8-ю д. л. XX, 61 и 6 стр.* [50]).

Вотъ трудъ и предпріятіе, которыхъ нельзя не одобрить, особенно если выполняются хорошо. Данте—это Гомеръ не одной Италіи, но и всей католической Европы среднихъ вѣковъ. Поэтому не должно удивляться ни тому, что Беатриче—героиня поэмы, есть не что иное, какъ аллегорическій образъ богословія, ни тому, что языческій поэтъ Виргилій сопровождаетъ въ христіанско-языческомъ аду христіанскаго поэта. Данте особенно не посчастливилось на Руси: его никто не переводилъ и о немъ всѣхъ меньше толковали у насъ, тогда-какъ это одинъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Г. Фанъ-Димъ заслуживаетъ величайшую благодарность за прекрасное и благое намѣреніе познакомить въ прозаическомъ переводѣ русскую публику съ совершенно-незнакомымъ ей поэтомъ. Мы находимъ достойнымъ похвалы и мысль переводчика—переводить Данте не стихами (для чего требовался бы огромный поэтическій талантъ), а прозою, гдѣ главное достоинство—буквальная близость и вѣрность, безъ насилія русскому языку и безъ ущерба плавности и правильности слога. При такомъ переводѣ, и подлинникъ texte en regard дѣло очень и очень-нелишнее. По выходѣ всего перевода, мы скажемъ больше о «Божественной Комедіи».

Не понимаемъ, къ чему и для чего приложено къ этому первому выпуску перевода (заключающему въ себѣ *пять* пѣсенъ поэмы) какое-то введеніе съ біографіею Данте, какого-то г. Струкова, гдѣ безъ толку толкуется о двойственности природы человѣка, влекущей его то къ небу, то къ землѣ, объ эпопеѣ, какъ *разсказанной драмѣ*, и тому подобныхъ чудесахъ, доказывающихъ въ сочинителѣ неумѣнье мыслить и незнаніе того, о чемъ хочется ему резонёрствовать...

Изданіе «Божественной Комедіи» отличается большимъ вкусомъ и во всѣхъ отношеніяхъ можетъ быть названо изящнымъ. Извѣстные очерки Флаксмана оттиснуты здѣсь хорошо.

*702. Сказка за Сказкой. *Томъ III. Санктпетербургъ. Въ тип. Штаба Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи. 1842. Въ 8-ю д. л. 355 стр.* [51]).

Третій томъ «Сказки за Сказкою» также, или и еще болѣе, наполненъ трудами г. Кукольника... Непостижимая дѣятельность!... Г. Кукольникъ одинъ пишетъ въ годъ больше, чѣмъ всѣ литераторы наши вмѣстѣ взятые. Такая плодовитость не могла бы не обращаться въ ущербъ достоинству произведеній даже великаго писателя: тѣмъ болѣе вредитъ она произведеніямъ

г. Кукольника. Три повѣсти его, помѣщенныя въ этомъ томѣ, носятъ на себѣ явные признаки скороспѣлости и поспѣшности, съ какою онѣ сдѣланы къ извѣстному сроку. Содержаніе двухъ изъ нихъ взято изъ эпохи Петра Великаго; обѣ онѣ читаются не безъ удовольствія, особенно «Монтеки и Капулетти или Чернышевскій Миръ», но вторая, «Часовой», мѣстами утомляетъ, потому что растянута въ разсказѣ и перехитрена въ основѣ. Содержаніе третьей повѣсти заимствовано изъ эпохи послѣднихъ лѣтъ царствованія Елисаветы и первыхъ лѣтъ царствованія Екатерины Великой. Эта повѣсть тоже читается легко и представляетъ много удачно схваченныхъ чертъ нравовъ и характера эпохи; но не выдержана въ цѣломъ, чему причиною духъ морализма, заставившій автора въ концѣ повѣсти исказить характеръ ея героя. «Солдатскій Портретъ» г. Основьяненко, которою начинается третій томъ «Сказки за Сказкою», уже не новость въ нашей литературѣ: по крайней мѣрѣ мы читали его и по малороссійски и въ переводѣ г. Даля, напечатанномъ въ «Современникѣ» 1837 года. Впрочемъ, эта повѣсть—рѣшительно лучшее произведеніе г. Основьяненко, и мы вновь прочли ее съ прежнимъ удовольствіемъ. «Нищій», повѣсть г. И. Х...скаго, помѣщена для балласта, какъ во второмъ томѣ повѣсть г. Фурмана. Она отличается одинаковыми съ этою послѣднею достоинствами, т. е., неестественностью, неправдоподобностью, искаженіемъ дѣйствительности, отсутствіемъ характеровъ, приторнымъ романизмомъ, сантиментальностью и пр. Сверхъ того, въ этомъ томѣ помѣщены «Два невымышленныхъ Разсказа» г. Корсакова.

*703. Мысли русскаго вслухъ на Новый Годъ. *Посвящается всѣмъ Русскимъ. Издано* Н. Расторгуевою. *Санкпетербургъ. 1843. Въ тип. Министерства Госуд. Имуществъ. Въ 8-ю д. л. 34 стр. Съ эпиграфомъ:*

Да процвѣтаетъ ихъ держава
Какъ вѣчно юный райскій цвѣтъ;
И Николая громка слава
Въ потомство позднее прейдетъ [52]).

Пушкинъ.

Чтобъ познакомить съ духомъ и содержаніемъ этой маленькой, но многоцѣнной книжки (ибо она стоитъ *пять рублей* асс., какъ значится на ея оберткѣ), выписываемъ изъ нея нѣсколько строкъ:

«Города-то въ Россіи: въ иныхъ царствахъ столицы, а у насъ лучше ихъ простой губернскій городъ, да и то еще не изъ самыхъ первыхъ, народовъ какихъ хочешь, кромѣ заѣзжихъ европейцевъ изъ всѣхъ земель и землицъ, до ста племенъ различныхъ и языкомъ(,) и лицомъ(,) и нравами(,) и одеждами; а православной-то Русской народъ куда какой хорошій сталъ теперь; уже и въ дальнихъ городахъ и городишкахъ что за люди: умъ на умѣ,

разумъ на разумѣ, честь на чести; а въ столицахъ, а въ самомъ Петербургѣ, любо дорого какъ хороши стали Русскіе; всякаго Парижанина и Англичанина за поясъ заткнутъ, да чего! — скоро всякіе иностранцы будутъ проситься переходить въ Русскихъ, не такъ какъ было лѣтъ за пятьдесятъ прежде: да нѣтъ, куда имъ! привычки-то заморскія, да и еще кой-чего у нихъ недостанетъ, чтобъ ыть Русскими» (стр. 3).

Къ этому можно прибавить только, что выставленные въ эпиграфѣ стихи нисколько не принадлежатъ Пушкину: судя по ихъ фактурѣ, они должны быть сочиненіемъ самой г-жи Расторгуевой.

***704. Драматическія Сочиненія и Переводы Н. А. Полеваго.** *Часть третья.* **Гамлетъ,—Уголино.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Н. Греча. 1843. Въ 16-ю д. л. 560 стр.* [53]).

Мы уже говорили о первыхъ двухъ частяхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго (см. «Отеч. Записки» 1842. Т. XXV, стр. 1 «Библ. Хрон.») [54]); но вышедшая теперь третья часть ихъ вновь приводитъ насъ въ раздумье о драматическомъ поприщѣ этого Шекспира Александрынскаго-Театра, и потому намъ слѣдовало бы опять поговорить о немъ; но не желая повторять уже однажды-сказаннаго нами, и умѣя отдавать должную справедливость основательнымъ и хорошо-изложеннымъ мнѣніямъ, кому бы ни принадлежали они,—мы выписываемъ здѣсь, изъ первой книжки «Москвитянина» 1843 года (стр. 295—298), сужденіе этого журнала о патріотическихъ драмахъ г. Полеваго, — въ полной увѣренности, что всѣ порядочные люди такъ же безусловно согласятся съ этимъ сужденіемъ, какъ мы съ нимъ согласились.

«Всѣ драмы г. Полеваго, имѣвшія успѣхъ, доказываютъ, что у насъ всякое произведеніе, вовсе чуждое художественнаго достоинства, но основанное на патріотическомъ чувствѣ, будетъ всегда имѣть успѣхъ въ нашей публикѣ. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещутъ не піесѣ, не автору, а своимъ собственнымъ чувствамъ, которыя въ нихъ затронуты, а затронуть ихъ въ русскомъ народѣ не много надобно искусства. Писатели съ огромнымъ талантомъ не посягаютъ на изображеніе такихъ высокихъ чувствъ, боясь уронить ихъ недостаткомъ силъ въ искусствѣ или вызвать незаслуженное ими рукоплесканіе; писатели безъ надежды на свой талантъ, не смотрятъ на то, и во что бы ни было хотятъ снискать одобреніе.

«Патріотическая драма, угождающая вкусу народа и любимымъ его чувствамъ, у насъ не переводилась. Вспомнимъ *Великодушіе, или Рекрутскій Наборъ* Ильина, *За Богомъ Молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ*, Иванова. Князь Шаховской умножилъ также этотъ репертуаръ, особенно воспоминаніями двѣнадцатаго года. Г. Полевой, помнившій дѣйствіе, какое эти драмы произвели на публику, возобновилъ этотъ родъ во всѣхъ его подробностяхъ, съ тѣми же достоинствами и недостатками. Лица его цѣликомъ берутся изъ прежнихъ драмъ, выкроенныя по той же мѣркѣ, и говорятъ тѣмъ же самымъ языкомъ.

«Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія о драмѣ г. Полеваго, что она успѣхомъ своимъ обязана чувствамъ патріотическимъ, а не своему литературному достоинству, можетъ служить одна изъ напечатанныхъ теперь піесъ—*Солдатское Сердце, или Биваки въ Саволаксѣ*. Въ ней выведено событіе изъ жизни г. Булгарина, какъ сознается самъ авторъ, хотѣвшій послѣ патріотическихъ драмъ прославить и добрый подвигъ своего искренняго друга. Драма упала, по признанію самого же автора. Какая была этому причина? На афишкѣ не было объявлено, что драма представляетъ подвигъ изъ военной жизни г. Булгарина; да если бы и было объявлено, то публика петербургская такъ любитъ г. Булгарина, какъ онъ самъ насъ не рѣдко въ томъ увѣряетъ, что подобное объявленіе конечно *не повредило* бы успѣху піесы. Враги же его вѣрно не такъ ужъ сильны, чтобы могли составить заговоръ противъ его драматической апоѳеозы, написанной, въ знакъ дружбы, г. Полевымъ. Нѣтъ, причина не въ томъ. Въ драмѣ выведено событіе изъ простой жизни частнаго человѣка, ужъ безъ всякихъ патріотическихъ чувствъ, безъ громкихъ или завлекательныхъ именъ Державина, Хемницера, Сумарокова... тутъ требовалось одно простое искусство, безъ всякой помощи постороннеи, и драма упала, потому-что искусства не было.

«Когда нѣтъ у автора въ запасѣ патріотическихъ чувствъ, чтобы привлечь нашу публику, то онъ прибѣгаетъ къ извѣстнымъ историческимъ именамъ нашей литературы, выводитъ безъ всякаго угрызенія совѣсти Державина, Хемницера, или уродуетъ Тредьяковскаго, Сумарокова, вызываетъ рукоплесканія себѣ громкими стихами нашего лирика, или баснями Хемницера, или заставляетъ смѣяться на счетъ дурныхъ стиховъ Тредьяковскаго, уродливо-прочтенныхъ актеромъ,—или пародируетъ сцену между Триссотиномъ и Вадіусомъ, замѣнивъ ихъ именами Сумарокова и Тредьяковскаго... Мотивы все не новые, давно употребленные княземъ Шаховскимъ и другими... Только жаль, что тутъ вмѣшиваются имена такія, которыми мы должны дорожить и которыя надобно выводить осторожно... Не пріятно же слышать, какъ Державинъ и Хемницеръ, наперевывъ другъ передъ другомъ, хвастаютъ своими стихами на глазахъ всей публики...

«Друзья г. Полеваго, говоря объ его драмахъ, всегда прибавляютъ: «если бы г. Полевой не писалъ для сцены, что́ было бы съ русскимъ театромъ?» Весьма достойно замѣчанія, какъ г. Полевой, владѣющій умомъ смѣтливымъ и оборотливымъ, являлся всегда тамъ, гдѣ совершалось паденіе какого-нибудь рода словесности... Упали журналы въ Москвѣ и Петербургѣ и состарѣвшись лѣниво мѣняли свои страницы... Г. Полевой явился кстати съ своимъ Телеграфомъ... Умеръ Карамзинъ, не завѣщавъ никому историческаго пера своего... Г. Полевой тутъ какъ тутъ съ Исторіею Русскаго Народа .. Упала русская драма на нашей сценѣ. Дѣятельный и остроумный князь Шаховской сходитъ съ нея съ безконечнымъ роемъ своихъ произведеній. Г. Кукольникъ дѣлаетъ трагическія усилія, чтобы поддержать нашу Мельпомену, но и тотъ покидаетъ роль драматика. Сцена почти пуста и живетъ только передѣлками съ французскаго... Г. Полевой и тутъ посѣваетъ, и строитъ какую-нибудь драму изъ обломковъ патріотической драмы Ильина и Ѳедорова, изъ прежнихъ мотивовъ князя Шаховскаго, изъ ужасовъ неистовой мелодрамы французской, воспроизведенной имъ въ Уголино, изъ прежнихъ дѣтскихъ своихъ воспоминаній о драмѣ Коцебу, съ примѣсью нѣкоторыхъ новыхъ изъ Дюма, Гюго, Шиллера, Шекспира, а иногда изъ оперъ, какъ напримѣръ: Фрейшица, и проч. Вотъ происхожденіе драмы г. Поле-

ваго... Это постный ужинъ, который хозяинъ дома, за неимѣніемъ свѣжей провизіи, на скорую руку составляетъ изъ оставшихся объѣдковъ отъ своей обѣденной трапезы и предлагаетъ неожиданно наѣхавшимъ гостямъ... Они и тому рады, по извѣстной пословицѣ русскаго хлѣбосольства о безрыбьѣ...»

Ничего не можетъ быть справедливѣе и безпристрастнѣе этого сужденія, такъ замысловато и остро высказаннаго! Есть истины до того очевидныя и неопровержимыя, что въ нихъ не могутъ не соглашаться люди самыхъ противоположныхъ характеровъ, самыхъ несходныхъ убѣжденій и направленій, словомъ, люди, которымъ какъ будто назначено ни въ чемъ не соглашаться другъ съ другомъ. Такова, напримѣръ, истина сужденія «Москвитянина» о патріотическихъ и всякихъ другихъ «представленіяхъ» г. Полеваго: мы, ни въ чемъ не согласные съ «Москвитяниномъ», признаемъ его мнѣніе о драмахъ г. Полеваго неоспоримо-истиннымъ,—и думаемъ, что если самъ г. Булгаринъ, сей искренній другъ г. Полеваго, не согласится теперь съ этимъ мнѣніемъ, то развѣ по какимъ-нибудь непредвидѣннымъ обстоятельствамъ настоящей минуты... Что же касается до мнѣнія «Москвитянина» объ изворотливой и сметливой литературной дѣятельности г. Полеваго, всегда поспѣшающей строить и созидать на развалинахъ падшихъ зданій, изъ мусорныхъ матеріаловъ самыхъ этихъ развалинъ,—то это мнѣніе, съ которымъ мы безусловно согласны, еще прежде «Москвитянина» высказано самимъ г-мъ Булгаринымъ, съ которымъ мы тогда же въ этомъ согласились. А было это, помнится, еще въ 1839 году; и «Отеч. Записки» въ свое время сообщили публикѣ этотъ любопытный фактъ безпристрастія г. Булгарина въ дѣлѣ литературнаго сужденія о другѣ; но какъ повтореніе основательныхъ мнѣній, чьи бы они ни были, служитъ къ ихъ распространенію и утвержденію, то мы вновь сообщимъ читателямъ интересное мнѣніе г. Булгарина, — тѣмъ болѣе, что это нужно намъ, въ настоящемъ случаѣ, для доказательства единодушнаго согласія всѣхъ и каждаго въ дѣлѣ слишкомъ-очевидныхъ истинъ:

«Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говоритъ, полосами. О чемъ рѣчь въ публикѣ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ, Н. А. издавалъ журналъ; была мода на шеллингову философію и политическую экономію—онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы, онъ сталъ писать романы. Альманахи ввели въ моду оригинальныя повѣсти—Н. А. сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи,—вотъ есть и исторія; наконецъ, вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбираетъ время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевой человѣкъ умный и *удивительно смышленый*. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурнаго, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ ни напишетъ, во всемъ пробивается то талантъ, то смѣтливость, то ловкое подражаніе, *и все приноровлено къ понятіямъ большинства*. Невозможно быть безпристрастнѣе насъ къ Н. А. Полевому, и, *не взирая на прошедшее*, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту,

уму, трудолюбію, *а больше всего его смѣтливости, въ которой онъ не имѣетъ равнаго въ нашей литературѣ*».

Совершенная правда! Такъ какъ пришлось къ слову, замѣтимъ тутъ же, что этою дѣйствительно удивленія достойною смѣтливостью обладаетъ, между русскими литераторами, не одинъ г. Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и къ г. Булгарину, тоже обладающему замѣчательнымъ талантомъ въ этомъ родѣ. Вся разница въ характерѣ таланта: г. Полевой больше устремляется, какъ справедливо замѣчаетъ «Москвитянинъ», туда, гдѣ совершилось паденіе какого-нибудь рода словесности; г. Булгаринъ, напротивъ, является неожиданно большею частью послѣ какого-нибудь успѣха посредствомъ литературнаго оборота. Въ то время, какъ мода на альманахи заставляла г. Полеваго писать повѣсти,—ихъ писалъ и г. Булгаринъ; успѣхъ альманаховъ заставилъ г. Булгарина издать «Талію»; удачная подписка на неконченную доселѣ «Исторію Русскаго Народа» имѣла своимъ слѣдствіемъ неудачную и, тоже неконченную, «Россію» г. Булгарина; успѣхъ «Посредника» родилъ «Эконома»; успѣхъ «Нашихъ» произвелъ «Картинки Русскихъ Нравовъ»; политипажная исторія Суворова, г. Полеваго породила «Романтическія Сцены изъ Жизни Суворова» съ политипажами же, которые, говоритъ г. Булгаринъ, скоро явятся въ свѣтъ; успѣхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго на Александрынскомъ-Театрѣ породилъ неуспѣшную, впрочемъ, «Шкуну Пюкарлеби». Подражая всему успѣшному, г. Булгаринъ иногда огорчается, если видитъ, что задуманное имъ «успѣшное»—упреждается чужимъ «успѣшнымъ», особенно «успѣшнѣйшимъ». Такъ, напримѣръ, «Юрій Милославскій» упредилъ выходомъ «Димитрія Самозванца»—и за то навлекъ на себя довольно-грозную критику въ «Сѣверной Пчелѣ». Равнымъ образомъ, г. Булгаринъ не любитъ совмѣстничества: просимъ читателей вспомнить извѣстную исторію о капустныхъ кочерыжкахъ...

Возвратимся къ «представленіямъ» г. Полеваго, въ изданномъ нынѣ третьемъ ихъ томѣ.

Этотъ третій томъ содержитъ въ себѣ «Гамлета» — *драматическое представленіе Вилліама Шекспира*, и «Уголино» — *драматическое представленіе Николая Полеваго*. Хотя «Гамлетъ» только переводъ г. Полеваго, но и его можно счесть за сочиненіе, ибо сущность всякаго произведенія составляетъ его духъ, а въ переведенномъ г. Полевымъ «Гамлетѣ» Шекспира — нѣтъ нисколько шекспировскаго духа: переводчикъ замѣнилъ его собственнымъ своимъ. Поэтому, «Гамлетъ» такъ же точно есть сочиненіе г. Полеваго, какъ и «Уголино»: въ обоихъ одинъ духъ, одна манера, — и если Шекспиръ болѣе или менѣе виноватъ въ «Гамлетѣ» г. Полеваго, то онъ же болѣе или менѣе виноватъ и въ «Уголино»: ибо въ какомъ отношеніи находится «Гамлетъ» г. Полеваго къ «Гамлету» Шекспира, въ такомъ же точно отношеніи находится «Уголино» г. Полеваго къ «Ромео и Юліи» Шекспира... Многіе считаютъ это отношеніе весьма похожимъ на отношеніе

пародіи къ оригиналу... Мы сказали, что сущность всякаго произведенія заключается въ его духѣ, и потому должны характеризовать духъ «Гамлета» и «Уголино». Съ этой точки зрѣнія, оба эти произведенія чрезвычайно-интересны, потому-что оба они—родовыя, типическія явленія въ области русской литературы.

Иныя слова, по особеннымъ обстоятельствамъ, получаютъ въ-послѣдствіи совсѣмъ-другое значеніе, нежели какое имѣли въ началѣ и какое назначила имъ выражать этимологія языка. Такъ, на-примѣръ, русское слово «чувствительный» сперва означало человѣка съ чувствомъ, съ душою; слѣдовательно, оно имѣло похвальное значеніе.. Но сантиментальность, овладѣвшая нашею литературою и нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія, дала слову «чувствительный» ироническое значеніе, такъ что теперь говорятъ «человѣкъ съ чувствомъ» и уже не говорятъ «чувствительный человѣкъ», ибо послѣднее означаетъ слезливаго воздыхателя, аркадскаго пастушка въ соломенной шляпѣ, съ розовыми лентами на груди. — лицо, нѣкогда извѣстное въ русской литературѣ подъ именемъ *Эраста Чертополохова*. Такимъ же точно образомъ у нѣмцевъ выраженіе «прекрасная душа» (schöne Seele) и произошедшее отъ него неловкое въ русскомъ переводѣ слово «прекраснодушіе» (Schöneseelichkeit), получили, въ послѣднее время, совершенно противоположное значеніе. Слово «прекрасная душа» у нѣмцевъ выражаетъ собою понятіе о тѣхъ слабыхъ и поверхностныхъ, характерахъ, которые исполнены энтузіазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могутъ понять хорошенько, въ чемъ состоитъ и что такое это «высокое» и «прекрасное», отъ котораго они всегда въ такомъ восторгѣ. Сердце у этихъ людей дѣйствительно доброе, ума въ нихъ также отрицать нельзя; но они лишены всякаго такта дѣйствительности. Они узнаютъ *высокое* и *прекрасное* только въ книгѣ, и то не всегда; въ жизни же и въ дѣйствительности, они никогда не узнаютъ ни того, ни другого, и отъ этого скоро во всемъ *разочаровываются* (любимое ихъ словцо!), холодѣютъ душою, старѣются во цвѣтѣ лѣтъ, останавливаются на полудорогѣ, и оканчиваютъ тѣмъ, что или (и это по большей части) примиряются съ дѣйствительностью, какова бы она ни была, т. е. съ облаковъ прямо падаютъ въ грязь; или дѣлаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно, они смѣшны и жалки въ томъ и другомъ случаѣ; но въ первомъ, они бываютъ иногда ужъ и не жалки, а скорѣе страшны своимъ примиреніемъ съ дѣйствительностью... Не разочаровываться имъ невозможно: ибо у нихъ идеалъ не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительностью и не способенъ къ осуществленію на дѣлѣ. Если этотъ идеалъ—дѣва, то непремѣнно неземная, которая не ѣстъ, не пьетъ и не хвораетъ, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгомъ, вдохновеніемъ и проч. И потому, въ *дѣвахъ* — они наиболѣе разочаровываются: неспособные понять и оцѣнить ничего, что̀ просто̀, безъ претензій и безъ эффектовъ, прекрасно, они всего чаще привязываются къ ничтожнымъ созданіямъ,—

и умножаютъ число несчастныхъ браковъ по страсти. Если этотъ идеалъ—другъ, то горе тому: самолюбіе — болѣзнь «прекрасныхъ душъ», потребуетъ отъ него, чтобъ онъ отказался отъ себя и безпрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдалъ бы его страданіями, радовался его радостями, а о себѣ не думалъ бы вовсе: въ противномъ случаѣ, онъ—эгоистъ, холодная душа, *разочаровательь*. Идеалъ блаженства любви «прекрасныхъ душъ»—пустыня вдали отъ людей, природа, прогулки при лунѣ, вздохи, поцалуи и—больше всего—совершенное бездѣйствіе. Они вѣчно стремятся *туда*, а *здѣсь* недовольны всѣмъ: люди ихъ не понимаютъ, жизнь для нихъ пошла, ибо въ ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и трудъ. Труда они не любятъ въ особенности: въ немъ такъ много *прозы*, а они хотятъ дышать одною поэзіею.

Но чтобы сдѣлать вѣрный очеркъ того, что нѣмцы называютъ «прекрасною душою», нужна цѣлая статья. Итакъ, удовольствуемся однимъ намекомъ: догадливые поймутъ насъ. У насъ были попытки ввести въ употребленіе слово «прекраснодушіе», которыя остались тщетными и, по справедливости, у нѣмцевъ это слово получило такое значеніе черезъ развитіе самой общественности, такъ же, какъ у насъ слово «чувствительный» [55]). Мы думаемъ, что слова «романтикъ» и «мечтатель» довольно близко подходятъ подъ значеніе нѣмецкаго выраженія «прекрасная душа» (schöne Seele). Кто хочетъ познакомиться съ характерами и натурами *романтиковъ* и *мечтателей*,—тѣмъ рекомендуемъ изъ романовъ г. Полеваго «Аббаддонну», а изъ повѣстей въ особенности—«Живописца», «Блаженство безумія» и «Эмму»: это тонкіе, злые картины и очерки ромнтиковъ и мечталелей. Но всѣхъ ихъ выше—«Гамлетъ» и «Уголино»: это просто сатирическая апоѳеоза романтическихъ душъ и мечтательныхъ характеровъ. Мы не будемъ распространяться въ доказательствахъ:перечтите въ «Уголино» сцены любви между Нино и Вероникою,—и вы сами увидите, что *улика на лицо*. Одна уже мысль — жить въ пустынѣ аркадскими пастушка́ми, занимаясь одною любовію—въ высшей степени «романтическая» и «мечтательная»...

(Уединенное мѣсто въ Аппенинскихъ горахъ; кое-гдѣ хижины пастуховъ; направо красивый домикъ; налѣво дерновая скамья. Нино и Вероника *въ крестьянскомъ одѣяніи*).

Вероника. Я принесла тебѣ завтракъ, милый Нино! Извини: не мастерская работа, но я сама пекла этотъ хлѣбъ, мой милый другъ!

Нино. А я кончилъ свою работу и жду твоего поцалуя. Посмотри—вѣдь и это не мастерская работа, но я самъ плелъ эту корзинку!

Вероника. Какая миленькая! А! ты заслужилъ поцалуй! (*Цалуетъ его*)

Нино. И только?

Вероника. *Какой прихотникъ!*

Нино. *Я не требую, а умоляю!*

Вероника. Такъ развѣ такъ умоляютъ? Вы, синьоръ, слишкомъ горды для роли нѣжнаго любовника! Но я васъ прощаю.—*Вотъ вамъ награда*... довольно, довольно!

Нино. Вероника! счастлива ли ты?

Вероника. Ахъ, Нино, тебѣ ли спрашивать!

Нино. Знаю, и все еще сто разъ въ день хотѣлось бы мнѣ спросить у тебя—слышать отъ тебя безпрестанно!

Вероника. На что слова, милый другъ?

Нино. Неужели ни разу не пришла тебѣ мысль о прошедшемъ, ни разу не взволновалась грудь твоя вздохами сожалѣнія?

Вероника. О чемъ же, милый Нино?

Нино. О томъ, что было, о томъ, что ты для меня оставила, бросила, презрѣла...

Вероника. Я не знаю что такое прошедшее. Да развѣ я оставила что-нибудь? Мнѣ кажется, что я родилась только тогда, когда мы переселились сюда съ тобою. Было что-то прежде... я не помню...

Помню я одно—тотъ вечеръ, дивный вечеръ,
Когда послѣдній солнца лучъ цвѣтныя стѣны храма
Раззолотилъ, и по стѣнамъ сверкая, догорая,
На сводахъ и столпахъ, какъ радугой блисталъ.

Тамъ, близь алтаря былъ юноша прекрасный,
Мой Нино былъ тамъ—онъ молился,
Онъ ангеломъ прекраснымъ мнѣ казался,
Онъ не видалъ меня, но мнѣ съ тѣхъ поръ,
Какъ призракъ милый счастья онъ остался—
Его мечтала голосъ слышать я,
Его искала, и — нашла его — онъ *мой!*
Онъ не дикимъ мнѣ воителемъ,
Не въ турнирахъ побѣдителемъ—
Онъ мнѣ странникомъ представъ смиреннымъ,
И — его узнала я!
Онъ такъ смѣло сталъ передъ людской толпою,
Онъ сказалъ ей, изумленной, будто божьимъ громомъ:
Она — *моя!*

Вотъ все, что было для меня... Ахъ, да ужъ сколько разъ пересказывала я тебѣ объ этомъ!..

Нино *(обнимая ее). Мечтательница!*

Вотъ, видите—и добрались до перваго и послѣдняго слова, до альфы и омеги этой апоѳеозы пряничной любви «мечтателей»! Да этотъ Нино съ своею Вероникою, просто — Маниловъ съ своею супругою: онъ держитъ въ рукѣ конфетку и говоритъ своей супругѣ: «разинь, душенька, ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ»...

Право, объ «Уголино» больше нѣчего и говорить, особенно говорить серьёзно...

Что̀ касается до «Гамлета», то достоинство его, какъ перевода, вполнѣ оцѣнено великимъ знатокомъ Шекспира, покойнымъ профессоромъ Харьковскаго Университета, И. Я. Кронебергомъ, и въ другой статьѣ, сыномъ его, А. И. Кронебергомъ. Но нѣтъ худа безъ добра: изъ перевода вышло сочиненіе г. Полеваго, и это послужило къ успѣху пьесы на нашей сценѣ, гдѣ Шекспиръ такъ, какъ онъ есть (не обсахаренный и не разсыропленный), еще не-

доступенъ. Но за то, нѣкоторые потому только и прочли превосходный переводъ «Гамлета» г. Вронченко и поняли его, что видѣли на сценѣ «Гамлета» г. Полеваго... И то заслуга! [56])

***705. Переводчикъ, или сто одна повѣсть и сорокъ сороковъ анекдотовъ,** *древнихъ, новыхъ и современныхъ; мыслей, правилъ, сужденій, мнѣній, и проч., подвиговъ храбрости, добродѣтели, ума, глупости, простодушія, и проч., острыхъ словъ, выраженій, эпиграммъ, каламбуровъ, и проч. Характеристическихъ очерковъ, портретовъ, и проч. и проч. Санктпетербургъ. Въ тип. И. П. Бочарова. 1843. Четыре тома. Въ 12-ю д. л. Въ I-мъ томѣ 251, во II-мъ—251, въ III-мъ—250, въ IV-мъ—214 ст. повѣстей; анекдотовъ, и проч., во всѣхъ четырехъ томахъ 966 стр.* [57])

Нельзя не одобрить мысли этого предпріятія, по словамъ издателей — *оконченнаго и притомъ безконечнаго.* Повѣсть, въ наше время, есть зеркало общественной жизни, органъ сознанія общества и умственная его пища; повѣсть теперь — сама литература, исторія, нравственность, философія, добро и зло, полнота и пустота, жизнь и апатія, величіе и ничтожность общества и времени. Повѣсть завладѣла вниманіемъ всѣхъ и каждаго, сдѣлалась необходимымъ условіемъ не только литературныхъ журналовъ, но и газетъ политическихъ. Если у васъ есть задушевная мысль, которая кажется другимъ слишкомъ-серьёзною, или малоинтересною, и ее не хотятъ отъ васъ выслушать—изложите ее въ формѣ повѣсти, или разсказа—и васъ непремѣнно прочтутъ и даже поймутъ. Книга, состоящая изъ однѣхъ повѣстей, не можетъ не имѣть успѣха, если повѣсти хоть сколько-нибудь не лишены литературнаго достоинства. Вотъ почему и у насъ начали появляться разные сборники, преимущественно наполняемые повѣстями и разсказами. Но наша литература еще не въ состояніи удовлетворять этой потребности: у насъ мало писателей съ дарованіемъ, еще меньше писателей трудолюбивыхъ, много-пишущихъ,—можетъ-быть, и потому-что наша общественность не даетъ достаточно матеріаловъ для сочиненій такого рода. За то, для сборниковъ переводныхъ повѣстей сколько матеріаловъ, какое неистощимое богатство! Только издавайте—а читать и покупать будутъ. Анекдоты и разныя мелочи, какъ смѣсь при журналахъ, представляя собою богатый матеріалъ для лѣниваго перелистыванія, много придадутъ цѣны вашему сборнику въ глазахъ любителей легкаго чтенія.

И такъ, мысль «Переводчика» прекрасна; но къ сожалѣнію, въ дѣлахъ человѣческихъ, и особенно въ дѣлахъ русской литературы, выполненіе очень рѣдко соотвѣтствуетъ мысли, а мысль —выполненію. Это случилось и съ «Переводчикомъ»: сколько хорошъ этотъ сборникъ по мысли, столько дуренъ онъ по выполненію. Повѣсти, составляющія его содержаніе, ничтожны и по объему и по содержанію; это какіе-то разсказцы, плохо переведенные. Что же касается до анекдотовъ,—это тысяча первое повтореніе старыхъ, съ издѣтства каждому

извѣстныхъ вздоровъ, съ прибавленіемъ новыхъ пустяковъ. А переводъ?—Боже мой, что́ это такое!.. Издатели объявили даже имена переводчиковъ; слогъ и языкъ перевода отъ этого нисколько не сдѣлались лучше. Опечатокъ пѣтъ числа. Чтобъ дать понятіе о переводѣ, укажемъ на нѣкоторыя мѣста «Переводчика»: пусть сами читатели судятъ о справедливости нашего строгаго приговора. «Александръ Дюма» стоявшій однажды въ караулѣ, вошелъ въ *кофейную* (въ кафе?) позавтракать съ пріятелемъ. Просивъ *побольше обыкновенно* обѣдъ и пр. *(Т. III, стр. 92 анекд.)* «Герцогъ Дюрасскій, увидѣвъ однажды *наружнаго Декорта*, сказалъ ему» и пр. *(Т. III, стр. 107, анекд.)*: что́ это за «наружный Декортъ?»—Богъ вѣсть! «И *сіи* два мѣста удержать подъ именемъ г-жи Ришмонъ! прибавилъ третій» *(Т. IV, стр. 50)*: «Получивъ снова свободу, она показалась ему гораздо пріятнѣе» *(Т. IV, стр. 59)*: каковъ галлицизмъ?.. «Она избрала *всѣхъ своимъ другомъ*, покровителемъ, руководителемъ» *(Т. IV, стр. 62)*: это что такое? «При *таковой* наружности» *(Т. IV, стр. 69)*: почему же при *таковой*, а не при *такой*: развѣ для большей легкости разговорнаго слога?.. «Между-тѣмъ, *что* Леонъ говорилъ такимъ образомъ съ удерживаемымъ волненіемъ и съ досадою, худо скрытою, Каролина слушала его, наклонившись впередъ, съ сложенными руками, полу-открытыми устами» *(Т. IV, стр. 73—76)*: каковъ періодъ. и почему въ немъ, вмѣсто *какъ*, употреблено *что*: вѣрно, для большей темноты слога?... «Г. Кипріянъ Боппаръ, описавъ большую паро(а)болическую линію, попалъ въ грязный ровъ, *въ которомъ и остался погруженнымъ*» *(Т. IV, стр. 89)*: почему было не сказать: *въ которомъ и увязъ?* «Г-жа Крафини съ сожалѣніемъ вспоминала, что *матушка(?)* ее(я), *наскученная* большимъ количествомъ *мѣдныхъ* досокъ, выгравированныхъ знаменитымъ Кано, приказала однажды своему *жестянщику* перелить ихъ въ кострюли» *(Т. II, стр. 138)*: образецъ и перевода и анекдотическаго остроумія «Переводчика!»... «Боясь, что монархъ, *наскученный*, (*запятая!*) комплиментами и похвалою» и пр. *(Т. IV, стр. 44)*: какъ хорошо это слово «наскученный!»... Во II-мъ томѣ *(стр. 54 анекд.)* Александръ Дюма названъ авторомъ «Стелло», написаннаго Альфредомъ де-Виньи. «Одинъ господинъ, котораго жена была не самой строгой нравственности, разъ сжегъ себѣ, случайно, превзрядный клокъ волосъ. Вскорѣ послѣ того вошелъ къ нему въ комнату пріятель, и сказалъ, въ *простотѣ* (простотѣ?) души: здѣсь какъ будто пахнетъ зажженымъ *рогомъ*» *(Т. I, стр. 7, анекд.)*: очень-остро! Но лучше всѣхъ, по остроумію, анекдотъ собственнаго издѣлія сотрудниковъ «Переводчика»: «На одномъ изъ пароходовъ, возвращавшихся съ петергофскаго праздника, застѣнчивый молодой человѣкъ, желая вступить въ разговоръ съ миловидною дѣвицею, сидѣвшей подлѣ него, воспользовался тѣмъ случаемъ, что по плащу ея пробиралась какая-то букашка, и сказалъ ей: *Милостивая Государыня!* Предупреждаю васъ, что къ вамъ подбирается гадина. — Ахъ, Боже мой! вскричала она(,)

оборачиваясь, какъ бы въ испугѣ: я и не знала, что вы здѣсь!» (*I. I, стр. 26—27*). Этотъ анекдотъ уже былъ напечатанъ въ какомъ-то плохомъ изданіи.

Наружность «Переводчика» не щегольская. Зато, скажутъ, дешево! Конечно, отвѣтимъ мы: дешевыя изданія заслуживаютъ благодарность со стороны публики, это правда; но тогда только, когда они дѣльны. Промышленность книжная — весьма важное дѣло для успѣховъ самой литературы, но тогда только, когда она образованна — иначе она вредъ, ибо подрываетъ довѣріе публики и превращаетъ литературу въ толкучій рынокъ. Вотъ почему «Отеч. Записки» никогда не будутъ поддерживать, кредитомъ своего мнѣнія, подобныхъ предпріятій, предоставляя это благонамѣренности, безпристрастію и безкорыстію тѣхъ газетъ, которыя давно уже извѣстны этими достоинствами.— Мы очень были бы рады, еслибъ слѣдующіе выпуски «Переводчика» заставили насъ перемѣнить наше о немъ мнѣніе.

706. Аристократка, *быль недавнихъ временъ, разсказанная* Л. Брантомъ. *Санктпетербургъ. Въ тип. Бородина и К°. 1843. Въ 8-ю д. л. 155 стр.* [58]).

Всѣ жалуются на безпрерывное размноженіе плохихъ «сочиненій» въ русской литературѣ, и эти жалобы всегда наводятъ на размышленіе о причинахъ такого горестнаго размноженія. Нѣкоторыя изъ этихъ причинъ кроются очень-глубоко, и говорить о нихъ въ короткой журнальной рецензіи невозможно; другія, ближайшія, очевидны. Ихъ-то мы и хотѣли бы показать читателямъ. Побужденій, которыя заставляютъ у насъ сочинительствовать людей безъ призванія, безъ образованности, безъ всего, что̀ нужно для занятія литературою,— такихъ побужденій два: «деньги» и собственно такъ называемое, внушаемое самолюбіемъ, желаніе печататься, слыть «сочинителемъ». По первому побужденію дѣйствуютъ люди, съ болѣе или менѣе замѣчательнымъ практическимъ разсудкомъ и направленіемъ, чисто-промышленнымъ. Человѣкъ, перебывавшій, можетъ быть, на всѣхъ поприщахъ дѣятельности, долго и внимательно присматривавшійся ко всѣмъ доступнымъ ему родамъ занятій, съ одною ни-на-мигъ не покидавшею его мыслью, гдѣ бы вѣрнѣе и легче зашибить копейку, почему-либо разочтетъ, что быть сочинителемъ выгоднѣе, чѣмъ переписывать отношенія, торговать пряными кореньями, обучать юношество грамматикѣ и «россійской словесности», или рисовать вывѣски для мелочныхъ лавокъ,— и вотъ онъ сочинитель. Безстрашно бросается онъ на тотъ родъ литературныхъ произведеній, который преимущественно читается (а иногда и на всѣ роды вдругъ), и небу жарко отъ трескотни его крѣпкаго пера, и полки книжныхъ лавокъ ломятся подъ тяжестію быстро производимыхъ имъ огромныхъ томовъ книжнаго товара. Если, не смотря на остервенѣніе, съ которымъ онъ напалъ на литературу, первыя попытки окажутся неудачными, то-есть, не доставятъ ему существенной выгоды — денегъ, онъ смиренно идетъ на иное поприще, уступая мѣсто другому. Но если удача, которой такъ не трудно, при нѣко-

торыхъ условіяхъ, достигнуть въ нашей литературѣ, увѣнчаетъ труды его, онъ на вѣкъ остается сочинителемъ, и никакія преслѣдованія критики не выживутъ его изъ литературы. Брань журналовъ, если она не наноситъ существеннаго вреда сбыту его сочиненій, онъ переноситъ въ молчаніи, съ стоическимъ хладнокровіемъ. Она даже не сердитъ его внутренно: онъ человѣкъ добрый и нерѣдко сознающійся въ своей слабости. Подъ веселый часъ, онъ пожалуй и самъ вмѣстѣ съ вами будетъ смѣяться надъ своими сочиненіями и надъ публикой, которая ихъ покупаетъ. Печатныя отреченія отъ своихъ мнѣній, вторичныя обращенія къ нимъ, и потомъ новыя отреченія—для него ни почемъ. Только при сильныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ критики, которая въ томъ кругу, гдѣ она употребляется, извѣстна подъ именемъ «битья по карманамъ», сердце его судорожно сжимается, и голосъ издаетъ звуки, подобные тѣмъ, какіе въ старину можно было слышать въ глухую полночь на большой муромской дорогѣ... Такого рода сочинителей очень-много; они, какъ извѣстно, раздѣляются на разные классы: много такихъ, которые тысячами считаютъ свои доходы и давно уже въ печати усвоили себѣ названіе «заслуженныхъ литераторовъ» и титулъ «почтеннѣйшихъ»; но еще больше такихъ, которые таятся Богъ знаетъ въ какомъ литературномъ захолустьѣ и приводятся въ движеніе не совсѣмъ-то щедрымъ великодушіемъ книгопродавцевъ толкучаго рынка. Къ тому же разряду принадлежатъ господа, посвящающіе свои книги «благодѣтелямъ», «сіятельствамъ», «превосходительствамъ», въ знакъ душевнаго уваженія, отмѣнной пресмыкаемости, глубочайшей преданности и другихъ похвальныхъ чувствъ.

Совершенно противное явленіе представляетъ принадлежащій ко второму разряду сочинитель,—сочинитель по страсти къ сочинительству. Это существо въ высшей степени странное, мелкое по природѣ, великое для самого-себя, жалкое для другихъ, самолюбивое, раздражительное, лишенное малѣйшей способности сознавать свои недостатки, грубо и неисправимо ослѣпленное самимъ собою. Однажды-на-всегда во глубинѣ души своей, рѣшивъ утвердительно вопросъ о своей геніальности, маленькій великій-человѣчекъ спитъ и видитъ себя сочинителемъ. И, Боже мой! чего бы онъ не далъ, на что бы не рѣшился, только бы видѣть поскорѣе осуществленіе безумныхъ грезъ своихъ! Каждая строка, каждая буква, которую онъ написалъ, кажется ему чѣмъ-то важнымъ; какъ ребенокъ съ игрушкою, какъ помѣшанный съ пунктомъ своего помѣшательства, носится онъ съ жалкимъ своимъ сочиненьицемъ: не надышитъ на него, не нарадуется; не доѣстъ, не доспитъ, только бы покрасивѣе его напечатать; обобьетъ пороги въ типографію, гдѣ оно печатается, безпрестанно справляясь «скоро ли», любуясь на корректурные листы и «задавая тону» передъ типографскими рабочими. А какъ шибко бьется самолюбивое сердчишко его при выходѣ книги въ свѣтъ! Съ какимъ трепетомъ, съ какими надеждами носитъ онъ ее по книжнымъ лавкамъ, по знакомымъ, по журналистамъ! Вездѣ подслушиваетъ, всюду замѣчаетъ что о немъ говорятъ, впутывается самъ въ

разговоръ, и за долго еще до наступленія перваго числа мѣсяца бѣжитъ въ типографію провѣдать, что̀ скажутъ о немъ «Отечественныя Записки». И вотъ явилась книжка «Отеч. Записокъ». Если, въ пылу добраго намѣренія, журналъ посвятитъ дрянной книжонкѣ его серьёзный разборъ, гдѣ ясно докажетъ сочинителю, что писать не его дѣло, и будетъ заклинать его, именемъ здраваго смысла, удержаться отъ пагубной страсти,—въ какой ужасъ, въ какое ярое, необузданное негодованіе приходитъ тогда маленькій-великій человѣкъ! Кроткія увѣщанія, внушенныя состраданіемъ, превращаются, въ глазахъ его, въ порожденіе зависти, въ лицемѣрное посягательство на его геній, на вѣнокъ его будущей славы! Уязвленный въ самое сердце, но болѣе, чѣмъ когда нибудь убѣжденный въ своемъ достоинствѣ, онъ принимается издавать брошюры противъ своихъ доброжелателей: безсильнымъ жалобамъ его на несправедливость, пристрастіе личности журналовъ—нѣтъ конца и умолку; онъ даже готовъ принести оффиціальную жалобу на своихъ благонамѣренныхъ судей... Что̀ жь далѣе? Далѣе, о немъ никто уже не говоритъ, его оставило даже небольшое число слушателей, привлеченныхъ къ нему первоначально дикостью его воплей и новостью нелѣпыхъ претензій; имени его уже никто не произноситъ, даже въ насмѣшку, но долго, долго еще, гдѣ-нибудь въ темномъ захолустьѣ литературы, раздается писклявый голосокъ его колоссально-мелкаго самолюбія. Наконецъ, не дождавшись похвалъ журналистовъ и публики, онъ принимается хвалить самъ себя, выставляя на видъ свои небывалыя заслуги; онъ не щадитъ никакихъ усилій, не пренебрегаетъ никакими средствами для пріобрѣтенія извѣстности, и готовъ даже, пользуясь открытымъ въ себѣ, при помощи услужливыхъ пріятелей и собственной проницательности, сходствомъ съ какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ, выдать себя за пра-пра-правнука Шекспира, внука Вальтера Скотта, только бы побольше «предъявить» міру правъ на громкое имя. И все нѣтъ удачи! Но вотъ тщетность усилій, кажется, наконецъ охладила его рвеніе: имя его рѣже и рѣже появляется въ печати, и наконецъ исчезаетъ. Публика не сожалѣетъ; журналисты торжествуютъ, отъ души радуясь своему доброму дѣлу. Увы, торжество преждевременное!.. Вотъ опять является брошюра съ именемъ, которое уже знакомо журналамъ. Это онъ! да, точно онъ, только уже въ другомъ видѣ: онъ значительно присмирѣлъ; посмотрите: онъ хвалитъ уже тѣхъ, которые его порицаютъ, противъ которыхъ самъ же онъ, въ пылу перваго гнѣва, разослалъ столько бранныхъ брошюръ. Что̀ это значитъ?.. Бѣдный мученикъ пагубной страсти къ сочинительству! до чего дошель ты? Чтобъ добиться вожделѣнныхъ похвалъ, ты льстишь, ты поешь комплименты тѣмъ, которыхъ прежде ругалъ и которыхъ въ душѣ считаешь врагами!.. Но журналисты, равнодушные нѣкогда къ брани маленькаго-великаго человѣка, еще равнодушнѣе къ похваламъ его: они снова говорятъ ему на-прямикъ горькую, убійственную истину... И что̀ жь бы вы думали?.. Неудача послѣдней попытки образумитъ его, возвратитъ на путь истинный, остановитъ отъ сочинительства?.. Увы, нѣтъ!.. И тогда, когда ни

ожесточенные вопли ребяческаго самолюбія, ни безсильная брань, ни умышленная лесть, ни безденежное разсыланіе публикѣ брошюръ о своей геніальности, ни даже похвалы въ какой-нибудь газетѣ, доступной состраданію при нѣкоторыхъ условіяхъ, не помогутъ маленькому человѣку вырваться изъ безвѣстности, назначенной ему судьбою, — осмѣянный, изгнанный съ литературной арены на самую послѣднюю ступень ея, онъ все еще не можетъ преодолѣть злѣйшаго врага своего: собственнаго самолюбія, и продолжаетъ нерѣдко до самой могилы сочинительствовать... Жалки обрисованные нами выше литературные дѣятели изъ корысти, но еще болѣе жалки отверженцы искусства, зараженные страстью къ сочинительству, и не первый ли долгъ критики останавливать сколько возможно столь пагубную страсть въ самомъ ея началѣ, пока она не успѣла еще совершенно овладѣть человѣкомъ? Вотъ почему „Отеч. Записки“ нерѣдко говорили, и впередъ намѣрены иногда говорить о самыхъ неутѣшительныхъ явленіяхъ нашей литературы съ бо́льшимъ вниманіемъ, чѣмъ они, по-видимому, заслуживаютъ.

Все сказанное, само собою разумѣется, не имѣетъ никакого прямаго отношенія къ книгѣ, которой заглавіе выставлено въ началѣ статьи. Все это не болѣе, какъ очеркъ, могущій послужить матеріаломъ для будущаго составителя статьи въ «Наши», гдѣ вѣдь долженъ же быть нарисованъ «сочинитель».—Теперь обратимся къ сочиненію г-на Бранта.

Неоднократно мы имѣли случай замѣчать г. Бранту, какъ безполезны для литературы и для него-самого усилія его сочинять, сочинять во что бы то ни стало. Но г. Брантъ неисправимъ: едва прошло полгода отъ появленія его странныхъ критическихъ брошюръ, и вотъ онъ является съ новымъ произведеніемъ: «Аристократка»... *Аристократка*—и г. *Брантъ*! Какъ много сказано однимъ заглавіемъ! Кажется нечего и прибавлять... Не можемъ, однакожь, не обратить вниманія на одну новую, чрезвычайно-тонкую выходку г. Бранта. Послушайте: г. Брантъ говоритъ о преслѣдованіи критикою людей ничтожныхъ и глупыхъ.

„Отъ чего именно (спрашиваетъ онъ) на этихъ именно бѣдныхъ недорослей, вѣчныхъ, непроизвольныхъ дѣтей человѣчества, должно изливать желчь ума и сатиры, предназначенной преимущественно бичевать предразсудки и пороки людей не незначительныхъ по ролѣ, разыгрываемой ими въ обществѣ, *не невѣждъ и глупцовъ* обыкновенныхъ, дюжинами дюжинъ встрѣчаемыхъ, но людей съ вѣсомъ и внѣшняго и внутренняго значенія?“.

Подумаешь, къ какимъ средствамъ не прибѣгаютъ люди! Не преслѣдуйте насмѣшкой *невѣждъ и глупцовъ*, говоритъ г. Брантъ: насмѣшка создана *для людей съ вѣсомъ внутренняго и внѣшняго значенія*. Зачѣмъ бы казалось придумывать г-ну Бранту такой странный парадоксъ?.. Но положимъ, что это придумалось такъ съ-проста́; главное тутъ — ложность парадокса. Если преслѣдовать только слабости и недостатки людей съ умомъ и вѣсомъ, какъ желаетъ г. Брантъ, то глупость, невѣжество, и шарлатанство

могутъ вообразить, что въ нихъ нѣтъ ни слабостей, ни недостатковъ. Намъ, кажется, что именно дерзкія-то усилія попасть куда не слѣдуетъ, невѣжественные предразсудки и простодушныя ухищренія глупцовъ и невѣждъ, которыхъ вы, г. Брантъ, защищаете, и должны быть преимущественно преслѣдуемы насмѣшкою; если мало одной насмѣшки,—ихъ, какъ язвы на тѣлѣ общественномъ, должно искоренять всѣми мѣрами — выжигать, вырѣзывать, вытравлять. Si medicamenta non sanant, ignis sanat, si ignis non sanat, ferrum sanat, сказалъ еще Ипократъ, на котораго мы и ссылаемся, въ подтвержденіе нашихъ словъ...

Кто желалъ бы по чему-либо короче познакомиться съ новымъ произведеніемъ г. Бранта, тому мы должны сказать еще, что въ этомъ произведеніи нѣтъ даже тѣхъ простодушныхъ, неумышленныхъ обмолвокъ, которыя иногда встрѣчаются въ сочиненіяхъ такого рода, и подъ веселый часъ срываютъ невольную улыбку; здѣсь все чистенько, гладенько, отдѣлано съ рачительностію самой терпѣливой бездарности, и отъ-того чрезвычайно по́шло. Дѣйствующія лица — *Аристократка*, которая ѣздитъ въ *Александринскій-Театръ* и объясняется, какъ героини представляемыхъ тамъ водевилей; учитель исторіи, *педагогъ*, который изъ-рукъ-вонъ глупъ; сверхъ того самъ сочинитель — г. *Брантъ*, иногда замедляетъ и безъ того уже вялое дѣйствіе повѣсти отступленіями, въ родѣ слѣдующаго:

«Не знаю отъ чего рука моя дрожитъ, *начертывая* строки, приближающія меня къ описанію послѣднихъ событій этой повѣсти; отъ чего оставляетъ меня спокойствіе *историка*, и я чувствую нѣкоторое *трепетаніе сердца* подобно путнику, завидѣвшему тучу и боящемуся, что гроза застигнетъ его вдали отъ крова и всякаго пріюта?»...

Но довольно. Изъ того, что мы сказали, кажется, можно ясно понять, какова новая повѣсть г. Бранта, и какого рода аристократію «окритиковалъ онъ въ своей литературѣ». О! г. Брантъ большой критиканъ!

* **707. Сельское чтеніе.** *Книжка, составленная изъ трудовъ: А. Ѳ. Вельтмана, Н. С. Волкова, С. С. Гадурина, В. И. Даля, П. И. Иванова, М. Н. Загоскина, П. И. Побѣдина, К. Ѳ. Энгельке, княземъ* **В. Ѳ. Одоевскимъ** *и* **А. П. Заблоцкимъ**. *Санктпетербургъ. 1843. Въ типографіи Министерства Государственныхъ Имуществъ. Въ 8-ю д. л. 133 стр.* [59]).

Эта книга, не принадлежа собственно къ тому, что̀ обыкновенно называется «литературою»,—тѣмъ не менѣе принадлежитъ къ важнѣйшимъ произведеніямъ современной литературы, и вѣсомъ своей внутренней цѣнности перетянетъ многіе пуды романовъ, повѣстей, драмъ—даже «патріотическихъ». Явленіе такой книжки, какъ «Сельское Чтеніе», должно радовать всякаго *истиннаго* патріота, всякаго друга общаго добра. Бѣдна наша учебная ли-

тература, бѣднѣе ея наша дѣтская литература, и мы сказали бы, что бѣднѣе всѣхъ ихъ наша простонародная литература, если бы только у насъ существовала какая-нибудь литература для простаго народа. Цѣлыя горы бумаги ежегодно печатаются для него подъ названіемъ «Похожденій Георга Аглицкаго Милорда», «Похожденій Ваньки Каина», «Анекдотовъ о Балакиревѣ», и сѣробумажныхъ книгъ, въ родѣ «Разгулья Купеческихъ Сынковъ въ Марьиной Рощѣ», «Козла Бунтовщика» и т. п. Всѣ эти пошлости расходятся: стало быть, ихъ покупаютъ и читаютъ. Но какая же польза отъ этихъ книгъ?—Пользы никакой, а вредъ можетъ быть: отъ нихъ только грубѣютъ и безъ того грубыя понятія простолюдина, тупѣетъ и безъ того неизощренная его мыслительная способность. Былъ нѣкогда на Руси почтенный человѣкъ—профессоръ *Николай Курганов*ъ; издалъ онъ книжицу, или лучше сказать, книжищу: «Письмовникъ, содержащій въ себѣ науку россійскаго языка со многимъ присовокупленіемъ разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловія, съ присовокупленіемъ книги: Неустрашимость духа, геройскіе подвиги и примѣрные анекдоты Русскихъ» и съ таковымъ замысловатымъ эпиграфомъ:

Духовный ли, мірской ли ты? прилежно се читай:
Все найдешь здѣсь, тотъ и другой; но разумѣть смѣкай.

Книга эта имѣла успѣхъ чрезвычайный: еще въ 1796 году была напечатана она уже *шестым*ъ изданіемъ, и до-сихъ-поръ еще перепечатывается такъ, какъ была, безъ измѣненій, только развѣ съ выпускомъ кое-гдѣ смысла. Для своего времени, эта книга—просто золото; теперь она никуда не годится. И не нашлось на Руси ни одного литератора, который бы издалъ, для народа, такую же книгу, только сообразную съ требованіями нашего времени, въ-отношеніи къ языку и выбору статей! Кромѣ изданной г. Максимовичемъ «Книги Наума о великомъ Божіемъ мірѣ», не было ни одной замѣчательной попытки написать что-нибудь полезное и вмѣстѣ завлекательное для простаго народа. Да и самая книжка г. Максимовича оказалась неудовлетворительною. Простой народъ похожъ на ребенка, только говорить съ нимъ еще труднѣе: у ребенка умъ мягокъ, какъ воскъ, и чуждъ всякихъ привычныхъ понятій, а у простаго народа умъ и неразвитъ и упрямъ: за него надо приниматься умѣючи и съ толкомъ. Главное правило тутъ—не торопиться, не желать сдѣлать многое вдругъ, не высказывать всего зàразъ, и всегда держаться въ уровень съ понятіемъ простолюдина. Избѣгая книжнаго языка, не должно слишкомъ гоняться и за мужицкимъ нарѣчіемъ: простолюдины обыкновенно недовѣрчивы къ собственному способу выраженія, и думаютъ, что бары смѣются надъ ними, говоря *по-печатному* ихъ глупымъ языкомъ. Простота языка должна, въ этомъ случаѣ, быть только выраженіемъ простоты и ясности въ понятіяхъ и въ мысляхъ.

«Сельское чтеніе» вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ. Оно знаетъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и не потчуетъ паштетами того, кому калачъ въ сласть и лакомство. Въ книгахъ такого рода

обыкновенно думаютъ, что дѣло въ шляпѣ, если наговорили съ три короба нравоученій: «Сельское чтеніе» понимаетъ, въ *какомъ* нравоученіи нуждается нашъ народъ, и, какъ искусный врачъ, оно не лечитъ отъ подагры человѣка, который пьетъ не шампанское, а сивуху. Внушая простому человѣку правила религіи, преданность и благодарность престолу, «Сельское чтеніе» постоянно держится въ сферѣ быта и положенія простаго человѣка,—въ сферѣ чисто-практической. У всякаго народа свои добродѣтели и свои пороки, и съ каждымъ народомъ, по этому, должно говорить особеннымъ языкомъ. Русскій мужикъ вообще кротокъ и спокоенъ, какъ Сѣверянинъ и притомъ *Славянинъ*, необыкновенно смышленъ и сметливъ; но въ то же время, онъ лѣнивъ и тѣломъ и умомъ; чтобъ скорѣе отдѣлаться отъ работы, любитъ дѣлать все на «авось». Авось—это болѣзнь русскаго человѣка; это такой же нравственный его недостатокъ, какъ у Швейцаровъ [60]) физическій недостатокъ—кретинство (crétinisme). И «Сельское чтеніе» представляетъ цѣлую повѣсть объ «авось», которая простому крестьянскому уму покажется изящнѣе всякаго романа Вальтера Скотта, убѣдительнѣе истины, что когда солнце свѣтитъ—свѣтло бываетъ. Потомъ, къ числу пороковъ русскаго крестьянина принадлежитъ страсть зашибаться хмѣлиной; къ этой страсти присоединяется неразсчетливость, составляющая общій недостатокъ русскаго человѣка, который какъ будто родится милльонеромъ и уважаетъ только *рубли*, а съ копейками и гривнами, изъ которыхъ составляются рубли, обходится какъ съ соромъ: и на этотъ счетъ «Сельское чтеніе» предлагаетъ поучительный «Разсказъ о томъ, какъ крестьянинъ Спиридонъ научилъ крестьянина Ивана не пить вина, и что изъ того вышло». Русскій человѣкъ, по натурѣ своей, склоненъ къ повиновенію властямъ, но по неразвитости своей не всегда умѣетъ понимать благія намѣренія власти, особенно, если эти намѣренія для него новы и непривычны. Тогда людямъ, которые любятъ въ мутной водѣ рыбу ловить, весьма-легко смущать и сбивать съ толку мужика злонамѣренными объясненіями простаго дѣла. Такъ, напримѣръ, теперь мужикъ не вооружается противъ прививанія коровьей оспы дѣтямъ его, но прежде онъ смотрѣлъ на эту мѣру благодѣтельнаго правительства, какъ на что-то страшное, грозящее гибелью... Нельзя не отдать справедливости умѣнью и ловкости, съ какими «Сельское чтеніе» внушаетъ простому народу безусловное довѣріе къ распоряженіямъ правительства. Чтобъ показать это читателямъ, выписываемъ отрывокъ изъ «Разговора между тремя крестьянами въ селѣ Михайловскомъ»:

Тришка.—Слышь, объявлено предписаніе, чтобъ сажать картошку.

Тихонъ.—То есть картофель, или земляныя яблоки; да что жь тутъ важнаго?

Тришка.—Говорятъ де, небывальщина.

Тихонъ.—Ну такъ что жъ? Велятъ и дѣлай. Мужику ли разсуждать, когда начальство приказываетъ. И то сказать, намъ дуракамъ все то кажется

небывальщиной, чего не было на вашихъ памятяхъ. Не почитали ли вы указа, чтобъ не стрѣлять дичи съ 1 марта по Петровъ день, новымъ, тогда какъ имъ подтверждается лишь давній законъ.

Тришка.—Гмъ, Гмъ... Стало быть о картошкѣ ужъ былъ указъ?

Тихонъ.—То-то, глупый вы народъ! Сами не знаете о чемъ толкуете. Предписаніе о посѣвѣ картофеля и наставленіе какъ за нимъ ходить, было издано еще въ царствованіе блаженной памяти Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны.

Старикъ, упомяная о Великой Государынѣ, снялъ шляпу и перекрестясь прошепталъ: «помяни Ее Господи во царствіи Твоемъ».

Тутъ подошелъ еще одинъ крестьянинъ широкоплечій, съ рыжею бородою.

Тихонъ.—Здравствуй, Филатъ; кажись, и ты изъ кабака?

Филатъ.—Да, былъ на сходкѣ стариковъ: посмѣкали кой о чемъ.

Тихонъ.—И пропили послѣдній разсудокъ.

Филатъ.—Пропили разсудокъ? да за него цѣловальникъ вина не дастъ!

Тихонъ.—Эхъ, ты дуралей!

Тришка.—Ха, ха, ха!

Тихонъ.—На чей же счетъ вы пили? Ужь не на мірской ли?

Филатъ.—Поди-ка! Нынче не прежнее время, не приходится старикамъ пить на мірской счетъ. Такого-де расхода, толкуетъ писарь, не уломаешь въ отчетъ. Тамъ все, слышь, объясни и выкажи до послѣдней денежки.

Тихонъ.—Такъ и надобно. Конецъ міроѣдамъ. Всѣ мірскіе доходы должны быть на счету, всѣ поборы опредѣлены, или общимъ закономъ, или частными предписаніями начальства; словомъ общественный приходъ и расходъ долженъ быть чистъ какъ стекло.

Тришка (почесывая затылокъ).—Вѣстимо, Парамонычъ!

Филатъ (призадумавшись). — Никакъ, намедни, тожъ толковалъ окружный.

Тихонъ.—Да, да, ни копѣйки не должно быть ни изъ мірскихъ доходовъ израсходовано, ни съ крестьянъ взято безгласно и безотчетно. Ни кому недозволено щетиться отъ государственныхъ крестьянъ.

Старикъ Парамонычъ, снявъ шляпу и возведя взоръ къ небу, съ видимымъ благоговѣніемъ произнесъ: «Ущедри Господи своими благами нашего благочестивѣйшаго Царя-надежду; Онъ любитъ насъ и печется о Своихъ подданныхъ, какъ родной отецъ».

— Что же ты, Филатъ, не разскажешь о чемъ судили и рядили вы въ кабакѣ?

Филатъ.—Кажись, Трифонъ Гаврилычъ ужъ сказывалъ тебѣ, про что тамъ калякали.

Тихонъ.—Про картофель; да о чемъ тутъ было толковать?

Тришка.—Слышь, Дурковская волость не хочетъ садить картошку.

Тихонъ.—Чего добраго! Діаволъ во все мѣшается: онъ того лишь и ищетъ, чтобъ смутить людей. Но Дурковскихъ строптивцевъ уймутъ, они будутъ сажать картофель и еще скажутъ начальству спасибо за то, что научило ихъ уму, разуму. А вы-то? Неужь-ли также смѣкаете какъ бы не выполнить повелѣннаго?

Филатъ.—Да слышь, картошка-то зелье поганое.

Тихонъ.—Поганое? Исполать! вотъ тѣ новость. Это суевѣріе откуда взялось? Развѣ картофель не Богомъ же созданъ? Богомъ, Который «произвелъ траву скотомъ и злакъ на службу человѣкамъ?» Смыслите, вы невѣжды,

что значитъ «поганый?» не картофель поганъ, вы-то поганы, замышляя не слушать начальства. Знаете-ль, «что нѣтъ власти не отъ Бога» и что православный христіанинъ вѣру свою паче показываетъ въ преданности Царю и покорности установленнымъ отъ него властямъ?

Филатъ (почесываясь)—Вѣстимо, Парамонычъ, кому лучше знать все это, какъ не тебѣ: ты человѣкъ грамотный, а мы люди темные.

Тихонъ.—Темные, а гомозитесь. Развѣ слѣпой Анкудинъ упирается, когда его водятъ? Темному должно тѣмъ охотнѣе слушаться и слѣдовать указаніямъ тѣхъ, которые пекутся о немъ, что у него и въ башкѣ и въ глазахъ темно!

Филатъ.—Не что!

Тришка.—Однако, бываютъ же грибы поганые.

Тихонъ.—Вотъ то-то и есть! Народъ прозвалъ ихъ погаными, потому что они ядовиты, вредны, человѣку въ пищу негодны. Но кто же можетъ сказать это о картофелѣ? Картофель пища самая здоровая, вкусная, сытная; картофель не только можно приготовлять для ѣды вареный, но даже смѣшанный съ мукою ржаною или пшеничною, онъ даетъ сытный и вкусный хлѣбъ. При томъ картофель родится почти всякій годъ, если его не лѣниво опахиваютъ или окапываютъ; короче, это растеніе одно съ лучшихъ даровъ, которыми Божія щедрость надѣлила человѣка. А тебѣ, Тришка, все это достаточно извѣстно. Ты жилъ подъ городомъ, гдѣ крестьяне давно уже сѣютъ картофель, и самъ, какъ сказывалъ мнѣ, охотно ѣлъ его. Здѣсь же ты прикидываешься и поешь старую пѣсню дураковъ. Не правду ли я сказалъ? Ну, скажи изъ чего ты криводушничаешь: изъ алтына, или изъ чарки вина?

Тришка.—Что жь? Съ волками жить, по волчьи и выть.

Тихонъ.—Да, двуязычничать куда какъ хорошо!

Филатъ.—Но воля твоя, Парамонычъ, все таки хлѣба на картофель не смѣнялешь!

Тихонъ.—Ой ты мнѣ, Филатъ Филатовичъ! Кто велитъ вамъ, дуракамъ, смѣнять хлѣбъ на картофель? Онъ вводится начальствомъ лишь какъ лучшее подспорье хлѣбу. Въ голодные годы люди ѣдятъ мякину, солому, траву, древесную кору, бѣлую глину и Богъ знаетъ что; не лучше ли въ такую годину ѣсть картофель?

Тришка.—Что говорить! Не дай Богъ дожить до другаго такого года, каковъ былъ лѣтъ за восемь, кажись, третій послѣ холеры. Жутко приходилось народу; ѣли и въ нашей волости глину.

Филатъ.—Ѣли, да не наѣдались, пухли и мерли съ голоду.

Тихонъ.—Вотъ то-то; помните же это и слушайтесь желающаго вамъ добра начальства. Статочное ли дѣло, чтобъ оно наводило васъ на дурное? Вѣдаете-ль, что въ тѣхъ земляхъ, гдѣ сѣютъ много картофелю, и гдѣ вообще земледѣлецъ не на одномъ хлѣбѣ сидитъ, никогда голоду не бываетъ?

Филатъ.—Какъ тебѣ не знать, Парамонычъ, отъ тебя-ль что скрыто? ты, чай, всю подноготную извѣдалъ. Но вотъ что: отъ чего жь въ Дуровской волости топырятся?

Тихонъ.—Какой нибудь ярышка взбаломутилъ тамъ народъ, чтобъ потомъ въ мутной водѣ рыбу ловить. Охъ мнѣ эти баломуты! Распустятъ слухъ тишкомъ, а сами и въ сторону, какъ ни въ чемъ не бывали, никакъ потомъ не доберешься до нихъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ тому, раздавались отъ начальства домохозяевамъ печатныя таблицы, чтобъ записывать въ нихъ всѣ денежные сборы, какіе дѣлаются съ ихъ душъ. Казалось бы дѣло ясное,

святое—ограда отъ всѣхъ беззаконныхъ и излишнихъ поборовъ; но что же приключилось въ одномъ селѣ! Какая-то гадина свиснула двумъ, тремъ простофилямъ на ухо: «не берите-де таблицъ, за чѣмъ-де вамъ таблицы? это все выдумки, которыхъ встарь не бывало; жили же и безъ таблицъ! это-де мудрятъ одни начальники!» Слышь, какъ будто безъ царской воли смѣетъ кто установить что нибудь? Одурачивши простаковъ, гадина нырнула опять въ болото, а старичишки и заартачились. Пошло бормотанье по всей волости: «не хотимъ-де таблицъ!» Пришлось начальству наказать упорнѣйшихъ, и всѣ приняли таблицы! Вотъ теперь съ картофелемъ та жъ оказія. Коли Дурковскіе топорщатся, имъ же будетъ хуже».

Едва-ли кто не согласится, что мы не могли сдѣлать лучшей похвалы «Сельскому чтенію», какъ выписавъ этотъ отрывокъ. Прибавимъ къ тому, что вся книга написана въ такомъ же духѣ и съ такою же мастерскою манерою изложенія. Всѣхъ статей въ «Сельскомъ чтеніи» 16; по содержанію ихъ можно раздѣлить на два разряда—*нравственныя* и *учебныя*. Къ числу первыхъ принадлежатъ: *Отецъ Василій*, г. Загоскина; *Что крестьянинъ Наумъ твердилъ своимъ дѣтямъ, наставляя ихъ на добро*, кн. Одоевскаго и г. Заблоцкаго; *Незванный Совѣтчикъ*, *Притча о Дятлѣ и Притча о Дубовой Бочкѣ*, г. Даля; *Разговоръ между тремя крестьянами въ селѣ Михайловскомъ*, г. Энгельке; *Разсказъ о томъ, какъ крестьянинъ Спиридонъ научалъ крестьянина Ивана не пить вина, и что изъ того вышло* г. Побѣдина; *Кто дѣлаетъ на авось, у того все хоть брось*, г. Иванова. Къ статьямъ втораго разряда принадлежатъ: *О томъ, какой хлѣбъ какую землю любитъ, и какъ надобно пахать землю, чтобъ хорошо хлѣбъ родился*, г. Заблоцкаго; *Грамотка, писанная со словъ крестьянина Сидора, сыномъ его Тимошею*. г. Волкова; *Что такое Чертежъ Земли, иначе планъ, карта, и на что все это пригодно*, кн. Одоевскаго; *О томъ, что называется міромъ и что такое земля,—и о томъ, какъ велико славное Русское Государство, и что въ немъ есть, и Разсказъ о томъ, откуда пошло Русское Государство, какъ оно было и какія великія дѣла въ немъ сдѣлали православные Государи*, г. Заблоцкаго; *О мѣрахъ, вѣсахъ и деньгахъ; Разсчетъ о томъ, сколько можно сберечь денегъ, не пивши вина вовсе* г. Галурина.

И этотъ послѣдній разрядъ статей, по выполненію, не оставляетъ желать ничего лучшаго; но особеннымъ мастерствомъ изложенія отличаются—русская исторія, г. Заблоцкаго, и «Что такое Чертежъ» кн. Одоевскаго. Первая разсказана на *семнадцати* страничкахъ,—и между тѣмъ, въ ней сказано все, что́ нужно и можно знать, на первый случай, ничего-незнающему простому человѣку. «Разсказъ» оканчивается исторіею Петра Великаго, занимающею *съ небольшимъ девять* страницъ. Какіе православные государи царствовали послѣ Петра Великаго, о томъ авторъ обѣщаетъ своимъ читателямъ разсказать особо.—Въ статьѣ кн. Одоевскаго ни слова не говорится объ экваторѣ, эклиптикѣ и тому подобныхъ мудростяхъ, непостижимыхъ для простаго ума;

ея цѣль проще, за то и дѣйствительнѣе: это—снять кору съ грубаго ума и натолкнуть его на размышленіе о томъ, что̀ за штука такая чертежъ и къ чему онъ пригоденъ. Безъ этого, толковать о мысленныхъ кругахъ земли и неба—значитъ только тѣшить самого-себя. Кн. Одоевскій прекрасно выполнилъ свое дѣло, какъ это сами читатели могутъ видѣть:

«Въ концѣ этой книжки приложенъ чертежъ; разверни и посмотри на него попристальнѣе; здѣсь дѣло любопытное и полезное. Ты видишь: въ одномъ мѣстѣ написано Москва, въ другомъ Кіевъ, въ третьемъ Волга. Хочешь ли знать, что все это значитъ, и для чего это?

Объясню тебѣ примѣромъ: положимъ, что у тебя родные на дальней сторонѣ; ты къ нимъ пріѣхалъ повидаться, вотъ дядя у тебя спрашиваетъ: «а что, Ванюша, какъ поживаешь? я слышалъ, тебѣ, по милости начальства, новую избу выстроили; разскажи-ка, какъ у тебя что, гдѣ что стоитъ? сперва, гдѣ святыя иконы у тебя стоятъ; а потомъ скажи, гдѣ у тебя столъ, гдѣ печка съ палатями, гдѣ поставецъ, гдѣ окошко?» Вотъ ты и начнешь разсказывать; только говоркомъ все не понятно, то и дѣло сбиваешься, и дядя-то въ толкъ не возметъ. Хочешь ли, чтобъ и тебѣ легче было разсказать и дядѣ-то было бы внятнѣе? Ты возьми уголекъ, да листъ бумаги, а не то хоть доску, да проведи по ней угольком черту: вотъ-де стѣна, а вотъ другая, вотъ третья и четвертая; вотъ здѣсь-де дверь, а противъ нея въ переднемъ углу иконы стоятъ, а въ томъ же углу столъ, а вокругъ скамьи; вотъ здѣсь печка, а тутъ дверь въ чуланецъ; и, вѣстимо дѣло, стѣны избы большимъ четыреугольникомъ означишь, а печку, напримѣръ, маленькимъ. Дядя понялъ: «хорошо» говоритъ: «ты живешь; все у тебя на порядкахъ; благодари Господа Бога и своихъ набольшихъ; только я не вижу, гдѣ у тебя закутъ, гдѣ хлѣвокъ для скотинки, гдѣ дворъ, гдѣ колодецъ и все, что для хозяйства потребно?» Вотъ ты хочешь начертить, гдѣ у тебя хлѣвокъ, анъ видишь, что у тебя доски не хватаетъ, не помѣстить на ней и избы и двора. Что тутъ дѣлать? Ты сотри, что начертилъ да и черти другое; а другое вотъ что: проведи черту одну, другую, третью, четвертую какъ доски хватаетъ, и скажи: вотъ де дворъ, а во дворѣ здѣсь закутъ, здѣсь хлѣвокъ, здѣсь колодецъ, а здѣсь вотъ изба. Только, самъ ты разумѣешь, что ужъ тутъ нельзя такой большой избы начертить, какъ ты прежде чертилъ, а можно ее означить лишь маленькимъ четыреугольникомъ; а въ этомъ маленькомъ четыреугольникѣ уже нельзя начертить ни гдѣ дворъ, ни гдѣ печка, ни гдѣ поставецъ.

«Дядя понялъ: «хорошо» говоритъ: «вижу, что все у тебя какъ слѣдуетъ; только я не вижу какъ у тебя на улицѣ домъ стоитъ, гдѣ у тебя огородъ, гдѣ поле, гдѣ у тебя сосѣди живутъ».

«Какъ тутъ быть—какъ сдѣлать, чтобъ дядѣ внятнѣе было?—Да опять по прежнему.

«Сотри, что начертилъ, да и черти снова: маленькимъ четыреугольникомъ означь домъ съ дворомъ; а вотъ здѣсь-де улица идетъ, а противъ моего дома братъ Никитка живетъ, по лѣвую сторону Семка слѣсарь, а по правую Устиновна вдова; а вотъ здѣсь у меня огородъ, а за огородомъ канава, чрезъ канаву мостокъ, а съ мостка озимое поле. Начертилъ—дядя понялъ; только посмотри: уже тамъ, гдѣ ты свой домъ начертилъ, уже тамъ не можешь означить ни хлѣва, ни колодца, потому что мѣста на доскѣ не хватаетъ.

«А дядя все спрашиваетъ: «гдѣ же» говоритъ: «у васъ тутъ лѣсъ, гдѣ ваши земли подъ чужія подходятъ?» Нечего дѣлать, сотри, да и черти снова

на той же доскѣ.—Вотъ-де наша деревня, а отъ деревни вонъ тянется большая дорога, да подходитъ къ рѣкѣ, а по правому берегу нашъ лѣсъ и наша мельница, а чрезъ рѣку сосѣдніе заливные луга, а рѣка-то тянется да подходитъ къ городу, и такъ далѣе, что знаешь. Но только замѣть опять: на этомъ чертежѣ ужь и дома твоего не видать, да и всю деревню-то долженъ означить точками, а вмѣсто дороги у тебя одна черта, да и вмѣсто рѣки-то тоже.

«Теперь ты ужъ понимаешь, что чѣмъ больше земли хочешь обхватить, тѣмъ мельче у тебя черты на доскѣ будутъ выходить. Напримѣръ, хотѣлъ бы ты весь уѣздъ начертить, гдѣ въ немъ городъ, гдѣ село, гдѣ деревня, гдѣ лѣсъ, гдѣ рѣка, гдѣ дорога,—то ужь на такомъ чертежѣ и всю деревню твою долженъ одной точкой означить.

«Что я сказалъ объ уѣздѣ, то разумѣй и о губерніи, что о губерніи, то о цѣлой нашей матушкѣ Россіи, которая Божьею волею куда широко раскинулась. Отъ того можно съ умѣньемъ, да съ мѣрою всю нашу матушку Россію на планъ нанести; а что объ Россіи, то и о другихъ земляхъ разумѣй. Вотъ передъ тобою на чертежѣ часть земли, которая называется Европой и объ которой скажемъ послѣ больше: вотъ ты видишь здѣсь Россія, съ окружными землями; начнемъ хоть сверху; вотъ смотри: на полночь лежитъ Петербургъ, а подъ него подходитъ Балтійское Море; къ западу идетъ Пруссія, гдѣ живутъ наши союзники, а возлѣ на полдень Австрія или Цесарія, гдѣ также наши союзники, все народъ нѣмецкій, смышленый, торговый, занимается всякими ремеслами и фабриками и къ намъ пріѣзжаетъ. Дальше къ полудню Черное море, оно одной стороной къ Одессѣ, а другою къ Царьграду подходитъ. Замѣть какія славныя рѣки въ Черное море втекаютъ: и и Днѣстръ, и Бугъ, и Днѣпръ; далеко, далеко за Черное море на полдень стоитъ Іерусалимъ, гдѣ гробъ Господень; то же море подходитъ и къ Кавказскимъ горамъ, а за тѣми горами на востокъ Каспійское море, въ которое втекаетъ наша Волга матушка; видишь, какъ она по Святой Руси тянется, всюду загибаетъ: изъ Астрахани и въ Саратовъ, и въ Симбирскъ, и въ Казань, и въ Нижній Новгородъ, и въ Кострому, и въ Ярославль, и въ Рыбинскъ, и въ Тверь; такъ что ты изъ Твери внизъ до самой Астрахани можешь спуститься, ибо ты знаешь, я чаю, что всякая рѣка въ море бѣжитъ. Въ Каспійское же море на востокѣ втекаетъ рѣка Уралъ; а тамъ идутъ Уральскія горы, гдѣ есть и серебро, и золото, и мѣдь, и желѣзо. За Уральскими горами на востокъ и на сѣверъ распахнулась Сибирь, о которой мы въ другоредь особо поговоримъ. Отъ Уральскихъ горъ на сѣверъ Бѣлое море, что подходитъ къ Архангельску; а отъ Бѣлаго моря не такъ, чтобы далеко, Ладога, а тутъ и Петербургъ. Вотъ видишь, передъ тобой большая часть Россіи, какъ на ладони, и Москва посередкѣ.

«Польза такихъ плановъ или, какъ ихъ называютъ, картъ—не малая; на первый разъ хоть для того, чтобъ знать, гдѣ какой городъ лежитъ, какая къ нему дорога, идетъ ли рѣкою или черезъ рѣку. А еще польза другая есть, и вотъ какая: ты знаешь, что Государь приказалъ всѣмъ межеваться, для того, чтобъ всякому своимъ угодьемъ владѣть безобидно на вѣчныя времена, у сосѣдей земли не отнимать, да и своей безъ толку не отдавать. Вотъ для того, ты видѣлъ, я чаю, ѣздятъ землемѣры и также планы чертятъ, только немного помудрѣе, нежели какъ мы съ тобою чертили. Видишь въ чемъ дѣло: когда въ деревнѣ плана на землю нѣтъ, та деревня то и дѣло, что ссорится съ сосѣдами. Вы говорите: эта земля наша, а сосѣди толкуютъ нѣтъ, не ваша, а

наша, а вы неправо запахали. Вы свое: «наша земля, вотъ и старики запомнятъ, испокопъ вѣка наша». Хвать за стариковъ, а старики-то давно умерли. Вотъ чтобъ не было такихъ споровъ, да толковъ, Государь и велѣлъ планы дѣлать на всѣ деревни, и всѣ угодья означать. Ты видѣлъ, землемѣры прежде землю смѣряютъ, а потомъ на планъ нанесутъ; только какъ же это они дѣлаютъ? А вотъ какъ: нельзя такого листа бумаги достать, чтобы всю землю, какъ она есть, начертить, да и дѣвать-то такого листа не куда—не особыя же хоромы для него строить; землемѣры и чертятъ также, какъ мы съ тобою, для дяди твой домъ и деревню чертили. Только вотъ разница: ты чертилъ на обумъ, а они съ мѣрою; а чтобы большую землю деревни съ угодьями, или уѣздъ на маломъ листѣ начертить, то и у нихъ за десятину земли, на планѣ вершокъ отвѣчаетъ; т. е. коли на землѣ у кого три десятины вокругъ, то на планѣ они ее чертятъ въ три вершка вокругъ; гдѣ полдесятины—тамъ на планѣ полвершка; гдѣ четверть десятины, тамъ четверть вершка и такъ дальше. Вотъ зашелъ споръ: сколько у такой-то деревни десятинъ лѣса? стоитъ только по плану смѣрить: сколько на планѣ вершковъ, столько на землѣ и десятинъ. Ты самъ разумѣешь, что вмѣсто вершка можетъ на планѣ, смотря по листу, и полвершка, и четверть вершка за десятину или сажень отвѣчать; стоитъ только на томъ уговоръ положить; а для этого посмотри внизъ плана; тамъ двойная черточка, другими чертами раздѣлено и подписано столько-то саженей; та черточка называется *масштабъ*; она для того дѣлается, чтобы видѣть, какая мѣра на планѣ за десятину отвѣчаетъ. Посмотрѣлъ, смѣрилъ и всему спору конецъ; тотчасъ видно, откудова и доку дова чья земля идетъ.

«Такъ вотъ тебѣ, что такое планъ, или карта и какая отъ нихъ польза. Оно съ виду кажется трудно, а выразумѣешь, то легко, понятно и на дѣло пригодно. Коли выразумѣешь, то въ другоредь еще потолкуемъ; авось-либо доберемся и до того, какъ-бы самому для себя землемѣромъ быть и какая отъ того въ крестьянскомъ быту польза есть. Русскому смышленому человѣку не невидаль какая такое дѣло понять; но это въ двугоредь, а теперь скажу тебѣ только одно:

«Не забывай молиться Богу за Батюшку Царя, который приказалъ всѣмъ межеваться, и земли на планы наносить, чтобы всякой жилъ безбѣдно, безспорно свое бы зналъ, чужаго не отнималъ и своего не терялъ».

Книжка украшена простыми политипажными картинками и виньетками, сообразно содержанію. И это очень хорошо: простые люди, что малыя дѣти—*наглядность* и заохочиваетъ ихъ къ чтенію и помогаетъ понимать читаемое. Картинокъ числомъ семь; изъ нихъ одна—очеркъ съ картины Венеціанова: «Мать, которая учитъ дѣтей своихъ молиться», а другая—очеркъ съ портрета Петра-Великаго.

Есть люди (какихъ людей не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ!), которые отъ души убѣждены, что крестьянину нужны щи да каша, а граммата безполезна. Слава Богу, время начинаетъ обнаруживать ту великую истину, что безъ ума не будетъ и щей съ кашей, а умъ родитъ граммата. Сверхъ-того, нѣтъ ничего труднѣе, какъ вразумлять дикаря: вы хлопочете о его же благѣ, а онъ, если не можетъ оказать вамъ прямаго сопротивленія, упрямствомъ своимъ и равнодушіемъ безъ явнаго противодѣйствія разрушаетъ самые лучшіе ваши

планы, для выполненія которыхъ вы жертвовали и сномъ и спокойствіемъ, и удовольствіемъ. Вы велите ему сѣять картофель, чтобъ его же спасти отъ голодной смерти, а онъ твердитъ, что *картошка* трава поганая, проклятая... Но если на свѣтѣ такъ много глупыхъ умниковъ, ханжей и изувѣровъ, которые смотрятъ съ ненавистью на всякое преуспѣяніе, на всякій шагъ впередъ, то утѣшимся мыслію, что на томъ же бѣломъ свѣтѣ бываютъ и люди, твердые волею, свѣтлые умомъ и благословенные Провидѣніемъ на выполненіе и осуществленіе Его благихъ преднамѣреній... И да будутъ честны и славны изъ рода въ родъ имена такихъ людей, подъ просвѣщеннымъ покровомъ которыхъ каждый можетъ возложить свою посильную лепту на алтарь общаго блага!..[61])

708. Библіографическія и журнальныя извѣстія.[62])

Новый годъ всегда бываетъ эпохою въ жизни нашей литературы и мгновеннымъ ея пробужденіемъ изъ обычной ея летаргіи. Въ это время только и слышишь о новостяхъ, по большей части интересныхъ лишь до ихъ появленія. Журналы тутъ всѣ выходятъ въ срокъ; иной за прошлый годъ опоздаетъ нѣсколькими книжками, а съ первою книжкою на новый годъ какъразъ явится *перваго января*. По этимъ первымъ книжкамъ можно судить о состояніи журнала: если онъ въ первой книжкѣ не рвется изъ всѣхъ силъ, не старается возбудить вниманія разными штуками (напримѣръ, заставляя новыя книги плясать, въ критикѣ, трепака и т. п.), а идетъ ровнымъ шагомъ, нынче, какъ вчера,—вѣрный знакъ, что журналъ чувствуетъ свою силу. Въ противномъ же случаѣ, вѣрный знакъ, что онъ падаетъ, и пышными, часто фантастическими, обѣщаніями силится во что бы ни стало поддержать охладѣвшее къ нему вниманіе публики. Въ это же время года являются новые журналы, прекращаются старые, выходятъ альманахи, романы, стихотворенія, собранія сочиненій извѣстныхъ писателей... Новый 1843 годъ особенно счастливъ во многихъ изъ этихъ отношеній: онъ ознаменовался выходомъ четырехъ томовъ сочиненій Гоголя, полнаго собранія стихотвореній Лермонтова, новаго изданія сочиненій Державина. Что́ касается до романовъ,—они не замедлятъ появиться въ числѣ какого-нибудь бѣднаго, неполнаго десятка. Г. Загоскинъ ужъ началъ ихъ рядъ своимъ сочиненіемъ «Москва и Москвичи»; теперь очередь за г. Воскресенскимъ, а тамъ, Богъ дастъ, издадутъ по роману гг. Зотовъ и Штевенъ. Сверхъ-того, это блистательное собраніе романовъ должно пополниться «Дѣвою Чудною» барона Брамбеуса, обѣщанною еще въ началѣ прошлаго года. Новыхъ журналовъ не явилось ни одного; изъ бывшихъ скончался во цвѣтѣ лѣтъ «Русскій Вѣстникъ»: смерть пресѣкла дни этого недоросля на 5 и 6 книжкахъ (изданныхъ въ одной оберткѣ) за прошлый годъ; съ остальными подписчики увидятся когда-нибудь *тамъ*, гдѣ назначено свиданіе всѣмъ покойникамъ... Кромѣ «Русскаго Вѣстника», всѣ другіе журналы продолжаются и въ нынѣш-

немъ году. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ дѣйствительно произошли бо́льшія или меньшія перемѣны. Взглянемъ на нихъ.

«Библіотека для Чтенія», по обыкновенію своему, перемѣнила цвѣтъ обертки, а въ Литературной Лѣтописи дала своимъ читателямъ спектакль, который мы назвали бы небывалой новостію въ исторіи русской журналистики, если бы этотъ *спектакль* не былъ уже вторымъ по счету. Въ первомъ «Б. для Ч.» заставила Шехеразаду разсказывать султану-публикѣ разныя сказки о новыхъ книгахъ; во второмъ, т. е. нынѣшнемъ, она заставила плясать въ присядку книги «Были и Небылицы» съ «Супружескою Истиною» и «Голосомъ за Родное». Мысль чрезвычайно оригинальная, и вѣрно иногимъ изъ почитателей «Б. для Ч.» покажется даже остроумною... Теперь надо ожидать, что «Б. для Ч.» когда-нибудь сама попляшетъ въ присядку хоть съ повѣстями барона Брамбеуса. Замѣчательно однако безпристрастіе «Б. для Ч.»: въ первой ея книжкѣ за нынѣшній годъ напечатано новое «патріотическое представленіе» г. Полевого, и въ той же самой книжкѣ препорядочно отдѣланы «Были и Небылицы» того же самаго г. Полеваго. Въ первой же книжкѣ «Б. для Ч.» напечатана повѣсть Фанъ-Дима, —и въ той же книжкѣ «Голосъ за Родное» того же автора обреченъ на пляску въ шутовскомъ дивертисманѣ... Вообще книгамъ, о которыхъ объявляетъ прежде другихъ книжный магазинъ Ольхиной, въ «Б. для Ч.» пришлось играть не слишкомъ-веселую, хотя и плясовую роль... Что́ же такое, спросятъ насъ, новое «представленіе» г. Полеваго?—Да все то же, что́ и прежнія его «представленія»: чувствительная героиня, на которой хочетъ насильно жениться жестокій занмодавецъ ея матери, и когда ихъ обѣихъ тащитъ онъ въ тюрьму, является великодушный любовникъ, платитъ деньги, которыя на этотъ разъ ему словно съ неба падаютъ, и женится на «милой воровкѣ своего покоя»... Содержаніе повѣсти г. Фанъ-Дима такъ мудрено, что никому не понять его. Герой ея—духъ, а извѣстно, когда духи дѣйствуютъ въ повѣстяхъ вмѣстѣ съ людьми, тогда здравый смыслъ уступаетъ мѣсто «чудесному»...

«Современникъ» выходитъ, въ нынѣшнемъ году, ежемѣсячно, въ числѣ двѣнадцати книжекъ. Отъ этого онъ много выигрываетъ, какъ журналъ. Первая книжка его прелестна по наружности, интересна по содержанію. Долгомъ почитаемъ указать на превосходную статью М. С. Куторги: Людовикъ XIV» (историческій очеркъ), и просимъ «Современника» почаще дарить публику такими статьями.

«Москвитянинъ» въ первой книжкѣ своей предлагаетъ цѣлыя три переводныя повѣсти. Онѣ очень-коротки, но какъ въ то же время онѣ и очень-плохи, то эта краткость, стало-быть, не вредитъ журналу. Историческихъ матеріаловъ въ немъ, по-прежнему, много; также и славянскихъ сказокъ, которые тоже можно назвать матеріалами для исторіи народной славянской поэзіи. Вообще, эти матеріалы даютъ «Москвитянину» видъ альманаха, со-

держаніе котораго—матеріалы для исторіи и словесности Славянъ. Изданіе полезное и почтенное, но оно не журналъ. Между-тѣмъ, «Москвитянинъ», во что бы то ни стало, хочетъ быть журналомъ. Для этого онъ изрѣдка разсуждаетъ о современной литературѣ и довольно-часто обѣщаетъ поговорить о томъ, о другомъ. Въ первой книжкѣ онъ обозрѣваетъ русскую литературу 1842 года и доказываетъ сродство музы г. Бенедиктова съ музою Шиллера. Замѣчательнѣе всего въ этой статьѣ признаніе «Москвитянина», что онъ «не представилъ еще всего того, что̀ сказать имѣетъ», ибо «такое важное дѣло должно быть совершено вслѣдствіе трудовъ многосложныхъ и новыхъ» (стр. 275). Между-прочимъ, тамъ-же намекается и прямо говорится, что всѣ журналы издаются съ промышленною цѣлію, и что исключеніе остается за однимъ «Москвитяниномъ»: мы въ этомъ никогда не сомнѣвались...

«Репертуаръ и Пантеонъ», превратившись въ зеркало театровъ русскаго и иностраннаго, сбросили съ себя затѣйливую обертку, на которой было изображено въ-лицахъ, какая бываетъ страшная давка при раздачѣ книжекъ этого изданія... Видно, теперь уже давки нѣтъ,—и «Репертуаръ» является въ скромной и пристойной оберткѣ... Не понимаемъ, почему это изданіе носитъ двойное названіе: каковъ бы ни былъ покойникъ «Пантеонъ», въ немъ печатались драмы Шекспира, а въ «Репертуарѣ» печатается только то, что̀ играется на Александрынскомъ Театрѣ... Въ 1 № напечатаны: «Русская Боярыня XVII столѣтія» г. Ободовскаго, «Школьный Учитель» г. Каратыгина и «Супруги-арестанты» г. Коровкина; изъ нихъ только «Школьнаго Учителя» можно видѣть на сценѣ; но прочесть нѣтъ возможности ни одной пьесы... По обыкновенію, 1-й нумеръ «Репертуара» украшенъ статьею г. Булгарина, въ которой, по обыкновенію же, твердится въ тысячу-первый разъ, что г-жа Каратыгина выше г-жи Алланъ и знаменитой Марсъ... Г-жа Каратыгина дѣйствительно даровитая артистка, въ сравненіи съ прочими актриссами Александрынскаго-Театра; она лучше ихъ держитъ себя, съ бо̀льшимъ умомъ и ловкостью играетъ; но между ею и г-жею Алланъ нѣтъ ничего общаго, а знаменитую Марсъ еще бо̀лѣе слѣдовало бы оставить въ покоѣ... Прошлаго года «Репертуаръ» обѣщалъ много приложеній—и не выполнилъ своего обѣщанія. За это онъ представляетъ теперь довольно-большую и довольно-плохую литографію — *Разъѣздъ изъ Александрынскаго-Театра*, въ которомъ впрочемъ есть кой-какія не совсѣмъ дурныя подробности, напр., *купецъ съ женою, зѣвающіе истинно по-купечески!*

Изъ *газетъ*, мы упомянемъ только объ одной, именно «Русскомъ Инвалидѣ», потому-что о немъ можно было бы сказать много хорошаго. Съ увеличеніемъ своего формата и расширеніемъ программы, эта газета совершенно переродилась. Въ каждомъ ея нумерѣ теперь есть *фѣльетонъ*

разсуждающій съ публикою о замѣчательнѣйшихъ явленіяхъ современной русской литературы, объ интереснѣйшихъ новостяхъ русскаго и заграничнаго міра. И въ вышедшихъ доселѣ нумерахъ есть любопытныя статьи въ отдѣленіи, слѣдующемъ за политическими извѣстіями, особенно «Исторія Русскаго Инвалида», составленная его основателемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ «Инвалидѣ» русская публика имѣетъ теперь газету, во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствующую требованіямъ отъ изданій такого рода. Въ «Инвалидѣ» читатели находятъ все, что́ можно встрѣтить во многихъ только газетахъ; не находятъ въ немъ развѣ одного—нелемики, сплетень, несообразныхъ съ достоинствомъ газеты оффиціальной. И старанія редакціи «Инвалида» къ улучшенію этого изданія не остались тщетными: публика замѣтила перемѣну, и число подписчиковъ на «Инвалидъ», какъ слышно, чрезвычайно умножилось; со всѣхъ сторонъ слышны похвалы разнообразію, живости и занимательности фёльетона, который умѣетъ быть занимательнымъ безъ брани, безъ торговыхъ криковъ... Пожелаемъ, чтобъ преобразованная въ нынѣшнемъ году газета, поддерживая въ себѣ этотъ характеръ, т. е. соединяя благородство тона и направленія съ занимательностью и разнообразіемъ содержанія, вывела, наконецъ, русскую публику изъ бѣдственной необходимости — довольствоваться жалкими листками печатной бумаги, выдаваемыми ей подъ именемъ газетъ и имѣющими претензіи на характеръ политико-литературнаго изданія.

Говорятъ, г. Вронченко перевелъ первую часть «Фауста». Пріятная новость: можно ожидать, что переводчикъ «Гамлета», «Макбета», «Манфреда» и «Дзядовъ» прекрасно передастъ намъ великое твореніе Гёте. Если переводы г-на Вронченко не имѣютъ *пока* заслуженнаго успѣха въ большинствѣ публикѣ,—этому причиною не слабость, не недостатки, а развѣ высокое достоинство ихъ. Г. Вронченко передаетъ не букву, а духъ переводимыхъ имъ великихъ твореній, показываетъ Шекспира такимъ, какъ онъ есть, не передѣланнымъ въ миніатюрныя статуйки. А такъ-какъ Шекспиръ для большинства недоступенъ, то и переводы г-на Вронченко не всѣмъ нравятся. Въ этомъ отношеніи, г. Полевой, причесывающій и убирающій Шекспира по вкусу публики Александрынскаго-Театра, всегда перебьетъ дорогу у г-на Вронченко.

709. Русскій театръ въ Петербургѣ [63]).

Братья Купцы, или Игра Счастія. *Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переведенная съ нѣмецкаго* **П. Г. Ободовскимъ.**

Рубенсъ въ Мадритѣ. *Историческая драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, передѣланная съ нѣмецкаго. Дѣйствіе 1-е:* Честь Таланту; *дѣйствіе 2-е:* Вражда и нужда; *дѣйствіе 3-е:* Любовь и Долгъ; *дѣйствіе 4-е:* Картина Смерти.

Поэзія каждаго народа тѣсно сопряжена съ его жизнью и исторіею. Отсюда изъясняются успѣхи извѣстнаго народа въ одномъ родѣ поэзіи и неуспѣхи его въ другомъ. Какъ нація, отличающаяся внутреннею, субъективною настроенностью духа, Германія вся высказалась и вылилась въ лирической поэзіи. Ни одинъ народъ въ Европѣ не имѣетъ столько замѣчательныхъ лириковъ, какъ Нѣмцы, и ни въ одной европейской литературѣ лирическая поэзія не развилась до такой степени, какъ въ нѣмецкой литературѣ. Созерцательность, какъ начало внутреннее и спокойное, противоположное дѣятельному началу, составляетъ отличительную черту мыслительно-идеальнаго характера Нѣмцевъ,—и ей-то обязаны они своею музыкальностію и своимъ лиризмомъ. За то, какъ у народа, болѣе семейственнаго, чѣмъ общественнаго, болѣе созерцающаго, чѣмъ дѣйствующаго, у Нѣмцевъ нѣтъ ни драмы, ни романа. Всѣ попытки ихъ въ этихъ родахъ ознаменованы печатью особеннаго ничтожества, жалкаго безсилія и смѣшнаго уродства. Въ этомъ случаѣ, должно исключить одного Шиллера. Но и этотъ великій поэтъ въ драмахъ своихъ остался вѣренъ національному духу: преобладающій характеръ его драмъ—чисто-лирическій, и онѣ ничего общаго не имѣютъ съ прототипомъ драмы, изображающей дѣйствительность—съ драмою Шекспира. Въ своей сферѣ, драмы Шиллера — великія, вѣковыя созданія: но ихъ не должно смѣшивать съ настоящею драмою новаго міра, и онѣ гораздо-больше имѣютъ общаго съ греческою трагедіею, чѣмъ съ шекспировскою драмою. Для бо́льшаго поясненія нашей мысли скажемъ, что къ такому роду драмъ, какъ шиллеровскія, относится и «Манфредъ» Байрона. Надо быть слишкомъ-великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходять на котурнѣ шиллеровской драмы: простой талантъ, взобравшійся на ея котурнъ, непремѣнно падаетъ съ него—прямо въ грязь. Вотъ отъ чего всѣ подражатели Шиллера такъ приторны, пошлы и несносны. «Фаустъ» и «Прометей» Гёте—тоже національныя нѣмецкія драмы, ибо глубокое философское содержаніе высказалось въ нихъ бурнымъ потокомъ лирическаго паѳоса, а драматизмъ ихъ—одна внѣшняя форма; отъ драматизма онѣ взяли только діалогъ. Зато, всѣ прочія драмы Гёте, кромѣ одного «Гётца», представляющаго собою какое-то странное исключеніе изъ общаго правила,—живыя свидѣтельства неспособности Нѣмцевъ къ драмѣ, какъ выраженію дѣйствительности. Не говоря уже о такихъ жалкихъ созданіяхъ, какъ «Клавиго», «Стелло», «Братъ и сестра»,—самымъ «Эгмонтомъ» Гёте можетъ, какъ драмою, очаровываться только неопытное эстетическое чувство, не умѣющее отличать поддѣлки и ложныхъ усилій отъ свободнаго творчества. Изъ романа Нѣмцы сдѣлали какой-то свой особенный родъ поэзіи; они въ немъ то сантиментальничали, съ Августомъ Лафонтеномъ, то тѣшились фантасмагорическими аллегоріями съ Шписомъ, то превращали дѣйствительность въ фантасмагорію, съ геніальнымъ сумасбродомъ Гофманомъ, котораго геній задохся въ тѣснотѣ идеальной и гофратской дѣйствительности. Отъ этого въ литературномъ мірѣ нѣтъ ничего хуже нѣмецкихъ романовъ, повѣстей и, въ-

особенности, драмъ. Къ-несчастью, число послѣднихъ безконечно велико, и со дня на день все прибываетъ и прибываетъ, какъ полая вода весною, грозя затопить театръ. Но Англичанъ и Французовъ, имѣющихъ свою національную и истинную драму, не легко обморочить сладкими супами нѣмецкой драматической кухни; они на нихъ не смотрятъ. Благодаря досужеству и бездарности нѣкоторыхъ россійскихъ сочинителей и переводчиковъ, намъ, Русскимъ, досталось на долю, зѣвая и морщась, лакомиться приторными отъ сладости драматическими супами Нѣмцевъ. Въ XVII № «Репертуара» за прошлый годъ, напечатана драма Гуцкова «Вернеръ или Сердце и Свѣтъ»: Боже великій, что́ это за дивная галиматья, что́ за геніальность бездарности! Не знаешь, чему болѣе дивиться въ ней: незнанію ли сердца человѣческаго, или незнанію свѣта! Нѣтъ, не далась Нѣмцамъ драма, не дался имъ и театръ: въ послѣднемъ, у нихъ много изученія, ума, даже учености, но нѣтъ жизни и натуры,—натянутость въ позахъ, въ манерахъ, въ дикціи, бюргерство и честность, гофратство и аккуратность, но не сценическое искусство, не поэзія...

«Братья-Купцы» и «Рубенсъ въ Мадритѣ» принадлежатъ къ самымъ образцовымъ уродамъ драматической нѣмецкой купст-камеры. Скучно, тяжело, и для насъ и для читателей, было бы пересказываніе этой путаницы приключеній и похожденій, лишенныхъ всякой правдоподобности и естественности,—путаницы, которая составляетъ содержаніе этихъ двухъ приторныхъ драмъ. Жили да были, изволите видѣть, двѣ брата въ Лондонѣ: одинъ изъ нихъ бѣднякъ и гулякa, а другой человѣкъ *тверёзый*, какъ говорятъ у насъ на Руси, и богачъ; бѣднякъ совсѣмъ проигрался и, попавъ въ тюрьму, проситъ брата помочь ему, но тотъ и слышать не хочетъ; вотъ Нѣмцу и стало досадно на жестокосердіе брата-богача; черкнулъ перомъ Нѣмецъ — и богачъ сталъ бѣденъ и попалъ въ тюрьму, а бѣднякъ разбогатѣлъ, и бывшій богачъ проситъ милостыни у бывшаго бѣдняка; бывшій бѣднякъ заупрямился было, но авторъ—Нѣмецъ, видя, что это безнравственно, заставилъ братьевъ помириться: они обнимаются и плачутъ, какъ два подгулявшіе бюргера; раёкъ хлопаетъ, и занавѣсъ опускается. Этотъ вздоръ переведенъ достойными его стихами, тщаніемъ и усердіемъ извѣстнаго драматурга Александрынскаго Театра. Рубенса не любитъ испанскій грандъ, г. Толченовъ 1-й; за то его любитъ грандесса, которую онъ тоже обожаетъ. Грандъ, чтобы уронить Рубенса при испанскомъ дворѣ, выписываетъ изъ Голландіи учителя его, старика фан-Орста; но Рубенсъ посылаетъ тому вдвое больше денегъ, входитъ, переряженный, подъ именемъ фан-Орста, въ домъ гранда, и пишетъ портретъ съ его жены. Тутъ, разумѣется, нѣжныя и патетическія сцены любви въ нѣмецкомъ вкусѣ, ахи, страхи, охи, вздохи, слезы, фразы; обманъ открывается, грандъ такъ и лѣзетъ на стѣну—хочетъ Рубенса весьма живота лишить; а тотъ, махая мечомъ картоннымъ, пугаетъ и гранда и слугъ его, идетъ во дворецъ—и навлекаетъ на себя гнѣвъ короля; но королева спасаетъ Рубенса, приходитъ въ его мастерскую, заставляетъ соперниковъ помириться и объ-

являетъ имъ, что оба они назначены послами — одинъ въ Римъ, другой въ Лондонъ. Рубенсъ выставленъ въ этой драматической шумихѣ шутомъ, фарсёромъ и фразёромъ; великаго человѣка и художника нѣтъ и тѣни.

710. Литературныя и журнальныя замѣтки [44]).

Старинная пріятельница наша «Сѣверная Пчела» покончила старый годъ и начала новый достойнымъ ея образомъ: всѣмъ извѣстно, что эта газета отличается безпристрастіемъ, хорошимъ тономъ и безкорыстною любовію къ литературѣ; что она хвалитъ только хорошее и порицаетъ только дурное; смотритъ на дѣло, а не на лица; превозноситъ, когда этого требуетъ справедливость, своихъ враговъ, и говоритъ горькую правду своимъ друзьямъ. Все это такъ же извѣстно публикѣ, какъ и намъ; полюбуемся же послѣдними подвигами этой газеты, въ назиданіе ближнимъ, въ поучительный примѣръ для литературной братіи, и въ собственное утѣшеніе... Особенную честь дѣлаетъ «Сѣверной Пчелѣ» то, что она не любитъ полемики, не любитъ журнальныхъ браней, и если презираетъ кого-нибудь, такъ молча, съ достоинствомъ... Всѣмъ извѣстно, что эта газета почитаетъ «Отеч. Записки» журналомъ самымъ плохимъ, не достойнымъ никакого вниманія,—и вотъ то *презрительное молчаніе*, которымъ наказываетъ она несчастные «От. Записки». Въ послѣднемъ (295) нумерѣ за прошлый годъ «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ своихъ читателей, что «она *изъ любопытства* (страсть кумушекъ!) заходила по нѣскольку разъ въ книжныя лавки, передъ праздникомъ» «особенно въ новый магазинъ г-жи Ольхиной, и видитъ, что публика, какъ-бы нарочно, покупаетъ тѣ книги, которыя болѣе порицаются въ Отечественныхъ Запискахъ et Compagnie (?)»,—а порицанія этого журнала, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», «сдѣлались нынѣ *указателемъ* (index) того, что надобно покупать: это такъ вѣрно, какъ то, что послѣ ночи наступаетъ день». Какая твердая, неколебимая увѣренность! Благодаря «Сѣверную Пчелу» за это любопытное извѣстіе и не желая за него остаться въ долгу, спѣшимъ, съ своей стороны, тоже порадовать ее извѣстіемъ, которое не менѣе утѣшительно и болѣе-достовѣрно, ибо подкрѣпляется фактами, всему свѣту извѣстными. По книжнымъ лавкамъ мы не ходимъ, ни въ будни, ни въ праздники, зная, что тамъ ничего не услышишь, кромѣ вздорныхъ сплетень, до которыхъ мы смертельные неохотники: такая неохота, конечно можетъ показаться странною «Сѣверной Пчелѣ», но что же дѣлать, когда это такъ? Иногда только бываемъ мы въ книжномъ магазинѣ г. Иванова, гдѣ находится и контора «Отеч. Записокъ»: тамъ слышали мы, что расходятся именно тѣ книги, которыя хвалятся «Отеч. Записками», а плохо идутъ именно тѣ книги, о которыхъ «Отеч. Записки», по совѣсти, не могутъ отзываться, какъ о литературныхъ произведеніяхъ. Извѣстно всѣмъ и каждому, что «Отеч. Записки» высоко цѣнятъ талантъ Гоголя и видятъ великое произведеніе въ его

«Мертвыхъ Душахъ»: судя по словамъ «Сѣверной Пчелы», этого было бы достаточно, чтобъ «Мертвыя Души» залежались въ лавкахъ; но, увы! всѣмъ и каждому извѣстно, что «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ около 3000 экземпляровъ, почти совсѣмъ раскуплены съ небольшимъ въ полгода!.. Конечно, «Мертвыя Души» обязаны этимъ совсѣмъ не «Отеч. Запискамъ», а собственно своему высокому достоинству; но ихъ чрезвычайный успѣхъ доказываетъ, вопреки увѣреніямъ «Сѣв. Пчелы», что «Отеч. Записки» валятъ только достойное хвалы. Не прошло еще двухъ недѣль послѣ выхода четырехъ томовъ «Сочиненій Николая Гоголя», и уже нѣсколько сотъ экземпляровъ раскуплено нетерпѣливою публикою; эти сочиненія уже столько лѣтъ постоянно хвалятся «Отеч. Записками», и публика, не смотря на то, раскупаетъ ихъ... Какъ теперь согласить эти факты съ упомянутымъ извѣстіемъ «Сѣверной Пчелы»?... Сочиненія Гоголя постоянно унижаются и преслѣдуются бранью и выдумками въ «Сѣверной Пчелѣ»,—и, несмотря на то, публика все-таки раскупаетъ ихъ... Кто же теперь index для публики—«Сѣверная Пчела» или «Отеч. Записки?..»

За тѣмъ, «Сѣверная Пчела» жалуется, что «Отеч. Записки» несправедливы къ ея издателямъ и сотрудникамъ... Странная жалоба! Это значитъ жаловаться на то, что «Отеч. Записки» имѣютъ свой образъ мыслей, свои убѣжденія, свой вкусъ: да кто жъ не имѣетъ права имѣть ихъ? Конечно, жаль, что не всѣ журналы и, особенно, не всѣ газеты имѣютъ мнѣніе, убѣжденіе и вкусъ; но какъ же и ихъ винить за это: чѣмъ виноватъ слѣпо-рожденный, что родился безъ зрѣнія?... Что «Отеч. Записки» не могутъ, по совѣсти, хвалить устарѣлыхъ и забытыхъ сочиненій издателей «Сѣверной Пчелы», это очень-понятно, это вытекаетъ изъ той же самой причины, по которой «Отеч. Записки» не могутъ *не* хвалить на-пр., Крылова, Пушкина, Жуковскаго, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова... Мы даже не удивляемся и тому, что «Сѣверная Пчела» не жалуетъ «Отеч. Записокъ»: этому должно такъ быть, и это выходитъ изъ той же причины, по которой «Сѣверная Пчела» бранитъ Пушкина и Гоголя и восхищается сочиненіями своихъ издателей, драмами гг. Полеваго и Ободовскаго, компиляціею Ламбина, романами и повѣстями Фанъ-Дима и проч. Да, это такъ должно быть, и намъ было бы очень-прискорбно, если бы «Сѣверная Пчела» хвалила журналъ нашъ... Мы понимаемъ, что для этой газеты было бы очень-пріятно и выгодно, еслибъ «От. Записки» хвалили сочиненія ея издателей; да для «Отеч. Записокъ»-то это было бы и непріятно и невыгодно: ибо «Отеч. Записки» пользуются и гордятся репутаціею добросовѣстнаго журнала въ глазахъ образованнѣйшей части читающей русской публики...

«А между тѣмъ (продолжаетъ та же газета) сами издатели «Сѣверной Пчелы» и ихъ сотрудники должны терпѣливо сносить всѣ несправедливости, потому-что имъ нельзя печатать ничего *похвальнаго* о собственныхъ трудахъ».—И вслѣдъ за этими строками «Сѣверная Пчела» говоритъ:

«Теперь, напримѣръ, какъ поступили журналы съ новымъ сочиненіемъ Н. И. Греча: *Письма съ дороги*? Сказали ли гг. критики, что ПО-РУССКИ НѢТЪ И НЕ БЫЛО ТАКОГО ОСНОВАТЕЛЬНАГО, хотя и краткаго описанія Италіи вообще и главныхъ столицъ ея, древняго и новаго Рима, Неаполя и подземной Помпеи съ планами и видами! Сказали ли критики, что ни при одномъ роскошномъ альманахѣ не было такихъ прелестныхъ гравюръ и при томъ двѣнадцать, какъ при этомъ сочиненіи, и что никогда еще за *четыре рубля серебромъ* не предлагали публикѣ столько картинокъ и политипажей!»

Вотъ и неопровержимое доказательство, что «Сѣверная Пчела», по свойственной ей скромности, никогда не хвалитъ сочиненій своихъ издателей!!... Не-уже-ли публика «Сѣверной Пчелы» добродушно вѣритъ такимъ увѣреніямъ, не принимая ихъ въ превратномъ видѣ? Если такъ, то поздравляемъ «Сѣверную Пчелу», у ней *добрая* публика...

Въ томъ же нумерѣ той же газеты находится странная выходка противъ редактора «Нашихъ» за обѣщаніе его—въ скоромъ времени напечатать статью: *Русскій фѣльетонистъ*... Фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» рѣшительно въ ужасѣ отъ обѣщанія редактора «Нашихъ»... подумаешь, право, что дѣло идетъ о чьей-нибудь жизни и смерти... Да много ли у насъ фѣльетонистовъ, да они люди отличнѣйшіе, да они не сословіе!—взываетъ растерявшаяся «Пчела»...

Есть отъ чего въ отчаянье прійдти

А дѣло очень-просто: редакторъ «Нашихъ» хотѣлъ перепечатать изъ «Отеч. Записокъ» (1841 г., т. XV, отд. «Смѣси») прекрасную статью г. Панаева «Русскій Фѣльетонистъ» съ политипажами; но г. Панаевъ, не совсѣмъ-довольный малымъ объемомъ своей статьи, написалъ для «Нашихъ» новую, которая отличается отъ прежней бо́льшею общностью и вѣрно представляетъ разныхъ русскихъ фѣльетонистовъ. О чемъ же тутъ вопіять?.. изъ чего хлопоты?

Въ 1-мъ № «Сѣверной Пчелы» новаго, 1843 года помѣщена статейка «Обозрѣніе журналовъ», въ которой опытные знатоки газетной психологіи провидятъ весьма-сомнительное состояніе газеты... Въ этой статьѣ, «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ, *будто-бы* «лестная довѣренность къ Сѣверной Пчелѣ побудила многихъ изъ ея постоянныхъ читателей отнестись въ ея редакцію письменно, чтобы редакція извѣстила: *на какіе журналы должно подписываться въ наступающемъ 1843 году;* но (будто бы) къ сожалѣнію, редакція не можетъ вполнѣ исполнить этого»!!.. Вотъ здѣсь «Сѣверная Пчела» рѣшительно побѣдила насъ: между постоянными читателями «Отечественныхъ Записокъ» нѣтъ ни одного, который бы такъ мало довѣрялъ своему уму и вкусу, чтобы сталъ просить у насъ совѣта, на какіе ему журналы подписываться и на какіе не подписываться... И вотъ «Сѣверная Пчела» начинаетъ совѣторать *своимъ постояннымъ читателямъ*, до небесъ превознося мнѣы русской журналистики—«Сынъ Отечества» и «Русскій

Вѣстникъ», находя въ нихъ идеалы всевозможнаго совершенства и только одинъ недостатокъ—неаккуратность въ выходѣ книжекъ (или совершенное прекращеніе выдачи книжекъ, какъ сдѣлалось съ «Русскимъ Вѣстникомъ»). Затѣмъ слѣдуютъ похвалы «Библіотекѣ для Чтенія» и ея редактору, который по словамъ «Сѣверной Пчелы» *уважаетъ талантъ и заслугу, но если кого не любитъ, то умалчиваетъ вовсе о его сочиненіи*—вѣроятно, для изъявленія своего уваженія къ таланту и заслугѣ!!... Далѣе расхваленъ «Репертуаръ», а за нимъ—«Экономъ» и вотъ какъ: «*Экономa* нельзя хвалить Сѣверной Пчелѣ, потому что онъ принадлежитъ одному изъ издателей этой газеты, *но публика доказала, что она благосклонна къ Эконому*, который *такъ усердно* печется о хозяйствѣ своихъ читателей, *и о кухнѣ ихъ*, и о туалетѣ ихъ женъ и дѣтей, и наконецъ о ихъ здоровьѣ, и потому *Эконому* остается только благодарить публику за вниманіе». Вотъ скромность, такъ скромность—тутъ уже самохвальства ни на волосъ!... За тѣмъ «Сѣверная Пчела» проситъ публику, подпискою на журналы, *поддержать существованіе*, по крайней мѣрѣ, *четырехъ-сотъ семействъ, отъ ветошника до бумажнаго фабриканта, отъ типографскаго наборщика и переписчика до литератора*... Помилуйте, господа! да съ чего вы взяли, что публика обязана печись о поддержаніи ветошниковъ, бумажныхъ фабрикантовъ, наборщиковъ и переписчиковъ? Публика покупаетъ книги и журналы для собственной пользы и удовольствія, и въ выборѣ книгъ и журналовъ руководствуется своимъ смысломъ и вкусомъ, имѣя въ виду лучшіе, т. е. способнѣйшіе доставить ей пользу и удовольствіе книги и журналы, а совсѣмъ не поддержку разнаго рабочаго народа!.. Этакъ вы ставите ей въ обязанность покупать всякую печатную дрянь—отъ книжекъ объ истребленіи клоповъ до спекуляцій на Исторію Россіи и Суворова и до залежалыхъ нравоописательныхъ романовъ выписавшихся старыхъ сочинителей... Въ заключеніе этой курьёзной статейки, «Сѣверная Пчела» проситъ не подписываться на тѣ журналы, о которыхъ въ статейкѣ не упомянуто; а не упомянуто въ ней объ «Отечественныхъ Запискахъ», «Современникѣ» и «Москвитянинѣ» (котораго еще недавно «Сѣверная Пчела» такъ превозносила). Очевидно, вся эта *буря въ стаканѣ воды* устремлена на «Отечественныя Записки», – и если въ этой статейкѣ «Сѣверная Пчела» скрѣпилась и умолчала о нихъ, за то тѣмъ шибче проговорилась о нихъ черезъ четыре нумера, какъ о томъ показано ниже.

Фёльетонъ 6-го № «Сѣверной Пчелы», начинается похвалою первой книжкѣ «Библіотеки для Чтенія», которая будто-бы «появилась въ свѣтъ въ щегольскомъ розовомъ робронѣ» (вѣроятно *оберткѣ?)* «съ богатымъ ожерельемъ, въ которомъ мы» (т. е. *Сѣверная Пчела*) «замѣтили три дорогія *отечественныя* жемчужины: *Пиръ*—Бенедиктова, *Хозяйка*, повѣсть Фанъ-Дима и *Ломоносовъ*, драматическую повѣсть Н. А. Полеваго»... Каковъ восточный

слогъ?—право, не хуже *отечественныхъ жемчужичъ*, т. е. плохого, на погремушкахъ изъисканныхъ фразъ основаннаго стихотворенія, плохой, на безсмысленномъ явленіи безплотнаго духа основанной повѣсти, и плохой, на общихъ избитыхъ мѣстахъ и фразахъ основанной драмы, гдѣ низкій заимодавецъ-старикъ хочетъ насильно жениться на дѣвушкѣ, а Ломоносовъ, ея великодушный женихъ, кстати уплачиваетъ долгъ и кстати женится... За тѣмъ слѣдуютъ подобострастныя похвалы и робкіе упреки *мелкому жемчугу* и алмазамъ «Библіотеки», которая заставила, въ своей «Лѣтописи» плясать Балакирева въ присядку съ «Супружескою Истиною» и о «Письмахъ съ дороги» г. Греча сказала, что они не новость, потому что были уже напечатаны въ «Сѣверной Пчелѣ». Потомъ идутъ мелкія придирки къ одной ежедневной газетѣ, которая, къ досадѣ «Сѣверной Пчелы», стала несравненно-лучше и интереснѣе ея, преобразовавшись съ новаго года... Послѣ того «Сѣверная Пчела» приступаетъ уже къ главному предмету своей статьи—къ «Отеч. Запискамъ»:

«Чтобъ корабль Р(р)усской Ж(ж)урналистики шелъ плавно по прѣсному морю Р(р)усской С(с)ловесности, на дно корабля т. е. въ трюмъ, положены тяжелыя Отечественныя Записки. Полъ-книги набито мелкимъ шрифтомъ и мелочными сужденіями—ни вѣсть о чемъ! Все *сбито, перемѣшано, надуто и раздуто*... и всегдашнее *блюдо*, которымъ въ каждой книжкѣ Отечественныхъ Записокъ подчиваютъ своихъ читателей, *шпикованный* Ѳ. Булгаринъ, подъ кисло-горькимъ соусомъ—тутъ какъ тутъ! Но только не тотъ Ѳ. Булгаринъ, который написалъ *до сорока томовъ* повѣстей, романовъ и отдѣльныхъ статей *), и который издаетъ, вмѣстѣ съ Н. И. Гречемъ, Сѣверную Пчелу, въ теченіи девятнадцати лѣтъ сряду! Нѣтъ, этотъ Ѳ. Булгаринъ, какъ *ежъ* (?), не дается въ руки встрѣчному и поперечному. У Отечественныхъ Записокъ есть *свой* Ѳ. Булгаринъ, ихъ собственнаго сочиненія, созданный ими по ихъ духу и разуму» (помилуйте! развѣ по духу и разуму «Экономa», потому что шпиковать зайцевъ и тетеревовъ его дѣло!), «и этого-то *несчастнаго истукана* Отечественныя Записки ставятъ ниже гг. Кони, Кузьмичева, Орлова, и въ каждой книжкѣ *варятъ, жарятъ, шпикуютъ*—а настоящій Ѳ. Булгаринъ *и въ усъ себѣ не дуетъ*... потому что это до него *не касается и не прикасается*».

Остановимся на этомъ. Не понимаемъ, съ чего взяла «Сѣверная Пчела», что «Отеч. Записки» считаютъ г. Ѳ. Булгарина однимъ изъ тѣхъ мясныхъ припасовъ, которые и шпикуются, и употребляются на шпикъ?.. Не знаемъ также, за что г. Булгаринъ называетъ себя ежомъ, несчастнымъ истуканомъ, варенымъ, жаренымъ, и пр. Еще менѣе понимаемъ, почему «Сѣв. Пчела» думаетъ, что «Отеч. Записки» занимаются поварскимъ дѣломъ, неотъемлемо принадлежащимъ «Экономy», который издается г. Ѳ. Булгаринымъ!.. Не вѣдаемъ, наконецъ, какую разницу находитъ она между *шпикованнымъ*, говоря ея словами, г. Ѳ. Булгаринымъ и настоящимъ г. Ѳ. Булгаринымъ: въ

*) Что превосходитъ объемомъ труды А. А. Орлова и г-на Кузмичева вмѣстѣ взятыхъ.

1 № «Отеч. Записокъ» [65]) г. О. Булгаринъ представленъ такъ, какъ онъ есть—литераторомъ, который дружески хотѣлъ показать г. Полевому, какъ должно пускать въ ходъ книги о Суворовѣ, и литераторомъ, который *уже не воинъ, а писатель*... Все это сказано было «Отеч. Записками» на основаніи собственной статьи г. О. Булгарина, помѣщенной въ фѣльетонѣ 285 № «Сѣверной Пчелы» прошлаго года... Не-уже-ли повторить, со всею вѣрностью, чьи-нибудь напечатанныя уже слова, значитъ варить, жарить, шпиковать?..

Далѣе, фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» (т. е. г. Булгаринъ же), увѣряя что онъ не читаетъ «Отеч. Записокъ»—(и, полноте шутить!—читаете, да еще какъ!..) заставляетъ своего сотрудника вырывать разныя фразы изъ разныхъ годовъ «Отеч. Записокъ»—фразы дѣйствительно—непостижимыя уму *ученыхъ* издателей «Сѣверной Пчелы». Болѣе всего пострадала отъ ихъ остроумія выписка изъ 2-й части «Фауста» Гёте («Отеч. Записки» 1841 года, томъ XVIII, [66]) отд. Критики, стр. 21), которую «Сѣверная Пчела», въ простотѣ невѣдѣнія, вѣрно приняла за сочиненіе редакціи «Отеч. Записокъ». Бѣдный Гёте, досталось же ему! Добрая газета даже исказила его слова, нападая на какія то *матеріи*, тогда какъ у Гёте дѣло идетъ о *матеряхъ*; но это искаженіе сдѣлано безъ всякаго умысла: «Сѣверная Пчела» просто не поняла въ чемъ дѣло, и по своему обыкновенію называть безсмыслицею и галиматьею все, что превышаетъ ея фѣльетонныя понятія, въ грязь втоптала бѣднаго Гёте... А все отъ-того, что въ-торопяхъ не разсмотрѣла въ нашей статьѣ не однажды-повтореннаго имени Гёте и указанія на «Фауста», изъ котораго взято это мѣсто о «царственныхъ *матеряхъ*», [66]) превращенныхъ «Сѣверною Пчелою въ «царственныя *матеріи*»... Она такъ обрадовалась своей неспособности понимать глубокій смыслъ идей Гёте, или своей способности видѣть безсмыслицу въ идеяхъ Гёте, что начала издавать звуки, смыслъ которыхъ дѣйствительно непостижимъ ни чьему уму, какъ, напримѣръ: «*Ай, вай!*» и пр. (см. 6 № «Пчелы» 1843 года). Зачѣмъ бы, кажется, нападать на то, чего разумѣть не дано свыше! Какъ зачѣмъ? за тѣмъ, чтобъ показать свое презрѣніе къ такому плохому журналу, какъ «Отеч. Записки»! Это стоило того, чтобъ перечитывать его за всѣ годы, и въ 1843 году выписывать фразы изъ 1841 года!.. Право, господа, не мѣшало бы вамъ или лучше скрывать свои настоящія чувства, или ужъ не противорѣчить себѣ, увѣряя публику, что вы не читаете «Отеч. Записокъ»!.. Да не мѣшало бы также вамъ быть поосторожнѣе въ своихъ нападкахъ на нашъ журналъ: вѣдь «Отеч. Записки» не «Сѣверная Пчела» и не «Экономъ»: находить ошибки въ нихъ можно, но тѣмъ только, кто учился чему-нибудь, знаетъ что-нибудь, кромѣ теоріи шпиконванія тетерекъ свинымъ саломъ...

Въ этомъ же фѣльетонѣ, «Сѣверная Пчела» повторила въ тысячу первый разъ, что г. Краевскій «неизвѣстенъ вовсе въ исторіи русской литературы, потому что онъ не написалъ ни одного сочиненія». И это тоже не мѣшало бы оставить, изъ уваженія къ здравому смыслу: кто же повѣритъ вамъ, чтобы

въ русской литературѣ былъ неизвѣстенъ человѣкъ, уже *седьмой* годъ сряду дѣйствующій на поприщѣ русской журналистики и *пятый* годъ редижирующій такой журналъ, какъ «Отеч. Записки»?.. Правда, онъ не писалъ ни романовъ, ни повѣстей, ни драмъ; но это доказываетъ только, что онъ ни романистъ, ни повѣствователь, ни драматургъ, а совсѣмъ не то, чтобъ онъ не былъ журналистомъ и слѣдственно, литераторомъ. Всѣ очень видятъ, что вы это хорошо знаете; такъ же какъ всѣ очень хорошо понимаютъ и ваше равнодушіе, и ваше презрѣніе къ «Отеч. Запискамъ», и то, что вы ихъ совсѣмъ не читаете, хотя и знаете наизустъ цѣлыя статьи изъ нихъ; всѣ знаютъ, что вы и вѣдать не хотите о существованіи «Отеч. Записокъ», хотя только объ нихъ и жужжите, и хотя бываете долго не въ духѣ послѣ выхода каждой книжки этого журнала, безъ умолку толкуете о немъ по выходѣ каждой его книжки, и почему то умолкаете передъ выходомъ слѣдующей...

Въ 5 № «Сѣверной Пчелы» находится блистательное свидѣтельство скромности этой газеты, т. е. того, что она никогда не прославляетъ своихъ издателей. Вотъ что, между прочимъ, сказано въ ней при разборѣ «Записокъ артиллеріи маіора Михаила Васильевича Данилова»:

«Въ особенности мило описаны дѣтскія лѣта автора: характеристика перваго его учителя, пономаря Брудастаго, экзекуція сѣрой кошки и тетушкинъ обычай сѣчь дворню за шалости своего племянника—описаны превосходно *(характеристика учителя описана превосходно*—по каковски это?..). Эти страницы живо напоминаютъ намъ *Ивана Выжигина*, который двинулъ всю литературную Русь на поприщѣ(е) *романовъ*. Враги Булгарина могутъ его осыпать всѣми возможными субъективными стрѣлами міровой своей критики, но заслугъ его никогда не отнимутъ, не помрачатъ. Полемика исчезнетъ, факты останутся. *Иванъ Выжигинъ* былъ первый (*послѣ* «Бурсака» и «Двухъ Ивановъ» Нарѣжнаго,—прибавимъ мы отъ себя) нашъ *Р(р)усскій романъ*, и дай Богъ, чтобъ послѣдователи Булгарина писали такіе же романы (вотъ ужь это безполезное во всѣхъ отношеніяхъ желаніе!). Вотъ новое доказательство всей естественности, всей истины разсказа Булгарина (гдѣ же доказательство?—въ «Сѣверной Пчелѣ»!!!...). Дѣтство маіора Данилова описано съ тѣмъ же простодушіемъ, чистосердечіемъ и увлекательностью (должно быть *съ тѣмъ же*, если сама «Сѣверная Пчела» увѣряетъ: ей лучше знать все, что касается до ея издателя). Авторъ Выжигина не могъ знать Записокъ Данилова, а одинаковыя положенія должны были родить одинаковыя идеи».

Но что же общаго между забытымъ сатирическимъ романомъ и «Записками Данилова», кромѣ того, что то и другое писано русскими, а не греческими буквами? Если съ чѣмъ-нибудь есть общее у «Ивана Выжигина», такъ это съ сатирическимъ же романомъ А. Измайлова: «Евгеній, или Пагубныя Слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества». Хотя этотъ романъ напечатанъ въ 1799 году, но по сатирическому направленію и таланту сочинителя, онъ какъ-разъ приходится въ родные батюшки «Ивану Выжигину», и, надо сказать, что сынокъ уродился въ отца, а не въ проѣзжаго молодца, хотя и воспитанъ въ собачьей канурѣ.

Преобразованіе одной ежедневной политической газеты [67]), совершившееся въ нынѣшнемъ году и много улучшившее эту газету, пробудило спящее соревнованіе «Сѣверной Пчелы»; она призвала къ себѣ на помощь, по части театральной критики, одного знатнаго сочинителя, написавшаго до сотни томовъ романовъ для публики толкучаго рынка, а по части критики литературной, одного пережившаго свою славу литератора, который только и дѣлаетъ, что хоронитъ одинъ журналъ за другимъ, стараясь поднять ихъ на ноги. Этотъ вольнопрактикующій журнальный врачъ дебютировалъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 2) слѣдующею много-знаменательною фразою: «Содержаніе (повѣсти графа Соллогуба) взято изъ большого свѣта. «*Зная область его* (т. е. большого свѣта) только *по наслышкѣ*, мы готовы спросить: не-уже-ли *такъ* бываетъ въ большомъ свѣтѣ?» Слава Богу! Давно бы такъ пора! Послѣ этого добровольнаго сознанія, которое *паче всякаго свидѣтельства*, есть надежда, что «Пчела» перестанетъ толковать о дурномъ и высшемъ тонѣ и нападать, за сальности и неприличіе, на Гоголя, котораго читаетъ большой свѣтъ, не видя въ немъ ни сальностей, ни неприличія [68])...

Въ 1 № «Москвитянина» на 1843 годъ, въ статьѣ «Критическій перечень произведеній Р(р)усской С(с)ловесности за 1842 годъ», находится слѣдующее *оригинальное* сужденіе о г. Бенедиктовѣ, достойное быть сохраненнымъ для потомства:

Несмотря на своихъ враговъ, онъ (г. Бенедиктовъ) остается всегда отмѣченъ (?) своею яркою особенностью въ Р(р)усской лирической П(п)оэзіи. Главная черта его лиры (черта лиры!...) *по нашему мнѣнію* есть мысль, глубоко лежавшая въ каждомъ изъ лучшихъ его произведеній, и растворенная часто, особенно прежде, теплотою душевною, въ отношеніи къ сліянію мысли и чувства (??), М(м)уза Бенедиктова имѣетъ большое родство съ М(м)узою Шиллера, которая произвела на нее сильное вліяніе. Справедливо упрекали Бенедиктова въ изысканности выраженія, въ чемъ можно упрекнуть и славнаго Н(н)ѣмецкаго лирика; но никто не отниметъ у него особенности его стиха и звука, которыхъ онъ ни у кого не занялъ».

Итакъ, дѣло рѣшенное: г. Бенедиктовъ—Шиллеръ, г. Ленскій—Беранже и проч... Послѣ этого, сравненіе Гоголя съ Гомеромъ [69]) ужъ не должно казаться нелѣпостію....

Въ какомъ-то миѳическомъ петербургскомъ журналѣ была, сказывали намъ, напечатана басня «Крысы»; къ удивленію нашему, эта же басня перепечатана въ № XII «Москвитянина» за 1842 годъ. Изъ этого мы заключили, что какъ остроумный сочинитель, такъ и редакторы обоихъ журналовъ, придаютъ большое значеніе этой баснѣ. Чтобъ доставить вящшее наслажденіе всѣмъ имъ, перепечатываемъ басню и для нашихъ читателей:

Въ книгопродавческой обширной кладовой,
Среди печатныхъ книгъ, уложенныхъ стѣной,

Прогрызли какъ-то изъ подполья
Лазейку крысы для себя,
И поживиться всѣмъ любя,
Нашли довольно тутъ и пищи и приволья.
Не знаю, какъ печать
Учились крысы разбирать;
Но дѣло въ томъ: онѣ какъ знали,
Стихотворенія читали,
Поэзію зубами рвали,
И начали судить, рядить,
Поэтовъ, какъ котовъ, бранить,
И на Державина напали.
Одна безхвостая на полку взобралась:
Давно у этой забіяки
Отгрызли хвость *собаки*,
Но крысъ учить она взялась.
«Державинъ былъ талантъ для всѣхъ временъ великій!
«Великій онъ поэтъ лишь для своей поры,
«А не для нашей онъ норы;
«Для насъ пѣвецъ онъ полудикій!
«Для насъ—поэзіи въ немъ нѣтъ;
«Для насъ едва-ли онъ какой-нибудь поэтъ;
«Для насъ все мертво въ немъ, скажу чистосердечно.
«Не наша то вина, и не его, конечно,
«Мы не винимъ его, а судимъ лишь о немъ;
«Пусть судятъ же и насъ путемъ!...»
Такую крыса рѣчь и долго бъ продолжала,
Но груда книгъ, свалясь, безхвостую прижала;
Она пищитъ, скребетъ... котъ Васька близко былъ
И судъ по формѣ совершилъ.
Литературныхъ крысъ я наглости дивился:
Знать Васька котъ запропастился [70])

15 ноября.
1842. Петербургъ.

*711. Сочиненія Державина. *Четыре части. Санктпетербургъ. 1843.*

Статья II [71]).

Такъ какъ искусство, со стороны своего содержанія, есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имѣетъ на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношеніи, какъ масло къ огню, который оно поддерживаетъ въ лампѣ, или, еще болѣе, какъ почва къ растеніямъ, которымъ она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почва неблагопріятна для растительности: бѣдная содержаніемъ историческая жизнь неблагопріятна для искусства. Содержаніе исторической жизни составляютъ идеи, а не одни факты. Всѣ великіе народы, въ исторіи которыхъ міродержавный промыслъ осуще-

ствилъ судьбы человѣчества, жили и живутъ идеею, и умираютъ, какъ скоро ихъ историческая идея изжита ими вполнѣ. Но такіе народы умираютъ только *эмпирически*: идеально же ихъ существованіе безсмертно. Доказательство этому—древній міръ. Доселѣ, вновь прорытая улица Помпеи, вновь отрытый домъ въ ней, съ его утварью и мельчайшими признаками быта жителей,—для насъ, гражданъ новаго міра, составляютъ важное событіе, возбуждая вниманіе всѣхъ образованныхъ людей во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. А какое было бы торжество для образованнаго міра, если бы нашлись утраченныя части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эврипида, Плутарха, Тита-Ливія, Тацита и другихъ?.. Многіе негодуютъ на то, что наши дѣти прежде именъ отечественныхъ героевъ узнаютъ имена Солоновъ, Ликурговъ, Ѳемистокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Александровъ и Цезарей: негодованіе несправедливое и неосновательное!—въ деспотизмѣ такого *умственнаго*, *идеальнаго* владычества древняго міра нѣтъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго: это власть законная, почесть заслуженная! Идея древне-эллинской жизни была такъ глубока и многосторонняя, что нѣтъ никакой возможности даже намекнуть на нее въ нѣсколькихъ словахъ,—особенно, если говоришь о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дѣло—идея исторической жизни Римлянъ: она сколько глубока, столько же и односторонняя, и потому самому даетъ возможность сколько нибудь удовлетворительнаго на нее намека. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная *идея*, ея альфа и омега, ея первое и послѣднее слово,—это *право* (jus). Что было одною изъ многихъ сторонъ исторической жизни Греціи,—то было единою, исключительною и полною жизнію Рима,—и зато, Римъ вполнѣ развилъ, разработалъ и изжилъ этотъ основной элементъ своей жизни. Скажутъ: Римляне велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кромѣ Римлянъ много было народовъ завоевателей: а одни только Римляне, умѣя завоевывать, умѣли и упрочивать свои завоеванія. Чѣмъ же упрочивали они ихъ?—своимъ *правомъ*, своею *гражданственностію*. Побѣжденные народы принимали ихъ законы, обычаи и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому непреложному и вѣчному закону историческаго развитія, по которому тьма уступаетъ мѣсто свѣту, невѣжество—разуму. *Право* было источникомъ всѣхъ событій, всѣхъ волненій и переворотовъ въ исторической жизни Римлянъ, и вся исторія ихъ—развитіе идеи права въ хронологической послѣдовательности фактовъ; оно, это право, было вѣчнымъ движителемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни Римлянъ; изъ него и для него дѣлалась эта упорная борьба патриціевъ и плебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи; пріобщенія къ нему добивались побѣжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и внѣшней войны почти всегда имѣлъ въ Римѣ своимъ результатомъ—успѣхъ *права*. Скажутъ: не смотря на то, что въ основѣ исторической жизни Римлянъ лежала идея, ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась,

можетъ-быть, въ односторонности и исключительности ихъ идеи, равно какъ и въ томъ, что Римляне были по-преимуществу народъ практическій, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наслѣдіе умершей Греціи, на закатѣ ихъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательною почвою для цвѣтовъ поэзіи. Отъ-того латинская поэзія носитъ на себѣ отпечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости: отпущенникъ Мецената, Горацій, добровольно остался рабомъ и холопомъ своего милостивца, и создалъ *меценатскую* поэзію, воспѣвая миръ и тишину Рима, купленные цѣною упадка доблести и добродѣтели. Впрочемъ, и кромѣ Виргилія, этого поддѣльнаго Гомера римскаго, римляне имѣли своего истиннаго и оригинальнаго Гомера въ лицѣ Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма, и по содержанію, и по духу, и по самой реторической формѣ своей. Но высшею поэзіею Римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ дѣлъ, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаетъ и укрѣпляетъ всякую благородную душу въ святомъ чувствѣ патріотическаго героизма, а юстиніановъ кодексъ—зрѣлый плодъ исторической жизни Римлянъ—освободилъ Европу отъ оковъ феодальнаго права. Сначала принятый ею какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и, въ свою очередь, принялъ въ себя христіанскіе элементы, и теперь продолжаетъ развитіе своего безсмертнаго существованія! въ немъ-то и чрезъ него-то доселѣ живетъ древній Римъ въ новомъ мірѣ.

Изъ народовъ новаго человѣчества, испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная и фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхожденію, но родственнымъ ей (по пылкости чувства и воображенія) племенемъ Аравитянъ, и сдѣлалась представительницею рыцарственности среднихъ вѣковъ, съ ея восторженными понятіями о чести, о достоинствѣ привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушіи, съ ея фанатическою и суевѣрною религіозностію. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ на испанскомъ языкѣ; отсюда же объясняется и появленіе сервантесова «Донъ-Кихота»: ибо всякая крайность тамъ же, гдѣ возникла и вызываетъ противъ себя реакцію.

Италія была второю страною новой Европы, гдѣ загорѣлся свѣтъ просвѣщенія. Италію можно назвать, не боясь слишкомъ ошибиться, христіанскою реставраціею изящнаго міра древняго. И потому, какъ Испанія представляла собою чудесное зрѣлище фантастическаго сліянія аравійскаго духа съ европейскимъ христіанствомъ, такъ Италія представляла не менѣе чудное зрѣлище фантастическаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствомъ, котораго *вѣчный городъ* ея былъ главою и представителемъ. Возникшая на классической почвѣ, среди развалинъ и памятниковъ древняго искусства, тевтонская Италія возродилась въ чувствѣ красоты и изящества. Отъ этого, идея искусства сдѣлалась источникомъ жизни Итальянца, и каждый Итальянецъ сталъ или художникомъ, или диллетантомъ. Итальянское искусство осталось вѣрно

своему классическому небу, своей классической природѣ, и въ новыхъ формахъ отразило древнюю жизнь, съ ея изящною нѣгою, съ ея обаятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилось съ преданіями классической древности: Виргилій чуть-чуть не считался святымъ, и въ «Божественной Комедіи» онъ провожаетъ великаго творца ея по мрачнымъ областямъ ада и чистилища. Чувственный и соблазнительный пѣвецъ рыцарскихъ и любовныхъ похожденій, Аріостъ, больше Тасса былъ итальянскимъ Гомеромъ. У самаго Тасса героемъ поэмы скорѣе можно назвать Армиду, чѣмъ Годфреда: обольстительный образъ первой есть болѣе искренное и задушевное, а слѣдовательно, и живое созданіе поэта, чѣмъ суровый образъ втораго. Критики новѣйшаго времени изъявили большія сомнѣнія на счетъ «идеальности» мадоннъ, созданныхъ кистію великихъ живописцевъ Италіи; сверхъ-того, они видятъ въ этихъ мадоннахъ болѣе дань понятіямъ времени, чѣмъ свободное творчество, которому были посвящены другія творенія болѣе-искреннія и задушевныя, и потому болѣе-близкія къ типу обаятельной и совершенно-земной красоты.

Въ наше время, три націи являются по преимуществу представителями человѣчества—Германія, Франція и Англія. Въ *идеализмѣ* заключается источникъ національной жизни Германіи. Міръ идей составляетъ сферу, которою, такъ-сказать, дышетъ Нѣмецъ. Цѣль жизни Нѣмца—знаніе, и знаніе его заключено въ идеѣ; постичь идею предмета, для него—значитъ овладѣть предметомъ. И потому, только въ знаніи и соприкасается Нѣмецъ съ міромъ и жизнію. Отсюда его нравственный аскетизмъ: понявъ идею предмета, онъ равнодушенъ къ тому, что этотъ предметъ не сообразенъ съ своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ поэзіи Нѣмцевъ: мірообъемлющая по идеямъ, воплощеннымъ въ ней, она призываетъ къ миру съ дѣйствительностію, какова бы ни была эта дѣйствительность; она настраиваетъ человѣка къ одинокой созерцательной жизни внутри самого-себя, дѣлаетъ его властелиномъ въ сферѣ мысли и машиною въ сферѣ дѣйствительности. И отъ-того-то нѣмецкая поэзія такъ любитъ избрать слоимъ исключительнымъ предметомъ или внутреннія процессы въ духѣ человѣка, или мистику сердца человѣческаго. А отсюда объясняются великіе успѣхи Нѣмцевъ въ лирической поэзіи и музыкѣ, и ихъ не успѣхи въ другихъ родахъ поэзіи. Но уже аскетическая поэзія Нѣмцевъ исчерпала все свое содержаніе и совершила полный кругъ свой: теперь ждетъ она иныхъ элементовъ, иныхъ мотивовъ. Какъ бы то ни было, но внутренній міръ души человѣка—великій міръ, и Нѣмцы оказали человѣчеству великую услугу ученою и поэтическою разработкою этого міра. Конечно, великое достоинство аскетической поэзіи Нѣмцевъ составляетъ и великій недостатокъ ея, какъ всего односторонняго и исключительнаго; но все же сфера этой поэзіи—сфера всемірно-историческая, и въ ней не могли не явиться великіе, міровые поэты.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ жизненная идея и пафосъ французской

націи: это вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравненію съ нимъ дѣйствительности. Искусство во Франціи всегда было выраженіемъ основной стихіи ея національной жизни: въ вѣкѣ отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно было исполнено иронін и сарказма; теперь оно одно исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоко національнымъ, даже во времена псевдо-классицизма, натянутаго подражанія древнимъ,—и Корнель, Расинъ, Мольеръ столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь Беранжѐ и Жоржъ и Зандъ.

Англія составляетъ прямую противоположность и Германіи и Франціи. Сколько Германія идеальна, столько Англія практически положительна; какъ велики успѣхи Нѣмцевъ въ философіи, такъ ничтожны попытки Англичанъ въ абсолютной наукѣ; у англичанъ источникомъ всѣхъ ихъ историческихъ событій бываетъ *польза* общества. *Человѣкъ* въ этомъ обществѣ ничего не значитъ самъ по себѣ, но получаетъ большее или меньшее значеніе отъ того, что онъ имѣетъ, или чѣмъ онъ владѣетъ. Покореніе силъ природы на службу обществу, побѣда надъ матеріею, пространствомъ и временемъ, развитіе промышленности, какъ основной общественной стихіи, какъ краеугольнаго камня зданія общества,—вотъ въ чемъ сила и величіе Англіи и ея заслуги передъ человѣчествомъ. Во многомъ похожая на древній Римъ, *практическая* Англія довершаетъ свое сходство съ нимъ и огромными завоеваніями, причина которыхъ—корыстные разсчеты, а результатъ—распространеніе цивилизаціи по всему міру. Но въ отношеніи къ искусству, Англія ничего общаго съ древнимъ Римомъ не имѣетъ: тевтонское племя, двумя слоями, саксонскимъ и нормандскимъ, легшее на почвѣ ея историческаго формированія, и христіанство, какъ глубоко вошедшій въ жизнь ея элементъ, заронили въ національный духъ Англичанъ плодовитыя сѣмена поэзіи. Но и въ поэзіи, Англія рѣзко отличается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странѣ по превосходству общественной и практической, въ Англіи особенно развились драма и романъ, недоступные для Нѣмцевъ; отъ французской же поэзіи англійская отличается и своей художественностію и своимъ равнодушіемъ къ вѣрно изображаемой ею дѣйствительности, безъ скорби о неразумности и безъ радости о разумности этой дѣйствительности, безъ порыванія подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противорѣчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ея поэзіи подъ какую-либо опредѣленную точку зрѣнія: такъ, напримѣръ, объ-руку съ ея равнодушіемъ къ добру и злу дѣйствительности идетъ самый глубокій юморъ, а въ Байронѣ Англія имѣла поэта, который, по навосу своей поэзіи, всего родственнѣе Франціи и всего враждебнѣе своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо имѣли сильное вліяніе на Байрона; но правда и то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличаютъ въ немъ сына Британіи. Вообще, Байронъ такъ же есть намекъ на будущее Англіи, какъ Шиллеръ—намекъ на будущее Германіи: оба эти поэта были рѣзкими противорѣ-

чіями національному духу своихъ странъ, и, въ то же время, каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своей странѣ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась его Германія, которую сначала такъ дико озадачило его явленіе; Байронъ же и умеръ въ непримиримой враждѣ съ своей родиною, и великая нація, въ свою очередь, двинулась во срѣтеніе только гробу его...

Если въ этомъ очеркѣ національностей, игравшихъ или играющихъ первыя роли на позорищѣ всемірной исторіи, и въ очеркѣ отношенія исторической идеи жизни народовъ къ ихъ поэзіи, мы не выразили опредѣлительно нашей мысли (чего невозможно было сдѣлать, говоря мимоходомъ о такомъ предметѣ, котораго стало бы на огромное, отдѣльное сочиненіе), то по крайней мѣрѣ сдѣлали на него опредѣлительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуетъ всегда, какъ сумма понятій и правилъ общества; она даетъ себя чувствовать даже въ самыхъ, повидимому, мелочныхъ обычаяхъ и правахъ общества. Такъ, напримѣръ, страсть Французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ и общественнымъ увеселеніямъ, ихъ природная вѣжливость и любезность, охота и умѣніе вести легкій и бѣглый свѣтскій разговоръ, ихъ искусство популяризировать всякое знаніе, дѣлать доступнымъ, черезъ ясное изложеніе, всякій предметъ, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждѣ и житейскихъ удобствахъ, — все вытекаетъ изъ основной идеи ихъ національно-исторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны въ обществѣ; они легче сходятся другъ съ другомъ въ парламентѣ, въ трибуналѣ [72]), на биржѣ, чѣмъ въ салонѣ, и въ послѣднемъ они этикетны; ихъ пиры и обѣды выражаютъ не свѣтскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, гдѣ глава семейства является маленькимъ деспотомъ, и гдѣ основные принципы отзываются маленькимъ варварствомъ феодальныхъ временъ; въ свѣтской же жизни англичане этикетны и скучны съ достоинствомъ. Въ общественныхъ правахъ ихъ царствуютъ чопорность, pruderie и самая ограниченная, самая мелкая, стѣснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть въ ихъ правахъ, какъ необходимый результатъ вѣчнаго торгашества и вѣчной борьбы промышленнаго духа съ внѣшними препятствіями. Энергія національнаго духа Англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своею всемірной торговлею и своими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выражалась въ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величіе ихъ поэзіи; отсюда же происходятъ и ихъ великіе успѣхи въ драматической поэзіи: сама исторія Англіи есть рядъ трагедій,—и Шекспиру легко могла войдти въ голову мысль писать трагическія хроники Англіи: матеріалы были у него подъ рукою, — стоило только оживить ихъ духомъ поэзіи. Нѣмецъ не рожденъ ни для свѣтской, ни для политически-гражданской общительности: что для Француза салонъ, маскарадъ, театръ, гулянье, бульваръ, что для Англичанина парламентъ и биржа,—то для Нѣмца университетъ, уче-

ный съѣздъ, ученый комитетъ. Отсюда это удивительное множество университетовъ, существующихъ цѣлые вѣка; отсюда эта особенность университетскихъ нравовъ и обычаевъ, эта противоположность *буршества* съ *филистерствомъ*. До тридцати лѣтъ Нѣмецъ бываетъ буршемъ, и какъ-скоро часовая стрѣлка станетъ на послѣдней минутѣ его тридцати лѣтъ, онъ тотчасъ же дѣлается филистеромъ. Многіе изъ Нѣмцевъ даже родятся филистерами, и ни одной минуты въ своей жизни не бываютъ буршами, тогда-какъ буршами они никогда не родятся, и только прикидываются ими на время—ужь никакъ не долѣе тридцати лѣтъ. Нѣмецъ уживется гдѣ угодно; ему вездѣ хорошо, вездѣ отечество, и при всемъ этомъ онъ вездѣ вѣренъ себѣ, вездѣ тотъ же угловатый и странный Нѣмецъ. Это явленіе въ самой живой связи съ основною идеею національно-исторической жизни Нѣмцевъ: они въ знаніи признаютъ то, чего еще нѣтъ, но что̀ должно быть по разуму, и отвергаютъ то, что̀ есть въ дѣйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а живутъ въ ладу и въ мирѣ со всякою дѣйствительностію: для Нѣмца *знать* и *жить* двѣ совершенно-различныя вещи. Нѣмецъ болѣе семьянинъ, чѣмъ кто-нибудь, и ничего не можетъ быть возвышеннѣе и сладостнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пошлѣе его семейнаго счастья: таково свойство всякой односторонности и исключительности!.. Сахаръ хорошая вещь, но попробуйте сдѣлать обѣдъ изъ одного сахара или на одномъ сахарѣ—будетъ и приторно и нездорово. Ни на одномъ языкѣ нѣтъ столь высокихъ пѣсенъ любви, какъ на нѣмецкомъ, и на немъ же больше, чѣмъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости сердечныхъ изліяній. И это относится не къ однимъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездарности: что можетъ быть приторнѣе и пошлѣе «Стеллы», «Брата и Сестры», «Германа и Доротеи?»—а Гёте былъ великій геній!

Такимъ образомъ, основная идея національно-историческаго значенія народа, какъ воздухъ—основной элементъ всякаго существованія,—проникаетъ насквозь и внутреннюю и внѣшнюю жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убѣжденій и принциповъ общества и какъ образъ и форма жизни,—то-есть, какъ нравы и обычаи народа. Великій поэтическій талантъ, являющійся среди такого народа, такъ-сказать, съ молокомъ своей матери всасываетъ въ себя готовое уже содержаніе для своей будущей поэзіи, для своихъ будущихъ твореній,—и свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ выражаетъ въ нихъ и достоинство и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина какъ на русскаго Пиндара, Горація и Анакреона вмѣстѣ, должно прежде рѣшить вопросъ: были ли, въ его время, историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланта, готовое содержаніе для его поэзіи? Вотъ въ чемъ вопросъ, а совсѣмъ не въ томъ, что Державинъ былъ потомокъ Багрима, сѣверный бардъ, и что въ его поэзіи щедрою рукою разсыпаны алмазы, сапфиры, изумруды и яхонты...

Какую идею предназначено выражать Россіи,—опредѣлить это тѣмъ труд-

нѣе и даже невозможнѣе, что европейская исторія Россіи началась только съ Петра-Великаго, и что, поэтому, Россія есть страна будущаго. Россія, въ лицѣ образованныхъ людей своего общества, носитъ въ душѣ своей непобѣдимое предчувствіе великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлекаясь ни дѣтскими фантазіями, ни ложнымъ патріотизмомъ, можно сказать смѣло, что есть факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе. Всѣ великіе народы имѣли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ миѳическихъ лицахъ. Много имѣла первыхъ древняя Грецiя, но ни одинъ изъ нихъ не выразилъ собою такъ полно національнаго духа, какъ миѳическое лицо божественнаго Ахилла, воспѣтаго царемъ греческихъ поэтовъ—Гомеромъ. Мы, Русскіе, имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо историческое лицо, ибо отъ дня его смерти протекло только 118 лѣтъ, но который есть миѳическое лицо, со стороны необъятной великости духа, колоссальности дѣлъ и невѣроятности чудесъ, имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и еслибы между его натурою и натурою русскаго народа не было кровнаго родства,—его преобразованія, какъ индивидуальное дѣло сильнаго средствами и волею человѣка, не имѣли бы успѣха. Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцомъ ея. Петръ выразилъ собою великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни. Этою высокою способностью самоотрицанія обладаютъ только великіе люди и великіе народы, и ею-то русское племя возвысилось надъ всѣми славянскими племенами; въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могущества и будущаго величія. До Петра русская исторія вся заключалась въ одномъ стремленіи къ сочлененію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенію ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненныя части Руси, было преобладаніе московскаго великокняжескаго престола надъ удѣлами, а потомъ уничтоженіе ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замѣнявшаго право. Но эпоха Самозванцевъ показала, какъ еще не довольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствованіе Алексія Михайловича обнаружилась живая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европою. Было сдѣлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нуженъ былъ и великій творческій геній, который и не замедлилъ явиться въ лицѣ Петра [73]). Со смертію его, надолго закатилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины II едва поддерживались установленныя Петромъ формы, безъ дальнѣйшаго развитія, движенія впередъ. Великая продолжала дѣло Великаго, и Русь быстро двинулась по пути преуспѣянія. Екатерина II заботилась не о поддержаніи уже устарѣвшихъ формъ эпохи Петра, а о ихъ развитіи. Это была великая эпоха въ исторіи Руси, хотя въ то же время эта эпоха почти столько же домашнее дѣло, въ-отношеніи къ Руси, сколько и эпоха Петра:

обѣ онѣ были залогомъ будущаго всемірно-историческаго содержанія. Но для поэзіи просто, безъ дальнѣйшихъ европейскихъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: въ-продолженіе ея, могъ явиться по крайней мѣрѣ зародышъ поэзіи,—и онъ явился.

Скажутъ: Россія, еще до Екатерины-Великой, держала твердый голосъ на сеймѣ европейскомъ, и ея политическое значеніе тяжело лежало на вѣсахъ европейской политики. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оспаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значеніи, а о нравственномъ всемірно-историческомъ значеніи, которое проявляется въ наукѣ, въ искусствѣ, въ современно-исторической идеѣ самого политическаго стремленія. Намъ опять скажутъ, что въ царствованіе Екатерины II Россія была уже образованною страною, и что духъ XVIII вѣка въ ней такъ же отражался, какъ и въ Пруссіи, при Фридрихѣ II; что Россія не только читала въ подлинникѣ тогдашнихъ знаменитыхъ писателей Франціи, но что эти знаменитые писатели даже переводились на русскій языкъ. Это справедливо, только съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Въ царствованіе Екатерины II, просвѣщеніе и образованность были дѣйствительно европейскія и болѣе или менѣе въ духѣ XVIII вѣка; но они сосредоточивались при дворѣ, не выходя за его предѣлы. Тогда только одинъ классъ общества былъ причастенъ европейскому просвѣщенію и образованности: это—высшее дворянство, имѣвшее доступъ ко двору, или, лучше сказать, вельможество, неимѣвшее въ этомъ отношеніи ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ и притомъ самый меньшій по числу классъ общества еще не составляетъ цѣлаго общества, особенно если онъ своимъ высокимъ положеніемъ разъединенъ съ другими классами. Въ царствованіе Александра-Благословеннаго и среднее дворянство, значительное по числу, явилось просвѣщеннѣйшимъ и образованнѣйшимъ сословіемъ сравнительно съ другими. Поэтому очень-понятно, что въ то время всѣ замѣчательнѣйшіе писатели наши принадлежали исключительно этому сословію. Въ настоящее благополучное царствованіе, просвѣщеніе и образованность замѣтно распространились не только между среднимъ сословіемъ (разумѣя подъ этимъ словомъ такъ-называемыхъ «разночинцевъ»), но и между низшими классами: покрайней-мѣрѣ теперь не рѣдкость образованные и даже просвѣщенные люди изъ купеческаго и мѣщанскаго сословія, изъ которыхъ нѣкоторые даже пользуются болѣе или менѣе почетною извѣстностію въ литературѣ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобъ теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго мнѣнія. Но въ царствованіе Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической послѣдовательности. Тогда дѣйствительно переводили по-русски философскія сказки Вольтера и «Новую Элоизу» Руссо, но ихъ читали, какъ читали «Нещастнаго Никанора, Русскаго Дворянина», «Приключенія Мирамонда» Эмина, «Письмовникъ» Курганова и тому подобныя книги, добродушно не подозрѣвая никакой разницы между тѣми европейскими твореніями и этими самодѣльными произве-

деніями домашней стряпни. И XVIII вѣкъ отразился только на одномъ вельможествѣ, какъ мы выше замѣтили. Но какъ Державинъ, за свой талантъ, вошелъ въ знать, то и на немъ не могъ не отразиться, болѣе или менѣе XVIII вѣкъ. Можно сказать, что въ твореніяхъ Державина ярко отпечатлѣлся *русскій XVIII вѣкъ*. По прежде, нежели разсмотримъ мы, какъ и до какой степени отпечатлѣлся этотъ вѣкъ на Руси екатерининской эпохи, и какъ тотъ же вѣкъ отразился на поэзіи Державина, скажемъ, что всѣ сочиненія Державина, вмѣстѣ взятыя, далеко не выражаютъ въ такой полнотѣ и такъ рельефно русскаго XVIII вѣка, какъ выраженъ онъ въ превосходномъ стихотвореніи Пушкина «Къ Вельможѣ». При сужденіи о русскомъ XVIII вѣкѣ и поэтическомъ выразителѣ его, Державинѣ, нельзя не взять въ соображеніе этого стихотворенія Пушкина:

Отъ сѣверныхъ оковъ освобождая міръ
Лишь только на поля струясь дохнетъ зефиръ
Лишь только первая позелѣнетъ липа,
Къ тебѣ, *привѣтливый потомокъ Аристиппа*,
Къ тебѣ явлюсь я; увижу сей дворецъ,
Гдѣ циркуль зодчаго, палитра и рѣзецъ,
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные въ волшебствѣ состязались.
Ты понялъ жизни цѣль: счастливый человѣкъ,
Для жизни ты живешь. Свой долгій, ясный вѣкъ
Еще ты съ молоду умно разнообразилъ,
Искалъ возможнаго, умѣренно проказилъ,
Чредою шли къ тебѣ забавы и чины.
Посланникъ молодой увѣнчанной жены,
Явился ты въ Ферней, и циникъ посѣдѣлый,
Умовъ и моды вождь, проницливый и смѣлый,
Свое владычество на сѣверѣ любя,
Могильнымъ голосомъ привѣтствовалъ тебя.
Съ тобой веселости онъ расточалъ избытокъ,
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.
Съ Фернеемъ распростясь, увидѣлъ ты Версаль.
Пророческихъ очей не простирая вдаль,
Тамъ ликовало все. Армида молодая,
Къ веселью, роскоши знакъ первый подавая,
Не вѣдая, чему судьбой обречена,
Рѣзвилась, вѣтреным двором окружена.
Ты помнишь Тріанонъ и шумныя забавы?
Но ты не изнемогъ отъ сладкой ихъ отравы;
Ученье дѣлалось на время твой кумиръ:
Уединился ты. За твой суровый пиръ
То чтитель Промысла, то скептикъ, то безбожникъ,
Садился Дидеротъ на шаткій свой треножникъ,
Бросалъ парикъ, глаза въ восторгѣ закрывалъ
И проповѣдывалъ. И скромно ты внималъ
За чашей медленной аѳею иль дейсту,
Какъ любопытный Скиѳъ аѳинскому софисту.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . Ступивъ за твой порогъ,
Я вдругъ перепошусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидѣтельствуютъ мнѣ,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тишинѣ,
Что ими въ праздности ты дышешь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободный
Исполненъ юности. Вліянье красоты
Ты живо чувствуешь. Съ восторгомъ цѣнишь ты
И блескъ А*** и прелесть***.
Безпечно окружась Корреджіемъ, Каповой,
Ты, не участвуя въ волненіяхъ мірскихъ,
Порой насмѣшливо въ окно глядишь на нихъ
И видишь оборотъ во всемъ кругообразный.

Этотъ портретъ вельможи стараго времени — дивная реставрація руины въ первобытный видъ зданія. Это могъ сдѣлать только Пушкинъ. Кромѣ его художнической способности переноситься всюду и во все по волѣ фантазіи своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему въ перспективѣ. Прошедшее всегда и виднѣе и понятнѣе настоящаго. Отъ Державина, какъ современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII вѣка, который много разнился отъ европейскаго XVIII вѣка. Эта разность вѣрно схвачена Пушкинымъ въ послѣднихъ стихахъ перваго отрывка—

... .И скромно ты внималъ
За чашей медленной аѳею иль деисту,
Какъ любопытный Скиѳъ аѳинскому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравнѣ и съ этимъ Скиѳомъ: онъ относится къ этому Скиѳу, какъ тотъ Скиѳъ къ аѳинскому софисту. Лишенный всякаго образованія, не зная французскаго языка, Державинъ не былъ слишкомъ причастенъ ни нравственной порчѣ, ни истинному прогрессу того времени, и въ сущности нисколько не понималъ его. Хваля добро того времени, онъ не прозрѣвалъ связи его со зломъ и, нападая на зло, не провидѣлъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ сторонъ отразился русскій XVIII вѣкъ въ поэзіи Державина: это со стороны наслажденія и пировъ, и со стороны трагическаго ужаса при мысли о смерти, которая махнетъ косою — и

Гдѣ пиршествъ раздавались клики,
Надгробные тамъ воютъ лики...

Державинъ любилъ воспѣвать „умѣренность“; но его умѣренность очень похожа на горацiанскую, къ которой всегда примѣшивалось фалернское... Бросимъ взглядъ на его прекрасную оду „Приглашеніе къ Обѣду“.

Шекснинска стерлядь золотая,
Кайманъ и борщъ уже стоятъ;
Въ крафинахъ вина, пунши, блистая
То льдомъ, то искрами манятъ;
Съ курильницъ благовонья льются,
Плоды среди корзинъ смѣются,
Не смѣютъ слуги и дохнуть,
Тебя стола вкругъ ожидая;
Хозяйка статная, младая,
Готова руку протянуть.
Приди, мой благодѣтель давній,
Творецъ чрезъ двадцать лѣтъ добра!
Приди—и домъ хоть ненарядный,
Безъ рѣзьбы, злата и сребра,
Мой посѣти: его богатство—
Пріятный только вкусъ, опрятство,
И твердый мой, нельстивый нравъ.
Приди отъ дѣлъ попрохладится,
Поѣсть, попить, повеселиться,
Безъ вредныхъ здравію приправъ!

Какъ все дышетъ въ этомъ стихотвореніи духомъ того времени—и пиръ для милостивца, и умѣренный столъ, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотою шекснинскою стерлядью, съ винами, которыя „то льдомъ, то искрами манятъ“, съ благовоніями, которыя льются съ курильницъ, съ плодами, которые смѣются въ корзинкахъ, и особенно—съ слугами, которые не смѣютъ и дохнутъ!.. [74]). Конечно, понятіе объ „умѣренности“ есть относительное понятіе,—и въ этомъ смыслѣ, самъ Лукуллъ былъ умѣренный человѣкъ. Нѣтъ, люди нашего времени искреннѣе: они любятъ и поѣсть и попить и за столомъ любятъ поболтать не объ умѣренности, а о роскоши. Впрочемъ, эта „умѣренность“ и для Державина существовала больше, какъ „піитическое украшеніе для оды“. Но вотъ, словно мимолетное облако печали пробѣгаетъ въ веселой одѣ мысль о смерти:

И знаю я, что вѣкъ нашъ—тѣнь;
Что лишь младенчество проводимъ,
Уже ко старости приходимъ,
И смерть къ намъ смотритъ чрезъ заборъ.

Это мысль искренняя; но поэтъ въ ней же и находитъ способъ къ утѣшенію:

Увы! то какъ не умудриться.
Хоть разъ цвѣтами не увиться
И не оставить мрачный взоръ?

За тѣмъ, опять грустное чувство:

Слыхалъ, слыхалъ и тайну эту,
Что иногда груститъ и царь;
Ни ночь, ни день покоя нѣту,
Хотя имъ вся покойна тварь,

Хотя онъ громкой славой знатенъ.
Но ахъ! и тронъ всегда ль пріятенъ
Тому, кто вѣкъ свой въ хлопотахъ?
Тутъ зритъ обманъ, тамъ зритъ упадокъ:
Какъ бѣдный часовой тотъ жалокъ,
Который вѣчно на часахъ!

Но не бойтесь: грустное чувство не овладѣетъ ходомъ оды, не окончитъ ея элегическимъ аккордомъ, — что такъ любитъ наше время: поэтъ опять находитъ поводъ къ радости въ томъ, что на минуту повергло его въ унылое раздумье:

И такъ, доколь еще ненастье
Не помрачаетъ красныхъ дней,
И приголубливаетъ счастье
И гладитъ насъ рукой своей;
Доколѣ не пришли морозы,
Въ саду благоухаютъ розы,
Мы поспѣшимъ ихъ обонять.
Такъ! будемъ жизнью наслаждаться,
И тѣмъ, чѣмъ можемъ утѣшаться,
По платью ноги протягать.

Заключеніе оды совершенно неожиданно, и въ немъ видна характеристическая черта того времени, непремѣнно требовавшаго, чтобы сочиненіе оканчивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту пьесу стихомъ: „по платью ноги протягать“; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, иль кто другіе
Изъ званыхъ милыхъ мнѣ гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яства сахарны царей,
Ко мнѣ не сядитесь откушать,
Извольте вы мой толкъ прослушать:
Блаженство не въ лучахъ порфиръ,
Не въ вкусѣ яствъ, не въ нѣгѣ слуха,
Но въ здравьи и въ спокойствѣ духа.
Умѣренность есть лучшій пиръ.

Ту же мысль находимъ мы во многихъ стихотвореніяхъ Державина; но съ особенною рѣзкостью высказалась она въ одѣ „Къ Первому Сосѣду“, одномъ изъ лучшихъ произведеній Державина.

Кого роскошными пирами,
На влажныхъ невскихъ островахъ,
Между тѣнистыми древами,
На муравѣ и на цвѣтахъ,
Въ шатрахъ персидскихъ, златошвенныхъ,
Изъ глинъ китайскихъ драгоцѣнныхъ,
Изъ вѣнскихъ чистыхъ хрусталей,
Кого столь славно угощаешь,
И для кого ты расточаешь
Сокровища казны твоей?

Гремитъ музыка; слышны хоры
Вкругъ лаковыхъ твоихъ столовъ,
Сластей и ананасовъ горы,
И множество другихъ плодовъ
Прельщаютъ чувства и питаютъ;
Младыя дѣвы угощаютъ,
Подносятъ вина чередой —
И аліатико съ шампанскимъ,
И пиво русское съ британскимъ
И мозель съ зельтерской водой.
Въ вертепѣ мраморномъ, прохладномъ,
Въ которомъ льется водоскатъ,
На ложѣ розъ благоуханномъ,
Средь нѣги, лѣни и отрадъ,
Любовью распаленный страстной,
Съ младой, веселою, прекрасной
И съ нѣжной нимфой ты сидишь:
Она поетъ,—ты страстью таешь,
То съ ней въ весельи утопаешь,
То, утомленъ весельемъ, спишь.

Сколько въ этихъ стихахъ одушевленія и восторга, свидѣтельствующихъ о личномъ взглядѣ поэта на пиршественную жизнь такого рода! Въ этомъ видѣнъ духъ русскаго XVIII вѣка, когда великолѣпіе, роскошь, прохлады, пиры, казалось, составляли цѣль и разгадку жизни. Со всѣми своими благоразумными толками объ „умѣренности“, Державинъ невольно, можетъ быть, часто безсознательно, вдохновляется восторгомъ при изображеніи картинъ такой жизни, — и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задушевности, чѣмъ въ его философскихъ и нравственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говоритъ душа и сердце; а во вторыхъ—резонёрствующій холодный разсудокъ. И это очень-естественно: поэтъ только тогда и искренъ, а слѣдовательно только тогда и вдохновенъ, когда выражаетъ непосредственно присущія душѣ его убѣжденія, корень которыхъ растетъ въ почвѣ исторической общественности его времени. Но, какъ мы замѣтили прежде, — пиршественная жизнь была только одною стороною того времени: на другой его сторонѣ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же вѣкъ пировать, что переворотъ колеса фортуны, или безпощадная смерть положатъ же, рано или поздно, конецъ этой прекрасной жизни. И потому, остальная половина этой прекрасной оды растворена грустнымъ чувствомъ, которое, однакоже, не только не вредитъ внутреннему единству оды, но въ себѣ-то именно и заключаетъ его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимымъ слѣдствіемъ того весело восторженнаго праздничнаго чувства, которое высказалось въ первой половинѣ оды.

Ты спишь—и сонъ тебѣ мечтаетъ,
Что въ вѣкъ благополученъ ты;
Что само небо разсылаетъ
Блаженства вкругъ тебя цвѣты;

Что парка дней твоихъ не коситъ;
Что откупъ вновь тебѣ приноситъ
Сибирски горы серебра,
И дождь златой къ тебѣ лѣется.
Блаженъ, кто по утру проснется
Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера!
Блаженъ, кто можетъ веселиться
Безперерывно съ жизни сей!
Но рѣдкому ловцу случится
Безбѣдно плавать средь морей:
Тамъ бури дышатъ непогоды,
Горамъ подобно гонятъ воды
И съ пѣною песокъ мутятъ.
Нетрополь сосны осѣяли,
Но вихремъ пораженны пали:
Теперь корнями вверхъ лежатъ.
Непостоянство—доля смертныхъ;
Въ премѣнахъ вкуса—счастье ихъ;
Среди утѣхъ своихъ несметныхъ
Желаемъ мы утѣхъ иныхъ.
Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанутъ граціи трепать;
И, можетъ быть, съ тобой въ разлукѣ,
Твоя ужъ Пенелопа къ скукѣ
Коверъ не будетъ распускать.
Не будетъ, можетъ быть, лелѣять
Судьба ужъ болѣе тебя,
И вѣтръ благопріятный вѣять
Въ твой парусъ:—береги себя!

Въ заключительныхъ стихахъ оды, Державинъ особенно вѣренъ духу своего времени:

Доколь текутъ часы златые
И не присѣли скорби злыя,—
Ней, пьи и весели, сосѣдъ!
На свѣтѣ жить намъ время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коимъ нѣтъ.

Чувство наслажденія жизнію принимало иногда у Державина характеръ необыкновенно-пріятный и граціозный, какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи — «Гостю», дышущемъ, кромѣ того, боярскимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ
Диванѣ мягкомъ отдохни;
Въ семъ тонкомъ пологу перловомъ,
И въ зеркалахъ вокругъ усни:

Вздремни послѣ стола немножко;
Пріятно часикъ похрапѣть;
Златой кузнечикъ, сѣра мошка,
Сюда не могутъ залетѣть.
Случится, что изъ сновъ прелестныхъ
Приснится здѣсь тебѣ какой:
Хоть кладъ изъ облаковъ небесныхъ
Златой посыплется рѣкой,
Хоть дѣвушки мои домашни
Рукой тебѣ махнутъ,—я радъ:
Любовныя пріятны шашни,
И поцалуй въ сей жизни кладъ.

Итакъ, вотъ созерцаніе, составляющее основный элементъ поэзіи Державина; вотъ гдѣ и вотъ въ чемъ отразился на русскомъ обществѣ XVIII вѣкъ и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII вѣка. И ни въ одномъ изъ его стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такою полнотою и яркостію идеи, такою торжественностію тона, такою полётистостію фантазіи и такимъ громозвучіемъ слова, какъ въ его превосходной одѣ „На смерть кн. Мещерскаго“, которая вмѣстѣ съ „Водопадомъ“ и „Фелицею“, составляетъ ореолъ поэтическаго генія Державина, — лучшее изо всего, написаннаго имъ. Не смотря на нѣкоторую напряженность, на нѣсколько-реторическій тонъ, составлявшіе необходимое условіе и неизбѣжный недостатокъ поэзіи того времени,—сколько величія, силы, чувства, и сколько искренности и задушевности въ этой чудной одѣ! Да и какъ не быть искренности и задушевности, если эта ода — исповѣдь времени, вопль эпохи, символъ ея понятій и убѣжденій! Какъ колоссаленъ у нашего поэта страшный образъ этой безпощадной смерти, отъ роковыхъ когтей которой не убѣгаетъ никакая тварь! Сколько отчаянія въ этой характеристикѣ вооруженъ наго косою скелета: и монархъ и узникъ — снѣдь червей; злость стихій пожираетъ самыя гробницы; даже славу зіяетъ стереть время; словно быстрыя воды льются въ море — льются дни и годы въ вѣчность; царства глотаетъ алчная смерть; мы стоимъ на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низринуться; съ жизнію получаемъ и смерть свою—родимся для того, чтобъ умереть; все разитъ смерть безъ жалости:

И звѣзды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всѣмъ мірамъ она грозитъ!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія, потрясеннный отчаяніемъ духъ поэта обращается уже собственно къ человѣку, о жалкой участи котораго онъ прежде слегка намекнулъ:

Не мнитъ лишь смертный умирать
И быть себя онъ вѣчнымъ чаетъ.—
Приходитъ смерть къ нему, какъ тать,
И жизнь внезапу похищаетъ.

Увы! гдѣ меньше страха намъ,
Тамъ можетъ смерть постичь скорѣе;
Ея и громы не быстрѣе
Слетаютъ къ гордымъ вышинамъ.

Что́ же навело поэта на созерцаніе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человѣка въ особенности? — Смерть знакомаго ему лица. Кто же было это лицо — Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій, или другой кто изъ историческихъ дѣйствователей того времени? — Нѣтъ: то былъ —

Сынъ роскоши, прохладъ и нѣгъ!

О, XVIII вѣкъ! о, русскій XVIII вѣкъ!..

Сынъ роскоши, прохладъ и нѣгъ,
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился:
Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
Гдѣ жъ онъ?—онъ тамъ. Гдѣ тамъ?—не знаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

Вникните въ смыслъ этой строфы—и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасомъ души, крикъ нестерпимаго отчаянія... А между тѣмъ, исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцанія жалкой участи человѣка — не иное что, какъ смерть богача... Можно подумать, что бѣднякъ, умершій съ голоду, среди оборванной семьи, въ предсмертной агоніи просящей хлѣба,— не возбудилъ бы въ поэтѣ такихъ горестныхъ чувствъ, такихъ безотрадныхъ воплей... Что дѣлать! у всякаго времени своя болѣзнь и свой недостатокъ. Время наше лучше прошлаго, а не мы лучше отцовъ нашихъ; если мотивы нашихъ страданій выше и благороднѣе, если ропотъ отчаянія вырывается изъ стѣсненной, сдавленной груди нашей не при видѣ богача, умершаго отъ индижестіи, а при видѣ непризнаннаго таланта, страждущаго достоинства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся порывовъ къ великому и прекрасному...

Утѣхи, радость и любовь
Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,
У всѣхъ тамъ цѣпенѣетъ кровь
И духъ мятется отъ печали:
Гдѣ столъ былъ яствъ—тамъ гробъ стоитъ,
Гдѣ пиршествъ раздавались клики—
Надгробные тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ...

Здѣсь опять непосредственнымъ источникомъ отчаянія—противуположность между *утѣхами*, *радостію*, любовію и *здравіемъ* и между зрѣлищемъ смерти, между столомъ съ яствами и столомъ съ гробомъ, между кликами

пиршествъ и воемъ надгробныхъ ликовъ... Дѣти пировали за столомъ—грянулъ громъ и обратилъ въ прахъ часть собесѣдниковъ: остальные въ ужасѣ и отчаяніи... И какъ не быть имъ въ ужасѣ, когда ихъ пронзила ужасная мысль: къ чему же и пиры, если и ими нельзя спастись отъ смерти—а безъ пировъ къ чему же и жизнь?.. Да, наше время лучше времени отцовъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и дѣлаютъ, что пируютъ; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаются и въ наше время,—это правда; но отъ-чего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя, блѣдныя лица, омраченныя тоскою и заботою, этотъ—

...Увядшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ?..

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться, какъ веселились въ старые, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ...

Говоря о невѣрности и скоротечности жизни человѣка, поэтъ обращается къ себѣ-самому,—и его слова полны вдохновенной грусти:

Какъ сонъ, какъ сладкая мечта,
Исчезла и моя ужъ младость;
Не сильно нѣжитъ красота,
Не столько восхищаетъ радость,
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ;
Желаніемъ честей размученъ,
Зоветъ, я слышу, славы шумъ.

И такъ, вотъ новое обольщеніе на вечерней зарѣ дней поэта; но, увы! его разочарованное чувство уже ничему не довѣряетъ,—и онъ восклицаетъ въ порывѣ грустнаго негодованія:

Но такъ и мужество пройдетъ,
И вмѣстѣ къ славѣ съ нимъ стремленье;
Богатствъ стяжаніе минетъ
И въ сердцѣ всѣхъ страстей волненье
Прейдетъ, прейдетъ въ чреду свою.
Подите счастья прочь возможны!
Вы всѣ премѣнчивы и ложны:
Я въ дверяхъ вѣчности стою!

Казалось бы, что здѣсь и конецъ одѣ; но поэзія того времени страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послѣ порядковой хріи, гдѣ въ концѣ повторялось другими словами уже сказанное въ предложеніи и приступѣ. Итакъ, какой же выводъ сдѣлалъ поэтъ изъ всей своей оды?—посмотримъ:

Сей день, иль завтра умереть,
Перфильевъ, должно намъ конечно:
Почто жъ терзаться и скорбѣть,
Что смертный другъ твой жилъ не вѣчно?
Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоей душою
Благословляй судебъ ударъ.

Видите ли: поэтъ остался вѣренъ духу своего времени и самому-себѣ: оно, конечно, тяжело, а все-таки не худо подумать о томъ, чтобъ жизнь-то устроить себѣ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; вотъ какъ живописалъ картину отчаянія одинъ изъ нихъ:

То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты,
Безъ протяженья и границъ;
То были образы безъ лицъ;
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ Промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть—какъ сонмъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и нѣмой [75]).

Прочитавъ такіе стихи, право, потеряешь охоту устраивать жизнь себѣ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего существующаго тяготила Державина. Она высказывается во многихъ его стихотвореніяхъ, и ее же силились выразить хладѣющіе персты умирающаго поэта, въ этихъ *послѣднихъ* стихахъ его:

Рѣка временъ въ своемъ стремленьи
Уноситъ всѣ дѣла людей,
И топитъ въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрезъ звуки лиры и трубы,
То вѣчности жерломъ пожрется,
И общей не уйдетъ судьбы!

Мысль эта также принадлежала XVIII вѣку, когда не понимали, что проходятъ и мѣняются личности, а духъ человѣческій живетъ вѣчно. Идея о прогрессѣ еще только возникала; когда немногіе только умы понимали, что въ потокѣ времени топутъ формы, а не идея, преходятъ и мѣняются личности человѣческія... И въ этой мысли о скоротечности и преходящности всего земного, такъ томившей Державина, такъ неразлучно жившей съ его душою, мы видимъ отраженіе на русское общество XVIII вѣка. Но здѣсь и конецъ

этому отраженію: Державинъ совершенно чуждъ всего прочаго, чѣмъ отличается этотъ чудный вѣкъ. Впрочемъ, XVIII вѣкъ выразился на Руси еще въ другомъ писателѣ, не разсмотрѣвъ котораго нельзя судить о степени и характерѣ вліянія XVIII вѣка на русское общество: мы говоримъ о Фон-Визинѣ. Конечно, и на немъ вѣкъ отразился довольно поверхностно и ограниченно; но въ другомъ характерѣ и другою стороною, чѣмъ на Державинѣ.

Чѣмъ разнообразнѣе произведенія поэта, тѣмъ болѣе критика должна заботиться объ опредѣленіи ихъ достоинства относительно однихъ къ другимъ. Въ этомъ случаѣ, критика должна принимать въ соображеніе, какія изъ произведеній поэта особенно нравились его современникамъ, какія особенно уважались ими; равнымъ образомъ, какими изъ своихъ произведеній особенно дорожилъ самъ поэтъ, или на какихъ онъ особенно основывалъ заслуги свои передъ искусствомъ. Но критика должна принимать къ свѣдѣнію подобныя обстоятельства и основывать на нихъ свое сужденіе тогда только, когда они не противорѣчатъ высшему критеріуму достоинства всякихъ поэтическихъ произведеній, то-есть искренности ихъ и задушевности. Случается иногда, что поэтъ, по духу своего времени, особенно дорожитъ самыми холодными и сухими своими произведеніями, въ которыхъ участвовалъ одинъ разсудокъ, и нисколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношеніи къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно вводитъ ихъ содержаніе, или предметъ произведенія. Они не думаютъ о томъ, что предметъ стихотворенія можетъ быть важенъ, великъ, даже священенъ, а само стихотвореніе тѣмъ не менѣе можетъ быть очень-плохо. Такъ, напримѣръ, никто не станетъ спорить, чтобъ содержаніе „Александроиды“ г. Свѣчина не было неизмѣримо выше содержанія „Руслана и Людмилы“, или „Графа Нулина“ Пушкина; но никто также не станетъ спорить, что „Русланъ и Людмила“ и „Графъ Нулинъ“—прекрасныя поэтическія произведенія, а „Александроида“—образецъ бездарности и ничтожности. Въ первомъ томѣ „Русской Бесѣды“ напечатана была большая ода Державина „Слѣпой Случай“, мысль которой—несомнѣнность личнаго безсмертія,—и тогда же нѣкоторые изъ господъ-сочинителей какого-то плохаго періодическаго изданія раскричались объ этой ново-найденной одѣ, словно о ново-открытой Коломбомъ Америкѣ. Они увидѣли въ этой одѣ величайшее созданіе величайшаго поэта, не замѣтивъ, какъ люди безъ эстетическаго чувства, что дѣльная и высокая мысль этой оды высказана до крайности плохими стихами и что, по своей поэтической отдѣлкѣ и самому расположенію мыслей, вся эта ода очень похожа на школьное реторическое упражненіе, холодное, сухое и общими мѣстами наполненное [76]. Таковы почти всѣ державинскія переложенія псалмовъ: мало сказать, что они ниже своего предмета—можно сказать, что они рѣшительно недостойны своего высокаго предмета,—и кто знакомъ съ прозаическимъ переложеніемъ псалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ и

на русскомъ языкѣ,—тотъ въ переложеніяхъ Державина не узнаетъ высокихъ боговдохновенныхъ гимновъ порфироноснаго пѣвца Божія. Исключеніе остается только за переложеніемъ 81-го псалма „Властителямъ и Судіямъ“, въ которомъ талантъ Державина умѣлъ приблизиться къ высотѣ подлинника:

Возсталъ всевышній Богъ, да судитъ
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.
„Доколѣ“, рекъ: „доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ.

«Вашъ долгъ есть: охранять законы,
На лица сильныхъ не взирать.
Безъ помощи, безъ обороны
Сиротъ и вдовъ не оставлять.

«Вашъ долгъ: спасать отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ;
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ,
Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ“.

Не внемлютъ!—видятъ и не знаютъ!
Покрыты мглою очеса;
Злодѣйствы землю потрясаютъ,
Неправда зыблетъ небеса.

Переложенія псалмовъ и подражанія имъ, въ собраніяхъ сочиненій Державина, обыкновенно помѣщаются вмѣстѣ съ его одами духовнаго и нравственнаго содержанія, и вмѣстѣ съ ними образуютъ какъ-бы особенный отдѣлъ державинской поэзіи. Весь этотъ отдѣлъ, обыкновенно высоко-цѣнимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и тѣми же качествами: длиннотою, вялостію, водянистію и плохими стихами. Рѣдко, рѣдко вспыхиваютъ въ одахъ этого отдѣла искорки поэзіи. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замѣчательна по поэтическимъ мѣстамъ и даже по высокости мыслей; но неопредѣленность идеи цѣлаго повредила и поэтическому достоинству цѣлаго. Мы говоримъ объ одѣ «Безсмертіе Души». Явно, что поэтъ смѣшалъ въ ней два совершенно различныя понятія—безсмертіе идеи, не умирающей въ преходящихъ фактахъ, и личное безсмертіе человѣка или безсмертіе души. Отъ-того, въ одной одѣ очутилось двѣ оды, несвязанныя внутреннимъ единствомъ, перебитыя и перемѣшанныя одна съ другою. И что же?—тѣ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены поэзіи и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль прозаичны и поверхностны.

Говоря о прекрасныхъ мѣстахъ оды «Безсмертіе Души», нельзя не указать на слѣдующія:

Сей духъ въ пророкахъ предвѣщаетъ,
Паритъ въ пінтахъ въ высоту,
Въ витіяхъ сонмы убѣждаетъ,
Съ народовъ гонитъ слѣпоту;

Сей духъ и въ узахъ не страшится
Тирапамъ правду говорить:
Чего безсмертному страшиться?
Онъ будетъ и за гробомъ жить.
. . . . . .
. . . . . .
Нашъ прахъ слезами оросится,
Гробъ скоро мохомъ заростетъ;
Но огнь отъ праха въ томъ родится,
Надгробну надпись кто прочтетъ:
Блеснетъ,—и вновь подъ небесами
Начнетъ свой фениксъ новый кругъ.
Все движется, живетъ дѣлами,
Душа безсмертна, мысль и духъ.

Какъ сѣрный паръ прикосновеньемъ
Вмигъ возгарается огня,
Подобно мысли сообщеньемъ
Возможно вдругъ возжечь меня:
Вослѣдъ же моему примѣру
Пойдетъ отважно и другой;
Такъ дѣлъ и мыслей атмосферу
Мы простираемъ за собой!

И всяко сѣмя роду сродно
Какъ своему приноситъ плодъ:
Такъ всяка мысль себѣ подобно
Дѣянье за собой ведетъ.
Благіе въ мірѣ духи, злые,
Суть вѣчны чада сихъ сѣменъ;
Отъ нихъ тѣ свѣтъ, а тьму другіе
Въ себя пріемлютъ, жизнь иль тлѣнъ.

За то, нѣкоторыя изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія поражаютъ невообразимыми странностями. Кто бы, на-прим., подумалъ, что вотъ эти стихи—Державина, а не Тредьяковскаго:

Какъ птица въ мглѣ упывна,
Оставлена на здѣ (*на кровлѣ*),
Иль схохленна, пустынна
Сидяща на гнѣздѣ
Въ нощи, въ лѣсу, въ трущобѣ,
Лію степаньемъ гулъ.

А между тѣмъ это дѣйствительно стихи Державина изъ оды «Сѣтованье» начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье
И вопль моей души!

Но огромная—поэма, а не ода «Цѣленіе Саула» представляетъ собою примѣръ особенной нестройности. Она состоитъ болѣе, чѣмъ изъ 400 стиховъ которые всѣ въ родѣ слѣдующихъ:

Внимаетъ пѣснь монархъ: по силѣ звуковъ, словъ
Такъ отъ него скользитъ, какъ лучь отъ холма *ледяна;*
Спѣдаетъ грусть его, мысль черная, *печальна,*
Пѣвецъ то зритъ—и, взявъ другихъ строй голосовъ,
Поетъ ужъ хоромъ всѣмъ, но сонно, полутонно.
Смятенью тартара, душѣ смятенной сходно.

И кто бы могъ думать, чтобъ за *такими* стихами слѣдовали вотъ какіе:

На пустыхъ высотахъ, на зыбяхъ Божій духъ
Искони до вѣковъ въ тихой тьмѣ возносился,
Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ вкругъ
Тварей всѣхъ теплотой, такъ крылами гнѣздился.
Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ
Межъ собой, внутрь и внѣ, безпрестанно сражались,
И лишь жизнь тѣмъ они всѣмъ являли въ себѣ,
Что тамъ стукъ, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ прорывались;
Громъ на громъ въ вышинѣ, гулъ на гулъ въ глубинѣ,
Какъ катясь, какъ вратясь, даль и близь оглушали;
Бездны бездну, хляби хлябь, колебавъ въ тишинѣ
Безъ устройствъ естество, ужасъ, мракъ представляли.

Впрочемъ, эти стихи, прекрасные и сильные, не смотря на свою грубую отдѣлку, суть единственный оазисъ въ песчаной пустынѣ этой поэмы.

Ода «Богъ» считалась лучшею не только изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія, но и вообще лучшею изъ всѣхъ одъ Державина. Самъ поэтъ былъ такого же мнѣнія. Какимъ мистическимъ уваженіемъ пользовалась встарину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нелѣпая сказка, которую каждый изъ насъ слышалъ въ дѣтствѣ, будто ода «Богъ» переведена даже на китайскій языкъ и, вышитая шелками на щитѣ, поставлена надъ кроватью богдыхана [77]). И дѣйствительно, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго, сравнительно съ нею, достоинства.

Изъ одъ Державина нравственно-философическаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды — «Вельможа» и «На счастіе». При разсматриваніи первой, должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе *своего* времени: тогда эта ода будетъ прекраснымъ произведеніемъ, не смотря на ея реторическіе пріемы. Первыя восемь строфъ просто превосходны, особенно вотъ эти:

Кумиръ поставленный въ позоръ,
Несмысленную чернь плѣняетъ;
Но коль художниковъ въ немъ взоръ
Прямыхъ красотъ не ощущаетъ:
Се образъ ложныя молвы,
Се глыба грязи позлащенной!
И вы безъ благости душевной
Не всѣ ль, вельможи, таковы?

Не перлы перскія на васъ
И не бразильски звѣзды,—ясны:
Для возлюбившихъ правду глазъ
Лишь добродѣтели прекрасны,—
Онѣ суть смертныхъ похвала.
Калигула, твой конь въ сенатѣ
Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:
Сіяютъ добрыя дѣла!

Оселъ всегда останется осломъ,
Хотя осынь его звѣздами;
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,
Онъ только хлопаетъ ушами.
О, тщетно счастія рука,
Противъ естественнаго чина,
Безумца рядитъ въ господина
Или въ тумиху дурака.

Какихъ ни вымышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться,
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться.
Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ,
Въ совѣтахъ царскихъ сопостатовъ:
Всякъ думаетъ, что я Чуприковъ
Въ мароккскихъ лентахъ и звѣздахъ.

Оставя скипетръ, тронъ, чертогъ,
Бывъ странникомъ въ пыли и въ потѣ,
Великій Петръ, какъ нѣкій Богъ,
Блисталъ величествомъ въ работѣ:
Почтенъ и въ рубищѣ герой!
Екатерина въ низкой долѣ,
И не на царскомъ бы престолѣ
Была великою женой.

И вправдь, коль самолюбья лесть
Не обуяла бъ умъ надменный:
Что наше благородство, честь,
Коль не изящности душевны?
Я князь—коль мой сіяетъ духъ;
Владѣлецъ—коль страстьми владѣю;
Боляринъ—коль за всѣхъ болѣю,
Царю, закону, церкви другъ.

Да, *такіе* стихи никогда не забудутся! Кромѣ замѣчательной силы мысли и выраженія, они обращаютъ на себя вниманіе еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго вѣка. Остальная и бо́льшая часть оды отличается реторическими распространеніями и добродушнымъ морализмомъ, который объ истинахъ въ родѣ $2\times2=4$ говоритъ, какъ о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ, 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII вѣка, отличаются значительнымъ поэтиче-

скимъ достоинствомъ. Въ одѣ «На Счастіе» видѣнъ русскій умъ, русскій юморъ, слышится русская рѣчь. Кромѣ разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней много рѣзкихъ и удачныхъ юмористическихъ выходокъ, свидѣтельствующихъ какое-то добродушіе, какъ напр., это обращеніе къ счастію:

Катаешь кубаремъ весь міръ:
Какъ рѣзвости твоей примѣровъ,
Полна земля вся кавалеровъ,
И цѣлый свѣтъ сталъ бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэтъ говоритъ:

Изволитъ царствовать правдиво,
Не жметъ, не рубитъ безъ суда;
А развѣ кое-какъ вельможи,
И такъ и сякъ, нахмуря рожи,
Тузятъ инова иногда.

Сатирически описывая свое прежнее счастіе, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости бояръ, и въ любви, и въ игрѣ, и въ поэзіи, поэтъ очень забавно и вмѣстѣ колко жалуется на безвременье преклонныхъ лѣтъ своихъ:

А нынѣ пятьдесятъ мнѣ било:
Полетъ свой счастье премѣнило;
Безъ латъ я горе-богатырь;
Прекрасный полъ меня лишь бѣситъ,
Амуръ безъ перьевъ петонырь,
Едва вспорхнетъ и носъ повѣситъ.
Сокрылся и въ игрѣ мой кладъ:
Не страстны мной, какъ прежде музы:
Бояре понадули пузы,
И я у всѣхъ сталъ виноватъ.

Умоляя счастіе снова осыпать его своими дарами, поэтъ остроумно подшучиваетъ надъ Гораціемъ, обѣщаясь писать школярнымъ слогомъ:

«*Беатусъ*—братъ мой, на водахъ
Собою самъ поля орющій,
Или стада свои пасущій!»
Я буду восклицать въ пирахъ.

Къ числу такихъ же одъ принадлежитъ и «Мой Истуканъ». Въ ней особенно замѣчательны нѣкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнѣйшіе стиха:

Злодѣйства малаго мнѣ мало,
Большаго дѣлать не хочу.

Замѣчательна и слѣдующая строфа: поэтъ говоритъ, что ни за какія дѣла не стòялъ бы онъ кумира—

Не стоилъ бы: всѣ знаки чести,
Дозволены самимъ себѣ,
Плоды тщеславія и лести
Монархъ! постыдны и тебѣ.
Желаетъ хвалъ благодаренья
Лишь низкая себѣ душа,
Живущая изъ награжденья:
По смерти слава хороша,
Заслуги въ гробъ созрѣваютъ,
Герои въ вѣчности сіяютъ!

Доселѣ говорили мы о Державинѣ, какъ о русскомъ поэтѣ, въ извѣстной степени и въ извѣстномъ характерѣ отразившемъ на себѣ XVIII вѣкъ, въ той степени, въ какой отразило его на себѣ тогдашнее русское общество. Теперь намъ слѣдуетъ показать Державина, какъ пѣвца Екатерины, какъ представителя цѣлой эпохи въ исторіи Россіи.

Царствованіе Екатерины-Великой, послѣ царствованія Петра Великаго, было второю великою эпохою въ русской исторіи. Доселѣ для него еще не наставало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безпристрастно и вѣрно. Эта близость лишаетъ насъ возможности видѣть ясно и опредѣленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективѣ, на достаточномъ отдаленіи. И потому, мы, съ одной стороны, слишкомъ увлекаемся громомъ побѣдъ, блескомъ завоеваній, многосложностію преобразованій, множествомъ людей замѣчательныхъ, и не видимъ, изъ-за всего этого, внутренняго быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастіемъ, мы, можетъ быть, слишкомъ строго судимъ лесть, низкопоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъ-благодѣтелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себѣ тогдашняго *историческаго* положенія Россіи, того рѣзкаго контраста между тиранніею Бирона и труднымъ, по безплодной, хотя и блистательной войнѣ съ Пруссіею, временемъ,—и между царствованіемъ Екатерины—этою эпохою блестящихъ и великихъ дѣлъ, мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основою было: *лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго*,—возникшаго просвѣщенія и возникавшей литературы, какъ плодовъ нравственнаго простора, смѣнившаго удушающую тѣсноту, какъ творенія мудрости и благости, воцарившейся на тронѣ. Близкіе къ тѣмъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ, усовершенствованіями всякаго рода, такъ горды и такъ счастливы великими успѣхами двухъ послѣднихъ царствованій, [78]) что не можемъ смотрѣть на наше прошедшее, не сравнивая его съ настоящимъ,—а это сравненіе, разумѣется, выгоднѣе для настоящаго. И потому, намъ теперь должно не столько судить объ эпохѣ Екатерины Великой, сколько изучать ее, чтобъ пріобрѣсти данныя для сужденія о ней. Къ числу такихъ

данныхъ, безъ сомнѣнія, принадлежатъ свидѣтельства современниковъ,—а всѣмъ извѣстно, какъ великъ былъ ихъ энтузіазмъ къ своему времени и творцу его—Екатеринѣ. Здѣсь мы говоримъ о царствованіи Екатерины только въ отношеніи къ поэзіи. Поэзія Державина—самое живое и самое вѣрное свидѣтельство того, до какой степени эта эпоха была благопріятна поэзіи и до какой степени могла она дать поэзіи разумное содержаніе. Въ этомъ отношеніи, должно обращать вниманіе не на похвалы Екатеринѣ пѣвца ея, которыя, какъ похвалы современника, не могутъ имѣть той неоподозрѣваемой достовѣрности и искренности, какъ голосъ потомства; но здѣсь должно обращать вниманіе на ту свѣжесть, ту теплоту искренняго и задушевнаго чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатеринѣ, на тотъ смѣлый и благородный тонъ, которымъ они отличаются. И такъ, намъ остается только выбрать тѣ строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляютъ особенно характеристическія черты громко и торжественно воспѣтаго имъ царствованія.

Ода «Фелица»—одно изъ лучшихъ созданій Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностію формы, въ которой видѣнъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Не смотря на значительную величину, эта ода проникнута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до конца выдержана въ тонѣ. Олицетворяя въ себѣ современное общество, поэтъ тонко хвалитъ Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свои пороки. Исповѣдь его заключается стихами:

Таковъ, Фелица, я развратенъ!
Но на меня весь свѣтъ похожъ.

Не оставляя шуточнаго тона, необходимаго ему для того, чтобъ похвалы Фелицѣ не были рѣзки, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуетъ для потомства образъ Фелицы:

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого:
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьемъ правишь;
Какъ волкъ овецъ, людей не давишь:
Ты знаешь прямо цѣну ихъ:
Царей они подвластны волѣ,
Но Богу правосудну болѣ,
Живущему въ законахъ ихъ.

Ты здраво о заслугахъ мыслишь:
Достойнымъ воздаешь ты честь;
Пророкомъ ты того не числишь,
Кто только рифмы можетъ плесть:
А что сія ума забава
Калифовъ добрыхъ честь и слава,

Снисходишь ты на лирный ладъ:
Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ.

Слухъ идетъ о твоихъ поступкахъ,
Что ты нимало не горда,
Любезна и въ дѣлахъ и въ шуткахъ,
Пріятна въ дружбѣ и тверда;
Что ты въ напастяхъ равнодушна,
А въ славѣ такъ великодушна
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорятъ не ложно,
Что будто завсегда возможно
Тебѣ и правду говорить.

Неслыханное также дѣло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смѣло
О всемъ, и въявь, и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ
Твоихъ всѣхъ милостей зоплямъ,
Всегда склоняешься простить.

Стремятся слезъ пріятныхъ рѣки
Изъ глубины души моей.
О сколь счастливы человѣки
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирный,
Сокрытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ ниспосланъ скипетръ носить!
Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ
И, казни не боясь, въ обѣдахъ
За здравіе царей не пить.

Тамъ съ именемъ Фелицы можно
Въ строкѣ описку поскоблить,
Или портретъ неосторожно
Ея на землю уронить;
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парятъ,
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарятъ,
Не щолкаютъ въ усы вельможъ;
Князья насѣдками не клохчутъ,
Любимцы въявь имъ не хохочутъ.

Ты вѣдаешь, Фелица, нравы
И человѣковъ и царей:
Когда ты просвѣщаешь нравы,
Ты не дурачишь такъ людей;

Въ твои отъ дѣлъ отдохновенья
Ты пишешь въ сказкахъ поученья,
И Хлору въ азбукѣ твердишь:
«Не дѣлай ничего худаго—
И самаго сатира злаго
Лжецомъ презрѣннымъ сотворишь».

Заключительная строфа оды дышитъ глубокимъ благоговѣйнымъ чувствомъ.

Прошу великаго пророка,
Да праха ногъ твоихъ коснусь,
Да словъ твоихъ сладчайша тока
И лицезрѣнья наслаждусь!
Небесныя прошу я силы,
Да ихъ простря сапфирны крылы,
Невидимо тебя хранятъ
Отъ всѣхъ болѣзней, золъ и скуки;
Да дѣлъ твоихъ въ потомствѣ звуки,
Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ не думая, чтобъ она могла быть напечатана; всѣмъ извѣстно, что она случайно дошла до свѣдѣнія государыни [79]). И такъ, есть и внѣшнія доказательства искренности этихъ, полныхъ души стиховъ:

Хвалы мои тебѣ примѣтя,
Не мни, чтобъ шапки, иль бешмета
За нихъ я отъ тебя желалъ.
Почувствовать добра пріятство—
Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собиралъ.

Ода «Изображеніе Фелицы» растянута и разведена водою реторики; но въ ней есть превосходныя строфы въ pendant къ одѣ «Фелица», почему мы и выписываемъ ихъ здѣсь:

Припомни, чтобъ Она вѣщала
Безчисленнымъ Ея ордамъ:
«Я счастья вашего искала
И въ васъ его нашла я вамъ;
Ставъ сами вы себѣ послушны,
Живите, славьтеся въ мой вѣкъ,
И будьте столь благополучны,
Колико можетъ человѣкъ.

«Я вамъ даю свободу мыслить
И разумѣть себя, цѣнить,
Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числить,
И въ ноги мнѣ челомъ не бить;
Даю вамъ право безъ препоны
Мнѣ ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы,
И въ нихъ ошибки замѣчать

«Даю вамъ право собираться,
И въ думахъ золото копить,
Ко мнѣ послами отправляться
И не всегда меня хвалить;
Даю вамъ право безпристрастно
Въ судьи другъ друга выбирать,
Самимъ дѣла свои всевластно
И начинать и окончать.

«Не воспрещу я стихотворцамъ
Писать и чепуху и лесть,
Халдѣямъ, новымъ чудотворцамъ
Махать съ духами, пить и ѣсть;
Но я во всемъ, что лишь незлобно,
Потщуся равнодушной быть;
Великолѣпно и спокойно
Мои благодѣянья лить».

. . . . . .

Рекла бъ: «Почто писать уставы,
Коль ихъ въ диванахъ не творятъ?
Развратные-вельможей нравы—
Народа цѣлаго развратъ.

«Вашъ долгъ монарху, Богу, царству
Служить и клятвой не играть;
Неправдѣ, злобѣ, мздѣ, коварству
Пути повсюду пресѣкать:
Пристрастный судъ разбоя злѣе;
Судьи—враги, гдѣ спитъ законъ:
Предъ вами гражданина шея
Протянута безъ оборонъ».

. . . . . .

Представь, чтобъ всѣ царевна средства
Въ пособіе себѣ брала
Предупреждать народа бѣдства
И сохранять его отъ зла;
Чтобъ отворила всѣмъ дороги
Чрезъ почту письма къ ней писать:
Велѣла бы въ свои чертоги
Для объясненья допускать.

. . . . . .

Представь ее облокотенну
На зороастровъ истуканъ,
Смотрящу тамъ на всю вселенну,
На огнезвѣздный океанъ,
Вѣщающу: «О ты, Предвѣчный,
Который волею Своей
Колеса движешь быстротечны
Вратящейся природы всей!

«Когда ты есть душа едина
Движенью сихъ огромныхъ тѣлъ:
То Ты жь, конечно, и причина
И нравственныхъ народныхъ дѣлъ;
Тобою царства возрастаютъ,
Твое орудіе цари:
Тобой они и померцаютъ,
Какъ блескъ вечернія зари.

«Наставь меня, міровъ Содѣтель!
Да волѣ слѣдуя Твоей,
Тебя люблю и добродѣтель,
И зижду счастіе людей;

«Да удостоенна любови,
Надзрѣнія твоихъ очесъ,
Чтобъ я за каждu каплю крови,
За каждую бы каплю слезъ
Народа моего пролитыхъ,
Тебѣ отвѣтствовать могла,
И чувствъ души моей сокрытыхъ
Тебя свидѣтелемъ звала».

«Видѣніе Мурзы» принадлежитъ къ лучшимъ одамъ Державина. Какъ всѣ оды къ Фелицѣ, она написана въ шуточномъ тонѣ; но этотъ шуточный тонъ есть истинно-высокій лирическій тонъ—сочетаніе, свойственное только державинской поэзіи и составляющее ея оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно онъ силенъ и что составляло его истинное призваніе. Онъ самъ свои реторически-высокопарныя оды предпочиталъ этимъ шуточнымъ, въ которыхъ онъ былъ такъ оригиналенъ, такъ народенъ и такъ возвышенъ,—тогда какъ въ первыхъ онъ и надутъ, и натянутъ, и безцвѣтенъ. «Видѣніе Мурзы» начинается превосходною картиною ночи, которую созерцалъ поэтъ въ комнатѣ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ пѣснопѣнію, и онъ воспѣлъ тихое блаженство своей жизни:

Что карлой онъ и великаномъ
И дивомъ свѣта не рожденъ,
И что не созданъ истуканомъ
И оныхъ чтить не принужденъ.

Далѣе заключается превосходный, поэтически и ловко выраженный намекъ на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монархини, за оду «Фелица»:

Блаженъ и тотъ, кому царевны
Какой бы ни было орды,
Изъ теремовъ своихъ янтарныхъ,
И сребророзовыхъ свѣтлицъ,
Какъ-будто изъ улусовъ дальныхъ,
Украдкой отъ придворныхъ лицъ,

За росказни, за растобары,
За вирши, иль за что нибудь,
Изподтишка драгіе дары
И въ досканцахъ червонцы шлютъ.

Явленіе гнѣвной Фелицы, во всѣхъ аттрибутахъ ея царственнаго величія, прерываетъ мечты поэта. Фелица укоряетъ его за лесть; она говоритъ ему:

. . . . . Когда
Поэзія не сумасбродство,
Но вышній даръ боговъ: тогда
Сей даръ боговъ, кромѣ лишь къ чести
И къ поученью ихъ путей
Быть долженъ обращенъ,—не къ лести
И тлѣнной похвалѣ людей.
Владыки свѣта люди тѣ же,
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнцы:
Ядъ лести ихъ вредитъ не рѣже:
А гдѣ поэты не льстецы?

Отвѣтъ поэта на укоры изчезнувшаго видѣнія Фелицы дышитъ искренностію чувства, жаромъ поэзіи и заключаетъ въ себѣ и автобіографическія черты и черты того времени:

Возможно ль, кроткая царевна!
И ты къ мурзѣ чтобъ своему
Была сурова столь и гнѣвна,
И стрѣлы къ сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
Къ себѣ и ты не одобряла?
Довольно безъ тебя людей,
Довольно безъ тебя поэту
За кажду мысль, за каждый стихъ,
Отвѣтствовать лихому свѣту,
И отъ сатиръ щититься злыхъ!
Довольно золотыхъ кумировъ,
Безъ чувствъ мои что пѣсни чли;
Довольно кадіевъ, факировъ,
Которы въ зависти сочли
Тебѣ ихъ неприличной лестью;
Довольно нажилъ я враговъ!
Иной отнесъ себѣ къ безчестью,
Что не дерутъ его усовъ;
Иному показалось больно,
Что онъ насѣдкой не сидитъ;
Иному очень своевольно
Съ тобой мурза твой говоритъ;
Иной вмѣнялъ мнѣ въ преступленье,
Что я посланницей съ небесъ
Тебя быть мыслилъ въ восхищеньи
И лилъ въ восторгѣ токи слезъ;

И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,
А тотъ—соленыхъ огурцовъ:
Но пусть имъ здѣсь докажетъ муза,
Что я не изъ числа льстецовъ;
Что сердца моего товаровъ
За деньги я не продаю,
И что не изъ чужихъ анбаровъ
Тебѣ наряды я крою;
Но, вѣнцѣносна добродѣтель!
Не лесть я пѣлъ и не мечты,
А то, чему весь міръ свидѣтель:
Твои дѣла суть красоты.
Я пѣлъ, пою и пѣть ихъ буду,
И въ шуткахъ правду возвышу;
Татарски пѣсни изъ-подъ спуду
Какъ лучь потомству сообщу;
Какъ солнце, какъ луну поставлю
Твой образъ будущимъ вѣкамъ,
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой безсмертенъ буду самъ.

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзія Державина, въ тѣхъ немногихъ чертахъ, которыя мы представили здѣсь нашимъ читателямъ, есть прекрасный памятникъ славнаго царствованія Екатерины II и одно изъ главныхъ правъ пѣвца на поэтическое безсмертіе.

Другое значеніе имѣютъ теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болѣе оффиціальнымъ, чѣмъ истинно-вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи, онѣ рѣзко отдѣляются отъ одъ, посвященныхъ Фелицѣ. И не мудрено: послѣднія имѣли корень свой въ дѣйствительности, а первыя были плодомъ похвальнаго обычая согласовать лирическій звонъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плошекъ и шкаликовъ. Притомъ же легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чѣмъ провидѣть значеніе войнъ и побѣдъ ея, объясняющихся причинами чисто-политическими. Политическіе вопросы тогда только могутъ служить содержаніемъ поэзіи, когда они вмѣстѣ и вопросы историческіе и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда обѣ изъ тяжущихся сторонъ—и колоссальное могущество Наполеона и національное существованіе Россіи, сошлись рѣшить вопросъ: *быть, или не быть!* Побѣды надъ турками, какъ бы ни блистательны были онѣ, могутъ дать прекрасное содержаніе для реляцій, но не для одъ. Сверхъ того, торжественныя оды Державина еще и по тому утратили теперь свою цѣну, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могутъ казаться такими, какими видѣли ихъ современники. Типомъ всѣхъ торжественныхъ одъ Державина можетъ служить ода «На Взятіе Варшавы». Она такъ всѣмъ извѣстна, что мы не почитаемъ за нужное дѣлать изъ нея выписки. Ее можно раздѣлить на три части: первая изъ нихъ есть экстатическое изліяніе чувства удивленія къ Суворову и Екатеринѣ II. Дѣйстви-

тельно, вступленіе оды восторженно; но этотъ восторгъ весь заключается не въ мыслях, а въ восклицаніяхъ, и въ немъ есть что-то напряженное. Мѣсто, начинающееся стихомъ «Черная туча, мрачныя крыла» долго считалось въ нашихъ реторикахъ и пінтикахъ образцомъ гиперболы, какъ выраженія высочайшаго восторга: теперь эта гипербола можетъ служить образцомъ натянутаго восторга, стихотворнаго крика—не больше. Поэтъ чувствовалъ самъ пустоту всѣхъ этихъ громкихъ фразъ, и потому хотѣлъ, во второй части своей оды, занять умъ читателя какимъ-нибудь содержаніемъ. Что же онъ сдѣлалъ для этого?—онъ показываетъ сонмъ русскихъ царей и вождей, сидящій въ «небесномъ вертоградѣ, на злачныхъ холмахъ, въ прохладѣ благоуханныхъ рощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ шатрахъ»; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ Ломоносовъ, и его хвала пронзаетъ ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ *пунцовыхъ* устахъ *блистаетъ златъ медъ*, а на щекахъ играютъ зари; возлегши на *мягкихъ зыблющихъ(ся)* перловыхъ облакахъ, они внимаютъ тихострунный хоръ небесныхъ арфъ и поющихъ дѣвъ (что однакожъ не мѣшаетъ имъ внимать и лирѣ нашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): что это за языческая валгалла для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлуннаго міра стихи Ломоносова, конечно, имѣютъ свое значеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свѣтѣ—воля ваша, скучно. Далѣе, поэтъ заставляетъ Петра Великаго проговорить рѣчь къ Пожарскому, и потомъ скрыться въ «сѣни». Все это—голая реторика, свидѣтельствующая о затруднительномъ положеніи поэта, задавшаго себѣ воспѣть предметъ, котораго идеи онъ не прочувствовалъ въ себѣ. Третья часть оды кончилась даже смѣшно—плохими четверостишіями съ припѣвомъ къ каждому.

Славься симъ, Екатерина,
О великая жена!

Въ первой части оды поэтъ называетъ своего героя, т. е. Суворова, *Александромъ по бранямъ*: сравненіе крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ жизни и положеніяхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между дѣйствительно-великимъ полководцемъ русской монархіи, превосходнымъ выполнителемъ *ея* политическихъ предначертаній, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавшимъ Востокъ съ Европою?.. Вообще, Державинъ не умѣлъ хвалить Суворова: онъ восхищается только его непобѣдимостію, забывая, что этимъ были славны и Тамерланы и Атиллы, и что въ Суворовѣ было что-нибудь замѣчательное и кромѣ этого. Хваля Суворова, Державинъ долженъ былъ бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которымъ воспѣвалъ онъ Фелицу; но онъ хотѣлъ видѣть своего героя въ реторической апоѳеозѣ, и потому въ его одахъ Суворовъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого сочувствія.

У Пушкина есть два стихотворенія, порожденныя почти такимъ же событіемъ, какъ и ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба

эти стихотворенія Пушкина напоминаютъ торжественную музу Державина; но какая же разница въ содержаніи! Пушкинъ поднимаетъ историческіе вопросы, говоря, что это—

.....споръ Славянъ между собою,
Домашній, старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою.

Пушкинъ не изрекаетъ оскорбительныхъ приговоровъ падшему врагу, но благородно, какъ представитель великой націи, восклицаетъ:

Въ бореньи падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахѣ не топтали;
. . . . . .
Они народной Немезиды
Не узрятъ гнѣвнаго лица,
И не услышатъ пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Оды «На Взятіе Измаила» и «Переходъ Альпійскихъ Горъ», по объему своему,—цѣлыя поэмы, герой которыхъ—Суворовъ. О нихъ можно сказать то же, что́ и обо всѣхъ торжественныхъ одахъ Державина: онѣ исполнены вдохновенія, но реторическаго, и ихъ можно сравнить съ похвальными словами Ломоносова—много грома, много блеска, но мало души. И потому, въ чтеніи онѣ утомительны и даже скучны. Что корень ихъ былъ не въ жизни, не въ дѣйствительности, а въ піитикѣ и реторикѣ того времени, могутъ служить доказательствомъ эти стихи изъ оды «На Взятіе Измаила»:

Злодѣйство что ни вымышляло,
Поверглось, Россы, все на васъ!
Зрю ядры, камни, варъ и бревны.

Какъ! не-ужели защищать отчаянно крѣпость всѣми въ войнѣ употребляемыми средствами отъ осаждающихъ ее враговъ, отчаянно биться съ ними и честно умирать за свою вѣру и своего государя, есть злодѣйство?.. О нѣтъ! Державинъ этого не думалъ, но это требовалось *высокимъ паренiемъ оды*, по піитикѣ того времени. Впрочемъ, эта ода не безъ замѣчательныхъ частностей, какъ, на прим., слѣдующая строфа:

Чего не можетъ родъ сей славный,
Любя царей своихъ, свершить?
Умѣйте лишь, главы вѣнчанны,
Его безцѣнну кровь щадить;
Умѣйте дать ему вы льготу.
Къ дѣламъ великимъ духъ, охоту,
И правотой сердца плѣнить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь міръ себя заставить чтить.
Война, какъ сѣверно сіянье,
Лишь удивляетъ черны одну:
Какъ свѣтлой радуги блистанье,
Всякъ мудрый любитъ тишину.

Державинъ былъ пѣвцомъ всѣхъ замѣчательныхъ людей, которыми такъ богатъ былъ вѣкъ Екатерины; всѣхъ чаще и охотнѣе онъ пѣлъ Суворова—это былъ его любимый герой; но лучше всѣхъ воспѣлъ онъ Потемкина. И не мудрено: этотъ «кипящій замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавшій ихъ самъ», былъ дивнымъ, поэтическимъ явленіемъ. Это не былъ любимецъ счастія, какъ привыкли величать его: счастіе любитъ больше глупцовъ и дюжинныхъ людей, нежели геніевъ,—а Потемкинъ былъ геній, заставившій преклоняться передъ собою счастіе. Это была натура одного типа съ наполеоновскою: Потемкинъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его апатія въ бездѣйствіи. Видѣть невозможность дѣйствовать—приговоръ къ смерти для такихъ людей. Каждый изъ нихъ хотѣлъ бы покорить всю землю, и палъ бы отъ своего успѣха, если бы не нашелъ средства сдѣлать высадку на луну и взять ее приступомъ. Являясь во времена отживающаго историческаго міра и не предчувствуя новаго, они дѣлаютъ себя центромъ всей вселенной, и падаютъ жертвами своего грандіознаго эгоизма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій *сынъ судьбы* не могъ быть понятъ своимъ временемъ; но въ самыхъ его странностяхъ было что-то таинственно-высокое, и всѣ смотрѣли на него со страхомъ и любопытствомъ. Поэтическая натура Державина глубже другихъ прозрѣла въ тайникъ этого великаго духа, хотя вполнѣ и не разгадала его—и «Водопадъ» остался навсегда свидѣтельствомъ этого поэтическаго полусознанія и одною изъ лучшихъ одъ Державина [80]).

Державинъ былъ пѣвцомъ царствующаго дома въ Россіи, и нельзя съ удивленіемъ не остановиться на его пророческихъ одахъ на рожденіе царственныхъ младенцевъ, въ-послѣдствіи Александра Благословеннаго и нынѣ благополучно-царствующаго Императора Николая. Кому не извѣстна прекрасная ода «На рожденіе на сѣверѣ порфироднаго отрока»: въ ней есть два стиха, невольно останавливающіе на себѣ вниманіе изумленнаго читателя:

Будь страстей своихъ владѣтель,
Будь на тронѣ человѣкъ!

Другая пророческая ода Державина—«На крещеніе Великаго Князя Николая Павловича»; въ ней поражаютъ стихи:

Дитя равняется съ царями!
Родителямъ по крови,
По сану—исполинъ;
По благости, любови,
Полсвѣта властелинъ!
Онъ будетъ, будетъ славенъ [81])
Душой Екатеринѣ равенъ.

Державинъ пѣлъ воцареніе Александра и многія событія его царствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ послѣднихъ слышны уже слабѣющіе звуки нѣкогда-громкой лиры; но въ одахъ, которыми онъ привѣтство-

валъ новое благотворное свѣтило Руси, мѣстами проблескиваютъ искры поэзіи. Таково, напр., начало оды «На восшествіе на престолъ императора Александра I-го»:

Вѣкъ новый! Царь младой, прекрасный
Пришелъ днесь къ намъ весны стезей!
Мои предвѣстья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одѣ «Царевичу Хлору» старикъ Державинъ настроилъ свою музу на прежній ладъ, которымъ хвалилъ Екатерину и воспѣлъ Александра. Въ поэтическомъ отношеніи, эта ода далеко не то, что «Фелица» и кажется подражаніемъ ей; но по мыслямъ, по содержанію, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина.

Ее стóяло бы выписать здѣсь всю, до послѣдняго стиха. Она лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была пѣснь лебедя: знаменитый и прославленный въ царствованіе Александра болѣе, чѣмъ въ царствованіе Екатерины, Державинъ былъ человѣкомъ, отжившимъ свой вѣкъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и наконецъ Жуковскаго и Батюшкова, показало, что въ обществѣ уже созрѣли новые элементы для поэзіи, и что, по мѣрѣ полноты этихъ элементовъ, являлись и пѣвцы разнообразные, а не поющіе, какъ прежде, всѣ на одинъ голосъ. Это былъ успѣхъ времени, и не вина Державина, что онъ принадлежалъ къ другому вѣку и остался ему вѣренъ въ чуждомъ для него новомъ времени: онъ сдѣлалъ все, что могъ въ то время сдѣлать человѣкъ съ такимъ огромнымъ дарованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвѣты его поэзіи распустились отъ луча ея просвѣщеннаго вниманія. Этому вниманію онъ былъ обязанъ и своею славою: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не понимало ихъ, а имя его знало, дивясь, что за стихи даютъ и золотыя табакерки, и чины, и мѣста, дѣлаютъ вельможею бѣднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ ходъ идеи: она идетъ къ своей цѣли, даже и такими путями, которые, казалось бы, скорѣе отвели ее отъ цѣли, чѣмъ привели къ ней: простое любопытство многихъ не замѣтно познакомило со стихами и пристрастило къ нимъ. И когда, чрезъ размноженіе училищъ и гимназій, чрезъ основаніе новыхъ университетовъ, въ царствованіе Александра, распространилось просвѣщеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его какъ поэта, а не только какъ знатнаго человѣка.

Во многихъ стихотвореніяхъ Державина, личный характеръ его какъ человѣка, является съ весьма-хорошей стороны. Не смотря на то, что его вѣкъ былъ вѣкъ милостивцевъ, и что лесть и угодничество считались добродѣтелями, онъ льстилъ больше какъ риторъ, чѣмъ какъ поэтъ. Когда Суворовъ, въ отставкѣ, передъ походомъ въ Италію, проживалъ въ деревнѣ безъ дѣла, Державинъ не боялся хвалить его печатно. Ода «На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи» принадлежитъ къ такимъ же смѣлымъ его поступкамъ. «Водо-

падъ», написанный послѣ смерти Потемкина, есть, безъ сомнѣнія, столь же благородный, сколько и поэтическій подвигъ. Судя по могуществу Потемкина, можно было бы предположить, что большая часть стихотвореній Державина посвящена его прославленію; но Державинъ, при жизни Потемкина, очень-мало писалъ въ честь его. Онъ упоминаетъ о немъ въ одѣ «Осень во время осады Очакова»; его воспѣлъ онъ именемъ Рѣшемысла, прилично и скромно; есть еще одна ода, подъ названіемъ «Побѣдителю»: въ ней Потемкинъ превознесенъ превыше звѣздъ, довольно-плохими стихами. Но вотъ и все: а это слишкомъ немного, даже слишкомъ-мало для такого могущества, какое представляетъ собою Потемкинъ! Сверхъ-того, въ-отношеніи къ лести, нельзя строго судить Державина: онъ жилъ въ такія торжественныя и хвалебныя времена, когда *пѣть* и *льстить* значило одно и то же, и когда никакая сила характера не могла спасти человѣка отъ необходимости уклоняться лестью отъ бѣдъ. Должно сказать правду: за многія дѣла и самый сатирикъ не можетъ не чтить Державина. Къ числу такихъ дѣлъ принадлежитъ его ода «Памятникъ герою», написанная въ честь Репнину, который находился въ то время подъ опалою у Потемкина, и который впослѣдствіи очень-дурно заплатилъ за нее поэту. По службѣ, въ дѣлѣ правосудія, Державинъ прослылъ даже «безпокойнымъ» человѣкомъ—эпитетъ, который, какъ извѣстно, дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могутъ видѣть подлостей и несправедливостей, именемъ правосудія и закона совершаемыхъ ябедниками и крючкотворцами...

Чтобы вѣрно характеризовать и опредѣлить значеніе Державина какъ поэта, должно обратить вниманіе на его собственный взглядъ на поэзію и поэта. Въ артистической душѣ Державина пребывало глубокое предчувствіе великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно-вдохновенными мѣстами въ его произведеніяхъ и даже превосходными отдѣльными стихотвореніями. Мы непремѣнно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державинѣ какъ поэтѣ. Въ одѣ «Любителю художествъ», неудачной и даже странной въ цѣломъ, вниманіе мыслящаго читателя не можетъ не остановиться на слѣдующихъ стихахъ:

Боги взоръ свой отвращаютъ
Отъ нелюбящаго музъ;
Фуріи ему влагаютъ
Въ сердце чорство грубый вкусъ,
Жажду злата и сребра.
Врагъ онъ общаго добра!

Ни слеза вдовицъ не тронетъ,
Ни сиротъ несчастныхъ стонъ:
Пусть въ крови вселенна тонетъ,
Былъ бы счастливъ только онъ;
Больше бъ собралъ серебра
Врагъ онъ общаго добра!

Напротивъ того, взпрають
Боги на любимца музъ;
Сердце нѣжное влагають
И изящный нѣжный вкусъ:
Всѣмъ душа его щедра.
Другъ онъ общаго добра!

Еслибъ эти стихи прозрачностію и шероховатостію выраженія не поражали нашего вкуса, избалованнаго изяществомъ новѣйшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за переводъ изъ какой-нибудь пьесы Шиллера въ древнемъ вкусѣ. Сознаніе высокаго своего призванія Державинъ выразилъ особенно въ трехъ пьесахъ. Странная и невыдержанная въ цѣломъ пьеса «Лебедь» есть какъ бы прелюдія къ превосходному стихотворенію «Памятникъ»:

Необычайнымъ я пареньемъ
Отъ тлѣна міра отдѣлюсь,
Съ душой безсмертною и пѣньемъ,
Какъ лебедь въ воздухъ подпимусь.

Въ двоякомъ образѣ нетлѣнный,
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;
Надъ завистью превознесенный,
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.

Да, такъ! хоть родомъ я не славенъ;
Но, будучи любимецъ музъ,
Другимъ вельможамъ я не равенъ
И самой смертью предпочтусь.

Не заключитъ меня гробница,
Средь звѣздъ не превращусь я въ прахъ,
Но, будто нѣкая пѣвица,
Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Затѣмъ, поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата, и что онъ лоснится лебяжьею бѣлизною; въ видѣ лебедя паритъ онъ надъ Россіею, и всѣ племена, населяющія ее, указываютъ на него и говорятъ:

«Вотъ тотъ летитъ, что строя лиру,
Языкомъ сердца говорилъ,
И проповѣдуя миръ міру
Себя всѣхъ счастьемъ веселилъ!»

Мысль изысканная и неловко выраженная, но послѣдній куплетъ очень замѣчателенъ:

Прочь съ пышнымъ, славнымъ погребеньемъ,
Друзья мои! Хоръ музъ, не пой!
Супруга! облекись терпѣньемъ!
Надъ мнимымъ мертвецомъ не вой!

«Памятникъ» такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ, что нѣтъ нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинымъ у

Горація, но онъ умѣлъ выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формѣ, такъ хорошо примѣнить ее къ себѣ, что честь этой мысли такъ же принадлежитъ ему, какъ и Горацію. Пушкинъ по-своему воспользовался, по примѣру Державина, примѣненіемъ къ себѣ этой мысли, въ собственной оригинальной формѣ. Въ стихотвореніи того и другаго поэта рѣзко обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежатъ они: Державинъ говоритъ о безсмертіи въ общихъ чертахъ, о безсмертіи книжномъ: Пушкинъ говоритъ о своемъ памятникѣ: «Къ нему не заростетъ *народная* тропа», и этимъ стихомъ олицетворяетъ ту живую славу для поэта, которой возможность настала съ его времени.

Не менѣе «Памятника» замѣчательно стихотворное посвященіе Державина Екатеринѣ II собранія своихъ сочиненій: оно дышетъ и благоговѣйною любовью поэта къ великой монархинѣ и пророческимъ сознаніемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смѣлая рука поэзіи писала,
Какъ Бога истинну Фелицу во плоти
И добродѣтели твои изображала,
Дерзаю къ твоему престолу принести,
Не по достоинству пзящнѣйшаго слога,
Но по усердію къ тебѣ души моей.
Какъ жертву чистую, возженную для Бога,
Прими съ небесною улыбкою твоей,
Прими и освяти твоимъ благоволеньемъ,
И музѣ будь моей подпорой и щитомъ,
Какъ мнѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ.
Да веселясь она и съ бодрственнымъ челомъ,
Пройдетъ сквозь тьму временъ и станетъ средь потомковъ,
Суда ихъ не страшась, твои хвалы вѣщать;
И алчный червь когда, межь гробовыхъ обломковъ,
Оставшій будетъ прахъ костей моихъ глодать:
Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима,
Мой вросшій въ землю домъ никто не посѣтитъ;
Но лира коль моя въ пыли гдѣ будетъ зрима,
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвенитъ,
Подъ именемъ твоимъ громка она пребудетъ;
Ты славою—твоимъ я эхомъ буду жить.
Героевъ и пѣвцовъ вселенна не забудетъ;
Въ могилѣ буду я, но буду говорить.

И однакожь, въ стихотвореніяхъ того же Державина есть мѣста, доказывающія, что онъ очень-невысоко цѣнилъ поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ одѣ «Фелица», онъ говорилъ:

Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ.

Въ одѣ «Мой Истуканъ» онъ говоритъ:

. . . . . Мои бездѣлки
Безумно столько уважать.

И если считаетъ себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развѣ за то, что воспѣвалъ Фелицу, а не за то, *какъ* воспѣвалъ ее, слѣдовательно, за предметъ, а не за талантъ пѣснопѣній. Такихъ мѣстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того, извѣстно всѣмъ, да и есть стихотвореніе, подтверждающее этотъ фактъ («Храповицкому»), что Державинъ свое чиновническое поприще ставилъ выше, т. е. *дальше* своего поэтическаго поприща.

Но что же все это доказываетъ? то ли, что Державинъ былъ ничтоженъ въ своихъ мнѣніяхъ, или что онъ только въ стихахъ, а не на дѣлѣ, высоко думалъ о стихотворствѣ?

Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нерѣшительность, неопредѣленность идеи поэзіи въ то время. Державинъ дѣйствительно въ разныя времена думалъ о ней розно: то приходилъ въ восторгъ отъ своего призванія, гордясь имъ въ свѣтломъ и вдохновенномъ сознаніи, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдясь его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случаѣ скрывалась его глубоко-поэтическая натура: во второмъ высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостью говоритъ о себѣ, что онъ литераторъ, или поэтъ, и находитъ добродушныхъ людей, которые, даже и подсмѣиваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлѣ него, чтобъ, при случаѣ, *похвастать* своимъ знакомствомъ или пріязнью съ литераторомъ и поэтомъ. Истинный талантъ теперь вездѣ и всегда смѣло можетъ назвать себя по имени, а геній, въ области поэзіи, теперь—сила и власть въ сферѣ общественнаго мнѣнія. Но это сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Державинъ не имѣлъ враговъ своему таланту: ему не могли простить не таланта, котораго не понимали, а полученныхъ имъ знаковъ почестей. Среди невѣждъ и умному человѣку легко можетъ придти въ голову мысль: ужъ не онъ ли глупъ, и не эти ли люди умны, ибо какъ же могутъ ошибаться *всѣ*, и быть правъ *одинъ*?...

Вотъ откуда происходили противорѣчія Державина въ его понятіяхъ и поэзіи. Это можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ противорѣчій. На пиую прекрасную оду его можно насчитать нѣсколько плохихъ, какъ-будто написанныхъ въ опроверженіе первой. Причина этого та, что не было общества, не было общественнаго мнѣнія,—были только умныя личности, изрѣдка сталкивавшіяся другъ съ другомъ на необъятномъ пространствѣ. Всякая истинная поэзія есть идеальное зеркало дѣйствительности, а разумная сторона дѣйствительности того времени выражалась только въ нѣкоторыхъ людяхъ, близкихъ къ монархинѣ, но нѣсколько людей не составляетъ общества. Мы видѣли, что въ поэзіи Державина отразился XVIII вѣкъ, односторонно и слабо отразившійся на высшемъ кругѣ русскаго общества,—кругѣ, съ которымъ все остальное не имѣло ничего общаго, ничѣмъ не было связано, а этого было слишкомъ мало, чтобы дать такое содержаніе поэзіи, которое упрочило бы за нею безсмертіе,

сообщилъ ей неумирающій отъ перемѣны нравовъ и отношеній интересъ. Мы видѣли, что Державинъ понималъ великую монархиню и вѣрно изобразилъ ее въ нѣсколькихъ чертахъ; но онъ выразилъ свое понятіе о ней, а не понятіе цѣлаго общества, которое неумѣло понимать тѣхъ благъ, которыми пользовалось,—и потому мы дивимся образу Екатерины только въ немногихъ стихотвореніяхъ Державина, и именно только въ тѣхъ, гдѣ изображалъ онъ ее подъ именемъ *Фелицы*. Ода его «Фелица» превосходна и въ цѣломъ и въ частностяхъ; такъ же прекрасно его «Видѣніе Мурзы»; но въ «Изображеніи Фелицы» прекрасны только нѣкоторыя строфы. Торжественныя оды его потеряли весь свой интересъ для нашего времени. Такъ называемыя анакреонтическія оды Державина свидѣтельствуютъ о его артистической натурѣ; но ни содержаніе ихъ, всегда односторонее и не глубокое, ни ихъ форма, всегда невыдержанная въ цѣломъ и плѣняющая только частностями, тоже не могутъ быть предметомъ эстетическаго наслажденія въ наше время. Драматическіе опыты его не стоятъ и упоминовенія.

Мы уже доказали въ первой статьѣ, что, въ эстетическомъ отношеніи, поэзія Державина представляетъ собою богатый зародышъ искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, но еще не сама поэзія. Читая даже лучшія оды Державина, мы должны дѣлать надъ собою усиліе, чтобы стать на точку зрѣнія его времени относительно поэзіи, и должны *научиться* видѣть прекрасное во многомъ, что въ то время казалось безусловно-прекраснымъ. И такъ, Державинъ и въ эстетическомъ отношеніи есть поэтъ историческій, котораго должно изучать въ школахъ, котораго стыдно не знать образованному Русскому, но который уже не можетъ быть и для общества тѣмъ же, чѣмъ можетъ и долженъ быть онъ для людей, посвящающихъ себя основательному изученію роднаго слова, отечественной поэзіи. Ломоносовъ былъ предтечею Державина, а Державинъ — отецъ русскихъ поэтовъ. Если Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на современныхъ ему и явившихся послѣ него поэтовъ, то Державинъ имѣлъ сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не родится вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзіи русской. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достоинства и его недостатки, —и съ этой точки зрѣнія его недостатки явятся такъ же необходимыми, какъ и его достоинства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анакреономъ и Горапіемъ могли только во времена дѣтства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горація читаетъ весь просвѣщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ, и въ безчисленномъ множествѣ переложеній: въ Державинѣ ничего не найдетъ ни Французъ, ни Англичанинъ, ни Нѣмецъ. Богатырь поэзіи по своему природному таланту, Державинъ, со стороны содержанія и формы своей поэзіи, замѣчателенъ и важенъ для насъ, его соотечественниковъ: мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзіи, а поэзія его — «это (какъ справедливо сказано въ предисловіи къ изданнымъ нынѣ его сочиненіямъ) сама Россія

екатерининa вѣка — съ чувствомъ исполинскаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на востокѣ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предразсудковъ и повѣрій—это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіатскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная,—такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ» [82]).

*712. Повѣсти и разсказы, *соч.* Нестора Кукольника. *Томъ I. Санктпетербургъ. Въ тип. Бочарова. 1843. Въ 8-ю долю л. 293 стр.* [83]).

Мы не разъ уже имѣли случай говорить о занимательности тѣхъ повѣстей г. Кукольника, содержаніе которыхъ берется имъ изъ эпохи Петра-Великаго, и не разъ изъявляли желаніе, чтобы онъ издалъ ихъ отдѣльно. Наконецъ, мы дождались выполненія нашего желанія; вновь перечли уже нѣсколько разъ читанныя повѣсти г. Кукольника, и это чтеніе вновь подарило насъ тѣми же пріятными минутами, какими мы насладились при первомъ чтеніи; это признакъ несомнѣннаго таланта, если произведенія его могутъ перечитываться по нѣскольку разъ. Какова степень таланта г. Кукольника и достоинства повѣстей его, мы объ этомъ не будемъ говорить до времени; скажемъ только, что талантъ, каковъ бы ни былъ онъ, всегда явленіе рѣдкое и драгоцѣнное. Доказательствомъ тому можетъ служить самъ г. Кукольникъ: у него есть повѣсти, которыя ему стоили если не большихъ, то тягостнѣйшихъ приготовительныхъ трудовъ, и въ которыхъ онъ изображалъ страны и жизнь, знакомыя ему только изъ книгъ; въ этихъ повѣстяхъ видно много труда, много эрудиціи, но нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи; если хотите, имъ можно удивляться, но читать ихъ тяжело, а перечитывать—просто невозможно. Таковы его и романы; таковы его и драмы. Не понимаемъ, какъ стаётъ у него терпѣнія и охоты безплодно истощать на нихъ свое дарованіе! И между-тѣмъ, большинство публики едва-ли не болѣе на сторонѣ тѣхъ *труженическихъ* произведеній г. Кукольника, чѣмъ *талантливыхъ* повѣстей его, изображающихъ время Петра-Великаго. Это понятно: толпа всегда больше расположена удивляться, чѣмъ наслаждаться; ее всегда больше поражаетъ tour de force, чѣмъ свободный порывъ вдохновенія и таланта. Впрочемъ, это несправедливое предпочтеніе труженическихъ произведеній г. Кукольника передъ талантливыми повѣстями его изъ эпохи Петра-Великаго, могло происходить и отъ-того, что послѣднія были разбросаны по журналамъ и альманахамъ, и даже по такимъ журналамъ, которыхъ никто не знаетъ и не читаетъ: такъ, напримѣръ, нѣсколько повѣстей было напечатано въ блаженной памяти «Русскомъ Вѣстникѣ». Теперь онѣ издаются отдѣльно, и вѣрно положатъ прочное основаніе истинной и заслуженной извѣстности г. Кукольника, какъ писателя. Повѣсти эти не всѣ равнаго достоинства, но рѣшительно всѣ не безъ достоинствъ. Слабѣе другихъ тѣ, въ которыхъ авторъ становится на трагическій котурнъ,

какъ, напримѣръ, «Лихончиха»: характеръ героини этой повѣсти натянутъ и невыдержанъ, но многія подробности повѣсти тѣмъ не менѣе прекрасны. Лучшія (и ихъ большая часть) повѣсти, по-преимуществу юмористическія, какова, напр., «Капустинъ». Къ числу особенныхъ достоинствъ повѣстей г. Кукольника принадлежитъ то, что при всей простотѣ и при всемъ преобладаніи юмористическаго элемента, онѣ не лишены истинно-высокихъ и умиляющихъ душу страницъ. Изъ одного этого уже видно, какъ глубоко постигъ авторъ духъ времени, которое взялся изображать; въ этомъ времени два преобладающія начала: сознательный европеизмъ могучаго и геніальнаго преобразователя, стремленіе котораго такъ часто возвышалось до трагическаго величія, и комическое пониманіе этого европеизма со стороны даже даровитыхъ людей между его подданными. Это составляетъ пафосъ повѣстей г. Кукольника, и потому, читая ихъ, вы и смѣетесь отъ души и возвышаетесь душою.

Ожидаемъ съ нетерпѣніемъ слѣдующихъ томовъ. Первый заключаетъ въ себѣ *шесть* повѣстей: *Лихончиха*, *Новый Годъ*, *Благодѣтельный Андроникъ*, *Капустинъ*, *Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ*, *Прокуроръ*. Изданіе точно такое, какъ и «Сказки за Сказкою»: также сѣренько и также богато опечатками.

* **713.** Статейки въ стихахъ. *Безъ картинокъ. Т. I. Санктпетербургъ. Въ тип. Жернакова. 1843. Въ 16-ю д. л. 31 стр.* [84]).

Авторъ этой микроскопической книжки, названной имъ *первымъ томомъ*, долженъ быть человѣкъ умный: это особенно доказывается тѣмъ, что онъ не выставилъ на ней своего имени. Стихи его—водевильная болтовня о томъ, о сёмъ, а больше ни о чемъ,—болтовня, которая не можетъ не понравиться той многочисленной публикѣ, которая восхищается, въ Александрынскомъ Театрѣ, водевильнымъ остроуміемъ нашихъ доморощенныхъ драматурговъ. Мы убѣждены, что многіе найдутъ очень забавными стишки:

Придетъ охота страстная
За чтеніе засѣсть—
На то у насъ прекрасная
Литература есть.
Цѣпями съ модой скованный
Измѣнчивъ человѣкъ:
Насталъ *иллюстрированный*
Въ литературѣ вѣкъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ шутка съ «Нашими»
Пошла и удалась,
Тьма книгъ съ политипажами
Въ столицѣ развелась.
Увидишь тутъ Суворова,
(Извѣстный былъ герой),
Исторію котораго
Составилъ Полевой.

Одѣтаго какъ барина,
Во всей его красѣ,
Увидишь тутъ Булгарина,
Въ бекешѣ, въ картузѣ.
Различныхъ тутъ по званію
Увидишь ты гулякъ,
И цѣлую компанію
Салопницъ и бродягъ.
Рисунки чудно слажены,
Въ нихъ каждый штрихъ хорошъ,
Иные и раскрашены:
Ну, нехотя возьмешь!
Изданья тоже славныя,—
Бумага такъ бѣла,—
Но часто презабавныя
Выходятъ тутъ дѣла.
Чѣмъ книга напичкована
Постигнуть нѣтъ ума:
Въ ней все иллюминовано,
Да въ текстѣ—мракъ и тьма!
Въ рисункахъ отличаются
Клотъ, Тиммъ и *Неттельгорстъ*,
Всѣ ими восхищаются...
Художественный перстъ!

Впрочемъ, есть въ книжкѣ мѣста, даже слишкомъ высокія для публики, хлопающей пьесамъ въ родѣ «Ѳедосьи Сидоровны» и «Еще Руслапъ и Людмилла», какъ на-прим., вотъ эти:

Я преданъ сокрушенію,
Не нытся мнѣ, друзья:
Міръ ближе къ разрушенію,
Къ могилѣ ближе я.
Льдомъ жизненнаго холода
Не скована еще,—
Въ васъ сердце, други, молодо,
Свѣжо и горячо.
Еще вамъ свѣтъ корыстію
Разсудка не растлилъ
И жизни черной кистію
Злой рокъ не зачернилъ.
За счастьемъ безбоязненно
Пока вы мчитесь вдаль,
И гостьей непріязненной
Не ходитъ къ вамъ печаль.
Увы!... она пробудится:
Часъ близокъ роковой!
И съ вами то же сбудется,
Что сталося со мной:

Въ дни возраста цвѣтущаго
Я также былъ готовъ
Взять грудью у грядущаго
И славу и любовь,
Кипѣлъ чудесной силою
И рвался все къ тому,
Чего душой остылою
Теперь я не пойму.
Въ житейскихъ треволненіяхъ
Терпѣлъ и стыдъ и зло
И видѣлъ въ сновидѣніяхъ
Въ вѣнкѣ свое чело.
Любилъ—и имя чудное
Въ отчаяньи твердилъ,—
То было время трудное:
Насилу пережилъ!
Когда восторгъ лирическій
Въ себѣ я пробужу,
Я вамъ біографическій
Портретъ свой напишу.
Тогда вы все узнаете,—
Какъ глупъ я прежде былъ,
Мечталъ, какъ вы мечтаете,
Душой въ эѳирѣ жилъ,
Бѣжать хотѣлъ въ Швейцарію,—
И какъ родитель мой
Съ эѳира въ канцелярію
Столкнулъ меня клюкой.
Какъ гордъ преуморительно
Я въ новомъ былъ кругу,
И какъ потомъ почтительно
Сталъ гнуть себя въ дугу.
Какъ прежде, чѣмъ освоился
Со службой, все краснѣлъ,
А послѣ успокоился,
Окрѣпъ и потолстѣлъ.
Какъ гнаться сталъ за деньгами,
Изрядно нажился,
Дѣтьми и деревеньками
И домомъ завелся...

Въ этихъ шуточныхъ стихахъ цѣлая исторія жизни многихъ людей... Жаль, что авторъ ихъ не наполнилъ всей книжки своей такими стихами, и черезъ то не придалъ ей другой цѣли и значенія, кромѣ удовольствія «почтеннѣйшей» публики, составленной изъ разнаго мелко-чиновнаго народа. Впрочемъ, вѣдь и этому народу надо же что нибудь читать, и онъ будетъ читать и смѣяться, и даже запасется готовыми остротами, чтобъ удивлять ими товарищей и плѣнять своихъ дамъ, а книжка, должно быть, очень-недорога...

714. Русскій театръ въ Петербургѣ [85]).

Ломоносовъ, *или* Жизнь и Поэзія. *Драматическая повѣсть въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ и стихахъ, соч.* Н. А. Полеваго. *Дѣйствіе первое:* Рыбакъ; *дѣйствіе второе:* Поэтъ; *дѣйствіе третье:* Цѣпи жизни; *дѣйствіе четвертое:* Поэтъ и люди; *дѣйствіе пятое:* Великій человѣкъ.

Г. Полевой и г. Ободовскій завладѣли сценою Александрынскаго-Театра, вниманіемъ и восторгомъ его публики. И если нельзя не завидовать лаврамъ сихъ достойныхъ драматурговъ, то нельзя не завидовать и счастію публики Александрынскаго-Театра: она счастливѣе и англійской публики, которая имѣла одного только Шекспира, и германской, которая имѣла одного только Шиллера: она, въ лицѣ гг. Полеваго и Ободовскаго, имѣетъ вдругъ и Шекспира и Шиллера! Г. Полевой—это Шекспиръ публики Александрынскаго-Театра; г. Ободовскій—это ея Шиллеръ. Первый отличается разнообразіемъ своего генія и глубокимъ знаніемъ сердца человѣческаго; второй избыткомъ лирическаго чувства, которое такъ и хлещетъ у него черезъ край потокомъ огнедышащей лавы. Тамъ, гдѣ у г. Полеваго не хватаетъ генія, или оказывается недостатокъ въ сердцевѣдѣніи, онъ обыкновенно прибѣгаетъ къ балетнымъ сценамъ и, подъ звуки жалобно протяжной музыки, устраиваетъ патетическія сцены разставанія нѣжныхъ дѣтей съ дражайшими родителями, или вѣрнаго супруга съ обожаемою супругою. Тамъ, гдѣ у г. Ободовскаго изсякаетъ на минуту самородный источникъ бурно-пламеннаго чувства, онъ прибѣгаетъ къ пляскѣ, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патріотической драмы отхватывать въ присядку какой-нибудь національный танецъ. Обвиняютъ г. Ободовскаго въ подражаніи г. Полевому: по вѣдь и Шиллеръ подражалъ Шекспиру! Обвиняютъ г. Полеваго въ похищеніяхъ у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюмà и прочихъ; но это не только не похищенія—даже не заимствованія; извѣстно, что Шекспиръ бралъ свое, гдѣ ни находилъ его: то же дѣлаетъ и г. Полевой, въ качествѣ Шекспира Александрынскаго-Театра. Г. Полевой пишетъ и драмы, и комедіи, и водевили; Шекспиръ писалъ только драмы и комедіи: стало-быть, геній г. Полеваго еще разнообразнѣе, чѣмъ геній Шекспира. Шиллеръ писалъ однѣ драмы и не писалъ комедій: г. Ободовскій тоже пишетъ однѣ драмы и не пишетъ комедій. Г. Полевой началъ свое драматическое поприще подражаніемъ «Гамлету» Шекспира; г. Ободовскій началъ свое драматическое поприще переводомъ «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, г. Полевой началъ свое драматическое поприще уже въ лѣтахъ зрѣлаго мужества, а до-тѣхъ поръ, подобно Шекспиру, съ успѣхомъ упражнялся въ разныхъ родахъ искусства, свойственныхъ незрѣлой юности, и, подобно Шекспиру, началъ свое литературное поприще нѣсколькими лирическими пьесами, о которыхъ, въ свое

время, извѣстилъ россійскую публику г. Свиньинъ. Г. Ободовскій, подобно Шиллеру, началъ свое драматическое поприще въ лѣта пылкой юности. Намъ возразятъ, можетъ-быть, что Шекспиръ не прибѣгалъ къ балетнымъ сценамъ, и Шиллеръ не заставлялъ плясать своихъ героевъ: такъ; но вѣдь нельзя же ни въ чемъ найдти совершеннаго сходства; притомъ же, балетныя сцены и пляски можно отнести скорѣе къ усовершенствованію новѣйшаго драматическаго искусства на сценѣ Александрынскаго-Театра, чѣмъ къ недостаткамъ его. Послѣ Шекспира и Шиллера, драматическое искусство должно же было подвинуться впередъ,—и оно подвинулось: въ драмахъ г. Полеваго, съ приличною важностью минуэтной выступки, а въ драмахъ г. Ободовскаго, съ дробною быстротою малороссійскаго трепака,—въ чемъ, сверхъ-того, выразились и степенныя лѣта перваго сочинителя, и порывистая юность втораго. Что же касается до несходствъ,—ихъ можно найдти и еще нѣсколько. Шекспиръ началъ свое поприще несчастно,—г. Полевой счастливо; Шекспиръ не обольщался своею славою и смотрѣлъ на нее съ улыбкою горькаго британскаго юморя: г. Полевой вполнѣ умѣетъ цѣнить пожатые имъ на сценѣ Александрынскаго-Театра лавры. Шиллеръ былъ гонимъ въ юности и уважаемъ въ лѣта мужества,—г. Ободовскій былъ ласкаемъ и уважаемъ со дня вступленія своего на драматическое поприще, и т. д.

Если бы не усердіе и трудолюбіе сихъ достойныхъ драматурговъ,—русская сцена пала бы совершенно, за непмѣніемъ драматической литературы. Теперь она только и держится, что гг-ми Полевымъ и Ободовскимъ, которыхъ, поэтому, можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно, они дѣйствуютъ такъ: когда сцена истощится, они пишутъ новую пьесу, и пьеса эта дается разъ пятьдесятъ сряду, а потомъ уже совсѣмъ не дается. Такъ недавно тѣшилъ г. Ободовскій публику Александрынскаго-Театра своею безподобною драмою «Русская боярыня XVII столѣтія»; такъ недавно тѣшилъ г. Полевой публику Александрынскаго-Театра «Еленою Глинскою», а на прошлой масляницѣ потѣшалъ ее «Ломоносовымъ», который былъ данъ ровно *девятнадцать* разъ, и который уже едва-ли данъ будетъ когда нибудь въ двадцатый разъ. Сама «Сѣв. Пчела» (зри 35 №) выразилась объ этомъ такъ: «дайте *десять* разъ сряду піесу, и она уже *старая!* Всѣ ее видѣли, всѣ наслаждались ею, и *занимательность пропала.* А пусть бы играли ту же піесу два раза въ недѣлю, и она была бы свѣжа въ теченіе года. Вотъ придетъ масляница, и къ посту піеса превратится въ *демьянову уху*». Полно, правда ли это? Намъ кажется, что для такой пьесы, какъ «Ломоносовъ», очень-выгодно быть представленной *девятнадцать* разъ въ-продолженіе *двадцати* дней, по пословицѣ: *куй желѣзо, пока горячо.* Что изящно, то всегда интересно, и занимательность хорошей пьесы не можетъ пропасть ни съ того, ни съ сего. «Горе отъ Ума» и «Ревизоръ» и теперь даются, и всегда будутъ даваться. А «Ломоносовъ» и К° пошумятъ, пошумятъ недѣли двѣ-три, да и умрутъ скоропостижно, пропадутъ безъ вѣсти.

*

Г. Ксенофонтъ Полевой сдѣлалъ изъ жизни Ломоносова нѣчто среднее между повѣстью и біографіею. Онъ вѣрно придерживался тѣхъ немногихъ и главныхъ фактовъ жизни Ломоносова, которые дошли до нашего времени, вѣрно держался духа, разлитаго въ твореніяхъ Ломоносова, и очень-искусно замѣстилъ пробѣлы въ жизни Ломоносова возможными и вѣроятными распространеніями и вымыслами, которые не противорѣчатъ ни извѣстнымъ фактамъ жизни, ни духу твореній Ломоносова. Такимъ образомъ, у г. К. Полеваго вышла книга, искусно изложенная. Г. Н. Полевой, соревнующій всѣмъ прошедшимъ успѣхамъ, отъ водевиля Аблесимова, драмъ Иванова и Ильина, до многочисленныхъ драматическихъ опытовъ князя Шаховскаго, поревновалъ и успѣху брата своего г. К. Полеваго,—и изъ хорошей книги выкроилъ плохую драму, въ которой, ради драматической шумихи дурнаго тона и трескучихъ эффектовъ, нарушилъ историческую истину и изъ характера отца русской учености и литературы, сдѣлалъ жалкую каррикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и г. К. Полевой очень хорошо поступилъ, сдѣлавъ изъ нея нѣчто среднее между біографіею и повѣстью. Ломоносовъ былъ человѣкъ съ душою поэтическою; мы охотно допускаемъ въ немъ и талантъ поэтическій; но кому же не извѣстно, что наука была преобладающею страстью его и что заслуги его въ области науки несравненно-значительнѣе и выше, чѣмъ въ области поэзіи и краснорѣчія? Г. Полевой, не разъ *печатно* говорившій, что Ломоносовъ не поэтъ, сдѣлалъ въ своей драмѣ Ломоносова по преимуществу поэтомъ и на его поэтическомъ стремленіи основалъ пафосъ своей драмы. Какъ вамъ покажется это противорѣчіе критика съ поэтомъ (ибо г. Полевой нешутя считаетъ себя поэтомъ)? Но это противорѣчіе не единственное: г. Полевой, въ-продолженіе почти десятилѣтняго изданія своего «Телеграфа», постоянно и съ какимъ-то ожесточеніемъ преслѣдовалъ драматическіе труды князя Шаховскаго, а теперь самъ неутомимо подвизается на его поприщѣ, и притомъ въ томъ же духѣ, въ тѣхъ же понятіяхъ объ искусствѣ, только съ меньшимъ талантомъ, нежели князь Шаховской. И такихъ противорѣчій между г. Полевымъ, какъ бывшимъ критикомъ, и между г. Полевымъ, какъ теперешнимъ дѣйствователемъ на поприщѣ изящной словесности, можно найдти много. Откуда же происходятъ эти противорѣчія, въ чемъ ихъ источникъ, гдѣ ихъ причина? По нашему мнѣнію, эти противорѣчія суть нѣчто кажущееся,—въ самомъ же дѣлѣ ихъ нѣтъ. Какъ критикъ, г. Полевой не выше г. Полеваго, романиста и драматурга. Критика г. Полеваго отличалась вкусомъ, остроуміемъ, здравымъ смысломъ, когда въ нее не вмѣшивались пристрастіе и оскорбленное сочинительское самолюбіе; но законы изящнаго, глубокій смыслъ искусства всегда были и навсегда остались тайною для критики г. Полеваго. Вотъ почему теперь пріятнѣе перечитывать его рецензіи, чѣмъ его критики, и вотъ почему въ его критикахъ теперь уже не находятъ мыслей и даже не могутъ понять, о чемъ въ нихъ толкуется, и видятъ въ нихъ однѣ фразы и слова. Кто глубоко по-

нимаетъ сущность искусства, тотъ благоговѣйно чтитъ искусство, и никогда не рѣшится унижать его литературною дѣятельностію безъ призванія, безъ таланта. Но положимъ, что могутъ иногда быть подобныя нравственныя аномаліи, и что человѣкъ, глубоко понимающій искусство, можетъ имѣть иногда слабость чувствовать въ себѣ призваніе, котораго ему не дано, и видѣть въ себѣ талантъ, котораго въ немъ нѣтъ: все же въ его произведеніяхъ, какъ бы ни были они холодны, сухи и скучны, будутъ видны его понятія объ искусствѣ. Но драмы г. Полеваго—живое опроверженіе того, что онъ писывалъ, бывало, о чужихъ драмахъ, а критика его—рѣшительное ауто-да-фе для его драмъ. Нѣтъ, поверхностная критика г. Полеваго была зерномъ его теперешнихъ драмъ и между ею и ими нѣтъ большаго противорѣчія. Критикъ г. Полевой былъ моложе, слѣдовательно, живѣе и сильнѣе нравственно: драматургъ г. Полевой уже сочинитель, который все для себя рѣшилъ и опредѣлилъ, которому нѣчего больше узнавать, нѣчему больше учиться: вотъ и вся разница...

И, однакожь, основать драму жизни Ломоносова на исключительномъ стремленіи къ поэзіи, понимая Ломоносова совсѣмъ не какъ поэта,—это противорѣчіе уже не эстетикѣ, а развѣ здравому смыслу. Но что г. Полевой человѣкъ умный, въ этомъ никто не сомнѣвается, и мы увѣрены, что онъ самъ прежде другихъ видѣлъ нессобразность въ основной идеѣ своей «драматической повѣсти». Зачѣмъ же допустилъ онъ эту несообразность? Очевидно, что здѣсь увлекла его непреодолимая охота быть драматургомъ вопреки призванію и способностямъ. Какъ умный человѣкъ, онъ понималъ очень хорошо, что нѣтъ никакой возможности заинтересовать толпу идеею стремленія къ наукѣ, и что стремленіемъ къ поэзіи можно заинтересовать толпу, хотя она и не понимаетъ, что̀ такое поэзія. Конечно, это показываетъ въ сочинителѣ легкость и неглубокость эстетическихъ, ученыхъ и литературныхъ убѣжденій. Что̀ за любовь, что̀ за уваженіе къ искусству, если хлопанье, крики и вызовы толпы могутъ ихъ ослаблять и уничтожать?

Когда идея, взятая въ основаніе произведенія, ложна сама-въ-себѣ, то и при талантѣ автора произведеніе не можетъ быть удачно; если же тутъ дѣло идетъ о сочинителѣ безъ призванія и способности, то изъ произведенія выходитъ нелѣпость. Если эта нелѣпость исполнена трескучихъ и грубыхъ эффектовъ и выставляется на удивленіе толпы,—то она можетъ имѣть сильный, хотя и мгновенный успѣхъ...

Но мы отдалились отъ предмета статьи—«драматической повѣсти» г. Полеваго: обратимся къ ней. Разсказывать ея содержанія не будемъ, потому что это содержаніе—повтореніе тѣхъ изношенныхъ эффектовъ и истертыхъ общихъ мѣстъ, изъ которыхъ уже сто разъ клеилъ г. Полевой свои «драматическія представленія». Первый актъ вертится весь на любви—не Ломоносова, слава Богу, а Вавилы къ Настѣ, на которой отецъ хочетъ заставить Ломоносова жениться. Любовь—самый ложный мотивъ въ русской драмѣ, когда дѣло

идетъ о женитьбѣ. Въ мужицкомъ быту не бываетъ французскихъ водевилей. Это ложь! Второй актъ опять состоитъ изъ любви—Ломоносова къ дочери его хозяйки, Христинѣ. Скряга и ростовщикъ *Кляузъ* далъ матери Христины денегъ взаймы, и зная, что ей нѣчѣмъ заплатить, хочетъ заставить ее выдать за него дочь свою или пойдти въ тюрьму. Когда уже старуху тащутъ въ тюрьму, Ломоносовъ кстати является съ деньгами, платитъ долгъ, выгоняетъ Кляуза, признается г-жѣ Энслебенъ въ любви къ ея дочери, проситъ ея руки. Какъ все это старо, пошло и приторно! Въ третьемъ актѣ, Ломоносовъ презираетъ Вольфа, не ходитъ къ нему на лекціи, терпитъ пужду и говоритъ фразы. Пришедши разъ домой, онъ видитъ, что жена его спитъ у колыбели дочери, горестно задумывается, цалуетъ дочь, становится на колѣни, читаетъ молитву, и, разыгравъ эту минуетную сцену, уходитъ въ Россію. Эпизодъ завербованія, въ третьемъ актѣ, лишенъ всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякаго смысла. Въ четвертомъ актѣ, г. Полевой хотѣлъ изобразить въ лицѣ Ломоносова отношеніе поэта къ людямъ; людей онъ дѣйствительно представилъ довольно-полными, но въ Ломоносовѣ показалъ не поэта, не ученаго, а какого-то брюзгу, который на словахъ города беретъ, а на дѣлѣ малодушенъ и слабохарактеренъ, какъ плаксивый ребенокъ. Въ пятомъ актѣ, г. Полевой показываетъ намъ большой свѣтъ: вотъ это ужь совсѣмъ напрасно! Его большой свѣтъ похожъ на пирушку подгулявшихъ сочинителей средней руки, которые, подъ-хмѣлькомъ, мирятся послѣ своихъ грязныхъ ссоръ, обнимаются, цалуются, называютъ другъ друга «почтеннѣйшими» и даже пляшутъ въ присядку, подогнувъ свои мелодраматическія колѣни. Кстати: на вельможескомъ балѣ, изображенномъ чудною кистію г. Полеваго, пляшетъ Тредьяковскій, подъ напѣвъ глупыхъ стиховъ своихъ. Что даже и вельможи стараго времени любили иногда потѣшиться ученымъ народомъ, который по большой-части былъ-горькимъ пьяницей и добровольнымъ шутомъ,—это фактъ; но чтобъ у вельможи на балѣ могъ плясать въ присядку Тредьяковскій,—это, вѣроятно, принадлежитъ къ поэтическому вымыслу г. Полеваго. Но нападки на г. Полеваго нѣкоторыхъ литераторовъ за Тредьяковскаго совершенно несправедливы. Мы помнимъ, что за это нападала на г. Лажечникова и «Б. для Ч.», а въ драмѣ г. Полеваго, характеръ Тредьяковскаго есть повтореніе созданнаго г. Лажечниковымъ характера Тредьяковскаго въ «Ледяномъ домѣ». Говорятъ, что Тредьяковскій могъ писать плохіе стихи, и все-таки быть порядочнымъ человѣкомъ. Не знаемъ, такъ ли это, но вотъ анекдотъ о Тредьяковскомъ, изъ записокъ Пушкина *).

Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. «Ваше высокопревосходительство! Меня Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до-сихъ поръ у меня болитъ».—Какъ же, братецъ? отвѣчалъ ему Шуваловъ: у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за лѣвую?—«Ахъ, В. В., вы имѣете резонъ», отвѣчалъ Тредьяковскій и перепесъ

*) «С. Цвѣты» 1827 г., стр. 112.

руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ Волынскаго сказано, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго пѣнты Василья Тредьяковскаго; но ода была не готова, и пылкій статсъ-секретарь наказалъ тростію оплошнаго стихотворца.

Хорошъ порядочный человѣкъ! Скажутъ: то было такое время! Однакожь, въ такое же время Ломоносовъ писалъ къ Шувалову, хотѣвшему помирить его съ Сумароковымъ: «Я, выше высокопревосходительство, не только у вельможъ, но ниже у Господа моего Бога дуракомъ быть не хочу».

Кстати о театрѣ: въ 18 № «Московскихъ Вѣдомостей» пишутъ о бенефисѣ Щепкина, въ который давались «Женитьба» и «Игроки» Гоголя. Изъ статьи этой видно, что обѣ пьесы были разъиграны прекрасно. Кто знаетъ московскій театръ, тотъ повѣритъ, что пьесы Гоголя были представлены достойнымъ образомъ, достойнымъ и ихъ и громкаго имени творца ихъ. Всѣ русскія пьесы, т. е. хорошія русскія пьесы, а не «Боярыня XVII вѣка» и «Елена Глинская», идутъ на московскомъ театрѣ гораздо-лучше, чѣмъ переводныя. «Горе отъ Ума» играется тамъ прекрасно; «Ревизоръ» тоже (за исключеніемъ роли Хлестакова, для которой не нашлось актёра въ обѣихъ столицахъ нашихъ). Жаль, что въ статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей» ничего не говорится о пріемѣ, какой публика сдѣлала пьесамъ Гоголя. превосходнымъ по себѣ и прекрасно разыгранымъ. На Александрынскомъ-Театрѣ «Женитьба» была принята очень-дурно,—и не мудрено: вкусъ нѣкоторыхъ посѣтителей Александрынскаго-Театра избалованъ такими высокими созданіями, каковы: «Ѳедосья Сидоровна, или Война съ Китайцами», «Русская Боярыня XVII вѣка» и «Еще Русланъ и Людмила»...

715. Литературныя и журнальныя замѣтки. [86])

Въ 35 № «Сѣверной Пчелы» превозносится до небесъ плохая драма г. Полеваго «Ломоносовъ», и, по обыкновенію, съ ожесточеніемъ порицаются «Отеч. Записки» за то, что онѣ говорятъ правду о новомъ драматическомъ издѣліи г. Полеваго. «Не знаемъ, чему дивиться (восклицаетъ «Сѣверная пчела»), *храбрости* ли Отечественныхъ Записокъ, которыя, вопреки истинѣ и общему мнѣнію, стремятся унижать достоинства писателей, не принадлежащихъ къ ихъ партіи, или терпѣнію публики!» Въ-самомъ-дѣлѣ нужна особенная *храбрость*, чтобъ смѣть сказать правду о такомъ великомъ національномъ геніи, какъ г. Полевой! По нашему мнѣнію, гораздо больше нужно было храбрости разругать *седьмую* главу «Онѣгина», превознося до небесъ первыя шесть главъ его; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Нужно было также довольно смѣлости, чтобъ разругать и лучшее произведеніе г. Загоскина—«Юрій Милославскій», а потомъ хвалить слѣдовавшіе за нимъ посредствен-

ные его романы; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Еще больше нужно смѣлости, чтобъ въ одномъ нумерѣ газеты назвать «Уголино» г. Полеваго пьесой равною по достоинству съ драмами Шиллера, а черезъ три дня, въ той же газетѣ, поставить ее хуже всего худаго, оправдываясь передъ публикою въ первомъ отзывѣ кумовствомъ, camaraderie!.. Но чтобъ сказать правду о какомъ-нибудь поставщикѣ дюжинныхъ драмъ,—для этого ненужно никакой храбрости, и какъ не хлопочетъ «Сѣверная Пчела», а изъ нашихъ отзывовъ объ издѣліяхъ драматической «тли» [87–88]) никогда не удастся ей сдѣлать страшнаго литературнаго преступленія...

Въ фѣльетонѣ того же знаменитаго нумера (35-го) «Сѣверной Пчелы», оканчивающагося апоѳеозою блиновъ въ екатерингофскомъ вокзалѣ и въ кафе-ресторанѣ Беранжѣ, есть еще двѣ прекурьёзныя диковинки. Фельетонистъ, превознося до небесъ вмѣстѣ съ блинами и «Ломоносова» г. Полеваго, упрекаетъ его только за характеръ Тредьяковскаго, и на какомъ бы-думали вы основаніи? Послушайте самого фѣльетониста: «Точно ли былъ таковъ Тредьяковскій? Правда ли, что писалъ о немъ Ломоносовъ и другіе враги? Что бы было, еслибы потомство стало судить объ авторахъ (*не о сочинителяхъ ли*?), напримѣръ, по сужденіямъ Отечественныхъ Записокъ?»—Вотъ, по истинѣ, странное опасеніе! Ужь не боится ли г. фѣльетонистъ, чтобы его нѣкогда не вывели въ какой-нибудь «драматической повѣсти»? Или, не думаетъ ли онъ, что кто-нибудь можетъ замаскироваться отъ потомства, когда онъ знаетъ, что и для современниковъ не такъ-то легко ходить долго подъ маскою? Державинъ сказалъ великую истину и высокую мысль въ этихъ стихахъ:

Какихъ ни вымышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться:
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться!

Вторую курьёзную вещь въ этомъ фѣльетонѣ тоже выписываемъ цѣликомъ:

«Пропала русская пословица: «по платью встрѣчаютъ, по уму провожаютъ!» Теперь ни до платья, ни до чужаго ума никому нѣтъ дѣла, если вашъ умъ не нуженъ другимъ для спекуляцій! Теперь собесѣдниковъ выбираютъ по адресъ-календарю или по биржевымъ извѣстіямъ, а не по уму и любезности. А то ли было въ XVIII вѣкѣ? *Что было бы съ авторомъ, котораго пьеса имѣла бы такой блистательный успѣхъ, какъ Ломоносовъ Н. А. Полеваго!* Вспомнимъ о Сумароковѣ, Фонъ-Визинѣ, Аблесимовѣ, и многихъ другихъ.»

Объ Аблесимовѣ, на этотъ счетъ, мы ничего не помнимъ, а о Сумароковѣ хорошо помнимъ, что онъ, по своему раздражительному, сочинительскому самолюбію, былъ въ обществахъ не очень-лестно принятъ. Фонъ-Визинъ—совсѣмъ другое дѣло: это былъ не только умный, острый и образованный человѣкъ, но и литераторъ честный...

Давно уже слышимъ мы, что въ «Петербургѣ» издается какой-то журналъ подъ именемъ «Маяка» и желали, изъ любопытства, видѣть его; по справкамъ

оказалось, что это чрезвычайно трудно, и мы принуждены были отказаться отъ своего желанія,—какъ вдругъ 24-й нумеръ «Сѣверной Пчелы» снова возбудилъ въ насъ желаніе удостовѣриться въ существованіи миѳическаго журнала. На этотъ разъ, случай помогъ намъ неожиданно достать январскую книжку «Маяка» на 1843 годъ,—и при всей нашей недовѣрчивости къ «Сѣверной Пчелѣ» мы увидѣли, что все сказанное въ ней (№ 24) о «Маякѣ» сущая правда, не выдумка. Перелистовавъ эту книжку, мы тотчасъ увидѣли что это журналъ «для немногихъ», и тотчасъ поняли, почему не могли такъ долго убѣдиться собственными глазами въ его существованіи. Между прочими диковинками—представте себѣ: какой-то г. Мартыновъ обѣщаетъ Степану Онисимовичу, издателю «Маяка», *подробный обзоръ стихотвореній А. С. Пушкина*. Предвидя удивленіе многихъ, что *какой-то* господинъ Мартыновъ обѣщаетъ лучше всѣхъ бывшихъ и настоящихъ критиковъ оцѣнить Пушкина, онъ (т. е. г. Мартыновъ) говоритъ:

«Лѣтописи *грамотности* или словесности, по вашему—литературы, представляютъ каждому изъ насъ убѣдительныя доказательства того, что самые извѣстные и знаменитые цѣнители чужихъ произведеній часто впадаютъ въ непростительные промахи: или слишкомъ заговариваются, или многое не договариваютъ, или многое переговариваютъ; между тѣмъ какъ люди, дотолѣ неизвѣстные, являются на сцену письменности съ ясными, прямыми и вѣрными взглядами на вещи этого рода, безъ малѣйшаго послагательства на *высшія точки зрѣнія*, и *прославленный отъ современниковъ писатель предстаетъ передъ потомство съ ощипанными лаврами*» (*Критики стр. 24*).

По мнѣнію г. Мартынова, всѣ критики, хвалившіе Пушкина, и пристрастны и поверхностны; судя по этому и по другимъ фразамъ статейки г. Мартынова, видно, что онъ рѣшился *общипать* Пушкина не на шутку. Г. Мартыновъ говоритъ правду, что нѣтъ дѣла до извѣстности или неизвѣстности критика, лишь бы онъ дѣльно критиковалъ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы какой-нибудь господинъ, хотя бы то былъ самъ г. Мартыновъ, не сдѣлавъ дѣла, а только посуливъ его, уже имѣлъ право расхвастаться имъ, какъ великимъ подвигомъ, и утверждать храбро, что всѣ критики заблуждались, а одинъ онъ напалъ на истину. Но въ «Маякѣ» этотъ тонъ принятъ, какъ видно, за основаніе изданія: имъ такъ и дышатъ всѣ статьи его. Г. издатель «Маяка» (если не ошибаемся, г. *Бурачекъ*), въ отвѣтѣ на литературное хвастовство г. Мартынова, говоритъ, что для нашей литературы насталъ вѣкъ *мишурности*, что Батюшковъ былъ предвѣстникомъ, а Пушкинъ основателемъ и утвердителемъ этой *мишурности*; что противъ нея теперь ратуютъ, елико силъ хватаетъ: «Маякъ», «Сынъ Отечества» и «Москвитянинъ», а прочіе журналы горой стоятъ за нее!.. Боже великій, что̀ это такое?.. Но погодите то ли еще впереди! «Сыну Отечества» «Маякъ» воздастъ полную похвалу, какъ достойному его сподвижнику; но «Москвитянинома» онъ только вполовину доволенъ· «Москвитянинъ»—видите ли—противорѣчитъ самому-себѣ, съ одной стороны утверждая, что русская литература должна свергнуть съ себя

вліяніе лукаваго и буйствомъ разума омраченнаго Запада и быть самобытною и оригинальною; а съ другой стороны, утверждаетъ, что «Мертвыя Души» Гоголя—великое произведеніе, что Пушкинъ—великій поэтъ, и что Западъ образованнѣе насъ.

«Въ чемъ (восклицаетъ въ рыцарскомъ негодованіи нашъ восточный витязь)? въ вязкѣ блондовъ (блондъ?), въ развлеченіяхъ и услажденіяхъ жизни, въ желѣзныхъ дорогахъ, операхъ—въ роскоши?—*пожалуй*; но въ любви къ Богу, въ добродѣтели, въ семейности, въ сердечной, духовной образованности, что безконечно важнѣе и труднѣе—Русскіе всегда были и есть выше Запада». (стр. 30).

Далѣе, издатель «Маяка» восклицаетъ: «Добрые Русскіе» вы всѣ согласны, что пора намъ бросить *чужое* и возвратиться къ *своему*?» и *такъ* заставляетъ *добрыхъ Русскихъ* отвѣчать ему: «Да, да, мы всѣ согласны. Это хорошо. Давайте свое, свое, русское, родное! *ура!*» (стр. 31). «Стало быть и Пушкинъ *мишурникъ?*» спрашиваютъ хоромъ добрые Русскіе г. издателя «Маяка»: «Какъ смѣть! мировой поэтъ! народный геній! краса и столбъ нашей литературы!»... Но издателя «Маяка» нельзя сбить съ толку цѣлому хору добрыхъ Русскихъ, и онъ, ни мало не запинаясь, отвѣчаетъ такъ:

— Добрые Русскіе! вѣдь это все пока *порожнія* рѣчи, слова—слова—слова! вглядимся въ дѣло: разберемте Пушкина: вотъ г. Мартыновъ предлагаетъ вамъ свой исполинскій трудъ: выслушаемте его спокойно, не горячась, посудимъ, потолкуемъ,—убѣдимся и положимъ: «быть тому такъ»: всѣ заблуждались въ словесности, *есть поголовно*, и производители и потребители. Кого же винить?—ложный духъ времени! Кому красиѣть—никому или всѣмъ: а *на людяхъ* не только смерть, и *стыдъ красенъ*. Смиримъ же свою мнимую непогрѣшительность, падшими человѣками и, подъ такимъ назидательнымъ урокомъ милующей разъ и навсегда перестанемъ повторять *порожнія* рѣчи!» (стр. 32).

Вотъ ужь подлинно *порожнія* рѣчи! Какъ бы хорошо было, для чести здраваго смысла и русской литературы, еслибы онѣ перестали повторяться! И что за милый, наивный и патріархальный тонъ, что за короткость съ добрыми Русскими! Хорошо еще, что эти «добрые Русскіе» не слышатъ такихъ «порожнихъ» рѣчей! Видите ли: соберемтесь-ка вкупѣ и влюбѣ, сядемъ кругомъ г. Мартынова, читающаго намъ свой *исполинскій* трудъ, состоящій изъ *порожнихъ* рѣчей,—да не горячась, спокойно,—и сознаемся въ ничтожествѣ, или, нѣтъ бишь,—въ *мишурности* нашего великаго поэта и въ собственной глупости, да, по старинному обычаю, и *ударимъ челомъ*, не боясь запачкать его въ грязи, премудрому г. Мартынову, наведшему насъ такъ легко и скоро на умъ-разумъ... Кстати ужь заодно въ смиреніи сердца поваляемся въ ногахъ и у новаго великаго муфтія россійской словесности, г. издателя «Маяка» что онъ растолковалъ намъ, невѣждамъ, что Пушкинъ не болѣе, какъ *флигельманъ* русской литературы, которая доселѣ повторяетъ его *мишурные артикулы* (стр. 32),—и только попросимъ, чтобы онъ, нашъ литературный

муфтій, смиловался, удержалъ порывъ своего мусульманскаго фанатизма, помня пословицу: гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость!.. Ну, добрые Русскіе! гаркнемъ же дружно и велегласно: *помилуй, отецъ и командиръ, впередъ право не будемъ! Убѣдимся, вразумимся и дружно примемся лечиться!..*

И это литература?.. Но что жь тутъ огорчаться: вѣдь это литература подземная,—задній дворъ литературы...

Однакожь, интересно знать, что разумѣютъ эти господа подъ «народностію» русской литературы и какія средства почитаютъ они необходимыми для того, чтобъ наша литература сдѣлалась народною. Скучно выписывать, а дѣлать нѣчего, если ужъ начали. Итакъ, слушайте, „добрые Русскіе:“

„Давайте выражать русское горячее *чувство*, мудрое *знаніе* и *силу* богатырскую души,—живымъ, кипучимъ, роднымъ, народнымъ, МАЛЕНЬКО МУЖИЦКИМЪ словомъ... Что же, господа (надобно бы—*ребята*, или *братцы*)?.. Да гдѣ же вы?... Куда-жъ вы разъѣжались?..“

Надобно сказать, что вся эта галиматья изложена въ видѣ спора между „Маякомъ“ и „Москвитяниномъ“. Изъ чего же спорятъ сіи достойные сподвижники? За что вооружился „Маякъ“ на „Москвитянина“? Имъ-то ужъ совсѣмъ бы не слѣдовало ссориться. Но таковы люди! Это еще только перемолвочка—*милые бранятся только тѣшатся*; а то бываютъ какія страшныя ссоры между (выражаясь маленько-мужицкимъ слогомъ) *закадышными* друзьями!.. Гоголь превосходно изобразилъ примѣръ такихъ разрывовъ самой пламенной дружбы въ лицѣ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича... Главная разница въ характерахъ сихъ достойныхъ друзей состояла въ томъ, что Иванъ Ивановичъ былъ чрезвычайно-тонкій и разборчивый на слова человѣкъ, а Иванъ Никифоровичъ любилъ иногда вверпуть въ разговоръ *маленько-мужицкое* словцо... Это и было причиною вражды, сѣнившей ихъ дружбу... [89])

*** 716. Драматическіе Сочиненія и Переводы Н. А. Полеваго.** *Часть четвертая. Санктпетербургъ. 1843. Въ тип. Н. Греча. Въ 16-ю д. л. 629 стр.* [90]).

Въ четвертой части «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ». г. Полеваго содержится три драмы: «Смерть или Честь!», «Елена Глинская» и «Мать-Испанка». Всѣмъ извѣстно, что г. Полевой взялъ содержаніе драмы «Смерть или Честь» изъ повѣсти, но не всѣ знаютъ, можетъ-быть, почему именно онъ взялъ его изъ повѣсти. Тѣ, которые полагаютъ, что онъ поступилъ такъ по общему всѣмъ нашимъ доморощеннымъ драматургамъ недостатку воображенія, очень ошибаются. Вотъ собственныя слова г. Полеваго:

«Мнѣ хотѣлось испытать важность въ наше время *драмы собственно* (?..) въ родѣ драмы Лессинга, Иффланда, Дидерота и съ тѣмъ вмѣстѣ увѣриться:

справедливо ли мнѣніе нѣкоторыхъ критиковъ, будто изъ *повѣсти*, или. *романа*, не можетъ быть заимствовано *сценическое представленіе* въ чемъ ссылались на множество неудачныхъ опытовъ? *Содержаніе* сей драмы взято изъ повѣсти Мишель-Массона Le Grain de Sable, помѣщенной въ изданномъ имъ собраніи повѣстей, подъ заглавіемъ: Daniel le Lapidaire ou les Contes de l'atelier (Парижъ, 1833 г.)».

Кто же тѣ «нѣкоторые критики, которые утверждали, что изъ повѣсти нельзя сдѣлать истинно хорошей драмы?..» Да первый—самъ же г. Полевой! Не тотъ г. Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Русскаго Вѣстника», не тотъ, который выкрапваетъ изъ чего-попало плохія драмы, создаетъ комедіи въ родѣ «Войны Ѳедосьи Сидоровны съ Китайцами» и воспѣваетъ «деньги»; но тотъ, который издавалъ «Телеграфъ», который ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленія драмъ гг. Шаховскаго и Кукольника и не воспѣвалъ «денегъ»...

Намъ особенно нравятся тѣ драмы г. Полеваго, въ которыхъ онъ изображаетъ вельможъ и вообще людей высшаго тона. Здѣсь онъ неподражаемъ. Смотря на его графинь и баронессъ, не скажешь, что онѣ вчера еще были кухаркамп своихъ мужей, которые въ свою очередь только-что сошли съ запятокъ; слушая, какъ разсуждаютъ у г. Полеваго герцогини и герцоги, не подумаешь, что ошибся дверью и попалъ, вмѣсто гостиной, въ лакейскую... «Смерть или Честь»—драма самаго высшаго тона: въ ней дѣйствуютъ графы, министры, самъ герцогъ и весь дворъ его. Вотъ сцена, которой нельзя довольно налюбоваться: элегантность удивительная!

Герцогъ, герцогиня, графъ Оттонъ Шварцбергъ *и другіе.*

Зильберъ (*герцогинѣ*). Само небо благословляетъ прибытіе вашей свѣтлости: *послѣ дождливой погоды настали такой прелестнѣйшій день!*

Герцогъ. Да, сегодня можно славно поохотиться. Надѣюсь, что и вамъ, герцогиня, *будетъ весело порыскать* по полю?

Герцогиня. Я плохая наѣздница, но люблю смотрѣть на *живое* удовольствіе охоты, и все, что нравится вашей свѣтлости нравится и мнѣ.

Герцогъ (*въ сторону*). Идиллія! (*Шварцбергу*) А вы, графъ, вѣдь съ нами?

Шварцбергъ, Если только ваша свѣтлость не прикажете мнѣ остаться.

Герцогъ. Помилуйте, графъ: вы такой опытный охотникъ, вы *украшеніе* нашей *прогулки*... Вотъ г. Зондермана можемъ мы оставить въ покоѣ—онъ такъ занятъ теперь счетами...

Задерманъ (тихо). Я погибъ

Герцогъ. Подивитесь, герцогиня, что даже графъ Оттонъ ѣдетъ съ нами. Воля ваша, *а ужъ* мы вамъ обязаны.

Герцогиня. Мнѣ?

Герцогъ. Вамъ именно: онъ не смѣетъ ослушаться повелительницы всѣхъ сердецъ.

Оттонъ.—Не знаю, ваша свѣтлость, почему не *изволите* вы *предполагать* что я хочу также отличиться удальствомъ на охотѣ.

Фредерикъ.—Прекрасно, графъ! Такъ вы ничего не захотѣли бы сдѣлать въ угодность герцогинѣ?

Оттонъ.—Я готовъ жертвовать жизнію, чтобы только доказать...

Шперлингъ.—О, графъ! вы заставили бы тогда плакать многихъ, многихъ... не только во дворцѣ, но и въ бѣдныхъ хижинахъ, и на чердакахъ, какіе находятся въ улицахъ Чернаго Сокола!

Герцогъ (*смѣясь*).—Или, *какъ бишь* называютъ ту улицу, что идетъ отъ Эггерсдорфской заставы? Не помните ли вы, Шперлингъ.

Шперлингъ (*улыбаясь*).—*Какъ бишь*... Въ ней еще такія красавицы булочница и пирожница.

(*Многіе смѣются*).

Допустимъ, что примѣчаніе, на которое мы указали выше, придумано не для того, чтобъ придать побольше важности слабому, тщедушному созданію и прикрыть благовиднымъ предлогомъ несовсѣмъ хорошо рекомендующееся литературное похищеніе; согласимся, что дѣйствительно не другое что нибудь, а только желаніе увѣриться—можно ли изъ повѣсти сдѣлать драму—заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе драмы «Смерть или Честь» изъ повѣсти. Но вотъ вопросъ: что́ заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе «Елены Глинской» у Шекспира и Вальтера Скотта? Въ чемъ увѣриться желалъ г. Полевой, пародируя «Макбета» и насильственно перетаскивая въ свое сшивно́е произведеніе нисколько неподходящую къ тогдашнему русскому быту сцену изъ «Кенильвортскаго Замка?» Зачѣмъ также г. Полевой передѣлалъ свою «Мать Испанку» изъ романа Мейснера «Рѣдкая Мать», а «Парашу Сибирячку» изъ повѣсти Местра «Молодая Сибирячка»,—словомъ, для чего сшилъ онъ всѣ свои драматическія представленія и повѣсти, историческія были и небылицы, анекдоты и сказки изъ чужихъ лоскутьевъ?.. Ради какого испытанія, наконецъ, еще недавно, въ послѣднемъ блистательнѣйшемъ твореніи своемъ «Ломоносовъ», исказилъ г. Н. Полевой повѣсть брата своего, К. Полеваго, и повторилъ въ своей передѣлкѣ гуртомъ всѣ эффекты, которыми въ-продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ озадачивалъ публику Александрынскаго-Театра по-одиночкѣ?.. Вопросы неразрѣшимые, на которые едва ли и самъ г. Полевой возьмется отвѣчать удовлетворительно

* 717. Физіологія Женатаго Человѣка. К. Поль де-Кока. *Рисунки* Маркля *Санктпетербургъ. 1843. Въ тип. К. Жернакова. Въ 18-ю д. л. 139 стр.* [91]).

Наши доморощенные поставщики текста къ картинкамъ, то есть, сочинители такъ-называемыхъ «Очерковъ Русскихъ Нравовъ», никогда не достигнутъ десятой доли того искусства, съ какимъ набрасываютъ свои «физіологіи» Французы и въ особенности Поль де-Кокъ. Не вытянутыми насильственно изъ воображенія вздорами, не вялымъ пустословіемъ, не простоумно-безсильными придирками къ чужимъ журналамъ и книгамъ наполняютъ они свои физіологіи, но живымъ вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Посмотрите, на-примѣръ, какъ живо, остроумно и вѣрно съ природою написана «Физіологія Же-

наго Человѣка», которую кто-то перевелъ на русскій языкъ и издалъ съ политипажами французскаго изданія! Найдете ли вы въ «россійскихъ сочиненіяхъ» такого рода хоть сотую долю того остроумія и знанія жизни, той наблюдательности и оригинальности, которыя поражаютъ васъ на каждой страничкѣ въ небольшой физіологіи, написанной Поль де-Кокомъ? И у насъ еще находятся люди, которые обвиняютъ въ настоящемъ мелочномъ направленіи нашей литературы французовъ, какъ будто французы виноваты что мы, подобно обезьянамъ, перенимаемъ только ихъ дѣйствія, не усвоивая себѣ и даже не понимая настоящей цѣли ихъ дѣйствія: французскія «книжечки съ картинками» имѣютъ цѣну не только какъ красивыя игрушки, но и какъ вѣрное отраженіе современной жизни...

При книжечкѣ находится до восьмидесяти остроумныхъ политипажей, большая часть которыхъ очень хорошо отпечатана.

***718. Записки покойнаго Колечкина.** *1843. Або. Въ тип. Христ. Лудв. Гіельдта. Въ 16 д. л. 236 стр.* [92]).

Хотя въ этой книжкѣ и не приложено никакихъ біографическихъ свѣдѣній, касающихся до личности ея автора, однако тѣмъ не менѣе мы увѣрены, что г. Колечкинъ умеръ въ тѣхъ юныхъ лѣтахъ, когда еще люди не только не знаютъ ни жизни, ни свѣта, даже и грамматики, и когда страсть къ писанію бываетъ сильнѣе и неугомоннѣе, чѣмъ всякій другой возрастъ. Въ предисловіи къ статейкѣ «Театралъ», покойный авторъ проситъ тѣхъ, «кому доведется прочесть его, не быть слишкомъ строгими судьями, не искать красотъ и изящества въ слогѣ, а довольствоваться вѣрностію и простотою описанія». Какая поразительная черта незрѣлой юности! Простота и вѣрность—это спокойствіе генія, или, по крайней мѣрѣ, высокаго таланта, а г. Колечкинъ считаетъ ихъ довольно скромными качествами въ писателѣ! То-то молодость-то! «Я (говоритъ онъ въ томъ же мѣстѣ) *вознамѣрился* обрисовать типъ театрала, который, какъ мнѣ кажется, *столько же интересенъ, какъ и вѣрно мною характеризованъ*: въ послѣднемъ ручаюсь безъ хвастовства, отъ котораго я такъ же далекъ, какъ и отъ претензій на литературное достоинство моего очерка». Дѣйствительно, хвастовства тутъ не видно, а видно только переходное состояніе отъ дѣтства къ юности. Авторъ вполнѣ убѣжденъ въ удивительномъ сходствѣ его литературнаго *типа* съ подлинникомъ дѣйствительности, хотя этотъ типъ рѣшительно ни на что не похожъ: оно такъ и быть должно, если принять въ соображеніе, что дѣти почитаютъ хорошими картинами самыя дрянныя литографіи. Театралъ г. Колечкина—пошлый дуракъ, онъ раззоряется на актрису, которая обманываетъ его, и умираетъ (отъ отчаянія) на рукахъ актёра, друга своего, который, изволите видѣть, дѣлится съ нимъ послѣднимъ, питая къ нему такую идеальную дружбу, какой умный человѣкъ не въ состояніи питать къ глупцу. Все это не похоже ни на что и

лишено всякой занимательности, чуждо даже чего-нибудь близкаго къ остроумію. И всѣ статейки г. Колечкина таковы. Но, недовольствуясь тѣмъ, что принялся писать юмористическія статейки, безъ малѣйшей къ тому способности, г. Колечкинъ вздумалъ еще вводить новости въ орѳографію и ставить двоеточіе вездѣ, гдѣ только не нужно оно, даже отдѣляя имъ глаголы отъ ихъ винительныхъ падежей, напр., въ этой фразѣ: «Онъ выѣхалъ изъ Москвы, проклиная: усы и бильярдъ» (стр. 111), и прилагательныя отъ ихъ существительныхъ, какъ, напр., въ этой фразѣ: «Послѣ долгихъ совѣтовъ, слезъ и нравоученій, старики усѣлись» (стр. 109). Книжка издана довольно безобразно.

719. Путевыя записки по Россіи, *въ двадцати губерніяхъ: С.-Петербургской, Новогородской, Тверской, Московской, Владимірской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Кіевской, Черниговской, Могилевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской.* Михайла Жданова. *С.-Петербургъ. Въ тип. А. Іогансона. 1843. Въ 12-ю д. л. 212 стр.* [93—94]).

Бываютъ же на свѣтѣ книжки съ удивительными заглавіями! На-прим., что́ такое *Записки по Россіи?* а потомъ, что такое *Россія въ двадцати губерніяхъ?* Всего же забавнѣе умѣнье сочинителя считать: вмѣсто выставленныхъ въ заглавіи *двадцати* губерній, онъ въ этомъ же заглавіи насчитываетъ ихъ *двадцать двѣ*... Но оставимъ это; посмотримъ, что́-то кроется подъ этимъ удивительнымъ заглавіемъ?

Чтобъ съ самаго начала ясно обозначить свое положеніе въ-отношеніи къ читателю и избранному предмету, г. Михайло Ждановъ такъ начинаетъ свое любопытное сказаніе: «Въ половинѣ 1838 года мнѣ представился случай, не теряя ничего по службѣ, и даже съ пользою для нея, объѣхать значительную часть европейской Россіи». И такъ вотъ ключъ ко всему. Г. Михайло Ждановъ—чиновникъ, который путешествовалъ по двадцати губерніямъ, не теряя ничего по службѣ, и даже съ пользою для нея. Объ этомъ счастливомъ для г. Михайла Жданова обстоятельствѣ, вѣроятно, весьма пріятно будетъ узнать всякому читателю, какъ было пріятно и намъ, не имѣющимъ чести знать лично г. Михайла Жданова.

«Отправляясь въ путь» говоритъ онъ далѣе: «я предположилъ вести путевыя записки,—и велъ ихъ». Удивительный примѣръ твердости воли! Далѣе: «У насъ такъ мало писано и пишется о Россіи, что и что-нибудь можетъ заслужить вниманіе». Каково? Какъ это вамъ нравится? То есть, другими словами, это значитъ, что у насъ-де такъ еще мало мыслятъ, что если я и вздоръ напишу, то и это должно быть принято съ уваженіемъ. Очень хорошо! Но между

тѣмъ, позвольте, г. Михайло Ждановъ, вы, который путешествовали *безъ всякой потери для службы, и даже съ пользою для нея*, вѣроятно, вамъ извѣстно, что почти отъ каждаго министерства у насъ издаются особые журналы, преимущественно и исключительно посвященные изслѣдованію Россіи въ разныхъ отношеніяхъ; не безъизвѣстно вамъ и то, что въ этихъ журналахъ, а равно и во многихъ частныхъ, уже лѣтъ двадцать накопляются богатые матеріалы для узнанія Россіи: матеріалы эти только ждутъ искусной руки и трудолюбиваго пера для обработки ихъ;—вѣдомо, вѣроятно, вамъ и то, что у насъ есть нѣсколько десятковъ весьма умныхъ и ученыхъ путешествій академиковъ по разнымъ частямъ нашего обширнаго отечества; у насъ есть около 800 болѣе или менѣе обширныхъ сочиненій, заключающихъ въ себѣ разныя свѣдѣнія о Россіи... Нѣтъ, вы жестоко ошибаетесь: у насъ не только мало писано о Россіи, но, напротивъ, весьма много; скажемъ болѣе: ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ спеціальныхъ періодическихъ изданій, посвященныхъ исключительно свѣдѣнію объ одномъ только государствѣ, а у насъ такихъ изданій нѣсколько... [94]). Вотъ что значитъ путешествовать безъ всякой потери для службы и даже съ пользою для нея, не зная ничего основательнаго о своемъ отечествѣ, не прочитавъ ничего того, что́ до насъ было уже давно извѣдано и описано, пуститься по двадцати губерніямъ, надѣлать въ своей памятной книжкѣ нѣсколько пустыхъ замѣтокъ, все это пустить въ тисненіе, завернуть въ грязную зеленую бумажку, на которой написать: *Путевыя Записки по Россіи*, положить такую книжицу передъ собою съ улыбкою самодовольствія и сказать: «все, что́ до меня писано о Россіи, не стоитъ порядочной пареной рѣпы, а моя книга первая заслуживающая вниманіе!»

Хотите ли доказательствъ. что это настоящая мысль сочинителя? Онъ говоритъ: «Собираясь *путешествовать* по Россіи, я хотѣлъ имѣть *какую-нибудь* (!?) книгу для руководства, книгу, которая, заключая въ себѣ *свѣжій* (!) запасъ свѣдѣній о нашемъ отечествѣ, могла бы указать путешественнику гдѣ и на что́ онъ долженъ обратить вниманіе, и, къ сожалѣнію, если не къ стыду нашему, не могъ найти ничего цѣлаго; отыскивать же по частямъ въ періодическихъ изданіяхъ и брошюрахъ мнѣ было *нѣкогда*». Помилуйте, да чего же бы Россіи стыдиться, что вамъ нѣкогда было изучить ее пооснователѣнѣе, что вы хотѣли узнать огромнѣйшее въ мірѣ государство, пролистовавъ *какую-нибудь* книжечку, да еще небольшую, чтобъ немного времени отнимать у службы; что вы не нашли себѣ по вкусу книжки для руководства въ такомъ путешествіи, въ какомъ, какъ видно изъ вашихъ записокъ, всего лучше было взять *поваренную книгу?*...

«Не есть ли долгъ каждаго русскаго, которому привелось хоть бы даже мимоѣздомъ видѣть какую-нибудь часть своего отечества, писать о томъ, что онъ видѣлъ?... Если наберется человѣкъ девять, прокатившихся по Россіи и записавшихъ, что они видѣли,—вотъ уже и составится что-нибудь!»

Смѣло можемъ удостовѣрить г. Жданова, что изъ этого ровно ничего не

выйдетъ. Не только если бы девять человѣкъ, но еслибъ девять милліоновъ человѣкъ прокатились безъ пользы по Россіи, и каждый изъ нихъ написалъ бы по небольшой книжечкѣ въ 200 страницъ, то и тогда бы ничего не вышло. Еслибъ взять 34 буквы азбуки и раскладывать ихъ до конца вѣка, безъ всякой мысли, во всѣхъ возможныхъ сочетаніяхъ, то, вѣрно, никогда бы изъ этого не вышло «Иліады»!

Но довольно; не станемъ болѣе спорить съ г. Михайломъ Ждановымъ изъза предисловія, хотя бы мы могли замѣтить ему неправильность многихъ выраженій, неумѣстность его quasi-ироническаго презрѣнія, какое онъ кидаетъ на *ученыхъ по ремеслу*, и странное впечатлѣніе, какое производитъ его отвращеніе стоять на ряду *съ сочинителями повѣстей и журнальныхъ статей* (т. е. на-примѣръ, съ Гёте, Шиллеромъ, Вальтеромъ Скоттомъ, Байрономъ, Гизо, Тьеромъ и многими другими, которые писали прекрасныя и умныя журнальныя статьи),—все это мы оставляемъ и пускаемся дружно съ г. Ждановымъ въ путь по двадцати-*двумъ* губерніямъ. Начнемъ сначала и будемъ слѣдовать за авторомъ постепенно въ его любопытныхъ наблюденіяхъ.

Во-первыхъ, г. Михайло Ждановъ убѣждаетъ, что для путешествія нужно только надѣть дорожный сюртукъ и взять въ карманъ подорожную. Благодаря этому удобному и спокойному средству, онъ весьма-натурально началъ свое путешествіе еще не выходя изъ своей комнаты.

Первымъ дѣломъ путешественника было—взять десть бумаги, написать наверху для начала путевыхъ записокъ: *С.-Петербургъ*, потомъ сдѣлать нѣсколько глубокомысленныхъ разсужденій о томъ, какъ *посѣтивъ двадцать губерній, можно видѣть много любопытнаго* (стр. 3), и тутъ же надѣлать нѣсколько грамматическихъ ошибокъ (*посѣтивъ*, и затѣмъ *можно*—грубая ошибка противъ грамматики) [95]). Изъ своей комнаты г. Ждановъ хотѣлъ сначала попутешествовать по Васильевскому-острову; но въ то время шелъ ледъ, и не было переправы черезъ Неву. Такая помѣха наполнила путешественника грустью, тѣмъ болѣе, что ему въ *дорожномъ платьѣ стало неловко* (стр. 5). Но г. Ждановъ умѣетъ все употребить съ пользою, и, собираясь путешествовать «безъ потери для службы и даже съ пользою для нея», не захотѣлъ терять даромъ время и тутъ же отправился въ Таврическій-Садъ. Пройдясь по его дорожкамъ, онъ сдѣлалъ нѣсколько маленькихъ открытій въ ботанической номенклатурѣ: на-примѣръ, вмѣсто *genista* говоритъ *ginesta*, вмѣсто *aubepine*, говоритъ *aulepine*, вмѣсто *Phormium tenax*, говоритъ *Formium tinix* (стр. 6 и 7). Но это его нисколько не останавливаетъ. Да и что такое вся ботаника, когда нужно путешествовать, не теряя ничего по службѣ? И когда тутъ учиться этой ужасной наукѣ? Не въ два же часа, въ-самомъ-дѣлѣ, проглотить всю мудрость!

Послѣ столь полезнаго путешествія по прекрасному саду, г. Ждановъ сталъ путешествовать по набережной Невы, которую онъ называетъ *капризницей* (стр. 8). Послѣ разныхъ витіеватыхъ и звонкихъ фразъ, внушенныхъ путе-

шественнику картиной Невы, покрытой льдомъ, ему удалось, наконецъ, сѣсть въ экипажъ и продолжать на этотъ разъ свое путешествіе по большой дорогѣ. Замѣтивъ очень-удачно мимоѣздомъ, что дорога-шоссе убита щебнемъ и очень гладко, сочинитель очутился на станціи Чудово, откуда онъ загляпулъ въ село Грузино, принадлежавшее графу Аракчееву, и по этому поводу изъяснилъ, что графъ Аракчеевъ былъ *нѣкогда* извѣстнымъ человѣкомъ (стр. 19). Въ Спасскомъ Полѣсьѣ сочинитель нашелъ порядочную гостинницу и миловидную Нѣмочку. Въ Новгородѣ (по случаю этого города, онъ восклицаетъ въ восторгѣ: «*О, Новгородъ!*»), г. Михайло Ждановъ посмотрѣлъ на какой-то куполъ, крытый *бѣлымъ желѣзомъ* (стр. 19), видѣлъ дубинку Іоанна-Грознаго, отъ которой у него, г. Жданова, волосы стали дыбомъ (стр. 20), и замѣтилъ, въ качествѣ агронома, что въ городскомъ саду можно разводить разныя деревья и кустарники (стр. 20).

Новгородскимъ обществомъ онъ остался недоволенъ, и потому, не занимаясь имъ много, онъ отправился *на извощичьихъ дрожкахъ* въ Юрьевъ монастырь, увидѣлъ, что къ монастырю принадлежатъ два сада (стр. 23), да и поѣхалъ далѣе...

По дорогѣ, въ Броницахъ, онъ заходилъ съ визитомъ къ какой-то бабкѣ Агафьѣ, *девяностолѣтней старухѣ* (стр. 23), видѣлъ на Вышневолоцкомъ каналѣ *барки съ яйцами* (стр. 25), и съ удовольствіемъ замѣтилъ, что въ гостинницѣ Пожарскаго приготовляются очень вкусныя котлеты изъ курицы, въ Померапіи угощаютъ вафлями, а въ Яжелбицахъ форелью (стр. 26).

Послѣ этихъ вкусныхъ закусокъ г. Михайло Ждановъ, какъ столичный житель, отправился посмотрѣть провинціальное общество въ загородный воксалъ возлѣ Твери. Пересчитать всѣхъ хорошенькихъ, замѣтить, что одна дама, тамъ бывшая, *миленькое существо* (стр. 27), а другая—*брюнетка съ томными черными глазками*, но что вся эта пляска, все это собранье, всѣ эти наряды скучны, смѣшны, невеселы,—было дѣломъ одной минуты для столичнаго путешественника.

Изъ Твери сочинитель прямо является въ Москву. Москву онъ называетъ *золотыми маковками* и *notre grande cité*, и удивляется огромному въ ней числу *хижинъ холопскихъ* (стр. 29). Посмотрѣвъ тусклымъ взоромъ на все, что такъ любопытно въ Москвѣ и что уже всякому извѣстно и много разъ описано, онъ принялся бранить какого-то фокусника за то, что тотъ показалъ ему зеркала... Въ Нескучномъ онъ видѣлъ какую то *прехорошеньку женщину*, у которой молодой человѣкъ цѣловалъ руку (стр. 43), и, наконецъ, свои воспоминанія о Москвѣ заключилъ вкуснымъ обѣдомъ у Лабади (стр. 46). Впрочемъ, по долгу совѣсти, мы не можемъ выѣхать съ сочинителемъ изъ Москвы, не сказавъ, что онъ прежде обѣдалъ у Печкина, куда привлекъ органъ, играющій *Грассъ*, *Сжалься*, *Робертъ* (стр. 46).

Во Владимірѣ, сочинителю пришли въ голову нѣкоторыя историческія воспоминанія, взятыя на-прокатъ изъ «Россійской Исторіи» г. Кайданова. Въ

гостинницѣ, гдѣ онъ остановился, комнаты были порядочныя, но *кушанье очень посредственное* (стр. 48); что же касается до Владимірской губерніи, то она славится своими вишнями (стр. 49).

Въ Муромѣ сочинитель изобрѣлъ новое слово *огородство* (стр. 50) и познакомился съ какимъ-то чиновникомъ, который передъ нимъ никакъ не хотѣлъ садиться, въ-слѣдствіе чего сочинитель нашелъ, что онъ *очень не глупый* (стр. 50). Арзамасъ, Починки, Пенза—все промелькнуло предъ глазами путешественника безъ особенныхъ приключеній, но въ Саратовѣ случилось нижеслѣдующее, любопытное для всякаго читателя приключеніе: «Саратовъ богатъ хорошею рыбою и въ особенности стерлядями, и потому я поспѣшилъ въ одной изъ гостинницъ заказать стерляжью уху... и она мнѣ такъ понравилась своимъ вкусомъ, янтарнымъ цвѣтомъ, что я *съѣлъ три тарелки вдругъ*». Жаль, что не четыре! Впрочемъ, чтобы не подумалъ кто-нибудь, что путешественникъ невоздержанъ, онъ прибавляетъ себѣ въ извиненіе, что онъ отъ Пензы до Саратова ничего не ѣлъ.

Но здѣсь картина перемѣняется. Доселѣ мы видѣли сочинителя, кушающаго во всѣхъ гостинницахъ и слышали только его основательныя сужденія по кухонной части,—въ Саратовѣ ужь не то: о вафляхъ, форели и пр. нѣтъ помина, и сочинитель трунитъ надъ провинціальнымъ обществомъ. Жизнь въ Саратовѣ онъ называетъ ссылкою, вѣроятно потому-что вспомнилъ извѣстный стихъ Грибоѣдова: «Въ глушь—въ Саратовъ». «Въ губерніи не то, что въ столицѣ, *нѣтъ возможности поволочиться какъ слѣдуетъ*»! А! такъ вотъ что! Итакъ, г. Михайло Ждановъ отъ-того скучалъ, что нельзя было волочиться безъ потери по службѣ и даже съ пользою для нея? Очень-хорошо! И отъ скуки онъ написалъ три страницы объ обществѣ саратовскомъ такъ живо, что вы, читая ихъ, сейчасъ вспомните нашего общаго пріятеля Ивана Александровича Хлестакова. Особенно развился талантъ путешественника въ Липецкѣ на водахъ. Онъ такое имѣетъ предубѣжденіе противъ провинціи, что съ невольнымъ удивленіемъ замѣчаетъ всякій разъ, когда ему встрѣтится человѣкъ *неглупый*. Въ Липецкѣ сочинитель танцовалъ съ одною дѣвицею: «оказалось, что *не смотря на незнаніе французскаго языка*, моя дама очень умная, любезная дѣвушка и къ тому же очень хороша собою. Сказать правду: ея прелестные глаза, прекрасный цвѣтъ лица, остались надолго въ моей памяти. Впрочемъ, для избѣжанія провинціальныхъ сплетней, *спѣшу оговориться, я не влюбленъ въ нее*».

Послѣ такого яснаго и печатнаго объясненія, кто же осмѣлится сказать, кто г. Ждановъ былъ влюбленъ въ эту прекрасную дѣвицу? Вотъ удобный способъ описывать провинціи, не-правда ли? И тонко, и остро, и деликатно!

Послѣ описанія липецкихъ водъ, очень-похожаго на письмо Ивана Александровича въ послѣднемъ актѣ «Ревизора», сочинитель отправился въ Воронежъ, остановился тамъ въ гостинницѣ, напился чаю (стр. 89), и поскакалъ далѣе; но дорогѣ доказалъ до очевидности, что *прусаки—это кочующій*

народъ (стр. 94); на Коренной Ярмаркѣ онъ видѣлъ барышень, которыя, взявшись подъ руки, вереницами ходили по рядамъ: «сколько изъ нихъ хорошенькихъ, красавицъ!» восклицаетъ онъ. Отъ Курска до Луганскаго Литейнаго Завода самымъ замѣчательнымъ происшествіемъ было то, что на почтовомъ дворѣ въ Бахмутѣ очень-вѣжливый, услужливый еврей встрѣтилъ путешественника и тотчасъ велѣлъ запрягать лошадей (стр. 106). По поводу луганской образцовой фермы, авторъ выписываетъ, со многими ошибками и противъ языка и противъ самаго дѣла, изъ одной забытой статейки «Земледѣльческой Газеты», о воздѣлываніи вайды, крапа, вау, сафлора, рапса и табаку (стр. 111—120). Видъ потемкинскаго дворца въ Екатеринославлѣ вызываетъ у г. Жданова глубокомысленное восклицаніе: *Суета суетъ!* (стр. 125), а видъ церкви Рождества Богородицы, въ Нижнемъ, другое восклицаніе: *Зачѣмъ я не Викторъ Гюго!* (стр. 200). Послѣ этого осталось только пріѣхать въ *Хвалынскъ, и разумѣется прямо къ городничему, спросить себѣ рыбы закусить немного* (стр. 206), бросить прощальный взоръ на положеніе крестьянъ Николаевскаго уѣзда, и подписать въ заключеніе всего этого—*конецъ*, не теряя ничего по службѣ, и даже на этотъ разъ, съ явною пользою для нея.

Вотъ какъ путешествовалъ въ половинѣ 1838 года, по благословенному Царству Русскому, одинъ столичный чиновникъ! Не-уже-ли, скажете вы, человѣкъ, проскакавшій по 22 губерніямъ, на протяженіи тысячь 12-ти верстъ, не вынесъ изъ своего путешествія ни одной дѣльной замѣтки, ни одного умнаго наблюденія, ни одной, неизвѣстной доселѣ подробности о какомъ-нибудь мѣстѣ? Не-уже-ли все сочиненіе составлено изъ замѣтокъ о вафляхъ или фореляхъ, и смѣшныхъ фразахъ о провинціальномъ обществѣ? Увы, точно такъ! отвѣчаемъ мы, съ грустнымъ вздохомъ.—«Богъ съ нею, съ этою книгою, говорите вы: стоитъ ли она чтенія?» И подлинно, не стóитъ. Только жалко и смѣшно подумать, что такіе пустяки печатаются, да еще безъ потери для службы, и даже будто-бы съ пользою для нея!

720. Библіографическія и журнальныя извѣстія [96]).

Самую свѣжую и интересную новость въ современной русской литературѣ, безъ всякаго сомнѣнія, составляетъ теперь нѣсколько новыхъ и доселѣ-неизвѣстныхъ публикѣ стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожиданный случай доставилъ ихъ намъ въ руки, и мы поспѣшили подѣлиться съ нашими читателями высокимъ наслажденіемъ этихъ, какъ будто-бы замогильныхъ звуковъ столь много обѣщавшей и столь безвременно-замолкнувшей лиры. Нѣтъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились всѣ, кто только не лишенъ здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорѣлся надъ головою молодаго поэта тотчасъ же со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, но это немногое тотчасъ же дало ему,

во мнѣніи общества, мѣсто подлѣ Пушкина. Мало того: теперь уже спорятъ не о томъ, можетъ ли имя Лермонтова упоминаться вмѣстѣ съ именемъ Пушкина, но о томъ: кто выше—Пушкинъ, или Лермонтовъ. Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смѣшнаго дѣтства, если въ нихъ дѣло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще, сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезвычайно-трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить одного на счетъ другаго, то они просто нелѣпы и пошлы. Однакожь, злоупотребленіе какого-нибудь дѣла, не должно унижать самого дѣла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, дѣлаемое съ цѣлью оцѣнить вѣрно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ здравой и основательной критики. Результатомъ *такого* сравненія никогда не можетъ быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому-что Лермонтовъ хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Нѣтъ, результатомъ *такого* сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая и слабая сторона того и другаго поэта, чѣмъ одинъ изъ нихъ и выше и ниже другаго. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о такомъ важномъ вопросѣ, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати сказать по этому поводу нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что теперь другіе толкуютъ объ этомъ кстати и не кстати, вкривь и вкось.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству, которое какъ-будто бы сдѣлалось неизбѣжною участью нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумѣемъ безвременный конецъ ихъ поприща, въ-слѣдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ вполнѣ развившихся и опредѣлившихся. Это особенно относится къ Лермонтову. Посмертныя сочиненія Пушкина—лучшія, художественнѣйшія его созданія, ясно обнаруживаютъ вполнѣ-установившееся направленіе его. Они не совсѣмъ-безосновательно были приняты публикою холодно. Въ объясненіи противорѣчія, почему лучшія и художественнѣйшія созданія Пушкина *не безосновательно* приняты были публикою холодно, заключается объясненіе тайны поэзіи Пушкина и значенія его, какъ поэта. Пушкинъ—это художникъ по-преимуществу. Его назначеніе было—осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства. Намъ скажутъ: не-уже-ли же до Пушкина не было на Руси ни поэзіи, ни поэтовъ; и не-уже-ли поэзія Пушкина не имѣетъ никакой связи съ поэзіею предшествовавшихъ ему поэтовъ; не-уже-ли она не развилась исторически, а, словно съ неба, спустилась къ намъ? На такой вопросъ, имѣющій всю внѣшность истины и совершенно-ложный въ сущности, мы-отвѣтимъ вопросомъ же, только истиннымъ и извнѣ и изнутри: не-уже-ли до Грековъ не было на землѣ искусства, и поэзія Индусовъ, изваянія Египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ произведенія искусства? Нѣтъ, они составляютъ одинъ изъ интереснѣйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологіи и исторіи изящнаго; а между-

тѣмъ *искусство какъ искусство*, въ полномъ, пышномъ и благоуханномъ цвѣтѣ своего развитія явилось только у Грековъ, и, *въ этомъ смыслѣ*, послѣ Грековъ, ни одинъ народъ доселѣ не имѣлъ *такого* искусства. И все-таки это нисколько не противорѣчитъ той исторической истинѣ, что искусство грековъ было подготовлено искусствомъ другихъ, предшествовавшихъ имъ на поприщѣ развитія народовъ. Такимъ же точно образомъ, не лишая заслуженной славы предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на него, вполнѣ признавая, что безъ нихъ не было бы и его, можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ *это*, а не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ и черезъ Пушкина. Для такого подвига, нужна была натура до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше. Отсюда проистекаютъ и великія достоинства и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаетъ собою затылокъ: потому-что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка. Скажемъ сперва о достоинствахъ поэзіи Пушкина, а потомъ уже о недостаткахъ, необходимо вытекающихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдѣлалъ русскій языкъ поэтическимъ, а поэзію русскою. Стихъ его неподражаемо-художественъ, пластиченъ, рельефенъ, упруго-мягокъ. Въ-отношеніи къ художественности и виртуозности поэтическаго стиха и поэтическихъ образовъ, Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими поэтами. Что бы ни говорили о стихѣ Жуковскаго (дѣйствительно-превосходномъ), но между имъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не бо́льшее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (И. И.) и стихомъ Жуковскаго. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, еслибъ достоинство стиха его было чисто-внѣшнее, какъ, на-прим., стиха г. Языкова и другихъ; нѣтъ, стихъ Пушкина, полный мелодіи и гармоніи, силы и граціи, упругости и нѣжности, металлической твердости и хрустальной прозрачности, былъ выраженіемъ поэтической его натуры: этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ... Объяснимся. Чувство свойственно всякому человѣку, но у каждаго человѣка оно имѣетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣютъ въ себѣ что-то тяжелое, грубое; у другихъ самыя глубокія чувства имѣютъ въ себѣ что-то мягкое до слабости, и т. д. Преобладающій характеръ чувства Пушкина—художественная красота, виртуозность, если можно такъ выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изящно само-по-себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уже этому, не могло не быть изящно. Каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ нашихъ словъ; но мы въ особенности укажемъ на «Разлуку» *(Для береговъ отчизны дальной)*. Подобно Гёте, Пушкинъ есть поэтъ внутренняго міра души и, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ Гёте, способенъ воспитать чувство

человѣка, разработать и развить его, сдѣлать его эстетически-прекраснымъ. Если поэзія, взятая только какъ искусство, даже внѣ ея философскаго или нравственнаго значенія, улучшаетъ душу человѣка, то лучшее доказательство этому можетъ представить собою поэзія Пушкина.—Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны,—и васъ поразитъ ея объективность—качество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму, отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже устарѣлость во мнѣніяхъ и странные предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который *только* художникъ, (т. е. вмѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени). Онъ космополитъ въ мірѣ, явленія котораго, въ глазахъ его, всѣ равно прекрасны и равно интересны, какъ явленія природы, въ глазахъ естествоиспытателя; онъ все любитъ и ни къ чему не прилѣпляется; ничего не ненавидитъ, ничего не отрицаетъ. Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею случайностію въ выборѣ предметовъ. Онъ пытается создать драму изъ русской исторіи до временъ Петра-Великаго; дѣлаетъ изъ нее все, что̀ можетъ сдѣлать геніальный поэтъ,—и если, при всемъ этомъ, ему удалось сдѣлать не слишкомъ много, то это ужъ не его вина. Поддѣлка двухъ Французовъ заставляетъ его взяться за народныя пѣсни Сербіи,—и онъ создаетъ рядъ пѣсень, дышащихъ всею роскошью дикой поэзіи дикаго народа. Въ то же время, онъ, по свѣму, воссоздаетъ идеалъ Донъ--Хуана,--и производитъ драматическую поэму, исполненную первоклассныхъ художественныхъ красотъ. Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ всѣ эти произведенія съ русскимъ обществомъ, съ русскою дѣйствительностію? Не смотря на глубоко-національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самоё-себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охолодѣло къ своему великому, своему дотолѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апооеозы своего художническаго величія. Общество въ этомъ случаѣ и право и не право: право—потому, что не всѣмъ же быть диллетантами [97]) и знатоками искусства; не право—потому, что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской. Призваніе это заключалось въ самой натурѣ Пушкина, и не его вина, если общество, подобно самому поэту, приняло временное броженіе его молодой крови за выраженіе его натуры...

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчныя времена останется учителемъ (maestro) всѣхъ будущихъ поэтовъ; но еслибъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности,—это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія геніальности, или великости таланта. Вотъ почему, или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ—талантъ обыкновенный, не стоящій тѣхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ,

предметомъ которыхъ онъ сдѣлался. Въ-самомъ-дѣлѣ, есть люди, которые считаютъ Лермонтова не болѣе, какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еще не успѣвшимъ проложить собственной дороги для своего таланта. Это мнѣніе столь мелочно и ошибочно, что не стоитъ и возраженія. Нѣтъ двухъ поэтовъ столь существенно-различныхъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ—поэтъ внутренняго чувства души; Лермонтовъ—поэтъ безпощадной мысли истины. Пафосъ Пушкина заключается въ сферѣ самого искусства, какъ искусства; пафосъ поэзіи Лермонтова заключается въ нравственныхъ вопросахъ о судьбѣ и правахъ человѣческой личности. Пушкинъ лелѣялъ всякое чувство, и ему любо было въ теплой сторонѣ преданія; встрѣчи съ *демономъ* нарушали гармонію духа его, и онъ содрогался этихъ встрѣчъ: поэзія Лермонтова ростетъ на почвѣ безпощаднаго разума и гордо отрицаетъ преданіе. Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Боярин Орша», и особенно мысль сцены суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тѣ поймутъ насъ и согласятся съ нами. Демонъ не пугалъ Лермонтова: онъ былъ его пѣвцомъ [98]). Послѣ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова, и конечно Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но тѣмъ не менѣе у Лермонтова свой стихъ. Въ «Сказкѣ для Дѣтей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какою-то стальною прозаичностію и простотою выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія его идей, глубокихъ и вмѣстѣ простыхъ своею безпощадною истиною, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ. Какъ у Пушкина, грація и задушевность, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ молніи, взмахъ меча, визгъ пули. Нѣкоторые критики находятъ очень-смѣшнымъ, что Лермонтова называютъ русскимъ Байрономъ: это дѣйствительно смѣшно уже по одному сравненію трехъ тощенькихъ книжекъ безвременно-погибшаго поэта русскаго съ огромною книгою компактной печати британскаго поэта, и это еще смѣшнѣе по сравненію колоссальной и всемірной славы европейскаго генія съ яркою извѣстностію въ своемъ отечествѣ быстро промелькнувшаго поэта русскаго. Еще разъ повторяемъ: это и смѣшно и нелѣпо. Но находить сродство въ духѣ Лермонтова съ духомъ Байрона (сродство, которое можетъ быть и не у поэта, какъ было оно у друга Байрона, Шеллея), и, при условіи полнаго развитія Лермонтова, провидѣть въ немъ не такое же точно (что не возможно), но соотвѣтственное Байрону явленіе: это, по нашему мнѣнію, нисколько не смѣшно, тѣмъ болѣе, что близко къ истинѣ. Есть еще третій родъ критикановъ (самый смѣшной и жалкій), которые увѣряютъ всѣхъ въ великомъ уваженіи, питаемомъ ими къ необыкновенному таланту Лермонтова, и въ то же время говорятъ, что «въ стихахъ Лермонтова отзывается явно отголосокъ лиры другаго». Не знаемъ, что означаетъ подобное мнѣніе—ограниченность и слабость ума, совершенное отсутствіе эстетическаго чувства, или (говоря не-

чатными словами одного критикана) «гадкую, притаенную мысль», которая, еслибъ могла дойти до Лермонтова, такъ же бы точно посмѣшила и потѣшила его, какъ, помнимъ мы, смѣшили и тѣшили его критики одного журнала объ его стихотвореніяхъ и «Героѣ нашего времени» [99])... Мы убѣждены, что совершенно-ничтоженъ будетъ тотъ, на кого подѣйствуетъ, хотя немного нелѣпое внушеніе, что поэзія русская въ лицѣ Лермонтова не сдѣлала ни шагу впередъ противъ Пушкина... Кстати замѣтимъ, что едва-ли какой-нибудь классъ людей представляетъ столько аномалій, какъ классъ «критикановъ»: изъ нихъ есть такіе, которые, изъ зависти къ вашему успѣху и вашей извѣстности на поприщѣ недоступной имъ критики, готовы перевернуть ваши слова и съ умысломъ (если поймутъ ихъ) и безъ умысла (если не поймутъ). За послѣднее да проститъ имъ Богъ, ради ихъ умственной слабости! но за первое да накажетъ ихъ общественное мнѣніе... Вы сказали, на-пр., что Лермонтовъ пошелъ далѣе Пушкина, а они кричатъ, что вы употребляете Лермонтова какъ средство для того, чтобъ расторгнуть черезъ него союзъ молодаго поколѣнія съ Пушкинымъ и нарушить связь преданій. Это обвиненіе, достойное завистливаго педанта, очень-похоже на знаменитый силлогизмъ: на дворѣ дождь идетъ, *слѣдовательно* въ углу столъ стоитъ [100])... Но оставимъ педантовъ, критикановъ, ихъ ограниченность и ихъ мелкую зависть, обратимся къ Лермонтову и скажемъ, что *восемь* новооткрытыхъ стихотвореній его принадлежатъ къ замѣчательнѣйшимъ его произведеніямъ, особенно: «Сонъ», «Тамара», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» и «Выхожу одинъ я на дорогу». Въ нихъ нѣтъ ничего пушкинскаго, но все лермонтовское,—разумѣется, для тѣхъ только, кто умѣетъ вникать не въ одну букву, но и въ духъ, и кто не можетъ видѣть въ Лермонтовѣ подражателя не только Пушкина и Жуковскаго, но даже и г. Бенедиктова [101])... Четыре изъ означенныхъ стихотвореній напечатаны въ этой книжкѣ «Отечеств. Записокъ». Остальныя четыре: «Морская царевна», «Изъ подъ таинственной, холодной полумаски», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой» и «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», будутъ напечатаны въ слѣдующей книжкѣ [102]).

721. Литературныя и Журнальныя замѣтки [103]).

Любопытно и поучительно слѣдить за процессомъ возростанія какой бы ни было большой славы. Никакая слава не дается даромъ: ее надо взять съ-бою. Люди не охотно признаютъ превосходство надъ собою одного человѣка, и готовы ревновать даже къ такому успѣху, который, собственно для нихъ, не имѣетъ никакой цѣны. Вотъ почему иногда глупецъ, не знающій грамоты, громче другимъ кричитъ противъ литературной славы, потому только, что она—слава. Но кромѣ безсознательной толпы есть еще особенный родъ непримиримыхъ враговъ литературной славы, которыхъ обязанность и назначеніе

именно въ томъ и состоитъ, чтобы сдѣлать цѣнѣе вѣнокъ ея: сюда принадлежатъ маленькіе таланты съ большимъ самолюбіемъ, разная посредственность, для мелкаго эгоизма которой всякій успѣхъ есть личная, кровная обида. Эта моль и тля, враждебная всякой знаменитости, вѣчно воюетъ и грызется между собою; но при видѣ знаменитости, словно по инстинкту, дѣйствуетъ согласно и дружно. Взаимное истребленіе у нея идетъ довольно-успѣшно: поле битвы покрывается трупами,—и изъ этихъ гніющихъ труповъ возникаетъ новая моль, новая тля, и эта исторія повторяется безконечно. Но истребленіе истинной славы никогда не удается этой завистливой породѣ насѣкомыхъ: мухи на-время могутъ запачкать картину генія:

Но краски чудныя, съ лѣтами,
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Но моли, тлѣ, мухамъ и подобнымъ тому дряннымъ насѣкомымъ довольно и того, если имъ удастся хоть на минуту затемнить славу и на-время помѣшать ея успѣхамъ, чтобы между-тѣмъ, подъ-шумокъ, пока общественное мнѣніе еще не установилось отъ своего нерѣшительнаго колебанія, воспользоваться крохами отъ убогой трапезы своей бѣдной извѣстности. Забавно смотрѣть, когда эта тля, видя, что дѣло славы уже совершилось, теряется въ отчаяніи, сбивается съ плана своей аттаки, то желая казаться безпристрастною въ глазахъ толпы, уже не позволяющей ей обманывать себя, лукаво хвалитъ знаменитость, то вновь приходя въ безсильную ярость отъ глубоко-уязвленнаго самолюбія, изступленною бранью изобличаетъ притворство своихъ предательскихъ похвалъ. Это часто случается во всякой литературѣ, гдѣ есть дюжинные таланты, есть посредственность, и гдѣ, между ними, возникаетъ иногда могучій талантъ...

Кстати: что̀ дѣлается въ нашей литературѣ? Увы, она предчувствуетъ весну, не смотря на зимній холодъ и снѣгъ, которые такъ некстати превратили весну въ зиму, предчувствуетъ весну,—и начинаетъ погружаться въ свою обычную летаргію, которая продолжится до послѣднихъ дней осени. И такъ, остаются одни журналы, которые такъ и сякъ, но все же бодрствуютъ въ-продолженіи цѣлаго года. Что же новаго въ журналахъ?—Самая послѣдняя и самая забавная новость въ нихъ—это рецензія «Библіотеки для Чтенія» на изданіе сочиненій Гоголя, въ четырехъ томахъ. Эта рецензія [10]) особенно замѣчательна тѣмъ, что, за исключеніемъ немногихъ умышленно и неумышленноложныхъ взглядовъ, выраженныхъ неприлично-бранчивыми фразами, о самихъ сочиненіяхъ почти ничего не сказано, а между-тѣмъ, рецензія довольно длинна. О чемъ же говорится въ ней?—О томъ, что Гоголь зазнался, подчинясь прискорбному ослѣпленію самолюбія; что его понятія о своемъ значеніи въ искусствѣ *раздувались* болѣе и болѣе; что надобно же будетъ, рано или

поздно, его *колоссальному тщеславію* подать въ отставку отъ *потѣшнаго* званія «перваго поэта нашего времени» за *неспособностью къ этому званію* и за *ранами, нанесенными самолюбію* (чьему?—не сказано въ рецензіи, но должно думать, что самолюбію рецензента «Библіотеки»); что ему, рецензенту, иногда становится страшно, чтобы, для большаго эффекту, Гомеръ Второй (т. е. Гоголь) не закололся, и тому подобное... Все это не выдумано, и нисколько не преувеличено нами: все это напечатано въ «Литературной Лѣтописи» «Библіотеки для Чтенія» за мартъ нынѣшняго года... Мы сочли необходимымъ подобное увѣреніе съ нашей стороны, что фразы «Библіотеки» переданы нами вѣрно, безъ искаженія и безъ преувеличенія: читая ихъ, мы не вѣрили собственнымъ глазамъ; а когда убѣдились, что наши глаза не обманываютъ насъ, то не шутя стали бояться, чтобы «почтеннѣйшій» рецензентъ, для большаго эффекту, не закололся: ибо подобныя фразы явно обнаруживаютъ разстройство, вслѣдствіе сильнаго припадку отчаянія. Къ какой стати, вмѣсто разбора сочиненій автора, толковать о его самолюбіи, дѣйствительности котораго, къ довершенію всего, еще и доказать нечѣмъ? «Вечера на хуторѣ» Гоголю кажутся менѣе-заслуживающими вниманія публики, чѣмъ позднѣйшія его произведенія; если и допустить, что онъ ошибается, то гдѣ же тутъ самолюбіе? Развѣ смотрѣть ошибочно на свои произведенія—все равно, что увлекаться тщеславіемъ? Да и кто далъ право рецензенту «Библіотеки» на цензорство нравовъ писателей? Если онъ видитъ въ себѣ идеалъ скромности, при огромномъ талантѣ—передъ нимъ: онъ можетъ, сколько ему угодно, любоваться своими нравственными совершенствами, одному ему извѣстными; но пусть удержится отъ *скромнаго* стремленія называть печатно извѣстнаго писателя зазнайкою, хвастуномъ, помѣшанным отъ самолюбія и т. п. Такія замашки обнаруживаютъ явно безпокойство и смущеніе духа! Мы знаемъ, что рецензентъ «Библіотеки» никогда не отличался эстетическимъ вкусомъ, мы помнимъ, что онъ бранилъ Пушкина и превозносилъ г. Тимофеева, поставилъ ни во что лучшее произведеніе Лажечникова—«Ледяной Домъ» и превозносилъ до небесъ плохой романъ г. Степанова—«Постоялый Дворъ»; съ презрѣніемъ отзывался объ историческихъ романахъ Вальтера Скотта и провозгласилъ г. Кукольника великимъ геніемъ... Итакъ, нисколько не удивительно, что сочиненія Гоголя недоступны, по своей высотѣ, для вкуса и разумѣнія рецензента «Библіотеки», и если бы его сужденія о нихъ проистекали только изъ безвкусія и незнанія въ дѣлѣ изящнаго, то мы и не обратили бы на нихъ никакого вниманія, снисходительно позволяя ему судить и рядить по крайнему его разумѣнію. Но нѣтъ! Въ его бранчивыхъ приговорахъ, кромѣ безвкусія и невѣдѣнія, выказывается еще и худо скрываемая враждебность, какое-то ожесточеніе противъ таланта Гоголя. Люди, не имѣющіе эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія, могутъ находить, напр., комедію Гоголя «Женитьба» слабою, неудачною, если хотите; но никто изъ людей грамотныхъ, не скажетъ, чтобы въ ней не было

гмысла. Что̀ касается до «Разъѣзда», это превосходное произведеніе обратило на себя общее вниманіе и общія похвалы и друзей и нѣдруговъ таланта Гоголя; а рецензентъ «Библіотеки» смѣло утверждаетъ, что нелѣпѣе этой пьесы міръ ничего не производилъ... Нѣтъ! какъ бы ни старался рецензентъ увѣрять насъ въ своемъ безвкусіи и невѣдѣніи,—мы повѣримъ ему только на половину, а другую отнесемъ къ раздражительности глубоко-оскорбленнаго самолюбія, которое сознало наконецъ бѣдность своего авторскаго дарованія. И конечно Гоголь былъ виною этого сознанія, равно какъ и того, что «Дѣва Чудная», которую сочинитель обѣщалъ, болѣе года назадъ тому, кончить и издать особою книгою, не являлась въ свѣтъ... Послѣ гоголевскаго юмора, трудно имѣть свой юморъ; а послѣ «Миргорода», повѣстей въ родѣ «Шинели», романа въ родѣ «Мертвыхъ Душъ», кто же улыбнется при чтеніи «Фантастическихъ Путешествій» барона Брамбеуса и его повѣстей, гдѣ мандарины ищутъ у себя блохъ и подобныя тому грубыя сальности издаютъ отъ себя свой особенный запахъ?.. Нѣтъ, прошла, давно прошла пора авторскаго и юмористическаго гарцованія для сочинителей въ родѣ барона Брамбеуса! Конечно, въ этомъ опять-таки виноватъ Гоголь же, но, какъ говоритъ пословица, безъ вины виноватъ. Забавнѣе всего нападки рецензента «Библіотеки» на грязныя картины въ сочиненіяхъ Гоголя: подумаешь, дѣло идетъ о повѣстяхъ барона Брамбеуса... Особенно возмущаетъ нашего благовоспитаннаго рецензента то, что герои Гоголя *сморкаются*, *чихаютъ* и *падаютъ*, и что они ругаются *канальями*, *подлецами*, *мошенниками*, *свиньями*, *свинтусами и отетюками*. Все это кажется ему особенно-несовмѣстнымъ съ идеею поэмы: видно, что эту идею онъ вычиталъ изъ піитики г. Толмачева или г. Георгіевскаго, гдѣ поэмы прописано сочинять непремѣнно стихами и непремѣнно «высокимъ слогомъ». Должно быть, ученому рецензенту неизвѣстно, какъ въ поэмѣ поэмъ — «Иліадѣ» не только люди, но и боги ругаются другъ съ другомъ не лучше героевъ повѣстей Гоголя: такъ, напр., въ XXI пѣснѣ, Арей называетъ Палладу «наглою мухою», а Гера-богиня Артемиду-богиню— «безстыдною псицею», или, говоря проще — «сукою». Скажутъ: это недостатки поэзіи грубыхъ временъ: старыя пѣсни! не недостатки, а вѣрное изображеніе современной дѣйствительности, съ ея бытомъ и ея понятіями! Г. Полевой выдумалъ съ горя называть юморъ Гоголя «малороссійскимъ *жартомъ*»; рецензентъ «Библіотеки», во всемъ другомъ несогласный съ г. Полевымъ, съ радостію подхватилъ это слово «жартъ»—и вышла нелѣпость: ибо малороссійскій глаголъ *жартовать* значитъ—*любезничать съ женщинами*, слѣдовательно, слово *жартъ* не имѣетъ никакого соотношенія съ понятіемъ о какомъ бы то ни было юморѣ—малороссійскомъ или великороссійскомъ... Очень-забавно также видѣть, какъ старается рецензентъ прикрыть неблаговидныя чувства свои къ таланту Гоголя противорѣчащими брани похвалами: изъ Поль-де-Коковъ онъ уже произвелъ его въ Диккенса [105]), «Вечера на Хуторѣ» похваливаетъ, «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ» находитъ

художественнымъ созданіемъ, съ похвалою отзывается о «Тарасѣ Бульбѣ» въ его первобытномъ видѣ, но для того, чтобы тѣмъ больше унизить это произведеніе, вновь передѣланное авторомъ. И въ то же время, всѣ эти повѣсти въ глазахъ нашего рецензента не болѣе, какъ анекдоты!.. Какъ все это мелко и ничтожно!

Новое доказательство старой истины—что худо разсчитанные удары бьютъ по воздуху или задѣваютъ самого же бойца — представляетъ собою и наша журнальная кумушка «Сѣверная Пчела». Мы думали, что послѣ выхода 3-й книжки «Отеч. Записокъ» она догадается, что пора ей замолчать, и мысленно уже прощались съ нею [106]). Но привычка къ брани и мелочнымъ придиркамъ—вторая природа для этой достолюбезной газеты,—и вотъ она снова придирается къ «Отеч. Запискамъ». Заговаривать съ нею мы никогда не были и не будемъ намѣрены; но отвѣчать ей положили себѣ за неизмѣнное правило. Въ 52 № своемъ, умолчавъ о томъ, что̀ разсердило ее въ 3-й книжкѣ «Отеч. Записокъ»—«Сѣв. Пчела» ни-съ-того-ни-съ-сего, какъ муха вокругъ огня, засуетилась около̀ нашей статьи о Державинѣ и... опалила себѣ крылья. Выдергивая тамъ и сямъ отдѣльныя фразы изъ нашей статьи, «Сѣв. Пчела» прибавляетъ къ нимъ остроумныя восклицанія собственнаго изобрѣтенія, и думаетъ, что она говоритъ дѣльно, остро и доказательно. Давно ли она говорила, что Державинъ перейдетъ къ потомству съ слишкомъ-легкою ношею? а теперь, что̀бы только попротиворѣчить «Отеч. Запискамъ», разсуждаетъ о Державинѣ уже совершенно другимъ тономъ—именно тономъ пѣтикъ гг. Толмачева, Греча, Плаксина, Георгіевскаго и подобныхъ имъ. Державина идеи, говоритъ она, не для своего только времени, но всегда хороши, ибо онъ воспѣвалъ добродѣтель и истину. Прекрасно; но вопросъ заключается не въ одномъ томъ, *что̀* воспѣвалъ, но еще и *какъ* воспѣвалъ. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ служить стихи Державина же о *безсмертіи души*, выписанные въ статьѣ «Сѣверной Пчелы»: мысль стиховъ прекрасна и истинна, а стихи изъ рукъ вонъ—плохи. И потому стиховъ читать теперь никто не станетъ; слѣдственно, и мысли ихъ не узнаетъ. Надергавъ нѣсколько фразъ изъ разныхъ мѣстъ большой статьи, не мудрено найти между ними противорѣчіе, особенно при явномъ желаніи найти его во чтобы ни стало: поэтому, мы не будемъ спорить съ «Сѣв. Пчелою» объ этомъ предметѣ. Какъ понимаетъ, или какъ хочетъ понимать она все, касающееся до «Отеч. Зап.», — видно изъ того, что смѣшную *пародію* на пьяно-студентскіе стихи, напечатанную въ Смѣси «Отеч. Записокъ», приняла она за настоящіе стихи!.. Впрочемъ, можетъ-быть, она сдѣлала это и безъ умысла, въ простотѣ ума и сердца: вѣдь не всякому же дано понимать иронію, и есть много людей, которые все понимаютъ только въ буквальномъ смыслѣ, даже если ихъ увѣряютъ, что они необыкновенно-умны... Наконецъ «Сѣв. Пчела» всѣ эти мелкія придирки повершаетъ формальною выдумкою, какъ доказательствомъ своего безсилія. Въ

«Отеч. Запискахъ» 1840 года (т. X. отд. V, стр, 29—30) было сказано, что *послѣ* Лермонтова, изъ современныхъ живыхъ поэтовъ (гг. Кукольника, Бенедиктова, Бернета, Красова, и пр.) «поэзія Кольцова есть не современно важное, но безотносительно примѣчательное явленіе» и что «никого изъ явившихся вмѣстѣ съ нимъ и послѣ него нельзя поставить съ нимъ наряду». И что же? «Сѣв. Пчела» увѣряетъ, будто мы Кольцова поставили выше Гомера, Данта, Шекспира, Пушкина, Гоголя!!!... Вотъ до чего дошла эта жалкая газета: она перечитываетъ старые годы «Отеч. Записокъ», чтобы перепначивать изъ нихъ фразы и навязывать имъ нелѣпости, которыхъ онѣ и не думали говорить!.. [107]).

Въ 57 № той же газеты г. Булгаринъ сравниваетъ себя съ Сократомъ, въ котораго одинъ Аѳинянинъ бросилъ грязью; а «Отеч. Записки», «Литературную Газету» и «Москвитянина» сравниваетъ съ этимъ Аѳинянпномъ!... Вотъ по-истинѣ забавное сравненіе! Г. Булгаринъ и—Сократъ!... Сократъ и—г. Булгаринъ!... Удивительное сближеніе! Дѣйствительно, въ жизни сихъ двухъ великихъ людей очень много сходнаго, хотя они и раздѣлены тысячелѣтіями!...

Въ прошлой книжкѣ «Отеч. Записокъ» [108]) мы представили публикѣ интересный по своей странности и дикости фактъ современной русской литературы: доказательства «Маяка», что русскіе литераторы должны выражаться *маленько-мужицкими* словами: «Маякъ», въ-отношеніи къ странности мнѣній и языка, можно назвать *Петербургскимъ Москвитянпномъ;* теперь мы представимъ не менѣе любопытный фактъ сужденій и тона *Московскаго Маяка.* Разбирая въ мартовской своей книжкѣ «Утреннюю Зарю», альманахъ г. Владиславлева, вышедшей еще въ концѣ ноября прошлаго года, рецензентъ распространился, между прочимъ о «Медвѣдѣ» повѣсти графа Соллогуба, и, по поводу этой повѣсти. повѣдалъ смиренной братіи мудрость велію въ сицевыхъ словесахъ:

«Знающіе наизусть всѣ подробности П(п)етербургскаго свѣта, говорятъ, что для нихъ повѣсть еще занимательнѣе, потому что они могутъ вѣрнѣе судить о сходствѣ копіи съ оригиналомъ самой жизни. Такое удовольствіе не касается искусства, но подаетъ намъ поводъ къ наблюденію надъ странною переимчивостію нашей сѣверной С(с)толицы и надъ нѣкоторыми особенностями ея нравовъ. Въ своенравномъ до безумія Парижѣ, явилась у людей странная охота титуловать себя именами животныхъ, называться львами, львицами, тиграми и проч. Если вникнуть въ дѣло, такъ вѣдь оно очень *гадко:* этп(п) имена не признакъ ли какого то матеріальнаго пресыщенія жизнію въ тѣхъ людяхъ, которые удалились отъ христіянства? Страннымъ покажется въ наше время такое возвращеніе ко временамъ языческимъ, а оно до того вѣрно, что слѣдующія слова Іоанна Златоуста какъ будто сегодня написаны. «Какое можешь представить благовидное извпненіе въ томъ, что *изъ льва дѣлаешь человѣка,* а о себѣ незаботишься, когда *изъ человѣка дѣлаешься львомъ*»... Нейдетъ ли это къ нашему времени, когда человѣкъ

постигъ чудное искусство доводить звѣрство львиное до кротости и общенія человѣческаго, а самъ вздумалъ называться именами самыхъ хищныхъ животныхъ, какъ будто хвастаясь своею животною натурою...

И проч. Всего не выписываемъ: довольно и этого; судить объ этомъ фактѣ не хотимъ: онъ говоритъ самъ за себя...

722. Параша. *Разсказъ въ стихахъ.* Т. Л. *Писано въ началѣ 1843 года. Санктпетербургъ. Въ тип. Эдуарда Праца. 1843. Въ 8-ю д. л., 46 стр.* [109]).

Теперь, когда Лермонтова уже нѣтъ, а прекраское дарованіе г. Майкова пока не обѣщаетъ идти дальше антологическаго рода,—поэзія русская если не умерла, то уснула, какъ это всегда съ нею бываетъ, какъ-скоро тотъ, кому дано свыше быть ея покровителемъ, или скончается во цвѣтѣ лѣтъ, или измѣнитъ надеждамъ, которыя подастъ о себѣ. Теперь стихи встрѣчаются только въ журналахъ; между ними попадаются и такіе, въ которыхъ есть чувство и замѣтно бо́льшее или мѐньшее дарованіе; но они всѣ лишены присутствія могучей мысли. А такъ-какъ поэзія русская давно уже пережила свой періодъ прекрасныхъ чувствъ и сладостныхъ мечтаній, и еще съ Пушкина начала періодъ мысли,—то теперь проходятъ мимо вниманія публики такія стихотворенія, которыми прежде легко было бы въ одинъ день стяжать славу великаго генія. Другими словами: могучимъ властителемъ душъ нашего времени уже перестали быть «стишки»—въ потребности публики ихъ смѣняла поэзія мысли. Это особенно стало замѣтно послѣ Лермонтова. Вотъ почему, если теперь и нельзя пожаловаться на бѣдность въ стихотворныхъ произведеніяхъ, то нельзя и сказать, чтобъ было что́ читать по этой части. День появленія въ журналѣ неизвѣстнаго стихотворенія Лермонтова—теперь эпоха въ исторіи русской литературы: стихотвореніе читаютъ, перечитываютъ, списываютъ, вытверживаютъ на-память. Стихотворенія, не принадлежащія Лермонтову, тоже прочитываютъ, даже похваливаютъ, но съ тѣмъ, чтобъ совершенно забыть ихъ по выходѣ новой книжки журнала. Многіе заключаютъ изъ этого, что вмѣстѣ съ Лермонтовымъ умерла и русская поэзія. Что́ касается до насъ, мы не раздѣляемъ этого мнѣнія, и думаемъ, что русская поэзія не умерла, а только уснула, по обыкновенію, и что по-временамъ она будетъ просыпаться и разсказывать намъ свои прекрасные сны—до-тѣхъ-поръ, пока не явится на Руси новый поэтъ...

Небольшая книжка, на-дняхъ появившаяся въ Петербургѣ подъ скромнымъ названіемъ «разсказа въ стихахъ», есть именно одинъ изъ такихъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи, какіе давно уже не видались ей. Увѣренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіи, мы взялись за «Парашу» съ явнымъ предубѣжденіемъ, думая найдти въ ней—или сантиментальную повѣсть о томъ, ка̀къ *онъ* любилъ *ее*, и ка̀къ *она* вышла замужъ за *него*, или

какую-нибудь юмористическую болтовню о современныхъ нравахъ, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивленіе, когда, вмѣсто этого, прочли мы поэму, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеею, полнотою внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и ироніею!... Однакожъ, не смотря на то, увѣренность наша въ тяжеломъ снѣ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повѣрили первому впечатлѣнію и прочли снова,—еще лучше! И теперь, когда, отъ многократно-повторяемаго чтенія, мы почти знаемъ наизустъ прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отрадно освѣжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта,—спѣшимъ познакомить публику съ явленіемъ, которое имѣетъ полное право на ея вниманіе.

Хотя авторъ «Параши», скрывшій свою фамилію подъ литерами Т. Л., и обозначилъ свое произведеніе скромнымъ именемъ «разсказа въ стихахъ», однако оно тѣмъ не менѣе—«поэма», въ томъ смыслѣ, какой усвоенъ Пушкинымъ произведеніямъ такого рода. И такъ, мы будемъ называть «Парашу» поэмой: оно и короче и гораздо справедливѣе, если вспомнить, что «Чернецъ», «Эдда», «Наталья Долгорукая», «Борскій» и тому подобные стихотворные разсказы величались поэмами. Содержаніе «Параши» въ смыслѣ «сюжета» до того просто и немногосложно, что его можно разсказать въ двухъ словахъ: на уѣздной барышнѣ женится помѣщикъ-сосѣдъ,—вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержаніе поэмы такъ полно и богато, что его нельзя передать во всей его жизни и во всей благоуханной свѣжести его поэзіи, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической рѣчи своими поэтическими стихами.

Прежде всего мы должны обратить вниманіе читателей на эпиграфъ поэмы изъ Лермонтова:

«И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно».

Этотъ эпиграфъ выбранъ авторомъ не въ исполненіе давно заведеннаго обычая заманивать любопытство читателей загадочнымъ смысломъ чужой рѣчи; нѣтъ, стихъ Лермонтова, какъ мы увидимъ, находится въ живой связи со смысломъ цѣлой поэмы, и столько служитъ объясненіемъ поэмѣ, сколько и самъ объясняется ею.

Поэма начинается описаніемъ помѣщичьяго дома съ безобразною наружностью, съ садомъ, похожимъ на огородъ, но съ гротомъ, который любила посѣщать героиня поэмы.

Ея отецъ—помѣщикъ беззаботный,
Сперва служилъ—и долго; наконецъ
Въ отставку вышелъ—и супругой плотной
Обзавелся; теперь большой дѣлецъ!
Живетъ въ ладу съ своими мужичками...
Онъ очень добръ и очень плутоватъ,
Торгуется и пьетъ чаёкъ съ купцами
Какъ водится, его супруга—кладъ;

О, сущій кладъ! и умница такая!
А женщина она была простая
Съ лицомъ, весьма похожимъ на пирогъ;
Ее супругъ любилъ какъ только могъ.

Дочери этой достойной четы никто не назвалъ бы красавицею, но она была стройна, походка ея была легка и плавна, прекрасная нога ловко обута, и если рука была немного велика, за то пальцы были прозрачны и тонки.

Ея лицо мнѣ нравилось... оно
Задумчивою грустію дышало;
Всегда казалось мнѣ: ей суждено
Страданій въ жизни испытать не мало...
И что жъ? мнѣ было больно и смѣшно:
Вѣдь въ наши дни спасительно страданье...

Но глаза больше всего въ Парашѣ нравились автору—

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ,
Но не блестѣлъ онъ блескомъ торопливымъ;
То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнутъ горделивымъ,
То чуть блисталъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучь
Но взглядъ ея, задумчиво-спокойный,
Я больше всѣхъ любилъ: *я видѣлъ въ немъ*
Возможность страсти горестной и знойной—
Залогъ души, любимой Божествомъ.

Она была не безъ странностей, свойственныхъ «уѣзднымъ барышнямъ»; но не имѣла ничего общаго съ восторженными дѣвицами, мечтательницами и охотницами до сладенькихъ стишковъ:

Она была насмѣшлива, горда,
А гордость—добродѣтель, господа...

Здѣсь мы находимся въ большомъ затрудненіи: поэтъ такъ увлекательно, такъ поэтически описываетъ внутреннюю тревогу дѣвственной души своей героини, что намъ совѣстно было бы пересказывать это нашею убогою прозою а выписывать стихи—значитъ переписать всю поэму... Но это такъ хорошо, что нѣтъ возможности не выписать:

.....Каждый день,
Я вамъ сказалъ—она въ саду скиталась;
Она любила гордый шумъ и тѣнь
Старинныхъ липъ—и тихо погружалась
Въ отрадную, забывчивую лѣнь.
Такъ весело качалися березы,
Облитыя сверкающимъ лучомъ...
И по щекамъ ея катились слезы
Такъ медленно—Богъ вѣдаетъ о чемъ.
То подойдя къ убогому забору,
Она стояла по часамъ... и взору

Тогда давала волю... но глядитъ,
Бывало, все на блѣдный рядъ ракитъ.
Тамъ, черезъ ровный лугъ, отъ ихъ села
Верстахъ въ пяти, дорога шла большая;
И какъ змѣя свивалась и ползла
И дальній лѣсъ украдкой обгибая,
Ея всю душу за собой влекла.
Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ являлась ей...
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.
Таинственной исполненные муки,
Надъ ней, звеня, неслись эти звуки...
И вотъ, искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ—высокихъ, пышныхъ горъ
И тополей, и трепетныхъ оливъ...
Искалъ земли плѣнительной и дальней...
Вдругъ русской пѣсни грустный переливъ
Напомнитъ ей о родинѣ печальной;
Она стоитъ, головку наклонивъ,
И надъ собой дивится—и съ улыбкой
Себя бранитъ; и медленно домой
Пойдетъ вздохнувъ... то сломитъ прутикъ гибкой,
То броситъ вдругъ... разсѣянной рукой
Достанетъ книжку—развернетъ, закроетъ,
Любимый шепчетъ стихъ... а сердце поетъ,
Лицо блѣднѣетъ...—въ этотъ чудный часъ
Я, признаюсь, хотѣлъ бы встрѣтить васъ,
О, барышня моя!.. Въ тѣни густой
Широкихъ липъ стопте вы безмолвно;
Вздыхаете; надъ вашей головой
Склонилась вѣтвь... а ваше сердце полно
Мучительной и грустной тишиной.
На васъ гляжу я: прелестью степною
Вы дышите—вы нашей Руси дочь...
Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозою,
Какъ майская томительная ночь.

Кто получилъ отъ природы благодатную способность понимать поэзію какъ поэзію—не въ однихъ стихахъ, не въ однѣхъ книгахъ, но и въ жизни, и въ природѣ, тѣ согласятся съ нами, что въ этомъ отрывкѣ каждое слово такъ и дышитъ всею роскошью, всѣмъ обаяніемъ истинной поэзіи.

Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ раздражительности нервъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостію красокъ, тою рѣзкою угловатостію формъ, которые мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе по-видимому заключаетъ въ себѣ такая поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой-себя, ибо она вся въ воображеніи и ничего общаго съ дѣйствительностію не имѣетъ; мысли ея

похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до-тѣхъ-поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія.—Другая поэзія, какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми, ибо онѣ не пойманы извнѣ и на-лету, а возникли и выросли въ душѣ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствіе способности схватывать сущность, а слѣдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому, описанія ея запечатлѣны достовѣрностію, такъ-что, еслибъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцомъ такихъ произведеній. Вотъ вамъ картина неаполитанскаго лѣта:

Прежаркій день—но вовсе не такой,
Какихъ видалъ я на далекомъ югѣ:
Томительно-глубокой синевой
Все небо пышетъ; какъ больной въ недугѣ,
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалой
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—
И движется, и дышитъ, и молчитъ...
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутомимымъ,
Могучимъ солнцемъ рдѣютъ... дивный видъ!
А вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью—я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.

Въ этихъ *тринадцати* стихахъ такая полная картина, что вамъ ничего не остается ожидать къ ея дополненію, хотя, въ то же время, вы знаете, что тысячи другихъ поэтовъ могли бы ту же картину представить вамъ совсѣмъ-иначе, совсѣмъ-другими словами. Природа неистощима въ своемъ разнообразіи, и дѣло не въ томъ, чтобъ поэзія представляла ее въ сколько-можно-обширныхъ и сложныхъ картинахъ, а въ томъ, чтобъ она умѣла схватить особенность каждаго ея явленія. Лѣто—вездѣ лѣто: вездѣ отъ него и жарко, и душно, и пыльно; но въ Неаполѣ свое лѣто, въ Россіи—свое. Первое вы сейчасъ видѣли; вотъ второе:

У насъ не то, хоть и у насъ не радъ
Бываешь жару... точно, жаръ глубокій,
Гроза вдали сбирается, трещатъ
Кузнечики неистово въ высокой,

Сухой травѣ; въ тѣни сноповъ лежатъ
Жнецы; посы разинули вороны;
Грибами пахнетъ въ рощѣ; тамъ и сямъ
Собаки лаютъ; за водой студеной
Идетъ мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ.
Тогда люблю ходить я въ лѣсъ дубовый,
Сидѣть въ тѣни спокойной и суровой;
Иль иногда подъ скромнымъ шалашомъ
Бесѣдовать съ разумнымъ мужичкомъ.

Въ такой-то день Параша встрѣтилась съ охотившимся молодымъ человѣкомъ. Мы пропускаемъ бо́льшую часть прекрасно-изложенныхъ поэтомъ подробностей этой встрѣчи. Скажемъ только, что охотникъ началъ свой разговоръ съ Парашею не восклицаніемъ: «о, дѣва чудная!» или другою какою-нибудь пошлостію въ этомъ родѣ, но адресовался къ ней съ очень-простымъ вопросомъ: «умоляю васъ, скажите, который теперь часъ?»; потомъ: «чей это домъ?» а тамъ объявилъ ей, что его покойный дѣдъ былъ очень-друженъ съ ея отцомъ.

Портретъ незнакомца превосходно очерченъ авторомъ. Это одинъ изъ тѣхъ великихъ-маленькихъ людей, которыхъ теперь такъ много развелось, и которые улыбкою презрѣнія и насмѣшки прикрываютъ тощее сердце, праздный умъ и посредственность своей натуры. Онъ былъ за границею, и вынесъ оттуда множество безплодныхъ словъ и сомнѣній... У нѣкоторыхъ журналовъ теперь вошло въ манію нападать на такихъ путешественниковъ, и они съ торжествомъ указываютъ на нихъ, какъ на живое доказательство, что не́чего за добромъ ѣздить на западъ. Авторъ «Параши» думаетъ объ этомъ иначе, и, соглашаясь съ нимъ, мы вдругъ вспомнили сказку, нѣкогда переведенную Жуковскимъ, «Кабудъ Путешественникъ»... Къ особенностямъ героя поэмы принадлежитъ и то, что, будучи влюбчивымъ, онъ былъ спокоенъ и горделивъ, а потому и счастливъ въ женщинахъ, удачно обманывая и такихъ между ими, которыхъ самъ не стоялъ; еще: не будучи особенно-умнымъ, онъ вполнѣ владѣлъ умомъ, дарованнымъ ему отъ Бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться передъ знатью, авторъ очень-остроумно признается въ томъ, что любитъ пустой блескъ большаго свѣта, не увлекаясь имъ и смотря на него безъ желанія; онъ очень-остроумно подшучиваетъ надъ моральными выходками противъ большаго свѣта непризнанныхъ, безхвостыхъ львовъ и львицъ, т. е. людей, которые бранятъ большой свѣтъ за то, что тотъ не хочетъ ихъ знать. Люблю, говоритъ авторъ,

Люблю я пышныхъ комнатъ стройный рядъ
И блескъ и прихоть роскоши старинной...
А женщины... люблю я этотъ взглядъ
Разсѣянный, насмѣшливый и длинный;

Люблю простой, обдуманный парядъ...
Я этихъ губъ люблю надменный очеркъ,
Задумчиво приподнятую бровь,
Душистыя записки, быстрый почеркъ,
Душистую и быструю любовь;
Люблю я эту поступь, эти плечи,
Небрежныя, заманчивыя рѣчи...
«Но (скажутъ мнѣ) внѣ свѣта никогда
Вы не встрѣчали женщины прекрасной?»
Такихъ особъ встрѣчалъ я иногда,
И даже въ двухъ влюбился очень страстно;
Какъ полевой цвѣтокъ онѣ всегда
Такъ милы—но, какъ онъ, свой легкій запахъ
Онѣ теряютъ вдругъ... и Боже мой,
Какъ не завянуть имъ въ неловкихъ лапахъ
Чиновника, довольнаго собой?

Эти стихи не обойдутся автору даромъ: его объявятъ за нихъ «аристократомъ», скажутъ, что внѣшній блескъ предпочитаетъ онъ душѣ и сердцу, и т. п. По обыкновенію, въ этомъ случаѣ, ему припишутъ то, чего онъ и не думалъ, и горячо будутъ оспаривать его въ томъ, чего онъ не говорилъ. Дѣло тутъ идетъ не о *душѣ* и *сердцѣ:* поэтъ говоритъ совсѣмъ не о внутренней святынѣ женщины, а о ея поэтической внѣшности, которою могутъ не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, изящество внѣшности, столь очаровательныя въ женщинѣ, могутъ почесться исключительными явленіями внѣ большаго свѣта. Женщины другихъ круговъ общества смотрятъ на красоту и изящество, какъ на средство поскорѣе выйдти замужъ. Достигнувъ этой вожделѣнной цѣли, онѣ скоро перестаютъ и пѣть, и плакать, и читать сладенькіе стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; онѣ предаются прозѣ жизни, скоро полнѣютъ, пристращаются къ утреннему дезабильѣ, забываютъ музыку, луну, стихи, мечту и т. д. Отъ-того, до замужества почти каждая изъ нихъ—*ангелъ доброты, дѣва чудная, неземная, идеальная, Полина* или *Надина*, а послѣ замужества—солидная дама съ вѣсомъ въ обществѣ, женщина съ *характеромъ*, *Палагея Петровна* и *Надежда Алексѣвна*. Тутъ есть и другая причина. Юность сама-по-себѣ есть уже поэзія жизни, и въ юности каждый бываетъ лучше, нежели въ остальное время своей жизни; женщины въ особенности. Надо имѣть слишкомъ много глубины и силы въ натурѣ, чтобъ не охолодѣть въ прозѣ жизни, сберечь чувство и душу отъ холода дѣйствительности и сохранить юность сердца и въ лѣта зрѣлости и въ годы старости. Но такія натуры слишкомъ рѣдки, и поэзія юности слишкомъ-рѣдко бываетъ ручательствомъ за поэзію дальнѣйшихъ возрастовъ. Бракъ есть рѣшительная эпоха въ жизни мужчины, и еще болѣе въ жизни женщины: для обоихъ, это—гробъ поэзіи и колыбель пошлой прозы и очерствѣнія души и чувства. Авторъ «Параши» превосходно охарактеризовалъ эпитетомъ «довольнаго собой» цѣлый разрядъ людей, особенно

страшныхъ и гибельныхъ для благоуханной поэзіи женственныхъ существъ. Люди раздѣляются не только на умныхъ и на дураковъ: тѣ и другіе равно рѣдки, и между ними занимаетъ мѣсто огромный разрядъ пошлыхъ людей. Эти люди по большей части не умны и не глупы, иногда же между ними попадаются люди не безъ ума и не безъ способностей; но главное ихъ качество въ томъ и другомъ случаѣ—*довольство самими собою*. Эти господа не знаютъ, что̀ такое раскаяніе, стремленіе къ идеалу и тоска отъ невозможности достичь его, что̀ такое горе безъ несчастія и страданіе при хорошемъ положеніи дѣлъ и добромъ здоровьѣ. Какъ бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ея мужемъ сдѣлается одинъ изъ такихъ господъ, ей остаются только двѣ неизбѣжныя дороги: или медленно зачахнуть, или помириться съ жизнію, какъ она есть... Послѣднее всего чаще случается. Въ высшихъ кругахъ общества, при этомъ не исчезаетъ поэзія внѣшности, и нарядъ остается навсегда обдуманно-простъ, взглядъ разсѣянъ, насмѣшливъ и дологъ, и любовь душиста и быстра, какъ записки и почеркъ; но въ среднихъ кругахъ общества, внѣшняя пошлость вѣрно отражаетъ внутреннюю, и милые полевые цвѣтки быстро вянутъ въ неловкихъ лапахъ довольнаго собою чиновника...

На другой день, въ домѣ отца Параши ждутъ гостя. Старикъ надѣлъ фракъ; дочь въ тайномъ волненіи; ея прическа такъ мила, а перчатки такъ свѣжи... Наконецъ гость является. Онъ говоритъ съ стариками, очаровываетъ ихъ; съ Парашею ни слова; но все въ немъ дышало «сознаніемъ внезапнаго сближенія».

И предаваясь дивной тишинѣ,
Онъ наслаждался страстно и вполнѣ.

Поэтъ даже заставляетъ его «пылать святымъ и чистымъ жаромъ» и увѣряетъ, что онъ былъ любимъ... Предупреждая сомнѣніе читателей, авторъ спрашиваетъ ихъ:

Скажите—ваша память мнѣ поможетъ—
Какъ мнѣ назвать ту страстную тоску,
Ту грустную, невольную тревогу,
Которая беретъ васъ понемногу...
Къ чему намъ лицемѣрить, о, друзья!
Ее любовью называю я.

Наступаетъ ночь; хозяинъ приглашаетъ гостя погулять въ саду, и съ своею супругою понемногу отстаетъ отъ молодой четы. Душа Параши не совсѣмъ-спокойна, а *онъ* не начинаетъ разговора за тѣмъ, что боится внезапныхъ ощущеній и чувствительныхъ порывовъ, за тѣмъ, что былъ смущенъ своимъ положеніемъ: онъ клялся въ любви только тогда, когда не любилъ; начиная же чувствовать жаръ любовной лихорадки, онъ зарывалъ свою любовь какъ кладъ. Жаль! прелестныя читательницы, охотницы до сладенькихъ стишковъ и восторженныхъ сценъ, вѣрно ожидали тутъ пламеннаго объ-

ясненія, при лунѣ и звѣздахъ; но герой поэмы ужасный прозаикъ: если онъ и допускалъ возможность исключеній, то въ пошлость вѣрилъ твердо и всегда, и рѣдко ошибался, а о *другомъ* мірѣ не имѣлъ никакого понятія... Что же касается до самого поэта, то чувствительныя и восторженныя читательницы навѣрное будутъ имъ еще менѣе довольны, нежели героемъ поэмы, и объявятъ его человѣкомъ безъ души и сердца, демономъ, который не вѣритъ любви и презираетъ прекрасное и высокое... Предоставляемъ ему самому защищаться противъ этого грознаго суда, и обратимся къ прерванной нити разсказа.

Сказавъ, что герою поэмы въ саду съ уѣздною барышнею было едва-ли отраднѣе, чѣмъ въ аду, авторъ заставляетъ его постепенно таять и объявляетъ—*влюбленнымъ!* Какъ и почему это сдѣлалось? Поэтъ удовлетворительно отвѣчаетъ на эти вопросы:

Во-первыхъ: почь прекрасная была,
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая:
Не свѣтила луна, хоть и взошла;
Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкая,
Текла вдали... Дорожка къ ней вела;
А листья въ тишинѣ толпой незримой
Лепечутъ. Вотъ они сошли въ оврагъ
И словно ихъ движеніемъ гонимый,
Предъ ними разступался мягкій прахъ...
Противиться не могъ онъ обаянью—
Онъ волю далъ безпечному мечтанью,
И улыбался мирно и вздыхалъ...
А свѣжій вѣтръ въ глаза ихъ лобызалъ.
А во-вторыхъ: Параша не молчитъ,
И не вздыхаетъ съ притворной ужимкой,
Но говоритъ, и просто говоритъ.
Она такъ мило движется—какъ дымкой
Прозрачной тѣнью трепетно облитъ
Ея высокій станъ... онъ отдыхаетъ;
Ужь онъ и радъ, что съ ней они вдвоемъ,—
Заговорилъ, а сердце въ немъ пылаетъ
Невѣдомымъ, томительнымъ огнемъ.
Ихъ запахомъ встрѣчаетъ кустъ незримый
И, словно тоже страстію томимый,
Вдали, вдали—на рубежѣ степей
Гремитъ, поетъ и плачетъ соловей.
И можетъ быть, онъ началъ понимать
Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній
Ея души—и сталъ въ немъ умирать
Крикливый рой смѣшныхъ предубѣжденій;
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и дѣтской, и стыдливой...
Нѣтъ! о любви не думаетъ она—
Но, какъ листокъ блестящій и стыдливый,
Ее несетъ широкая волна...

Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,
Надъ ней одной все небо наклонялось,
И, колыхаясь медленно, трава
Ей вслѣдъ шептала милыя слова...

Уѣзжая домой, нашъ герой думалъ про-себя: «Я радъ сосѣдямъ... Онъ человѣкъ богатый... дочь у нихъ одна и притомъ она мила». Думая такъ, онъ гналъ отъ себя другія, неумѣстныя мечты, отголоски давно-минувшихъ дней... А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь ея измѣнилась; во снѣ ей видѣлся *онъ*, а поэту слышится надъ нею, спящею, какой-то *насмѣшливый* голосъ, который говоритъ:

«Въ теплый вечеръ, въ ульяхъ чистыхъ
«Зрѣютъ свѣтлые соты;
«Въ теплый вечеръ липъ душистыхъ
«Раскрываются цвѣты;
«И тогда по нимъ слезами
«Потечетъ прозрачный медъ—
«Вьётся жадно надъ цвѣтами
«Пчелъ ликующій народъ...
«Наклоняя сладострастно
«Свой усталый стебелёкъ,
«Гостя милаго напрасно
«Ни одинъ не ждетъ цвѣтокъ.
«Такъ и ты цвѣла стыдливо,
«И въ тебѣ, дитя мое,
«Созрѣвало прихотливо
«Сердце страстное твое...
«И теперь, въ красѣ расцвѣта,
«Обаянія полна,
«Ты стоишь подъ солнцемъ лѣта
«Одинока и пышна.
«Такъ склонись-же, стебель стройный;
«Такъ раскройся жъ, мой цвѣтокъ;
«*Прилетѣлъ женихъ... достойный*
«Въ твой забытый уголокъ.

Однакожь странно: почему эти прекрасные стихи такъ неожиданно смѣняются такимъ прозаическимъ стихомъ—*съ достойнымъ женихомъ*?.. Не забывайте, что эти стихи прозвучалъ насмѣшливый голосъ... Чей же это голосъ?—Должно быть, *сатаны*: эта догадка тѣмъ основательнѣе, что самъ поэтъ, вслѣдъ за тѣмъ, заставляетъ сатану «поникнуть угрюмою головой надъ любящей четою». Но не ожидайте сцены обольщенія: нашъ поэтъ—писатель благонравный, а герой его поэмы не былъ Донъ-Хуаномъ—въ этомъ увѣряетъ насъ самъ авторъ:

Мой Викторъ не былъ Донъ-Хуаномъ... ей
Не предстояли грозныя волненья.
«Тѣмъ лучше» скажутъ мнѣ: «разгулъ страстей
«Опасенъ»... *Точно; лучше, безъ сомнѣнья*,

Спокойно жить и поживать дѣтей—
И не давать, особенно въ началѣ,
Щекамъ пылать... склоняться головѣ...
А сердцу забываться—и такъ далѣ.
Не правда ль? Общепринятой молвѣ
Я покоряюсь молча... поздравляю
Парашу—и судьбѣ ее вручаю—
Подобной жизнью будетъ жить она;
А кажется, хохочетъ сатана.

Мой Викторъ пересталъ любить давно...
Въ немъ съѣзмала горѣли страсти скупо;
Но впрочемъ, тѣмъ же свѣтомъ рѣшено,
Что по любви жениться—даже глупо.
И вотъ въ кого ей было суждено
Влюбиться... Что жъ? онъ человѣкъ прекрасный,
И—какъ умѣетъ—самъ влюбленъ въ нее;
Ея души задумчивой и страстной
Сбылись надежды всѣ... сбылося все,
Чему она дать имя не умѣла,
О чемъ молиться смѣла и не смѣла...
Сбылося все... и оба влюблены...
Но все жъ мнѣ слышенъ хохотъ сатаны.

Да чему же обрадовался лукавый?.. Не приготовляетъ ли онъ измѣны ревности, кинжала, яда, и другихъ золъ, которыми нарушается супружескоѳ счастіе?.. Ничего не бывало! Вы правы, чувствительныя и восторженныя читательницы, говоря, что авторъ «Параши» человѣкъ прозаическій и холодный... Въ-самомъ дѣлѣ, оставивъ сатану, онъ вдругъ извѣщаетъ васъ, что онъ долго былъ въ отсутствіи и лѣтъ черезъ пять посѣтилъ влюбленныхъ. Четвертый годъ, какъ они были супругами, и Викторъ какъ-то странно потолстѣлъ: но *ее* встревожилъ приходъ поэта, напомнивъ ей о прежнемъ, и она даже сгрустнула и поплакала.

Но грусть замужней женщины смѣшна.
Какъ ручеекъ извилистый, но плавный,
Катилась жизнь Прасковьи Николавны!

Мужъ ее любилъ. «Можетъ быть, вы скажете, что онъ не стóялъ ея любви?» говоритъ поэтъ, и отвѣчаетъ такъ: «кто знаетъ!»

Но—Боже! то ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмаго обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святаго, благодатнаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ;
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звѣзду...

И что жъ? я былъ обманутъ такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,
Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья.
И вотъ что́ ей сулили ночи той,
Той лѣтней ночи страстныя мгновенья,
Когда съ такой тревожной быстротой
Въ ея душѣ смѣнялись вдохновенья...
Прощай, Параша!.. Время на покой;
Перо къ концу спѣшитъ нетерпѣливо...
Чтожъ мнѣ сказать о ней? Признаться вамъ—
Ее никто не назоветъ счастливой
Вполнѣ... она вздыхаетъ по часамъ,
И въ памяти хранитъ какъ совершенство
Невинности нелѣпое блаженство!
Я скоро съ ней разстался... и едва ль
Ее увижу вновь... ея мнѣ жаль...

Если и теперь не для всѣхъ будетъ понятенъ хохотъ сатаны, то мы, право, не знаемъ, какъ и объяснить его... Этотъ сатана долженъ быть знакомъ русскимъ читателямъ, потому-что они встрѣчались съ нимъ и въ «Онѣгинѣ», и въ «Горѣ отъ Ума», и въ «Ревизорѣ», и въ повѣстяхъ Гоголя, и въ «Героѣ Нашего Времени», и вмѣстѣ съ нимъ смѣялись или грустили надъ неточнымъ и превратнымъ употребленіемъ разныхъ ежедневно-употребляемыхъ словъ. Въ «Парашѣ», навлекло на себя насмѣшку бѣса слово «любовь» и неумѣніе многихъ любить, и умѣніе ихъ дѣлать комедію изъ всякаго чувства. Наши *юноши* и *дѣвы* въ любви всего менѣе думаютъ о любви, но тѣ и другія ищутъ въ ней счастія, а счастіе любви полагаютъ въ союзѣ съ *нимъ* и съ *нею*. Любовь, какъ всякое сильное чувство, какъ всякая глубокая страсть, есть сама себѣ цѣль; для любящихся она—долгъ, требующій служенія и жертвъ, и, предаваясь чувству, они не отступаютъ назадъ, что́ бы ни сулила имъ развязка ихъ романа—счастливый ли союзъ, или терновый вѣнецъ страданія и безвременную могилу... Но есть люди, которые очень уважаютъ чувство, пока оно сулитъ имъ вѣрное счастіе и пока оно не требуетъ отъ нихъ ничего, кромѣ прекрасныхъ словъ и поэтическихъ восторговъ... И потому участь такихъ людей рѣшаетъ не страсть, не чувство, а теплая лѣтняя ночь и одинокая прогулка, располагающія къ нѣгѣ, мечтательности, и заставляющія расплываться душою и сердцемъ... И какъ же иначе? для страсти надо воспитаться, развиться. А для этого надо возрасти въ такой общественной сферѣ, въ которой духовная жизнь черезъ дыханіе входитъ въ человѣка, а не изъ книгъ узнаётся имъ... Только тогда изъ его страсти можетъ выйти или серьезная повѣсть, или высокая драма, а не жалкая комедія, не карикатурная пародія для потѣхи сатаны...

Но, можетъ-быть, все это инымъ читателямъ покажется довольно темно, и они найдутъ очень-серьёзною развязку повѣсти. Въ-самомъ-дѣлѣ: влюбились

и женились, оба молоды и съ достаткомъ, оба приличная партія другъ другу; дай Богъ такъ всякому!.. И то правда! Такимъ читателямъ мы ничего не находимся отвѣтить, и рецензенту остается только извиниться передъ ними словами поэта:

Но вы добры, я слышалъ, и меня,
По глупости, простите ради Бога.

Другіе, можетъ-быть, станутъ благоразумно разсуждать, что выйди Параша, вмѣсто Виктора, за человѣка съ душою возвышенною, сердцемъ страстнымъ и проч.,—она не утратила бы благоухапія души своей и въ пошломъ спокойствіи не забыла бы жаркаго волненія сердца и сладости страданія... Нѣтъ, еслибъ она была выше своей судьбы,—не спокойствіе, а страданіе было бы удѣломъ ея,—хотѣли мы сказать, но, вспомнивъ, что предупредительный поэтъ лучше насъ рѣшилъ это вопросъ, мы ограничиваемся повтореніемъ его словъ:

Мнѣ жаль ея... быть можетъ, еслибъ рокъ
Ее повелъ другой—другой дорогой...
Но рокъ—такъ всѣми принято—жестокъ,
А потому и поступаетъ строго.

Выписанныя нами мѣста изъ поэмы достаточно говорятъ за дарованіе и мастерство автора. Стихъ обнаруживаетъ необыкновенный [110]) поэтическій талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которою скрывается столько чувства,—все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ—по крайней-мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается толпою съ холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упроченное ими литературѣ и обществу, и рабски подражать — совсѣмъ не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно-развивающагося, второе—безталантности. Можно поддѣлаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его, ибо можно цѣлый вѣкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни были—велики или малы... Въ стихахъ г. Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истины и вѣрности, что тутъ всякая мысль о подражательности нелѣпа. Вся поэма проникнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаетъ въ авторѣ не

только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своимъ предметомъ. Вообще, нельзя не замѣтить, по случаю этой поэмы, какіе великіе успѣхи въ послѣднее время сдѣлали наша поэзія и наше общество: чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о поэмахъ, являвшихся до «Цыганъ» Пушкина... Иронія и юморъ, овладѣвшія современною поэзіею, всего лучше доказываютъ ея огромный успѣхъ: ибо отсутствіе ироніи и юмора всегда обличаетъ дѣтское состояніе литературы.

Для любителей мелкихъ придирокъ, укажемъ на четыре неудачные стиха въ «Парашѣ». На стр. 7, строфа IV, стихъ: «Ея два брата умерли чахоткой» не клеится съ цѣлымъ и явно вставленъ для рифмы. Кстати: рифма къ нему «красоткой» нехороша, потому-что слово «красотка» по русски немного-вульгарно. На стр. 23, строфа XXXI, въ стихѣ: «Отъ толпы съ презрѣніемъ отчуждался», вѣроятно есть опечатка, и его должно читать такъ: «*Онъ* отъ толпы съ презрѣньемъ отчуждался». На стр. 29, послѣдній стихъ XLII-й строфы странно-неумѣстенъ («Читатель—я, признайтесь, я смѣшонъ»). На стр. 3[illegible]-й, третій стихъ прекрасной XLIX-й строфы испорченъ неправильнымъ удареніемъ: «Не свѣтила луна, хоть и взошла».— Больше не къ чему придраться самому мелочному ловцу чужихъ ошибокъ и промаховъ.

Словно гармоническимъ аккордомъ оканчивается поэма послѣднею строфою оставляя на душѣ глубокій слѣдъ взволнованной думы:

А если кто разсказъ небрежный мой
Прочтетъ—и вдругъ задумавшись невольно
На мигъ одинъ поникнетъ головой
И скажетъ мнѣ спасибо:—мнѣ довольно...
Тому давно—стоялъ я надъ кормой,
И плыли мы вдоль города чужаго;
Я былъ одинъ на палубѣ... волна
Вздымала насъ и опускала снова...
И вдругъ мнѣ кто-то машетъ изъ окна;—
Кто онъ, когда и гдѣ мы съ нимъ видались,
Не могъ я вспомнить... быстро мы промчались—
Ему въ отвѣтъ и я махнулъ рукой—
И городъ тихо скрылся за горой...

Дай Богъ, чтобъ наша встрѣча съ талантомъ автора «Параши» не была также случайна, но превратилась въ знакомство продолжительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой талантъ—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта героиня его поэмы... [111])

723. Физіологія театровъ въ Парижѣ и въ провинціяхъ. *Соч.* Куайляка. *Санктпетербургъ. Печатано во Французской типографіи. Троицкій переулокъ, 3. 1843. Въ 16-ю д. л., 136 стр.*

Физіологія Вивёра (Любителя наслажденія). Джемса Руссо. *Иллюстрація Генриха Берту. Санктпетербургъ. 1843. Въ типографіи Journal de St.-Pétersbourg. Въ 16 ю д. л., 135 стр.* [112]).

Нельзя не удивляться легкости, игривости и остроумію, съ какими Французы воспроизводятъ свою національную жизнь въ юмористическихъ и нравоописательныхъ очеркахъ. Это не то, что наши стопудовыя и отзывающіяся потомъ труда и напряженія сатирическія и нравоописательныя статьи и статейки, въ которыхъ денежная спекуляція таращится изображать русскую жизнь и съ-лица и съ-изнанки, а между-тѣмъ изображаетъ ее только навыворотъ, не похожею ни на какую жизнь. Такія статьи у насъ дѣлаются теперь къ картинкамъ, такъ-что ихъ и печатаютъ и покупаютъ только для картинокъ. Въ Парижѣ, напротивъ, текстъ и картинки составляютъ союзъ двухъ дарованій, взаимно другъ другу помогающихъ. Доказательствомъ этому могутъ служить хоть эти двѣ книжки, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ нашей статьи: въ нихъ текстъ объясняетъ картинки, а картинки объясняютъ текстъ; и то и другое вѣрно отражаетъ въ себѣ дѣйствительность. Тѣмъ не менѣе, мы нисколько не радуемся появленію этихъ физіологій на русскомъ языкѣ; скажемъ болѣе: мы видимъ въ нихъ несомнѣнное доказательство той горькой истины, до какого глубокаго униженія и упадка дошла современная русская литература! Она держится и существуетъ не мыслію, не творчествомъ, не умомъ, не поэзіею, выражающимися въ словѣ,—а картинками, которыя забавляютъ праздную толпу взрослыхъ и старыхъ дѣтей. Что во Франціи является какъ мелочь, какъ шутка и забава, отдыхъ отъ дѣла, какъ острое слово, сказанное за веселымъ столомъ, за бокаломъ шампанскаго, у насъ это съ благоговѣніемъ переводятъ и какъ-можно-лучше издаютъ. Это шутовское и жалкое благоговѣніе простирается до того, что переводчики, не понимая иронія, принимаютъ за важное дѣло самыя шутки составителей французскихъ «Физіологій»,—и одинъ изъ нихъ, именно переводчикъ «Вивёра» пресерьёзно возражаетъ, въ выноскахъ, на шутки умнаго и остраго Джемса Руссо... А между тѣмъ, педанты кричатъ: вотъ въ чемъ состоитъ французская литература! вотъ какими вздорами наполнена она! Это ужъ точно—*съ больной головы да на здоровую*: Французы виноваты тѣмъ, что умѣютъ и шутить, занимаясь дѣломъ, а мы гордимся предъ ними тѣмъ, что, не дѣлая ничего важнаго, передаемъ дебелымъ языкомъ ихъ легкія и граціозныя дурачества... И что интереснаго для нашей публики въ этихъ *парижскихъ* «физіологіяхъ?» Что поймётъ она въ нихъ?—Дѣло очень-просто: она поступаетъ съ ними такъ же, какъ и съ русскими книжонками этого рода: не читаетъ ихъ, а любуется однѣми картинками и только за нихъ платитъ деньги, благо цѣна

ихъ невысока. Добрая публика! наконецъ-то наши ловкіе издатели, наши новые книгопродавцы-капиталисты, смѣнившіе Смирдина, который надарилъ тебя дешевыми и красивыми изданіями Крылова, Карамзина, Державина, Жуковскаго, Батюшкова, наконецъ-то догадались они, чѣмъ надо имъ тѣшить тебя, добраго недоросля! Глядя на ихъ подвиги по этой части, право, пельзя не удивляться ихъ ловкости и сметливости. Кто не согласится, что верхъ геніальности—мысль вотъ этой, на-пр., книги:

***724. Книга судьбы (,) или Чародѣй гостиныхъ.** *Санктпетербургъ. 1843. Въ (о) Французской типографіи въ Санктпетербургѣ. Въ 8 д. л. 40 стр.* [113]).

Эта книга такъ изящна, съ такою роскошью издана, и по своему содержанію до того удовлетворяетъ современнымъ потребностямъ читающей публики, что она даже совсѣмъ не книга, а вещь, игрушка, мѣбель. Но увы! и она изобрѣтена не нашимъ русскимъ геніемъ, а только переведена имъ на русскій языкъ... Но тамъ, въ Парижѣ, она, при всей роскоши своего изданія, скромно пошла бы въ ряду сонниковъ и другихъ вздоровъ въ этомъ родѣ; а у насъ она идетъ за книгу, возбуждаетъ удивленіе, входитъ въ годовой бюджетъ русской литературы, занимаетъ вниманіе рецензента, мѣсто въ библіографической хроникѣ журнала... И это—литература!...

***725. Петербургскій театралъ.** *Куплеты* **В. З.** *Съ восемью литографіями, рисованными В. Тиммомъ. Посвящается моимъ театральнымъ друзьямъ. Санктпетербургъ. Въ тип. Бочарова. 1843. Въ 12-ю д. л. 17 стр.* [114]).

Въ куплетахъ г. В. З. пѣтъ никакихъ куплетовъ: его «Театралъ» написанъ сплошными стихами. Но это еще ничего: худо то, что въ стихахъ нѣтъ ни соли, ни остроумія, ни изобрѣтательности, ни даже порядочныхъ стиховъ. Это рифмованная болтовня, скучная и пошлая до крайности. Тутъ нѣтъ ни ума, ни безсмыслія, ни таланта, ни безграмматности—одна золотая посредственность! Не-уже-ли, на-прим., это хорошо и стоило печати:

Есть престранное созданье,
Пресмѣшной оригиналъ,
Есть Господне наказанье
Подъ названьемъ—*театралъ!*
Онъ пль статскій, иль военный,—
Это, впрочемъ все равно,—
Но во всѣхъ концахъ вселенной
Онъ прославился давно.

Онъ однимъ театромъ дышитъ,
Бредитъ только имъ однимъ,
И его лишь видитъ, слышитъ,
Страстью къ зрѣлищамъ томимъ.
Жизнь свою онъ начинаетъ
Въ часъ, когда въ театръ идетъ,
А до той поры страдаетъ
Ждетъ, томится, не живетъ.
Что бъ на сценѣ ни играли,—
Все равно для чудака,
Лишь бы только танцовали,
Хоть, пожалуй, трепака.

Такими-то прекрасными и замысловатыми стихами написана вся эта книжонка! Забавно, что въ концѣ ея, сочинитель говоритъ о *театралахъ*:

Но театръ Александрынскій
Ихъ ни разу не видалъ.

Стало-быть, дѣло идетъ только о театралахъ Большаго-Театра? Право, лучше бы сочинителю, вмѣсто театраловъ Большаго-Театра описать драматурговъ Александрынскаго-Театра: этотъ предметъ до того жалко-смѣшонъ, что даже онъ, безталанный сочинитель «Театрала», вѣроятно, нашелся бы сказать о немъ что-нибудь забавное и острое... Въ этомъ похвальномъ трудѣ ему большимъ пособіемъ могла бы служить «Тля», повѣсть г. Панаева, изъ которой онъ взялъ эпиграфъ къ своему «Театралу»...

Литографіи, рисованныя г. Тиммомъ къ «Театралу», прекрасны и могли бы служить украшеніемъ и не такимъ убогимъ виршамъ, какими разродилась бѣдная фантазія г. В. З. Глядя на картинки г. Тимма, нельзя не понять, что *театралъ* дѣйствительно есть типическое лицо, и нельзя не признать въ немъ знакомаго лица. Какъ хорошъ онъ вездѣ у г. Тимма—и мечтающій о театрѣ, сидя въ партѣ съ чубукомъ въ рукахъ,—и закрывшій огромнымъ лорнетомъ лицо свое, такъ-что видна изъ-за трубки одна глупая улыбка, и чихающій въ оперѣ, и хлопающій изо всѣхъ силъ съ выраженіемъ идіотскаго восторга, и наводящій трубку «на знакомое трико» танцорки: вездѣ одна и та же изъисканно-франтовская наружность, одно и то же глупое, изнѣженное безпутною жизнью лицо съ отпечаткомъ животнаго восторга...

726. Русскій театръ въ Петербургѣ [115]).

Игроки. *Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи, соч.* Гоголя.

Драматическіе опыты Гоголя представляютъ собою какое-то исключительное явленіе въ русской литературѣ. Если не принимать въ соображеніе комедіи Фонвизина, бывшія въ свое время исключительнымъ явленіемъ, и «Горе отъ

Ума», тоже бывшее исключительнымъ явленіемъ въ свое время,—драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзіи съ 1835 года до настоящей минуты—это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки. Послѣ повѣстей Гоголя съ удовольствіемъ читаются повѣсти и нѣкоторыхъ другихъ писателей; но послѣ драматическихъ пьесъ Гоголя, ничего нельзя ни читать, ни смотрѣть на театрѣ. И между-тѣмъ, только одинъ «Ревизоръ» имѣлъ огромный успѣхъ, а «Женитьба» и «Игроки» были приняты или холодно, или даже съ непріязнію. Не трудно угадать причину этого явленія: литература наша хотя и медленно, но все же идетъ впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мѣстѣ. Публика читающая и публика театральная—это двѣ совершенно-различныя публики, ибо театръ посѣщаютъ и такіе люди, которые ничего не читаютъ и лишены всякаго образованія. У Александрынскаго-Театра своя публика, съ собственною физіономіею, съ особенными понятіями, требованіями, взглядомъ на вещи. Успѣхъ пьесы состоитъ въ вызовѣ автора, и, въ этомъ отношеніи, не успѣваютъ только или ужъ черезчуръ-безсмысленныя и скучныя пьесы, или ужь слишкомъ-высокія созданія искусства. Слѣдовательно, ничего нѣтъ легче, какъ быть вызваннымъ въ Александрынскомъ-Театрѣ,—и дѣйствительно, тамъ вызовы и громки и многократны: почти каждое представленіе вызываютъ автора, а иного по два, по три, по пяти и по десяти разъ. Изъ этого видно, какіе патріархальные нравы царствуютъ въ большей части публики Александрынскаго-Театра! За границею вызовъ бываетъ наградою подвига и признакомъ неожиданно великаго успѣха,—то же, что̀ тріумфъ для римскаго полководца. Въ Александрынскомъ-Театрѣ вызовъ означаетъ страсть пошумѣть и покричать на свои деньги—чтобъ не даромъ онѣ пропадали; къ этому надо еще прибавить способность восхищаться всякимъ вздоромъ и простодушное неумѣніе сортировать по степени достоинства однородныя вещи. Отсюда происходитъ и страсть вызывать актёровъ. Иного вызовутъ десять разъ, и ужь рѣдкаго не вызовутъ ни разу. Вызываютъ актёровъ не по одному разу и въ Михайловскомъ-Театрѣ, но очень-рѣдко, какъ и слѣдуетъ,—именно въ тѣхъ только случаяхъ, когда артистъ, какъ говорится, превзойдетъ самого-себя. Въ Михайловскомъ-Театрѣ тоже апплодируютъ, кричатъ «браво»; и въ остроумныхъ пьесахъ выражаютъ свой восторгъ смѣхомъ, но все бываетъ тамъ кстати, именно тогда только, когда нужно, и во всемъ присутствуетъ благородная умѣренность—признакъ образованности и уваженія къ собственному достоинству человѣка [11a]). Кого легко расмѣшить, тому непонятна истинная острота, истинный комизмъ. Пьесы, восхищающія большую часть публики Александрынскаго-Театра, раздѣляются на поэтическія и комическія. Первыя изъ нихъ—или переводы чудовищныхъ нѣмецкихъ драмъ, составленныхъ изъ сантиментальности, пошлыхъ эффектовъ и ложныхъ положеній, или самородныя произведенія, въ которыхъ надутою фразеологіею и бездушными возгласами унижаются почтенныя историческія имена; пѣсни и пляски,

кстати и некстати доставляющія случай любимой актрисѣ пропѣть или проплясать, и сцены сумасшествія составляютъ необходимое условіе драмъ этого рода, возбуждаютъ крики восторга, бѣшенство рукоплесканій. Пьесы комическія всегда—или переводы, или передѣлки французскихъ водевилей. Эти пьесы совершенно убили на русскомъ театрѣ и сценическое искусство и драматическій вкусъ. Водевиль есть легкое, граціозное дитя общественной жизни во Франціи: тамъ онъ имѣетъ смыслъ и достоинство; тамъ онъ видитъ для себя богатые матеріалы въ ежедневной жизни, въ домашнемъ быту. Къ нашей русской жизни, къ нашему русскому быту, водевиль идетъ, какъ санная ѣзда и овчинныя шубы къ жителямъ Неаполя. И потому переводный водевиль еще имѣетъ смыслъ на русской сценѣ, какъ любопытное зрѣлище домашней жизни чужого народа; но передѣланный, переложенный на русскіе нравы, или лучше сказать, на русскія имена, водевиль есть чудовище безсмыслицы и нелѣпости. Содержаніе его, завязка и развязка, словомъ—*басня* (fable), взяты изъ чуждой намъ жизни, и между-тѣмъ большая часть публики Александрынскаго-Театра увѣрена, что дѣйствіе происходитъ въ Россіи, потому что дѣйствующія лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами Ильинишнами. Грубый каламбуръ, плоская острота, плохой куплетъ—дополняютъ очарованіе. Какое же тутъ можетъ быть драматическое искусство? Оно можетъ развиваться только на почвѣ роднаго быта, служа зеркаломъ дѣйствительности своего народа. Но эти незаконные водевили не требуютъ ни естественности, ни характера, ни истины; а между-тѣмъ они служатъ прототипомъ и нормою драматической литературы для публики Александрынскаго-Театра. Артисты его (между которыми есть люди съ яркими дарованіями и замѣчательными способностями), не имѣя ролей, выражающихъ взятые изъ дѣйствительности и творчески-обработанные характеры, не имѣютъ нужды изучать ни окружающей ихъ дѣйствительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства, которому они призваны служить. Не играя пьесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могутъ сдѣлать привычки къ единству и цѣлостности (ensemble) хода представленія и каждый изъ нихъ старается фигурировать передъ толпою отъ своего лица, не думая о пьесѣ и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы по-крайней-мѣрѣ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, еслибъ стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они по неволѣ принимаются за ложную манеру, ради рукоплесканій и вызововъ. И вотъ, когда имъ случится играть пьесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто-русской жизни,—они дѣлаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но которые все-таки не въ своей сферѣ и не могутъ скрыть поддѣлки. Такова участь пьесъ Гоголя. Чтобъ наслаждаться ими, надо сперва понимать ихъ, а чтобъ понимать ихъ, нужны вкусъ, образованность, эстетическій тактъ, вѣрный и тонкій слухъ, который уловитъ всякое

характеристическое слово, поймаетъ на-лету всякій намекъ автора. Одно уже то, что лица въ пьесахъ Гоголя— люди, а не маріонетки, характеры выхваченные изъ тайника русской жизни,—одно уже это дѣлаетъ ихъ скучными для большей части публики Александрынскаго-Театра. Сверхъ-того, въ пьесахъ Гоголя нѣтъ этого пошлаго, избитаго содержанія, которое начинается пряничною любовью, а оканчивается законнымъ бракомъ; но вмѣсто этого, въ нихъ развиваются такія событія, которыя могутъ быть, а не такія, какихъ не бываетъ и какія не могутъ быть. Простота и естественность недоступны для толпы.

«Игроки» Гоголя давно уже напечатаны; слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды разсказывать ихъ содержаніе. Скажемъ только, что это произведеніе, по своей глубокой истинѣ, по творческой концепціи, художественной отдѣлкѣ характеровъ, по выдержанности въ цѣломъ и въ подробностяхъ, не могло имѣть никакого смысла и интереса для большей части публики Александрынскаго-Театра, которая къ довершенію всего,—по тому случаю, что въ тотъ же вечеръ Рубини игралъ на Большомъ-Театрѣ,—была и очень немногочисленна и ужъ слишкомъ-неразборчиво составлена. Изъ ролей особенно-хорошо были выполнены роль Швохнева (г. Самойловымъ) и Замухрышкина (г. Каратыгинымъ 2-мъ).

727. Литературныя и журнальныя замѣтки [117]).

Недавно въ одномъ изъ листковъ «Сѣверной Пчелы» прочли мы извѣстіе, что г. Булгаринъ—*Сократъ*; теперь, изъ 86 № этой же газеты, узнаемъ, что г. Булгаринъ—*Вальтеръ Скоттъ!!!*... Въ Смѣси этого нумера «Сѣв. Пчелы» находится статья «Журнальная всякая всячина. *Письмо въ Дерптъ къ Ѳ. Б.*», а въ статьѣ изъявляется искреннее сожалѣніе, что некому описывать въ «Пчелѣ» балагановъ и другихъ праздничныхъ увеселеній за отсутствіемъ изъ Петербурга г. Булгарина. Замѣчательны послѣднія строки этой замѣчательной статьи:

„Вотъ очеркъ того, что служило бы вамъ канвою для нынѣшняго фельетона. Мы не коснулись непстощимаго предмета—Адмиралтейской Площади, съ удивительными представленіями Легата и Сулье, качелями, каруселями и желѣзными дорогами, не коснулись общаго характера нынѣшняго гуляпья, *которыя бы вы передали намъ въ живомъ разсказѣ, въ* ПОЛУПЛАСТИЧЕСКОМЪ (?!...) *изображеніи, еслибы теперь не расхаживали въ помѣщичьей фуражкѣ и въ длинномъ деревенскомъ сертукѣ* по полямъ и садамъ вашего АББОТСФОРТА“.

Если сходство г. Булгарина съ Сократомъ не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію, то еще менѣе можно сомнѣваться въ сходствѣ мызы *Карлово* съ *Абботсфортомъ*, а г. Булгарина съ Вальтеромъ Скоттомъ: извѣстное дѣло, что когда великій романистъ шотландскій уѣзжалъ на лѣто въ свое помѣстье, то въ мелкихъ газетахъ Эдимборга некому было описывать *полупласти-*

чески балагановъ и ихъ комедій, и тогда за это благородное занятіе по-необходимости принималась разная литературная *тля*.

Въ 84 № «Сѣверной Пчелы», издаваемой гг. Булгаринымъ и Гречемъ, напечатанъ самый лестный отзывъ о плохомъ книжномъ издѣліи г. Булгарина—«Очерки русскихъ нравовъ, или лицевая сторона и изнанка рода человѣческаго». Тутъ, конечно, нѣтъ дива: «Сѣверная Пчела», безпристрастная и строгая, всегда отдаетъ справедливость всему хорошему, если только это хорошее сочинено или составлено гг. Булгаринымъ и Гречемъ, или ихъ почитателями. Не удивительно также и то, что эта газета смѣется надъ *Жуи* и разными *пустынниками*, которыхъ повторяетъ и копируетъ г. Булгаринъ въ своихъ правоописательныхъ статьяхъ... Еще менѣе удивительнымъ покажется вамъ, если въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ «Сѣверной Пчелы» вы прочтете столь же обязательную и любезную статью о вновь-вышедшей «Исторіи Петра Великаго», соч. г. Полеваго. Это будетъ не первымъ и не послѣднимъ примѣромъ трогательной дружбы и свѣтской любезности, какими отличается наша литература, и не смотря на всѣ «кочерыжныя» исторіи, которыя такъ нерѣдко случаются съ нею.

* **728. Молодикъ**, *украинскій литературный сборникъ, издаваемый* **И. Бецкимъ**. *Харьковъ. Въ университетской тип. 1843. Въ 8-ю д. л. 318 стр.* [118]).

Въ Украйнѣ есть своя литература; послѣ «Молодика», въ этомъ не остается никакого сомнѣнія. Что такое «Молодикъ», мы, въ качествѣ Москалей, не зваемъ; знаемъ только, что это альманахъ, наполненный *русскими* статьями въ стихахъ и прозѣ, которыя многимъ, безъ сомнѣнія, очень понравятся. Харьковъ, по своему многолюдству и красотѣ, сравнительно съ другими губернскими городами, есть нѣкоторымъ образомъ столица Украйны, а слѣдовательно и столица украинской литературы, украинской прозы и въ особенности украинскихъ стиховъ. Во всѣхъ русскихъ губерніяхъ много пишется стиховъ, но въ Харьковѣ особенно. Стихи эти хороши, какъ только могутъ быть хороши провинціальные стихи; въ столицахъ ихъ читаютъ мало, но за то много читаютъ въ провинціи, особенно на Украйнѣ, и еще болѣе, вѣроятно, въ Харьковѣ. Это обстоятельство дѣлаетъ Харьковъ особенно интереснымъ городомъ и возбуждаетъ охоту покороче съ нимъ познакомиться. Вотъ почему, вѣроятно, одинъ изъ вкладчиковъ «Молодика», г. Основьяненко, пересказываетъ намъ въ «Молодикѣ» старинное преданіе объ «Основаніи Харькова». Г. Основьяненко, какъ извѣстно, владѣетъ необыкновеннымъ талантомъ разсказывать разныя старинныя преданія языкомъ легкимъ и понятнымъ даже простолюдину.

Выписываемъ начало его «старинаго преданія»:

*

„Да; городъ Харьковъ отличенъ отъ многихъ губернскихъ городовъ. Взгляните на него хоть слегка, хоть со всею внимательностію: прелесть! Улицы ровныя, чистыя, прямыя; публичныя зданія великолѣпны, частные дома красивы, милы; магазины наполнены всякаго рода товарами, вещами, въ изобиліи и безпрестанно смѣняющимися новѣйшими, изящнѣйшими; не успѣетъ что явиться въ Петербургѣ, уже привезено въ Харьковъ и продано. Улица, театръ, гостиный дворъ, различныя художественныя заведенія... чего въ немъ нѣтъ!—Сколько потребно времени пройти городъ вдоль, устанешь, просто устанешь; а кругомъ обойти его, и не говорите, чтобы можно было въ одинъ день; это же еще и безъ предмѣстій. И что въ немъ завидно, такъ это то, что въ нынѣшнемъ году городъ былъ, кажется, конченъ совсѣмъ; крайній дворъ извѣстенъ; на слѣдующій годъ, глядишь, уже отъ того двора выдвинулось въ поле нѣсколько улицъ, выстроены домики,—и границы города измѣнились.—Да чего? самая Основа (не забудьте пожалуйста объ этомъ, намъ нужно будетъ вспомнить), Основа уже почти соединена съ городомъ; —городъ вливается въ нее.—Въ семъ году ходишь по городу, идешь изъ улицы въ улицу, видишь домики, дома деревянные, не только ветхіе, но еще и не старые; зайдешь туда на другой годъ... батюшки свѣты! гдѣ я?.. Все это застроено новыми, каменными, уже не домами, а палатами обширными, въ два, три, четыре этажа; и все красиво, мило, и все и вездѣ наполнено народомъ, вездѣ жизнь, движеніе, суета... нѣтъ, именно нѣтъ во всемъ городѣ пустаго, не занятаго уголка.—На будущее лѣто выростетъ изъ земли пятьдесятъ домищевъ въ нѣсколько этажей, каждый растянется на десяткахъ саженей; верхъ еще кладутъ, до крыши далеко, а въ низу жильцы движутся, промышляютъ... Стало быть, нужно строиться, есть изъ чего строить. Стало быть, народъ прибавляется,—не покидаетъ Харькова, а стекается въ него изъ разныхъ мѣстъ.—Стало быть, въ немъ жить привольно, удобно: мастеровому, если только не сидитъ безъ работы; купцу, сбывающему выгодно свой товаръ; гдѣ имъ защита и покровительство отъ начальства, такъ они туда роемъ летятъ. Классу людей, понимающихъ къ чему ведутъ науки, ужъ какое удобство обучать дѣтей! изъ какихъ мѣстъ не наѣзжаютъ въ Харьковъ. Расположились прожить, пока дѣти окончатъ ученіе, глядишь, купили домъ, остались жить у насъ навсегда: покойно, угодно, не убыточно, весело... что еще надо для безмятежной жизни?..

„Посмотрите вы на этого молодца, на этого франта между городами, посмотрите на Харьковъ въ праздничный торжественный день,—чудо!—Стукъ экипажей по мостовымъ въ разныхъ улицахъ, всѣ спѣшатъ къ одному пункту... экипажи, что наилучшіе, модно, блестяще, красиво; кони завидные, упряжь одна другой наряднѣе, свѣтится, сіяетъ какъ жаръ; кучера въ ямскихъ, лихо отдѣланныхъ, хватски изукрашенныхъ кафтанахъ; ловкіе, лихіе лакеи въ блестящихъ ливреяхъ съ аксельбантами... стоишь въ сторонкѣ, любуешься, глядя на все это; нечего похулить!—Войдите въ Соборъ: пройдите черезъ ряды купечества, степенно, важно стоящаго, да какого купечества? —Гдѣ случается имъ бесѣдовать между собою о своихъ дѣлахъ, тамъ милліоны у нихъ за урядъ, а о сотняхъ тысячахъ рѣдко и говорить приходится. Идите далѣе: вотъ вы въ кругу чиновниковъ; всѣ въ мундирахъ, блестяще, пышно, важно, золото, серебро, блескъ: взгляните налѣво: дамы, дѣвицы, всюду скромность, красота, прелесть убранства, наряды, все прилично, все со вкусомъ; перлы, брилліянты, тутъ послѣднее дѣло... смотрите, и не насмотритесь, любуетесь, не налюбуетесь!

„Всѣ эти добрые Христіане проводятъ день всякій по своему состоянію дружно, согласно, а потому и пріятно. Въ одномъ домѣ двадцать, въ другомъ тридцать, пятьдесятъ обѣдаютъ. Вездѣ роскошь, изобиліе! Лучшія яства, вина, сочные свѣжіе плоды, серебро, хрусталь, вазы съ цвѣтами... Говоръ, шутки, смѣхъ, свобода приправляютъ обѣды. Разговоръ безъ пересудовъ, хотя изъ обѣдающихъ больше половины дамъ; безъ сплетней; разсужденія здравыя, прямыя; судятъ, рядятъ о музыкѣ, литературѣ, произведеніяхъ искусствъ, прислушиваешься... сужденія точнѣе, je vous assure, дѣльнѣе, чѣмъ въ иномъ журналѣ.

„Пришелъ вечеръ. Не сговаривались, не условливались, а всѣ опять вмѣстѣ, въ театрѣ или въ благородномъ собраніи. Въ театрѣ есть на что посмотрѣть, есть чѣмъ заняться и потомъ послушать, хоть и не печатныхъ, а дѣльныхъ сужденій. Входите въ благородное собраніе... зала превосходная, огромная!.. Цари хвалили ее!.. Свѣтъ, блескъ, многолюдство. Чинно, пристойно, весело; въ толпѣ васъ никто не тѣснитъ, каждый заботится о вашемъ спокойствіи. Поговорите съ кѣмъ и о чемъ угодно; находите знаніе, образованность, свѣденія... Взгляните на прекрасный полъ, сидящій на возвышеніи въ ожиданіи бала. А? что скажете? Цвѣтникъ, сударь, да еще какой! Отличныхъ, прелестныхъ, цвѣточекъ къ цвѣточку, подобранныхъ, благоуханныхъ, ароматныхъ... ну, не приберу словъ; голова отупѣла, гляжу, любуюсь и... Наряды, убранство, ловкость во всемъ; все у мѣста, граціозно, лучше нельзя придумать. Поговоривши съ молодыми, васъ окружавшими, вы пріятно провели время, насладились дѣльнымъ разговоромъ... Подойдя къ цвѣтнику, любуетесь; вотъ студенты, чиновники... О чемъ вамъ угодно будетъ поговорить, о литературѣ русской, французской, о музыкѣ нѣмецкой, италіянской, о композиторахъ...—судъ здравый, толковый, французскій языкъ правильный, выговоръ чистый... Столица, право-слово, столица!..

„Музыка гремитъ, кадрили, вальсы, мазурки, все идетъ своимъ порядкомъ. Вездѣ грація, ловкость, пристойность, въ парныхъ разговорахъ острота, любезность, немножко кокетства, столь прелестнаго въ прелестныхъ, необходимаго въ милыхъ... глядишь... и узелокъ завязался...

„Вообще видите стройность, образованность, пышность безъ чванства, хлѣбосольство, радушіе, вкусъ, здравое сужденіе, умѣніе жить...

„Смѣшонъ мнѣ нашъ Харьковъ!.. Какъ онъ упитался, какъ онъ распространился, какъ онъ разукрасился! Привлекъ къ себѣ иногородныхъ торговыхъ гостей, ворочающихъ милліонами, вкоренилъ ученіе высшимъ наукамъ, самъ принарядился, расфрантился, шаркаетъ по-европейски, отплясываетъ французскія кадрили, погуливаетъ на многолюдныхъ ярмаркахъ, припасаетъ самое лучшее изъ наплучшаго, любезничаетъ съ дамами, не наговорится о премудрости, чванится далекою о себѣ славою, гордится предъ своими братьями, не даетъ никому ступить себѣ на ногу, поглядываетъ только, какъ и старшіе его братья шапки предъ нимъ снимаютъ, а самъ заломя голову, руки по-столичному заложа въ карманы, думаетъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ *фря* какой!.. Эхъ, голубчикъ ты мой! Ну, что, какъ я разскажу про твое рожденіе, какъ ты росъ и мужалъ? Каковъ ты былъ въ началѣ и каковъ теперь—сравнить, такъ просто умора! Былъ такъ-себѣ, ничего, даже и въ простые городишки не наровился, а глядишь, какъ счастіе послужило?“

Обѣщаемъ бездну удовольствія тому, кто прочтетъ до конца «старинное преданіе» г. Основьяненки. Нельзя не пожалѣть, что въ «Молодикѣ» только

и есть, что одна эта *украинская* статья, а всѣ прочія или московскія, или нѣмецкія. Въ pendant къ «старинному преданію» г. Основьяненко, очень бы шла статья о Харьковѣ, въ которой было бы показано значеніе этого дѣйствительно-замѣчательнаго города Россіи, въ торговомъ, промышленномъ и ученомъ отношеніяхъ; но такой статьи, къ-сожалѣнію, въ «Молодикѣ» нѣтъ, а она была бы и любопытна и полезна.—Очень-недуренъ отрывокъ изъ драматическаго сочиненія г. В. Корженевскаго «Горецъ», но тѣмъ болѣе жаль, что это сочиненіе помѣщено не вполнѣ, а потому теряетъ все свое достоинство. Переводы г. Бецкаго и г-жи Васильковичевой изъ Жанъ-Поль-Рихтера сдѣланы очень-хорошо; но нельзя похвалить выбора переводчиковъ: переведенное ими могло бы остаться въ подлинникѣ безъ всякой потери для украинской публики. Сверхъ того, это совсѣмъ не альманачныя статьи. Жанъ-Поль-Рихтеръ—довольно-странное явленіе. Это писатель, сверкающій искрами генія, но совсѣмъ не геній. Геній образуется изъ соединенія глубокаго разума съ сильнымъ разсудкомъ: разума въ Жанъ-Полѣ много, но разсудка нѣтъ ни на грошъ, и отъ-того творенія этого писателя представляютъ собой смѣсь грубой руды съ блестками чистаго золота. Иногда онъ удивляетъ широкостію и глубиной своихъ созерцаній, но чаще—дикостію и уродливостію выраженія и мыслей. Переводить его надо осторожно, избирая одно хорошее и обходя обыкновенное и дурное. Кромѣ того, по своему направленію, Жанъ-Поль принадлежитъ теперь къ писателямъ эпохи, которая для настоящаго времени уже мертва.

Стихотвореній въ «Молодикѣ» множество. Провинціальные поэты дѣятельны, благодаря невзыскательности своей публики и удивительной охотѣ ея къ чтенію стиховъ, которыхъ въ столицѣ, какъ сказано, читаютъ мало, если ихъ достоинство состоитъ въ томъ, что они—стихи, а не проза. Боже мой, сколько поэтовъ на Украйнѣ, и какъ хорошо, т. е. какъ много пишутъ они стиховъ, которые именно—стихи, а не проза! *Гг. Бороздна*, *Дьяченко*, *Кленовъ*, *Лукашевичъ*, *Майсуровъ*, *Мещерскій*, *Недолинъ*, *Руэль*, *Чужбинскій*, *Щербина*, *Щоголевъ*: все это украинскіе поэты... Изъ нихъ должно исключить только одного г. Кронеберга, хотя онъ живетъ и въ Харьковѣ. По таланту понимать и переводить Шекспира, г. Кронебергъ принадлежитъ къ замѣчательнымъ поэтамъ русскихъ столицъ. Помѣщенный въ «Молодикѣ» отрывокъ изъ «Гамлета» возбуждаетъ живѣйшее желаніе прочесть весь переводъ этой драмы.

«Молодикъ» украшенъ нѣсколькими пьесами и въ прозѣ и въ стихахъ петербургскихъ и московскихъ литераторовъ. Г. Погодинъ описываетъ Брюссель и Амстердамъ своими короткими фразами, напоминающими его знаменитые историческіе афоризмы. Эта статья г. Погодина такъ же замѣчательна, какъ и прежніе отрывки изъ его путевыхъ записокъ, которые онъ предлагалъ публикѣ въ «Москвитянинѣ» и «Бесѣдѣ Русскихъ Литераторовъ». Изъ столичныхъ поэтовъ, украсили «Молодикъ» своими стихами гг. Кукольникъ, Бе-

недиктовъ, Гребенка, Фетъ, Ѳ. Глинка, Шевыревъ. Посмертныя стихотворенія г. Соколовскаго знамениты своей длинnотою и прозаичностью; а три стихотворенія г. Шевырева знамениты тою превыспренностію мысли и выраженія, которыя рѣшительно недоступны уму слабыхъ смертныхъ, къ числу которыхъ мы смиренно и себя причисляемъ. Можетъ быть, кому-нибудь изъ нашихъ читателей посчастливится разгадать таинственный смыслъ этихъ стихотвореній, совѣтуемъ кому-нибудь заняться рѣшеніемъ этой задачи, равной по трудности квадратурѣ круга, и для того прилагаемъ здѣсь означенныя стихотворенія. Первое изъ нихъ называется «Римскій Форумъ»:

Распаялись связи міра,
Вѣщій форумъ палъ во прахъ,
Тяжко возлегла порфира
На его святыхъ костяхъ.
Но истлѣлъ хитонъ почтенный—
И испуганнымъ очамъ
Вскрылись вѣча, тамъ и тамъ,
Порознь кинутые члены.

И стоятъ печально нынѣ
Кой гдѣ сирые столбы:
По заброшенной пустынѣ
Псы гуляютъ да рабы.
Есть же форума обломки:
Такъ пріяли жъ отъ отцевъ
Благороднѣйшую кровь
Угнетенные потомки.

Египетскіе гіероглифы втораго стихотворенія г. Шевырева относятся тоже къ Риму и называются «Русская пѣсня въ Римѣ»:

«Лавры, тополи густые!
Кто теперь у нашихъ водъ
Пѣсни новыя, живыя
Гармонически поетъ?
Какъ полны любовной муки
Отзываются въ струяхъ!
То невѣдомые звуки
На полуденныхъ брегахъ.

Часто я, забывшись въ бѣгѣ,
Въ море волнъ не торопію,
И покоясь въ звучной нѣгѣ,
Ихъ дослушивать люблю.
Много пѣсень голосистой
Распѣваетъ мой народъ:
Сей же пѣсни звонкой, чистой
Не слыхать у нашихъ водъ

Лавры, тополи, густыми
Сѣнями къ Тибру наклонясь,
Шепчутъ листьями живыми,
Въ струи желтыя глядясь:
„Древній праотецъ-понтель!
Съ хладныхъ сѣверныхъ степей,
Въ изумрудную обитель,
Къ намъ принесся соловей.

Заунывный, тихій, нѣжный
Чувствомъ звукъ его дрожитъ;
Голосъ правильно-небрежный
Чистымъ золотомъ звенитъ.
Въ пѣснѣ русской, пѣснѣ томной
Выливаетъ душу онъ,
Душу любящую скромно,
Душу нѣжныхъ русскихъ женъ".

Тибръ и шумная дубрава
Сочетали дружный гласъ:
„Соловей, Россіи слава!
Пой намъ пѣсни, радуй насъ
На рѣченьки свѣжемъ новомъ!
Счастье будь твой римской другъ
И тебѣ привѣтнымъ словомъ
Отвѣчай на каждый звукъ"!

Слова третьяго стихотворенія г. Шевырева опять-таки относятся къ Риму и называются: «Въ альбомъ.....»:

Бывало Скиѳъ, нашъ предокъ круглолицой,
Склонивъ къ рукамъ закованнымъ главу,
Смиренно шелъ за римской колесницей,
Служа рабомъ чужому торжеству.
А нынѣ Скиѳъ гордится, созерцая,
Какъ дочери его родной земли,
Красою чувствъ возвышенныхъ сіяя,
На торжество въ Римъ древній притекли;
Какъ ихъ душа въ развалинахъ пылаетъ;
Какъ Римлянинъ, нашъ данникъ въ свой чередъ,
Ихъ кроткой плѣнъ съ покорностью несетъ
И языкомъ Петрарки напѣваетъ. [119]).

Прочитавъ эти стихотворенія, вы невольно согласитесь, что такихъ пѣвцовъ не найдешь и на Украйнѣ, гдѣ такъ много всякихъ пѣвцовъ...

729. Казаки. *Повѣсть* **Александра Кузьмича.** *Санктпетербургъ. Въ типографіи Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ. 1843. Двѣ части. Въ 8-ю д. л. Въ I-й части 217, во II-й— 305 стр.* [120]).

Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно историческихъ романовъ и повѣстей? Кто?—только люди, ничего не пишущіе! Откуда же

эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно бы много сказать; но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому-что пишется прозою. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія, или происшествія) уже само-по-себѣ такъ интересно, что можетъ занять читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всѣми добродѣтелями, красотою и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже—фениксъ своего пола. За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «злодѣй», на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство все превозмогаютъ—даже здравый смыслъ—и герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, совокупляются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вздору г. сочинитель примѣшаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вожделѣннаго соединенія героевъ своего романа, такъ-что у иного такого сочинителя и полтавская битва и бородинское сраженіе даются именно съ этою цѣлью и, кромѣ счастливаго брака глупыхъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что этакъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо—и пошелъ писать! Чудаки—эти сочинители! Они не понимаютъ, что сущность и достоинство романа (и историческаго и не-историческаго) не въ *сюжетѣ*; что сюжетъ—дѣло всегда готовое: бери только. Что составляетъ сюжетъ, напримѣръ, «Ламмермурской Невѣсты» Вальтера Скотта? Молодой человѣкъ любитъ дѣвушку, которая отвѣчаетъ на его любовь; они объяснились и помѣнялись кольцами; остается только получить согласіе родителей Люціи. Отецъ бы и не прочь отъ этого; но мать, ненавидѣвшая Равенсвуда, имѣніемъ котораго заставила завладѣть своего безхарактернаго мужа, не хочетъ и слышать объ этомъ союзѣ, и заставляетъ свою дочь выйдти замужъ за другаго. Встрѣтивъ неожиданное сопротивленіе со стороны дочери, леди Астонъ пользуется отсутствіемъ Равенсвуда и убѣждаетъ Люцію, что онъ измѣнилъ ей. Бѣдная, слабая дѣвушка рѣшается, съ отчаянія, выйдти за немилаго; брачный контрактъ подписанъ ею; вдругъ входитъ въ залу Равенсвудъ, словно обвинительная тѣнь, вызванная изъ гроба вѣроломствомъ. Братья Люціи вызываютъ его на дуэль; онъ принимаетъ ихъ вызовъ и удаляется. Вечеромъ того же дня, помѣшавшаяся Люція чуть не зарѣзала своего мужа, а Равенсвудъ на утро исчезаетъ въ топкихъ болотахъ, черезъ которыя спѣшитъ на поединокъ. Тѣмъ и оканчивается романъ. Все это просто, даже обыкновенно. И кому не могъ бы прійдти въ голову точно такой же, или подобный сюжетъ? Тысячи такихъ сюжетовъ приходили въ голову тысячѣ писателей,—и между тѣмъ никто не знаетъ ни ихъ именъ, ни ихъ романовъ, а «Ламмермурская Невѣста» Вальтера Скотта извѣстна всему образованному міру и вѣчно будетъ вѣдома ему, какъ драгоцѣнный алмазъ, украшающій корону великаго царя. Въ чемъ же состоитъ

превосходство романа Вальтера Скотта передъ тысячью другихъ романовъ съ столь же, или еще болѣе-интересными, болѣе-заманчивыми сюжетами? Въ *талантѣ*—скажутъ намъ. Но въ какомъ же талантѣ? Вѣдь таланты бываютъ разные: одинъ владѣетъ талантомъ править государствомъ, другой одерживать побѣды на полѣ битвы, третій прорывать каналы и устроивать ходы подъ рѣками, четвертый измѣрять движеніе свѣтилъ небесныхъ, и т. п. Талантомъ поэзіи—скажутъ намъ. Такъ, но этимъ еще не все сказано. Что такое поэзія, въ чемъ состоитъ она?—вотъ вопросъ! Дюжинные сочинители полагаютъ ее въ вымыслахъ воображенія. Но вѣдь и бредъ спящаго, и мечты сумасшедшаго — вымыслы фантазіи; однакожь они — не поэзія. Должны же имѣть какой-нибудь опредѣленный характеръ вымыслы поэзіи, чтобы отличаться отъ всѣхъ вымысловъ другаго рода. *Поэзія есть творческое воспроизведеніе дѣйствительности, какъ возможности.* Поэтому, чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то ложно и въ поэзіи; другими словами: чего не можеть быть въ дѣйствительности, то не можетъ быть поэтическимъ. Такое опредѣленіе поэзіи вводитъ фантазію въ живое органическое соотношеніе съ другими способностями души, и преимущественно—*съ разумомъ*. Чтобъ умѣть изображать дѣйствительность, мало даже дара творчества: нуженъ еще разумъ, чтобъ понимать дѣйствительность. Кто хочетъ быть поэтомъ на бумагѣ, тотъ прежде долженъ быть поэтомъ въ душѣ и, по натурѣ своей, видѣть дѣйствительность съ ея поэтической стороны. Поэзія не въ однѣхъ книгахъ: она въ дыханіи жизни, въ чемъ бы ни проявлялась эта жизнь—въ природѣ, въ исторіи, или въ частномъ бытѣ человѣка. Такимъ поэтомъ былъ Вальтеръ Скоттъ, и оттого онъ смѣло могъ брать для своихъ романовъ самые простые, обыкновенные, даже избитые сюжеты, и дѣлать ихъ, въ своихъ романахъ, новыми и необыкновенными. Отъ-того, дѣйствующія лица его романовъ—живыя лица, живые люди, а не тѣни, не призраки; ихъ чувства и побужденія, добрыя и злыя, истинны; отношенія другъ къ другу естественны. Отъ-того, наконецъ, нѣтъ ничего легче, какъ разсказать въ нѣсколькихъ словахъ сюжетъ любаго романа Вальтера Скотта, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ изложить содержаніе его даже въ большой статьѣ. Для истиннаго таланта, канва ничего не стоитъ, а важны краски и тѣни, которыми оживитъ онъ свою канву. Бездарность же, напротивъ, полагаетъ всю важность только въ канвѣ, а о краскахъ и тѣняхъ не думаетъ, не подозрѣвая того, что въ нихъ-то, въ этихъ краскахъ, въ этихъ тѣняхъ, и скрывается *поэзія*.

Такова новая историческая повѣсть «Казаки». Сочинитель не жалѣлъ ни бумаги, ни чернилъ, ни словъ, ни фразъ, ни разговоровъ, ни описаній, ни происшествій —всего этого у него вдоволь; нѣтъ одного только — поэзіи! Читаешь, читаешь—въ глазахъ рябитъ, въ головѣ смутно, на душѣ скучно, и спрашиваешь себя: да къ чему же все это? Люди говорятъ, ходятъ, ѣдятъ, пьютъ, ѣдятъ, влюбляются, сражаются,—все это Богъ-знаетъ зачѣмъ и для

чего. Да и люди ли это? Нѣтъ, тѣни, или, лучше-сказать, маріонетки дурной работы, приводимыя въ движеніе бѣлыми нитками, рукою неловкаго фокусника. Никакой истины, никакой естественности ни въ характерахъ, ни въ событіяхъ. Герой романа—лицо безцвѣтное. Сочинитель увѣряетъ, что онъ—молодой Малороссъ, жившій въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка. Но если такъ,—гдѣ же въ его характерѣ черты вѣка и страны? Посмотрите на Андрія Бульбу въ повѣсти Гоголя: это натура страстная, сильная, глубокая, благородная, и со всѣмъ этимъ—дикая и грубая, при всей ея нѣжности и поэзіи, потому-что она родилась и возрасла въ варварское время, среди полудикаго общества. А *Василій Мурашко* г. Кузьмича—просто какой-то мечтатель въ родѣ образованнаго департаментскаго чиновника нашего времени, который читаетъ «Пчелку» и хлопаетъ въ Александрынскомъ-Театрѣ. А его возлюбленная *Настасья?*—барышня изъ французскаго водевиля, переложеннаго на россійскіе нравы. Въ чемъ же сюжетъ романа? Карубка, отецъ Настасьи, былъ пріятелемъ покойному отцу Василья и прочитъ за него дочь свою. Карубка не любитъ Мазепы и подозрѣваетъ его въ измѣнѣ царю; но Мазепа позвалъ къ себѣ Карубку,—и тотъ, воротившись отъ него его поклонникомъ и врагомъ царя, прогоняетъ Василья и хочетъ отдать свою дочь за Чечеля. Василій похищаетъ Настасью, но не какъ казакъ, который за минуту готовъ отдать жизнь, а какъ резонеръ изъ плохой повѣсти: надѣлавъ шума, онъ возвращаетъ Настасью отцу, а самъ, съ слугою своимъ Тарко (пародіею на Киршу въ «Юріи Милославскомъ») пробирается къ царскому войску. Потомъ въ него влюбляется Катерина, дочь Скоропадскаго; маленькая сестра ея, съ дѣтскою наивностію, высказываетъ тайну любви Катерины, отъ-чего та конфузится и краснѣетъ, а Василій ни о чемъ не догадывается. Ну, точь-вточь сантиментальный романъ изъ чиновничьей жизни! Катерина спасаетъ Василья отъ плѣна, а Тарко отъ смерти. Потомъ Василій дружится съ Т—вымъ, молодымъ русскимъ офицеромъ, который страстно влюбленъ въ Катерину,—и оба *мечтателя* приторными, сладенькими фразами разговариваютъ другъ съ другомъ о своихъ любезныхъ,—точь-вточь два офицера въ любомъ русскомъ водевилѣ, передѣланномъ съ французскаго, и только-что не говорятъ другъ другу: «мон-шеръ». На полтавскомъ сраженіи Василій былъ тяжело раненъ, и, не давъ сдѣлать себѣ операціи, поскакалъ къ умирающему Карубкѣ (который, подъ именемъ *Рябко* отчаянно рѣзался съ Шведами, во изъявленіе своего раскаянія, что позволилъ Мазепѣ обмануть себя). Тамъ Василія опять ранили, и Рябко ѣдетъ къ Настасьѣ съ страшною вѣстію. Читатель радуется, что глупый герой не будетъ больше надоѣдать ему своею пошлостію, и что длинная повѣсть кончилась: не тутъ-то было! Эта смерть придумана для эффекта: Василій воскресаетъ, чтобъ жениться и быть счастливымъ въ законномъ супружествѣ, по претерпѣніи толикихъ несчастій Катерина до послѣдней страницы романа остается *блѣдною* и *томною*, любя Василія, и только изъ угожденія волѣ родителя выходитъ замужъ за Т—ова.

Этотъ Т—овъ есть никто иной, какъ Петръ Толстой. По исторіи извѣстно, что Скоропадскому хотѣлось выдать замужъ (разумѣется, за кого-нибудь изъ Малороссіянъ) *пятнадцатилѣтнюю* дочь свою, на что онъ и просилъ разрѣшенія у Петра Великаго; но государь, вѣрный своей политикѣ и своимъ видамъ на Малороссію, далъ такой отвѣтъ Скоропадскому: «Въ ознаменованіе вѣрности, по примѣру своихъ предмѣстниковъ, гетманъ долженъ сговорить и выдать дочь за одного изъ чиновниковъ великороссійскихъ». Черезъ два года, зять Скоропадскаго, Толстой, получилъ нѣжинскій полкъ, по смерти полковника Жураховскаго, «во уваженіе вѣрной и усердно радѣтельной службы тестя». Стало-быть, бракъ Толстого съ дочерью Скоропадскаго былъ дѣломъ политическихъ разсчетовъ, безъ всякихъ любовныхъ фразъ. Такъ бы и слѣдовало его изобразить. Но нѣкоторые сочинители не понимаютъ поэзіи истины и дѣйствительности, предпочитая ей шумиху избитыхъ и изношенныхъ вымысловъ празднаго воображенія...

Повѣсть г. Кузьмича, къ-сожалѣнію, издана изящно. Говоримъ—«къ-сожалѣнію», ибо видѣть прекрасно-изданною пустую книгу такъ же непріятно, какъ видѣть пустаго человѣка, пользующагося всѣми матеріальными благами жизни.

* **730. На сонъ грядущій,** *отрывки изъ вседневной жизни, сочиненіе* **графа В. А. Соллогуба.** *Часть II. Санктпетербургъ. Въ тип. Эдуарда Праца. 1843. Въ 8-ю д. л. 407 стр.* [121]).

Подъ этимъ заглавіемъ, еще въ 1841 году, графъ Соллогубъ издалъ первую часть своихъ повѣстей и разсказовъ, съ большею частью которыхъ публика была уже знакома изъ журналовъ и альманаховъ,—что, однакожь, нисколько не помѣшало книгѣ разойдтись по рукамъ быстро. Хотя, какъ мы уже нѣсколько разъ говорили, количествомъ проданныхъ экземпляровъ нельзя измѣрять въ нашей литературѣ достоинство книги, однакожь, считаемъ нужнымъ упомянуть о судьбѣ разсказовъ графа Соллогуба, чтобъ показать, что и публика съ своей стороны оцѣнила и поняла этого автора, выступившаго въ первый разъ на литературное поприще въ нашемъ журналѣ. Вышедшая нынѣче вторая часть разсказовъ «На сонъ грядущій»—заключаетъ въ себѣ нѣсколько статей, написанныхъ въ два года, протекшіе отъ изданія первой части. Большая часть ихъ была уже напечатана: «Приключеніе на Желѣзной Дорогѣ»—въ альманахѣ «Утренняя Заря»;—«Аптекарша»—во второмъ томѣ «Русской Бесѣды», издававшейся русскими литераторами въ пользу книгопродавца Смирдина; «Медвѣдь»—въ «Утренней Зарѣ» на 1843 годъ; «Левъ и Ямщикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера»—въ «Отеч. Запискахъ». Всѣ эти разсказы отличаются талантомъ безошибочно понимать жизнь и современную дѣйствительность,—умнымъ, глубоко-проницательнымъ взглядомъ, бросаемымъ на вседневные житейскіе случаи и мелочи, которые авторъ исключительно

развиваетъ въ своихъ созданіяхъ, и тѣмъ благороднымъ, грустно-насмѣшливымъ юморомъ, который вызываетъ въ одно время слезы на глаза и улыбку на уста, и отъ котораго сердцу въ одно время больно и весело. О языкѣ, какимъ пишетъ графъ Соллогубъ свои прекрасные разсказы, говорить нечего: всѣ давно признали, это этотъ языкъ и оригиналенъ и художественъ. Событія, служащія содержаніемъ разсказовъ, просты, безъискуственны, но въ то же время исполнены жизненной силы и свѣжести, глубоко современнаго интереса. Лучшіе изъ разсказовъ, которые помѣщены во второй части и были уже прежде извѣстны публикѣ, безъ сомнѣнія—«Аптекарша» и «Медвѣдь». Наконецъ, есть во второмъ томѣ еще повѣсть, которая нигдѣ не была напечатана и которая называется «Неоконченныя Повѣсти». Это, безспорно, одно изъ оригинальнѣйшихъ произведеній графа Соллогуба. Приведемъ изъ нея два небольшіе отрывка, какъ для того, чтобъ нѣсколько познакомить съ нею читателей, такъ и для того, чтобъ дать имъ понятіе о ея странномъ названіи. Вотъ начало:

„Кто знаетъ Ивана Ивановича, или лучше, кто не знаетъ Ивана Ивановича? Его, вѣрно, всѣ видѣли и привыкли видѣть и, вѣроятно, никому не пришло въ голову спросить кто онъ такой! Такихъ людей много. Какое кому дѣло до человѣка безъ связей и безъ денегъ? Въ обществахъ Иванъ Ивановичъ, разумѣется, не бываетъ; но на Невскомъ проспектѣ онъ гуляетъ аккуратно отъ двухъ до четырехъ часовъ, какая бы ни была погода. Въ театрѣ и въ концертахъ онъ также лицо неизбѣжное; отчего онъ и пользуется въ мнѣніи многихъ не весьма лестною извѣстностію, хотя въ-самомъ-дѣлѣ онъ только страстный любитель музыки. Даже нѣкоторые молодые люди утверждаютъ рѣшительно, что онъ игрокъ, и притомъ самый опасный шулеръ, выжидающій добычи, тогда какъ бѣдный мой Иванъ Ивановичъ отъ роду не бралъ и *карть* въ руки. Иванъ Ивановичъ одѣтъ всегда литераторомъ, то-есть очень-дурно, гуляетъ въ енотовой шубѣ, носитъ широкіе черные фраки и длинные бѣлые жилеты, и, какъ видно, мало заботится о своемъ наружномъ украшеніи. Вообще онъ слыветъ человѣкомъ опаснымъ, потому-что, хотя ничего не имѣетъ, но ничего не ищетъ и не проситъ. Тѣ же, которые знаютъ его коротко, любятъ его отъ души, потому-что онъ въ-самомъ-дѣлѣ просто добрый человѣкъ.

„Я съ нимъ иногда встрѣчаюсь и люблю слушать рѣзкія его сужденія о произведеніяхъ нашей литературы. Сужденій этихъ я не повторяю здѣсь, чтобъ никого не обидѣть; но въ нихъ, какъ отгадать не трудно, мало утѣшительнаго. Вообще, разговоры наши касаются до жалкаго состоянія у насъ искусства, которое не вкоренилось еще въ жизнь народную, не составляетъ необходимой потребности, а большею частію служитъ для изворотовъ жалкимъ барышникамъ, тогда какъ истинное дарованіе, изнывая подъ бременемъ ненасытнаго самолюбія, иногда погибаетъ въ тѣни, или спивается съ круга.

„Иванъ Ивановичъ судитъ вообще рѣзко и рѣшительно; со всѣмъ тѣмъ невозможно назвать его положительнымъ человѣкомъ. Напротивъ того, когда нѣтъ свидѣтелей, и разговоръ касается до чувства, Иванъ Ивановичъ изумляетъ меня тонкимъ расположеніемъ малѣйшихъ сердечныхъ оттѣнковъ, и тогда этотъ, по-видимому, бездушный человѣкъ совершенно преобразовывается. Рѣчь его становится свободнѣе. Душа какъ-будто выглядываетъ изъ

сверкающихъ глазъ, и не трудно догадаться тогда, глядя на него, что подъ этой безчувственной корой бьется сердце, способное къ самымъ глубокимъ впечатлѣніямъ. Но что заставило это сердце сжаться и съёжиться подъ личиной равнодушія, что заставило бѣднаго холостяка вести такую однообразную жизнь, и пренебрегать глупыми о немъ толками"?

Вотъ человѣкъ, личность котораго раскрываетъ авторъ передъ читателями въ новой своей повѣсти. Желая покороче познакомиться съ жизнью Ивана Ивановича, авторъ однажды послѣ обѣда у madame Ioseph, «которая отлично кормитъ своихъ пріятелей», завелъ разговоръ съ Иваномъ Ивановичемъ о томъ, «какъ молодость утрачивается безвозвратно, оставляя намъ лишь одно раскаяніе, что мы не умѣли ею воспользоваться». Потомъ, пріятели перешли собственно къ молодости Ивана Ивановича, и авторъ сталъ просить, чтобъ Иванъ Ивановичъ разсказалъ ему повѣсть своей жизни.

„Иванъ Ивановичъ не много призадумался.

— Жизнь моя, отвѣчалъ онъ печально:—не можетъ называться повѣстью, а развѣ собраніемъ отдѣльныхъ неоконченныхъ повѣстей.

— Какъ, неоконченныхъ?

— Именно, неоконченныхъ. Не знаю много ли людей могутъ похвалиться тѣмъ, что свѣтлые случаи ихъ жизни достигли всего своего блеска и потомъ уже мало-по-малу начали скрываться въ туманѣ, бросая еще изрѣдка яркіе отблески. Со мною было иначе. Романы мои только замаливали мое сердце и потомъ вдругъ прерывались при самой завязкѣ.

— Отчего же такъ? спросилъ я.

— Отчего! самъ не знаю. Отъ случая. Отъ игры обстоятельствъ. То свѣтское приличіе, то нежданная разлука, то собственная оплошность, то смерть все уничтожающая, отдаляли меня на вѣки отъ свѣтлой цѣли моихъ желаній. Иногда одно слово могло бы мнѣ дать блаженство, но слово это отлетало на-вѣки. Иногда самые ничтожные случаи, забытый визитъ, короткая поѣздка, минутная простуда, вздорный поклонъ, пустой разговоръ, взглядъ одинъ, отдаляли жизнь мою навсегда отъ радостно-принятаго направленія. Вы скажете, что я самъ въ томъ виноватъ. Можетъ-быть. Но за то я жестоко былъ наказанъ, потому-что каждая порванная струна моего сердца болѣзненно отдавалась въ цѣломъ моемъ существѣ. Словомъ, оно можетъ быть и глупо, только и грустно тоже,—всѣ повѣсти мои остались безъ конца.

— Какъ не-уже-ли ничего отъ нихъ не сохранилось?

— Сохранилось какое-то странное чувство, неопредѣленное сознаніе утраченнаго счастья, сознаніе горестное, но и сладкое въ то же время, похожее на воспоминаніе о шутливомъ и веселомъ другѣ надъ его могилой.

— Не понимаю, сказалъ я вполголоса:—хотя по странному сочувствію съ моимъ собесѣдникомъ, какая-то невольная тоска начала сжимать мое сердце.—Не понимаю, Иванъ Ивановичъ!

— Какъ, не понимаете? Припомните вашу молодость. Тогда не трудно вамъ будетъ понять.

— Всего будетъ лучше, Иванъ Ивановичъ, если вы разскажете мнѣ повѣсть... Нѣтъ, я хотѣлъ сказать, начало какой-нибудь повѣсти изъ вашей жизни.

— Извольте... только съ чего начать?
— Начните съ начала.
— Ну, такъ я начну съ моей студенческой жизни.
Я немного поморщился. Иванъ Ивановичъ улыбнулся.
— Вамъ надоѣли студентскія исторіи, замѣтилъ онъ. Будьте покойны. Я не намѣренъ обременять васъ описаніемъ нѣмецкаго студенчества, а только, по желанію вашему, разверну передъ вами первую страницу теперь уже оконченной книги моего сердца".

И затѣмъ начинается самая повѣсть... Нѣтъ человѣка, который не задумался бы крѣпко, прочитавъ эту, исполненную глубокаго и грустнаго смысла повѣсть Ивана Ивановича. Дамы, читая ее, будутъ плакать...

*731. Статейки въ Стихахъ. *Безъ картинокъ. Томъ II. С.-Петербургъ. Въ тип. Жернакова. 1843. Въ 16-ю д. л. 40 стр.* [122]).

Читатели, можетъ быть, не забыли маленькой книжечки, изданной какимъ-то шутникомъ подъ названіемъ «Статейки въ Стихахъ, безъ картинокъ»,—книжечки, которую одинъ петербургскій журналъ, вѣроятно нуждавшійся въ матеріалѣ для «забавы» своихъ читателей, почти всю сполна перепечаталъ подъ видомъ рецензіи, и тутъ же обругалъ ее, чтобъ прикрыть такою стратагемою невинное похищеніе, произведенное имъ въ ущербъ бѣдному издателю книжечки. Какъ бы то ни было, но издатель видно не робкаго десятка—не боится, что означенный журналъ вторично, безъ его спроса и вѣдома, перепечатаетъ его книжечку: онъ выпустилъ второй *томъ* ея, помѣстивъ въ немъ «Философическую Сказку», «Жизнь и Люди» и «Говоруна или Записки петербургскаго жителя Ѳ. А. Бѣлопяткина». Въ «Сказкѣ», къ Духу Жизни являются разные покойники, претендующіе на вѣчную жизнь, и разсказываютъ дѣла свои. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Помѣщикъ:

Я въ своей деревнѣ.....
То-есть вотъ какъ славно жилъ,
Что дрожали всѣ оконницы,
Какъ съ друзьями я кутилъ.
Утромъ, на поле отъѣзжее—
И гоняю тамъ коня!
Всѣ чиновники заѣзжіе
Отъѣдались у меня,
Да зато ужъ хоть исправника
Такъ не струшу я, ей-ей!..
Надо что ли вамъ забавника—
Распотѣшу всѣхъ гостей.
Надъ моими анекдотцами
Надрывался весь уѣздъ,
А заводъ-то съ иноходцами
Каждый такъ, кажись, и съѣстъ

Да и самъ поѣсть я промаху,
Право слово, не давалъ,—
И настойку на черемуху
Персонально наливалъ.
Пью съ друзьями—такъ исправна
Вотъ и валитъ, хоть не вѣрь.
Ужъ, ей-ей, такого барина
Не сыскать нигдѣ теперь.
Я заморской тарабарщинѣ
Не учился никогда!..
Дѣвки круглый годъ на барщинѣ
Да такія, что бѣда!..
На крестьянъ моихъ, мошенниковъ,
Дворня дюжая моя
Извела не мало вѣниковъ.
Какъ же, хамова семья,
Не на то ль они родилися,
Чтобы барину служить?
А туда же нарохтилися
Для себя копить и жить!
И за то они, разбойники,
Какъ прибралъ меня Творецъ,
Вотъ какъ выли по покойникѣ,
Растащивши погребецъ...

Смѣшны также Важный Человѣкъ и Чиновникъ, явившіеся къ Духу Жизни. Чиновникъ говоритъ про себя:

Я самъ въ моей ничтожности,
Не только въ свѣтѣ *жилъ*,
Но даже по возможности
Отечеству служилъ.
На службу собираюся
Часамъ я къ девяти,
И такъ всегда стараюся,
Чтобъ раньше всѣхъ придти.
Бывало, въ отдѣленіи
Смиренѣе всѣхъ сижу,
Со страхомъ и почтеніемъ
На старшихъ я гляжу.
Пишу всегда внимательно,
Никакъ не обернусь,
И доверху такъ тщательно,
Какъ должно, застегнусь.
Мнѣ съ чувствомъ въ дни воскресные
Начальникъ руку жалъ,
И каждый писарь въ крестные
Отцы навѣрно звалъ.
Со славой самой прочною
Я ревностно служилъ
И пряжку безпорочную
За XXX лѣтъ носилъ.

Я въ жизнь словечка грубаго
Ей-Богу не сказалъ,
И сторожа беззубаго
Любезнымъ называлъ.
Начальникъ отдѣленія
Подъ часъ начнетъ ругать
Что дѣлать?.... Безъ сомнѣнія,
Смириться—и молчать.
(Другой—одинъ нахальствуетъ,
А крикнешь и притихъ)
На то онъ и начальствуетъ,
Чтобъ взыскивать съ другихъ.
Я въ рынокъ и лабазникамъ
Всегда долги платилъ,
Въ театръ ходилъ по праздникамъ,
Безчинства не любилъ.
Смотрѣлъ, что поучительно,
Актрисамъ не мигалъ,
Служилъ неукоснительно,
Стиховъ не сочинялъ.
Конечно, приходилося
И мнѣ грустить порой
И странно сердце билося
Чувствъ новыхъ полнотой;
Грудь ныла отъ томленія,
И не спалося въ ночь,—
Но это наважденіе
Я гналъ тотчасъ же прочь.
Меня ветчинка сочная
Въ могилу низвела,
И пряжка безпорочная
Отъ смерти не спасла.
Я временное жительство
Съ почетомъ покидалъ:
Его превосходительство
За гробомъ выступалъ...

Не боясь быть похожими на упомянутый нами журналъ, умѣющій жить чужимъ добромъ, выписываемъ еще строфу г. Вѣлепяткина о Рубини:

Я въ постъ, какъ-бы на станціи
Задержанный, скучалъ,
Да, къ счастію, изъ Франціи
Рубини прискакалъ.
Отъ чувства безотчетнаго
Вдругъ всякій присмирѣлъ,
Какъ въ залѣ Благороднаго
Собранья онъ запѣлъ.
На голову курчавую,
Во всѣхъ концахъ земли
Увѣнчанную славою,
Всѣ взоры навели,

И звуки изумрудные
Впивали жадно въ грудь.
То были звуки чудные:
Опъ пѣлъ не какъ-нибудь!
Высокое художество
И выразить нѣтъ словъ!
Я слышалъ въ жизни множество
Отличнѣйшихъ пѣвцовъ:
Съѣзжаются на старости
Они со всѣхъ сторонъ,
Ревутъ какъ волки въ ярости,
А все не то, что онъ!
Начнетъ въ четыре голоса,
Зальется какъ рѣка,
А кончитъ тоньше волоса,
Нѣжнѣе вѣтерка.
По свѣту благодарному
Объ немъ не даромъ гулъ:
Мнѣ даже, титулярному,
Онъ сердце шевельнулъ!
Съ нимъ пѣла не отличная
Пѣвица Остергардъ
Ей право бы приличнѣе
Пѣть въ залѣ Энгельгардъ...

Все это шуточная болтовня, въ которой есть, какъ видно изъ выписанныхъ нами стиховъ, нѣчто и повыше болтовни, несравненно умнѣе многихъ водевильныхъ остротъ и куплетовъ, заслуживающихъ себѣ громовые аплодисманы и вызовы отъ посѣтителей Александрынскаго-Театра.

*732. Повѣсти Ивана Гудошника, *собранныя* Николаемъ Полевымъ. *Въ двухъ частяхъ. Санктпетербургъ. 1843. Въ тип. А. Бородина и К°. Изданіе Штукина. Въ 12-ю д. л. Въ I части 285, во II—195 стр.* [123])

Вѣроятно, для весьма-многихъ ничего не можетъ быть завиднѣе участи стараго сочинителя, долго и неусыпно подвизавшагося на литературномъ поприщѣ и, слѣдовательно, много написавшаго. Въ-самомъ-дѣлѣ, если исключить небольшія обиды, наносимыя самолюбію стараго сочинителя успѣхами новаго поколѣнія, то это едва-ли не счастливѣйшее состояніе въ человѣческой жизни! Старому сочинителю, написавшему на своемъ вѣку нѣсколько десятковъ повѣстей и романовъ, пять-шесть сочиненій историческихъ, полсотни патріотическихъ драмъ, представленій, былей, небылицъ и анекдотовъ, сотню водевилей и нѣсколько сотенъ юмористическихъ, сатирическихъ и нравственно-философическихъ отрывковъ, замѣчаній и афоризмовъ,—на закатѣ дней остается только очень-пріятное и легкое

занятіе: издавать плоды многолѣтнихъ трудовъ своихъ и получать за нихъ деньги съ почтеннѣйшей публики... Не правда ли, завидное положеніе?.. Но и въ немъ есть непріятная сторона. Оно можетъ быть вполнѣ хорошо только при одномъ, весьма-важномъ условіи—именно, если публика не разлюбила стараго сочинителя и не охладѣла къ его сочиненіямъ. А это-то на бѣду старыхъ сочинителей, случается очень-рѣдко. Надобно, чтобъ сочинитель обладалъ слишкомъ-могучимъ дарованіемъ, или чтобъ предметы, о которыхъ писалъ онъ въ свое время, заключали въ себѣ какой-нибудь особенный интересъ для поколѣнія, смѣнившаго его публику: иначе «труды» стараго сочинителя не привлекутъ ничьего вниманія, и издавать ихъ вновь—то же, что̀ созидать капища въ честь идоловъ, которымъ покланялись наши неозаренные свѣтомъ христіанства предки, но которымъ теперь никто ужъ не поклоняется. Гораздо-чаще случается и мы видимъ тому ежедневно примѣры, что старые сочинители выходятъ изъ себя отъ охлажденія къ нимъ публики, и, совершенно-забытые ею, употребляютъ тысячи усилій, часто весьма забавныхъ, чтобъ снова добыть себѣ поклонниковъ, бросаются на самые новые роды литературныхъ произведеній, ожесточенно преслѣдуютъ въ литературѣ все великое и истинно-прекрасное, предъ чѣмъ впервые поблѣднѣли и показались въ настоящемъ своемъ видѣ жалкія порожденія ихъ скудной фантазіи, и, наконецъ, истощившись въ безполезныхъ усиліяхъ, съ судорожнымъ, болѣзненнымъ жаромъ, проклинаютъ, надъ грудой вновь-изданныхъ, но увы!—нераскупленныхъ, своихъ сочиненій, и новый міръ, и новое время, и новыя идеи,—какъ-будто человѣчество виновато, что оно ушло впередъ и какъ будто было бы лучше, еслибъ оно остановилось на той точкѣ прогресса, на которой время застигло жалкихъ старыхъ сочинителей!..

У насъ, въ настоящее время, есть много сочинителей, которые въ печатныхъ обращеніяхъ другъ къ другу давно уже взаимно называютъ себя «заслуженными литераторами», «ветеранами русской литературы», «учениками Дмитріева и Карамзина» и т. п. Нѣкоторые изъ такихъ сочинителей уже предпринимали новыя изданія своихъ сочиненій, но, испуганные плохимъ расходомъ ихъ въ публикѣ, остановились, вѣроятно, поджидая времени, болѣе благопріятнаго, которое, впрочемъ, едва-ли наступитъ. Другіе, еще болѣе ослѣпленные своими мнимыми достоинствами и заслугами, продолжаютъ возобновлять свои старыя писанія, находя, вѣроятно, въ столь невинномъ занятіи утѣшеніе и усладу при огорченіяхъ и недугахъ преклонныхъ лѣтъ.

Въ 1840 году, г. Полевой собралъ нѣсколько критическихъ статей своихъ, писанныхъ имъ для «Библіотеки для Чтенія» (гдѣ онѣ помѣщались, по собственному сознанію сочинителя, съ чужими поправками, искаженіями и вставками), и издалъ въ двухъ томахъ подъ названіемъ

«Очерки Русской Литературы». Книга вызвала только весьма недвусмысленную улыбку на уста рецензентовъ и нѣкоторой части публики своимъ «введеніемъ», исполненнымъ странными признаніями à la Jules Janin, и осталась въ книжныхъ лавкахъ: залпъ высшихъ взглядовъ, которыми она была нагружена, не попалъ ни въ голову, ни въ карманы читателей. Затѣмъ, въ недавнемъ времени, г. Полевой предпринялъ полное изданіе своихъ драматическихъ сочиненій и переводовъ, которые, сначала «поштучно» погребались въ одномъ театральномъ сборникѣ и были его украшеніемъ.

Успѣхъ полнаго изданія «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» былъ не завиднѣе успѣха критическихъ очерковъ. Теперь г. Полевой, при содѣйствіи какого-то книгопродавца Штукина, котораго имя въ первый разъ встрѣчается въ печати, подарилъ публику изданіемъ «Повѣстей Ивана Гудошника». Нѣкогда, въ блаженное старое время, лѣтъ пятнадцать назадъ, можетъ-быть, были люди, которымъ нравились историческія сказочки, гдѣ плавнымъ и величественнымъ слогомъ разсказывалось о томъ, какъ жили «наши предки Словене» и гдѣ, между-тѣмъ, не было ничего похожаго на жизнь нашихъ предковъ, гдѣ безбожно коверкался современный русскій языкъ, въ тщетныхъ усиліяхъ поддѣлаться подъ ладъ старинной рѣчи, гдѣ, наконецъ, герои и героини падали въ обморокъ и говорили чувствительныя фразы, вродѣ тѣхъ, какія встрѣчаются на каждой страницѣ «Кузьмы Мирошева» и подобныхъ ему плохихъ романовъ. Но теперь едва-ли найдется такой добрый и невзыскательный человѣкъ, которому могли бы понравиться «Разсказы Ивана Гудошника». Всѣ эти разсказы такъ скучны и до того проникнуты добродушною, умилительною пошлостью, что рѣшительно ни котораго изъ нихъ дочитать до конца нѣтъ возможности. Итакъ, разбирать ихъ подробно—значило бы дѣлать имъ честь, которой они не заслуживаютъ. Въ началѣ первой части помѣщено предисловіе, которое поражаетъ какою-то ненатуральною задушевностью, и приторною, тоже не совсѣмъ естественною, любезностью въ древле-словенскомъ вкусѣ:

«Давно, когда я жилъ еще въ Москвѣ Бѣлокаменной, узналъ я повѣсть объ Иванѣ Гудошникѣ, и повѣсти, какія самъ онъ разсказывалъ въ старое время.

«Пересказалъ ли мнѣ ихъ какой-нибудь бывалый человѣкъ, или нашелъ я списки старинные,—на что вамъ знать?

«Я рѣшился тогда же издавать то и другое, и напечаталъ одну повѣсть о самомъ Гудошникѣ и одну изъ его сказокъ.

«Приняли ихъ, помнится, довольно благосклонно. Были и даже теперь есть добрые люди, которые уговаривали меня продолжать, и я хотѣлъ продолжать, но—человѣкъ предполагаетъ, а судьба располагаетъ!

«Можетъ быть, когда нибудь доскажу я конецъ повѣсти о самомъ Гудошникѣ, его *клятвѣ при Гробѣ Господнемъ*, и что изъ этого послѣдовало, перескажу и его собственныя повѣсти и сказки, а теперь вотъ старая

сказка его и еще кое-что изъ его повѣстей и былей, что прежде начиналъ я пересказывать—иное кончилъ, иное не кончилъ. Авось кто-нибудь скажетъ *спасибо*, что все собрано вмѣстѣ! А не скажутъ, такъ по крайней мѣрѣ бранить не будутъ, потому что за что же тутъ *бранить*, народъ православный? Вольному воля: *читать* и *не читать!*»

Таково предисловіе къ «Разсказамъ Гудошника». Въ немъ, между прочимъ, высказывается мнѣніе г. Полеваго, будто-бы не должно бранить того, что уже давно написано. Полно, такъ ли?.. Мы съ своей стороны думаемъ совершенно иначе. По нашему мнѣнію, все дурное, являющееся въ печати, когда бы оно писано ни было, журналъ долженъ подвергать осужденію, потому-что предостерегать публику отъ плохихъ сочиненій, есть одна изъ главнѣйшихъ обязанностей добросовѣстнаго журнала... Изданіе «Разсказовъ Ивана Гудошника» весьма-сѣро и неопрятно.

*733. Князь Курбскій, *историческій романъ изъ событій XVI вѣка. Сочиненіе* Бориса Федорова. *Въ четырехъ частяхъ. Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1843. Въ 12-ю д. л. 135, 172, 213, 115 стр.* [121])

Кто не знаетъ Бориса Михайловича Ф(ѳ)едорова? Это безспорно одинъ изъ знаменитѣйшихъ писателей нашего времени. На исчисленіе всѣхъ заслугъ его потребовалась бы цѣлая книга... Дѣйствительно, никто не доставлялъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ много торжествъ добродѣтели, никто столько разъ не казнилъ въ нихъ порока, какъ доблестный борзописецъ, о которомъ говоримъ мы: Б. М. Ф(ѳ)едоровъ дѣлалъ то и другое, по-крайней-мѣрѣ тысячу разъ,—и если свѣтъ не сдѣлался лучше, если добродѣтель по-прежнему пребываетъ въ угнетеніи, а порокъ торжествуетъ, то ужъ конечно не отъ недостатка дѣятельности сего сочинителя, а отъ-того, что свѣтъ былъ чрезвычайно-испорченъ прежде, нежели сочинитель сей началъ дѣйствовать. Не говоря уже о безчисленномъ количествѣ дѣтскихъ книгъ, которыхъ, къ-сожалѣнію, никто не помнитъ и не читаетъ, Б. М. Ф(ѳ)едоровъ написалъ нѣсколько сказокъ, и между-прочимъ «Віолетту», одно изъ остроумнѣйшихъ «аллегорическихъ сочиненій», какія только когда либо писались руками смертныхъ. Сверхъ того, въ-продолженіи многихъ лѣтъ, въ «Трудахъ», издававшихся «Россійскою Академіею», печатались постоянно стихотворенія Б. М. Ф(ѳ)едорова, писанныя, большею частію, на разные торжественные случаи... Но и это еще не все. Въ короткіе промежутки времени, остававшіеся отъ столь важныхъ и разнообразныхъ занятій, Б. М. Ф(ѳ)едоровъ изрѣдка возвышалъ свой голосъ въ нѣкоторыхъ повременныхъ изданіяхъ, и есть, говорятъ, счастливые журналы, которые могутъ насчитать у себя по нѣскольку страницъ, украшенныхъ плодами вдохновенной музы сего дѣятельнаго сочинителя... Нѣтъ сомнѣнія, что столь

неусыпные и многочисленные труды давно уже доставили бы Б. М. Ф(ѳ)едорову по-крайней-мѣрѣ вѣнецъ безсмертія, еслибъ на нихъ было обращено хоть какое-нибудь вниманіе неблагодарною публикою... Здѣсь время сказать, что, при всѣхъ достоинствахъ Б. М. Ф(ѳ)едорова, исчисленныхъ выше, онъ еще и глубочайшій философъ. Извѣстно, что сочиненія его, отъ перваго до послѣдняго, по какому-то странному и необъяснимому случаю, всѣми журналами единогласно подвергались и подвергаются жестокимъ насмѣшкамъ и порицаніямъ. О дѣтскихъ книжкахъ его столько наговорено остротъ, и забавныхъ и пошлыхъ, что пересчитать ихъ нѣтъ возможности. Недавно еще одинъ журналъ серьезно разсказывалъ, что дѣтямъ за какую-то шалость предлагали на выборъ два наказанія: чтеніе нравоучительныхъ сказокъ Бориса Михайловича, или розги, и что дѣти избрали послѣднее. *Каллимахъ дѣтскихъ книгъ*, Б. М. Ф(ѳ)едоровъ перенесъ эту и тысячи подобныхъ ей насмѣшекъ, съ терпѣніемъ, истинно-стоическимъ. Въ возмездіе за все, онъ только продолжалъ ревностно и неусыпно трудиться на своемъ блестящемъ поприщѣ и, вслѣдъ за осмѣянной книгой, выпускалъ другую, которая подвергалась не лучшей участи. Не было еще примѣра, чтобъ хоть одинъ журналъ, сколько-нибудь одаренный здравымъ смысломъ и уважающій своихъ читателей, похвалилъ хоть одну строку, написанную Б. М. Ф(ѳ)едоровымъ, а между тѣмъ Борисъ Михайловичъ донынѣ ревностно продолжаетъ писать! Не вѣритъ онъ, что для «сочинительства» недостаточно одной страсти марать бумагу, какъ бы ни была сильна эта страсть; не вѣритъ, что добродѣтель, торжествующая въ его описаніяхъ, ничего не выигрываетъ отъ его усилій; не вѣритъ, что дѣтскія книги его пошлы и безполезны, сатирическія иносказанія пошлы и никому не вредны, а торжественныя и другія стихотворенія наводятъ дремоту; даже крайне-плохая продажа книгъ, одно изъ очевидныхъ доказательствъ негодности литературнаго товара, не разувѣряетъ его въ достоинствѣ его сочиненій... Что жь тутъ дѣлать!..

Да, Б. М. Ф(ѳ)едоровъ, къ несчастію, не только не перестаетъ писать, но даже въ послѣднее время значительно расширилъ кругъ своей дѣятельности. Крайняя испорченность настоящаго поколѣнія взрослыхъ людей, совершенно не читающихъ сочиненій Бориса Михайловича, внушила ему мысль, что недостаточно заботиться объ исправленіи одного «юношества» тамъ, гдѣ всѣ члены общества заражены пороками. И онъ рѣшился... Продолжая поучать «юношество», онъ двадцать лѣтъ носилъ въ душѣ своей идею о возвращеніи на путь истинный всѣхъ и каждаго, и наконецъ издалъ книгу, въ которой филантропическая и глубоко-нравственная идея его является въ полномъ блескѣ. Эта книга—«Князь Курбскій»; она названа еще «историческимъ романомъ изъ событій XVI столѣтія»...

Здѣсь уже не дѣтямъ, но всему человѣчеству, безъ различія пола и воз-

раста, говоритъ Борисъ Михайловичъ,—съ чрезвычайными ошибками противъ грамматики, т. е. синтаксиса и умѣнья ставить знаки препинанія,—что добродѣтель полезна и, рано ли, поздно ли, будетъ торжествовать, а порокъ вреденъ и непремѣнно будетъ наказанъ. Вотъ собственныя слова Бориса Михайловича:

«Цѣль моего романа: (*двоеточіе!..*) показать, что никакія доблести, никакія заслуги не оградятъ отъ стыда и укоровъ; (*точка съ запятой!*) преступника предъ царемъ и отечествомъ; въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ, и казнится—въ собственной своей совѣсти».

Кто бы не узналъ, по однимъ этимъ строкамъ, почтеннѣйшаго Б. М. Ф(ѳ)едорова, еслибъ даже на романѣ не было его имени?.. *За преступленіями слѣдуютъ угрызенія совѣсти.* Глубокая, оригинальная истина! Вы, можетъ быть, скажете, что ее всѣ уже давно знаютъ безъ Б. М. Ф(ѳ)едорова; что не стоило писать четырехъ частей для доказательствъ того—

Въ чемъ всѣ увѣрены давно;

что идея, которую избралъ Борисъ Михайловичъ, тысячу разъ была уже развиваема въ букваряхъ и прописяхъ... Все такъ; но у Б. М. Ф(ѳ)едорова свои понятія о цѣляхъ, которыя должно избирать для сочиненія романовъ...

Предоставляя себѣ удовольствіе возвратиться, въ концѣ статьи, къ предисловію, изъ котораго мы заимствовали вышеприведенныя строки и въ которомъ еще осталось много подобныхъ имъ, взглянемъ теперь на самый романъ, написанный съ такою прекрасною цѣлью.

Дѣйствіе романа начинается во время войны русскихъ съ Ливоніею. «Россіяне», подъ предводительствомъ князя Курбскаго и другихъ славныхъ «мужей», празднуютъ за побѣдой побѣду. А въ Москвѣ, между-тѣмъ, царь Іоаннъ Васильевичъ производитъ судъ и расправу: Адашевъ, Сильвестръ и многіе бояре, по навѣтамъ клеветниковъ, обвинены въ колдовствѣ и въ изведеніи чародѣйнымъ зельемъ царицы Анастасіи, которая, на бѣду ихъ, около того времени умерла. Все это узнаемъ мы изъ разговоровъ бояръ, осаждающихъ ливонскіе города. Затѣмъ слѣдуетъ описаніе любви рыцаря Тонненберга къ дочери дерптскаго гражданина Риделя, Миннѣ. Ридель былъ богатъ, Минна прекрасна; удивительно ли, замѣчаетъ сочинитель, что Тонненбергъ старался ей понравиться? Между рыцарями, Минна никого не видала отважнѣе и прекраснѣе; удивительно ли, продолжаетъ тотъ же сочинитель, что онъ нравился ей?

«*Юность* его *красовалась* мужественнымъ *видомъ*, стройный станъ придавалъ ему величавость. Страстный взоръ часто безмолвный изъяснитель любви, и Минна, не понимая чувствъ своихъ, краснѣя застѣнчиво, опускала въ землю свои *прелестные глаза голубые*, встрѣчаясь съ краснорѣчи-

выми взорами рыцаря, *но* снова желала ихъ встрѣтить. *(Каково сказано?)* Топпенбергъ невинному сердцу льстилъ такъ пріятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось къ нему, *какъ цвѣтокъ, по разлукѣ съ солнцемъ тоскующій.* При Топпенбергѣ ей въ шумныхъ собраніяхъ рыцарей не было скучно, безъ него и на вечеринкахъ не было весело. Прежде Минна любила подразнить новымъ нарядомъ завистливыхъ ратсгерскихъ дочекъ, но когда привыкла видѣть Топпенберга, то лишь тотъ нарядъ ей казался красивѣе, которымъ онъ любовался и самое легкое блестящее ожерелье тяготило ее, когда рыцарь отлучался изъ Дерпта.

До такой-то степени новыми, оригинальными, грамматически-правильными фразами изображаетъ Б. М. Ф(О)едоровъ любовь героевъ своего «сочиненія». Но рука его еще не расходилась; посмотрите, что будетъ дальше. Въ Минну влюбленъ также дворянинъ Вирландъ, котораго сочинитель выдаетъ за величайшаго остряка и насмѣшника. Вотъ образчикъ остроумія Вирланда. Рѣчь идетъ о рыцарѣ Зейденталѣ, который со всѣмъ соглашается, по привычкѣ, какъ думаетъ Рпдель.

«Этого не скажу (замѣчаетъ острякъ). Онъ соглашается потому, что иначе бы долженъ молчать, а *молчать всю жизнь также трудно, какъ баронессѣ Крокитейнъ перестать говорить*».

Чертовски-остро!.. Вирландъ старается всѣми силами замарать Топпенберга въ глазахъ «почтеннаго родителя» Минны и, наконецъ, посредствомъ какого-то письма, успѣваетъ въ своемъ намѣреніи. Рпдель запретилъ Топпенбергу приходить къ нему въ домъ. Минна плачетъ, и въ одинъ прекрасный день пропадаетъ; въ то же самое время пропадаетъ и Вирландъ, котораго всѣ считаютъ похитителемъ Минны. Топпенбергъ является къ огорченному родителю и вторично получаетъ отъ него согласіе на бракъ съ Минной, если рыцарю удастся найдти ее. Слѣдуетъ глава восьмая: «Болѣзненный Одръ». «Жизнь человѣческая» говоритъ Борисъ Михайловичъ: «подобна дню, который то *проясняется*, то вдругъ становится сумрачнымъ». Адашевъ, *признанный достойнымъ смертной казни* и только по особенной милости разжалованный изъ воеводъ въ намѣстники выженнаго Феллина, захворалъ. «Глаза его не могли узнавать окружающихъ. Тоскуя, въ жару бросался онъ *изъ края въ край одра* своего; то вдругъ вскакивалъ, то опускался безъ чувствъ на *ложе*; лице его рдѣло, дыханіе ускорялось, уста засохли—и ничто не могло утолить жажды его». Онъ умеръ; *печать тлѣнія изобразилась на лицѣ прекрасномъ*. Курбскій, простившись съ покойникомъ, отправился въ Москву. При въѣздѣ, онъ встрѣтилъ похоронный поѣздъ: хоронили жену Адашева. Іоаннъ Васильевичъ, между тѣмъ, продолжалъ казнить адашевцевъ. Заступничество Курбскаго только усилило ярость царя; самъ Курбскій подпалъ его гнѣву. Въ возникшей вслѣдъ за тѣмъ войнѣ съ поляками, Курбскій оказалъ много мужества и предусмотрительности; но неудача подъ Новлемъ все испортила.

Чтобъ унизить Курбскаго, Іоаннъ послалъ ему повелѣніе быть намѣстникомъ Юрьева. Здѣсь негодующій Курбскій узналъ, что самой жизни его угрожаетъ опасность. Тогда онъ рѣшился бѣжать. Поручивъ рыцарю Топпенбергу проводить жену и сына въ Нарву, къ Головинымъ, Курбскій сталъ приготовляться въ путь. Слѣдуетъ чувствительная картина, которую можно вполнѣ передать только краснорѣчивыми словами самого сочинителя:

«Слезы лились изъ глазъ Курбскаго, преклонившагося къ землѣ. Вставъ, онъ въ послѣдній разъ прижалъ къ сердцу супругу и благословилъ сына. «Прости, Гликерія, прости Юрій»... сказалъ онъ, и возложивъ на сына родительскій крестъ, и закрывъ рукою глаза, вырвался изъ объятій ихъ.

Въ это время вошелъ Шибановъ извѣстить, что Топпенбергъ ждетъ Курбскій, пожавъ руку Топпенберга, сказалъ: береги ихъ, и когда будетъ можно, доставь мнѣ вѣсть о нихъ!..

Юрій вскрикнулъ. Княгиня упала безъ чувствъ. Супругъ скрылся отъ ней... Вдали еще слышался шумъ шаговъ его—слышался голосъ его—и навѣки замолкъ для ней.

Она опомнилась... Болѣзненное чувство въ лицѣ ея было столь сильно, что Юрій отъ испуга упалъ къ ногамъ ея, и обливая руки ея слезами, говорилъ: матушка, не умираешь ли ты?»...

Топпенбергъ влюбился въ жену Курбскаго и, вмѣсто того, чтобъ везти въ Нарву, привезъ ее въ свой замокъ, окруженный подъемными мостами. Тутъ онъ открылъ ей любовь свою. «Злодѣй!» отвѣчала ему княгиня, со всѣмъ достоинствомъ оскорбленной добродѣтели: «ты забываешь, что говоришь съ женою князя Курбскаго, ты можешь держать меня въ неволѣ, даже лишить жизни, но кромѣ презрѣнія ничего не увидишь *въ глазахъ моихъ*». Ночью княгиня подслушала разговоръ Топпенберга съ его приближенными, и узнала, что онъ, дѣйствительно, ужасный злодѣй. Богъ знаетъ, чѣмъ бы кончились наступательныя дѣйствія Топпенберга, еслибъ сама судьба не поспѣшила на выручку добродѣтели злополучной княгини: Топпенбергъ, возвращаясь однажды съ добычи, былъ застигнутъ наводненіемъ и утонулъ. Всѣ жертвы, томившіяся въ замкѣ, получили свободу. Между ними княгиня узнала Вирланда и Минну, которую, какъ теперь оказалось, похитилъ Топпенбергъ, вмѣстѣ съ остроумнымъ ея обожателемъ. Княгиня рѣшилась идти въ Нарву, но на дорогѣ заблудилась и попала въ хижину къ рыжему эстонцу, который сначала хотѣлъ ее убить, а потомъ сжалился и предложилъ ей у себя пріютъ. Она жила у Эстонца нѣсколько лѣтъ. Эстонецъ имѣлъ обыкновеніе отправляться за дровами съ ея сыномъ; въ одну изъ такихъ поѣздокъ, Эстонца съѣли волки, а Юрій, по уши завязшій въ снѣгу, былъ вытащенъ проѣзжимъ купцомъ и взятъ имъ на воспитаніе.

«*Синѣли* сумерки; яркая вечерняя звѣзда блеснула на темной лазури неба; новый снѣгъ замелъ слѣды проѣзжихъ, но кто въ сіе время обѣгаетъ вкругъ уединенной хижины? Чьи призыванія раздаются въ лѣсу безъ отвѣта?—Это мать, зовущая напрасно сына; это княгиня Курбская, кличущая Юрія. Она озирается во всѣ стороны; она ждетъ... но темнота простерлась по небу, скрывая отъ глазъ ея окружающіе предметы; сердце ея трепещетъ... она рыдаетъ, простираетъ руку въ отчаяніи, не зная, какой жребій постигъ ея сына...»

Оплакавъ краснорѣчиво, хоть и безграмотно, потерю сына, княгиня отправилась въ Нарву. Для чего она не сдѣлала того прежде? спрòсите вы. Богъ ее знаетъ! ужь видно такова была у нея натура! Между-тѣмъ, Курбскій явился при дворѣ Сигизмунда и былъ принятъ чрезвычайно ласково. Король нарекъ его княземъ ковельскимъ, осыпалъ богатствомъ и почестями и поставилъ наряду съ первѣйшими своими вельможами. Но ничто не радуетъ измѣнника; ему тяжело на чужой землѣ; *въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ и—казнится въ собственной совѣсти*... Замѣчаете: цѣль романа видимо достигается!.. Участіе, которое принималъ Курбскій въ непріязненныхъ дѣйствіяхъ Сигизмунда и потомъ Стефана Баторія противъ Россіи, еще болѣе увеличило его терзанія; бракъ съ графинею Дубровицкою совсѣмъ не имѣлъ тѣхъ послѣдствій, какихъ ожидалъ Курбскій: графиня оказалась вѣтреною, пустою и капризною женщиною. Курбскій развелся съ женою, и въ ковельскомъ замкѣ своемъ, отъ нечего дѣлать, принялся наблюдать за полетомъ птицъ, сопровождая свои наблюденія чувствительными тирадами, въ родѣ слѣдующей:

«Онѣ (птицы) летятъ туда, гдѣ странствуетъ Гликерія (прежняя жена Курбскаго) съ сыномъ моимъ. Можетъ быть онѣ пролетали передъ ними, а я еще не скоро увижу родныхъ! Для чего я не могу увидѣть оставленныхъ мною? Не могу уже подать имъ помощи, и облегчить жребій ихъ, мнѣ самому безвѣстный! Летите птицы, вы возвратитесь въ прежній пріютъ свой, а я бѣжалъ изъ отечества!»

Такъ, именно такъ долженъ былъ думать и говорить Курбскій. Б. М. Ф(θ)едоровъ, такъ мастерски-представившій его въ важнѣйшихъ случаяхъ жизни резонёромъ и селадоннымъ вздыхателемъ, а въ остальныхъ негодяемъ и глупцомъ,—правъ какъ-нельзя-болѣе. Да и можетъ ли ошибаться такой опытный и стародавній сочинитель?..

Но далѣе. Княгиня Курбская, узнавъ о вторичномъ бракѣ своего невѣрнаго супруга, сперва, какъ водится, упала въ обморокъ, а потомъ уѣхала въ Тихвинскую Обитель и тамъ постриглась. Туда же прибыла прежняя воспитанница княгини, четвертая жена Іоанна Васильевича, Анна Колтовская. *Пріятность вида кроткой Анны*, говоритъ Б. М. Ф(θ)едоровъ, *возбуждала общее удивленіе*. Игуменья повела ее по кельямъ; въ

одной изъ монахинь царица узнала прежнюю свою воспитательницу—княгиню Курбскую.

— Неисповѣдимы судьбы Господни!—воскликнула княгиня,—*всплеснувъ руками.*—Царица приходитъ ко мнѣ, и я въ ней вижу свою питомицу! Богъ возвеличилъ твое смиреніе и утѣшилъ меня твоимъ присутствіемъ!

— Велика ко мнѣ милость его!—воскликнула Анна,—когда я еще вижу тебя. Здѣсь отрада душѣ моей! Здѣсь въ благоговѣйныхъ молитвахъ прославляется имя Господне!»

Когда царица прибыла въ Тихвинскую Обитель, княгиня Курбская была уже на краю гроба. День-ото-дня становилось ей хуже. Послали за исповѣдникомъ. «Пришелъ почтенный старецъ въ сопровожденіи юнаго черноризца, его послушника». Молодой инокъ не сводилъ глазъ съ княгини.

«И она взглянула на него; до того времени не обращала она вниманія на окружающихъ ее, предавшись благоговѣйному чувству; но тутъ она *быстро, быстро* устремила взоръ на него, приподнялась качая головою; сердце ея сказалось ей воскресшею надеждою; всѣ черты ея сына представились ей въ лицѣ инока, и она простерла къ нему дрожащія руки. «Сынъ мой, Юрій!» *исторглось* изъ устъ ея.

— Родная!—сказалъ инокъ,—преклонясь до земли.

— Ты сынъ мой! Юрій!.. Спаситель мнѣ возвращаетъ тебя!

И она съ трудомъ дышала; лице ея измѣнилось отъ сильнаго движенія души, она опустилась на одръ, и нѣсколько времени лежала безмолвно; но прежнее спокойствіе вскорѣ появилось на лицѣ ея; радость чистая, небесная оживила черты.

Всѣ присутствовавшіе были поражены симъ неожиданнымъ случаемъ; многіе не понимали судьбы, разлучавшей мать и сына, и соединившей ихъ въ стѣнахъ тихвинской обители (?..).

— *Прошу, да скроется въ стѣнахъ сихъ тайна возвращенія сына моего!* сказала княгиня, обращаясь къ окружающимъ: — умоляю васъ священными тайнами Божественныхъ даровъ; отъ *сего* зависитъ спасеніе жизни *его*».

Въ заключеніе, княгиня взяла съ Юрія обѣщаніе отправиться къ отцу, и умерла. «О, *родительница!*» воскликнулъ Юрій, и упалъ безъ чувствъ на трупъ ея. Князь Курбскій продолжалъ слѣдить, въ своемъ ковельскомъ за́мкѣ, за полетомъ птицъ и по-прежнему говорилъ къ нимъ чувствительныя тирады, когда ему доложили о русскомъ странникѣ, который желаетъ съ нимъ увидѣться. Вошелъ Юрій. Курбскій не узналъ сына, и тотъ не счелъ нужнымъ открыться. Болѣе года жилъ онъ въ за́мкѣ отца подъ именемъ инока, разсуждая съ нимъ о любезномъ ихъ сердцу отечествѣ.

«Въ сихъ разговорахъ непримѣтно проходило время. Курбскій (,) *предаваясь стремленію мыслей,* забывалъ свою скорбь, и удивляться ли, что Юліанъ слушалъ его съ восторгомъ. *Ему пріятно было питать дѣятельность размышленій его отца, чтобы только успокоить болѣзненное чувство его души*».

Наконецъ ему наскучило такое прекрасное занятіе, и онъ однажды сказать отцу, что, можетъ-быть, сынъ его живъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Курбскій, онъ погибъ съ моею Гликеріею; вѣрный слуга мой не нашелъ слѣдовъ ихъ; были и другіе слухи, но не оправдались. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что они *(служи?)* погибли; я увѣрился въ смерти ихъ (?).

«Сынъ твой живъ!»—*вскричалъ* Юліанъ, не удерживая болѣе порыва сердечнаго.

— Что говоришь ты? гдѣ онъ?—спросилъ приведенный въ изумленіе Курбскій.

У ногъ твоихъ!»—воскликнулъ Юліанъ,—бросаясь передъ нимъ на колѣна.

— Боже, возможно ль?.. ты ли сказалъ?..

«Ужели ты не узнаешь меня, *злополучный родитель?*»

Слѣдуютъ обниманія, цалованія и разсматриваніе какого то рубца, по которому выходитъ, какъ дважды-два, что Юрій дѣйствительно сынъ Курбскаго. Радуются; потомъ снова плачутъ. Чтобъ искупить грѣхи «злополучнаго родителя», Юрій рѣшается на великую жертву: онъ становится въ ряды русскихъ воиновъ, дерется съ поляками и погибаетъ. Вскорѣ послѣ того въ Польшу приходитъ вѣсть о кончинѣ Іоанна Васильевича, а вслѣдъ за тѣмъ умираетъ Стефанъ Баторій. Курбскій, забывъ свои немощи, спѣшитъ въ Гродно поклониться царственному праху своего покровителя. На дорогѣ онъ останавливается въ корчмѣ и здѣсь встрѣчается съ призракомъ, явленіе котораго Борисъ Михайловичъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ:

«Курбскій лежалъ на одрѣ, но тревоженъ былъ сонъ его, и глаза по временамъ открывались въ смутной дремотѣ. Внезапно слышитъ онъ шумъ... слышитъ, какъ хлопнуло окно при сильномъ порывѣ вѣтра... и въ сію минуту кто-то появился. Курбскій не вѣритъ глазамъ своимъ: при свѣтѣ лампады, онъ видитъ самого Грознаго, въ черной одеждѣ инока; его волнистая *брада,* его посохъ острокопечный.

Курбскій содрогнулся.—Что тебѣ?—вскричалъ онъ, торопливо поднявшись съ одра, и устремивъ взоръ на страшное видѣніе.

— Я пришелъ за тобою,—сказалъ гробовымъ голосомъ призракъ, остановивъ на немъ впалые, неподвижные глаза, и стуча жезломъ, приближался къ одру князя.

— Отступи!—воскликнулъ князь въ ужасномъ волненіи духа, отражая призракъ знаменіемъ креста.

Привидѣніе уже стояло у одра его и подняло острокопечный жезлъ».

За этою, чисто-шекспировскою сценою, слѣдуетъ вожделѣнный конецъ. Слава Богу!

Изъ всѣхъ прелестей, которыхъ можно насчитать въ этомъ романѣ покрайней-мѣрѣ до тысячи, насъ особенно поразило слѣдующее обстоятельство. На всѣхъ почти дѣйствіяхъ героевъ и героинь Б. М. Ф(ѳ)едорова лежитъ

печать какой-то глупости и тупоумія, какъ-будто необходимыхъ спутниковъ дѣлъ того времени. Этотъ странный колоритъ сообщенъ даже нѣкоторымъ событіямъ чисто-историческимъ, нисколько-непринадлежащимъ изобрѣтательности Бориса Михайловича. Отъ-чего это? Вѣроятно, это сдѣлалось невольно, безсознательно... Царь Іоаннъ Васильевичъ, остающійся донынѣ нерѣшенною загадкою русской исторіи, обладавшій умомъ великимъ, плодомъ котораго было столько славныхъ дѣлъ,—окруженный въ самыхъ порокахъ и преступленіяхъ своихъ какимъ-то грознымъ, неприступнымъ величіемъ, — этотъ Іоаннъ Васильевичъ совершенно неразгаданъ [124—a]) въ романѣ Б. М. Ф(О)едорова. Борисъ Михайловичъ представилъ его бездушнымъ тираномъ, злодѣйствующимъ по внушенію глупыхъ и неискусно-сплетенныхъ клеветъ. Такъ искажаются въ рукахъ бездарности самые очевидные историческіе факты!.. Князь Курбскій, какъ мы уже сказали, низведенъ до степени недальновиднаго и пошло-чувствительнаго резонёра, и, обреченный «казниться въ собственной своей совѣсти», вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать, безпрестанно толкуетъ о добродѣтели и о помраченныхъ измѣною заслугахъ своихъ, которыхъ, впрочемъ, изъ романа нисколько не видно.—Смѣшно вспомнить, какъ изображенъ у г. Ф(О)едорова дворъ Сигизмунда, графиня Дубровицкая, *почтеннѣйшій* Радзивилъ и другіе польскіе магнаты! Это—верхъ совершенства... Но стоитъ ли говорить о такихъ мелочахъ? Какъ будто можно было ожидать отъ почтеннѣйшаго Б. М. Ф(О)едорова болѣе того, что онъ далъ намъ? Борисъ Михайловичъ сдѣлалъ свое дѣло; онъ представилъ намъ въ своемъ романѣ нѣсколько умилительно-трогательныхъ встрѣчъ и прощаній нѣжныхъ чадъ съ дражайшими родителями, мужей съ женами, сестеръ съ братьями, вывелъ на сцену юродиваго, безъ котораго ни одинъ плохой историческій русскій романъ обойтись не можетъ; наградилъ добродѣтель, наказалъ порокъ,—а до исторической вѣрности характеровъ, до колорита мѣста и времени и до всего прочаго, что требуется отъ историческаго романа, ему нѣтъ и дѣла. Было бы доказано, что злодѣй въ самой славѣ не можетъ быть счастливъ и казнится въ собственной совѣсти; все же прочее—вздоръ!..

Изъ выписокъ, приведенныхъ выше, читатели, между прочимъ, вѣроятно, замѣтили, что романъ Б. М. Ф(О)едорова написанъ плавнымъ, высокоторжественнымъ слогомъ, какимъ нынѣшнее развратное человѣчество ужь не пишетъ. Что прикажете дѣлать? Въ наше время, когда нѣкоторые дерзкіе люди осмѣливаются говорить, что будто и литература и языкъ русскій значительно шагнули впередъ, Б. М. Ф(О)едоровъ все еще придерживается старины, и округляетъ свои періоды по методѣ «карамзинской рѣчи», не обращая вниманія на то, что самъ Карамзинъ, послѣ прозы Пушкина, не сталъ бы писать такъ, какъ писалъ въ свое время. Эта метода, какъ всякому извѣстно, заключается въ употребленіи разнаго рода риторическихъ фигуръ и въ особенномъ расположеніи словъ, по которому причастія и при-

лагательныя имена ставятся весьма часто послѣ существительныхъ. Вотъ образчики ея у Б. М. Ф(ѳ)едорова: «Взирая на старца, плачущаго о злополучномъ отечествѣ, плакали и воеводы *московскіе*».—«Тонненбергъ невинному сердцу льстилъ такъ пріятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось къ нему, какъ цвѣтокъ, по разлукѣ съ солнцемъ *тоскующій*».—«Ѳиміамъ лести пріятенъ только тогда, когда слегка и нечаянно доходитъ до насъ, какъ вѣтерокъ, съ цвѣтковъ *долетающій*».—«Тогда-то дни и ночи несчастная проводила въ молитвѣ, чтобъ умилостивить небо за супруга *виновнаго*».—«Печать тлѣнія изобразилась на лицѣ *прекрасномъ*»... и т. д.

При всемъ нашемъ уваженіи къ почтеннѣйшему Б. М. Ф(ѳ)едорову, мы,—не имѣя обыкновенія занимать читателей вздоромъ, какъ бы онъ ни былъ забавенъ—ни за что не распространились бы такъ о «Князѣ Курбскомъ», еслибъ въ предисловіи къ этому роману не было строкъ, весьма-замѣчательныхъ:

«Многіе знаменитые литераторы и любители словесности одобряли трудъ мой, *въ которомъ видѣли начатки русскаго историческаго романа*» (?!??..).

Вотъ куда метнулъ почтеннѣйшій Борисъ Михайловичъ! Начатки русскаго историческаго романа—шутка!.. И въ чемъ же эти начатки?.. Въ невѣрномъ и пошломъ до невѣроятности пересказѣ нѣкоторыхъ историческихъ событій, съ примѣсью пустяковъ собственнаго издѣлія сочинителя! Любопытно было бы услышать *отъ самыхъ* знаменитыхъ литераторовъ и любителей словесности, какъ и съ какою миною отзывались они о романѣ почтеннѣйшаго Бориса Михайловича?.. Не желая, чтобъ «скромное» предисловіе сочинителя ввело кого-нибудь въ заблужденіе, мы сочли долгомъ показать читателямъ «сочиненіе», въ которомъ «многіе видѣли начатки русскаго историческаго романа»,—въ полномъ и настоящемъ его блескѣ, и съ своей стороны повторяемъ, что не видѣли въ романѣ Б. М. Ф(ѳ)едорова ничего, кромѣ въ высшей степени неудачнаго порожденія невѣроятныхъ, но, увы, безполезныхъ усилій безталантности...

Сочинитель, какъ видно, страстно влюбленный въ свое хворое дѣтище, не ограничился въ предисловіи тѣмъ, что мы выписали. Съ чувствомъ разсказываетъ онъ, какъ двадцать слишкомъ лѣтъ сочинялъ «Курбскаго» и какія препятствія, соединенныя съ воспоминаніемъ горестныхъ для сочинителя потерь, замедляли появленіе романа, въ которомъ, какъ говоритъ онъ, принимали участіе (?) многіе любезные сердцу сочинителя особы. «Князь Курбскій *взялъ* такую *долю* въ моей жизни» заключаетъ Б. М. Ф(ѳ)едоровъ: «что я долженъ бы написать повѣсть о моемъ романѣ. Многіе *ожидали* его появленія, но мысль о тѣхъ изъ нихъ, которыхъ уже нѣтъ, нѣсколько разъ останавливала надолго мой трудъ; безъ нихъ тяжело мнѣ было оканчивать историческую картину, которая была предметомъ ихъ вниманія, участія, заботливости!» Покойники видно, въ-самомъ-дѣлѣ, были добрые

люди, и нѣтъ ничего страннаго, что Борисъ Михайловичъ такъ горько о нихъ сокрушается: онъ потерялъ въ нихъ, можетъ быть, единственныхъ своихъ читателей!

«Сочиненіе» испещрено эпиграфами, которые, вмѣстѣ взятые, представляютъ живое подобіе такъ-называемыхъ «россійскихъ пѣсенниковъ»,—гдѣ рядомъ съ стихами Пушкина безграмотные издатели помѣщаютъ нелѣпые вирши разныхъ темныхъ стихоплетовъ. Напечатано оно на сѣроватой бумагѣ, съ чрезвычайными ошибками, и посвящено памяти княгини Юсуповой, Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова, *«благотворившихъ сочинителю»*. Словомъ, въ романѣ соблюдены всѣ, какъ внѣшнія, такъ и внутреннія условія, требуемыя отъ книги публикою, которая запасается умственною пищею отъ брадатыхъ букинистовъ, разносящихъ по лицу Россіи творенія, не принимаемыя въ порядочныхъ книжныхъ лавкахъ.

*734. **Мысли Паскаля.** *Переведъ съ французскаго* **Иванъ Бутовскій.** *Санктпетербургъ. Въ тип. И. Бочарова. 1843. Въ 12-ю д. л. 299 стр.* [125])

Паскаль занимаетъ важное мѣсто въ лѣтописяхъ наукъ и литературы Европы. Это одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей XVII вѣка. Заслуги его въ области математики чрезвычайно-велики. Но Паскаль знаменитъ еще и какъ мыслитель, дѣйствовавшій полемически. Онъ три года сражался съ іезуитами, и нанесъ имъ страшный вредъ своими «Провинціальными Письмами». Это была злая сатира вродѣ эразмовой «Epistola obscurorum virorum». Дѣйствіе, произведенное ею, было такъ велико, что, по опредѣленію папы, она была во Франціи всенародно сожжена рукою палача, въ 1660 году. Страдая разными недугами, Паскаль, уже въ преклонныхъ лѣтахъ, набросалъ, на разныхъ клочкахъ бумаги, отрывочныя мысли о разныхъ предметахъ. Въ этихъ отрывкахъ много глубокомыслія, и въ свое время ихъ дѣйствіе должно было быть велико. Теперь эти «Мысли» интересны, какъ историческій памятникъ. Чтобъ дать понятіе о характерѣ ихъ, выписываемъ нѣкоторыя:

«Отчего слѣдуютъ большинству мнѣній? Оттого ли, что въ немъ больше справедливости? Нѣтъ!—здѣсь увлекаетъ только сила. Почему слѣдуютъ у насъ старинамъ законамъ и мнѣніямъ? не потому ли, что въ нихъ больше здраваго смысла? Совсѣмъ не то!—Кромѣ ихъ нѣтъ другихъ, а по этому и не съ кѣмъ разногласить».

«Власть, основанная на мнѣніи и воображеніи, держится нѣкоторое время: это власть кроткая и добровольная; но власть силы всегда беретъ верхъ. Поэтому мнѣніе есть владыка міра, а сила тиранъ его.

«Какъ хорошо придумано, отличать людей больше по наружности, чѣмъ по внутреннимъ качествамъ! Кому изъ насъ двоихъ идти впередъ? кто кому уступитъ дорогу? непроворный? Но и я самъ такъ же, какъ онъ, проворенъ. И такъ, пожалуй, дѣло дойдетъ до драки. У него четыре лакея; у меня одинъ: это очевидно, стоитъ только перечесть. Такъ долженъ я уступить дорогу; и очень глупо было бы спорить. Вотъ мы и поладили такимъ образомъ: и это одно изъ величайшихъ благъ!

— — —

«Могущество сильныхъ весьма много основывается на слабости и непросвѣщеніи толпы. . . . . .

«Наши сановники очень хорошо постигли эту тайну. Ихъ красныя мантіи, ихъ соболья шубы, чертоги, гдѣ даютъ расправу, лиліи, все это наружное величіе было необходимо: и еслибъ врачи не носили полукафтаній и туфель, а законники четыреугольныхъ шапокъ и широкихъ мантій, никогда не обманывали бы они свѣтъ *(а)*, который не можетъ противиться признакамъ столь достовѣрнымъ. Одни военные не старались такъ выставлять себя; ихъ доля дѣйствительно самая существенная. . . . . .

«Если бъ судьи имѣли въ виду истинное правосудіе, врачи—истинное искусство исцѣлять недуги, то не для чего бы имѣть имъ и большія шапки. Величіе самыхъ наукъ довольно вселяло бы къ себѣ уваженія и безъ нихъ. Но, обладая только мечтательными знаніями, имъ необходимо прибѣгать *(галлицизмъ!)* къ этимъ пустымъ прикрасамъ, поражающимъ воображеніе, съ которымъ имѣютъ они дѣло, и дѣйствительно, черезъ нихъ-то они и снискиваютъ уваженіе».

«Мы не можемъ видѣть стрянчаго, въ его полукафтаньѣ и съ огромной шапкой на головѣ, безъ выгоднаго мнѣнія о его способностяхъ.

«Швейцарцы оскорбляются, когда ихъ принимаютъ за знатныхъ, и доказываютъ свое родовое мѣщанство, чтобъ ихъ сочли достойными занимать важныя должности».

—

«Для управленія кораблемъ, не избираютъ того изъ путешественниковъ который происхожденія знатнѣйшаго. (Стр. 179—182).

«Нарядная одежда не бездѣлица; это выставка, что много людей на васъ работаютъ; прическа показываетъ, что у васъ есть камердинеръ, парикмахеръ и пр.; бѣлье, что у васъ есть швеи, прачки и пр.

«А это уже не просто выставка и не просто нарядъ, имѣть множество рукъ къ своимъ услугамъ (?)».

———

«Удивительно: не хотятъ, чтобы я уважалъ человѣка за то, что одѣтъ въ парчу и за нимъ идутъ семь или восемь лакеевъ! Да онъ велитъ прибить меня, если не отдамъ ему почтенія. Эта одежда—сила; совсѣмъ иное отношеніе богато-убраннаго коня къ другой лошади.

«Монтань очень забавенъ, когда, не видя въ этомъ разницы, удивляется, что другіе ее находятъ, и спрашиваетъ, какая причина» (Стр. 185—186).

— — —

«Великое преимущество *знатности!* она съ восемнадцати или двадцати лѣтъ доставляетъ человѣку извѣстность и уваженіе, которыхъ другой едва

добьется въ пятьдесятъ лѣтъ; тутъ тридцать лѣтъ выигрывается безъ всякаго труда». (Стр. 187).

«У насъ есть всѣ хорошія правила: имъ нѣтъ только приложенія. Напримѣръ, никто не сомнѣвается, что жизнью должно жертвовать для защиты общей пользы: но теперь рѣдко кто приноситъ эту жертву *религіи*. Неравенство необходимо между людьми; но, допустивъ его, вы открыли путь къ злоупотребленію. Нужно дать немного воли уму, и вотъ случай къ величайшей его необузданности. Всему свой предѣлъ. Вещи сами по себѣ не имѣютъ границъ: законы хотятъ положить ихъ, а разумъ противится».

«Разумъ повелѣваетъ нами сильнѣе всякой власти. Не покоряясь власти, дѣлаемся несчастными, а, не повинуясь разуму, дѣлаемся глупцами». (Стр. 291—292).

«Смѣяться надъ философіею значитъ философствовать». (Стр. 254).

Переводчикъ заслуживаетъ полную благодарность за переводъ дѣльной книги; но намъ кажется, что еслибъ онъ вмѣстѣ съ «Мыслями» перевелъ и другія чисто-литературныя произведенія Паскаля, — это было бы еще лучше.

***735. Исторія Государства Россійскаго,** *сочиненіе* **Н. М. Карамзина.** *Изданіе пятое въ трехъ книгахъ (,) заключающихъ въ себѣ двѣнадцать томовъ, съ полными примѣчаніями, украшенное портретомъ автора, гравированнымъ на сталѣ въ Лондонѣ. Изданіе И. Эдуарда. Книга III. (Томы IX, X, XI и XII). Санктпетербургъ. Въ тип. Эдуарда Праца. 1843. Въ 8-ю д. л., въ двѣ колонны, 280, 166, 184, 200, 183, 86, 84, 147 и XLVII стр.*

Карамзинъ воздвигнулъ своему имени прочный памятникъ «Исторіею государства Россійскаго», хотя и успѣлъ довести ее только до избранія на царство дома Романовыхъ. Какъ всякій важный подвигъ ума и дѣятельности, историческій трудъ Карамзина пріобрѣлъ себѣ и безусловныхъ, восторженныхъ хвалителей, и безусловныхъ порицателей. Разумѣется, тѣ и другіе равно далеки отъ истины, которая въ серединѣ. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личныхъ пристрастій, судитъ ближе къ истинѣ. Главная заслуга Карамзина, какъ историка Россіи, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что онъ написалъ полную исторію Россіи, а въ томъ, что онъ создалъ *возможность въ будущемъ* истинной исторіи Россіи. Были и до Карамзина опыты написать исторію, но тѣмъ не менѣе для Русскихъ исторія ихъ отечества оставалась тайною, о которой такъ или иначе толковали одни ученые и литераторы. Карамзинъ открылъ цѣлому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имѣетъ исторію, и что

исторія его отечества должна быть для него интересна, и знаніе ея не только полезно, но и необходимо. Подвигъ великій! И Карамзинъ совершилъ его не столько въ качествѣ историческаго, сколько въ качествѣ превосходнаго бельлетрическаго таланта. Въ его живомъ и искуспомъ *литературномъ* разсказѣ вся Русь прочла исторію своего отечества и въ первый разъ получила о ней понятіе. Съ той только минуты сдѣлались возможными и изученіе русской исторіи и ученая разработка ея матеріаловъ: ибо только съ той минуты русская исторія сдѣлалась живымъ и всеобщимъ интересомъ. Повторяемъ: великое это дѣло совершилъ Карамзинъ преимущественно своимъ превосходнымъ бельлетрическимъ талантомъ. Карамзинъ вполнѣ обладалъ рѣдкою въ его время способностію говорить съ обществомъ языкомъ общества, а не книги. Бывшіе до него историки Россіи не были извѣстны Россіи, потому-что прочесть ихъ исторію могло только одно испытанное школьное терпѣніе. Они были плохи, но ихъ не бранили. Исторія Карамзина, напротивъ, возбудила противъ себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно-историческую или фактическую часть труда Карамзина. Большая часть указаній критиковъ дѣльна и справедлива; но укоризненный тонъ ихъ дѣлаетъ вреда больше самимъ критикамъ, нежели Карамзину. Трудъ его должно разсматривать не безусловно, а принимая въ соображеніе разныя временныя обстоятельства. Карамзинъ, воздвигая зданіе своей исторіи, былъ не только зодчимъ, но и каменьщикомъ, подобно Аристотелю-Фіоравенти, который, воздвигая въ Москвѣ Успенскій-Соборъ, въ то же время училъ чернорабочихъ обжигать кирпичи и растворять известь. И потому фактическія ошибки въ исторіи Карамзина должно замѣчать для пользы русской исторіи, а обвинять его за нихъ не должно. Гораздо-важнѣе разборъ его понятій объ исторіи вообще и взглядъ его на исторію Россіи въ частности, равно какъ и манера его повѣствовать. Но и здѣсь должно брать въ соображеніе временныя обстоятельства: Карамзинъ смотрѣлъ на исторію въ духѣ своего времени—какъ на поэму, писанную прозою. Занявъ у писателей XVIII вѣка ихъ литературную манеру изложенія, онъ былъ чуждъ ихъ критическаго, отрицающаго направленія. Поэтому онъ сомнѣвался, какъ историкъ, только въ достовѣрности нѣкоторыхъ фактовъ; но нисколько не сомнѣвался въ томъ, что Русь была государствомъ еще при Рюрикѣ, что Новгородъ былъ республикою, на манеръ карѳагенской, и что съ Іоанна III-го Россія является государствомъ, столь органическимъ и исполненнымъ самобытнаго, богатаго внутренняго содержанія, что реформа Петра-Великаго скорѣе кажется возбуждающею соболѣзнованіе, чѣмъ восторгъ, удивленіе и благодарность. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій, Карамзинъ ставитъ въ вину Сумарокову, что тотъ въ трагедіяхъ, «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ сообразать свойства, дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». И что же? такой же упрекъ можно сдѣлать самому Карамзину: герои его исторіи отчасти напо-

минаютъ собою героевъ трагедій Корнеля и Расина. Переводя ихъ рѣчи, сохранившіяся въ лѣтописяхъ, онъ лишаетъ ихъ грубой, но часто поэтической простоты, придаетъ имъ характеръ какой-то витіеватости, реторической плавности, симметріи и заботливой стилистической отдѣлки, такъ-что эти рѣчи, въ его переводѣ, являются похожими на переводъ рѣчей римскихъ полководцевъ изъ исторіи Тита Ливія. Сличите отрывки въ подлинникѣ изъ писемъ Курбскаго къ Іоанну-Грозному съ карамзинскимъ переводомъ ихъ (въ текстѣ и примѣчаніяхъ), и вы убѣдитесь, что, переводя ихъ, Карамзинъ сохранялъ ихъ смыслъ, но характеръ и колоритъ давалъ совсѣмъ-другой. Историческая повѣсть Карамзина «Марѳа Посадница» можетъ служить живымъ свидѣтельствомъ его историческаго созерцанія: герои ея—герофлоріановскихъ поэмъ, и они выражаются обработаннымъ языкомъ витіеватаго историка римскаго—Тита Ливія. Русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ словъ. Вотъ, напр., рѣчь боярина московскаго на новгородскомъ вѣчѣ:

«Граждане новогородскіе! князь московскій и всея Россіи говоритъ съ вами—внимайте!

«Народы дикіе любятъ независимость, народы мудрые любятъ порядокъ: а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собою и были жертвою лютыхъ сосѣдовъ и еще лютѣйшихъ внутреннихъ междоусобій. Старецъ добродѣтельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклиналъ ихъ избрать владѣтеля. Они повѣрили ему: ибо человѣкъ при дверяхъ гроба можетъ говорить только истину.

«Граждане новогородскіе! въ стѣнахъ вашихъ родилось, утвердилось, прославилось самодержавіе земли русской. Здѣсь великодушный Рюрикъ творилъ судъ и правду; на семъ мѣстѣ древніе Новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирилъ внутренніе раздоры, успокоилъ и возвеличилъ городъ ихъ. На семъ мѣстѣ они проклинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единаго. Прежде ужасные только для самихъ себя и несчастные въ глазахъ сосѣдовъ, Новогородцы подъ державною рукою варяжскаго героя сдѣлались ужасомъ и завистію другихъ народовъ; и когда Олегъ храбрый двинулся съ воинствомъ къ предѣламъ юга, всѣ племена славянскія покорились ему съ радостію, и предки ваши, товарищи его славы, едва вѣрили своему величію.

«Олегъ, слѣдуя за теченіемъ Днѣпра, возлюбилъ красные берега его, и въ благословенной странѣ кіевской основалъ столицу своего обширнаго государства: но великій Новгородъ былъ всегда десницею князей великихъ, когда они славили дѣлами имя русское. Олегъ подъ щитомъ Новогородцевъ прибилъ щитъ свой къ вратамъ цареградскимъ. Святославъ съ дружиною новогородскою разсѣялъ какъ прахъ воинство Цимисхія, и внукъ Ольгинъ вашими предками былъ прозванъ *Владѣтелемъ міра*.

«Граждане новогородскіе! не только воинскою славою обязаны вы государямъ русскимъ: естьли глаза мои, обращаясь на всѣ концы вашего града, видятъ повсюду златые кресты великолѣпныхъ храмовъ святой вѣры; если шумъ Волхова напоминаетъ вамъ тотъ великій день, въ который знаки идолослуженія погибли съ шумомъ въ быстрыхъ волнахъ его: то вспомнить, что Владиміръ соорудилъ здѣсь первый храмъ истинному Богу; Владиміръ

низвергъ Перуна въ пучину Волхова!.. Естьли жизнь и собственность священны въ Новѣгородѣ, то скажите, чья рука оградила ихъ безопаспостію?.. Здѣсь»—(указывая на домъ Ярослава)—«здѣсь жилъ мудрый законодатель, благотворитель вашихъ предковъ, князь великодушный, другъ ихъ, котораго называли они вторымъ Рюрикомъ!.. Потомство неблагодарное! внимай справедливымъ укоризнамъ!

«Новогородцы, бывъ всегда старшими сынами Россіи, вдругъ отдѣлились отъ братій своихъ; бывъ вѣрными подданными князей, нынѣ смѣются надъ ихъ властію... и въ какія времена? О стыдъ имени русскаго! Родство и дружба познаются въ напастяхъ: любовь къ отечеству также... Богъ въ непсповѣдимомъ совѣтѣ Своемъ положилъ наказать землю русскую. Явились варвары безчисленные, пришельцы отъ странъ никому неизвѣстныхъ, подобно симъ тучамъ насѣкомыхъ, которыя Небо во гнѣвѣ своемъ гонитъ бурею на жатву грѣшника. Храбрые Славяне, изумленные ихъ явленіемъ, сражаются и гибнутъ; земля русская обагряется кровію Русскихъ; города и села пылаютъ; гремятъ цѣпи на дѣвахъ и старцахъ... Что жь дѣлаютъ Новогородцы? Спѣшатъ ли на помощь къ братьямъ своимъ?.. Нѣтъ! пользуясь своимъ удаленіемъ отъ мѣстъ кровопролитія, пользуясь общимъ бѣдствіемъ князей, отнимаютъ у нихъ власть законную, держатъ ихъ въ стѣнахъ своихъ, какъ въ темницѣ, изгоняютъ, призываютъ другихъ и снова изгоняютъ. Государи новогородскіе, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадниковъ и трепетать *вѣчеваго колокола*, какъ трубы суда страшнаго! Наконецъ никто уже не хотѣлъ быть княземъ вашимъ рабомъ мятежнаго Вѣча... Наконецъ Русскіе и Новогородцы не узнаютъ другъ друга!

«Отъ чего же такая перемѣна въ сердцахъ вашихъ? Какъ древнее племя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолюбіе, корыстолюбіе ослѣпило васъ! Русскіе гибнутъ, Новогородцы богатѣютъ. Въ Москву, въ Кіевъ, въ Владиміръ привозятъ трупы христіанскихъ витязей, убіенныхъ невѣрными, и народъ, осыпавъ пепломъ главу свою, съ воплемъ встрѣчаетъ ихъ: въ Новгородъ привозятъ товары чужеземные, и народъ съ радостными восклицаніями привѣтствуетъ гостей иностранныхъ! Русскіе считаютъ язвы свои: Новогородцы считаютъ златыя монеты. Русскіе въ узахъ: Новогородцы славятъ вольность свою!»

Отвѣтъ *Марѳы* московскому боярину еще характеристичнѣе: она, въ своей рѣчи, ссылается на исторію Рима и упоминаетъ о Готахъ, Вандалахъ и Эрулахъ!!...

Скажутъ, мы говоримъ о повѣсти Карамзина, а не объ исторіи нѣтъ, мы говоримъ о взглядѣ его на русскую исторію и жизнь нашихъ предковъ...

И однакожъ, мы далеки отъ дѣтскаго намѣренія ставить въ упрекъ Карамзину то, что было недостаткомъ его времени. Нѣтъ, лучше воздадимъ благодарность великому человѣку за то, что онъ, давъ средства сознать недостатки своего времени, двинулъ впередъ послѣдовавшую за нимъ эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетворительная исторія Россіи,—этимъ обязано будетъ русское общество историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явленія истинной исторіи Россіи. Но и тогда исторія Кара-

зина не перестанетъ быть предметомъ изученія и для историка и для литератора, и новый историкъ Россіи не разъ сошлется на нее въ трудѣ своемъ... Какъ памятникъ языка и понятій извѣстной эпохи, исторія Карамзина будетъ жить вѣчно.

Изданіе «Исторіи Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, почти окончено; остается напечатать только «Ключъ», составляемый г. Строевымъ. О достоинствѣ этого изданія говорить нѐчего: лучшаго ничего нельзя ни требовать, ни вообразить, за исключеніемъ довольно-высокой цѣны. Приложенія, сдѣланныя издателемъ, показываютъ, что онъ смотритъ на изданіе классическихъ писателей истинно-европейски. Говорятъ: эти приложенія не важны. Пусть такъ; но пріятно имѣть въ одной книгѣ все, что̀ только написано рукою автора. Статья «О Древней и Новой Россіи» чрезвычайно-любопытна, какъ живое свидѣтельство историческихъ и политическихъ понятій Карамзина, и г. Эйнерлингъ очень-хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ и ее въ числѣ приложеній.

736. Стихотворенія Милькѣева. *Москва. Въ Университетской тип. 1843. Въ 12-ю д. л. 222 стр.* [127]).

Иронія составляетъ одинъ изъ преобладающихъ элементовъ современной поэзіи. Это понятно: поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности, вѣрное зеркало жизни,—а гдѣ же больше ироніи, какъ не въ самой дѣйствительности? кто же больше и злѣе смѣется надъ самой-собою, какъ не жизнь? Посмотрите, ка̀къ любитъ она противорѣчіе, жертвою котораго бываетъ безпрестанно бѣдная человѣческая личность! Вотъ, на-примѣръ, два актёра: одинъ—*безумецъ, гуляка праздный,* не подозрѣвающій ни святости искусства, ни его высокаго назначенія, невѣжда безграмотный, лѣнивецъ, добродушный хвастунъ,—и между-тѣмъ въ этой грязной натурѣ скрыты богатые самородки великихъ чувствованій, могучихъ страстей; эта безумная голова озаряется горящимъ ореоломъ вдохновенія,—и рыдаетъ, и колеблется многочисленная толпа при звукахъ голоса этого самовластнаго чародѣя, и каждый уноситъ съ собою изъ театра тѣ высокія откровенія, тѣ таинственные глаголы жизни, для принятія которыхъ нужно посвященіе... За что же этотъ даръ, это могущество слова, взора и жеста, эта чудодѣйственная сила? За что, за какой подвигъ такая высокая награда? Иронія, иронія, иронія!.. Вотъ другой актёръ: страсть къ искусству—его жизнь; изученіе искусства—занятіе, забота, трудъ всей его жизни; стремленіе къ славѣ—болѣзнь его души... И вотъ появляется онъ передъ толпою, разбѣленный и разрумяненный, съ важнымъ видомъ, и ловко, смѣло, съ граціею повертываетъ картонною булавою гладіатора или картоннымъ мечомъ Александра Македонскаго, величаво говоритъ съ другомъ своимъ Алхимересомъ объ измѣнѣ Амалафриды,—театръ дрожитъ отъ рукоплесканій, вызовамъ нѣтъ конца..

Но отъ-чего же въ этомъ восторгѣ толпы слышенъ одинъ шумъ и крикъ, отъ-чего она съ такимъ же точно восторгомъ, черезъ минуту послѣ того принимаетъ пошлый водевиль, и ни одинъ человѣкъ изъ нея не выходитъ изъ театра съ поникшею головою, съ грустнымъ раздумьемъ на челѣ?.. Художникъ упоенъ, восхищенъ своимъ торжествомъ; онъ такъ низко, такъ почтительно кланяется вызывающей его толпѣ... Но отъ-чего же такъ раздражаетъ его всякое двусмысленное сужденіе «немногихъ»—его который такъ доволенъ «всѣми»? Отъ-чего же такъ уязвляетъ его легкая улыбка «немногихъ»? Что онъ видитъ въ ней?—*Иронію* видитъ въ ней онъ жертва иронія, самъ воплощенная иронія дѣйствительности... Послѣ этого какъ понятны эти слова пушкинскаго Сальери:

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки праздпаго?..

Это значитъ совсѣмъ не то, чтобъ жизнь состояла изъ однихъ противорѣчій, и чтобъ геній всегда былъ «праздный гуляка», а самоотверженіе труда и изученія всегда было признакомъ ограниченности и бездарности: нѣтъ, мы хотимъ сказать только, что дѣйствительность часто любитъ отступать отъ своихъ разумныхъ законовъ, часто любитъ почутить сама надъ собою. Въ этомъ-то и состоитъ ея иронія. Вездѣ и повсюду видимъ мы эту иронію; вездѣ и повсюду видимъ мы жертвъ этой иронін, вездѣ и повсюду—и въ природѣ, и въ исторіи, и въ судьбѣ индивидуумовъ. Вотъ дѣвушка одаренная столь дивною красотою, что, кажется, весь міръ долженъ преклониться передъ нею... И что же?—иногда (и чаще всего) оказывается, что душа ея пуста, сердце холодно, умъ ограниченъ, и велико только ея мелочное самолюбіе... Вотъ дѣвушка, вся созданная изъ великодушнаго самопожертвованія, изъ горящей любви и высокаго стремленія, созданная для того, чтобъ осчастливить жизнь достойнаго человѣка, быть наградою за великій подвигъ жизни,—но увы! никто не добивается этого счастія, этой награды: она дурна собою, ей не дано волшебнаго обаянія женственности, съ ней говорятъ, какъ съ умнымъ мужчиною... Заглянемъ ли въ исторію—тамъ иронія царитъ надъ людьми. Никогда, говорятъ знатоки военнаго дѣла, никогда Наполеонъ не развертывалъ въ такой ширинѣ и глубинѣ своего военнаго генія, какъ передъ своимъ паденіемъ,—и все-таки палъ, низринутый какою-то невидимою рукою, какою-то странною иронією дѣйствительности... Сколько людей съ торжествомъ и славою выступило на историческое поприще; но одна минута,—и лавровый вѣнокъ смѣнялся шутовскимъ колпакомъ,—и эти люди оказывались столь же малыми для исторической

арены, сколько были они велики для обыкновеннаго круга жизни. Стало-быть, имъ не было мѣста ни тамъ, ни здѣсь,—и тамъ и здѣсь имъ суждено было погибнуть жертвою иронiи...

Не мало представляетъ такихъ жертвъ иронiи область искусства и литературы. Этотъ мрачный законъ иронiи особенно часто тяготѣетъ надъ такъ называемыми «самоучками» и вообще надъ людьми, которые вдругъ измѣняютъ назначенную имъ судьбою дорогу жизни, и измѣняютъ въ-слѣдствiе сознанiя тайнаго внутренняго призванiя къ искусству. Дѣйствительно, тайный внутренній голосъ зоветъ и манитъ ихъ къ блестящей метѣ, раздаваясь во глубинѣ души ихъ звуками вадимова колокольчика; [128]) грудь ихъ полна тревогою, и даже во снѣ слышатъ они слова: «встань изъ грязи, въ которую бросила тебя судьба, мужайся и иди впередъ,—лавры побѣды, удивленiе толпы и безсмертiе въ вѣкахъ ожидаютъ тебя!» Ужасенъ этотъ голосъ, ибо нельзя узнать, чей онъ—ангела-хранителя, или чернаго демона; такой вопросъ рѣшается только временемъ и фактами,—а въ этомъ-то и состоитъ иронiя жизни. Правда, характеръ истиннаго призванiя тѣмъ отличается отъ ложной тревоги, что въ немъ преобладаетъ сторона разсудка, тогда-какъ въ послѣдней дѣйствуетъ преимущественно фантазiя: но въ томъ-то и заключается возможность ошибки, что мечты фантазiи часто очень-похожи на проявленiе дѣйствительности, и что въ этихъ мечтахъ есть своя доля дѣйствительности. Человѣкъ не доволенъ своимъ положенiемъ, имъ овладѣваетъ сильное, неодолимое стремленiе вырваться изъ тѣснаго круга, въ который поставила его судьба: это еще не значитъ, чтобъ внутренній голосъ этого человѣка звалъ его сдѣлаться великимъ дѣятелемъ въ сферѣ исторiи или искусства; чаще всего этотъ внутренній голосъ означаетъ не болѣе, какъ стремленiе сдѣлаться просто человѣкомъ, развить въ себѣ всѣ данныя Богомъ духовныя силы; но въ томъ-то и состоитъ иронiя жизни, что люди не всегда могутъ или умѣютъ понять истинный смыслъ своихъ стремленiй, и принимаютъ за тревогу генiя зовъ къ человѣческому достоинству.

Литературная дѣятельность имѣетъ въ себѣ гораздо-больше обаятельнаго, чѣмъ что-нибудь,—можетъ-быть, потому именно, что она представляетъ собою одно изъ важнѣйшихъ поприщъ для таланта. Вотъ почему молодые люди съ пылкимъ воображенiемъ и горячею кровью хотятъ у насъ быть непремѣнно поэтами. Для нихъ всѣ люди раздѣляются на два разряда: на людей великихъ, т. е. поэтовъ, и на людей обыкновенныхъ, т. е. не-поэтовъ. Если они почувствуютъ въ груди своей эту неопредѣленную тревогу, которая производится горячею кровью, пылкимъ воображенiемъ, маленькимъ избыткомъ чувства, искоркою ума, а главное—молодостiю,—они сейчасъ хватаются за перо и пишутъ стихи, либо романъ. *Я поэтъ!*—за право сказать себѣ это слово они готовы пожертвовать всѣмъ; но какъ это право не требуетъ особенно-дорогихъ жертвъ, по-крайней-мѣрѣ свыше того, что̀ стоитъ

одна или двѣ десты писчей бумаги да отважная досужесть измарать ее размѣренными строчками или размашистою прозою,—то многіе изъ нихъ легко добиваются счастія быть печатно-посвященными въ поэты со стороны пріятельскаго журнала. Потомъ они издаютъ книжечку своихъ стихотвореній. Пріятельскій журналъ заранѣе извѣщаетъ о выходѣ этой книжечки, какъ о дѣлѣ необыкновенномъ, потомъ разхваливаетъ книжечку; публика засмѣется за нею,—а сатана хохочетъ... И вотъ вамъ иронія жизни!

Изъ такихъ бѣдныхъ стихотворцевъ особенно-жалки такъ-называемые поэты по призванію, поэты-самоучки и т. п. Между ними есть люди дѣйствительно съ призваніемъ—быть людьми порядочными и образованными, съ потребностію развить въ себѣ природные дары; между ними бываютъ даже люди съ внутренними вопросами, на которые могли бы дать имъ отвѣтъ наука и нравственное развитіе; но они предпочитаютъ искать болѣе-легкаго и болѣе-пріятнаго разрѣшенія своихъ вопросовъ и находятъ его—въ поэзіи, но не въ поэзіи великихъ геніевъ творчества, а въ своихъ бѣдныхъ и жалкихъ виршахъ. Процессъ творчества они считаютъ какою-то кабалистикою: они думаютъ, что если найдетъ на человѣка дурь вдохновенія, то онъ безъ ума умѣетъ, безъ науки свѣдущъ и можетъ видѣть безъ глазъ, слышать безъ ушей. А тутъ еще удивленіе людей, лавровый вѣнокъ славы, безсмертіе въ вѣкахъ,—и все это за такую дешевую цѣну! И пишетъ нашъ поэтъ, и издаетъ онъ наконецъ книжечку своихъ стихотвореній: но міръ спокоенъ, люди и не подозрѣваютъ, что между ними явился геній...

Къ числу такихъ явленій книжнаго міра принадлежатъ «Стихотворенія г. Милькѣева». Изъ посвященія книги и приложеннаго къ ней письма поэта къ Василію Андреевичу Жуковскому, мы узнаемъ, что г. Милькѣевъ родился и выросъ на берегахъ Иртыша, чувствовалъ въ себѣ неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго, душнаго и ограниченнаго круга, въ который поставила его судьба, въ сферу болѣе-высшую, болѣе-человѣческую, которую онъ, почему-то, полагалъ для себя въ поэтической дѣятельности; и что, наконецъ, ободренный вниманіемъ В. А. Жуковскаго и пользуясь его просвѣщеннымъ покровительствомъ, переѣхалъ изъ Сибири въ Россію. Вообще, все письмо г. Милькѣева къ В. А Жуковскому проникнуто простотою, умомъ и достоинствомъ. Къ интереснѣйшимъ подробностямъ этого письма принадлежатъ тѣ, изъ которыхъ мы узнаёмъ, что г. Милькѣевъ чувствовалъ рѣшительное желаніе сдѣлаться поэтомъ при чтеніи Плутарха, когда ему было шестнадцать лѣтъ; онъ не имѣлъ никакого понятія о правилахъ стихосложенія, и до уразумѣнія ихъ долженъ былъ дойти собственною проницательностію. Также точно понялъ онъ и правила орографіи русской. Безъ сомнѣнія, все это стоило ему большихъ трудовъ и большихъ усилій, какъ человѣку, лишенному всѣхъ пособій, какія представляютъ собою учители и учебники. Изъ этого видно, что г. Милькѣевъ—то, что

называется «поэтъ самородный», «поэтъ-самоучка». Самородные поэты особенно замѣчательны потому, что на ихъ твореніяхъ, какъ бы ни были они грубы и необдѣланны, всегда лежитъ печать оригинальности, столь часто чуждой обыкновеннымъ талантамъ. Таковъ былъ Кольцовъ, стихотворенія котораго, дышащія самобытнымъ вдохновеніемъ и талантомъ, до того оригинальны, что нѣтъ никакой возможности поддѣлаться подъ ихъ простую и наивную форму. Но, увы! не къ такимъ поэтамъ принадлежитъ самородный поэтъ, г. Мильквевъ, если только принадлежитъ онъ къ какимъ-нибудь поэтамъ. Не только самобытности и оригинальности,—въ его стихахъ нѣтъ даже того, что прежде всего составляетъ достоинство всякихъ порядочныхъ стиховъ: нѣтъ таланта поэтическаго. Нашъ приговоръ можетъ быть жестокъ, но онъ тѣмъ не менѣе справедливъ, и это не трудно будетъ доказать при сколько-нибудь внимательномъ разсмотрѣніи лежащихъ передъ нами стихотвореній.

Они начинаются гимномъ солнцу:

О *дивный красавецъ, колоссъ мірозданья!*
Даря насъ торжественнымъ *зрѣлищемъ дней*,
Выходишь ты *съ бездной тепла и сіянья*,
Въ коронѣ *зиждительно-мощныхъ лучей*.
Природы великой *женихъ вожаренный*,
Съ-тѣхъ-поръ, какъ ея украшеніемъ сталъ,
Когда не поспѣлъ ты на подвигъ священный,
Когда на *державную цѣль* опоздалъ?

Остановимся на минуту на этихъ стихахъ, чтобъ спросить: есть ли въ этой кучѣ фразъ и словъ, есть ли въ ней—не говоримъ, поэзія, вдохновеніе,—есть ли въ ней какой-нибудь логическій смыслъ?.. Что такое: *дивный красавецъ, колоссъ мірозданья?* Фразы, пустыя восклицанія, чуждыя всякаго поэтическаго воззрѣнія, лишенныя всякаго чувства... «Солнце выходитъ *съ бездной тепла и сіянья*, въ коронѣ *зиждительно-мощныхъ* лучей, даря насъ торжественнымъ *зрѣлищемъ дней*»: что это такое написали вы, г. Мильквевъ? Не-уже-ли выраженія: *бездна тепла и свѣта, торжественное зрѣлище дней* и лучи съ *зиждительно-мощнымъ* эпитетомъ,—не-уже-ли все это—поэзія, а не дурная проза въ плохихъ стихахъ?.. Положимъ, что солнце—женихъ природы, но почему же оно—*вожаренный* женихъ? Конечно, въ этомъ есть смыслъ, но только одинъ грамматическій, а всякаго другаго смысла тутъ нѣтъ и признака. И что за похвала такая солнцу, что оно всегда «поспѣвало на священный подвигъ» и никогда «не опаздывало на *державную* цѣль?» Вѣдь другими, болѣе-простыми и болѣе-богатыми смысломъ словами, это значитъ, что солнце всегда во-время встаетъ и во-время заходитъ... И что за подвигъ священный, что за державная цѣль? Галиматья!.

Въ остальной половинѣ стихотворенія, г. Мильквевъ говоритъ къ солнцу,

что его, солнце, древніе принимали за божество, но что мы, новые, уже «не дадимъ поклоненія», ибо знаемъ, что Богъ-то не оно, но что оно только создано Богомъ. Все это правда; но кто же не зналъ этой правды безъ стихотворенія г. Милькѣева? Вѣдь и то правда, что 2×2=4: не-уже-ли же и эту истину надобно перекладывать на плохіе стихи? Древніе обожествили, въ поэтическомъ образѣ Аполлона, солнце, какъ отдѣльную благодѣтельную силу природы,—и сколько глубокаго значенія было заключено въ ихъ роскошно-поэтическомъ миѳѣ бога свѣта! Г. Милькѣевъ, конечно, разсудительнѣе Грековъ смотритъ на солнце, но это не мѣшаетъ ему ничего въ немъ не видѣть и говорить о немъ пустою прозою въ холодныхъ виршахъ, тогда-какъ Греки, несмотря на всю младенческую наивность своего воззрѣнія на солнце, такъ много въ немъ видѣли и въ такихъ обаятельно-творческихъ формахъ выражали свое созерцаніе!

Но перейдемъ ко второму стихотворенію въ книжкѣ г. Милькѣева: можетъ-быть, оно будетъ лучше. Нашъ самородный поэтъ воспѣваетъ въ немъ «Возрожденіе»;

Смѣна холоду *крутому*,
Смѣна мертвымъ, *душнымъ* льдамъ,
Сну *болѣзненно-немому*,
Зимнимъ вихрямъ и снѣгамъ!
Міръ очнулся весь *глубоко*,
И прелестенъ и богатъ,
Одѣвается *широко*
Въ *новосвадебный* нарядъ.

Стоятъ ли такіе стихи какого-нибудь дѣльнаго разбора? Въ нихъ нѣтъ ни одного живого образа, никакой картины. Эпитеты дѣтски-неточны, вычурны А мысль всего стихотворенія—это чистое резонёрство о томъ о семъ, а больше ни о чемъ! Ежегодная измѣняемость природы подаетъ поэту поводъ разсуждать, длинно и водяно, о неизмѣняемости человѣка. Пьеса оканчивается такими курьёзными стихами:

И сынамъ твоимъ судьбами
Заповѣданъ тотъ же путь,
Такъ же въ нихъ реветъ громами
Отведышущая грудь.

Хоть бы г-ну Бенедиктову такъ выразиться!..

Впрочемъ, едва-ли у кого достанетъ силъ слѣдить за всѣми стихотвореніями г. Милькѣева. Въ одномъ у него—

Пылаютъ сердца, какъ лампады,
Къ предѣламъ парятъ неземнымъ.

(Стр. 6).

Въ стихотвореніи «Сухарева Башня» г. Милькѣевъ такъ заставляетъ Петра-Великаго говорить полковнику Сухареву:

Хочу оставить я народу
Знакъ неподкупности твоей,
Гдѣ жилъ ты съ вѣрными стрѣльцами,
Построй тамъ башню, да про васъ
Она являетъ предъ сыками
Живописующій разсказъ.

Потомъ стихотворецъ говоритъ о Брюсѣ, который

Сидѣлъ одинъ, какъ демонъ, точно
Съ *неразрѣшимымъ* сатаной
Творя бесѣду полномочно.

Вода бассейна Сухаревой-Башни есть *бальзамъ холодный и живой, который льется въ наше тѣло, чтобы оно крѣпчало и свѣтлѣло всегдашней чистотой.* Чудная вода! Она такъ и блещетъ въ чудныхъ стихахъ г. Милькѣева!..

Въ другомъ стихотвореніи нашего водянаго поэта—

Мглою *огненно-зыбучей*
Вдругъ одѣтъ небесный сводъ...

Въ третьемъ стихотвореніи (стр. 22) поэту явилось таинственное видѣніе въ которомъ, за мракомъ мистицизма, не видно смысла, и въ которомъ поэтъ говоритъ нескладными стихами:

А грудь моя билась и сердце звучало,
Какъ будто нашествія тайнъ ожидало.

Въ четвертомъ стихотвореніи (стр. 73) поэтъ спрашиваетъ:

Кто надъ бездной власть докажетъ,
Ярость дикую уйметъ
И безмолвіемъ обяжетъ
Глубину ревучихъ водъ?

Вся эта болтовня клонится къ сравненію моря во время бури съ человѣческими страстями: какая пошлая реторика!

Есть стихотвореніе, въ которомъ, въ числѣ другихъ диковинокъ,

Земля, *пиралище пространства,*
Сама вертится колесомъ:
И тверди гордыя свѣтила
Обречены на быстрый ходъ;
Круговращательная сила
Весь поворачиваетъ сводъ.

Въ одномъ стихотвореніи *(стр. 161)*, г. Милькѣевъ говоритъ дамѣ-поэту поздравляя ее со днемъ рожденія:

И вотъ что сердце вамъ лепечетъ:
Да ниспошлетъ на васъ Зевесъ
Лѣтъ столь же много, сколько *мечетъ*
Въ грудь вашу звуковъ отъ небесъ!

Въ стихотвореніи «Буря», у г. Милькѣева *удалый* вѣтеръ бьетъ въ рѣку, черный воронъ сидитъ на *соснѣ*, внимая *задорный* гулъ веселой, *молодой* грозы, машетъ крыльями *живо* подъ скрипъ деревъ и *трепетъ* (!!) скалъ, и спрашиваетъ другаго ворона, куда сѣрый братъ стремилъ нынче *свои полеты*, богатъ ли воротился онъ съ лихой и *доблестной* охоты и не слыхалъ ли гдѣ *голоса* мечей... Боже мой, какая изъискапная, какая высокопарная дичь!..

Но довольно! Изъ выписаннаго можно видѣть, что въ стихахъ г. Милькѣева не только нѣтъ никакихъ признаковъ поэтическаго дарованія, но даже видна положительная, рѣшительная бездарность. Г. Милькѣевъ—подражатель г. Венедиктова, подобно всѣмъ подражателямъ, доводящій до каррикатуры и безъ того поразительные недостатки своего оригинала. Мы не встрѣтили въ цѣлой книжкѣ г. Милькѣева ни одного поэтическаго стиха, ни одного живаго образа, ни одной картины; стихъ его есть не что иное, какъ насильственное сведеніе словъ, которыя ревутъ, видя себя поставленными вмѣстѣ. Въ выборѣ предметовъ, въ мысляхъ, не замѣтно никакихъ слѣдовъ человѣческихъ симпатій, живыхъ стремленій, такта дѣйствительности. Особенно ссылаемся на два стихотворенія. Героиня одного—кто бы вы думали?—*кукушка!!!*... Въ этой несчастной кукушкѣ *(стр. 49)* г. Милькѣевъ думалъ опоэтизировать народную легенду, надѣялся объективировать свои задушевныя вѣрованія,—и, самъ того не замѣчая, только унизилъ предметъ, который усиливался поднять. Другое стихотвореніе воспѣвастъ—что бы вы думали?—русскую сивуху, иначе нарицаемую *сиволдаемъ!!!*... Это, вѣроятно, для народности! Хороша народность!..

Здравствуй, русское веселье,
Здравствуй, русское вино,
Православное (?) похмѣлье,
Чашъ потопленное дно!
Ты по юношескимъ жиламъ
Влагой крѣпости бѣжишь,
И къ былымъ, *каленымъ* (?!) сиамъ
Грудь увялшую стремишь!

Какъ возникли дни отчизны,
Кто изъ русскихъ чадъ, любя
Свой предѣлъ безъ укоризны,
Не отвѣдывалъ тебя?
Кто въ пылу борьбы кровавой
Дрался на-смерть и не пилъ?
Кто, привѣтствованный славой,
Чашъ не пѣнилъ и не *билъ?*

Какъ кто, г. Милькѣевъ?—думаемъ, что всѣ порядочные люди въ Россіи... Пѣньте, пожалуй-себѣ, въ чаши «пѣнное» и «зеленое», если вамъ это нравится, бейте не только чаши (т. е. стаканы и плошки), но и стекла

во храмахъ русскаго Бахуса, мы не мѣшаемъ вамъ,—только, ради всего пристойнаго и образованнаго, увольте насъ отъ вашего радушнаго потчиванья; мы, право, не будемъ въ претензіи, если вы обнесете насъ,—такъ же, какъ не были бы въ претензіи, если бы вы уволили насъ и отъ изліяній вашей музы...

Очень-забавно, что въ этомъ стихотвореніи г. Милькѣевъ причину генія Ломоносова полагаетъ въ несчастной страсти этого великаго человѣка къ пѣнному вину...

О милая наивность самородной музы! о горькая, ядовитая иронія жизни! Стоило-ли [129]) пріѣзжать въ Москву съ береговъ Иртыша, если это было за тѣмъ только, чтобъ издать книжку *такихъ* стихотвореній? Стоило ли о такомъ переѣздѣ писать въ журналахъ и ожидать отъ него столь многаго для русской поэзіи? Стоило ли въ журналахъ извѣщать публику, какъ о чемъ-то важномъ, о скоромъ выходѣ въ свѣтъ такихъ стихотвореній? Что такое все это?—Иронія, горькая, ядовитая иронія жизни... [130])

***737. Странствователь по Сушѣ и Морямъ.** *Санктпетербургъ. Въ тип. П. П. Бочарова. 1843. Въ 12-ю д. л. 216 стр.* [131]).

Намъ неоднократно доводилось читать (и даже слушать на кой какихъ публичныхъ чтеніяхъ) начертанія путешествій, гдѣ, какъ въ пространной географіи, авторъ весьма подробно, по систематическому порядку, описываетъ положеніе страны, нравы и обычаи жителей, произведенія природы: искусствъ и такъ далѣе. Все это очень-полезно, потому-что всегда-почти увеличиваетъ запасъ нашихъ свѣдѣній, почерпнуты ли эти свѣдѣнія изъ напечатанныхъ уже дорожниковъ или состоятъ изъ собственныхъ наблюденій путешественника. Но все это большею частію немножко-скучно, потому-что въ подобныхъ начертаніяхъ замѣчаешь болѣе трудолюбія и начитанности, нежели ума и таланта. Этого нельзя сказать объ авторѣ «Странствователя по Сушѣ и Морямъ»: каждая страница его занимательной книжки обнаруживаетъ въ немъ свѣтлую наблюдательность, умѣнье двумя-тремя рѣзкими чертами обрисовать бытъ и характеръ народа, среди котораго онъ жилъ, или замѣчательнаго лица, съ которымъ онъ встрѣчался. Это отрывистые, легкіе, оживленные бойкимъ разсказомъ очерки въ родѣ путевыхъ впечатлѣній Александра Дюма. Путешественникъ обращаетъ вниманіе не столько на физическую природу описываемой имъ страны, сколько на человѣка, въ ней обитающаго, на человѣка въ разгарѣ его страстей, въ роковыя минуты его жизни,—и потому разсказъ автора иногда облекается въ легкость романическаго повѣствованія, а иногда доходитъ до драматическаго движенія. Въ этой первой книжкѣ (авторъ обѣщаетъ еще другую) онъ описываетъ свое странствованіе по Ташкенту, Хивѣ и Бухарѣ. Послѣдуемъ за путешественникомъ въ послѣднюю изъ этихъ малоизвѣстныхъ странъ и посред-

ствомъ одного факта, взятаго изъ ея исторіи и мастерски-изложеннаго авторомъ, ознакомимся съ характеромъ бухарскаго народа и его отношеніями къ хану.

«Сила характера Нессръ-Уллы, нынѣшняго хана Бухары, всего ярче проявилась въ низложеніи Кучь-бегія. Кучь-беги представлялъ характеръ совершенный въ восточномъ родѣ; онъ ни въ чемъ не измѣнилъ себѣ въ-теченіе всей жизни, и самый опытный романистъ не могъ бы создать столь полнаго характера (полный характеръ?), не могъ бы выдержать его такъ постоянно отъ начала до конца. Кучь-беги былъ первымъ министромъ при покойномъ отцѣ хана, Миръ-Хайдерѣ, и пользовался неограниченною его довѣренностью. Умный, хитрый, вкрадчивый, корыстолюбивый, суевѣрный, властолюбивый, онъ не щадилъ никого для достиженія своей цѣли, все и всѣхъ считалъ онъ за средства, которыя могъ употреблять по произволу, лишь бы они давались ему.

«Властвовалъ собственно Кучь-беги, а Миръ-Хайдера тѣшилъ онъ призракомъ власти и названіемъ хана, но тѣмъ не менѣе надобно было его тѣшить или усыплять, чтобы онъ не очнулся и не поступилъ съ нимъ такъ, какъ поступилъ въ-послѣдствіи Нессръ-Улла.

«Происшествіе, которое я сейчасъ разскажу, отчасти выказываетъ характеръ Кучь-бегія. Онъ былъ нездоровъ и невеселъ, когда ему сказали, что въ Бухару пришелъ фирингъ, европеецъ, а зовется Мартынъ. Кучь-беги, безъ дальнѣйшихъ изслѣдованій, велѣлъ фирнига посадить въ *яму*, а деньги и имущество у фирнига отобрать. Вслѣдъ за тѣмъ доложили, что у фирнига ни денегъ, никакого вещественнаго имущества не оказалось, а есть какое-то особенное, которое онъ покажетъ самому Кучь-беги. Позвали фирнига.

...— Посмотримъ, что у тебя за сокровище, сказалъ ему Кучь-беги.— Какой-нибудь поддѣльный камень; знаю я васъ, европейцевъ; но меня нелегко обмануть.

— Мое сокровище—знаніе! отвѣчалъ твердо Мартынъ.

«Кучь-беги, незнавшій этой фальшивой монеты Европы, принялъ слова Мартына за насмѣшку и пришелъ въ изступленіе.

— Ты смѣлъ оплевать мою сѣдую бороду, посмѣяться надъ прахомъ предковъ моихъ и проч., и проч. Потокъ гнѣва его лился неукротимо, но Мартынъ выдержалъ напоръ его хладнокровно; только, когда дѣло дошло до палокъ, онъ сказалъ, не теряя, впрочемъ, своей обычной смѣлости: «Я покажу тебѣ это знаніе. Ты боленъ: я излечу тебя; ты скученъ: я развеселю тебя».

«Кучь-беги укротился.—Это чортъ, а не человѣкъ, произнесъ онъ. Мартыну только этого и надобно было: ему выгоднѣе было слыть чортомъ, нежели человѣкомъ.

«Вслѣдъ за тѣмъ онъ далъ Кучь-беги слабительное, и тотъ выздоровѣлъ; принесъ ему дистиллированной виноградной водки, и Кучь-беги, предававшійся втайнѣ запрещенному напитку, не могъ надивиться искусству фирнига. Мартынъ далъ ему еще какого-то снадобья, за которое старикъ благодарилъ его болѣе всего. Словомъ, судьба Мартына совершилась. Съ-этихъ-поръ начинается длинный рядъ его продѣлокъ, о которыхъ мы еще будемъ говорить.

«Кучь-беги любилъ деньги... главнѣйшая отрасль его доходовъ состояла въ косвенныхъ поборахъ. Онъ тщательно подстерегалъ богатыхъ купцовъ,

и едва кто-нибудь выказывался изъ толпы, немедленно являлись на него доносы или въ несоблюденіи правилъ вѣры, или въ употребленіи запрещеннаго Магометомъ напитка, или въ обмѣриваніи, обвѣшиваніи и проч. Улика всегда была на готовѣ, и только значительный выкупъ и нерѣдко конфискація всего имѣнія спасали жизнь виновнаго. Въ Бухарѣ ходили только что не въ рубищахъ, повѣсивъ головы, набожно поглаживая бороды и бережно затаивъ свои мысли, не только поступки; но и тутъ Кучь-беги находилъ своихъ жертвъ, и въ этомъ случаѣ Мартынъ былъ дѣятельнымъ его помощникомъ. Онъ имѣлъ тѣсныя связи съ бухарскими Евреями, но единовѣрію ли—неизвѣстно, какой религіи онъ придерживался—или по единомыслію, и черезъ нихъ вывѣдывалъ о богатствѣ и тайныхъ поступкахъ бухарскихъ подданныхъ; но наконецъ и эта мѣра налоговъ не могла же быть неистощимою. Ханъ мало обращалъ вниманія на повсемѣстную, особенно наружную бѣдность; онъ ханжилъ и довольствовался тѣмъ, что видѣлъ мечети, наполненныя народомъ, а благословенія ли возсылаютъ они (народъ?) или проклятія—онъ объ этомъ не справлялся. Худо было то для Кучь-бегія, что многіе дѣйствительно обѣднѣли, другіе оставили Бухару. Онъ позвалъ Мартына.

— Ты оселъ, а не мудрецъ, сказалъ онъ ему:—и золота тебѣ не выдумать: научи, какъ пріобрѣсти его.—Мартынъ давно придумалъ одно очень затѣйливое, по его мнѣнію, предпріятіе, которое сильно отдавалось Европой, и только дожидалъ случая, чтобъ объяснить его умному визирю.

— У васъ, въ благословенной Бухарѣ, сказалъ онъ:—выпиваютъ чаю въ день столько, сколько въ другомъ мѣстѣ выпиваютъ воды; только и видишь, что чайныхъ продавцовъ на всѣхъ перекресткахъ, не говорю о караванъ-сараяхъ. Бухарецъ слова не скажетъ, не выпивши чашки чаю.

— Благодаря Аллаха, народъ эмира благоденствуетъ; но мнѣ что изъ того?

— Мелкіе продавцы обманываютъ и обкрадываютъ народъ; запрети имъ эту промышленность: предоставь ее одному себѣ или отдай на откупъ. Мартынъ объяснилъ, что значитъ откупъ, и сметливый визирь тотчасъ понялъ: глаза его заблистали радостью.

— Ты точно мудрецъ, воскликнулъ онъ.—Но коранъ?

— Коранъ ничего не говоритъ о чаѣ.—Но Мартынъ ошибся Духовенство ясно доказало кораномъ, что эта мѣра противна религіи, и возстало противъ нея всею своею силою. Вскорѣ померъ старый эмиръ, и звѣзда счастія Кучь-бегія закатилась: блестящее предпріятіе его не удалось.

«Мартынъ съ званіемъ доктора долженъ былъ необходимо соединять званіе астролога, предвѣщателя и проч. Однажды старый ханъ вздумалъ похрабриться и собрать войско противъ Хивы; ему не хотѣлось подвергать своей особы (свою особу) опасностямъ и лишеніямъ похода, и онъ ввѣрилъ войско начальству Кучь-бегія. Какъ было отдѣлаться отъ его порученія визирю? Онъ посовѣтовалъ хану спросить у звѣздъ, благопріятна ли будетъ эта война и какимъ образомъ вести ее. Призвали Мартына, и тотъ, разсмотрѣвъ небо, отвѣчалъ положительно, что походъ удастся, но для блага Бухаріи нужно, чтобъ Кучь-беги оставался дома и не покидалъ кормила государственнаго правленія. Войско отправилось подъ начальствомъ какого-то узбека; но не прошло и двухъ недѣль, какъ оно прибѣжало назадъ, разбитое непріятелемъ и гонимое страхомъ. Ханъ велѣлъ казнить главнона-

чальствующаго экспедиціей и Мартына; но Кучь-беги спасъ Мартына.— «Что ему въ своей головѣ? возразилъ онъ хану:—захочетъ, найдетъ другую. Вѣдь онъ самъ дьяволъ; зачѣмъ же наживать его злобу». Мартынъ убѣжалъ въ Россію... Судьба Кучь-беги совершилась иначе. Молодой ханъ Нессръ-Улла, выведенный наконецъ изъ терпѣнія деспотическими поступками Кучь-бегія, рѣшился отдать приказаніе схватить его, но такъ испугался этой минутной рѣшимости, что выѣхалъ за городъ и окружилъ себя войскомъ. Онъ говорилъ былъ отмѣнить это распоряженіе, какъ ему донесли, что Кучь-беги уже схваченъ и брошенъ въ яму. Имѣніе его было конфисковано, но Нессръ-Улла оставилъ на этотъ разъ ему жизнь, по просьбѣ старой ханши, своей матери. Кучь-беги удалился, по соизволенію хана, въ маленькое оставленное ему помѣстье, и жилъ, какъ истинный философъ, узнавшій всю тщету человѣческой власти. Разъ, сидя съ своими домашними въ саду, онъ увидѣлъ цѣлую ватагу приближавшихся къ нему людей. «Это мои палачи», сказалъ онъ равнодушно. И дѣйствительно это были палачи, присланные ханомъ. Кучь-беги пошелъ на казнь, какъ онъ ходилъ въ свой садъ».

Изъ этой полудикой драмы вы гораздо-лучше узнаете бытъ и характеръ Бухарцевъ, нежели изъ многихъ томовъ, наполненныхъ длинными описаніями и статистическими свѣдѣніями. Сколько простоты и естественности въ этомъ слогѣ, отъ котораго надобно однакожъ требовать большей правильности и опредѣленности! Въ другихъ статьяхъ (числомъ шесть), не менѣе-интересныхъ, авторъ «Странствователя» описываетъ свое пребываніе въ Ташкентѣ, дѣла экспедиціи противъ Хивы и противъ хищныхъ Киргизовъ на восточномъ берегу Каспійскаго-Моря. Вотъ какъ нашъ отрядъ проводилъ однообразные дни на походѣ по степямъ хивинскимъ

«Въ три часа утра бьетъ барабанъ; съ полчаса потомъ продолжается тишина: народъ завтракаетъ, и вотъ поднялась тревога, вьючка, крикъ Киргизовъ, единообразный ревъ верблюдовъ, громкое командованіе старшихъ, общее движеніе, и все это подъ открытымъ небомъ, въ 26° мороза или въ бурапъ, гдѣ зги не видно передъ собою, и все это ночью, на глубокомъ снѣгу, на открытой повсюду пустынѣ. Еще барабанъ: это 5 часовъ, иногда нѣсколько позже; колонна выступаетъ. Казаки оренбургскаго регулярнаго полка, безъ вьюковъ, ѣдутъ впереди въ восемь, десять рядовъ и прокладываютъ восемь, десять тропинокъ въ снѣгу, гдѣ на каждомъ шагу тонутъ лошади, и гдѣ люди обыкновенно спѣшиваются и помогаютъ имъ въ тяжкой работѣ; передовые, выбившись изъ силъ, смѣняются: это самая утомительная борьба съ природой; каждый шагъ надобно брать грудью. За этимъ передовымъ отрядомъ тянутся въ восемь, десять «нитокъ» тихіе верблюды длинной, безконечной вереницей, перемежаясь то артиллерійскими орудіями, изъ которыхъ нѣкоторые идутъ въ головѣ, то баталіономъ линейныхъ войскъ, то сотнею уральскихъ или оренбургскихъ казаковъ. Арріергардъ, идущій въ нѣкоторомъ отдаленіи, подбираетъ отсталыхъ верблюдовъ, или по крайней мѣрѣ собираетъ съ нихъ вьюки. Работа едва ли легче работы авангарда, который имѣетъ ту выгоду, что приходитъ гораздо ранѣе на мѣсто.

Утомленные верблюды, особенно во время бурана, валятся на каждомъ

шагу,—а, замѣтьте, за тропой, которая шириною ровно въ верблюжій ходъ, сугробы снѣгу,—и вотъ бѣдный верблюдъ палъ, около него раздаются проклятія Киргиза-погоньщика, удары сыплются градомъ, но бѣдное животное безчувственно къ нимъ, и только, когда весь отрядъ отъ него удалится, верблюдъ болѣзненно вытягиваетъ шею, озираетъ пустыню и вновь склоняетъ голову, предвидя горестный конецъ свой. Чрезъ нѣсколько минутъ его заноситъ снѣгомъ; но жизнь надолго еще остается въ немъ, если не набредутъ на него стаи волковъ, слѣдующихъ за экспедиціей!

Буранъ или морозъ, нерѣдко доходившій до 30 градусовъ, были попеременными и всегдашними спутниками отряда. Слѣдуя за длинной вереницей верблюдовъ, въ головѣ которой не видно конца, не имѣя возможности ѣхать рядомъ вдвоемъ и разговаривать (да и не до словъ бывало), на досугѣ изучаешь высокія добродѣтели одного изъ полезнѣйшихъ, изъ «величайшихъ» въ мірѣ животныхъ—верблюда, и учишься у него величайшей въ мірѣ добродѣтели—терпѣнію.

«Около 3-хъ часовъ останавливается отрядъ; новый трудъ. Нужно расчистить сугробы снѣгу для кибитокъ, для подножнаго корма кибиткъ и лошадей и, наконецъ, для ночлега верблюдовъ, у которыхъ только было и нѣги, что ихъ на ночь клали на землѣ, а не на снѣгу; нужно добыть топлива, а это топливо большею частію составляли корни растеній, замерзшіе, едва тлѣющіе на огнѣ и наполнявшіе кибитку удушливымъ дымомъ, вмѣсто отраднаго огонька. Впрочемъ, случался и яркій огонь на ночлегѣ, и это была роскошь, которой конечно вы не постигаете».

Иногда съ нашимъ путешественникомъ случались приключенія до того романическія, что невольно подумаешь, не расцвѣтило ли его воображеніе вымыслами своими обыкновенныхъ происшествій. Такъ въ Ташкентѣ зазвала его въ свой гаремъ жена тамошняго хана, Зюльма (слишкомъ-романическое имя!), и съ иступленіемъ стала подговаривать, чтобъ онъ избавилъ ее отъ счастливой соперницы. Въ Хивѣ нѣсколько ночей сряду грезился ему во снѣ Персіанинъ, котораго потомъ въ первый разъ въ жизни увидѣлъ онъ и на яву. Этотъ Персіанинъ былъ одаренъ какимъ-то роковымъ предвѣдѣніемъ, бѣгалъ отъ людей, проникалъ мысли другихъ, вызывалъ тѣни умершихъ и наконецъ сошелъ съ ума. Что-то странно...

«Если первая книжка вамъ не понравится», говоритъ авторъ въ предисловіи: «то вы уже не увидите второй, хотя она уже въ станкахъ типографіи». Если это *если* обращено, между-прочимъ, и къ намъ, то мы просили бы автора скорѣе выпустить въ свѣтъ вторую книжку, *если* она такъ же интересна, какъ первая.

***738. Русская Грамматика для Русскихъ Виктора Половцова (старшаго).** (,) *Напечатанная по Высочайшему соизволенію. Шестое исправленное изданіе. Санктпетербургъ. Въ тип. Штаба Военно-Учебныхъ Заведеній. 1843. Въ 12-ю д. л. VII и 152 стр.* [132]).

Грамматика г. Половцова, выходящая уже *шестымъ* изданіемъ, отличается отъ всѣхъ прочихъ русскихъ грамматикъ только своею методою, нынѣ, впро-

чемъ, принятою всѣми опытными, знающими свое дѣло преподавателями. Переходить отъ анализа къ синтезу, изъ примѣровъ извлекать правила—самая полезная система въ преподаваніи: объ этомъ въ наше время никто уже и спорить не будетъ. Но это болѣе дѣло учителя въ классахъ, нежели составителя систематическаго учебника. Въ этомъ смыслѣ, трудъ г. Половцова можно почесть скорѣе вспомогательнымъ средствомъ при изученіи грамматики, нежели полнымъ систематическимъ курсомъ. Для кого онъ назначалъ свою книгу? Для преподающихъ или для учащихся? Для первыхъ, въ видѣ руководства въ классахъ, нуженъ курсъ въ полномъ, строгомъ систематическомъ порядкѣ, курсъ, который до-сихъ-поръ едва-ли мы имѣемъ. Для учениковъ? — всякій согласится, что рѣдкій ребенокъ успѣетъ въ какой-либо наукѣ безъ помощи учителя. Паскаль, на двѣнадцатомъ году самоучкою постигшій эвклидовы начала, для насъ не примѣръ. Но положимъ, что авторъ «Русской Грамматики для Русскихъ» хотѣлъ устроить изученіе своей науки до того, что дитя, читая и перечитывая его книгу, можетъ само-собою достигнуть до полнаго свѣдѣнія правилъ отечественнаго языка. Учащійся, положимъ, открываетъ первую страницу и читаетъ: «Человѣкъ прежде всего думаетъ, а потомъ говоритъ. И такъ сперва надобно *искать мысли* (?), находить ихъ, схватывать и удерживать; далѣе сличать ихъ между собою, упрощать, соединять, раздѣлять, распространять и усиливать» и проч.

Мы, знакомые съ теоріею мышленія, скажемъ, что̀ это такое; но пошлемся на всѣхъ дѣтей въ свѣтѣ: поймутъ ли они изъ этого хоть слово. Вы скажете: объяснитъ учитель. Такъ не лучше ли было бы написать такую книгу, въ которой по примѣрамъ, невыходящимъ изъ круга дѣтскихъ понятій, помаленьку, такъ-сказать по пальцамъ, изъяснить, что̀ такое значитъ мыслить, что̀ такое сличать мысли между собою. Признаемся, мы сами не понимаемъ что̀ такое «искать мысли, схватывать, упрощать мысли»...

Какъ-скоро дѣло дошло до науки, тутъ главное дѣло система, порядокъ, котораго мы не находимъ въ книгѣ г. Половцова. Онъ безпрестанно переходитъ отъ логическихъ началъ къ законамъ языка, отъ правилъ синтаксиса къ правиламъ, какъ ставить знаки препинанія; потомъ этимологія; потомъ опять правила правописанія... Но иногда, по своей методѣ, онъ переходитъ отъ примѣровъ къ правиламъ, а иногда, вопреки ей (стр. 3), отъ правилъ къ примѣрамъ; кое-что извлечено изъ законовъ разума, что̀ очень-хорошо; а многое излагается такъ, безъ основанія, какъ въ большей части другихъ грамматикъ.

Ограничимся нѣкоторыми отдѣльными замѣчаніями. «Тщательный разборъ нѣсколькихъ басень *(почему же только басень?)* и постоянное наблюденіе ученика за самимъ собою (?!) лучше всѣхъ правилъ о знакахъ препинанія. Только невѣжды оправдываютъ себя незнаніемъ правилъ». Это ужь очень-наивно...

«Буква *ь* употребляется въ словахъ: письмо, деньги, больше, меньше, весьма, тесьма и нѣкоторыхъ другихъ». Въ какихъ же другихъ? Тутъ надобно

или найдти общее правило, или ужь выписать всѣ слова, въ которыхъ употребляется буква *ь*.

Авторъ не объясняетъ, почему мы иностранныя слова пишемъ: *Э*кваторъ, *Э*тажъ, и въ то же время *Е*вропа, *Е*фесъ, офицеръ и проч. Разумѣется, потому-что первыя два слова во французскомъ языкѣ пишутся черезъ *é*, которое у насъ выражается посредствомъ *э*; между-тѣмъ, какъ Европа пишется *E*urope, ефесъ—Gefäss, а «офицеръ»—слово хоть иностранное, но исказившееся въ нашемъ языкѣ, что мы называемъ, обрусѣвшее.

Говоря о томъ, какія слова въ предложеніи должно произносить съ бо́льшимъ напряженіемъ голоса, авторъ поставляетъ правило: «Опредѣленія, и особенно приложенія, произносятся большею частію легко». А вотъ, напримѣръ, въ этихъ предложеніяхъ: «Дорого яичко къ *христову* дню». «Я вамъ докажу, что мой другъ человѣкъ *благородный;* вы найдете въ немъ весьма *сильнаго* покровителя и онъ *прекрасно* обдѣлаетъ ваши дѣла, не слишкомъто *исправныя*»?

«Причастія имѣютъ три рода *или* числа» (?). Вѣрно авторъ хотѣлъ сказать три рода и два числа.

«Междометіе есть частица рѣчи, выражающая ощущенія». Много ли поймутъ дѣти изъ этого опредѣленія?

«Въ словосочиненіи разсматривается составъ, происхожденіе и образованіе предложеній, а также значеніе и изложеніе сочиненій (по крайней мѣрѣ тѣхъ, которыми должно заниматься въ училищахъ)». Воля ваша, а значеніе и изложеніе сочиневій относятся уже къ теоріи прозы. Особенно, если возьмемъ въ соображеніе, что въ училищахъ воспитанники, по мѣрѣ своихъ способностей, могутъ, а слѣдовательно и должны, заниматься сочиненіями, довольнозначительными по предмету и по содержанію.

Иные примѣры (а ихъ очень-много въ книгѣ) выбраны не весьма-удачно. Не-уже-ли для дѣтей, даже для самыхъ малолѣтнихъ, нѣчего выбрать изъ Карамзина, Жуковскаго, Пушкина,—а эти писатели будто и не существуютъ для книги г. Половцова; вмѣсто того, онъ извлекаетъ таковыя словеса изъ книги, изданной въ 1762 году:

«Человѣкъ духомъ и жизнью, а не деньгами и пожиткомъ богатъ. Хотя бъ твои сундуки золотомъ да серебромъ наполнены были, однако ты отъ сего «щ(сч)ас(т)ливѣйшимъ не з(с)дѣлаешься, ежели въ себѣ спокоенъ и своимъ состояніемъ доволенъ не будешь».

Что̀ за охота пріучать дѣтей къ такому варварскому слогу?

Опечатки въ самой терминологіи еще болѣе умножаютъ темноту и сбивчивость. Вотъ, наприм.: «Первый видъ глагола называется опредѣленнымъ, онъ выражаетъ точность дѣйствія; второй опредѣленнымъ *(вм. неопредѣленнымъ)*; онъ означаетъ продолжаемость *(продолжительность?)* дѣйствія». И что такое значатъ точность и неточность дѣйствія?..

*

*739. Драгоцѣнный Подарокъ дѣтямъ *или русская Азбука. Санктпетербургъ. Изданіе Масленникова. Въ тип. А. Сычева. 1843. Въ 8-ю д. л. 105 стр.* [133]).

Перевернувъ страницу, на которой напечатано это заглавіе, вы на другой встрѣтите еще заглавіе: «Приложеніе на каждую букву (къ каждой буквѣ?) и (?) съ описаніемъ изображенныхъ предметовъ, приспособленныхъ къ постепенному развитію умственныхъ дѣтскихъ познаній *(умственныхъ познаній?!)*». По этимъ отрывкамъ ужь можно видѣть, какіе люди готовили этотъ «*Драгоцѣнный* Подарокъ». Въ-самомъ-дѣлѣ, это одна изъ безчисленныхъ спекуляцій, производимыхъ безграмотностью на счетъ легкомысленныхъ воспитателей и бѣдныхъ дѣтей. Въ «Драгоцѣнномъ Подаркѣ» все то же, что̀ и въ тысячѣ другихъ азбукъ, какія десятками выходятъ каждый годъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Вотъ сначала варварскіе склады: *вздо, взну, вздра* и проч. Потомъ такъ-называемыя нравоучительныя изреченія: «Старайся всегда, любезное дитя, о чистотѣ; содержи всегда въ чистотѣ лице и руки, бѣлье и платье». Это по части нравственности. Или: «Старайся выхвалять съ благодарностію всякую услугу (?): за то будутъ тебѣ оказывать новыя благодѣянія». Это ужь по части безнравственности... Въ «Правилахъ Благопристойности и Учтивости» сказано, что «благовоспитанный человѣкъ долженъ укрѣпить сердце свое въ правилахъ добродѣтели, при занятіи *(чѣмъ?)* сидѣть, не наклоняя головы, и имѣть *натуральное положеніе лица*» (?). Потомъ идутъ написанныя книжнымъ, топорнымъ языкомъ повѣсти, выхваченныя изъ «Золотаго Зеркала»; далѣе стихи, весьма-пригодные для искаженія вкуса; еще далѣе, какъ заведено, цифры и таблица умноженія. За этими вещами слѣдуетъ «Приложеніе», о которомъ мы говорили. На лубочной картинкѣ, приложенной къ буквѣ *В*, изображенъ мужикъ съ коромысломъ на плечѣ, а внизу написано: «Водоносъ, ведры, водопадъ, вороты, вѣникъ». На картинкѣ вѣникъ столько же похожъ на вѣникъ, какъ и на лягушку, а водопада вовсе не имѣется. Въ объясненіяхъ говорится, что «*Вѣникъ* есть связка вѣтвей, срѣзанныхъ обыкновенно съ березы вмѣстѣ съ листьями; употребленіе его всѣмъ извѣстно. Что же касается до *воротъ*, то вы, конечно, хорошо ихъ знаете»... Тутъ и все объясненіе!

740. Сказка о Мельникѣ-Колдунѣ, о двухъ Жидкахъ и о двухъ Батракахъ. *Соч.* Е. Алипанова. *Изданіе третье. Санктпетербургъ. Въ тип. А. Сычева. 1843. Въ 16-ю д. л. 60 стр.* [134]).

Имя г. Алипанова всегда приводитъ намъ на мысль другое, не менѣе прославленное имя Б. М. Ф(ѳ)едорова, которому сочинитель «Мельника-Колдуна» одолженъ открытіемъ и развитіемъ своего поэтическаго генія. Это было давно—въ тѣ времена, когда въ «Дамскомъ Журналѣ» печатались нѣжныя посланія «къ

ней», «къ розѣ», «къ лимонамъ», апельсинамъ и дынямъ-мелонамъ, а въ «Благонамѣренномъ» помѣщались шарады и логогрифы. Въ тѣ достолюбезныя времена, господствовала страсть повсюду открывать и приголублнвать доморощенные русскіе таланты: русскихъ самоучекъ-астропомовъ и механиковъ, русскихъ музыкантовъ, и пуще всего поэтовъ. «Посмотрите, посмотрите», кричали тогда: «вотъ десятилѣтній мальчикъ, сынъ дьячка, грамотѣ не знаетъ, а самоучкою дѣлаетъ часы и въ механикѣ заткнетъ за поясъ любаго германскаго профессора. Вотъ стихи, сочиненные пахатнымъ крестьяниномъ, будущимъ Ломоносовымъ, будущимъ Бёрнсомъ». И всѣ радовались и умилялись; умилялись тому и мы, тогда еще малыя, неразумныя дѣти. Но особенно умилялся этимъ отраднымъ явленіемъ Б. М. Ф(О)едоровъ, со славою Горація любившій соединять славу Мецената. Тогда еще онъ не нисходилъ до дѣтскихъ повѣстей, которыя въ-послѣдствіи отпускалъ дюжинами и сотнями; тогда онъ въ одно и то же время вѣнчался сценическою славою за «Суматоху въ Маскарадѣ» и другія комедіи, въ «Дамскомъ Журналѣ» и «Благонамѣренномъ» печаталъ нѣжные стишки, большею частью воспѣвая цвѣты: розу, жасминъ, нарцисъ и даже резеду; обдумывалъ своего «Юлія Цезаря», трагедію высокую, а между-тѣмъ тапілъ въ душѣ мысль геніальную—создать русскій романъ историческій, т. е. «Курбскаго». Въ это время, въ русскихъ вѣсяхъ отдаленныхъ возникли Слѣпушкинъ, Сухановъ и Алипановъ—три самобытные таланта поэтическіе, будто цвѣты, одиноко благоухающіе. Всѣхъ ихъ отыскалъ и призрѣлъ Б. М. Ф(О)едоровъ, къ поэтической славѣ Россіи ревнующій.

Но гдѣ жь теперь эти таланты и гдѣ ихъ слава? Не знаемъ, здравствуютъ ли гг. Сухановъ и Слѣпушкинъ, или съ-добра-ума забыли наставленія своего пѣстуна, перестали писать и снова принялись за свои честныя и полезныя занятія. Только въ сердце г. Алипанова глубоко запали назиданія Б. М. Ф(О)едорова, и онъ, увлеченный примѣромъ и стихотворною доблестью своего учителя, до-сихъ-поръ нижетъ рифмы. Вотъ плоды полезныхъ наставленій! Твореніямъ г. Алипанова указывали на храмъ безсмертія, а вмѣсто того они попали въ мѣшки букинистовъ на макарьевскую ярмарку, въ руки деревенскихъ лакеевъ и т. д.

Размахнулъ батракъ руками,
Въ столъ ударилъ кулаками,
Крикнулъ: „Я жь вамъ докажу,
Что отъ мертвыхъ не дрожу,
И съ кольцомъ явлюсь предъ вами:
Пусть отвѣтятъ сапогами,
Кто останется не правъ,—
У тебя таковъ ли нравъ?“ (?!).
Споръ согласьемъ повершили: (?)
Дѣло сладили, скрутили,
Въ полу хлопнули полой; (?)
Какъ гора съ нихъ плечь долой.

Вотъ какіе стихи пишетъ нашъ доморощенный Бёрнсъ. Эти стихи, обверточная бумага, грязное изданіе и типографія Сычова обнаруживаютъ, что «Сказка о Мельникѣ-Колдунѣ» снискиваетъ въ вышеозначенной публикѣ славу... Чего жь больше?

*741. Разсказъ П. М. *Автора повѣсти: Мужъ подъ Башмакомъ и прочая.* Средство выдавать дочерей замужъ. *Санктпетербургъ. Въ тип. Штаба Отдѣльн. Корпуса Внутренней Стражи. 1843. Двѣ части. Въ 8-ю д. л. Въ I—26, во II—33 стр.* [135]).

Авторъ повѣсти «Мужъ подъ Башмакомъ» рѣшительно готовитъ себя въ Вальтеры Скотты: какъ тотъ долго былъ «великимъ незнакомцемъ» и подписывалъ на романахъ своихъ псевдонимъ: «авторъ Вавердея», такъ и г. П. М. всѣ творенія свои клеймитъ громкимъ псевдонимомъ «автора повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ». Въ театральныхъ аффишахъ вы читаете: «водевиль, сочиненіе автора повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ», въ газетныхъ объявленіяхъ видите: «Разсказъ автора повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ»,—вездѣ «Мужъ подъ Башмакомъ»—нашъ русскій «Вавердей», вездѣ авторъ его нашъ Россійскій Вальтеръ Скоттъ, которому онъ силится уподобиться и со стороны плодовитости. Дѣйствительно, не успѣете вы прочесть и забыть (это одновременно) одинъ его разсказъ, какъ онъ вамъ подноситъ другой, третій и... и наконецъ счетъ потеряешь... Вотъ и теперь фантазія его разразилась новымъ разсказомъ «Средство выдавать дочерей замужъ».

У чиновника Надувалина двѣ дочери, зрѣлыя дѣвы, которыхъ онъ всѣми мѣрами старается сбыть съ рукъ и не можетъ, потому-что приданаго за ними немного, а дочки смышляютъ выйдти за военныхъ, которые, по мнѣнію автора, любятъ только невѣстъ богатыхъ. Надувалинъ, по совѣту своего пріятеля, даетъ великолѣпный балъ, на который знакомая ему сваха привозитъ семерыхъ жениховъ; но ни одинъ изъ нихъ не понравился дочерямъ хозяина. Надувалинъ изъ-подъ руки распускаетъ слухъ, будто выигралъ въ прусскую лотерею огромную сумму, а вь-слѣдъ затѣмъ напечаталъ въ «Полицейской Газетѣ», что намѣренъ купить помѣстье цѣною отъ 200 до 250 тысячь. Два офицера, въ которыхъ были влюблены дочери Надувалина, попались на эту удочку и женились на нихъ...

Совершенно въ духѣ того низменнаго остроумія, которому мелкія плутни нашего средняго сословія доставляютъ обильные, хотя немногообразные матеріалы, а «Иванъ Выжигинъ» и водевили Александрынскаго-Театра служатъ образцами. Чѣмъ не остро вотъ хоть, напримѣръ, это: «Хорошенькому личику пріятно построить куры... Да вѣдь эти куры не снесутъ золотыхъ яицъ». Или: «Сегодня супъ съ незабудками да безе, завтра соусъ съ воспоминаніями да безе, послѣ завтра опять то же самое безе съ какими нибудь нѣжностями». Или: «Въ виду-то я имѣю (жениховъ); да при ихъ огромныхъ видахъ дочери

мои вовсе не видны».—Авторъ большой мастеръ вымышлять фамиліи для своихъ дѣйствующихъ лицъ. Офицеры у него—Разсчетливскій, Тротуаровъ и Шпягинъ, игроки—Червонновъ, Угловъ, Банковъ, Горкинъ, Вистовъ, Бостоновъ, Дурачковъ; Волтеровъ отпускаетъ остроты, а Загадкинъ загадываетъ на балу загадки въ родѣ слѣдующихъ:

Идетъ свинья изъ Питера,
Вся истыкана...

Pour la bonne bouche вотъ еще сцена, случившаяся на балѣ у Надувалина:

„Дошла очередь до Семги. Дама его была не изобрѣтательна на фразы (это было въ мазуркѣ; въ одной изъ фигуръ дамы говорили кавалерамъ фразы), за то говорила по-французски и на этомъ-то несносномъ для Семги языкѣ вздумала сказать:

A quel jour de la semaine sommes nous?

Семга выбралъ трехъ мужчинъ, которые также ни слова не понимали по-французски, а потому и неудивительно, что при этомъ вопросѣ всѣ встали въ тупикъ.

— Какъ-съ? спросилъ Семга, а дама повторила вопросъ.

— Что она говоритъ? спросили товарищи Семги.

— Передайте вопросъ, сказала дама Семгѣ.

— Какъ-съ?

A quel jour de la semaine sommes nous?

Минута была рѣшительная. Семга притворился, будто не понялъ(,) что рѣчь говорена была на французскомъ языкѣ, отвѣчалъ своимъ кавалерамъ:

Лакей сказалъ Семену: сомну!

Ну, какъ же не Вальтеръ Скоттъ? Совершенно его замашка!.. Не сомнѣваемся, что если авторъ повѣсти «Мужъ подъ Башмакомъ» будетъ продолжать занятія свои на избранномъ имъ достославномъ поприщѣ, то пойдетъ и дальше: превзойдетъ въ остроуміи и творческомъ талантѣ сочинителя «Выжигиныхъ», «Комаровъ», «Картинъ русскихъ нравовъ» и прочаго книжнаго тряпья.

742. Литературныя и журнальныя замѣтки. *Нѣсколько словъ „Москвитянину“* [136]).

Въ 6-й книжкѣ медленно-выходящаго «Москвитянина» помѣщено окончаніе разбора «Полной Русской Хрестоматіи» г. Галахова. Всѣмъ извѣстно, какъ косо смотритъ аристархъ московскаго журнала на эту книгу. Предоставляя самому г. Галахову раздѣлаться съ его раздражительнымъ противникомъ *),

*) Мы получили отъ г. Галахова письмо, въ которомъ онъ проситъ извѣстить читателей, что «по несвоевременному, запоздалому выходу 6-й книжки «Москвитянина» (17-го іюля вмѣсто 1-го іюня) онъ не могъ прислать отвѣта своего на 2-ю статью о его «Хрестоматіи», помѣщенную въ этой книжкѣ»; слѣдственно, отвѣтъ его будетъ напечатанъ въ будущей, 9-й книжкѣ «Отеч. Записокъ» [137]).

мы сами не можемъ не сдѣлать замѣтокъ на нѣкоторыя выходки г. Шевырева, устремленныя прямо на нашъ журналъ. У сего почтеннаго и достойнаго аристарха московскаго есть странная привычка—о чемъ бы ни говорилъ онъ, придирчиво касаться «Отечественныхъ Записокъ». Это, можно сказать, его манія, его болѣзнь. А что̀ у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. Изъ состраданія къ такому состоянію души почтеннаго критика московскаго, мы хотимъ откровеннымъ объясненіемъ способствовать къ прояснению его сознанія, нѣсколько затемненнаго, можетъ быть, раздражительностію и пристрастіемъ.

Г. Шевыревъ находитъ страннымъ, что г. Галаховъ ставитъ имя Лермонтова не только вмѣстѣ съ именемъ Карамзина, Крылова, Жуковскаго и Пушкина, но даже Шиллера и Гёте. По нашему мнѣнію, если можно съ именами Шиллера и Гёте ставить не только Пушкина, но и Жуковскаго, и Крылова, и Карамзина,—то г. Галаховъ правъ, поставивъ вмѣстѣ съ ними имя Лермонтова. И ужь конечно, имя поэта Лермонтова скорѣе можетъ быть поставлено съ именами поэтовъ—Шиллера и Гёте, чѣмъ имя Карамзина, отличнаго литератора, извѣстнаго историка, но нисколько не поэта. Не-уже-ли это не извѣстно г. Шевыреву?..

Вслѣдъ за этимъ страннымъ упрекомъ, г. Шевыревъ начинаетъ оправдываться передъ *своими читателями* (вѣроятно, предполагая, что у «Москвитянина» есть читатели) въ посягательствѣ на славу молодаго поэта, т. е. Лермонтова. «Мы» говоритъ онъ, «знаемъ, что Россія лишилась въ немъ одной изъ лучшихъ надеждъ молодаго поколѣнія. Мы съ радостью привѣтствовали прекрасное его дарованіе; не признавали только направленія въ нѣкоторыхъ піесахъ, но увѣрены были, что оно измѣнилось бы въ послѣдствіи потому, что не представляло ничего оригинальнаго, отзывалось очевиднымъ подражаніемъ, свойственнымъ всякому молодому таланту при началѣ его поприща». Всѣмъ извѣстно, что въ свое время г. Шевыревъ даже взялъ на себя трудъ показать, *кому* именно подражалъ Лермонтовъ, и открылъ, съ свойственною ему критическою проницательностію, что Лермонтовъ подражалъ не только Пушкину и Жуковскому но даже и господину Бенедиктову!!. Въ доказательство удивительной способности г. Шевырева открывать духъ подражательности тамъ, гдѣ нѣтъ его и тѣни, указываемъ кстати-высказанное имъ въ этой же статьѣ мнѣніе, будто бы Лермонтовъ въ «Мцыри» подражалъ—Жуковскому!.. Любопытно бы знать, *какая* изъ пьесъ Жуковскаго послужила Лермонтову образцомъ для его «Мцыри»? Жаль, что г. Шевыревъ оставилъ насъ въ недоумѣніи касательно этого любопытнаго вопроса...

Почему же особенно негодуетъ г. Шевыревъ на упоминовеніе имени Лермонтова вмѣстѣ съ именами нѣкоторыхъ нашихъ писателей старой школы?—потому-что Лермонтовъ рано умеръ, а тѣ таки довольно пожили на свѣтѣ и успѣли написать и напечатать все, что̀ могли и хотѣли. Вотъ по истинѣ странный критеріумъ для измѣренія достоинства писателей относительно

другъ къ другу! Помилуйте: Грибоѣдовъ написалъ одну только комедію, да и ту несовершенную, какъ первый опытъ его самобытнаго творчества: неужели же Грибоѣдовъ, какъ поэтъ не выше, наприм., Озерова, написавшаго пять трагедій и нѣсколько мелкихъ пьесъ? Безъ сомнѣнія, неизмѣримо-выше, потому-что, судя по пяти трагедіямъ, можно знать, что Озеровъ ничего не написалъ бы великаго, тогда какъ, судя по «Горе отъ Ума», нельзя ни опредѣлить, ни измѣрить высоты, на которую могъ бы подняться огромный талантъ (мы не побоимся сказать—даже геній) Грибоѣдова. Лермонтовъ написалъ немного, но въ этомъ немногомъ видно очень многое. Если г. Шевыревъ не видитъ этого,—мы не споримъ съ нимъ, ибо, въ дѣлѣ *личнаго* вкуса спора быть не можетъ; но зачѣмъ же г. Шевыревъ непремѣнно хочетъ, чтобъ его *личный* вкусъ былъ нормою для вкуса всѣхъ и каждаго, и зачѣмъ же онъ смотритъ чуть-чуть не какъ на уголовнаго преступника—на всякаго, кто хочетъ имѣть свой вкусъ, независимо отъ личнаго вкуса его, г. Шевырева? Всякое достоинство, всякая сила *спокойны*, именно потому, что увѣрены въ самихъ себѣ: онѣ никому не навязываются, никому не напрашиваются, но, идя своимъ ровнымъ шагомъ, не оборачиваются назадъ, чтобъ видѣть, клапяются ли имъ другіе. Только раздражительное литературное самолюбіе раздувается и пыхтитъ, чтобъ его слушали и съ нимъ соображались, а видя, что его не замѣчаютъ и идутъ своею дорогою, кричитъ «слово и дѣло!». Это не сила, а безсиліе,—не достоинство, а мелочность... Здѣсь кстати замѣтить, въ какомъ еще дѣтскомъ состояніи находится русская литература и критика: спорятъ и кричатъ о томъ, зачѣмъ такъ, а не иначе размѣщены имена писателей, а не разсуждаютъ объ истинномъ значеніи этихъ именъ. Слѣдя за рядомъ мыслей г. Шевырева, мы должны поблагодарить его за повтореніе нѣкоторыхъ мыслей, впервые высказанныхъ по-русски въ нашемъ журналѣ, каковы слѣдующія: что Жуковскій внесъ романическую стихію въ нашу поэзію; что Пушкинъ воспринялъ въ себя все приготовленное предшественниками и творчески внесъ полное сознаніе народнаго духа въ поэзію. Правда, эти наши мысли не далеко разнесутся столь мало читаемымъ журналомъ, каковъ «Москвитянинъ», но все же мы благодарны г. Шевыреву и за внимательное изученіе критическихъ страницъ нашего журнала и за совѣстливое повтореніе ихъ, безъ всякаго искаженія. Однако жь, мы еще были бы благодарнѣе г. Шевыреву, еслибъ онъ указывалъ на *источники*, которыми иногда пользуется въ своихъ статьяхъ и которымъ онъ обязанъ хорошими мѣстами и мыслями своихъ статей.

Г. Шевыревъ настаиваетъ на томъ, что въ Лермонтовѣ не было ничего оригинальнаго: дѣло его *личнаго* вкуса, и мы опять не споримъ! Но не можемъ не замѣтить снова, что напрасно г. Шевыревъ симптомы своего личнаго вкуса хочетъ выдать, во что бы то ни стало, за норму общаго здороваго вкуса. Онъ называетъ «Пѣсню про Царя Ивана Васильевича, Молодаго Опричника и Удалаго Купца Калашникова» лучшимъ произведеніемъ Лермонтова; а

характеры Мцыри и Печорина призраками. Можетъ-быть, г. Шевыревъ и правъ, думая такъ; но можетъ быть, правы и другіе, думая не такъ. Вотъ, напримѣръ, мы осмѣливаемся думать, что пьеса эта есть юношеское произведеніе Лермонтова, и что никогда бы онъ не обратился болѣе къ пьесамъ такого содержанія. Кто читалъ Кошихина, тотъ не повѣритъ *исторической* правдоподобности «Пѣсни», особенно, если сличить ее съ тою пѣснію въ сборникѣ Кирши Данилова, которая подала Лермонтову поводъ вписать его «Пѣсню» и которая называется «Мастрюкъ Темрюковичъ»... Говоря о «Пѣснѣ» Лермонтова, г. Шевыревъ видитъ въ ней, между прочимъ, выраженіе «иронін власти, какъ исторической черты въ характерѣ Іоанна Грознаго»: эта мысль намъ кажется справедливою; но хвалить ее не смѣемъ, ибо впервые она была высказана въ «Отечественныхъ Запискахъ»...

До-сихъ-поръ г. Шевыревъ только излагалъ свои мысли, выдавая ихъ съ нѣсколько-раздражительною настойчивостью за несомнѣнно-истинныя; но теперь онъ начинаетъ сердиться и браниться. Ни-съ-того, ни-съ-сего, переходитъ онъ вдругъ къ какимъ-то «литературнымъ промышленникамъ, которые, имѣя въ рукахъ своихъ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова, подъ именемъ его же *(подъ его же именемъ?)* печатаютъ множество пустыхъ стиховъ». Обвиненіе немножко-рѣзкое и несовсѣмъ вѣжливо и прилично-выраженное! Слѣдовало бы доказать его фактами, перечисливъ по-именно это «множество пустыхъ стихотвореній, подъ именемъ Лермонтова печатаемыхъ». Недавно въ «Отечественныхъ Запискахъ» напечатано было *девять* стихотвореній, изъ которыхъ *восемь* до того превосходны, что и безъ подписи имени автора всѣ люди съ эстетическимъ вкусомъ признали бы ихъ за стихотворенія Лермонтова. Не-уже-ли же г. Шевыревъ судитъ о достоинствѣ стихотвореній и узнаётъ, кѣмъ они написаны, только по подписи имени?.. Нѣтъ, это что-то не такъ! А вотъ и доказательство: вслѣдъ же за тѣмъ, г. Шевыревъ увѣряетъ, будто бы «одинъ журналъ, обанкрутившійся стихотворцами, обѣщаетъ намъ продолженіе стихотвореній лермонтовскихъ безконечное» (надобно было бы правильнѣе сказать по-русски: обѣщаетъ намъ безконечное продолженіе лермонтовскихъ стихотвореній) «до тѣхъ поръ, пока не создастъ себѣ живаго поэта на прокатъ, для подкраски своей нескончаемой французско-русской прозы (?)». Какой же это журналъ, г. Шевыревъ?—Но вы не можете отвѣтить на нашъ вопросъ, ибо вы сочинили, выдумали этотъ журналъ... Выдумывать неправду—не значитъ ли сердиться? Сердиться—не значитъ ли сознавать себя неправымъ, и, за свою вину, бранить другихъ?.. Не хорошо!.. Но это еще не все: гнѣвное вдохновеніе раздраженнаго московскаго критика создаетъ новые призраки, чтобъ было ему надъ кѣмъ показать свою храбрость, достойную манчжскаго витязя... *Этотъ* же журналъ, по словамъ г. Шевырева, «самою позорною клеветою чернитъ совѣсть покойнаго поэта передъ глазами всей русской публики, и не въ шутку увѣряетъ ее, что русская поэзія въ лицѣ Лермонтова въ первый разъ вступила въ самую тѣс-

ную дружбу, съ кѣмъ бы вы думали?.. съ чёртомъ!»—«Такой чертовщины (прибавляетъ г. Шевыревъ) еще никогда не бывало ни въ русской литературѣ, ни въ русской критикѣ!»... Это ужь слишкомъ! Подумалъ ли г. Шевыревъ объ этихъ словахъ, прежде чѣмъ сорвались они съ его пера, вѣроятно, «въ минуту жизни трудную» для него?.. Какъ! не-уже-ли плоскую шутку, или умышленное непониманіе чужихъ словъ—тоже считаетъ онъ въ числѣ оружій противъ своихъ противниковъ? Дѣлая такую важную денонсіацію на нихъ, почему не почелъ онъ за нужное, и даже необходимое, выписать ихъ собственныя слова, какъ это дѣлаютъ всѣ добросовѣстные критики?.. «Наконецъ (говоритъ еще г. Шевыревъ) промышленники-книгопродавцы, вслѣдъ за промышленниками-журналистами, издаютъ три тома стихотвореній Лермонтова, и въ числѣ ихъ всѣ школьныя тетради покойнаго, всѣ тѣ поэмы и драмы, отъ которыхъ онъ со стыдомъ отрекся бы, если бы былъ живъ,—и все это дѣлается подъ личиною уваженія къ поэту, *а на самомъ дѣлѣ изъ однихъ корыстныхъ и низкихъ цѣлей*, чтобы только именемъ Лермонтова привлекать невѣжественныхъ подписчиковъ и читателей». Подобныя обвиненія читали уже мы въ «Библіотекѣ для Чтенія»,—и вотъ ихъ повторяетъ знаменитый критикъ, какъ-будто въ оправданіе французской пословицы: les beaux esprits se rencontrent. Но основательны ли эти обвиненія? Не внушены ли они какимъ нибудь другимъ чувствомъ—напримѣръ, завистью—видѣть стихотворенія Лермонтова сперва въ непріязненномъ журналѣ, а потомъ отдѣльно-изданными, стало быть никогда не видѣть ихъ въ своемъ журналѣ?.. Какъ! Не-уже-ли Лермонтовъ могъ написать что-нибудь такое, что̀ не сто́яло бы печати, или могло оскорбить вкусъ публики, явившись въ печати? Кромѣ одного, или, много, двухъ мелкихъ стихотвореній, по нашему убѣжденію, въ этихъ трехъ томахъ не найдется ни одного, которое было бы незначительно и не было въ тысячу разъ лучше лучшихъ стихотвореній, напримѣръ, гг. Языкова, Хомякова и Бенедиктова и tutti quanti—этихъ вѣчныхъ предметовъ критическаго удивленія г. Шевырева, который когда-то самъ писалъ стишонки немногимъ развѣ хуже ихъ?.. Такая поэма, какъ «Бояринъ Орша», неужели—не болѣе, какъ школьная тетрадь? И притомъ, по какому праву, на какомъ основаніи настаиваетъ г. Шевыревъ, чтобъ желаніе почитателей таланта Лермонтова—имѣть у себя каждую строку его—было преступно, равно какъ и желаніе издателей Лермонтова удовлетворить этому желанію большей части русской публики? Мало ли чего не напечаталъ бы самъ Лермонтовъ: вѣдь и Пушкинъ не напечаталъ бы, при жизни своей, лицейскихъ стихотвореній; но кто же не благодаренъ издателямъ за помѣщеніе ихъ въ полномъ собраніи его сочиненій? Г. Шевыревъ говоритъ: «Любопытна для исторіи военная школа Наполеона: но не имѣетъ она значенія въ жизни молодаго генерала, сраженнаго почти на первомъ шагу своего военнаго поприща». Но еслибъ этотъ генералъ былъ Наполеонъ послѣ итальянской компаніи? Для г. Шевырева сдѣланное Лермонтовымъ кажется только

замѣчательнымъ, а намъ оно кажется великимъ; г. Шевыреву кажется, что мы ошибаемся, а намъ кажется, что онъ ошибается: изъ чего жъ тутъ браниться, и не-уже-ли безъ брани нельзя оставаться и той и другой сторонѣ при своихъ убѣжденіяхъ? Мало того, что г. Шевыревъ *печатно* называетъ журналиста, печатавшаго въ своемъ журналѣ стихи Лермонтова, и при жизни и по смерти поэта,—*журналистомъ-промышленникомъ*, но даже позволяетъ себѣ сомнѣваться въ его уваженіи къ поэту и приписывать ему низкія и корыстныя цѣли... И противъ кого же онъ пишетъ это?—противъ журнала, который о немъ не позволитъ себѣ такъ писать, хотя и могъ бы высказать ему много жосткихъ истинъ не совсѣмъ-то здоровыхъ для литературной репутаціи г. Шевырева... Далѣе, г. Шевыревъ видитъ какихъ-то необыкновенныхъ поэтовъ въ гг. Языковѣ, Бенедиктовѣ и Хомяковѣ, особенно въ послѣднемъ; наше мнѣніе о снхъ господахъ діаметрально-противоположно его мнѣнію: мы не видимъ въ нихъ никакихъ поэтовъ, особенно въ послѣднемъ; но тѣмъ не менѣе вѣримъ, что г. Шевыревъ восхищается ими gratis, не изъ какихъ-нибудь корыстныхъ и низкихъ цѣлей... Г. Шевыревъ видѣлъ въ Лермонтовѣ подражателя г. Бенедиктову; г. Павлова ставитъ онъ выше Гоголя; у поэзіи Жуковскаго и Пушкина отнималъ честь мысли и приписывалъ ее, на ихъ счетъ, г. Бенедиктову,—и мы вѣримъ, что все это дѣлалъ онъ безъ всякаго злостнаго умысла, а такъ, отъ доброты сердца, и съ самымъ простодушнымъ убѣжденіемъ...

Въ доказательство, какъ иногда опасно свой личный вкусъ выдавать за общій, и какъ, въ этомъ отношеніи, не всякому слѣдуетъ быть слишкомъ-смѣлымъ,—обращаемъ вниманіе читателей на то, что г. Шевыревъ находитъ дурными эти превосходные стихи Лермонтова, представляющіе въ себѣ живую и раскошную картину Кавказа:

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ гранъ алмаза,
Снѣгами вѣчными сіялъ;
И, глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ;
И Терекъ, прыгая, какъ львица,
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ; и *хищный звѣрь, и птица,*
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали;
И золотыя облака,
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головой,
Слѣдя мелькающія волны;

И башни замковъ на скалахъ,
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны!

Г. Шевыревъ видитъ тутъ подражаніе Марлинскому, и ужасно радъ грамматической неловкости, въ-слѣдствіе которой безграмотному читателю,—но только безграмотному,—можетъ показаться, что *хищный звѣрь кружится вмѣстѣ съ птицею въ лазурной высотѣ*... Г. Шевыревъ видитъ отсутствіе *полнаго грамматическаго смысла* въ этихъ чудныхъ стихахъ Лермонтова:

А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и *помнилъ я:*
Кольчуги звонъ и блескъ ружья,
И гордый, непреклонный взоръ,
И молодыхъ моихъ сестеръ...

Съ грамматическою указкою не мудрено доказать ничтожество стиховъ не только Державина, но и Жуковскаго и Пушкина, что́ и дѣлывали, бывало, педанты добраго стараго времени.

Въ числѣ важныхъ обвиненій на издателя «Новой Хрестоматіи», г. Шевыревъ приводитъ его предпочтеніе Кольцову передъ лучшими (?) нашими «лириками современными—Языковымъ и Хомяковымъ». Это несправедливо: гг. Языковъ и Хомяковъ давно уже не лучшіе и не современные лирики; оба они пишутъ теперь мало и рѣдко, и оба пишутъ, какъ писали назадъ тому около двадцати лѣтъ. Кольцовъ, безъ всякаго сомнѣнія, неизмѣримо-выше ихъ уже потому только, что онъ былъ истинный поэтъ по призванію, между-тѣмъ какъ они только звучные версификаторы, особенно послѣдній. Г. Шевыревъ говоритъ: «Въ Кольцовѣ весьма замѣчательна была наклонность къ философско-религіозной думѣ, которая таится въ простонародіи русскомъ». Неправда: гдѣ доказательства этого элемента въ нашемъ простонародіи? Ужь не въ народной ли русской поэзіи, гдѣ его нѣтъ ни слѣда, ни признака? Кольцовъ потому и имѣлъ наклонность къ философско-религіозной думѣ, что самобытнымъ стремленіемъ своей мощной натуры совершенно оторвался отъ всякой нравственной связи съ простонародьемъ, среди котораго возросъ. Г. Шевыревъ, считая по пальцамъ слоги и ударенія въ стихахъ Кольцова, не замѣтилъ, что ихъ метръ совершенно особенный, образованный по метру народныхъ пѣсенъ, но принадлежавшій собственно Кольцову. Пропускаемъ безъ вниманія бранчивыя выраженія г. Шевырева, излившіяся изъ досады, что Кольцовъ выбралъ себѣ знакомства не по рекомендаціи г-на Шевырева и держался не его литературной партіи.

Говоря о помѣщеніи въ «Хрестоматію» переводныхъ пьесъ г. Струговщикова, г. Шевыревъ вспоминаетъ, что въ «Римскихъ Элегіяхъ» Гёте, пере-

веденныхъ г. Струговщиковымъ, не было правильнаго пентаметра. Положимъ, что и такъ: но развѣ въ этомъ дѣло, а не въ вѣрной поэтической передачѣ подлинника? Мы уже не говоримъ о томъ, что г. Струговщиковъ не хуже г. Шевырева знаетъ метрику; но какъ же начинать свои привязки съ метра? Г. Шевыреву кажется, что покойный И. И. Дмитріевъ лучше г. Струговщикова передалъ пьесу Гёте, названную имъ «Размышленіемъ по случаю грома», —и потомъ самъ же прибавляетъ, что Дмитріевъ далъ пьесѣ другое значеніе, уклоняясь отъ пиѳеистической мысли Гёте... Шутка! Послѣ этого переводъ Дмитріева, разумѣется, есть болѣе искаженіе, чѣмъ переводъ.

Г. Шевыревъ ниже всего низкаго поставилъ прекрасную пьесу г. Огарева «Ноктурно»,—и по-дѣломъ: зачѣмъ г. Огаревъ печатаетъ свои стихотворенія въ «Отеч. Запискахъ», а не въ «Москвитянинѣ»! Г. Шевыревъ называетъ повѣсти г. Панаева—«Дочь Чиновнаго Человѣка» и «Бѣлую Горячку» дюжинными повѣстями, годными только на пустыя страницы журналовъ: опять та же причина дурнаго расположенія московскаго критика и его пристрастнаго сужденія о повѣстяхъ г. Панаева—та же причина, т. е. «Отеч. Записки»! И за что бы такъ почтенному критику сердиться на нашъ журналъ, столь изобильный хорошими и даже *типическими* произведеніями по части повѣствовательной?..

Далѣе, опять встрѣчаемъ негодованіе московскаго критика за предпочтеніе, отданное г. Галаховымъ Кольцову передъ гг. Языковымъ и Хомяковымъ. Мы тоже съ этой стороны не совсѣмъ довольны издателемъ «Хрестоматіи»: ему бы совсѣмъ не слѣдовало помѣщать пьесы гг. Языкова и Хомякова, особенно послѣдняго: зачѣмъ пріучать мальчиковъ къ фразёрству и пустотѣ мыслей въ гладкихъ стихахъ? Г. Шевыревъ удивляется, что г. Галаховъ русскимъ пѣснямъ Кольцова отдаетъ преимущество передъ русскими пѣснями Дельвига: странное удивленіе! Да кто же не чувствуетъ и не знаетъ, что русскія пѣсни забытаго Дельвига столько же русскія, сколько, напр., идилліи г-жи Дезульеръ теокритовскія; тогда-какъ пѣсни Кольцова горятъ и трепещутъ, насквозь проникнутыя русскимъ чувствомъ, русскою душою?..

Заключимъ наши замѣтки указаніемъ на странную выходку г. Шевырева противъ «Похвальнаго слова Петру Великому» почтеннаго профессора А. В. Никитенко, этого образцоваго произведенія, полнаго здравыхъ мыслей, краснорѣчія и отличающагося изящнымъ языкомъ. Московскаго критика возмутила слѣдующая мысль въ «Словѣ» г. Никитенко: «Но еслибъ и самый утонченный разсчетливый эгоизмъ вздумалъ спросить, что каждый изъ насъ почерпнулъ на свою долю въ новомъ порядкѣ вещей? Мы отвѣчали бы: честь существовать по-человѣчески и облаготворять свое существованіе всѣми нашими силами матеріальными и нравственными». Г. Шевыревъ испещряетъ эти строки г. Никитенко и курсивомъ и вопросительными знаками въ скобкахъ, а потомъ доноситъ... читателю, что «это и неприлично, и безнравственно въ смыслѣ религіозномъ и патріотическомъ, и исторически-ложно»!.. Это, изволите ви-

дѣть, называется *критикою* у г. Шевырева!.. А между тѣмъ, онъ же, г. Шевыревъ, очень-наивно находитъ сравненіе Петра съ Богомъ, сдѣланное Ломоносовымъ, нисколько не гиперболическимъ!.. «Неужели же Русскій народъ до Петра Великаго не имѣлъ чести существовать по-человѣчески?» вопіетъ г. Шевыревъ. Если *человѣческое* существованіе народа заключается въ жизни ума, науки, искусства, цивилизаціи, общественности, гуманности въ нравахъ и обычаяхъ, то существованіе это для Россіи начинается съ Петра Великаго,—смѣло и утвердительно отвѣчаемъ мы г. Шевыреву. Да и кто въ этомъ не увѣренъ, вмѣстѣ съ ораторомъ, который во всей рѣчи своей имѣлъ одну цѣль—показать, чѣмъ обязаны мы Петру, какъ просвѣтителю своему. Въ справедливости нашей мысли ссылаемся на любимые авторитеты г. Шевырева, и на Карамзина въ-особенности. Петръ-Великій—это новый Моисей, воздвигнутый Богомъ для изведенія русскаго народа изъ душнаго и темнаго плѣна азіатизма... Петръ-Великій—это путеводная звѣзда Россіи, вѣчно-долженствующая указывать ей путь къ преуспѣянію и славѣ... Петръ-Великій—это колоссальный образъ самой Руси, представитель ея нравственныхъ и физическихъ силъ... Нѣтъ похвалы, которая была бы преувеличена для Петра-Великаго: ибо онъ далъ Россіи свѣтъ и сдѣлалъ Русскихъ людьми.. Г. Никитенко развиваетъ въ своей рѣчи эти же самыя мысли—и за одинъ то изъ самыхъ простыхъ логическихъ изъ нихъ выводовъ г. Шевыревъ дѣлаетъ ему упреки, которые не знаемъ, какъ и назвать; знаемъ только, что они въ высшей степени неприличны и нелѣпы. Пусть читатели сами разсудятъ, какое можно имѣть довѣріе къ критику, который такъ понимаетъ и толкуетъ разбираемыхъ имъ писателей...

Скажемъ въ заключеніе, что грустное зрѣлище представляетъ собою литература и критика, гдѣ считающіе себя представителями науки и просвѣщенія—или занимаются мелкими и пустыми вопросами, или на важные вопросы набрасываютъ тѣнь подозрительныхъ и двусмысленныхъ намековъ, готовые каждаго, кто не раздѣляетъ ихъ мнѣній, выставить какимъ-то противосмысленнымъ общему порядку явленіемъ... И между тѣмъ, они-то первые и кричатъ противъ дурнаго тона, неприличной брани, грубаго неуваженія къ чужимъ мнѣніямъ, необразованной нетерпимости къ чужому убѣжденію, о безъимянныхъ рыцаряхъ, о желтыхъ перчаткахъ... Милостивые государи! хотѣли бы мы сказать имъ: передъ вами ваши громкія имена, гражданскія и литературныя; умѣйте же поддержать предполагаемый вами блескъ, умѣйте заставить уважать свое достоинство, уважая сами достоинство другихъ; передъ вами ваши желтыя перчатки—не марайте же ихъ грязью мелкой журнальной брани и неприличныхъ выходокъ мелкаго и раздражительнаго самолюбія...

*743. **Исповѣдь.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Крайя. 1843. Въ 8-ю д. л. 24 стр.* [138]).

Какой-то неизвѣстный господинъ считаетъ нужнымъ довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что онъ въ молодости учился въ школѣ горестей, рано встрѣтилъ скорбь души и немощь тѣла, потомъ

...Слезы дѣтства наградилъ
Пирами юности безпечной,
И въ жизни краткой, быстротечной
Наполнилъ, вспѣнилъ и испилъ
Онъ чашу *сладкихъ наслажденій.*

Потомъ,

Безвременно лишенный силъ,
Онъ палъ страстей ужасныхъ жертвой.
Еще полвѣка не дожилъ;
А весь изсохъ—и полумертвый.

Какое же дѣло до этого публикѣ? Мы съ великимъ любопытствомъ прочитали бы назидательную исповѣдь страдальца, который *палъ страстей ужасныхъ жертвой;* но для этого нужно, чтобъ въ этой исповѣди рѣшались какіе нибудь общіе вопросы, чтобъ въ ней мы видѣли развитіе и ходъ этихъ «ужасныхъ страстей», или, по крайней мѣрѣ, чтобъ обыкновенныя происшествія высказывались въ ней хорошими стихами. Ничего этого нѣтъ въ «Исповѣди», авторъ которой (великій грѣшникъ, по собственному его признанію) прибавляетъ къ своимъ грѣхамъ еще одинъ грѣхъ—литературный.

*744. **Исторія похода 1815 года.** *Сочиненіе прусской службы майора* **фонъ-Дамица.** *Съ примѣчаніями дивизіоннаго генерала старой арміи французской. Перевелъ съ французскаго генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ* **Хатовъ I й.** *Томъ II-й. Санктпетербургъ. Въ Военной тип. 1843 г. Въ 7-ю д. л. 396 стр.* [139]).

Въ этомъ томѣ изображены послѣднія сцены колоссальной драмы, разъигранной на поляхъ ватерлооскихъ. И какъ страшно-поразительны эти сцены! Солдаты старой французской гвардіи кричатъ: «гвардія умираетъ, но не сдается», и падаютъ подъ выстрѣлами напирающаго непріятеля; самъ полководецъ бѣжитъ къ стѣнамъ Парижа; между тѣмъ, побѣдители вторгаются въ самую Францію, и передъ ними падаетъ тройной рядъ крѣпостей, оберегающихъ сѣверные ея предѣлы. Начинается непрерывный рядъ ежедневныхъ битвъ, ничтожныхъ въ-сравненіи съ ватерлооскою, но всегда гибельныхъ для французской арміи: она, утомленная, упадшая духомъ, предводимая вождями, которые уже таятъ въ душѣ измѣну, быстро отступаетъ и приводитъ союзниковъ къ самымъ стѣнамъ столицы. Между-тѣмъ, тучи войскъ австрійскихъ и русскихъ несутся къ восточнымъ границамъ Франціи, народъ ея,

волнуемый различными партіями, теряетъ довѣренность къ своему любимцу. Наполеонъ, когда-то предписывавшій законы Европѣ и презиравшій Англію, у нея же проситъ защиты и покровительства. И Парижъ, вторично отворяющій ворота союзнымъ арміямъ, и корабль, везущій человѣка судьбы на пустынную скалу, и эта тѣнь величія, несчастный Наполеонъ II, мгновенный императоръ, даже невидавшій своей короны, и этотъ Нэй, храбрѣйшій изъ храбрыхъ, разстрѣляпный, можетъ быть, тѣми же самыми солдатами, которыхъ онъ водилъ къ побѣдамъ и спасалъ отъ гибели... и всѣ эти огромныя событія совершились менѣе нежели въ три мѣсяца!

Но не яркою кистію романиста, а холоднымъ перомъ военнаго историка и критика описываетъ фонъ-Дамицъ эти происшествія. Мелкія ошибки ротъ и эскадроновъ, осады ничтожныхъ крѣпостей, переходы съ одного мѣста на другое, распоряженіе начальства, отчеты въ числѣ убитыхъ и раненыхъ, хотя бы число ихъ простиралось до двухъ или трехъ десятковъ,—ничего этого не оставляетъ онъ безъ вниманія въ своей книгѣ, немаловажной въ стратегическомъ отношеніи и назидательной для военныхъ людей. Мѣстами онъ присоединяетъ критическія разсужденія и замѣчанія, и здѣсь-то нельзя не упрекнуть его въ нѣкоторомъ пристрастіи къ подвигамъ своихъ соотечественниковъ. Замѣтки французскаго генерала, кое гдѣ разбросанныя въ «Исторіи похода 1815 года», доказываютъ это на дѣлѣ. Вездѣ виденъ истый пруссакъ, для историка слишкомъ-ревностный къ славѣ своего героя, Блюхера, котораго онъ вездѣ выказываетъ на первомъ планѣ, оставляя въ тѣни прочихъ его сподвижниковъ.

* 745. **Библіотека Хозяйственныхъ и Коммерческихъ Знаній.** *Коммерческая Статистика. Двѣ книжки. Санктпетербургъ. Въ тип. Фишера. 1843. Въ 8-ю д. л. Въ 1-й кн. 197, во 2-й 194 стр.* [140]).

Въ двухъ вышедшихъ книжкахъ этого изданія помѣщено только обозрѣніе океановъ и морей, тщательно и очень-подробно составленное редакторомъ «Библіотеки» г. Небольсинымъ. Негоціанты и преподаватели коммерческихъ знаній, которымъ мы рекомендуемъ эту книгу, найдутъ здѣсь отчетливыя, по возможности точныя свѣдѣнія о положеніи всѣхъ прибрежныхъ странъ въ торговомъ отношеніи, о состояніи всѣхъ примѣчательныхъ портовъ и острововъ, о предметахъ отпуска и привоза, о движеніи судоходства и о состояніи торговли вообще въ главныхъ портовыхъ городахъ. Желая ознакомить нашихъ читателей съ объемомъ статей, заключающихся въ «Библіотекѣ», и способомъ ихъ изложенія, выписываемъ одну изъ нихъ:

«Датскія колоніи въ Гренландіи, заведенныя съ 1721 года, находятся на югозападномъ берегѣ этой страны, образующей самый сѣверовосточный край Америки. Сѣверныя границы Гренландіи донынѣ еще неизвѣстны; за-

падный берегъ ея не такъ окруженъ льдами, какъ восточный; внутренняя часть гориста, покрыта снѣгами и льдами. На югѣ произрастаютъ береза, ива и ольха, въ видѣ кустарниковъ; тамъ воздѣлываютъ картофель и нѣкоторыя овощи; но далѣе къ сѣверу растутъ только ложечникъ, можжевельникъ и нѣкоторые другіе кустарники, и наконецъ родятся одни лишены и мхи. Зима даже на югѣ продолжительна и сурова; берегъ свободенъ отъ льда не болѣе 3-хъ или 4-хъ мѣсяцевъ; но въ кратковременное лѣто жары бываютъ очень сильны. Продуктовъ весьма не много: открыты признаки мѣдной руды; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть каменный уголь, сѣра, азбестъ, горный хрусталь, мраморъ и др. При недостаткѣ лѣса топливомъ служатъ каменный уголь, кости, иловучія деревья. Рыбы и морскія птицы находятся въ изобиліи. Тюлень удовлетворяетъ почти всѣмъ потребностямъ Гренландцевъ: шкура его служитъ для ихъ одежды и прикрытія хижинъ, мясо употребляютъ въ пищу, жиръ для освѣщенія. Китъ доставляетъ также большую пользу; но Гренландцы промышляютъ его только съ помощію Европейцевъ; англійскія, датскія, нѣмецкія, голландскія и французскія суда приходятъ для китоваго лова къ обоимъ берегамъ Гренландіи. Изъ дикихъ животныхъ водятся здѣсь олени, зайцы, лисицы, бѣлые медвѣди и множество птицъ. Въ сѣверныхъ мѣстахъ собака есть обыкновенное домашнее животное, употребляемое, какъ въ Сибири для ѣзды на саняхъ. Въ датскихъ колоніяхъ держатъ рогатый скотъ и овецъ въ небольшомъ количествѣ.—Изъ Гренландіи вывозятся: тюлени, лисьи и оленьи шкуры, гагачій пухъ, ворвань, китовый усъ и рыба.

«Къ западу отъ Гренландіи простирается часть Сѣверной Америки, подобная ей по климату и почвѣ и извѣстная только по прибрежнымъ землямъ и островамъ, открытымъ мореходцами у Гудзонова и Баффинова заливовъ и далѣе на сѣверъ, гдѣ господствуетъ почти вѣчная зима, такъ-что море не всегда даже въ самые жаркіе лѣтніе мѣсяцы, бываетъ свободно отъ льдовъ, и потому невозможно проложить кораблямъ путь изъ Баффинова залива черезъ Ледовитое море и Беринговъ проливъ въ Великій Океанъ. -Все обширное пространство Сѣверной Америки между Беринговымъ Моремъ, Восточнымъ океаномъ и Гудзоновымъ Заливомъ, извѣстно подъ названіемъ независимыхъ Индѣйцевъ.—По прибрежьямъ находятся россійскія и англійскія колоніи.»

Изданіе могло бы быть гораздо-поопрятнѣе; особенно избитый шрифтъ, которымъ напечатана «Библіотека», мало говоритъ въ пользу *привилегированной* типографіи г. Фишера.

* 746. Сочиненія Зенеиды Р-вой. *Санктпетербургъ. Въ тип. Константина Жернакова. 1843. Четыре части. Въ 12-ю д. л. Въ 1 части 418, во II—435, въ III—352, въ IV—674 стр.* [141]).

Въ этихъ четырехъ довольно-толстыхъ и плотно-напечатанныхъ томахъ собрано все, что было написано даровитою Зенеидою Р-вою, и издано по ея собственноручнымъ рукописямъ безъ поправокъ и своевольныхъ измѣненій людей, которые, не имѣя силы возвыситься до постиженія таланта знаменитой писательницы, имѣли столько самонадѣянности, что осмѣлились поправлять ее. Между русскими писательницами нѣтъ ни одной, которая до-

стигла бы такой высоты творчества и идеи, и которая, въ то же время, до такой степени отразила бы, въ своихъ сочиненіяхъ, всѣ недостатки, свойственные русскимъ женщинамъ-писательницамъ, какъ покойная Зенеида Р-ва. Кто понимаетъ, что сильные таланты всегда выражаются въ крайностяхъ—почему они въ высшей степени обнаруживаютъ и достоинства и недостатки своей эпохи и своего общества,—кто понимаетъ, что только геніи свободны отъ послѣднихъ и владѣютъ первыми, тотъ не найдетъ никакого противорѣчія въ нашемъ сужденіи о талантѣ Зенеиды Р-вой. Впрочемъ, не желая оставить въ недоразумѣніи и тѣхъ, кому слова наши могли бы показаться неясными, и въ то же время желая воздать должную дань вниманія такому высокому и яркому таланту, какимъ обладала Зенеида Р-ва,—мы поговоримъ подробнѣе о ея повѣстяхъ въ отдѣлѣ критики слѣдующей книжки «Отеч. Записокъ».

* **747. Повѣсти А. Вельтмана.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Константина Жернакова. 1843. Въ 12-ю д. л. 422 стр.* [142]).

Г. Вельтману суждено играть довольно-странную роль въ русской литературѣ. Вотъ уже около пятнадцати лѣтъ, какъ всѣ критики и рецензенты, единодушно признавая въ немъ замѣчательный талантъ, тѣмъ не менѣе остаются положительно-недовольными каждымъ его произведеніемъ. По нашему мнѣнію (которое, впрочемъ, принадлежитъ не однимъ намъ), причина этого страннаго явленія заключается въ *странности* таланта г. Вельтмана. Это талантъ отвлеченный, талантъ фантазіи, безъ всякаго участія другихъ способностей души и при этомъ еще талантъ причудливый, капризный, любящій странности. Вотъ почему нельзя безъ вниманія и удовольствія прочесть ни одного произведенія г. Вельтмана, и въ то же время нельзя остаться удовлетвореннымъ ни однимъ его произведеніемъ. Встрѣчаете прекрасныя подробности—и не видите цѣлаго; поэтическія мѣста очаровываютъ вашъ умъ—и смѣняются мѣстами, исполненными изысканности, странности, чуждыми поэзіи; а когда дочтете до конца, спрашиваете себя: да что же это такое и къ чему все это, и зачѣмъ все это? Особенно вредитъ автору желаніе быть оригинальнымъ: оно заставляетъ его накидывать покровъ загадочности на его и безъ того довольно-неопредѣленныя и неясныя созданія.

Лежащія передъ нами пять повѣстей г. Вельтмана такъ же точно оправдываютъ наше мнѣніе о талантѣ этого автора, какъ и всѣ другія его произведенія. Во всѣхъ ихъ много проблесковъ истиннаго таланта, и ни въ одной нельзя видѣть поэтическаго возсозданія дѣйствительности. Первая называется «Пріѣзжій изъ Уѣзда или суматоха въ столицѣ»; она была первоначально напечатана въ одномъ плохомъ и теперь окончательно-падающемъ московскомъ журналѣ [143]). Содержаніе ея можетъ служить доказательствомъ, что авторъ владѣетъ инстинктомъ и тактомъ дѣйствительности. Въ ней описывается страшная суматоха въ Москвѣ отъ появленія въ ней *генія*: извѣстно, что нигдѣ такъ часто и такъ много не является геніевъ, какъ въ Москвѣ.

«Свѣдѣніе черезъ заборъ дошло и до Филата Кузмича, знатнаго почетнаго гражданина съ золотой медалью на шеѣ. До того Филата Кузмича, что, купивъ себѣ *княжескія палаты*, только что не позолоченыя снаружи, сказалъ: что мнѣ до баръ! Я самъ господинъ! и подѣлалъ въ княжескихъ палатахъ лежанки, и живетъ себѣ самъ шестъ: Анисья Тихоновна, да Федя, да старуха, да дѣвка кухарка, да дворникъ. Бывало, тутъ у неразсчетливаго князя сотъ пять гостей въ сутки перебываетъ, пудовъ пять восковыхъ свѣчей въ вечеръ сожгутъ, рублей тысячу въ день скушаютъ, да двѣ выпьютъ: а теперь, у разсчетливаго Филата Кузмича, ворота назаперти, въ подворотню собака на прохожихъ лаетъ, дескать «проваливай мимо! сама голую кость гложу!» Свѣту только божій день, лампадка передъ киотомъ, да сальная свѣча. Золотая мебель прикрыта чехлами, чтобъ не попортилась отъ неупотребленія; пищи—щей горшокъ, самый большой, да мастолыга мяса; за то самоваръ какой знатный! ведра въ три! жаль, чашечки *больно маленьки*, съ глоточекъ. Живетъ себѣ Филатъ Кузмичъ, словно чужое богатство стережетъ. Садъ былъ слишкомъ великъ, такъ онъ вырубилъ его подъ огородъ, да посадилъ капустки и огурчиковъ. Оранжерею такъ таки *ранжереей* и оставилъ, только самъ не съѣстъ ни грушки, ни сливки, ни лимончика не сорветъ для домашняго обихода—все на откупу. По парадному крыльцу не ходитъ; разъ пошелъ-было, да причудился ему въ дверяхъ офиціантъ княжой, стоитъ себѣ съ булавой, да словно кричитъ: куда тебя чортъ несетъ!—Съ-тѣхъ-поръ Филатъ Кузмичъ заперъ на ключъ парадное крыльцо.

«Слышалъ, Филатъ Кузмичъ, что люди говорятъ!—сказала Анисья Тихоновна;—говорятъ-тово, явился вишь какой-то Яній, крылатый человѣкъ.

— Ой-ли?

«Знать-тово, что ужь это чудо какое? Явился въ имѣньѣ у князя Снегорскаго. Сегодня сюда привезутъ; чай со всей Москвы сбѣжится народъ. Что, кабы ты у дворецкаго мѣстечко добылъ, на хорахъ что ль, аль гдѣ у подъѣзда, смотрѣть маленько.

— А что-тово, Федя! сходи, братъ, попроси ко мнѣ дворецкаго; такъ, скажи, дѣльце татенькѣ есть..

«Федя побѣжалъ, а Филатъ Кузмичъ, значительно откашлянувшись, вынулъ бумажникъ съ ассигнаціями, и сказалъ: постой, все устроимъ.»

Не правда ли, что вѣрно? съ натуры? Но только и есть вѣрнаго и естественнаго во всей повѣсти. Все остальное—каррикатура. Бываютъ на свѣтѣ такія происшествія, да только не такъ они дѣлаются... Къ слабымъ сторонамъ этой повѣсти принадлежитъ еще изображеніе московскаго высшаго общества: не-уже-ли гдѣ-нибудь можетъ быть *такое* высшее общество? Дуракъ-мальчишка читаетъ блистательному сборищу князей, графовъ и разныхъ другихъ знаменитостей преглупые стишонки, и всѣ въ восторгѣ, и изъявляютъ этотъ восторгъ самыми пошлыми фразами.

Повѣсть «Радой» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. Въ ней есть прекрасныя подробности. Особенно прекрасно лицо Серба съ его восклицаніемъ: «Теперь піе, брате, за здоровье моей сестрицы Лильяны! піе рўйно вѝно! была у меня сестра, да не стало!» и съ его разсказомъ о своей судьбѣ:

«Отецъ мой жилъ въ особенномъ пріятельствѣ и побратимствѣ съ отцомъ Лильяны; еще въ годину сербскаго воеванья съ Турками дали они другъ другу слово породниться по дѣтямъ, а въ десяту годину, отецъ Лильяны взялъ меня въ полкъ свой, и жилъ я у него, какъ родный, и пріѣхалъ съ нимъ въ Москву, а потомъ пошли на воеванье съ Французомъ. По возвратѣ изъ Парижа, отецъ Лильяны покинулъ службу, и мнѣ сказалъ: аіде служить еще царю и царству, пока будетъ твоя невѣста на взрастѣ.—Любилъ меня онъ, какъ сына, да не любила меня его *жентурина*, откинула сестрицу отъ сердца, разладила слово, раздружила дружбу, змѣя люта, Божья отпадинце!.. А какъ любила своего жениха моя Лильяна: звала златоемъ, соколомъ, милойцемъ! Давала залогъ за сердце... Вотъ ту былъ тотъ залогъ... ту былъ ликъ Божій, да образъ сестрицы, да обреченья перстень... Все возвратилъ ей... Сестра, сестра, моя сладка *рано* (заря)!..» А возвратилъ онъ ей все, узнавши, что будто она любитъ другаго, и сказавши: «ну, будь счастлива, Лильяна—не насиловать сердце!»

Прекрасны также подробности объ отношеніяхъ матери къ дочери, ненавидимой ею за то, что она была плодомъ насильственнаго брака съ немилымъ: это глубоко и вѣрно воспроизведено авторомъ. Но, несмотря на то, общаго впечатлѣнія повѣсть не производитъ, потому-что ужъ слишкомъ перехитрена ея оригинальность и отрывчатость. Сверхъ-того, она испещрена, безъ всякой нужды, молдаванскими словами, которыя оскорбляютъ и зрѣніе и слухъ читателя и мѣшаютъ ему свободно слѣдовать за теченіемъ разсказа.

Пестрить свои разсказы странными словами—это страсть г. Вельтмана. И потому *вольтеровскія кресла* онъ называетъ *розвальнями*, какъ православные мужички называютъ особенный родъ дрянныхъ саней; *патэ* г. Вельтманъ называетъ *лежанкою*, а французское выраженіе l'homme comme il faut переводитъ *человѣкомъ какъ быть*, забывъ, что оно давно переведено *порядочнымъ человѣкомъ*.

«Путевыя Впечатлѣнія, и между прочимъ горшокъ ерани» — очень миленькій юмористическій разсказъ, въ которомъ даже много глубокой истины, подмѣченной въ женскомъ сердцѣ.

Прекрасна была бы повѣсть «Ольга»: въ ней такъ много естественности и вѣрности, за исключеніемъ идеальнаго лица садовника; начало ея—лирическая пѣснь, исполненная глубокаго чувства и истины. Но авторъ испортилъ ее счастливою развязкою черезъ посредство deus ex machina,—и изъ прекрасной повѣсти вышла пустая мелодрама.

Во всякомъ случаѣ, повѣсти г. Вельтмана, хотя онѣ уже и не новость, могутъ быть перечитаны съ удовольствіемъ. А такъ-какъ публикѣ русской теперь рѣшительно нѣчего читать, то она должна быть рада, что ей хоть есть что-нибудь порядочное перечитать снова.

748. Провинціальная Жизнь. (Ольскій). *Описательный романъ XIX вѣка. Сочиненіе* Егора Классена. *Часть I. Съ пятью литографированными рисунками. Москва. Въ тип. Н. Степанова 1841. Въ 12-ю д. л. 309 стр.* [144]).

Со времени появленія «Мертвыхъ Душъ» — а этому прошло уже около года съ половиною,—никто не рѣшился издать романа. Даже самаго неустрашимаго барона Брамбеуса одолѣлъ страхъ и трусъ велій,—и обѣщанная имъ, года три назадъ, «Идеальная Красавица» такъ и пропала безъ вѣсти, оставшись въ «Библіотекѣ» и недочитанною, и недописанною. Вотъ отъ-чего столь многіе и такъ сильно сердились и еще сердятся на «Мертвыя Души»! Будь живъ теперь Лермонтовъ, никто бы не осмѣлился печатать своихъ стиховъ, и многіе потеряли бы охоту писать ихъ даже для собственнаго удовольствія. Вообще, надобно замѣтить, что Петербургъ давно уже занимается только приготовленіемъ повѣстей, а о романахъ и не думаетъ,—и только одинъ г. Ф(Ѳ)едоровъ недавно рѣшился проюркнуть съ своимъ «Княземъ Курбскимъ» мимо глазъ публики, въ надеждѣ быть незамѣченнымъ ею, въ чемъ и не ошибся. Но московская литература думаетъ объ этомъ иначе. Москва городъ романовъ по-преимуществу. Посмотрите въ-самомъ-дѣлѣ, что̀ дѣлаютъ, кромѣ этого, московскіе литераторы? Они не пишутъ, а отъ-того ихъ и не читаютъ и о нихъ не говорятъ; но впрочемъ, они писатели, у которыхъ или былъ, или предполагается талантъ. Еслибъ они писали, ихъ, можетъ-быть, читали бы, и, вѣроятно, нашлись бы на Руси люди, которые даже и хвалили бы ихъ. Вотъ, напримѣръ, г. Кирѣевскій: онъ ужь лѣтъ десять (такъ говорятъ московскіе слухи) собирается издать богатое собраніе русскихъ народныхъ пѣсень. Можетъ-быть, онъ и не успѣетъ издать ихъ при жизни своей—что жь?—онѣ издадутся послѣ его смерти, и если не мы, то наши дѣти будутъ читать ихъ. Г. Погодинъ уже около двадцати лѣтъ обѣщаетъ доказать, что Варяги были Скандинавы, и что Каченовскій ввелъ опасный расколъ въ ученую литературу русской исторіи,—и будьте увѣрены, что онъ когда нибудь докажетъ намъ эту интересную истину. А если не успѣетъ—не бѣда: онъ передастъ ее какому-нибудь молодому ученому, и тотъ докажетъ. Г. Шевыревъ давно хлопочетъ объ истребленіи въ русской литературѣ вреднаго духа неуваженія къ писателямъ, съ которыми онъ, г. Шевыревъ, находится въ пріятельскихъ отношеніяхъ; для этого онъ рѣшился твердо, какими бы то ни было способами, заставить замолчать *литературныхъ бобылей* и *безъименныхъ критиковъ*, которые, кромѣ критикъ и рецензій, иногда пишутъ и *типическіе очерки*... Не знаемъ, удастся ли г. Шевыреву его истинно-благонамѣренное литературное предпріятіе; но знаемъ, что онъ не отстанетъ отъ него, не употребивъ всѣхъ усилій, не испробовавъ всѣхъ средствъ. Изъ живущихъ въ Москвѣ поэтовъ, всѣхъ даровитѣе г-нъ Фетъ, а всѣхъ знаменитѣе гг. Языковъ и Хомяковъ. Оба они ничего, или почти ничего не пишутъ; но за то о

ныхъ въ Москвѣ много пишутъ и еще больше говорятъ. На г. Хомякова друзья его смотрятъ, какъ на представителя, въ поэзіи, славянскаго элемента. Такую странную извѣстность пріобрѣлъ онъ въ Москвѣ двумя стихотвореніями, въ которыхъ доказалъ, что древній Римъ и новая Англія скоро будутъ смѣнены Россіею. Стихи г. Хомякова всегда звучны, но ужасно напряженны,—блестящи, но совершенно чужды поэзіи: это единственный ихъ недостатокъ; во всемъ остальномъ они столько хороши, сколько могутъ быть хороши *славянскіе* стихи. Въ Москвѣ издается даже литературно-ученый журналъ. Вотъ уже третій годъ, онъ обѣщаетъ развить какую-то мысль, но отлагаетъ исполненіе своего обѣщанія на неопредѣленный срокъ. Въ этомъ журналѣ печатаются преимущественно статьи о славянахъ и славянскихъ литературахъ, стихотворенія г. Михайла Дмитріева, да брань на «Отечественныя Записки»... Кстати о стихотвореніяхъ г. Михайла Дмитріева: сей поэтъ пишетъ стихи уже больше двадцати лѣтъ, но славою поэта никогда не пользовался даже въ кругу московскихъ своихъ пріятелей, гдѣ такъ легко дается слава поэта даже людямъ, ненаписавшимъ ни одного стиха. Чтобъ добиться этой постоянно-убѣгающей его славы, г-нъ Михайло Дмитріевъ, вмѣсто дидактическаго рода, въ безполезномъ упражненіи которымъ онъ убѣдился, изобрѣлъ теперь новый, до него небывалый родъ поэзіи, произведенія котораго можно было бы назвать «рифмованными денонціаціями» на безнравственность критиковъ, непризнающихъ въ ихъ сочинителѣ ни искры поэтическаго таланта. Въ рукахъ человѣка талантливаго и остраго, такія стихотворенія были бы по крайней мѣрѣ опасны для его враговъ; но г. Михайло Дмитріевъ доставляетъ своимъ врагамъ только одно невинное удовольствіе—смѣяться надъ беззубою злостью его странныхъ стихотвореній.

Мы сказали выше, что Москва—по преимуществу городъ романовъ. Это до того справедливо, что Москву не удержало отъ романовъ даже появленіе «Мертвыхъ Душъ». Патріархъ московскихъ романистовъ, г. Загоскинъ, издалъ если не романъ, то физіологію Москвы въ разсказахъ и сценахъ, подъ названіемъ «Москва и Москвичи»; г. Воскресенскій издалъ, кажется, «Сердце Женщины». Романовъ прочихъ московскихъ романистовъ и не перечтешь. «Іоаннъ Грозный и Стефанъ Баторій. Историческій романъ. Сочиненіе А. А. Изданіе второе. Москва».—«Панъ Ягожинскій. Отступникъ и Мститель. Романъ, взятый изъ древнихъ польскихъ преданій А. П—мъ. Изданіе второе. Москва».—Видите ли: это все московскіе романы! А сколько издали ихъ Касторъ и Поллуксъ московскихъ романистовъ—гг. Кузьмичевъ и Славинъ!.. И вотъ теперь является умножить собою число сихъ геніальныхъ романистовъ г. Классенъ. Онъ такъ увѣренъ заранѣе въ успѣхѣ своего произведенія, что издалъ его только первую часть, предоставивъ себѣ издать вторую когда-нибудь, на досугѣ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ. Романъ его изданъ опрятно, хотя и украшенъ пятью плохими литографіями. Но что же содержаніе этого романа? Вотъ тутъ-то и бѣда, потому-что въ романѣ г. Классена нѣтъ ника-

кого содержанія, а есть путаница, въ которой ровно ничего нельзя понять и изъ которой ровно ничего нельзя упомнить. Тутъ есть городничій, который боится жены, потому-что она его больно щиплетъ, какъ-только онъ скажетъ какую-нибудь глупость, а онъ только затѣмъ и разѣваетъ роть, чтобъ говорить глупости. Разъ, будучи на ярмаркѣ, городничій больно вскрикнулъ отъ щипка своей супруги, а одинъ изъ собесѣдниковъ бросился къ мужикамъ, продававшимъ квасъ, вырвалъ у нихъ кувшины, и сталъ лить квасъ на голову городничаго, облилъ всѣхъ дамъ, и, вѣроятно отъ стыда, что надѣлалъ столько глупостей, упалъ въ рѣку и утонулъ. Все это г. Классенъ почитаетъ юморомъ и вѣрнымъ изображеніемъ провинціальныхъ нравовъ. Хорошъ эпиграфъ при первой главѣ этого романа:

Писать характеры людей
Есть два манера:
Перомъ Гомера
И ядомъ змѣй.
Такъ пишутъ мужи славы.—
Гдѣ жь славы взять,
Когда писать
Придется для забавы?

Такъ поэтъ на зубъ гнилой
Пробуетъ орѣхи;
Но раскуситъ лишь пустой—
Полный, для потѣхи,
Смелетъ онъ на жернову
И поетъ про скорлупу.

Этотъ эпиграфъ, смастеренный очевидно самимъ сочинителемъ, можетъ служить образчикомъ и вывѣскою слога, мыслей, понятій и чувствъ, которыми отличается романъ. Это больше, чѣмъ просто бездарность: это явное отсутствіе здраваго смысла. Не только г. Воскресенскій, но даже гг. Кузьмичевъ и Славинъ—геніи первой величины въ сравненіи съ г. Классеномъ.

***749. Памятная Книжка для Молодыхъ Людей.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Крайя. 1843. Въ 16-ю д. л. 83 стр.* [145]).

Вотъ книжонка, нелѣпѣе которой едва-ли что можно себѣ вообразить! Мы крѣпко подозрѣваемъ, что это должно быть новое твореніе автора «Супружеской Истины», въ началѣ нынѣшняго года насмѣшившей весь читающій русскій міръ. Та же наивная философія, та же дешевенькая мораль, то же дѣтское неумѣніе писать по-русски, та же безграматность — все то же! Мы сначала думали было, что это совѣты опытнаго врача молодымъ людямъ о сохраненіи и поддержаніи ихъ здоровья, совѣты, основанные на глубокомъ знаніи медицины и изложенные популярно; но начавъ читать книжку, сейчасъ же

увидѣли, что въ ней нѣтъ ничего медицинскаго. Она наполнена моральными разглагольствіями о томъ, что́ всякій и самъ знаетъ не хуже сочинителя «Памятной Книжки». Понятно, почему этотъ сочинитель такъ скупъ на медицину и такъ щедръ на мораль: первая требуетъ познаній, а о послѣдней можно болтать ничему не учась, ничего не зная. Книжонка же издана явно съ невиннымъ притязаніемъ на карманы молодыхъ людей, а потому и наполнена моральною чепухою. Не угодно ли образчика?

«Не убѣгайте благонравныхъ собраній, добрыхъ *сосѣдовъ* (!) и добрыхъ товарищей; будьте снисходительны и къ худымъ своимъ товарищамъ, не оскорбляйте ихъ, *и такъ ужъ оскорбленныхъ собственными своими проступками*, и ежели можете (,) принимайте участіе въ ихъ разстроенныхъ дѣлахъ, причемъ дѣлая имъ и нѣкоторыя замѣчанія и поученія; можетъ быть ваше сѣ(ѣ)мя упадетъ на добрую землю—и принесетъ плодъ, и товарищъ вашъ исправится. Тогда представьте себѣ о своей радости *и той невыразимой пріятности* (!!), которую вы будете ощущать: ибо вами обращенъ будетъ заблудшій на путь истины. (Стр. 44).

По мнѣнію сочинителя, это чрезвычайно полезно для здоровья молодыхъ людей. Можетъ-быть! Только такой варварскій языкъ и такая безграмотность должны быть очень-вредны для ихъ учебной карьеры, и угодивъ сочинителю «Памятной Книжки», они рисковали бы навѣрное разсориться съ своимъ учителемъ словесности. Вѣдь вѣрно сочинитель назначалъ свою книжонку для молодыхъ людей не старше 14-ти лѣтъ, потому-что кто же изъ взрослыхъ сталъ бы читать подобные вздоры?

***750. Притчи и Повѣсти, избранныя изъ Круммахера.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Фишера. 1843. Въ 12-ю д. л. 128 стр.* [146]).

Нѣкогда «Притчи» Круммахера переводились въ одномъ русскомъ журналѣ, вмѣстѣ съ поэмами Байрона. Это было въ «Новостяхъ Русской Литературы», издававшихся покойнымъ Воейковымъ, въ 1822—1826 годахъ. Теперь, времена перемѣнились: поэмы Байрона попрежнему читаются и изучаются людьми взрослыми, а притчи Круммахера стали годиться развѣ только для дѣтей. Вѣроятно, разсчитывая на малолѣтную публику, г. Фишеръ издалъ «Притчи» Круммахера весьма-красиво, съ разными затѣйливыми виньетками и заглавными литерами. Для дѣтей не старше 12-ти лѣтъ, Круммахеръ—писатель глубокомысленный и краснорѣчивый. И потому, мы совѣтуемъ поторопиться чтеніемъ этого автора всѣмъ дѣтямъ, приближающимся къ полнымъ двѣнадцати годамъ своей жизни, потому-что на тринадцатомъ году имъ, можетъ быть, не захочется взять въ руки автора, котораго они вдругъ и въ такое короткое время переросли. Въ изданіи г. Фишера помѣщены далеко не всѣ притчи Круммахера.

751. Русскій театръ въ Петербургѣ.

Волшебный Боченокъ, или Сонъ на яву. *Старинная нѣмецкая сказка, въ двухъ отдѣленіяхъ. соч.* Н. А. Полеваго [147]).

Это новое «драматическое представленіе» нашего знаменитаго драматурга все составлено или изъ сантиментально-мѣщанскихъ, или изъ юмористическихъ сценъ. Сынъ знатнаго барона живетъ у бочара въ подмастерьяхъ, изъ любви къ дочери его, Гретхенъ; любовники воркуютъ, цѣлуются и говорятъ другъ другу сладенькія пошлости. Губертъ, другой подмастерье бочара Ганца, ревнуетъ къ Фрицу Гретхенъ, подсматриваетъ за ними и разсказываетъ все Кунигундѣ, злой и бранчивой женѣ бочара. Кунигунда кричитъ, бранится, выходитъ изъ себя; ее никто не слушаетъ. Является Іоганъ Пумпанникокъ, управитель барона Гохвольшпицвица, отца милаго Фрица; потомъ самъ баронъ,—и уводятъ силою подмастерья – самозванца. Во второмъ актѣ, Илья Бушъ, старый пьяница, разсказываетъ Ганцу о какомъ-то кладѣ, который можетъ даться только тому бочару, въ дочь котораго влюбился бы баронъ, и такъ далѣе. Ганцъ исчезаетъ съ Бушемъ, и въ его отсутствіе домъ его описывается за долги, а жена съ дочерью выгоняются изъ описаннаго дома. Наконецъ, является Ганцъ; онъ везетъ на тачкѣ боченокъ, и кто не загляпетъ въ этотъ боченокъ—даже самъ бургмейстеръ—всѣ кланяются Ганцу. Ганцъ велитъ бургмейстеру проплясать съ однимъ изъ почетныхъ жителей городка,—и г. Толченовъ 1-й (бургмейстеръ) пускается съ г. Дранше (Конрадъ Шварцъ) въ плясъ. Разумѣется, публика Александрынскаго-Театра, *при сей вѣрной оказіи*, предается громкому хохоту, а раёкъ, какъ говорится въ простонародіи, животики надрываетъ со смѣху. Тогда актёръ, игравшій бочара Ганца (г. Сосницкій), обращается къ зрителямъ, говоря имъ что-то въ родѣ слѣдующаго: «Что-де вы такъ смѣетесь, какъ-будто бы между вами есть хоть одинъ, который не проплясалъ бы ради этого боченка?» Черта знанія человѣческаго сердца истинно-шекспировская! Изъ нея видно, что сочинитель долго и основательно изучалъ науку сердца человѣческаго... Надо сказать, что въ это время Ганцъ успѣлъ уже купить себѣ баронскій замокъ и, слѣдовательно, баронское званіе. Затѣмъ, является баронъ Гохвольшпицвицъ и униженно соглашается на бракъ своего сына съ баронессою Гретхенъ. Ганцъ ломается, дѣлаетъ язвительныя выходки на-счетъ волшебнаго всемогущества золота надъ душою человѣка, и т. п. Пьеса оканчивается, какъ водится, пряничными восторгами жениха съ невѣстою. Чтобъ дополнить характеристику этого новаго «драматическаго представленія» знаменитаго нашего «драматическаго представителя», г. Николая Полеваго, мы должны прибавить еще, что оное «драматическое представленіе» во многихъ мѣстахъ, для услажденія вкуса почтеннѣйшей публики Александрынскаго-Театра, съ избыткомъ сдобрено и начинено знатнымъ количествомъ оплеухъ, тумаковъ, паденій вверхъ ногами и тому-подоб-

ными драматическими эффектами... Зато вѣдь ужь и смѣхў-то что̀ было! Любо-дорого послушать!

Полчаса за кулисами. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч.* Н. А. Полеваго.

О, неутомимый нашъ «драматическій представитель»! Когда находите вы время писать такое множество «драматическихъ представленій»? О вы, который написали намъ неконченную «Исторію Русскаго Народа» для взрослыхъ людей, и потомъ, тоже неконченную, исторію Россіи для малолѣтнихъ читателей; оставшуюся въ рукописи «Исторію Петра Великаго»—вѣроятно для взрослыхъ людей, и потомъ напечатанную «Исторію Петра Великаго»—кажется, для малолѣтнихъ читателей; вы, который обѣщали издать многое множество до-сихъ-поръ неизданныхъ книгъ; вы, который написали нѣсколько романовъ, много повѣстей, издали нѣсколько томовъ юмористическихъ статеекъ, нѣсколько томовъ переводныхъ повѣстей и всякой всячины, помѣщавшейся въ вашемъ журналѣ; вы, который писали о философіи, объ исторіи, о политической экономіи, о невещественномъ капиталѣ, о политикѣ, объ агрономіи и сельскомъ хозяйствѣ, о санскритской и китайской грамматикахъ, о лингвистикѣ, о литературахъ и языкахъ всего земнаго шара, объ эстетикѣ, и проч. и проч.,—гдѣ же и перечислить намъ все, что̀ вы знаете, и о чемъ вы писали на вѣку своемъ! Скажите намъ, о, нашъ Вольтеръ и Гёте, по всеобъемлемости свѣдѣній, многосторонности генія и разнообразію произведеній! скажите намъ, когда успѣли вы написать столько «драматическихъ представленій»? Они родятся у васъ, какъ грибы послѣ дождя; вы производите ихъ дюжинами! Не изобрѣли ли вы паровой машины для изготовленія этого товара—машины, въ которой перемалываются Шекспиръ, Шиллеръ, Вальтеръ Скоттъ, Коцебу, князь Шаховской, г. Б. Ф. (Ѳ)едоровъ и вашъ собственный геній, и изъ смѣси всего этого выходятъ «драматическія представленія»? Вотъ сейчасъ любовались мы вашимъ «Волшебнымъ Боченкомъ», до краевъ наполненнымъ чистымъ золотомъ истинно-шекспировской фантазіи, истинно-шекспировскаго юмора,—и не успѣли мы отдохнуть отъ могущественныхъ и сладостныхъ впечатлѣній вашей бочарной пьесы, какъ вы, неутомимый чародѣй, ведете насъ къ новой пьесѣ, на полчаса за кулисы, гдѣ, вѣроятно увидимъ мы чудеса...

Такъ думали мы про-себя въ антрактѣ между «Разсказомъ г-жи Курдюковой» и пьесою г. Полеваго «Полчаса за кулисами»... Взвившійся занавѣсъ прервалъ наши думы. Вглядываемся, вслушиваемся... ба! да это что-то знакомое! гдѣ-то мы читали это... А! да это старая пьеса «Утро въ кабинетѣ знатнаго барина» изъ «Новаго Живописца Общества и Литературы», издававшагося при «Московскомъ Телеграфѣ». Любопытные могутъ найдти ее въ тридцать-третьей части «Московскаго Телеграфа» (1830): въ отдѣльно-изданномъ, въ 1832 году, «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» ея по-

чему то нѣтъ... «Полчаса за Кулисами» отличается отъ «Утра въ Кабинетѣ Знатнаго Барина» только собственными именами дѣйствующихъ лицъ: г. Беззубовъ послѣдняго названъ въ первомъ дюкомъ де-Шапои; остальное также немножко офранцужено. Итакъ, *новому* «драматическому представленію» г. Полеваго *тринадцать* лѣтъ. Порадовавшись неожиданному свиданію съ старымъ знакомымъ, мы подивились экономіи сочинителя, у котораго всякая дрянь идетъ въ дѣло.

Разсказъ г-жи Курдюковой объ отѣздѣ ея за границу.

Не понимаемъ, какимъ образомъ этотъ разсказъ попалъ въ число «драматическихъ представленій», но онъ дѣйствительно былъ *представленъ* на сценѣ Александрынскаго-Театра, въ бенефисъ г-жи Сосницкой. Впрочемъ, мы уже слышали его на сценѣ Александрынскаго-Театра: тогда онъ доставилъ намъ гораздо-больше удовольствія, потому, во-первыхъ, что мы слушали его въ первый разъ, и потому, во-вторыхъ, что тогда онъ былъ гораздо-короче... Для всякой шутки есть свое время, и повтореніе сегодня того, что, можетъ-быть, смѣшило вчера, наводитъ скуку и возбуждаетъ досаду. Мы думаемъ, что русское общество теперь уже далеко впереди г-жи Курдюковой... Впрочемъ, и то сказать: публика Александрынскаго-Театра крѣпко и громко хлопала *сенсаціямъ* г-жи Курдюковой: видно, онѣ для нея и новы и забазны..

Рецептъ для исправленія мужей. *Комедія-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ, взятая съ французскаго* **Н. А. Коровкинымъ.**

На этотъ разъ, драматическій геній г. Коровкина едва-ли не одержалъ блистательной побѣды надъ драматическимъ геніемъ г-на Полеваго: по крайней-мѣрѣ, во время этой пьесы всѣ казались какъ-то оживленнѣе, какъ люди, очнувшіеся послѣ пріема дурмана. Содержаніе этой пьесы состоитъ въ томъ, что одна молодая женщина, по совѣту доктора, исправляетъ мужа-повѣсу, начавъ сама рыскать по баламъ и давать балы. Пьеса недурна и разъиграна была хорошо.

752. Литературныя и журнальныя замѣтки [148]).

Въ № 129-мъ «Сѣв. Пчелы» одинъ изъ ея фельетонистовъ объявилъ важную истину по вопросу, почему нынѣче не пишутъ болѣе сказокъ въ родѣ «Модной Жены» Дмитріева?—Вы вѣрно скажете: потому же, почему нынѣче не пудрятъ волосъ, не носятъ фижмъ и мушекъ, не танцуютъ минуета и не поютъ:

Стонетъ сизый голубочикъ,
Стонетъ онъ и день и ночь,
Его миленькій дружочикъ
Отлетѣлъ далеко прочь!

и прочая. Извините! Г. фёльетонистъ увѣряетъ, что *не пишутъ* потому, что *не умѣютъ* писать такихъ сказокъ. А не умѣютъ, разумѣется, потому, что нынѣче нѣтъ талантовъ, равныхъ таланту Дмитріева. Ну, посудите сами, хорошо ли это? Что Дмитріевъ былъ стихотворецъ съ большимъ талантомъ и даже поэтъ не безъ дарованія,—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. А съ котораго времени перестали на Руси писать сказки въ родѣ «Модной Жены» Дмитріева, и вообще всякія сказки въ духѣ XVIII вѣка? Сколько мы помнимъ, давно! Послѣ Дмитріева, явился на Руси поэтъ неизмѣримо-выше его—Жуковскій: онъ не написалъ ни одной сказки, и ужь вѣрно не по недостатку таланта. Правда, поэтъ, бывшій послѣ Дмитріева и тоже стоящій неизмѣримо-выше его—Батюшковъ, написалъ одну сказку; но его «Странствователь и Домосѣдъ» былъ послѣднею сказкою въ этомъ родѣ, появленіе которой, не смотря на достоинство языка и разсказа, уже не произвело никакого особеннаго впечатлѣнія на современниковъ. А сказка эта напечатана въ первый разъ въ «Амфіонѣ» Мерзлякова, въ 1815 году, слѣдовательно, около двадцати-восьми лѣтъ тому назадъ, и съ-тѣхъ-поръ уже не было на русскомъ языкѣ ни одной сказки въ такомъ родѣ. Не-уже-ли же Батюшковъ былъ послѣдній даровитый поэтъ на Руси, и послѣ него не было ни одного поэта съ равнымъ ему талантомъ? Не знаемъ право; но послѣ Батюшкова былъ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ... Не-уже-ли же у этихъ поэтовъ не стало бы таланта для того, чтобъ написать бездѣлку въ родѣ «Модной Жены»?..

Все это г. Булгаринъ, можетъ быть, понимаетъ и самъ какъ слѣдуетъ, да ему надобно, ему нужно понимать все это не такъ, какъ слѣдуетъ... Доказательство тому—въ слѣдующихъ словахъ того же фёльетона. «Читайте даже по русски, хотя бы изъ національной гордости. Скучно повторять старое, но я увѣренъ, что еще много есть людей, которымъ Карамзинъ, И. И. Дмитріевъ, Богдановичъ, Батюшковъ извѣстны или по отрывкамъ, или по слуху... обратитесь къ нимъ, и вамъ не будетъ стыдно за русскую литературу! Теперь *новые* журналисты, которые сами не пишутъ вовсе ничего (?!!), а только читаютъ корректуры своихъ сотрудниковъ, *и наши, учениковъ* Карамзина и Дмитріева, называютъ уже *старыми!!!*» А, вотъ что!—можемъ мы воскликнуть. Вотъ откуда оно, это благоговѣніе къ Карамзину и Дмитріеву! Ученикъ хвалитъ учителя, по простому разсчету: если-де не будутъ читать моего учителя, который въ тысячу-тысячъ разъ выше меня, то ужь станутъ ли читать меня, который въ тысячу-тысячъ разъ хуже моего учителя?.. Это напоминаетъ намъ, между прочимъ, и басню Крылова «Орелъ и Наукъ»... Положимъ, что Карамзинъ и Дмитріевъ такъ хорошо писали, что ихъ и теперь еще слѣдовало бы читать; да васъ-то, господа, за что читать?—Мы ихъ ученики, воскликнете вы.—Прекрасно, но вѣдь это напоминаетъ стихъ: *да наши предки Римъ спасли!* Притомъ же, мало ли у инаго и дѣйствительно ве-

ликаго мастера безталантныхъ учениковъ; мастеру честь по заслугамъ, а до учениковъ его кому какое дѣло?...

— —

Въ этомъ же фёльетонѣ находится забавная апологія Эжену Сю. Фёльетонистъ видитъ генія въ этомъ блестящемъ, не-бездарномъ, но поверхностномъ, пустомъ беллетристѣ французской литературы. Защищая его отъ нападокъ за безнравственность, фёльетонистъ говоритъ въ заключеніе: «*по моему мнѣнію*, только Жоржъ Зандъ, т. е. г-жа Дюдеванъ, написала безнравственныя вещи, но и она теперь опомнилась, удостовѣрясь, что слава безнравственнаго писателя—жалкая слава»! За тѣмъ слѣдуетъ апологія книжному магазину г. Ольхина и клятвенныя увѣренія, что нѣтъ возможности перечислить и переименовать всѣ хорошія новыя русскія книги, которыя продаются въ этомъ магазинѣ. Право, чѣмъ толковать о Жоржѣ Зандѣ, лучше бы вамъ, господа, ограничиться разсужденіями о Эженѣ Сю, да дифирамбами разнымъ магазинамъ... Кстати о безнравственности Жоржа Занда. О нравственности Гёте также много было толковъ и *за* и *противъ*; о ней спорятъ и теперь, соглашаясь однакожь въ томъ, что Гёте былъ великій писатель. Но кто же и когда сомнѣвался въ нравственности Шиллера? Теперь не думаютъ этого даже люди, которые глупѣе самого Николая, нападавшаго на Шиллера и Гёте. Однакожь, въ первыя минуты появленія своего, яркая звѣзда генія Шиллера не могла не показаться многимъ безнравственною, пока эти многіе не пригляделись и не попривыкли къ ея нестерпимому блеску На Байрона смотрѣли, какъ на чудовище нечестія: теперь на него смотрятъ какъ на страдальца. Было время, когда у насъ Пушкина считали безнравственнымъ писателемъ, и боялись давать его читать дѣвушкамъ и молодымъ людямъ: теперь никто не побоится дать его въ руки даже дѣтямъ.

— —

Фёльетонъ 135 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ льстивыми разглагольствованіями о провинціи. Тамъ-то —видите ли—процвѣтаетъ и просвѣщеніе и добродѣтель, и счастіе, и вкусъ изящный, и образованность, и начитанность, и патріотизмъ, и всѣ благородныя чувства, все великое, святое и прекрасное жизни; а отъ чего? Отъ-того, что оттуда присылаются требованія за пятью печатями на книги, журналы, газеты... Льстивыя разглагольствованія оканчиваются гимнами и дифирамбами въ честь книжнаго магазина г. Ольхина и во славу издаваемыхъ имъ книжныхъ издѣлій... O tempora, o mores! Мимоходомъ разруганы «Мертвыя Души» и «Ревизоръ», какъ клевета на провинцію и каррикатуры на провинціальные нравы. Жаль, что при этомъ удобномъ случаѣ не объявлено, почему же провинція съ такою жадностію расхватала «Мертвыя Души» и «Ревизора»: объясненіе было бы очень-интересно... Между прочимъ, вотъ что еще сказано въ этой любопытной статьѣ: «Не многимъ изъ городскихъ жителей извѣстно, что *нѣкоторые* изъ господъ журналистовъ и книгопродавцевъ печатаютъ особыя объявленія для про-

винціи и что въ этихъ объявленіяхъ они говорятъ о себѣ и о своихъ журналахъ и лавкахъ такія вещи, которыя возбудили бы общій хохотъ въ столицѣ, гдѣ на людей и на дѣла смотрятъ вблизи! Эти несчастные спекуляторы думаютъ, что они ловятъ на удочку простодушныхъ провинціаловъ, а въ провинціяхъ, напротивъ, платятъ имъ деньги изъ состраданія, изъ жалости—руководствуясь однимъ патріотизмомъ». О какихъ объявленіяхъ, секретно разсылаемымъ въ провинціи, говорится здѣсь? Правда, было нѣкогда разослано въ провинціи печатное объявленіе о публичныхъ чтеніяхъ г-на Греча, очень-ловко написанное, и оно было, въ свое время, перепечатано въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» (1840). Оно случайно попало въ редакцію этой газеты, будучи прислано изъ провинціи; иначе, Петербургъ и не увидѣлъ бы его. Что же касается до спекулянтскихъ книгопродавческихъ объявленій,—они безпрестанно попадаются даже въ фѣльетонахъ иныхъ газетъ, гдѣ изданія разныхъ вздоровъ, въ родѣ «Супружеской Истины» и перепечатку залежалыхъ издѣлій выписавшихся и вышедшихъ изъ моды старыхъ писакъ—величаютъ оживленіемъ русской литературы!

Въ этомъ же фѣльетонѣ замѣчено, что «есть и теперь въ провинціалахъ свое смѣшное и кое-что такое, что̀ бъ надлежало истреблять орудіемъ благонамѣренной сатиры, но до этого именно еще не коснулись *нынѣшніе* комики и сатирики». Такъ кто же, по вашему мнѣнію, коснулся этого? Ужь не старые ли сатирики, ученики Карамзина и Дмитріева? Гдѣ имъ! Понятіе о сатирѣ далеко ушло впередъ со временъ Карамзина и Дмитріева. Теперь сатириками поставляютъ за честь называть себя только выписавшіеся старые писаки—ученики, въ сатирѣ, Сумарокова. Сатиру замѣнили теперь художественныя созданія—романъ и комедія, какъ выраженія общественной жизни, и такой романъ имѣемъ мы въ «Мертвыхъ Душахъ» и такую комедію въ «Ревизорѣ».—Тутъ же разсказанъ чувствительнымъ слогомъ учениковъ Карамзина трогательный примѣръ душевной болѣзни, которую Нѣмцы называютъ Heimweh, а Русскіе—*тоскою по родинѣ*. Кто-то до того близкій г. фѣльетонисту (собственныя слова его), что его можно счесть за самого г. фѣльетониста, стосковался на чужбинѣ—почемъ бы вы думали?—по какой-то рыбѣ (должно быть, соленой севрюжинѣ—самая національная рыба!) и гнилыхъ дикихъ грушахъ... Человѣкъ этотъ началъ худѣть и впалъ-было въ меланхолію, да, къ-счастію, поспѣшилъ воротиться на родину... Нѣтъ, господа ученики Карамзина! вы отстали даже и отъ Карамзина, который никогда не поставлялъ любви къ родинѣ въ любви къ рыбѣ и гнилымъ грушамъ. А еще хотите, чтобъ васъ читали, и берете смѣлость восклицать къ людямъ, которые боятся скуки деревенской жизни: «А мы-то на что»! Такого рода деликатное восклицаніе могло сорваться только съ пера какого-нибудь дюжиннаго писаки...

———

Весь фёльетонъ 140 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ нападками на *совмѣстничество*, которымъ съ умыслу неправильно переводится слово *concurrence*, означающее не *совмѣстничество*, а *соревнованіе*. «Сѣв. Пчела»—отъявленный врагъ всякаго соревнованія и страстная поклонница и любитель монополій! Гдѣ теперь старинные гродетуры и гроденапли, кожаные венеціанскіе золоченые и росписные обои, гобелены, обои шелковые, севрскій и майенскій фарфоръ, богемское стекло, брабантскія кружева, филигранная работа?—восклицаетъ онъ. Всѣ эти вещи безспорно были очень хороши, но такъ дороги, что ими пользовилась только небольшая часть привилегированныхъ людей. *Благодаря дешевизнѣ, свободному производству* и *индустріи* XIX вѣка, теперь несравненно бо́льшее противъ прошлаго вѣка число людей пользуется благодѣяніями цивилизаціи и образованности; можно надѣяться, что современемъ, благодаря имъ же, и еще несравненно-бо́льшее число людей начнетъ жить по человѣчески, т. е съ удобствомъ, опрятностію и даже изяществомъ. И такъ, хвала *соревнованію, свободному производству, индустріи* и въ особенности благодѣтельной *дешевизнѣ*—этому новому покровительному генію нашего времени! Ими спасется бѣдное, страждущее отъ разныхъ монополій человѣчество! «Сѣв. Пчелу» приводитъ въ негодованіе дешевизна поѣздокъ за границу. Другое дѣло, говоритъ она, когда ѣдетъ ученый, артистъ, фабрикантъ, мастеровой; а то праздношатающіеся, которые не читаютъ даже сочиненій учениковъ Карамзина и Дмитріева!.. Но если бы послѣдніе не могли ѣздить дешево, то и первые принуждены были бы сидѣть дома. По мнѣнію «Сѣв. Пчелы», *соревнованіе*, ошибочно называемое имъ *совмѣстничествомъ*, погубило литературу и въ Европѣ и у насъ, въ Россіи... Въ самомъ-дѣлѣ, еслибъ, напр., «Сѣв. Пчела» одна пользовалась литературною монополіею, т. е. *единоторжіемъ*, мы увѣрены, русская литература расцвѣла бы въ одинъ годъ... Кто же усомнится въ этомъ!..

———

Но довольно для перваго раза. Въ слѣдующей книжкѣ «Отеч. Записокъ», между-прочимъ, познакомимъ мы читателей съ другимъ фёльетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Подобно первому, онъ «знаменитый», хотя и не разъ немилосердо-обруганный въ «Сѣверной Пчелѣ» романистъ; подобно первому, онъ написалъ въ жизнь свою томовъ семьдесятъ и намѣренъ еще столько же написать; сверхъ того, онъ еще и драматургъ не послѣдній... Имя его... но мы скажемъ вамъ знаменитое его имя въ слѣдующій разъ; а пока заключимъ наши «Замѣтки» курьёзнымъ, но нисколько не вымышленнымъ извѣстіемъ, что одинъ журналъ, издающійся въ монгольско-китайскомъ духѣ, находя языкъ Пушкина не русскимъ, возвамѣрился перевести всего Пушкина по русски!!!... Для этого пріискалъ онъ себѣ какого-то дешеваго горемычнаго пінту, существованіе котораго *мистеріозно*, т. е. покрыто тайною... Вотъ какія чудныя дѣла готовы совершиться въ русской литературѣ!..

753. Сочиненія Зенеиды Р—вой. *Санктпетербургъ. 1843. Четыре части.* [149]).

Въ Россіи женщины мало пишутъ. Впрочемъ, этому нѣчего удивляться: въ Россіи и мужчины почти-совсѣмъ не пишутъ. Смотря съ этой точки зрѣнія, вы увидите, что у насъ женщины пишутъ имено не больше и не меньше того, сколько могутъ онѣ писать. Званіе писательницы пока еще контрабанда не у однихъ насъ. Лживый взглядъ на женщину осуждаетъ ее на молчаніе. Этотъ взглядъ, запрещающій женщинѣ выходить изъ заколдованнаго круга простыхъ свѣтскихъ отношеній, не есть принадлежность собственно русскаго общества: онъ равно принадлежитъ и просвѣщенному западу Европы. Правда, тамъ, какъ и у насъ, женщина давно уже пріобрѣла право говорить печатно,—но какъ и о чемъ говорить? Вотъ вопросъ, которое рѣшеніе котораго завело бы насъ далеко-далеко... въ самую Азію. Никакая пишущая женщина въ Европѣ не избѣгнетъ пошлыхъ намековъ и названія *синяго чулка*, каковъ бы ни былъ ея талантъ равно всѣми признанный. Никто тамъ не оспариваетъ у женщины права высказываться печатно и возможности быть одаренною даже великимъ творческимъ талантомъ; никого не оскорбляетъ и не соблазняетъ зрѣлище пишущей женщины; но въ то же время едва-ли кто упуститъ случай, говоря о пишущей женщинѣ, посмѣяться надъ ограниченностію женскаго ума, болѣе, будто-бы, приноровленнаго для кухни, дѣтской, шитья и вязанья, чѣмъ для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчинъ: если они давно перестали бить женщинъ, то еще не отстали отъ привычки грозить имъ кулакомъ, или дразнить языкомъ, въ ознаменованіе права своей силы. Привычка—вторая натура, и потому отстать отъ нея трудно. Для женщины-писательницы это первое, и притомъ еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественнымъ мнѣніемъ на самыя невинныя литературныя занятія, именно—вѣчно повторять старыя обветшалыя истины, которымъ не вѣрятъ даже и дѣти, но которыя тѣмъ не менѣе считаются почтенными. Нельзя употребить большаго насилія надъ женщиною, нельзя оказать ей большаго презрѣнія Конечно, ей не воспрещается закономъ быть оригинальною и глубокою въ своихъ мысляхъ, могущественною и великою въ творчествѣ,—по-крайней-мѣрѣ на столько, на сколько не воспрещается это закономъ мужчинѣ: но если законъ оставитъ женщину въ покоѣ, тогда противъ нея дѣйствуетъ общественное мнѣніе. Тысячеглавое чудовище объявляетъ ее безнравственною и безпутною, грязнитъ ея благороднѣйшія чувства, чистѣйшіе помыслы и стремленія, возвышеннѣйшія мысли,—грязнитъ ихъ грязью своихъ комментаріевъ; объявляетъ ее безобразною кометою, чудовищнымъ явленіемъ, самовольно вырвавшимся изъ сферы своего пола, изъ круга своихъ обязанностей, чтобъ упоить свои разнузданныя страсти и наслаждаться шумною и позорною извѣстностью. Не правда ли, что это возмутительно-несправедливо?..

А вотъ вамъ и смѣшное: то же самое общество не читаетъ женщинъ, пишущихъ въ духѣ его же собственной морали, и обходитъ ихъ самымъ презрительнымъ невниманіемъ, потому-что оно само не вѣритъ своей морали и смѣется надъ нею. Впрочемъ, оно противорѣчитъ такимъ образомъ самому себѣ не въ отношеніи къ однѣмъ только женщинамъ. Возьмемъ, на-примѣръ, современное французское общество. Представители его—набитые золотомъ мѣшки, *пріобрѣтатели*, люди поклоняющіеся золотому тельцу. Кого читаетъ это общество?—писателей въ духѣ чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «Mathilde» и «Mystères de Paris», а эти романы не что иное, какъ страшный доносъ на это общество. Это же общество не хочетъ уже читать какого нибудь мосьё *де*-Бальзака, до сихъ поръ вѣрнаго моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства; оно смѣется надъ нимъ, презираетъ его, и, вмѣсто его, читаетъ Жоржъ Занда, въ которомъ имѣло бы право видѣть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару. Послѣ этого, извольте угождать обществу и сообразоваться съ его моралью! Всѣ явленія дѣйствительности внутри себя-самихъ заключаютъ всю необходимость: вотъ отъ-чего люди толкуютъ свое, а дѣйствительность идетъ своею дорогою, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нея. Привычка мало-по-малу дѣлаетъ людей равнодушными къ явленію, которое вначалѣ поразило ихъ, и, со-временемъ, они начинаютъ не только считать это явленіе естественнымъ, но даже и приносить ему дань удивленія и восторженныхъ похвалъ. Таково теперь во Франціи положеніе Жоржа Занда, какъ писательницы; но не таково было ея положеніе назадъ тому нѣсколько лѣтъ. И что́ же?—явись другая писательница съ такимъ же геніемъ,—и на нее сперва польется обильный дождь клеветъ, браней, оскорбленій, лжей,—и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всемъ этомъ будутъ раскупать ея сочиненія и твердить ихъ наизустъ; а потомъ, клеветы, лжи и брани умолкнутъ, смѣнившись на восторгъ и удивленіе... [150]) А въ то же время, сколько женщинъ-писательницъ въ духѣ общественной морали, ничтожныхъ своихъ сочиненія пошлыми сентенціями, пройдутъ незамѣченныя, недостоенныя ничьего вниманія!..

Сказанное нами не можетъ имѣть примѣненія къ русской литературѣ. У насъ, литература имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ старой Европѣ. Тамъ она—выраженіе мысли, служащей источникомъ жизни для общества въ каждую эпоху его историческаго развитія. У насъ, литература—пріятное и полезное, невинное и благородное препровожденіе времени, и для писателя и для читателя. Исключенія изъ этого правила такъ рѣдки, что не стоитъ упоминать о нихъ. Наши писатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше обыкновенныхъ изобрѣтателей и пріобрѣтателей; наши читатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше людей, которые въ преферансѣ и силетяхъ видятъ самое естественное препровожденіе времени.

Отъ-того, у насъ всѣ писатели, и хорошіе и худые, равно читаются и почитаются, равно имѣютъ ограниченный кругъ нравственнаго вліянія, и равно скоро забываются. Исключеніе остается только за писателями, которые ужь слишкомъ по-плечу обществу и слишкомъ-хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностямъ: таковы, напримѣръ, гг. Марлинскій и Бенедиктовъ, которыхъ и теперь еще очень любятъ даже въ столицахъ, а въ провинціи знаютъ наизустъ. Поэтому, женщина, у насъ, смѣло можетъ пускаться въ писательство: если она не всегда можетъ надѣяться стать слишкомъ-высоко, зато никогда не должна бояться затеряться въ заднихъ рядахъ писакъ. Это тѣмъ вѣрнѣе, что женщины, которая когда либо пускались на Руси въ авторство, всегда обладали извѣстною степенью образованности, знаніемъ хоть французскаго языка; при этомъ, имъ не мало служитъ и врожденный женской натурѣ тактъ приличія и здраваго смысла; тогда-какъ несравненно-бо́льшая часть пишущихъ въ Россіи мужчинъ попали въ писатели нечаянно и безъ всякаго приготовленія, а потому и не знаютъ даже первыхъ основаній грамматики своего роднаго языка, да и принадлежатъ къ такому кругу понятій, изъ котораго совсѣмъ не слѣдовало бы показываться въ печати. Въ доказательство справедливости нашихъ словъ указываемъ на длинную вереницу сочинителей въ родѣ гг. Милькѣева, Славина, Кузьмичева, Зотова, Воскресенскаго, Классена, Сигова, Аптины Огородника, Тимооѣева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражковскаго, Ильина и многихъ иныхъ, которыхъ перечесть не достанетъ ни терпѣнія, ни времени, ни мѣста въ статьѣ. Скажутъ: бездарные люди всегда заваливали литературу мусоромъ своихъ сочиненій. Правда, и прежде—въ доброе *классическое* время нашей литературы, бездарныхъ писакъ, такъ же какъ и теперь, было больше, чѣмъ даровитыхъ писателей; но тогда не было между пишущимъ народомъ людей безграмотныхъ; тогда всѣ старались писать въ тонѣ порядочнаго общества, и не воспѣвали въ стихахъ *россійскаго сиволдая* и *кабаковъ* (какъ это недавно сдѣлалъ г. Милькѣевъ), и не восхищались тѣмъ, что Ломоносовъ былъ подверженъ несчастной страсти невоздержанія, отъ которой и погибъ рано. Въ прежнія времена пришли бы въ ужасъ отъ такого *романтизма*. Но въ наше время такъ называемый *романтизмъ* освободилъ писакъ отъ здраваго смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочнаго тона, даже опрятности и чистоплотности,—и всѣ эти господа-сочинители стали выѣзжать, въ своихъ романтически-народныхъ произведеніяхъ, на разбитыхъ носахъ, фонаряхъ подъ глазами, зипунахъ, лаптяхъ, мужицкихъ рѣчахъ и поговоркахъ, кабакахъ и харчевняхъ. И все это имъ представляется и описывается безъ всякаго юмора, безъ всякой сатирической цѣли, но съ добродушнымъ и добросовѣстнымъ восторгомъ и удивленіемъ къ своимъ неопрятнымъ вымысламъ: ссылаемся опять на того же г. Милькѣева, который, вдохновившись

*

сивухою, воспѣлъ ее въ дионрамбѣ безъ всякой ироніи, важнымъ, торжественнымъ и патетическимъ тономъ [151]).

Къ чести русскихъ женщинъ-писательницъ надобно сказать, что между ними примѣры подобнаго романтизма, или безграмотности, составляютъ исключенія изъ общаго правила,—исключенія, которыя остаются за немногими тѣми, которыя, соблазнившись нѣкоторыми журналами, пустились *тутонить* въ нихъ народною (т. е. огородническою) рѣчью... Всѣ другія, обладая большимъ или меньшимъ талантомъ, все-таки отличаются бо́льшею или меньшею грамотностью, уваженіемъ къ приличію и отвращеніемъ къ площадной и харчевенной народности. Между-тѣмъ, въ ихъ послѣдовательномъ явленіи одна за другою есть нѣчто въ родѣ прогресса,—и Анна Бунина и Зенеида Р—ва представляютъ двѣ совершенныя противоположности, не по одному таланту, но и по направленію и духу ихъ произведеній. Здѣсь мы считаемъ кстати сдѣлать короткое обозрѣніе литературной дѣятельности русскихъ женщинъ. Въ каталогѣ Смирдина мы встрѣчаемъ имена слѣдующихъ женщинъ, занимавшихся переводами съ иностранныхъ языковъ на русскій: *Марья Сушкова* (перевела «Инки» Мармонтеля, въ 1778 году), *Марья Орлова* (1788) *Катерина* и *Анна Волконскія* (1792), *Корсакова* (1792), *Нилова* (1793), *Баскакова* (1796), *Марья Базилевичева* (1799), *Марья Иваненко* (1800), *Лихарева* (1801), *Настасья Плещеева* (1808), *Марья Фрейтахъ* (1810), *Катерина де-ла-Маръ* (1815), *Татищева* (1818), *Беклемишева* (1819), *Бровина* (1820), *Вишлинская*, *А.* и *Катерина Воейковы*, *Анна* и *Пелагея Вельяшевы-Волынцовы*, *Вѣра* и *Надежда Кусовниковы*, *Настасья Гагина*, *Катерина Меньшикова*, *А. Мухина*. Изъ этого списка видно, что наши дамы рано приняли участіе въ отечественной литературѣ. Въ 1789 году были изданы «Лучшіе Часы Жизни Моей» *Марьи Поповой*: а въ 1801 г. ея же «Черты Природы и Истины» или «Оттѣнки Мыслей и Чувствъ монхъ». Еще ранѣе, именно въ 1774 г. (стало-быть, *шестьдесятъ-девять* лѣтъ назадъ тому) *Катерина Урусова* издала свою эпическую поэму въ пяти пѣсняхъ, «Поліонъ или Просвѣтившійся Нелюдимъ». *Александра Хвостова* издала въ 1796 году «Каминъ и Ручеекъ». Г-жи *Москвины* издали свои стихотворенія подъ заглавіемъ «Лонія», въ 1802 году. Дѣвица *Волкова* издала, въ 1807 г., свои стихотворенія. Г-жа *Наумова* издала свои стихотворенія, въ 1819 году, подъ именемъ «Уединенной Музы Закамскихъ Береговъ». Г-жа *Любовь Кричевская* обнаружила особенную плодовитость, въ-сравненіи съ исчисленными нами писательницами: она издала «Мои Свободныя Минуты, или Собраніе Сочиненій въ Стихахъ и Прозѣ, Любови Кричевской» (Харьковъ, 1818); драму въ трехъ дѣйствіяхъ «Нѣтъ Добра безъ Награды» (Харьковъ 1826); «Двѣ Повѣсти» (Москва, 1827) и «Историческіе Анекдоты и Избранныя Изрѣченія Извѣстныхъ Людей» (Харьковъ, 1827). Хотя сочиненіе г-жи *Анны Волковой* «Утренняя Бесѣда Слѣпаго Старца съ своею Дочерью» издано въ

1821 году, но по напвному заглавію и, вѣроятно, по такому же содержанію, оно можетъ быть смѣло отнесено къ произведеніямъ семисотъ-семидесятыхъ годовъ [152]). Впрочемъ, это произведеніе той же самой г-жи *Волковой*, которая въ 1807 году издала свои стихотворенія, и въ 1826 еще писала стихи. Г-жа *Титова* издала, въ 1810 году, драму въ пяти дѣйствіяхъ «Густавъ Ваза, или Торжествующая Невинность»; г-жа *Катерина Пушкова*— «Первые Опыты въ Прозѣ» (Москва, 1812); а въ 1817 году г-жа *Марья Болотникова* издала «Деревенскую Лиру, или Часы Уединенія». Но что всѣ эти писательницы передъ знаменитою въ свое время г-жею *Анною Буниною*? Она писала въ журналахъ, и потомъ отдѣльно издавала труды свои, писала и переводила, въ стихахъ и въ прозѣ, занималась не только поэзіей, но и теоріею поэзіи. Въ 1808 году она издала трудъ свой, подъ названіемъ «Правила Поэзіи, сокращенный переводъ аббата *Баттё*, съ присовокупленіемъ россійскаго стопосложенія»; въ 1810 году издала она «О Счастіи, дидактическое стихотвореніе»; въ 1811, издала она свои «Сельскіе Вечера»; въ 1809—1812—«Неопытную Музу Анны Буниной» въ двухъ частяхъ: въ 1819—1821 вышло «Собраніе Стихотвореній Анны Буниной» въ трехъ частяхъ. Знаменитѣйшимъ произведеніемъ г-жи Буниной, была нравственная поэма ея «Фастонъ». Она, кажется, перевела также и «Науку о Стихотворствѣ» Буало, и, вообще, не уступала графу Дмитрію Ивановичу Хвостову ни въ талантѣ, ни въ трудолюбіи, ни въ выборѣ предметовъ для своихъ пѣснопѣній. Собраніе стихотвореній г-жи Анны Буниной было издано Россійскою Академіею. Но и г-жею Буниной не оканчивается еще блистательный списокъ старинныхъ нашихъ писательницъ. Есть еще одна, не менѣе знаменитая, хотя и менѣе извѣстная. Знаете ли вы *дѣвицу Марью Извѣкову*, читали ли вы романы *дѣвицы Маріи Извѣковой*?.. Если нѣтъ, то бѣгите въ книжную лавку, попросите книгопродавца порыться въ его погребахъ и кладовыхъ—этихъ книжныхъ кладбищахъ—и отыскать вамъ романы *дѣвицы Маріи Извѣковой*, если ихъ еще не съѣли мыши и прочтите ихъ какъ можно-скорѣе. Чтобъ помочь вамъ въ вашихъ поискахъ, мы поименуемъ ея романы. Ихъ немного, всего три, да зато, куда хороши! «Эмилія, или Печальныя слѣдствія Безразсудной Любви» (4 ч. 1806); «Милева, или Рѣдкій Примѣръ Великодушія» (1809); «Торжествующая Добродѣтель надъ Коварствомъ и Злобою» (3 ч. 1809). Каковы одни заглавія— такъ и дышатъ чистѣйшею нравственностью! А содержаніе еще лучше, еще нравственнѣе, хотя, надо признаться, и невообразимо-скучно. Его составляютъ происшествія, въ которыхъ дѣйствуютъ лица безъ образа: герои, а особенно героини, отличаются необыкновенною говорливостью. Такъ, на-примѣръ, вы уже знаете черезъ самого автора, что̀ тогда-то и тогда-то было съ героинею: нѣтъ, она сама начнетъ вамъ пересказывать, и гораздо длиннѣе, чѣмъ авторъ уже разсказалъ вамъ, хотя и самъ авторъ не любитъ выражаться коротко. Романы г-жи Извѣковой, кромѣ чистѣйшей нравственности, насквозь про-

никнуты еще и нѣжнѣйшею чувствительностью, и, вѣроятно, многихъ слезъ стоили они прекраснымъ читательницамъ того времени, теперешнимъ почтеннымъ нашимъ тетушкамъ и бабушкамъ. И неблагодарное потомство забыло *дѣвицу Марью Извѣкову*, забыло совсѣмъ!.. Что жь послѣ этого прочно подъ луною? *Гдѣ Греція, гдѣ Римъ*, спрашивалъ Байронъ, въ своемъ «Чайльдъ Гарольдѣ»; гдѣ романы *дѣвицы Марьи Извѣковой?*—часто спрашиваю я самого-себя съ глубокою тоскою, и печально смотрю на современныя произведенія русской литературы... Увы! вездѣ мрачное царство смерти, вездѣ ея ужасное владычество, вездѣ—даже и въ книжномъ мірѣ! Эта мысль съ особенною силою поражаетъ насъ, которые столько пережили, еще не успѣвъ состарѣться, которые съ такою надеждою, такою гордостью встрѣтили столько великихъ произведеній, теперь уже умершихъ для свѣта. Гдѣ теперь всѣ эти «киргизскіе» и другіе «плѣнники», гдѣ все это множество романтическихъ поэмъ, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказскимъ Плѣнникомъ» Пушкина и «Чернецомъ» Козлова? Увы! не только эти скороспѣлыя произведенія недопеченаго романтизма, тогда такъ восхищавшія насъ, не только они не могутъ теперь останавливать нашего вниманія, но мы не нашли бы въ себѣ достаточной отваги, чтобъ перечесть «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказскаго Плѣнника» мы теперь перелистываемъ съ улыбкою... Гдѣ теперь нравоописательные и нравственно-сатирическіе романы г-на Булгарина, гдѣ его пресловутый «Иванъ Выжигинъ», котораго такъ сильно бранили назадъ тому лѣтъ четырнадцать? Гдѣ «Черная Женщина» г-на Греча и «Фантастическія Путешествія» барона Брамбеуса? Все тамъ же, гдѣ и «Корсаръ» г. Олина, и «Князь Курбскій» г. Бориса Ф(О)едорова, и романы *дѣвицы Марьи Извѣковой!*.. Давно ли «Московскій Телеграфъ» казался чудомъ учености, глубокой философіи и здравой критики, давно ли казалось, что въ своемъ ходѣ онъ опережалъ самое время? Давно ли «Юрій Милославскій» считался великимъ національнымъ романомъ? А гдѣ слава нашихъ романическихъ поэтовъ? И кто не считался назадъ тому около двадцати лѣтъ, кто не считался тогда великимъ романтическимъ поэтомъ? Даже г. Шевыревъ и самъ считалъ себя и другими многими [153]) считался поэтомъ—и все это за довольно-плохіе стишонки. Давно ли сей великій мужъ россійской словесности хлопоталъ о введеніи въ русское стихосложеніе скрапучихъ октавъ? И какъ напрасно теперь силится онъ, помня старину, блеснуть то плохимъ стихотвореніемъ, то неслыханно-оригинальною критическою статьею? И какъ напрасно, вмѣстѣ съ нимъ, помня доброе старое время, гг. Языковъ и Хомяковъ стараются спастись отъ волнъ Леты, хватаясь за обломки утлаго въ славянской журналистикѣ челнока—«Москвитянина»... А колоссальная слава гг. Марлинскаго и Бенедиктова—гдѣ же теперь она, если не тамъ, гдѣ и слава романовъ дѣвицы Марьи Извѣковой?

Съ появленіемъ Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщинъ-писательницъ; но извѣстныхъ именъ между ними стало меньше. Это отъ-

того, что имена людей, дѣйствовавшихъ въ началѣ зарождающейся литературы, пользуются извѣстностью даже и безъ отношенія къ ихъ таланту, Когда же литература уже сколько нибудь установится, тогда, чтобъ получить въ ней почетное имя, нужно имѣть замѣчательный талантъ. И такъ, мы помнимъ, въ пушкинскій періодъ русской литературы, только четыре женскія имени: княгини *З. А. Волконской*, которой Пушкинъ посвятилъ своихъ «Цыганъ», г-жъ *Лисицыной*, *Готовцевой* и *Тепловой*. Въ стихотвореніяхъ трехъ послѣднихъ проглядываетъ чувство, особливо въ стихотвореніяхъ г-жи Тепловой: это уже большая разница отъ произведеній прежнихъ стихотворицъ: то были плоды невинныхъ досуговъ, поэтическое вязаніе чулковъ, рифмотворное шитье. а здѣсь уже проблескивала поэзія. Правда, помянутыя нами стихотворицы мало писали, и только стихотворенія одной г-жи Тепловой собраны въ отдѣльную книжку-малютку; но можетъ ли быть плодовита поэзія, основанная не на мысли, а на одномъ непосредственномъ чувствѣ?.. Чувства никакъ нельзя отнять у стихотвореній г-жи Тепловой, и это чувство высказывалось у ней въ болѣе или менѣе поэтическихъ стихахъ. Напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ хоть одно стихотвореніе г-жи Тепловой; возьмемъ наудачу такъ-называющееся «Къ Сестрѣ»:

Когда наступитъ часъ желанный
Разлуки съ жизнію туманной,
И отъ земныхъ тяжелыхъ узъ
Я равнодушно отложусь:
Миръ вѣчной жизни, тихій, ясный,
Тогда почіетъ на челѣ;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на землѣ!
Тогда въ душѣ, для услажденья
Минуты смертнаго томленья,
Я положу завѣтъ святой...
И жди меня въ часы полночи,
Когда людей смежатся очи,
И мѣсяцъ встанетъ надъ рѣкой.
Приду на краткое свиданье.
Скажу, что я узнала *тамъ*,
И замогильныя желанья
И тайну неба передамъ.

Оставя въ-сторонѣ ребяческую мысль этого стихотворенія, кто однакоже не согласится, что оно вылилось изъ души и полно чувства?

Теперь скажемъ по нѣскольку словъ о женщинахъ-писательницахъ, явившихся въ послѣднее время. *Елисавета Кульманъ* оставила послѣ себя претолстую книгу, свидѣтельствующую о ея необыкновенно-возвышенной душѣ, страстной къ изящному и умѣвшей черезъ строгое и основательное изученіе сбрѣсти въ эллинской поэзіи осуществленный идеалъ этого изящнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствующую и о томъ, что любовь къ поэзіи и сно-

собность понимать ее и наслаждаться ею—не всегда одно и то же съ талантомъ поэзіи... Г-жа *Павлова* (урожденная *Яниш*) обладаетъ необыкновеннымъ даромъ переводить стихами съ одного языка на другой; съ равнымъ успѣхомъ переводитъ она съ англійскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ на русскій, и съ русскаго языка на нѣмецкій и французскій. Жаль только, что этому превосходному таланту г-жи Павловой переводить не соотвѣтствуетъ ея талантъ выбирать пьесы для перевода. Такъ, напр., съ англійскаго она перевела на русскій нѣсколько шотландскихъ и англійскихъ народныхъ балладъ, которыя, не смотря на превосходный переводъ, не могутъ имѣть на русскомъ никакого значенія, именно потому-что онѣ—народныя. На нѣмецкій языкъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пьесами Пушкина, перевела она нѣкоторыя пьесы гг. Языкова и Хомякова, и тѣмъ самымъ, не смотря на превосходный переводъ, отбила охоту у Нѣмцевъ интересоваться русскою поэзіею. И въ то же время г-жа Павлова съ такимъ удивительнымъ искусствомъ передала на французскій языкъ, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую Дѣву» Шиллера. Однимъ словомъ, еслибъ способность выбора соотвѣтствовала ея таланту, г-жа Павлова, своими превосходными переводами, усвоила бы себѣ прочную славу не въ одной только русской литературѣ.—Графиня *Е. П. Растопчина*, выступившая на литературное поприще съ 1835 года, въ первыхъ опытахъ своей поэтической дѣятельности обнаружила много чувства и одушевленія, при отсутствіи, впрочемъ, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникала бы собою всѣ ея произведенія. То, что въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной можетъ инымъ показаться мыслію, есть не что иное, какъ отвлеченныя понятія, одѣтыя въ болѣе или менѣе удачный стихъ. Это особенно замѣтно въ ея послѣднихъ стихотвореніяхъ (начиная съ 1837 года по сіе время), въ которыхъ нельзя узнать прежняго стиха даровитой стихотворицы и въ которыхъ всѣ мысли и чувства кружатся, словно подъ музыку Штрауса, и скачутъ, словно подъ музыку моднаго галопа, или около *я* автора, или въ заколдованномъ кругу свѣтской жизни, не выходя въ сферу обще-человѣческихъ интересовъ, которые только одни могутъ быть живымъ источникомъ истинной поэзіи.—Въ 1839—1840 годахъ, были изданы, въ прозаическомъ русскомъ переводѣ, стихотворенія графини *Сары Толстой*, писанныя ею на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ. Эти стихотворенія понятны только въ цѣломъ и въ связи съ жизнію юной стихотворицы, похищенной смертію на восьмнадцатомъ году ея жизни. Всѣ эти стихотворенія проникнуты однимъ чувствомъ, одною думою, и то чувство—меланхолія, та дума—мысль о близкомъ концѣ, о тихомъ покоѣ могилы, украшенной весенними цвѣтами... У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказалась поэтически. Стихотворенія Сары Толстой нельзя читать какъ только произведенія поэзіи, но и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ поэтическую біографію одной изъ самыхъ странныхъ, самыхъ оригинальныхъ, самыхъ поэтическихъ, и по натурѣ и по судьбѣ, и по таланту и по духу, личностей. Это прекрасное явле-

ніе промелькнуло безъ слѣда и памяти... Да и кому нужда у насъ замѣчать такія явленія, несостоящія ни въ какомъ классѣ?.. Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, заслуженная извѣстность Сары Толстой много потеряла отъ-того, что ея стихотворенія изданы не для публики, а для тѣснаго круга ея родныхъ и знакомыхъ, и притомъ въ довольно-плохомъ переводѣ и съ дурно-написаннымъ предисловіемъ...—Къ замѣчательнымъ явленіямъ послѣдняго времени русской литературы принадлежатъ повѣсти г-жи *Жуковой*. Въ нихъ много чувства, и онѣ отличаются прекраснымъ разсказомъ: вотъ ихъ неотъемлемыя достоинства. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ чужды иронiи, жизнь въ нихъ представляется не въ ея собственномъ цвѣтѣ, а раскрашенная розовою краскою поддѣльной идеализаціи, и отъ-того характеры дѣйствующихъ лицъ иногда невыдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замѣчается отсутствіе цѣлаго, при прекрасныхъ частностяхъ. Однимъ словомъ, даровитая г-жа Жукова принадлежитъ къ тому разряду писателей, которые изображаютъ жизнь не такою, какова она есть, слѣдовательно, не въ ея истинѣ и дѣйствительности, а такою, какою имъ хотѣлось бы ее видѣть. Но, при всемъ этомъ, въ повѣстяхъ г-жи Жуковой уже видно какъ бы невольное стремленіе, въ-слѣдствіе духа времени—искать сюжетовъ въ дѣйствительной современной жизни и заботиться о естественномъ изображеніи подробностей быта и ежедневной жизни героевъ, сообразно съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и степенью ихъ образованности. Вообще, главное достоинство повѣстей г-жи Жуковой—теплота чувства, и главный ихъ недостатокъ—отсутствіе такта дѣйствительности.

Нельзя сказать, чтобъ въ повѣстяхъ *Зенеиды Р—вой* русская повѣсть достигла, талантомъ женщины, своего полнаго развитія, чтобъ она стала выраженіемъ созрѣвшей мысли и вѣрною картиною современнаго общества: но въ то же время нельзя не сказать, что ни одна изъ русскихъ писательницъ не обладала такою силою мысли, такимъ тактомъ дѣйствительности, такимъ замѣчательнымъ талантомъ, какъ Зенеида Р—ва. Созданная ею повѣсть, какъ ея талантъ и жизнь, остановились на полудорогѣ и не дошли до своего полнаго и конечнаго развитія. Мы не хотимъ и упоминать о полнотѣ чувства, которою проникнуты повѣсти Зенеиды Р—вой: это должно само-собою подразумѣваться, когда дѣло идетъ о сильномъ талантѣ: какого же порядочнаго математика хвалятъ за способности комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступимъ къ тому, что составляетъ существенное достоинство повѣстей Зенеиды Р—вой – къ ихъ *мысли*.

Въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ, мысль не является отвлеченнымъ понятіемъ, выраженнымъ догматически, но составляетъ ихъ душу, разлитая въ нихъ, какъ свѣтъ въ хрусталѣ. Мысль въ поэтическихъ созданіяхъ,—это ихъ *пафосъ*, или *патосъ*. Что такое пафосъ?—страстное проникновеніе и увлеченіе какою—нибудь идеею. Отсюда происходитъ и слово «патетическій». Что называется «патетическимъ» въ драмѣ?—Энергія раздраженнаго чувства, которое бурными волнами огненной рѣчи изливается изъ устъ дѣйствующаго

лица. Въ такихъ монологахъ всегда видно трепетное, страстное проникновеніе дѣйствующаго лица тою идеею, которая составляетъ собою невидимую пружину всей его дѣятельности, всей энергіи его воли, готовой на все для достиженія своей цѣли. Вотъ этотъ-то паѳосъ и составляетъ собою базисъ и фонъ твореній всякаго замѣчательнаго поэта. Что же составляетъ паѳосъ повѣстей Зенеиды Р—вой?—безъ-сомнѣнія *любовь*, ибо всѣ ея повѣсти основаны исключительно на одномъ этомъ чувствѣ. Но любовь есть понятіе слишкомъ общее, которое у всякаго истиннаго таланта должно принять болѣе или менѣе индивидуальный оттѣнокъ, или представляться подъ особенною точкою зрѣнія. Посему мало сказать, что любовь составляетъ паѳосъ повѣстей Зенеиды Р—вой: надо прибавить—*любовь женщины*. Всѣ повѣсти этой даровитой писательницы проникнуты однимъ страстнымъ чувствомъ, одною живою идеею, однимъ могучимъ созерцаніемъ, не дающимъ покоя автору, и тревожно его наполняющимъ, созерцаніемъ, которое можно выразить такими словами: *какъ умѣютъ любить женщины и какъ не умѣютъ любить мужчины*.

И такъ, основная мысль, источникъ вдохновенія и завѣтное слово поэзіи Зенеиды Р—вой есть апологія женщины и протестъ противъ мужчины... Обвинимъ ли мы ее въ пристрастіи, или признаемъ ея мысль справедливою?.. Мы думаемъ, что справедливость ея слишкомъ-очевидна, и что намъ лучше попытаться объяснить причину такого явленія, чѣмъ доказывать его дѣйствительность.

Окинемъ бѣглымъ взглядомъ содержаніе всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой. Первая—«Идеалъ». Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волею родныхъ въ позорное рабство продажнаго брака, обращаетъ всю силу страстнаго стремленія своей любящей натуры на восхитившаго ее своими созданіями поэта, и потомъ, самымъ ужаснымъ для себя образомъ узнаетъ, что этотъ поэтъ, этотъ ея *идеалъ*, безсовѣстно игралъ ею, завлекая ее мнимою своею взаимностію. Это открытіе стоило ей злой горячки и потомъ полнаго разочарованія въ возможности какого бы то ни было счастія на землѣ; а поэту, *идеалу*, это ровно ничего не стоило — онъ остался здоровъ и счастливъ вполнѣ... Вотъ каковы мужчины въ любви! А женщины?—посмотрите, какъ описываетъ авторъ, своимъ цвѣтистымъ и энергическимъ языкомъ, состояніе бѣдной, разочарованной героини ея повѣсти.

«Я видѣла молодую птичку въ веснѣ ея жизни: она въ первый разъ выпорхнула изъ теплаго гнѣзда, ей представились небо, красное солнце, и міръ Божій: какъ радостно забилось ея сердце, какъ затрепетали крылья! Заранѣе она обнимаетъ ими пространство; заранѣе готовится жить, и съ первымъ стремленіемъ попадается въ руки ловчаго, который не оковываетъ ея цѣпями, не запираетъ въ клѣткѣ, нѣтъ, онъ выкалываетъ ей глаза, подрѣзываетъ крылья, и бѣдная живетъ въ томъ же мірѣ, гдѣ были ей обѣщаны свобода и столько радостей; ее грѣетъ то же солнце, она дышетъ тѣмъ же воздухомъ, но рвется, тоскуетъ, и прикованная къ холодной землѣ, можетъ только твердить: *не для меня, не для меня!* Еслибъ заперли ее въ желѣзную клѣтку, она бы

исклевала ее и пробилась на волю, или, метаясь, израненная остріемъ желѣза, безъ сожалѣнія разсталась бы съ остальною половиною жизни, когда лучшая половина у нея отнята. Но она не въ клѣткѣ; не крѣпкія стѣны окружаютъ ее; она свободна, и, между тѣмъ, вѣчная мгла, вѣчное бездѣйствіе — вотъ удѣлъ моей птички! Вотъ удѣлъ Ольги»!

Героиня повѣсти «Утбалла» всѣмъ жертвуетъ—даже жизнью, рѣшаясь на страшную смерть отъ руки дикихъ изверговъ, чтобы доставить милому минуту упоенія любовью... И Утбалла — эта очаровательная Калмычка — гибнетъ жертвою своей великодушной рѣшимости; а ея возлюбленный, тотъ, кому принесла она въ жертву молодую жизнь свою?—Черезъ нѣсколько лѣтъ его видѣли въ Петербургѣ, въ чинѣ полковника, гуляющаго по Англійской Набережной подъ руку съ прелестною женщиною... Кто она, эта женщина—родственница, или подруга жизни? «Которому извѣстію вѣрить!.. (говоритъ авторъ) кажется, второе достовѣрнѣе!..»

Въ повѣсти «Медальйонъ» представлены двѣ великодушныя, любящія женщины противъ одного негодяя, изверга-мужчины. Одна изъ нихъ—жертва обольщенія коварнаго свѣтскаго человѣка, ослѣпла отъ слезъ, узнавъ его вѣроломство; другая, сестра ея, завлекаетъ его тонкимъ кокетствомъ, влюбляетъ въ себя, и когда онъ готовъ на все, даже жениться на ней, отказываясь отъ выгодной партіи, она читаетъ ему, при многочисленномъ обществѣ, будто-бы сочиненную ею повѣсть, а въ-самомъ-дѣлѣ, разсказъ о его преступномъ поступкѣ съ ея сестрою, открываетъ медальйонъ и показываетъ ему портретъ его жертвы, своей слѣпой сестры... Модный извергъ, смущенный и взбѣшенный, вполнѣ почувствовалъ ядовитую горечь женскаго мщенія...

Въ повѣсти «Судъ Свѣта» представленъ мужчина, способный къ любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умѣющій любить: недостатокъ довѣренности и дикая, звѣрская ревность къ любимой женщинѣ увлекаютъ его къ безумному убійству и губятъ навсегда предметъ его любви. А эта женщина умѣла любить—и за то погибла жертвою того, кого любила...

«Теофанія Аббіаджіо»—рѣшительно лучшая изъ всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой, есть самая злая сатира на мужчинъ, самая неумолимая улика ихъ въ ихъ тупости и близорукости въ дѣлѣ любви. Александръ Долиньи, герой повѣсти, человѣкъ съ глубокимъ чувствомъ, съ благородною душою, съ характеромъ не только возвышеннымъ, но и сосредоточеннымъ, непоколебимотвердымъ,—и не смотря на все это, въ вопросѣ о любви, онъ также ничтоженъ, такъ же пошлъ, какъ и всѣ вообще мужчины.—И за то, въ какомъ колоссальномъ величіи является передъ нимъ Теофанія, которую онъ, въ мужской слѣпотѣ своей, считалъ за натуру холодную и неспособную къ любви, и которую онъ промѣнялъ на свѣтскую кокетку, правда не лишенную страсти, но пустую и мелочную... Какъ жалокъ и смѣшенъ этотъ Долиньи, сконфузившійся отъ вопроса своего знакомаго о висѣвшемъ у него на фракѣ орденѣ, и догадавшійся, изъ разсказа знакомаго, какою глубокою страстью горѣла къ

нему Теофанія... И какъ возвышенна эта Теофанія, въ ея молчаливомъ и гордомъ страданіи, въ ея свободномъ примиреніи съ мыслію о безплодно-погибшей жизни и о разрушенныхъ навѣки лучшихъ надеждахъ ея!..

Въ «Любимцѣ» опять мужчина, не умѣющій понять любимой имъ женщины, слѣпой и ограниченный въ дѣлѣ любви, несмотря на всѣ свои достоинства въ другихъ отношеніяхъ, несмотря на то, что онъ человѣкъ благородный, душа восторженная и любящая... И опять женщина подавляетъ мужчину своимъ великодушіемъ, своею безграничною преданностію и свѣтлымъ самопожертвованіемъ въ дѣлѣ любви...

И вотъ, мы насчитали уже *шесть* повѣстей, проникнутыхъ все одною и тою же мыслію. Есть, правда, у Зенеиды Р—вой двѣ повѣсти, въ которыхъ мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. Въ «Джеллалединѣ» дѣло представлено даже совсѣмъ наоборотъ. Пламенный, мечтательный, благородный татарскій князь дѣлается жертвою своей безумной страсти къ пустой, легкой женщинѣ. Сочинительница говоритъ отъ себя, въ концѣ, что она встрѣтила героиню своей повѣсти, уже бабушкою и старою сплетницею, лицемѣрною ханжою. Но не довѣряйте, въ этомъ случаѣ, искренности сочинительницы: подлѣ пустой женщины, она, въ своей картинѣ, искусно помѣстила интересную фигуру молодой татарки Эмины, которая... но мы лучше напомнимъ о ней читателямъ словами самого автора. Описавши погребеніе ошибкою-убитаго Джеллалединомъ Бѣлоградова, сочинительница продолжаетъ:

«Неподалеку оттуда, у взморья, гдѣ между грудами камней растутъ можжевельникъ и колючій тернъ, валялось другое тѣло, не удостоенное даже погребенія... Ужасны были черты покойника, въ которыхъ самая смерть не могла возстановить спокойствія: на посинѣломъ лицѣ, въ полуоткрытыхъ глазахъ еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, въ широкой ранѣ торчало еще лезвее кинжала, пальцы замерли и окостенѣли, крѣпко сжимая рукоять...

«Напрасно Эмина молила татаръ и русскихъ предать тѣло несчастнаго земли: Магометане видѣли въ немъ вѣроотступника и справедливое мщеніе пророка: христіане отвергали какъ преступника и самоубійцу... Сердце, истерзанное заживо людьми, осуждено было и по смерти на истерзаніе хищнымъ птицамъ. Одна, вѣрная подруга, не покинула его; безъ слезъ, безъ стона, она сидѣла у трупа на камнѣ, сметала сухіе листья, падавшіе ему на голову, и порой отгоняла ворона, который съ крикомъ опускался къ своей добычѣ. Не скоро, одинъ старый казакъ, тронувшись положеніемъ молодой дѣвушки, вырылъ на томъ же мѣстѣ могилу, и съ молитвой опустилъ въ нее полуистлѣвшее тѣло. Дѣвушку отвели въ деревню, она убѣжала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары рѣшили, что ею овладѣлъ шайтанъ, который загрызъ ихъ князя, и выпустили ее изъ деревни. Безумная поселилась у взморья; ни осеннія бури, ни зимнія мятели не могли прогнать ея; днемъ и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проѣзжая мимо, бросали ей хлѣбъ, и спѣшили удалиться... долго бѣлое покрывало вѣяло у взморья, и пугало суевѣрныхъ, наконецъ и оно исчезло. Дѣвушку нашли ле-

жащею ницъ на могилѣ, пальцы ея врылись въ землю, даже ротъ былъ полонъ земли: видно, бѣдняжка, въ припадкѣ безумія, хотѣла отнять у могилы ея достояніе—своего незабвеннаго, вѣчно-милаго друга...»

И этотъ Джеллалединъ, при жизни своей, никогда не догадывался и не подозрѣвалъ, что Эмина любитъ его со всѣмъ пыломъ восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы замѣтить ему,—и вмѣсто Эмины привязался всею силою глубокаго, энергическаго чувства къ пустой, легкомысленной дѣвчонкѣ... Знаете ли что?—намъ кажется, что мы, назвавъ эту повѣсть исключеніемъ изъ общаго направленія всѣхъ повѣстей Зенеиды Р—вой, должны взять назадъ наше слово. Нѣтъ, это еще болѣе злая сатира на мужчинъ, чѣмъ всѣ прочія повѣсти...

Вотъ другое дѣло повѣсть—«Номерованная Ложа»; ея искренности можно повѣрить, хотя въ ней мужчина представленъ очень и очень порядочнымъ человѣкомъ въ его отношеніяхъ къ любимой имъ женщинѣ. Но за то, эта повѣсть, съ такою счастливою развязкою, ужъ черезъ-чуръ сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, какъ всякая ложь, часто портитъ повѣсть...

Содержаніе *семи* повѣстей, такъ какъ оно изложено нами, достаточно знакомитъ читателя съ нашимъ поэзіи Зенеиды Р—вой. Теперь мы укажемъ на мѣста, въ которыхъ прямо и сознательно выговаривается задушевная мысли сочинительницы.

Вотъ что говоритъ она въ концѣ повѣсти «Джеллалединъ»:

«Отрадна мысль, что наши заботы, тревоги пролетаютъ, какъ гулъ въ безграничности пустыни, вздымая лишь нѣсколько песчинокъ, пробуждая только слабый отголосокъ эха, и оставляютъ по себѣ едва замѣтное потрясеніе въ воздухѣ, которое, разбѣгаясь въ невидимыхъ кругахъ, все слабѣе чѣмъ далѣе отъ точки ударенія, изчезаетъ подобно самому звуку въ пространствѣ.

«Но грустно думать, что въ этой бѣдной связкѣ дней, называемыхъ жизнію, такъ мало мгновеній, достойныхъ названія жизни! Грустно видѣть, какъ часто души чистыя, возвышенныя, прекрасныя сродняются съ душами слабыми, мелочными, созданными только для матеріальнаго прозябанія въ болотахъ земныхъ. Опутанная нерасторгаемыми узами своихъ собственныхъ чувствъ, сильная не можетъ покинуть своей ничтожной подруги, она порывается съ ней къ поднебесью, хочетъ унесть ее въ свою родину, отогрѣть ее лучами любви своей, облить ее своимъ блаженствомъ... Напрасно! Душа слабая не окрылится, не взлетитъ изъ холодныхъ долинъ въ страны заоблачныя: порой, на мигъ восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взоромъ къ небесамъ, но ее пугаютъ и блескъ солнца, и стрѣлы молніи: она страшится доли сына дедалова, и притягивая къ себѣ свою невинную добычу, медленно губитъ ее, или безжалостно разрываетъ узы, связывающіе ее съ нею, не помышляя о томъ, что узы тѣ срослись съ жизнью ея подруги, составлены изъ фибровъ сердца ея, и что, расторгая ихъ насильственной рукой, она убиваетъ ея существованіе!.. Вотъ почти обыкновенная доля душъ, которыхъ люди называютъ возвышенными, прекрасными, и которымъ прови-

дѣніе, давая всѣ способности, всю силу постигать, чувствовать и цѣнить счастіе жизни, отказываетъ только... въ самомъ счастіи!..»

И роль чистыхъ, возвышенныхъ и прекрасныхъ душъ, по мнѣнію сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщинъ, тогда-какъ роль души слабой досталась исключительно мужчинамъ. Хотите ли доказательства, что такъ именно думала даровитая Зенеида Р—ва? — Вотъ ея собственныя слова:

«Любовались ли вы иногда облаками въ часъ вечерній, когда они сіяютъ на небосклонѣ, развиваются безпредѣльною цѣпью, и сквозь сумракъ обманываютъ взоръ наблюдателя, рисуясь то синими горами, то лѣсомъ, то воздушнымъ дворцомъ феи? И вотъ они сжимаются, тѣснятся, и образуютъ одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокотъ; онъ вырывается изъ груди ея, будто стонъ людскаго предчувствія, и вдругъ огненная струя прорѣзываетъ мглу, извивается змѣемъ, гаснетъ, изрыгнувъ пожаръ и воду на оробѣвшую землю. Безпрерывные удары грома потрясаютъ воздухъ, окрестность вторитъ его перекатамъ, дождь льетъ ручьями, вихрь ломаетъ деревья, люди съ трепетомъ думаютъ, что насталь послѣдній день міра. Но проходитъ часъ,—гроза умолкла, черная туча разсѣялась и не осталось никакихъ слѣдовъ мятежа стихій: небо опять чисто и ясно, и земля какъ испуганное дитя улыбается сквозь слезы, которыя еще дрожатъ на ея лицѣ. Еще часъ, и все возвратится къ прежнему спокойствію.

«Поэты до-сихъ-поръ доискиваются тайнаго нравственнаго смысла этого великаго представленія природы; а я такъ думаю, что это просто — пародія печали и отчаянія мужчинъ.

«Но есть облако другаго рода: оно медленно скопляется изъ паровъ сухой, безплодной почвы; ни одинъ живой источникъ. ни одно озеро не посылаютъ ему должной доли, и незамѣтное какъ тѣнь, оно скитается по подпебесью, не имѣя силы ни жить, ни умереть. Съ зарей вы видите его на востокѣ: оно ожидаетъ появленія солнца, и, кажется, молитъ свѣтило, чтобъ первые лучи истребили его, чтобъ огонь полудня растопилъ несчастную горсть паровъ. Солнце всходитъ и гордо совершаетъ свой путь, не замѣчая блѣднаго облака. Въ часъ вечера, когда шаръ безъ лучей опускается въ морскую пучину, вы видите то же самое облако на западѣ: оно просится въ бездну, жаждетъ утонуть въ ея холодныхъ объятіяхъ. Солнце снова отталкиваетъ его, бросается въ лазоревое ложе, а облако, по прежнему печальное, одинокое, идетъ скитаться въ пустынѣ подпебесной.

«Это облако—печаль и отчаяніе женщины.

«Тоска женщины не пугаетъ людей бурными порывами: ея никто не видитъ и не замѣчаетъ; она западаетъ глубоко въ сердце, и точитъ его, какъ червь точитъ корень водяной лиліи. Если веселіе мелькнетъ случайно на лицѣ страдалицы, ея улыбкой полюбуется равнодушный прохожій, какъ бѣлоснѣжными листьями цвѣтка, плавающаго на поверхности водъ, не думая даже о томъ, что въ корень бѣлой лиліи всосался болотный червь, что въ груди ея губительный недугъ, что ядъ струится по всѣмъ ея жиламъ, и что этотъ червь умретъ только подъ гнетомъ камня могильнаго».

Мы совершенно согласны съ авторомъ на счетъ превосходства женщинъ надъ мужчинами въ дѣлѣ любви; мы принимаемъ это превосходство за фактъ,

неподлежащій никакому сомнѣнію, и только постараемся, какъ съумѣемъ, объяснить причину такого явленія.

Начнемъ съ того, что женщина болѣе-чѣмъ мужчина создана для любви самою природою. Женщина—представительница земнаго, производительнаго и хранительнаго начала, тогда-какъ мужчина представитель начала умственнаго, отвлеченнаго, олимпійскаго. Отсюда происходитъ великая разница въ семейственномъ значеніи женщины и мужчины. Женщина- мать по призванію, по душѣ и по крови. Мать есть понятіе живое, дѣйствительное, фактически-существующее; тогда-какъ отецъ есть понятіе болѣе или менѣе условное, болѣе или менѣе относительное. Мать любитъ свое дитя сердцемъ, кровью, нервами, любитъ его всѣмъ существомъ своимъ; ея любовь прежде всего физическая, естественная, слѣдовательно любовь по-преимуществу, любовь какъ любовь. Она носитъ свое дитя у себя подъ сердцемъ, девять мѣсяцевъ питаетъ и роститъ его своею кровью, чувствуетъ въ себѣ первыя жизненныя его движенія; оно, это дитя—плоть отъ плоти ея и кость отъ костей ея; она рождаетъ его на свѣтъ въ мукахъ и страданіяхъ, и вмѣсто того, чтобъ возненавидѣть, именно за нихъ-то, за эти муки и страданія еще болѣе любитъ его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо, съ перваго дня своего появленія на свѣтъ дѣлается предметомъ нѣжнѣйшихъ попеченій и неусыпныхъ заботъ своей матери: она любуется его безобразіемъ, какъ красотою; его красная, морщиноватая кожа только манитъ ея поцѣлуи; въ его безсмысленной улыбкѣ она видитъ чуть не разумную рѣчь и готова начать съ нимъ говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленькаго животнаго; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя надъ его ложемъ. И она—бѣдная мать—будетъ любить его всегда, и прекраснаго и безобразнаго, и умнаго и глупаго, и добраго и злаго, и добродѣтельнаго и порочнаго, и славнаго и неизвѣстнаго... Она равно рыдаетъ и надъ гробомъ своего дитяти-младенца, и надъ гробомъ своего сына-старика, или своей дочери-старухи. Ангелъ-хранитель младенчества дѣтей своихъ, она другъ ихъ юности, возмужалости и старости. Нѣтъ жертвы, которой бы не принесла она для дѣтей; ихъ счастіе—ея счастіе; ихъ несчастіе—ея несчастіе. Нѣтъ ничего святѣе и безкорыстнѣе любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна въ сравненіи съ нею! Любовница, жена любитъ васъ для себя самой, ваша мать любитъ васъ для васъ-самихъ. Ея высочайшее счастіе видѣть васъ подлѣ себя, и она посылаетъ васъ туда, гдѣ, по ея мнѣнію, вамъ веселѣе; для вашей пользы, вашего счастія она готова рѣшиться на всегдашнюю разлуку съ вами. Конечно, такихъ матерей не много на бѣломъ свѣтѣ; но вѣдь и *женщинъ* тоже мало въ этомъ мірѣ, а много въ немъ *самокъ*...

Совсѣмъ-иначе любитъ отецъ своихъ дѣтей. Во-первыхъ, онъ любитъ ихъ только тогда, когда и мать ихъ любима имъ; во-вторыхъ, онъ начинаетъ ихъ любить только съ-тѣхъ-поръ, какъ они начнутъ становиться и милы и зо-

бавны. Ихъ крика и докуки онъ не любитъ. Источникъ любви отца къ дѣтямъ всегда или эгоизмъ, или рефлексія, и никогда—природа. «Они *мои* дѣти—они *на меня* похожи—они продолжатъ *мое* имя—я прижилъ ихъ отъ *моей* милой—они обнаруживаютъ большія способности—они много обѣщаютъ въ будущемъ»—думаетъ про себя дражайшій родитель,—и онъ въ восторгѣ отъ мысли, что онъ любитъ своихъ дѣтей, что онъ не только нѣжный супругъ, но и примѣрный отецъ! Правда, и отецъ можетъ страстно любить дѣтей своихъ, когда его съ ними соединятъ нравственное, духовное родство; но такъ же точно можетъ онъ любить и пріемыша, даже еще больше, чѣмъ собственныхъ дѣтей.

Что мать есть понятіе дѣйствительное, а отецъ—понятіе отвлеченное (говоря философскимъ языкомъ), этому можетъ служить доказательствомъ и то, что мать не можетъ не знать, что именно она сама, а не кто-нибудь другая, мать этого ребенка: ибо она девять мѣсяцевъ носила его подъ сердцемъ и въ болѣзняхъ дѣторожденія произвела его на свѣтъ... Отцы считаютъ себя отцами дѣтей своихъ, опираясь только на свидѣтельствѣ женъ своихъ, не всегда непреложно-истинномъ... Для всякаго человѣка—большое несчастіе не знать своей матери; для многихъ большое счастіе—не знать своихъ отцовъ...

Всѣ люди равно родятся для любви, и безъ любви ни для кого изъ людей нѣтъ ни истиннаго счастія, ни истинной жизни; но любовь женщины есть болѣе любовь, чѣмъ любовь мужчины; въ любви женщины больше кровнаго, а потому и больше страстнаго,—тогда-какъ въ любви мужчины больше мыслительнаго, если можно такъ выразиться. Давно уже было замѣчено, что женщина мыслитъ сердцемъ, а мужчина и любитъ головою. Эту разницу въ характерѣ любви того и другаго пола показали мы въ разницѣ любви матери и любви отца.

Та же самая разница найдется и во всякой другой любви. Замѣчено, что мужчины въ любви больше эгоисты, чѣмъ женщины. Если женщина эгоистка, она уже совсѣмъ не живетъ сердцемъ, не ищетъ любви и не требуетъ ея; ея вся жизнь въ разсчетѣ. Если же сердце женщины жаждетъ любви,—оно предается мужчинѣ со всѣмъ самозабвеніемъ, со всѣмъ безразсудствомъ слѣпаго великодушія. Мужчина безъ любви не любитъ жить, и готовъ на всѣ жертвы и на всякое безразсудство—пока не достигъ своей цѣли. Удовлетворивши своей страсти, онъ вспоминаетъ о своей будущности, о своихъ обязанностяхъ, о святыхъ интересахъ своей души и пр., и чѣмъ болѣе дѣлается эгоистомъ, тѣмъ болѣе видитъ въ себѣ героя. Отъ-того, женщины-кокетки, женщины, умѣющія владѣть собою и сдающіяся не иначе, какъ долго мучивъ влюбленнаго въ нихъ мужчину, и даже въ связи съ нимъ умѣющія мучить его, вѣрнѣе и дольше владѣютъ его сердцемъ. Мужчины не дорожатъ легкими побѣдами, хотя бы причина ихъ легкости заключалась въ прямотѣ и безхитростности преданнаго женскаго сердца. Женщины постояннѣе

въ любви, и мужчины почти всегда первые охладѣваютъ къ старой связи и жаждутъ предаться позой. Эта способность внезапно охладѣвать и вдругъ чувствовать страшную пустоту и безотвѣтность въ сердцѣ, которое недавно еще было такъ полно и такъ дружно отвѣчало біенію другого сердца,—эта несчастная способность бываетъ для благородныхъ мужскихъ натуръ источникомъ не только невыносимыхъ страданій, но и совершеннаго отчаянія. Женщины всегда готовы любить,—мужчина можетъ любить только при извѣстной настроенности своего духа: женщинѣ никогда и ничто не мѣшаетъ любить,—у мужчины есть много интересовъ, могущественно борющихся съ любовью и часто побѣждающихъ ее. Женщина всегда готова для замужества, независимо отъ ея лѣтъ и опыта,—мужчина только въ извѣстные лѣта и при извѣстномъ развитіи черезъ жизнь и опытъ пріобрѣтаетъ нравственную возможность жениться: ему надо дорости и развиться до нея; иначе онъ несчастнѣйшій человѣкъ черезъ нѣсколько же дней послѣ своей свадьбы. Женщина, вдругъ охладѣвшая къ своему мужу и увлеченная роковою страстью къ другому, есть исключеніе изъ общаго правила; мужчина съ поэтически-живою натурою, всю жизнь свою привязанный къ одной женщинѣ, есть тоже очень рѣдкое исключеніе.

Все это совершенная правда; но основываясь на всемъ этомъ, еще не слѣдуетъ изрекать ни безусловнаго благословенія на женщинъ, ни безусловнаго проклятія на мужчинъ: ибо все имѣетъ свои причины, слѣдственно, свое разумное оправданіе.

Мы охотно соглашаемся въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ женщина *только* на одно то и родилась, чтобъ любить: напротивъ, изъ этого слѣдуетъ, что женщина подъ преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства создана дѣйствовать въ тѣхъ же самыхъ сферахъ и на тѣхъ же самыхъ поприщахъ, гдѣ дѣйствуетъ мужчина, подъ преимущественнымъ преобладаніемъ ума и сознанія. А между-тѣмъ, общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградилъ ей пути во всѣ другія сферы человѣческаго существованія. Гаремы только фактически принадлежатъ Востоку: въ идеѣ, они принадлежность и просвѣщенной Европы и всего міра. Извѣстно физіологически, что каждое наше чувство съ особенною силою развивается на счетъ другихъ чувствъ; потерявшіе слухъ лучше начинаютъ видѣть, ослѣпшіе—лучше слышать, тоньше осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной натуры женщины выражается въ любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а всѣ другія человѣческія права рѣшительно отняты? Удивительно ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, что тогда въ женщинахъ становится недостаткомъ именно то, что должно бы составлять ихъ высочайшее достоинство? Исключительная преданность любви дѣлаетъ ихъ односторонними и требовательными: онѣ, кромѣ любви, не хотятъ признавать ничего на свѣтѣ и требуютъ, чтобъ мужчина, для любви, забылъ всѣ другіе

интересы—и общественные вопросы, и общественную дѣятельность, и науку, и искусство, и все на свѣтѣ. Это разрушаетъ равенство: ибо тогда мужчина не совсѣмъ безъ основанія начинаетъ видѣть въ женщинѣ низшее себя существо. Не совсѣмъ безъ основанія, сказали мы: ибо, дѣйствительно, какою сдѣлало ее воспитаніе и разныя общественныя отношенія, она—низшее въ сравненіи съ нимъ существо, хотя въ возможности, какою создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство раждаетъ разныя отношенія одной стороны къ другой. Въ мужчинѣ является родъ презрѣнія и къ женщинѣ и къ чувству любви, а въ-слѣдствіе этого охлажденіе, которое дѣлаетъ невыносимою неразрывность связывающихъ ихъ узъ. Въ женщинѣ, напротивъ, самая опасность потерять сердце любимаго ею человѣка только усиливаетъ ея любовь и дѣлаетъ ее навязчивѣе и требовательнѣе. Сверхъ-того, продолжительность, или неизмѣняемость чувства можетъ быть дорога и почтенна только какъ признакъ того, что обѣ стороны нашли другъ въ другѣ полное осуществленіе тайныхъ потребностей своего сердца; иначе, это—или простая привычка (дѣло тоже очень хорошее, если результатъ его бываетъ счастіе), или донъ-кихотская добродѣтель, способная удивлять и восхищать только сухихъ и мертвыхъ моралистовъ-резонёровъ, да еще романтическихъ поэтовъ-мечтателей. Если внезапныя охлажденія чувства къ однимъ предметамъ и столь же внезапныя возгаранія чувства къ другимъ предметамъ, если они бываютъ дѣйствительно: значитъ возможность ихъ заключена въ природѣ сердца человѣческаго, и тогда они—не преступленіе и даже не несчастіе. Кто способенъ понять это, тому всегда легче перенести подобный разрывъ, и тотъ всегда, послѣ него, сохранитъ свое нравственное здоровье и свою способность вновь быть счастливымъ любовью. Изъ мужчинъ, нѣкоторые это понимаютъ, и очень-многіе чувствуютъ это безсознательно; что же касается до женщинъ, изъ нихъ могутъ понимать это развѣ только одаренныя геніальною натурою. Женщина, съ колыбели, воспитывается въ убѣжденіи, что она всю жизнь должна принадлежать *одному*, принадлежать въ качествѣ вещи. И потому, нѣкоторыя изъ нихъ иногда обрекаютъ себя послѣ смерти мужа вѣчному вдовству—родъ индѣйскаго самосожженія на кострѣ умершаго мужа!.. Благодаря романтизму среднихъ вѣковъ, право, мы, въ дѣлѣ женщинъ, ушли не дальше Индѣйцевъ и Турковъ!.. И такъ, способность привязываться всѣми силами души къ одному предмету, зависитъ въ женщинахъ не отъ одной только природной способности къ любви, но отъ нравственнаго рабства, въ которомъ держитъ ихъ общественное мнѣніе и которому онѣ сами покоряются съ такою добровольною готовностью, съ такимъ даже фанатизмомъ. Получая воспитаніе хуже, чѣмъ жалкое и ничтожное, хуже, чѣмъ превратное и неестественное, скованныя по рукамъ и по ногамъ желѣзнымъ деспотизмомъ варварскихъ обычаевъ и приличій, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества рабы родителей, послѣ замужества—*вещи*

мужей, считая за стыдъ и за грѣхъ предаться вполнѣ какому-нибудь нравственному интересу, напримѣръ, искусству, наукѣ,—онѣ, эти бѣдныя женщины, всѣ запрещенныя имъ кораномъ общественнаго мнѣнія блага жизни хотятъ, во что бы ни стало, найдти въ одной любви, — и, разумѣется, почти всегда горько и страшно разочаровываются въ своей надеждѣ. Измѣнила мужчинѣ надежда на что-нибудь,—сколько у него выходовъ изъ горя, сколько дорогъ на поприщѣ жизни, которыя могутъ вести его къ той или другой цѣли! Измѣнила женщинѣ любовь,—ей ничего уже не остается въ жизни, и она должна пасть, погибнуть подъ бременемъ постигшаго ее бѣдствія, или умереть душою для остальнаго времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не говорите ей объ утѣшеніи, не маните ее надеждою, не указывайте ей на очарованіе искусствъ, на усладу науки, на блаженство высокаго подвига гражданскаго: ничего этого не существуетъ для нея! Возвратите ей любовь любимаго ею, пусть вновь сидитъ онъ подлѣ нея, да глядитъ, въ упоеніи страсти, въ ея сіяющія блаженствомъ очи! Бѣдная, для нея въ этомъ столько счастія, тогда-какъ только Маниловъ-мужчина способенъ найдти въ этомъ все свое счастіе...

Итакъ, даровитая Зенеида Р—ва, сознавши существованіе факта, была чужда сознанія причинъ этого факта. Но къ чести ея надо сказать, что она глубоко понимала униженное положеніе женщины въ обществѣ и глубоко скорбѣла о немъ, но она не видѣла связи между этимъ униженнымъ положеніемъ женщины и ея способностью находить въ любви весь смыслъ жизни. Мысль объ этомъ состояніи униженія, въ которомъ находится женщина, составляетъ вторую живую стихію повѣстей Зенеиды Р—вой. И потому, нельзя сказать, чтобъ весь пафосъ ея поэзіи заключался только въ мысли: *какъ умѣютъ любить женщины и какъ не умѣютъ мужчины любить*, нѣтъ, онъ заключается еще и въ глубокой скорби объ общественномъ униженіи женщины и въ энергическомъ протестѣ противъ этого униженія. Повѣсть «Судъ Свѣта» написана преимущественно подъ вліяніемъ этой идеи, которая, однакожь, органически связывается съ идеею о высокой способности женщины къ безграничной любви. Повѣсть «Напрасный Даръ» исключительно посвящена выраженію идеи объ общественномъ невольничествѣ царицы общества, невольничествѣ столько великомъ и безвыходномъ, что для женщины величайшее несчастіе имѣть призваніе къ чему-нибудь возвышенно-человѣческому, кромѣ любви... Въ повѣсти «Идеалъ» эта мысль высказана прямо устами героини въ разговорѣ ея съ своею подругою:

«По какой злой геній такъ исказилъ предназначеніе женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчинъ, рядиться, плясать, владычествовать въ обществѣ, а на дѣлѣ быть бумажнымъ царькомъ, которому палецъ кланяется въ присутствіи зрителей

и котораго онъ бросаетъ въ темный уголъ наединѣ. Намъ воздвигаютъ въ обществахъ троны; наше самолюбіе украшаетъ ихъ, и мы не замѣчаемъ, что эти мишурные престолы—о трехъ ножкахъ, что намъ стоитъ немного потерять равновѣсіе, чтобъ упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, иногда кажется, будто міръ Божій созданъ для однихъ мужчинъ: имъ открыта вселенная со всѣми таинствами, для нихъ и слава, и искусства, и познанія, для нихъ свобода и всѣ радости жизни. Женщину отъ колыбели сковываютъ цѣпями приличій, опутываютъ ужаснымъ «что скажетъ свѣтъ?»—и если ея надежды на семейное счастіе не сбудутся, что остается ей внѣ себя? Ея бѣдное, ограниченное воспитаніе не позволяетъ ей даже посвятить себя важнымъ занятіямъ, и она по-неволѣ должна броситься въ омутъ свѣта или до могилы влачить безцвѣтное существованіе!..

— Или избрать мечту и привязаться къ ней всей силою души, влюбиться заочно, посылать по почтѣ зефировъ вздохи и изъясненія своему идеалу за двѣ тысячи верстъ, и питаться этою платоническою любовію. Не такъ ли?..

Первое страшно, потому-что слишкомъ серьезно, а второе страшно, потому что слишкомъ смѣшно и пошло—не правда ли?.. А между-тѣмъ, все сказанное сочинительницею—такая очевидная, такая ужасная истина... Но вотъ еще нѣсколько строкъ изъ исповѣди женщины въ повѣсти «Судъ Свѣта»:

«При безпрестанномъ движеніи войскъ, я всюду слѣдовала за мужемъ, вездѣ, всегда была одинакова, не измѣнила ни мнѣній, ни поступковъ моихъ: Люди съ умомъ вездѣ дарили меня вниманіемъ; глупцы сплетали противъ меня нелѣпыя выдумки. Но есть третій сортъ людей, наиболѣе опасный для всего; что выходитъ изъ круга обычнаго. Часто люди эти обладаютъ умомъ и многими достоинствами, но умъ ихъ не довольно силенъ, чтобы укротить владычествующее надъ ними самолюбіе, не довольно слабъ, чтобъ, ослѣпившись дерзкою самоувѣренностью, ставить себя выше прочаго видимаго творенія. Они чувствуютъ свои недостатки, и всякое превосходство ближняго принимаютъ за личное оскорбленіе; они не могутъ простить другому и тѣни совершенства. О, эти люди страшнѣе зачумленныхъ! Надъ пошлымъ злоязычіемъ дурака смѣются; но ихъ осторожнымъ навѣтамъ, ихъ обдуманной, правдоподобной клеветѣ не могутъ не вѣрить. Эти-то вольноопредѣляющіеся кандидаты въ геніи и составляютъ верховное судилище: они-то наиболѣе ожесточались противъ меня, и отъ нихъ разсѣялись ядовитѣйшія вѣсти.

. . . . . .

Люди—дѣти вѣчно озабоченные, вѣчно суетящіеся. Торопясь за неуловимымъ «завтра», имѣютъ ли они досугъ разбирать и разлагать сущность вещи, поражающей ихъ взоры?.. Мимоходомъ они бросаютъ бѣглый взглядъ на ея наружный видъ, и только объ этой наружности уносятъ съ собой воспоминаніе. Не ихъ вина, что взоръ часто падаетъ на предметъ не съ настоящей точки зрѣнія: они какъ видѣли, такъ разсудили и осудили. Они правы.

Горе женщинѣ, которую обстоятельства, или собственная неопытная воля возносятъ на пьедесталъ, стоящій на распутіи бѣгущихъ за суетностію народовъ! Горе, если на ней остановится вниманіе людей, если къ ней они

обратятъ свое легкомысліе, ее изберутъ цѣлью взоровъ и сужденій! И горе, стократъ горе ей, если обольщенная своимъ опаснымъ возвышеніемъ, она взглянетъ презрительно на толпу, волнующуюся у ногъ ея, не раздѣлитъ съ ней игръ и прихотей и не преклонитъ головы передъ ея кумирами!

«Я поняла, наконецъ, эту великую истину, и отъ всей души примирилась съ моими гонителями».

Этихъ указаній и выписокъ слишкомъ достаточно для того, чтобъ читатели наши увидѣли, какъ неизмѣримо-выше всѣхъ предшествовавшихъ ей писательницъ, и въ стихахъ и въ прозѣ стоитъ Зенеида Р—ва. Ея повѣсти не наполнены сладенькими чувствованьицами и розовыми мечтаньицами; нѣтъ, онѣ проникнуты одною могучею мыслію, которая преслѣдовала ее всю жизнь и не давала ей покоя. Какъ авторъ, какъ поэтъ, Зенеида Р—ва имѣла бы право примѣнить къ себѣ эти стихи Лермонтова:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
. . . . . .
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской,
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Безсмысленныя чувства и розовенькія чувствованьица начинаютъ уже надоѣдать въ нашей литературѣ. Право на общее вниманіе теперь могутъ имѣть только писатели, возвысившіеся до мысли. Зенеида Р—ва принадлежитъ къ тѣсному кругу такихъ писателей и есть единственная у насъ писательница въ этомъ родѣ.

Теперь о степени таланта и художественномъ достоинствѣ повѣстей Зенеиды Р—вой. Одинъ журналъ, хваля слогъ Зенеиды Р—вой и давая подъ рукою знать, что этимъ слогомъ она была обязана сколько своей понятливости, столько и замѣчаніямъ, намекамъ и совѣтамъ его (журнала),—вотъ что между прочимъ говорятъ о Зенеидѣ Р—вой, объявляя себя *посмертнымъ* ея другомъ: «Ея «Утбалла», «Джеладединъ» и «Медальонъ» безспорно—однѣ изъ лучшихъ повѣстей, какія были въ то время написаны въ Европѣ: онѣ обѣщали русской словесности талантъ истинно *писательскій* (?!), *равный по оригинальности таланту Жоржа Занда (sic!)*, но еще болѣе пріятный и несравненно болѣе прочный *(вотъ какъ!)*». Для знающихъ этотъ журналъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ этомъ возгласѣ: это тотъ самый журналъ, который шутитъ и потѣшаетъ наукою, искусствомъ, критикою и правдою, и который нѣкогда, упавъ на колѣни, закричалъ: «*великій Гёте! великій Кукольникъ*»! Мнѣніе этого журнала о Зенеидѣ Р—вой—явно шутка. Это доказывается и тѣмъ, что онъ сѣтуетъ

зачѣмъ изданы сочиненія Зенеиды Р—вой, не считая ихъ заслуживающими особеннаго изданія: это же доказывается и языкомъ, которымъ написана рецензія о повѣстяхъ Зенеиды Р—вой. Послушайте: «Эти *забытыя* (?!) вещи перебьютъ дорогу многому изъ того, что другіе могутъ вновь выдумать. Что вы теперь помните изъ сочиненій Зенеиды Р—вой? Возьмите книгу и прочитайте вторично, посмотрите, какъ это ново, какъ свѣжо, какъ благоухаетъ теплою весною сердца, какъ всегда будетъ свѣжо, ново и благоуханно, потому-что эти страницы полныя тоски, страданія, огненныхъ, но неопредѣленныхъ желаній, вырвалось изъ блестящихъ далекихъ *облакъ* (?) юной мечты, упали на землю съ дождемъ безотчетныхъ слезъ (!), съ громовыми ударами молодаго сердца (!!), созданнаго для благородныхъ страстей, стремившихся къ высокому, къ прекрасному, къ отвлеченному, къ тому, чего не существуетъ на землѣ, — блаженству ангеловъ, къ счастію, которое постигаютъ однѣ только женщины, которымъ онѣ вѣчно стараются овладѣть и которое вѣчно отъ нихъ ускользаетъ». Прочтя этотъ наборъ словъ, кто не скажетъ, что мнѣніе помянутаго журнала о сочиненіяхъ Зенеиды Р—вой—просто шутка, или мистификація?..

Нѣтъ, мы не скажемъ, чтобъ Зенеида Р—ва была по таланту выше Жоржа Занда или равнялась съ нимъ; мы даже думаемъ, что между этими двумя талантами—неизмѣримое пространство... Это только со стороны таланта, а между-тѣмъ, вѣдь талантъ не составляетъ еще всего въ писателѣ: кромѣ таланта, должно еще быть направленіе таланта, содержаніе его твореній. Такая поэзія, какъ поэзія Жоржа Занда, приготовлена огромнымъ общественнымъ развитіемъ, переведшимъ черезъ многія измѣненія и процессы историческіе; наши же писатели, даже и повыше Зенеиды Р—вой, подобно эху, повторяютъ въ своихъ твореніяхъ отблески и отзвуки чуждыхъ намъ цивилизацій и общественностей.

Что у Зенеиды Р—вой былъ талантъ, и притомъ замѣчательный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ дарованій,—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но что ея талантъ не былъ развитъ, что онъ вѣчно колебался въ какой-то нерѣшительности,—это также правда. Вотъ-почему ея повѣсти имѣютъ большой недостатокъ со стороны художественности. Характеры дѣйствующихъ лицъ не довольно рѣзко очерчены и часто похожи другъ на друга, разнясь только положеніемъ, въ какомъ описываетъ ихъ сочинительница. Подробности быта и колоритъ мѣстности не довольно поражаютъ своею вѣрностію и яркостію. Но главный и существенный недостатокъ сочиненій Зенеиды Р—вой,—это отсутствіе ироніи и юмора, и присутствіе какого-то провинціальнаго идеализма à la Марлинскій. Для доказательства справедливости нашего мнѣнія, возьмемъ, для примѣра, повѣсть «Идеалъ». Полковница Гольцбергъ влюбляется заочно въ новаго поэта, начитавшись его произведеній; «но тщетно Ольга стремитъ къ нему душу и мысли свои; онъ высокъ, далекъ, и не замѣчаетъ ея въ толпѣ своихъ поклонницъ». Случилось ей по несчастію быть

въ Петербургѣ, въ театрѣ, при представленіи новой драмы ея «идеала». Когда вызывали автора (а у насъ — вы знаете — вызываютъ громко и долго),—«щеки Ольги загорѣлись багровымъ цвѣтомъ пылающей крови, и въ ту минуту можно было принять ее за жрицу дельфійскую, ожидающую съ упованіемъ и тоской появленья духа». Но поэтъ не вышелъ. Мужъ зоветъ Ольгу домой, а она, въ забытьѣ, не двигается съ мѣста изъ своей ложи. Вдругъ въ сосѣднюю ложу входитъ человѣкъ, котораго привѣтствуютъ, какъ автора игранной пьесы, поздравляютъ съ успѣхомъ и называютъ *Анатоліемъ*. Ольга вскрикиваетъ: «Анатолій!», хватается за спинку кресла, чтобъ не упасть, плачетъ и не спускаетъ глазъ съ своего «идеала», а сочинительница, слогомъ повѣстей Марлинскаго, оправдываетъ свою героиню въ ея смѣшной выходкѣ. Вообще, эта Ольга любитъ выражаться въ обществѣ восторженнымъ языкомъ, который, будучи неумѣстенъ, всегда бываетъ смѣшонъ. На балѣ спросили ее, любитъ ли она стихотворенія *Анатолія Т—го*; она отвѣчала: «Люблю ли я? Укажите мнѣ женщину, которая не находила бы въ его небесныхъ твореніяхъ отголоска собственныхъ чувствъ? которая не бредитъ имъ, не обожаетъ его?» Подруга ея юности спрашиваетъ у нея: неуже-ли холодъ годовъ и опыта не остудилъ ея ребяческой страсти къ незнакомому человѣку? Ольга отвѣчаетъ ей, словно по книгѣ: «къ незнакомому человѣку? Вѣра! что это значитъ? И ты можешь говорить, что онъ не знакомъ мнѣ? Мнѣ не знакомъ Анатолій? *Мой идеалъ! мой поэтъ*, котораго пѣсни пробудили мое дѣтское воображеніе, одушевили его жизнію, образовали мою душу? Кто же услаждалъ мое одиночество, кто утѣшалъ меня въ горѣ, кто удвоивалъ мои радости, какъ не онъ, не Анатолій! И ты говоришь, что я люблю незнакомаго мнѣ человѣка! Нѣтъ, я сроднилась съ каждою его мыслію, я знаю всѣ изгибы его благороднаго сердца; *я его обожаю;* я пожертвую послѣднею радостью жизни моей, небогатой утѣхами, послѣднею каплею крови, я отдамъ душу свою для продолженія его жизни... Да, да; я люблю его; но я *люблю не земною любовію, я люблю не человѣка*»... Такая любовь именно-ребяческая и смѣшная любовь, а такой способъ выраженія очень сбивается на реторику. Да и вообще, все это очень неестественно и неправдоподобно. Восторженная Ольга встрѣчается съ своимъ «идеаломъ» въ одномъ знакомомъ домѣ: разъ онъ ни-съ-того-ни-съ-сего начинаетъ ей объясняться въ любви, говоря ей «ты»; страницахъ на трехъ тянется самый фразистый разговоръ. Удивительно, какъ Ольга не захохотала, слушая всю эту натянутую галиматью; она даже повѣрила ей и увлеклась ею. Поэтъ скрылся на нѣсколько дней отъ Ольги, распустивъ слухъ о своей тяжкой болѣзни. Вѣдная женщина рѣшается уйдти съ бала, чтобъ навѣстить тайкомъ умирающаго поэта... Его не было дома, — и Ольга прочла на его столѣ письмо къ пріятелю, въ которомъ онъ смѣется надъ Ольгою и ея любовью, и съ циническою откровенностію говоритъ о своихъ намѣреніяхъ. Ольга бросается вонъ... но вы сами можете прочесть повѣсть, если

еще не читали ея, и увидѣть, какъ ребячески-идеально и дѣтски-неправдоподобно ея содержаніе. Прибавимъ только, что когда эта повѣсть была напечатана въ одномъ журналѣ, сцена возвращенія домой поэта была исполнена самыхъ грязныхъ, циническихъ подробностей, а поэтъ былъ представленъ пьянымъ: это была *дружеская* услуга дозжаго журналиста, охотника поправлять чужія сочиненія. Въ изданіи «Сочиненій Зенеиды Р—вой», печатавшемся съ подлинной рукописи покойной сочинительницы, эти позорныя для памяти женщины прибавки, разумѣется, исключены.

Развязка повѣсти «Медальйонъ» довольно-изъисканно основана на литературныхъ вечерахъ и чтеніяхъ посѣтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ: черта совершенно чуждая русскому обществу! Развязка повѣсти «Судъ Свѣта» чрезвычайно изъисканно и натянуто основана на сходствѣ лицъ и на qui pro quo, вслѣдствіе котораго неистовый обожатель героини повѣсти брата ея принялъ за ея любовника. Притомъ же, героиня этой повѣсти ужъ чересчуръ ребячески и пригорно-идеальна, какъ это можно видѣть изъ этихъ словъ ея: «Знаете ли, что еслибъ въ ту пору какой-нибудь случай, возвративъ мнѣ свободу, дозволилъ намъ открыть чувства наши предъ глазами всего свѣта, я отвергла бы соединеніе съ вами изъ опасенія гласности любви моей, изъ одной боязни, чтобъ двусмысленная рѣчь людей, завистливый взоръ ихъ не осквернили ея чистоты, чтобъ ихъ нескромныя улыбки, даже случайная неосторожность, не оскорбили ея непорочности?» И естественно ли, чтобъ изъ устъ *такой* женщины вышли эти громовыя слова, свойственныя только душѣ великой и крѣпкой:

«Судъ свѣта теперь тяготѣетъ на насъ обоихъ: меня, слабую женщину, онъ сокрушилъ какъ ломкую тросточку; васъ, о! васъ, сильнаго мужчину, созданнаго бороться со свѣтомъ, съ рокомъ и со страстями людей, онъ не только оправдаетъ, но даже возвеличитъ, потому-что члены этого страшнаго трибунала все люди малодушные. Съ позорной плахи, на которую онъ положилъ голову мою, когда уже роковое желѣзо смерти занесено надъ моей невинной шеей, я еще взываю къ вамъ послѣдними словами устъ моихъ: «Не бойтесь его! онъ рабъ сильнаго и губитъ только слабыхъ . . . . . .»

Такія строки могутъ вырываться только изъ-подъ пера писателей съ великою душою и великимъ талантомъ...

Героиня «Номерованной Ложи» не хочетъ выйдти замужъ за человѣка, доказавшаго ей свою безграничную любовь и преданность,—не хочетъ за него выйдти потому-что еще живъ ея мужъ, который, ограбивъ ее, развелся съ нею... Она—видите—боится увидѣть въ себѣ клятвопреступницу, и выходитъ замужъ за своего обожателя тогда только, какъ прежній мужъ былъ убитъ гдѣ-то на время... Вотъ ужъ подлинно романтизмъ, который и въ средніе вѣка удивилъ бы всѣхъ своею нелѣпостію!.. Но провинціи онъ нравится и теперь—разумѣется, въ повѣстяхъ...

«Джеллалединъ» и по завязкѣ, и по колориту, крѣпко отзывается марлинизмомъ.

«Любинька», при первомъ появленіи своемъ въ печати, возбудила, какъ говорится, фуроръ въ публикѣ. Не удивительно: повѣсть эта, по содержанію и по характерамъ, самое пансіонское произведеніе. Одинъ только характеръ въ ней мастерски отдѣланъ: это характеръ злой мачихи, Антонины Михайловны. Смѣшнѣе всѣхъ характеры Евгенія Задольскаго и Валеріана Стрѣльнева, особенно послѣдняго, ибо онъ преуморительно-идеаленъ и преидеально-смѣшонъ, съ своею Оттиліею, своими страданіями и своимъ ужасомъ при мысли о незаслуженномъ проклятіи обманутаго отца, слабаго, полоумнаго старика. Характеръ Любиньки хорошъ отвлеченно, но не живымъ поэтическимъ образомъ. Завязка повѣсти основана на недоразумѣніи, которое могло бы разрѣшиться личнымъ свиданіемъ сына съ отцомъ, а развязка основана на Deus ex machina. Вообще, повѣсть длинна и скучна. Сама сочинительница чувствовала это. Обѣщавъ ее въ нашъ журналъ, она прислала вмѣсто ея первую часть «Напраснаго Дара», объясняя, въ письмѣ къ намъ, причину этого такимъ образомъ: «можетъ быть, вамъ покажется страннымъ, что, обѣщавъ прислать готовую повѣсть, я посылаю половину другой, еще не совсѣмъ оконченной. Что дѣлать! Та повѣсть, о которой я говорила, точно лежитъ у меня и ожидаетъ только послѣдней поправки, чтобъ явиться свѣту: но у меня, какъ дѣти у капризныхъ матерей, есть повѣсти любимыя и нелюбимыя. Та повѣсть длинна, я долго работала надъ нею, она надоѣла мнѣ— пусть полежитъ, забудется, тогда я опять пріймусь, окончательно исправлю ее, и отпущу на волю».

Намъ, впрочемъ, весьма нравится одно мѣсто въ «Любинькѣ»; оно не длинно, и мы можемъ его здѣсь выписать: «Онъ понялъ, что въ жизни че-«ловѣка существенность, такъ унижаемая поэтами, одна *существенна*, слѣд-«ственно одна можетъ быть источникомъ всего прекраснаго, возвышеннаго, «какъ и всего дурнаго; онъ понялъ, что эта существенность есть корень на-«шего бытія, корень нерѣдко грязный, всегда некрасивый, но дающій соки и «силу лучшимъ цвѣтамъ міра — мыслямъ и чувствамъ человѣка; и что отъ «насъ зависитъ облагородить происхожденіе растенія, стараясь, чтобъ цвѣты «его не были пустоцвѣтомъ, чтобъ, пройдя пору цвѣтенія, они не разлетѣлись «напрасно по вѣтру, а дозрѣли бы въ плодъ пользы и добра». Глубокая мысль:

Повѣсти: «Судъ Божій» и «Воспоминаніе Желѣзноводска» ниже всякой критики и не стоятъ упоминанія. Это самая смѣшная марлинщина.

Лучшая повѣсть Зенеиды Р—вой, это, безъ сомнѣнія, «Теофанія Аббіаджіо». Содержаніе ея глубоко, завязка, развязка и разсказъ благородно просты, при необыкновенномъ искусствѣ, съ какими они ведены. Характеры очеркнуты превосходно, особенно характеръ героини. Слогъ повѣсти—образцовый. Можно указать на одинъ только недостатокъ: зачѣмъ Долиньи разсказываетъ свою исторію подъ вымышленнымъ именемъ своего небывалаго друга, и кому же разсказываетъ? — Ольгѣ, которая знаетъ, о комъ идетъ рѣчь, и Теофаніи, которая ничего не знаетъ. Это замашка старинныхъ ро-

манонъ, эффектъ довольно истертый. За исключеніемъ этого, вся повѣсть—одинъ изъ перловъ русской литературы.

Несмотря на нѣкоторую изысканность и неправдоподобность въ завязкѣ, «Утбалла» кажется намъ лучшею повѣстью послѣ «Теофаніи Аббіаджіо»: въ ея разсказѣ много увлекающей силы.

Первая половина «Напраснаго Дара» нѣсколько изысканна по содержанію. Дѣвушка, мучимая призваніемъ къ поэзіи—мысль довольно отвлеченная, корень которой не дѣйствительность, а рефлексія поэта. И не въ такомъ быту, какъ тотъ, въ которомъ помѣстила сочинительница свою вдохновенную Анюту, неизбѣжная гибель благородныхъ существъ происходитъ у насъ не столько отъ поэтическаго ихъ призванія, а отъ противоположности ихъ человѣческихъ (гуманныхъ) натуръ съ окружающими ихъ животными натурами. Эта мысль проще, за то вѣрнѣе и болѣе годится въ основу повѣстей, сюжетъ которыхъ берется изъ міра русской жизни. Вообще, вся первая часть «Напраснаго Дара» такъ и дышетъ какимъ-то бурнымъ, порывистымъ, но невыдержаннымъ вдохновеніемъ, и потому она шевелитъ и будитъ душу читателя, но не удовлетворяетъ ея. Въ ней есть что-то, но чего-то и не достаетъ. Вторая часть была бы удовлетворительнѣе, но она неокончена и прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мысль ея проще. Вотъ что писала о ней къ намъ писательница...: «Первая и вторая часть этой повѣсти соединяются только «одною идеею; межь ихъ лицами и происшествіями нѣтъ ничего общаго; это «двѣ отдѣльныя фантазіи на одинъ тонъ. Въ первой я говорила о силѣ ум«ственно, во второй выражу силу чувствъ». Значитъ: во второй части подъ *напраснымъ даромъ* разумѣлось бы не призваніе къ какому-нибудь искусству, а просто сильная способность чувствовать. Это было бы лучше.

Что сказали мы о первой части «Напраснаго Дара», то болѣе или менѣе можетъ относиться вообще къ повѣстямъ Зенеиды Р—вой. Почти во всякой изъ нихъ чувствуете страшную внутреннюю силу, и потомъ не видите положительныхъ результатовъ этой силы. Почти каждая изъ нихъ есть могучій взмахъ, но за которымъ не слѣдуетъ столь же могучаго удара. Читая повѣсти Зенеиды Р—вой, вы чувствуете, что любопытство ваше раздражено, вниманіе напряжено, вы внѣ себя и съ замирающимъ сердцемъ ждете—вотъ явится оно, желанное слово, вотъ разгадается загадка, и вся путаница судьбы разрѣшится въ ясную и опредѣленную идею, а тревога души вашей—въ чувство полнаго удовлетворенія, — и вы остаетесь недовольнымъ и неудовлетвореннымъ. Отъ-чего это?

Намъ кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военнаго человѣка, она слѣдовала за нимъ изъ губерніи въ губернію, изъ уѣзда въ уѣздъ, и случалось ей кочевать даже въ степяхъ Новороссіи. Отдаленіе отъ столичной жизни есть большое несчастіе и для души и для таланта: они или увядаютъ въ апатіи и бездѣйствіи, или принимаютъ провинціальное направленіе, которое комизмъ полагаетъ въ плоской шутли-

вости, а высокое—въ дѣтскомъ отвлеченномъ идеализмѣ. Какъ бы ни сильна была натура человѣка и какъ бы ни великъ былъ талантъ его, но невозможно же ему долго бороться съ подавляющими впечатлѣніями окружающаго его міра, и волею или неволею, болѣе или менѣе, ранѣе или позднѣе, но долженъ же онъ принять на себя ихъ отпечатокъ. Зенеида Р—ва знала итальянскій, нѣмецкій, англійскій и французскій языки, хорошо была знакома съ великими поэтами, писавшими на этихъ языкахъ: это видно даже и изъ эпиграфовъ, которыми испещряла она главы своихъ повѣстей. И вмѣстѣ съ ними вы находите эпиграфы изъ гг. Кукольника и Бенедиктова. Въ провинціи извѣстное дѣло—идеаломъ пувеллистовъ добродушно считаютъ Марлинскаго, идеаломъ лириковъ—г. Бенедиктова, идеаломъ драматурговъ—г. Кукольника, а идеаломъ юмористовъ—барона Брамбеуса... Мы знаемъ изъ достовѣрнаго источника, что лучшими повѣстями на русскомъ языкѣ, Зенеида Р—ва считала: «Амалатъ-Бека» Марлинскаго, и «Блаженство Безумія» г. Полеваго. Нельзя не сознаться съ горечью, что на ея повѣстяхъ замѣтенъ отпечатокъ вліянія повѣстей Марлинскаго и г. Полеваго.

Но золотая руда блещетъ и въ земляпистой массѣ. Яркій и сильный талантъ Зенеиды Р—вой не могутъ затмить недостатки въ ея произведеніяхъ Талантъ ея принадлежитъ ей самой; недостатки — обстоятельствамъ жизни Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву можетъ гордиться ея именемъ и ея произведеніями.

Зенеида Р—ва, по натурѣ своей, чувствовала сильную потребность высказываться на бумагѣ; но она была чужда печатнаго самолюбія, и только внѣшняя необходимость заставляла ее печататься. «Безъ этой необходимости (писала она къ одному изъ своихъ знакомыхъ) «ничто не принудило бы меня «бросаться въ этотъ омутъ и взять на себя несносное званіе женщины-писа«тельницы». Опытность, пріобрѣтенная сю въ прежнихъ литературныхъ ея сношеніяхъ, особенно дѣлала для нея отвратительнымъ омутъ печатной извѣстности: это мы знаемъ изъ ея собственныхъ писемъ...

Но и не одно это дѣлало для нея несноснымъ званіе женщины-писательницы. Въ началѣ нашей статьи, мы говорили, какъ еще тернистъ путь женщины-писательницы въ Европѣ. У насъ онъ не гладокъ по-своему: ссылаемся на свидѣтельство самой Зенеиды Р—вой и приводимъ здѣсь этотъ ловкій юмористическій очеркъ провинціальныхъ нравовъ:

Въ обществахъ такъ любятъ танцоровъ съ блестящими эполетами, что ихъ не подвергаютъ строгому разбору; помѣщицы и горожанки принимаютъ ихъ съ благоволеніемъ, помѣщики и горожане приглашаютъ ихъ на обѣды и вечера, въ угожденіе своимъ повелительницамъ. Но жены военныхъ,—о, это другое дѣло! Судьи женскаго роду осматриваютъ своихъ, вновь прибывшихъ соперницъ, не всегда доброжелательнымъ окомъ, строго разбираютъ ихъ наряды, черты лицъ, характеровъ. Это двѣ чуждыя между собою націи, двѣ

разнородныя стихіи,—не легко и не скоро соединяются онѣ въ одно дружное цѣлое.

Что же, если по несчастію, одна изъ этихъ палетныхъ госпожъ отличается чѣмъ нибудь отъ прочихъ,—красотой, талантами, богатствомъ!—Если злодѣйка молва, опережая ее, принесетъ вѣсть объ ней на новыя квартиры и еще до пріѣзда ея возбуждаетъ любопытство, подстрекаетъ соперничество, развитъ самолюбіе, задастъ оскому зависти, — и эта тощая желтолицая фурія заранѣе точитъ зубокъ на незнакомую, но уже ненавистную жертву? — «Но что можетъ такъ сильно расшевелить страсти женщинъ? Какое превосходство, какое отличіе?» скажутъ мои добрыя читательницы!—Ахъ Боже мой! повторяю: маленькое отступленіе или выступленіе изъ общаго круга обыкновенностей; рельефъ на гладкой стѣнѣ общества, Вообразите себѣ поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу—уроженку Сѣверной Америки, переброшенную случаемъ съ береговъ Миссисипи на берега Оки, вмѣстѣ съ милліономъ приданаго,—или, хоть съ приложеніемъ какого угодно чина, писательницу, т. е. женщину написавшую когда-нибудь въ досужный часъ двѣ, три повѣсти, которыя попались въ послѣдствіи подъ типографскій станокъ.

«Что! Капитанша или поручица писательница!.. Да это вздоръ! этого нѣтъ и быть не можетъ!— возразятъ мнѣ многіе и многіе, — правда, писала Жанлисъ, такъ она была придворная, графиня! писала Сталь,—такъ отецъ ея былъ министромъ,—обѣ получили высокое образованіе, но кап...» Однако жъ предположимъ, хоть для шутки, что въ толпѣ вновь прибывшихъ офицеровъ является рука объ руку съ однимъ изъ нихъ женщина-писательница. — Всѣ заранѣе знаютъ объ ея прибытіи, собираютъ объ ней слухи, разсказываютъ вѣсти бывалыя и небывалыя,—наконецъ она прибыла, она здѣсь...

Ахъ! какъ бы ее увидѣть! она вѣрно носитъ на челѣ отпечатокъ генія; вѣрно только и говоритъ о поэзіи да о литературѣ; высказываетъ мнѣнія свое въ родѣ импровизаціи, употребляетъ техническіе термины, носитъ съ собою карандашъ и бумагу для записыванія счастливо-мелькнувшихъ идей!

Съ подобнымъ предубѣжденіемъ собираются осмотрѣть прибывшую писательницу.

Проходитъ недѣля, двѣ...

— Ma chère, пріѣзжай въ четвергъ ко мнѣ обѣдать.

— А что у васъ, именины?

— Нѣтъ, у меня обѣдаетъ мадамъ **—знаешь писательница.

— Ахъ, очень рада, посмотримъ что за писательница.

— А вы, Авдотья Трифоновна, хотите познакомиться съ ней?

— Не то, чтобъ познакомиться, а такъ взглянуть, пріѣду.

— Вы читали ея сочиненья?

— И нѣтъ! есть таки мнѣ время читать этотъ вздоръ.

— Да что такое написала она?

— Такъ себѣ—пустячки,—вѣрно выкрадено изъ Revue Etrangère.

— Ахъ, нѣтъ, машерочка, чистое подражаніе Марлинскому.

— Хе, хе, хе! Далеко кулику до Петрова дня!

— Позвольте ужъ и мнѣ попользоваться въ четвергъ вашимъ обѣдомъ!— восклицаетъ воспѣватель всѣхъ торжественныхъ процессій ....скаго уѣзда.— Позвольте ради вашей красоты! я давно желалъ встрѣтиться съ ней, посудить объ ея умѣ и талантахъ, задать нѣкоторые вопросы, высказать откровенно мое мнѣніе на счетъ ея твореній—гмъ... думаю, она приметъ съ бла-

годарностію мои совѣты! прибавляетъ онъ съ блаженнымъ самоубѣжденіемъ, поглаживая розовые отвороты своего голубаго бархатнаго жилета.

— Ахъ душонокъ! я слышала, что если найдетъ на нее вдохновеніе. то гдѣ бы ни была она, на балѣ, въ каретѣ или на берегу рѣки, она тотчасъ начинаетъ громко декламировать.

— Ахъ, если бъ въ четвергъ нашло на нее вдохновеніе! — восклицаетъ наивная уѣздная барышня.

— А знаете, вѣдь говорятъ, что всѣ героини ея романовъ списаны съ нея самой.

— Какъ такъ?

— Да просто, что ни возьметъ въ руки перо, то смотри себя и опишетъ.

— Ну какъ же это можно, помилуйте! вѣдь ея героини не всѣ въ одной формѣ испечены! Эта деревенская дѣвочка, та свѣтская дама, одна восторженна, другая холоднѣе льду, первая Русская, вторая Нѣмка, третья дикарка, Башкирка, что ль!..

Э... да вы забыли, — восклицаетъ догадливый поэтъ — что она не просто женщина, а женщина писательница, то есть созданіе особенное, уродливая прихоть природы, или правильнѣе: выродокъ женскаго пола. Вѣдь родятся же люди съ птичьей головой и козьими ногами, почему жъ не допустить, что она прикинется такой то спишетъ съ себя портретъ, да и обернется въ другую форму.

— А... видите...

— Ну развѣ что...—произноситъ на распѣвъ двѣ, три барыни, слѣпо вѣрующія во всѣ сказанія великаго поэта.

— Такъ скажите жъ, пожалуйста, — говоритъ почтенная старушка, посѣдѣвшая въ незнаніи вещей міра сего—скажите, она вотъ такъ таки и пишетъ, какъ въ книгахъ печатаютъ? то есть... такъ сказать... какъ она напишетъ, то слово въ слово по тому и напечатаютъ?

И на утвердительный отвѣтъ она изъявляетъ желаніе видѣть женщину, которая умѣетъ такъ писать какъ въ книгахъ печатаютъ.

Настала роковой четвергъ, бѣдная писательница ѣдетъ, въ невинности души своей, обѣдать: не подозрѣвая, что ее приглашали на показъ, какъ пляшущую обезьяну, какъ змѣя въ фланелевомъ одѣялѣ; что взоры женщинъ, всегда зоркіе въ анализировкѣ качествъ сестеръ своихъ, вооружились для встрѣчи съ нею сотнею умственныхъ лорнетовъ, чтобъ разобрать ее по волоску отъ чепчика до башмака; что отъ нея ждутъ вдохновенія и книжныхъ рѣчей, поражающихъ мыслей, каѳедральнаго голоса, чего-то особеннаго въ поступи, въ поклонѣ, и даже латинскихъ фразъ въ смѣси съ еврейскимъ языкомъ,—потому что женщина писательница по общепринятому мнѣнію не можетъ не быть ученой и педанткой, а почему такъ? не могу доложить!..

Боже мой, вѣдь какъ подумаешь, какъ многіе всю жизнь свою сочиняютъ и безпощадно разсѣваютъ по свѣту небылицы,—и никому не вздумается выдавать имъ патентовъ на ученость, отъ того только, что они сочиняютъ словесно! За что жъ, чуть бѣдная писательница наброситъ одну изъ вышеперѣченныхъ небылицъ на бумагу, всѣ единогласно производятъ ее въ ученыя и педантки!.. Скажите, отъ-чего и за что такое непрошенное таланто-почитаніе?

И потомъ, она ни съ кѣмъ не можетъ сойтися. Одни воображаютъ, что она тотчасъ схватитъ ихъ слѣпокъ, и такъ-таки живьемъ передастъ въ журналъ. Другимъ вѣчно мерещется на устахъ ея сатаническая улыбка, въ глазахъ сатирическая наблюдательность, предательское шпіонство,—даже и тамъ,

гдѣ, право, всякое шпіонство было бъ ковшикомъ, черпающимъ изъ воздуха воду,—все въ ней будто не такъ какъ въ другихъ женщинахъ... да не знаю что, а именно что-то не такъ!

Посудите же сами, по этому блѣдному очерку тысячной доли того, что достается бѣдной писательницѣ, каково бродить ей по свѣту; быть вездѣ незванной гостью, вѣчно ознакомливаться. Едва узнаютъ ее въ одномъ мѣстѣ, едва привыкнутъ видѣть въ ней *женщину* безъ жестокаго прилагательнаго: писательница, едва приголубятъ добрые люди,—какъ вдругъ походъ, перемѣна квартиръ—начинай снова знакомство съ азбуки.

Къ этому яркому очерку неудобствъ, сопряженныхъ на Руси съ званіемъ женщины-писательницы, даровитая Зенеида Р—ва могла бы прибавить что-нибудь въ родѣ физіологическаго очерка посмертныхъ друзей и журнальныхъ буфоновъ, пляшущихъ и кривляющихся на могилѣ литературной знаменитости. Вѣдь бываетъ и это на бѣломъ свѣтѣ, отъ-того, что шутамъ законъ не писанъ. Но могила безмолвна и безответна.

Миръ праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силою собственныхъ ощущеній. Миръ праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатыхъ даровъ своей возвышенной натуры. Благодаримъ тебя за краткую жизнь твою: не даромъ и не втунѣ цвѣла она пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ глубокихъ чувствъ и высокихъ мыслей... Въ этомъ цвѣтѣ — твоя душа, и не будетъ ей смерти, и будетъ жива она для всякаго, кто захочетъ насладиться ея ароматомъ...

Есть писатели, которые живутъ отдѣльною жизнію отъ своихъ твореній; есть писатели, личность которыхъ тѣсно связана съ ихъ произведеніями. Читая первыхъ, услаждаешься божественнымъ искусствомъ, не думая о художникѣ; читая вторыхъ, услаждаешься созерцаніемъ прекрасной человѣческой личности, думаешь о ней, любишь ее и желаешь взять ее-самое и подробности ея жизни. Къ этому второму разряду писателей принадлежала наша даровитая Зенеида Р—ва [154]).

* 754. Повѣсти и разсказы, *соч.* Нестора Кукольника. *Томъ II. Санктпетербургъ. Въ тип. К. Жернакова. 1843. Въ 8-ю д. л. 264 стр.* [155]),

Мы уже не одинъ разъ имѣли случай говорить, что талантъ г. Кукольника является весьма замѣчательнымъ талантомъ въ повѣстяхъ, которыхъ содержаніе заимствуется имъ изъ русскаго, особенно стараго, быта, и что онъ оказывается совершенною бездарностію, хватаясь за изображеніе жизни, знакомой ему только изъ книгъ. Какъ-бы для того, чтобъ справдить наше мнѣніе, неоднократно высказанное, г. Кукольникъ наполнилъ первый томъ своихъ «Повѣстей и Разсказовъ» повѣстями и разсказами изъ временъ Петра-Великаго; и теперь, словно съ тою же цѣлью, наполнилъ второй томъ своего сборника повѣстями и разсказами, сюжеты которыхъ заимствованы имъ изъ

итальянской жизни. Боже мой! что за скука! Не-уже-ли для этихъ сонныхъ апатическихъ, безсвязныхъ и лишенныхъ всякаго поэтическаго смысла разсказовъ, найдутся читатели и, пожалуй, еще и почитатели?.. Не думаемъ!

Но между этими итальянскими повѣстями есть одна русская. Завязка и развязка ея пичтожны и пошлы; цѣлое отзывается Августомъ Лафонтеномъ: но подробности есть удивительныя, превосходныя, достойныя пера великаго таланта. Вотъ, напримѣръ, письмо русскаго помѣщика, изъ деревни Лукачевки, къ сыну, въ Римъ:

«Послушай, Евгеній! На что это похоже?» писалъ старикъ-отецъ почеркомъ великаго человѣка, т. е. почеркомъ, который разбираетъ только опытная привычка. «Довольно тебѣ шататься за границей. Помнишь, я позволилъ тебѣ на годъ, и то черезъ силу, а теперь прошелъ не годъ, а безъ мала три. Право, денегъ не пошлю, и тѣ задержу, что Маша тебѣ посылаетъ. Полно баловать! Вѣдь не шутка, сколько мы лѣтъ не видались. Въ Питеръ отвезли тебя по двѣнадцатому году; въ пансіонѣ продержалъ тебя Французъ пять лѣтъ, тамъ ты въ университетъ пошелъ; очень нужно; я Французу платилъ за то, чтобы всему тебя научилъ: да и тутъ я не спорилъ: Богъ съ тобой, пускай себѣ учится, дурнаго нѣтъ; ну, выучился, на службу опредѣлился; пускай себѣ служитъ: такъ и слѣдуетъ; ну, послужилъ довольно, говорю я; есть у тебя другая служба; я старъ; надо о крестьянахъ радѣть, къ доброму хозяйству пріучаться. Нечего сказать. Добрый ты сынъ; послушался, вышелъ въ отставку, да и давай за границу проситься. Ужъ какъ ни больно было намъ, что ты чужія земли прежде своей и прежде насъ, хотѣлъ видѣть, да Маша уговорила. Богъ съ нимъ, пускай себѣ ѣдетъ, дурнаго нѣтъ. Отпустилъ я тебя за глаза, только на годъ, а вотъ ужъ безъ мала три: всѣ мы подъ Господомъ; слава Богу, здоровы, да въ нашей старости одинъ день, и прощай. Евгеній. Такъ на то ли мы тебя воспитывали, всѣмъ прихотямъ твоимъ потакали, чтобы за всѣ труды и снисходительность нашу никогда на этомъ свѣтѣ съ тобой уже и не увидѣться? Такъ смотри же, Евгеній. зимой у насъ съ непривычки будетъ тебѣ скучно; такъ гуляй себѣ до весны, а весной, къ Вознесенію, изволь прямо къ намъ въ деревню; пора тебя пристроить: пока и въ твоей волѣ я господинъ: а умру, тогда ужъ самъ за собой присматривай. Прости же, душа моя, ты у меня одинъ, Евгеній, прости, да пиши почаще; я всегда твои письма по семи разъ читаю. да съ Машей раза по три, да съ мамзель Куси, у которой ты на рукахъ отъ земли отросъ; да тетушкамъ Пульхеріи, Аннѣ и Натальѣ Захарьевнамъ; да сосѣду нашему Сергѣю Андреевичу Безпужному, да женѣ его и дочери, пока здѣсь были; куда семь, больше. Такъ смотри же, Евгеній, къ Вознесенію! А пока да сохранитъ и благословитъ тебя Господь всѣмъ и намъ на радость. Безпужный больно хочетъ тебя видѣть, и я того же хочу; мы теперь въ большихъ съ нимъ хлопотахъ. Неурожай такой сильный, что и не запомнятъ. Мы-то съ нимъ еще ничего; сможемъ; а мелкимъ дворянамъ трудно приходится. Помогаемъ чѣмъ Богъ послалъ, да вояжи, любезный Евгеній, вояжи крѣпко насъ подрѣзываютъ. Еще для здоровья туда-сюда, а для забавы, когда кругомъ нищета и голодъ... право, безъ упрека нишу. Только пріѣзжай къ Вознесенью, все забуду. Такъ прости же, Евгеній. Храни тебя Богъ и всѣ святые. Прощай. Коли ты будешь возвращаться чрезъ швейцарское государство, такъ не забудь въ швейцарскомъ городѣ Женевѣ часы для меня купить. Деньги Маша

вышлетъ. Какъ мы тамъ съ Суворовымъ были, такъ всѣ тамошніе часы хвалили: да я тогда не былъ при деньгахъ; а московскій мой брегетъ совсѣмъ испортился: былъ у насъ на ярмонкѣ часовой мастеръ, деньги съ меня большія взялъ, да и доканалъ брегета; хоть брось... Ну, прощай! Береги себя, а пуще отъ фруктовъ; я отъ нихъ въ Требіи въ лазаретѣ съ недѣлю пролежалъ и такъ еще, говорили, дешево отдѣлался. А соблазнъ великъ. Знаю я Италію. Фруктовый садъ, а для другихъ винный погребъ. Правда кислое, да дешево. Да ты, мой Евгеній, умница, самъ все это знаешь и не забудешь своего отца Павла Лукачева. Лукачевка 5-го сентября 18** года.

А каково изображеніе обитателей Лукачевки и въ-особенности ея владѣтеля и повелителя? Просто—прелесть! Посмотрите сами:

«Но всего занимательнѣе, всего грандіознѣе въ Лукачевкѣ были сами хозяева. Павелъ Захарьевичъ Лукачевъ былъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти съ хвостикомъ; рослый, бодрый старикъ, краснолицый; не смотря на то, что волосы его были сѣды до желта, онъ всегда держался прямо, грудь впередъ, голову нѣсколько назадъ: одѣвался въ теченіе сорока лѣтъ всегда одинаково: военный сертукъ безъ эполетовъ; бѣлая шапка съ краснымъ околышкомъ; сапоги всегда со шпорами, даже дома, даже во время случайнаго нездоровья или лучше оказать нерасположенія, потому что Павелъ Захарьевичъ отродясь болепъ былъ только два раза: подъ Требіей отъ фруктовъ, да на Сенъ-Готардѣ, гдѣ онъ крѣпко прозябъ, такъ что сталъ думать, будто онъ уже и простудился, но въ сраженіи согрѣлся и всѣ прошло. Павелъ Захарьевичъ любилъ много говорить въ особенности о суворовскомъ итальянскомъ походѣ, но и отъ другихъ предметовъ не отказывался, преимущественно отъ турецкой войны, которая тогда была въ самомъ разгарѣ; также нравился ему очень двѣнадцатый годъ, Юрій Милославскій, Комета, Иванъ Выжигинъ, затмѣнія и сельское хозяйство. Характера Павелъ Захарьевичъ былъ неопредѣленнаго, въ родѣ шелковой матеріи съ отливомъ; не то, чтобы спзаго цвѣта, не то, чтобы и коричневаго; такъ что-то серединка на половинѣ; частенько онъ дарилъ нищему пятналтынный, а иногда гопялъ его со двора тростью, яко бродягу и дармоѣда. И въ домашнемъ быту Павелъ Захарьевичъ иной разъ надуется, и ходитъ и говоритъ индѣйскимъ пѣтухомъ, а иной разъ фарфоровую вазу разобьютъ, ни по чемъ, смѣется надъ ловкостью Терентія, роднаго брата Евдокима, и баста. Павелъ Захарьевичъ хорошо пѣлъ басомъ и, ужъ не знаю, изъ подражанія ли великому полководцу или такъ, по своей охотѣ, всегда стоялъ на клиросѣ и силою голоса потрясалъ окна лукачевской церкви; доставалось и домашнимъ окнамъ, но только отъ смѣха, а дома Павелъ Захарьевичъ никогда не пѣлъ. Еще имѣлъ Павелъ Захарьевичъ одну не столь важную привычку,—чесать подбородокъ, особенно когда ему приходилось не говорить, а слушать; но эта привычка была къ лицу Павла Захарьевичу—и означала веселое расположеніе духа, и Марья Захарьевна всегда радовалась въ душѣ, когда по движенію лѣвой руки примѣтно было, что Павелъ Захарьевичъ намѣревается чесать подбородокъ. Марья Захарьевна была значительно меньше ростомъ нежели Павелъ Захарьевичъ; но чего не доставало въ вышину, то Марья Захарьевна вознаграждала шириною. Волюмъ ея былъ особенно большаго пространства; не смотря на дородство и сорокъ лѣтъ, какъ она сама себѣ считала въ теченіе десяти послѣднихъ годовъ, Марья Захарьевна весьма была свѣжа, отличнаго цвѣта лица, который крѣпко смахивалъ на пивонію, и происходилъ не отъ чего иного, какъ отъ льда, потому что она каждое утро вытиралась этимъ

водянымъ кристалломъ. Марья Захарьевна для супружескаго равновѣсія говорила весьма мало: не смѣялась никогда громко, а только улыбалась; не пѣла на клиросѣ, но за то курила трубку. Голову носила нѣсколько на бокъ для большаго сходства съ упомянутымъ цвѣткомъ; на головѣ не терпѣла ни чепца, ни шляпки, а ходила простоволосая: дома всегда была одѣта однаково, въ зеленомъ матерчатомъ капотѣ съ красными бархатными обшлагами и таковымъ же воротничкомъ. Костюмъ сей былъ изобрѣтенъ Павломъ Захарьевичемъ потому, что онъ хотѣлъ и въ наружномъ видѣ Марьи Захарьевны изобразить, что она военная, т. е. супруга военнаго человѣка. При выѣздахъ въ гости, Марья Захарьевна имѣла право руководствоваться собственною фантазіей и не упускала пользоваться онымъ. Характера она была положительно мягкаго, уступчиваго, добраго, и на всѣ преступленія многочисленной дворни глядѣла сквозь пальцы. Особенныхъ привычекъ не имѣла, но за то была одарена разнообразными талантами: превосходно солила огурцы, квасила капусту, готовила варенье и считала на счетахъ, не только по части сложенія, но и вычитала безошибочно. Сверхъ того умѣла учить собачекъ и доводила ихъ понятливость истинно до невѣроятной степени. Зефирка отворяла сама двери, бѣгала въ дѣвичью или въ кабинетъ Павла Захарьевича и умѣла звать его и горничную Меланью къ барынѣ, а Валетка кралъ изъ мужскихъ кармановъ платки такъ искусно, какъ будто учился въ извѣстныхъ воровскихъ школахъ на восковыхъ фигурахъ съ колокольчиками. Само собою разумѣется, что Марья Захарьевна изъ этого не дѣлала никакой спекуляціи, а просто забавлялась, смѣху ради. Вотъ и въ этотъ вечеръ, въ который вамъ приходится свести съ Лукачевыми знакомство, Марья Захарьевна сидѣла за чайнымъ столикомъ, курила трубку и умильно глядѣла на Валетку, а Валетка, то и дѣло, холилъ за Павломъ Захарьевичемъ по комнатѣ и улучалъ минуту для похищенія изъ его кармана краснаго шелковаго платка.

«Отстань, Валетка»! говорилъ Павелъ Захарьевичъ, почесывая подбородокъ. «Право побью! Мнѣ теперь не до тебя! Завтра пріѣдетъ Евгеній...»

«Вотъ ужъ непремѣнно и завтра» сказала «Пульхерія Захарьевна такимъ тономъ, какъ будто услышала лично ей обидную рѣчь. Есть такіе характеры или лучше сказать способы изъясненія. Что ни скажутъ, какъ будто обиженные. Право есть; и тетушка Пульхерія Захарьевна имѣла этотъ характеръ или, лучше сказать, способъ изъясненія. Другія двѣ тетушки, Евгенія, Анна и Наталья Захарьевны такого свойства не имѣли, и хотя были обѣ замужнія, жили своими домами по сосѣдству, а въ Лукачевкѣ только гостили, но столько уважаемы не были, какъ Пульхерія Захарьевна, образецъ цѣломудрія и добродѣтели, до такой степени, что, проживъ на свѣтѣ за пять десятковъ лѣтъ, о мужчинахъ уже не думала, и даже не любила говорить объ этомъ ненавистномъ ей полѣ. Сердце ея принадлежало одному только племянничку, котораго, надо вамъ сказать, она никогда не видала; потому что при рожденіи Евгенія и въ первые годы его домашняго воспитанія на рукахъ у мамзель Кусп, Пульхерія Захарьевна проживала за триста верстъ отъ Лукачевки, въ дѣвичьемъ монастырѣ, у знакомой игуменьи. Это случилось потому, что тридцатилѣтняя дѣва въ свѣтѣ видимо получила отставку; не хотѣла быть предметомъ насмѣшекъ; скрылась; но въ сорокъ лѣтъ дѣвой уже быть не стыдно—и Пульхерія Захарьевна явилась въ Лукачевку къ особенному удовольствію хозяевъ. Солидный ея разсудокъ скоро получилъ вліяніе на всѣ семейные совѣты; слова ея пріобрѣли важность и значеніе, и потому Павелъ Захарьевичъ врѣзко огорчился, услышавъ вопросъ Пульхеріи Захарьевны.

«Завтра»! сказалъ онъ голосомъ, страшнымъ для домашнихъ и церковныхъ оконъ: «завтра или никогда! Не изволь забыть, сестра, что завтра вознесеніе, а если Евгеній забылъ это, такъ прощай, Евгеній! Онъ мнѣ больше не сынъ...»

«Какъ не сынъ»?

«Да ужъ такъ, не сынъ! Слушаться! Довольно я ему потакалъ по вашей милости!»

Въ это время Терентій, поставивъ передъ мамзель Куси самоваръ, шелъ назадъ, кажется и мѣрнымъ шагомъ, но на гладкомъ полу поскользнулся, упалъ, всталъ и хотѣлъ идти дальше. Но Павелъ Захарьевичъ далъ ему оплеуху и продолжалъ:

«Сколько денегъ перевелъ Евгеній! Сколько на одну почту вышло! Мало того, что за свои письма плати, а то и за его маранье; напутаетъ всякой дребедени три, четыре листа, а Павелъ Захарьевичъ плати! Да что я ему, прикащикъ, что ли? Никогда! завтра или никогда»!

«Да вы звѣрь, Павелъ Захарьевичъ!..

«Сама ты звѣрь, сестра! И такихъ рѣчей не говори! Мало мнѣ отъ Евгенія терпѣть приходится! Вотъ жду, будто на иголкахъ; вчера пѣшкомъ до самой Пуговки дошелъ, думаю: авось встрѣчу сорванца. Сергѣй Андреевичъ удивился; Лизавета Аѳонасьевна расплакалась, поцѣловала дочку и сказала: «вотъ, Сергѣй Андреевичъ, какъ дѣтей любятъ!» Газетъ читать не могу: какъ пришлетъ Сергѣй Андреевичъ, я только и посмотрю пріѣзжающихъ; думаю: избаловался Евгеній, прежде чѣмъ къ намъ, въ Питеръ заѣдетъ; отъ него всякаго зла жди. Отъ политики отсталъ; не знаю не только того, кто теперь остался на испанскомъ государствѣ королемъ, даже не вѣдаю, что наши съ Туркомъ сдѣлали; чай Царьградъ взяли, а Евгеній не ѣдетъ... такъ ужъ, сестра, въ звѣри прошу не жаловать... Завтра или никогда! сказано, и я на моемъ словѣ постою. Фельдмаршалъ говорилъ про меня: «твердый», такъ я какой нибудь мѣшкѣ, Евгенію Павловичу Лукачеву, трунить надъ собой не позволю. Я не звѣрь. Какой я звѣрь? почему я звѣрь? Вотъ звѣрь—Валетка. Подай сюда платокъ, подай, али я и трость возьму. То-то же! я тебѣ не забава! Такъ что же, сестра, я тебѣ Валетка, что ли? Звѣрь! хорошъ звѣрь. Ты, сестра, посмотрѣла бы, какъ я флигель для него убралъ; а женится, самъ во флигель переѣду, а ему большіе хоромы уступлю. А встрѣчу какую приготовилъ! Тутъ во всемъ уѣздѣ никогда люминаціи не видали. Самъ я здѣсь сорокъ, безъ малаго, лѣтъ живу, ни одной плошки не запомню; надо было за всѣмъ къ губернатору посылать. Всю чиновность на завтра зазвалъ; музыку у Литовцева выпросилъ; не пріѣдетъ, такъ вѣдь на всю губернію сраму надѣлаетъ, пожалуй еще въ газетахъ пропечатаютъ. Да и состояніе, сестра, ты знаешь какое намъ досталось: сто душъ безъ трехъ числилось по ревизіи; и какія души-то щедушныя! мякиной кормились. За Марьей Захарьевной что я взялъ? пятьдесятъ и тоже не души, а душонки. Богъ благословилъ, въ 12-мъ году, въ самую невзгоду, всѣ плакали да хныкали, а я триста душъ накупилъ; да потомъ въ 18-мъ году всѣхъ заложилъ, да еще прикупилъ Мудровку; правда, дешево, да четыреста семь душъ не шутка, и тѣ заложилъ: выплатился изъ долгу, сестеръ меньшихъ замужъ поотдавалъ, приданое справилъ... А Евгеній не ѣдетъ!—А Лукачевка? только въ ней и было что эти хоромы, да и тѣ полупгнили: ни убранства, ничего,—сараи да и полно, а теперь?.. Звѣрь! Ты подп, сестра, у мужика спроси, звѣрь ли я? У меня мужикъ, противу сосѣдскихъ, барином живетъ. Ну-ка, сестра, у кото-

раго мужика лошади, коровы, и всякаго скота нѣтъ?.. Ну-ка, ну-ка, сестра!.. То-то же, звѣрь!—А Евгеній, ему все не почемъ; на готовое готовится: смерти моей ждетъ, что ли? Такъ пусть и сидитъ на родовомъ, а благопріобрѣтенное—мое; кому захочу, тому и подарю, вотъ пусть только не пріѣдетъ! И завтра послѣ заутрени всѣ поѣдемъ черезъ Пуговку, на большую дорогу. Пожалуй, у Сергѣя Андреевича обѣдню отслушаемъ. Не его, такъ гостей встрѣтимъ; какъ онъ себѣ хочетъ. Въ половинѣ двѣнадцатаго за ужинъ усажу гостей, а ударитъ двѣнадцать... прощай, Евгеній! Тамъ при всѣхъ волю мою скажу: тогда хоть у ногъ валяйся, не помилую. Дайко, мамзель, мнѣ стаканчикъ пуншу, съ горя!..“

«Рѣчь Павла Захарьевича навела на всѣхъ уныніе; окна дрожали и усиливали тоску женщинъ; даже Валетка, примѣтивъ расположеніе Павла Захарьевича, свернулся въ крендель и уснулъ подъ стуломъ. Никто не смѣлъ противорѣчить, даже Пульхерія Захарьевна; она сдѣлала отмѣнно непріятную мину; не хотѣла чаю и ушла, не простившись; Павелъ Захарьевичъ долго еще говорилъ въ томъ же топѣ; Марья Захарьевна выкурила еще двѣ трубки и слушала съ тѣмъ же ровнымъ вниманіемъ. За ужиномъ никто не могъ ѣсть, только Павелъ Захарьевичъ, съ горя, съѣлъ жирную пулярку, выпилъ бутылку добраго портвейна и, жалуясь на недостатокъ аппетита, ушелъ спать...»

Все это живо, естественно, вѣрно, словомъ все это такъ, какъ только бываетъ у сильно-даровитыхъ писателей, хотя и есть погрѣшности въ языкѣ и нѣтъ рѣшительно никакого *правописанія*. Но не забудемъ, что все это подробности, а цѣлое совершенно лишено идеи и вертится на пустой любовишкѣ и пустыхъ сладенькихъ эффектахъ неожиданнаго узнаванія и родственныхъ свиданій. Хуже всего, въ концѣ повѣсти, апоѳеоза татарскаго изъявленія сыновней почтительности кувырканіемъ въ ноги дражайшему родителю. Авторъ въ восторгѣ отъ этой сцены...

***755. Картинки русскихъ нравовъ.** *Санктпетербургъ. 1843. Въ тип. Journal de St.-Pétersbourg. Книжки V и VI. Въ V-й книжкѣ 77, въ VI-й—69 стр.* [156]).

Пятая книжка «Картинокъ Русскихъ Нравовъ» содержитъ въ себѣ картинки совсѣмъ не-русскихъ нравовъ. Остроумному казаку Луганскому вздумалось въ статейкѣ подъ несоотвѣтствующимъ названіемъ «Находчивое Поколѣніе» сдѣлать очеркъ Француза, который, прибывъ въ Россію, въ качествѣ гонимаго легитимиста, молодымъ человѣкомъ, до старости (хотя гонимые легитимисты существуютъ всего только тринадцать лѣтъ, и если въ 1830 году были молоды, то и теперь еще не стары) перебивается въ ней разными продѣлками и штуками. Многія черты въ этой статейкѣ очень-забавны. Таковы, напр., сочиненные Петитомомъ двѣ русскія басни, одна стихами, другая прозою, которыя говорятъ его воспитанники своимъ родителямъ. Выписываемъ первую:

«Одинъ маленькій собачка съ великій злость
Грызъ кость.
Большой собака приходилъ,
И маленькой собачка спросилъ:
Маленькій собачка, зачѣмъ ты съ велнкій злость
Грызешь кость?
Маленькій собачка отвѣчалъ:
Мнѣ хозяинъ давалъ.
Нравоученіе.
Слѣдовательно, ничего не должно дѣлать безъ позволенія».

Но лучше всего показалось намъ вступленіе въ статейку:

«Недавно одинъ изъ *хозяевъ* по Зеркальной-линіи Гостинаго-Двора, раз-«сматривая палку мою, въ которую вкладывается зонтикъ, сказалъ: «Вотъ, «говорятъ, Нѣмцы нашъ хлѣбъ ѣдятъ; Господь съ ними, пусть ѣдятъ: они насъ «добру учатъ; не будь ихъ, у кого бы мы стали перенимать? Они, вишь, до «всего разумомъ доходятъ, а мы глазами».

Шестая книжка содержитъ въ себѣ статейку г. Кукольника «Преферансъ, или—и—». Это какая-то жалкая болтовня, исполненная самаго наспьственнаго остроумія и самаго натянутаго юмора. Какъ бы ни были вы смѣшливы, не улыбнетесь, читая этотъ странный наборъ словъ, до смысла котораго напрасно стали бы вы добиваться. И потому оставимъ его въ покоѣ.

Картинки въ обѣихъ книжкахъ бо́льшею частію прекрасны; плохихъ нѣтъ вовсе. Это дѣлаетъ большую честь талантливому карандашу г. Тимма. Выгравированы его рисунки гг. Клотомъ, Неттельгорстомъ и Липкомъ тоже прекрасно; отпечатаны хорошо.

Для *картинокъ*, можно покупать «Картинки Русскихъ Нравовъ»: онѣ очень и очень сто́ятъ того. О текстѣ тутъ не́чего и упоминать. Какой же даровитый поэтъ можетъ написать хорошее либретто, когда его перомъ управляютъ вдохновеніе и воля композитора? Какой даровитый писатель можетъ написать хорошую статью, когда его перомъ и вдохновеніемъ управляетъ воля рисовальщика? А, исключая казака Луганскаго въ «Картинкахъ Русскихъ Нравовъ» не участвовалъ ни одинъ даровитый писатель... Г. Кукольника, конечно, нельзя отнести къ числу бездарныхъ писателей, ибо онъ, словно по прихоти своей, принадлежитъ то къ даровитымъ, то къ безталантнымъ: когда дѣло дошло до «Картинокъ Русскихъ Нравовъ», онъ какъ нарочно примкнулся къ послѣднимъ...

«Сѣверная Пчела» (№ 232) такъ отозвалась по случаю этихъ двухъ книжекъ съ хорошенькими картинками: «Если такихъ изданій, *истинно народ-«ныхъ*, не покупать, такъ что́ же и покупать! Совѣтуемъ, однакожъ, не от-«кладывать, потому что навѣрное этихъ книжечекъ скоро не станетъ». Эта похвала кажется намъ невпопадъ восторженною: подумаешь, что дѣло идетъ объ исторіи Петра Великаго», написанной Пушкинымъ. Если не покупать «Картинокъ Русскихъ Нравовъ, такъ что же и покупать! Это изданіе *истинно-*

народное... а почему?—потому-что двѣ первыя книжки заняты статьями г. О. Булгарина: вотъ онъ и прославляетъ, въ своихъ фѣльетонахъ, цѣлое изданіе, которому и конца не предвидится и въ которомъ, вѣроятно, явится еще не одинъ лоскутъ его сочиненій.

756. Разныя повѣсти. *Санктпетербургъ. Типографія Императорской Академіи Наукъ.* (Года не означено). *Въ 16-ю д. л. 230 стр.* [157]).

На оборотѣ заглавнаго листка этой сѣренькой книжонки напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Стало быть, эта книжонка есть невинная спекуляція на вниманіе читателей: *разныя повѣсти*, оставшись въ этомъ, никому-неизвѣстномъ «Маякѣ» безъ читателей, хотѣли, во что-бы ни стало, быть прочтенными, и для этого заблагоразсудили, черезъ два года, выйдти въ свѣтъ особенною книжкою. «Маякъ» уже не въ первый разъ прибѣгаетъ къ этому средству заставлять хоть кого-нибудь прочитывать нѣкоторыя изъ его статей. Къ несчастію этого темнаго журнала, гдѣ-то издающагося, и еще къ бо́льшему нашему несчастію, однимъ только рецензентамъ достанется прочитывать неслыханныя и чрезвычайныя статьи «Маяка», особо издаваемыя. Въ книжкѣ, о которой идетъ рѣчь, три повѣсти: первая изъ нихъ, «Царское Село» писана женщиною, благоразумно скрывшею свое имя; вторая, «Сельская Быль», сочинена какимъ-то г. Веселымъ, а третья, «Закладъ»—написана какимъ-то г. Тихорскимъ. Оба эти господина очень-неблагоразумно выставили наружу свои имена. Первая повѣсть—прочувствительная: ужь такъ и видно, что дамской работы! Она начинается фразою: «Вы знаете что лѣтніе мѣсяцы прожила я въ Царскомъ Селѣ». Не правда ли, что эта фраза очень-неосторожно капнула съ пера на бумагу, и что каждый изъ читателей имѣетъ право отвѣтить на нее, бросая книгу подъ столъ: «Не знаю, да и знать не хочу»? Живучи въ Царскомъ Селѣ, сочинительница бродила по его садамъ съ *Виландомъ* въ рукахъ. Боже мой! да кто жь теперь читаетъ Виланда и въ самой Германіи? Одинъ разъ сочинительница сѣла въ кусты *(стр. 14, строка 19)*, и вытащивъ изъ большаго ридикюля толстую не дамскую книгу, не теряя напрасно времени, принялась за чтеніе нѣмецкаго ученаго писателя, Платона, написавшаго «Республику». Право, такъ! Любопытные могутъ справиться сами. Это самая достопримѣчательная и характеристическая черта повѣсти «Царское Село»: все остальное въ ней такой вздоръ, что не хочется и говорить о немъ, и нѣтъ силъ его запомнить.—«Сельская Быль» напечатана съ двумя эпиграфами—французскимъ: «C'est quelque chose de moujique»? и русскимъ: «Квасной патріотизмъ»! Мѣстами эта повѣсть довольно удачно передразниваетъ *гуторъ*, т. е. *мужицкую рѣчь*, или *баитъ по-мужицки*, но въ сюжетѣ, въ мотивахъ, чувствахъ, мысляхъ она—ложь лжей и нелѣпость нелѣпостей. Въ деревнѣ мота и дурака-помѣщика, между мужиками есть богачи! Между ними одинъ далеко превзо-

шелъ въ добродѣтели и благотворительности карамзинскаго *Флора Силина*. «Кто третьяго года роздалъ на посѣвъ почти весь свой анбаръ; «кто на свои деньги купилъ лошадь и корову вдовѣ Аксиньѣ; кто по- «могалъ хлѣбомъ и чѣмъ ни попало, вонъ его *(одного парня)* матери?» Фантазія! Ребята борятся, а дѣвушки ободряютъ возлюбленныхъ своимъ присутствіемъ, взглядами и улыбками: русская національность въ флоріановскомъ пастушескомъ нарядѣ! У каждаго парня есть зазноба, у каждой дѣвушки— любимецъ сердца; ребята всѣ молодцы и комплиментисты, а дѣвушки кокетки:— клевета на лапотную и сермяжную дѣйствительность, которая не влюбляясь женится, а женившись, больно дерется! Анюта тоскуетъ по своемъ возлюбленномъ, а отецъ ее нѣжно распрашиваетъ о причинѣ грусти: тогда она не можетъ говорить отъ рыданій, и только, бросясь къ отцу на шею, осыпаетъ его поцалуями *(стр. 102)*... Къ довершенію всего, эта сермяжно-идеальная дѣва говоритъ своему брадатому родителю не *ты*, а *вы*, и если называетъ его *батюшкою*, а не *папашею*, то, вѣроятно, только изъ уваженія къ проповѣдуемой «Маякомъ» народности. На 139 стр. исправникъ краснѣетъ при фразѣ мужика, что съ бѣды да горя взятки гладки: невѣроятность! Г. Веселый (да проститъ ему Господь его неумѣстную веселость!) хотѣлъ въ своей повѣсти изобразить неизрѣченное счастіе быть мужикомъ,—и, самъ того не подозрѣвая, написалъ презлую каррикатуру на это счастье. Соперникъ идеальнаго героя повѣсти убиваетъ проѣзжаго купца и, съ вѣдома земской полиціи, подбрасываетъ окровавленное платье убитаго подъ полъ избы Ѳедора, котораго осуждаютъ на кнутъ и каторгу. Къ-счастію, земскаго засѣдателя лошадь разбила на смерть, и онъ, упавъ подлѣ церкви, успѣлъ покаяться въ своемъ злоумышленіи.

Повѣсть «Закладъ» г. Тихорскаго взята изъ малороссійскаго быта. Героиня повѣсти—*Галя*, въ звательномъ падежѣ *Галю*. Это напомнило намъ «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, и потому мы уже не въ состояніи были дочесть до конца сказки г. Тихорскаго. Охота же этимъ господамъ браться за изображеніе идиллическаго быта сельской Малороссіи послѣ «Сорочинской Ярмарки», «Утопленицы» и «Ночи передъ Рождествомъ»! Охота имъ сталкиваться съ Гоголемъ! Увѣряемъ васъ, господа сочинители въ родѣ неизвѣстнаго г. Тихорскаго, что это для васъ такъ же невыгодно, какъ для вывѣсочнаго маляра сталкиваться въ сюжетахъ своихъ аляповатыхъ картинъ съ грандіозными созданіями Брюлова, или граціозными твореніями Моллера.

Прочь эту вздорную книжонку!

757. Голосъ за Родное. Повѣсть. *Соч.* **Ф. Фанъ Димъ.** *Санктпетербургъ(.) Типографія Императорской Академіи Наукъ. 1843. Въ 16-ю д. л. 320 стр.* [158]).

Только-что одну книжонку прогнали—глядимъ, лѣзетъ другая, и все въ томъ же духѣ и въ томъ же тонѣ. Какъ и у первой, на оборотѣ заглавнаго

листка безграмотно напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Сколько помнится намъ, мы уже когда-то читали это маяковское пѣщечко и уже говорили о немъ въ Библіографической Хроникѣ «Отеч. Записокъ». Содержаніе этой книжонки вполнѣ соотвѣтствуетъ ея сѣренькой наружности: оно не то, чтобъ ужь черезъ чуръ нелѣпо, да и не то, чтобъ и очень отличалось смысломъ, а такъ, середка на половинѣ. Главные элементы этой книжонки: крайняя ограниченность взгляда и чрезвычайная бездарность выполненія; а результатъ ихъ—скука смертельная...

* **758. Странствователь по Сушѣ и Морямъ.** *Книжка вторая. Санктпетербургъ. Въ тип. И. Бочарова. 1843. Въ 12-ю д. л. 183 стр.* [159]).

Эта вторая книжка такъ же хороша, занимательна, умна, хорошо изложена и исполнена содержанія, какъ и первая. Отъ всей души рекомендуемъ ее нашимъ читателямъ, и смѣло обѣщаемъ имъ отъ нея много удовольствія и столько же пользы. Равнымъ образомъ, отъ всей души желаемъ, чтобъ третья книжка не замедлила выходомъ, и чтобъ числу книжекъ умнаго и занимательнаго «Странствователя» конца не было.

* **759. Разсказъ. П. М.** *Автора повѣсти:* **Мужъ подъ башмакомъ** *и проч.* **Записки Удивительнаго Человѣка.** *1843. Санктпетербургъ. Въ тип. Штаба Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи. Въ 8-ю д. л. Часть 1-я—22, часть II-я—29 стр.* [160]).

Господинъ, безпрестанно-рекомендующій себя петербургской публикѣ *Авторомъ повѣсти: Мужъ подъ башмакомъ и проч.*, имѣетъ то же самое значеніе въ русской литературѣ, какое и наши доморощенные драматурги, поставляющіе для бенефисовъ Александрынскаго-Театра разныя «драматическія представленія». У него свой юморъ, свой взглядъ на вещи, которые дѣлаютъ его рѣшительнымъ Поль-де-Кокомъ петербургскаго низшаго люда, громко апплодирующаго и по нѣскольку разъ вызывающаго любимыхъ актёровъ въ Александрынскомъ-Театрѣ. Между юмористическими выходками, понятными и забавными только для этого рода публики, попадаются у него иногда и дѣйствительно ловкіе намеки и острыя выходки. Одна такая есть въ скучной массѣ пустой болтовни и натянутаго юмора, названной «Записками Удивительнаго Человѣка». Какая-то публика хочетъ имѣть своего генія въ литературѣ и производитъ выборы. Одинъ изъ кандидатовъ въ геніи такимъ образомъ хлопочетъ попасть въ это званіе:

«Вы что-жъ, болваны, стоите! кричалъ какой-то черноватенькій старичокъ, толкая въ шею простоволосыхъ крестьянъ и мѣщанъ. Кричите за мной! Прочь всѣхъ! Это все западная, развратная литература! Это все молодежь! Давайте намъ старожиловъ! Давайте писать чистымъ мужицкимъ языкомъ. Слушайте! Мы разскажемъ вамъ сказку о томъ, какъ Трифонъ купилъ корову у Антона! Мы геніи! мы геніи!»

Это довольно-забавно, и довольно-похоже на правду!

*760. Памятникъ Искусствъ. *(Типографіи и года не означено). Двѣ тетради. Въ 4-ю д. л. Въ одной тетради 48, въ другой 48, 50 и 46 стр.* [161]).

Ба! старые знакомые! какъ давно не видались—къ обоюдному удовольствію! Итакъ, это дикое изданіе еще живо, еще продолжается! «Памятникъ Искусствъ»... Развертываемъ: статья «Сестрорѣцкъ» съ планомъ этого города. Гдѣ жь тутъ искусства, гдѣ его памятники? Въ другой тетради біографіи Цезаря (посредственная), Байрона (очень-недурная) и Лесажа (такъ ни, то ни сё). Хоть эти біографіи, конечно, и больше относятся къ искусствамъ, чѣмъ Сестрорѣцкъ, но все же мы не видимъ въ нихъ никакихъ памятниковъ искусства, а видимъ статьи больше или меньше хорошія, больше или меньше сносныя по содержанію, и довольно-плохо переведенныя. Составитель «Памятника Искусствъ» напоминаетъ собою поздневскаго повара (въ «Мертвыхъ душахъ»), который «руководствовался больше вдохновеніемъ, и клалъ первое, «что попадалось подъ руку: стоялъ ли возлѣ него перецъ—онъ сыпалъ перецъ; «капуста ли попадалась—онъ совалъ капусту, пичкалъ молоко, ветчину, горохъ, «словомъ—катай валяй, было бы горячо, а вкусъ какой-нибудь вѣрно выйдетъ».

761. Рѣчь объ Истинномъ Значеніи Поэзіи, *написанная для произнесенія въ торжественномъ собраніи Императорскаго Харьковскаго Университета 30 августа 1843 года адъюнктомъ* А. Метлинскимъ. *Харьковъ. Въ университ. тип. 1843. Въ 8-ю д. л. 62 стр.* [162]).

Въ этой «Рѣчи» можно найдти все, что угодно, кромѣ истиннаго значенія поэзіи. Авторъ очень-ловко маневрируетъ около своего вопроса, но не нападаетъ на него, не хватаетъ его. Отъ-того, много фразъ и словъ, рѣчь длинна и скучна, а дѣла въ ней нѣтъ. Въ иныхъ мѣстахъ, пустѣйшій наборъ словъ, выдаваемый за краткія и многообъемлющія характеристики, напр.:

«Камоэнсъ, ограничившій свою поэму подвигами отечества, *прозвучалъ пѣснію по бурнымъ океанамъ во слѣдъ мореходцамъ Лузитаніи.* Въ Испаніи, Кальдеронъ раскрывалъ въ тайнахъ религіи мирное просвѣтлѣніе человѣка, встревоженнаго бурею мятежныхъ страстей; Сервантесъ глубокопроницательнымъ взглядомъ обнажилъ двуличность жизни, въ которой нерѣдко суетливое ничтожество таится подъ видомъ торжественной важности мнимыхъ подвиговъ» (стр. 10—11).

Творецъ небесный! что это такое? Не-уже-ли это характеристики Камоэнса, Кальдерона и Сервантеса? И не-уже-ли такъ должно понимать великое созданіе Сервантеса—«Донъ-Кихотъ»? По всему замѣтно, что авторъ «Рѣчи» много читалъ и много думалъ, но, за отсутствіемъ въ душѣ непосредственнаго созерцанія таинства поэзіи, ничего не вычиталъ, ничего не выдумалъ. Говоря о сущности поэтическаго выраженія, авторъ «Рѣчи» приводитъ иногда такіе примѣры, въ которыхъ не только поэзіи, но и смысла нѣтъ, напр.:

Бѣжитъ въ свой путь съ весельемъ многимъ
По холмамъ грозный исполинъ:
Ступаетъ по вершинамъ строгимъ (т. е. острымъ),
Презрѣвъ глубоко дно долинъ.

Знаемъ, что противъ насъ подымутся крики и вопли за рѣзкій приговоръ стихамъ великаго человѣка. Отвѣчаемъ заранѣе этимъ господамъ: великаго человѣка, написавшаго эти стихи, уважаемъ, а въ этихъ стихахъ его все-таки не видимъ ни поэтическаго, ни другаго какого-либо смысла...

Силясь опредѣлить поэзію и такъ и этакъ, и видя, что такое дѣло рѣшительно не удается, авторъ «Рѣчи» вздумалъ-было противопоставить ее, какъ выраженіе духа, чувственности, забывъ, во-первыхъ, что чувственность есть необходимый моментъ самой поэзіи, что во-вторыхъ, идеальная сущность поэзіи состоитъ не въ духовности, а въ идеальной всеобщности, дающей себя чувствовать въ индивидуальномъ и частномъ, и что, наконецъ, въ-слѣдствіе этого, сама чувственность можетъ имѣть всеобщее, идеальное значеніе, какое и имѣла у самаго эстетическаго въ мірѣ народа—древнихъ Грековъ. Все это показываетъ, что или г. Метлинскому надо еще поучиться, отложивъ сочиненіе рѣчей, или что тайнѣ поэзіи нельзя выучиться, если натурѣ человѣка не присуще откровеніе этой тайны...

782. Литературныя и журнальныя замѣтки. [163])

Въ предъидущей книжкѣ «Отеч. Записокъ» мы остановились на обѣщаніи познакомить читателей со вторымъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Къ сожалѣнію, не можемъ теперь выполнить нашего обѣщанія: второй фельетонистъ такъ замѣчателенъ и оригиналенъ, что если знакомить его съ нашими читателями, такъ ужъ не черезъ силуэтъ, не черезъ легкій очеркъ, а черезъ портретъ - и не грудной портретъ, а портретъ во весь ростъ. Это требуетъ много времени и мѣста, а у насъ теперь не много и того и другаго, почему и принуждены мы исполненіе нашего обѣщанія отложить до слѣдующей книжки «Отечествен. Записокъ», гдѣ кстати ужъ познакомимъ читателей и съ третьимъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы», г. Z. Z., мужемъ ума глубокаго и превыспренняго, котораго эта газета выставляетъ впередъ только въ торжественныхъ случаяхъ. Теперь же поговоримъ о «Письмѣ г-на Ѳ. Б. къ г-ну Гречу, за границу», напечатанномъ въ 150 и 151 №№ «Сѣверной Пчелы», и еще кое-о-чемъ.

Не знаемъ достовѣрно, кто этотъ таинственный г. Ѳ. Б., но по всему видно, онъ человѣкъ старый. «Я (говоритъ онъ) «долго жилъ въ чужихъ краяхъ, въ наполеоновской Франціи и въ пігитической Германіи, въ эпоху ея «сладкихъ надеждъ и мечтательности, видѣлъ героическую Испанію во время «борьбы ея за честь и правду». Слышите ли: былъ и въ Испаніи! Вотъ «истинно всемірный путешественникъ! За этимъ объясненіемъ слѣдуютъ по-

хвалы тогдашней Германіи, и въ особенности, ея филистерской семейственности, ея гофратской патріархальности, и въ этихъ похвалахъ встрѣчается фраза: *потому-что для того, чтобы спать* и пр. Эта фраза свидѣтельствуетъ, что почтенный старичокъ, авторъ ея, вѣроятно, плохой ученикъ Карамзина, подобно другимъ сотрудникамъ «Сѣверной Пчелы», пишетъ дѣйствительно лучше насъ, которыхъ эта газета упрекаетъ въ незнаніи и искаженіи русскаго языка. Но это пока въ сторону. Лучше всего что нашъ старичокъ-весельчакъ, потѣшающій публику забавными разсказами, ставитъ тогдашней Германіи въ заслугу, что у нея «не было ни такой обширной, или, правильнѣе, такой *всеобщей* торговли, ни столько фабрикъ и мануфактуръ, какъ теперь»!.. За то, говоритъ онъ, вовсе не было ропота, и роскошь состояла въ *семейномъ счастіи*. Знаемъ мы это нѣмецкое семейное счастіе—возьмите его себѣ даромъ и восхищайтесь имъ сами! За тѣмъ, восторженныя похвалы Нѣмкамъ: увы, и это теперь ужь устарѣлая пѣсня, которой никто не слушаетъ и надъ которою всѣ смѣются!.. Сколько ни высчитывайте сортовъ картофеля—все будетъ картофель!..

Послѣ Германіи, слѣдуютъ похвалы наполеоновской Франціи, которую г. Ѳ. Б., по собственнымъ словамъ его, «прошелъ нѣсколько разъ вдоль и поперекъ». Военный терроризмъ Наполеона приводитъ его въ восторгъ; онъ восхищается даже конскрипціею, которая лишила Францію цвѣта молодаго народонаселенія, принесеннаго въ жертву молоху ненасытнаго честолюбія... Жаль, что эта статья не переведена на французскій языкъ: ходившіе по бѣлому свѣту подъ орлами Наполеона солдаты пришли бы отъ нея въ неописанное восхищеніе... Прежніе веселые и легкіе Французы удостоились всей похвалы г. Ѳ. Б.; за то нынѣшніе, угрюмые, страждущіе общественными недугами, измученные общественными вопросами, подверглись всей его немилости. А за что, главное? Тѣ были весельчаки, кутилы... Чтобъ убѣдить всѣхъ въ истинѣ своей идеи, г. Ѳ. Б. выдумалъ, будто бы теперешняя французская литература снова возвращается къ вкусу безплоднаго и безвкуснаго въ литературномъ отношеніи наполеоновскаго времени, будто является Жуи въ тысячѣ новыхъ видахъ и будто-бы Скрибъ пишетъ комедіи въ родѣ Мариво!!... Что за дребедень! А если Парижъ ходитъ смотрѣть Рашель, такъ ужъ давнымъ-давно доказано, что въ этомъ нѣтъ никакого возвращенія къ старинѣ: смотрятъ Рашель, а не Корнеля и Расина; не будетъ Рашели—и Корнеля и Расина некому будетъ смотрѣть.

Далѣе, узнаёмъ мы, что тотъ же г. Ѳ. Б. не любитъ ни дилижансовъ, ни пароходовъ, ни желѣзныхъ дорогъ, ни остановокъ въ трактирахъ: не мудрено—старость!

Книга г. Вольфзона о русской литературѣ не понравилась г. Ѳ. Б. еще больше желѣзныхъ дорогъ; начавъ ее бранить, онъ опять выказалъ все свое умѣніе писать, какъ онъ претендуетъ, карамзинскимъ языкомъ: «Эти люди «(пишетъ онъ) даже поверхностно не знаютъ Россіи, наполненной чужестран-

«цами, которые находятъ у насъ помощь, гостепріимство, ласку и всякую— «помощь!» Пламенная фантазія г. Ѳ. Б. сперва уноситъ его въ объятія достойнаго его друга, Менцеля, и потомъ къ западнымъ Славянамъ. Эти послѣдніе разспрашиваютъ его, что̀ дѣлается въ русской литературѣ, и онъ, слогомъ Хераскова, повѣствуетъ имъ о войнѣ московскихъ литераторовъ съ петербургскими, и какъ нѣсколько истыхъ богатырей изъ московскихъ литераторовъ *побратались* (собственное выраженіе г. Ѳ. Б.) съ воинами петербургскими: вѣроятно, тонкій намекъ на дружбу г. Полеваго съ прежними его литературными противниками, гг. Гречемъ и Булгаринымъ!.. Говоря о драмѣ г. Полеваго «Ломоносовъ», въ которой пляшетъ Тредьяковскій, г. Ѳ. Б. глубокомысленно замѣчаетъ: «Теперь, конечно, ни одинъ литераторъ не станетъ плясать за деньги, но *изъ чести* мало ли что̀ дѣлается!» Не споримъ противъ этого...

Это длинное письмо г-на Ѳ. Б., напечатанное въ двухъ №№ «Сѣверной Пчелы», оканчивается торжественнымъ дифирамбомъ, въ прозѣ, въ честь новаго книгопродавца, г. Ольхина, и его книжнаго магазина... Итакъ, все это путешествіе по Франціи, Испаніи и Германіи сдѣлано было для того, чтобъ подъѣхать къ книжному магазину и воспѣть ему въ прозѣ оду громкую, какъ пѣвали ее своимъ милостивцамъ россійскіе піиты прошлаго вѣка?.. было изъ чего хлопотать! Г. Ѳ. Б., въ своемъ піитическомъ (выражаясь его же словцомъ) жару, приписываетъ г. Ольхину даже гражданскіе подвиги... Прислушайтесь сами: «Но вотъ, рядомъ съ Смирдинымъ, *возсталъ новый «дѣятель* (какой высокій слогъ!), М. Д. Ольхинъ, и съ любовью къ рус«ской литературѣ, съ смирдинскимъ добродушіемъ, *сложилъ на алтарь «русскаго просвѣщенія значительный денежный капиталъ*, безъ «котораго, при лучшихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ, литература невольно ото«двигается въ предгуттенберговскую эпоху, когда умственная дѣятельность «сжималась въ тѣсныхъ манускриптахъ. Посмотрите на великолѣпное изданіе «г. Ольхина *Полной Анатоміи* геніальнаго Пирогова! Какой книгопрода«вецъ, *безъ чистой любви къ общему благу*, рѣшился бы на этотъ «подвигъ? Г. Ольхину природа дала то, чѣмъ прославились баронъ Котта, «Брокгаузъ, Дидотъ, Лавока и другіе двигатели литературы; *онъ умѣетъ «цѣнить трудъ и людей*—и, нѣтъ никакого сомнѣнія, что и русская «публика его оцѣнитъ! Я *слыхалъ* (слышалъ?), что у г. Ольхина изго«товляется изданій болѣе, чѣмъ на 280,000 рублей ассигнаціями? Вотъ это «такъ книгопродавецъ! Дай Богъ ему и писателей по этому размѣру!»

Вотъ это оніміамъ, такъ ужь оніміамъ! скажемъ мы отъ себя. И греческіе боги такого не нюхивали!.. А между-тѣмъ любопытно было бы знать, не этимъ ли 280,000, потраченнымъ г. Ольхинымъ на рукописи, обязаны своимъ существованіемъ: «Супружеская Истина», «Голосъ за Родное», «Полныя Сочиненія Ѳ. Булгарина», и многія другія въ этомъ же родѣ произведенія?.. И изданіе ихъ не есть ли лепта на алтарь просвѣщенія.

763. Осада Троице-Сергіевской Лавры или Русскіе въ 1608 году. *Историческій романъ XVII вѣка. Три Главы. Благотворительность, дума. Человѣкъ, дума, Александра С***. Санктпетербургъ. Въ тип. Константина Жернакова. 1843. Въ 12-ю д. л. 107 стр.* [163]).

За безсмысленнымъ заглавіемъ этого «историческаго романа XVII вѣка», слѣдуетъ посвященіе, изъ котораго узнаемъ мы, что сочинитель, «преданный сынъ», которого фамилія—А. С—нъ, посвящаетъ галиматью о XVII вѣкѣ своимъ «достойнымъ родителямъ», Павлу Петровичу и Матренѣ Ивановнѣ, которыхъ фамилія—Щет—вы... Какая странная разница въ фамиліяхъ сына и обоихъ его родителей! Но не будемъ останавливаться на этомъ... За посвященіемъ слѣдуетъ «Воззваніе къ публикѣ и рецензентамъ». Какъ оригинально это слово—*воззваніе!* Совершенно въ тонѣ и вкусѣ *Кутейкина*, извѣстнаго лица въ комедіи Фонвизина «Недоросль»! Въ «воззваніи» остроумный сочинитель *взываетъ*, или *молитъ*, что его романъ—не романъ, а только отрывки изъ романа, изданные имъ «для того, чтобъ узнать мнѣніе публики и благонамѣренныхъ рецензентовъ—заслуживаетъ ли, по этимъ главамъ, весь романъ быть напечатаннымъ, или должно оставить его въ портфелѣ?» Что касается до насъ, то, при всей своей благонамѣренности, мы убѣждены, во-первыхъ, въ томъ, что цѣлаго романа у «преданнаго сына» нѣтъ и не будетъ, а эти главы сочинены имъ по случаю насущныхъ потребностей настоящаго дня; во-вторыхъ, что и эти главы, для чести русской словесности и русскаго книгопечатанія, должны были бы остаться въ портфелѣ, или пойдти на кухню для разныхъ домашнихъ потребностей, а не появляться въ свѣтъ въ которомъ и безъ того много разной галиматьи. За «воззваніемъ» слѣдуютъ три отрывка, которые писаны двумя родами слога—высокимъ, т. е. напыщеннымъ до безсмыслицы, и низкимъ, площаднымъ и тривіальнымъ. Вотъ образчики того и другаго. № 1-й, слогъ надутый:

«Случалось ли вамъ послѣ отрадной ночи пить теплоту утренняго августовскаго солнца, когда роса колеблется по вѣточкамъ и блещетъ различными цвѣтами? И если случалось, то вы согласитесь, что эта теплота упоительно-сладостна... воздухъ тогда—поэзія и наслажденіе. Сіяніе роскошнаго дня возбуждаетъ чувство признательности; кровь стремится къ сердцу и удвоятъ жизнь; въ то время бываетъ какъ-то отрадно-легко! тихій восторгъ оковываетъ душу. Мы *ловимъ оттѣнки* чувствъ и возносимся выше вещественнаго міра...»

И такъ далѣе, и все также хорошо. Или, вотъ еще:

«Въ огромномъ пространствѣ міроздавія, на этомъ *великолѣпномъ днѣ вселенной, усыпанномъ алмазными огнями, съ которыми любитъ играть* мысль поэта (вѣроятно, *преданнаго сына?*)».

№ 2-й,—слогъ площадной:

«Слышь ты, и впрямь такъ! не удастся поганымъ смердямъ потѣшиться монастырскимъ добромъ; отрянемъ ихъ такъ, что и своихъ не узнаютъ! Экъ они больно *разботвались* съ коврижнымъ царькомъ-то своимъ! Думаютъ, что

вотъ мы-де нагрянемъ на монаховъ-то, такъ трусу и спразднуютъ *приговоритко!* мы васъ встрѣтимъ, *собачьи дѣти!* ужь была не была,—смерть, такъ смерть,—одинъ разъ умирать-то! а кажись, какъ появится подъ стѣнами, такъ вотъ выскочу, да и давай топоромъ мозжить ихъ безмозглыя башки,—хорохорясь проговорилъ молодой дѣтина лѣтъ 26-ти.—Ну, что говорить съ *вахлакомъ*-то, дѣдушка Фома!..»

И далѣе, все въ такомъ же *вахлацкомъ* тонѣ и вкусѣ. Да здравствуютъ вахлацкіе романы и вахлацкая литература!

За отрывками изъ вахлацкаго романа XVII вѣка слѣдуютъ, ни съ того, ни съ сего, какъ говорится—ни къ селу, ни къ городу,—двѣ думы: «Благотворительность» и «Человѣкъ». Эти думы писаны особеннымъ слогомъ, именно—*галиматейнымъ*. Вотъ образчикъ этого новаго слога: «Хороша, «дивно обольстительна-хороша высота подпебесная! какъ роскошна она! какъ «великолѣпна она! то свѣтла, какъ брильянтъ; то вдругъ пасмурна, *как* «*чело генія*» (вѣроятно, *преданнаго сына?*), «когда онъ думаетъ о людяхъ; «то лазурна, какъ Эмаль, то въ пеленахъ тумана, какъ надежда на бу«дущность!» Въ этихъ думахъ, глубокомысленный сочинитель разсуждаетъ о неравенствѣ состояній и о торговлѣ, и притомъ такимъ глубокомысленнымъ образомъ, что изъ его разсужденій ровно ничего нельзя понять. Видно, догадавшись объ этомъ самъ, онъ «взываетъ», или «гласитъ»: «Да не скажетъ кто-нибудь, что это вздорная теорія, заносчивое умозрѣніе!». Спѣшимъ успокоить г. сочинителя увѣреніемъ, что заносчиваго умозрѣнія никто не найдетъ въ его книжкѣ, потому-что въ ней нѣтъ никакого умозрѣнія; а *вздорную теорію*, хочетъ онъ, или не хочетъ, всякій увидитъ въ наборѣ словъ, который ему угодно было такъ не кстати назвать *думою*...

Замѣчателенъ эпиграфъ къ этому *вахлацкому* роману XVII вѣка—самый *вахлацкій* эпиграфъ; такъ и видно, что онъ—произведеніе сочинителя отрывковъ изъ *вахлацкаго* романа:

Земля ходитъ по землѣ, облаченная въ пурпуръ и злато;
Земля идетъ въ землю прежде нежели хочетъ;
Земля строитъ на землѣ замки и башни;
Земля говоритъ землѣ: это все наше!..

Очень хорошо! Столько глубокомыслія и поэзіи! *Вахлаки* будутъ отъ нихъ въ восторгѣ!

***764. Демонъ Стихотворства.** *Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Соч.* **В. Не....го.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Крайя. 1843. Въ 8-ю д. л. 142 стр.* [164]).

Вотъ эта комедія рѣшительно не хочетъ быть *вахлацкою* и претендуетъ на порядочный тонъ. Дѣйствующія лица ея—все или «аристократы», или литераторы. Но природы своей никому не побѣдить:

Гони природу въ дверь—она влетитъ въ окно!

Не смотря на всѣ претензіи комедіи, она принадлежитъ рѣшительно къ *вахлацкой* литературѣ. Посмотрите, напримѣръ, что̀ за названія дѣйствующихъ лицъ—*Добряковъ*, *Зорской*, *князь Болтуновъ*, *Лирова* (молодая дѣвица, писательница), *Пристрастьевъ*, *Острословскій*, *Туманинъ* (журналисты), *Щеталовъ* (книгопродавецъ), *Продажный* (служащій по министерству и редакторъ періодическаго изданія)... Настоящія куклы, съ надписями на лбу о личныхъ качествахъ, которыя назначено имъ представлять собою! При комедіи есть и предисловіе—нѣчто въ родѣ «воззванія», изъ котораго ясно значится, что 1) сочинитель весь вѣкъ свой прожилъ за 900 верстъ отъ Петербурга и за 700 верстъ отъ Москвы (оно и очень-замѣтно какъ изъ тона предисловія, такъ и изъ самой поэзіи); что 2) сочинитель не имѣлъ до-сихъ-поръ случая видѣть въ лицо *ни одного* изъ теперешнихъ гг. журналистовъ и литераторовъ, кромѣ *одного* только, котораго талантъ онъ очень уважаетъ; что 3) въ рукописи его комедіи, тотчасъ по отсылкѣ ея въ Петербургъ, читавшія ее лица увидѣли въ ней пасквиль; но что, 4) въ ней нѣтъ рѣшительно никакого сходства ни съ однимъ журналистомъ, или литераторомъ. *(Пред. стр. VII).*

Публика, вѣроятно, будетъ очень благодарна сочинителю «Демона Стихотворства», что онъ такъ предупредительно поспѣшилъ ей отрекомендоваться и сообщить ей такія интересныя подробности о собственной своей особѣ. Теперь познакомимся съ комедіею. Это нетрудно и недолго: таково свойство всѣхъ «вахлацкихъ» произведеній!

Зорскій, отставной корнетъ, бѣдякъ и поэтъ, влюбленъ въ племянницу Добрякова, Ольгу Львовну, которая, въ знакъ любви своей къ нему, находитъ очень-острыми его плоскости и очень-поэтическими его плохіе стихи. Симпатія его къ Зорскому простирается до того, что она-сама безпрестанно говоритъ плоскости и предурными стихами. Зорскій ужасно-глупъ, что можно видѣть изъ того, что онъ говоритъ грубости князю Болтунову и вызываетъ его на дуэль за то только, что тотъ считаетъ поэзію вздоромъ, а людей, занимающихся ею—пустыми людьми. Болтуновъ это сказалъ Ольгѣ Львовнѣ, какъ свое мнѣніе, безъ всякаго намѣренія оскорбить Зорскаго, и тотчасъ же извинился передъ нимъ. Но Зорскій—поэтъ, слѣдовательно, по мнѣнію уѣздныхъ сочинителей, человѣкъ пламенный, грозный и храбрый. Съ Ольгою Львовною Зорскій обращается en laquais endimanché, а она съ нимъ en servante endimanchée. Вотъ образчикъ ихъ влюбленной восторженности... Надобно сказать, что Зорскій приготовилъ на сцену комедію своего сочиненія, которая потомъ и разыгрывается въ комедіи г. Н....го. Зорскій ревнуетъ Ольгу Львовну къ князю Болтунову и называетъ его «мишурнымъ рыцаремъ».

Ольга Павловна.

И почему не такъ? Хоть рыцарь онъ мишурный,
За то внимателенъ, любезенъ, говорливъ,
Не занятъ славою литературной,
Онъ не разсѣянъ, не ревнивъ.

Привыкъ онъ жить въ кругу большаго свѣта.
Съ женою у него не будетъ вѣрно ссоръ;
Далекъ отъ пылкости поэта,
Въ сужденіяхъ о ней не будетъ слишкомъ скоръ;
И всякій вальсъ, и всякое движенье
Онъ ей не вмѣнитъ въ преступленье;
Желанье нравиться не будетъ ей въ укоръ,
И, не заботясь, что въ журналѣ
Его хотятъ критиковать,
Живой, веселый, онъ на балѣ
Любезностью своей всѣхъ будетъ восхищать.
Въ театръ онъ явится для новой пьесы,
Съ безпечностью окончивъ вистъ;
Его не возмутятъ съ паденіемъ завѣсы,
Рукоплесканья или свистъ.
Живя въ согласіи и мирѣ
Съ пороками и слабостью людской.
Ни въ эпиграмѣ, ни въ сатирѣ,
Не тронетъ ихъ онъ дерзкою рукой.
Служа свой вѣкъ подъ крылышкомъ вельможи,
Безъ важныхъ дѣлъ дойдетъ до важныхъ степеней.
Онъ—полный типъ всей нашей молодежи;
А вы-то что, съ поэзіей своей?..

Зорской.

Признаться долженъ я, какъ вы ко мнѣ ни строги,
Очаровательны вы въ этомъ монологѣ!
Хоть вы имъ колете, какъ острою иглой,
Но въ немъ такъ много правды, соли,
Что поцѣлуемъ, по неволѣ,
Мнѣ хочется сомкнуть вашъ ротикъ злой.
Скажите, если вамъ угодно,
Сегодня жъ, честью вамъ кляпусь,
Я брошу все, Парнассъ и девять музъ,
И свѣтскимъ денди вдругъ я заживу свободно.
Увидите, не уступлю ни въ чемъ
Прославленной и модной куклѣ;
Заговорю парижскимъ языкомъ,
А la-мужикъ спущу на плечи букли,
Галиматья польется вдругъ изъ устъ,
Въ глаза пущу такою пылью!..
И буду также глупъ, и буду такъ же пустъ,
Какъ Мг., какъ Мг., не назову фамилью...
Но только съ ногъ до головы
Я перейму ихъ тонъ, походку и ухватки,
Надѣну желтыя перчатки,
И львомъ меня сочтутъ, не только вы,
Но наши всѣ извѣстнѣйшіе львы
И несравненныя аристократки.

Тогда во мнѣ достоинствъ будетъ тьма,
Я буду кланяться и танцовать такъ ловко
Что отъ меня сойдетъ съ ума
Быть можетъ не одна прелестная головка..

Ольга Львовна.

Довольно, Зорской, вы пугаете меня
Излишествомъ любезности—огня—
Вы, кажется, уже вертитесь на паркетѣ!
(Задумывается).
Поэтъ и левъ! нужна жь порода ихъ на свѣтѣ!..
Но, если выбирать изъ двухъ пришлось бы волъ
И выборъ отданъ былъ на мой лишь произволъ,
(смотря на Зорскаго съ лукавою улыбкой),
То я рѣшилась бы остаться при поэтѣ.

Зорской

Давно бы такъ!

Тонъ разговора и стихъ, какъ видите, самый «уѣздно-аристократическій», или «вахлацкій»! Зорскій проситъ у Добрякова руки его племянницы; Добряковъ говоритъ, что онъ боится имѣть зятемъ человѣка, освистаннаго въ театрѣ и потому въ такомъ только случаѣ рѣшится отдать за него свою племянницу, если его комедія будетъ хорошо принята публикою. Завязка—какъ видите—совершенно въ русскихъ нравахъ и обнаруживаетъ въ сочинителѣ большое знаніе русскаго общества и рѣдкую наблюдательность! Пьесу Зорскаго даютъ на Александрынскомъ-Театрѣ, и журналисты стараются ее уронить, посредствомъ клакеровъ, а князь Болтуновъ хлопочетъ, тѣмъ же способомъ, поддержать ее. Автора вызываютъ, и онъ женится. Вотъ и вся комедія! Но пафосъ ея составляетъ не это, а портреты журналистовъ. Одного изъ нихъ, *Туманина*, вотъ-какъ заставляетъ говорить остроумный сочинитель:

Нашъ юный критицизмъ и наши умозрѣнья
Повергли въ прахъ его творенья!..
А есть комедія у насъ: ея творецъ—
Мой закадычный другъ.—Вотъ, это образецъ!
Жизнь улетучилась въ созданьи этомъ дивномъ
Въ какое то слитное единство,
И въ духѣ творчества субъектно—объективномъ
Искусства видно въ немъ—цвѣтенье, торжество!
Пластичность образовъ и формы просвѣтлѣнье—
Въ ней осязательны. А какъ ужь соблюденъ
Основный общаго законъ.
Законъ замкнутости и обособленья!!!!—
Но чтобы уяснить мои слова
Хочу я разрѣшить сперва,
Что есть комедія?..

Г. Не....въ, кажется въ полной увѣренности, что, заставляя Туманина говорить эту галиматью, онъ очень зло подшутилъ надъ людьми, употребля-

ющими слова: *субъектъ, объектъ, обособленіе, замкнутость* и т. д. Слова эти дѣйствительно должны казаться очень смѣшными въ глазахъ г. Не...ва и подобныхъ ему сочинителей: живя въ 900 верстахъ отъ Петербурга и въ 700 верстахъ отъ Москвы, онъ, разумѣется, не понимаетъ ихъ значенія, а довольное собою незнаніе всегда находитъ смѣшнымъ то, чего не знаетъ, и, не понявъ дѣла, всегда предается «вахлацкому» юмору. Конечно, можно смѣяться, но не надъ этими словами, а надъ ихъ неумѣстнымъ, или неправильнымъ употребленіемъ: но и тутъ можетъ смѣяться только тотъ, кто самъ понимаетъ ихъ. Не въ примѣръ будь сказано, слуги всегда смѣются надъ образомъ мыслей и выраженія господъ своихъ; но не слугамъ, а все господамъ же удается умно и дѣльно смѣяться надъ этимъ! Въ своемъ предисловіи, г. Не...въ говоритъ, что въ изображенныхъ имъ журналистахъ онъ «желалъ изобразить три главныя направленія, которымъ (будто-бы) слѣдуетъ «наша литература: *Острословскій* изображаетъ собою духъ французской «словесности, *остроумной, легкой, антипоэтической (?!..); Тума-нинъ* долженъ быть выраженіемъ нѣмецкой философіи, которая всегда «почти изъясняется языкомъ туманнымъ, неопредѣленнымъ, надутымъ; «*Пристрастьеву* назначено быть представителемъ англійской литературы, «которая составляетъ нѣчто среднее между двумя первыми». Изъ этого видно, что г. Не....въ глубоко изучилъ французскую, нѣмецкую и англійскую литературы, особенно нѣмецкую философію. Посмотрите, какъ коротко и ясно отдѣлалъ онъ ихъ! Французская литература—антипоэтическая, нѣмецкая философія — надута и туманна, а литература англійская есть нѣчто среднее между французскою литературою и нѣмецкою философіею! Онъ до того убѣжденъ въ своемъ познаніи этихъ литературъ и достоинствѣ своей комедіи, что дѣлаетъ смѣлое предположеніе: «будь эта комедія переведена на иностранные языки, вѣрно нашлись бы въ Германіи и во Франціи добрые люди, которые сейчасъ узнали бы въ Пристрастьевѣ, Острословскомъ и Туманинѣ своихъ знакомыхъ литераторовъ». Совѣтуемъ г. Не....ву заняться переводомъ этой комедіи на нѣмецкій и французскій, да ужъ кстати и на средній между этими языками, языкъ англійскій: за успѣхъ ручаемся!

Не-уже-ли же, спросятъ насъ, въ этой комедіи нѣтъ ничего хорошаго, и она никуда не годится? Мы выписали образчики ея комическаго слога, взявъ ихъ на выдержку, безъ выбора. Мы не выписывали изъ нея такихъ стиховъ какъ эти, которые сочинитель вложилъ въ уста *свѣтскаго человѣка* и *льва* князя Болтупова:

Здѣсь шпикаютъ какія-то *ракалли*...
Да нѣтъ! не *выиграть* имъ *баталіи!*

Кому выписанные нами отрывки понравятся и кто найдетъ въ нихъ талантъ, съ тѣмъ не будемъ спорить. Что касается до насъ, скажемъ, что въ русской литературѣ очень-часто появляются произведенія, которыя да-

леко-хуже еще и «Демона Стихотворства»: стало быть, эта комедія не можетъ быть образцомъ возможной бездарности и нелѣпости. Ея характеръ—посредственность,—и тѣмъ хуже для нея. Намъ понравились въ ней только два стиха:

О, этотъ человѣкъ для остраго словца,
Не пощадитъ ни матерь, ни отца!

Но и эти два стиха не сочинены г. Не....мъ, а вырваны имъ изъ третьей сатиры Милонова (*см.* «Сатиры, Посланія и другія мелкія стихотворенія Михайла Милонова» 1819 стр. 46).

Бѣги его, страшись: для остраго словца
Въ сатирѣ уязвитъ онъ матерь и отца.

Ни одинъ родъ поэзіи не труденъ такъ для нашихъ—не только сочинителей, но и литераторовъ, какъ комедія. Это понятно: хорошую трагедію такъ же мудрено написать, какъ и хорошую комедію; но легче написать посредственную трагедію, чѣмъ сколько-нибудь сносную комедію. Первая, т. е. посредственная трагедія, требуетъ лишь нѣкотораго жара и хорошаго стиха, а комедія, кромѣ того, еще и наблюдательности, знанія общества, и, главное, юмора, который есть самъ-по-себѣ талантъ. Наши комики всего менѣе знаютъ нравы даже того круга общества, среди котораго сами живутъ Отъ-того, они всегда ищутъ смѣшнаго въ словахъ, а не въ понятіяхъ, въ покроѣ платья, а не въ складѣ ума, въ бородѣ и прическѣ à la russe, а не въ нравахъ и характерахъ; словомъ, они ищутъ комическаго снаружи, а не изнутри. И потому, самыми смѣшными лицами въ своихъ комедіяхъ являются—они же сами, ихъ сочинители. Сколько у насъ комиковъ и драматурговъ—числа вѣдь нѣтъ! а, за исключеніемъ Фонвизина, Грибоѣдова и Гоголя, комедія наша упорно стоитъ на одномъ мѣстѣ, не двигаясь впередъ. Къ ней теперь можно примѣнить слова одного умнаго литератора, сказанныя имъ за тринадцать лѣтъ предъ симъ (*): «Вообще нашъ театръ «представляетъ странное противорѣчіе съ самимъ-собою: почти весь ре«пертуаръ нашихъ комедій состоитъ изъ подражаній Французамъ, и, не«смотря на то, именно тѣ качества, которыя отличаютъ комедію французскую отъ всѣхъ другихъ—вкусъ, приличіе, остроуміе, чистота языка, и «все, что принадлежитъ къ необходимостямъ хорошаго общества,—все это «совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вмѣсто того, чтобъ быть «зеркаломъ нашей жизни, служитъ увеличительнымъ зеркаломъ для однѣхъ «лакейскихъ нашихъ, далѣе которыхъ не проникаетъ наша комическая муза. «Въ лакейской она *дома*, тамъ ея и гостиная, и кабинетъ, и зала, и уборная; тамъ проводитъ она весь день, когда не ѣздитъ на запяткахъ дѣлать «визиты музамъ сосѣднихъ государствъ, и чтобъ русскую талію изобразить «похоже, надобно представить ее въ ливреѣ и сапогахъ». [165])

(*) См. «Денница, альманахъ на 1830 годъ, издаваемый М. Максимовичемъ», статью «Обозрѣніе русской словесности 1829 года», стр. 64—65.

*765. **Молодикъ на 1843 годъ**, *украинскій литературный сборникъ, издаваемый* **И. Бецкимъ**. *Часть вторая, Харьковъ. Въ университетской тип. 1843. Въ 8-ю д. л. 155 стр.* [186])

Во второй части «Молодика» весь такъ-называемый русскій отдѣлъ состоитъ изъ одноактной драмы, неизвѣстно почему названной «Пятымъ Актомъ». Эта драма такова, что могла бы остаться въ портфелѣ сочинителя безъ большой потери для самой-себя и безъ всякой для русскихъ читателей. Вотъ вкратцѣ ея курьёзное содержаніе. Владиміръ С**, найденный въ молодости на мостовой, то-и-дѣло играетъ въ карты, а другъ его, графъ Генрихъ волочится за Элизой, женою Владиміра. Въ одинъ вечеръ, Владиміръ все проигралъ и подслушалъ разговоръ графа съ женою; изъ этого разговора онъ заключилъ, что все, какъ говорится, кончено. Ему болѣе ничего не остается какъ лишить себя жизни. Онъ бѣжитъ *въ комнату королевы* (см. стр. 21; дѣйствіе происходитъ въ Лембергѣ), застаетъ тамъ дремлющаго докторскаго слугу и спрашиваетъ его, указывая на сердце: «Чувствовалъ ли ты когда-«нибудь здѣсь боль, такую боль, которая разрываетъ сердце и превосходитъ «всѣ пытки, всѣ муки, какими терзаютъ и увѣчатъ твое тѣло?» Слуга, тѣло котораго находилось въ добромъ здоровьѣ, отвѣчалъ, что баринъ несетъ чепуху; баринъ кинулся къ шкафу съ аптечными принадлежностями, сломалъ замокъ, досталъ стклянку съ ядомъ и убѣжалъ. Пришелъ докторъ, обругалъ слугу и кинулся за похитителемъ стклянки. Все это, какъ вы помните, происходитъ въ комнатѣ *лембергской королевы*,—да если разсудить здраво, то нигдѣ болѣе и происходить не могло. Дальнѣйшія событія происходили въ домѣ Владиміра. Владиміръ приходитъ домой, и какъ человѣкъ, для котораго все равно, что бы ни говорить, только бы говорить,—спрашиваетъ жену: «Кто мнѣ возвратитъ довѣріе къ твоей добродѣтели, когда для *внутренняго обожателя*, который поклонялся твоей красотѣ, ты растерзала сердце мужа, который чтилъ твою душу?» Потомъ, онъ приказываетъ одному изъ своихъ дворовыхъ людей наполнить водою два кубка и всыпать въ одинъ изъ нихъ порошокъ, похищенный у доктора. Приходитъ, какъ-нельзя-болѣе кстати, *внутренній обожатель*. Владиміръ кричитъ ему: «пей! судьба рѣшитъ кому умереть!» Графъ пьетъ, за нимъ пьетъ Владиміръ. Кубокъ съ ядомъ выпалъ на его долю. Онъ умираетъ, отравивъ остатками яда жену. Графъ кричитъ: «я *вашъ* убійца!» Сочинитель ставитъ нѣсколько точекъ, пишетъ въ особой строкѣ: «*Харьковъ*» и дѣлу конецъ. О достоинствѣ слога можно судить по тремъ фразамъ, приведеннымъ выше.

За тѣмъ слѣдуетъ такъ-называемый «малороссійскій отдѣлъ», который, какъ непринадлежащій къ русской литературѣ, мы преходимъ молчаніемъ.

*

766. Литературныя и журнальныя замѣтки [167]).

Мы какъ-то разъ обѣщали читателямъ познакомить ихъ съ однимъ изъ фѣльетонистовъ «Сѣверной Пчелы»,—и что же? наше обѣщаніе многими было растолковано въ дурную сторону. Говорили, что мы хотимъ написать типъ, составленный изъ чертъ частной жизни почтеннаго фѣльетониста... Что за смѣшные люди! Не-уже-ли не знаютъ они, что, во-первыхъ, личности не могутъ быть печатаемы, и, во-вторыхъ, что мы не любимъ ихъ и пишемъ всегда такъ, чтобъ читатель могъ сказать:

Тутъ не лицо, а только литераторъ!

Давно уже въ «Сѣверной Пчелѣ» печатаются фѣльетоны, подписываемые завѣтными и таинственными буквами *Р. З.* Эти буквы многихъ приводили въ крайнее изумленіе и никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ онѣ означали г. Рафаила Зотова, о которомъ порядочная читающая публика узнала изъ перваго тома «Ста Русскихъ Литераторовъ».

Для насъ нисколько не было удивительно ни то, что г. Рафаилъ Зотовъ захотѣлъ быть фѣльетонистомъ «Сѣверной Пчелы», ни то, что «Пчела» рѣшилась г. Рафаила Зотова взять къ себѣ въ фѣльетонисты. Однакожъ мы думали, что это дѣло, для пользы и чести обѣихъ сторонъ, останется въ секретѣ. Оно и было въ секретѣ довольно-долго. Надъ фѣльетонами г. Рафаила Зотова читатели сперва смѣялись, потомъ зѣвали за ними, а наконецъ вовсе перестали ихъ читать,—какъ вдругъ, въ 155 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, *великій незнакомецъ*, подобно Вальтеру Скотту, снялъ съ себя маску и, къ удивленію публики, рѣшился назваться собственнымъ своимъ именемъ. «Вы уже читали мой фельетонъ о нѣмецкой пѣвицѣ Валькеръ» говоритъ онъ, давая тѣмъ знать, что онъ фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» и что его фѣльетоны даже находятъ себѣ читателей. «Достается мнѣ, какъ фѣльетонисту Сѣверной Пчелы»,—восклицаетъ онъ далѣе, давая тѣмъ знать, что у него есть даже враги, и что его фѣльетоны надѣлали ему враговъ... Не довольствуясь этими небылицами, онъ начинаетъ увѣрять, что «пишетъ по внутреннему убѣжденію и съ чистою благонамѣренностію».— «Я (говоритъ онъ) «ищу лучшаго въ области искусствъ, хочу содѣйствовать къ усовершенство-«ванію отечественныхъ дарованій, и *самымъ скромнымъ образомъ* пред-«ставляю къ этому (?) мои мнѣнія. Опытности моей—увы!—(именно *увы!)* въ «театральномъ дѣлѣ, вѣрно, у меня не отнимутъ и жесточайшіе враги мои. «Давъ на сцену болѣе *девяноста* піесъ (въ томъ числѣ болѣе двадцати «оперъ), я, кажется, могу знать и сцену и музыку». Каковъ тонъ! не правда ли, что и приличный и скромный?

Этого бы довольно для знакомства съ фѣльетонистомъ «Сѣверной Пчелы», но мы прибавимъ еще нѣсколько «нѣкоторыхъ чертъ». Въ 209 № той же газеты, г. Рафаилъ Зотовъ принялся разсуждать о новостяхъ французской литературы. Вотъ неоспоримыя доказательства: говоря о «Консюэло» Жоржа Занда, г. Р. З. Порпору вездѣ называетъ Порпозою; графъ *Альбертъ* Ру-

дольштадтъ названъ у него *Фридрихомъ;* Консюэло, у нашего фёльетониста является къ графу Рудольштадту съ рекомендательнымъ письмомъ отъ графа Джустиніани,—тогда какъ у Жоржа Занда она является къ нему съ письмомъ отъ Порпоры; наконецъ, у фёльетониста, Порпора не позволяетъ Консюэлѣ отвѣчать на письма Альберта,—тогда-какъ, у Жоржа Занда, Порпора, не имѣвшій никакого права что-либо запрещать Консюэлѣ, крадетъ у нея, изъ корыстныхъ разсчетовъ, ея письмо къ Альберту... Изъ этого видно, что г. Рафаилъ Зотовъ разсказалъ не содержаніе «Консюэлы», а пародію на содержаніе этого превосходнаго произведенія.—Говоря о романѣ Дюма «Жоржъ», фёльетонистъ пускается въ любезности, напоминающія собою любезности князя Шаликова: «Много (говоритъ онъ) есть неправдоподобнаго, но *милыя читательницы* вѣрно этого не замѣтятъ: сквозь слезы *этого* не видать» Какъ *это* остро и мило!

Мы все говорили о талантѣ, изобрѣтательности и взглядѣ на предметы г. Рафаила Зотова; скажемъ теперь нѣсколько словъ о его знаніи русскаго языка. Вотъ на выдержку фраза изъ фёльетона 219 № «Сѣверной Пчелы»: «*Увидевъ бенефисную афишку* г-жи Сосницкой, сколько пріятныхъ надеждъ *представилось* намъ вдругъ». Или вотъ изъ фёльетона 270 № той же газеты: «Здѣшніе знатоки чувствуютъ, что *не послушавъ* ее (я) (т. е. г-жи Віардо—Гарсіи) двѣ недѣли, *уже ощутительна перемѣна* и быстрые шаги къ «достиженію совершенства». Подобные обороты встарину назывались галлицизмами!—Въ томъ же фёльетонѣ 219 № есть выраженіе «на вѣчныя, *потомственныя времена*», въ которомъ нѣтъ смысла, и еще выраженіе: «философическая идея о золотѣ» и «философическая картина»,—выраженія, которыя фёльетонистъ примѣнилъ къ двумъ недавно павшимъ на сценѣ Александрынскаго-Театра пьесамъ г. Полеваго, и которыя не менѣе прочихъ доказываютъ замѣчательное безвкусіе и неумѣнье г. Рафаила Зотова писать по русски.

Забавнѣе всего, что г. Рафаилъ Зотовъ, въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ (№ 268) «Сѣверной Пчелы», не вытерпѣлъ и разразился такимъ гнѣвомъ на «Отечественныя Записки», что невозможно безъ улыбки состраданія читать его филиппики. Г. Р. Зотовъ кричитъ въ ужасѣ, что «критики Отеч. Записокъ съ *фанатическою яростію* возстаютъ на всякое произведеніе не изъ ихъ литературной касты», обѣщаетъ критикамъ «Отеч. Записокъ» «участь *лаятеля* Зоила», и съ сокрушеннымъ сердцемъ старается убѣдить насъ, что «литературный приговоръ дѣло великое», что «онъ долженъ быть «произносимъ съ *осторожностью,* потому что можетъ ободрить и убить дарованіе», что наконецъ «приговоръ Отечественныхъ Записокъ не можетъ «оскорбить писателя» и пр. и пр. Но да успокоится почтенный фёльетонистъ: никакая критика не убьетъ его «дарованія», по самой простой причинѣ.

Но довольно о г. Рафаилѣ Зотовѣ, фѣльетонистѣ «Сѣверной Пчелы» и авторѣ *девяноста* драматическихъ пьесъ и полусотни невѣдомыхъ міру романовъ. Поговоримъ о *третьемъ* фѣльетонистѣ той же газеты.

Еще въ концѣ прошлаго года, «Сѣверная Пчела» возвѣстила, что съ будущаго 1843 года въ ней участвуетъ какой-то знаменитый русскій литераторъ, впрочемъ рѣшающійся появляться въ ней не иначе, какъ инкогнито, подъ буквами *Z. Z.* Въ 197 № «Сѣверной Пчелы» напечатана статья этого втораго *великаго незнакомца*, г. *Z. Z.*, о новомъ изданіи сочиненій Державина. Между прочими нескладицами, выданными, однакоже, за *высшіе взгляды*, таинственный г. *Z. Z.* сильно нападаетъ на какого-то *журнальнаго смѣльчака*, который *будто бы* неуважительно отзывался о Державинѣ, и котораго отзывъ *будто бы* встрѣченъ былъ всѣми съ должнымъ негодованіемъ. Разумѣется, тутъ дѣлаются, кстати намеки на *заносчивую полуученость*, на *удивительную дерзость* и подобные пороки, въ которыхъ, бывало, старики упрекали г. Полеваго даже за дѣльныя и здравыя его сужденія о Сумароковѣ, Херасковѣ и другихъ старыхъ и новыхъ знаменитостяхъ. Помнимъ, что его называли также и *смѣльчакомъ*, и притомъ за такія мнѣнія, въ которыхъ теперь никто не видитъ ни малѣйшей смѣлости. Времена переходчивы, и жизнь страшно играетъ людьми: смѣлыхъ она лишаетъ смѣлости, *высшіе взгляды* превращаетъ въ плоскія общія мѣста людей, которые думали, что за ними не поспѣваетъ время, превращаетъ въ отсталыхъ и ворчуновъ, для которыхъ каждая новая мысль есть преступленіе,—и,.. мало ли, какъ еще смѣется жизнь надъ людьми!.. Но, во всякомъ случаѣ, смѣлость—не порокъ, а достоинство, ибо она выходитъ изъ любви къ истинѣ и есть свойство души благородной и пылкой; тогда-какъ робость—признакъ бѣдности духа и мелкости ума. Смѣлостью доходятъ люди до сознанія новыхъ истинъ; смѣлостью движется общество. Тѣ, которые чувствуютъ въ себѣ свѣжую силу дѣятельности и священный огонь истины—не-уже-ли должны смущаться криками и клеветою какихъ нибудь заживо умершихъ quasi-знаменитостей?.. О, нѣтъ! впередъ и впередъ! Ограниченность и зависть забудутся, а благая дѣятельность и любовь къ истинѣ всегда будутъ замѣчены и дадутъ плодъ свой во время свое...

Давъ мѣсто чужому мнѣнію [168]), возвратимся опять къ «Сѣверной Пчелѣ», которая, какъ извѣстно, состоя по особымъ порученіямъ при «Отеч. Запискахъ» такъ усердно хлопочетъ объ извѣстности ихъ и умышленно, но съ добрымъ намѣреніемъ, говоритъ о нихъ разныя нелѣпости. Въ «Отеч. Запискахъ», въ отдѣлѣ Критики печатались въ нынѣшнемъ году, по поводу «Сочиненій Пушкина» большія статьи по части исторіи русской литературы; эти статьи имѣютъ связь между собою, и часто одна статья есть развитіе мыслей, едва обозначенныхъ въ предыдущей, или, напротивъ, повтореніе въ краткихъ словахъ того, что было прежде въ подробности изложено. «Сѣверная Пчела»,

ревнуя къ пользамъ «Отечественныхъ Записокъ», догадалась, что имъ бы весьма хотѣлось обратить на эти историческія статьи вниманіе публики, и въ порывѣ своей ревности, принялась за дѣло весьма-ловко: она знаетъ, что въ предметѣ столь щекотливомъ, какъ исторія литературы, особенно современной, значеніе каждаго слова измѣняется, смотря по тому, гдѣ оно поставлено, что̀ ему предшествуетъ и что̀ за нимъ слѣдуетъ, а наконецъ по тому, какой смыслъ данъ этому слову предшествовавшимъ изложеніемъ. По причинѣ этой умышленной и весьма-благонамѣренной разсѣянности, «Сѣверная Пчела», выписавъ наудачу нѣсколько словъ о Карамзинѣ, Державинѣ, Жуковскомъ и другихъ,—такъ сводитъ ихъ вмѣстѣ, что нечитавшіе «Отечественныхъ Записокъ» могутъ подумать, будто онѣ питаютъ величайшую злобу противъ всѣхъ именъ, которымъ русская литература обязана своею славою. Вотъ что̀ значитъ усердіе, руководимое опытною журнальною тактикою! «Сѣверная Пчела» вырываетъ клочками фразы изъ длинныхъ статей и приписываетъ имъ такой смыслъ, какого онѣ не имѣли. Она знаетъ, что есть люди, которыхъ никакъ не убѣдишь; что напр., слова: «Г-нъ А. болѣе замѣчателенъ по мыслямъ» отнюдь не значатъ, что у г. А. нѣтъ чувства, или «г. Б. болѣе замѣчателенъ по блестящему стиху» отнюдь не значитъ, что у г. Б. отсутствіе мыслей. Что̀ дѣлать! есть на семъ свѣтѣ такіе господа Половинкины, которые читаютъ только половину книги, половину страницы, половину фразы, едва ли не половину слова,—и изъ этихъ половинокъ сшиваютъ себѣ цѣлое мнѣніе. Вотъ такихъ-то людей и имѣетъ въ виду добрая и услужливая газета: она знаетъ, что эти люди, прочитавъ вырванныя ею строки, разсердятся и бросятся читать «Отечественныя Записки»; тутъ-то они и пойманы: прочитавъ, они найдутъ совсѣмъ другое, примирятся съ журналомъ и сдѣлаются постоянными его читателями. Такъ и слѣдуетъ поступать, если хочешь услужить! Вотъ примѣръ недавній: въ 256 № «Сѣверная Пчела» производитъ фальшивую аттаку на статью «Отечественныхъ Записокъ» о Жуковскомъ. Она вырываетъ изъ статьи разныя фразы, которыя, безъ связи съ цѣлымъ, дѣйствительно могутъ имѣть призракъ того смысла, который какъ будто хочется найдти въ нихъ фѣльетонисту. Въ-слѣдствіе этихъ вырванныхъ тамъ и сямъ короткихъ фразъ изъ огромной статьи, «Отечественныя Записки» дѣйствительно могутъ сдѣлаться, въ глазахъ поверхностныхъ читателей, такимъ журналомъ, который не умѣетъ отдавать должной справедливости Карамзину, Жуковскому и другимъ знаменитымъ и заслуженнымъ дѣятелямъ русской литературы. Не видно ли въ этомъ горячаго усердія доброй газеты къ пользамъ «Отеч. Записокъ»? Такой способъ нападенія былъ бы уже слишкомъ неловокъ, еслибъ онъ былъ внушенъ враждебностію и желаніемъ вредить. Всякій основательный читатель, развернувъ «Отечественная Записки» и вникнувъ въ смыслъ цѣлой статьи, увидѣлъ бы тотчасъ, что «Сѣверная Пчела» съ дурнымъ умысломъ исказила содержаніе статьи и доноситъ... читателямъ не то, что̀ сказано «Отечественными Записками». Конечно, всякій основательный

читатель и теперь можетъ это сдѣлать, но теперь онъ увидитъ, что «Сѣверная Пчела» сдѣлала это съ добрымъ намѣреніемъ и похвалитъ ея умѣнье достигать доброй цѣли, т. е. какъ можно чаще застявлять своихъ читателей заглядывать въ «Отечественныя Записки». Дѣлая видъ, будто заступается за Жуковскаго противъ «Отечественныхъ Записокъ», «Сѣверная Пчела» спрашиваетъ: «Кто ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію?» А о чемъ же и говорится, что же и доказывается въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ не то именно, что *Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую литературу?* Эта почтенная газета увѣрятъ еще, будто Лермонтова мы считаемъ равнымъ Карамзину писателемъ... Какое противорѣчіе! Мы превозносимъ Лермонтова, равняя его съ унижаемымъ нами Карамзинымъ!!!... Воля ваша, а это—верхъ усердія въ желаніи услужить намъ! Правда, излишество этого усердія довело почтеннаго фѣльетониста до нелѣпости и безсмыслицы; но благое намѣреніе чего не оправдываетъ! Правда, мы никогда не равняли Лермонтова съ Карамзинымъ, потому-что было бы нелѣпо сравнивать великаго *поэта* съ знаменитымъ *литераторомъ* и *историкомъ*, и Лермонтова если можно съ кѣмъ сравнивать, такъ развѣ съ Жуковскимъ, съ Пушкинымъ, а ужь отнюдь не съ Карамзинымъ: но вѣдь «Сѣверной Пчелѣ» до этого что̀ за дѣло? Ей нужно заставить, какими бы то ни было средствами, всѣхъ и каждаго читать «Отечественныя Записки», а до смысла и правды нѣтъ надобности... Она говоритъ, что мы называемъ Жуковскаго *изряднымъ* переводчикомъ: кто читалъ нашу статью, тотъ помнитъ, что мы вездѣ называемъ Жуковскаго то *превосходнымъ*, то *безпримѣрнымъ* переводчикомъ. Что̀ же причиною этого *изряднаго* искаженія нашихъ словъ, если не излишество усердія къ нашимъ пользамъ? «Сѣв. Пчела» ставитъ намъ (разумѣется, притворно) въ великую вину нашъ отзывъ о забытыхъ теперь балладахъ Жуковскаго «Людмилѣ» и «Свѣтланѣ»: но кто изъ людей, имѣющихъ хоть сколько-нибудь смысла и вкуса, не согласится безусловно съ нашимъ мнѣніемъ объ этихъ незрѣлыхъ, юношескихъ произведеніяхъ поэта, столь богатаго другими произведеніями великаго достоинства? Вѣрно, чувствуя, что эта нападка на насъ уже черезъ-чуръ усердна, «Сѣв. Пчела» придирается къ языку и восклицаетъ: «Зачѣмъ же вы, великіе мужи *нашего времени*, пишете, какъ писали подъ-«ячіе *прошлаго времени*? Стихи, которыми она, т. е. баллада писана! Такъ «не напишетъ ни одинъ посредственный литераторъ!»... Часъ-отъ-часу лучше! Вѣдь можно сказать—и всѣ *Русскіе* всегда говорили, говорятъ и будутъ говорить: такая-то поэма писана гекзаметрами, а такая-то шестистопными ямбическими стихами, а нельзя, видите, сказать: стихи, которыми писана баллада .. «Сѣв. Пчела» говоритъ, въ «Отеч. Запискахъ» *грамматики нѣтъ ни капли:* чувствуете ли, гиперболу? Чувствуете ли, что самъ фѣльетонистъ совсѣмъ этого не думаетъ и напередъ убѣжденъ, что никто ему не повѣритъ? «Сѣверная Пчела» какъ бы издѣвается надъ нашею фразою: «почувствуете себя скучающими и утомленными»: можетъ

быть, такъ нельзя сказать по русски, но по-русски это можно и очень-можно сказать.—«Сѣв. Пчела» дѣлаетъ видъ, будто ее страшитъ то, что «Отеч. Зап.» овладѣваютъ безпрекословно литературнымъ поприщемъ и утверждаютъ на немъ свое мнѣніе. Тонкій намекъ, тонкая похвала, которую тотчасъ можно замѣтить подъ покровомъ умышленной боязни! Разумѣется, «Сѣверная Пчела» очень хорошо понимаетъ, что достичь этой цѣли журналъ можетъ только своимъ внутреннимъ достоинствомъ, силою своего мнѣнія, а не фѣльетонными продѣлками, т. е. криками о своихъ мнимыхъ заслугахъ, бранью на все талантливое и даровитое и т. п.—Добрая газета говоритъ, что «Отеч. Записки» льстятъ юношеству и дѣтей называютъ умнѣе отцовъ. Онять тонкая штука! Кто же повѣритъ, будто «Сѣв. Пчела» такъ ужъ недальновидна, будто не понимаетъ, что процессъ совершенствованія общества производится именно черезъ умственный и нравственный успѣхъ юныхъ поколѣній? Было время, когда жгли колдуновъ и пытали не однихъ обвиненныхъ, но и подозрѣваемыхъ въ преступленіи; теперь этого нѣтъ вовсе: не выше ли же, не умнѣе ли люди нашего времени людей тѣхъ варварскихъ и невѣжественныхъ временъ? А какимъ образомъ люди нашего времени стали такъ выше и такъ умнѣе людей того времени?—разумѣется, не вдругъ, а черезъ постепенное улучшеніе каждаго новаго поколѣнія передъ старымъ. Разумѣется, наши понятія свѣжѣе, шире и глубже понятій отцовъ нашихъ—такъ же, какъ понятія дѣтей нашихъ будутъ свѣжѣе, шире и глубже нашихъ понятій. Иначе, дѣти наши были бы жалкимъ поколѣніемъ, недостойнымъ дышать воздухомъ и видѣть свѣтъ Божій.—Дальше, «Сѣверная Пчела» совѣтуетъ своимъ читателямъ внимательнѣе прочесть, въ нашей статьѣ о Жуковскомъ, мѣсто отъ словъ: «гораздо выше романтизмъ греческій» до словъ: «въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя Ангэросъ», и убѣждаетъ при этомъ отцовъ и матерей не давать въ руки своимъ дѣтямъ «Отеч. Записокъ». Ловкій оборотъ, раздражающій любопытство тѣхъ, которые не читали нашей статьи о Жуковскомъ! Извѣстно, что все таинственное, воспрещаемое, только привлекаетъ къ себѣ, а не отталкиваетъ. И потому, избави васъ Богъ подозрѣвать въ этихъ словахъ «Сѣв. Пчелы» злой умыселъ или черную клевету. Ничего этого нѣтъ. Все это не болѣе, какъ журнальная штука. Во-первыхъ, «Сѣв. Пчела» знаетъ, что указываемое ею мѣсто заключаетъ въ себѣ такіе факты о древнемъ мірѣ, которые изучаются юношествомъ какъ предметъ искусства древностей и исторіи, и которые могутъ казаться неприличными только чопорному жеманству мѣщанъ-во-дворянствѣ. Во-вторыхъ, какіе же родители позволятъ малолѣтнымъ дѣтямъ читать журналы, издаваемые для взрослыхъ людей? Вѣроятно, если отецъ находитъ въ журналѣ что-нибудь интересное и полезное для дѣтей, самъ читаетъ имъ это, выпуская при чтеніи все, чего не слѣдуетъ дѣтямъ знать. Такъ, напр., что интереснаго и поучительнаго для дѣтей узнать изъ 170 № «Сѣверной Пчелы», что г. Гречъ, разсерженный голландскою медленностію, «не могъ удержаться отъ *древняго восклицанія*, кото-

рымъ на Руси выражаются всякія движенія душевныя», и которое заставило его просить у двухъ Нѣмцевъ извиненія въ томъ, что онъ Русскій («Сѣверная Пчела» № 170)?... Что полезнаго увидятъ они въ разсказахъ того же г. Греча (присылаемыхъ изъ Парижа) о подвигахъ парижскихъ воровъ и мошенниковъ, или о похожденіяхъ французскихъ актриссъ, напр. о болѣзни *дѣвицы* Рашель, которая избавится отъ этой болѣзни черезъ *шесть недѣль*? Что наставительнаго прочтутъ они въ «юмористическихъ» статейкахъ г. Булгарина, гдѣ говорится о взяточникахъ-подъячихъ, и проч., и проч. Дѣтямъ тутъ нѣчего читать; старики же посмѣиваются, поморщиваются, а все-таки читаютъ... «Сѣверная Пчела» знаетъ это очень-хорошо, и потому то такъ смѣло нападаетъ на «Отечественныя Записки».—Чтобъ не пропустить времени подписки на журналы, она теперь удвоиваетъ свое усердіе и нарочно громоздитъ нелѣпость на налѣпости, чтобъ только выказать намъ свою службу, за что мы и благодаримъ ее всепокорно. Она ужь прямо говоритъ, что всѣ наши сужденія о литературѣ (№ 256) *сущая нелѣпица и одинъ разсчетъ*. Такъ и надо! она, вѣдь, знаетъ, что никто не повторитъ этого о журналѣ, который давно уже пользуется извѣстностью, какъ лучшій русскій журналъ, и который пріобрѣлъ уже огромный успѣхъ и довѣріе въ публикѣ [169]). Этого мало: она теперь, кажется, въ сотый разъ увѣряетъ, будто «От. Записки» издаются для какого-то бѣднаго семейства, тогда какъ давно уже доказано что «Отечественныя Записки» никогда не издавались, не издаются и не будутъ издаваться въ пользу какого бы то ни было бѣднаго семейства, и что онѣ составляютъ собственность издателя ихъ, ни съ кѣмъ имъ не раздѣляемую. Такое усердіе къ нашимъ пользамъ намъ даже кажется немножко-излишнимъ. Зачѣмъ прибѣгать къ подобнымъ ухищреніямъ для привлеченія намъ подписчиковъ, которыхъ и безъ того много? «Сѣверная Пчела» можетъ доставлять, какъ и доставляла до-сихъ-поръ, намъ читателей простыми средствами, т. е. браня насъ ожедневно.—Вотъ что касается до извѣщенія ея (№ 256), будто бы «*Отеч. Записки» обязаны своимъ существованіемъ (?!) великодушному самоотверженію бумажнаго фабриканта, бумагопродавца и типографщика г. Жернакова (!!!???)*,—это другое дѣло: она во-первыхъ, хотѣла реторическимъ языкомъ сказать простую истину—что «Отеч. Записки» *печатаются* въ типографіи г. Жернакова, которая дѣйствительно работаетъ-очень усердно, хотя и несамоотверженно, потому-что весьма исправно получаетъ за это довольно-значительную плату; во-вторыхъ, ей хотѣлось намекнуть, что «Отечестныя Записки» съ будущаго года не будутъ уже печататься въ типографіи г. Жернакова, а перенесутся въ другую типографію; но она остерегалась это сдѣлать, дожидаясь нашего о томъ извѣщенія; мы же съ своей стороны, не считали за нужное извѣщать о такой бездѣлицѣ. Но теперь, чтобъ выручить изъ бѣды «Сѣверную Пчелу», желавшую подать намъ случай опровергнуть объявленія ея, будто журналъ нашъ не могъ и не можетъ существовать безъ типографіи г. Жернакова,—вы-

нуждены сказать, что, дѣйствительно, съ будущаго года «Отечественныя Записки» будутъ печататься въ типографіи г. Глазунова и К°, гдѣ уже нарочно для нихъ куплена большая скоропечатная машина, могущая отпечатывать до 1000 листовъ въ часъ, и приготовленъ новый шрифтъ изъ знаменитой словолитни г. Ревильйона. Первая книжка «Отеч. Записокъ» 1844 года будетъ уже набрана этимъ шрифтомъ и отпечатана на этой машинѣ. Скорость печатанія доставитъ намъ возможномъ ранѣе разсылать книжки для иногородныхъ читателей, нежели какъ было дѣлаемо это до-сихъ-поръ. Довольно ли?

Но напрасно, намъ кажется, «Сѣверная Пчела» жалуется, будто мы обижаемъ ее за ея похвалы г. Ольхину. Опять не то, и вѣроятно опять изъ усердія къ намъ! Мы смѣемся только надъ гимнами и дивирамбами ея г. Ольхину, о которомъ она говоритъ, что—не то воздвигся, не то возсталъ новый дѣятель, котораго природа одарила дивными качествами ума и сердца, потому-что онъ издаетъ сочиненія г. Ѳ. Булгарина, ничего ему за нихъ незаплативши (№ 256 «Сѣв. Пчелы»). Дѣйствительно, со стороны г. Ольхина очень-великодушно употребить значительную сумму на изданіе стараго литературнаго хлама, котораго, конечно, у него никто покупать не будетъ; но что же въ этомъ пользы для русской литературы? По нашему мнѣнію, это даже и совсѣмъ не литературное дѣло. Въ томъ же нумерѣ «Сѣверной Пчелы» говорится, «что иностранные журналы берутъ деньги съ актеровъ, авторовъ и книгопродавцевъ за похвалы» и къ этому прибавляетъ *элегическимъ тономъ*: «Быть можетъ; но у насъ нѣ(е)кому дать и нѣ(е)кому взять! Какой актеръ, какой авторъ, какой книгопродавецъ у насъ даетъ деньги!» Въ-самомъ-дѣлѣ, должно быть прискорбно,—и мы не можемъ не уважить этого унынія нашей доброй газеты, хотя, право, никакъ не въ силахъ раздѣлять его, потому-что ничего не понимаемъ по этой части... Но это эпизодъ, вставка: обратимся къ главному.

«Сѣверная Пчела» служитъ намъ не только тогда, когда бранитъ «Отеч. Записки», вызывая этимъ насъ на побѣдоносное опроверженіе, но и тогда, когда восхваляетъ такіе журналы, похвалу которымъ всякій прійметъ не иначе, какъ за иронію. Прежде всего она преусердно хвалитъ самое-себя: къ этому уже всѣ привыкли, и всякій знаетъ этому цѣну. Потомъ она увѣряетъ публику, что «Сынъ Отечества», подъ редакціею г. Масальскаго, сдѣсдѣлался «прекраснымъ, прелюбопытнымъ, справедливымъ и безпристрастнымъ «въ своихъ сужденіяхъ журналомъ», и что будто бы сей г. Масальскій «трудами своими заслужилъ почетное имя въ литературѣ, а благонамѣренностію «своихъ критикъ пріобрѣлъ уваженіе даже своихъ противниковъ», и что, къ совершенству издаваемаго имъ «Сына Отечества» не достаетъ только аккуратности въ выходѣ книжекъ... Какъ непримѣтно и больно уколотъ этимъ несчастный «Сынъ Отечества *)»!

*) А „Сына Отечества“ до-сихъ-поръ вышло только пять книжекъ, т. е. послѣдняя книжка его была за *май*, тогда-какъ у насъ теперь декабрьскіе морозы!

Вотъ также черта услужливости «Сѣверной Пчелы» въ отношеніи къ намъ. Ей (№ 232), не понравилось сужденіе наше объ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина, и она начинаетъ разсуждать, какое имѣетъ право судить объ исторіи Карамзина издатель «Отечеств. Записокъ»? и рѣшаетъ, что онъ не имѣетъ никакого права, ибо не написалъ нѣсколькихъ сочиненій, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества. Какъ, спросите вы: не-уже-ли для того, чтобъ имѣть право критиковать, напр., «Иліаду» критикъ сперва самъ долженъ написать поэму не хуже гомеровой? Не-уже-ли критика не есть самостоятельный талантъ, который выказывается не въ своемъ призваніи, въ своемъ дѣлѣ, т. е. въ критикѣ, а въ поэзіи, въ исторіи и т. д.?... Да послѣ этого, не только поэты и историки лишатъ критиковъ права судить о поэтическихъ и историческихъ сочиненіяхъ, но нельзя будетъ сказать и портному, зачѣмъ онъ вамъ испортилъ фракъ, не опасаясь услышать отъ него, въ оправданіе: «а вы развѣ умѣете сшить фракъ лучше моего, что беретесь критиковать мою работу?»—Еще образчикъ: «Сѣверная Пчела» выдумываетъ (№ 250), будто мы упрекаемъ г. Ѳ. Булгарина въ старости, словно въ порокѣ какомъ-нибудь, тогда-какъ мы говорили не о старости его, а о томъ, что онъ выдаетъ за новость понятія и идеи, которыя были новы, интересны и основательны назадъ тому лѣтъ тридцать съ небольшимъ, и о томъ еще, что г. Ѳ. Булгаринъ давно уже весь выписался... Что же дѣлаетъ «Сѣверная Пчела»? Она, примѣромъ *Вальтера Скотта*, *Вольтера*, *Гёте*, *Шарля Нодье*, *Ламартина*, *Кузена*, *Вильмена*, *Гизо*, *Баранта*, *Шатобріана*, *Карамзина* и *Жуковскаго* начала доказывать, что г. Ѳ. Булгаринъ и въ преклонныхъ лѣтахъ можетъ быть отличнымъ прозаикомъ, критикомъ, историкомъ и романистомъ!!! Скажите, пожалуйста, можно ли такъ шутить!...

Лестное вниманіе къ намъ со стороны «Сѣверной Пчелы» и вѣрная долговременная служба ея «Отечественнымъ Запискамъ» трогаетъ насъ до глубины души, и мы, въ концѣ года, обязанностію считаемъ свидѣтельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бываетъ нумера этой газеты, въ которомъ не говорилось бы, прямо или косвенно, объ «Отеч. Запискахъ», особенно въ субботнихъ фёльетонахъ, которые пишутся исключительно для однѣхъ «Отеч. Записокъ». «Сѣверная Пчела» учитъ наизустъ и знаетъ всѣ статьи наши, особенно критическія, библіографическія и «журнальныя замѣтки», въ то же время притворно увѣряя публику, будто ея издатели и сотрудники и въ руки не берутъ «Отеч. Записокъ», почитая для себя унизительнымъ читать ихъ, и еще болѣе—писать о нихъ. Намъ не́ для чего притворяться, и потому мы можемъ прямо и открыто сказать, что читаемъ въ «Сѣверной Пчелѣ» аккуратно всѣ статьи и статейки, въ которыхъ упоминается что либо объ «Отеч. Запискахъ». Благодарность—чувство невольное, а мы такъ одолжены „Сѣверной Пчелою“! Будемъ надѣяться, что въ слѣдующемъ году усердіе „Сѣверной Пчелы“ не ослабнетъ, и она не разъ подастъ намъ поводъ поговорить

о самихъ-себѣ публикѣ: она знаетъ, что безъ этого повода мы никогда не говоримъ о себѣ. Итакъ, добрая сотрудница наша, до новаго года!...

767. Русская литература въ 1843 году [169]).

Литература наша находится теперь въ состояніи кризиса: это не подвержено никакому сомнѣнію. По многимъ признакамъ замѣтно, что она, наконецъ, твердо рѣшилась или принять дѣльное направленіе и не даромъ называться «литературою», или, какъ говоритъ у Гоголя Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, *смертію окончить жизнь свою*. Послѣднее обстоятельство, прискорбное для всѣхъ, было бы очень-горестно и для насъ, еслибъ мы не утѣшали себя мудрою и благородною поговоркою: *все, или ничего!* Въ смиренномъ сознаніи дѣйствительной нищеты гораздо-больше честности, благородства, ума и мужественнаго великодушія, чѣмъ въ дѣтскомъ тщеславіи и ребяческихъ восторгахъ отъ мнимаго, воображаемаго богатства. Изъ всѣхъ дурныхъ привычекъ, обличающихъ недостатокъ прочнаго образованія и излишество добродушнаго невѣжества, самая дурная—называть вещи не настоящими ихъ именами. Но, слава Богу, наша литература теперь рѣшительно отстаетъ отъ этой дурной привычки, и если изъ кое-какихъ литературныхъ захолустій раздаются еще довольно-часто самохвальные возгласы, публика знаетъ уже, что это не голосъ истины и любви, а вопль или литературнаго торгашества, которое жаждетъ прибытковъ на-счетъ добродушныхъ читателей или самолюбивой и задорной бездарности, которая, въ своей лѣности, апатіи, въ своемъ бездѣйствіи и своихъ мелочныхъ произведеніяхъ, думаетъ видѣть неопровержимыя доказательства неисчерпаемаго богатства русской литературы. Да; публика уже знаетъ, что это торгашество и эта бездарность, по-большейчасти соединяющіяся вмѣстѣ, спекулируютъ на ея любовь къ родному, къ русскому—и свои пошлыя произведенія называютъ «народными», сколько въ надеждѣ привлечь этимъ вниманіе простодушной толпы, столько и въ надеждѣ зажать ротъ неумолимой критикѣ, которая, признавая патріотизмъ святымъ и высокимъ чувствомъ, по этому самому съ большимъ ожесточеніемъ преслѣдуетъ лже-патріотизмъ, соединенный съ бездарностью. Публика знаетъ, что ей уже нѣчего искать въ романахъ и повѣстяхъ изъ русской исторіи, или преданій старины, ибо она знаетъ, что русская исторія и русская старина сами-по-себѣ, а таланты нашихъ сочинителей и взглядъ ихъ на вещи—сами-по-себѣ, и что русскій бытъ, историческій и частный, состоитъ не въ однихъ только русскихъ именахъ дѣйствующихъ лицъ, но въ особенностяхъ русской жизни, развившейся подъ неотразимымъ вліяніемъ мѣстности и исторіи,—такъ же, какъ патріотизмъ состоитъ не въ пышныхъ возгласахъ и общихъ мѣстахъ, но въ горячемъ чувствѣ любви къ родинѣ, которое умѣетъ высказываться безъ восклицаній и обнаруживается не въ одномъ восторгѣ отъ хорошаго, но и въ болѣзненной враждебности къ дурному, неизбѣжно быва-

ющему во всякой землѣ, слѣдовательно, во всякомъ отечествѣ. Больше же всего и яснѣе всего публика сознаётъ, что ей нѣчего читать, не смотря на *возстаніе* и *воздвиженіе* разныхъ непризванныхъ оживителей и воскресителей русской литературы и не смотря на громкіе возгласы ихъ хвалителей. Это истина неоспоримая. Книгопродавцы то-и-дѣло выпускаютъ въ свѣтъ объявленія о новыхъ книгахъ, которыя они издали и которыя они намѣрены издать,—объявленія, печатаемыя на листахъ чудовищной величины, гигантскимъ и мелкимъ шрифтомъ, безъ политипажей и съ политипажами, и съ великолѣпными похвалами этимъ книгамъ, написанными книгопродавческимъ слогомъ; возвѣщаемыя книги дѣйствительно выходятъ въ свѣтъ и продаются по объявленнымъ цѣнамъ,—а читателямъ отъ этого не легче, потому что читать все-таки нѣчего! Библіографы и рецензенты въ отчаяніи: имъ совсѣмъ нѣтъ работы, нѣчего разбирать, нѣ надъ чѣмъ потрунить, да нѣчего и похвалить; въ бельлетрическихъ книгахъ картинки хороши, или сносны, а текстъ плосокъ до того, что нѣ за что зацѣпиться; потомъ, большая часть книгъ все учебники, изрѣдка хорошіе, но чаще невинные и въ добрѣ и въ злѣ. Отдѣленіе библіографіи въ журналахъ со-дня-на-день теряетъ свою занимательность въ глазахъ публики, которая всегда читала рецензію съ бо̀льшею жадностью, бо̀льшимъ вниманіемъ и бо̀льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ самую книгу, на которую написана рецензія. Журналы также въ отчаяніи; имъ остается разбирать только другъ друга: занятіе невинное и забавное, которое, впрочемъ, едва-ли можетъ занять публику больше префераиса и домашнихъ сплетней!

Куда жь дѣвались наши книги? гдѣ же наша литература?

«Да ихъ поглотили *толстые* журналы!» кричатъ со всѣхъ сторонъ. «Какихъ книгъ, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстаго журнала въ-состояніи поглотить въ себя литературный бюджетъ цѣлаго года?»

А! вотъ въ чемъ зло: толстые журналы виноваты!

Но сколько же у насъ издается толстыхъ журналовъ?—Два: «Отечественныя Записки» и «Библіотека для Чтенія».

Попробуемъ повѣрить *фактически* справедливость этого *умозрительнаго* обвиненія.

«Отечественныя Записки» состоятъ изъ *восьми* отдѣловъ, изъ которыхъ цѣлые *пять* совершенно невинны въ поглощеніи русскихъ книгъ: мы говоримъ объ отдѣлахъ *Современной Хроники Россіи*, *Критики*, *Библіографической Хроники*, *Иностранной Литературы* и *Смѣси*, въ которыя ни коимъ образомъ не могутъ войдти статьи въ книгу величиною, или статьи, которыя моглибъ быть изданы отдѣльно и не были рождены срочною и дневною потребностью журнала. Въ отдѣлы: *Наукъ и Художествъ* и *Домоводства*, *Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще* иногда входятъ статьи до того огромныя, что могли бы составить порядочной величины книгу; таковы были, въ отдѣлѣ *Наукъ и Художествъ* «Отече-

ственныхъ Записокъ» 1841 года статьи «Альбигойцы и крестовые противъ нихъ походы», «Грецiя въ нынѣшнемъ своемъ состоянiи» (1841), «Гёте» (1842), «Средняя-Азiя, по новѣйшимъ изслѣдованiямъ Гумбольдта» (1843), и др., и въ отдѣлѣ *Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще* «Отеч. Записокъ» 1842 года, огромная статья г. Сабурова, «Записки Пензенскаго Земледѣльца о теорiи и практикѣ сельскаго хозяйства». Каждая изъ этихъ статей есть большая книга; но, во-первыхъ, такихъ большихъ статей немного бываетъ въ журналахъ; а во-вторыхъ, онѣ своимъ появленiемъ въ печати обязаны только журналу. Упомянутыя статьи въ отдѣлѣ «Наукъ»—переводныя или сокращенныя изъ нѣсколькихъ книгъ, изданныхъ на иностранныхъ языкахъ: «Отечественныя Записки» никому не помѣшали бы перевести или составить ихъ и издать въ свѣтъ, тѣмъ болѣе что нѣкоторыя изъ этихъ сочиненiй изданы были въ подлинникѣ нѣсколько лѣтъ назадъ,—и однакожь, никто и не подумалъ приняться за нихъ. А почему?—да потому что въ журналѣ ихъ прочли всѣ читающiе журналъ, а явись они отдѣльною книгою, то переводчикъ или составитель остался бы невознагражденнымъ, издатель въ убыткѣ, и прекрасное сочиненiе было бы прочитано много-много нѣсколькими десятками человѣкъ; для большинства же публики они остались бы вовсе-неизвѣстными. И мало ли на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ хорошихъ историческихъ сочиненiй, которыя соединяютъ въ себѣ ученость содержанiя съ популярностью изложенiя? Кто же мѣшаетъ ихъ кому-нибудь переводить и издавать? Не-уже-ли толстые журналы? Вѣдь они, кажется, не пользуются правомъ монополiи касательно переводовъ иностранныхъ сочиненiй? Притомъ же, всѣ наши журналы, безъ исключенiя, грѣхъ обвинить въ скорости и поспѣшности, съ которою они представляли бы въ переводахъ своимъ читателямъ новыя учено-популярныя иностранныя сочиненiя, и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и издавать ихъ отдѣльно. Что же касается до статьи г. Сабурова, то и ей ничто не мѣшало явиться отдѣльною книгою, кромѣ развѣ естественнаго для книги желанiя—быть прочитанною не ограниченнымъ числомъ присяжныхъ любителей книгъ такого содержанiя, а цѣлою публикою... Теперь остается одинъ отдѣлъ, на который въ особенности должно падать обвиненiе въ поглощенiи книгъ и литературы: это отдѣлъ *Словесности*, гдѣ помѣщаются стихотворенiя, повѣсти и другiя бельлетрическiя статьи. Но, во-первыхъ, стихотвореній въ нынѣшнихъ журналахъ, и толстыхъ и тонкихъ, печатается немного, потому-что посредственныхъ никто не хочетъ читать, хорошiя же рѣдки, а превосходныхъ, послѣ Лермонтова, уже никто не пишетъ: во-вторыхъ, въ отдѣлѣ *Словесности* помѣщаются не одни русскiе повѣсти и романы, но и переводные, и самые большiе всегда бываютъ переводные; въ третьихъ, ни тѣмъ, ни другимъ никто не мѣшалъ бы являться отдѣльными книгами, еслибъ онѣ сами этого захотѣли, ибо, повторяемъ, толстые журналы,

не пользуются правомъ монополіи для печатанія оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повѣстей.

Все сказанное объ «Отеч. Запискахъ» можно приложить и къ «Библіотекѣ для Чтенія»: слишкомъ-большія статьи и въ ней помѣщаются, изрѣдка, въ отдѣлахъ *Наукъ и Художествъ* и *Промышленности* и *Сельскаго Хозяйства*,—чаще въ отдѣлѣ *Русской Словесности*, и очень-часто въ отдѣлѣ *Словесности Иностранной*, гдѣ передѣлываются на русскій языкъ иностранные повѣсти и романы.

Многочисленны же должны быть русскія книги и богата же должна быть русская литература, если онѣ цѣликомъ поглощаются тремя отдѣлами двухъ журналовъ,—тремя отдѣлами, состоящими на половину изъ *переводныхъ* статей!!...

Однакожь, скажутъ намъ, до существованія толстыхъ журналовъ книгъ выходило гораздо больше!..

Это справедливо; но причина этого не въ толстыхъ и не въ тонкихъ журналахъ. Для книгъ ученаго содержанія, у насъ нѣтъ еще публики, и наши ученые, еслибъ они много писали и много издавали, дѣлали бы это для собственнаго удовольствія и сами были бы и читателями и покупателями собственныхъ своихъ книгъ. Это фактъ, противъ очевидной дѣйствительности котораго не устоятъ никакіе фразы и возгласы, какъ бы ни были они великолѣпны. Ученая литература наша всегда была до того бѣдна, что странно было бы и называть ее литературою, какъ странно называть библіотекою шкапъ съ нѣсколькими десятками разрозненныхъ книгъ. Но прежде, ученыхъ книгъ выходило еще меньше, чѣмъ теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или черезъ прямое посредство правительства, или подъ его покровительствомъ, особенно книги спеціяльнаго содержанія, какъ то: историческіе акты, сочиненія по части статистики, по части инженерной, горной, и т. п. Сочиненія медицинскія болѣе независимы, и потому врачебная литература, въ сравненіи съ другими, болѣе богата, ибо въ значительномъ (по числу своему) сословіи врачей все же есть люди, болѣе или менѣе слѣдящіе за ходомъ науки, которая, по-крайней-мѣрѣ, даетъ имъ хлѣбъ. Учебныя книги у насъ можно издавать только при условіи, чтобъ онѣ были приняты въ руководство въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ послѣднее время, учебная литература обогатилась многими хорошими книгами, изъ которыхъ первое мѣсто, по достоинству, занимаютъ руководства, изданныя для военно-учебныхъ заведеній. Итакъ, при всей бѣдности ученой и учебной литературы, настоящее время все-таки имѣетъ большое преимущество передъ прежнимъ, когда исторіи г. Кайданова, географіи Зябловскаго, грамматики г. Греча и реторики гг. Толмачева и Кошанскаго — считались отличными учебниками. Что касается до собственно-бельлетристической литературы, или какъ ее называютъ иначе—*изящной словесности*, въ прежнее время, т. е. отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, она казалась столь же богатою и

процвѣтающею, сколько теперь кажется бѣдною и увядающею. Но если она казалась богатою, изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ она и была богата въ самомъ дѣлѣ. Въ двадцатыхъ годахъ, публика была въ восторгѣ отъ избытка литературныхъ сокровищъ. Но въ чемъ состояли эти сокровища? Въ крошечныхъ альманахахъ, наполненныхъ крошечными отрывками изъ крошечныхъ поэмъ, крошечныхъ драмъ, крошечныхъ повѣстей, которымъ, большею частію, никогда не суждено было явиться вполнѣ, т. е. съ началомъ и концомъ. Вспомните, сколько, бывало, шума и радости производило появленіе «Сѣверныхъ Цвѣтовъ!» А что было въ нихъ? Двѣ три новыя пьесы Пушкина или Жуковскаго, которыя, конечно, были бы всегда драгоцѣнными перлами во всякаго рода изданіяхъ; но, вмѣстѣ съ ними, съ восторгомъ равно дѣтскимъ читались, перечитывались, учились на-изустъ и переписывались въ тетрадки стихотворенія и другихъ поэтовъ, изъ которыхъ одни были точно съ замѣчательными талантами, а другіе вовсе безъ таланта, владѣя гладкимъ стихомъ и модною манерою выражать бывшія тогда въ модѣ чувства унынія, грусти, лѣни, разочарованія и тому-подобное. Сверхъ того, въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» были литературныя обозрѣнія г. Сомова, аллегоріи г. О. Глинки, даже статьи Владиміра Измайлова. Въ наше время, такіе альманахи ужь невозможны: и самыя стихотворенія Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, въ которой, за исключеніемъ трехъ-четырехъ превосходныхъ стихотвореній, все остальное—или посредственность, или просто вздоръ. Мы не говоримъ о другихъ альманахахъ, потянувшихся длинною вереницею за «Сѣверными Цвѣтами», какъ то: *Ураніи*, *Сѣверной Лирѣ*, *Невскомъ Альманахѣ*, *Сиріусѣ*, *Царскомъ Селѣ* и многомъ-множествѣ другихъ. Что же выходило тогда кромѣ альманаховъ?— Поэмки въ стихахъ, которыхъ теперь и названій нельзя вспомнить, равно какъ и именъ ихъ сочинителей; разныя драматическія произведенія, теперь забытыя вмѣстѣ съ именами ихъ производителей, да еще безобразные и чудовищные переводы поэмъ и романовъ Вальтера Скотта вмѣстѣ съ глупыми романами виконта Дарленкура... Въ такомъ положеніи была наша литература отъ начала такъ-называемаго романтизма до 1829 года. Лучшія и многочисленнѣйшія статьи въ тогдашнихъ журналахъ, преимущественно въ «Московскомъ Телеграфѣ», были переводныя, а оригинальныя большею частію состояли изъ отрывковъ. Стихи преобладали тогда надъ прозою и наводняли журналы и альманахи; въ то же время стихи издавались и отдѣльными книжками, то подъ именемъ «поэмъ», то подъ именемъ «собраній сочиненій» такого-то. И, не смотря на то, изъ замѣчательныхъ поэтовъ никто не былъ изданъ въ то время. «Горе отъ Ума» ходило въ рукописи по всѣмъ краямъ обширнаго русскаго царства. Стихотвореній Пушкина была издана только небольшая книжка въ 1826 году. Настоящее изданіе собранія сочиненій Пушкина началось уже съ 1829 года. Сочиненія наиболѣе уважавшихся поэтовъ того времени, какъ то: Баратынскаго, Веневитинова, Языкова, Подо-

линскаго, Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаева, были изданы уже въ тридцатыхъ годахъ (*). И такъ, гдѣ же это богатство книжной производительности двадцатыхъ годовъ, которое уличило бы наше время въ литературной бѣдности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось въ новизнѣ, которая добродушно принималась въ то время за геніальность, въ отрывкахъ, которые считались за цѣлыя великія творенія, на честное слово сочинителей,—въ потопѣ стиховъ, которые, благодаря гладкости, сладостной лѣни и унылому раздумью, принимались за поэзію. И это множество стиховъ являлось не отъ-того, чтобы поэты того времени писали много, но отъ-того, что слишкомъ-много поэтовъ писало въ то время. Десять тысячъ стихотворцевъ, написавъ каждый по десятку стихотвореній, подарятъ свѣтъ такою громадою стиховъ, въ сравненіи съ которою полное собраніе сочиненій такихъ плодовитыхъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гете, Шиллеръ, будетъ небольшая книжечка. Нашихъ поэтовъ грѣхъ обвинять въ плодовитости: это грѣхъ, въ которомъ они рѣшительно невинны. Самъ Пушкинъ, дѣятельнѣйшій и плодовитѣйшій изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ, писалъ слишкомъ-мало и слишкомъ-лѣниво въ сравненіи съ великими европейскими поэтами. Но это, конечно, была не его вина: наша дѣйствительность не слишкомъ-богата поэтическими элементами и не много можетъ дать содержанія для вдохновеній поэта,—такъ же какъ нашъ плоскій материкъ, заслоненный сѣрымъ и сырымъ небомъ, не много можетъ дать видовъ для пейзажнаго живописца. Пушкинъ, впрочемъ, взялъ все, что могъ взять. Но что сдѣлали другіе поэты, вмѣстѣ съ нимъ вышедшіе на литературное поприще? Одинъ изъ нихъ представилъ публикѣ собраніе многолѣтнихъ поэтическихъ трудовъ въ двухъ томикахъ, другіе—въ одномъ миньятюрномъ томикѣ. За то, всѣ они были изданы очень-красиво и съ большими пробѣлами. Скажутъ: «но вѣдь достоинство поэта измѣряется качествомъ, а не количествомъ написаннаго имъ». Иногда, и чаще всего, тѣмъ и другимъ,—отвѣчаемъ мы. Источникъ поэтической дѣятельности есть творческая натура,—и чѣмъ болѣе одаренъ поэтъ творческою силою, тѣмъ естественно, онъ дѣятельнѣе, подобно пароходу, который тѣмъ быстрѣе летитъ, чѣмъ огромнѣе его машина и чѣмъ жарче она топится. Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи зависятъ отъ объема ея содержанія: и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія пафосъ его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразнѣе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не даетъ и одной порядочной жатвы. Если поэтъ мало писалъ, значитъ: ему было не о чемъ больше писать, потому-что вдохновлявшей его идеи, по ея поверхностности и мелкости, едва стало на два, на три десятка болѣе или менѣе однообразныхъ, хотя, въ то же время, болѣе

(*) За исключеніемъ только первой части сочиненій Веневитинова, изданной въ 1829 году.

или менѣе и прекрасныхъ пьесокъ. Вотъ почему, когда иной знаменитый поэтъ нашъ соберется наконецъ издать собраніе своихъ стихотвореній, всѣмъ извѣстныхъ прежде изъ журналовъ и альманаховъ, то очень должно остерегаться читать тѣ его стихотворенія, которыя послѣ изданія этого сборника будетъ онъ изрѣдка печатать въ журналахъ. Причина очевидна: наши поэты большею частью издаютъ собранія своихъ поэтическихъ трудовъ, какъ памятники, дорогіе ихъ сердцу, лучшихъ дней ихъ жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человѣкъ перестаетъ мечтать, истративъ на мечты лучшую половину своей жизни, въ которую слѣдовало бы мыслить, и когда, волею или неволею, сходится и мирится онъ съ пошлою дѣйствительностью, за незнаніемъ разумной дѣйствительности, открывающейся только мысли и сознанію, а не чувствамъ и мечтамъ,—тогда талантъ оставляетъ его, и въ такомъ случаѣ всего лучше поторопиться ему издать свои сочиненія. Жаль только, что эти счастливыя дѣти своего времени, въ сборникѣ часто являются гостьми, опоздавшими на пиръ и пришедшими въ старомодныхъ костюмахъ: они бываютъ непріятно поражены холоднымъ пріемомъ даже со стороны тѣхъ самыхъ людей, которые, пять-шесть лѣтъ назадъ, были отъ нихъ въ восторгѣ...

Но обратимся къ двадцатымъ годамъ русской литературы. Въ это ультра-романтическое и ультра-стихотворное время, проза была въ самомъ жалкомъ состояніи. Пушкинъ почти ничего не писалъ прозою. Нѣсколько статей Веневитинова принадлежатъ къ прозѣ теоретической, а не поэтической, и въ этомъ родѣ прозы было кое-что, болѣе или менѣе замѣчательное, кромѣ *мыслящихъ* статей Веневитинова. Въ сферѣ поэтической прозы, отличались тогда трескучія эффектами и фразою повѣсти Марлинскаго, и приводили добродушную публику въ неописанный восторгъ. Чтобъ нѣсколькими словами охарактеризовать бѣдность изящной прозы того времени, стоитъ только замѣтить, что даже и повѣсти одного московскаго ученаго, совершено лишенныя фантазіи, нищія талантомъ, богатыя чернотою сухостію чувства и грубымъ цинизмомъ понятій и выраженій, многимъ и очень-многимъ нравились, хотя тогда же многіе и смѣялись надъ этими жалкими порожденіями незаконныхъ притязаній на талантъ и поэзію [170]). Послѣ этого, удивительно ли, что для большинства того времени дивомъ-дивнымъ казались повѣсти г. Полеваго, чуждыя всякаго творчества, но не чуждыя нѣкоторой изобрѣтательности, бѣдныя чувствомъ, но богатыя чувствительностію, лишенныя идеи, но достаточно нашпигованныя *высшими взглядами*,—повѣсти, представлявшія, вмѣсто характеровъ, образы безъ лицъ, т. е. неопредѣленныя полумысли автора,—повѣсти, не щеголявшія слогомъ, но ловко владѣвшія фразою и не безъ основанія претендовавшія на нѣкоторое достоинство разсказа, обличавшее въ авторѣ литературное образованіе и навыкъ,—повѣсти, невинныя въ какомъ бы то ни было тактѣ дѣйствительности и способности хотя приблизительно понимать дѣйствительность, но очень и очень-виновныя въ мечтательности и натянутомъ, приторномъ абстрактномъ идеализмѣ, ко-

торый презираетъ землю и матерію, питается воздухомъ и высокопарными фразами, и стремится всё «туда» (dahin!)—въ эту чудную страну праздношатающагося воображенія, въ эту вѣчную Атлантиду себя-любивыхъ мечтателей?.. Удивительно ли, что и люди, непринадлежавшіе къ большинству, считали эти повѣсти за весьма-пріятное явленіе въ русской литературѣ?.. Вѣдь тогда еще не было ни «Пиковой Дамы», ни «Капитанской Дочки» Пушкина, ни повѣстей Гоголя, ни «Героя Нашего Времени» Лермонтова...

Впрочемъ, гг. Погодинъ и Полевой слишкомъ-много писали повѣстей только съ 1829 года. Этотъ годъ былъ довольно-замѣтнымъ поворотомъ отъ стиховъ къ прозѣ, и нельзя не согласиться, что, считая отъ этого времени до 1836 года, литература наша была болѣе оживлена и болѣе богата книгами, чѣмъ прежде и послѣ того. Въ этотъ промежутокъ времени появились «Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», «Арабески», «Миргородъ», и «Ревизоръ» Гоголя, и самъ Пушкинъ началъ обращаться къ прозѣ, напечатавъ лучшія свои повѣсти—«Пиковую Даму» и «Капитанскую Дочку». Этого уже слишкомъ-довольно, чтобъ не только считать это время богатымъ и обильнымъ литературными произведеніями, но и видѣть въ немъ новую, прекрасную эпоху русской литературы. Числительное богатство книгъ и обиліе литературныхъ новинокъ было еще значительнѣе. Въ 1829 году, г. Ѳ. Булгаринъ издалъ своего «Выжигина», а въ слѣдующемъ году—«Димитрія Самозванца». Первый изъ этихъ романовъ имѣлъ большой успѣхъ: онъ въ короткое время былъ весь раскупленъ, и особенно понравился низшимъ слоямъ читающей публики, которые, повѣривъ на-слово сочинителю, не затруднились увидѣть въ его безличныхъ изображеніяхъ вѣрную картину современной русской дѣйствительности. Очевидно, что въ это невинное заблужденіе ввели ихъ русскія имена дѣйствующихъ лицъ въ «Выжигинѣ», названіе русскихъ городовъ и областей, а главное—запутанныя и неестественныя похожденія продувнаго героя романа. Добряки не замѣтили, что все это—*старыя погудки на новый ладъ*, какъ говоритъ пословица, т.-е. дюкре-дю-менилевскія романическія пружины съ сумароковскими нападками на лихоимство и мошенничество. При этомъ, не должно забывать, что первыя попытки въ новомъ родѣ всегда принимаются хорошо. Публикѣ того времени показался новостью—романъ съ русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайловъ, въ этомъ отношеніи, предупредилъ г. Ѳ. Булгарина цѣлыми *тридцатью* годами, ибо въ его романѣ «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества», изданномъ въ 1799 году, дѣйствіе происходитъ въ Россіи, герой романа называется Евгеніемъ—имя столь же русское, сколько и иностранное. Фамилія Евгенія—*Негодяевъ*, фамиліи прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа—*Лицемѣркина*, *Вѣтровъ*, *Тысячниковъ*, *Бездѣльниковъ*, *Простаковъ*, *коллежскій ассессоръ Назарій Антоновичъ Миловзоровъ*, *Воровъ*, *Подлянковъ*, *Развратинъ* и пр. Вѣроятно, эти остроумно-придуманныя г. А. Измайловымъ русскія фамилія и подали г. Ѳ. Булгарину счастливую

мысль назвать героевъ своего романа Вороватиными, Ножовыми и пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный успѣхъ. Впрочемъ, «Выжигинъ» изобрѣтательностію, манерою, яркимъ изображеніемъ характеровъ, движеніемъ сердца человѣческаго и нравственно-сатирическимъ направленіемъ живо напоминавшій собою «Евгенія» г. А. Измайлова, далеко превзошелъ его въ правильности языка, хотя и уступилъ ему въ живости разсказа. Публика того времени, по свойственной ей забывчивости, не догадалась также, что г. Ѳ. Булгаринъ предупрежденъ былъ, какъ романистъ, писателемъ новымъ и даровитымъ, и что въ 1824 году вышелъ «Бурсакъ», а въ 1825—«Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» Нарѣжнаго. Эти два замѣчательныя произведенія были *первыми* русскими романами. Они явились въ такое время, когда еще публика не была въ состояніи оцѣнить ихъ, и лучшіе юмористическіе очерки характеровъ и сценъ простонароднаго быта назвала *сальностями*, а немножко таланта увидѣла въ романической развязкѣ «Бурсака». Все это было съ-руки г. Ѳ. Булгарину и помогло ему прослыть первымъ романистомъ на Руси. Однакожь, его «Димитрій Самозванецъ» оборвался: его убилъ успѣхъ «Юрія Милославскаго», вышедшаго въ свѣтъ нѣсколькими недѣлями прежде «Самозванца», который, безъ этого прискорбнаго для него обстоятельства, безъ сомнѣнія, получилъ бы еще бо́льшій успѣхъ, чѣмъ «Выжигинъ». Послѣдующіе романы г. Ѳ. Булгарина уже имѣли самый посредственный успѣхъ, и то благодаря только овладѣвшей публикою страсти къ романамъ, которая тогда смѣнила ея страсть къ стихамъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» имѣлъ несчастіе столкнуться съ «Рославлевымъ»: не смотря на слабость второго романа г. Загоскина, онъ былъ все-таки неизмѣримо-выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя въ этомъ романѣ выведенъ и самъ Наполеонъ, къ-несчастію обрисованный столь неудачно, что его такъ же трудно отличить отъ Петра Ивановича Выжигина, какъ и Петра Ивановича Выжигина отъ Наполеона. Четвертый романъ т. Ѳ. Булгарина «Мазепа», упалъ рѣшительно, не смотря на искусную и усердную поддержку со стороны «Библіотеки для Чтенія»: публика уже не хотѣла читать повторенія того, что́ уже надоѣло ей въ прежнихъ романахъ г. Ѳ. Булгарина. Еще менѣе замѣтила и оцѣнила она неподражаемый юморъ сего нравственно-сатирическаго сочинителя, разлитый въ его «Запискахъ Титулярнаго Совѣтника Чухина». Это было полнымъ паденіемъ—chûte complète! [171]) Мода на романы такъ была сильна, т. е. романы такъ хорошо расходились въ то время, что даже сочинитель множества грамматикъ, прочетшій, по словамъ «Библіотеки для Чтенія» въ корректурѣ всю русскую литературу, г. Н. Гречъ—издалъ довольно-длинную и, сообразно съ тѣмъ, довольно-скучную повѣсть—«Поѣздка въ Германію», и потомъ длинный романъ, начиненный разными чудесами на-манеръ Анны Радклейфъ—«Черная Женщина». Сильный въ то время на поприщѣ журналистики баронъ Брамбеусъ силился искусною и усердною рецензіею, наполненною разсужденіями о магнетизмѣ, дать ходъ

первому изданію «Черной Женщины», ставилъ ее выше романовъ Вальтера Скотта и считалъ за счастіе, по собственнымъ словамъ его, бѣжать за колесницею тріумфатора, т. е. г. Греча. Такова была тогда романоманія, что все сходило съ рукъ благополучно, и всякая сказка давала болѣе или менѣе-вѣрный барышъ! Но второе изданіе «Черной Женщины», поступившее въ составъ вышедшихъ въ 1838 году, въ пяти частяхъ «Сочиненій Николая Греча», потонуло въ Летѣ вмѣстѣ со всѣми пятью частями этихъ сочиненій.

Послѣ романовъ г. Ѳ. Булгарина, намъ тотчасъ же слѣдовало бы говорить о судьбѣ романовъ г. Загоскина, которые начали являться послѣ «Выжигина» и убили на-повалъ всѣ романы г. Ѳ. Булгарина; но послѣ имени Ѳ. Булгарина какъ-то невольно ложится подъ перо имя г. Н. Греча, да и романы обоихъ сихъ сочинителей похожи другъ на друга, какъ дѣти одного отца, отличаясь мертвою правильностью и грамматическою чистотою языка, при отсутствіи всякихъ другихъ качествъ. «Юрій Милославскій» былъ, въ свое время, безъ всякаго сомнѣнія, пріятнымъ и замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Его дѣйствующія лица не только носятъ русскія имена, но и говорятъ русскою рѣчью, и даже чувствуютъ и мыслятъ по-русски,—что было въ то время совершенно-новымъ явленіемъ въ русской литературѣ. Присовокупите къ этому добродушное увлеченіе автора, мѣстами очень-похожее если не на вдохновеніе, то на одушевленіе, разсказъ плавный, не натянутый, языкъ не всегда правильный, какъ у гг. Ѳ. Булгарина и Н. Греча, но всегда живой,—и вы поймете причину чрезвычайнаго успѣха этого романа. Г. Загоскинъ радушно, отъ-души, со всѣмъ хлѣбосольствомъ старыхъ временъ угостилъ русскую публику своимъ «Юріемъ Милославскимъ». Но этимъ все и оканчивается. Историческаго въ этомъ романѣ нѣтъ ничего: всѣ лица его списаны съ простолюдиновъ нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа,—все обнаруживаетъ въ авторѣ русскаго драматическаго писателя, навыкшаго поддѣльную сценическую дѣйствительность почитать за зеркало настоящей русской жизни. Въ 1612 годъ онъ перенесъ отдѣльныя сцены 1812 года, подмѣченныя имъ въ деревняхъ,—и былъ убѣжденъ, что остался вѣренъ исторіи. Въ «Рославлевѣ», онъ принялся болѣе за свое дѣло—за изображеніе того, что видѣлъ самъ на Руси въ 1812 году. И еслибъ онъ остался вѣренъ своему таланту и призванію—рисовать отдѣльныя сцены и картины простонароднаго и помѣщичьяго деревенскаго быта,—его второй романъ былъ бы не безъ достоинствъ. Но авторъ почелъ нужнымъ основать все на мелодраматической завязкѣ, а, главное, возъимѣлъ немножко-смѣлую претензію—изобразить, словно въ поэмѣ, великій 1812 годъ, со всѣмъ его историческимъ значеніемъ и характеромъ,—и какимъ же образомъ?—черезъ мелодраматическую любовишку, черезъ портреты безцвѣтнаго героя, Рославлева, избитое въ комедіяхъ лицо *добраго малаго* Зарѣцкаго, черезъ нѣсколько добродушныхъ оригиналовъ въ родѣ Буркина и Иволгина, и посредствомъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ и вымышленныхъ сценъ бородинской

битвы, въ которыхъ разговариваютъ между собою пріятели, забавные герои романа... Очевидно, что автора ввелъ въ заблужденіе непонятый имъ Вальтеръ Скоттъ и непонятое значеніе историческаго романа. Какъ бы то не было, но чѣмъ большаго ожидала нетерпѣливая публика отъ «Рославлева», тѣмъ меньше дождалась она. Послѣдующіе романы г. Загоскина были уже одинъ слабѣе другаго. Въ нихъ онъ ударился въ какую-то странную, псевдо-патріотическую пропаганду и политику, и началъ съ особенною любовію живописать разбитые носы и свороченные скулы извѣстнаго рода героевъ, въ которыхъ онъ думаетъ видѣть достойныхъ представителей чисто-русскихъ нравовъ, и съ особеннымъ паѳосомъ прославлять любовь къ соленымъ огурцамъ и кислой капустѣ.

За г. Загоскинымъ, вышелъ на литературное поприще въ качествѣ романиста г. Лажечниковъ. Онъ дебютировалъ историческимъ романомъ «Послѣдній Новикъ», дѣйствіе котораго происходитъ то въ Лифляндіи, то въ Россіи, и дѣйствующіе лица котораго—Нѣмцы и Русскіе. Это обстоятельство дѣлитъ романъ какъ-бы на двѣ стороны, изъ которыхъ первая какъ-то лучше обрисована и занимательнѣе представлена авторомъ, чѣмъ послѣдняя. Какъ первый опытъ въ этомъ родѣ, романъ г. Лажечникова слишкомъ-полонъ и многорѣчивъ, во вредъ художнической соразмѣрности и пропорціональности; но, не смотря на этотъ недостатокъ, онъ необыкновенно-живъ, какъ всякій плодъ слишкомъ-горячей и запальчивой дѣятельности. Второй романъ г. Лажечникова — «Ледяной Домъ» уже не столько сложенъ и юношески-горячъ, какъ «Послѣдній Новикъ», за то болѣе строенъ и простъ, безъ ущерба занимательности; а нѣкоторыя главы, какъ на-примѣръ: «Соперники» и «Родины Козы» могутъ считаться украшеніемъ не только «Ледянаго Дома», но и замѣчательными произведеніями русской литературы. Въ «Бусурманѣ» очень-удачно сдѣланъ очеркъ характера Іоанна III и вообще хороши тѣ сцены, гдѣ авторъ выводитъ это грозное и великое лицо русской исторіи. Во всемъ остальномъ, нельзя сказать, чтобъ авторъ очень-удачно воспользовался прекрасно-придуманною основою своего романа—представить противоположность европейскаго элемента жизни азіатскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели человѣчески-развившагося и образованнаго существа, сдѣлавшагося жертвою дикихъ нравовъ, среди которыхъ забросила его судьба. Вообще, скажемъ откровенно, романамъ г. Лажечникова особенно вредятъ два обстоятельства. Вопервыхъ, авторъ не довольно отрѣшился отъ стараго литературнаго направленія—видѣть поэзію внѣ дѣйствительности и украшать природу по произвольно-задуманнымъ идеаламъ. Отъ-того, въ его русскихъ романахъ есть что-то не совсѣмъ русское, что-то похожее на европейскій бытъ въ русскихъ костюмахъ. Такова, на-примѣръ, любовь Волынскаго къ Маріорицѣ, невѣрная исторически и невозможная поэтически, по ея несообразности съ климатомъ, мѣстностію и нравами. Она какъ-будто изъ Италіи или Испаніи пріѣхала въ Петербургъ, чтобъ доставить автору

нѣсколько эффектныхъ сценъ. Что же касается до *украшенія природы*,— оно не есть исключительная принадлежность псевдо-классицизма; перемѣнились слова, а сущность дѣла осталась та же для многихъ нынѣшнихъ поэтовъ,— и псевдо-романтикъ Викторъ Гюго еще съ бо́льшимъ усердіемъ, по-своему, украшаетъ природу въ романахъ и драмахъ, чѣмъ украшали ее псевдо-классики Корнель, Расинъ и Вольтеръ. Второй недостатокъ романовъ г. Лажечникова, имѣющій тѣсную связь съ первымъ,—это неровный, какъ-будто неправильный и тяжелый языкъ. Многіе, по этому случаю, упрекали г. Лажечникова въ неумѣніи писать по-русски и незнаніи русскаго языка:—обвиненіе смѣшное и нелѣпое, достойное грамматистовъ-рутиньеровъ! Нѣтъ, не отъ незнанія языка, не отъ неспособности владѣть имъ, г. Лажечниковъ пишетъ неровнымъ слогомъ; даже не отъ-того, что будто бы онъ не занимается его отдѣлкою, а развѣ отъ-того, что онъ слишкомъ занимается отдѣлкою, и еще отъ ложной манеры, которую многіе наши писатели, волею или неволею, сознательно или безсознательно, больше или меньше, заняли у Марлинскаго, и которая заставила ихъ пещись больше объ эффектной красотѣ, чѣмъ о благородной простотѣ, строгой точности и ясной опредѣленности выраженія. Во всякомъ случаѣ, русскій романъ, начатый г. Загоскинымъ, въ произведеніяхъ г. Лажечникова сдѣлалъ большой шагъ впередъ,—и если романы г. Загоскина проще, наивнѣе и легче романовъ г. Лажечникова, зато романы послѣдняго далеко выше по мысли и вообще гораздо-удовлетворительнѣе для образованнаго класса читателей. Нельзя-не пожалѣть, что г. Лажечниковъ не избѣгнулъ общей участи многихъ русскихъ писателей—замолчать послѣ двухъ или трехъ опытовъ и лишить публику надежды дождаться отъ него чего-нибудь такого, что напоминало бы его первые опыты, столь много обѣщавшіе...

Если рѣчь зашла о прозаикахъ-романистахъ этой эпохи, то было бы несправедливо умолчать о г. Вельтманѣ. Онъ дебютировалъ забытымъ теперь «Странникомъ»—калейдоскопическою и отрывочною смѣсью въ стихахъ и прозѣ, лишенною однакожь оригинальности и казавшеюся тогда занимательною и острою. Потомъ онъ издалъ какую-то поэму въ стихахъ. Первымъ и, по обыкновенію бо́льшей части русскихъ писателей, лучшимъ его романомъ былъ «Кащей Безсмертный»—странная, но поэтическая фантасмагорія. Надо сказать правду, у г. Вельтмана несравненно-больше фантазіи, чѣмъ у романистовъ, о которыхъ мы говорили выше, и потому онъ гораздо-больше поэтъ, чѣмъ они. Но его фантазіи стаёгъ только на поэтическія мѣста; съ цѣлымъ же произведеніемъ она никогда не въ состояніи управиться. Оригинальность фантазіи г. Вельтмана часто сбивается на странность и вычурность въ вымыслахъ. Прочитавъ его романъ, помнишь прекрасныя, исполненныя поэзіи мѣста, но цѣлое тотчасъ изглаживается изъ памяти. Къ романическимъ и поэтическимъ вымысламъ г. Вельтманъ примѣшиваетъ какой-то археологическій мистицизмъ и вноситъ свою страсть къ этимологическимъ объясненіямъ историческихъ и даже доисторическихъ вопросовъ. Все это очень безобразитъ его

романы. Туманность и неопредѣленность въ вымыслахъ и характерахъ также принадлежатъ къ недостаткамъ романовъ г-на Вельтмана. Каждый новый его романъ былъ повтореніемъ недостатковъ перваго, съ ослабленіемъ красотъ его. Все это сдѣлало то, что г. Вельтманъ пользуется гораздо-мѣньшею извѣстностью и мѣньшимъ авторитетомъ, нежели какихъ бы заслуживало его замѣчательное дарованіе.

Почти въ то же время явились на сцену и другіе романисты, имѣвшіе бо́льшій или мѣньшій успѣхъ, какъ, напр., г. Ушаковъ, котораго «Киргизъ-Кайсакъ» не лишенъ былъ кое-какихъ относительныхъ достоинствъ. Романъ скрывшаго свое имя автора—«Семейство Холмскихъ» имѣлъ замѣчательный успѣхъ; въ немъ попадаются довольно-живыя картины русскаго быта, въ юмористическомъ родѣ; но онъ утомленъ избитыми пружинами вымысла и избыткомъ сантиментальности, соединенной съ резонёрствомъ [172]). Марлинскій гарцовалъ въ журналахъ своими трескучими повѣстями до 1836 года; особо и вполнѣ онѣ были изданы въ 1838—1839 годахъ. Изъ новыхъ нувеллистовъ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, явился даровитый казакъ Луганскій, съ своими оригинальными розсказнями на русско-молодецкій ладъ, которые онъ потомъ мало-по-малу началъ оставлять для повѣсти лучшаго тона и содержанія. Какъ сказки, такъ и повѣсти Луганскаго были плодомъ сколько замѣчательнаго дарованія, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многостороннею житейскою опытностью автора, человѣка *бывалаго* и коротко ознакомившагося съ бытомъ Россіи почти на всѣхъ концахъ ея.—Гг. Погодинъ и Полевой, съ особеннымъ усердіемъ принявшіеся за повѣсти съ 1829 года, издали, въ тридцатыхъ годахъ, собранія этихъ повѣстей. Въ началѣ же тридцатыхъ годовъ, неожиданно вышла первая часть дотолѣ никому-неизвѣстныхъ стихотвореній г. Бенедиктова, котораго талантъ въ стихахъ—то же, что̀ талантъ Марлинскаго въ прозѣ; время уже доказало справедливость приговора, какимъ встрѣчены были критикою первые опыты г. Бенедиктова. Но не всѣ критики были такъ строги къ этому блестящему стихотворцу; одинъ московскій критикъ и словесникъ, притомъ же самъ пѣвца, объявилъ, что до г. Бенедиктова поэзія наша (представителями которой, разумѣется, были Державинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ) была чужда мысли, и что только въ изящныхъ произведеніяхъ г. Бенедиктова русская поэзія въ первый разъ явилась вооруженная мыслію... [173])—Еще прежде г. Бенедиктова, вышелъ на литературное поприще г. Кукольникъ, съ лирическими стихотвореніями, драмами въ стихахъ, а потомъ съ повѣстями, романами, журнальными статьями и проч. Въ его литературной и поэтической дѣятельности замѣтнѣе всего—усиліе обыкновеннаго таланта подняться на высоты, доступныя только генію, и потому, если нельзя отрицать въ немъ таланта, то нельзя и опредѣлить степени, характера и заслугъ этого таланта.—Мы, можетъ-быть, забыли и еще кое-какія произведенія, имѣвшія въ то время бо́льшій или мѣньшій успѣхъ, и

умножившія собою число интересовавшихъ публику книгъ; но не обо всемъ же говорить! Лучше скажемъ, что князь Одоевскій, почти ничего отдѣльно не издававшій досель подъ своимъ именемъ, съ 1824 года постоянно печаталъ въ повременныхъ изданіяхъ повѣсти и разсказы особеннаго рода, въ которыхъ нравственныя идеи облекались то въ поэтическіе образы, то въ живое слово, исполненное пафоса краснорѣчія... Но о нихъ мы скоро будемъ имѣть случай говорить подробнѣе [174]).

Съ 1839 года, въ русской литературѣ совершился замѣтный переломъ. Книжная торговля упала, книгъ стало выходить гораздо-менѣе, и литература начала казаться бѣднѣе прежняго. Пушкинъ умеръ, и два года печатались въ «Современникѣ» его посмертныя произведенія. Это были послѣднія и самыя высокія, самыя зрѣлыя созданія вполнѣ-развившагося и возмужавшаго его художническаго генія. Въ первомъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» былъ напечатанъ его «Каменный Гость» и отрывокъ изъ романа. Все остальное, дотолѣ-неизвѣстное публикѣ, появилось только въ 1841 году, въ трехъ послѣднихъ томахъ полнаго собранія его сочиненій. Долго тянулось для публики изданіе новыхъ, неизвѣстныхъ ей сочиненій Пушкина,—и этимъ утомилось не вниманіе, а ожиданіе публики!.. Съ 1837 года, начали появляться въ журналахъ стихотворенія Лермонтова, въ первый разъ изданныя особо въ 1840 году, равно-какъ и его «Герой Нашего Времени». Съ 1837 же года начали появляться повѣсти графа Соллогуба, г. Панаева и другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ молодыхъ писателей. Въ числѣ молодыхъ, съ 1838 года явился одинъ старый: это покойный Основьяненко, между безчисленными повѣстями котораго, написанными въ-продолженіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, особенно-замѣчателенъ «Панъ Халявскій»—сатирическая картина старинныхъ нравовъ Малороссіи; во всѣхъ другихъ повѣстяхъ и романахъ своихъ, онъ повторялъ или сантиментальность своей «Маруси», или юморъ «Пана Халявскаго», и въ послѣднее время значительно выписался.

Еще съ 1837 года, все новое въ русской литературѣ начало прятаться въ журналахъ, и особыми книгами, бо́льшею частію, стали появляться только или альманахи, или сборники уже извѣстныхъ публикѣ изъ журналовъ сочиненій, или, наконецъ, новыя изданія старыхъ сочиненій. Новое, внѣ журналовъ и альманаховъ, показывалось рѣже и рѣже, а послѣ смерти Лермонтова, послѣдовавшей въ 1841 году, лучшее, что̀ печаталось и въ журналахъ, состояло изъ оставшихся стихотвореній этого поэта, столь рано умершаго для русской литературы, которую его великій талантъ одинъ былъ бы въ состояніи сдѣлать интересною не для однихъ насъ, Русскихъ. Бѣдность и нищета болѣе-и-болѣе начали вторгаться даже въ журналы—эти теперь почти-единственные представители «богатства» русской литературы. Бѣденъ былъ хорошими повѣстями 1842 годъ, но прошлый 1843 оказался еще бѣднѣе. Объ отдѣльно-выходившихъ книгахъ теперь много нельзя разговориться.

Въ 1842 году, вышли «Мертвыя Души» Гоголя—твореніе столь глубокое по содержанію и великое по творческой концепціи и художественному совершенству формы, что оно одно пополнило бы собою отсутствіе книгъ за десять лѣтъ и явилось бы одинокимъ среди изобилія въ хорошихъ литературныхъ произведеніяхъ. Впрочемъ, 1842 годъ все-таки былъ богаче прошлаго отдѣльно-вышедшими книгами, равно-какъ и замѣчательными повѣстями, помѣщенными въ журналахъ и альманахахъ...

Выведенный нами изъ этого обзора результатъ, *по-видимому*, противорѣчитъ началу статьи. Мы хотѣли доказать, что литература настоящаго времени только по-наружности бѣднѣе литературы прежнихъ временъ, а въ сущности выше ея,—и между-тѣмъ фактами доказали совсѣмъ-противное. Но мы начали съ того, что литературная бѣдность нашего времени, по своимъ причинамъ, почтенна, и въ этомъ смыслѣ составляетъ пріобрѣтеніе, а не утрату... Объяснимся. Какъ отъ литературы двадцатыхъ годовъ прочныя и дѣйствительныя пріобрѣтенія остались только въ сочиненіяхъ Пушкина *) и въ «Горѣ отъ Ума» Грибоѣдова, все же прочее имѣетъ болѣе или менѣе относительное, такъ-сказать, историческое значеніе,—точно такъ и отъ литературы тридцатыхъ годовъ у насъ есть прочныя и дѣйствительныя пріобрѣтенія только въ сочиненіяхъ Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное историческое значеніе, или, за недостаткомъ времени, еще не выдержало пробы, могущей опредѣлить его безусловную цѣнность. И если отъ 1823 года до начала четвертаго десятилѣтія вышло много (сравнительно съ прежнимъ и послѣдующемъ временемъ) романовъ, драмъ и другихъ произведеній изящной словесности, то не должно забывать, что эта была пора опытовъ и попытокъ,—пора, въ которую все новое не могло не удаваться. Вѣдь и «Выжигины» съ «Самозванцемъ», по минмой ихъ новизнѣ, сначала имѣли успѣхъ, да еще какой!—не-уже-ли же и ихъ должно считать сокровищами русской литературы, теперь, когда читавшіе ихъ уже совсѣмъ забыли, а не читавшіе вовсе не имѣютъ никакого желанія прочитать? Нападки на пьянство, воровство, шулерство и лихоимство, какъ на пороки гибельные для внѣшняго и внутренняго благосостоянія людей,—не-уже-ли эти нападки, состоявшіе въ истертыхъ моральныхъ сентенціяхъ, и теперь должно принимать за идеи; а бездушныя реторическія олицетворенія пороковъ и добродѣтелей, выдаваемыя за характеры, дѣйствительно должно принимать за живыя лица, вмѣсто того, чтобъ видѣть въ нихъ куклы, раскрашенныя грубою мазилкою и безобразно-вырѣзанныя ножницами изъ оберточной бумаги?.. Конечно, первые романы г. Загоскина всегда будутъ

*) Мы не упоминаемъ имени Жуковскаго потому, что дѣятельность этого поэта не относится исключительно къ двадцатымъ годамъ; она началась раньше этого времени около семнадцати лѣтъ и, къ славѣ и чести русской литературы, не кончилась до-сихъ-поръ.

удостоиваемы почетнаго упоминовенія отъ историка русской литературы, и никто не станетъ отрицать ихъ относительнаго достоинства для времени, въ которое они явились, и даже ихъ болѣе или менѣе полезнаго вліянія на современную имъ русскую литературу; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы мы ихъ читали и перечитывали, какъ творенія всегда новыя, или чтобы мы въ «Юріи Милославскомъ» и теперь видѣли вѣрную картину Русскихъ 1612 года, а въ «Рославлевѣ»—Русскихъ 1812 года... Подобныя мысли и двѣнадцать лѣтъ тому назадъ едва-ли кому входили въ голову; а теперь всякій видитъ въ этихъ романахъ не болѣе, какъ литературные (а отнюдь не художественные) очерки не Русскихъ 1612 и 1812 годовъ, а русскаго простонародья во всѣ годы, какіе вамъ угодно... Многое бываетъ хорошо для своего времени, и иное живетъ вѣкъ, иное десять лѣтъ, иное годъ, а иное одинъ день... Всѣ эти «Поѣздки въ Германію», «Черныя Женщины», «Киргизъ-Кайсаки», «Коты Бурмосѣки», «Семейства Холмскихъ» и тому подобныя произведенія не могли не нравиться въ свое время; но время это прошло, уже не воротится для нихъ, и теперь, если бы кто сталъ ими угощать публику, выхваляя ихъ достоинства, публика могла бы отвѣтить: «хороши были покойники—вѣчная имъ память; не будемъ тревожить ихъ праха...»

Отъ-чего же, спросятъ, теперь не является такихъ же болѣе или менѣе удовлетворительныхъ для нашего времени сочиненій, какія выходили тогда въ такомъ значительномъ числѣ?—Въ этомъ вопросѣ—вся сущность дѣла. Мы сказали выше, что то время было временемъ опытовъ и попытокъ въ разныхъ родахъ. Теперь, это время миновалось: все уже испытано, и чтобъ проложить въ искусствѣ новую дорогу, нуженъ геній, или, по-крайней-мѣрѣ, великій талантъ, а геніи и великіе таланты не родятся десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться, напримѣръ на поприщѣ лирической поэзіи—за что вамъ приняться; за оды?—ихъ вѣкъ давно прошелъ; за элегіи?—хорошо; но вы должны сказать въ нихъ что-нибудь новое. О грусти, разочарованіи, идеалахъ, неземныхъ дѣвахъ, лунѣ, сладостной лѣни, разгульныхъ пирахъ, шипучемъ винѣ, отчаяніи, ненависти къ людямъ, погибшей юности, измѣнѣ, кинжалахъ, ядахъ—обо всемъ этомъ уже было сказано и пересказано тысячу разъ—и въ изящныхъ созданіяхъ Пушкина, и толпою его подражателей. Теперь, уже васъ не станутъ читать, если вы захотите удивлять размашистостію бойкой фразы, яркою звонкостію стиха, восторженными дионрамбами въ честь голубоокихъ и младыхъ дѣвъ и шумныхъ пировъ удалой юности,—потому-что въ этомъ васъ предупредилъ г. Языковъ, и предупредилъ, какъ человѣкъ съ талантомъ, который шелъ своею дорогою, какая бы ни была она, и умѣлъ быть оригинальнымъ, какова бы ни была эта оригинальность. Г. Языковъ, уже самымъ этимъ временнымъ успѣхомъ своей поэзіи, навсегда уничтожилъ возможность такой поэзіи:—въ этомъ-то и состоитъ его неотъемлемая заслуга русской литературѣ и неотъемлемое право на мѣсто въ

исторіи русской литературы. Еслибъ неизбѣжно было читать кого-нибудь изъ васъ, такъ ужь конечно его, а не васъ: оригиналы всегда предпочитаются копіямъ.—Хотѣли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослѣпительно-вычурными фразами и натянуто-смѣлою метафорою: васъ и тутъ предупредилъ г. Бенедиктовъ, и тоже предупредилъ, какъ человѣкъ съ дарованіемъ, который самъ проложилъ себѣ дорогу, какова бы она ни была, и былъ оригиналенъ, что̀ бъ ни говорили о его оригинальности. Г. Бенедиктовъ тѣмъ и оказалъ важную услугу русской литературѣ, что самымъ успѣхомъ своей поэзіи сдѣлалъ навсегда смѣшною такую поэзію. Для этого тоже нуженъ талантъ! Геній или великій талантъ уничтожаетъ для другихъ возможность прославиться на его счетъ посредствомъ подражанія; а такіе маленькіе, хотя и яркіе и самобытные таланты, призванные показать примѣръ уклоненія искусства отъ настоящей его цѣли, спасаютъ въ будущемъ искусство отъ этихъ уклоненій именно возможностію для другихъ подражать имъ въ ихъ ложномъ направленіи. Это заслуга отрицательная, но и для нея нужно имѣть талантъ, нужно, чтобъ въ основѣ такого ложнаго вдохновенія была своя истинная струя поэзіи, подобно золотымъ крупинкамъ въ массѣ рѣчнаго песка. Теперь уже невозможны такіе поэты, какъ гг. Языковъ и Бенедиктовъ, или, лучше сказать, невозможенъ сколько-нибудь значительный успѣхъ со стороны такихъ поэтовъ. Недавно, въ Москвѣ, нѣкто г. Милькѣевъ, о близкомъ пришествіи котораго въ литературный міръ заранѣе трубили пріятельскіе журналы, какъ о чудѣ-чудномъ и дивѣ-дивномъ, издалъ книжку стихотвореній, которыя, по формѣ, показали въ немъ ученика гг. Языкова и Бенедиктова, а по содержанію ученика г. Хомякова; не чувствуя въ себѣ довольно силы, чтобъ хоть сравняться съ своими образцами, не только превзойти ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ желая, во что бы то ни стало, показаться оригинальнымъ, онъ не придумалъ ничего лучшаго, какъ превзойти свой образецъ въ направленіи своей поэзіи, и, взявъ за основаніе неопредѣленно и темно понятую мысль о народности, довести ее до послѣдней нелѣпости. Для этого онъ началъ воспѣвать, восторженными стихами, русскую сивуху и доказывать, что Ломоносовъ отъ того только и сдѣлался преобразователемъ русскаго слова, что имѣлъ несчастную страсть невоздержности, которую московскій поэтъ поставилъ ему въ великую заслугу... [175]) Видите ли, какъ трудно теперь сдѣлаться поэтомъ на чужой счетъ, безъ таланта, безъ образованія, безъ идей, безъ призванія!.. Пушкинъ, при жизни своей, не былъ понятъ: при началѣ его поприща, имъ поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоивъ себѣ не тайну, не жизнь, а только легкость его стиха,—при концѣ его поприща, легкомысленно къ нему охладѣли и считали себя выше его потому только, что не были въ состояніи понять его, указывая на его ошибки и промахи, дѣйствительно важные, и не умѣя измѣрить высоты, дѣйствительно недосягаемой, на которую сталъ его возмужавшій творческій геній. Но посмертныя его сочиненія, которыми онъ, при жизни

своей, не торопился угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многимъ невольно открыли глаза на истинное значеніе Пушкина. Кратковременная, но изумительная своею огромностію дѣятельность Лермонтова на поэтическомъ поприщѣ окончательно лишила насъ надежды видѣть частыя появленія новыхъ замѣчательныхъ поэтовъ и новыя замѣчательныя произведенія поэзіи: послѣ Пушкина и Лермонтова, трудно быть не только замѣчательнымъ, но и какимъ-нибудь поэтомъ! Мечъ и шлемъ Ахилла изъ всѣхъ греческихъ героевъ могли оспаривать только Аяксъ и Одиссей. И теперь въ журналахъ изрѣдка появляются стихотворенія, выходящія за черту посредственности; но когда въ томъ же нумерѣ журнала находишь стихотвореніе Лермонтова, то не хочется и читать другихъ. Въ 1842 году вышли стихотворенія г. Майкова; и тѣ изъ нихъ, которыя имъ написаны въ антологическомъ родѣ, обнаруживаютъ талантъ необыкновенный: ихъ читали, ими восхищались, ихъ хвалили, за авторомъ безспорно осталось титло замѣчательно-даровитаго человѣка; но уже не было преувеличенныхъ похвалъ и толковъ о геніальности; поэтъ занялъ свое мѣсто, очень почетное, но которое, однакожь, не показало его всѣмъ на особенной высотѣ,—ибо всѣ поняли, что прекрасные опыты въ антологическомъ родѣ еще не разгадка послѣдняго слова современности и не удовлетвореніе всѣхъ ея потребностей. Къ-тому же всѣ не-антологическіе опыты г. Майкова почти ничтожны и не обѣщаютъ въ будущемъ особеннаго развитія и особенныхъ успѣховъ со стороны поэта. А между-тѣмъ, было время, когда люди, съ несравненно меньшимъ талантомъ, чѣмъ талантъ г. Майкова, считались едва не геніями, и стихотворенія ихъ были всѣмъ извѣстны. Непріятели «Отеч. Записокъ» не разъ, явно и намеками, старались внушить публикѣ мысль, будто-бы мы, для успѣха нашего журнала, производимъ въ геніи поэтовъ, помѣщающихъ свои произведенія въ нашемъ журналѣ. Здѣсь мы считаемъ кстати, не словами, а фактами доказать несправедливость подобнаго обвиненія. Наиболѣе превозносимые нами поэты, изъ новыхъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ и Гоголь. Изъ нихъ только одинъ Лермонтовъ былъ постояннымъ вкладчикомъ «Отеч. Зап.»; Пушкинъ и Грибоѣдовъ ничего не могли печатать въ журналѣ, начавшемся послѣ ихъ смерти; а Гоголь хотя и живъ и пишетъ, но доселѣ не помѣстилъ въ въ «Отеч. Зпискахъ» ни одной строки своей. Мы хвалимъ gratis, и наша любовь, наше уваженіе къ *великимъ* умершимъ всегда были и будутъ жарче и благоговѣйнѣе чѣмъ къ *малымъ* живымъ, хотя для нашего журнала послѣдніе могли бъ быть полезнѣе первыхъ... Мы цѣнимъ въ поэтѣ талантъ и геній независимо отъ его сотрудничества или несотрудничества въ нашемъ журналѣ. Мы были бы въ восторгѣ, еслибъ явился новый Лермонтовъ, и безъ умолка хвалили бы его, еслибъ онъ печаталъ свои стихи хотя бы даже въ «Маякѣ». Но—увы!—не смотря на весь пылъ нашихъ желаній привѣтствовать на Руси появленіе новаго великаго таланта,—мы ни въ чужихъ, ни въ

нашемъ журналѣ не видимъ не только новаго Лермонтова, но и что-нибудь похожее на него!..

И такъ, о стихахъ нѣчего и говорить. Настоящее время неплодородно и неудобно для нихъ, ибо требуетъ отъ стиховъ или очень многаго, или ничего.

До сихъ-поръ, говоря о стихахъ, мы разумѣли преимущественно лирическую поэзію. Обратимся къ тому роду поэзіи, который является въ стихахъ и въ прозѣ. Назадъ тому лѣтъ десять, нѣкто, г. Зиловъ, издалъ книжку басенъ, и послѣ, въ одномъ стихотвореніи, горько жаловался, что-де теперь читаютъ все неистовые романы, а басенъ не читаютъ. Изъ этого видно, что г. Зиловъ только въ половину постигъ дѣло: правда, для басни давно уже и безвозвратно прошло время; но г-ну Зилову слѣдовало бы обратить вниманіе и на то, что его басни были плохи, и что ему не слѣдовало бы съ такими баснями являться послѣ Хемницера, Дмитріева и Крылова. Сказка въ родѣ «Модной Жены» и «Причудницы» Дмитріева, и «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова, тоже давно отжила свой вѣкъ; но сказка въ родѣ «Графа Нулина» Пушкина и «Казначейши» Лермонтова можетъ здравствовать и теперь—

Да за нее не всякъ умѣетъ взяться!

Она въ особенности требуетъ юмора, а юморъ есть столько же умъ, сколько и талантъ. Однимъ словомъ, такая сказка и теперь—претрудная вещь. Романъ въ родѣ «Онѣгина», поэмы въ родѣ поэмъ Пушкина и Лермонтова, могутъ быть и теперь; но ихъ всѣ какъ-то боятся, и мы знаемъ только одинъ счастливый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ послѣднее время, именно маленькую «Парашу», вышедшую въ прошломъ году [176]). Этотъ родъ поэзіи гораздо труднѣе лирической, ибо требуетъ не ощущеній и чувствъ мимолетныхъ, которыя могутъ быть у многихъ, но и дара поэзіи, и образованнаго, *умнаго* взгляда на жизнь—что бываетъ очень не у многихъ. Писать же поэмы, какъ писали ихъ, напр., Козловъ, г. Подолинскій и прочіе, и теперь бы могли многіе; даже, лѣтъ пять назадъ, за нихъ принялся-было поэтъ не безъ дарованія, г. Бернетъ; но попытка оказалась неудачною: новое время—новыя и требованія, болѣе-трудныя для исполненія, чѣмъ прежнія. Опять вина не поэтовъ, а времени,—и ясно, что теперь нашу литературу обѣднило время, съ его неудобоисполнимыми требованіями, а не недостатокъ въ охотникахъ писать и въ такихъ талантахъ, какихъ довольно было во время оно... Драматическая поэзія допускаетъ равно и стихи и прозу, даже то и другое вмѣстѣ. Въ числительномъ отношеніи, это у насъ самая богатая отрасль литературы. Еще въ 1786—1794 годахъ былъ изданъ «Россійскій Ѳеатръ» въ *сорока трехъ* частяхъ: судите же какое богатство! Трагедіи писали у насъ и Тредьяковскій и Ломоносовъ, и Сумароковъ, и Херасковъ, и Княжнинъ, и Озеровъ, и Крюковскій, и многіе-многіе; а писавшихъ комедіи нѣтъ возможности перечесть на-скоро. И, однакожь, порядочныхъ трагедій

въ псевдо-классическомъ французскомъ родѣ, только четыре—Озерова; трагедію, въ родѣ шекспировскихъ драматическихъ хроникъ, мы имѣемъ только одну—«Бориса Годунова» Пушкина; и въ его *драматическихъ сценахъ*—нѣсколько опытовъ трагедіи собственно (*Пиръ во время Чумы, Моцартъ и Сальери, Скупой Рыцарь, Русалка, Каменный Гость*). Больше нѣ на что указать. Что касается до комедіи, въ которой съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, упражнялось множество писателей, какъ-то: Сумароковъ, Херасковъ, Княжнинъ, Капнистъ, Крыловъ, князь Шаховскій, гг. Загоскинъ, Хмѣльницкій, Писаревъ и пр. и пр.,—не смотря на огромное богатство нашей литературы въ произведеніяхъ этого рода, все-таки рѣшительно нѣ на что указать, кромѣ «Бригадира» и «Недоросля» Фонъ-Визина, «Горя отъ Ума» Грибоѣдова, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя, и его же «Сценъ» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская» и пр.). И такъ, чтобъ написать теперь трагедію, которая была бы не хуже «Бориса Годунова» и другихъ драматическихъ опытовъ Пушкина,—надо имѣть талантъ Пушкина. Нѣкоторые писатели, дѣйствительно, отважно рѣшились допытываться своего счастія на этомъ треволненномъ морѣ. Г-нъ Хомяковъ написалъ драмы «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ», изъ которыхъ первая даже была поставлена на сцену. Но всѣ скоро признали въ казакахъ г. Хомякова не казаковъ XVI столѣтія, а скорѣе нѣмецкихъ студентовъ добраго стараго времени; вмѣсто характеровъ, увидѣли олицетвореніе извѣстныхъ лирическихъ ощущеній и чувствованій, и вообще нѣчто въ родѣ пародіи на драматическій лиризмъ Шиллера,—пародіи, написанной, впрочемъ, бойкими, гладкими и даже, иногда, живыми стихами. Въ «Самозванцѣ» уже не только одни лирическія ощущенія и чувствованія, но и кое-какія доморощенныя идеи о русской исторіи и русской народности; стихи такъ же хороши, какъ и въ «Ермакѣ», мѣстами довольно-удачная поддѣлка подъ русскую рѣчь, и при этомъ, совершенное отсутствіе всякаго драматизма; характеры—сочиненные по рецепту; герой драмы—идеальный студентъ на нѣмецкую стать; тонъ дѣтскій, взгляды невысокіе, недостатокъ такта дѣйствительности совершенный. Потомъ, выступилъ на драматическое поприще г. Кукольникъ, съ своими драмами изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Отвлеченная идеальность, мѣстами хорошія лирическія выходки; изрѣдка недурныя драматическія положенія; но въ общности, невѣрность концепціи, монотонность вымысла и формы, недостатокъ истиннаго драматизма, и въ-слѣдствіе того, непобѣдимая скука при чтеніи—вотъ характеристика этихъ драмъ г. Кукольника. Но у него есть еще и другой родъ драмъ—это русско-историческія, какъ, напримѣръ, «Рука Всевышняго отечество спасла», «Скопинъ Шуйскій» и «Князь Холмскій». Въ этихъ нѣтъ ничего общаго съ «Борисомъ Годуновымъ», который до того проникнутъ вездѣ истинно-шекспировскою вѣрностію исторической дѣйствительности, что самые недостатки его,—какъ то: отсутствіе драматическаго движенія, преобладаніе эпическаго элемента, и, въ слѣдствіе этого—какое-то холодное, хотя и величавое спокойствіе, разли-

тое во всей пьесѣ,—происходятъ отъ-того, что она слишкомъ безукоризненно-вѣрна исторической дѣйствительности русской жизни. Въ драмахъ г. Кукольника нѣтъ и признаковъ этой дѣйствительности: все ложно, на ходуляхъ; лучшія мѣста—просто сценическіе эффекты, и сквозь русскіе охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то не-русское, какъ въ русско-историческихъ повѣстяхъ Марлинскаго, какъ въ русскихъ пѣсняхъ Дельвига. Доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить и то, что этотъ родъ драмы ловко былъ усвоенъ гг. Ободовскимъ, Полевымъ, В. Зотовымъ и другими сочинителями этого разряда. Но у г. Кукольника есть еще особый родъ драмы—это передѣланные въ драматическую форму анекдоты изъ жизни Петра Великаго (на-пр., «Иванъ Рябовъ, рыбакъ архангелогородскій»); въ нихъ много хорошаго, хоть и нѣтъ драмы, ибо изъ анекдота никакъ нельзя сдѣлать драму. Г. Полевой не упустилъ изъ вида отличиться и въ драмѣ, какъ отличился уже въ лирической поэзіи, въ романѣ, въ повѣсти, въ критикѣ, въ исторіи, въ журналистикѣ, въ политической экономіи, въ эстетикѣ, въ философіи, въ лингвистикѣ и проч. и проч. Особенный характеръ трагедій (или «драматическихъ представленій»), комедій, водевилей, анекдотическихъ драмъ г. Полеваго,—всеобъемлемость, универсальность; въ нихъ все найдете: немножко Шекспира, немножко Шиллера, немножко Мольера, немножко Вальтера Скотта, немножко Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена. Дюма гдѣ-то сказалъ, что онъ не похищаетъ чужаго въ своихъ сочиненіяхъ, но, подобно Шекспиру и Мольеру, беретъ свое, гдѣ только увидитъ его; эти слова можно приложить и къ г. Полевому: ему все годится, все подручно,—и исторія, и повѣсть, и романъ, и анекдотъ, Шекспиръ и Коцебу, Шиллеръ и г. Кукольникъ: онъ все беретъ и у всѣхъ учится. Его драмы родятся и умираютъ десятками, подобно лѣтнимъ эфемиридамъ. Нашъ Вольтеръ и Гете, онъ все одинъ—цѣлая наука. Извольте же угоняться за нимъ! пріймитесь за драму: онъ взялъ или возьметъ всевозможные сюжеты, какіе бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектами—все вмѣститъ онъ въ свою драму, во всемъ предупредитъ васъ. Нѣтъ, лучше и не беритесь за драму: кромѣ г. Полеваго, вамъ загораживаютъ дорогу гг. Хомяковъ и Кукольникъ. Вамъ по неволѣ прійдется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому-что уже всѣ источники изобрѣтенія истощены, всѣ роды перепробованы, всѣ дороги избиты. Нуженъ геній, нуженъ великій талантъ, чтобъ показать міру творческое произведеніе, простое и прекрасное, взятое изъ всѣмъ-извѣстной дѣйствительности, но вѣющее новымъ духомъ, новою жизнью. Еслибъ вы даже вздумали сочинить произведеніе въ родѣ «Разбойниковъ» Шиллера: васъ и тутъ предупредилъ, еще въ 1800 году, Нарѣжный, своимъ «Димитріемъ Самозванцемъ». Не пишите и романтической трагедіи съ дико-завывающими фразами, бѣдными смысломъ, но богатыми неистовствомъ, съ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ поэмы Байрона: васъ уже предупредилъ г. Олинъ своимъ «Корсаромъ»! Да; теперь потому ничего не пишутъ, что

уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не генія!...

Комедія еще болѣе приводитъ въ отчаяніе, нежели драма. Въ драмѣ, посредственность можетъ похитить что-нибудь у Шекспира, Вальтера Скотта, Мольера, подняться на-дыбы, ослѣпить толпу дикими и грубыми эффектами, пѣніемъ, пляскою, родственными обниманіями и т. п.; но въ комедіи совсѣмъ не то. Искусство смѣшить труднѣе искусства трогать. Неразвитаго человѣка можно растрогать поддѣльною чувствительностью, крикомъ вмѣсто чувства, эффектомъ вмѣсто потрясающей сцены; но чтобъ заставить разсмѣяться, даже грубымъ смѣхомъ, нужна природная веселость и своего рода юморъ. Скажутъ: толпу можно смѣшить, въ сценическихъ пьесахъ, переодѣваньями, оплеухами, толчками, потасовкою, неприличными и грубыми двусмысленностями, плоскими шутками и тому подобными комическими эффектами. Такъ и дѣлаетъ большая часть доморощенныхъ нашихъ драматурговъ, сочинителей и передѣлывателей комедій и водевилей: верхняя публика громко хохочетъ, нижняя апплодируетъ; но это обманъ сцены: ловкую игру актёра принимаютъ за достоинство пьесы, которая, по-своему позабавивъ одинъ вечеръ толпу, на другой вечеръ уже не нравится самой этой толпѣ, а въ чтеніи никуда не годится съ перваго раза. Если на минуту она была пріобрѣтеніемъ сцены, то ни на одну минуту не составляла пріобрѣтенія для литературы. Такія пьесы десятками родятся сегодня и десятками умираютъ завтра. Водевилистовъ и комиковъ нашихъ въ недѣлю не перечтешь по пальцамъ; ихъ произведеніямъ нѣтъ числа; а драматической литературы нѣтъ у насъ! Ни одинъ петербургскій чиновникъ, получающій до 1,000 рублей жалованья и поработавшій въ какой-нибудь газетѣ, по части объявленій о сигарочныхъ и овощныхъ лавочкахъ, не затруднится написать комедію, изображающую высшій свѣтъ, котораго онъ, бѣднякъ, и во снѣ не видалъ и о тонѣ котораго онъ судитъ по манерамъ своего начальника отдѣленія. Комедія требуетъ глубокаго, остраго взгляда въ основы общественной морали, и притомъ надо, чтобъ наблюдающій ихъ юмористически, своимъ разумѣніемъ стоялъ выше ихъ. Наши же доморощенные драматурги,— по-большой-части, люди среднихъ кружковъ, въ которыхъ съ успѣхомъ отличаются своею любезностью и остроуміемъ,—стараются, въ своихъ комедіяхъ и водевиляхъ, быть «критиканами» (*критиканъ*—тривіальное слово, равнозначительное *зубоскалу*) и возбуждать смѣхъ или пошлыми каламбурами, или плоскими остротами надъ модными костюмами, бородами и прическами à la russe, надъ простотою провинціала, пріѣхавшаго въ Петербургъ, словомъ, надъ всякою странною внѣшностью. Не таковъ истинный комизмъ и истинный юморъ. Для него внѣшность смѣшна не сама-по-себѣ, но какъ выраженіе внутренняго міра души человѣка, отраженіе его понятій и чувствъ. Мы могли бы привести изъ комедій Гоголя тысячи примѣровъ истиннаго комизма, но ограничимся двумя: вспомните сцену, гдѣ городничій *распекаетъ* купцовъ за ихъ доносъ ревизору: «Жаловаться? а кто тебѣ *помогъ сплу-*

«*товать*, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать-тысячъ, «тогда-какъ его и на сто рублей не было? *Я помогъ тебѣ*, козлиная бо«рода! Ты позабылъ это. Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также «спровадить въ Сибирь.—Что̀ скажешь, а?»... Вотъ это комизмъ, отъ котораго какъ-то тяжело смѣешься! Человѣкъ, безъ стыда, безъ совѣсти, ставитъ себѣ въ заслугу, что онъ *помогъ другому сплутовать*, и, словно оскорбленная добродѣтель, съ благороднымъ негодованіемъ упрекаетъ другого въ неблагодарности, какъ въ черномъ и низкомъ дѣлѣ. Это онъ говоритъ при женѣ и дочери, и это же онъ сказалъ бы при сынѣ, еслибъ у у него былъ сынъ. Фамусовъ, въ «Горе отъ Ума» говоритъ Скалозубу:

Нѣтъ! я передъ родней, гдѣ встрѣтится, ползкомъ,
Съищу ее на днѣ морскомъ!
При мнѣ служащіе чужіе очень-рѣдки:
Все больше сестрины, своячницы дѣтки.
Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой
И то затѣмъ, что дѣловой.
Какъ станешь представлять къ крестишку, иль къ мѣстечку,
Ну какъ не порадѣть родному человѣчку?

Черта глубоко-комическая! Въ Петербургѣ, слава-Богу, эта черта не слишкомъ бросается въ глаза, но въ провинціальной глуши, принципъ родства такъ силенъ, что тамъ скорѣе рѣшатся десять лѣтъ сряду не играть въ преферансъ, чѣмъ показать холодность къ родственнику въ семьдесятъседьмомъ колѣнѣ. Будь онъ плутъ отъявленный и человѣкъ съ самою дурною репутаціею, но если онъ вамъ родственникъ, онъ, отъ-роду не видавъ васъ, не только лѣзетъ съ своими губами къ вашему лицу, но и селится въ вашемъ домѣ, съ семьею, съ дворнею, и заставляетъ васъ втайнѣ проклинать судьбу, которая дала вамъ возможность имѣть собственный домъ. И онъ правъ: не останавливаться же ему въ трактирѣ, пріѣхавъ изъ своего помѣстья въ губернскій городъ, когда у него есть родственники; вѣдь они же обидѣлись бы такимъ грубымъ съ его стороны поступкомъ!.. И что̀ же? здѣсь еще не конецъ смѣшному: они дѣйствительно обидѣлись бы, если бъ онъ остановился *не* у нихъ, и они же проклинали бы втайнѣ и его и себя, а наружно дѣлали бы сладкія мины сквозь слезы, еслибъ онъ у нихъ остановился... Вотъ онъ, неисчерпаемый источникъ истиннаго комизма! Онъ вокругъ насъ и даже въ самихъ-насъ. Благодаря ему, мы смѣшны въ собственныхъ глазахъ. Но чуть только начнемъ мы писать комедію, выходитъ книга, въ которой много словъ, много пошлостей, много вздора, и нѣтъ ни сколько истины, дѣйствительности. Интрига всегда завязана на пряничной любви, увѣнчивающейся законнымъ бракомъ, но преодолѣніи разныхъ препятствій. Любовь у насъ во всемъ—и въ стихахъ, и въ романахъ, и въ повѣстяхъ, и въ трагедіяхъ, и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Подумаешь, что на

*

Руси люди только и дѣлаютъ, что влюбляются, да, по преодолѣніи разныхъ препятствій, женятся, — и, замѣтьте, всегда безкорыстно, безъ разсчетовъ на приданое, на связи, на выгодное мѣсто, всегда на дѣвѣ идеальной, дочери бѣдныхъ, но благородныхъ родителей. Гоголь сказалъ правду: «Теперь сильнѣе завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блес«нуть и затмить, во что̀ бы то ни стало, другого, отмстить за пренебреженіе, «за насмѣшку. Не болѣе ли имѣетъ теперь электричества денежный капи«талъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?» *). Но нашимъ комикамъ этого и въ голову не входило. Пошлый любовникъ съ пряничными фразами; пошлая барышня, нѣчто въ родѣ сантиментальной servante endimanchée, разлучникъ-негодяй и дядя-резонёръ, — неизмѣнныя лица ихъ комедій. Всѣ говорятъ, словно по книгѣ читаютъ; не услышишь живаго слова, и нѣтъ признака того, что̀ бываетъ въ дѣйствительности. Оно и лучше: никто не узна̀етъ себя и не осердится. Волки сыты и овцы цѣлы. Зато, если среди кучи этихъ вздорныхъ произведеній, появится водевильчикъ со смысломъ и хоть съ легонькимъ намекомъ на то̀, что въ-самомъ-дѣлѣ бываетъ, хоть съ искрою истины и вѣрности дѣйствительности,—Боже мой! сколько шума, какой тріумфъ! Словно появилось вѣковое произведеніе!... Такое событіе совершилось недавно,—и въ одной газетѣ авторъ хорошенькаго водевильчика приглашался передѣлать драматическія сочиненія Гоголя, чтобы сдѣлать ихъ сносными!!..[177]). Мы совѣтовали бы сочинителямъ оставить Гоголя въ покоѣ и пріискать себѣ какого-нибудь водевилиста, который бы исправилъ и сдѣлалъ сколько-нибудь сносными ихъ собственныя, изъ чужихъ лоскутьевъ сшитыя «драматическія представленія».

И вотъ, мы перебрали всѣ роды поэзіи, чтобъ показать, что теперь ни въ одномъ нѣтъ возможности съ успѣхомъ дѣйствовать не только бездарности, посредственности, но и людямъ не безъ таланта[178]). Бѣдность современной литературы происходитъ отъ-того, что все перепробовано, и новизною уже нельзя блеснуть какъ талантомъ. Это бѣдность честная, благородная, которая въ тысячу разъ лучше мнимаго богатства. Это успѣхъ, а не паденіе, огромный шагъ впередъ, а не назадъ. Теперь ужъ запертъ путь къ извѣстности и знаменитости всякому, у кого нѣтъ большого таланта. Вслѣдствіе этого, безталантность, посредственность и мелкія дарованія, которыхъ еще больше на бѣломъ свѣтѣ, чѣмъ людей совершенно-бездарныхъ, принялись за свое дѣло, на которое назначены они природою и судьбою; они составляютъ историческія компиляціи и статейки о нравахъ для политипажныхъ изданій. Когда картинки плохи, текстъ читается столько внимательно, сколько это нужно для объясненія картинокъ; когда картинки хороши (какъ напр., картинки г. Тимма), текстъ вовсе не читается; но сочинители отъ этого ничего не теряютъ: ихъ книги покупаются для картинокъ, и читатели

*) Сочиненія Николая Гоголя, 1842, ч. IV, стр. 527.

не въ претензіи за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительнѣе восхищаться хорошими картинками, чѣмъ пустыми книгами...

Время дѣтскихъ восторговъ прошло и настаетъ время мысли. Публика сдѣлалась требовательнѣе. Правда, она сама не отдала себѣ отчета въ томъ, чего требуетъ, но уже не удовлетворяется всѣмъ, чѣмъ ни поподчуетъ ее досужая дѣятельность писакъ. Время сознанія еще не настало, но уже близко начало этого сознанія. Пышные возгласы и великолѣпныя фразы ужъ всѣмъ кажутся пошлыми, и ими ужь никого нельзя заинтересовать. Никто не станетъ сомнѣваться въ существованіи русской литературы; но всякій имѣетъ право требовать настоящаго взгляда на ея объемъ и степень ея важности, и всякій имѣетъ право смѣяться, при пышныхъ сравненіяхъ ея съ иностранными литературами. Что у насъ есть литература, для этого достаточно знать, что у насъ есть Пушкинъ, и что мы, кромѣ Пушкина, съ гордостію можемъ указать еще на нѣсколько именъ. Наша литература имѣетъ и свою исторію, потому-что всѣ замѣчательныя ея явленія исторически-послѣдовательны и одни факты объясняются другими, предшествовавшими. Все это такъ; но вмѣстѣ съ этимъ, мы не должны забывать, что наша литература вначалѣ была пересаженнымъ цвѣткомъ, жизненность котораго долго поддерживалась искусственно, за стеклами теплицы. Очень и очень-недавно начала она пускать корни въ русскую почву. И какъ еще доселѣ тѣсна эта почва! Гдѣ та сплоченная масса, изъ жизни которой, какъ цвѣтокъ изъ почвы, возникла бы наша поэзія, и обратно дѣйствовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношеніе имѣетъ наша современная поэзія съ поэзіею народною?—Онѣ не только не родня одна другой—даже незнакомы другъ съ другомъ. Прочтите пьесу Пушкина не только мужику, но хоть иному и купцу первой гильдіи: что онъ о ней скажетъ?... Гдѣ наша публика, которая, силою своего мнѣнія, уронила бы безстыдно-торговый журналъ, или по крайней-мѣрѣ ограничила бы его дерзость и наглость? Она на многое сердится, многимъ не довольна, но чѣмъ именно, этого она сама не знаетъ, потому-что она—не сплошная масса, а собраніе людей различныхъ состояній, круговъ, требованій, понятій, привычекъ, собраніе людей, не связанныхъ между собою единствомъ мнѣнія. Выходятъ «Мертвыя Души»: большинство публики ими недовольно, охотно соглашается съ журнальною бранью враговъ автора—и въ то же время читаетъ, перечитываетъ и въ короткое время раскупаетъ двойное изданіе (2.400 экземпляровъ) «Мертвыхъ Душъ»... [179]) Это фактъ и очень-многозначительный! Для удовлетворенія своей жажды къ чтенію (а жажды къ чтенію въ ней нельзя отрицать) она ищетъ все новаго, бо́льшею частію забывая старое. Попробуйте сказать слово, что въ Ломоносовѣ, Державинѣ, Карамзинѣ есть не только достоинства, но и недостатки, и что, писатели прошлой эпохи, они для насъ уже далеко не то, чѣмъ были для нашихъ отцовъ и дѣдовъ,—и тотчасъ же многіе закричатъ, что у васъ нѣтъ уваженія къ заслуженнымъ авторитетамъ, что вы нагло топчете въ грязь великія

имена и т. п. И въ публикѣ сейчасъ же раздадутся голоса: «да, да, въ-самомъ-дѣлѣ! какъ это можно, на что это похоже!» И, вы думаете, это говорятъ люди, изучившіе Ломоносова, Державина, Карамзина? Нисколько; они даже и не читали этихъ писателей, но они привыкли по-наслышкѣ уважать эти имена... Отъ-того-то имъ и легко ихъ увѣрять въ чемъ угодно, и заставлять смотрѣть на дѣльную критику, которая силится показать истинное значеніе писателя, какъ на злонамѣренную брань [180]).

Та же незрѣлость и шаткость и въ нашей литературѣ. У насъ есть поборники европеизма, есть славянофилы и др. Ихъ называютъ литературными партіями. Смѣшное названіе! Всякія партіи имѣютъ свои корни въ обществѣ и бываютъ отголосками, или выраженіемъ различій и противорѣчій общественнаго мнѣнія. Наши же партіи составляются изъ литературныхъ кружковъ, изъ которыхъ въ каждомъ случайно набралось человѣкъ десятокъ, сошедшихся на вечерѣ за чаемъ, въ нѣкоторыхъ невинныхъ литературныхъ мнѣніяхъ и вкусахъ. И эти-то кружки называютъ себя «партіями». Въ добрый часъ! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало! Литераторство у насъ — дѣло между другими важнѣйшими дѣлами, отдыхъ отъ служебныхъ занятій, а чаще всего оно имѣетъ простое значеніе лишнихъ полутора или двухъ тысячъ рублей въ годъ, въ-добавокъ къ жалованью. Много ли у насъ литераторовъ, которые посвятили себя одной литературѣ, по призванію, по страсти къ ней.—У насъ уже понимаютъ, что занятіе литературою *между прочимъ*—дѣло очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При такомъ направленіи публики, странно было бы требовать литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны, и литература наша только въ немногихъ своихъ исключеніяхъ выше этой публики; но, взятая вообще, совершенно по-плечу ей. Наши литераторы большею частію не артисты, а дилетанты, которые, между дѣломъ и бездѣльемъ, почитываютъ и пописываютъ. Они убѣждены, что можно прежде всего дѣлать что-нибудь, хоть спекуляціи, а потомъ, въ свободное отъ главныхъ занятій время, почему и не написать чего-нибудь—вѣдь оно же и выгодно, между-прочимъ. Они убѣждены, что если кто написалъ въ жизнь свою три порядочныхъ романа, то уже великій писатель; а кто настрочилъ десятокъ фельетоновъ—тотъ уже знаменитый литераторъ. Два-три стихотворенія даютъ у насъ право на извѣстность; водевиль отворяетъ ворота въ храмъ славы. Отъ того, при всей бѣдности нашей литературы, у насъ литераторовъ бездна. Особенно богатъ ими Петербургъ. Затѣйте новый журналъ, новую газету, или, какъ теперь это болѣе въ ходу, воскресите старый журналъ или газету,—вы ни за милліоны не найдете издателя, который далъ бы новому изданію направленіе, жизнь и ходъ; зато, сотрудниковъ и особенно переводчиковъ не оберетесь. Даже не нужно искать и звать ихъ—сами прійдутъ. Сто или двѣсти изъ нихъ принесутъ вамъ, на первый случай, по сотнѣ стихотвореній, въ которыхъ нѣтъ ни поэзіи, ни смысла; пятьдесятъ принесутъ обѣщаніе—къ такому-то числу

представить по повѣсти, и, при сей вѣрной оказіи, спросятъ васъ, по-чемъ вы платите съ листа; десять принесутъ вамъ, въ самомъ дѣлѣ, по повѣсти, исполненной канцелярскаго юмора и чиновнической ироніи, или высокаго трагическаго пафоса à la Марлинскій,—что̀ однако не снабдитъ васъ матеріаломъ для вашего журнала. Что̀ касается до критики и библіографіи,—въ Петербургѣ столько критиковъ и библіографовъ, что, при ихъ помощи, вамъ легко было бы издавать сто толстыхъ и тысячу тонкихъ журналовъ. И не мудрено: вѣдь въ Петербургѣ родился тотъ знаменитый Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, который сочинилъ и *Сумбеку*, и *Фенеллу*, и *Юрія Милославскаго*, издавалъ *Библіотеку для Чтенія* и всѣ журналы, издававшіеся въ Петербургѣ... Критика у насъ считается самымъ легкимъ ремесломъ; за нее берутся всѣ съ особенной охотой, и рѣдко кому входитъ въ голову, что для критики нужно имѣть талантъ, вкусъ, познанія, начитанность, нужно умѣть владѣть языкомъ. Большая часть, напротивъ, думаетъ, что для этого нужно только знать, что всѣ наши—геніи и таланты, а всѣ не наши—люди не безъ таланта, если они намъ не мѣшаютъ, и люди бездарные, если мѣшаютъ. Теорія, какъ видите, самая простая, и чтобъ понять ее съ-разу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, имѣть мнѣніе, взглядъ, убѣжденіе. И потому, нѣтъ ничего обыкновеннѣе, какъ услышать жалобы, въ родѣ слѣдующихъ: «Скажите, пожалуйста, за что онъ (имя-рекъ) разбранилъ мой романъ, мою повѣсть, драму, водевиль, журналъ или книгу? Что̀ я ему сдѣлалъ? Вѣдь мы съ нимъ пишемъ въ разныхъ родахъ, или въ разныхъ журналахъ, и помѣшать другъ другу не можемъ?» Почти никому въ голову не входитъ, что можно, безъ всякихъ личныхъ отношеній къ человѣку, и даже зная его съ хорошей стороны, уважая его характеръ и сердце, не любить его взгляда на тотъ или другой предметъ и энергически противодѣйствовать этому взгляду, такъ же, какъ можно, любя и уважая человѣка, не уважать его сочиненій, какъ оскорбляющихъ вкусъ и умъ. Значитъ: понимаютъ энергію антипатіи за соперничество по деньгамъ, по самолюбію, по извѣстности и другимъ мелкимъ страстишкамъ и пристрастьишкамъ; но не понимаютъ энергіи антипатіи къ тому, что кажется ошибочнымъ мнѣніемъ, ложнымъ убѣжденіемъ, умышленнымъ или неумышленнымъ заблужденіемъ, безвкусіемъ, бездарностію. Кто-нибудь издалъ плохой романъ, въ которомъ удачно польстилъ грубому вкусу большинства и чрезъ то пріобрѣлъ большой успѣхъ,—а вы написали критику, въ которой показали въ истинномъ свѣтѣ незаконное чадо площадной фантазіи: вы завистникъ, ибо вамъ никто не повѣритъ, чтобъ можно было разсердиться на книгу, которая до васъ не касается; но всѣ повѣрятъ, что можно взбѣситься на чужой успѣхъ... И такіе-то «нравы» существуютъ между классомъ такъ называемыхъ литераторовъ!... Отъ-того, наши критики не занимаются старыми писателями, отъ которыхъ имъ уже ни пользы, ни потери быть не можетъ. Сегодня умеръ писатель, хотя бы великій, и завтра уже нѣчего толковать о немъ, исключая развѣ случая, если

его сочиненія издаются и расходъ ихъ можетъ повредить расходу сочиненій критика, или его пріятелей. Безъ этого случая, критики наши говорятъ только о современныхъ явленіяхъ, какъ бы они ни были ничтожны, особенно если эти сочиненія—ихъ собственныя. За то, какъ тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ, и неотдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!... И тѣмъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и съ энергіею, но которое, въ процессѣ своего безпрерывно-движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливое!... Но смотрятъ на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету,—не говоря уже о томъ, что отречься отъ своего мнѣнія, значитъ—признаться въ ошибкѣ, а это не совсѣмъ-лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда наклонно поддерживать, что дважды-два—пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ. А имѣть свой взглядъ, свое убѣжденіе, судить на какихъ-нибудь основаніяхъ, а не по голосу толпы—да это значитъ ни больше, ни меньше, какъ прослыть человѣкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ. Вздумайте писать не отрывочныя фразы, но большія и дѣльныя статьи, которыя бы стоили вамъ много труда и размышленія, напримѣръ, о Державинѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Пушкинѣ, Лермонтовѣ—и на васъ польется проливной дождь брани. Нужды нѣтъ, что вы говорите съ доказательствами, съ доводами; пусть въ вашихъ статьяхъ видны будутъ любовь и уваженіе къ разбираемымъ вами писателямъ,—сейчасъ найдутся люди, которые закричатъ въ одинъ голосъ: «ложь, пристрастіе, неуваженіе къ великимъ именамъ, дерзкое презрѣніе къ признаннымъ всѣми авторитетамъ!» И тщетно стали бы вы говорить, въ отвѣтъ на эти брани, что вы отнюдь не признаёте себя непогрѣшительнымъ и очень-хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всѣмъ людямъ, но желаете, чтобъ вамъ доказали вашу ошибку и показали, въ чемъ именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желаніе, ваше справедливое требованіе никогда не будутъ выполнены, потому-что противники ваши находятъ свои причины видѣть ваши мнѣнія ложными и пристрастными, но не находятъ въ себѣ ни силъ, ни умѣнья, слѣдовательно, и ни охоты доказать справедливость своего обвиненія противъ васъ. А что же дѣлаетъ въ это время публика? Большая часть ея всегда охотнѣе присоединяется къ этимъ крикунамъ, ибо если и большая часть нашихъ литераторовъ, заправляющихъ мнѣніемъ публики, подъ «критикою» разумѣютъ брань, а слово «критиковать» объясняютъ словомъ «ругать», то какъ же иначе стало бы понимать критику большинство, толпа? У насъ ужь такъ изстари ведется: если кого хвалить, такъ ужь все

надо находить безусловно хорошимъ и позволяется слегка замѣтить что-нибудь, развѣ только о неисправности изданія, опечатки и т. п.; а если кого бранить, такъ ужь бей съ-плеча! По-этому, критики съ самостоятельнымъ взглядомъ у насъ всегда играли очень-непріятную роль. Для доказательства этого, предлагаемъ здѣсь на выдержку нѣсколько строкъ Мерзлякова, выписанныхъ нами изъ «Вѣстника Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224—227):

«Можетъ быть нѣкоторые скажутъ, что у насъ литература еще не весьма богата, и не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ общества; что критика еще не найдетъ обильнаго для себя поля, и что ею заниматься рано. Но правда ли, что мы такъ бѣдны? Для чего обижать самимъ себя! Мы уже имѣемъ превосходныхъ писателей почти во всѣхъ родахъ словесности. Одинъ Державинъ представляетъ огромнѣйшій, разнообразный садъ для ума и вкуса разборчиваго! Кому не пріятно внимать величественной лирѣ Ломоносова? Кто откажется слѣдовать за Богдановичемъ въ очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патріотизмомъ, стремиться на крылахъ пламенныхъ за важнымъ Херасковымъ подъ твердыни казанскія, къ грознымъ пожарамъ Чесмы! Но на что, возразятъ, касаться сихъ почтенныхъ именъ? Они уже освящены общимъ мнѣніемъ!—Странное благоговѣніе къ мужамъ великимъ,—думать, что мы дѣлаемъ имъ честь, когда не смѣемъ заглянуть въ ихъ сочиненія, не смѣемъ сказать объ нихъ ни слова! Такого рода уваженіе похоже на набожность Китайцевъ, благоговѣющихъ передъ старыми своими книгами, которыя, будучи неприступны для ума просвѣщеннаго, остаются корыстію мышей и времени! И у насъ есть Китайцы въ семъ смыслѣ! Для чего жъ и для кого трудились сіи великіе писатели! Хотѣли ли они быть полезными будущему поколѣнію? Если хотѣли, то дали право разбирать свои сочиненія! И кого жъ другаго почтить разборомъ, какъ не ихъ? Только твердые камни полируются; слабые и легкіе не стоятъ и не выносятъ полировки.

«Странное мнѣніе имѣемъ мы о критикѣ! Дитя не смотритъ только на помаренныя ему куклы, но ихъ раскладываетъ, даетъ ему мѣста, разговариваетъ съ ними; хорошій библіотекарь не кидаетъ книгъ въ кучу, но даетъ имъ порядокъ, знаетъ каждой цѣну и достоинство; садовникъ также поступаетъ съ своими любимыми цвѣтами и деревьями; онъ пользуется отъ трудовъ своихъ. Почему же мы, имѣя такія сокровища на языкѣ россійскомъ, хотимъ знать ихъ только по имени, или, что̀ еще хуже, повторять объ нихъ чужія мысли, часто невѣрныя? для чего самому не имѣть своего мнѣнія, самому не наслаждаться? Мнѣ докажутъ, что мнѣнія мои ложны—отступаюсь; но я человѣкъ и имѣю право—мыслить. *Но у насъ мало писателей!* И такъ, хотите ли, чтобъ ихъ число умножалось? Будьте къ нимъ внимательнѣе, или то же, разбирайте ихъ; отъ этого они умножаются и скорѣе достигаютъ совершенства.—*Умножаются*—почему? Вниманіе публики возбуждаетъ соревнованіе. Увидѣвъ, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидѣвъ, сколь почтенно выйдти изъ обыкновеннаго круга людей, всякой захочетъ испытать силы свои на столь блистательномъ поприщѣ. Покажите важность искусства: атлеты не замедлятъ явиться. Я сказалъ: *скорѣе достигаютъ совершенства*; писатель не достигнетъ его, если публика не въ силахъ, или не хочетъ судить объ немъ; ибо въ рукахъ публики—его награды; она раздражаетъ его честолюбіе, и возбуждаетъ къ великимъ усиліямъ. Равно-

душіе наше—убійство словесности. Публика и писатель другъ друга награждаютъ: писатель даетъ ей пищу; она его образуетъ; одинъ доставляетъ ей удовольствіе, другая вѣнчаетъ его славою! Свидѣтели той или другой истины—всѣ просвѣщенныя государства Европы. Ни въ какое время не было у нихъ столько хорошихъ писателей, какъ при царствованіи критики».

Итакъ, на что̀ жаловался умный литераторъ и что̀ силился онъ растолковать назадъ тому ровно *тридцать лѣтъ*, на это же можно жаловаться и это же должно объяснять—теперь!!... Вотъ какъ быстро и шибко подвигается впередъ наше литературное образованіе!.. Сказано, что Державинъ великъ: такъ зачѣмъ намъ знать, *какъ*, *чѣмъ* и *почему* онъ великъ; а если онъ великъ, какіе же у него могутъ быть недостатки? Чтобъ узнать, почему онъ великъ и какіе въ немъ есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о немъ; а чтобъ знать, что онъ великъ и никакихъ недостатковъ не имѣетъ, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что̀ вѣдь гораздо-легче! Такъ думаютъ, хотя и не такъ говорятъ. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомеръ и Шекспиръ и несравненно-выше Державина, однакожъ и они, оставаясь по-прежнему великими геніями, все-таки для насъ не то, чѣмъ были въ свое время, ибо жизнь неистощима въ проявленіяхъ творческой силы, и всякое время должно имѣть свою поэзію, соотвѣтствующую требованіямъ этого времени. Васъ не будутъ слушать, ибо требуютъ словъ, а не идей, дѣтскихъ споровъ за имена, а не объясненія значеній этихъ именъ. «Какъ!» кричатъ вамъ: «пересчитывая знаменитыхъ нашихъ писателей, вы имя Жуковскаго поставили послѣ имени Батюшкова;—конечно, Батюшковъ былъ человѣкъ съ талантомъ, но все же нельзя его равнять съ Жуковскимъ!» Или: «вы Пушкина поставили на одну доску съ Баратынскимъ!». При этихъ крикахъ, остается только заткнуть уши; вы видите, что васъ не поняли, вашимъ словамъ придали дѣтское значеніе, о которомъ вы и не думали,—и вамъ невольно становится стыдно собственныхъ своихъ словъ, и вы лучше хотите, чтобъ вамъ приписывали какія-угодно нелѣпости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, напр., сказали что есть два рода великихъ поэтовъ: одни, съ печатью олимпійскаго происхожденія на челѣ, изображаютъ міръ какъ онъ есть, принимая его дѣйствительное состояніе, во всякій данный моментъ, за непреложно-разумное: и каковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ—Шекспиръ, и къ такому разряду поэтовъ принадлежитъ нашъ Пушкинъ; другіе, недовольные уже совершившимся цикломъ жизни, носятъ въ душѣ своей предчувствіе ея будущаго идеала: таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ—Байронъ, и къ такому разряду принадлежитъ нашъ Лермонтовъ. Вы сказали это для того, чтобъ обозначить характеръ и духъ поэзіи Пушкина и поэзіи Лермонтова, понимая всю неизмѣримость разстоянія, раздѣляющаго великаго міроваго поэта Шекспира отъ великаго русскаго поэта Пушкина, и громаднаго Байрона отъ безвременно-погибшаго юноши; а вамъ кричатъ:

«О-го! вотъ какъ! Пушкинъ наравнѣ съ Шекспиромъ, Пушкинъ—Шекспиръ, а Лермонтовъ—Байронъ!»... Что́ тутъ говорить! Все важное такъ легко сдѣлать смѣшнымъ въ глазахъ толпы, которая не вникаетъ въ дѣло и увлекается плоскою шуткою... Вотъ еще примѣръ дѣтскости понятій въ русской литературѣ о критикѣ: сколько литераторовъ, сколько критиковъ писало, пишетъ и, вѣроятно, еще долго будетъ писать, что дѣло критика—гладить по головкѣ всякаго писаку, въ надеждѣ, что авось-либо выйдетъ изъ него геній или талантъ, что строгая критика можетъ убить возникающій талантъ, а о талантѣ-де нельзя судить по первому произведенію. Напрасно станете вы возражать на это, что истиннаго призванія не убьетъ никакая критика—ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность, и что не стóитъ жалѣть о талантѣ, струсившемъ, по самолюбію, перваго суроваго приговора критики, ибо дóроги таланты, а не талантики... [181])

Но не будемъ вдаваться въ крайности. Смѣшно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая такъ смѣло мѣрялась силами съ любою европейскою литературою, и на французскую даже смотрѣла съ презрѣніемъ, живя и дыша, въ то же время, займами у нея; также смѣшно можетъ быть и отчаяніе за русскую литературу. Будемъ смотрѣть на то́, что есть, смѣло, не прикрашивая дѣйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотрѣть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного,—это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать того, что́ имѣемъ, но не будемъ и отказываться отъ того, что́ есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь *ста-четырехъ* лѣтъ мы имѣемъ даже много, если не будемъ считаться, словно съ рóвнями, съ европейскими литературами, которыя развились вѣками. Но важнѣе всего то́, что наша юная, возникающая литература, какъ мы замѣтили выше,—имѣетъ уже свою литературу, ибо всѣ ея явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и всѣ находятся въ болѣе или менѣе живомъ, органически-послѣдовательномъ соотношеніи между собою.

Бѣдность русской литературы въ настоящее время — также необходимое слѣдствіе историческаго развитія и хода ея вообще. Мы уже говорили объ этомъ; но намъ еще остается сказать кое-что. Мы съ особенною подробностью развили ту мысль, что всѣ роды попытокъ и опытовъ уже истощены, а потому обыкновенные таланты лишены возможности въ чемъ-нибудь успѣвать; но мы только мимоходомъ замѣтили, что въ то же время даны образцы истиннаго творчества, которымъ подражать нельзя и которые если не мѣшаютъ съ большимъ или мéньшимъ успѣхомъ дѣйствовать талантамъ, то уже не подражательнымъ, а самобытнымъ, и которые убили совершенно возможность успѣха для обыкновенныхъ дарованій, доселѣ игравшихъ такую важную роль. Объ этомъ стоитъ поговорить подробнѣе и обстоятельнѣе.

Въ нѣкоторыхъ русскихъ журналахъ, публика встрѣчаетъ постоянныя выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшіеся. Въ нихъ обыкновенно смѣются надъ малороссійскимъ *жартомъ*, надъ украинскимъ юморомъ и т. п. Недавно, въ одномъ изъ такихъ журналовъ,по поводу разбора какой-то книги въ юмористическомъ тонѣ, сказано:

„Надо сказать по совѣсти: велика сила подражательности въ нашей литературѣ! Мы долго не шутили; насъ считали въ Европѣ за народъ серьозный и нѣсколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поемъ, но никогда не смѣемся; все это могла быть правда въ прежнее время; но дѣло въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степнаго *жартованія*. Съ-тѣхъ-поръ, какъ малороссійская фарса посѣтила нашу важную и чинную литературу подъ именемъ юмору, остроуміе и веселость вдругъ у насъ развязались. Вотъ что значитъ — не испытать дѣла лично! Нѣкогда остроуміе казалось намъ мудреною вещью! Мы съ такимъ почтеніемъ снимали шляпу передъ всякимъ остроуміемъ! Попробовавъ сами этого чуднаго искусства, мы удивились его легкости. — Ce n'est que ça?.. спросилъ каждый изъ насъ у своего сосѣда съ изумленіемъ.—И шутливость вспыхнула изъ насъ волканомъ. Теперь мы шутимъ, *жартуемъ*, *фарсимъ*, какъ чумаки въ степи. [152])

Авторъ этихъ строкъ хотѣлъ сказать одно, а вышло у него совсѣмъ другое. Онъ хотѣлъ пошутить, посмѣяться, уколоть *кое-кого*, не называя его по имени,—и указалъ на фактъ современной русской литературы, фактъ, который трудно сдѣлать смѣшнымъ и не такому остроумному перу, какимъ владѣетъ авторъ выписанныхъ нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что, со времени выхода въ свѣтъ «Миргорода» и «Ревизора», русская литература приняла совершенно-новое направленіе. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдѣлалъ въ русской романической прозѣ такой же переворотъ, какъ Пушкинъ въ поэзіи. Тутъ дѣло идетъ не о стилистикѣ, и мы первые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нѣтъ, здѣсь дѣло идетъ о двухъ болѣе важныхъ вопросахъ: *о слогѣ и о созданіи*. Къ достоинствамъ языка принадлежитъ только правильность, чистота, плавность, чего достигаетъ даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ, это—самъ талантъ, сама мысль. Слогъ, это—рельефность, осязаемость мысли; въ слогѣ весь человѣкъ; слогъ всегда оригиналенъ какъ личность, какъ характеръ. По-этому, у всякаго великаго писателя свой слогъ: слога нельзя раздѣлить на три рода—высокій, средній и низкій: слогъ дѣлится на столько родовъ, сколько есть на свѣтѣ великихъ или по-крайней-мѣрѣ сильно-даровитыхъ писателей. По почерку узнаютъ руку человѣка, а на почеркѣ основываютъ достовѣрность собственноручной подписи человѣка: по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти—картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣньи до того ярко и выпукло изливать мысли, что онѣ кажутся какъ-будто нарисованными, изваянными изъ

мрамора. Если у писателя нѣтъ никакого *слога*, онъ можетъ писать самымъ превосходнымъ *языкомъ*, и все-таки неопредѣленность и—ея необходимое слѣдствіе—многословіе будутъ придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляетъ при чтеніи и забывается тотчасъ по прочтеніи. Если у писателя есть слогъ, его эпитетъ рѣзко-опредѣлителенъ, всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, и въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая многихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочиненіе иностраннаго писателя, имѣющаго слогъ: вы увидите, что онъ, своимъ переводомъ, расплодитъ подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни опредѣленности. Гоголь вполнѣ владѣетъ слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своею яркою вѣрностію природѣ и дѣйствительности. Самъ Пушкинъ, въ своихъ повѣстяхъ далеко уступаетъ Гоголю, имѣя свой слогъ и будучи, сверхъ-того, превосходнѣйшимъ стилистомъ, т. е. владѣя въ совершенствѣ языкомъ. Это происходитъ отъ-того, что Пушкинъ, въ своихъ повѣстяхъ, далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ, или въ «Исторіи Пугачевскаго Бунта», написанной по-тацитовски. Лучшая повѣсть Пушкина—«Капитанская Дочка», далеко не сравнится ни съ одною изъ лучшихъ повѣстей Гоголя, даже въ его «Вечерахъ на Хуторѣ». Въ «Капитанской Дочкѣ» мало творчества и нѣтъ художественно-очерченныхъ характеровъ, вмѣсто которыхъ есть мастерскіе очерки и силуеты. А между-тѣмъ, повѣсти Пушкина стоятъ еще гораздо выше всѣхъ повѣстей предшествовавшихъ Гоголю писателей, нежели сколько повѣсти Гоголя стоятъ выше повѣстей Пушкина. Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Гоголя—не какъ образецъ, которому бы Гоголь могъ подражать, а какъ художникъ, сильно двинувшій впередъ искусство и не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывшій въ сферѣ искусства новые пути. Главное вліяніе Пушкина на Гоголя заключалось въ той народности, которая, по словамъ самого Гоголя, «состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа». Статья Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ», лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ чемъ состояло вліяніе на него Пушкина. Пріученная къ тону и манерѣ повѣстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерахъ» Гоголя. Это былъ совершенно новый міръ творчества, котораго никто не подозрѣвалъ и возможности. Не знали, что думать о немъ; не знали, слишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ-дурное. Повѣсти въ «Арабескахъ»: «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго», потомъ «Миргородъ» и наконецъ «Ревизоръ» вполнѣ обрисовали характеръ гоголевой поэзіи, и публика, равно какъ и литераторы, раздѣлились на двѣ стороны, изъ которыхъ одна, преусердно читая Гоголя, увѣрилась, что имѣетъ въ немъ русскаго Поль-де-Кока, котораго можно читать, но подъ-рукою, не всѣмъ признаваясь въ этомъ; другая увидѣла въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвѣстный доселѣ міръ творчества. Число послѣднихъ было несравненно-меньше числа

первыхъ, но за то послѣдніе, въ этомъ случаѣ, представляли собою публику, а первые—толпу. Наша толпа отличается невѣроятною чопорностію, достойною мѣщанскихъ нравовъ: она всего больше хлопочетъ о хорошемъ тонѣ высшаго общества, и видитъ дурной тонъ именно въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя читаются въ салонахъ высшаго общества. Между-тѣмъ, реформа въ романической прозѣ не замедлила совершиться, и всѣ новые писатели романовъ и повѣстей, даровитые и бездарные, какъ-то невольно подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положеніе: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ о его произведеніяхъ, они невольно впадали въ его тонъ и неловко подражали его манерѣ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ нѣсколько лѣтъ, и всѣ другіе романисты, авторы повѣстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотолѣ бездарности, что съ-горя перестали писать, а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать вниманіе только на молодыхъ талантливыхъ писателей, которыхъ дарованіе образовалось подъ вліяніемъ поэзіи Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немного, да и они пишутъ очень мало. И вотъ еще одна изъ главныхъ причинъ бѣдности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всѣхъ виноватъ въ ней, такъ это, безъ сомнѣнія, Гоголь. Безъ него, у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и теперь съ прежнимъ успѣхомъ. Безъ него, Марлинскій и теперь считался бы живописцемъ великихъ страстей и трагическихъ коллизій жизни; безъ него, публика русская и теперь восхищалась бы «Дѣвою Чудною», барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумія, бездну юмору, образецъ изящнаго слогу [183]), сливки занимательности и пр. и пр.

Гоголь убилъ два ложныя направленія въ русской литературѣ: натянутый, на ходуляхъ стоящій идеализмъ, махающій мечомъ картоннымъ, подобно разрумяненному актёру и потомъ — сатирическій дидактизмъ. Марлинскій пустилъ въ ходъ эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляній поддѣльнаго байронизма; всѣ принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркѣ, то Лировъ [184]) и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицмундирѣ. Можно было подумать, что Россія отличается отъ Италіи и Испаніи только языкомъ, а отнюдь не цивилизаціею, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Италіи, ни въ Испаніи люди не кривляются, не говорятъ изысканными фразами, и не безпрестанно рѣжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту рѣзню высокопарными монологами. Презрѣніе къ простымъ чадамъ земли дошло до послѣдней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служилъ въ департаментѣ, или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или уѣздномъ судѣ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ и поэзію предпочиталъ существенности,—тотъ ужъ не годился въ герои романа или повѣсти, и неизбѣжно дѣлался добычею сатиры, съ нравоучительною цѣлью. И—Боже

мой!—какъ страшно бичевала эта сатира всѣхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человѣчества. Она такъ безобразно отдѣлывала ихъ своею мочальною кистью, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей, и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не рѣшался брать взятокъ, ни предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время,—и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такою литературою, теперь часто ссорится съ нею, говоря: какъ можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то—и многіе изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что ничего не бываетъ, напр., подобнаго тому, что выставлено въ «Ревизорѣ», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно, и пр. И всѣ, довольные и недовольные «Ревизоромъ», знаютъ чуть не на-изустъ эту комедію Гоголя... Такое противорѣчіе стоитъ того, чтобъ обратить на него вниманіе.

Прежде, сатира смѣло разгуливала между народомъ, середи бѣлаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. *сатирою*,—и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отъ-чего это?—отъ того, что никто не узнавалъ себя въ ней; отъ-того, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имѣетъ полное право не принять на свой счетъ; отъ-того, что она была книгою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу реторики... И давно ли право-описательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло?—и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лѣтомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ,—и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, къ дряхлому беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шеѣ, и охотно кормили его избытками своей трапезы. Отъ-чего это?—отъ-того, что пороки, которые гналъ сатирикъ, были вовсе не пороки, а развѣ отвлеченныя идеи о порокахъ, реторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирическій донъ-Кихотъ,—такъ же, какъ добродѣтель, за которую онъ ратовалъ, была для него воображаемою Дульцинеею, а для другихъ—толстою, безобразною коровницею. Теперь нѣтъ сатиры и только развѣ какой-нибудь старый сочинитель рѣшится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ «сатирика»: теперь пишутся романы и повѣсти, безъ всякихъ сатирическихъ намѣреній и цѣлей,—а между-тѣмъ, всѣ на нихъ сердятся. Отъ-чего же это?—отъ-того, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность и бездарность—всѣ стремятся изображать дѣйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дѣйствительные люди обитаютъ на землѣ и въ обществѣ, а не на воздухѣ, не въ облакахъ, гдѣ живутъ одни призраки, то,

естественно, писатели нашего времени, вмѣстѣ съ людьми, изображаютъ и общество. Общество также — нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляютъ не одни костюмы и прическа, но и нравы, обычаи, понятія, отношенія и т. д. Человѣкъ, живущій въ обществѣ, зависитъ отъ него и въ образѣ мыслей и въ образѣ своего дѣйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человѣка, они стараются вникать въ причины, отъ-чего онъ таковъ, или не таковъ, и т. д. Въ-слѣдствіе этого, естественно, они изображаютъ не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдѣльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ-то и видитъ личности, гдѣ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. Прежніе такъ-называемые сатирики именно списывали съ извѣстныхъ имъ лицъ—и казались въ глазахъ всѣхъ неподлежащими упреку въ личностяхъ. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копіяхъ, потому-что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другого лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи *отвлечены* отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же, эти *сатирики* смотрѣли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло имѣть и не имѣть по своей волѣ и что пріобрѣсти или отъ чего избавиться оно легко могло по прочтеніи убѣдительной сатиры, гдѣ ясно, по пальцамъ, доказана выгода и сладость добродѣтели и опасныя, пагубныя слѣдствія порока. Вотъ почему, эти добрые сатирики брали человѣка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормошили на-досугѣ это созданное ихъ воображеніемъ чучело. Въ основаніе своего сатирическаго донъкихотства, они положили общественную нравственность, добродушно не подозрѣвая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественную нравственность, ужасно противорѣчили этой нравственности. Такъ, напр., въ числѣ первыхъ добродѣтелей они полагали безусловное повиновеніе родительской власти, и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по разсчету—дѣло безнравственное, что низкопоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство—тоже дѣла безнравственныя. Очень хорошо; но что же иному юношѣ дѣлать, если онъ съ малолѣтства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговѣніе къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мѣстамъ, къ значительности въ обществѣ, къ богатству, къ хорошей партіи, блестящей карьерѣ; если его младенческій слухъ былъ оглашонъ не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: *взялъ*, *получилъ*, *пріобрѣлъ*, *надулъ* и т. п.? Положимъ, что *такому* юношѣ природа не отказала въ человѣческихъ чувствахъ и стремленіяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бѣдной, простого званія дѣвушкѣ, любовь, запрещающая ему соединиться съ противною ему богатою дурою, на которой,

по разсчетамъ, приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношѣ пробудилось человѣческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту, или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совѣсть, запрещающая употреблять во зло ввѣренные ему высшею властію вѣсы правосудія и расхищать ввѣренныя его безкорыстію общественныя суммы; что̀ ему тутъ дѣлать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвѣтитъ: «жениться на предметѣ любви своей, служить честно и вѣрно отечеству»... Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдѣ уваженіе къ родительскому благословенію, навѣки нерушимому, гдѣ страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія?.. И потомъ, гдѣ уваженіе къ общественному мнѣнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ, по любви, или не по любви женились вы, а спрашиваетъ, сколько вы взяли за женою, и приличная ли она вамъ партія; общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сдѣлались вы богачемъ, когда ему извѣстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копейки, а за супругою вы взяли не Богъ знаетъ что̀, или и вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и *потому* считаетъ васъ очень-хорошимъ — «благонамѣреннымъ» человѣкомъ... Послушайся нашъ юноша сатирика, что̀ бы вышло? — отецъ его бросилъ бы, жалуясь на неповиновеніе и презрѣніе къ его власти; потомъ, онъ прошелъ бы, съ женою и дѣтьми, черезъ всѣ мытарства, черезъ всѣ униженія голодной, неопрятной, оборванной бѣдности; видѣлъ бы къ себѣ презрѣніе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе былъ бы заклейменъ отъ всѣхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и «неблагонамѣреннаго» человѣка, вольнодумца, и проч., и пр. И не-уже-ли вы, «благонамѣренные» сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсилѣвъ въ тяжелой и безплодной борьбѣ, онъ дойдетъ до страшнаго убѣжденія, что его бѣдность, его несчастія — необходимыя слѣдствія отцовскаго гнѣва, заслуженная кара за презрѣніе общественнаго мнѣнія и общественной нравственности?.. Но, къ-счастію или къ-несчастію — не знаемъ, право, — такіе случаи весьма-рѣдки, какъ исключенія изъ общаго правила. По-большей-части бываетъ такъ: юноша не долго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о безкорыстіи и правотѣ и уваженіемъ общества: онъ женится на комъ прикажутъ дражайшіе родители, живетъ съ женою какъ всѣ, т. е. прилично содержитъ ее, воспитываетъ дѣтей своихъ какъ всѣ, т. е. прилично кормитъ и одѣваетъ ихъ, учитъ по-французски и танцовать, а послѣ этого перваго и важнѣйшаго періода воспитанія отдаетъ въ учебное заведеніе, потомъ выгодно пристраиваетъ въ службу, выгодно женитъ (или выдаетъ замужъ) и, умирая, отказываетъ имъ «благоприобрѣтенное» на службѣ имѣніе. И что̀ же? Въ началѣ его поприща всѣ превозносятъ его, какъ почтительнаго сына, въ концѣ поприща — какъ нѣжнаго супруга, примѣрнаго отца, «благонамѣреннаго» чиновника и заключаютъ такъ: «вотъ что̀ значитъ уваженіе къ общественной нравственности! вотъ

что̀ значитъ родительское благословеніе, навѣки нерушимое!» Итакъ, нашъ «благонамѣренный» сатирикъ, бичъ пороковъ самымъ нелѣпымъ образомъ противорѣчилъ самому-себѣ: поставивъ выше всѣхъ добродѣтелей повиновеніе не Богу, не истинѣ, а эгоистическимъ разсчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу слѣдовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещалъ ему торговать священнѣйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уваженіе общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго общества... Впрочемъ, онъ это дѣлалъ, самъ не зная что̀ дѣлаетъ, и потому его сатиры не производили никакихъ слѣдствій. Бывало, выйдетъ сатирическій романъ съ похожденіями какого-нибудь пройдохи, вродѣ извѣстныхъ похожденій Совѣстдрала-Большаго-Носа,—романъ, въ которомъ уже самыя имена дѣйствующихъ лицъ—*Ухорѣзовы, Надувалюсы, Шлюхины, Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстины, Миловидины, Правдолюбовы* и т. п. обнаруживали нравственную мысль сочинителя,—и что̀ же?—самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадъ, самый отчаянный шулеръ читалъ этотъ романъ съ удовольствіемъ и вездѣ расхваливалъ его вслухъ, говоря: «какой славный слогъ! во всемъ чистѣйшая нравственость; добродѣтель торжествуетъ, порокъ наказанъ —чего же больше? чудесный романъ!»

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно, вмѣстѣ съ дѣтствомъ нашей литературы. Теперь выходятъ изъ моды и герои добродѣтели и чудовища злодѣйства, ибо ни тѣ, ни другіе не составляютъ массы общества. Вмѣсто ихъ, дѣйствуютъ люди обыкновенные, какихъ больше всего на свѣтѣ—ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по-большей-части положительно необразованные, положительно невѣжды, но отнюдь не дураки. Ихъ смѣшное заключается въ противорѣчіи ихъ словъ съ дѣлами, въ лицемѣрномъ и превратномъ смыслѣ, въ какомъ они говорятъ о добродѣтели, о безкорыстіи, о благонамѣренности. А они говорятъ *всѣ* какъ *одинъ:* слѣдовательно, этотъ «одинъ» или эти «всѣ» есть общество. Не-уже-ли же, скажутъ намъ, наше общество стоѝтъ на такой низкой степени, что ничего не можетъ дать писателю, кромѣ смѣшнаго и комическаго? Не-уже-ли наше общество ужъ до такой степени хуже и ничтожнѣе общества всѣхъ другихъ государствъ Европы?—На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣчать и искренно и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тотъ не можетъ не знать, что ихъ направленіе, взятое вообще, а не частно, еще болѣе юмористическое, чѣмъ направленіе нашей литературы. Прочтите, напр., «Оливера Твиста» и «Бэрнеби Роджа» Диккенса, перваго теперь романиста Англіи [185]), и вы убѣдитесь, что въ просвѣщенной Англіи, гордящейся тысячелѣтнею цивилизаціею, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ, невѣждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездѣ, да еще, въ-придачу, много такихъ злодѣевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ попадаются только какъ рѣдкія исключенія. Прочтите «Les Mystéres de Paris» Эжена

Сю — и вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургѣ, а не въ Парижѣ, и что если въ тѣсной толпѣ рискуете иногда лишиться платка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажутъ намъ, въ «Бэрнеби Роджѣ» и въ «Парижскихъ Тайнахъ» есть нѣсколько и такихъ лицъ, на которыхъ отдыхаетъ душа читателя, утомленная зрѣлищемъ злодѣйствъ:—правда; но зато нельзя не согласиться, что добродѣтельныя лица въ романѣ Диккенса безцвѣтны и скучны; таковы идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гэрдаль и мать Бэрнеби; а въ «Парижскихъ Тайнахъ»—невѣроятны. Изъ добродѣтельныхъ лицъ романа Диккенса, всѣхъ лучше милая, граціозная и кокетливая Долли, забавный оригиналъ ея отецъ, мэстеръ Уарденъ, и ея возлюбленный Джой: вы въ нихъ видите и слабости и странности, но еще болѣе любите ихъ за эти слабости и странности, черезъ которыя и узнаёте въ нихъ живыя человѣческія лица, дѣйствительные характеры, а не картонныя куклы съ надписями на лбу: *гонимая добродѣтель, несчастная любовь, идеальная дѣва*, и т. п. Въ «Парижскихъ Тайнахъ» также лучшія лица — не самыя добродѣтельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тѣ, въ которыхъ добрыя *природныя* начала борятся съ *искусственными*, т. е. привитыми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ на-прим.: Шуринеръ, Марсіаль,—и, право, гризетка Ригалетта правдоподобнѣе Гуалёзы... Люди вездѣ люди; ни одинъ народъ не хуже другаго; вездѣ есть злоупотребленія, пороки, странности, противорѣчія словъ съ дѣлами и дѣлъ со словами, нравственныхъ понятій съ истинною нравственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходитъ съ задняго крыльца къ своему судьѣ съ секретными доказательствами правоты своего дѣла; въ Англіи и Франціи, кандидаты на разныя выборныя должности низкими интригами и подкупами располагаютъ избирателей въ свою пользу. И тутъ и тамъ—богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Здѣсь опять могутъ намъ сказать, что нѣчего и хлопотать по-пустому, нѣ изъ чего и раздражать того и другаго, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будутъ ими. Да, люди всегда будутъ людьми—прежніе не лучше и не хуже нынѣшнихъ, нынѣшніе не лучше и не хуже прежнихъ; но общество улучшается, и на его улучшеніи основанъ законъ развитія цѣлаго человѣчества. Было время, когда даже истинно-добрые, благородные и умные люди были убѣждены въ существованіи чернокнижія и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жгли чернокнижниковъ; теперь и злые, и глупые, и невѣжественные люди уже не вѣрятъ чернокнижію и чужды желанія жечь живыхъ людей даже и за дѣйствительныя преступленія. Что это значитъ?—то, что люди и теперь остались тѣми же, какими были, а общество улучшилось. Во всѣ вѣка бывали мудрые и благіе законодатели, но только въ XVIII вѣкѣ могли огласить міръ изреченныя съ трона божественныя слова: «Лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго».

*

Что это значитъ, если не то, что люди все тѣ же, а общество улучшается?.. Современники благословляли въ Россіи вѣкъ Екатерины-Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правдивость этого благословенія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, мы имѣемъ свои причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-нибудь время... Что это значитъ, если опять не то же, что люди и теперь тѣ же, а общество ушло далеко впередъ?.. Вотъ здѣсь-то и обнаруживается все благородство, вся благодѣтельность роли, какая назначена книгопечатанію самимъ Провидѣніемъ. Что прежде шло и развивалось, но съ трудомъ и медленно, то теперь идетъ и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будетъ не забавою праздняго бездѣлья, а сознаніемъ общества, когда она будетъ заниматься не стишками, да сказочками гдѣ влюбились да и женились, а будетъ вѣрнымъ зеркаломъ общества, и не только вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія, но и его ревизоромъ и контролёромъ.

Общество не то, что частный человѣкъ: человѣка можно оскорбить, можно оклеветать—общество выше оскорбленій и клеветы. Если вы невѣрно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ—вамъ же хуже: васъ не станутъ читать, и ваши сочиненія возбудятъ смѣхъ, какъ неудачныя карикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества, значитъ оказать ему услугу, значитъ избавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитѣе, язвительнѣе Гогарта изображалъ англійское общество въ лицѣ всѣхъ его сословій—и однакожь Англія не осудила Гогарта за lèse-nation, но гордо именуетъ его однимъ изъ любимѣйшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-нибудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смѣшной, или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состоитъ изъ большаго количества людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествѣ людей, найдутся всякаго рода недостойные и низкіе характеры,—не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имѣло, вмѣстѣ съ добрыми сторонами, и своихъ дурныхъ сторонъ; честь сословія состоитъ не въ томъ, чтобъ не имѣть дурныхъ сторонъ (ибо это рѣшительно невозможное дѣло), а въ томъ, чтобъ умѣть открывать глаза на свои дурныя стороны и отрѣшаться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, чтобъ рыцарство среднихъ вѣковъ не было цвѣтомъ государствъ, красою общества своего времени, его благороднѣйшимъ сословіемъ, что оно не совершило блистательнѣйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими дѣлами? И между-тѣмъ, кому не извѣстно, что это же самое рыцарство, въ-слѣдствіе духа тѣхъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческіе обозы, разбойнически рѣзало мирнаго путешественника, звѣрски злоупотребляло свою феодальную власть надъ вассалами и рабами? И, не смотря на то, потомки этого рыцарства—цвѣтъ аристократіи современной Англіи, нисколько не думаютъ ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читаютъ ро-

маны Вальтера Скотта и гордятся ими, вмѣсто того, чтобъ ненавидѣть ихъ, какъ пятно на чести своихъ предковъ, слѣдственно, и на ихъ собственной чести. Это доказываетъ сколько сознаніе національнаго величія, столько и зрѣлость развитія общественности въ Англіи.

Ничему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія и незрѣлости нашей общественности, можно приписать эту раздражительность, которая во всемъ видитъ неуваженіе то къ тому, то къ другому сословію. Какъ-скоро выведенъ въ повѣсти чиновникъ, на шеѣ котораго пренелѣпо повязанъ галстухъ, а на рукахъ блестятъ засаленныя желтыя перчатки, какъ свидѣтельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, тотчасъ всѣ чиновники обижаются говоря: «вотъ какъ насъ отдѣлываютъ; служи послѣ этого!» Они какъ-будто и не хотятъ знать, что можно быть неуклюжимъ, неловкимъ въ обществѣ, и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымъ человѣкомъ и хорошимъ чиновникомъ,—не хотятъ знать, что если одинъ чиновникъ дурно и неопрятно одѣвается, имѣя претензіи на свѣтскость, изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ всѣ чиновники походили на него. Если воинъ окажетъ на сраженіи чудеса храбрости и получитъ георгіевскій крестъ, вѣдь его товарищи, не участвовавшіе въ дѣлѣ, или не отличившіеся въ немъ, не почитаютъ себя въ правѣ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будутъ имѣть право оскорбляться всѣ военные, если объ одномъ изъ нихъ (и то вымышленномъ лицѣ) напечатаютъ въ сказкѣ, что ему случилось струсить на сраженіи, какъ напр., князю Блёсткину, выведенному въ романѣ г. Загоскина «Рославлевъ, или Русскіе въ 1812 году»? И если г. Загоскинъ, самъ участвовавшій въ великой отечественной войнѣ, вывелъ, между многими храбрыми лицами своего романа, одного труса,—можетъ ли такая, впрочемъ, всегда и вездѣ возможная черта служить пятномъ для арміи, которая сражалась подъ Бородинымъ, и въ числѣ предводителей своихъ имѣла Барклая-де-Толли, Кутузова, Багратіона, Ермолова, Милорадовича, Раевскаго и многихъ другихъ, извѣстныхъ и славныхъ въ мірѣ?.. Было время, когда наши писатели только и дѣлали, что нападали на русское общество высшаго и средняго круга за его страсть къ французскому языку. Это былъ дѣйствительно недостатокъ со стороны нашего общества; но могли ли оскорбить его нападки, и притомъ еще не совсѣмъ-несправедливые, писателей, когда оно знало, что тѣ же самые офицеры гвардіи, которые по-русски объяснялись только по оффиціальнымъ дѣламъ службы, геройски жертвовали своей жизнію въ битвахъ противъ тѣхъ же самыхъ Французовъ, языкъ которыхъ они больше любили и лучше знали, чѣмъ свой родной?..

Сатира—ложный родъ. Она можетъ смѣшить, если умна и ловка, но смѣшить, какъ остроумная каррикатура, набросанная на бумагу карандашомъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повѣсть выше сатиры. Ихъ цѣль—изображать вѣрно, а не каррикатурно, не преувеличенно. Произведенія искус-

ства, они должны не смѣшить, не поучать, а развивать истину творчески-вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Не ихъ дѣло разсуждать, на-примѣръ, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дѣло—представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, къ своимъ человѣческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе отъ нормы—произволъ отеческой власти, для корыстныхъ разсчетовъ истребляющей въ дѣтяхъ любовь къ истинѣ и добру, и необходимое слѣдствіе этого—нравственное искаженіе дѣтей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ вѣрна—ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ, и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавшейся въ самой дѣйствительности; и кто ни посмотритъ на эту картину, всякій пораженный ея *истинностію*, и лучше *почувствуетъ* и *сознаетъ* самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотѣлъ отъ васъ слушать... Только берите содержаніе для вашихъ картинъ въ окружающей васъ дѣйствительности и не украшайте, не перестроивайте ея, а изображайте такою, какова она есть на-самомъ-дѣлѣ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптѣлые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія мѣста, многими повторяемыя, но уже никого-неубѣждающія... Идеалы скрываются въ дѣйствительности; они—непроизвольная игра фантазіи, не выдумки, не мечты; и въ то же время, идеалы—не списокъ съ дѣйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазіею возможность того или другаго явленія. Фантазія есть только одна изъ главнѣйшихъ способностей, условливающихъ поэта; но она одна не составляетъ поэта; ему нуженъ еще глубокій умъ, открывающій идею въ фактѣ, общее значеніе въ частномъ явленіи. Поэты, которые опираются на одну фантазію, всегда ищутъ содержанія своихъ произведеній за тридевять земель въ тридесатомъ царствѣ, или въ отдаленной древности; поэты, вмѣстѣ съ творческою фантазіею обладающіе и глубокимъ умомъ, находятъ свои идеалы вокругъ себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сдѣлать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этою творческою фантазіею и этимъ глубокимъ умомъ обладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ, старое становится новымъ, обыкновенное—изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный болѣе, нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всѣми читаемый, всѣмъ извѣстный, Гоголь все-таки не высоко стоитъ въ сознаніи нашей публики. Это противорѣчіе очень-естественно и очень-понятно. Комизмъ, юморъ, иронія—не всѣмъ доступны, и все, что возбуждаетъ смѣхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаетъ восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заклю-

чаетъ въ себѣ смыслъ, противоположный тому, который выражаютъ слова ея. Комедія—цвѣтъ цивилизаціи, плодъ развившейся общественности. Чтобъ понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ послѣднимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толпѣ доступенъ только внѣшній комизмъ; она не понимаетъ, что есть точки, гдѣ комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а болѣзненный и горькій смѣхъ. Умирая, Августъ, повелитель полу-міра, говорилъ своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыгралъ свою роль—рукоплещите же, друзья мои!» Въ этихъ словахъ глубокій смыслъ: въ нихъ высказалась иронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не пойметъ такой ироніи. Такимъ-образомъ, поэтъ, который возбуждаетъ въ читателѣ созерцаніе высокаго и прекраснаго и тоску по идеалѣ изображеніемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служатъ и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будетъ видѣться *жартъ* въ его глубокомъ юморѣ, и смотря на вѣрно-воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видитъ изъ-за нихъ незримо-присутствующіе тутъ же свѣтлые образы. И еще много времени пройдетъ, и много новыхъ поколѣній выступитъ на поприще жизни прежде, чѣмъ Гоголь будетъ понятъ и оцѣненъ по достоинству большинствомъ.

«Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ томахъ означены 1842 годомъ, но вышли они въ февралѣ прошлаго года, а потому и должны принадлежать къ литературнымъ явленіямъ 1843 года. Имѣя въ виду въ скоромъ времени, и въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики, разсмотрѣть подробно всѣ сочиненія Гоголя,—мы не будемъ теперь распространяться на-счетъ этихъ четырехъ томовъ [186]). Это повлекло бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйдти изъ предѣловъ журнальной статьи, ибо объ однимъ «Театральномъ Разъѣздѣ послѣ перваго представленія комедіи» можно написать цѣлую статью. Въ этихъ четырехъ томахъ, между старымъ, много и новаго, а нѣкоторыя пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе передѣланы авторомъ.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣйшія суть не болѣе, какъ изданія разныхъ сочиненій уже бывшихъ извѣстными публикѣ изъ журналовъ и альманаховъ. Да и того такъ немного, что безъ труда можно перечесть.

«На Сонъ Грядущій»—вторая часть сборника сочиненій графа Соллогуба. Въ ней помѣщены уже извѣстныя публикѣ пьесы: *Приключеніе на Желѣзной Дорогѣ, Аптекарша, Ямщикъ, или шалость молодаго гусарскаго офицера* (драматическая картина), *Левъ, Медвѣдь*, и новая пьеса: *Неоконченныя повѣсти.*—«Аптекарша» и «Медвѣдь» принадлежатъ къ числу лучшихъ произведеній даровитаго автора; читателямъ уже извѣстно наше мнѣніе объ этихъ двухъ повѣстяхъ графа Соллогуба [187]). «Приключеніе на желѣзной дорогѣ»—легонькій, по содержанію, разсказъ, исполненный, впрочемъ, простоты

и истины, и изложенный съ обыкновеннымъ искусствомъ автора «Аптекарши».—«Ямщикъ» не чуждъ прекрасныхъ подробностей и вѣрно-схваченныхъ чертъ русскаго быта; но въ цѣломъ, это—довольно-слабое произведеніе. Герой (генералъ Сѣверинъ) этой драматической картины—лицо до крайности сантиментальное и неправдоподобное; монологи его—реторика. Въ представленіи быта крестьянскаго много промаховъ противъ истины дѣйствительности; за то превосходно лицо Саввы Савича, равно какъ и его неотлучнаго Ларьки: оба они въ высшей степени вѣрны. «Левъ»—мастерской типическій очеркъ одного изъ самыхъ характеристическихъ явленій свѣтской жизни. «Не оконченныя повѣсти» обѣщаютъ намъ цѣлый рядъ прекрасныхъ разсказовъ, если только авторъ захочетъ въ-самомъ-дѣлѣ воспользоваться этою счастливою мыслію. Первая повѣсть, которою начинается рядъ «неоконченныхъ повѣстей», исполнена сильнаго интереса и потрясаетъ душу читателя благородною простотою изложенія глубоко-прочувствованнаго авторомъ содержанія. А содержаніе это такъ же просто, какъ и его изложеніе: это одна изъ тысячи исторій, которыя такъ часто совершаются въ глазахъ всѣхъ, при свѣтѣ дневномъ, и которыя все-таки немногими замѣчаются...

О «Сочиненіяхъ Зенеиды Р—вой» была въ «Отеч. Запискахъ» особая статья, въ которой подробно изложено наше мнѣніе о повѣстяхъ этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертію у русской литературы [188]). Въ четырехъ частяхъ «Сочиненій Зенеиды Р—вой» только одна новая, нигдѣ прежде ненапечатанная повѣсть: это—вторая часть «Напраснаго Дара» неоконченная, по причинѣ внезапной смерти автора...

Небольшая книжка «Повѣстей А. Вельтмана», вышедшая въ прошломъ году, содержитъ въ себѣ пять разсказовъ, изъ которыхъ четыре были уже давно напечатаны въ разныхъ журналахъ. При бѣдности современной русской литературы, эта книжка была пріятнымъ явленіемъ.

Въ прошломъ же году вышли второй и третій томы «Сказки за Сказкой». Въ нихъ были, между-прочимъ, помѣщены весьма интересныя повѣсти и разсказы г. Кукольника: *Позументы, Монтекки и Капулетти, или Чернышевскій міръ*, и *Часовой;* особенно хороша повѣсть—*Позументы*. Въ этомъ же безсрочномъ изданіи напечатана богатая хорошими частностями повѣсть казака Луганскаго: *Савелій Грабъ или Двойникъ*.

Въ прошломъ же году вышли два тома «Повѣстей и Разсказовъ» г. Кукольника. Въ первомъ изъ нихъ, помѣщено шесть уже извѣстныхъ публикѣ разсказовъ изъ временъ Петра Великаго: *Лихончиха, Новый Годъ, Благодѣтельный Андроникъ, Капустинъ, Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ, Прокуроръ*. Всѣ эти повѣсти и разсказы исполнены большаго интереса и обнаруживаютъ въ авторѣ много поэтической сноровки и историческаго такта. Но повѣсти и разсказы втораго тома, за исключеніемъ «Психеи», богатой прекрасными частностями, не заслуживаютъ никакого вниманія

и могутъ быть употребляемы только развѣ какъ лекарство отъ безсонницы, и въ этомъ случаѣ, съ большою пользою...

Въ началѣ прошлаго года, вышли «Сочиненія Державина» въ четырехъ частяхъ: изданіе во всѣхъ отношеніяхъ болѣе неудовлетворительное, чѣмъ удовлетворительное, какъ мы и имѣли уже случай доказать въ свое время.

Изъ новыхъ произведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая по необыкновенно-умному содержанію и прекраснымъ, поэтическимъ стихамъ, была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не въ такое бѣдное для литературы время, какъ наше [189]).

«Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ и дважды изданное въ прошломъ году, по своей цѣли и назначенію, должно относиться больше къ числу полезныхъ, чѣмъ бельлетристическихъ книгъ. Необыкновенный успѣхъ этой прекрасно-составленной книжки породилъ множество неудачныхъ подражаній.

По части оригинальныхъ бельлетристическихъ произведеній, вышедшихъ въ прошломъ году, больше нѣ о чемъ говорить: вѣдь не начать же разсуждать о такихъ твореніяхъ, каковы: *Были и небылицы* г. Ивана Балакирева, многочисленныя творенія *автора Мужа подъ Башмакомъ*, *Дочь разбойника, или любовникъ въ бочкѣ*, г-на Ѳ. Кузмичева; *Клятва при гробѣ Матери, или Мститель за убійство*, драма г. Голощапова: *Старичекъ Весельчакъ, разсказывающій давнія московскія были* (Москва, изданіе *четвертое*); *Разгулье купеческихъ сынковъ въ Марьиной рощѣ, или поваливай! наши гуляютъ! Истинно-сатирическая повѣсть 1835 года, съ цыганскими пѣснями* (Москва, изданіе *пятое*); *Козелъ Бунтовщикъ или Машина свадьба*, г. Базилевича (Москва, изданіе *третіе); Стенька Разинъ, атаманъ разбойниковъ; Казаки*, г. Кузьмичева; *Князь Курбскій*, г. Ф(О)едорова, и разныя сочиненія гг. Скосырева, Куражковскаго, Калачилина, Классена, Милькѣева, Графчикова, Колотенко и пр.

Изъ переводныхъ книгъ бельлетристическаго содержанія, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательны: *Мысли Паскаля*, переводъ г. Бутовскаго, *тринадцатый* выпускъ издаваемаго г. Кетчеромъ «Шекспира», заключающій въ себѣ комедію «Укрощеніе Строптивой»; первый и второй выпуски издаваемаго г. Тимковскимъ «Испанскаго Театра», заключающій въ себѣ комедіи: «Жизнь есть сонъ» и «Саламейскій Алькальдъ»; прозаическій переводъ гг. Фанъ-Дима «Божественной Комедіи» Данте, превосходно-изданный, съ рисунками Флаксмана, и стихотворный переводъ шиллерова «Вильгельма Телля», г. Ѳ. Миллера.

Изъ оригинальныхъ сочиненій учено-бельлетристическаго содержанія, въ прошломъ году замѣчательны: *Прогулки Русскаго въ Помпеи*, г. Левшина; *Описаніе турецкой войны въ царствованіе Императора Александра, съ 1806 до 1812 года*, новое твореніе знаменитаго нашего воен-

наго историка, генералъ-лейтенанта Михайловскаго-Данилевскаго, *Странствователь по Сушѣ и Морямъ* (двѣ книжки), интересные и живые разсказы, самымъ пріятнымъ образомъ знакомящіе читателя съ разными странами, народами и племенами земного шара; *Описаніе Бухарскаго Ханства*, г. Н. Ханыкова; третій томъ компактнаго изданія *Исторія Государства Россійскаго*, Карамзина; пятнадцатый (и послѣдній) томъ втораго изданія Голикова *Дѣяній Петра Великаго;* второе изданіе *Руководства къ познанію средней исторіи, для среднихъ учебныхъ заведеній*, г. Смарагдова; *Исторія Малороссіи*, г. Маркевича, и *Исторія Петра Великаго*, г. Полеваго.

Спеціально-ученая литература все болѣе-и-болѣе представляетъ самые утѣшительные результаты,—для чего достаточно указать только на «Акты Археографической Коммиссіи» и на изданіе «Остромірова Евангелія»; но какъ предметъ нашей статьи—преимущественно книги по части изящной словесности или бельлетристики, имѣющія интересъ не для нѣкоторыхъ только ученыхъ, но общій—для всѣхъ образованныхъ людей, то мы и не будемъ распространяться о спеціально-ученыхъ явленіяхъ прошлогодней литературы.

Намъ остается теперь сдѣлать перечень всего замѣчательнаго по части изящной литературы, оригинальной и переводной, что̀ явилось, въ-продолженіе 1843 года, въ журналахъ, ненасытимую жадность которыхъ обвиняютъ въ поглощеніи всей русской литературы. Посмотримъ, сколько сочиненій успѣло съѣсть это чудовище, т. е. наша журналистика... Но, увы! мы боимся, чтобъ этотъ левіаѳанъ литературнаго міра не превратился въ одну изъ тѣхъ тощихъ кравъ, которыхъ видѣлъ во снѣ Фараонъ и которыя не потолстѣли, съѣвъ тучныхъ кравъ!.. Наши сочиненія не такъ жирны и не такъ многочисленны, чтобъ отъ нихъ могли слишкомъ жирѣть наши журналы,—и еслибъ мы не рѣшились въ этой статьѣ говорить объ общемъ значеніи современнаго состоянія литературы, а приступили бы прямо къ обзору литературныхъ явленій прошлаго года, показавшихся отдѣльно и помѣщенныхъ въ журналахъ, наша статья по-неволѣ вышла бы очень коротка...

Начнемъ съ стихотвореній. Прошлый 1843 годъ, вѣроятно, *послѣдній* богатый въ этомъ отношеніи годъ: въ-продолженіе его, напечатано (въ «Отеч. Запискахъ») нѣсколько посмертныхъ стихотвореній Лермонтова. Изъ нихъ: *Незабудка*, «*Избави Богъ*», *Смерть*, «*Когда весной разбитый ледъ*», «*Ребенка милаго рожденье*», «*Они любили другъ друга*», *Къ портрету стараго гусара*, *Посвященіе*, *приписанное въ концѣ поэмы* «*Демонъ*», равно-какъ и отрывочно-напечатанная поэма *Измаилъ-Бей*, принадлежатъ къ самой ранней эпохѣ поэтической дѣятельности Лермонтова и замѣчательны не столько въ эстетическомъ, сколько въ психологическомъ отношеніи, какъ факты духовной личности поэта. Въ эстетическомъ отношеніи, эти пьесы поражаютъ то энергическимъ стихомъ, то могучимъ

чувствованіемъ, то яркою мыслію; но въ цѣломъ онѣ довольно-слабы и отзываются юношескою незрѣлостію. Пьесы: *Романсъ къ****, «*Не плачь, не плачь, мое дитя*», «*Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски*», «*Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю*», *Сонъ*, равно интересныя какъ въ эстетическомъ, такъ и въ психологическомъ отношеніи, принадлежатъ, безъ всякаго сомнѣнія, къ эпохѣ полнаго развитія могучаго таланта незабвеннаго поэта; а пьесы: *Утесъ*, «*Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой*», *Морская Царевна*, *Тамара* и «*Выхожу одинъ я на дорогу*» принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова. Всѣ эти пьесы составятъ четвертую часть изданныхъ въ 1842 году «Стихотвореній М. Лермонтова», которая скоро должна выйдти въ свѣтъ. Въ «Современникѣ» была помѣщена корсиканская повѣсть *Маттео Фальконе*, передѣланная Жуковскимъ изъ Шамиссо, стихами, съ присовокупленіемъ интереснаго письма автора къ издателю «Современника»: письмо это заключаетъ въ себѣ изложеніе теперешняго взгляда знаменитаго поэта на поэзію.— Стихотворенія нынѣче мало читаются, по журналы, по уваженію къ преданію, почитаютъ за необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которыхъ, по-этому, появляется еще довольно-много. Изъ нихъ, можно указать въ-особенности на довольно-многочисленныя стихотворенія г. Фета, между которыми встрѣчаются истинно-поэтическія, и на стихотворенія Т. Л. (автора «Параши»), всегда отличающіяся оригинальностью мысли [190]). Попадаются въ журналахъ стихотворенія и другихъ поэтовъ, болѣе или менѣе исполненныя поэтическаго чувства, но они уже не имѣютъ прежней цѣны, и становится очевиднымъ, что ихъ творцы или должны, сообразуясь съ духомъ времени, перестроить свои лиры и запѣть на другой ладъ, или уже не разсчитывать на вниманіе и симпатію читателей...

Оригинальными повѣстями прошлогодніе журналы значительно бѣднѣе журналовъ третьяго года. Мы разумѣемъ здѣсь *качественную*, а не *количественную* бѣдность. Въ каждой книжкѣ каждаго журнала (за исключеніемъ «Москвитянина») непремѣнно есть русская повѣсть, но *какая*—это другое дѣло. Вотъ перечень лучшихъ оригинальныхъ повѣстей въ прошлогоднихъ журналахъ: *Тля*, г. Панаева, *Чайковскій*, г. Гребенки, *Изъ Записокъ Неизвѣстнаго*, юмористическій очеркъ, Сергѣя Нейтральнаго (въ «Отеч. Запискахъ»); *Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ*, В. Луганскаго, *Райна, королева Болгарская*, г. Вельтмана (въ «Библіотекѣ для Чтенія»); *Жизнь Человѣка, или прогулка по Невскому-Проспекту*, Луганскаго, *Хмѣль, сонъ и явь*, его же (въ «Москвитянинѣ»); *Чорный Таракань* (фантастическій романъ изъ жизни одного чиновника), В. Зотова (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»). Сверхъ-того, въ «Отеч. Запискахъ» были помѣщены повѣсти: *Ярмарка*, г-жи Закревской, *1812 годъ въ провинціи*, разсказы Г. Ѳ. Основьяненко, *Ничего*, *Хроника Петербургскаго Жителя*, барона Ѳ. Брамбеуса, *Двѣ сестры*, г-жи Жуковой, *Джеммать и Бока*, чеченская повѣсть Л. Ф. Екельна, *Необык-*

новенный Завтракъ, Н. А. Некрасова;—въ «Библіотекѣ для Чтенія»: *Хозяйка*, г. О. Фанъ-Дима, *Историческая Красавица*, Н. В. Кукольника, *Гримаса Моего Доктора*, И. И. Лажечникова, *Волгинъ*, г. В., *Хижина подъ Скалами*, г. П. Корсакова, *Идеальная Красавица*, барона Брамбеуса.

«Тля», г. Панаева, отличается свойственною этому писателю сатирической мѣткостію. Собственно, это не повѣсть, а очеркъ, отличающійся вѣрностію дѣйствительности. Жаль, что этотъ очеркъ имѣетъ слишкомъ-мѣстное значеніе, и внѣ Петербурга теряетъ много своего интереса. «Чайковскій» г. Гребенки исполненъ превосходныхъ частностей, обнаруживающихъ въ авторѣ несомнѣнное дарованіе. Характеръ полковника, отца героини повѣсти, многія черты историческаго малороссійскаго быта поражаютъ своею поэтическою вѣрностію. Но цѣлое этой повѣсти не выдержитъ строгой критики. Особенно вредитъ ей мелодраматизмъ. Мстительная цыганка-колдунья, злодѣй Герцикъ, кстати-укусившая его змѣя—все это мело-драматическіе эффекты. Тѣмъ не менѣе, повѣсть г. Гребенки была одною изъ лучшихъ повѣстей прошлаго года. «Изъ Записокъ Неизвѣстнаго»—очеркъ, исполненный легкаго юмора и пріятный въ чтеніи. «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ»—одна изъ лучшихъ повѣстей казака Луганскаго, исполненная интереса и вѣрно-схваченныхъ чертъ русскаго быта. Замѣчательна по ловкому и пріятному разсказу его же «Жизнь Человѣка»; но «Хмѣль, Сонъ и Явь», имѣетъ достоинство психологическаго портрета русскаго человѣка, мастерски-схваченнаго съ натуры. Эта повѣсть имѣла бы большій интересъ и была бы очень-полезна и для читателей низшаго разряда: почему ее пріятно было бы увидѣть перепечатанною въ «Сельскомъ Чтеніи». «Райна, королева Болгарская»—не повѣсть, а фантасмагорія, подобно всѣмъ произведеніямъ г. Вельтмана. Дѣйствующія лица говорятъ въ ней двумя манерами: то языкомъ совершенно-понятнымъ для насъ, но отличающимся колоритомъ древне-болгарскимъ, то языкомъ романовъ нашего времени. Одинъ изъ главныхъ героевъ фантасмагоріи—русскій князь Святославъ, котораго г. Вельтманъ рисуетъ намъ такъ обстоятельно, какъ-будто-бы самъ жилъ въ его время и все видѣлъ своими глазами. Удивительнѣе всего въ этой повѣсти, что мѣстами она не лишена интереса... «Чорный Тараканъ» разсказъ не безъ юмора и не безъ занимательности. Намъ нужды нѣтъ знать, тотъ ли это г. Зотовъ написалъ ее, который пишетъ такія ужасныя драмы, стихотворенія, «Театраловъ», «Побрякушки» и пр., или совсѣмъ другой г. Зотовъ: мы знаемъ только что его «Чорный Тараканъ»—очень-недурная вещь.

Изъ драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ вмѣсто повѣстей, замѣчателенъ, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ г. Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность». Въ «Библіотекѣ для Чтенія» были помѣщены: «Монументъ» историческій анекдотъ, въ трехъ картинахъ, въ стихахъ и въ прозѣ, г. Кукольника (не смотря на натянутость пафоса, вещь не безъ достоинства); «Ломоносовъ, или Жизнь и Поэзія», г.

Полевого, «Проектъ» его же, «Братья», драма въ пяти дѣйствіяхъ, г. Каменскаго.

Вотъ и всѣ наши бельлетристическія сокровища за прошлый годъ! Нисколько неудивительно, что отъ этой нищи наши журналы не стали здоровѣе... Говоря о переводныхъ пьесахъ, мы будемъ упоминать только о болѣе-замѣчательныхъ, а о посредственныхъ или обыкновенныхъ умолчимъ вовсе. Въ «Отеч. Запискахъ» были помѣщены: «Андрѣ», романъ Жоржа Занда, одно изъ лучшихъ произведеній этого автора, даже по сознанію самыхъ враговъ его. «Эмѝ Веръ», романъ какого-то Француза, очень ловко прикидывающагося Вальтеромъ-Скоттомъ, доказываетъ ту истину что когда геній проложитъ новую дорогу въ искусствѣ, то и обыкновенные таланты могутъ ходить по ней съ успѣхомъ. Впрочемъ, у автора «Эмѝ Вера» много дарованія; романъ его исполненъ интереса; многіе характеры, и особенно пастора-фанатика Барбантана, братьевъ Репо и Гаспара, матери ихъ г-жи Монморъ, обрисованы мастерски; многія сцены исполнены необыкновеннаго драматизма. «Солидный Человѣкъ», романъ Шарля Бернара, отличается обыкновенными достоинствами всѣхъ сочиненій этого даровитаго писателя. Это—мастерская картина современнаго французскаго общества. Не по изложенію, а по содержанію, заслуживаетъ упоминовенія «Жена Золотыхъ-Дѣлъ-Мастера», повѣсть Шарля Ребо; писатель съ бо́льшимъ талантомъ могъ бы чудеснымъ образомъ воспользоваться подобнымъ сюжетомъ.—Въ «Библіотекѣ для Чтенія» лучшія переводныя повѣсти—«Лавка Древностей», романъ Диккенса. «Лавка Древностей» слабѣе другихъ романовъ Диккенса: въ ней онъ повторяетъ самого-себя, и лица этого романа, равно какъ и его пружины, уже не поражаютъ новостію. «Умницы» —передѣлка изъ романа мистриссъ Троллопъ, интересна какъ картина, хотя уже не новая, но всегда вѣрная, нравовъ современнаго англійскаго общества. «Послѣдній изъ Бароновъ», романъ Бульвера, довольно-занимателенъ, какъ историческая картина положенія ученаго въ варварскіе средніе вѣка.—Въ «Современникѣ», въ продолженіи всего прошлаго года тянулся начатый еще въ 1842 году романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство, или домашнія радости и огорченія». Онъ вышелъ теперь весь отдѣльно, и потому мы изложили наше мнѣніе о немъ въ Библіографической Хроникѣ этой же книжки «Отеч. Записокъ» [191]).—Въ «Репертуарѣ» были помѣщены вполнѣ «Парижскія Тайны» Эжена Сю. Романъ этотъ надѣлалъ много шума во всей Европѣ, и у насъ также, и, не смотря на всѣ его недостатки, принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ современной литературы. Онъ порожденъ романами Диккенса, и далеко уступая имъ въ достоинствѣ, возбудилъ такой энтузіазмъ, котораго не производилъ ни одинъ романъ даровитаго англійскаго романиста: таково умѣнье французскихъ писателей дѣйствовать всегда на массу! Такъ-какъ съ «Парижскими Тайнами» только теперь ознакомились многіе изъ русскихъ читателей и такъ-какъ толки о нихъ еще не прекратились ни въ публикѣ, ни въ журналахъ,—то, можетъ быть, мы еще и поговоримъ

объ этомъ романѣ подробнѣе въ отдѣлѣ Критики [192]). Въ «Репертуарѣ» же, переведенъ разсказъ Жоржа Занда «Мупи Робэнъ», весьма замѣчательный не по сюжету, а по мысли и ея изложенію. Въ «Отеч. Запискахъ» и «Репертуарѣ», помѣщено по отрывку изъ гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывокъ въ «Отеч. Запискахъ» представляетъ нѣчто цѣлое, какъ то показываетъ его названіе: «Маріана». О достоинствѣ перевода нѣчего говорить: довольно сказать, что онъ принадлежитъ г. Струговщикову. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» помѣщенъ переводъ съ испанскаго, сдѣланный г. Тимковскимъ, прелестной комедіи Лопеса де-Веги: «Собака на Сѣнѣ». Въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ» помѣщенъ переводъ прозою драмы Шекспира «Троилъ и Крессида».

Изъ замѣчательныхъ статей учоно-бельлетристическихъ, въ прошлогодніхъ журналахъ слѣдующія: въ «Отеч. Запискахъ»: *Дневникъ каммерюнкера Берхольца*—живая картина русскихъ нравовъ временъ Петра-Великаго, писанная очевидцемъ; *Гёте и графиня Штольбергъ* (эта же статья помѣщена и въ «Репертуарѣ»); *Философія Анатоміи*, превосходно составленная г. Галаховымъ статья, представляющая современный взглядъ на одно изъ величайшихъ человѣческихъ знаній; *Пуло-Пенангъ, Сингапуръ и Манила* (изъ записокъ русскаго морскаго офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840 году) А. И. Бутакова; *Нижній-Новгородъ и Нижегородцы въ смутное время*, П. И. Мельникова; *Рубини и итальянская музыка*, —ва, *Дворъ королей англійскихъ; Книгопечатаніе, Іосифъ II, императоръ германскій*, три статьи А. И. Ис—ра—*Диллетантизмъ въ Наукѣ;* его же—*Буддизмъ въ Наукѣ* и его же статья *По поводу одной драмы.* Къ числу учебно-бельлетристическихъ же статей можно отнести и напечатанную въ отдѣлѣ *Сельскаго Хозяйства* «Отеч. Записокъ»—*Табачная промышленность въ Россіи*, А. В., потому-что авторъ умѣлъ придать этой статьѣ общій интересъ и изложить ее съ замѣчательной степенью литературнаго изящества. — Въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ «Библіотеки для Чтенія» особенно замѣчательны статьи: *Плѣнъ Англичанъ въ Афганистанѣ, Записки о Сѣверной Америкѣ* Диккенса и *Томасъ Бекетъ*.—«Современникъ» тоже не имѣетъ недостатка въ ученыхъ статьяхъ, особенно касающихся до Скандинавіи; но лучшая ученая статья «Современника», равно какъ и одна изъ лучшихъ учоно-бельлетристическихъ статей во всей прошлогодней журналистикѣ, это—*Историческіе Очерки М. С. Куторги*: «Людовикъ XIV». Въ «Москвитянинѣ»: *О законахъ благоустройства и благочинія, или что такое полиція? Смерть Карла XII*, статья, очень-хорошо составленная г. Головачевымъ изъ *Исторіи Карла XII*, изданной Лундбладомъ и Больмеромъ.

По части Критики, въ «Отеч. Запискахъ» прошлаго года, были слѣдующія статьи: *Русская литература въ 1842 году, О сочиненіяхъ Державина, О Мертвыхъ Душахъ* Гоголя (Голосъ изъ провинціи), *Объ Исторіи Малороссіи* г. Маркевича; четыре статьи: *О Жуковскомъ, Ба-*

тюшковъ и Пушкинъ, и *О сочиненіяхъ Зенеиды Р—вой*. Сверхъ того, въ «Отеч. Запискахъ» постоянно помѣщались подробные отчеты о французской, англійской и нѣмецкой литературахъ. Въ «Москвитянинѣ» замѣчательна критическая статья *О Путевыхъ Письмахъ изъ Германіи, Франціи и Италіи* г. Греча.

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о духѣ и направленіи русскихъ журналовъ за прошлый годъ; но мы уже говорили объ этомъ не разъ; а какъ это дѣло остается все въ томъ же видѣ, то лучше ужь больше не говорить. Наше дѣло было указывать на духъ, направленіе и замѣчательные поступки того или другаго журнала. Мы исполняли это въ-продолженіи пяти лѣтъ, и исполняли усердно, можетъ-быть, усерднѣе, нежели сколько нужно было. Теперь нѣтъ надобности въ этомъ: журналовъ новыхъ нѣтъ; а въ старыхъ— все по старому—и говорить о нихъ значило бы повторять сказанное нѣсколько разъ. Всякое повтореніе скучно, а тѣмъ болѣе повтореніе истинъ, сдѣлавшихся теперь, благодаря «Отеч. Запискамъ», убѣжденіемъ большей части образованныхъ читателей [193]). Пусть всякій идетъ своей дорогою. Наша публика разнообразна до безконечности, и каждый изъ составляющихъ ее слоевъ найдетъ, что̀ ему нужно. Пусть всѣ читаютъ, кому что̀ нравится, лишь бы читали. Скажемъ нѣсколько словъ въ общихъ чертахъ. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» лучшимъ отдѣломъ по-прежнему была *Смѣсь*, а самыми бѣдными, сухими и тощими отдѣлы *Критики* и *Литературной Лѣтописи*. Въ *Смѣси* «Отеч. Записокъ», между переводными, много было и оригинальныхъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ статей, каковы: *Поѣздка въ Китай*, Дэ-Мина (двѣ статьи), *Два Письма изъ Пекина*, В. Горскаго, *Замѣчанія и анекдоты о южно-африканскомъ львѣ*, г. А. Бутакова, *Сцены изъ жизни Бурятъ*, А. Мордвинова, *Поѣздка на Алтай*, г. Мейера, *Итальянская Опера въ Петербургѣ* (*Рубини, Віардо-Гарсія, Тамбурини, Ассандри, Пазини и Тадини*), *Отвѣтъ г. Шевыреву на разборъ его «Русской Хрестоматіи» г. Галахова*, *Москвитянинъ о Коперникѣ и Записки Вѣдрина*; прекрасный разсказъ г. Н. Ковалевскаго: *Переселеніе Ивана Ивановича изъ Гадячскаго-Уѣзда въ Миргородскій*; юмористическій очеркъ: *Балъ у Писарей, или дежурство въ новый годъ*; изъ переводныхъ особенно интересны: *Семейная жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ; Шутти, или сожиганіе вдовъ въ Индіи; Патеръ Мэтью*, и проч. — «Современникъ» съ прошлаго года выходитъ ежемѣсячно, что̀ еще болѣе должно было придать ему интереса. — Къ числу прошлогоднихъ литературныхъ новостей принадлежитъ возстановленіе «Репертуара и Пантеона»: это изданіе въ прошломъ году значительно поправилось, такъ-что представляетъ теперь очень-занимательный и пестрый сборникъ разныхъ статей по части театра, повѣстей, біографическихъ очерковъ жизни художниковъ и проч. Если печатаемыя имъ драматическія произведенія, даваемыя на русской сценѣ по-большей-части

плохи,—это не его вина: онъ обѣщался быть, между-прочимъ, и *зеркаломъ русской сцены*, а по русской пословицѣ: «нѣчего на зеркало пенять, если лицо криво». За то, въ немъ есть хорошія переводныя пьесы и пьески, которыя не были даны на русской сценѣ, и цѣликомъ помѣщены «Парижскія Тайны» Эжена Сю.

Изъ этого обозрѣнія читатели могутъ видѣть *фактическое* доказательство, что толстота нашихъ журналовъ отнюдь не причина крайняго убожества современной русской литературы. Да и что за дѣло, какъ появилось хорошее литературное произведеніе — отдѣльною книгою, или въ журналѣ? Дѣло въ томъ, чтобъ какъ-можно-больше появлялось такихъ произведеній. Что̀ касается до журналовъ — не смотря на ихъ толстоту, наша журналистика бѣдна, и надо желать, чтобъ журналовъ было больше. Даже въ томъ, что они поглощаютъ въ себя все лучшее, и замѣчательнѣйшее, появляющееся въ литературѣ, есть явная польза: благодаря этому обстоятельству, всякое хорошее литературное произведеніе прочитывается не десятками, не сотнями, а цѣлыми тысячами читателей. Конечно, такое произведеніе, какъ «Мертвыя Души», Гоголя, не имѣетъ нужды въ посредствѣ журналовъ для пріобрѣтенія себѣ многочисленныхъ читателей; но вѣдь то— «Мертвыя Души», одно изъ такихъ произведеній, которыя составляютъ исключеніе изъ общаго правила и бываютъ рѣдкимъ явленіемъ во всякой литературѣ. Обыкновенно, у насъ замѣчательный успѣхъ всякой книги состоитъ въ расходѣ пяти или, много, семи сотъ экземпляровъ; будучи же помѣщаемы въ журналахъ (разумѣется, не во всѣхъ, а въ какихъ-нибудь двухъ, не больше), онѣ находятъ себѣ тысячи читателей. И такъ, вмѣсто пустыхъ и неосновательныхъ нападокъ на журналы, лучше пожелать увеличенія ихъ числа и бо́льшаго ихъ распространенія въ публикѣ. Слѣдующіе стихи, написанные княземъ Вяземскимъ, назадъ тому лѣтъ пятнадцать, и теперь еще новые истиною своего содержанія, очень идутъ къ вопросу, о которомъ мы говоримъ,—почему мы и заключаемъ ими нашу статью:

Дай Богъ намъ болѣе журналовъ:
Плодятъ читателей они.
Гдѣ есть повѣтріе на чтенье,
Въ чести тамъ грамота, перо;
Гдѣ грамота — тамъ просвѣщенье,
Гдѣ просвѣщенье — тамъ добро.

768. Семейство или Домашнія радости и Огорченія. *Романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ. Переводъ съ подлинника. Санктпетербургъ. 1842. Въ типографіи Фишера. Въ 8-ю д. л. 741 стр.*

Вотъ романъ, который болѣе года тянулся въ «Современникѣ»... Изъ всѣхъ нашихъ журналовъ, «Современникъ» самый почтенный, самый безукоризненный. Онъ напоминаетъ собою то блаженное время русской литературы и русской

журналистики, о которомъ осталось теперь одно преданіе, какъ о золотомъ вѣкѣ, и въ которомъ люди любили литературу для литературы, видя въ ней сколько невинное, столько же и благородное препровожденіе времени. Тогда, какъ въ вѣкъ Астреи, сочиненія не продавались и не покупались; напротивъ, сами авторы готовы были платить деньги за честь видѣть свои творенія напечатанными въ журналѣ. Полемики не было; вмѣсто ея царствовала любезность самаго лучшаго тона. Писали стишки къ «милымъ» и «прекраснымъ». Въ литературѣ не подозрѣвали никакого отношенія къ обществу и не вносили въ нее никакихъ вопросовъ, не касающихся до «прелестныхъ», или до мирной сельской жизни на берегу ручья, подъ соломенною кровлею, съ милою подругою и чистою совѣстью. Но противъ духа времени и его движенія идти нельзя, — и «Современникъ», конечно, много разнится отъ журналовъ стараго добраго времени. Въ-первыхъ, онъ издается изящно, а они издавались неопрятно; онъ существуетъ инкогнито, по доброй волѣ, а тѣ существовали инкогнито по недостатку въ публикѣ и въ читателяхъ, которые играли съ ними въ-гулючки. Видите ли — никакого сходства! Но «Современникъ» сохранилъ эту свойственную журналамъ стараго добраго времени безкорыстную любовь къ литературѣ, какъ невинному и благородному занятію, въ-самомъ-себѣ имѣющему свою цѣль. И потому, онъ идетъ-себѣ своею дорогою, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства. И по наружности и по внутреннему содержанію, между всѣми другими журналами «Современникъ» — то же, что̀ аристократъ между плебеями. Онъ ни съ кѣмъ не бранится, ни съ кѣмъ не споритъ, ни на кого не нападаетъ (развѣ только изрѣдка на какой-нибудь *иностранный* журналъ, не умѣющій цѣнить сочиненій такого-то, или такой-то), ни противъ кого не защищается. О немъ многіе говорятъ, иные порицая, другіе хваля его, но онъ ни о комъ не говоритъ, кромѣ «Звѣздочки», журнала для дѣтей, тоже почтеннаго и безукоризненнаго. У него свой кругъ предметовъ, свой міръ вѣдѣнія, — въ особенности Финляндія и ея литература,—и по этой части г. Гротъ снабжаетъ его по-истинѣ превосходными статьями. Въ числѣ его отдѣловъ есть и библіографія, которой короткіе, но многознаменательные отзывы многихъ приводили въ раздумье. У него своя философія,—и по этой части г. Петерсонъ снабжаетъ его удивительными статьями. У него все свое—поэты тоже. Въ «Современникѣ» изрѣдка раздаются нестарѣющіеся звуки лиры Жуковскаго; въ немъ допѣваетъ свои послѣднія пѣсни г. Баратынскій; сверхъ-того, въ немъ постоянно являются розовыя мечты, радужныя фантазіи и сладостныя чувства, облеченныя въ неподражаемый стихъ. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому-что все это показываетъ только изящный вкусъ «Современника». Также точно оригиналенъ и самобытенъ «Современникъ» въ-отношеніи къ изящной прозѣ, украшающей его страницы, вольно и широко раскидывающіяся строками, безъ тѣсноты и давки, свойственной плебейской экономіи. У него свои повѣсти, какъ и свои стихи. Бывало, изобильно снабжалъ его повѣстями и

разсказами Основьяненко: въ каждой книжкѣ «Современника» (а тогда онъ выходилъ въ числѣ четырехъ книжекъ ежегодно) читатели его находили повѣсть г. Основьяненко, а иногда и двѣ. Видя такую плодовитость малороссійскаго писателя, даже мы, люди посторонніе въ-отношеніи къ «Современнику», чуть-было не повѣрили достовѣрности вдругъ-пронесшагося слуха, будто Основьяненко — первый писатель русскій... Но въ 1842 году, нескончаемая нить повѣстей и разсказовъ г. Основьяненко вдругъ прервалась. Чьи-то повѣсти будетъ теперь печатать «Современникъ?» — думали мы, и много думали... однакожь не отгадали. Оставивъ въ покоѣ русскія повѣсти, «Современникъ», еще съ конца 1842 года, началъ печатать романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ—

Романъ отмѣнно-длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный.

Поговоримъ объ этомъ романѣ. Онъ обратилъ на себя общее вниманіе, и многіе увидѣли въ немъ даже колоссальное произведеніе, тогда какъ другіе ничего ровно не видѣли. Мы держались середины между двумя этими крайностями. Прежде всего, надо сказать, что г-жа Бремеръ не лишена свойственной женщинамъ способности не только хорошо и легко разсказывать, но даже съ нѣкоторымъ успѣхомъ очерчивать характеры, которые подъ-силу ея одностороннему взгляду на вещи и ея небогатой фантазіи. Основная мысль ея романа та, что счастіе заключается только въ семейной жизни и человѣкъ назначенъ природою преимущественно для семейной жизни. Мысль, какъ видите, нелишенная истины, но довольно-односторонняя, и притомъ не новая: на ней, въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, выѣхала слава Августа Лафонтена, блаженной памяти. Этотъ добрый Нѣмецъ также во всякомъ человѣкѣ видѣлъ прежде всего мужа или жену, какъ натуралистъ во всякомъ животномъ прежде всего видитъ самца или самку. Но прославляемое имъ блаженство семейной жизни было такъ мѣщански-идеально, такъ приторно-сладко, что оно скоро сдѣлалось всѣмъ непріятно, какъ теплая вода, разсыченная медомъ. Фредерика Бремеръ не испугалась этого, и отважно сдѣлалась Августомъ Лафонтеномъ нашего вѣка. Надо согласиться, что она явилась весьма-кстати и въ то же время весьма-некстати: кстати потому-что, безъ такой жаркой защитницы блаженства супружеской и семейной жизни, это блаженство сдѣлалось бы теперь столько же сомнительнымъ, какъ и дѣйствительность золотого вѣка; не-кстати потому, что теперь жениться по склонности и для счастья считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей, а на дѣтей смотрятъ какъ на неизбѣжное неудобство семейной жизни. Сверхъ-того, въ наше скептическое время, скорѣе повѣрятъ существованію волшебниковъ и кудесниковъ, чѣмъ существованію «счастья». Ему вѣрятъ теперь только безбородые юноши, да мечтательныя

дѣвы; послѣднія вѣрятъ жарче первыхъ, но не дальше, какъ только до замужства; а если онѣ остаются на всю жизнь дѣвицами, то и до гробовой доски вѣрятъ счастію и мечтаютъ о немъ. Это исключительная привилегія старыхъ дѣвъ, — да и что имъ было бы дѣлать на свѣтѣ, еслибъ онѣ не вѣрили въ счастіе и не мечтали о немъ?.. Фредерика Бремеръ тѣмъ съ бо́льшимъ убѣжденіемъ и бо́льшимъ жаромъ вѣритъ въ счастіе семейной жизни, что сама имѣетъ ни съ чѣмъ несравнимое преимущество быть «дѣвою», и притомъ уже, кажется, такою, которая годится Минервѣ въ ровесницы не по одному уму. Это очень-выгодное обстоятельство для дѣла, котораго адвокатомъ явилась Фредерика Бремеръ; блаженство, которое мы знаемъ только въ мечтахъ, всегда кажется намъ лучше, выше, обольстительнѣе блаженства, которое извѣдано нами на-самомъ-дѣлѣ. И потому, Фредерика Бремеръ съ восхищеніемъ, съ энтузіазмомъ описываетъ счастіе семейной жизни, такъ-что вы съ первыхъ же страницъ тотчасъ видите, что сочинительница не была, а только желала страстно быть замужемъ. Это, разумѣется, столько же выгодно для романа, сколько вредно для юныхъ читателей, особенно читательницъ, и особенно читательницъ безъ приданаго: бѣдняжки сейчасъ ударятся въ розовыя мечты о счастіи и о *немъ*, —и каково же будетъ ихъ разочарованіе, когда ни одинъ «онъ» ни въ грошъ не оцѣнитъ ихъ прекрасной души, которая, какъ ни хороша, а все-таки совсѣмъ не то, что «дӯши»!.. Каково будетъ разочарованіе и тѣхъ юныхъ читательницъ, которыя, съ склонностію къ мечтательности, владѣютъ и «дѣйствительными достоинствами», т. е. приданымъ? Бѣдняжки, пожалуй, потребуютъ отъ своихъ мужей любви и счастья, не подозрѣвая, въ простотѣ сердца, что любовь и счастіе, при деньгахъ, совершенно-лишнія и даже вредныя вещи, какъ лекарство при здоровьѣ. Сначала, имъ будетъ больно, а потомъ онѣ возненавидятъ всѣ эти романы, которые такъ добросовѣстно лгутъ и такъ благонамѣренно обманываютъ дѣтей, заранѣе ставя ихъ въ ложное положеніе къ дѣйствительности, вмѣсто того, чтобъ заранѣе знакомить ихъ съ «дѣйствительностью...»

И, однакожь, Фредерика Бремеръ не буквально повторила собою Августа Лафонтена: она, какъ-бы противъ воли своей, принуждена была сдѣлать значительную уступку духу времени: въ заглавіи ея романа стоятъ не однѣ «радости» семейныя, но и «огорченія». А! такъ эта утопія имѣетъ и свои огорченія, даже и въ романахъ! Прочтите романъ г-жи Бремеръ,—и то ли еще увидите! Вы увидите, что для полнаго семейнаго счастія мало одной любви, но еще болѣе нужно эгоистическаго сосредоточенія въ маленькой и тѣсненькой сферѣ домашняго быта,—нужна значительная доля умственной ограниченности, которая только одна даетъ человѣку силу заткнуть уши отъ всѣхъ другихъ обаятельныхъ зововъ бытія и закрыть глаза на всѣ другія обаятельныя картины широко-раскинувшейся, безконечно-разнообразной жизни... И какая разница, въ этомъ отношеніи, на-примѣръ, между семейственной Германіею нашего времени и общественнымъ древнимъ міромъ! Въ первой, жизнь такъ

*

узко, такъ душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ, человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ.

Не смотря на все желаніе Фредерики Бремеръ быть безпристрастною въ отношеніи къ увлекшей ее идеѣ, она можетъ отстаивать ея преувеличенную истинность только ложью. Доказательствомъ этого можетъ служить искаженный ею, сколько съ умысломъ, столько и по слабости таланта, образъ Сары—единственнаго человѣческаго лица среди толпы этихъ добрыхъ, милыхъ, но въ то же время и дюжинныхъ характеровъ, каковы всѣ эти Франки, отъ суходушнаго ихъ родителя до долгоногой Петреи, отъ старой фру Гуниллы до стараго же Мунтера. И за то, что эта бѣдная Сара была выше другихъ и не могла свободно дышать въ ихъ бѣдной атмосферѣ,—сочинительница заставила ее пасть въ бездну несчастія, и какъ замѣтно, что не-подъ-силу сочинительницѣ былъ этотъ идеалъ, что не могла она сладить съ этимъ характеромъ, и потому такъ смѣшно и нелѣпо заставила больную и умирающую Сару говорить надутыя фразы и длинные реторическіе монологи! А все изъ чего эта буря въ стаканѣ воды?—изъ того, чтобъ доказать всевозможными натяжками, что счастіе въ идилліи домашняго быта—и больше нигдѣ...

Романъ Фредерики Бремеръ читается не безъ удовольствія, потому-что эта писательница не безъ дарованія; но какъ всѣ произведенія, писанныя на тему, подъ вліяніемъ односторонней мысли, его нельзя долго читать безъ отдыха, и онъ мѣстами страшно наскучаетъ. Не дочесть его какъ-то не хочется, а какъ дочтешь, то чувствуешь удовольствіе преодолѣннаго труда,—и ужь, конечно, никогда не вздумаешь перечесть его вновь.

Переводъ очень-хорошъ;—впрочемъ мы совѣтовали бы переводчицѣ удерживаться отъ употребленія уменьшительныхъ словъ, каковы: *дочушка, дѣточки* и тому подобныя, которыя довольно-тривіяльны [194]).

* **769.** Суворовъ. *Сочиненіе Ѳаддея Булгарина. 100 рисунковъ В. Тимма, гравированныхъ на деревѣ барономъ Клотомъ, барономъ Нетгельгорстомъ и гг. Лавіелемъ и Порре. Изданіе М. Д. Ольхина 1843. Въ привилегированной типографіи Фишера. Санктпетербургъ. Въ 8-ю д. л. Выпускъ первый. 143 стр.* [195]).

Въ предисловіи къ этому изданію, или къ этому «предпріятію», г. Ѳ. Булгаринъ говоритъ, что въ его сочиненіи о Суворовѣ нѣтъ ни *исторіи*, потому-что для исторіи Суворова еще не настало время (и мы, въ этомъ случаѣ, совершенно согласны съ сочинителемъ), ни *вымысла*, потому-что онъ нигдѣ не отступалъ отъ истины (какой?—за отсутствіемъ исторической, вѣроятно, какой-нибудь другой!), и вымыселъ находится у него только въ *формѣ* изложенія. Взглядъ довольно-неопредѣленный, но уже не новый. Г. Ѳ. Булгаринъ давно уже пишетъ по-русски, изучивъ русскій языкъ ва

столько, чтобы быть въ состояніи писать по-русски правильно грамматически. Мы сказали выше, какъ понимаетъ и какъ смотритъ г. Ѳ. Булгаринъ на свое новое сочиненіе—«Суворовъ»: это, по его собственному сознанію, не исторія и не романъ, а что-то такое, чему нѣтъ и названія. Такъ и прежде смотрѣлъ г. Ѳ. Булгаринъ на искусство и литературу. Для доказательства, что этотъ сочинитель даже назадъ тому ровно десять лѣтъ опоздалъ уже своими взглядами на искусство, выписываемъ мнѣніе г. Н. Полевого о «Мазепѣ» г. Ѳ. Булгарина:

«Любопытно, что предъ *Мазепою* находится небольшое предисловіе, гдѣ авторъ изложилъ *свою* теорію романа. Здѣсь, можно сказать, ключъ ко всѣмъ произведеніямъ г-на Булгарина въ этомъ родѣ. По его мнѣнію: «Романъ «долженъ служить автору средствомъ или къ развитію какой-либо филосо-«фической идеи, или къ освѣщенію тайниковъ сердца человѣческаго, или къ «поясненію характера историческаго лица. Такъ понимаютъ романъ отлич-«нѣйшіе современные писатели Англіи и Франціи, а потому даже мужи ученые, «философы и политики не пренебрегаютъ нынѣ симъ родомъ словесности, и «не стыдятся писать и читать романы. Этого прежде не бывало». И такъ авторъ усиливается доказать, что романъ не дѣтская игрушка; что имъ не пренебрегаютъ даже люди порядочные, именно потому, что въ немъ можно сказать нѣчто дѣльное. Премудрость!.. Но философическую идею можно развивать во всякомъ родѣ сочиненій, даже въ пѣснѣ и баснѣ; освѣщать тайники сердца, разумѣется человѣческаго, тоже; а пояснять характеръ историческихъ лицъ — дѣло побочное въ романѣ, ибо романъ не можетъ быть исключительно историческимъ. Слѣдственно, послѣ всего этого мы еще не узнаемъ отъ г-на Булгарина: что такое романъ? Занимались этимъ родомъ сочиненій всегда люди порядочные; но для сочиненія романа мало быть ученымъ, философомъ или политикомъ. Для этихъ господъ надобенъ только умъ, а для романиста еще надобны: воображеніе, душа и особенное призваніе къ поэзіи, именно романической. Если г-нъ Булгаринъ надѣется только на свой умъ и ученость, то мы не удивляемся, что онъ не можетъ создать чего-либо образцоваго въ романическомъ родѣ. Если онъ не шутя такъ понимаетъ романъ, какъ говоритъ, то мы видимъ, что онъ смотритъ на него... не какъ поэтъ. Романъ есть дѣло вдохновенія, — а онъ доказываетъ, что въ немъ должно развивать то и то! Романъ есть самъ себѣ цѣль, какъ всякое произведеніе изящное, а онъ говоритъ далѣе, что въ немъ надобно: *поучать забавляя*. Но только дѣтямъ можно давать лекарство, увѣряя, что имъ даютъ конфекты! Если вы хотите поучать, то для этого есть проповѣди, есть Науки; въ Поэзіи-же должно быть свободное развитіе творческой мысли: тамъ нѣтъ мѣста никакимъ постороннимъ цѣлямъ.

Въ оправданіе г-на Булгарина, мы предполагаемъ, что онъ писалъ свою теорію не по убѣжденію, а по наслышкѣ: такъ думали прежде, когда еще не знали истиннаго значенія романа и мѣста его среди произведеній словесности. Посему не должно говорить, будто «такъ понимаютъ романъ отлич-нѣйшіе современные писатели». Ни одинъ отличный мыслитель *такъ* не понимаетъ его, и г-нъ Булгаринъ не назоветъ ни одного: закладую сто противъ нуля. Зачѣмъ-же свою вину складывать на другихъ?

Для людей опытныхъ довольно прочитать такую теорію, и они закроютъ книгу, написанную для ея подтвержденія. Въ самомъ дѣлѣ: чего ожидать отъ нея? Посмотримъ однакожь.

Сочиненіе написано; восторгъ писателя-поэта миновался; весь жаръ души его, вся мысль, породившая этотъ жаръ, передъ нами. Теперь авторъ для насъ, и даже для своего сочиненія, постороннее лицо; напротивъ, мы для его сочиненія, и оно для насъ—все. Мы должны почувствовать и узнать: какая мысль зажгла вдохновеніе автора; должны, потому что для этого беремъ въ руки и читаемъ до послѣдней буквы книгу его. И книга непремѣнно должна отвѣчать намъ. Иначе, это не произведеніе поэзіи, а просто сказать — сборъ словъ и рѣченій.

Къ счастію, авторъ *Мазепы* самъ объясняетъ намъ мысль свою, какъ будто боясь, что его читатели не увидятъ ея. «Въ семъ романѣ *я предпринялъ* (?) представить *очерки характера Мазепы*, такъ какъ я понялъ его по Исторіи и по преданіямъ. Мазепа былъ одинъ изъ умнѣйшихъ и ученѣйшихъ вельможъ своего вѣка, и чтобы быть великимъ мужемъ, ему недоставало только—добродѣтели! Безъ нея не сдѣлали его счастливымъ умъ, ученость, почести, богатство и власть. Вотъ *тема* моего романа!» (Предисловіе стр. III—IV-я).

Мазепа былъ не таковъ, какимъ представляетъ его авторъ. Но предположимъ, что читатель не знаетъ Исторіи, и что авторъ по своему такъ понялъ главное лицо своего романа, какъ представляетъ его намъ. Романистъ не историкъ: онъ схватываетъ не историческій, а поэтическій характеръ своего лица, и если понимаетъ его несправедливо, но поэтически — читатель не будетъ досадовать.

Но въ самой мысли: устремить всѣ силы романа къ доказательству истины очень обыкновенной, извѣстной всякому, но, къ несчастію, рѣдко препятствующей дѣлать всѣ возможныя злодѣйства и подлости для достиженія высшей власти и богатства — въ самой этой мысли слишкомъ много прозы. Представляйте истину какъ она есть, по крайней мѣрѣ какъ вы понимаете ее, и въ ней уже будетъ заключаться нравственность, потому что не мы управляемъ дѣлами судьбы, а Провидѣніе. Тотъ клевещетъ на Провидѣніе, кто не видитъ блага въ каждомъ событіи; въ томъ нѣтъ никакого религіознаго чувства, кто подумаетъ, что Провидѣніе допускаетъ злодѣянія, измѣны и пороки, не имѣя высокой, часто непостижимой для насъ нравственной цѣли. Сердце человѣческое, въ чистотѣ невинности, угадываетъ это, и потому-то можетъ съ наслажденіемъ видѣть въ произведеніяхъ изящнаго изображеніе бѣдствій, пороковъ, злодѣяній: за ними сарывается мысль о Непостижимомъ, Который все ведетъ къ благой цѣли. Негодованіе, презрѣніе къ пороку, и новая душевная чистота при взглядѣ на него: вотъ истинное дѣйствіе трагическаго, ужаснаго. Человѣкъ переселяется въ видимыя имъ лица, осуществляетъ воображеніемъ событія, и самое участіе, сожалѣніе, гнѣвъ, тоска и радость, испытываемыя имъ при этомъ, показываютъ его личную борьбу съ тѣми встрѣчными рока, которыя представляетъ ему поэтъ.

Но воображеніе нечистое, порочное, не исправится ни отъ какого нравственнаго вывода. Самое высокое поэтическое созданіе проскользнетъ по уму порочнаго, и даже не коснется души его. Что для него ваша сказка, вашъ романъ? Препровожденіе времени, игрушка, вистъ, зѣваніе на театральную сцену. Такъ-то прежде думали сдѣлать училищемъ нравственности театръ! Теперь эта мысль оставлена; должно будетъ оставить и вообще мысль: учить нравственности произведеніями Изящнаго. И давно пора убѣдиться, что нравственность заключается во всемъ, но только для тѣхъ, кто вѣритъ Провидѣнію, кто чистъ душою, кто умѣетъ наслаждаться поэзіею. Если для

такихъ людей писалъ г-нъ Булгаринъ, то напрасенъ былъ трудъ его; если-же хотѣлъ онъ поучать людей порочныхъ, или слабыхъ въ добродѣтели, то опять напрасенъ трудъ его, какъ мы показали выше.

Но стремясь къ посторонней цѣли, онъ уже не могъ быть поэтомъ въ романѣ своемъ, и потому не достигъ ни къ чему. Поученія въ его книгѣ нѣтъ, и нѣтъ романа, потому что онъ хотѣлъ сдѣлать его поученіемъ. Мазепа представленъ довольно хитрымъ плутомъ — не болѣе; а подобный характеръ не можетъ быть занимателенъ. Человѣкъ, который изъ ничтожества достигъ такой силы, что хотѣлъ сдѣлаться независимымъ Государемъ, не могъ быть мѣлкимъ плутягой. Если-бы даже не справляясь съ Исторіей, Авторъ вывелъ на сцену человѣка, сильнаго умомъ и духомъ, но развратнаго, ослѣпленнаго честолюбіемъ и ложною привязанностью къ родинѣ; если-бы наконецъ главною пружиною дѣйствій его сдѣлалъ онъ неумиримую ненависть къ Петру Великому, то всѣ дѣйствія такого человѣка приняли бы характеръ совсѣмъ иначе занимательный. Мазепа погибъ самымъ несчастнымъ образомъ, въ своемъ безумномъ предпріятіи — вотъ истинная кара его злыхъ помысловъ. Для чего-же было тутъ выводить жалкихъ его дѣтей, и только ими наказывать преступника? Но еще надобно сказать и то, что Огневикъ и Наталья почти во все продолженіе романа, остаются загадочными лицами; читатель не знаетъ, что они братъ и сестра, дѣти Мазепы, слѣдовательно не принимаетъ никакого участія въ той гибели, какую готовитъ имъ Мазепа. Напротивъ, зная родственныя ихъ отношенія, читатель волновался-бы сильнымъ ощущеніемъ, страшась ихъ гибели отъ руки отца, страшась и успѣха ихъ страсти, которая должна была кончиться кровосмѣшеніемъ. Но Авторъ не умѣлъ воспользоваться и тѣмъ вымысломъ, который ввелъ въ свой романъ совсѣмъ не кстати. О другихъ побочныхъ лицахъ не станемъ говорить: это по большей части лица неестественныя и неудачныя, какими наполнилъ Г-нъ Булгаринъ всѣ свои романы. Несноснѣе всѣхъ Марья Ивановна Ломтиковская, такъ странно обольщающая Огневика! Доступъ, который она открыла ему къ заключенному Палѣю, достоинъ видѣнія Ножова! И довольно забавна фигура Палѣя, лежащаго въ гробу. Зачѣмъ его живого класть въ гробъ, и заставлять геройствовать такимъ образомъ? Неужели для эффекта? Но тутъ выходитъ эффектъ, котораго конечно не ожидалъ Авторъ. Надобно прибавить однако-жъ, что изъ всѣхъ изображенныхъ Авторомъ лицъ, Палѣй лучше всѣхъ, потому что всѣхъ занимательнѣе, Правда, нападеніе его на замокъ Панн Дульской представлено довольно невѣроятно; однакожъ это выкупаютъ многіе поступки и рѣчи Палѣя; напримѣръ появленіе его на балъ къ Мазепѣ въ Бердичевѣ. Еще замѣчательно изображеніе Іезуита. Да, они были таковы! Это вѣрно. За то Поляки представлены точно какими-то сумасшедшими! Это неестественно. И почти всѣ лица въ романѣ *Мазепа*, за исключеніемъ двухъ-трехъ, или незанимательны, или смѣшны безъ воли Автора. Мазепа, мѣлкій интриганъ, Огневикъ дрянной казачишка, храбрецъ на словахъ и глупецъ на дѣлѣ, отвратительный по связи съ Ломтиковскою. Наталья, ничтожная, безхарактерная фигура; Ломтиковская и неестественна и гадка; всѣ другія (кромѣ Палѣя и Іезуита) такъ ничтожны по дѣйствію, что о нихъ не стоитъ и упоминать.

При такихъ неудачныхъ характерахъ, связь романа совершенно безсвязна. Не Мазепа является по ней главнымъ, а Огневикъ, на которомъ держится все. Мазепа интриганитъ и хитритъ своимъ чередомъ, а Огневикъ дѣйствуетъ. Онъ и забирается въ домъ къ Мазепѣ, и подвергается пыткѣ, и миритъ Гетмана съ Палѣемъ, и скачетъ въ Петербургъ, и безумствуетъ въ

пустынѣ, и наконецъ отравляетъ отца. Спрошу только объ одномъ: что останется въ романѣ, если отнять Огневика? И по числу страницъ, и по важности дѣйствій — пустяки. Не выкиньте изъ романа Мазепу: останется еще романъ. *Огневикъ*. Какая-жъ тутъ связь?

Но повѣритъ-ли Авторъ, что мы извинили-бы всѣ эти недостатки, еслибы въ его романѣ было одно, главное достоинство: поэзія, одушевляющая изображаемыя событія? Романъ его остался-бы безсвязнымъ, безхарактернымъ, но многое выкупили-бы поэтическія картины. Что видимъ, напротивъ, у него? Какой-то простонародный, дѣтскій, пошлый взглядъ на все, и отъ того удивительное ничтожество изображеній. Какъ напримѣръ, является у него Петръ? Угадайте? Онъ бьетъ палкою подъячаго середи улицы! Это выбралъ Авторъ изъ всѣхъ исполинскихъ подвиговъ Петра, для изображенія намъ его характера! Кто другой, кромѣ Г-на Булгарина, впадаетъ въ такое недоразумѣніе? Полтавская битва больше похожа у него на реляцію, нежели на поэтическую картину. Житье-бытье Ломтиковской съ Огневикомъ въ Петербургѣ просто отвратительно. Палѣй во гробѣ смѣшонъ. Огневикъ съ трупомъ Натальи, который разваливается у него въ рукахъ — мутитъ душу. Но такихъ сценъ тьма, и онѣ совершенно уничтожаютъ двѣ-три, прекрасно выдержанныя, каковы пытка Огневика и пиръ у Мазепы.

Чтобы досказать все, надобно упомянуть о слогѣ *Мазепы*. Въ этомъ отношеніи, обыкновенно хвалятъ Г-на Булгарина, замѣчая, что онъ не дѣлаетъ ошибокъ противъ Грамматики Г-на Греча. Это конечно дѣло похвальное; но этого мало. Надобно еще, что-бы слогъ былъ живописенъ, одушевленъ, сообразенъ различнымъ картинамъ и ощущеніямъ. Этого нѣтъ у Г-на Булгарина. Его слогъ однообразенъ до утомленія, холоденъ и, чтобы выразиться уподобленіемъ, тянется, какъ знаменитый Плигинскій сургучъ. Лучше было-бы писать съ ошибками, которыя могли-бы поправить пріятельская рука грамотнаго товарища, но оживлять свой слогъ чувствомъ и жаромъ поэзіи. Теперь-же можно сказать, что слогъ Г-на Булгарина имѣетъ одно отрицательное достоинство: въ немъ нѣтъ ошибокъ грамматическихъ. Только!

Мы нарочно выписали мнѣніе г. Н. Полеваго о «Мазепѣ», потому-что это мнѣніе справедливо и безпристрастно. Намъ скажутъ: то мнѣніе о «Мазепѣ», а здѣсь дѣло идетъ о «Суворовѣ». Возраженіе справедливое, и мы считаемъ долгомъ отстранить его удовлетворительнымъ объясненіемъ. Г. Ѳ. Булгаринъ принадлежитъ къ числу тѣхъ плодовитыхъ сочинителей, которыхъ многочисленныя писанія пишутся на одинъ ладъ и на одну манеру, и отличаются одно отъ другого только названіями да именами дѣйствующихъ лицъ; въ сущности же они не что иное, какъ повтореніе перваго сочиненія, которое когда-то вышло изъ-подъ пера. По-этому, если вы прочли одно произведеніе такого сочинителя, вы знаете уже всѣ его произведенія, и написанныя и имѣющія быть написанными; если вы разобрали критически одно такое сочиненіе, то уже отдали самый вѣрный отчетъ и обо всѣхъ другихъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, «Суворовъ» г. Булгарина—ни дать-ни-взять, какъ всѣ другія его произведенія. Впрочемъ, какъ текстъ, писанный для картинокъ, «Суворовъ» ничѣмъ не хуже другихъ текстовъ, писанныхъ съ тою же цѣлью,—слѣдовательно, и «Исторіи Суворова», сочиненной г. Н. Полевымъ. Изданіе

прекрасно; но картинки, несмотря на имя ихъ даровитаго составителя, г-на Тимма, не слишкомъ-хороши. Взгляните, напр., на картинку на 104 страницѣ, гдѣ представлено, какъ Суворовъ отталкиваетъ янычара, бросившагося на него съ ятаганомъ: что это такое? каррикатура!..

770. Наль и Дамаянти. *Индѣйская повѣсть* В. А. Жуковскаго. *Рисунки по распоряженію автора выполнены г. Майделемъ. 1844. Изданіе Фишера. Въ 8-ю д. л. 201 стр.* [196]).

«Наль и Дамаянти» есть эпизодъ огромной индійской поэмы «Магабгарата»,—эпизодъ, какихъ въ ней довольно, и который представляетъ собою нѣчто цѣлое. На нѣмецкомъ языкѣ два перевода этой поэмы («Наль и Дамаянти»), одинъ Боппа, другой Рюкерта. Жуковскій переводилъ съ послѣдняго. О достоинствѣ его перевода нечего говорить. Легкость, прозрачность, удивительная простота и благородная поэзія его гекзаметра обнаруживаютъ высокое искусство, неподражаемое художество. Это переводъ вполнѣ-художественный, и русская литература сдѣлала въ немъ важное для себя пріобрѣтеніе.

Что касается до самой поэмы, она—индійская въ полномъ значеніи слова. Въ ней дѣйствуютъ боги, люди и животныя. Боги, какъ двѣ капли воды, похожи на людей, а люди—ни дать ни взять—тѣ же животныя. Такъ, напримѣръ, *гуси* играютъ въ поэмѣ такую роль, что безъ нихъ не было бы и поэмы. И эти гуси говорятъ и мыслятъ точь-вточь, какъ люди, а эти люди, въ свою очередь, говорятъ и мыслятъ точь-вточь, какъ гуси. Гуси здѣсь не глупѣе людей, а люди не умнѣе гусей. Въ этомъ выразился пантеизмъ Индіи и все индійское міросозерцаніе. Богъ Индійца,—природа; выше и дальше природы не простираются духовные взоры Индійца. По-этому, въ его глазахъ, гусь или корова—такія же важныя персоны, какъ и царь, и герой, не говоря уже о простомъ человѣкѣ. По этому же, Индіецъ весь теряется въ міровой субстанціи и бѣденъ личностію. Ему легко отрываться отъ себя и погружаться, смотря на кончикъ своего носа, въ созерцаніе божественнаго ничтожества. Отсюда происходитъ чудовищность, нелѣпость, дикость, сердечная теплота, плѣнительная наивность, а иногда и грандіозность его поэзіи. Для насъ, Европейцевъ, эта поэзія интересна какъ фактъ первобытнаго міра, и мы не можемъ сочувствовать ея суевѣрію, ея уродливому піэтизму, даже самымъ красотамъ ея. Это происходитъ отъ противоположности европейскаго духа съ азіатскимъ. Въ азіатскомъ нравственномъ мірѣ преобладаетъ субстанціональное, безразличное и неопредѣленное общее—эта бездна поглощающая и уничтожающая личность человѣка. Отсюда индійскія религіозныя самосожженія, самоуродованія и всякаго рода самоубійства ради блаженнаго погруженія въ лоно міровой жизни. Личность есть основа европейскаго духа, и потому въ немъ человѣкъ является выше природы. Сравните, въ этомъ отношеніи, «Иліаду» съ любою индійскою поэмою: какая разница! Мы читаемъ «Иліаду» какъ колыбельную пѣсню человѣчества, по прекрасному вы-

раженію Гёте; но мы сочувствуемъ ей вполнѣ, какъ своему собственному младенчеству, изъ котораго развилась наша возмужалость. Въ «Иліадѣ» боги также принимаютъ участіе въ дѣлахъ людей, но о животныхъ уже нѣтъ и помина. Боги эти прекрасны, и каждый изъ нихъ — живое существо, имѣетъ страсти, желанія, характеръ, потому-что каждый изъ нихъ—личность. Человѣкъ играетъ такую высокую роль, что сами боги его не что иное, какъ апоѳеоза его же собственной нравственной природы.

Въ «Налѣ и Дамаянти» нѣтъ характеровъ; всѣ ея дѣйствующія лица—образы безъ лицъ. Вотъ, на-примѣръ, характеристика Наля:

Крѣпкій мышцею, свѣтлый разумомъ, чтитель смиренный
Мудрыхъ духовныхъ мужей, глубоко проникнувшій въ тайный
Смыслъ писаній священныхъ, жертвъ сожигатель усердный
Въ храмахъ боговъ, вожделѣній своихъ обуздатель, нечистымъ
Помысламъ чуждый, любовь и тайная дума
Дѣвъ, гроза и ужасъ враговъ, друзей упованье,
Опытный въ трудной военной наукѣ, искусный и смѣлый
Вождь, изъ лука дивный стрѣлокъ, наипаче же славный
Чуднымъ искусствомъ править копями, на коняхъ онъ въ сутки
Могъ сто миль проскакать — таковъ былъ Наль; но и слабость
Такъ же имѣлъ онъ великую: въ кости играть былъ безмѣрно
Страстенъ.

Какая же тутъ личность? Это описаніе идетъ равно ко всѣмъ добродѣтельнымъ людямъ, гусямъ и змѣямъ поэмы. Это просто—сказка; но сказка, имѣющая важное значеніе историческаго факта жизни великаго племени,—наконецъ, сказка, изложенная поэтически.

Изданіе «Наля и Дамаянти» прекрасно; жаль только, что его портитъ орѳографія, отзывающаяся блаженной памяти семидесятыми годами.

* 771. **Басни И. А. Крылова.** *Въ девяти книгахъ. Санктпетербургъ. Въ тип. военно-учебныхъ заведеній. 1843. Въ 8-ю д. л. 326 и VIII стр.* [197]).

Изданіямъ басень И. А. Крылова потерянъ счетъ. Нѣсколько лѣтъ тому считалось однакожь, что ихъ издано *тридцать-девять тысячь* экземпляровъ. Такимъ успѣхомъ не пользовался на Руси ни одинъ писатель, кромѣ Ивана Андреевича Крылова. И будетъ еще время, когда его басни будутъ издаваться за одинъ разъ въ числѣ 40,000 экземпляровъ. Иванъ Андреевичъ Крыловъ, больше всѣхъ нашихъ писателей, кандидатъ на никѣмъ еще не занятое на Руси мѣсто «народнаго поэта»; онъ имъ сдѣлается тотчасъ же, когда русскій народъ весь сдѣлается грамотнымъ народомъ. Сверхъ-того, Крыловъ проложитъ и другимъ русскимъ поэтамъ дорогу къ народности.

Говорить о достоинствѣ басень И. А. Крылова — лишнее дѣло: въ этомъ пунктѣ сошлись мнѣнія всѣхъ грамотныхъ людей въ Россіи. Было время,

когда не умѣли рѣшить, кто выше—Хемницеръ, или Крыловъ, и было время, когда Дмитріева (И. И.), какъ баснописца, считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умѣя цѣнить по достоинству Хемницера и Дмитріева, всѣ знаютъ, что Крыловъ неизмѣримо-выше ихъ обоихъ. Его басни—*русскія* басни, а не переводы, не подражанія. Это не значитъ, чтобъ онъ никогда не переводилъ, напр., изъ Лафонтена, и не подражалъ ему: это значитъ только, что онъ и въ переводахъ и въ подражаніяхъ не могъ и не умѣлъ не быть оригинальнымъ и Русскимъ въ высшей степени. Такая ужь у него русская натура! Посмотрите, если прозвище «дѣдушки», которымъ такъ ловко окрестилъ его князь Вяземскій, въ своемъ стихотвореніи, не сдѣлается народнымъ именемъ Крылова во всей Руси! [198]).

Всѣ басни Крылова прекрасны; но самыя лучшія, по нашему мнѣнію, заключаются въ *седьмой* и *восьмой* книгахъ. Здѣсь онъ очевидно уклонился отъ прежняго пути, котораго болѣе или менѣе держался по преданію: здѣсь онъ имѣлъ въ виду болѣе взрослыхъ людей, чѣмъ дѣтей; здѣсь больше басень, въ которыхъ герои — люди, именно все православный людъ; даже и звѣри въ этихъ басняхъ какъ-то больше, чѣмъ бывало прежде, похожи на людей. Въ самомъ стихѣ ясно видно большое улучшеніе. Вотъ лучшія, по нашему мнѣнію, басни въ *седьмой* и *восьмой* книгахъ: *Совѣтъ Мышей*, *Мельникъ*, *Мотъ и Ласточка*, *Свинья подъ Дубомъ*, *Лисица и Оселъ*, *Муха и Пчела*, *Крестьянинъ и Овца* (едва ли не лучшая изъ всѣхъ басень Крылова), *Волкъ и Мышонокъ*, *Два Мужика*, *Двѣ Собаки*, *Кошка и Соловей*, *Рыбьи Пляски*, *Прихожанинъ*, *Ворона*, *Левъ состарѣвшійся*, *Бѣлка*, *Щука*, *Кукушка и Орелъ*, *Бритвы*, *Бѣдный Богачъ*, *Булатъ*, *Купецъ*, *Пушки и Паруса*, *Оселъ*, *Миронъ*, *Волкъ и Котъ*, *Три Мужика*.

И въ *девятой* книгѣ, заключающей въ себѣ *одиннадцать* басень, талантъ Крылова еще удивляетъ своею силою и свѣжестію: для него нѣтъ старости! Намъ особенно нравятся слѣдующія двѣ басни:

1.

Волки и овцы.

Овечкамъ отъ Волковъ совсѣмъ житья не стало,
И до того, что, наконецъ,
Правительство звѣрей благія мѣры взяло, —
Вступиться въ спасенье Овецъ, —
И учрежденъ совѣтъ на сей конецъ.
Большая часть въ немъ, правда, были Волки;
Но не о всѣхъ Волкахъ вѣдь злые толки.
Видали и такихъ Волковъ, и много кратъ, —
Примѣры эти не забыты, —
Которые ходили близко стадъ
Смирнехонько — когда бывали сыты.

Такъ почему жь Волкамъ въ совѣтѣ и не быть?
Хоть надобно Овецъ оборонить,
Но и волковъ не вовсе жь притѣснить!
Вотъ засѣданіе въ глухомъ лѣсу открыли;
Судили, думали, рядили,
И, наконецъ, придумали законъ.
Вотъ вамъ отъ слова въ слово онъ:
„Какъ скоро Волкъ у стада забуянитъ,
И обижать онъ Овцу станетъ:
То Волка тутъ властна Овца,
Не разбираючи лица,
Схватить за шиворотъ, и въ судъ тотчасъ представить
Въ сосѣдній лѣсъ иль въ боръ".
Въ законѣ нѣчего прибавить, ни убавить.
Да только я видалъ: до этихъ поръ
Хоть говорятъ: Волкамъ и не спускаютъ —
Что будь Овца отвѣтчикъ иль истецъ;
А только Волки все таки Овецъ
Въ лѣса таскаютъ.

2.

Вельможа.

Какой-то, въ древности, вельможа
Съ богато-убраннаго ложа
Отправился въ страну, гдѣ царствуетъ Плутонъ,
Сказать простѣе, — умеръ онъ;
И, такъ, какъ встарь велось, въ аду на судъ явился.
Тотчасъ допросъ ему:—„Чѣмъ былъ ты? гдѣ родился?"
„Родился въ Персіи, а чиномъ былъ Сатрапъ,
Но, такъ-какъ, живучи, я былъ здоровьемъ слабъ,
То самъ я областью не правилъ,
А всѣ дѣла секретарю оставилъ".
— „Что жь дѣлалъ ты?" „Пилъ, ѣлъ и спалъ,
Да все подписывалъ, что онъ ни подавалъ".
— „Скорѣй же въ рай его!" „Какъ! гдѣ же справедливость?"
Меркурій тутъ вскричалъ, забывши всю учтивость.
— „Эхъ, братецъ!" отвѣчалъ Эакъ:
„Не знаешь дѣла ты никакъ.
Не видишь, развѣ, ты? Покойникъ — былъ дуракъ!
Что, если бы съ такою властью
Взялся онъ за дѣла, къ-несчастью?
Вѣдь погубилъ бы цѣлый край!..
И ты-бъ тамъ слезъ не обобрался!
Затѣмъ-то и попалъ онъ въ рай,
Что за дѣла не принимался".

Вчера я былъ въ судѣ, и видѣлъ тамъ судью:
Ну, такъ и кажется, что быть ему въ раю!

Также прекрасна басня «Кукушка и Пѣтухъ».

Странно: почему до-сихъ-поръ не изданы комедіи Крылова? Конечно, эти комедіи далеко не такъ хороши, какъ его же басни: но все же онѣ хороши на столько, чтобы стоять имени своего автора, — а это, право, не мало! Сверхъ-того, комедіи Крылова еще интересны, какъ памятники нравовъ и литературы стараго времени.

Новое изданіе басень Крылова, въ типографскомъ отношеніи, очень-удовлетворительно.

772. Герой Нашего Времени. *Сочиненіе* М. Лермонтова. **Изданіе третіе.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Ильи Глазунова и К°. 1843. Двѣ части. Въ 12-ю д. л. Въ I-й части 173, во II-й—250 стр.*[199]).

Вотъ книга, которой суждено никогда не старѣться, потому-что, при самомъ рожденіи ея, она была вспрыснута живою водою поэзіи! Эта старая книга всегда будетъ нова. Мы было-взяли первое изданіе ея, чтобъ справиться о его годѣ,—взглядъ нашъ упалъ на первую страницу—и страницы начали одна за другою переворачиваться подъ рукою. Сколько разъ читали мы эту книгу — пора бы ужь было ей и надоѣсть; ничуть не бывало: все старое въ ней такъ ново, такъ свѣжо, какъ-будто мы читаемъ ее въ первый разъ. И предшествовавшія чтенія не только не ослабили эффекта новаго, но еще какъ-будто усилили его. Такъ доброе вино отъ лѣтъ становится все крѣпче и букетистѣе!

Три изданія менѣе, чѣмъ въ четыре года: какъ хотите, а это успѣхъ, огромный успѣхъ! И какъ кстати явилось это третье изданіе—именно какъ-будто для того, чтобъ рѣзче выказать литературную нищету настоящаго времени, и яснѣе обнаружить всю великость утраты, понесенной русскою поэзіею въ лицѣ Лермонтова. Сколько романовъ и повѣстей, сколько стихотвореній вышло въ эти четыре года! Многіе изъ нихъ надѣлали шума и доставили своимъ авторамъ славу «первыхъ писателей», благодаря услужливости и разсчетливости журнальныхъ крикуновъ; нѣкоторые изъ этихъ романовъ, повѣстей и стихотвореній дѣйствительно были не безъ достоинствъ, и даже замѣчательныхъ; но гдѣ же они, всѣ эти творенія, куда скрылись? Да, если перечесть, ихъ наберется таки-довольно; но, кромѣ «Мертвыхъ Душъ» и нѣсколькихъ новыхъ пьесъ Гоголя,—«Герой Нашего Времени», равно какъ и стихотворенія Лермонтова — все-таки новыя, словно сегодня написанныя книги, а всѣ тѣ произведенія были новы только пока забавляли публику, пока служили ей насущнымъ дневнымъ хлѣбомъ; но сегодня хлѣбъ съѣденъ— и завтра его ужь нѣтъ.

Перечитывая вновь «Героя Нашего Времени», невольно удивляешься,

какъ все въ немъ просто, легко, обыкновенно, и въ то же время такъ проникнуто жизнію, мыслію, такъ широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору,—и тогда вспадаетъ на умъ вопросъ: что жь еще онъ сдѣлалъ бы? какія поэтическія тайны унесъ онъ съ собою въ могилу? кто разгадаетъ ихъ?.. Лукъ богатыря лежитъ на землѣ, но уже нѣтъ другой руки, которая натянула бы его тетиву и пустила подъ небеса пернатую стрѣлу... И этотъ геній, эта великая духовная сила привязана къ скудельному организму личности человѣка: не стало человѣка—и нѣтъ уже въ мірѣ его силы...

Скоро выйдетъ въ свѣтъ четвертая часть стихотвореній Лермонтова. Это будетъ тоже *новая* книга, хотя она уже и прочтена публикою еще до выхода своего. Въ ней собрано все, что было напечатано въ «Отеч. Запискахъ» прошлаго и нынѣшняго годовъ, — такъ-что почитатели таланта Лермонтова (а ихъ много на Руси) будутъ имѣть все, до послѣдней строки, что было имъ написано и теперь открыто. Нельзя надѣяться, чтобъ еще что-нибудь нашлось — развѣ какіе-нибудь слишкомъ-незначительные опыты ранней эпохи его поэтической дѣятельности. Напечатанное въ этой книжкѣ «Отеч. Записокъ» стихотвореніе «Пророкъ» принадлежитъ къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова и есть послѣднее (по-времени) его произведеніе. Какая глубина мысли, какая страшная энергія выраженія! Такихъ стиховъ долго, долго не дождаться Россіи!..

Третье изданіе «Героя Нашего Времени», въ типографическомъ отношеніи, прекрасно. Во всякомъ другомъ отношеніи, мы не будемъ хвалить этой книжки: похвалы для нея такъ же безполезны, какъ безопасна брань. Никто и ничто не помѣшаетъ ея ходу и расходу — пока неразойдется она до послѣдняго экземпляра; тогда она выйдетъ четвертымъ изданіемъ, и такъ будетъ продолжаться до-тѣхъ-поръ, пока Русскіе будутъ говорить русскимъ языкомъ...

* 773. Другъ Дѣтей, *книга для первоначальнаго чтенія.* (Изданіе четвертое). *Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1844. Въ 8-ю д. л. 346 стр.*

Прогулка съ Дѣтьми по Земному Шару, Виктора Бурьянова. *Двѣ части.* Изданіе третье, *исправленное и дополненное. Съ раскрашенною картою всего свѣта. Санктпетербургъ. Въ тип. В. Соломона MDCCCXLIV. Въ 18-ю д. л. VII, 400 и 347 стр.*

Записки Петра Ивановича, *собранныя и украшенныя 100 картинками* П. Фурманомъ. *Санктпетербургъ. Въ тип. К. Жернакова. 1843 Въ 16-ю д. л. 218 стр.*

Священная Исторія въ разговорахъ для маленькихъ дѣтей. *Соч.* А. Ишимовой. **Изданіе второе.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1843. Въ 18-ю д. л. 153 стр.*

Новыя повѣсти для дѣтей (.) *сочиненіе* Анны Зонтагъ. *Санктпетербургъ. Печатано въ тип. Іогансона. 1844. Въ 12-ю д. л. 304 стр.*

Русскія сказки для Дѣтей, *разсказанныя нянюшкою* Авдотьею Степановною Черепьевою. *Санктпетербургъ. Въ тип. Ильи Глазунова и К°. 1844. Въ 16-ю д. л. 58 стр.*

Елка (,) *альманахъ для дѣтей на 1844 годъ. Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Крайя. 1844. Въ 36-ю д. л. 104 стр.*

Золотыя (е) **Цвѣтки.** *Или собраніе: басень, мыслей и другихъ мелкихъ стихотвореній. Съ картинками и рисунками. Санктпетербургъ. 1844. Въ 36-ю д. л. 57 стр.*

Книга Хамелеонъ. *Забавная фокусная игрушка для дѣтей. 1843* [200]).

Какое богатство дѣтскихъ книгъ! Вдругъ цѣлыхъ девять! Но не радуйтесь заранѣе: исключая какихъ-нибудь двухъ книгъ, все остальное—печатная бумага, не больше.

«Другъ Дѣтей» есть переводъ нѣмецкой книги «Der Deutsche Kinderfreund, ein Lesebuch für Volksschulen», т. е. «Нѣмецкій Другъ Дѣтей, книга для народныхъ школъ». Авторъ ея — Вильмсенъ. Она напечатана въ 1841 году *сто-шестьдесятъ-третьимъ* изданіемъ. Это родъ хрестоматіи для чтенія дѣтей. Цѣль ея — развитіе мыслительной способности въ дѣтяхъ черезъ постепенное восхожденіе отъ легкихъ къ болѣе-труднымъ понятіямъ, изложеннымъ въ сообразной съ ними формѣ. Цѣль эта достигается, благодаря хорошему составленію книги. Г. Максимовичъ, инспекторъ казенныхъ училищъ Санктпетербургскаго Учебнаго Округа, частію перевелъ, частію передѣлалъ книгу Вильмсена, сдѣлавъ ее такимъ-образомъ удобною для чтенія русскихъ дѣтей. Переводъ его одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для употребленія въ подвѣдомственныхъ ему учебныхъ заведеніяхъ, и съ 1839 года книга г. Максимовича достигла теперь четвертаго изданія. Все это неоспоримые факты въ ея пользу.

«Прогулка съ Дѣтьми по Земному Шару», безъ всякаго сомнѣнія, была бы прекрасною книгою, если бы она была прекрасно составлена: истина неоспоримая! Но къ-несчастію, эта «прогулка» сдѣлана черезчуръ налегкѣ, и съ крайнею поспѣшностію, безъ всякой оглядки. Такъ, на-примѣръ, во Франціи, г. Бурьяновъ проглядѣлъ городъ *Ліонъ*, т. е. «слона-то онъ и не примѣтилъ»; а о нѣкоторыхъ мѣстахъ насказалъ такихъ чудесъ, что ничего не

поймешь; на-примѣръ, что̀ это такое: «Мы еще не были въ Новыхъ Аѳинахъ, «улицѣ (въ Парижѣ), обстроенной въ греческомъ вкусѣ, и гдѣ домы имѣютъ «форму греческихъ храмовъ; девятьсотъ тысячъ жителей толпятся здѣсь въ «грязи и дышатъ вреднымъ воздухомъ» (стр. 273)? Въ улицѣ — Новыя Аѳины толпятся 900,000 жителей въ грязи! Большая же улица! Должно-быть, верстъ въ пятьдесятъ, если еще не длиннѣе! *Оксфордскій* Университетъ названъ прекраснѣйшимъ въ мірѣ (стр. 247), — а всѣмъ извѣстна красота схоластическихъ англійскихъ университетовъ! [201]). Въ описаніи русскихъ мужичковъ, сочинитель до того увлекся идиллическою поэзіею, что наговорилъ ужасныхъ вещей. Напримѣръ:

„Говоря объ обѣдѣ, я вспомнилъ, что ужь полдень, мужичекъ и его жена просятъ насъ, со свойственнымъ имъ радушіемъ и гостепріимствомъ, хлѣба соли у нихъ откушать. Столъ накрытъ чистою скатертью; за неимѣніемъ стульевъ сядемъ на скамьи; вотъ готовятъ жирные блины, какіе славныя щи, какая кулебяка съ рыбой и капустой, какая вкусная гречневая каша въ горшкѣ: она пышетъ паромъ; *мы наложимъ себѣ ее много* на деревянныя тарелки и будемъ ѣсть деревянными ложками вмѣстѣ съ прекраснымъ топленымъ масломъ; только что кончили, намъ подаютъ жаренаго поросенка, начиненнаго кашею, а потомъ преогромную баклагу съ простоквашею и тарелку съ творогомъ; хозяйская дочка набрала въ своемъ садикѣ крыжовнику, малины и смородины, и подчуетъ насъ; нельзя отказаться отъ этого сельскаго дессерта; въ другой разъ насъ подчуютъ ботвиньей, окрошкой и пшенной кашицей, а вмѣсто десерта дадутъ стручковъ. Намъ хочется пить: что можетъ быть лучше здороваго квасу съ мятой? прелесть! Мужички наши въ праздники пьютъ пиво и хлѣбное вино, иногда и медъ, а сбитень вмѣсто чаю, передъ которымъ онъ имѣетъ то преимущество, что не ослабляетъ желудка, какъ этотъ настой изъ китайскай ароматной травки“ (Ч. I. стр. 83—84).

Описанные г. Бурьяновымъ крестьяне такъ же точно похожи на настоящихъ крестьянъ, какъ театральныя крестьянки въ корсетахъ похожи на деревенскихъ бабъ и дѣвокъ. Настоящая Швейцарія! И садикъ есть, и красавица, хозяйская дочка нарвала своими нѣжными пальчиками крыжовнику, малины и смородины, и потчуетъ васъ—какъ тутъ отказаться? Кушайте во здравіе! И столъ накрытъ чистою скатертью... Говоря слогомъ почтмейстера въ «Мертвыхъ Душахъ» — въ нѣкоторомъ родѣ, сударь ты мой, такъ-сказать — Швейцарія да и только! Доказательство этого — на 186 страницѣ этой же книжки, въ статьѣ о Швейцаріи:

„Пройдите мимо и все семейство встанетъ, даже самъ отецъ, почтенный старикъ, сниметъ шляпу, подойдетъ къ вамъ и попроситъ раздѣлить ихъ скромный обѣдъ, взойдите: вездѣ царствуетъ чистота; бѣлый, какъ нагорный снѣгъ, еловый столъ приглашаетъ васъ къ себѣ; вокругъ стола въ порядкѣ крынки со вкуснымъ молокомъ; все это придаетъ аппетитъ. Молодая крестьянка подходитъ къ вамъ. Черненькій корсетъ обхватываетъ тонкій станъ, изъ подъ красной юбки выглядываетъ маленькая ножка и соломенная

шляпка, щегольски надѣтая, скрываетъ темнокаштановые волосы; а глазки, какъ у галки, и щечки, какъ розанчики. Что за живой, веселый видъ! Кожа на рукахъ у швейцарки груба, но всегда чисто содержана; вотъ она накрыла столъ бѣлою скатерью и подчуетъ насъ прекрасными сливками, земляникою и свѣжимъ масломъ".

Неправда ли — точь-въ-точь какъ у насъ?.. На 80 стр., г. Бурьяновъ говоритъ: «Съ простымъ топоромъ Русскій (мужикъ) сдѣлаетъ несравненно «болѣе, чѣмъ Нѣмцы съ своими замысловатыми инструментами». Именно такъ — что̀ и говорить! Куда дуракамъ Нѣмцамъ до нашего мужика! Дайте ему кусокъ мрамора, онъ вамъ сейчасъ сдѣлаетъ изъ него топоромъ и скобелью статую получше Аполлона Бельведерскаго или Венеры Медичейской, которыя хоть и славятся въ мірѣ, какъ диво искусства, а если посмотрѣть— такъ что! просто дрянь, нѣмецкая работа! Всякій русскій мужикъ лучше сдѣлаетъ! Вы правы, г. Викторъ Бурьяновъ! Ваша книжка сдѣлана тоже топоромъ и скобелью, а вѣдь куда хороша, куда лучше всѣхъ нѣмецкихъ книг

Варварскій языкъ, бездна опечатокъ, сѣрое, неопрятное изданіе — вотъ качества «Прогулки съ Дѣтьми по Земному Шару».

«Записки Петра Ивановича»—очень недурная книжка для чтенія дѣтей. Только ее надо читать пропустивъ первую главу, которая называется «Нѣсколько словъ вмѣсто предисловія» и въ которой не только дѣти, но и взрослые ровно ничего не поймутъ. Повѣсть явно передѣлана изъ какой-нибудь иностранной книжки, и передѣлана недурно, а предисловіе сочинено явно самимъ г. Фурманомъ. Картинки очень милы, и въ типографскомъ отношеніи книжка прекрасна.

«Новыя Повѣсти для Дѣтей» г-жи Зонтагъ были бы недурны, если бы написаны были порядочнымъ русскимъ языкомъ.

Что̀ касается до «Русскихъ Сказокъ для Дѣтей», изданныхъ какою-то нянькою, — мы не совѣтуемъ ее давать дѣтямъ въ руки, такъ же, какъ не совѣтуемъ позволять дѣтямъ слушать всякіе разсказы нянекъ о домовыхъ, лѣшихъ и тому подобныхъ вздорахъ, которымъ только засоряютъ понятіе и запугиваютъ воображеніе дѣтей.

«Елка» не дурно издана и хороша, какъ игрушка. Пусть дѣти играютъ ею, но съ условіемъ, чтобъ отнюдь не читать ея.

«Золотые Цвѣтки» состоятъ изъ двѣнадцати недурныхъ картинокъ и изъ разныхъ стиховъ, плохихъ и хорошихъ, набранныхъ изъ плохихъ и хорошихъ писателей и перепечатанныхъ безграмотно.

«Книга Хамелеонъ» — удивительная книга. Переворачиваете страницу и видите изображеніе трефоваго и бубноваго туза, далѣе—русскій и французскій алфавитъ, потомъ двѣ плохія литографіи, изображающія весну и лѣто; за тѣмъ — туза пикъ и червей; потомъ опять русскую азбуку, а за нею — таблицу умноженія; за таблицей—двѣ плохія литографіи, изображающія зиму и осень; потомъ все это же самое повторяется, въ такомъ же порядкѣ, раза

три или четыре. Если эту книжку непремѣнно было нужно назвать именемъ какого-нибудь животнаго, то всего бы лучше: «Книга-Оселъ», вмѣсто «Книга Хамелеонъ».

* 774. Литературный Калейдоскопъ (,) *или собраніе мелкихъ сочиненій* П. Машкова. *Автора повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ и проч. Въ 8-ю д. л. 53 стр.* [202]).

Знаете ли, что̀ такое сатирическій писатель?
Если не знаете, то г. Машковъ сейчасъ же объяснитъ вамъ это:

„Сатира была уважаема во всѣ времена. Когда человѣкъ сталъ понимать, что онъ есть существо возвышеннѣйшее предъ прочими тварями, одаренное разумомъ; когда онъ постигъ, что всѣ дѣйствія его должны быть облагорожены, страсти покорены разсудку, дикое звѣрство должно быть замѣнено душевною кротостію, безстыдство нравственностію, буйныя, скотскія наслажденія благородными забавами; однимъ словомъ, когда онъ разгадалъ цѣль своего созданія и образецъ, какимъ онъ быть долженъ, тогда онъ, съ ужасомъ, увидѣлъ огромныя массы людей, подобныхъ ему по физическому устройству и столь далекихъ отъ него по своему невѣжеству. Какъ было-дѣйствовать ему на эти толпы варваровъ? Какъ воцарить между ними нравственность? Какъ искоренить закоснѣлыя ихъ привычки? Увѣщанія безсильны. Примѣры не дѣйствительны. Надобно было показать ихъ дѣйствія въ смѣшномъ видѣ чтобы они ихъ устыдились. Для этого умъ человѣческій изобрѣлъ сатиру. Вотъ ея первое рожденіе. Колыбелью сатиры были вѣка самые отдаленные. Дикари слушали забавныя сказки, въ которыхъ ѣдко осмѣивались ихъ постыдныя дѣйствія, и никто изъ нихъ не обижался, потому что сатира направлена была не на личность. Такимъ образомъ, люди, мало-по-малу, начали узнавать свои заблужденія и невольно стали покидать привычки, сдѣлавшіяся предметомъ смѣха. Нѣтъ сомнѣнія, что сатира дѣйствовала на нравственность болѣе всѣхъ наказаній и угрозъ“.

Ну, вотъ теперь, благодаря г. Машкову, вы знаете, что̀ такое сатира: посредствомъ насмѣшки, она сдѣлала дикарей изъ скотовъ людьми! Но у дикарей, — скажете вы, — не бываетъ и не можетъ быть сатиры, потому-что сатира есть плодъ цивилизаціи, вѣтвь уже созрѣвшей литературы? Мы то же думали; но г. Машковъ знаетъ въ этомъ дѣлѣ больше насъ съ вами — надо повѣрить ему: вѣдь онъ не даромъ же—«авторъ повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ»... Но послушаемъ далѣе г. Машкова:

„Въ просвѣщенныя времена, сатира еще сильнѣе дѣйствовала на умы, и пріобрѣла болѣе уваженія. Видя пользу благонамѣренной сатиры, поддерживали ее вездѣ, какъ наказаніе тѣхъ нравственныхъ пороковъ, на которые не простирались законы. Многія злоупотребленія искоренены сатирою“.

Теперь не хотите ли узнать, что такое «сатирическій писатель» и что такое въ нашей литературѣ г. Машковъ? Слушайте же:

„Сатирическій писатель есть авторъ самый полезнѣйшій, самый благопамѣренный для своего отечества. Онъ долженъ имѣть болѣе опытности, болѣе познаній человѣческаго сердца, чѣмъ требуется отъ другихъ писателей. Онъ долженъ быть душою не золъ, не мстителенъ. Онъ долженъ нападать на порокъ, на невѣжество, а отнюдь не на недостатки людей, обиженныхъ природою. Долженъ указывать смѣшную сторону безнравственности вообще, а не выставлять примѣтъ и имени обвиненнаго. Пусть онъ самъ узнаетъ свой портретъ, совершенно въ другомъ изображеніи, и исправится. Я смѣюсь надъ Ивапомъ съ большимъ носомъ, котораго вовсе не существуетъ на свѣтѣ, между тѣмъ Петры, Карпы, Сидоры съ короткими посами находятъ за собою тѣ же недостатки и незамѣтно исправляются. Басни, комедіи, эпиграммы, развѣ не та же самая сатира? А кто на нихъ претендуетъ?

„У хорошихъ родителей часто бываютъ дурныя дѣти: такъ и отъ сатиры родился пасквиль. Поэтому-то, никогда не должно ихъ смѣшивать между собою. Сатира—лекарство, пасквиль — розга. Сатира—добро, пасквиль—нестерпимое зло для общества, потому что въ немъ нападаютъ на личность и раздражаютъ только больную рану Если мы имѣемъ аптеки для тѣла, почему-жь не имѣть аптеку для души? Почему не пользоваться сатирою?

„Объяснивъ значеніе сатиры и обязанность сатирическаго писателя, не трудно будетъ понять, почему я предпочитаю избранный мною путь другимъ отраслямъ литературы. Я хотѣлъ соединить полезное съ пріятнымъ. Пусть сочиненія мои, для людей нравственныхъ, будутъ ничѣмъ болѣе, какъ пріятною сказкою, а для невѣждъ фонарикъ, который освѣтитъ имъ лучшій путь. Основываясь на этомъ, я считаю нужнымъ сказать, что въ сочиненіи моемъ нѣтъ и не будетъ никакихъ личностей. Никогда читатели не встрѣтятъ въ нихъ тайнъ ничьей семейной жизни. Всѣ описываемыя мною лица совершенно вымышленныя, а если кто захочетъ приправливать ихъ къ себѣ или къ кому другому, тотъ можетъ найти личность во всякой книгѣ, во всякой комедіи, во всякой баснѣ. Для такихъ людей всѣ объясненія напрасны.

Мы доселѣ думали, что г. Машковъ принадлежитъ къ числу сочинителей средней руки, пишущихъ, при небольшомъ дарованіи, себѣ въ удовольствіе и *своей* публикѣ на утѣшеніе разныя мелочи, въ которыхъ изо всѣхъ силъ стараются насмѣшить *своихъ* читателей, и въ которыхъ, между пустою болтовнею и множествомъ плоскостей, проскакиваютъ иногда вещицы, если не остроумныя, то дѣйствительно забавныя. Словомъ, доселѣ думали мы, что г. Машковъ — нѣчто въ родѣ миньятюрнаго Поль-де-Кока, неутомимо пишущаго для извѣстнаго разряда публики. Но на дѣлѣ выходитъ, что мы ошибались: г. Машковъ — изволите видѣть — сатирикъ, исправитель нравовъ, гонитель злыхъ пороковъ и т. д. Какимъ же образомъ исправляетъ онъ нравы? Разсказами о какомъ-то чортѣ, живущемъ подъ Троицкимъ Мостомъ, о какой-то мѣщанкѣ, которая въ бурную ночь послала своего плачущаго ребенка къ чорту, и за это чортъ дѣйствительно овладѣлъ ея дѣтищемъ, наложилъ на его високъ синее пятно, которое и осталось клеймомъ отверженія на всю его жизнь. Вотъ подлинно оригинальный способъ исправлять нравы!..

*

* 775. Жизнь, какъ она есть. *Записки неизвѣстнаго, изданныя* Л. Брантомъ. *Санктпетербургъ. 1843. Въ тип. К. Жернакова. Три части. Въ 12-ю д. л. Въ I части 236, во II—230, въ III—260 стр.* [203]).

Всѣ поэты, сколько ихъ ни было, начиная съ того времени, какъ на свѣтѣ явились поэты, и до нашихъ дней, — старались изображать *жизнь, какъ она есть*, и ни одинъ изъ нихъ, ни всѣ вмѣстѣ, не успѣли окончательно показать міру *жизнь, какъ она есть*. Это отъ-того, что жизнь неисчерпаемо-глубока и безконечно-многосторонняя: сколько ни изображайте ее, всегда остается что̀ изображать; сколько ни трудитесь, а всегда будете исписывать только листочки жизни, и никогда не напишете ея цѣлой книги... Такъ думали мы всегда; но, прочитавъ заглавіе новаго творенія г. Бранта, мы было поколебались въ нашемъ убѣжденіи. Намъ пришло въ голову: можетъ-быть, доселѣ еще не было настоящаго генія, и всѣ эти Гомеры, Эсхилы, Софоклы, Эврипиды, Аристофаны, Шекспиры, Сервантесы, Байроны, Вальтеры Скотты, Гёте, Шиллеры и tutti quanti, можетъ быть, всѣ они или геніи-самозванцы, или только обыкновенные талантики, которыхъ человѣчество, за отсутствіемъ истиннаго генія, приняло за геніевъ... Можетъ быть,—продолжали мы мечтать, пораженные смѣлостію заглавія романа г. Бранта, — можетъ-быть... вѣдь для чудесъ нѣтъ законовъ... можетъ-быть, въ особѣ г. Бранта является міру этотъ истинный геній, которому суждено изобразить *жизнь, какъ она есть*... Ломайте же, поэты, ваши перья—вамъ нѣчего больше дѣлать: загадка рѣшена, слово найдено!.. Бросайте, люди, въ огонь всѣ прежніе романы: въ нихъ только отрывки, клочки жизни, тогда-какъ г. Брантъ предлагаетъ вамъ, за три рубля серебромъ, цѣлую книжку жизни,— жизнь, какъ она есть!.. Но кто же этотъ смѣлый, этотъ геніяльный г. Брантъ?.. Какъ кто? не-уже-ли же вы его не знаете? Онъ тотъ, который нѣкогда даромъ разсылалъ при газетахъ свои критическія обозрѣнія русской литературы и другія сочиненія; онъ тотъ, который въ 1840 году издалъ два томика повѣстей, поднятые на смѣхъ всѣми журналами; онъ тотъ, который, потомъ, съ-горя, издалъ брошюрку «Петербургскіе Критики и Русскіе Писатели», съ портретомъ автора, — которая брошюрка опять насмѣшила всѣ журналы; онъ тотъ, который въ прошломъ году издалъ чувствительную повѣсть «Аристократка», тоже единодушно осмѣянную во всѣхъ журналахъ... Говорятъ, что писатель, котораго всѣ бранятъ, — или великій геній, или самый бездарный писака: очевидно, что г. Брантъ — великій геній: у него столько ожесточенныхъ «враговъ» (?!), его сочиненія такъ единодушно преслѣдуются насмѣшками со-стороны журналистовъ и невниманіемъ состороны публики... Но самое неопровержимое доказательство геніяльности г. Бранта, это—его «Жизнь, какъ она есть». Спѣшимъ познакомить публику съ этимъ превосходнымъ произведеніемъ.

Въ предисловіи къ роману, г. Брантъ разсказываетъ, что у него былъ школьный пріятель, который «въ мундирѣ конно-артиллерійскаго прапорщика и съ подорожной въ рукахъ сѣлъ въ *благословенную* тележку», въ то время, какъ онъ, г. Брантъ «въ смиренномъ черномъ фракѣ, остался въ Петербургѣ» (стр. II). Друзья забыли другъ-о-другѣ,—прапорщикъ по причинѣ военныхъ тревогъ, а г. Брантъ, въ черномъ смиренномъ фракѣ, по причинѣ жестокой и продолжительной болѣзни, которая «оторвала его отъ свѣта, отъ всѣхъ внѣшнихъ отношеній, наконецъ, *отъ самого себя*» (стр. III). Спросите у медиковъ; они знаютъ, какая болѣзнь отрываетъ человѣка отъ самого-себя, и пожалѣйте о г-нѣ Брантѣ!.. Прошло шесть лѣтъ, а это (какъ справедливо замѣчаетъ г. Брантъ съ свойственнымъ ему глубокомысліемъ) не *шесть часовъ и не шесть дней* (стр. IV). (Такихъ глубокихъ истинъ въ романѣ г. Бранта разсѣяно безъ счету). «Юность смѣнилась молодостью, а молодость приближалась къ періоду зрѣлости» (стр. IV). Это такъ глубоко, что мы даже и не понимаемъ, что̀ хотѣлъ сказать г. Брантъ; но нужды нѣтъ: отъ-того это такъ и хорошо... Но вотъ разъ г. Брантъ находитъ на своемъ письменномъ столѣ визитную карточку съ именемъ своего друга. На другой день онъ и самъ ѣдетъ къ нему — и тоже не застаетъ дома, и рѣшается дождаться. Чтобъ не заставлять своихъ читателей ждать въ скукѣ свиданія друзей, г. Брантъ очень-обязательно занялъ ихъ интереснымъ описаніемъ кабинета своего друга. Наконецъ, это надоѣло самому г. Бранту, и онъ, отъ скуки, принялся читать лежавшую на столѣ рукопись, предполагая въ ней путевой журналъ... Права̀ истинной дружбы велики... Но вотъ является самъ хозяинъ. Сцена свиданія вышла претрогательная, а г. Брантъ такой мастеръ разсказывать самымъ лучшимъ *печатнымъ* слогомъ... Разговоръ друзей скоро обратился на рукопись, и заграничный другъ разсказалъ цѣлую исторію о томъ, какъ досталась ему эта рукопись. Ему подарилъ ее самъ авторъ, описавшій въ ней свою жизнь. Другъ г. Бранта познакомился съ нимъ на границѣ Швейцаріи съ Германіей. Онъ очень заинтересовалъ друга г. Бранта, и г. Брантъ весьма скромно замѣчаетъ, по этому поводу: «прошу припомнить— это говорю не я, а пріятель мой: мнѣ, въ качествѣ издателя, говорить *сего* не подобаетъ». Изъ этого видно, что г. Брантъ хочетъ, чтобъ его считали не сочинителемъ, а только издателемъ «Жизни, какъ она есть». Обыкновенная уловка многихъ геніяльныхъ писателей! Вальтеръ Скоттъ приписывалъ свои романы ключарю какой-то сельской церкви; Пушкинъ сочиненныя имъ-самимъ повѣсти издалъ подъ именемъ повѣстей Бѣлкина и даже съ предисловіемъ отъ лица мнимаго Бѣлкина; Лермонтовъ, въ своемъ превосходномъ «Героѣ Нашего Времени», хотѣлъ казаться только издателемъ записокъ Печорина, будто-бы случайно ему доставшихся черезъ Максима Максимыча. Почему же и г. Бранту было не поступить такимъ же образомъ? Мы увѣрены, что по примѣру такихъ писателей, каковы Вальтеръ Скоттъ, Пушкинъ, Лермонтовъ и г. Брантъ, теперь всѣ даровитые авторы будутъ прикидываться

издателями собственныхъ своихъ сочиненій. И такъ, дѣло ясное: г. Брантъ—подлинный и несомнѣнный сочинитель «Жизни, какъ она есть». Это доказывается еще и чрезвычайнымъ сходствомъ въ образѣ мыслей и выраженія между предисловіемъ г. Бранта и записками неизвѣстнаго: явно, что то и другое писано г. Брантомъ. Да вотъ въ первыхъ же строкахъ первой же страницы улика на лицо. Слушайте: «Я родился... да, разумѣется, я родился: иначе меня бы не было на бѣломъ свѣтѣ; а еслибъ не было, то тутъ нечего бы и говорить... *(четыре точки)*». Согласитесь, что такая глубокая мысль, столь остроумно выраженная, могла выйдти только изъ-подъ того пера, которое начертало въ предисловіи, что *шесть лѣтъ—не шесть часовъ и не шесть дней...*

Неизвѣстный (Евгеній тожъ) началъ себя помнить съ пятилѣтняго возраста. *Юность* его до самой *молодости* текла такъ однообразно и скучно, что нѣтъ возможности прочитать ея описанія, не заснувъ по-крайней-мѣрѣ десяти разъ. Няня ему все толковала печатнымъ слогомъ (самый приличный слогъ для романа!) о Наполеонѣ. За это Евгеній въ одно прекрасное утро «схватилъ руку старушки и бросился къ ней на шею; бабушка крѣпко прижала его къ груди своей—*и слезы ихъ слѣшались въ чистомъ, невинномъ объятіи безкорыстной привязанности* (стр. 19). Между разсказами о Наполеонѣ, бабушка написала Евгенію, что генералъ, его отецъ, нѣкогда увезъ Польку, переслалъ ее къ себѣ въ домъ, а самъ пріѣхалъ послѣ, потому-что «знамена Марса не пускали еще его въ мирную аркадскую область Гимена» (стр. 66); потомъ онъ на ней женился, но скоро опять уѣхалъ на войну, между-тѣмъ, какъ Теодора «носила подъ сердцемъ своимъ священный залогъ любви отсутствующаго» (*собственныя слова бабушки*, стр. 76). Родивши Евгенія, Теодора умерла, не смотря на возвращеніе генерала, который съ-горя опять отправился на войну. Выраженіе лица генерала было *гомерическое*; по словамъ г. Бранта, выраженіе лица наполеонова тоже было — *гомерическое*; по словамъ того же г. Бранта, который, часто употребляя этотъ эпитетъ при описаніи лицъ своихъ героевъ, однакожь оставляетъ на догадку проницательнаго читателя, что и лицо жида Саломона, играющаго непослѣднюю роль въ «Жизни, какъ она есть», было тоже — гомерическое. Наполеонъ явно принадлежитъ къ числу героевъ этого романа; его въ немъ нѣтъ, но имъ наполнены цѣлыя страницы,—и г. Брантъ пишетъ о Наполеонѣ съ особеннымъ умиленіемъ, т. е. особенно-печатнымъ слогомъ, словно о своемъ родственникѣ. И почемужь бы не такъ: всѣ геніи — родня между-собою. Но вотъ герою № 1 (т. е. Евгенію) минуло уже пятнадцать лѣтъ, и онъ началъ вести подробный журналъ своей жизни, записывая въ него происшествія каждаго дня. Умница мальчикъ! Въ это время пріѣхалъ его отецъ. Онъ былъ отчаянный бонапартистъ, и когда Наполеонъ очутился на островѣ Эльбѣ, генералу больше нѣ съ кѣмъ и не за кого было воевать. Но онъ пріѣхалъ не одинъ, а привезъ съ собою стараго профессора Буха съ

молодою женою, Маргаритою, и двѣнадцатилѣтнимъ сыномъ, Мишелемъ. Этотъ Мишель былъ удивительный красавецъ, голосъ имѣлъ мелодическій, нравъ ангельскій, умъ геніяльный, и чудесно писалъ стихи. Маменька его, Маргарита, начала учить Евгенія рисованію. Въ это время, въ мірѣ произошли два великія событія: Наполеонъ (№ 2 герой романа) ушелъ съ Эльбы и произвелъ во Франціи новую революцію, а Евгеній (№ 1 герой романа) влюбился въ Маргариту. Евгенію тогда было семьнадцать лѣтъ, а Наполеону было уже за сорокъ-пять лѣтъ. Въ то время, какъ первый вновь завоевывалъ свою корону, послѣдній завоевывалъ Маргариту. Это было вотъ какъ: узнавъ, что Евгеній ведетъ свой журналъ, Маргарита захотѣла прочесть его, а прочитавъ узнала изъ него, что Евгеній ее любитъ. Тогда она разсказала ему свою исторію, какъ г. Бухъ, въ качествѣ благодѣтеля, насильно женился на ней, пятнадцатилѣтней сиротѣ. Слѣдствіемъ этой взаимной откровенности было вотъ что: «И она привлекла меня къ себѣ—и уста наши слились въ горящій, «продолжительный поцалуй, между тѣмъ какъ блуждающія руки ея обхватили «станъ мой, и я упалъ на грудь ея... За вступленнымъ объятіемъ послѣдовала «минута сладостнаго забвенія; судорожный трепетъ пробѣжалъ по всѣмъ чле- «намъ моимъ, будто въ дремотѣ сна; мнѣ казалось даже, что я впадаю въ «безчувствіе, въ обморокъ, что я умираю...» (стр. 149). Когда Наполеонъ очутился на Островѣ св. Елены, г. Бухъ съ генераломъ воротился домой, больно избилъ жену; а Евгенія хотѣлъ отколотить палкою; но легче было стать передъ заряженною пушкою, чѣмъ передъ Евгеніемъ или Наполеономъ въ минуту ихъ гнѣва—и профессоръ чуть не полетѣлъ съ ногъ.

Видите ли, какъ тѣсно связана исторія Евгенія съ исторіею Наполеона, а исторія Наполеона съ исторіею Евгенія? Мы всегда были такого мнѣнія, что, не смотря на множество историческихъ документовъ и мемуаровъ частныхъ лицъ, въ исторіи Наполеона есть что-то неясное, и приписывали это близости къ намъ великихъ событій его жизни какъ она есть; но вышло другое: мы не знали жизни Евгенія какъ она есть. Теперь, благодаря г. Бранта, мы узнали ее, и въ исторіи Наполеона для насъ не осталось ничего темнаго, и на-оборотъ, благодаря знанію исторіи Наполеона, для насъ все ясно въ жизни Евгенія, какъ она есть. Самъ авторъ, г. Брантъ, живо чувствовалъ связь, существующую въ жизни обоихъ этихъ великихъ людей, и потому Евгеній у него говоритъ: «Въ тѣ дни, когда оканчивалась бурная политическая жизнь Бонапарте, нача- «налась моя собственная» (стр. 223). При этомъ случаѣ, Евгеній очень-основательно разсуждаетъ о томъ, что судьба Наполеона дала толчокъ его воображенію и мыслительной способности, и Наполеонъ же былъ виною, что Евгеній не вступилъ на поприще гражданина. Поэтомъ онъ не сдѣлался потому, что боялся зависти журналистовъ и критиковъ: чувствуя въ себѣ великій геній, онъ зналъ, что наживетъ пропасть враговъ. И хорошо сдѣлалъ!.. Но вотъ онъ ѣдетъ въ Веймаръ, съ письмомъ отъ отца своего къ *господину тайному совѣтнику фонъ-Гёте*, который сказалъ Евгенію: «Вертеръ шалость,

«грѣхъ моей молодости, который, впрочемъ, я охотно прощаю себѣ, потому-что «онъ очень милъ съ поэтической стороны» (ч. II, стр. 11). Какъ въ этомъ видѣнъ Гёте!.. Потомъ Гёте попросилъ Евгенія разсказать ему исторію своей любви. «Всю жизнь мою я изучаю сердце человѣческое, и, можетъ-быть, «*повѣсть любви вашей* откроетъ мнѣ новые тайники его» (стр. 12). Именно, этимъ-то способомъ Гёте и достигъ знанія сердца человѣческаго... Для этого всегда разспрашивалъ онъ мальчишекъ о ихъ любовныхъ шашняхъ... Удивительно постигъ г. Брантъ этого непостижимаго Гёте!.. Евгеній предложилъ ему свой дневникъ; Гёте сказалъ, что начинаетъ уважать его, не смотря на его семнадцать лѣтъ, потомъ подалъ ему свою творческую руку, а Евгеній, отвѣсивъ его превосходительству нѣсколько низкихъ поклоновъ, вышелъ изъ кабинета. «Таково было мое первое свиданіе съ геніяльнымъ «человѣкомъ, переданное здѣсь во всей *исторической* вѣрности!» (стр. 15). Да, видно, что г. Брантъ прилежно изучилъ Гёте и глубоко постигъ его. Отъ Гёте, Евгеній пошелъ въ театръ, гдѣ балетъ «произвелъ на него впе«чатлѣніе, особенно располагающее къ прекрасному полу» (стр. 27), вслѣдствіе каковаго расположенія, Евгеній очутился въ домѣ «патріотовъ», которые играли въ карты, курили трубки, пили вино и цаловались съ женщинами. Тамъ онъ напился пьянъ... «Въ глазахъ у меня потемнѣло... голова кружи«лась... брюнетка не переставала ласкать меня съ возрастающимъ жаромъ «и нѣжностью...» (стр. 33). Въ-слѣдствіе выпитаго вина и «возрастающаго жара и нѣжности брюнетки», Евгеній заболѣлъ, и вылечившись пошелъ къ Гёте, который, указавъ ему мѣсто на диванѣ, самъ, на томъ же диванѣ, началъ читать его дневникъ. По поводу извѣстнаго приключенія съ Маргаритою у камина, Гёте сообщилъ Евгенію, что въ него, старика, была влюблена семнадцатилѣтняя дѣвушка: явный намекъ на Бетину! Г. Брантъ глубоко проникъ въ отношеніе Бетины къ Гёте... Да и что можетъ скрыться отъ такого зоркаго наблюдателя, какъ г. Брантъ! онъ вездѣ увидитъ свое... За тѣмъ, Гёте, прочитавъ Евгенію длинную лекцію о слогѣ, отпустилъ его съ миромъ.

Евгеній перешелъ въ Іенскій Университетъ, отпустилъ усы и началъ жестоко жечь сигары и пить пуншъ. Любовныхъ похожденій у него набралось столько, что онъ потерялъ имъ счетъ, и разсказываетъ только о примѣчательнѣйшихъ. Тамъ онъ встрѣтился съ веймарскою брюнеткою, Эрнестиною, кабинетъ которой былъ маленькимъ раемъ—«я разумѣю здѣсь рай въ чувственномъ вкусѣ Магомета» прибавляетъ Евгеній (стр. 72). Изъ-за этой Эрнестины, онъ далъ оплеуху своему товарищу, Леониду, а «на утро, съ «разсвѣтомъ, въ уединенномъ мѣстѣ, за городомъ, назначена была, такъ на«зываемая, благородная раздѣлка, *кровавый разсчетъ чести*, *свинцовая «плата за обиду*» (стр. 97). Но мальчишекъ развелъ дядька Евгенія, съ помощію полиціи, и заставилъ ихъ помириться въ трактирѣ. Между-тѣмъ, г. Бухъ умеръ, и Маргарита пріѣхала съ Мишелемъ въ Іену. Евгеній было къ

ней... по старому слѣду; но она заговорила о добродѣтели достоинствѣ женщины, о своемъ паденіи и проступкѣ передъ мужемъ, который женился на ней подлымъ образомъ, билъ ее подлымъ образомъ, а передъ смертью сознался, что самъ измѣнялъ ей не разъ и особенно въ то время, какъ она измѣнила ему... Всѣ герои г. Бранта люди очень-падкіе на скоромное... Потомъ, Маргарита завела издалека рѣчь о бракѣ; но опытнаго Евгенія этимъ ужь нельзя было провести: онъ напился мертвецки-пьянъ и прокрался ночью въ комнату Маргариты... «Зачѣмъ вы здѣсь, Евгеній?» «Отвѣтъ былъ въ моихъ глазахъ, въ дикой наглости моихъ движеній». Она хочетъ кричать, а онъ ей говоритъ: Кричи—твой сынъ первый прибѣжитъ. Она на колѣни, молить, но напрасно... «Тогда не было для меня ничего священнаго; чувство «жалости, всѣ чувства заглушены были силою одного грубаго, скотскаго чув- «ства. Слабый вопль несчастной женщины замеръ подъ рукою моей...»

«Такъ, среди мглы ночной, вой бури заглушаетъ крики гибнущаго пловца, «тщетно взывающаго о помощи...»

«Такъ...» но пусть читатели сами прочтутъ 129 и 130 стр. второй части «Жизни, какъ она есть», чтобъ имѣть понятіе о высокомъ лирическомъ пафосѣ, какимъ г. Брантъ умѣетъ заканчивать свои сцены... А кто пожелаетъ знать, какъ умѣетъ сей вдохновенный сочинитель расплываться въ поэтическихъ выраженіяхъ послѣ сценъ возвышенныхъ, того отсылаемъ къ его несравненной «Аристократкѣ».

Евгеній былъ не только неутомимый самецъ, но и большой резонёръ,— блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ, по русской пословицѣ. Простившись, онъ началъ резонёрствовать, а потомъ пьянствовать; но Маргарита пришла къ нему и сказала, что она все сдѣлала для защиты своей добродѣтели, но если ужь... такъ оно лучше—знаете—продолжать... И въ-самомъ-дѣлѣ, правда! Это г. Брантъ справедливо назвалъ «подвигомъ Маргариты». Но не долго подвизался Евгеній съ Маргаритою: онъ уѣхалъ на родину, и еслибъ не жидовская ловкость Саломона, то Ревекка, хорошенькая дочь его, сдѣлалась бы жертвою Евгенія... Самого г. Бранта возмутило непостоянство Евгенія, и онъ очень-патетически, съ свойственнымъ ему краснорѣчіемъ нападаетъ на «неблагодарныхъ чудовищъ, въ естественной исторіи такъ сни- «сходительно называемыхъ мужчинами» (стр. 153—154). Послѣ этого, на сцену романа опять выступаетъ его герой № 2, т. е. Наполеонъ; но это для того только, чтобъ умереть и оставить Евгенію болѣе свободное поприще для дѣятельности. И надо сказать, что онъ очень-хорошо воспользовался этимъ выгоднымъ для него обстоятельствомъ: исторія съ Ревеккою заставила его написать къ Маргаритѣ письмо съ извѣщеніемъ, что онъ уже не любитъ ея; но когда Маргарита опять пріѣхала въ домъ генерала (вѣроятно, въ-слѣдствіе гнуснаго обращенія сэра Гудзона Лова съ Наполеономъ), Евгеній опять сказалъ ей: «Маргарита! Маргарита! люблю тебя! и она не смѣла противиться,

«моимъ ласкамъ, и сама ласкала меня... бѣдная, слабая женщина!» (стр. 226).

Въ третьей части, по случаю смерти отца своего, Евгеній переѣзжаетъ жить въ Парижъ, съ Маргаритою и Мишелемъ. Кстати о послѣднемъ. Съ нимъ случилась пречувствительная исторія: онъ женился, и съ радости началъ писать стихи, которыхъ ни одинъ книгопродавецъ не хотѣлъ купить... изъ зависти къ генію Мишеля, а совсѣмъ не потому, что плохихъ стиховъ никому не нужно. Тогда Мишель издалъ ихъ на свой счетъ, и журналисты ихъ разругали... тоже изъ зависти... Не смотря на то, что вошелъ въ долги, и вмѣсто того, чтобъ дѣльными трудами кормить себя и жену, Мишель, какъ всѣ несчастные писаки безъ дарованія, но съ самолюбивою страстью къ бумагомаранію, поставилъ на сцену драму. Парижъ освисталъ ее—тоже изъ зависти, по мнѣнію г. Бранта. Мелкое самолюбіе писаки было раздражено этою неудачею, онъ во всемъ видѣлъ зависть, заговоръ противъ себя, и во всякомъ, даже не исписанномъ листкѣ бумаги—грозную критику на себя, и съ отчаянія рѣшился писать на томъ свѣтѣ, гдѣ нѣтъ зависти и журналовъ, и оставилъ жену съ ребенкомъ. Это было самымъ умнымъ дѣломъ со стороны этого героя № 3 «Жизни, какъ она есть». Хорошо, еслибъ и всѣ дрянные писаки послѣдовали его примѣру!.. Но мы забѣжали впередъ, желая поскорѣе избавиться отъ этого глупаго рифмоплета. Возвращаемся назадъ. Г. Брантъ описываетъ Парижъ, и изъ его описанія видно, что онъ основательно изучалъ... извѣстную книгу г. Строева «Парижъ въ 1838—1839 годахъ». А Евгеній, между-тѣмъ, волочится напропалую. Влюбился онъ въ актрису лѣтъ девятнадцати, «прекрасную и стройную, какъ художественная мысль поэта, «сложенную полно и роскошно, какъ мечта о счастіи, игривую и рѣзвую, какъ «дитя, горделивую, какъ царица, пламенную и страстную, какъ Испанка, и «недоступную, какъ герцогиня Сен-Жерменскаго Предмѣстья» (стр. 70). Подкупивъ ея горничную, онъ залѣзъ къ ней подъ кровать, пока она была въ театрѣ. Актрисса пріѣхала домой, раздѣлась, попросила ужинать, потомъ еще раздѣлась и выслала горничную—а Евгеній все смотритъ да смотритъ изъподъ кровати... И вдругъ онъ видитъ: «Красавица, такъ волшебно раски-«нувшаяся на своемъ диванѣ, казавшаяся такою неземною, вдругъ опустилась «на землю. ..самымъ прозаическимъ образомъ...» (Ч. III. стр. 78). Въ то самое мгновеніе, Евгеній выскочилъ изъ своей засады. «Оставите ли вы меня, наконецъ?»—Могу ли имѣть столько власти надъ собою.—«Вы *сущій* злодѣй» (языкъ парижскихъ актриссъ!)—А вы настоящій ангелъ!—«Презрѣнный человѣкъ!»—«Прелестнѣйшая женщина!—«Подлецъ!» —Благороднѣйшая жрица Мельпомены! (стр. 82). Чѣмъ кончилась эта сцена—понятно: тѣмъ же, чѣмъ кончаются всѣ сцены г. Бранта. «Я» (говоритъ его Евгеній) «могъ бы разсказать здѣсь еще десятка два приключеній... Подчасъ мнѣ вспадало на мысль, что я походилъ нѣсколько «на знаменитаго кавалера де-Фоблаза, и что похожденія мои не годились бы «для строго нравственнаго романа, хотя и нельзя сказать, чтобы, *въ*

нѣкоторомъ «смыслѣ, они совершенно были лишены назидательности» (стр. 83). Дѣйствительно, романъ г. Бранта, *въ нѣкоторомъ смыслѣ*, можно счесть за пародію на романъ Лувѐ, или на мемуары кавалера Казановы, и точно, онъ *въ нѣкоторомъ смыслѣ*, не лишенъ назидательности, подобно спартанскимъ илотамъ, которыхъ господа нарочно заставляли напиваться до нельзя, чтобъ молодые люди фактически убѣждались въ гнустности пьянства... Если г-нъ Брантъ подъ «нѣкоторымъ смысломъ» разумѣетъ такого рода назидательность своего романа, то, конечно, съ нимъ всѣ согласятся...

Теперь мы приближаемся къ самому интересному мѣсту романа г. Бранта, Надо сказать, что его Евгеній познакомился, чрезъ Маргариту, съ герцогинею д'Абрантесъ, которая называла его «проказникомъ шалуномъ (polisson), любимцемъ амура, человѣкомъ безъ всякаго занятія» (стр. 61). Подлинный слогъ герцогини д'Абрантесъ! Она знала всѣ тайны Маргариты и Евгенія, и кокетничала съ послѣднимъ (стр. 101). Называя его негодяемъ и волокитою, она проситъ его сѣсть къ ней поближе, да разсказать ей о новой его *интрижкѣ* (стр. 103). Такъ-какъ на ту пору у Евгенія таковой не случилось, то герцогиня посовѣтовала ему идти въ гусары, отъ чего Евгеній отказался, по причинѣ боязни военной дисциплины; тогда герцогиня посовѣтовала ему пойти въ министры; но Евгеній отказался и отъ этого мѣста, потому-что оно скользко и хлопотливо (стр. 105). Затѣмъ герцогиня цалуетъ его (стр. 109), и поцаловавшись, они оба рѣшили на томъ, чтобъ Евгенію быть домашнимъ секретаремъ у одного польскаго графа. Но вотъ самое интересное мѣсто романа г. Бранта,—описаніе литературнаго вечера у герцогини. Такъ-какъ г. Брантъ, по-видимому, особенно разсчитывалъ на это описаніе, то, чтобъ сдѣлать ему удовольствіе, мы выпишемъ все это мѣсто, какъ ни длинно оно:

„Въ назначенный вечеръ я не преминулъ явиться къ г-жѣ Жюно и засталъ у нея довольно многолюдное общество, большею частію состоявшее изъ однихъ мужчинъ. Нѣкоторые изъ нихъ были въ очкахъ, и почти всѣ съ физіономіями, очень выразительно говорившими: „Мы люди мудрые, литераторы! Въ нашихъ рукахъ общественное мнѣніе; мы законодатели ума и вкуса; что мы скажемъ, то и свято!“ Въ числѣ этихъ мнимыхъ представителей общественнаго мнѣнія, замѣтилъ я нѣсколько лицъ, которыя съ перваго взгляда производили непріятное впечатлѣніе. Корыстолюбіе, недоброжелательство, интрига, злость, изображались въ глазахъ ихъ, какъ въ вѣрномъ зеркалѣ, искусно освѣщенномъ. Тѣмъ не менѣе они старались казаться справедливыми, безпристрастными, благонамѣренными. Но, не смотря на всѣ усилія, настоящая природа этихъ господъ проглядывала въ ихъ рѣчахъ и сужденіяхъ, невольныхъ обмолвкахъ, и даже въ самыхъ внѣшнихъ движеніяхъ, иногда очень удачно передающихъ движенія внутреннія. Такъ пожилая женщина, желающая казаться молодою, напрасно прибѣгаетъ ко всѣмъ пособіямъ искусства и кокетства. Сквозь румяна и бѣлила, сквозь всѣ косметическія средства, пробивается неумолимая морщина. Почтенныя *сороки* нагло предъявляютъ себя изъ-за мнимо-наивной улыбки, нѣсколько разъ репетированной передъ тоалетомъ, и сопровождаемой умилительнымъ взглядомъ, которому тщетно домо-

гаются придать неискусственное выраженіе взоровъ девятнадцати-лѣтней красавицы!

— „А, вотъ, наконецъ, и вы, другъ мой!“—сказала Герцогиня, встрѣчая меня посреди своей гостинной, и прибавила въ полголоса: „Видите ли, какой у меня собрался здѣсь ареопагъ мужей великихъ и знаменитыхъ, хотя, по чести сказать, безъ особенныхъ причинъ, я охотно бы лишила себя удовольствія принимать этихъ господъ. Между ними, скажу вамъ по секрету, только два или три человѣка заслуживаютъ дружбу и уваженіе честныхъ людей... а остальные... Но сядемте, и—въ ожиданіи Графа—я, въ нѣсколькихъ словахъ, постараюсь изобразить вамъ каждаго изъ нихъ...“

И потокъ самыхъ язвительныхъ, самыхъ ѣдкихъ эпиграммъ полился изъ устъ словоохотливой Герцогини, которая близко знала всѣ закулисныя литературныя сплетни, всѣ тайныя пружины печатныхъ дѣйствій журналистовъ, и потому могла передать мнѣ, съ самою отчетливою вѣрностію, характерные портреты ихъ—то была отборнѣйшая галлерея нравственнаго безобразія, душевной низости, прикрываемыхъ личиною желанія общественной пользы и добра, надъ которыми внутренно издѣваются лицемѣрные поборники его.

— „Одни изъ нихъ злы по природѣ,“—говорила, между прочимъ, Герцогиня—„другіе сдѣлались злы по обстоятельствамъ, въ слѣдствіе привычки постоянно говорить неправду и все порицать; третьи не добры, не злы, а просто безхарактерны, по недостатку чувства, благороднаго стыда и уваженія къ самимъ себѣ. Таковъ, напримѣръ, вотъ этотъ высокій журналистъ, съ лицемъ, исковерканнымъ оспою и веснушками и нѣсколько похожимъ на собачье. Онъ воображаетъ себя первымъ остроумникомъ въ мірѣ, колкимъ сатирикомъ, и въ этомъ счастливомъ убѣжденіи, которое, по обыкновенію, раздѣляется нѣсколькими дураками, безпрестанно издѣвается надъ всѣмъ и всѣми, вѣчно шутитъ и смѣется. Сначала онъ привлекалъ къ себѣ толпу, падкую на фарсы: но скоро, увидѣвъ въ немъ пустаго гаера и шарлатана, она отступилась отъ него и заклеймила его прозвищемъ *уличнаго шута*, какимъ прозвищемъ онъ, впрочемъ, гордится, повидимому. Домогаясь снова пріобрѣсть ея благосклонность, и истощась въ наслованномъ остроуміи, которое возбуждаетъ теперь въ читателяхъ зѣвоту, сонъ и Эфіопское храпѣніе,—онъ лѣзетъ изъ кожи, надрывается отъ усилій — чѣмъ бы, и какъ бы то ни было, разсмѣшить читателей своего журнала,—ломается, кривляется, высовываетъ языкъ, пляшетъ и скачетъ, маракетъ лицо свое, и безъ того не красивое, сажею, углемъ, расписываетъ всякими цвѣтами, рядится въ самые уродливые маскерадные костюмы, надѣваетъ колпакъ съ бубенчиками и всякими погремушками, строитъ гримасы, кувыркается, ходитъ на головѣ — все это, разумѣется, шутовскимъ перомъ своимъ; словомъ, прибѣгаетъ ко всевозможнымъ наглостямъ и пошлостямъ, чтобы только снова приманить къ себѣ толпу, — но, увы, все напрасно, все невпопадъ уже! Толпа равнодушно проходитъ мимо, не смѣется болѣе даже надъ нимъ самимъ, потому что, наконецъ, онъ сталъ ей не смѣшонъ, а жалокъ...

Есть особенная категорія мелкихъ газетчиковъ, издающихъ пустенькіе листки, наполняемые сказками, побасенками, разными сплетнями и самою грязною, отвратительною бранью. Вотъ напримѣръ, посмотрите на лѣво: одинъ изъ такихъ газетчиковъ — облизанный франтикъ, середняго роста, съ глупенькою рожицей, которую хочетъ облагородить очками, не подозрѣвая, что они такъ же идутъ къ нему, какъ къ коровѣ сѣдло, какъ пастуху тога. Впрочемъ, у него есть нѣкоторыя достоинства—онъ знаетъ Англійскій и Ита-

ліянскій языкъ, очень деликатно ходитъ, препскусно кланяется, и выражается отборнымъ, сладенькимъ слогомъ, особенно, когда обращается къ прекрасному полу, и думаетъ блеснуть своею любезностію, которая, говоря безъ оговорокъ, сильно отзывается переднею. Но я слишкомъ распространилась объ немъ. Онъ такъ мелокъ, ничтоженъ, просто сказать — глупъ, что не стоитъ даже осужденія. Нѣкоторые изъ его собратій и сотрудниковъ нѣсколько поумнѣе его: но тѣмъ хуже для нихъ, потому что умишко, направленный во вредъ себѣ и другимъ, умишко полуобразованный, вертящійся *около того*, чего самъ порядочно не понимаетъ, ниже и несноснѣе невинной природной глупости. Все то, однакожъ, только нѣкоторыя частности, нѣкоторыя стороны цѣлаго. Много нужно красокъ и времени тому, кто захотѣлъ бы нарисовать общую картину нашей Парижской журналистики, съ разносторонними, разнообразными ея нравами и безчисленными представителями. Вообще же можно сказать, что этотъ народъ, большею частію, золъ, ядовитъ, гадокъ снаружи и внутри, мстителенъ, продаженъ—это язва, зараза, чума общества...“

— Довольно, довольно, Герцогиня! Если вѣрить словамъ вашимъ—а я не смѣю имъ не вѣрить,—то всѣхъ этихъ господъ стоило бы перевѣшать...

— „На самой крѣпкой и узловатой веревкѣ, потому что они увертливы, гибки и скользки, какъ змѣи... Посмотрите, къ слову, на этого маленькаго, черномазенькаго человѣчка, что стоитъ у окна и разговариваетъ шопотомъ съ двумя литераторами, своими сотрудниками. Вглядитесь хорошенько въ отталкивающія черты его смугло-желтаго лица, въ его узенькіе, ястребиные глаза — въ нихъ столько злобы и недоброжелательства, что, кажется, будто это, ничтожное впрочемъ само по себѣ, твореньице, хочетъ заклевать весь родъ человѣческій. Его снѣдаютъ болѣзненная зависть и неукротимая жажда извѣстности: онѣ тѣмъ болѣе заставляютъ страдать несчастнаго, что природа рѣшительно отказала ему въ умѣ и дарованіяхъ авторскихъ. Онъ ничего не написалъ, кромѣ дрянной, школьной брошюрки о Кромвелѣ, да еще какихъ-то мыслей о Франціи, никого не заставившихъ думать, по причинѣ крайней ихъ пошлости и безтолковости. Убѣдясь къ собственномъ безсиліи и совершенной своей бездарности, внутренно сознавая свое жалкое ничтожество, онъ домогается, однакожъ, пріобрѣсть имя хотя чужими трудами, и издаетъ, въ видѣ журнала, какую-то учено-литературную энциклопедію. Добрые и легковѣрные люди, которымъ онъ насулилъ горы золота и славы, ссудили его своимъ капиталомъ: но въ дѣлѣ, гдѣ всего необходимѣе умъ, дарованія и свѣдѣнія, на деньгахъ далеко не уѣдешь, а этотъ желчный человѣкъ и грамматику-то плохо знаетъ, судя по нелѣпой орѳографіи его тяжелой энциклопедіи. Ему не оставалось ничего инаго, какъ пуститься на отчаянныя хитрости, и наглымъ шумомъ обратить вниманіе на свою тощую фигурку. Завербовавъ кое-какъ въ сотрудники цѣлую шайку голодныхъ писакъ съ широкимъ горломъ, онъ началъ съ того, что смѣло объявилъ ихъ талантами первой величины, и въ тоже время, съ неистовыми воплями, возсталъ противу всѣхъ, кто не принялъ участія въ его изданіи, кто, болѣе или менѣе, пользуется славою или извѣстностью,—провозгласилъ ихъ писателями безъ дарованій, безъ заслугъ, утверждая, что всѣ ошибались въ понятіи своемъ объ ихъ достоинствахъ, — шумѣлъ, кричалъ, выходилъ изъ себя, и точно сдѣлался на минуту предметомъ общаго вниманія: не знали, чему болѣе удивляться—нелѣпости парадоксовъ или оригинальности выдумки этого штукаря. Однакожъ, изданіе не расходилось, и штука становилась убыточною для ея изобрѣтателя. Надобно было, во что бы то ни стало, достать подписчиковъ на грузную энциклопедію.

Въ крайности люди рѣшаются на все. Промышленникъ напечаталъ огромное количество, сотни тысячъ экземпляровъ, объявленія о своемъ изданіи, расточая ему самыя безстыдныя похвалы и хвастая, что въ литературѣ никогда еще не бывало предпріятія болѣе полезнаго и успѣшнѣе достигающаго своей цѣли? Пресловутое объявленіе разослано было по провинціямъ, гдѣ есть еще много простяковъ, вѣрующихъ всему печатному. Употреблены были и другія, еще менѣе разборчивыя, средства къ уловленію легковѣрія публики, и подписчиковъ сначала набралось порядочное количество. Ободренный мнимымъ успѣхомъ, маленькой величины человѣкъ рѣшился, какимъ бы то ни было способомъ, упрочить существованіе своего изданія. Нужны были новость и странность, и онъ прибѣгнулъ къ нимъ, какъ къ единственному пособію поддержать предпріятіе, пустое въ сущности, нелѣпое въ основаніяхъ, дикое въ исполненіи. На чтожъ, вы думаете, отважился фокусникъ? Вдругъ, ни съ того, ни съ сего, онъ возвѣстилъ міру—а міръ его знать не зналъ, вѣдать не вѣдаетъ—возвѣстилъ, что во Франціи вовсе нѣтъ и не бывало никогда литературы, что Корнель, Расинъ, Вольтеръ и другіе классическіе писатели наши, составляющіе честь и гордость націи, были не что иное, какъ незначительныя и односторонніе явленія, далеко не заслуживающія той славы и почести, какими равно удостоивали ихъ и современники и потомство. Но, уничтожая старыя, всѣми признанныя знаменитости, надобно было создать новые кумиры. Удивительная энциклопедія не затруднилась тѣмъ, и съ свойственнымъ ей безстыдствомъ, дерзко провозгласила геніями какихъ-то упырей, прославляла ихъ небывалые таланты и никому неизвѣстныя заслуги. Но, увы, эта отчаянная выходка не удалась: она встрѣчена была громкимъ хохотомъ и всеобщими пасмѣшками, тѣмъ естественнѣе, что длинныя диссертаціи, которыми энциклопедія мечтала обратить вверхъ дномъ понятія здраваго смысла и истиннаго вкуса, были написаны тяжело и въ высшей степени нескладно, языкомъ варварскимъ, Прокезскимъ. Изложеніе, какъ нарочно, совершенно соотвѣтствовало дикости и странности мыслей этого новаго взгляда на литературу. Взбѣшенный неудачею, непризванный энциклопедистъ утѣшаетъ себя теперь памфлетами, ругательствами на все, что только подпадаетъ подъ собственное, полуграмотное перо его, или подъ перья достойныхъ его сподвижниковъ, — на все, что только пользуется въ обществѣ отличіями и репутаціей. Изданіе давно уже лишилось двухъ третей своихъ подписчиковъ, которые скоро увидѣли, какими мыльными пузырями вздумали оморочить ихъ. Умирая медленною, мученическою смертію, оно кое-какъ держится еще въ провинціяхъ переводными повѣстями и романами, да порою, не смотря на предсмертныя судороги и корчи, издаетъ прежніе неистовые вопли, которымъ, увы, даже изъ жалости или состраданія, не внемлетъ уже ни одно человѣческое ухо! Кончится тѣмъ, что бѣдный энциклопедистъ, тщетно домогающійся славы и денегъ, впадетъ отъ безсильной злости въ чахотку, или, что еще хуже, сойдетъ съ ума...“

— Ну, а эти двое сотрудниковъ его? — спросилъ я, заинтересованный исторіей черномазенькаго журналиста.

— „Преданнѣйшіе друзья его“—отвѣчала Герцогиня.—Они всѣми силами стараются продлить жизнь издыхающей энциклопедіи, потому что со смертію ея, имъ также прійдется умереть съ голоду... Одинъ изъ нихъ, тотъ, что пониже ростомъ, немного косой, съ лицемъ, свороченнымъ въ одну сторону, главный критикъ энциклопедіи, человѣкъ не совсѣмъ глупый и не безъ нѣкоторыхъ свѣдѣній, но съ такими превратными понятіями о вещахъ, и съ

такимъ страннымъ, ошибочнымъ направленіемъ ума, что лучше было бы для ближнихъ и для него самого, еслибъ онъ былъ совершеннымъ глупцомъ и невѣждой. Другой... что корчитъ аристократа (а въ родствѣ съ комедіантами), высокій, бѣлокурый, желающій казаться *львомъ*, не смотря на свою ослиную природу и вытянутую, какъ у теленка, шею... пишетъ въ журналѣ черномазенькаго памфлеты и карикатуры. Его въ насмѣшку прозвали „Тацитомъ бульваровъ и кофейныхъ домовъ“. Онъ проводитъ тамъ почти цѣлые дни, отыскивая мнимыхъ оригиналовъ и сюжетовъ для мнимо-курьёзныхъ разсказовъ; собираетъ новости и прислушивается къ разнымъ сплетнямъ въ низшихъ слояхъ общества. Въ псевдо-юмористическихъ статьяхъ своихъ, онъ описываетъ небывалыя похожденія изобрѣтаемыхъ имъ дураковъ и франтовъ середней руки, смѣется надъ ними, не подозрѣвая, что самъ-то онъ смѣшнѣе и глупѣе всѣхъ своихъ героевъ, въ изображеніи которыхъ тщетно силится быть забавнымъ и остроумнымъ. Пошлыя карикатуры его, исполненныя клеветъ на общество и неблагопристойностей, читаются только гризетками и дворниками... Эти три господина очень удивили меня сегодня своимъ посѣщеніемъ. Я просила одного знакомаго моего пригласить извѣстнѣйшихъ литераторовъ, пользующихся довѣріемъ публики, а онъ, въ пылу усердія, привелъ всѣхъ повстрѣчавшихся, въ томъ числѣ и этихъ молодчиковъ. Посмотрите,—съ ними стыдятся говорить даже ихъ собратія по ремеслу, и они, какъ отверженные, не смѣютъ тронуться съ мѣста, и шепчутся между собою,—вѣроятно, изобрѣтая новую клевету, въ отмщеніе за общее къ нимъ презрѣніе...“

Обращаясь вообще къ журналамъ, къ ихъ разностороннему вліянію на умы и нравы народные, Герцогиня, между прочимъ, говорила слѣдующее:

— „Большинство убѣждено, что Парижскія періодическія изданія служатъ къ распространенію просвѣщенія и развитію вкуса въ публикѣ: но нельзя исчислить всего вреда, причиняемаго ими въ ложномъ направленіи умовъ и страстей. Я не разъ размышляла, что было бы весьма полезно и даже благодѣтельно, еслибъ правительство усвоило себѣ исключительное право изданія журналовъ, или, по крайней мѣрѣ, имѣло за ходомъ ихъ непосредственное и строгое наблюденіе. Дворъ и министерство иностранныхъ дѣлъ распоряжались бы журналами политическими; Національный Институтъ учеными и литературными. Произнесеніе мнѣній и суда въ дѣлахъ политики, наукъ, искусствъ, словесности должно быть исключительно предоставлено людямъ громкой извѣстности, съ несомнѣнными, общепризнанными заслугами, людямъ благонамѣреннымъ и добросовѣстнымъ. Положимъ, что и тутъ вкрадывались бы иногда нѣкоторыя несправедливости и пристрастіе: но они были бы каплею въ морѣ, сравнительно съ тѣмъ, что видимъ нынѣ; въ сравненіи съ тѣми безчисленными злоупотребленіями, которыя, не будучи преслѣдуемы, достигли, наконецъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, силы права и власти.

— „Допуская же независимое существованіе журналовъ въ частныхъ рукахъ, непремѣнно должно строгими мѣрами ограничить своеволіе издателей, отнять у нихъ всякую возможность оскорблять личность, и подъ видомъ выраженія политическихъ или литературныхъ мнѣній вдаваться въ брань и ругательства, къ произвольному униженію именъ и репутацій. Я согласна, что такое ограниченіе первоначально встрѣтило бы у насъ, во Франціи, или Англіи, большія препятствія: но въ сосѣднихъ намъ державахъ, гдѣ свобода типненія болѣе обуздана, гдѣ существуетъ цензура, весьма легко достигнуть прекрасной цѣли обращенія журналовъ на одно лишь полезное, доброе, съ устраненіемъ явной несправедливости и дерзкихъ выходокъ, стремящихся къ

поруганію личности, къ посягательству на неприкосновеннѣйшія права достоинства человѣка.

— „Для литературъ юныхъ, еще не успѣвшихъ развиться до самостоятельности, въ странахъ, гдѣ, при отсутствіи цензуры, общественное мнѣніе еще не созрѣло и не противопоставляетъ оппозиціи какому нибудь наглому крикуну, ничего нѣтъ вреднѣе, какъ журнальная монополія. Она останавливаетъ ходъ литературы, сообщаетъ ей ложное направленіе, злонамѣренно подрывается подъ истинныя дарованія и разсчетливо возвышаетъ посредственность тайною корыстною цѣлію, которую можно изобразить въ слѣдующихъ словахъ: „чѣмъ больше хорошихъ книгъ порицается журналами, чѣмъ меньше расходится отдѣльныхъ изданій, тѣмъ, естественно, періодическія больше пріобрѣтаютъ подписчиковъ“. Думаютъ, какъ я уже сказала, что журналы способствуютъ распространенію просвѣщенія: но не ошибочное ли это убѣжденіе? Множество молодыхъ людей, не оперившихся юношей, пренебрегаютъ систематическимъ, классическимъ образованіемъ, прочнымъ и истиннымъ, и въ замѣнъ его черпаютъ отрывчатыя свѣдѣнія и познанія изъ разныхъ журналовъ, весьма часто проповѣдывающихъ нелѣпыя теоріи и вредныя воззрѣнія... О, весьма легко можно бы было устроить дѣло иначе, и лишивъ журналы губительной ихъ силы, сообщить имъ дѣльное и благое направленіе!..“

— Вы, кажется, мечтаете объ Утопіи, Герцогиня?—замѣтилъ я.

— „Ни мало! Ограничить злоупотребленія періодическихъ изданій и повести ихъ по пути истинному — дѣло очень возможное: слѣдуетъ только взяться за него твердою рукою, умно и обдуманно; принять сильныя мѣры, привѣсивъ нѣкотораго рода нравственныя гири къ головамъ людей неблагонамѣренныхъ, чтобы онѣ не могли двигаться слишкомъ произвольно...“

— Я совершенно согласенъ съ вами, Герцогиня, въ томъ, что не мѣшало бы ввести журналы въ предѣлы приличія и умѣренности: но полагаю, что вы преувеличиваете вѣсъ и значеніе журнальнаго вліянія въ обществѣ. Журналы скорѣе служатъ ему развлеченіемъ, нежели указателемъ. Кто вѣритъ имъ, тысячу разъ испытавъ ихъ несправедливость? Какого опытнаго и благоразумнаго человѣка могутъ обмануть они? Касательно же литературной критики, мнѣ кажется, что хорошую книгу унизить мудрено, и истинное дарованіе, рано или поздно, не смотря ни на какое противодѣйствіе неблагонамѣренности, узнается и признается всѣми...

— „О, безъ всякаго сомнѣнія! И не можетъ быть иначе: потому что, въ противномъ случаѣ, ложь имѣла бы окончательный перевѣсъ надъ истиною, чего, къ счастію, мы еще не видимъ въ мірѣ, вопреки всѣмъ усиліямъ зла и недоброжелательства людскаго. Но изъ этого не слѣдуетъ, однакожъ, что должно равнодушно смотрѣть на всякое злоупотребленіе, и не стараться вырвать вредное и неблагородное орудіе изъ рукъ недостойныхъ, нечистыхъ...“ (*Ч. III*, 112—128).

Изъ этого отрывка, читатели могутъ убѣдиться, какъ глубоко г. Брантъ изучилъ Францію, и какъ тонко постигъ онъ ея потребности. Мы увѣрены, что г. Бранту стоитъ только явиться въ Парижъ съ французскимъ переводомъ своего романа, и его тотчасъ же сдѣлаютъ тамъ первымъ министромъ, на мѣсто Гизо. А какое было бы счастіе для Франціи имѣть подобнаго министра! онъ, не хуже Ивана Александровича Хлестакова, все бы устроилъ въ

одинъ день ко благу Франціи: журналисты не смѣли бы преслѣдовать дрянныхъ писачекъ и бездарности явилось бы просторное, и свободное поприще... а отъ этого, разумѣется, Франція сдѣлалась бы счастливѣйшимъ государствомъ въ мірѣ... Однакожь, при всемъ своемъ глубокомъ знаніи Франціи и ея потребностей, г. Брантъ очевидно ошибается кое-въ-какихъ фактахъ. Во-первыхъ, онъ черезчуръ преувеличиваетъ важность рецензій во французскихъ журналахъ: во Франціи журналами называются газеты, а то, что̀ у насъ, въ Россіи, называется журналомъ, во Франціи носитъ общее имя revue. Французскіе журналы (т. е. газеты) литературою почти не занимаются, обращая все свое вниманіе исключительно на политику. Даже revues отличаются преимущественно политическимъ направленіемъ, и если говорятъ о литературныхъ сочиненіяхъ, то лишь о замѣчательныхъ—о такихъ, которыя скорѣе можно хвалить, чѣмъ бранить, и такихъ похвальныхъ рецензій во французскихъ revues является очень-много, потому-что во Франціи является очень-много хорошихъ литературныхъ произведеній. Жаль, что г. Брантъ вовсе не читаетъ французскихъ періодическихъ изданій: еслибъ его прирождная проницательность была соединена съ знаніемъ дѣла, онъ не впалъ бы въ такія грубыя ошибки, которыя очевидны для всякаго мало-мальски грамотнаго человѣка. А все виновато его пылкое, романическое воображеніе! Оно-то было причиною, между-прочимъ, и того, что г. Брантъ не вполнѣ описалъ литературный вечеръ у г-жи Жюно. Мы знаемъ, изъ какихъ источниковъ почерпалъ г. Брантъ всѣ эти драгоцѣнные факты—изъ собственныхъ записокъ герцогини. Но этого недостаточно: слѣдовало бы ему заглянуть и въ записки современниковъ г-жи Жюно, посѣщавшихъ ея салонъ. Вотъ что, въ запискахъ одного изъ нихъ, нашли мы касательно описаннаго г. Брантомъ литературнаго вечера у герцогини д'Абрантесъ:

«А видите ли вы (сказала г-жа Жюно, отдѣлавъ журналистовъ), видите ли вы вонъ этого низенькаго, кругленькаго человѣчка, съ румянымъ лицомъ, похожимъ на пушистый персикъ? Это презамѣчательное существо. Онъ родомъ Бельгіецъ; надъ лбомъ у него голая яма, тщательно-прикрытая волосами. Онъ глупъ, какъ это сейчасъ можно видѣть по его самодовольному лицу; но это бы еще ничего; худо то, что онъ помѣшанъ на *двухъ* идеяхъ, какъ ни странно подобное физіологическое явленіе. Первая—что онъ сынъ Наполеона и наслѣдникъ французскаго престола. Дураку вообразилось, что Наполеонъ, въ одинъ изъ своихъ походовъ, пилъ чай у его матери, и что этому обстоятельству онъ обязанъ своею жизнію. Какъ всѣ глупцы, онъ съ физіономіею разряженнаго лакея (NB. *въ подлинникѣ*: avec sa physionomie d'un laquais endimanché) считаетъ себя красавцемъ и находитъ въ выраженіи своей телячьей фигуры что-то общее съ лицомъ Наполеона. Посмотри-те на него поближе: фракъ на немъ сѣрый; складной шляпѣ своей (chapeau claque) онъ даетъ форму наполеоновской трех-угòлки, а руку—посмотрите — важно держитъ за жилетомъ; булавочка его шейнаго платка съ Наполеономъ, перстень

съ Наполеономъ, табакерка съ Наполеономъ. Второй пунктъ его помѣшательства—авторство. При своей глупости, онъ ужасно бездаренъ. Книги его не идутъ, и онъ приписываетъ это зависти журналистовъ и паденію Наполеона. Наконецъ, увидѣвъ у уличныхъ разнощиковъ экземпляры одного своего новаго сочиненія, раздаренные имъ пріятелямъ и журналистамъ съ собственноручными его униженными надписями, онъ, бѣднякъ, не вынесъ—и объявилъ себя на Вандомской-Площади, среди бѣлаго дня, сыномъ Наполеона! Его заперли въ домъ, гдѣ лечутъ отъ притязаній на родство съ великими міра сего... Черезъ годъ, онъ поправился и опять началъ писать и печатать; но уже при этомъ сталъ поступать осторожнѣе—сталъ являться къ журналистамъ, подличать передъ ними, захваливать ихъ печатно. Но этимъ онъ только надѣлалъ себѣ новыхъ бѣдъ: журналисты, столь часто несогласные между собою во многомъ, на этотъ разъ единодушно рѣшились сдѣлать изъ писаки—шута для своихъ фельетоновъ и на его счетъ забавлять публику. При этомъ, они имѣли еще въ виду отдѣлаться отъ его посѣщеній, упрямыхъ и настойчивыхъ, не смотря на то, что слуги журналистовъ захлопывали двери у него подъ носомъ, говоря: «дома нѣтъ». Не повѣрите, до какой степени раздражительно самолюбіе этого дурака: говоря съ вами, онъ безпрестанно обижается. Если ему холодно, вы обидите его смертельно, сказавъ, что вамъ жарко. О чемъ бы вы ни заговорили съ нимъ, онъ сейчасъ своротитъ на литературу, на свои труды, на несправедливость критики. Особенно онъ сталъ раздражителенъ въ послѣднее время, увидѣвъ, что журналисты не перестаютъ надъ нимъ смѣяться, а къ себѣ его рѣшительно не пускаютъ, оставивъ съ нимъ всякія церемоніи. Для утѣшенія своего, онъ пишетъ на нихъ пасквили, надъ которыми они сами смѣются первые, потому-что злость безсильнаго врага всегда забавна. Онъ всегда носитъ съ собою какое-нибудь новое свое маранье. Видите ли, у него изъ боковаго кармана торчитъ бумага: это разсужденіе о томъ, что критику надо запретить, потому-что она ведетъ къ безбожію, мятежамъ и явному неуваженію... плохихъ стиховъ и глупыхъ романовъ и повѣстей... Замѣчайте: онъ съ кѣмъ-то заговорилъ; румянецъ ярче вспыхнулъ на его животно-мясистомъ лицѣ; слышите ли, голосъ его поднялся цѣлою октавою выше, и онъ «кричитъ: «Конечно, милостивый государь, я не принадлежу къ числу та-«кихъ геніальныхъ писателей, какъ г. Гюго, или г. Бальзакъ, или г. Ламар-«тинъ, или г. Жаненъ, къ числу которыхъ, можетъ-быть, принадлежите вы; «но все-таки мои сочиненія—смѣю надѣяться—заслуживаютъ нѣкотораго «вниманія, и вы очень ошибаетесь, думая, что я позволю вамъ оскорблять «меня... Я понимаю, почему вы хвалите фельетоны г. Жанена: вы знаете, «какъ недобросовѣстно онъ отозвался о моей поэмѣ... Онъ переписалъ мои «стихи сперва снизу вверхъ, а потомъ нарвалъ по стиху изъ каждой страни-«цы... я не виноватъ, что смыслъ выходитъ все такой же, какъ еслибъ мои «стихи читались и сверху внизъ, по порядку»... Вотъ вамъ образчикъ его пошлаго самолюбія, продолжала герцогиня.—А жаль, по человѣчеству жаль:

не смотря на свою глупость, онъ могъ бы быть порядочнымъ писцомъ въ канцеляріи, или порядочнымъ корректоромъ, и могъ бы послѣднею изъ этихъ должностей добывать себѣ хорошія деньги. Онъ необразованъ, безъ всякихъ свѣдѣній, ничего не читалъ, кромѣ своихъ сочиненій; но онъ порядочно знаетъ грамматику и достаточно силенъ въ орѳографіи. Былъ бы славный корректоръ. Но, вмѣсто того, онъ разоряется на изданіе своихъ глупыхъ сочиненій. Если опять не сойдетъ съ ума, то ему прійдется умереть съ голода...»

Изъ этого отрывка да убѣдится г. Брантъ, что и мы знаемъ салонъ г-жи Жюно по-крайней-мѣрѣ не хуже его, г. Бранта, который во всѣхъ французскихъ герцогскихъ салонахъ какъ у себя дома...

Поступивъ въ домашніе секретари къ графу, Евгеній свелъ связь съ графинею. Знаменитое это событіе воспослѣдовало въ каретѣ (стр. 153). Потомъ Евгеній влюбился въ дочь графа. Эту любовь его г. Брантъ называетъ «истинною», а мы назвали бы ее приторно-сытовою, даже не сахарною, потому-что сахаръ все-таки матеріалъ слишкомъ дорогой и благородный для идеальности людей съ низкими чувствами, каковъ былъ Евгеній (см. стр. 130 второй части). Дочь графа оказалась кузиною Евгенія, дочерью сестры его матери. Ее выдали за какого-то престарѣлаго герцога. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ, овдовѣвъ, она явилась къ Евгенію, говоря ему, что вышла за старика изъ крайности и по разсчету, потому-что «супругъ болѣе молодой... былъ «для нея опаснѣе... Произнеся послѣднія слова, Елена покраснѣла и потупила взоры»... (стр. 258). Затѣмъ, они, къ несказанному удовольствію г. Бранта, сочетались законнымъ бракомъ. Евгенію тогда было уже сорокъ лѣтъ, и ему ничего не оставалось больше, какъ жениться.—И вотъ вамъ *Жизнь, какъ она есть!*..

Ухъ! позвольте отдохнуть! Мы не только прочли романъ г. Бранта, но и пересказали вамъ его содержаніе,—а это подвигъ немаловажный! До-сихъ поръ, мы шутили, а теперь скажемъ серьёзно, что не смотря на грамматически правильныя, не смотря на реторическія, по старинному манеру обточенныя и облизанныя фразы этого романа, трудно вообразить себѣ что-нибудь болѣе-пошлое, нелѣпое. Отсутствіе фантазіи совершенное, бѣдность воображенія непостижимая. Это просто сцѣпленіе небывалыхъ происшествій на небывалой землѣ съ небывалыми людьми. Всѣ эти люди—какъ двѣ капли воды похожи другъ на друга, т. е. всѣ въ одинаковой степени невыносимо нелѣпы, всѣ, не выключая ни Наполеона, ни Гёте, ни герцогини д'Абрантесъ, Богъ вѣсть зачѣмъ приплетенныхъ къ грязнымъ похожденіямъ глупаго мальчишки. И самыя эти похожденія лишены того качества, которымъ думалъ сочинитель польстить плотоугодничеству извѣстнаго класса читателей: они мертвы и холодны, какъ и та фальшивая мораль, съ которою они переболтаны, какъ вода съ саломъ. И къ какой стати тутъ Наполеонъ и Гёте? Не только эти люди, но даже и герцогиня д'Абрантесъ слишкомъ не по-плечу такимъ сочинителямъ, какъ г. Брантъ. Но такіе-то сочинители особенно и храбры и ни

*

передъ чѣмъ не останавливаются. Они понимаютъ все просто и думаютъ, что Наполеонъ и Гёте думали и чувствовали что то такъ же, какъ и они, горемычные писаки...

Мы пересказали все содержаніе романа г. Бранта, все... какъ оно есть, не упустивъ почти ни одной черты; остальное въ немъ—болтовня, водяное, многоглаголивое и безцвѣтное распространеніе пересказаннаго нами. Мертво, вяло, скучно, пошло!

Г. Бранту не удалась критика, не удались повѣсти, и онъ вздумалъ написать романъ съ «веселенькими» похожденьицами и—очень-кстати—съ Наполеономъ и Гёте; но и этого не съумѣлъ сдѣлать... такое несчастіе! Романъ его принадлежитъ къ той литературѣ, которая называется по-латинѣ *literatura obscena;* но еслибъ въ этой грязи было хоть сколько-нибудь дарованія, мы бы поздравили г. Бранта и съ такимъ успѣхомъ...

Не-уже-ли и послѣ этого г. Брантъ будетъ продолжать забавлять публику на свой счетъ нападками на зависть и недоброжелательство журналистовъ, будто-бы убивающихъ таланты? Отъ сотворенія міра по сіе время, ни одинъ журналъ не убилъ ни одного истиннаго таланта и не отвадилъ ни одного плохаго писателя отъ дурной привычки пачкать бумагу. Улика на лицо—самъ г. Брантъ: если въ немъ, г-нѣ Брантѣ, есть талантъ, насмѣшки журналовъ не ослабили же его таланта и не помѣшали ему, послѣ «Аристократки», написать «Жизнь, какъ она есть»; если же въ немъ, г-нѣ Брантѣ, нѣтъ таланта—все равно: насмѣшки журналовъ не прекратили его охоты истреблять по-пусту бумагу, и послѣ всѣми осмѣянныхъ повѣстей, рецензій, «Аристократки», онъ вотъ издалъ же всѣми же осмѣиваемую «Жизнь, какъ она есть»...

776. Русская драматическая литература. Предокъ и Потомки. *Трилогія въ стихахъ и прозѣ* [204]).

Эта пьеса по-французски называется «Les Burggrafs», а по-русски ее слѣдовало бы назвать «Крикуны, или много шума изъ пустяковъ». Геній г. Гюго, столько шумѣвшаго въ европейско-литературномъ мірѣ, назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ, теперь такъ низко упалъ, что даже наши доморощенные «драматическіе представители»—еслибъ у нихъ было хоть крошечку побольше ума, вкуса и образованія—могли бы писать драмы не только не хуже, даже лучше «Бургграфовъ». Имя Гюго возбуждаетъ теперь во Франціи общій смѣхъ, а каждое новое его произведеніе встрѣчается и провожается тамъ хохотомъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, этотъ псевдо-романтикъ смѣшонъ до крайности. Онъ вышелъ на литературное поприще съ девизомъ: «le laid c'est le beau», и цѣлый рядъ чудовищныхъ романовъ и драмъ потянулся для оправданія чудовищной идеи. Обладая довольно-замѣчательнымъ лирическимъ дарованіемъ, Гюго захотѣлъ, во что бы ни стало сдѣлаться романи-

стомъ и, въ-особенности, драматикомъ. И это ему удалось вполнѣ, но дорогою цѣною—потерею здраваго смысла. Его пресловутый романъ «Notre Dame de Paris», этотъ цѣлый океанъ дикихъ, изысканныхъ фразъ и въ выраженіи, и въ изобрѣтеніи, на первыхъ порахъ показался геніяльнымъ произведеніемъ, и высоко поднялъ своего автора, съ его *высокимъ черепомъ* и *израненными боками*. Но то былъ не гранитный пьедесталъ, а деревянныя ходули, которыя скоро подгнили, и мнимый великанъ превратился въ смѣшнаго карлика съ огромнымъ лбомъ, съ крошечнымъ лицомъ и туловищемъ. Всѣ скоро поняли, что смѣлость и дерзость страннаго, безобразнаго и чудовищнаго—означаютъ не геній, а раздутый талантъ, и что изящное просто, благородно и не натянуто. Гюго писалъ драму за драмой, и послѣдняя всегда выходила у него хуже предъидущей. Наконецъ «Бургграфы» превзошли въ ничтожности и пошлости все написанное доселѣ ихъ авторомъ. Это сцѣпленіе самыхъ избитыхъ эффектовъ, повтореніе самыхъ истертыхъ общихъ мѣстъ. Тутъ есть Корсиканка, которая сорокъ лѣтъ дышетъ мщеніемъ за убійство ея возлюбленнаго. Она шлялась по всему свѣту, была въ Индіи, и тамъ научилась небывалому искусству по волѣ своей и умерщвлять и воскрешать людей, Посредствомъ какой-то таинственной жидкости, она заставляетъ чахнуть отъ изнурительной болѣзни племянницу Іова, бургграфа эппенгефскаго, графиню Регину, и обѣщаетъ влюбленному въ нее стрѣлку Отберту излечить ее въ одну минуту, если тотъ поклянется помочь ей въ мщеніи и убить того, кого она ему укажетъ. Отбертъ этотъ былъ сынъ Іова-Проклятаго (въ аффишкѣ названнаго, вѣроятно, ради смѣха. *окаянным*), пропавшій въ дѣтствѣ. Регина выздоровѣла отъ чудотворныхъ капель, и Отбертъ, въ темномъ подземельѣ, идетъ убить своего отца. Но не бойтесь—это только шутка, пустяки, вздоръ—нѣчто въ родѣ пошлаго театральнаго эффекта; не бойтесь этого картоннаго кинжала, какъ ни размахивается онъ надъ грудью столѣтняго старика: сейчасъ явится избавитель и въ самую пору остановитъ руку невольнаго убійцы. И избавитель явился очень-кстати—въ ту самую минуту, когда палачъ и жертва уже надорвались отъ усталости, изливаясь въ патетическихъ монологахъ. Этотъ избавитель—Фридрихъ Барбарусса, императоръ Священной Римской Имперіи, явившійся въ замкѣ Іова-Проклятаго, въ видѣ нищаго. Онъ—изволите видѣть—братъ Іова, бывшій возлюбленный мстительной Корсиканки. Когда Проклятый бросилъ его, израненнаго, изъ этого самаго подземелья, за рѣшетку окна, онъ какъ-то зацѣпился за рѣшетку и спасся, чтобъ доставить г-ну Гюго нѣсколько дрянныхъ сценическихъ эффектовъ. Когда братья расчувствовались, Корсиканка, видя, что уже мстить не за что, скоропостижно лишаетъ себя живота: она поклялась, что въ гробѣ (который былъ принесенъ въ пещеру съ лежавшею въ немъ Региною) долженъ кто-нибудь быть вынесенъ изъ подземелья. Вотъ, что называется, сдержать клятву! Когда старая колдунья умерла, Регина воскресла—трогательная сцена! Всѣ овечки на-лицо, а волкъ умеръ! Отбертъ

еще прежде обиженный Гатто, маркизомъ веронскимъ, вызываетъ его на поединокъ; но маркизъ (пьяница, шутъ и разбойникъ) съ презрѣніемъ отвѣчаетъ ему, что не можетъ драться съ сыномъ Цыганки (Корсиканки тожь). Тогда старичокъ-нищій, бросая свой посохъ и выхватывая мечъ, вызывается драться съ Гатто. Но ты кто? говоритъ Гатто.—Я императоръ Фридрихъ Барбарусса!—Эффектная сцена?... За тѣмъ онъ заковалъ въ цѣпи цѣлыя три поколѣнія бургграфовъ—Іова, столѣтняго старца, Магнуса, сына Іова, восьмидесятилѣтняго старика, и Гатто, сына магнусова, молодаго человѣка. Въ лицѣ этихъ трехъ бургграфовъ, Гюго хотѣлъ представить три поколѣнія рыцарей, одно другаго хуже: Іовъ, не смотря на грѣхи своей юности, рыцарь хоть-куда; Магнусъ—ни рыба, ни мясо, а такъ-себѣ; Гатто—пьяница, шутъ и разбойникъ.

На сценѣ Александрынскаго-Театра «Бургграфы» очень-эффектная, а потому и отличная драма...

777. Жила-Была Одна Собака. *Водевиль въ одномъ дѣйствіи, переведенный съ французскаго* [205]).

Мы что-то не могли добиться никакого толка въ этомъ собачьемъ водевилѣ. Это, вѣроятно, потому, что въ немъ дѣйствительно мало толка. Къ тому же, было уже около двѣнадцати часовъ ночи, когда начался этотъ водевиль,—и мы, во уваженіе всѣхъ этихъ причинъ, ушли вонъ изъ театра, отчаявшись дождаться конца занимательнаго спектакля.

* **778. Амарантосъ, или Розы Возрожденной Эллады.** *Произведенія народной поэзіи нынѣшнихъ Эллиновъ, собранныя, переведенныя и изданныя съ подлинникомъ, предисловіемъ, филологическими и историческими замѣчаніями,* **Георгіемъ Евлампіосомъ.** *Удостоенъ демидовской преміи. Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1843. Въ 8-ю д. л. 136 стр.* [206]).

Во времена владычества французскаго псевдо-классицизма, народная поэзія была во всеобщемъ пренебреженіи и даже презрѣніи. Этому были и дѣльныя и нелѣпыя причины. Съ одной стороны, псевдо-классики имѣли право отвергать, какъ пошлость, простодушныя произведенія народной музы, думая, что только просвѣщеніе и образованіе могутъ быть источникомъ истиннаго искусства; съ другой стороны, они жестоко ошибались, забывая, что всякій возрастъ имѣетъ свою поэзію, и что у народа, какъ и у частнаго лица, есть свое время младенчества, юности и возмужалости; сверхъ-того, они не знали, что въ дѣтскомъ лепетѣ народной поэзіи хранится таинство народнаго духа, народной жизни и отражается первобытная народная физіономія. Псевдо-романтизмъ, возникшій въ началѣ XIX вѣка, убилъ французскій

псевдо-классицизмъ. Тогда всѣ европейскія литературы, по закону діалектическаго развитія мысли, перешли въ противоположную крайность: народныя пѣсни и сказки сдѣлались предметомъ безусловнаго уваженія и начали возбуждать неосновательный восторгъ. Нѣмецкою и англійскою литературами въ особенности овладѣла эта манія. Бюргеръ долго пользовался славою великаго поэта за нелѣпую балладу свою «Леонору», написанную въ духѣ самыхъ грубыхъ дикихъ предразсудковъ невѣжественнаго простонародья. Эта баллада была переведена на всѣ языки. Жуковскій сперва передѣлалъ ее на русскій ладъ, подъ именемъ «Людмиллы», потомъ перевелъ ее. Подражаній этой балладѣ н'есть числа на русскомъ языкѣ. Въ то же время всѣ бросились собирать свои народныя пѣсни и переводить чужія. Все это было очень-полезно во многихъ отношеніяхъ; но тѣмъ не менѣе крайность была смѣшна. Слава Богу, теперь это народное бѣснованіе уже прошло: теперь имъ одержимы только люди недалекіе, которымъ суждено вѣчно повторять чужіе зады и не замѣчать смѣны стараго новымъ. Никто не думаетъ теперь отвергать относительнаго достоинства народной поэзіи; но никто уже, кромѣ людей запоздалыхъ, не думаетъ и придавать ей важности, которой она не имѣетъ. Всякій знаетъ теперь, что въ ней есть своя жизнь, свое одушевленіе, естественное, наивное и простодушное; но что все этимъ и оканчивается, ибо она бѣдна мыслію, бѣдна содержаніемъ и художественностью. Главное же,—всякая народная поэзія хороша у себя, дома, а въ чужой землѣ теряетъ бо́льшую половину своего поэтическаго аромата и даже своего здраваго смысла. Исключеніе остается только за одною народною поэзіею въ мірѣ—поэзіею *древне*-греческою, которая будучи народною, есть въ то же время и художественная; будучи греческою, она въ то же время и общечеловѣческая, всемірно-историческая, міровая.

Поэтому, г. Георгій Эвлампіосъ совсѣмъ не оказалъ такой великой услуги русской литературѣ, какую думалъ онъ оказать ей переводомъ какихъ-нибудь *двадцати-девяти* народныхъ пѣсень *новыхъ* Грековъ. Во-первыхъ, пѣсни эти хороши въ Греціи и для Грековъ—въ этомъ мы не сомнѣваемся; но на русскомъ языкѣ онѣ не то, чтобъ не хороши, а какъ-то не читаются. Это, вѣроятно, потому, что у насъ, Русскихъ, есть свои народныя пѣсни, которыя намъ, Русскимъ, болѣе или менѣе нравятся, но которыя на новоэллинскомъ языкѣ, вѣроятно, не понравились бы ни Грекамъ, ни тѣмъ изъ Русскихъ, которые знаютъ новогреческій языкъ. Конечно, можно не безъ удовольствія прочесть; на-пр., эту новогреческую пѣсню, хотя она и не совсѣмъ-поэтически передана по-русски г. Георгіемъ Эвлампіосомъ:

Младая супруга краса-Евгенула
Хвалилась однажды, что будто она не страшится Харона:
„Стоятъ за меня, вишь, братьевъ монхъ девять, героевъ могучихъ".
Харонъ гдѣ-то это услышалъ (какая-то птица сказала),
Пустилъ въ нее тотчасъ стрѣлу, и смертельно онъ бѣдную ранилъ.

И вотъ лекаря къ ней ходили, лечили — лечить отказались.
Вотъ мать поминутно ее навѣщаетъ, да волосы рветъ на себѣ.
„Голубушка, ты умираешь; скажи хоть, что̀ мнѣ поручаешь?“
— Охъ, матушка, что̀ порученье, и что̀ мнѣ тебѣ поручить?
Родимая, если прійдетъ мой Костасъ, его не печаль ты.—
Но вотъ ужъ Костасъ показался; онъ ѣдетъ съ охоты верхомъ,
Ведетъ онъ оленей живыхъ, ведетъ звѣрей дикихъ ручными,
И связанъ лежитъ на сѣдлѣ у него молодой оленёнокъ.
Вотъ видитъ онъ крестъ у дверей, — дворъ священниковъ полонъ.
Что̀ значитъ, онъ спроситъ прохожихъ, вся эта духовныхъ толпа?“
— Твоя Евгенула скончалась; въ могилу ее ужъ несутъ.—
Тутъ вынулъ кинжалъ роковой изъ ноженъ съ золотою оправой,
Высоко онъ имъ замахнулся: кинжалъ ему сердце пронзилъ!
Тамъ, гдѣ погребли удалаго, тамъ выросъ теперь кипарисъ;
Тамъ, гдѣ схоронили красавицу—выросъ тростникъ.
Бушуетъ владыка Борей — кипарисъ свои вѣтви склоняетъ;
Лишь только повѣетъ Зефиръ — и сгибается нѣжный тростникъ,
Наконится чуть лишь тростникъ — цалуетъ его кипарисъ.

Ну что̀ хорошаго, или интереснаго для русской публики, на-пр., вотъ въ этой пѣснѣ:

Пѣла красавица, распѣвала она у окошечка прекраснаго,
Всѣ кораблики, пѣсню слушая, къ бережку пристаютъ, приворачиваютъ
Лишь корабликъ одинъ — то огромный былъ и военный корабль, —
Своихъ парусовъ не спускаетъ онъ, къ бережку пристать не хочетъ онъ

„Собери же, корабль, свои парусы
И спусти ихъ внизъ на палубу,
Запѣла я, правда, пѣсенку,
Но та пѣсенка мирологъ лишь мой;
Лежитъ у меня муженекъ мой больной,
Онъ близокъ уже къ часу смертному;
Онъ проситъ у меня лекарства себѣ,
Чтобъ отѣдать его и выздоровѣть;
Проситъ жира себѣ отъ лани дикой онъ,
Молока онъ проситъ отъ дикой козы.
Но пока же я на горы взошла,
Пока на поля спустилась я,
Пока я старалась засаду устроить,
Чтобъ дикую лань ту поймать, —
Муженекъ мой успѣлъ ужъ жениться давно,
И взялъ за себя онъ другую жену:
Онъ камень надгробный взялъ въ тёщи себѣ,
А черную землю — въ супруги.

Въ подлинникѣ, можетъ-быть, есть поэзія въ колоритѣ, въ самыхъ звукахъ, но въ переводѣ, это—просто галиматья!

Достоинство перевода—не отличное. Не говоря уже о томъ, что новогре-

ческія народныя пѣсни въ переводѣ г. Георгія Эвлампіоса что-то вообще плоховаты, онѣ еще и растянуты, т. е. разведены водицею лишнихъ стиховъ и словъ. Такъ, на-пр., пѣсня XII въ подлинникѣ состоитъ изъ *пятнадцати* стиховъ, а въ переводѣ—изъ *тридцати*.

Но что всего намъ непонятнѣе въ этой книжкѣ,—это ея пышное заглавіе и еще-болѣе-пышное предисловіе: подумаешь, дѣло идетъ и Богъ-знаетъ о чемъ, а совсѣмъ не о посредственномъ переводѣ какихъ-нибудь *двадцати-девяти* народныхъ пѣсень. Пѣсни эти занимаютъ *тридцать-четыре* странички, со всѣми пробѣлами, виньетками (весьма-некрасивыми) и примѣчаніями (очень-неглубокомысленными), т. е. *два листа* съ небольшимъ, потому-что на одной сторонѣ каждаго листка напечатанъ переводъ, а на другой текстъ. Между-тѣмъ, книжка состоитъ больше, чѣмъ изъ *десяти* печатныхъ листовъ. Чѣмъ же наполнены остальные *восемь* листовъ? А вотъ, посмотримъ. На первой страницѣ короткій титулъ книги на новогреческомъ и русскомъ языкѣ; на оборотѣ—ничего; на второй страницѣ—ничего; на оборотѣ ея—полный титулъ книги на новогреческомъ языкѣ; на третьей страницѣ—полный титулъ книги на русскомъ языкѣ; на оборотѣ—цензурное «печатать позволяется»; на четвертой страничкѣ—нѣсколько строкъ по-новогречески; на оборотѣ—посвященіе книги «дражайшему» родителю отъ «покорнаго» сына, на ново-греческомъ языкѣ; на пятой страничкѣ—посвященіе «дражайшему» родителю отъ «покорнаго» сына, на русскомъ языкѣ; на оборотѣ и на шестой страничкѣ—то же; на оборотѣ—ничего. Итакъ, вотъ ужь ровно шесть листковъ, или двѣнадцать страничекъ, т. е. почти печатный листъ занятъ ровно-ничѣмъ. Затѣмъ слѣдуетъ, на 29-ти страницахъ, широковѣщательное предисловіе на русскомъ языкѣ—нѣчто въ родѣ огромныхъ воротъ, ведущихъ въ маленькую хату. На страницѣ 30—ничего. На 31 страницѣ коротенькое предисловіе къ пѣснѣ; на 32 страницѣ—подлинникъ пѣсни; на 33—переводъ пѣсни; на оборотѣ: «Часть I», по-новогречески; на 35 страницѣ: «Часть I», по-русски; на оборотѣ—снова титулъ книжки по-новогречески; на стр. 37—снова титулъ книжки, по-русски. За тѣмъ уже слѣдуютъ 28 пѣсень, напечатанныхъ texte-en-regard. Переводъ послѣдней пѣсни приходится на 69 страницѣ, на оборотѣ ея и на 71 страницѣ—заглавіе народной сказки «О Безсмертной Водѣ» и означеніе второй части, по-новогречески и по-русски; на оборотѣ—ничего. Страницы 73—77 заняты неинтереснымъ разсказомъ и разнымъ пустословіемъ о томъ, какъ г. Георгій Эвлампіосъ услышалъ эту сказку отъ одного разскащика на кораблѣ во время штиля. За тѣмъ слѣдуетъ, прозою, сказка texte-en-regard. Сказки эти—какъ всѣ народныя сказки на бѣломъ свѣтѣ: попросите любую старуху, она вамъ сейчасъ же разскажетъ сказку не хуже, даже лучше той, которую имѣлъ терпѣніе и досужество пересказать г. Георгій Эвлампіосъ...

Надо отдать справедливость издателю: мастеръ онъ дѣлать все изъ ничего

и составлять книги изъ такихъ матеріаловъ, которыхъ не хватило бы и на тощую брошюрку...

Книжка издана красиво. Русскій языкъ въ ней грамотенъ.

* 779. Тысяча и Одна Ночь, *арабскія сказки. Томы XI, XII, XIII, XIV и XV. Санктпетербургъ. Въ Гуттенберговой типографіи. 1843. Въ 12-ю д. л. Въ XI-й части 240, въ XII-й—239, въ XIII-й—240, въ XIV-й—240, въ XV-й—239 стр.* [207]).

Какъ счастливы народы съ бритыми головами! они не только слушаютъ арабскія сказки, но еще и вѣрятъ всѣмъ чудесамъ, о которыхъ въ нихъ разсказывается, такъ добродушно и несомнѣнно, какъ мы не вѣримъ самымъ достовѣрнымъ статистическимъ таблицамъ о благосостояніи разныхъ земель и государствъ. Волшебники, волшебницы, крылатые кони, чудесныя красавицы со звѣздами во лбу, злые и добрые кадіи, мудрые визири,—всему этому мусульмане вѣрятъ такъ же безъ всякаго сомнѣнія, какъ и непзреченному милосердію и правосудію великаго халифа Гаруна-аль-Рашида, который дѣйствительно былъ очень человѣколюбивъ и милостивъ, и только въ порывахъ внезапнаго гнѣва рубилъ головы и правому и виноватому, всегда, впрочемъ, раскаяваясь въ этомъ, когда проходилъ гнѣвъ его. На востокѣ, это уже— nec plus ultra гуманности... Увы! мы, западные жители, отверженные гяуры, въ наказаніе за наше невѣріе въ Несомнѣнную Книгу и творца ея, Мухаммеда (да не уменьшится никогда тѣнь его!),—мы лишены счастія вѣрить возможности чего бы то ни было, о чемъ повѣствуется въ арабскихъ сказкахъ и отъ-того не можетъ наслаждаться ими вполнѣ. А между-тѣмъ, для каждаго изъ насъ было время, когда мы съ жадностью читали разсказы Шехеразады и не меньше старыхъ мусульманъ вѣрили дѣйствительности этого небывалаго міра. Какъ не вспомнить этого золотаго времени, и, вмѣстѣ съ нимъ, этихъ стиховъ старика Дмитріева, которые въ то время восхищали насъ не меньше прозы Шехеразады:

Утѣшно вспоминать подъ-старость дѣтски лѣты,
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сижу, повѣся носъ; нѣтъ ни ушей, ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я взмостился на Парнассъ, —
А я... признаться вамъ, игрушкою играю,
Которая была
Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила;
Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой
Бывалъ тотъ день, когда урокъ мой окончавъ,
Набѣгаясь въ саду, уставши отъ забавъ
И, бросясь на постель, займусь *Шехеразадой!*
Какъ сказки я ея любилъ!

Читая ихъ... прощай, учитель,
Симбирскъ и Волга!.. все забылъ!
Уже я всей вселенны зритель,
И вижу тамъ и сямъ и карловъ и духовъ,
И визирей рогатыхъ,
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадіевъ волковъ...
Но сколько нужно словъ,
Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!

Вѣроятно, мусульмане отъ-того такъ и довольны арабскими сказками и такъ вѣрятъ имъ, что они дѣти, хотя уже и старыя. Но и мы, не будучи дѣтьми, можемъ, ради воспоминанія нашего дѣтства, перелистывать Шехеразаду, особенно въ то время, когда не дѣлать ничего скучно, а дѣлать что-нибудь, требующее присутствія мыслительной способности, кажется труднымъ. Въ такомъ расположеніи духа, арабскія сказки—истинное сокровище, тѣмъ болѣе, что ихъ можно бросить безъ сожалѣнія, тотчасъ, какъ-скоро надоѣдятъ онѣ, и можно опять приняться за нихъ хоть черезъ годъ и начать читать съ той страницы, которая прежде всего сама откроется.

Этотъ второй переводъ «Тысячи и Одной Ночи» началъ выходить еще въ 1839 году. Доселѣ вышло его *пятнадцать* частей. Переводъ сносенъ; встрѣчаются, однакожь, галлицизмы, въ родѣ слѣдующаго: «Но по истеченіи года, «видя, что не было никакого покушенія тревожить его съѣздить въ пещеру (,) «принявъ всѣ необходимыя для безопасности своей предосторожности» (ч. XII, стр. 127); но это еще не бѣда.

Изданіе опрятно; къ каждой части приложено по картинкѣ, недурно-сдѣланной.

780. Сказка за Сказкой. *Томъ IV. Редакторъ* **П. В. Кукольникъ.** *Изданіе* **М. Д. Ольхина.** *Санктпетербургъ. Въ типографіи Жернакова. 1844. Въ 8-ю д. л. 596 стр.* [208]).

Не смотря на всѣ возгласы и многоглагольливые, широковѣщательные толки о томъ, что успѣшный ходъ книжной торговли способствуетъ процвѣтанію литературы, и что появленіе или «воздвиженіе» извѣстнаго книгопродавца должно будетъ породить цѣлыя дюжины новыхъ Ломоносовыхъ, Державиныхъ, Фонвизиныхъ, Крыловыхъ, Карамзиныхъ, Жуковскихъ, Грибоѣдовыхъ, а по мѣрѣ надобности, пожалуй, и Гомеровъ, Софокловъ, Пиндаровъ, Сократовъ, Платоновъ, Аристотелей, Шекспировъ, Дантовъ, Сервантесовъ, Шиллеровъ, Гёте, Байроновъ, Вальтеръ-Скоттовъ, Куперовъ и т. д. и т. д.; не смотря на все это, литература наша день-ото-дня вянетъ болѣе и болѣе. Правда, иной книгопродавецъ въ короткое время успѣлъ издать множество книгъ, между которыми есть нѣсколько и порядочныхъ; но новыхъ геніевъ, новыхъ талантовъ не является, и русской публикѣ по-прежнему читать не-

чего, кромѣ журналовъ. Вотъ, напримѣръ, уже третій годъ тянется изданіе «Сказка за Сказкой», а между тѣмъ ея вышелъ только *четвертый* томъ! Но что же въ этихъ четырехъ томахъ?—около двухъ десятковъ повѣстей и разсказовъ, изъ которыхъ пьесы четыре хорошія, пять или шесть сносныхъ, да около десятка несносныхъ. Но хуже всѣхъ томовъ послѣдній. Если бъ мы фактически не знали о страшной нищетѣ русской литературы въ настоящее время, мы имѣли бы право принять этотъ четвертый томъ «Сказки за Сказкой» за пуфъ, за насмѣшку надъ добродушіемъ публики, которая еще держится невинной привычки не только покупать русскія книги, но и читать ихъ. Изъ пяти повѣстей, составляющихъ четвертый томъ «Сказки за Сказкой», двѣ до того плохи,—чтобъ не сказать плоски и пошлы,—что не знаешь, чему больше удивляться, смѣлости ли нашихъ писакъ, или добродушію публики, которая читаетъ себѣ на здоровье все, что ни выдадутъ ей за сочиненіе. Если есть охотники на повѣсти, подобныя «Градскому Главѣ» и «Сироткѣ», то нельзя не убѣдиться, что у насъ еще много людей, которымъ—

Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

«Градск*і*(о)й Глава» есть новое твореніе неутомимаго г. Н. Полеваго. Удивительную эту повѣсть можно было бы почесть за злую пародію на «Le Medecin de Campagne» Бальзака, еслибы не разувѣрялъ въ этомъ отпечатокъ крайней бездарности, который прежде всего бросается въ глаза при чтеніи этой сказки. Не имѣя намѣренія пародировать бальзаковскаго романа, г. Н. Полевой не хотѣлъ также ограничиться и простою ролью подражателя. Воспользовавшись мыслію Бальзака, онъ тѣмъ не менѣе хотѣлъ написать повѣсть истинно-русскую, такъ, чтобы всѣ сказали о ней:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Для этого, онъ придумалъ героя, какого не бывало и не можетъ быть. Это—видите ли, купецъ—истинный отецъ и благодѣтель всего города, но не въ томъ смыслѣ, какъ знаменитый полиціймейстеръ въ «Мертвыхъ Душахъ», который въ лавки купцовъ навѣдывается какъ въ собственную свою кладовую: Григорій Савичъ устроилъ въ своемъ городѣ отличную мостовую, чудесное фонарное освѣщеніе, устроилъ фабрики, заводы, больницы, коммерческія компаніи, чуть-ли не банки, оживилъ торговлю, которой вовсе не было, привлекъ капиталы, и проч. и проч. Прежде всего надо сказать, что Григорій Савичъ былъ человѣкъ съ высшими взглядами, зналъ языки, разныя науки (которымъ навострился въ одномъ изъ русскихъ университетовъ), читалъ книги; добродѣтели былъ безпримѣрной: о чемъ ни заговорите съ нимъ, хоть о политической экономіи—такъ, сударь мой, отхватаетъ вамъ, что куда за нимъ иному профессору (и не мудрено: эту науку онъ изучилъ, кажется, по извѣстной рѣчи «О невещественномъ Капиталѣ» и по статьямъ «Москов-

скаго Телеграфа»), а ужь о географіи и статистикѣ нечего и говорить: зналъ онъ ихъ не хуже г. Зябловскаго. Но чему онъ былъ обязанъ всѣми своими занятіями и добродѣтелями?—*смуромy кафтану, александрійской рубашкѣ съ косымъ воротомъ и плисовымъ шароварамъ, которые запихивались въ сапоги съ кисточкою*... Если не вѣрите, прочтите повѣсть: изъ нея вы увидите ясно, что вздумай Григорій Савичъ носить фракъ, или сюртукъ съ принадлежностями, подобно всѣмъ образованнымъ на человѣческую стать людямъ, онъ забылъ бы вдругъ всѣ свои познанія и лишился бы всѣхъ своихъ добродѣтелей, а, что̀ всего хуже, въ Россіи одинъ дрянной городишко не превратился бы, въ-продолженіи какихъ-нибудь десяти лѣтъ, въ новый Ліонъ, новый Манчестеръ, или новую Одессу... Жаль, что г. сочинитель не замѣтилъ, подъ какимъ градусомъ широты и долготы должно искать этого чудеснаго города, если только онъ существуетъ не въ «Шехеразадѣ»... Вотъ что значитъ борода и мѣщанскій костюмъ!... Удивительная повѣсть! Жаль только, что она разсказана скучно, вяло, мертво, словно во снѣ; да ужь и въ-самомъ дѣлѣ, не сонъ ли это?... Въ такомъ случаѣ, дѣло понятное и извинительное:

Когда же складны сны бываютъ?

Но когда же нескладныя нелѣпости и печатаются?—скажетъ иной читатель. И то правда!...

«Сиротка» написана совершенно въ одномъ духѣ съ «Градскимъ Главою». Вся разница въ томъ, что послѣдній есть плодъ таланта уже возмужавшаго, вполнѣ-развившагося, искушеннаго опытомъ и трудами многочисленными и разнообразными; а первая есть первый опытъ таланта еще юнаго, хотя и обѣщающаго много. Разсказать содержаніе «Сиротки» нѣтъ никакой возможности: будетъ съ насъ и того, что за грѣхи наши мы прочли ее; выписать же изъ нея нѣкоторыя фразы мы почтемъ за трудъ пріятный и забавный, которымъ надѣемся доставить удовольствіе читателямъ, имѣвшимъ непзрѣченное счастіе не читать этой повѣсти. Итакъ, слушайте: «Пламенная нѣга дѣвической непорочности разливалась по всѣмъ жилкамъ стройнаго, роскошнаго ея состава» (*стр. 198*).—«О Боже мой, Боже! неужели непремѣнно должно быть подлецомъ, чтобы пожинать лавры наслажденій на этомъ боевомъ рынкѣ жизни!» (стр. 217).—«Очень понятно было, что въ душѣ его, какъ въ котлѣ макбетовыхъ вѣдьмъ, варились чары злобы, мести и злодѣйскихъ замысловъ» (стр. 248).—«Я подсѣлъ къ столу и со вниманіемъ слѣдилъ игру, въ которой сіятельнаго графа рвали господа понтёры, какъ рвутъ борзыя собаки атакованнаго волка. Казильда прохаживалась по балкону съ книжкою въ рукахъ (*умница-дѣвушка!*) и о чемъ-то размышляла; я не смѣлъ возмущать думъ ея; мнѣ мечталось, что эти думы врачуютъ боль сердца, израненнаго ядовитыми стрѣлами любви, столь нахально и столь злонамѣренно возженной въ ея сердцѣ пламенникомъ закоренѣлаго разврата» (стр. 249).—

«Я страдалъ и страдалъ невыразимо. Сердце мое предчувствовало, что прекрасная Казимьда, чистая, великолѣпная жертва грознаго рока, не жилецъ тревожнаго, подлуннаго міра; это была заблудившаяся звѣздочка, превращенная въ милльоны искръ, угасающихъ на ядовитой влагѣ Мертваго Моря; это былъ райскій цвѣтокъ, похищенной Аббаддонною и брошенный въ пламенѣющій зѣвъ тартара; это была капля надзвѣзднаго эѳира, которымъ дышутъ ангелы,—капля, опущенная въ мрачную, мутную атмосферу земнаго бытія и безжизненно изсыхающая на раскаленномъ крылѣ времени» *(стр. 254)*. Это была—прибавимъ мы отъ себя—страшная галиматья! Нѣтъ, мало: повѣсть «Сиротка» есть море-окіанъ галиматьи! Мы не выбирали изъ нея лучшаго, но выписывали что̀ прежде бросалось въ глаза, и если бъ хотѣли вычерпать выписками всѣ нелѣпости, то принуждены были бы перепечатать всю повѣсть г. А—ва, отъ перваго до послѣдняго слова.

«Градск*і(о)*й Глава», это—Одиссея, плодъ столько же мудрости, сколько и творческаго вдохновенія; все, что̀ въ рѣчи «О Невещественномъ Капиталѣ» было выражено философски, здѣсь является облеченнымъ въ поэтическую форму. «Сиротка», это—«Иліада», гдѣ все поэзія и вдохновеніе, еще, конечно, несдружившіяся съ здравымъ смысломъ; но вѣдь и то сказать, Гомеръ сложилъ свою вѣковѣчную поэму, будучи уже въ преклонныхъ лѣтахъ, а г. А—въ, кажется, еще такъ юнъ, что и читателей своихъ считаетъ за школьниковъ... Но это не бѣда: подростетъ, будетъ писать не хуже г. Полеваго...

«Клятва» принадлежитъ къ числу тѣхъ дюжинныхъ посредственностей, которыя не то, чтобы худы, да и не то, чтобы хороши. Разсказъ недуренъ, но содержаніе вздорно: все дѣло вертится на томъ, что героиню повѣсти несправедливо ревнуетъ мужъ, и ей сто̀яло бы сказать одно слово для своего оправданія, но она не говоритъ этого слова, зная, что въ такомъ случаѣ не вышло бы повѣсти. Право, не сто̀итъ труда писать и печатать подобныя ничтожности. Отъ «Градскаго Главы», или «Сиротки» можно въ веселый часъ похохотать; а отъ «Клятвы» только заснешь, именно потому-что она совсѣмъ не глупа, да и не очень-умна, тогда-какъ тѣ...

«Татарскіе Набѣги» покойнаго Основьяненки принадлежатъ къ такимъ произведеніямъ, которыя не безъ удовольствія перелистываются. И то хорошо!

Лучшая повѣсть въ четвертомъ томѣ «Сказки за Сказкой» называется «Максимъ Созонтовичъ Березовскій» и написана г. Кукольникомъ. Содержаніе ея очень-интересно; основная мысль прекрасна: попадаются отдѣльныя хорошія мѣста; но цѣлое разсказано довольно-длинно и чуть-неслабо. Видно, что авторъ писалъ наскоро и торопился къ сроку, а отъ-того изъ прекраснаго произведенія вышло у него что-то безцвѣтное, и ни то хорошее, ни то посредственное—разобрать трудно. Жаль!

И вотъ вамъ весь четвертый томъ «Сказки за Сказкой». Сколько времени, бумаги, чернилъ, перьевъ, и потомъ опять времени, бумаги, чернилъ,

типографской работы и прочаго, потрачено на него! А для чего? Должно быть, для процвѣтанія книжной торговли, безъ которой не можетъ, какъ говорятъ, процвѣтать русская литература... Господа, ни то, ни другое не можетъ процвѣтать одно безъ другаго! Вы все хлопочете только объ оживленіи книжной торговли, и отъ-того-то, видно, у насъ нѣтъ ни литературы, ни книжной торговли...

* **781. Письма Русскаго изъ Персіи И. М.** *Двѣ части. Санктпетербургъ. Въ тип. Штаба Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи. 1844. Въ 16 д. л. Въ I-й части 315, во II-й—334 стр.* [209]).

Не смотря на многія сантиментальныя и quasi-поэтическія отступленія, не идущія къ дѣлу, въ которыхъ авторъ протендуетъ выказать въ блестящемъ свѣтѣ свою начитанность и образованность, «Письма Русскаго изъ Персіи»—книга очень-занимательная. Лучше всего въ ней то, что читатель чувствуетъ, что она — не компиляція изъ чужихъ сочиненій, а плодъ наблюденій очевидца, какова бы ни была ихъ цѣнность. Г. Н. М. очень недурной чичероне по Персіи,—этой странѣ, немилосердно-сжигаемой солнцемъ, безводной, бѣдно-орошаемой тающимъ съ горъ снѣгомъ, и, не смотря на то, фантастически роскошной дарами природы; странѣ, обитаемой народомъ съ живымъ воображеніемъ, гибкими способностями, но бѣднымъ, неопрятнымъ, невѣжественнымъ, до послѣдней степени развращеннымъ гнетомъ рабства. Изданіе опрятно, но преисполнено опечатокъ и орѳографическихъ ошибокъ.

782. Объ Историческомъ Значеніи Русской Народной Поэзіи. Николая Костомарова. *Писано для полученія степени магистра историческихъ наукъ. Харьковъ. Печатано въ университетской тип. 1843. Въ 8-ю д. л. 214 стр.* [210]).

Въ наше время, если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было сказано. Но г-на Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы выжать какое-нибудь содержаніе. Это собственно фразы не о русской, а о малороссійской народной поэзіи: о русской тутъ упоминается мимоходомъ. Въ разсказѣ о подвигахъ Анкудина Анкудиновича, г. Костомаровъ нашелъ—что бы вы думали?—*романтизмъ*!!... На 200 страницѣ, сочинитель *по-ученому* классификуетъ русскую удаль. Изъ потопа словъ, разлитаго на 214 страницахъ, сочинитель силился доказать только *три* тезиса:

I. Народная поэзія особенно важна для историка потому, что въ ней видѣнъ взглядъ народа на *свою* жизнь (Какая новость!).

II. Жизнь народа, разсматриваемаго въ его произведеніяхъ, можетъ быть раздѣлена на духовную, историческую и общественную (Sic!..).

III. Народъ русскій раздѣляется на двѣ коренныя отрасли: Южноруссовъ или Малоруссовъ и Сѣвернорусовъ или Великорусовъ; а потому, подъ именемъ русской народной поэзіи должно разумѣть чисто народныя произведенія, какъ малорусскія, такъ и великорусскія.

Положимъ, что все это и правда; но стоило ли столько хлопотать изъ такихъ бѣдныхъ истинъ, которыя, къ довершенію бѣды, еще и не совсѣмъ истины?..

* **783. Юродивый Мальчикъ въ Желѣзномъ Зеленомъ Клабукѣ.** *Сочиненіе ассесора и кавалера* **Афанасія Анаевскаго.** *Изданіе первое (?). Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Фейерштейна. 1844. Въ 16-ю д. л. 24 стр.* [211]).

Этотъ *юродивый мальчикъ*—явно бѣглецъ изъ дома умалишенныхъ. По этому, ни мало не удивительно, что онъ бумажный колпакъ на головѣ своей вообразилъ желѣзнымъ зеленымъ клобукомъ: чего не представится сумасшедшему! А что онъ сошелъ съ ума—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, послушайте, какой вздоръ говоритъ онъ:

„Такъ говорилъ юродивый мальчикъ, смотря на небо: „здѣсь въ красной день сквозь Солнца орашаетъ маленькій дождикъ—Гармонія, Ирены—звукъ милый, Все прельщаетъ. — Я вижу тамъ въ лѣсу не далеко отъ монастыря хоръ пѣвчихъ. Ихъ кадансы задались и вверхъ тонки голоса завились. Возлѣ пѣвчихъ, дѣти какого-то фабриканта—много молодыхъ Военныхъ Офицеровъ помѣщиковъ и Бакалавръ съ ними. Вѣрно здѣсь въ лѣсу составлена порядочная пирушка. Еще, что я вижу: Бакалавръ скидаетъ верхнее платье и бѣгаетъ по рощѣ съ молодежью. Вѣроятно онъ это дѣлаетъ, чтобъ нѣсколько забыть свои горести и печали. Да здѣсь много разнаго сословія ученыхъ людей и студентовъ. — Вотъ уже и рѣчь какой-то говоритъ. — Бѣловолосые мальчики пошли цвѣты собирать. Они увидятъ меня — узнаютъ — окружатъ меня — будутъ снимать съ меня зеленый клабукъ и марать бѣлый кафтанъ. По прежнему станутъ шутить надо мной. Имъ смѣхи, а мнѣ слезы. Какъ прокрасться? гдѣ пройдти мнѣ въ кустарники? Вездѣ народъ! Я скрылъ свой языкъ, а говорю, и вотъ подслушиваютъ меня. — Одинъ уже приглашаетъ товарищей для поимки меня.—Полечу въ лѣсъ и скроюсь въ темнотѣ онаго“,

Крикъ: „Юродивый! юродивый мальчикъ здѣсь. Бѣгите, бѣгите, поймаемъ его. Онъ уже говоритъ — я слышалъ самъ“. Бѣгутъ толпою дѣти. Ищутъ его, но нигдѣ не находятъ и возвращаются къ своему стану.

„Оставьте его, сказалъ отецъ Александръ: вѣроятно какая ни есть важная причина заставила его отъ людей скрываться“.

На сіе возразилъ фабрикантъ: „Его могутъ здѣсь звѣри растерзать“.

Александръ. „Провидѣніе его сохраняетъ“.

Фабрикантъ. „Надо знать: чемъ онъ питается? Я ни за какое счастіе не согласился бы жить въ лѣсу, особо имѣть одному ночлегъ въ этихъ звѣри-

ныхъ убѣжищахъ. Признаюсь? для меня кажется: это ужасно! я сейчасъ прикажу дать знать начальнику монастыря и попрошу его, чтобъ онъ приказалъ кому ни есть поймать сего лѣсного жителя, который юродствовалъ въ городѣ и давно пропалъ изъ онаго безъ вѣсти".

Александръ. „Неопасайтесь! Обитатели лѣсные безъ произвола никому не вредятъ. Этотъ лѣсъ въ древность былъ игралищемъ. Въ немъ три помѣщика, всю жизнь свою провели въ забавахъ, роскошахъ и увеселеніяхъ, а при старости лѣтъ построили вотъ тотъ монастырь," указавъ на него рукою: „назвали его по своему наименованію Трегуляй странноприемлющій. По выраженію, что сами возлѣ этого мѣста всегда трое гуляли и принимали здѣсь гостей, хотя бы совсѣмъ имъ были незнакомы. Я плѣняюсь симъ отличнымъ мѣстоположеніемъ. Воспоминая свои горести, не нахожу другаго утѣшенія, какъ облечь себя въ черную мантію.—Обѣтъ сей исполню твердо.—Мнѣ болѣе ничего не осталось.—По окончаніи наукъ въ Бакалаврской Академіи, прожившн съ супругой только одинъ годъ, лишился ее. Она оставила послѣ родовъ младенца.—Я оставлю его на произволъ судьбы: Но чтобъ не предаться унынію, малодушію и скучной печали, я развлекаюсь, здѣсь можетъ въ послѣдній разъ друзья, съ вами!"

Фабрикантъ съ гостями. „Ахъ Ваше преподобіе отецъ Александръ! Ужели мы сладостныхъ поученій вашихъ болѣе не услышимъ".

Александръ. „Отъ чего? кто мнѣ воспретилъ говорить то, что пріятно людямъ?"

Фабрикантъ съ гостями. „Скажите теперь въ послѣдній разъ, что ни есть изъ своего сочиненія, которое вы неоднократно съ жаромъ говорили наизустъ въ публичныхъ собраніяхъ".

Александръ. „Нѣтъ? согласитесь вы со мной: напишите вы сами приличную пѣснь; приличную собранію сему. Избѣгайте въ ней всякой критики и, чтобъ военные офицеры, находящіеся нынѣ между васъ, изложили въ ней благородный военный характеръ, который они получили при воспитаніи въ корпусахъ. Коснитесь въ пѣсни предстоящей войны съ иноплеменными Державами, а вы Гг. дережёры сочините на сію пѣснь новую музыку и, все это пока накрываютъ столы, предъ обѣдомъ, чтобъ было готово и пѣвчіе въ память сего собранія, намъ съ музыкой пропѣлибъ".

Передъ обѣдомъ пѣвчіе пѣли съ начала „Боже храни Царя". Черезъ часъ, когда подали вотку пѣвчіе запѣли съ музыкой и съ утонченнымъ искусствомъ новую пѣснь, сочиненную собраніемъ ученыхъ людей въ слѣдующемъ содержаніи:

Не отвергай здѣсь искренния совѣта
Ты въ немъ найдешь здоровье и покой. —
Творецъ продлитъ тебѣ несчетны лѣта
Его десница будетъ надъ тобой.—
Итакъ, любезный братъ, покинь на вѣки,
Видъ мрачной скорби и печали злой;
Пусть ежедневно льются счастья рѣки,
И всѣ дары благія надъ тобой.
Съ тобой мы вмѣстѣ торжество встрѣчаемъ,
Надѣясь счастьемъ пользоваться въ немъ,
Съ тобой мы чашу въ полѣ раздѣляемъ
И путь къ блаженству мы съ тобой найдемъ.

Ликуйте съ нами всѣ граждане.
Ликуйте въ стогнахъ и среди полей.
Прославьте храбрость нашу вы заранѣ;
Мы кровь прольемъ за васъ и за царей.

Не удивляйтесь, читатели, всей этой галиматьѣ: вѣдь ее говорятъ сумасшедшіе. *Фабрикантъ*, *гости* и прочіе—все это такіе же сумасшедшіе, какъ и *юродивый мальчикъ*: отъ-того и нѣтъ никакого смысла въ ихъ прозѣ и стихахъ. Музыка должна быть того же свойства, но мы предоставляемъ судить о ней музыкантамъ—въ домѣ умалишенныхъ. Къ этой книжонкѣ, неопрятно-напечатанной на сѣрой бумагѣ, приложена картинка работы юродиваго мальчика, о которой тоже имѣютъ право судить только живописцы изъ дома умалишенныхъ.

Но въ концѣ книжки находятся стихи, которые, безъ всякаго сомнѣнія, сочинены самимъ *ассессоромъ* и *кавалеромъ* Аф(ѳ)анасіемъ Анаевскимъ, и потому, въ нихъ не видно никакихъ нехорошихъ признаковъ. «Я (говоритъ оный ассессоръ и кавалеръ)» пропою «вамъ пѣснь, которая сочинена для Ломоносова» *въ слѣдующемъ содержаніи*:

Божественной лирой,
Кто всѣхъ плѣнялъ
Тотъ голосъ предъ порфирой
Не измѣнялъ.
Не самъ ли Ломоносовъ
Царямъ пѣвалъ
И точно, какъ философъ
На камень сталъ.
За трудъ имъ посвященный
Приличча честь.
И въ даръ ему священный
Споемъ мы пѣснь,
Поемъ любовь и красоты,
И вѣкъ златый.
Собравъ изъ книгъ его цвѣты,
Зрящъ правоты.
Данъ имъ урокъ, чтобъ Бога чтить,
Хвалить любить
Царя хранить, всѣхъ веселить
И даръ излить.

И все это напечатано на россійскомъ языкѣ въ 1844 году отъ Рождества Христова!.. Да, г. ассессоръ и кавалеръ Аф(о)анасій Анаевскій—просто геній! Онъ побѣдилъ и Ѳедота Кузьмичева, сына природы, который беретъ мысли изъ-подъ черепа, и г. Классена, именующаго себя бездарнымъ и паровою затычкою, и г. Милькѣева, *упоительно* воспѣвшаго въ громкой одѣ русскую сивуху, и г. Бранта, автора *Жизни, какъ она есть*, и всѣхъ бывшихъ,

сущихъ и будущихъ сочинителей въ этомъ родѣ! Хвала ему! Въ его лицѣ Петербургъ побѣдилъ Москву съ ея Орловыми, Кузьмичевыми, Классенами и со всею ея литературою и журналистикою въ настоящее время!

* 784. Парижскія тайны. *Романъ* Еженя Сю. *Перевелъ* В. Строевъ. *Санктпетербургъ. 1844. Два тома, восемь частей* [212]).

Исторія европейскихъ литературъ, особенно въ послѣднее время, представляетъ много примѣровъ блистательнаго успѣха, какимъ увѣнчевались нѣкоторые писатели, или нѣкоторыя сочиненія. Кому не памятно то время, когда, напр., вся Англія на-расхватъ разбирала поэмы Байрона и романы Вальтера Скотта, такъ-что изданіе новаго творенія каждаго изъ этихъ писателей расходилось въ нѣсколько дней въ числѣ не одной тысячи экземпляровъ. Подобный успѣхъ очень-понятенъ: кромѣ того, что Байронъ и Вальтеръ Скоттъ были великіе поэты, они проложили еще совершенно-новые пути въ искусствѣ, создали новые роды его, дали ему новое содержаніе; каждый изъ нихъ былъ Коломбомъ въ сферѣ искусства, и изумленная Европа на всѣхъ парусахъ мчалась въ новооткрытые ими материки міра творчества, богатые и чудные не менѣе Америки. Итакъ, въ этомъ не было ничего удивительнаго. Не удивительно также и то, что подобнымъ успѣхомъ, хотя и мгновеннымъ, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть свои геніи, какъ у человѣчества есть свои. Такъ, во Франціи, въ послѣднее время реставраціи, выступила, подъ знаменемъ романтизма, на сцену литературы цѣлая фаланга писателей средней величины, въ которыхъ толпа увидѣла своихъ геніевъ. Ихъ читала и имъ удивлялась вся Франція, а за нею, какъ водится, и вся Европа. Романъ Гюго «Notre Dame de Paris» имѣлъ успѣхъ, какимъ бы должны пользоваться только величайшія произведенія величайшихъ геніевъ, приходящихъ въ міръ съ живымъ глаголомъ обновленія и возрожденія. Но вотъ едва прошло какихъ-нибудь четырнадцать лѣтъ—и на этотъ романъ уже всѣ смотрятъ, какъ на tour de force таланта замѣчательнаго, но чисто-внѣшняго и эффектнаго, какъ на плодъ фантазіи сильной и пламенной, но не дружной съ творческимъ разумомъ, какъ на произведеніе ярко-блестящее, но натянутое, все составленное изъ преувеличеній, все наполненное не картинами дѣйствительности, но картинами исключеній, уродливое безъ величія, огромное безъ стройности и гармоніи, болѣзненное и нелѣпое. Многіе теперь о немъ даже совсѣмъ никакъ не думаютъ, и никто не хлопочетъ извлечь его изъ Леты, на глубокомъ днѣ которой покоится оно сномъ сладкимъ и непробуднымъ. И такая участь постигла лучшее созданіе Виктора Гюго, ci-devant міроваго генія: стало быть, о судьбѣ всѣхъ другихъ, и особенно послѣднихъ его произведеній, нѣчего и говорить. Вся слава этого писателя, недавно столь громадная и всемірная, теперь легко можетъ умѣститься въ орѣховой скорлупѣ. Давно ли повѣсти Бальзака, эти картины салоннаго быта, съ ихъ тридцатилѣтними женщинами,

были причиною общаго восторга, предметомъ всѣхъ разговоровъ? давно ли ими щеголяли наши русскіе журналы? Три раза весь читающій міръ жадно читалъ, или, лучше сказать, пожиралъ исторію «Одного изъ Тринадцати», думая видѣть въ ней «Иліаду» новѣйшей общественности? А теперь, у кого станетъ отваги и терпѣнія, чтобъ вновь перечитать эти три длинныя сказки? Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобъ теперь ничего хорошаго нельзя было найдти въ сочиненіяхъ Бальзака, или чтобъ это былъ человѣкъ бездарный: напротивъ, и теперь въ его повѣстяхъ можно найдти много красотъ, но временныхъ и относительныхъ; у него былъ талантъ и даже замѣчательный, но талантъ для извѣстнаго времени. Время это прошло, и талантъ забытъ,— и теперь той же самой толпѣ, которая отъ него съ ума сходила, ни мало нѣтъ нужды, не только существуетъ ли онъ нынѣче, но и былъ ли когда-нибудь.

При всемъ томъ, едва-ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь литературы представляетъ примѣръ успѣха сколько-нибудь подобнаго тому, какимъ увѣнчались въ наши дни пресловутыя «Les Mystères de Paris». Мы не будемъ говорить о томъ, что этотъ романъ, или, лучше сказать, эта *европейская шехеразада*, являвшаяся клочками въ фельетонѣ ежедневной газеты, занимала публику Парижа, слѣдовательно, и публику всего міра, гдѣ получаются французскія газеты (а гдѣ же онѣ не получаются?),—ни того, что, по выходѣ этого романа отдѣльнымъ изданіемъ, онъ въ короткое время былъ расхватанъ, прочитанъ, перечитанъ, зачитанъ, растрепанъ и затертъ на всѣхъ концахъ земли, гдѣ только говорятъ на французскомъ языкѣ (а гдѣ не говорятъ на немъ?), переведенъ на всѣ европейскіе языки, возбудилъ множество толковъ, еще болѣе нелитературныхъ, нежели сколько литературныхъ, и породилъ великое желаніе подражать ему,—ни того, что въ Парижѣ готовится новое великолѣпное изданіе его съ картинками работы лучшихъ рисовальщиковъ. Все это, въ наше время, еще не мѣрка истиннаго, дѣйствительнаго успѣха. Въ наше время, объемъ генія, таланта, учености, красоты, добродѣтели, а слѣдовательно и успѣха, который въ нашъ вѣкъ считается выше генія, таланта, учености, красоты и добродѣтели,—этотъ объемъ легко измѣряется одною мѣрою, которая условливаетъ собою и заключаетъ въ себѣ всѣ другія: это — ДЕНЬГИ. Въ наше время, тотъ не геній, не знаніе, не красота и не добродѣтель, кто не нажился и не разбогатѣлъ. Въ прежнія добродушныя и невѣжественныя времена, геній оканчивалъ свое великое поприще или на кострѣ, или въ богадѣльнѣ, если не въ домѣ ума-лишенныхъ; ученость умирала голодною смертью; добродѣтель имѣла одну участь съ геніемъ, а красота считалась опаснымъ даромъ природы. Теперь не то: теперь всѣ эти качества иногда трудно начинаютъ свое поприще, зато хорошо оканчиваютъ его: сухія, тоненькія, блѣдныя съ молоду, они, въ лѣта опытной возмужалости, толстыя, жирныя, краснощекія, гордо и безпечно покоятся на мѣшкахъ съ золотомъ. Сначала, они бываютъ и ми-

зантропами, и байронистами, а потомъ дѣлаются мѣщанами довольными собою и міромъ. Жюль Жанень началъ свое поприще «Мертвымъ осломъ и Гильйотинированною Женщиною», а оканчиваетъ продажными фельетонами въ «Journal des Debats», въ которомъ основалъ себѣ доходную лавку похвалъ и браней, продающихся съ молотка. Эженъ Сю, въ началѣ своего поприща, смотрѣлъ на жизнь и человѣчество сквозь очки чернаго цвѣта и старался выказываться принадлежащимъ къ сатанинской школѣ литературы: тогда онъ былъ не богатъ. Теперь отъ принялся за мораль, потому-что разбогатѣлъ... Кромѣ большой суммы, полученной за «Парижскія Тайны», новый журналистъ, желающій поднять свой журналъ, предлагаетъ автору «Парижскихъ Тайнъ» *сто тысячь франковъ* за его новый романъ, который еще не написанъ... Вотъ это успѣхъ! И кто хочетъ превзойдти Эжена Сю въ геніальности, тотъ долженъ написать романъ, за который журналистъ далъ бы *двѣсти тысячь франковъ*: тогда всякій, даже неумѣющій читать, но умѣющій считать, поймете, что новый романистъ ровно-*вдвое* геніальнѣе Эжена Сю... Эстетическая критика, какъ видите, очень-простая: всякій русскій подрядчикъ съ бородкою и счетами въ рукахъ можетъ быть величайшимъ критикомъ нашего времени...

Кажется, вопросъ о «Парижскихъ Тайнахъ» рѣшился бы этимъ и коротко и удовлетворительно; но, вѣрные нашимъ убѣжденіямъ, которыя для всѣхъ, обладающихъ значительнымъ капиталомъ нравственности людей, могутъ почесться предубѣжденіями,—мы хотимъ взглянуть на «Парижскія Тайны» съ другой точки и помѣрять ихъ другимъ аршиномъ, кромѣ ихъ успѣха, т. е., кромѣ заплаченныхъ за нихъ денегъ. Это мы считаемъ даже нашею обязанностью, потому-что «Парижскія Тайны» имѣли большой успѣхъ и въ Россіи, какъ и вездѣ. Благодаря хорошему, хотя и неполному, переводу г. Строева, съ этимъ романомъ теперь можетъ познакомиться и та часть русской публики, которая не можетъ читать иностранныя произведенія въ оригиналѣ. О «Парижскихъ Тайнахъ» говорятъ и толкуютъ у насъ и въ провинціи, а нѣкоторые столичные журналы отпускаютъ прегромкія фразы о геніальности Эжена Сю и безсмертіи его «Парижскихъ Тайнъ», оставляя, впрочемъ, для своей публики непроницаемою тайною причины такой геніальности и такого безсмертія. Въ свое время, мы уже сказали наше мнѣніе, и въ отдѣлѣ «Иностранной Словесности» представили мнѣніе одного изъ лучшихъ современныхъ критиковъ во Франціи о «Парижскихъ Тайнахъ». Этого было бы и довольно; но могли ли мы тогда думать, чтобъ «Парижскія Тайны» до такой степени могли заинтересовать русскую публику? Говорить же о предметахъ общаго интереса—дѣло журнала. Итакъ, будемъ еще говорить о «Парижскихъ Тайнахъ».

Основная мысль этого романа истинна и благородна. Авторъ хотѣлъ представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златаго тельца обществу зрѣлище страданій несчастныхъ, осужденныхъ на невѣжество и нищету,

а невѣжествомъ и нищетою—на порокъ и преступленія. Не знаемъ, заставила ли эта картина, которую авторъ нарисовалъ какъ умѣлъ, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговыхъ и промышленныхъ оргій; но знаемъ, что она раздражила это общество,—и оно обвинило автора—въ *безнравственности!* Въ наше время, слова «нравственность» и «безнравственность» сдѣлались очень-гибкими, и ихъ теперь легко прилагать по произволу къ чему вамъ угодно. Посмотрите, на-примѣръ, на этого господина, который съ такимъ достоинствомъ носитъ свое толстое чрево, поглотившее въ себя столько слезъ и крови беззащитной невинности—этого господина, на лицѣ котораго выражается такое довольство самимъ-собою, что вы не можете не убѣдиться съ перваго взгляда въ полнотѣ его глубокихъ сундуковъ, схоронившихъ въ себѣ и безвозмездный трудъ бѣдняка, и законное наслѣдство сироты. Онъ, этотъ господинъ съ головою осла на туловищѣ быка, чаще всего и съ особеннымъ удовольствіемъ говоритъ о *нравственности* и съ особенною строгостію судитъ молодёжь за ея *безнравственность*, состоящую въ неуваженіи къ заслуженнымъ (т. е. разбогатѣвшимъ) людямъ, и за ея вольнодумство, заключающееся въ томъ, что она не хочетъ вѣрить словамъ, неподтвержденнымъ дѣлами. Такихъ примѣровъ можно найдти тысячи, и ни мало не удивительно, что въ наше время являются люди, которые Сократа называютъ надувалою, мошенникомъ и опаснымъ для нравственности юношества безумцемъ. Къ особенной чертѣ характера нашего времени принадлежитъ то, что за всякую правду, за всякое благородное движеніе, за всякій честный поступокъ, непосредственно и фактически объясняющій значеніе нравственности и неумышленно обличающій развратныхъ моралистовъ, васъ сейчасъ назовутъ безнравственнымъ. Этимъ ужаснымъ словомъ встрѣченъ былъ въ Парижѣ и романъ Эжена Сю: значитъ, авторъ достигъ своей цѣли,—письмо его дошло по адресу... «Парижскія Тайны» даже подали поводъ къ административнымъ преніямъ въ Палатѣ Депутатовъ: таковъ былъ успѣхъ этого романа...

Чтобъ для большинства русской публики сдѣлать понятнѣе чрезвычайный успѣхъ «Парижскихъ Тайнъ», надо объяснить мѣстныя и историческія причины такого успѣха. Причины эти принадлежатъ теперь исторіи; о нихъ перестала говорить политика: слѣдовательно, онѣ сдѣлались уже предметомъ *исторической жизни*. Королевскими повелѣніями въ 1830 году была измѣнена французская хартія; рабочій классъ въ Парижѣ былъ искусно приведенъ въ волненіе партіею средняго сословія (bourgeoisie). Между народомъ и королевскими войсками завязалась борьба. Въ слѣпомъ и безумномъ самоотверженіи, народъ не щадилъ себя, сражаясь за нарушеніе правъ, которыя нисколько не дѣлали его счастливѣе и, слѣдовательно, такъ же мало касались его, какъ и вопросъ о здоровьѣ китайскаго богдыхана. Сражаясь отдѣльными массами, изъ-за баррикадъ, безъ общаго плана, безъ знамени, безъ предводителей, едва зная противъ кого, и совсѣмъ не зная за *кого* и за *что*, народъ тщетно посылалъ къ представителямъ націи, недавно засѣ-

давшимъ въ абонированной камерѣ: этимъ представителямъ было не до того; они чуть не прятались по погребамъ, блѣдные, трепещущіе. Когда дѣло было кончено ревностію слѣпаго народа, представители повыползли изъ своихъ норъ и по трупамъ ловко дошли до власти, оттерли отъ нея всѣхъ честныхъ людей и, загребя жаръ чужими руками, преблагополучно стали грѣться около него, разсуждая о нравственности. А народъ, который, въ безумной ревности, лилъ свою кровь за слово, за пустой звукъ, котораго значенія самъ не понималъ, что же выигралъ себѣ этотъ народъ? — Увы! тотчасъ же послѣ іюльскихъ происшествій этотъ бѣдный народъ съ ужасомъ увидѣлъ, что его положеніе не только не улучшилось, но значительно ухудшилось противъ прежняго. А между-тѣмъ, вся эта историческая комедія была разъиграна во имя народа и для блага народа! Аристократія пала окончательно; мѣщанство твердою ногою стало на ея мѣсто, наслѣдовавъ ея преимущества, но не наслѣдовавъ ея образованности, изящныхъ формъ ея жизни, ея кровнаго презрѣнія, высокомѣрнаго великодушія и тщеславной щедрости къ народу. Французскій пролетарій передъ закономъ равенъ съ самымъ богатымъ собственникомъ (propriétaire) и капиталистомъ; тотъ и другой судится одинакимъ судомъ и, по винѣ, наказывается одинакимъ наказаніемъ; но бѣда въ томъ, что отъ этого равенства пролетарію ни чуть не легче. Вѣчный работникъ собственника и капиталиста, пролетарій весь въ его рукахъ, весь его рабъ, ибо тотъ даетъ ему работу и произвольно назначаетъ за нее плату. Этой платы бѣдному рабочему не всегда станетъ на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственникъ, съ этой платы, беретъ 99 процентовъ на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, въ холодномъ подвалѣ, или на холодномъ чердакѣ, съ женою, съ дѣтьми, дрожащими отъ стужи, неѣвши уже три дня, будто легче такъ умирать съ хартіею, за которую пролито столько крови, нежели безъ хартіи, но и безъ жертвъ, которыхъ она требуетъ?.. Собственникъ, какъ всякій выскочка, смотритъ на работника въ блузѣ и деревянныхъ башмакахъ, какъ плантаторъ на негра. Правда, онъ не можетъ его насильно заставить на себя работать; но онъ можетъ не дать ему работы и заставитъ его умереть съ голода. Мѣщане-собственники—люди прозаически-положительные. Ихъ любимое правило: *всякій у себя и для себя*. Они хотятъ быть правы по закону гражданскому, и не хотятъ слышать о законахъ человѣчества и нравственности. Они честно платятъ работнику ими же назначенную плату, и если этой платы недостаточно для спасенія его съ семействомъ отъ голодной смерти, и онъ, съ отчаянія, сдѣлается воромъ или убійцею,—ихъ совѣсть спокойна—вѣдь они по закону правы! Аристократія такъ не разсуждаетъ: она великодушна даже по тщеславію, по принятому обычаю. По тому же самому, она всегда любила умъ, талантъ, науку и искусство и гордилась тѣмъ, что покровительствовала имъ. Мѣщанство современной Франціи подражаетъ аристократіи только въ роскоши и тщеславіи, которыя у него проявляются грубо и

пошло, какъ у мольерова *мѣщанина во дворянствѣ* (bourgeois-gentilhomme). И вотъ за кого народъ жертвовалъ своею жизнію! По французской хартіи, избирателемъ и кандидатомъ можетъ быть только собственникъ, который съ своей недвижимости платитъ подати не менѣе четырехъсотъ франковъ въ годъ. Слѣдовательно, вся власть, все вліяніе на государство сосредоточены въ рукахъ владѣльцевъ, которые ни единою каплею крови не пожертвовали за хартію, а народъ остался совершенно-отчужденъ отъ правъ хартіи, за которую страдалъ. У насъ, въ Россіи, гдѣ выраженіе—«умереть съ голода» употребляется какъ ипербола, потому-что въ Россіи не только трудолюбивому бѣдняку, но и отъявленному лѣнтяю-нищему нѣтъ рѣшительно никакой возможности умереть съ голода,—у насъ въ Россіи, не всѣ повѣрятъ безъ труда, что въ Англіи и во Франціи голодная смерть, для бѣдныхъ, самое возможное и нисколько не необыкновенное дѣло. Нѣсколько недѣль, два-три мѣсяца болѣзни, или недостатка въ работѣ,—и бѣдный пролетарій долженъ умереть съ семействомъ, если не прибѣгнетъ къ преступленію, которое должно повести его на гильйотину. Вотъ почему мы и распространились объ этомъ предметѣ, такъ тѣсно связанномъ съ содержаніемъ «Парижскихъ тайнъ». Бѣдствія народа въ Парижѣ выше всякой мѣры, превосходятъ самыя смѣлыя выдумки фантазіи.

Но искры добра еще не погасли во Франціи—онѣ только подъ пепломъ и ждутъ благопріятнаго вѣтра, который превратилъ бы ихъ въ яркое и чистое пламя. Народъ—дитя; но это дитя растетъ и обѣщаетъ сдѣлаться мужемъ, полнымъ силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституціонную мишуру въ ея истинномъ видѣ. Онъ уже не вѣритъ говорунамъ и фабрикантамъ законовъ и не станетъ больше проливать своей крови за слова, которыхъ значеніе для него темно, и за людей, которые любятъ его только тогда, какъ имъ нужно загрести жаръ чужими руками, чтобъ воспользоваться некупленнымъ тепломъ. Въ народѣ уже быстро развивается образованіе, и онъ уже имѣетъ своихъ поэтовъ, которые указываютъ ему его будущее, дѣля его страданія и не отдѣляясь отъ него ни одеждою, ни образомъ жизни. Онъ еще слабъ, но онъ одинъ хранитъ въ себѣ огонь національной жизни и свѣжій энтузіазмъ убѣжденія, погасшій въ слояхъ «образованнаго» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили съ его судьбою свои обѣты и надежды, и которые добровольно отреклись отъ всякаго участія на рынкѣ власти и денегъ. Многіе изъ нихъ, пользуясь европейскою извѣстностію, какъ люди ученые и литераторы, имѣя всѣ средства стоять на первомъ планѣ конституціоннаго рынка, живутъ и трудятся въ добровольной и честной бѣдности. Ихъ добросовѣстный и энергическій голосъ страшенъ продавцамъ, покупщикамъ и акціонерамъ администраціи, — и этотъ голосъ, возвышаясь за бѣдный, обманутый народъ, раздается въ ушахъ административныхъ антрепренёровъ, какъ звукъ трубы судной. Стоны народа, передаваемые этимъ голосомъ

во всеуслышаніе, будятъ общественное мнѣніе и, потому, тревожатъ спекулянтовъ власти. Съ этими честными голосами раздаются другіе, болѣе многочисленные, которые въ заступничествѣ за народъ видятъ вѣрную спекуляцію на власть, надежное средство къ низверженію министерства и занятію его мѣста. Такимъ образомъ, народъ сдѣлался во Франціи вопросомъ общественнымъ, политическимъ и административнымъ. Понятно, что въ такое время не можетъ не имѣть успѣха литературное произведеніе, героемъ котораго является народъ. И надо удивляться, какъ духъ спекуляціи, обладающій французскою литературою, не догадался ранѣе схватиться за этотъ неисчерпаемый источникъ вѣрнаго дохода!..

Эженъ Сю былъ этимъ счастливцемъ, которому первому вошло въ голову сдѣлать выгодную литературную спекуляцію на имя народа. Эженъ Сю не принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ литераторовъ французскихъ, которые, махнувъ рукою на мерзость запустѣнія общественной нравственности, добровольно отказались отъ настоящаго и обрекли себя безкорыстному служенію будущаго, котораго, вѣроятно, имъ не дождаться, но котораго приближенію они же содѣйствовали. Нѣтъ, Эженъ Сю—человѣкъ положительный, вполнѣ сочувствующій матеріальному духу современной Франціи. Правда, нѣкогда онъ хотѣлъ играть роль Байрона и кривлялся въ сатанинскихъ романахъ, въ родѣ «Атар-Гюля», «Хитано», «Крао»; но это отъ-того, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бѣгали за нимъ съ мѣшками золота въ рукахъ. Сверхъ того, мода на поддѣльный байронизмъ уже прошла, да и лѣта Эжена Сю давно уже должны были сдѣлать его благоразумнымъ и заставить сойдти съ ходуль. Онъ всегда былъ добрымъ малымъ, и только прикидывался демономъ средней руки, а теперь онъ—добрый малый вполнѣ, безъ всякихъ претензій, почтенный мѣщанинъ въ полномъ смыслѣ слова, филистеръ конституціонно - мѣщанской гражданственности, и еслибъ могъ попасть въ депутаты, былъ бы именно такимъ депутатомъ, какихъ нужно теперь хартіи. Изображая французскій народъ въ своемъ романѣ, Эженъ Сю смотритъ на него какъ истинный мѣщанинъ (bourgeois), смотритъ на него очень-просто—какъ на голодную, оборванную чернь, невѣжествомъ и нищетою осужденную на преступленія. Онъ не знаетъ ни истинныхъ пороковъ, ни истинныхъ добродѣтелей народа, не подозрѣваетъ, что у него есть будущее, котораго уже нѣтъ у торжествующей преобладающей партіи, потому-что въ народѣ есть вѣра, есть энтузіазмъ, есть сила нравственности. Эженъ Сю сочувствуетъ бѣдствіямъ народа: зачѣмъ отнимать у него благородную способность состраданія,—тѣмъ болѣе, что она обѣщала ему такіе вѣрные барыши? но *какъ* сочувствуетъ—это другой вопросъ. Онъ желалъ бы, чтобъ народъ не бѣдствовалъ, и, переставъ быть голодною, оборванною и частью по-неволѣ преступною чернью, сдѣлался сытою, опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во Франціи, оставались бы по-прежнему господами

Франціи, образованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе безсознательно покровительствуютъ разврату и преступленію. И, надо сказать, онъ показываетъ это очень-ловко и убѣдительно; но онъ не подозрѣваетъ того, что зло скрывается не въ какихъ-нибудь отдѣльныхъ законахъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, во всѣмъ устройствѣ общества. Чтобъ показать, какъ Эженъ Сю обнаруживаетъ невольное покровительство нѣкоторыхъ французскихъ законовъ и самого судебнаго порядка пороку и преступленію, выписываемъ изъ романа небольшой отрывокъ. Сценка въ тюрьмѣ; одинъ изъ преступниковъ говоритъ съ своею сестрою, которая пришла навѣстить его:

— Ну, сестрица Анна, не ребячься, сказалъ онъ: мы не видались шестнадцать лѣтъ; если ты будешь закрывать лицо платкомъ, такъ мы не узнаемъ другъ друга...

— Братъ! бѣдный братъ! Какъ ты опять попалъ въ тюрьму?

— Что-жъ дѣлать?.. Когда меня выпустили изъ галеръ, я вездѣ проспалъ работы, никто не захотѣлъ принять меня... Я умѣлъ только дѣлать фокусы, чего вовсе не нужно въ маленькомъ городкѣ, куда меня послали на житье... Я пробираюсь въ Парижъ; на дорогѣ мнѣ захотѣлось ѣсть... я укралъ...

— Молчи!.. сказала Анна, опасаясь, что сторожъ услышитъ опасное признаніе ея брата.

— Не безпокойся! Я былъ пойманъ съ поличнымъ и во всемъ признался; все кончено...

— Боже мой! ты говоришь это такъ хладнокровно...

— Если я буду говорить горячекровно, что выиграю?.. Адвокатъ сказалъ мнѣ, что меня пошлютъ лѣтъ на двадцать на галеры...

— Да ты тамъ умрешь, ты такой слабый!..

— Ничего! Мнѣ хочется посмотрѣть море! Притомъ же, по слабости моей, меня употребятъ на какую-нибудь легкую работу... Я буду разсказывать сказки и заставлю начальниковъ любить меня, а товарищей—уважать меня...—Ба! да ты и сама, судя по твоему платью, ѣздишь не въ каретѣ... А что твои дѣти, мужъ?

— О! не говори мнѣ о немъ... Вотъ ужъ три года, какъ онъ бросилъ меня съ дѣтьми, обобралъ все имѣніе и продалъ...

— Бѣдная сестра! какъ же ты жила съ тремя дѣтьми?

— Я работала у бахромщика; сосѣдки стерегли моихъ дѣтей; я начинала богатѣть, добрые благодѣтели наградили меня милостями; старшая дочь помогала мнѣ... У меня ужь было спрятано тридцать-пять франковъ, какъ вдругъ мужъ возвратился... Онъ отнялъ у меня деньги, поселился у насъ, не работалъ, напивался всякій день, и билъ меня, когда я жаловалась.

—Подлецъ!

— Этого мало: онъ привелъ съ собою свою пріятельницу, и ее надобно было терпѣть!.. Мало-по-малу онъ началъ продавать наши мебели... Предвидя разореніе, я пошла къ адвокату посовѣтываться, и спросить, какъ остановить мужа...

— Да ты просто бы выгнала его!

— Хорошо, да я не имѣла права!.. Адвокатъ сказалъ мнѣ, что мужъ

можетъ располагать имуществомъ жены и ничего не дѣлать; но это несчастіе, которому слѣдуетъ покориться; что присутствіе его пріятельницы даетъ мнѣ право требовать развода и раздѣла... но что на разводъ надобно четыреста или пять-сотъ франковъ... а я въ годъ столько не наживу!.. Гдѣ занять столько денегъ?

— Да, прервалъ Пикъ-Винегръ съ негодованіемъ: французское правосудіе слишкомъ-дорого для бѣдняковъ. Вотъ, ты моришь себя трудами для воспитанія дѣтей, а мужъ тебя бьетъ и грабитъ; ты просишь защиты у закона, а подъячіе тебѣ отвѣчаютъ: вы правы, мужъ вашъ подлецъ, васъ избавятъ отъ него, только пожалуйте пятьсотъ франковъ!..

. . . . . .

— Послушай, продолжалъ Пикъ-Винегръ, обращаясь къ сестрѣ: зачѣмъ же ты не прятала деньги отъ мужа?

— Я прятала, да онъ такъ меня билъ, что я была принуждена уступить ему... не изъ боли, а потому-что я говорила себѣ: если онъ изобьетъ меня такъ, что мнѣ нельзя будетъ работать, если переломитъ мнѣ руку, кто станетъ ходить за моими дѣтьми, кормить ихъ?.. Если меня отвезутъ въ больницу, они въ это время умрутъ съ голоду!.. Вотъ почему я отдавала деньги мужу, только бы уцѣлѣть и работать!..

— Бѣдная женщина!..

— А однакожь я никогда никому не дѣлала зла; я хотѣла только работать, угождать мужу и ходить за дѣтьми... Какъ быть!.. На свѣтѣ есть счастливцы и несчастные, какъ есть добрые и злые!

— Да, и добрые-то удивительно какъ счастливы!.. Наконецъ, избавилась ли ты отъ мужа?

— Онъ ушелъ, продавъ мою кровать и колыбели моихъ дѣтей!.. Одинъ разъ онъ сказалъ мнѣ: „У насъ дочь красавица; глупо не пользоваться ея красотою!“

— А! продавъ мебель, онъ хотѣлъ продать и дѣтей!

— Когда онъ это сказалъ, я вышла изъ себя, мои упреки заставили его покраснѣть... Онъ прибилъ меня, ушолъ, и съ-тѣхъ-поръ я больше не видала его... Теперь я спокойна!.. Одно мучитъ меня: я не могу помочь тебѣ, братецъ... однакожь постараюсь...

— Ба! ты думаешь, что я соглашусь принять твою помощь? Напротивъ, я буду собирать деньги съ заключенныхъ за мои сказки; а если они не дадутъ, такъ ничего не услышатъ... А ты, между-тѣмъ, работай, трудись: когда ты опять наживешь что-нибудь, мужъ прійдетъ ограбить тебя снова.. *да пожалуй продастъ и дочь*, какъ продалъ кровати...

— О! нѣтъ! онъ скорѣе убьетъ меня!

— Тебя-то онъ не убьетъ, а *ее продастъ*... Вѣдь адвокатъ сказалъ, что мужъ твой—хозяинъ въ домѣ, пока васъ не раздѣлятъ, а на раздѣлъ надобно пять-сотъ франковъ!.. У тебя нѣтъ пяти-сотъ франковъ, такъ отдавай мужу все... *и дочь! Онъ поведетъ ее куда захочетъ*...

— Боже мой! Если такая низость возможна, гдѣ же правосудіе?

— Французское правосудіе, какъ говядина... слишкомъ дорого для бѣдныхъ! закричалъ Пикъ-Винегръ съ громкимъ хохотомъ. Если нужно послать въ тюрьму или на галеры, такъ это дѣлается даромъ!.. Если нужно отрѣзать голову... это тоже даромъ... Но если нужно оградить честную женщину отъ мужа-грабителя, который хочетъ и можетъ продать дочь, такъ правосудіе стоитъ пять-сотъ франковъ!.. Ну! бѣдная Анна, обойдись безъ него!

— О! твои слова поселяютъ смерть въ душѣ моей!..

— Да и у меня смерть въ душѣ, какъ я подумаю о твоей участи... объ участи твоего семейства... я вижу, что не могу помочь тебѣ... я всегда смѣюсь... но у меня два смѣха, смѣхъ веселый и смѣхъ печальный... У меня нѣтъ ни духу, ни силы быть злымъ, сердитымъ или мстительнымъ... Я всегда разсказываю исторіи, въ которыхъ злодѣи получаютъ достойное наказаніе... У меня есть одна повѣсть: *Гринале и Рязака*, которую я разскажу сегодня вечеромъ, и напишу для твоихъ дѣтей; это ихъ позабавитъ...“ (*Ч. 7, стр.* 65—67).

А вотъ и еще разсказъ той же самой Анны, которую читатель встрѣчастъ уже въ больницѣ и отъ которой онъ узнаетъ конецъ ея исторіи съ мужемъ и дочерью:

„Мой мужъ былъ добрый ремесленникъ; потомъ разстроился... бросилъ меня съ дѣтьми, продавъ все, что у насъ было. Я работала, добрые люди помогали мнѣ; я поправлялась, какъ вдругъ явился мужъ мой съ какой-то женщиной и отнялъ у меня послѣднее.

— И вы не могли остановить его?

— Надобно было разводиться по закону, а французскій законъ слишкомъ дорогъ для бѣдныхъ людей!.. Вотъ что случилось: назадъ тому три дня, я сидѣла съ дѣтьми и работала... входитъ мужъ. По лицу его, я увидѣла, что онъ пьянъ... Я пришолъ за Катериной, говоритъ онъ. Я тотчасъ обняла дочь и отвѣчала ему: „Куда поведешь ее?“—Не твое дѣло; она моя дочь и должна идти за мной. Вся кровь бросилась мнѣ въ голову; я знаю, что та женщина, которая приходила къ намъ съ моимъ мужемъ, давно подбиваетъ его на чорное дѣло...

— О! какое чудовище!

— Не отдамъ дочери, кричала я Дюпору: я знаю, что вы хотите съ ней сдѣлать!—„Не упрямься или я убью тебя“ отвѣчалъ онъ: губы его поблѣднѣли отъ гнѣва. Катерина съ плачемъ бросилась ко мнѣ на шею и кричала: я хочу остаться у маменьки!.. Дюпоръ взбѣсился, вырвалъ у меня дочь, ударилъ меня ногой въ грудь, я упала... О! онъ вѣрно не поступилъ бы такъ дурно со мною, еслибъ не былъ пьянъ...

— Какой злодѣй!

— Онъ билъ меня ногами... ругалъ меня... Дѣти бросились на колѣни, просить за меня... Тутъ онъ, какъ бѣшеный, сказалъ дочери: ступай за мною или я непремѣнно убью мать! Кровь текла у меня горломъ... я не могла двинутся, но все еще кричала Катеринѣ: не уходи; лучше пусть убьетъ меня.—„Замолчишь ли ты?“ вскричалъ Дюпоръ, и ударилъ меня такъ, что я упала безъ памяти.

— Боже мой! Боже мой!

— Когда я пришла въ себя, мальчики мои плакали.

— А дочь ваша?

— Онъ увелъ ее, отвѣчала несчастная мать, рыдая. Онъ прибилъ и увелъ ее!

— И вы не пожаловались коммисару?

— Я объ этомъ не подумала въ первую минуту; я только могла плакать о Катеринѣ... Скоро все тѣло мое разболѣлось... я не могла ходить. Тутъ я вспомнила, что говорила брату: мужъ такъ прибьетъ меня, что мнѣ придется идти въ больницу, и тогда, что будетъ съ моими дѣтьми?.. Вотъ я въ больницѣ: что-жъ будетъ съ моими дѣтьми?..

— Такъ во Франціи нѣтъ правосудія для бѣдныхъ людей?

— Оно слишкомъ дорого!.. Сосѣди мои послали за коммисаромъ. Онъ пришолъ съ письмоводителемъ... Мнѣ не хотѣлось жаловаться на мужа, но мысль о дочери принудила меня.. Я сказала только, что во время ссоры за дочь онъ *толкнулъ* меня... Это ничего, но я хочу, чтобъ мнѣ возвратили дочь... чтобъ не развратили ее.

— Что-же отвѣчалъ вамъ письмоводитель?

— Что мужъ мой имѣетъ право увести дочь, потому-что онъ не разведенъ со мною: что жаль будетъ, если моя дочь испортится отъ дурныхъ совѣтовъ, но это одни предположенія, а нельзя основать жалобы на предположеніяхъ. Требуйте развода, сказалъ письмоводитель: побои, нанесенные вамъ мужемъ, его поведеніе съ дурною женщиной, все это послужитъ въ вашу пользу, и вамъ отдадутъ дочь... а иначе онъ имѣетъ право оставить ее у себя. –Требовать развода! а у меня нѣтъ денегъ, да еще я должна кормить дѣтей...—Что жъ мнѣ дѣлать, отвѣчалъ письмоводитель: такъ надобно... И потому, что *такъ надобно*, дочь моя мѣсяца черезъ три будетъ таскаться по улицамъ..." (*Часть 8-я, стр.* 52—44).

Этого отрывка достаточно, чтобъ дать понятіе объ идеѣ «Парижскихъ Тайнъ» даже и нечитавшимъ этого романа, и потому больше выписывать не нужно. Авторъ водитъ читателя по тавернамъ и кабакамъ, гдѣ сбираются убійцы, воры, мошенники, распутныя женщины,—по тюрьмамъ, гдѣ подозрѣваемые въ преступленіи посажены въ одну комнату съ уличенными во множествѣ преступленій, съ бѣжавшими не одинъ разъ съ галеръ,—въ больницы, гдѣ, для пользы науки, бѣдная женщина должна разсказывать своему доктору, при множествѣ его учениковъ, симптомы своей болѣзни, а послѣ этого, если въ ней есть женскій стыдъ, чувствовать усиленіе болѣзни,—въ домы ума-лишенныхъ, которые, по описанію автора, представляютъ глазамъ филантропа болѣе утѣшительное зрѣлище, чѣмъ всѣ другія общественныя заведенія,—по чердакамъ и по подваламъ, гдѣ скрываются бѣдныя семейства, круглый годъ блѣдныя отъ голода и изнуренія, а зимою дрожащія отъ стужи, потому-что они не знаютъ, что такое дрова. Въ этихъ чердакахъ и подвалахъ—жилищахъ нищеты и отчаянія, часто живутъ высокія добродѣтели, но еще чаще гнѣздится развратъ и преступленіе. Но что говорить о тѣхъ несчастныхъ, которые сами-себя называютъ *дѣтьми мостовой* и съ малолѣтства служатъ предметомъ спекуляціи для подобныхъ имъ нищихъ? — Развратъ и преступленіе, такъ-сказать, ждутъ ихъ на порогѣ жизни, чтобъ схватить въ свои когти и повлечь по всѣмъ мытарствамъ побой, голода, обидъ, презрѣнія, угнетенія, наказаній, тюремъ, галеръ, воспитывая въ нихъ закоренѣлыхъ злодѣевъ. Все это составляетъ содержаніе романа Эжена Сю. Мысль его—какъ изъ этого достаточно видно—благородная и прекрасная; взглянемъ на исполненіе.

Съ этой стороны «Парижскія Тайны» являются самымъ жалкимъ и бездарнымъ произведеніемъ. Завязка романа основана на лжи и призракѣ, какими погнушалась бы въ наше время даже сколько-нибудь порядочная мелодрама. И эта ложь, эта призрачность въ особенности бросаются въ

глаза даже самому невзыскательному читателю въ героѣ и героннѣ романа, т. е., въ его свѣтлости принцѣ Родольфѣ герольштейнскомъ и ея свѣтлости, единородной дщери его, *Пѣвуньѣ*, воспитанницѣ *Сычихи* и нахлѣбницѣ *Яги-Бабы*. Оставивъ свои наслѣдственныя владѣнія, въ которыхъ, видно, по ихъ микроскопической мелкости, его свѣтлости нѣчего было дѣлать, Родольфъ живетъ въ Парижѣ, занимаясь такимъ дѣломъ, которое можетъ прійдти въ голову развѣ только какому-нибудь подрядчику повѣстей въ фёльетонѣ журнала, но которое, слава Богу, въ нашъ прозаическій вѣкъ не прійдетъ въ голову никому, тѣмъ менѣе принцу. Переодѣтый въ блузу работника, Родольфъ шатается по кабакамъ и тавернамъ Сите́, и дерется тамъ на кулачки съ убійцами, ворами и мошенниками, защищая, какъ истинный донъ-Кихотъ, слабыхъ и невинныхъ, наказывая порокъ и награждая добродѣтель. По словамъ автора, Родольфъ «отличался красотою, но не мужественною; его блѣдность, его полузакрытые черные глаза, лѣнивая походка, разсѣянный взглядъ, ироническая улыбка показывали человѣка отжившаго вѣкъ (хотя ему было не болѣе тридцати лѣтъ); казалось, онъ былъ разслабленъ аристократическою невоздержностію) хотя онъ легко одолѣвалъ страшныхъ бойцовъ и силачей)». Мы бы никакъ не догадались о причинѣ побѣдоносности его свѣтлости, если бы наперсникъ его, Мурфъ, въ разговорѣ съ нимъ же, не подсказалъ намъ о немъ слѣдующихъ біографическихъ подробностей: «Креббъ научилъ васъ боксировать, Лакуръ передалъ вамъ искусство бороться и драться на палкахъ, знаменитый Бертранъ превратилъ васъ въ удивительнаго бойца на шпагахъ; вы убиваете ласточку на лету изъ пистолета; у васъ стальные мускулы». Видите ли: все, что̀ нужно для искателя приключеній, для донъ-Кихота XIX вѣка, для наполненія невозможными и небывалыми приключеніями пошлаго романа въ родѣ шехеразады! Играя въ приключенія и въ опасности, Родольфъ играетъ и въ добродѣтель, и въ высокія чувства,—и во всѣхъ родахъ этихъ игръ онъ ужасный эффектёръ. Освободивъ Пѣвунью изъ-подъ опеки Яги-Бабы, онъ не сказываетъ ей этого, везетъ ее за городъ будто для прогулки, привозитъ на свою собственную мызу, и только тамъ Пѣвунья узнаётъ, что она уже не зависитъ больше отъ Яги-Бабы и что для нея есть честное и прекрасное убѣжище, даже добродѣтельная мать, въ особѣ г-жи Жоржъ. Все это дѣлается сюрпризомъ и съ эффектами; все это могло имѣть преплохія слѣдствія для бѣдной protegée, которой злая судьба велѣла быть предметомъ эффектнаго покровительства. Такъ и случилось: Пѣвунью увезли злодѣи, и если Сычиха не испортила ея прекраснаго лица купоросною кислотою, такъ это потому-что для эффекта романа автору нужно было и въ гробъ положить свою героиню прекрасною. Для этого онъ придумалъ чудесное средство: злодѣю *Мастаку* послать страшный сонъ, пробудившій въ немъ раскаяніе, которое и побудило его помѣшать Сычихѣ изуродовать Пѣвунью, хотя этого, по слѣпотѣ своей, онъ совсѣмъ не былъ въ состояніи сдѣлать.

Между-тѣмъ, Пѣвунью помѣстили въ тюрьму, потомъ выпустили, утопили въ рѣкѣ, спасли, вылечили,—и Родольфъ ничего этого не знаетъ, за множествомъ дѣлъ. Все это ужасно-глупо и пошло, но все еще далеко не конецъ глупостямъ и пошлостямъ романа. Родольфу нужно завладѣть Мастакомъ; но онъ самъ запутывается въ своихъ сѣтяхъ и долженъ погибнуть. Однакожь не бойтесь: романъ только начинается, а Родольфу предстоитъ еще надѣлать много разныхъ эффектовъ. И вотъ онъ ухитряется написать въ карманѣ нѣсколько строкъ и ловко выбросить бумажку за окно кареты; а вѣрный Мурфъ ловко ее подхватываетъ. Все это не помѣшало однакожь Родольфу полетѣть въ погребъ. Тамъ онъ долженъ былъ захлебнуться смрадною водою, на его груди уже спасаютси крысы, онъ уже задыхается, падаетъ безъ чувствъ; но не трепещите, читатели, вѣдь это еще только первая часть романа — впереди цѣлыя семь частей, да еще съ эпилогомъ; а куда онѣ годятся, если Родольфъ не будетъ въ нихъ эффектировать? И вотъ почему *Ръзака* такъ счастливо, т. е. такъ натянуто, спасаетъ его. Такимъ же чудомъ Мурфъ получаетъ *не*-смертельную рану отъ руки Мастака, который во всякомъ другомъ случаѣ не умѣетъ поражать иначе какъ на смерть. Судъ надъ Мастакомъ и ослѣпленіе его возбудили негодованіе въ нѣкоторыхъ гуманныхъ французскихъ критикахъ. И въ-самомъ-дѣлѣ, это было бы возмущающею душу картиною, если бы не было смѣшною мелодрамою, пошлымъ театральнымъ эффектомъ. Посмотрите, какъ затѣйливы судъ и эта казнь! Что ни черта—то мелодраматическій фарсъ. Монологъ Родольфа къ Мастаку—пародія на любой монологъ шиллерова Карла Моора. Кстати о черномъ докторѣ Давидѣ: какъ и въ его исторіи выказывается донкихотство Родольфа! Плантаторъ такъ гнусно-безчеловѣчно поступилъ съ негромъ Давидомъ и креолкою Сесили, что всякій честный человѣкъ не могъ не почесть себя въ правѣ спасти ихъ, имѣя къ тому средства. Но Родольфъ эффектёръ; онъ не любитъ дѣлать добро просто; онъ задалъ себѣ вопросъ, имѣетъ ли онъ право самоуправно лишать господина слуги? И въ-слѣдствіе этого, онъ разсчелъ, сколько стоило плантатору воспитаніе Давида, что стоитъ рабъ-негръ и раба-креолка, и сонному, пьяному плантатору, въ полночь, отдаетъ двойную противъ разсчета сумму. Скажите, Бога-ради: если вы найдете возможность изъ берлоги разбойника вырвать попавшагося къ нему въ плѣнъ несчастнаго,—не-уже-ли вы будете разсчитывать, что стоило этому разбойнику содержаніе его плѣнника, и заплатите вдвое-болѣе противъ разсчета?.. Какъ эта черта отзывается мѣщанствомъ и капитализмомъ, которыя законность и справедливость допускаютъ только въ денежныхъ дѣлахъ? И отъ-него же *совѣстливый* и *чуждающійся самоуправства* Родольфъ не усомнился почесть себя въ правѣ лишить зрѣнія, конечно, великаго злодѣя, но для кары котораго были правительство, законы, эшафотъ?—Онъ хотѣлъ его лишить возможности дѣлать зло—и далъ ему возможность еще надѣлать зла; онъ хотѣлъ дать ему возможность раскаяться—и въ чемъ же мы ви-

димъ это раскаяніе? не-уже-ли въ убійствѣ Сычихи, убійствѣ, учиненномъ въ изступленіи ярости, которое однакоже не помѣшало Мастаку на нѣсколькихъ страницахъ читать Сычихѣ исполненные реторической шумихи монологи, забывъ, что Сычихѣ совсѣмъ не до нихъ, а для Хромушки они, какъ и слѣдовало, были ужасно-смѣшны?..

Такимъ же точно выказывается Родольфъ въ своихъ отношеніяхъ къ маркизѣ Дарвиль. Маркизъ женился на ней обманомъ, утаивъ отъ нея, что онъ страдаетъ падучею болѣзнію. Съ-горя, она влюбилась въ Родольфа, но какъ женщина безъ ума и такта, позволила играть собою графинѣ Сарѣ, которая возбудила въ ней недовѣрчивость къ Родольфу и любовь къ Шарлю Роберу, набитому дураку. Маркиза рѣшается на тайныя свиданія съ этимъ глупцомъ, и только одна нерѣшительность спасаетъ ее отъ слѣдствій этихъ свиданій. При послѣднемъ, ее чуть-было не поймалъ мужъ; но всезнающій и вездѣ поспѣвающій Родольфъ спасъ ее. Въ эту-то женщину влюбленъ Родольфъ. Онъ предлагаетъ ей, *для разсѣянія*, дѣлать добро, и она начинаетъ играть въ добро. Все это приторно до послѣдней степени.

Но до-сихъ-поръ, Родольфъ только эффектёръ и фразёръ; мы увидимъ, что онъ просто глупъ. Онъ вѣнчается съ умирающею Сарою, чтобъ имѣть право объявить Пѣвунью своею законною дочерью. А для чего это? И что за принцесса, что за владѣтельная княжна, окруженная штатс-дамами и фрейлинами,— Пѣвунья, воспитанница Сычихи, дѣвушка шестнадцати лѣтъ, всю жизнь проведшая съ ворами и мошенниками, растлѣнная и оскверненная всею грязью порока, хотя и невольнаго и безсознательнаго, но тѣмъ не менѣе порока? Къ-лицу ли ей, возможна ли для нея роль владѣтельной княжны? Не лучше ли, не естественнѣе ли было бы, еслибъ Родольфъ оставилъ ее на рукахъ г-жи Жоржъ, или, ужь если ее убивало присутствіе людей, знавшихъ о прежней ея жизни, найдти ей уголокъ въ Германіи и видѣться съ нею инкогнито, какъ съ своею дочерью?

Теперь, что за лицо эта Пѣвунья? Сначала, въ трактирѣ, съ Родольфомъ и Рѣзакою, она довольно-естественна и даже интересна; но когда она вдругъ освобождается отъ грязи, въ которой болѣе десяти лѣтъ топтали ее ногами убійцы, воры и мошенники, и вдругъ, ни-съ-того, ни-съ-сего дѣлается «дѣвою идеальною» и «неземною», она перестаетъ быть естественною и дѣлается пошлою, скучною. Мы не споримъ противъ того, что сердце ея было чисто по своей натурѣ; что она способна была къ раскаянію и страданію при мысли о прежней жизни; но все это должно было проявиться въ ней естественно, безъ идеальничанья; на ея жизни навсегда должны были остаться слѣды грязи, которой не смыли бы водЫ цѣлаго океана. А ей, видите ли, довольно было рукомойничка водицы, чтобъ сдѣлаться чище голубки, невиннѣе младенца. Какая пошлая натяжка! И потому, нелѣпѣе, пошлѣе, приторнѣе, натянутѣе и скучнѣе эпилога къ роману, гдѣ дѣйствіе перенесено въ Герольштейнъ, ничего нельзя вообразить. Въ сравненіи съ этимъ эпилогомъ, даже

«Семейство», чувствительный романъ Фредерики Бремеръ, кажется чѣмъ-то сноснымъ!

Между-тѣмъ, на этихъ двухъ неестественныхъ и невозможныхъ во всѣхъ отношеніяхъ лицахъ основано все зданіе романа. Почему, вмѣсто ихъ, авторъ не придумалъ лицъ интересныхъ, но возможныхъ, происшествій занимательныхъ, но простыхъ? Потому, что для этого нуженъ былъ талантъ, и притомъ большой талантъ, ибо истинно-изящное просто и естественно. А у добраго Эжена Сю дарованія можетъ хватить на какую-нибудь повѣсть въ родѣ «Полковника Сюрвиля»—не больше; взявшись за что-нибудь бо́льшее, онъ по-необходимости долженъ стать на ходули и впасть въ мелодраму.

Мы не видимъ достаточной причины, почему бы Пѣвунья непремѣнно должна была оказаться дочерью нѣмецкаго князя. По-крайней-мѣрѣ, изъ этого нсчего не вышло, кромѣ сантиментальнаго вздора и пошлыхъ эффектовъ. Явно, что авторъ въ этой завязкѣ разсчитывалъ на чувствительныхъ читателей, которые любятъ въ романахъ необыкновенныя столкновенія, особенно родственныя, годныя только для наполненія пустоты романа, чуждаго всякой концепціи, всякаго творчества.

Г-жа Жермень и сантиментальный, безличный и бездбразный сынъ ея—лица совершенно-лишнія въ романѣ. Между-тѣмъ, изъ желаніи Родольфа отыскать Жермена вытекаютъ, въ романѣ, всѣ до пошлости чудесныя похожденія его.

Мастакъ, Сычиха, Полидори, Сесили—лица неестественныя и невыдержанныя. Что̀ они такое, по мысли автора? Чудовища ли природы, или жертвы воспитанія и другихъ неотразимыхъ причинъ? Но въ первомъ случаѣ не слѣдовало бы автору быть столь щедрымъ на такія рѣдкія произведенія натуры; а во второмъ—показать намъ причины ихъ искаженія и найдти въ ихъ душахъ хотя какіе-нибудь слѣды человѣчности, какъ онъ показалъ ихъ въ Рѣзакѣ. Что это лица мелодраматическія, сшитыя на живую нитку, довольно привести для доказательства одну черту. Полидори, котораго Родольфъ принуждаетъ быть палачомъ Феррана, говоритъ ему: «Князь «наказываетъ преступленіе преступленіемъ, сообщника—сообщникомъ... Я «не долженъ покидать тебя, по его приказанію; я возлѣ тебя, какъ тѣнь... «Я заслужилъ эшафотъ, какъ ты...» и проч. Подумаете, это говоритъ обратившійся на путь заблудшій человѣкъ,—ни чуть не бывало: это говоритъ нераскаянный извергъ, отравитель, убійца, воръ, все, что угодно... И это поэзія, творчество! Нѣтъ, это просто—шехеразада! Лучше всѣхъ этихъ изверговъ очерченъ Жакъ Ферранъ. Самая мысль—изобразить гнуснаго злодѣя, пользующагося въ обществѣ репутаціею нравственнаго человѣка, достойна вниманія; но авторъ не выдержалъ ея, перехитрилъ, принесъ ее въ жертву великому господину Родольфу—и вышла мелодрама! Безумная любовь Феррана къ Сесили кажется ужасною натяжкою и не возбуждаетъ въ читателѣ ни довѣрія, ни интереса. Полидори, умирающій отъ ядовитаго кинжала Сесили и

Родольфъ, случаемъ спасающійся отъ той же смерти—эффектъ. Лучше всѣхъ другихъ злодѣевъ изображены—вдова Марсіаль (не вездѣ, впрочемъ, выдержанная), дочь ея Тыква (очень-хорошо очерченная) и Скелетъ. Графиня Макъ-Грегоръ обрисована довольно-удачно, хотя и переутрирована; но братецъ ея Томъ очень-похожъ на болвана, съ которымъ играютъ въ вистъ, когда не достаетъ четвертаго. Онъ потому только вертится въ романѣ, что безъ него Сарѣ нельзя таскаться по кабакамъ и харчевнямъ...

Что же, спросятъ насъ, не уже-ли въ «Парижскихъ Тайнахъ» нѣтъ ничего хорошаго, и есть только одно дурное? Нѣтъ: въ цѣломъ, этотъ романъ—верхъ нелѣпости, но частности въ немъ не дурны. Таковы характеры—Рѣзаки (впрочемъ, невыдержанный), Марсіаля и особенно Волчихи, Пик-Венегра, Риголетты, доктора Грифона, г. и г-жи Пипле. Не дурны нѣкоторые эпизоды, какъ то: разсказъ въ тюрьмѣ Пика-Венегра, страданія баронессы Фермонъ и ея дочери, картина страданія семейства Мораль, исторіи Лупзы, сцены на островѣ Грабителя. Но все это не болѣе, какъ не дурно, и во всемъ этомъ видѣнъ не даровитый живописецъ-творецъ, а ловкій ученикъ Академіи, набившій руку, присмотрѣвшійся къ картинамъ мастеровъ и кое-какъ умѣющій съ плеча чертить фигуры, иныя такъ-себѣ—недурныя, а иныя очень-плохія, и никогда неумѣющій написать ничего полнаго и стройнаго. Многое, что въ русскомъ писателѣ показалось бы талантомъ, во французскомъ—не болѣе, какъ образованность, навыкъ, привычка. Языкъ французскій до того выработанъ, что рѣдкій Французъ не умѣетъ прекрасно владѣть имъ; стихіи общественной жизни до того разнообразны и опредѣленны, что есть откуда брать готовые матеріалы для сочиненій—умѣй лишь копировать хорошо; литература французская до того богата, что всякому легко блистать чужимъ умомъ и чужимъ талантомъ, при небольшомъ количествѣ своихъ собственныхъ.

Но въ цѣломъ, повторяемъ, романъ Эжена Сю—верхъ нелѣпости. Большая часть характеровъ, и притомъ самыхъ главныхъ, безобразно-нелѣпа, событія завязываются насильно, а развязываются посредствомъ deus ex machina. Мы уже говорили о томъ и другомъ; прибавимъ еще нѣсколько чертъ касательно послѣдняго. Многочисленныя дѣйствующія лица поставлены въ насильственныя отношенія другъ къ другу. Такъ, наприм., Полидори развращаетъ Родольфа въ его юности, помогаетъ Сарѣ Макъ-Грегоръ,—и онъ же помогаетъ потомъ г-жѣ Роланъ отравить графиню Дорбиньи, мать маркизы Дорвиль; сверхъ того, онъ сообщникъ Жака Феррана во всѣхъ его злодѣйствахъ и участвовалъ въ погибели семейства Фермонъ: видите ли, какой гордіевъ узелъ разныхъ хитросплетеній! Но всезнающій, вездѣуспѣвающій, великій Родольфъ не хуже Александра-Македонскаго справляется съ этимъ узломъ. Случайная покупка коммода на толкучемъ рынкѣ и попавшееся въ немъ письмо наводятъ Родольфа на слѣды баронессы Фермонъ; а квартира въ домѣ *Красной-Руки* даетъ ему возможность напасть на слѣды Полидори, котора-

го онъ узнаётъ въ ложномъ Брадаманти, и во-время послать Мурфа въ Нормандію для спасенія глупаго графа Дорбиньи отъ яда. Въ-самомъ-дѣлѣ, опоздай маркиза Дорвиль съ Мурфомъ хоть минутою,—графъ Дорбиньи былъ бы отравленъ. Такимъ же точно образомъ Родольфъ успѣлъ заблаговременно узнать о злодѣйскихъ умыслахъ Скелета и другихъ преступниковъ на жизнь Жермена; кстати воротился тутъ Рѣзака, о которомъ Рудольфъ думалъ, что онъ уже въ Африкѣ, и очень-успѣшно и еще болѣе эффектно защитилъ Жермена. Смерть самого Рѣзаки воспослѣдовала также очень-эффектно: во-первыхъ, онъ умеръ за своего благодѣтеля, и во-вторыхъ, умеръ отъ ножа, которымъ самъ убивалъ другихъ. Отъ-чего же Мастакъ не погибъ отъ ножа и даже нашелъ себѣ вѣрное пристанище въ домѣ ума-лишенныхъ? За раскаяніе?—но вѣдь Рѣзака тоже раскаялся, и еще искреннѣе, не говоря уже о томъ, что онъ никогда не былъ такимъ извергомъ, какъ Мастакъ? Отъ-чего же Сычиха погибла отъ рукъ, а не отъ кинжала, которымъ она въ этотъ же день смертельно ранила графиню Сару Мак-Грегоръ? А знаете ли, зачѣмъ она ее ранила?—затѣмъ, чтобъ дать Родольфу возможность жениться на маркизѣ Дорвиль. Затѣмъ же застрѣлился и маркизъ Дорвиль... Какъ все это пошло!

Нѣкоторые смотрятъ на «Парижскія Тайны», какъ на *дидактическій романъ* и доказываютъ ими возможность и законность дидактическаго рода поэзіи. «Парижскія Тайны» дѣйствительно—романъ дидактическій, но онъ-то именно и доказываетъ невозможность и незаконность дидактическаго рода поэзіи. Однакожъ—скажутъ намъ—этотъ романъ достигъ своей цѣли. Правда, онъ заставилъ общество потолковать нѣсколько времени о народѣ—до новой новости; можетъ-быть, даже, что въ слѣдствіе его, французскіе законодатели поторопятся подумать о какихъ-нибудь способахъ къ улучшенію участи несчастныхъ бѣдняковъ—и въ такомъ случаѣ, романъ полезенъ; но тѣмъ не менѣе, онъ все-таки не романъ, а сказка, и притомъ довольно-нелѣпая. Еслибъ кто-нибудь, узнавъ о тайномъ убійствѣ, написалъ повѣсть, которая навела бы полицію на слѣды преступленія—поступокъ былъ бы прекрасенъ, а повѣсть была бы плоха, и всѣ помнили бы *случай*, а повѣсть тотчасъ же забыли бы. Такая же участь ожидаетъ и «Парижскія Тайны». Теперь пишутся уже «Лондонскія Тайны»,—и, кто знаетъ, можетъ-быть, годъ-другой всѣ литературы и всѣ театры завалятся *тайнами* и *не-тайнами* разныхъ городовъ, благодаря торговому стремленію разныхъ мелкотравчатыхъ писакъ! Но въ такомъ случаѣ, нелѣпость пожретъ сама себя и погибнетъ отъ своего собственнаго излишества, а о «Парижскихъ Тайнахъ» черезъ годъ ничего не будетъ слышно, словно канутъ онѣ въ воду. Такова судьба всѣхъ дидактическихъ произведеній! Жоржъ Зандъ не сдѣлала романа изъ исторіи *Фаншеты:* она описала въ своемъ журналѣ дѣло, какъ оно было, но результаты этой небольшой статейки будутъ посущественнѣе результатовъ всевозможныхъ «Парижскихъ Тайнъ»... [213]).

Нельзя не удивляться бездарности Эжена Сю, когда читаешь его «Париж-

*

скія Тайны»: въ нихъ такъ и видѣнъ выписавшійся сочинитель, какіе есть и у насъ, на святой Руси. Мы сказали, что завязка и ходъ его романа—верхъ нелѣпости, и что́ же?—мысль этой завязки и вообще весь характеръ его романа не ему принадлежатъ. «Парижскія Тайны»—неловкое и неудачное подражаніе романамъ Диккенса. Этотъ даровитый англійскій писатель довольно извѣстенъ у насъ въ Россіи; всѣ читали его «Николая Никльби». «Оливера Твиста», «Бэрнеби Роджа» и «Лавку Древностей»: стало-быть, всякій можетъ самъ повѣрить справедливость нашего замѣчанія. Большая часть романовъ Диккенса основана на семейной тайнѣ: брошенное на произволъ судьбы дитя богатой и знатной фамиліи преслѣдуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наслѣдствомъ. Завязка старая и избитая въ англійскихъ романахъ; но въ Англіи, землѣ аристократизма и майоратства, такая завязка имѣетъ свое значеніе, ибо вытекаетъ изъ самаго устройства англійскаго общества, слѣдовательно, имѣетъ своею почвою дѣйствительность. Притомъ же, Диккенсъ умѣетъ пользоваться этою истасканною завязкою, какъ человѣкъ съ огромнымъ [214]) поэтическимъ талантомъ. Во Франціи, теперь подобная завязка не имѣетъ никакого смысла, и потому бѣдный Эженъ Сю принужденъ былъ въ *благородные отцы* ангажировать нѣмецкаго владѣтельнаго князька. Мы уже видѣли, какъ умно и правдоподобно умѣлъ онъ развить эту пошлую завязку. Злодѣи, воры и мошенники, равно-какъ и сцены нищеты въ романѣ Эжена Сю—тоже плохія копіи съ мастерскихъ, дышащихъ страшною истиною дѣйствительности и художественною жизнію картинъ Диккенса. Но особенно злодѣи Эжена Сю смѣшны и жалки въ-сравненіи съ злодѣями Диккенса. Отъ-чего же ни одинъ изъ романовъ сильно-даровитаго Диккенса не имѣлъ и сотой доли того успѣха, какимъ воспользовался романъ почти бездарнаго Эжена Сю? На это есть двѣ причины, изъ которыхъ одна дѣлаетъ честь Диккенсу, а другая Эжену Сю. Во-первыхъ, толпа любитъ больше такія произведенія, которыя ей по плечу, и хотя Диккенсъ не принадлежитъ къ числу великихъ поэтовъ, однако его талантъ все-таки выше разумѣнія и вкуса толпы. Во-вторыхъ, Диккенсъ—Англичанинъ, а Эженъ Сю—Французъ. Какъ истинный Англичанинъ, Диккенсъ исполненъ сухаго, фарисейскаго морализма націи, привыкшей подчинять справедливость политикѣ, а нравственность—общественнымъ выгодамъ. Какъ истинный художникъ, Диккенсъ вѣрно изображаетъ злодѣевъ и извергов жертвами дурнаго общественнаго устройства; но, какъ истинный Англичанинъ, онъ никогда въ этомъ не сознаётся даже самому-себѣ.

Какъ Французъ, Эженъ Сю нечуждъ симпатіи къ падшимъ и слабымъ. Гуманность и человѣколюбіе—одна изъ самыхъ рѣзкихъ чертъ національнаго характера Французовъ. Это отразилось съ большею или мѣньшею силою и истиною въ «Парижскихъ Тайнахъ». Если Сю нарисовалъ нѣсколько отвратительныхъ и неправдоподобныхъ чудищъ, каковы Мастакъ, Сычиха и Полидори,—это для мелодраматическаго успѣха, столь несомнѣннаго въ разсчетахъ на толпу; но въ другихъ злодѣяхъ авторъ старался показать неизбѣжныхъ

жертвъ недостатковъ французскаго общественнаго устройства. Дѣти, брошенныя на мостовую, попавшіяся во власть грубыхъ и жестокихъ промышленниковъ, не могутъ не говорить безъ восторга о славномъ житьѣ ихъ въ тюрьмѣ!... Чего же хотите вы отъ нихъ? И какое имѣете вы право считать себя лучше ихъ и строго судить ихъ? Развѣ вы увѣрены, что, при подобномъ образѣ жизни въ лѣта дѣтства, вы остались бы людьми честными и нравственными? Преступника казнили за убійство—и его семейству, не участвовавшему въ преступленіи, нѣтъ прохода на улицѣ отъ оскорбительныхъ восклицаній и упрековъ; ему нѣтъ работы, нѣтъ средствъ къ существованію: ему остается, или умереть голодною смертью, или приняться за воровство, а потомъ за убійство... Вотъ вопросы, которые расшевелилъ Эженъ Сю въ своихъ «Парижскихъ Тайнахъ», и этимъ-то вопросамъ обязанъ его романъ своимъ необыкновеннымъ успѣхомъ.

Но все-таки тутъ не мѣньшую роль играетъ и та причина, о которой мы говорили выше. Назначеніе генія—проводить новую свѣжую струю въ потокъ жизни человѣчества и народовъ. Но брошенная геніемъ идея принималась бы слишкомъ-медленно, еслибъ не подхватывали ее на лету таланты и дарованія, роль и назначеніе которыхъ—быть посредниками между геніями и толпою. Даже искажая и дѣлая пошлою мысль генія, они тѣмъ самымъ приближаютъ ее къ понятію толпы. Напиши Эженъ Сю свой романъ безъ мелодраматическихъ прикрасъ, просто, естественно, съ строгою вѣрностью дѣйствительности,—его оцѣнили бы только тѣ, для которыхъ заключенная въ немъ идея отнюдь не новость, и его не прочли бы именно тѣ, для которыхъ эта идея совершенная новость. Разумѣется, Эженъ Сю не могъ бы лучше написать, еслибъ и хотѣлъ, но потому-то и успѣлъ онъ, что талантъ его по-плечу десяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, и потому эти десятки и сотни тысячъ читателей теперь думаютъ о томъ, о чемъ прежде не думали, и знаютъ то, чего прежде не знали [215]).

* 785. Гамлетъ. *Трагедія* В. Шекспира, *переводъ*—А. Кронеберга. *Харьковъ. Въ Университетской тип. 1844. Въ 8-ю д. л. 220 стр.* [216]).

Что современная русская литература находится въ состояніи запустѣнія,—въ этомъ теперь согласны почти всѣ литературныя партіи, во всемъ другомъ несогласныя между собою [217]). Естественно, каждая изъ нихъ силится объяснить причину такого страннаго явленія. Эти объясненія часто бываютъ восхитительны своею наивностью, и если смотрѣть на дѣло со стороны, то можно забавляться имъ какъ игрою въ жмурки: изъяснитель съ завязанными глазами и распростертыми впередъ руками бѣгаетъ взадъ-и-впередъ, бросается изъ стороны въ сторону, ловя ускользающія отъ него искомыя причины, а зрители хохочутъ... Смѣшно и забавно! Одни говорятъ, что литература потому въ упадкѣ, что нѣтъ книжной торговли; но имъ сейчасъ возражаютъ, что книжной торговли потому нѣтъ, что литература въ упадкѣ, ибо весьма-есте-

ственно, что торговля не можетъ существовать, когда ей нечего продавать. Слѣдовательно, въ этомъ объясненіи остается несомнѣннымъ только фактъ, что литература въ упадкѣ, а причины всего факта все-таки нѣтъ. На бѣду объяснителей этого рода, сама дѣйствительность взялась рѣшить вопросъ: книгопродавцы явились,—даже, по нѣкоторымъ, воздвигались новые дѣятели, оживители литературы, съ самоотверженіемъ рѣшившіеся вновь издавать старый хламъ ея; другіе книгопродавцы покупаютъ рукописи, платятъ авторамъ посильную плату, издаютъ книги,—а литература по-прежнему мертва, и книжная торговля въ застоѣ. Въ этомъ принуждены были сознаться сами объяснители. Другіе говорятъ: литература отъ-того въ упадкѣ, что наши писатели лѣнивы, мало пишутъ, ничего не дѣлаютъ, и т. п. Но факты доказываютъ, что теперь литераторы пишутъ по-крайней-мѣрѣ не меньше, если еще не больше того, какъ писывали они въ старину и во всѣ хваленыя времена русской литературы. Сколько является «драматическихъ представленій»; новымъ водевилямъ нѣтъ счета; повѣстей не оберешься; иллюстрированныхъ исторій, оригинальныхъ и переводныхъ, вдоволь; право-описательныхъ и юмористическихъ книжекъ и тетрадокъ съ картинками просто нѣкуда дѣвать. Нѣтъ, все не то! Третьи говорятъ: неуваженіе къ талантамъ — вотъ причина упадка литературы! Прекрасно! но гдѣ же это неуваженіе, если все, что́ является въ литературѣ отличнаго или порядочнаго, жадно читается публикою въ журналахъ, скоро раскупается въ отдѣльныхъ книгахъ? «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ *трехъ-тысячь* экземпляровъ, давно уже распроданы до послѣдняго экземпляра; «Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ частяхъ почти совсѣмъ разошлись въ какой-нибудь годъ времени, не смотря на то, что изъ нихъ около трехъ частей составлено изъ старыхъ, давно уже извѣстныхъ публикѣ статей; сочиненія Лермонтова то-и-дѣло издаются; повѣсти графа Соллогуба, давно прочитанныя въ періодическихъ изданіяхъ, хорошо распродавались и хорошо распродаются, изданныя отдѣльно. А между-тѣмъ, эти три писателя, особенно два первые, подвергались, подвергаются и, вѣроятно, еще долго будутъ подвергаться «неуваженію» со стороны разныхъ аристарховъ. Въ цѣлой книгѣ, нельзя пересказать всѣхъ браней, которыя напечатаны на сочиненія Гоголя; о Лермонтовѣ теперь пишутъ, что такъ-какъ онъ уже умеръ и отъ него никакихъ барышей ожидать нельзя, то уже смѣшно его хвалить, а надо его бранить, и на первый случай, замѣтить, наприм., что въ его «Героѣ Нашего Времени» нѣтъ знанія жизни, свѣта, людей, человѣческаго сердца, и что всего этого слѣдуетъ искать въ «Дѣвахъ Чудныхъ» и разныхъ «драматическихъ представленіяхъ». Правда, «неуваженіе» вредитъ многимъ талантамъ; но если оно, даже доведенное до ожесточенія, не могло повредить нѣкоторымъ, — явный знакъ, что дѣло ни въ «уваженіи», ни въ «неуваженіи», а въ достоинствѣ сочиненій, въ силѣ таланта, который самъ-собою заставляетъ уважать себя. Нѣкоторые сочинители для лучшаго хода своихъ сочиненій издаютъ журналы и газеты, въ кото-

рыхъ ихъ сочиненія весьма «уважаются», но, увы! все это теперь уже нисколько не помогаетъ горю.—Наконецъ, намъ недавно случилось читать гдѣ-то мнѣніе, что русская литература упала не отъ чего другаго, какъ отъ журнальной полемики!.. Это мнѣніе не ново: оно повторялось очень часто въ доброе старое время и брошено за негодностію. Кому-то вздумалось возобновить его. Очевидно, что возобновитель сродни падшимъ отъ полемики сочиненіямъ: иначе, онъ такъ горячо не напалъ бы на эту мнимую причину посполитаго рушенія русской литературы. А прекуръёзное мнѣніе! Ради самой юродивости его, нельзя пропустить его безъ вниманія. Полемика составляетъ душу иностранныхъ литературъ; въ сравненіи съ нашею, иностранная полемика—то же, что̀ океанъ въ сравненіи съ ручейкомъ. Отъ-чего же иностранныя литературы не погибли отъ полемики? Возобновитель курьёзнаго мнѣнія говоритъ, между прочимъ, что журнальныя брани лишили русскую литературу всякаго довѣрія у публики, которая, будто-бы, повѣрила всѣмъ воюющимъ сторонамъ въ томъ, что̀ онѣ говорятъ одна о другой и — перестала читать по-русски... Именно такъ! Но кто же читаетъ русскіе журналы, изъ которыхъ однѣ «Отеч. Записки» имѣютъ болѣе трехъ тысячь подписчиковъ?— не-уже-ли иностранцы? А вѣдь что̀ было писано противъ «Отеч. Записокъ» какъ бранили ихъ разные журналы и разные сочинители?.. Кто раскупилъ «Мертвыя Души», наповалъ разруганныя половиною нашихъ журналовъ, какъ произведеніе пошлое и бездарное?.. Да и когда полемика была тише, если не въ настоящее время? Глазамъ не вѣришь, читая брани, которыя нѣкогда печатались на Пушкина, а, между-тѣмъ, Пушкина всѣ читали!.. Нѣтъ, скорѣе одною изъ причинъ запустѣнія русской литературы можно почесть то, что у насъ еще и теперь не стыдятся показываться въ печати мнѣнія подобныя тому, что какая-нибудь литература можетъ пасть отъ полемики...

Много есть разныхъ причинъ упадка нашей литературы въ настоящее время. Въ первой книжкѣ «Отеч. Записокъ» 1844 года, мы, въ отдѣлѣ Критики, изложили нѣкоторыя изъ этихъ причинъ [218]). Главнѣйшія изъ нихъ,— во-первыхъ, преждевременная смерть Пушкина и Лермонтова. Первый сдѣлалъ очень-много, но еще больше обѣщалъ сдѣлать, судя по его посмертнымъ сочиненіямъ. — Второй только-что началъ-было обнаруживать всю огромность своего таланта. Гоголь рѣдко является въ печати. Нѣсколько талантовъ, болѣе или менѣе яркихъ, не могутъ сдѣлать незамѣтнымъ недостатокъ въ людяхъ геніальныхъ, а геніальныхъ людей не могутъ создать ни «уваженіе», ни процвѣтаніе книжной торговли, ихъ творитъ природа. Во-вторыхъ, теперь русская литература вышла на такую дорогу и приняла такое направленіе, что многіе люди, недавно считавшіеся великими талантами, невольно обратились въ людей съ посредственными дарованіями; многое изъ того, что̀ прежде восхищало публику, теперь наводитъ на нее зѣвоту, а нѣкоторые ci-devant любимцы публики, воспользовавшіеся подъ-шумокъ ея неопытностію, теперь тщетно напоминаютъ ей о себѣ разными новыми трудами своими и востор-

женными «уваженіями» этихъ трудовъ: въ первыхъ публика видитъ старыя погудки на новый ладъ, во-вторыхъ—ужь слишкомъ-неловкую и грубую продѣлку... [219])

Между причинами упадка современной литературы есть и такія, которыя такъ очевидны и понятны, что нѣчего распространяться о нихъ; кто же не въ состояніи самъ проникнуть въ нихъ, тому толковать—все равно, что съ глухимъ говорить шопотомъ. Но одна, также изъ главныхъ причинъ, состоитъ сколько въ незрѣлости нашей литературы, столько и въ разнохарактерности читателей, составляющихъ нашу публику. Мы достигли уже до того, что у насъ не можетъ не имѣть хода романъ, повѣсть, комедія, означенныя печатью истиннаго и самобытнаго таланта, особенно, если содержаніе романа, повѣсти или комедіи касается нашей русской дѣйствительности. Но только этимъ и ограничивается нашъ успѣхъ. Онъ великъ—это правда; но одного его еще мало. Искусство, въ общемъ значеніи этого слова, еще далеко не вошло въ потребность нашей публики; дѣльныя сочиненія даже по части исторіи—науки, которая въ Европѣ преобладаетъ надъ всѣми другими, дѣльныя сочиненія теоретическія не составляютъ еще потребности публики... Но обратимся собственно къ искусству. У насъ, по-видимому, любятъ Шекспира. Нѣкоторыя драмы его имѣли огромный успѣхъ на сценѣ, а потому расходились счастливо и книгами. Но въ этомъ-то успѣхѣ и видна вся дѣтскость эстетическаго образованія нашей публики. Больше всѣхъ другихъ драмъ Шекспира имѣлъ успѣха на сценѣ «Гамлетъ», поставленный на театръ и напечатанный въ 1837 году Полевымъ. До этого времени, о существованіи «Гамлета» большинство нашей публики какъ-будто и не подозрѣвало. А между-тѣмъ, еще въ 1828 году былъ изданъ русскій переводъ этой драмы г. Вронченко—необыкновенно-даровитымъ переводчикомъ. Въ переводѣ «Гамлета» г-на Вронченко, конечно, есть свои недостатки, потому-что совершеннаго ничего не бываетъ въ дѣлахъ человѣческихъ, и совершенные переводы гораздо-менѣе возможны, чѣмъ совершенныя оригинальныя произведенія; но въ то же время переводъ «Гамлета» г. Вронченко отличается достоинствами великими: въ немъ вѣетъ духъ Шекспира и передается вѣрно глубокій смыслъ созданія, а не буква. И что же?—самыя достоинства перевода г. Вронченко были причиною малаго успѣха «Гамлета» на русскомъ языкѣ! Такое колоссальное созданіе, переданное вѣрно, было явно не подъ-силу нашей публикѣ, воспитанной на трагедіяхъ Озерова и едва-возвысившейся до «Разбойниковъ» Шиллера. Г. Полевой передѣлалъ «Гамлета». Онъ сократилъ его, выкинулъ многія существеннѣйшія мѣста, исказилъ характеры, и изъ драмы Шекспира сдѣлалъ рѣшительную мелодраму, какъ Дюси сдѣлалъ изъ нея классическую трагедію. Но все это сдѣлано г. Полевымъ безъ всякихъ особенныхъ соображеній, единственно потому, что онъ понялъ Шекспира, какъ понимаетъ его, на-прим., Дюма́ и другіе поборники подновленнаго романтизма, именно—какъ романтическую мелодраму. И это было причиною неимовѣрнаго успѣха «Гам-

лета» на сценѣ и въ печати: «Гамлетъ» былъ сведенъ съ шекспировскаго пьедестала и придвинутъ, такъ-сказать, къ близорукому понятію толпы: вмѣсто огромнаго монумента, ей показали фарфоровую статуэтку—и она пришла въ восторгъ [220]). Также точно держится на сценѣ чей-то преплохой переводъ «Лира», именно потому, что въ немъ оставлены только эффектныя мѣста, а все величественное теченіе внутренней драмы, основанной на глубокой идеѣ и борьбѣ характеровъ, раздроблено на мелкіе, врозь-текущіе, несвязанные между собою ручейки. Послѣ «Гамлета» г. Полеваго, г. Вронченко издалъ свой переводъ «Макбета», который имѣлъ еще менѣе успѣха, чѣмъ «Гамлетъ»: суровое величіе и строгая простота этого творенія, переданныя переводчикомъ со всею добросовѣстностію, безъ всякаго угодничества вкусу большинства, безъ всякихъ вылощенныхъ прикрасъ, были сочтены толпою за шероховатость и прозаичность перевода. И теперь, перевести вновь «Гамлета» или «Макбета» значитъ только втунѣ потерять время: всякій скажетъ вамъ, что онъ уже читалъ ту и другую драму. Черта замѣчательная! Она показываетъ, что всѣ гоняются за *сюжетомъ* драмы, не заботясь о художественности его развитія. Въ Англіи, цѣлая толпа комментаторовъ трудилась надъ объясненіемъ каждаго сколько-нибудь неяснаго выраженія или слова въ Шекспирѣ,—и эти комментаторы всѣми читались и пріобрѣли себѣ извѣстность. Во Франціи, и особенно въ Германіи сдѣлано по нѣскольку переводовъ всѣхъ сочиненій Шекспира,—и новый переводъ тамъ не убивалъ стараго, но всѣ они читались для сравненія, чтобъ лучше *изучить* Шекспира. У насъ, этого не можетъ быть, ибо у насъ только немногіе избранные возвысились до созерцанія искусства какъ творчества, до чувства формы; толпа ищетъ въ литературномъ произведеніи только сюжета. Узнавъ сюжетъ, она думаетъ, что уже знаетъ сочиненіе, и потому новый переводъ уже разъ переведеннаго сочиненія ей кажется совершенно-излишнимъ. Послѣ этого, трудитесь, переводите, оживляйте литературу своею дѣятельностію...

Вотъ почему мы невольно пожалѣли о трудѣ г. Кронеберга. Переводъ его положительно-хорошъ и какъ бы дополняетъ собою переводъ г. Вронченко, показывая «Гамлета» въ новыхъ оттѣнкахъ; но кто оцѣнитъ этотъ трудъ, кто будетъ за него благодаренъ, кто захочетъ узнать его?.. Дай Богъ, чтобъ слова наши не сбылись на дѣлѣ: мы первые охотно сознаемся въ ошибкѣ; но... Г. Кронебергъ владѣетъ богатыми средствами для того, чтобъ съ успѣхомъ переводить Шекспира: онъ отъ отца своего (*) наслѣдовалъ любовь къ этому поэту, изучалъ его подъ руководствомъ отца своего, посвятившаго изученію Шекспира всю жизнь свою и написавшаго о немъ нѣсколько сочиненій европейскаго достоинства; онъ прекрасно знаетъ англійскій языкъ (зная при томъ лично языки нѣмецкій и французскій) и хорошо владѣетъ русскимъ стихомъ. При такихъ средствахъ, будь у насъ потребность узнать Шекспира

(*) Покойнаго И. Я. Кронеберга, котораго статью „О ходѣ искусства у древнихъ народовъ“ мы предлагаемъ въ этой же книжкѣ нашего журнала.

какъ великаго поэта, а не какъ романтическаго мелодраматиста, сценическаго эффектёра,—г. Кронебергъ, можетъ-быть, обогатилъ бы русскую литературу замѣчательно-хорошимъ переводомъ всего Шекспира, и притомъ мы имѣли бы, можетъ-быть, Шекспира въ переводѣ гг. Вронченко, Росковшенко, и, вѣроятно, нашлись бы и другіе дѣятели. Но до такихъ серьёзныхъ потребностей не доросла еще наша публика, а потому и для литературы нашей еще не настало время такихъ важныхъ трудовъ.

Отрывокъ изъ переведеннаго г. Кронебергомъ «Гамлета» былъ напечатанъ въ одномъ альманахѣ и былъ разбраненъ въ одной газетѣ; цѣлый переводъ еще больше будетъ разбраненъ. Но такое «неуваженіе» ничего не значитъ: причина его заключается, во-первыхъ, въ томъ, что въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1839 года *(т. II, стр. 189—196)* была напечатана статья покойнаго профессора И. Я. Кронеберга, и въ этой статьѣ разобранъ не совсѣмъ «уважительно» переводъ «Гамлета» г. Полеваго; во-вторыхъ, въ «Литературной Газетѣ» 1840 года (№№ 49 и 50) была напечатана статья А. И. Кронеберга (переводчика «Гамлета» и «Двѣнадцатой Ночи» Шекспира)—«Гамлетъ, исправленный г-номъ Полевымъ». Послѣ этихъ «уважительныхъ» причинъ не всѣ критики на новый переводъ «Гамлета» должны казаться «уважительными». Для людей, которые въ литературѣ видятъ не забаву въ праздное время, а занятіе дѣльное, «Гамлетъ», въ переводѣ г. Кронеберга, долженъ быть замѣчательнымъ литературнымъ пріобрѣтеніемъ. Жаль, что только отъ такихъ, слишкомъ немногочисленныхъ судей, переводчикъ долженъ ожидать награды за свой безкорыстный, добросовѣстный и прекрасно-выполненный трудъ!.. [221])

* **786. Парижскія тайны.** *Романъ* Эженя Сю. *Перевелъ* В. Строевъ. *Санктпетербургъ. 1844. Въ тип. К. Жернакова. Два тома, восемь частей. Въ 8-ю д. л. Въ I-й части 114, во II—80, въ III—92, въ IV—135, въ V—118, въ VI—104, въ VII—140, въ VIII—123 стр.* [222]).

Въ отдѣлѣ Критики этой книжки «Отеч. Записокъ» мы отдали подробный отчетъ о «Парижскихъ Тайнахъ». Наше мнѣніе объ этомъ романѣ должно возбудить противъ насъ неудовольствіе многочисленныхъ почитателей и обожателей этого quasi-геніальнаго созданія. На насъ будутъ нападать и прямо и косвенно, и бранью и намеками. Въ добрый часъ! Мы почитаемъ свое мнѣніе о «Парижскихъ Тайнахъ» безусловно-справедливымъ; иначе не высказали бы мы его такъ рѣшительно и рѣзко. До неудовольствія разныхъ господъ-сочинителей намъ нѣтъ дѣла: кто добровольно принялъ на себя обязанность говорить правду, тотъ долженъ умѣть презирать толки и жужжаніе мелкихъ самолюбій, дурнаго вкуса, ограниченныхъ понятій. Но гдѣ опроверженіе подобныхъ толковъ и жужжаній можетъ вести къ выясненію истины, тамъ можно нагнуться до нихъ, и сказать слова два касательно полемическихъ войнъ за рѣзко высказанное мнѣніе о пошлости какого-нибудь пошлаго

произведенія, имѣющаго въ толпѣ своихъ восторженныхъ поклонниковъ Между безчисленнымъ множествомъ ограниченныхъ людей, загромождающихъ собою Божій міръ, есть особенно-несносный разрядъ: это люди, которымъ, если удастся разъ въ жизни запастись какимъ-нибудь чувствованьицемъ, или какою-нибудь мыслишкою, то они всякое чувствованьице, всякую мыслишку въ другомъ считаютъ за личное оскорбленіе своей особѣ, лишь-только чувствованьице или мыслишка другаго не похожи на ихъ собственныя и противорѣчатъ имъ. Но ничто не можетъ въ такой степени оскорбить ихъ мелкое самолюбіе и раздражить задорную энергію ихъ гнѣва, какъ чувство или мысль порядочнаго человѣка. Видя, что это чувство или эта мысль тяжестію своего содержанія уничтожаетъ и дѣлаетъ смѣшными ихъ чувствованьица и мыслишки, и сознавая свою слабость защищать послѣднія противъ первыхъ, они прибѣгаютъ къ извѣстной тактикѣ безсилія—начинаютъ вопить о безнравственности, грѣхѣ и соблазнѣ... Многіе изъ такихъ господъ добродушно преклонились уже передъ неслыханнымъ величіемъ «Парижскихъ Тайнъ» и, не будучи въ силахъ вообразить что-либо выше этого пресловутаго творенія (какъ мышь въ баснѣ Крылова не въ силахъ была вообразить звѣря сильнѣе кошки), во всеуслышаніе объявили Эжена Сю геніемъ, а его сказку—безсмертнымъ твореніемъ, не упустивъ при сей вѣрной оказіи разругать «Мертвыя Души» Гоголя, которыхъ любая страница, на-удачу развернутая, убьетъ тысячи такихъ бѣдныхъ и жалкихъ произведеній, какъ «Парижскія Тайны». Посудите сами: какою неслыханною дерзостію долженъ показаться имъ нашъ откровенный отзывъ о ихъ «безсмертномъ» твореніи!... Они такъ обрадовались что нашли наконецъ произведеніе, котораго огромность подъ-силу ихъ чувствованьицамъ и мыслишкамъ—и вдругъ имъ *доказываютъ*, что они могутъ и даже должны вѣрить, въ своемъ подпольѣ, что «сильнѣе кошки звѣря нѣтъ», но что напрасно пугаютъ они этимъ звѣркомъ цѣлый свѣтъ... Посмотрите, что̀ достанется намъ! А вотъ и фактическое подтвержденіе основательности и справедливости нашихъ предчувствій. Въ «Современникѣ» тянулся года полтора романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство»; въ концѣ прошедшаго года, онъ вышелъ отдѣльною книгою. Мы высказывали о немъ свое мнѣніе откровенно и прямо, какъ всегда имѣемъ привычку говорить. И что̀ же? Нѣкто г. Гротъ, котораго воззрѣнія на жизнь нашли себѣ подтвержденіе въ романѣ г-жи Бремеръ и который, по-этому, увидѣлъ въ немъ для себя нѣчто въ родѣ корана, «несомнѣнной книги» мусульманъ, вдругъ грянулъ многоглаголивою, широковѣщательною и презадорливою противъ насъ филиппикою. По особеннымъ причинамъ, не любя полемическихъ битвъ съ разными россійскими и иностранными господами-сочинителями, мы охотно пропустили бы безъ вниманія статью нестоящую вниманія, если бы ея нападки не касались предметовъ, до которыхъ образованному литератору нельзя касаться. Послѣднее обстоятельство невольно заставляетъ насъ сказать нѣсколько словъ о статьѣ г. Грота, для отстраненія

несправедливо устремленныхъ на насъ обвиненій; да притомъ, оно и кстати пришлось.

Апелляціонная статья г. Грота напечатана въ 3-й книжкѣ «Москвитянина». Доселѣ г. Гротъ упражнялся преимущественно въ наполненіи пріятельскаго журнала довольно жиденькими и пустенькими статейками о финляндскихъ нравахъ и литературѣ; нельзя не пожалѣть, что онъ хотя на минуту могъ оторваться отъ такихъ невинныхъ и усладительныхъ занятій, чтобъ необдуманно и опрометчиво броситься въ омутъ полемики, самой мутной и тинистой. Вотъ въ чемъ дѣло. Мы сказали, что для молодыхъ людей, и особенно для молодыхъ дѣвушекъ, очень вредно чтеніе романовъ въ духѣ Августа Лафонтена и Фредерики Бремеръ, потому-что такіе романы нечувствительно пріучаютъ смотрѣть превратно на жизнь. Эти романы располагаютъ ихъ къ восторженности, которая совсѣмъ не годится въ прозаической дѣйствительности, ожидающей ихъ въ жизни; пріучаютъ ихъ видѣть жизнь въ розовомъ свѣтѣ, дѣлаютъ ихъ неспособными переносить ея часто черный и всегда сѣренькій цвѣтъ. Дѣвушекъ у насъ всегда назначаютъ для болѣе или менѣе выгодной *партіи*, а онѣ мечтаютъ о блаженствѣ любви, чистой и безкорыстной. Чувствительные романы поддерживаютъ и раздражаютъ опасную мечтательность. Отсюда выходятъ несчастіе цѣлой жизни многихъ мечтательницъ. Вотъ что мы говорили,—а г. Гроту заблагоразсудилось обвинять насъ въ нападкахъ на бракъ, которыхъ у насъ и въ головѣ не было. Мы не менѣе всякаго г. Грота убѣждены въ важности брака, какъ религіознаго и гражданскаго установленія; но хотимъ видѣть бракъ, какъ онъ часто бываетъ въ суровой дѣйствительности, а не въ розовыхъ и дѣтскихъ мечтахъ экзальтированныхъ юныхъ головокъ. По нашему мнѣнію, браки бываютъ трехъ родовъ: браки по принужденію—самый гнусный родъ браковъ; браки по юношеской страсти—самый опасный родъ браковъ, потому-что изо ста тысячъ, наконецъ удастся только одинъ счастливый; и бракъ по разсудку, гдѣ при разсчетахъ не исключается и склонность въ извѣстной степени,—это самый благонадежный родъ браковъ. Г. Гротъ, пожалуй, скажетъ, что именно этотъ-то родъ брака и прославляетъ г-жа Бремеръ. Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ! Въ бракѣ, о которомъ мы говоримъ, нѣтъ ничего обаятельнаго для юныхъ мечтателей и мечтательницъ. Представьте его имъ, въ романѣ, какъ онъ есть, они не станутъ торопиться жениться и выходить замужъ. Всѣ признаютъ необходимость брака, но это никому не мѣшаетъ сознаваться, что брачное состояніе—дѣло довольно-трудное въ дѣйствительности, хотя и обольстительное въ романахъ извѣстнаго рода. Особенно возмутили г. Грота наши слова, что «теперь жениться по склонности и для счастія считается совсѣмъ не въ тонѣ, и всѣ рѣшительно женятся для денегъ и связей». Что жъ? развѣ это не несомнѣнная истина? При слухѣ о новомъ бракѣ, всѣ спрашиваютъ, сколько приданаго, пріобрѣтаются ли связи, но никто не спрашиваетъ, любятъ ли брачащіеся другъ друга. И женихъ говоритъ громко: беру столько-то,

или: у моей невѣсты такая-то родня, а о любви умалчиваетъ, невѣста тоже говоритъ: у моего жениха столько-то, или: у него такія-то связи, партія приличная и выгодная. Не-уже-ли все это неизвѣстно г. Гроту? Гдѣ же онъ живетъ, въ какой Аркадіи, въ какой Утопіи? Но г. Гротъ до того простираетъ милую наивность своихъ аркадскихъ убѣжденій, что людей, которые женятся не для страсти и счастія (этой невидимки на землѣ), а для выгодной партіи, называетъ *людьми безнравственными, внушающими презрѣніе и жалость*. Вотъ это и не справедливо и невѣжливо! Ибо такихъ людей многое множество, и притомъ, между ними много людей честныхъ, благородныхъ и понимающихъ нравственность не хуже г. Грота. Нѣтъ, г. Гротъ, воля ваша, а вы слишкомъ-много берете на себя, называя негодлями всѣхъ, кто женится не по страсти, а по разсчету и склонности. Мы сами убѣждены, что негодяй тотъ, кто, по разсчету, насильно женится на дѣвушкѣ, зная ея склонность къ другому; но гдѣ нѣтъ насилія, а есть разсчетъ—тамъ несправедливо видѣть развратъ. Согласны, что въ такомъ разсчетливомъ бракѣ можетъ быть много пошлаго, грубаго и даже низкаго; но несогласны, чтобъ въ немъ ужь непремѣнно не могло быть благороднаго, честнаго и нравственнаго, и чтобъ люди, которые женятся по разсудку, а не по страсти, непремѣнно не могли быть хорошими мужьями и отцами. Вотъ что бы слѣдовало развивать въ романахъ, а не рисовать приторныя и пошленькія картинки идиллическихъ радостей и мелочныхъ огорченій (разрѣшающихся потомъ опять въ радости) филистерской жизни. Не худо бы также предувѣдомить юныя души, съ розовыми мечтами счастія, о томъ, какъ иногда черезъ необдуманные браки размножаются въ обществѣ нищіе, какъ иногда мужъ тиранитъ свою жену и держитъ дѣтей въ рабскомъ трепетѣ, убивающемъ въ нихъ всѣ благородныя чувства въ самомъ ихъ зародышѣ... Вотъ такіе «семейные» романы были бы въ духѣ нашего времени и способствовали бы къ тому, чтобъ браки, какъ они есть—сдѣлались браками, какъ они должны быть. А то, что въ своихъ водяныхъ и приторныхъ картинкахъ разсказываетъ Фредерика Бремеръ,—то давно уже истощено филистерскою кистію Августа Лафонтена блаженной памяти. Но г. Гротъ съ чего-то вообразилъ, что пошленькіе романы г-жи Бремеръ—совсѣмъ не апокрифическія писанія, и что смѣть не преклоняться передъ ихъ авторитетомъ—значитъ отрицать бракъ, какъ религіозное (вишь куда метнулъ!) и гражданское установленіе, значитъ «отвергать законы, совѣсть, вѣру»!!...

Г. Гротъ обвиняетъ насъ въ согласіи съ одною изъ героинь романа г-жи Бремеръ—Сарою. Да, это правда, мы бы вполнѣ симпатизировали съ этимъ лицомъ, если бъ авторъ изобразилъ въ немъ идеалъ личности, сознающей свое человѣческое достоинство,—а не какую-то сумасшедшую, которая мечется изъ одной крайности въ другую, чтобъ подтвердить ложную мысль, что женщина, только умѣющая дѣлать картофельные соусы, можетъ быть счастлива. Несправедливо также находитъ г-нъ Гротъ противорѣчіе въ нашихъ

словахъ, что мы смѣемся надъ старыми дѣвами и этимъ, будто-бы, уничтожаемъ наши напрасно-взведенныя на насъ г-мъ Гротомъ нападки на бракъ, какъ на установленіе. По нашему мнѣнію, старая дѣва—существо жалкое и смѣшное, не какъ не замужняя женщина, но какъ *не*-женщина, т. е. какъ существо, невыполнившее своего назначенія, слѣдовательно напрасно родившееся на свѣтъ. Это—une existence manquée, un être avorté. Сдѣлаемъ еще замѣчаніе на одно замѣчаніе г. Грота. Онъ обвиняетъ насъ въ безнравственности на томъ основаніи, что мы не благоговѣемъ передъ микроскопическимъ талантомъ г-жи Бремеръ, и что онъ не понялъ нашихъ словъ... Вотъ какимъ образомъ противоположили мы семейственную Германію нашего времени общественному древнему міру: «Въ первой жизнь душно опредѣляется для людей съ ихъ младенчества, семейный эгоизмъ полагается въ основу воспитанія; во второмъ человѣкъ родился для общества, воспитывался обществомъ, и потому дѣлался человѣкомъ, а не филистеромъ». Г. Гротъ изволитъ такъ же благонамѣренно, какъ и литературно, утверждать, что этими словами мы христіянскій міръ поставили ниже языческаго!... Но съ котораго времени Германія стала представительницею христіанства?—ужь не съ тѣхъ ли временъ, когда Нѣмцы позволили себѣ иному вѣрить, а иному не вѣрить (слѣдовательно, то и другое произвольно) и тѣмъ равно вооружили противъ себя и вполнѣ-вѣрующихъ и вполнѣ-невѣрующихъ?...

Но оставимъ всѣ эти придирки и обратимся къ «Парижскимъ тайнамъ», чтобъ заранѣе отвѣтить на подобнаго рода привязки. А вѣдь случай самый удобный! Романъ Эжена Сю имѣетъ цѣль нравственную,—въ этомъ мы сами соглашаемся, а между-тѣмъ романъ называемъ плохимъ. Что̀ мудренаго, если за это насъ обвинятъ Богъ знаетъ въ чемъ!... Не смотря на все это, мы повторяемъ, что хорошая цѣль—сама-по-себѣ, и что не слѣдуетъ *ложью* доказывать *истину*. А развѣ не ложь—такія лица, какъ, напр., Родольфъ и Пѣвунья, не говоря о многихъ другихъ? Они не возможны въ дѣйствительности, стало-быть, они—вздоръ, а вздоромъ не годится трактовать о дѣлѣ.

Переводъ г. Стрѣева больше, чѣмъ хорошъ: онъ принадлежитъ къ числу такихъ переводовъ, которые у насъ рѣдко появляются. Напрасно переводчикъ употребляетъ семинарское слово *піитическій*, вмѣсто общепринятаго слова *поэтическій*: вѣдь никто уже не употребляетъ теперь словъ *піитъ* и *піита*! Напрасно также онъ кланяется графамъ и маркизамъ большими буквами: въ орѳографіи это совершенно-излишняя и неумѣстная вѣжливость. Жаль также, что корректура романа довольно-неисправна: такъ, напр., въ концѣ перваго тома, вездѣ является Жакъ Ферронъ, а во второмъ томѣ—Жакъ Ферранъ; довольно и другихъ опечатокъ. Впрочемъ, изданіе опрятно и красиво.

*787. **Путевыя Записки Зайца.** *Сочиненіе* Е. Гребенки. *Санктпетербургъ. 1844. Въ 12-ю д. л. 114 стр.* [223]).

Эта книжка издана очень-мило и украшена шестью прекраснѣйшими картинками работы молодаго и, какъ видно, очень-талантливаго художника, г. Ковригина. Что̀ касается до текста, въ немъ много хорошаго; жаль только, что онъ растянутъ. Похвалы старинѣ, которыми г. Гребенка начинаетъ свою книжку, могутъ показаться немного-странными. Но все это не бѣда, потому-что картинки—повторяемъ, прекрасны.

*788. **Очерки Свѣта и Жизни,** *повѣсти* Владиміра Войта. *Санктпетербургъ. Въ тип. Жернакова. 1844. Въ 12-ю д. л. 455 стр.*

Фантастическое Описаніе Кабинета Д. С. С. Д...а. *Санктпетербургъ. Печатано въ тип. А. Сычева. 1844. Въ 8-ю д. л. 115 стр.* [224]).

Современная русская литература невольно изумляетъ богатствомъ безпрестанно-являющихся въ ней талантовъ. Давно ли мы разобрали удивительное произведеніе г. Бранта «Жизнь, какъ она есть?»—и вотъ намъ приходится разбирать «Очерки Свѣта и Жизни» г. Войта... Давно ли мы говорили о «Юродивомъ Мальчикѣ въ Желѣзномъ Зеленомъ Клабукѣ?»—и вотъ мы должны говорить о «Фантастическомъ Описаніи Кабинета Д. С. С. Д...а». Перелистовавъ твореніе г. Бранта и созданіе ассессора и кавалера г. Анаевскаго, мы подумали-было, что бездарность, вооруженная претензіями, и бездарность простодушная не могутъ идти дальше, что гг. Брантъ и Анаевскій поставили для нея геркулесовскіе столбы; но г. Войтъ и г. неизвѣстный фантастическій описатель какого-то кабинета доказали намъ, что бездарности такъ же нѣтъ границъ, какъ и генію. И отъ сего времени, г. Брантъ долженъ занимать свое мѣсто въ русской литературѣ за г. Войтомъ, а г. ассессоръ и кавалеръ Анаевскій долженъ почтительно посторониться, чтобъ дать пройдти впередъ фантастическому описателю.

Г. Войтъ изображаетъ *свѣтъ* и *жизнь*, вѣроятно, *какъ они суть*: примѣръ генія соблазнителенъ!.. Изъ картинъ работы г. Войта видно, что онъ глубоко изучилъ свѣтъ и жизнь, постигъ ихъ въ точности, особенно «свѣтъ»... Охъ, этотъ свѣтъ! Правду, великую правду сказалъ Гоголь, говоря о мелкихъ чиновникахъ Петербурга, что «отъ высшаго общества никогда и ни въ какомъ состояніи не можетъ отказаться русскій человѣкъ!» Вѣроятно, по этой причинѣ большая часть дѣйствующихъ лицъ въ повѣстяхъ г. Войта все—графы и князья. И что̀ за аристократическія фамиліи: *Блестова, Шалашинъ, Зондинъ, Витинъ, Баленъ, Чубинъ, Китина, Павинъ, Пикинъ, Ачковъ, Нимофъ, княгиня Сашинъ, Фашеноболевъ, Хворинъ, Пискаревъ, Юлинова, Каракинъ, Тимкинъ, Хвастливая*! И всѣ эти гостинодворскія фамилія, въ повѣстяхъ г. Войта, принадлежатъ людямъ большаго свѣта! Г. Брантъ тоже любитъ большой свѣтъ, и въ этомъ отношеніи онъ даже перещеголялъ г. Войта: г. Войтъ не дерзаетъ поды-

маться выше князей и графовъ, тогда-какъ въ глазахъ г. Бранта князья и графы не болѣе, какъ роскошь, изобиліе аристократизма, и потому онъ главныя роли въ своихъ повѣстяхъ и романахъ раздаетъ только герцогамъ. Г. Брантъ имѣетъ въ предметѣ болѣе прозаическую, дѣйствительную сторону жизни: г. Войтъ, по слѣдамъ великаго генія маленькихъ людей—Марлинскаго, рисуетъ пламенныя страсти. Г. Брантъ болѣе игривъ, остроуменъ, наблюдателенъ: г. Войтъ болѣе высокопаренъ, клокочущъ, изступленъ. Герои г. Бранта походятъ немножко на людей, которые, при рожденіи ихъ на свѣтъ, не были обременены отъ природы слишкомъ-большимъ запасомъ интеллектуальности: г. Войтъ изображаетъ людей, которые имѣли несчастіе освободиться отъ того количества здраваго смысла, которое получили они нѣкогда отъ природы довольно въ-обрѣзъ. Это обстоятельство придаетъ героямъ г. Войта особенный интересъ. Его «Очерки Свѣта и Жизни» состоятъ изъ трехъ повѣстей. Первая — «Новый Леандръ» начинается такъ: «Вы не знали *Страстина*, княгиня»... Слышете ли—*Страстина?*.. Какая многообѣщающая фамилія! Это цѣлый котелъ клокочущихъ страстей, ярыхъ чувствованій, бѣшеныхъ порывовъ, свирѣпыхъ поступковъ, неистовыхъ страданій, адскихъ наслажденій, райскихъ мукъ, ядовитыхъ сценъ, жгучихъ поцалуевъ, турецкой ревности тигроваго мщенія, и проч. тому подобной галиматьи. Страстинъ влюбленъ,— и вотъ какъ самъ онъ описываетъ свое изступленное состояніе. Послушайте, если вамъ заранѣе не страшно, читатели:

„Я постигъ тайну міра, но не могу ея выразить словами! Люди меня не поймутъ! Еслибъ я сталъ ее искажать звуками смертнаго (?) языка, созерцаніе (!) мое распалось бы (?!) передо мною. Оно выше земныхъ выраженій, мой другъ, тайна — вся въ любви! Всеобщая любовь, отъ звѣздъ до этой земли (,) проникаетъ все пространство, весь созданный міръ... нѣтъ, я не могу говорить!.. Древніе Скандинавы, наши предки Руссы (sic!)... и вотъ эти неповоротливые Чухонцы, которые такъ безсмысленно теперь мимо насъ проходятъ... эти люди вѣрили нѣкогда въ великую идею... въ идею, что есть еще не созданные міры (т. е. *есть то, чего нѣтъ!!*..) Несозданные міры!.. Это міры, гдѣ любовь еще не проявлялась, гдѣ хаосъ еще не ополяризовался (т. е. *гдѣ галиматья еще не проникнулась здравымъ смысломъ*) отъ ея чудеснаго дѣйствія, гдѣ грубой матеріи она еще не разложила на любящіяся начала, не согрѣла, не устроила; не облекла одной половины ея красотою и скромностью, другой силою и желаніемъ... понимаешь ли ты меня, мой другъ?

— Охъ, братъ, какую ты городишь дичь! (*Стр.* 7—8)“.

Именно—дичь!.. Разъ Елена спросила Страстина: «Зачѣмъ мы узнали другъ друга?»

— Вы спрашиваете, зачѣмъ мы узнали другъ другъ? повторилъ Страстинъ.— Вы спрашиваете меня, когда мы, обновленные любовью, вступили въ жизнь, исполненную упоеній?

Елена нѣжно взглянула на него, *и разсыпала свое сердце восхитительными звуками:* какія-то струи потекли въ воздухѣ, какіе-то огни носились въ немъ, освѣщая сердце печальнаго, дрожащаго Страстина, тѣмъ страшнымъ, таин-

ственнымъ блескомъ, какимъ освѣщено разрушеніе Помпеи въ картинѣ Брюллова. (*Стр.* 11).

Вотъ это—во-первыхъ, истинный, хотя немного и книжный, языкъ любви, а во-вторыхъ—истинная, хотя и совсѣмъ-лишенная здраваго смысла страсть!

Въ-послѣдствіи, сердце страшно билось у Страстина, и тучи мрачныхъ предчувствій заволокли горизонтъ его счастія (стр. 20). Это отъ-того, что отецъ Елены наотрѣзъ отказалъ ему въ рукѣ, по той-причинѣ, что она была однихъ лѣтъ со Страстинымъ. Страстинъ съ-горя сдѣлался картёжникомъ, и когда банкомётъ изъявилъ свое удивленіе при видѣ хладнокровія, съ какимъ Страстинъ проигрывалъ огромныя суммы,—

„Страстинъ вспыхнулъ. Онъ грозно посмотрѣлъ на банкомета, съ своей обыкновенною пылкостію разстегнулъ жилетъ, рванулъ запонки, и показалъ присутствующимъ исцарапанную, избитую грудь.

Всѣ игроки ахнули.

— Вотъ каково мое хладнокровіе! вскричалъ Страстинъ. — Я равнодушенъ здѣсь, между вами, въ виду этихъ презрѣнныхъ денегъ... Здѣсь не унижусь я и до измѣненія въ лицѣ. Но вотъ гдѣ к р о в а в о в ы ч е р к и в а ю т с я мои чувства!..

И онъ отошелъ отъ стола“.

Страшно!.. Каковъ же Страстинъ, великій Страстинъ! онъ не хочетъ унизиться *до измѣненія въ лицѣ*, и унижается до показанія своей исцарапанной, избитой груди, до такого пошлаго фарса, — и все это для того, чтобъ лучше замаскировать сильныя ощущенія своей желѣзной души!.. Вотъ подлинно оригинальная манера быть неразгаданнымъ для презрѣнной толпы!..

Страстинъ далъ слово Елевѣ пріѣхать къ ней на именины, изъ Ревеля въ Свеаборгъ, моремъ,— и сдержалъ слово. Осень была бурная, зима готовилась смѣнить ее; Страстинъ могъ въ объѣздъ отправиться сухимъ путемъ, а потомъ переѣхать по льду, но онъ далъ слово — и отправился на лодкѣ одинъ-одинёхонекъ, и трупъ его прибило прямо къ крыльцу дома отца Елены, въ то самое время, когда сія вѣроломная «дѣва» танцовала до упада на своей собственной свадьбѣ.

Вотъ это исторія! Мы увѣрены, что найдутся люди, которые будутъ отъ нея въ восторгѣ...

Въ повѣсти «Насвистанная Карьера» повѣствуются похожденія одного отставнаго, раненнаго капитана, который такъ хорошо высвистывалъ «Среди долины ровныя», что ему самому казалось, будто «эти звуки *вычерживали* Анну Никитишну» (стр. 148). Одному графу такъ понравилось это *высвистываніе*, въ которомъ *вычерживалась* Анна Никитишна, что онъ предложилъ капитану мѣсто свистуна при своей особѣ. Капитанъ накричалъ короба съ три, что онъ — офицеръ и патріотъ, а потому ничѣмъ шутомъ не захочетъ быть ради дневнаго пропитанія; но проговоривъ все это, онъ попалъ въ свистуны къ графу, который за это доставилъ ему мѣсто город-

ничаго, женилъ его на Аннѣ Никитишнѣ, которая *вычерживалась* въ звукахъ свиста, и отказалъ ему деревню.

Жаль, что мы не можемъ сказать, о чемъ повѣствуется въ длинной повѣсти «Кресла въ Пятомъ Ряду Михайловскаго Театра». Мы прочли ее всю, отъ начала до конца, но никакъ не могли понять, о чемъ въ ней говорится и чѣмъ она оканчивается. Какой-то Сорокинъ получилъ отъ графини Блестовой, въ маскарадѣ, браслетъ, и на этомъ основалъ свое право считать Блестову своею любовницею. Блестова дала ему замѣтить, что не должно основывать такихъ надеждъ на маскарадныхъ мистификаціяхъ, за что великій Сорокинъ «хотѣлъ броситься на графиню, хотѣлъ *изнять* ее, хотѣлъ произвести что-нибудь изящное» (стр. 200). Чтобъ отмстить ей, онъ написалъ пламеннымъ слогомъ канцелярскаго писца, въ которомъ какая-нибудь «барышня» возбудила клокотаніе чиновническихъ страстей, — объявленіе о браслетѣ, съ намеками, кому онъ принадлежитъ; а графиня, слогомъ уѣздныхъ служанокъ, написала къ нему письмо, которое Сорокинъ и получилъ съ приложеніемъ суммы денегъ, отосланныхъ въ пріютъ, отъ имени графини. По увѣренію г. Войта, эта исторія надѣлала въ большомъ свѣтѣ ужаснаго скандала. Графиня заболѣла, и словно чудомъ какимъ каждый день находила на своемъ столѣ письма отъ грознаго Сорокина, письма, гдѣ безграмотно, въ лакейскомъ тонѣ, пошлыми, надутыми фразами, предлагаетъ онъ ей быть его любовницею. Тогда графиня поднялась на хитрости: призвала къ себѣ какого-то подрядчика, который къ каждому своему слову прибавлялъ поговорку — *въ тую пору*, и, въ-слѣдствіе этого ласковаго свиданія tête-à-tête, подрядчикъ послалъ Сорокина на Кавказъ — вѣроятно, закупать тамъ черкесскихъ барановъ. Потомъ Витинъ, другъ Сорокина, преглупѣйшими письмами вовлекаетъ графиню въ интригу съ иностранцемъ Баленомъ, отъ котораго графиня отдѣлывается, какъ отъ дурака. Затѣмъ, Сорокинъ встрѣчается съ графинею въ домѣ нищеты, гдѣ графиня помогаетъ умирающей старухѣ. Наконецъ... но конца-то мы ужь вовсе не поняли... Кажется, дѣло въ томъ, что гора мучилась родами и родила—мышь!.. Лицъ въ этой повѣсти бездна; всѣ они говорятъ, но Богъ знаетъ что́, ходятъ, но не извѣстно куда, дѣлаютъ но не постижимо что́. Сочинитель увѣряетъ, что все это было въ большомъ свѣтѣ и, для вящшаго удостовѣренія, предлагаетъ одну свѣтскую остроту и одинъ свѣтскій каламбуръ. Вотъ они:

— А замѣтилъ ли ты, спросилъ Мишель, обращаясь къ Витину:—какъ растолстѣлъ графъ В. вчера на балѣ у Блестовой, когда онъ танцовалъ съ толстѣйшею Эмиліею? Я въ первый разъ усумнился (*въ*) русской пословицѣ что будто гора съ горой не сходятся.

— Да! въ самомъ дѣлѣ, еслибъ его полить на морозѣ, то ненужно было бы устраивать англійскихъ горъ. (*Стр.* 159).

. . . . . .

— Какую-то пѣсню заноетъ самъ графъ, сказалъ Мишель.

— Въ Россіи, вообще. природа не благопріятствуетъ пѣнію.

— Отчего? спросилъ Пронской.

— Потому-что нужно—*орать*.

— Да; правда! отвѣчалъ Мишель улыбаясь: — въ одномъ хлѣбопашествѣ наше богатство. (*Стр.* 165).

Самымъ аристократическимъ выраженіемъ въ повѣсти г. Войта должно почесть слѣдующее: «Снопами лучей сожигалъ онъ графиню» (стр. 345).

Но оставимъ г. Войта въ его блаженной увѣренности, что онъ хорошо знаетъ большой свѣтъ и искусно изображаетъ его: кажется, въ этомъ его нѣтъ никакой надежды разувѣрить. Что же касается до читателей г. Войта (если они будутъ у него), имъ скажемъ, что трудно вообразить себѣ бо́льшую бездарность, соединенную съ бо́льшими претензіями и довольствомъ самимъ-собою, нежели та, какою щеголяетъ эта дикая книга «Очерки Свѣта и Жизни». Ни фантазіи, ни чувства, ни остроумія, ни характеровъ, ни образовъ, ни лицъ, ни слога — ничего этого нѣтъ и тѣни. Языкъ варварскій, даже отсутствіе орѳографіи, множество опечатокъ, ничего занимательнаго, бездна скуки и пошлаго, довольно-красивое изданіе и три замѣчательно-дурныя картинки: вотъ въ чемъ состоятъ качества этого новаго дождевика, выросшаго на полѣ современной русской литературы, поросшемъ грибами и сорными травами.

Совсѣмъ-иначе хорошо «Фантастическое Описаніе Кабинета Д. С. С. Д...а»: оно нелѣпо откровенно, добродушно, наивно, безъ всякихъ претензій. О содержаніи его говорить нельзя: оно тайна для самого сочинителя. Шутить и смѣяться надъ нимъ тоже нельзя, какъ надъ тѣми жертвами физическаго и нравственнаго искаженія, которыя возбуждаютъ скорѣе болѣзненное состраданіе, нежели смѣхъ. И потому, мы просто познакомимъ нашихъ читателей съ этимъ литературнымъ уродцомъ, выписавъ изъ него кое-что Вотъ предисловіе, написанное стихами:

Извѣстно, что конецъ
Всѣмъ дѣйствіямъ вѣнецъ;
И такъ,
Чтобъ все лучше знать
И сдѣлать заключенье,
Все должно прочитать
Потомъ ужь класть сужденье.
А прежде я прошу —
Послѣднюю страницу прочитать
И типографскія ошибки замѣчать,
Чтобъ послѣ безъ причины меня не обвинять,
А типографскія ошибки грѣшно и осуждать.

Вотъ образчикъ и прозы, наудачу взятый нами изъ цѣлой книги:

„Не подаетъ ли это мысли, что люди должны пускать въ полетъ свое воображеніе, а писаніе говоритъ: слѣдовательно, мы должны сообщать одинъ другому мысли свои, отъ чего умножаются знанія; съ мыслями моими со-

гласна и госпожа Критика, живущая на высокомъ Маякѣ, указывающемъ путь сбиваемымъ и сбивающимся въ пути, и которая сказала, въ поучительномъ разговорѣ съ госпожею Лѣтописью: „Macheге! надобно сочиненіе прочитать со вниманіемъ и если изъ статей найдется пять-шесть дѣльныхъ, то и онѣ уже дѣлаютъ пользу человѣчеству". И подлинно, не видимъ ли мы, что казна, ссужая въ надобностяхъ нашихъ деньгами, довольствуется только четырьмя процентами со ста, чѣмъ намъ и благодѣтельствуетъ, — такъ и критики, когда получатъ хотя четыре хорошія страницы изъ ста, не должны уже дерзкими насмѣшками отнимать желаніе писать, чѣмъ они дѣлаютъ вредъ фабрикамъ бумажнымъ и чернильнымъ, уменьшаютъ цѣну на перья, уничтожаютъ пословицу: пиши, бумага терпитъ; да и сочинители должны помнить пословицу: написаннаго перомъ не вырубишь топоромъ,—слова многозначительныя: что надобно вырубить топоромъ, наскучиваетъ то читателямъ и Ценсорамъ, но Ценсоры получаютъ жалованье, за которое, какъ равно и за честь служить отечеству, есть люди, не жалѣющіе ни покоя, ни здоровья, не щадящіе даже жизни. Давно сказано, что о вкусахъ спорить нельзя; и Поліенъ, этотъ добрый Грекъ, получившій, какъ говоритъ предисловіе въ книгѣ отъ Императоровъ Антонина и Вѣра, благоволѣніе, научающій военныхъ, по нашему, не давать промаха, а смотрѣть въ оба, а по иностранному Стратегіи, или хитро обманывать, однакожь только во время войны, инымъ не нравится, такъ что хотѣли со всѣмъ его сбить съ пути но онъ увидѣлъ Маякъ и пошелъ къ нему, и можетъ быть найдетъ путь свой; иные не станутъ читать и оду „Богъ" Державина, переведенную даже на китайскій языкъ (напоминающую комету 1741 года. Державинъ, по второму году, на рукахъ мамки указалъ на небесное явленіе пальцемъ, и изъ усть его первое слово сорвалось — Богъ), а заставятъ Матвѣя Комарова напечатать десятымъ изданіемъ свои повѣсти о визирѣ Марцеліанѣ съ товарищами; почему и я, хотя и чувствую себя виноватымъ противъ Филантина-Француза, строгаго Граматика, который говорилъ:

La Grammaire qui sait regenter jusqu'aux Rois
Et les fait la *mainpout* obeir a ses loix, —

однакожь пишу, помня Эразма Ротердамскаго, называвшаго своего пріятеля дуракомъ за то, что онъ, оставя всѣ другія науки, занялся одною Грамматикою, о которой выше сказано, что она даже безполезна! Не желая получить названіе дурака отъ умныхъ людей, рѣшился лучше употреблять свободное время на что-нибудь полезнѣйшее, чѣмъ на уроки Грамматики, стараясь однакожь соблюсти смыслъ, чтобъ меня понимали или, по крайней мѣрѣ, отгадывали; люблю писать такъ, какъ говорю, и представляю свое—своимъ смысломъ; впрочемъ, касательно стиля, старался подражать, сколько умѣлъ, извѣстному описанію въ Библіотекѣ для Чтенія 1835 года томъ 20-й, рѣки Джей-Хунъ, или Аму-Дерьи, заслуживающей носить имя Азіятскаго Нила, въ окрестностяхъ коей есть животное Расъ или Кушгаръ, больше коровы, но меньше лошади, бѣлаго цвѣта, съ бородою подъ нижнею губою, какъ у козла, съ парою огромныхъ роговъ на головѣ; если же пишу съ грамматическими ошибками, то принимаю въ защиту того, кто сказалъ, что одинъ и важный человѣкъ не твердо зналъ правописаніе, но я навѣрное знаю, что ему Грамматики не подарили, слѣдовательно не всѣмъ ее дарятъ; надѣюсь, что и меня обойдутъ, а если и подарятъ, то пріиму съ благодарностію, особенно ту, въ которой сей, сія, сіе, похваляется; потому болѣе, что я читалъ

будто изъ этихъ запрещенныхъ словъ, когда надѣнешь на носъ пару словъ, и пойдешь гулять по Невскому Проспекту, то всё покажется близко; не дойдутъ ли со временемъ до того, что сей, сія, сіе приближать будутъ предметы къ рукамъ: какъ многимъ это будетъ полезно! Быть можетъ скажутъ, за чѣмъ приниматься не за свое дѣло; но всѣ ли люди сохраняютъ вполнѣ свои обязанности? и Шиллеръ, великій человѣкъ, въ статьѣ: „Битва“ отказался противъ невозможности воздержаться; „возьми,—сказалъ онъ—добродѣтель вѣнецъ свой назадъ, пусть онъ будетъ для меня совсѣмъ потерянъ, но оставь меня грѣшить“; а нѣкто сказалъ: что человѣкъ безъ страстей быть не можетъ, какъ воздухъ безъ азота, земля безъ океана, небо безъ бури и грома и свѣтъ безъ тѣни; но страсти укрощать должно, чтобъ не обратились въ порокъ“.

Книжка оканчивается стихами, въ которыхъ, какъ и въ прежнихъ, нѣтъ не только смысла, но и версификаціи, и которые называются: «Конецъ»;

Конецъ — мученьямъ матери, раждающей дитя,
Конецъ и человѣку, коль смерть къ нему прійдетъ;
Но совѣсти мученью конца тѣхъ не бываетъ,

Отъ злобы кто людей безвинныхъ огорчаетъ,
А также и стыду не можетъ быть конца
Язвить кто всѣхъ людей для остраго словца.
Я, помня то, старался пристойность сохранять,
Невинным чтобъ и тѣни къ сомнѣнью не подать.
Безъ страха описанью я дѣлаю конецъ,
Который, какъ извѣстно, всѣмъ дѣйствіямъ вѣнецъ!

*789. Литературный Калейдоскопъ (,) *или собраніе мелкихъ сочиненій* П. Машкова. *Автора повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ и проч. Санктпетербургъ. 1844. Въ тип. Штаба Отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи. Въ 8-ю д. л. 49 стр.* [225])

Нѣтъ нужды говорить о томъ, что такое «Литературный Калейдоскопъ» и кто такой г. Машковъ: всѣмъ извѣстно, что «Литературный Калейдоскопъ» есть не что иное, какъ тетрадки, наполняемыя разными пустяками, которыя кажутся очень-остроумными и забавными извѣстному кругу читателей; а г. Машковъ есть *авторъ повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ и проч.* и сверхъ-того, онъ же сатирическій писатель, исправляющій своими сатирическими писаніями людей отъ ихъ пороковъ и недостатковъ, и наставляющій ихъ на путь добродѣтели и совершенства. На нынѣшній разъ вотъ какъ наставляетъ людей сатирическій *авторъ повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ*:

Тра, тра, тра, тра, та, та,
Начинайте господа!
Не толкайтесь (,) Петръ Степанычъ,
Поскорѣй (,) Иванъ Иванычъ.
Тра, тра, тра, тра, та, та,
Жаль, что зала коротка!

Теперь влѣво осторожно,
Зацѣпить за лампу можно.
Connaissez-vous, mademoiselle:
Что за дама тамъ?.. La quelle?
Въ красномъ платьѣ, *носъ подъ лакомъ*,
Влѣво скачетъ съ спинимъ фракомъ!
Тра, тра, тра, тра, та, та,
Вотъ счастливая чета!
Какъ согнулась Анна Львовна,
Какъ красна Любовь Петровна,
Какъ Иванъ Лукичъ пыхтитъ,
Какъ Ѳома Кузмичъ смѣшитъ,
Какъ Антонъ Лукичъ нагнулся,
Кто-то, кажется, споткнулся!
Какъ здѣсь дуетъ отъ окна.
Какъ дѣвица та блѣдна;
Съ галопада хоть на дроги...
Не топчите, сударь, ноги!..
Тра, тра, тра, тра, та, та,
Ахъ, avez-vous vu кита?
Нѣтъ. Я видѣла спрену.
Правда ль, Віардо ѣдетъ въ Вѣну?
Да; но къ осени опять,
Возвратится, говорятъ.
Ахъ, какъ душно, жарко стало.
Извините, я устала.

Авторъ повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ увѣдомляетъ *своихъ читателей*, что эти слова написаны на музыку—галопъ Sperl-Polka.

Въ прозѣ, г. Машковъ описываетъ человѣка, который такъ разсѣянъ, что двѣ недѣли носилъ въ своемъ карманѣ пару купленныхъ имъ дупелей. Это было лѣтомъ; дупеля гнили, и въ нихъ завелись черви; вонь была смертельная; у разсѣяннаго человѣка начала страшно болѣть голова, и онъ вообразилъ, что у него гнилая горячка. Въ другой статьѣ, г. Машковъ описываетъ скрягу, который для знакомыхъ ему дамъ нанялъ такую старую карету, что кузовъ ея проломился во время гулянья, и сидящія очутились въ самыхъ живописныхъ положеніяхъ. Все это должно казаться очень-остроумнымъ той публикѣ, для которой подвизается *авторъ повѣсти Мужъ подъ Башмакомъ*: ибо эта публика любитъ краски яркія, которыя рѣзали бы глаза, и для нея не надо скупиться на баканъ, сурикъ, охру, синьку, тѣмъ болѣе, что всѣ эти матеріалы очень-дешевы. Желаемъ г. Машкову полнаго успѣха на избранномъ имъ полезномъ поприщѣ!

***790. Записки Молодаго Человѣка въ стихахъ.** *Книжка первая. Санктпетербургъ. Въ типографіи Э. Праца. 1844. Въ 16-ю д. л. 30 стр.* [226])

Хотя молодой человѣкъ, написавшій эти записки, и не просто молодой человѣкъ, какъ всѣ молодые люди на бѣломъ свѣтѣ, но *молодой человѣкъ*

въ стихахъ, слѣдовательно, принадлежащій къ особенной породѣ молодыхъ людей, однако это не мѣшаетъ его запискамъ быть пустыми и нелѣпыми. Мы не хотимъ разсказывать, что́ содержится въ этихъ запискахъ, потому-что для вздора достаточно и одного раза быть разсказаннымъ; но вотъ образчикъ юмора «молодаго человѣка въ стихахъ»:

Скучно; плачетъ мой карманъ,
Нѣтъ въ немъ ни копѣйки(,)
И послѣдній рубль мой данъ
Былъ одной злодѣйкѣ;
А въ театръ хотѣлъ бы я,
Нынѣче драма, знаю чья,
Будетъ тамъ даваться,
Радъ туда бъ пробраться.
Развалился бы я тамъ
Въ креслахъ на покоѣ,
Насмотрѣлся бы на дамъ,
На дѣвицъ бы вдвое;
Хорошо бы это, *да!*
Да нельзя: въ томъ и бѣда;
Ахъ! *достойна плача*
Эта неудача!
И какъ-будто бы на зло
А теперь не *кстати-ль*?—
Не прійдетъ ко мнѣ никто,
Ни одинъ *пріятель*;
А осеннимъ вечеркомъ
Побесѣдовать вдвоемъ
Славно было бъ *съ жаромъ*
Намъ за самоваромъ;
Но я слышу, кто-то тамъ
У дверей стучится,
Боже, если *кто* изъ дамъ!
Какъ мнѣ *къ нимъ* явиться
Въ этомъ узкомъ, распашномъ
И коротенкомъ такомъ
И рукою Кати
. . . . халатѣ. (?)

Такіе стихи писать легко всякому, не только «молодому человѣку въ стихахъ». И почему не писать? книжонка менѣе чѣмъ въ печатный листъ: на изданіе ея достаточно пятидесяти рублей, а, пустивъ ее по тридцати копеекъ серебромъ, можно получить барыша въ десять разъ больше, если только она пойдетъ. А если не пойдетъ?—все-таки потеря невелика. Почему жь не печатать? Потому-то «молодой человѣкъ въ стихахъ» и обѣщаетъ книжку вторую, третью и такъ далѣе. Но мы надѣемся, что затѣя кончится на первой. Такой вздоръ безъ картинокъ кому нуженъ?

791. Русская Драматическая Литература [227]) Новгородцы. *Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ и восьми картинахъ, въ стихахъ, съ пѣснями.*

Сочинитель этой длинной и тяжелой пьесы хотѣлъ представить, въ формѣ драмы, историческую и частную жизнь Великаго-Новагорода, во всей ея полнотѣ и со всѣми ея подробностями; но по бѣдности своей въ средствахъ (которыя состоятъ въ фантазіи и разныхъ другихъ талантахъ) онъ, т. е. сочинитель, представилъ, на удивленіе и восторгъ александрынской публики, множество лицъ безъ образовъ, которыя ходятъ, говорятъ, машутъ руками, сами не зная для чего. Тутъ есть все—и посадникъ, и бояре, и вольница, и купецъ ганзейскій, и паломникъ, и юродивый,—словомъ всякаго жита по лопатѣ; нѣтъ только смысла, толка, ума, вдохновенія, таланта. Вмѣсто Великаго-Новагорода, мы видимъ шайку негодяевъ и мерзавцевъ, которые уводятъ насильно дочь честнаго любекскаго купца; и изъ этихъ молодцовъ всѣхъ отвратительнѣе Алеша и Самсоновичъ. Послѣдній до того возненавидѣлъ Нѣмцевъ, убившихъ его сына *въ честномъ бою*, что готовъ зарѣзать и задушить всякаго Нѣмца только за то, что онъ—Нѣмецъ, и ему въ этомъ случаѣ все равно—старикъ, женщина, дѣвушка, младенецъ, лишь бы въ ихъ жилахъ текла нѣмецкая кровь! Для изъявленія своей вящшей ненависти къ Нѣмцамъ, онъ хвалится своимъ презрѣніемъ къ виноградному вину и хлѣбаетъ ушатами одну чистую сивуху. Истинный герой! Но таково обиліе этого новаго «драматическаго представленія» великими характерами (пьющими одну сивуху), что Самсоновичъ не болѣе, какъ одно изъ второстепенныхъ лицъ, а герой нелѣпой пьесы—Ростиславъ, сынъ новогородскаго посадника, негодяй и крикунъ. Налгавъ на себя небывалыя на бѣломъ свѣтѣ страсти, онъ кривляется, кричитъ, ломается, такъ-что зритель, въ просоньяхъ (отъ аплодиссмановъ) то-и-дѣло готовъ спросить его:

Да изъ чего жь бѣснуетесь вы столько?

Если бъ у этого Ростислава была въ мозгу хоть искорка ума, онъ отвѣчалъ бы протяжно-зѣвающему зрителю: «Да я и самъ не знаю; сочинитель заставилъ меня нести этотъ вздоръ—такъ у него и спрашивайте». Но какъ Ростиславъ совершенно-невиненъ въ умѣ, то онъ продолжаетъ на всѣ вопросы отвѣчать надутою галиматьею о пламени въ крови, о дикомъ безуміи, и о томъ, что Нѣмка околдовала и свела его съ ума, отъ-чего онъ и сталъ дуракъ-дуракомъ. Такъ-какъ всѣ наши «драматическія представленія» идутъ отъ изуродованнаго г-мъ Полевымъ шекспирова «Гамлета», то въ «Новогородцахъ» есть и сумасшедшая Офелія, иначе Евлампія. Впрочемъ, эта «неземная дѣва» и въ полномъ разумѣ говорила такой вздоръ, такъ жеманилась и ломалась, что зрителю нельзя было замѣтить, съ которой минуты она сошла съ ума. Разсказывать содержаніе всей этой нелѣпости—нѣтъ силы и возможности, а потому, махнувъ рукою, перестанемъ говорить о ней—до новаго какого-нибудь «драматическаго представленія».

Сигарка. *Комедія въ одномъ дѣйствіи, соч.* Н. А. Полеваго.

Семенъ Ивановичъ Телятинскій женатъ и неревнивъ, а другъ его, Павелъ Яковлевичъ Ягуновъ, вдовъ и ревнивъ. Оба эти достойные друга уѣзжаютъ въ городъ, и къ Аннѣ Ивановнѣ Телятинской является дочь Ягунова, въ мужскомъ платьѣ, съ хлыстомъ въ рукѣ и сигаркою въ зубахъ. Разумѣется, изъ этого завязываются сцены ревности, пока все не обнаруживается къ торжеству Телятинскаго и позору Ягунова. Все это совершенно въ русскихъ правахъ, и для присяжныхъ сочинителей и посѣтителей Александрынскаго-Театра кажется очень-забавнымъ и остроумнымъ.

Дочь Русскаго Актера. *Оригинальная шутка-водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч.* П. И. Г.

Эта пьеса, въ комическомъ родѣ—то же самое, что̀ «Новогородцы» въ трагическомъ, т. е., галиматья галиматей и всяческая галиматья. Она основана на избитомъ и неправдоподобномъ переодѣваніи и мистификаціи: героиня пьесы, переодѣваясь цыганкою и форрейторомъ, морочитъ дурака-жениха своего, а г. Мартыновъ пляшетъ съ нею saltarello.

***792. Молодикъ,** *на 1844 годъ, украинскій литературный сборникъ. Издаваемый* И. Бецкимъ. *Въ пользу Харьковскаго Дѣтскаго Пріюта. Санктпетербургъ. Въ тип. К. Жернакова. 1844. Въ 8-ю д. л. 250 стр.* [228])

Назадъ тому около четырнадцати лѣтъ, русская литература была по-преимуществу альманачною. Маленькія, тощенькія книжечки въ 16-ю долю листа ежегодно появлялись чуть не десятками; въ нихъ помѣщались большею частію отрывки изъ романовъ и повѣстей въ прозѣ, драмъ и комедій въ прозѣ и въ стихахъ, но больше всего отрывки изъ поэмъ въ стихахъ, мелкія лирическія стихотворенія, преимущественно элегіи. Молодая публика, которая теперь сдѣлалась уже солидною, возмужалою публикою, тѣмъ съ бо̀льшимъ жаромъ принимала эти книжки, что и сама участвовала въ ихъ составленіи. Одни изъ альманаховъ были аристократами, какъ на-примѣръ, «Сѣверные Цвѣты», «Альбомъ Сѣверныхъ Музъ», «Денница»; другіе—мѣщанами, какъ на-примѣръ, «Невскій Альманахъ», «Уранія», «Радуга», «Сѣверная Лира», «Альціона», «Царское Село» и проч., третьи простымъ, чернымъ народомъ, какъ на-примѣръ: «Зимцерла», «Цефей», «Букетъ», «Комета» и т. п. Альманаховъ послѣдняго разряда не перечтешь—такъ много ихъ. Аристократическіе альманахи украшались стихами Пушкина, Жуковскаго и щеголяли стихами гг. Баратынскаго, Языкова, Дельвига, Козлова, Подолинскаго, Туманскаго, Ознобишина, Ѳ. Глинки, Хомякова и другихъ модныхъ тогда поэтовъ. Эти альманахи издавались или извѣстными литераторами, или людьми, имѣвшими большія и прочныя литературныя связи,—и потому всѣ знамени-

тости охотно снабжали ихъ своими произведеніями; сочиненія же посредственныя или и плохія попадали туда для балласта. Альманахи-мѣщане преимущественно наполнялись издѣліями сочинителей средней-руки, и только, для обезпеченія успѣха, щеголяли нѣсколькими пьесками, вымоленными у Пушкина и другихъ знаменитостей, которыя бросили въ нихъ что-нибудь залежавшееся въ ихъ портфеляхъ, что-нибудь такое, чего бы онѣ даже и совсѣмъ не желали видѣть въ печати. Альманахи-мужики наполнялись стряпнею сочинителей пятнадцатаго класса, горемыкъ, которые за удовольствіе видѣть себя въ печати готовы были платить деньги. Вотъ почему, нѣкоторые писаки издавали свои собственныя сочиненія въ видѣ альманаховъ!

Но мода на альманахи, свирѣпствовавшая больше десяти лѣтъ, вдругъ прошла. Это во всѣхъ отношеніяхъ отрадное событіе произошло отъ возвышенія цѣнности прозы на счетъ цѣнности стиховъ. Стихи перестали забавлять погремушкою рифмъ и наборомъ модныхъ словъ: отъ нихъ потребовалось оригинальности и мысли (стало-быть, не одного уже смысла, который они, т. е. стихи, часто считали совершенно-лишнимъ для себя украшеніемъ): смѣтивъ [229]) эту бѣду, стихи стали являться въ меньшемъ количествѣ. По-мѣрѣтого, какъ стихи падали въ цѣнѣ, проза цѣнилась все дороже и дороже. Отрывковъ уже не читали, а требовали полнаго романа, оконченной повѣсти,—и эти романы и повѣсти сдѣлались скоро главною опорою журналовъ. Въ-слѣдствіе этого, за статьи стали платить деньгами, и авторы оставили аркадскую привычку своими трудами кормить другихъ: они сами захотѣли находить посильное обезпеченіе въ своей литературной дѣятельности. Альманахамъ тутъ стало нѣчего дѣлать! Бывало, имъ нужны были деньги только на напечатаніе выпрошенныхъ и вымоленныхъ отрывковъ и разныхъ мелочей, которые легко укладывались въ крошечной книжкѣ, нетребовавшей большихъ расходовъ на изданіе; а тутъ потребовалось вдругъ платить деньги за статьи значительнаго объема и потомъ издавать уже не миньятюрныя книжечки, а порядочныя книжки. Итакъ, перевелись альманахи, а съ ними—и альманачники. А что это былъ за курьёзный народъ—эти альманачники! Мы удивляемся, какъ никому не прійдетъ на мысль—написать типъ альманачника добраго стараго времени (къ чести нашего образованія, это время уже старое)! Альманачникъ, это—родной братъ литературщику—тоже очень типическому лицу. Альманачникъ, это—человѣкъ, у котораго не хватаетъ способности произвести самому что-нибудь порядочное, который, если и пытался писать, то всегда неудачно, и неудача однакожь не отбила у него охоты, во что бы то ни стало, пріобрѣсти извѣстность въ литературномъ мірѣ. Что жь ему остается дѣлать? собирать чужіе труды и на сборникѣ ставить свое имя. Средство легкое и пріятное! Дѣла никакого, труда нисколько, а имя въ печати, къ нему приглядываются, привыкаютъ, и смотришь—нашъ собиратель уже лицо извѣстное... Впрочемъ, должно сказать, что альманачникъ бывалъ не безъ страсти къ литературѣ, только эта страсть въ немъ была всегда

горемычная и жалкая. Онъ толковалъ горячо о томъ, кто выше—Пушкинъ или Жуковскій, бранилъ классицизмъ, восхищался романтизмомъ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о томъ, ни о другомъ, суевѣрно благоговѣлъ передъ вдохновеніемъ поэта, считая его за какое-то волшебное опьяненіе, которое дѣлаетъ человѣка безъ ума—умнымъ, безъ науки—знающимъ, безъ труда—неотстающимъ отъ вѣка. Альманачникъ поклонялся множеству маленькихъ авторитетиковъ, дивившихъ свои муравейники, и съ негодованіемъ говорилъ о холодномъ и гибельномъ скептицизмѣ журналовъ, непризнававшемъ таланта и заслуги въ разной литературной тлѣ, которой дивился онъ, добрый альманачникъ—самъ такая же жалкая тля, какъ и предметы его удивленія, въ свою очередь, добродушно дарившіе и его, альманачника, своимъ удивленіемъ [230]).

Но увы, теперь альманачникъ — такой же миѳъ, какъ и альманахи добраго стараго времени! Г. Смирдинъ издалъ альманахъ «Новоселье», въ которомъ было очень-мало стиховъ (и то большею частію хорошихъ) и очень-много прозы (тоже большею частію хорошей); самый форматъ «Новоселья» (въ 8-ю д. л.) показалъ, что время прежнихъ альманаховъ миновало навсегда. Да и кто изъ прежнихъ альманачниковъ могъ имѣть средства издать что-нибудь въ родѣ «Новоселья»? Съ 1837-года, началъ выходить альманахъ «Утренняя Заря». Это опять было нѣчто совершенно непохожее на прежніе альманахи: въ ней съ типографскою роскошью изданія, составитель соединилъ прекрасныя гравюры и занимательность статей. Для того и другого, онъ имѣлъ средства; связи съ художниками и всѣми извѣстнѣйшими литераторами дѣлали для него возможнымъ предпріятіе, не для всѣхъ возможное; да притомъ онъ не щадилъ и издержекъ [231]). Но и «Утренняя Заря» наконецъ прекратилась... Вдругъ, съ нѣкотораго времени началъ появляться въ Петербургѣ украинскій альманахъ г. Бецкаго. Цѣль его прекрасная; въ исполненіи видно, что издатель дѣлалъ съ своей стороны все, что только было въ его возможности; но альманахъ не имѣлъ успѣха: явный знакъ, что царство альманаховъ кончилось навсегда, и что если они могутъ существовать, то уже не на прежнихъ основаніяхъ добровольной вкладчины, но на основаніи журнальномъ, т. е. на платѣ за статьи... Дѣло извѣстное: если авторъ даетъ свою статью даромъ, значитъ, она никуда не годится. Скажутъ: это торгашество! Гдѣ жь любовь къ литературѣ? гдѣ бы она ни была, но только, конечно, она не въ карманѣ тѣхъ, которые корыстно пользуются для себя чужимъ безкорыстнымъ трудомъ... Но, скажутъ: если книга издается съ доброю, безкорыстною цѣлью, почему же не пожертвовать статьею? Прекрасно. Вы бѣдный человѣкъ и, *между-прочимъ*, существуете и литературою (потому-что одною литературою у насъ трудно существовать); у васъ есть, на-примѣръ, повѣсть, за которую журналистъ даетъ вамъ 500 рублей: если, при всей своей бѣдности, вы считаете себя въ состояніи жертвовать на доброе дѣло 500 рублями—честь вамъ; но не осуждайте же строго и тѣхъ, у кого нѣтъ

столько великодушія и любви къ добру, чтобъ, ради ихъ, питаться и одѣваться воздухомъ... Но любовь къ литературѣ, чистое стремленіе къ славѣ?— А развѣ надежда на обезпеченіе себя литературными трудами производитъ охлажденіе къ литературѣ, и развѣ слава хорошаго произведенія умалится отъ того, что авторъ получилъ за него приличный гонораріумъ?...

Все сказанное нами нисколько не относится къ альманаху г. Бецкаго. Мы имѣли въ виду защитить литераторовъ, нехотящихъ даромъ давать хорошихъ статей,—противъ несправедливыхъ упрековъ въ корыстолюбіи и торгашествѣ... [232])

Что̀ касается до альманаха г. Бецкаго, онъ состоитъ изъ трехъ отдѣленій. Первое наполнено стихами въ ужасающемъ количествѣ. Большая часть стихотвореній—плоды усердія украинскихъ поэтовъ. Украйна, какъ извѣстно всѣмъ, страна благословенная небомъ: хлѣбъ и стихи родятся въ ней, даже въ посредственно-урожайные годы, самъ-шестьдесятъ. Если вамъ нужно стиховъ для альманаха,—пошлите въ Харьковъ просительный циркуляръ, и издавайте хоть тысячу альманаховъ въ годъ—матеріала станетъ еще на пять тысячь. Каковъ этотъ матеріалъ, другой вопросъ. Боже мой! сколько на Украйнѣ поэтовъ! Что̀, если бъ тамъ было хоть въ-половину столько же читателей,—да это была бы одна изъ образованнѣйшихъ странъ въ Европѣ!.. *Пальмъ*, *Дуровъ*, *С. Д.*, *Щербина*, *Соловей Будимірович*ъ, *В. Ш...въ*, *Фата Моргана*, *Ш. Щ.*, ***., *Щоголевъ*... Это только избранные, — а сколько званыхъ, и еще сколько должно быть такихъ, которыхъ никто не зоветъ, но которые готовые всюду явиться! Впрочемъ, и *избранные*-то отличаются больше усердіемъ и трудолюбіемъ, чѣмъ талантомъ. *Соловей Будимірович*ъ, на-примѣръ, скорѣе способенъ усыпить, нежели разбудить весь міръ, или хоть ту частичку міра, которая рѣшилась бы его послушать. Впрочемъ, г. С. Д. довольно-недурно переводитъ Барбье; жаль, что въ то же время онъ переводитъ довольно-неинтересныя вещи изъ Виктора Гюго. Греческія мелодіи переведены г. Щоголевымъ не дурными стихами; жаль только, что эти мелодіи, какъ всѣ народныя мелодіи, въ переводѣ еще менѣе-интересны, чѣмъ въ подлинникѣ, и что новогреческія пѣсни, благодаря усердію переводчиковъ, особенно надоѣли всѣмъ русскимъ читателямъ. О прочихъ, украинскихъ поэтахъ можно и умолчать, какъ ради ихъ собственной пользы, такъ и ради пользы нашихъ читателей. Но «Молодикъ» наполненъ стихами не однихъ украинскихъ поэтовъ: великорусскіе, съ своей стороны, тоже не оставили ничего, что̀ могло сдѣлать «Молодикъ» истинно-украинскимъ альманахомъ. Въ немъ есть стихи гг. Ѳ. Глинки, Бенедиктова, Кукольника, графини Растопчиной, князя Шаховскаго, Корсакова, Бернета, Губера; есть вирши гг. М. Дмитріева, Степанова и другихъ. Изъ стихотвореній исчисленныхъ нами великороссійскихъ поэтовъ, только стихотвореніе г. Губера «Разсчетъ» достойно замѣчанія. Г. Ѳ. Глинка, въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, воспѣваетъ какого-то «Ѳаддея съ желѣзною палкою», и мы изъ этого стихо-

творенія узнаемъ, что означенный Ѳаддей больно билъ своею желѣзною палкою недобрыхъ людей. Чтò, еслибъ онъ принялся за плохихъ ριомачей... Въ другомъ своемъ стихотворѣніи, г. Ѳ. Глинка взываетъ къ человѣку: «Проснись, пробудись, человѣкъ!»; но человѣкъ, прослушавъ стихотвореніе, еще крѣпче заснулъ. Въ третьемъ своемъ стихотвореніи, г. Ѳ. Глинка воспѣваетъ «Поэта въ себѣ»—лицо, какъ значится изъ заглавія, весьма-загадочное:

Зубъ шатается ужь больно
И сѣдѣетъ усъ!
Въ битвахъ жизни я невольно
Становлюся трусъ...

Изъ этого ясно видно, что если у кого больно шатается зубъ, это такъ же признакъ старости, какъ и сѣдѣющій усъ... Да, мы-было и забыли сказать, что въ украинскомъ альманахѣ есть отрывокъ изъ драматической поэмы великороссійскаго пѣнта В. Соколовскаго, который не перестаетъ терзать вниманіе здѣшняго юдольнаго міра своими прѣсноводными, надутыми и натянутыми виршами. Когда перестанутъ его печатать?..

Интереснѣйшія стихотворенія въ украинскомъ альманахѣ принадлежатъ двумъ поэтамъ, которые теперь по-неволѣ могутъ заходить во всякое стихотворное общество, какъ бы ни было оно несообразно съ ихъ достоинствомъ: мы говоримъ о Пушкинѣ и Лермонтовѣ. Перваго напечатано въ «Молодикѣ» одно стихотвореніе: «Въ Альбомъ Г. К.»; втораго три стихотворенія: «Къ Кавказу», «Къ Бухарову» «Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенный». Всѣ четыре стихотворенія не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ: они интересны только, какъ произведенія такихъ поэтовъ, которыхъ каждая строка должна быть сохранена для потомства. Выписываемъ ихъ всѣ, какъ общее достояніе — наше, ваше, и всякаго, кто дорожитъ памятью обоихъ поэтовъ? Вотъ стихотвореніе Пушкина:

Въ Альбомъ
Г. К.

Простой воспитанникъ природы,
Такъ я бывало воспѣвалъ
Мечту прекрасную свободы,
И ею сладостно дышалъ...
Но я васъ вижу, вамъ внимаю...
И что же? слабый человѣкъ!
Свободу потерявъ на вѣкъ,
Неволю сердцемъ обожаю.

Вотъ—Лермонтова:

Къ Кавказу.

Тебѣ, Кавказъ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стихъ небрежный.

Какъ сына ты благослови
И осѣни вершиной бѣлоснѣжной.
Отъ юныхъ лѣтъ къ тебѣ мечты мои
Прикованы судьбою неизбѣжной.
На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой—
Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой.

—

Еще ребенкомъ робкими шагами
Взбирался я на гордыя скалы,
Увитыя туманными чалмами,
Какъ головы поклонниковъ Аллы.
Тамъ вѣтеръ машетъ вольными крылами,
Тамъ ночевать слетаются орлы;
Я въ гости къ нимъ леталъ мечтой послушной
И сердцемъ былъ товарищъ ихъ воздушной.

—

Съ-тѣхъ-поръ прошло тяжелыхъ много лѣтъ
И вновь меня межъ скалъ своихъ ты встрѣтилъ,
Какъ нѣкогда ребенку твой привѣтъ
Изгнаннику былъ радостенъ и свѣтелъ,
Онъ пролилъ въ грудь мою забвенье бѣдъ
И дружески на дружный зовъ отвѣтилъ,
И нынѣ здѣсь въ полуночномъ краю
Все о тебѣ мечтаю и пою.

Къ Бухарову.

Мы ждемъ тебя, спѣши, Бухаровъ,
Брось царско-сельскихъ соловьевъ;
Въ кругу товарищей гусаровъ
Обычной кубокъ твой готовъ.
Для насъ въ бесѣдѣ голосистой
Твой слухъ пріятнѣй соловья.
Намъ милъ и усъ твой серебристый
И трубка плоская твоя.

—

Намъ дорога твоя отвага,
Огнемъ душа твоя полна,
Какъ вновь раскупренная влага
Въ бутылкѣ стараго вина.

—

Столѣтья прошлаго обломокъ
Межъ насъ остался ты одинъ,
Гусаръ прославленныхъ потомокъ,
Пировъ и битвы гражданинъ.

—

Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенный,
Вамъ строки чудныя писалъ,
И прежнихъ лѣтъ восторгъ священный,

Воспоминаньемъ оживленный,
Онъ передъ вами изливалъ.
Онъ васъ не зрѣлъ, но ваши рѣчи,
Какъ отголосокъ юныхъ дней,
При первомъ звукѣ новой встрѣчи
Его встревожили сильнѣй.
Тогда признательную руку
Въ отвѣтъ на вашъ привѣтный взоръ,
На встрѣчу радостному звуку
Онъ въ умоленіи простеръ.

И я, повѣренный случайный
Надеждъ и думъ его живыхъ,
Я буду дорожить какъ тайной
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.
Я вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли,
Все, что вы прежде возбудили
Въ его возвышенной груди,
По да сойдетъ благословенье
На вашу жизнь, за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умѣли снять вѣнецъ мученья
Съ его преклонной головы.

Въ отдѣлѣ прозы «Молодика» помѣщены статьи: «Миссіонеръ» повѣсть г-жи Жуковой; «Набѣгъ въ Степи» эпизодъ изъ новаго романа г. Кузьмича; «Самоотверженные» г. Башуцкаго. Итакъ, г. Кузьмичъ грозится русской литературѣ новымъ романомъ... Бѣдная русская литература!

«Нѣсколько главъ изъ Исторіи Малороссіи, Максима Берлинскаго» и двѣ статьи «Матеріаловъ для Исторіи Малороссіи» составляютъ ученое отдѣленіе «Молодика».

Но лучшее украшеніе этого альманаха состоитъ въ картинкахъ:

1) Портретъ Императора Петра-Перваго. Рисовалъ г. Берже съ оригинала; дарованнаго Петромъ-Великимъ своему духовнику, Тимоѳею Надаржинскому; гравированъ на мѣди художникомъ Петербургской Академіи, г. Захаровымъ.

2) Изображеніе духовника Петра-Великаго; рисовано г. Охрименкомъ въ Ахтыркѣ съ подлинной картины, сдѣланной въ чужихъ краяхъ.

3) Видъ страннопріимной ахтырской обители; рисовалъ съ натуры В. А. Корсаковой.

4) Портретъ Гоголя, съ fac-simile.

5—6) Двѣ картинки, изображающія Малороссіянокъ въ ихъ національныхъ костюмахъ; рисованы княгинею С. А. Голицыною; литографія Поля.

Портретъ Гоголя довольно-неудаченъ; но изображеніе Петра-Великаго и его духовника сдѣланы превосходно; а картинки княгини Голицыной, и по рисунку и по литографіи, выше всякой похвалы: прекрасный трудъ даровитой

художницы оттиснутъ съ такимъ совершенствомъ, что трудно повѣрить, чтобъ это была русская литографія. Вообще, эти картинки—заглядѣнье: въ карандашѣ княгини Голициной столько прелести, души, таланта, вкуса, граціи, что нельзя довольно налюбоваться ея рисунками [233]).

*793. **Сенсаціи и Замѣчанія Госпожи Курдюковой за границею, данъ л'етранже.** *Италія. Тамбовъ. 1844. Печатано въ тип. Journal de Saint-Pétersbourg. Въ 8-ю д. л. 355 стр.*

Коммеражи. *Посвящено à ces dames. Рисунки гравированы на деревѣ* барономъ К. Клотомъ *и* г. Бернардскимъ. *Санктпетербургъ. Въ тип. М. Ольхина. 1844. Въ 12-ю д. л. 31 стр.*

Тарантелла. *Сочиненіе* П. Мятлева. **Изданіе второе.** *Санктпетербургъ. 1844. Въ тип. М. Ольхина. Въ 16-ю д. л. 7 стр.* [234])

Все на свѣтѣ имѣетъ свой конецъ. У этого закона судьбы есть своя дурная и своя хорошая сторона. Безвременно погибаетъ иногда высокій талантъ, которому такъ много великаго предстояло сдѣлать на поприщѣ жизни, и сокрушенное сердце людей изливается въ горькихъ сѣтованіяхъ:

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ—
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

Но еслибъ прекрасное не могло имѣть конца, то и посредственное жило бы вѣчно, и мы не имѣли бы вожделѣннаго удовольствія, взглянувъ на послѣднюю страницу «Сенсацій», прочесть этихъ по-истинѣ отрадныхъ стиховъ:

Тѣмъ закончится, какъ разъ,
Мой неапольскій разсказъ.
Чтобъ зѣвающій читатель
Не сказалъ, *кандъ финиратъ-эль?*
Чего Боже сохрани,—
Знайте же, *ке се фини.*

«Сенсаціи», по-прежнему, изданы великолѣпно; картинки при нихъ превосходны. То же самое должно сказать и о «Коммеражахъ». Но зачѣмъ вышла въ свѣтъ какая-то «Тарантелла», да еще вторымъ изданіемъ,—не понимаемъ. Въ ней нѣтъ картинокъ: такъ что же въ ней?..

*794. **Булочная или Петербургскій Нѣмецъ.** *Водевиль въ одномъ дѣйствіи. Соч.* П. Каратыгина. **Изданіе второе.** *Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1844. Въ 16-ю д. л. 93 стр.* [235])

Водевиль можетъ быть хорошъ только на одномъ условіи: если онъ заключаетъ въ себѣ намёкъ на какое-нибудь современное происшествіе, или на что-нибудь такое, чѣмъ, въ настоящую минуту, занято вниманіе общества. Разумѣется, талантъ, при этомъ, требуется своимъ чередомъ; но безъ перваго условія, и при талантѣ автора, водевиль не много возьметъ. Изъ всѣхъ нашихъ водевилистовъ, только одинъ г. П. Каратыгинъ понялъ истинное зна-

ченіе водевиля. И отъ-того, г. П. Каратыгинъ стоитъ выше другихъ нашихъ водевилистовъ. Нельзя сказать, чтобъ онъ превосходилъ ихъ только талантомъ —нѣчто похожее на талантъ есть и у нѣкоторыхъ изъ нихъ; но у г. П. Каратыгина много ума, которому въ-особенности и обязаны своимъ успѣхомъ его водевили. Онъ написалъ немного, но это немногое у него всегда пользуется огромнымъ успѣхомъ при появленіи, и потомъ навсегда удерживается на сценѣ. Повторяемъ: причина такого успѣха заключается въ томъ, что г. П. Каратыгинъ понимаетъ волшебную силу «à propos» Онъ не перекладываетъ французскихъ водевилей на русскіе нравы, но рисуетъ петербургскіе нравы средняго круга, какъ видно, хорошо ему знакомые, и потому его водевили не имѣютъ ничего общаго съ тѣми, о которыхъ онъ такъ остроумно заставляетъ говорить одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ своей «Булочной»:

Быть можетъ, надоѣли вамъ
Французской кухни водевили?
Признаться, солоны и намъ
Иные зачастую были.

Не мудрено, что съ рукъ не йдутъ,
Когда съ плеча ихъ переводятъ:
Пшеничную муку возьмутъ,
А хуже оржаной выходитъ.

*795. **Дамскій Альбомъ**, *составленный изъ отборныхъ страницъ русской поэзіи. Заимствовано: у* Державина, Богдановича, Хемницера, Дмитріева, Жуковскаго, Озерова, Батюшкова, Крылова, Лобанова, Панаева, Измайлова, Хмельницкаго, *князя* Вяземскаго, Глинки, Давыдова, Пушкина, Баратынскаго, Плетнева, Веневитинова, Туманскаго, Грибоѣдова, Козлова, *барона* Дельвига, Языкова, Подолинскаго, Шевырева, Хомякова, Теплякова, Вельтмана, Одоевскаго, Полежаева, Кукольника, Ободовскаго, Соколовскаго, Тепловой, Бенедиктова, *графини* Растопчиной, Ершова, Гребенки, Кольцова, Лермонтова, Майкова, Красова, Огарева *и другихъ извѣстныхъ поэтовъ. Съ портретомъ Лермонтова и восемнадцатью оригинальными рисунками* Е. Ковригина. *Санктпетербургъ. Въ тип. военно-учебныхъ заведеній. 1844. Въ 16-ю д. л. 284 стр.* [236]).

Промышленность у насъ явно развивается. Что нужды, что заглавія издаваемыхъ ею книгъ довольно-нескладны, безграмотны и отзываются витіеватостію и тономъ прихожихъ?—Это еще даже и полезно для книгъ такого рода такъ же, какъ и объявленія, разсылаемыя при театральныхъ аффишкахъ. Объявленіе о «Дамскомъ Альбомѣ» можетъ служить образцомъ такихъ объявленій; выписываемъ изъ него главнѣйшее:

„Избранныя стихотворенія — отъ Державина до нашего времени, расположены приблизительно въ хронологическомъ порядкѣ, какъ выступали поэты на блестящее поприще нашей отечественной Поэзіи. — У Пушкина, Жуковскаго, Козлова, Лермонтова и другихъ, болѣе замѣчательныхъ поэтовъ,

заимствовано *по цѣлому печатному листу*, — что̀ можетъ служить самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за достоинство нашего изданія. При всемъ томъ, цѣна *Дамскому Альбому* назначается самая умѣренная, по какой не продавался еще ни одинъ альманахъ—даже *сыро-бумажной* литературы: ибо главная цѣль изданія — не меркантильность книжной торговли, а искреннее желаніе ознакомить молодыхъ дамъ и дѣвицъ съ лучшими образцами нашей цвѣтистой Поэзіи, которые, утопая въ безчисленномъ множествѣ періодическихъ изданій и альманаховъ, очень легко могли ускользнуть отъ ихъ внимательнаго взора; да и при самой страстной любви къ русской Поэзіи, у многихъ ли дамъ достанетъ столько времени, терпѣнія и матеріальной возможности, чтобъ перечитать всѣ полныя собранія русскихъ стихотвореній — и выбрать изъ нихъ одно только прекрасное? Кромѣ того, сколько предметовъ семейныхъ заботъ и свѣтскаго разсѣянія, которые похищаютъ у нашихъ дамъ двѣ трети лучшей, поэтической жизни, для которой онѣ созданы; а если въ первыя лѣта молодости находятъ иногда время списывать въ тетрадь *разныя стихотворенія*, то этотъ выборъ бываетъ всегда неудаченъ: одинъ стихъ, одно выраженіе съ *восклицательнымъ* знакомъ — кажется молодымъ читательницамъ такою „прелестью“, что необходимо не только списать, но даже затвердить наизустъ. Дѣйствительно, подобныя стихотворенія имѣютъ свою прелесть, но прелесть непостоянную, временную, какъ все *прелестное* въ нашемъ разнообразномъ мірѣ; но съ лѣтами образовывается вкусъ, и то, что̀ называлось прежде „увлекательнымъ“, явно противорѣчитъ новому желанію — находитъ въ стихотвореніяхъ не одну музыкальность созвучій, но высокую мысль, или выраженіе глубокаго чувства души, т. е. находитъ истинную Поэзію. Впрочемъ, для провинціальныхъ дамъ и дѣвицъ выходитъ множество сборниковъ извѣстной книжной спекуляціи, подъ заглавіемъ: *букетовъ, вѣнковъ граціи* и т. п.; но эти сборники имѣютъ столько же сходства съ древними анѳологіями, или съ собраніемъ стихотвореній, издаваемыхъ нѣкогда знаменитымъ нашимъ Поэтомъ (В. А. Жуковскимъ), сколько сѣрая, грязная бумага—съ блестящею бѣлизною веленевой.

„Если это сравненіе не можетъ совершенно относиться къ объявляемому нами изданію, то, по-крайней-мѣрѣ, увидятъ прелестныя читательницы наши, что въ немъ нѣтъ ни малѣйшаго сходства съ тѣми сборниками *извѣстной* литературы, которые составляются въ отсутствіи образованнаго вкуса и настоящаго знанія художественной стороны руской Поэзіи. А сколько въ Россіи истинно-просвѣщенныхъ дамъ и дѣвицъ, для которыхъ божественные перлы ума и сердца дороже всего на свѣтѣ!.. Въ этомъ убѣжденіи, мы составили для нашихъ прелестныхъ соотечественницъ полную русскую анѳологію, предполагая замѣнить ею лучшій подарокъ къ наступающему празднику Свѣтлаго Воскресенья. Какой же подарокъ (особенно въ эту цѣну) можетъ быть приличнѣе Альманаха, освященнаго вдохновеніемъ тѣхъ людей, которые такъ часто возносили насъ въ міръ душевнаго восторга, или бесѣдовали съ нами тайно—въ минуты неизъяснимо-сладостной грусти?..“

Объявленіе увѣряетъ, что стихотворенія расположены въ «Дамскомъ Альбомѣ» въ хронологическомъ порядкѣ,—а они расположены въ немъ какъ случилось: отрывокъ изъ «Руслана и Людмилы» помѣщенъ подлѣ стихотвореній господина Бенедиктова и графини Растопчиной—поэтовъ, которые появились въ русской литературѣ слишкомъ черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ выхода первой поэмы Пушкина; стихотвореніе Батюшкова помѣщено между

стихотвореніями какихъ-то господъ Голицына и Домонтовича и стихотвореніемъ г. Языкова; за пьесою Державина «Русскія Дѣвушки», баснею Хемницера, коротенькимъ отрывкомъ изъ «Эдипа въ Аѳинахъ» Озерова, баснею Дмитріева, слѣдуютъ пьесы Жуковскаго «Голосъ съ того свѣта» и «Море», и всѣ эти пьесы отдѣлены мадригаломъ Дмитріева—отъ отрывка изъ поэмы Лермонтева «Хаджи Абрекъ». Выборъ пьесъ—верхъ безвкусія: большая часть ихъ никуда не годится. Изъ Пушкина и Лермонтова какъ нарочно выбрано все, что послабѣе. Не-уже-ли неизвѣстный составитель «Дамскаго Альбома» не шутя думаетъ, что наши дамы—тѣ же дѣти, для которыхъ нужно издавать хрестоматіи? Не-уже-ли онъ думаетъ, что наши дамы за новость прочтутъ крошечные отрывочки не только изъ «Эдипа въ Аѳинахъ» и баллады Жуковскаго «Алина и Альсимъ» (четыре куплета), но даже и изъ поэмъ Пушкина и Козлова? Не-уже-ли, наконецъ, онъ думаетъ, что его сборникъ чѣмъ-нибудь лучше *букетовъ и вѣнковъ граціи*, на которые онъ такъ краснорѣчиво и остроумно (по-своему) нападаетъ? Нѣтъ, не смотря на восьмнадцать картинокъ г. Ковригина, изъ которыхъ нѣкоторыя весьма недурны, не смотря на плохо-сдѣланный портретъ Лермонтова,—«Дамскій Альбомъ» только въ типографскомъ отношеніи выше *сѣро-бумажныхъ* изданій въ этомъ родѣ, а по содержанію, по достоинству выбора, онъ относится къ категоріи пѣсенниковъ, которые выходятъ у насъ ежегодно съ искаженными стихотвореніями Пушкина, перемѣшанными съ издѣліями поэтовъ пятнадцатаго класса.

* **796. Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера** *Санктпетербургъ. Въ типографіи К. Жернакова. 1844. Въ 8-ю д. л. 477 стр.* [237]).

Переводчикъ думалъ оказать великую услугу русской публикѣ изданіемъ этой книжки. По его собственнымъ словамъ, она должна «возбудить у насъ «желаніе изучить подробнѣе *безсмертнаго генія* Германіи (т. е. Жанъ-Поля Рихтера!!...), философа, натуралиста, и живописца нравовъ» и «утолить въ «читателяхъ, прельщенныхъ французскими романами, возбужденную ими «жажду въ новомъ, чистомъ, живомъ источникѣ». Стало-быть, цѣль двояко-полезная! Русской публикѣ, послѣ этого, ничего не остается, какъ низко присѣсть передъ любезнымъ и обязательнымъ г. Б., переводчикомъ и издателемъ «Антологіи изъ Жанъ-Поля Рихтера»...

Г. Б. питаетъ къ Жанъ-Полю Рихтеру любовь, доходящую до страсти, до энтузіазма, любовь тѣмъ болѣе благородную, что она совершенно одинока, ибо ея никто не раздѣляетъ съ нимъ. Нельзя не согласиться, что въ такой любви есть что-то умилительное, возбуждающее въ другихъ если не симпатію, то состраданіе. Такъ какъ Жанъ-Поль владѣетъ болѣе сердцемъ, чѣмъ умомъ г-на Б., и какъ г. Б. болѣе «обожаетъ», чѣмъ постигаетъ Жанъ-Поля,—то совершенно понятно, почему г. Б. видитъ въ Жанъ-Полѣ *безсмертнаго генія, великаго писателя*, роднаго брата Гёте и Шиллеру. Энтузіазмъ

*

всегда неумѣренъ и опрометчивъ,—отъ-того онъ всегда и расходится съ истиною. Жанъ-Поль, въ свое время былъ явленіемъ дѣйствительно замѣчательнымъ и не безъ основанія пользовался титломъ *знаменитаго* писателя; но великимъ писателемъ, безсмертнымъ геніемъ, онъ никогда не былъ, и съ Гёте и Шиллеромъ, особенно съ первымъ, никогда и ни въ какомъ родствѣ не состоялъ. По-этому, намъ особенно неумѣстнымъ кажется примѣненіе къ Жанъ-Полю стиховъ Баратынскаго къ Гёте, которые г. Б. взялъ эпиграфомъ къ «Антологіи»:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна
И съ нимъ говорила морская волна.

Мы далеки отъ того, чтобъ унижать достоинство Жанъ-Поля, но тѣмъ не менѣе не затруднимся сказать, что эти стихи къ нему вовсе не идутъ. Наполеоновскіе генералы были всѣ люди съ замѣчательными военными дарованіями и доселѣ пользуются большою извѣстностью; однако, ни объ одномъ изъ нихъ нельзя говорить и писать того, что можно говорить и писать о Наполеонѣ. Много на свѣтѣ есть высокихъ горъ, но это не мѣшаетъ имъ быть ниже каждой горы, которая въ сосѣдствѣ Монблана или Эльбруса считается очень-незначительною горою. Есть большая разница между замѣчательнымъ и даже знаменитымъ человѣкомъ и между великимъ человѣкомъ. Для наполеоновскихъ генераловъ большая честь занимать мѣсто на барельефахъ пьедестала его колоссальной статуи, или своими миньятюрными изображеніями составлять рамку для его большаго портрета: въ такомъ точно отношеніи находится Жанъ-Поль къ Гёте или Шиллеру. Противъ этой истины, утвержденной національнымъ сознаніемъ цѣлой Германіи и всего просвѣщеннаго міра, не устоитъ ничей личный энтузіазмъ.

Жанъ-Поль навсегда утвердилъ за собою почетное мѣсто въ нѣмецкой литературѣ. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на современную ему Германію, которая уже такъ мало походитъ на современную намъ Германію. Хотя отъ смерти Жанъ-Поля едва ли прошло двадцать лѣтъ, однако въ это время въ умственной жизни Германцевъ произошло много великихъ переворотовъ, возникло много новыхъ вопросовъ, и вообще направленіе Германіи и ея симпатіи значительно измѣнилось. Не смотря на то, Жанъ-Поль всегда будетъ находить себѣ въ Германіи обширный кругъ читателей, а Германія всегда съ любовію будетъ воспоминать о немъ, какъ воспоминаетъ возмужалый человѣкъ о добромъ и умномъ учителѣ своей юности, или о книгѣ, которая уже не удовлетворяетъ его вкусамъ и требованіямъ, но которая, въ его юношескія лѣта, была столько же полезною для него, сколько и любимою имъ книгою. Но изъ всего этого еще не слѣдуетъ, что Жанъ-Поль былъ великимъ писателемъ, геніемъ. Онъ

обладалъ замѣчательно сильнымъ талантомъ, принявшимъ, впрочемъ, до дикости странное направленіе и уродливо-развившимся. Этому, конечно, много способствовалъ аскетическій духъ нѣмецкой націи, узкость и тѣснота ея общественной жизни, которыя способствуютъ сильному внутреннему развитію отдѣльныхъ лицъ, но задушаютъ всякое соціальное, богатое широкими симпатіями развитіе людей, рожденныхъ для общества. Такія геніальныя личности, какъ Гёте и Шиллеръ, собственною силою могли вырваться изъ этой душной сферы и, не переставая быть національными писателями, возвыситься, въ то же время, до всемірно-историческаго значенія. Но такіе, впрочемъ, яркіе и сильные таланты, какъ Гофманъ и Рихтеръ, не могли не поддаться гибельному вліянію дурныхъ сторонъ общественности, которою они окружены были, какъ воздухомъ. По таланту, Гофманъ вообще выше и замѣчательнѣе Рихтера. Юморъ Гофмана гораздо жизненнѣе, существеннѣе и жгучѣе юмора Жанъ-Поля,—и нѣмецкіе гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своихъ силу юмористическаго гофманова бича. Какою мастерскою кистію изобразилъ Гофманъ почтеннаго князя Ириніуса, его комическій дворъ и его микроскопическое государство! Какою глубиною дышитъ его превосходная повѣсть «Мейстеръ Іоганнъ Вахтъ»! Сколько прекрасныхъ и новыхъ мыслей о глубокихъ тайнахъ искусства высказалъ, въ самой поэтической формѣ, этотъ человѣкъ, одаренный такою богато-артистическою натурою! И все это не помѣшало ему вдаться въ самый нелѣпый и чудовищный фантазмъ, въ которомъ, какъ многоцѣнная жемчужина въ тинѣ, потонулъ его блестящій и могучій талантъ! Что же загнало его въ туманную область фантазёрства, въ это царство саламандръ, духовъ, карликовъ и чудищъ, если не смрадная атмосфера гофратства, филистерства, педантизма, словомъ, скука и пошлость общественной жизни, въ которой онъ задыхался и изъ которой готовъ былъ бѣжать хоть въ домъ сумасшедшихъ?.. Жанъ-Поль былъ совсѣмъ другой натуры. Преобладающею стороною всего его существа было чувство, болѣе пламенное и задушевное, чѣмъ сильное и крѣпкое, болѣе расплывающее, чѣмъ сосредоточенное и подчиненное разуму, болѣе гуманное, чѣмъ многостороннее. Говорятъ, что Жанъ-Поль не могъ не заплакать отъ умиленія, видя человѣка съ лицомъ, сіяющимъ отъ довольства и счастія. Духъ его былъ по-премуществу внутренній и созерцательный. Поэтому, его высочайшимъ идеаломъ человѣка была красота внутренняго развитія личности, безъ всякаго отношенія ея къ обществу, — и паѳосъ всего его существованія составляла не разумная дѣятельность, силящаяся вносить въ дѣйствительность свои собственные идеалы, но природа, луна, солнце, весна, роса, ручьи, облака, цвѣты, ночь, звѣздное небо. Полная елейной, нѣсколько-сантиментальной и расплывающейся любви, натура Жанъ-Поля была ясна, спокойна и кротка. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ характеровъ, которые всегда дѣлаются средоточіемъ избраннаго дружескаго кружка и обнаруживаютъ на него часто одностороннее, но всегда прекрасное и благодѣтельное вліяніе.

Изъ всѣхъ душевныхъ способностей, въ Жанъ-Полѣ особенно сильна была фантазія, такъ-что она преобладала у него надъ самымъ разумомъ, которому не совсѣмъ недоступно было царство идей. Для такого человѣка все равно, гдѣ бы ни жить, и онъ можетъ быть доволенъ всякимъ обществомъ, лишь бы оно не мѣшало ему жить внутри самого-себя; а такъ-какъ нѣмецкое общество (особенно въ то время) всего менѣе способно вызывать человѣка изъ внутренняго міра души его и всего способнѣе, такъ сказать, вгонять его туда, — то аскетическій, въ дико-странныхъ формахъ выразившійся духъ сочиненій Жанъ-Поля становится совершенно-понятенъ. Жанъ-Поль не зналъ, подобно Гофману, ни отчаянія, ни негодованія, ни жгучихъ страстей, и потому ему не трудно было всегда держаться на какихъ-то недостижимыхъ созерцательныхъ высотахъ, неопирающихся ни на какое дѣйствительное основаніе, и писать языкомъ по-большей части эпически-спокойнымъ, тяжеловато-возвышеннымъ, нерѣдко натянутымъ и всегда туманнымъ. Онъ былъ романтикъ въ душѣ, и если спускался на минуту съ своихъ заоблачныхъ высотъ, озаренныхъ холоднымъ свѣтомъ ночной луны, то не иначе, какъ для того, чтобъ подивиться, какъ люди могутъ не быть романтиками, и тогда-то разъигрывался его добродушный юморъ, который никого не кусалъ, и не сердилъ, какъ юморъ Гофмана. Герои его романовъ или, лучше сказать, его выспренныхъ фантазій, все люди восторженные, которые живутъ въ однихъ высокихъ, поэтическихъ мгновеніяхъ жизни, никогда не зѣваютъ и всегда импровизируютъ, вмѣсто того, чтобъ говорить. Надо отдать имъ полную справедливость — они люди прекрасные, но только съ ними скука смертельная. Такъ, напримѣръ, въ одномъ своемъ сочиненіи, Жанъ-Поль представляетъ поэта Фирміана, имѣвшаго несчастіе жениться на Ленеттѣ, самой прозаической и ограниченной женщинѣ, которая ничего въ мірѣ не видитъ выше и важнѣе кухни. И дѣйствительно: вы видите, что Фирміанъ—человѣкъ возвышенный и восторженный, а Ленетта — не болѣе, какъ хорошая кухарка; но, въ то же время, вы чувствуете, что вамъ легче было бы провести всю жизнь вашу съ Ленеттою, женившись на ней, чѣмъ одну недѣлю прожить съ Фирміаномъ въ одной комнатѣ и слушать его восторженные монологи къ лунѣ и солнцу, къ жизни и смерти, къ небу и къ аду.

Г. Б. очень-хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ въ своей книгѣ статью умнаго французскаго литератора Филарета Шаля «Очеркъ Литературнаго Характера Жанъ-Поля», только онъ не понялъ, что этотъ «очеркъ» служитъ самымъ сильнымъ опроверженіемъ его собственнаго мнѣнія о великости Жанъ-Поля, какъ писателя. Какъ ловкій Французъ, Филаретъ Шаль не выговариваетъ ясно своей мысли, но, посредствомъ тонкой и легкой ироніи, граціозно разлитой въ его статьѣ, предоставляетъ угадать свою мысль самому читателю. Въ этомъ нельзя не убѣдиться, прочтя эти строки:

„Нѣмцы прозвали его единственнымъ: Жанъ-Поль der Einzige.

„Они были правы. Онъ былъ такъ особенъ, отличенъ отъ другихъ, что никто не дерзнулъ передать его произведенія ни на одномъ европейскомъ языкѣ. Госпожа Сталь сдѣлала легкій очеркъ его литературнаго характера; въ немъ замѣтно болѣе блеска, нежели вѣрности. Онъ жаловался на это съ прискорбіемъ. „Ахъ, сударыня“, восклицалъ онъ съ шутливымъ добродушіемъ: „оставьте меня варваромъ, вы изображаете меня слишкомъ-прекраснымъ!“ Переводчики, ослѣпленные лучезарнымъ сіяніемъ генія, со страхомъ отступили отъ дивнаго феномена. Онъ написалъ около шестидесяти томовъ; никогда не видали еще подобнаго слога. Это хаосъ вводныхъ предложеній, подразумѣваній; карнавалъ мыслей и языка; заселеніе новыхъ словъ, приходящихъ по прихоти автора, требовать права гражданства въ рѣчи; періоды на трехъ страницахъ, безъ знаковъ соединенія, состоящіе изо ста фразъ; вводныя предложенія порождаютъ другія и такъ далѣе; подобія на подобіяхъ, заимствованныя у искусствъ, у ремеслъ, у самой глубокой учености. И въ этомъ лабиринтѣ нѣтъ аріадниной нити, чтобъ показать вамъ дорогу; какая-то новая географія: города, нигдѣ не существовавшіе—Гакрау, Шеэрау Блинлохъ, Флакпфингенъ; лексиконъ, грамматика, эстетика, созданія воображенія; князья, маркизы, о которыхъ никто никогда не слыхивалъ, приходящіе, какъ говоритъ Мольеръ, montrer le bout de leur nez, неизвѣстно зачѣмъ; короли, возводимые на вымышленные престолы; государственные совѣтники и министры, являющіеся неизвѣстно откуда и переносящіе терпѣливо насмѣшки, и все это удивительнымъ образомъ переплетено, убрано цитатами, междометіями, восклицаніями, каламбурами, эпиграммами, усѣяно неожиданными порывами, трогательными сценами, бѣлыми листками, отступленіями, которымъ посвящаются иногда цѣлые томы, эпизодами, между которыми заблуждается главный предметъ“.

Далѣе, Филаретъ Шаль называетъ Жанъ-Поля «писателемъ столь необъятнымъ, столь *мало-читаемымъ*, геніемъ совершенно-германскимъ, покрытымъ для другихъ націй тройнымъ покрываломъ,—единственнымъ оригинальнымъ писателемъ, столь оригинальнымъ, что онъ не нашелъ себѣ ни подражателя въ своемъ отечествѣ, ни переводчика у другихъ народовъ». Все это сильно противорѣчитъ мнѣнію о великости и геніальности Жанъ-Поля. Одно изъ первыхъ и непреложныхъ условій, составляющихъ великаго писателя, генія, есть простота, опредѣленность, ясность и общедоступность изложенія и слога, какъ свидѣтельство ясности и опредѣленности его идей. Обыкновенные писатели потому пишутъ ясно и общепонятно, что ихъ идеи обыкновенны и ничтожны; великіе писатели пишутъ ясно и опредѣленно потому, что вполнѣ владѣютъ своими идеями, и если ихъ сочиненія недоступны массамъ,—это не по мудрености изложенія, а по высотѣ идей. Великіе писатели даже въ стихахъ умѣютъ соединить красоту поэтическаго изложенія съ простотою почти-прозаическою. Чѣмъ общѣе, слѣд., огромнѣе содержаніе твореній великаго писателя, тѣмъ доступнѣе онѣ для всѣхъ націй, тѣмъ болѣе они суть достояніе не одного какого-нибудь народа, но цѣлаго человѣчества. Какъ ни вытягивайте подъ эту мѣру добраго Жанъ-Поля, онъ скорѣе перервется по-поламъ, чѣмъ подойдетъ подъ нее. Особенно не допуститъ

его, даже и на ципочкахъ, если хотите, на какихъ угодно длинныхъ ходуляхъ, дотянуться до нея эта справедливая характеристика Филарета Шаля:

„Если разсматривать Жанъ-Поля въ отношеніи къ искусству и къ исполненію, онъ стоитъ ниже Сервантеса. Въ его произведеніяхъ обозначается недостатокъ цѣлаго, связи и плавности. Чтеніе ихъ оставляетъ впечатлѣнія не ясныя и противоположныя. Изъ этого хаоса мыслей и чувствъ, какъ съ раскаленнаго желѣза, брызжутъ тысячи искръ, пламенныхъ, высокихъ, комическихъ: но это хаосъ. Одинъ стиль этихъ дивныхъ созданій есть уже феноменъ: дѣвственная дубрава, вѣтви которой, переплетенныя между собою, образуютъ непроницаемую ограду, представляетъ вамъ неодолимыя препятствія. Языкъ, метафоры, правописаніе, все облекается у Жанъ-Поля въ праздничную одежду."

Между-тѣмъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что Жанъ-Поль—писатель, заслуживающій всякаго вниманія, и что изъ 60-ти томовъ его сочиненій можно выжать томовъ шесть болѣе или менѣе интересныхъ вещей, имѣющихъ рѣдко безотносительное, но чаще всего свое относительное достоинство. Желая говорить съ доказательствами, мы должны прибѣгнуть къ выпискамъ. Вотъ нѣсколько мыслей о назначеніи и судьбѣ женщины въ нашемъ обществѣ:

„Я думалъ въ то время о той брачной лотереѣ, въ которой молодыя дѣвушки выбираютъ себѣ супруга-властителя, на той порѣ жизни, когда сердце ихъ согрѣто чувствомъ, но разумъ не просвѣтленъ. Въ ихъ душѣ пустота, и среди этой пустоты горитъ пламя, какъ горѣлъ пламень на жертвенникѣ въ храмѣ Весты, безъ образа божества. Идолъ подавалъ знакъ, чтобъ подошли къ жертвеннику, и жертвоприношенье совершалось. — Я думалъ, что она подвергнется обыкновенной участи своихъ подругъ, что и она увянетъ, какъ цвѣтокъ, сорванный и измятый грубою и людскою рукою, Какъ быстро пробѣгутъ эти прекрасные дни кратковременной весны женской жизни! Не походила ли она, какъ почти всѣ невѣсты, на тѣхъ младенцовъ, что Гарофало любилъ помѣщать въ своихъ картинахъ: они тихо почиваютъ; надъ ихъ головками ангелъ держитъ терновый вѣнецъ. Терновый вѣнецъ есть бракъ; лишь-только онѣ просыпаются, ангелъ роняетъ вѣнецъ и уязвленное чело покрывается кровію. Всѣ эти мысли меня занимали, но не отъ нихъ навернулись у меня слезы на глаза. Всякій разъ, какъ я устремлялъ взоры на это бѣлое и розовое лицо, столь граціозное, привѣтливое доброе, я внутренно покушался воскликнуть: О, не будь такъ весела, несчастная жертва! это нѣжное сердце, хранимое тобою въ груди, жаждетъ чистыхъ и тихихъ наслажденій; ты сама того не знаешь... огонь грубой страсти испепелитъ его; но граціозныя, безцвѣтныя сновидѣнія, рождающіяся на домашней подушкѣ, не могутъ осчастливить этой милой головки...

Ты не предугадываешь, юная дѣва-невѣста, что этотъ цвѣтокъ твоей благоухающей молодости превратится въ грубый источникъ, въ которомъ человѣкъ будетъ утолять свою жажду. Онъ скоро не будетъ требовать отъ тебя ни чувствительной души, ни добраго и свѣтлаго ума; онъ въ тебѣ будетъ цѣнить одну лишь работу рукъ, потъ лица и быстроту твоихъ шаговъ, и если ты, въ душевномъ разслабленіи, будешь хранить долгое молчаніе и оставишь его въ покоѣ, онъ благословитъ свою судьбу. Этотъ сводъ безграничный и вѣчный, этотъ ковчегъ эмпирея, величественная вселенная — не

привлекутъ твоихъ взоровъ и превратятся для тебя въ бѣдное жилище, въ убѣжище для хозяйства: ты будешь замѣчать въ немъ лишь однѣ веревки, дрова, куски ветчины, прядильные станки и изрѣдка, въ лучшіе дни, визитъ въ твоей пріемной. Ты будешь смотрѣть на солнце, какъ на огромный шаръ, висящій надъ твоею головою, чтобъ согрѣвать, подобно печкѣ, вселенную, на мѣсяцъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ кристальныхъ шаровъ, что ночью употребляютъ башмачники для освѣщенія своей мастерской. Гордый Рейнъ не удивитъ тебя своимъ величіемъ, ты будешь цѣнить его лишь въ мѣлкихъ мѣстахъ, гдѣ безопасно можно полоскать бѣлье. Боже мой! Рейнъ, превращенный въ щелочной котелъ! Да и самъ океанъ будетъ представляться тебѣ водоёмомъ копченыхъ сельдей. Изъ безчисленнаго множества нѣмецкихъ книгъ ты изберешь себѣ одну: календарь на текущій годъ; и, благодаря положенію, занимаемому тобою въ лѣстницѣ живущихъ, ты едва-ли найдешь въ газетахъ что-либо для тебя занимательнаго, развѣ только извѣстія о пріѣхавшихъ иностранцахъ съ паспортами въ рукахъ и остановившихся въ сосѣдней гостинницѣ. Того требуетъ положеніе женщины въ свѣтѣ, какъ говорятъ философы, *ея космологическій пехиз.*

„Ты родилась для большаго счастія: но какъ тебѣ достигнуть счастія? Твой бѣдный супругъ не въ состояніи даровать тебѣ лучшей участи и общество не позволило бы ему иначе обращаться съ тобой! Смерть внезапно навѣститъ тебя, когда года доведутъ до равнодушія твое чувствительное сердце, добрыя сѣмена, зароненныя въ немъ заботливой природой, еще не созрѣютъ, и ты уже переселишься въ то блаженное небо, куда зоветъ тебя другое, улыбающееся будущее.

Вы удивитесь моей печали? Да не то же ли совершается каждую недѣлю передъ моими глазами, съ душами, лишь только онѣ выберутъ земною обителью женское тѣло.

—

Мать бѣднаго сердца, которое ты хочешь осчастливить несчастіемъ, соединяя его на вѣки съ другимъ сердцемъ, имъ нелюбимымъ, выслушай меня! Положимъ, что дочь твоя не погибнетъ подъ тяжестью жалкой участи, тобой ей предназначенной; но не превратила-ли ты для нея роскошное сновидѣніе жизни въ безплодный сонъ, не похитила-ли ты у нея счастливые острова любви, всѣ цвѣты, ихъ украшающіе, очаровательные дни, въ нихъ проведенные, и чувство, всегда полное восторга, съ которымъ мы еще разъ возвращаемся къ нимъ, когда покрытые цвѣтами холмы удаляются на дальній горизонтъ? Если твое материнское сердце вкусило радости, не лишай ихъ своей дочери; а если другіе были такъ жестоки, что похитили ихъ у тебя, вспомни долгія мученья, тобою претерпѣнныя, и не передавай этого печальнаго наслѣдія!

Положимъ даже, что твоя дочь осчастливитъ похитителя ея души, представь-же себѣ — чѣмъ она была бы для предмета, любимаго ея сердцемъ, и скажи—не достойна ли лучшей участи, какъ увеселять придверника навсегда закрывшейся за нею темницы? Но рѣдко такъ счастливо сбывается. — Ты соберешь богатую жатву страданій и отяготишь душу двойнымъ преступленіемъ, съ одной стороны нѣмое отчаяніе твоей дочери, съ другой равнодушіе къ ней мужа, который позднѣе почувствуетъ къ ней отвращеніе или ненависть. Ты помрачишь ея молодость, ту эпоху жизни, когда каждое твореніе нуждается первыхъ лучей солнца. О, лучше затьми облакомъ печали всѣ

другіе однообразные періоды жизни, такъ походящіе другъ на друга; не допускай идти холодному дождю на ея зарѣ, пускай солнце взойдетъ тихо и радостно на безоблачномъ небѣ, да не блѣднѣютъ его лучи до полудня; не покрывай мракомъ это единственное утро жизни, никогда невозвратимое, разъ утраченное и ничѣмъ не замѣняемое!

Но если ты отдаешь на жертву своимъ честолюбивымъ намѣреніямъ, своему деспотизму не только радости, самыя сладкія чувства, счастливый бракъ, улыбающіяся надежды и цѣлыя поколѣнія, но и самое существованіе той, которую принуждаешь отдать руку не задушевному другу; кто можетъ оправдать тебя въ твоихъ собственныхъ глазахъ или высушить твои слезы, если твоя дочь, по своей добродѣтели, повинуется, молчитъ и умираетъ, подобно монахамъ-траписта̀мъ, не осмѣливающимся нарушить обѣтъ молчанія, даже тогда, когда ихъ монастырь дѣлается жертвою неистоваго пламени,— если дочь твоя, какъ плодъ, котораго одна сторона пользуется лучами солнца, а другая въ тѣни, — краснѣетъ снаружи, между тѣмъ какъ сохнетъ внутри и не достигаетъ зрѣлости; если дочь твоя, говорю я, открываетъ тебѣ свое растерзанное сердце и являетъ въ веснѣ жизни блѣдность и скорбь могильную, — если тебѣ невозможно ее утѣшить, потому-что совѣсть не щадитъ тебя отъ имени дѣтоубійцы, наконецъ, если твоя жертва, изнуренная, лежитъ здѣсь предъ тобою, и безъ чувствъ рыдаетъ; — если это существо, лишившись силъ въ столь трудной и ранней борьбѣ, съ прощеніемъ на устахъ и укоризною въ растерзанныхъ и мутныхъ взорахъ, съ судорожнымъ трепетомъ, падаетъ въ бездонное море смерти... и ты стоишь на берегу и видишь ее поглощенную еще въ свѣжемъ цвѣтѣ молодости:—о, виновная мать! Кто тебя утѣшитъ на краю этой бездны, куда ты насильно вовлекла ее; если ты еще сберегла свое сердце — отчаянье убьетъ его, какъ оно убило сердце твоей дочери... Если же ты не виновна, я зову тебя—иди, присутствуй при этой жестокой смерти, смерти каждой минуты;—я спрашиваю тебя: твое дитя должно ли такъ погибнуть?

Какая бѣдная душа не произнесла хоть однажды тщетныя молитвы любви и, разслабленная ледянымъ ядомъ, не могла поднять отяжелѣвшаго языка! Продолжай любить, пламенная душа! Подобная весеннимъ цвѣтамъ, ночнымъ бабочкамъ, нѣжная и мягкая любовь наконецъ проникнетъ сквозь оцѣпененную морозомъ душу, и сердце, жаждущее другаго сердца, наконецъ его найдетъ.“

Все это обнаруживаетъ въ Жанъ-Полѣ душу любящую, чистую, добродѣтельную; все это согрѣто у него убѣжденіемъ и чувствомъ, все такъ хорошо, мило, трогательно, а главное — все это такъ истинно. О томъ же именно говоритъ и Жоржъ Зандъ. Но что̀ такое передъ ея страстными, огненными страницами эти добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жанъ-Поля?—милый лепетъ умнаго и добраго ребенка въ сравненіи съ громовою рѣчью возмужалаго человѣка, исполненнаго глубокаго сознанія и могучаго негодованія!.. Жалкое положеніе женщины въ обществѣ возбуждаетъ живое состраданіе Жанъ-Поля—онъ оплакиваетъ его, но не перестаетъ на него смотрѣть, какъ на неизбѣжное и неизмѣняемое; Жоржъ Зандъ, напротивъ, видитъ въ немъ слѣдствіе историческаго развитія, которое уже совершило свой циклъ. Въ глазахъ Жанъ-Поля мать, торгующая счастіемъ цѣлой жизни своей дочери

есть явленіе какъ-бы случайное, нарушающее собою гармонію общественной нравственности,—и онъ хлопочетъ, силою кроткаго, теплаго убѣжденія исправить таковую «дражайшую родительницу», если бы оная нашлась гдѣ-нибудь, не подозрѣвая, въ своемъ простодушіи, что на такихъ матерей не дѣйствуютъ краснорѣчивыя строки. Въ то же время, онъ видитъ въ поступкѣ такой матери только злоупотребленіе права, а самое право признаетъ неотъемлемымъ,—и еслибы бѣдная дочь, принесенная матерью въ жертву своей корысти, прибѣгла къ Жанъ-Полю съ жалобою растерзаннаго сердца и глубоко-оскорбленнаго и поруганнаго своего человѣческаго достоинства,—добродушный Жанъ-Поль, со все филистерскою елейностію любящаго сердца, утѣшилъ бы ее краснорѣчивыми совѣтами—терпѣливо покориться ея участи, къ радости погубившихъ ее изверговъ-спекулянтовъ. Онъ сказалъ бы ей: «О, дѣва! (Жанъ-Поль любилъ это смѣшное слово) ты носишь терновый вѣнецъ на окровавленной *главѣ*; за то вѣчныя розы цвѣтутъ въ груди твоей». Не знаемъ, могло ли бы *дѣву* сдѣлать счастливою подобное утѣшеніе; но знаемъ, что отъ такихъ утѣшеній общественныя раны никогда не излечатся, и что человѣкъ, выговаривающій такія утѣшенія высокимъ до напыщенности слогомъ, какъ великія истины, толчетъ воду въ ступѣ, ибо позволяетъ всему оставаться такъ, какъ оно есть. Сколько людей, и какъ уже давно, доказали вѣрно и несомнѣнно, что взаимная любовь между людьми есть лучшая гарантія ихъ общей безопасности и благосостоянія; но люди тѣмъ не менѣе не хотятъ согласиться на такую любовь! Я очень-радъ, если, въ-слѣдствіе любви, меня никто не ограбитъ и не убьетъ на большой дорогѣ, но, при отсутствіи строгаго полицейскаго надзора, я никакъ не положусь на любовь моихъ ближнихъ... Конечно, естественная любовь матери къ дочери — хорошая порука въ томъ, что мать не выдастъ своей дочери насильно за какого-нибудь негодяя (ибо всякій мужчина, способный насильно жениться, есть негодяй); но все-таки мое сердце меньше обливается кровію при мысли о насильственныхъ бракахъ, когда возможность ихъ уничтожена строгостію ясно и положительно-высказанныхъ законовъ...

„Дитя должно быть для васъ священнѣе настоящаго, которое состоитъ изъ вещей и людей образовавшихся. Вникните въ великое значеніе дѣтскаго возраста! Воспитывая дитя, вы трудитесь для будущаго, заготовляете ему богатую жатву; не бросайте же на бразду земли пороху, который взорветъ мину: но посѣйте на ней зерно хлѣбное, которое принесетъ плодъ и насытитъ душу. Дайте этому маленькому ангелу, готовому утратить свой земной рай, и собирающемуся въ путь далекій, неизвѣстный,—крѣпкую броню противъ судьбы, талисманъ, который защищалъ бы его въ странѣ опасностей; даруйте ему небо и полярную звѣзду, которая руководила бы его въ продолженіи всей жизни и освѣтила бы передъ нимъ мрачныя страны, которыя ему позднѣе суждено посѣтить. Освѣтите прежде всего его сердце лучемъ нравственнаго чувства: то будетъ заря прекрасной души. Внутренній человѣкъ, подобно Негру, родится бѣлымъ; жизнь — вотъ что очерняетъ его. Въ старости, величайшіе примѣры нравственной силы проходятъ мимо насъ, не

совращая болѣе нашей жизни съ ея пути, подобно кометѣ, летящей мимо земли; — въ первой же порѣ дѣтства, напротивъ, первый порывъ любви, внѣшней или внутренней, первыя несправедливости набрасываютъ долгую тѣнь или яркій свѣтъ на необозримое поле слѣдующихъ возрастовъ.

„Почему вы знаете, что младенецъ, рвущій цвѣты подлѣ васъ, не устремится нѣкогда со своей Корсики, какъ богъ войны, въ мятежную часть свѣта, чтобъ играть бурями, срывать, очищать или сѣять? Неужели для васъ ничего не значило бы, воспитавши его, сдѣлаться его Фенелономъ, его Корнеліею и его Дюбуа? И если вы не могли ни сокрушить, ни поправить полета его генія (чѣмъ глубже море, тѣмъ круче его берега); вы бы могли въ самомъ важномъ десятилѣтіи жизни, на этомъ первомъ порогѣ, чрезъ который проходятъ всѣ чувства, посѣщающія человѣческое сердце, сковать возникающую силу льва и опутать его нѣжнѣйшими привычками прекраснаго сердца и всѣми узами любви“.

Все это прекрасно, но всего этого мало. Что дѣтей должно воспитывать хорошо,—объ этомъ многіе говорили и писали; и потому вопросъ давно уже не въ томъ, должно ли воспитывать дѣтей, а въ томъ, какъ должно воспитывать и въ чемъ должно состоять основное начало истиннаго воспитанія. У Жанъ-Поля на всѣ болѣзни одно лекарство—*любовь*. Но вѣдь и госпожа Простакова любила же своего Митрофанушку, и Брутъ любилъ своихъ сыновей: любовь одна, а ея характеръ и проявленіе совершенно-различны. Что же дало ей это различіе?—то, что въ первой есть только смыслъ, но нѣтъ никакой мысли, а во второй, кромѣ смысла, есть еще и мысль. Чтобъ развить любовь въ молодомъ сердцѣ, надо заставить его полюбить *что-нибудь*,— и это «что-нибудь» должно быть *истиною, мыслію*. Молодыхъ людей, и дома, и въ школахъ, учатъ любить правду, ненавидѣть ложь, а когда они вступятъ въ жизнь, ихъ гонятъ за правду, и ихъ правдивость называютъ гордостью, самонадѣянностью, буйствомъ и «вольнодумствомъ»—любимое слово филистеровъ и гофратовъ... И такъ, вопросъ въ томъ, должно ли дѣтей воспитывать такъ, чтобы они могли уживаться съ обществомъ, или должно желать, чтобы общество сдѣлалось способнымъ уживаться съ людьми благовоспитанными. Этотъ вопросъ важнѣе вопросовъ о всевозможныхъ родахъ любви.

— Любишь ли ты меня? воскликнулъ молодой человѣкъ въ минуту чистѣйшаго восторга любви, въ то мгновеніе, когда души встрѣчаются и отдаются другъ другу.—Молодая дѣвушка взглянула на него и молчала.

— О, если ты меня любишь, продолжалъ онъ:—заговори!

Но она взглянула на него, не будучи въ состояніи говорить.

— Да, я былъ слишкомъ счастливъ, я надѣялся, что ты меня любишь; все теперь исчезло—надежда и блаженство!

— Возлюбленный, неужели я тебя не люблю! и она повторила вопросъ.

— О, зачѣмъ такъ поздно произнесла ты эти небесные звуки!

— Я была слишкомъ счастлива, я не могла говорить; только тогда возвращенъ мнѣ былъ даръ слова, когда ты передалъ мнѣ свою скорбь...

Немножко-дѣтски, немножко-сантиментально, а хорошо! Мы по собственному опыту знаемъ, какъ сильно и какъ освѣжительно дѣйствуютъ на юныя души подобныя романтическія мысли, изложенныя такимъ эпически-торжественнымъ языкомъ, съ оттѣнкомъ мистицизма. Но у Жанъ-Поля есть вещи гораздо-лучшія и высшія. Такова, на-пр., его пьеса «Уничтоженіе» (Die Vernichtung), въ которой высокая мысль облечена въ образы часто странные и дикіе, но тѣмъ не менѣе грандіозные, изложеніе нѣсколько натянуто, но тѣмъ не менѣе исполнено блеска могучей фантазіи. «Сонъ несчастнаго подъ Новый Годъ», которымъ оканчивается «Антологія», принадлежитъ къ числу особенно-полезныхъ для юношества пьесъ, потому-что ея дидактизмъ не чуждъ нѣкотораго поэтическаго колорита. Среди мыслей изъисканныхъ, среди сравненій натянутыхъ, остротъ и каламбуровъ, отличающихся истинно-нѣмецкою легкостію и ловкостію, у Жанъ-Поля встрѣчаются мысли глубокія, сравненія вѣрныя и оригинальныя, остроты меткія.—Вотъ нѣсколько образчиковъ:

„Умереть за истину, не значитъ умереть за отечество—но за весь міръ. Истина, подобно Венерѣ Медичейской, перейдетъ къ потомству въ тридцати разныхъ отломкахъ; но потомство ихъ соберетъ; и изъ этихъ дребезговъ воздвигнется богиня. Твой храмъ, вѣчная истина, теперь вполовину сокрытый подъ землею, воздвигнется при раскапываніи могилъ твоихъ мучениковъ и возвысится надъ землею; каждая его бронзовая колонна будетъ попирать любимую могилу.

—

Мысль о смерти должна для насъ быть средствомъ сдѣлаться лучшими, но не конечною цѣлію; если прахъ могильный западетъ въ наше сердце, какъ земля въ чашечку цвѣтка, онъ его уничтожаетъ вмѣсто того, чтобъ оплодотворить.

—

Когда человѣкъ въ присутствіи моря или горъ, пирамидъ или развалинъ; когда несчастіе встаетъ передъ нимъ, готовое его поразить—кого призываетъ онъ? дружбу. Когда потоки гармоніи прельщаютъ его слухъ: когда томный свѣтъ луны играетъ на листьяхъ деревьевъ, когда весна воскрешаетъ природу—кого онъ призываетъ? любовь. И тотъ, кто никогда не искалъ ни той, ни другой, въ тысячу разъ бѣднѣе того, кто ихъ обѣихъ утратилъ.

—

Знаменитые писатели не болѣе одарены творческими способностями, чѣмъ другіе люди; они одарены только большею смѣлостію; они, не смущаясь, выворачиваютъ свою душу и показываютъ себя такими, какими они есть твердо опираясь на свою знаменитость, между тѣмъ, какъ другіе краснѣютъ, скрываются и ослабляютъ главныя черты своего характера въ своихъ произведеніяхъ.

—

Старые эмигранты походятъ на часы съ репетиціей, оставшіеся нѣсколько лѣтъ незаведенными. Когда подавишь пружинку, изъ всѣхъ часовъ дня они звонятъ и повторяютъ тотъ часъ, на которомъ остановились“.

Вообще, изъ сочиненій Жанъ-Поля можно было бы выбрать, для перевода на русскій языкъ, не одну весьма-полезную книжку. Но, должно сказать правду, г. Б., переводчикъ и издатель «Антологіи», не обнаружилъ особенной разборчивости и вкуса въ выборѣ отрывковъ изъ Жанъ-Поля: бо́льшая половина его «Антологіи» наполнена рѣшительнымъ пустословіемъ, вещами, какихъ у Жанъ-Поля цѣлые томы и какіе могли бы спокойно оставаться въ нѣмецкомъ подлинникѣ, безъ всякаго ущерба для русской публики, даже съ большою для нея пользою, потому-что чѣмъ менѣе печатнаго вздора, тѣмъ больше публика въ выигрышѣ. Что нашелъ г. Б. хорошаго и достойнаго перевода вотъ, на-примѣръ, въ этихъ мысляхъ:

„Дѣти, супруга — суть горизонтальные и вертикальные корни, привязывающіе насъ къ землѣ.

—

Должно бы тщательно во время собиранія винограда выжимать каждую виноградинку; ибо она болѣе не выростетъ. Праздники, торжества и радости суть праздники непостоянные; минуты восторга сердечнаго суть случайные поэтическіе очерки, которымъ болѣе не суждено возобновляться—и въ opera seria жизни запрещено на афишѣ заставлять повторять трудныя аріи.

—

Счастливъ тотъ, чье сердце довольствуется однимъ-другимъ сердцемъ и ничего болѣе не желаетъ, ни англійскаго парка, ни opera seria, ни музыки Моцарта, ни картинъ Рафаэля, ни луннаго затмѣнія, ни даже луннаго свѣта ни романическихъ сценъ, ни ихъ исполненія.

—

Любовь начинаетъ съ глазъ, какъ искусство рисованья.

—

Геніяльныя женщины обыкновенно бываютъ безбожницами, мужчины же геніяльные, напротивъ, всегда больше вѣруютъ.

—

Нѣтъ ничего лучше сердца молодой дѣвушки и свѣжаго масла; только оба со временемъ дѣлаются горькими.

—

Дождевая капля нѣжно проникаетъ въ горную пещеру и увѣковѣчивается, превращаясь въ крѣпкое, зубчатое лезвіе. Слеза человѣческая еще прекраснѣе. Она прорѣзываетъ уязвленное око; но влажный алмазъ смягчается, и глазъ смотритъ за нимъ въ слѣдъ: то роса на цвѣткѣ.

—

Дерево, цвѣты котораго весною были убиты морозомъ, осенью представляетъ прямую, печальную вершину, но вѣтви его не приносятъ плодовъ.

—

Чтобъ полюбить человѣка, довольно подумать объ его родителяхъ, дѣтяхъ, объ его привязанности и привязанности, къ нему питаемой.

—

Все, что прекрасно—тихо. Такъ лучшіе народы суть народы самые мирные. Тяжелая работа убиваетъ бѣдныхъ дѣтей и бѣдныхъ народовъ.

—

Юноша падаетъ на колѣни предъ любимой женщиной, чтобъ побѣдить ее, какъ пѣхота передъ кавалеріею.

—

Подозрѣніе есть *фальшивая* монета истины.

—

Различіе мѣстъ, занимаемыхъ въ обществѣ, менѣе угнетаетъ и стѣсняетъ великую душу, нежели различіе половъ.

—

Хорошо, что время идетъ да идетъ; а то скоро ли дошли бы мы до вѣчности".

—

Что все это—сущій вздоръ, ясно безъ доказательствъ, и, повторяемъ, такими пустяками наполнена большая часть «Антологіи». Вѣроятно, переводчикъ, въ этомъ случаѣ, разсчитывалъ на имя *безсмертнаго генія* Жанъ-Поля Рихтера, думая, что подъ сѣнію этого великаго имени и потертая мишура сойдетъ съ рукъ за чистое золото. Это большая ошибка съ его стороны. Въ наше время, имена ровно ничего не значатъ, и если бы у Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера нашлось что-нибудь ничтожное и вздорное, его назвали бы тотчасъ настоящимъ его именемъ. Въ-самомъ-дѣлѣ, «Фаустъ» Гёте—великое произведеніе, но «Стелла», «Братъ и Сестра» и еще многое кое-что изъ сочиненій Гёте же—превздорныя вещи. Впрочемъ, и не съ такимъ не скуснымъ выборомъ, Жанъ-Поль не вытѣснилъ бы французскихъ романовъ Не только лучшіе, но и сколько-нибудь порядочные романы и повѣсти французскіе всегда будутъ читаться больше сочиненій Жанъ-Поля, ибо они дѣльнѣе ихъ, будучи исполнены интересовъ настоящаго, которое одно важно для *живыхъ* людей, потому-что оно есть послѣдній результатъ всего прошедшаго, и непосредственная причина будущаго...

Даже въ порядочныхъ пьесахъ Жанъ-Поля встрѣчаются мѣста, при чтеніи которыхъ невольно восклицаешь:

Ужь подлинно Бибрусъ боговъ языкомъ пѣлъ:
Изъ смертныхъ бо его никто не разумѣлъ.

Поймите, на-примѣръ, смыслъ вотъ этихъ строкъ: «Готрейхъ хотя и отправился въ высшую школу съ обыкновеннымъ небольшимъ вольнодумствомъ, свойственнымъ незрѣлому, рано развившемуся юношѣ, но (*однако?*) возвратился съ сохраненною вѣрою предковъ и отца своего, отъ настоящихъ учителей, научавшихъ сохранять чувство древней богословіи отъ пытливыхъ объясненій толкователей, не обнажая корней предъ свѣтомъ, который содѣйствуетъ въ людяхъ, какъ и въ растеніяхъ, одному лишь внѣшнему произрастенію». Темноты этого періода никакъ нельзя приписать неискусству переводчика, потому-что г. Б.,—должно отдать ему въ этомъ справедливость—переводитъ Жанъ-Поля мастерски, не только вѣрно, но еще и ясно, хорошимъ языкомъ передавая его мысли. И потому, въ-отношеніи къ переводу и вообще редакціи «Антологіи», намъ предстоитъ сдѣлать только нѣсколько

легкихъ замѣчаній. Во-первыхъ, намъ не нравится, что Филаретъ Шаль, въ своемъ «Очеркѣ Литературнаго Характера Жанъ-Поля» говоритъ о трудности переводить Жанъ-Поля на русскій языкъ; во-вторыхъ, намъ кажется ужь слишкомъ-простодушною замѣткою, несообразною съ духомъ времени, на отдѣльныхъ пьесахъ выставлять: *посвящается такому-то, или такой-то*. Посвященіе книги, или пьесы кѣмъ-нибудь кому-нибудь должно имѣть достаточное основаніе, чтобы не казаться ребяческою продѣлкою, а эта достаточная причина должна заключаться и въ именахъ посвящающаго и того, кому посвящается сочиненіе, и въ важности самого сочиненія. Но переводъ, прозою, пьески—съ посвященіемъ: это такъ же наивно, какъ и стишки *какого-нибудь* поэта, надъ которыми красуется: *посвящается* и пр. На 14-й страницѣ мы встрѣтили подъяческое мѣстоименіе «оную» и удивились «оному», какъ старой ветоши, вшитой въ новое платье. На 104-й страницѣ мы нашли повтореніе строкъ, которыя уже прочли на 46-й страницѣ. На 52-й страницѣ насъ поразили какія-то загадочныя буквы: *к.* и *н.*, и мы тщетно старались разгадать ихъ таинственный смыслъ. На 74 страницѣ, встрѣтили имя *Гесперусъ*, которое по-русски пишется просто *Гесперъ*... Но это все мелочи, и переводъ, равно какъ и изданіе этой книжки, прекрасны. Сверхъ-того, она украшена сходнымъ и превосходно-литографированнымъ портретомъ Жанъ-Поля, съ снимкомъ внизу его подписи.

Г. Б. обѣщаетъ продолжать изданіе «Антологіи». Доброе дѣло; желаемъ ему полнаго успѣха, для обезпеченія котораго нужно только побольше строгой разборчивости. Какъ бы то ни было, но «Антологія изъ Жанъ-Поля Рихтера», въ бельлетристическомъ бюджетѣ нашей литературы за нынѣшній мѣсяцъ, есть единственная замѣчательная книга, о которой можно было сказать что-нибудь.

*** 797. Союзъ Любопытства съ Пользою, или способъ къ устройству порывовъ страстей.** *Вновь изобрѣтенное гаданье въ семи-дольныя карты, съ уподобительными картинами, о коихъ помѣщены краткія разсужденія, съ задачами, вопросами, шутками, загадками и пр. Съ приложеніемъ картъ. Труды* И. В. *Санктпетербургъ. Въ тип. Карла Фейерштейна. 1843. Въ 16-ю д. л. 128 стр.* [238]).

Этой книжкѣ приличнѣе было называться «Союзомъ книжнаго торгашества и шарлатанства съ безсмысленностію и безграмотностію», чѣмъ «Союзомъ любопытства съ пользою». По смыслу заглавія этого книжнаго чудища, выходитъ, что оно имѣетъ цѣлію способствовать порывамъ страстей или, говоря ея дикимъ языкомъ, устрояетъ порывы страстей, но добродушный и довольный собою сочинитель хотѣлъ сказать совсѣмъ другое, т. е. не устройство, а утишеніе, или утоленіе порывовъ страстей. И однакожь безграмотность и безсмыслица заглавія этой книжонки—ничто въ сравненіи съ галиматьею ея содержанія. Вотъ для образчика:

Пастухъ и овцы. Простота и кротость.

А. Разсужденіе.

Лѣнь обратить, на что нужно, должное вниманіе, обозрѣть чистыми глазами, обнять свободнымъ отъ страстей духомъ; но привычка взглянуть скоро на скоро, дабы время употребить достало на все, хотя это суетливое все виновно—тоже за все ввело большое число людей въ такую темноту, въ коей пороки представляются имъ блестящими предметами. Достаточное количество этой слабости, нажитое временемъ, привычками и заразою однихъ отъ другихъ, увлекло почти все изъ виду подобающую человѣку простоту, безъ которой онъ ненадеженъ быть безпорочнымъ: ибо все, что лишено простоты, есть умыселъ; есть хитрой изворотъ; есть рожденіе зла; есть порча натуры человѣка. Нѣкоторые простые народы, шедшіе прямою путью природы своей, служатъ примѣромъ, что натуральное остается таковымъ, ежели убережено будетъ отъ порчи, но идущее противу природы росту добраго не приноситъ; вотъ разгадки спокойствію ихъ, сладкому чувству и совершенству разумѣнія себя. Такой счастливецъ лжи не знаетъ; сказать, не то, что въ сердцѣ, не умѣетъ; тихъ—какъ овца, простъ какъ дитя; но совершенъ—какъ человѣкъ.

Старайся отдѣлить чистую искру свѣта, отъ груды, бродящихъ въ туманѣ, обманчиво мѣлькающихъ, прилипчивыхъ пороковъ.

Б. Отвѣты.

1. Ежели пустишь талантъ свой въ бѣлую путь, и на это особа, гонящая ложь, обратитъ вниманіе, то можетъ быть въ трудахъ, могущихъ уравнять вѣсы страстей. Въ томъ дѣлѣ полный успѣхъ неизвѣстенъ, но получивъ войдемъ въ награду во второе сто-лѣтіе житія твоего, для счастія вообще человѣчества опредѣляемую.

2. Дѣйствія твои слабѣе чувства, должно согласовать первыя съ послѣднимъ; тогда сдѣлавшись любимцемъ, чрезъ игру чистой радости, продлиться можетъ жизнь твою двумя третями долѣе счета теперешняго.

3. Умные люди, цѣня твое праводушіе, расположены почитать тебя. Съ ихъ любовію, жизнь протечетъ пріятно; крѣпости же силы и улыбкѣ, въ самой убѣленной сѣдинѣ, будутъ дивиться.

4. Двуличность хотя тебѣ несродна, но изрѣдка немножко промѣлькаетъ, какъ бы приставая отъ другихъ. Это не ввело въ прямое положеніе дѣяній твоихъ, обѣщающихъ счастіе и долгую жизнь (стр. 44—45).

Это еще не лучшее мѣсто въ книжонкѣ: мы не выбирали, а взяли наудачу. О, россійская словесность!..

*798. **Азбука Русская Новѣйшая (,) или Букварь для Обученія Малолѣтнихъ Дѣтей Чтенію,** *съ молитвами, нравоученіями, краткими для дѣтей повѣстями, съ показаніемъ чиселъ и таблицею умноженія.* Изданіе шестое. *Санктпетербургъ. Въ тип. Императорской Академіи Наукъ. 1844. Въ 12-ю д. л. 47 стр.*

Новыя Дѣтскія Поздравленія, въ стихахъ, съ Праздниками. *Подарокъ дѣтямъ и родителямъ на дни рожденія, имянины, Рождество Христово, Новый Годъ и Свѣтлое Воскресенье.* Второе изданіе. Л. Жебелева. *Санктпетербургъ. 1844. Въ 12-ю д. л. 70 стр.* [239]).

Обѣ эти книжонки, не смотря на всю разницу ихъ назначенія и содержанія, имѣютъ одну и ту же цѣль и одинъ и тотъ же характеръ. Первая хочетъ учить дѣтей читать; вторая—предлагаетъ выучившимся грамотѣ дѣтямъ поздравительные стихи; первая предлагаетъ буквы и склады русскаго церковнаго языка, правоученія, повѣсти, *показаніе чиселъ* и таблицу умноженія; вторая, какъ уже сказано, даритъ родителей и дѣтей прескверными виршами на дни рожденія, именинъ и разныхъ праздниковъ; назначеніе и содержаніе ихъ различно, но цѣль одна и та же: нѣсколько копеекъ серебромъ, выманенныхъ у того разряда простодушной публики, которая покупаетъ книги, руководствуясь длинною и вычурностію ихъ заглавій, или рекомендаціями ихъ издателей и продавцовъ. Сходство въ характерѣ обѣихъ этихъ книжицъ тоже разительно: обѣ онѣ—выходцы съ того свѣта, блѣдныя и тощія порожденія давно-скончавшагося на Руси классицизма блаженной памяти. «Азбука», она же «Букварь», явилась съ эпиграфомъ изъ Ломоносова, который еще въ-старину употреблялся при «букваряхъ»:

Творецъ, покрытому мнѣ тьмою,
Простри премудрости лучи,
И что угодно предъ Тобою,
Всегда творити научи.

«Краткое Правоученіе» въ «Букварѣ» напоминаетъ собою наставленіе, которое, въ повѣсти Луганскаго—«Колбасники и Бородачи» давалъ своему сыну «поштенный» купчина Яковъ Ивановичъ Корюшкинъ: «не воруй, не шатайся, не пьянствуй». Но особенно-забавны въ «Букварѣ» классическіе стихи Шишкова—

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько; и пр.

Все это такъ похоже на выходцевъ съ того свѣта. Самъ «Букварь», онъ же и «Азбука», ничѣмъ не умнѣе помѣщенныхъ въ немъ басень «Гусь, и Утка» и «Рѣзвая Коза»: за то онъ и вышелъ въ свѣтъ шестымъ изданіемъ. Будь онъ хоть крошечку-поумнѣе составленъ, на Щукиномъ не потребовалось бы даже и втораго изданія.

«Новыя Дѣтскія Поздравленія» вышли вторымъ изданіемъ по той же причинѣ, по которой «Букварь» вышелъ шестымъ, и мы убѣждены, что они со-временемъ выйдутъ и сороковымъ, потому-что трудно вообразить что-нибудь пошлѣе и нелѣпѣе этихъ «поздравленій», написанныхъ совершенно во вкусѣ и тонѣ публики Толкучаго-Рынка. Кромѣ того, они—произведеніе чисто-классическое, напоминающее собою эпоху громкихъ одъ, которыя оглушали напыщеннымъ ревомъ и крикомъ тяжело-нескладныхъ стиховъ. Не угодно ли послушать:

Сего-дня, папенька мой милый,
У насъ день вашихъ имянинъ:

Позвольте, чтобъ вашъ сынъ счастливый,
Еще малютка,—и одинъ,—
Поднесъ въ стихахъ вамъ поздравленье:
Стихи учитель написалъ,
А я имѣлъ для васъ терпѣнье
Ихъ твердо выучить, и зналъ,
Что это будетъ вамъ пріятно,
А мнѣ, ей, ей! все въ нихъ понятно:
Желаю я, чтобъ ангелъ вашъ,
Семейства вашего хранитель,
Заступникъ вашъ, помощникъ вашъ,
И насъ отъ бѣдъ оборонитель,
Дни вашей жизни такъ хранилъ,
Какъ, говорятъ, въ теплицѣ розу
Хранятъ зимою отъ морозу;
И чтобъ вашъ вѣкъ весь сотканъ былъ,
Безъ грустныхъ дней и безъ ненастья,
Изъ шелку, золота и счастья.

Эти милые стишки декламируетъ Митя своему папенькѣ, или своей маменькѣ, и надо согласиться, что этотъ мальчикъ обладаетъ истинно-ослинымъ терпѣніемъ, если онъ могъ вызубрить такія варварскія вирши, а его папенька, или его маменька, особы очень-крѣпколобыя, если онѣ не только допустили его выучить, но еще съ удовольствіемъ выслушали отъ него стопудовыя нѣжности, сочиненныя учителемъ изъ семинаристовъ, какъ то̀ видно по классической фактурѣ стишищевъ. Въ одномъ изъ «поздравленій», *Катенька* проситъ свою маменьку принять отъ нея «нелестный гласъ плѣненныхъ ею сердецъ»: не чистый ли это классицизмъ добраго стараго времени, нашедшій теперь свое убѣжище на новомъ Геликонѣ, Аполлонъ котораго ходитъ во фризовой шинели съ небритой бородою? Жаль, что въ этихъ «поздравленіяхъ» слово—*папенька* (впрочемъ, уже довольно-опошлившееся) не замѣнено еще болѣе-пошлыми, но за то и болѣе-приличными тону «Поздравленій» словами «тятенька», потому-что эти «поздравленія» явно назначены для тѣхъ сословій, которыя очень заботятся объ «учливости», поставляя ее въ «цаловапіи ручки». Это, между-прочимъ, видно и изъ коротенькаго предисловія въ прозѣ къ одной «поздравительной» пьесѣ: «Катенька входитъ въ комнату къ Маменькѣ, съ листочкомъ въ рукахъ бумаги, присѣдаетъ и цѣлуетъ у ней ручку»; а вотъ и самое «поздравленіе»:

Сего-дня, маменька, въ день вашего рожденья,
Молю я благость Провидѣнья,
Чтобъ отъ высотъ оно своихъ
Хранило ваши дни безцѣнны,
Для добродѣтелей священны,
Для насъ залогъ всѣхъ благъ земныхъ
И струекъ времени златыхъ.—
Вамъ утра добраго желаю
И съ днемъ рожденья поздравляю.
Стишки въ подарокъ приношу:
Припять ихъ ласково прошу!

Сочинитель этихъ дубинно-вязовыхъ стиховъ присовокупляетъ къ нимъ глубокомысленное замѣчаніе, что «эти стихи пригодны также и для *мальчика*». Мы вполнѣ согласны съ нимъ, если подъ «мальчикомъ» онъ разумѣетъ поваренка или казачка, который не могъ бы не восхитить такими «поздравительными» стихами своего «тятеньку», «батеньку», или свою «маменьку».

* **799.** Маленькій Фокусникъ. *Поучительные и занимательные домашніе фокусы для дѣтей. Санктпетербургъ. Въ тип. В. Соломона. 1844. Въ 32-ю д. л. 64 стр.* [240]).

Вотъ эту книжку мы назвали бы, въ отличіе отъ двухъ первыхъ, романтическою,—такъ-какъ она учитъ дѣлать чудеса; но какъ эти чудеса самыя естественныя и нисколько не чудесныя, даже довольно-простоватыя,—то мы и ее должны причислить къ разряду произведеній грошовой классической литературы, тѣмъ болѣе, что она изложена любезнымъ и остроумнымъ языкомъ литературы Апраксина-Двора.

800. Старинная Сказка объ Иванушкѣ Дурачкѣ, *разсказанная московскимъ купчиною* Николаемъ Полевымъ. *Лѣта 1844. Въ друкарнѣ Матвѣя Ольхина, въ городѣ Петербургѣ. Въ 8-ю д. л. 30 стр. Цѣна 30 коп. серебр. продается вездѣ, и на Апраксиномъ Дворѣ.* [241]).

Судя по нѣкоторымъ явленіямъ современной русской литературы, можно подумать, что мы, Русскіе, близки къ реформѣ, которая должна снова совершенно перемѣнить насъ въ нашихъ обычаяхъ и вкусахъ, и которая должна состоять въ томъ, что мы снова замѣнимъ воду квасомъ, шампанское — пѣнникомъ, портеръ — брагою, сюртуки и фраки — зипунами, сапоги — лаптями, романы Вальтера Скотта — сказками о Еруслапѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ, образованную литературу — произведеніями блаженной памяти лубочныхъ суздальскихъ типографій... словомъ—совершенный разрывъ съ лукавымъ Западомъ и коренное обращеніе къ сермяжной народости!.. Въ-самомъ-дѣлѣ, изъ чего же хлопочутъ, и въ стихахъ и въ прозѣ, «Маякъ» и «Москвитянинъ» — Касторъ и Поллуксъ на горизонтѣ нашей журналистики? О чемъ и для чего пишетъ г. Загоскинъ? Давно ли мы читали повѣсть «Градскі(о)й Глава», гдѣ такъ неопровержимо доказано вліяніе александрійской рубахи съ косымъ воротникомъ на добродѣтель и стремленіе къ разнымъ гражданскимъ подвигамъ? Давно ли самородный московскій поэтъ, г. Милькѣевъ, воспѣлъ сивуху, какъ чистѣйшій источникъ всего великаго? Когда, въ дѣтствѣ, засыпали мы подъ разсказы нашихъ няпекъ о Еруслапѣ Лазаревичѣ, Бовѣ Королевичѣ, Жаръ-Птицѣ, Иванушкѣ-Дурачкѣ,—думали ли мы, что эти разсказы пѣкогда будутъ пересказываться извѣстными литераторами и красиво издаваться съ картин-

*

ками г. Тимма?.. Но не бойтесь, не пугайтесь: реформы все-таки не будетъ. На литературу нашу не всегда можно смотрѣть какъ на зеркало нашей жизни. Этому много причинъ, и одна изъ нихъ та, что литература наша часто любитъ существовать заднимъ числомъ и, отъ нѣчего дѣлать, повторять собственные свои зады. Теперь она именно этимъ и занимается. Чтобъ идти впередъ, ей нужны таланты свѣжіе и сильные; но таланты у насъ какъ-то недолговѣчны; а нѣтъ знамени—нѣтъ и солдатъ. Вотъ почему, молодежь наша или ничего не дѣлаетъ, или дѣйствуетъ въ-разсыпную, набѣгами, отрывочно и лѣниво. Можетъ-быть, она чувствуетъ, что теперь не ея время. Зато, старые таланты и quasi-таланты, и молодые не-таланты, какъ-будто спѣшатъ взапуски другъ передъ другомъ, перебивая старыя погудки на новый ладъ: видно почуяли, что на ихъ улицѣ праздникъ.

Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, въ русской литературѣ совершилась реакція духу подражательности литературѣ XVIII вѣка. Эта реакція явилась подъ именемъ «романтизма». Прежде всего, она предъявила свои требованія на народность въ литературѣ. Реакція эта была необходима и полезна: но когда сдѣлала она свое дѣло, люди съ дарованіемъ, воспользовавшись ея плодами, отступились отъ нея и пошли своею дорогою, не заботясь болѣе ни о классицизмѣ, ни о романтизмѣ. Но не такъ думали люди, которые ратовали за ту или другую сторону: они вообразили, что если міръ существуетъ, такъ это не для чего другаго, какъ только для того, чтобъ романтизмъ побѣдилъ классицизмъ. Вызванные быть глашатаями умственнаго движенія впередъ, они шагъ времени приняли за вѣчность, движеніе минуты сочли за конечное достиженіе цѣли, послѣ котораго ничего не остается дѣлать, какъ повторять одно и то же,—а въ этомъ-то и упрекали они людей, которыхъ суждено было имъ смѣнить собою. Удивительно ли послѣ этого, что они на людей, которые опередили ихъ, смотрятъ съ такою же враждою, какъ на нихъ самихъ смотрѣли опереженные ими люди? Удивительно ли, что они осыпаютъ опередившихъ ихъ людей тою же самою бранью (самоучками, недоучками, верхоглядами и т. п.), которою осыпали ихъ опереженные ими люди? Удивительно ли, что во всемъ, что бы ни написали они теперь, видны всѣ тѣ же воззрѣнія, тѣ же фразы, которыя въ свое время были и новы, и истинны, и смѣлы, и даже глубокомысленны, а теперь кажутся просто избитыми общими мѣстами, истасканною рухлядью, безсильнымъ орудіемъ немощной посредственности, апатической отсталости жалкой бездарности? Было время, когда языкъ литературный былъ скованъ условными приличіями, чуждался всякаго простаго выразительнаго слова, всякаго живописнаго и энергическаго выраженія народной рѣчи; когда наивной народной поэзіи всѣ чуждались, какъ грубаго мужичества. Романтическая реакція освободила насъ отъ этой узкости литературныхъ воззрѣній; благодаря ей, однообразная искусственность языка и изобрѣтенія поэтическаго уступила мѣсто естественности, простотѣ и разнообразію; міръ творчества расширился, и *человѣкъ*, безъ вся-

кихъ отношеній къ его званію получилъ въ немъ право гражданства. Всѣ согласились въ томъ, что въ народной рѣчи есть своя свѣжесть, энергія, живописность, а въ народныхъ пѣсняхъ и даже сказкахъ—своя жизнь и поэзія, и что не только не должно ихъ презирать, но еще и должно ихъ собирать, какъ живые факты исторіи языка, характера народа. Но вмѣстѣ съ этимъ, теперь никто уже не будетъ преувеличивать дѣла, и въ народной поэзіи видѣть что-нибудь бо́льше, кромѣ младенческаго лепета народа, имѣющаго свою относительную важность, свое относительное достоинство. Но отсталые поборники блаженной памяти такъ-называвшагося романтизма, упорно остаются при своемъ. Они, такъ-сказать, застряли въ поднятыхъ ими вопросахъ и, не совладѣвъ съ ними, съ каждымъ днемъ болѣе-и-болѣе вязнутъ въ нихъ, какъ мухи, попавшіеся въ медъ. Для нихъ «Не бѣлы снѣжки» едва-ли не важнѣе любаго лирическаго произведенія Пушкина, а сказка о Емелѣ Дурачкѣ едва-ли не важнѣе «Каменнаго Гостя» Пушкина... задыхался и изъ которой готовъ былъ бѣжать хоть въ домъ сумасшедшихъ?..

По-крайней-мѣрѣ, мы ничѣмъ инымъ не можемъ объяснить себѣ появленія въ свѣтъ «Иванушки Дурачка» въ красивомъ изданіи, съ картинками г. Тимма. Было время, когда г. Н. Полевой очень-основательно возставалъ противъ русскихъ сказокъ, которыя Пушкинъ передѣлывалъ по своему въ прекрасныхъ стихахъ. Г. Н. Полевой говорилъ тогда, что эти сказки хороши только въ томъ видѣ, какъ создала ихъ фантазія народа, но что передѣлывать ихъ, или поддѣлываться подъ ихъ тонъ никоимъ образомъ не слѣдуетъ. И г. Н. Полевой былъ совершенно-правъ, хотя говорилъ и противъ Пушкина; а вотъ теперь онъ самъ «разсказываетъ» народныя сказки довольно плохою прозою, въ которой народность прикрашена литературществомъ и которыя къ своимъ простодушнымъ оригиналамъ относятся, какъ деревенскій мужичокъ къ городскому мѣщанину... Пушкинъ дѣлалъ то же, да не такъ: онъ перекладывалъ ихъ въ свои дивные стихи и, какъ истинно-національный и притомъ великій поэтъ, часто придавалъ имъ поэзію, которою онѣ вообще довольно бѣдны; а г. Н. Полевой лишаетъ ихъ своими передѣлками и послѣднихъ блестокъ поэзіи. Но мало ли что̀ говаривалъ истиннаго г. Н. Полевой прежде, и что, вопреки себѣ, дѣлаетъ онъ теперь неистиннаго?.. Вспомните его прежнія статьи противъ князя Шаховскаго и его теперешнія «драматическія представленія»; вспомните его прежніе умные и благородные нападки противъ кваснаго и кулачнаго патріотизма—и сравните съ ними нѣкоторыя изъ теперешнихъ его пьесъ; вспомните, что̀ писывалъ онъ нѣкогда о невозможности дѣлать изъ повѣстей драмы—и вспомните его драму «Смерть или Честь».

Спрашиваемъ: кому нужна «Старинная Сказка объ Иванушкѣ Дурачкѣ»? Людямъ образованнымъ?—но кто же изъ нихъ станетъ читать подобный вздоръ, если онъ не списанъ съ разсказа простолюдиновъ, а пересказанъ купчиною, хотя бы и московскимъ?—Мужикамъ?—Но они такъ хорошо ее

знаютъ и многіе умѣютъ ее разсказывать гораздо-лучше г. Н. Полеваго и всякаго литератора. Притомъ же, она никому не новость. Или, можетъ-быть, она явилась для того, чтобъ всякій, кто въ состояніи заплатить за маленькую красиво изданную книжонку три гривенника, зналъ о существованіи московскаго купчины г. Н. Полеваго?.. Въ такомъ случаѣ, дѣло явно идетъ о *народности*... жалкая народность!..

Не-уже-ли все это чистая, неподдѣльная народность: «Послушайте, добрые люди, начинается сказка, объ Иванушкѣ Дурачкѣ, тянется облако по широкому поднебесью, ходитъ вихорь по дремучему лѣсу, а сказка гуляетъ между добрыми людьми. Хитрая русская сказка. Прибаутокъ у нея, что у красной дѣвицы лентъ разноцвѣтныхъ. Приговорокъ у нея, что у *пьяницы* праздниковъ; что день, то праздникъ; *выпить* захотѣлось и праздникъ на дворѣ, *а кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ, въ обѣдъ хмѣленъ, вечеромъ опохмѣляется*, на завтра отъ головы лечится, а послѣ завтра новаго праздника ждетъ не дождется»? Или: «Жили въ томъ городѣ всякіе люди, купцы честные бородатые, и плуты хитрые *тороватые* (?), ремесленники нѣмецкіе, красотки шведскія, *пьяницы русскіе*, а въ слободахъ пригородныхъ мужички крестьяне, землю пахали, хлѣбъ засѣвали, муку мололи, на базаръ возили, *а выручку пропивали*»?.. Нѣтъ, это не народность, а жеманныя, приторныя поддѣлки подъ народность!.. Вѣдь народность русская не въ одной же сивухѣ... Ужь и это не народность ли, что «въ курантахъ гамбургскихъ пишутъ»?.. Выраженіе, прямо взятое изъ сказочнаго русскаго міра!..

Едва-ли мужички и ши будутъ благодарны г. Полевому за «Иванушку Дурачка»: грамотный мужичокъ ищетъ въ печатной книгѣ дѣла, а не сказокъ, на которыя онъ смотритъ какъ на пустяки, недостойные печати. Вѣдь наши мужички совсѣмъ не романтики не въ осудъ будь сказано нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ! Мужичокъ уважаетъ грамоту и не поддастся ни купцу, ни барину, который вздумаетъ потчивать его печатными пустяками. Развѣ картинки г. Тимма? Но для мужика онѣ слишкомъ-хороши, а для барина слишкомъ-неудовлетворительны: карандашъ чудесный, но русскаго и сказочнаго въ немъ нѣтъ ровно ничего.

На оборотѣ заглавной обертки, г. Н. Полевой грозится изданіемъ и другихъ сказокъ своей работы. Вѣроятно, за нимъ потянется съ сказками цѣлая вереница мелкихъ литераторовъ и сочинителей,—и наша литература на долгое время превратится въ мужицкую сказку, такъ же, какъ она уже превратилась въ картинки г. Тимма... Долго ли еще литература наша будетъ ѣздить верхомъ на палочкѣ, въ пестрой шапкѣ съ бубенчиками?..

Примѣчанія см. въ XII томъ.

БИБЛІОТЕКА ГОСУДАРСТВЕННАГО УНИВЕРСИТЕТА